

Гофман Эрнст Теодор Амадей

Серапионовы братья

- **Аннотация:**
(*Die Serapionsbrüder*)
Перевод [А. Соколовского](#) (1885).

Содержание:

Фермата (Die Fermate)

Поэт и композитор (Der Dichter und der Komponist)

Второе отделение

Эпизод из жизни трех друзей (Ein Fragment aus dem Leben dreier Freunde)

Артусова зала (Der Artushof)

Фалунские рудники (Die Bergwerke zu Falun)

Щелкунчик и мышинный король (Nußknacker und Mausekönig)

Состязание певцов (Der Kampf der Sänger)

Автомат (Die Automate)

Дождь и догаресса (Doge und Dogaresse)

Мейстер Мартин-бочар и его подмастерья (Meister Martin der Küfner und seine Gesellen)

Неизвестное дитя (Das fremde Kind)

Выбор невесты (Die Brautwahl)

Зловещий гость (Der unheimliche Gast)

Девушка Скюдери (Das Fräulein von Scudéry)

Счастье игрока (Spielerglück)

Синьор Формика (Signor Formica)

Видения (Erscheinungen)

Взаимозависимость событий (Der Zusammenhang der Dinge)

Королевская невеста (Die Königsbraut).

•

Эрнст Теодор Амадей Гофман

Серapiоновы братья

Роман

Гофман Э.Т.А. Серapiоновы братья: Сочинения: В 2-х т. Т. 1-2.
Перевод с немецкого А.Соколовского под ред. Е.В.Степановой,
В.М.Орешко.

Т. 1. 592 с. ISBN 985-6175-01-1. ISBN 985-6175-03-8.

Т. 2. 464 с. ISBN 985-6175-02-X. ISBN 985-6175-03-8.

Мн.: Navia Morionum, 1994. Подготовлено по изданию:

Гофман Э.Т.А. Собрание сочинений в 8-ми томах. -- СПб, 1885.

OCR & SpellCheck: Zmiy (zmiy@inbox.ru, <http://zmiy.da.ru>), 07.08.2004

Роман "Серapiоновы братья" знаменитого немецкого писателя-романтика Э.Т.А.Гофмана (1776 -- 1822) -- цикл повествований, объединенный обрамляющей историей молодых литераторов -- Серapiоновых братьев. Невероятные события, вампиры, некроманты, загадочные красавицы оживают на страницах книги, которая вот уже более 70-и лет полностью не издавалась в русском переводе. Перевод А.Соколовского заново отредактирован и сверен с оригиналом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первое отделение

ФЕРМАТА

ПОЭТ И КОМПОЗИТОР

Второе отделение

ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ ТРЕХ ДРУЗЕЙ

АРТУСОВА ЗАЛА

ФАЛУНСКИЕ РУДНИКИ
ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Третье отделение

СОСТЯЗАНИЕ ПЕВЦОВ
АВТОМАТ
ДОЖ И ДОГАРЕССА

Четвертое отделение

МЕЙСТЕР МАРТИН-БОЧАР И ЕГО ПОДМАСТЕРЬЯ
НЕИЗВЕСТНОЕ ДИТЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Пятое отделение

ВЫБОР НЕВЕСТЫ
ЗЛОВЕЩИЙ ГОСТЬ

Шестое отделение

ДЕВИЦА СКЮДЕРИ
СЧАСТЬЕ ИГРОКА

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Седьмое отделение

СИНЬОР ФОРМИКА
ВИДЕНИЯ

Восьмое отделение

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СОБЫТИЙ
КОРОЛЕВСКАЯ НЕВЕСТА

ОТ РЕДАКЦИИ

"Стой! Вот кафе-Руаяль. Приветливого человека, что стоит в дверях зовут Байерман. Вот это хозяин... Войдем. Заведение отменное; впереди -- самая превосходная берлинская кофейня, за ней великолепная ресторация. Место встреч элегантных, образованных людей. Здесь можно часто увидеть интереснейших личностей. Но кто это там за столом, вон тот маленький юркий человечек с вечно подергивающимся лицом, с движениями забавными и в то же время жутковатыми? Это советник апелляционного суда Гофман, написавший "Кота Мурра"... -- и добавим, вслед за Генрихом Гейне, "Эликсиры Сатаны", "Фантазии в манере Калло", "Ночные рассказы", "Крошку Цахеса" и, разумеется, "Серапионовых братьев".

Уроженец столицы Восточной Пруссии Кенигсберга, Эрнст Теодор Амадей Гофман, последнее имя он сам прибавил вместо данного ему родителями имени Вильгельм в честь Амадея Моцарта, прожил недолгую, но удивительную жизнь. Прусский судейский чиновник, музыкант, композитор, театральный художник и капельмейстер, знаменитый писатель и ночной гуляка, завсегдатай берлинских кабачков, он в собственной жизни воплощал ту романтическую загадочность, противоречивость и двойственность, которой так часто наделял своих героев. Автор веселых зингшпилей и злых карикатур превращался на несколько часов в день в аккуратного государственного советника прусской администрации в Варшаве, а за спиной безудержного остроумца и фантаста из знаменитого берлинского погребка Люттера и Вегнера маячил советник апелляционного суда "с холодным спокойствием и серьезностью, определяющими его деятельность как судьи..."

Гофман поздно начал писать -- вначале большая часть колоссальной творческой энергии отдавалась им музыке. Образ его героя, неистового музыканта, эксцентричного капельмейстера Крейсlera, -- это сам Гофман, воплощение его творческого "я", свободного от земных забот и гнета житейских обстоятельств. Да можно сказать, и все его творчество -- это странствия по собственной душе, ее тайникам и закоулкам, это сотворение из ее материала другого, параллельного мира, где все, абсолютно все, до зеркальности точно такое же, как и здесь, кроме одного, -- там может случиться все что угодно...

Знаменитые его, ставшие литературной легендой "Серапионовы братья", собственно говоря, и не совсем роман. В конце жизни создает Гофман этот причудливый букет из новелл и сказок, обрамленный единой "рамкой", -- историей молодых литераторов-романтиков, называющих себя Серапионовыми братьями и читающих друг другу свои фантастические истории. Принцип их творчества и есть гофмановское творческое кредо -- реальность самой безудержной фантазии.

Из всех сюжетов "Серapiоновых братьев", пожалуй, именно эта рамка -- вовсе не выдумка, а история кружка, что сложился вокруг самого автора. В Серapiонов день 14 ноября 1818 года было отпраздновано основание союза Серapiоновых братьев, в который кроме него вошли литератор Контесса (Сильвестр), друг Гофмана Хитциг (Оттмар), врач Кореф (Винцент) и писатель Адельберт Шамиссо, только что вернувшийся из кругосветного путешествия. Позднее включен был и Фуке, автор знаменитой "Ундины", сюжет которой Гофман переложил в романтическую оперу. Этот кружок, ставший вскоре столь же знаменитым, как и застольная компания в погребке Люттера и Вегнера, не был объединен общей литературной программой. Здесь читали друг другу свои творения, спорили...

Увековечив собрания членов кружка, Гофман воспользовался их несхожестью и вложил в уста "серapiонов" фантазии самого разного свойства. Зловещие истории о преступных гипнотизерах, вампирах, роковых предзнаменованиях как будто предвещают и сегодняшний бум "ужасов", светлые же детские сказки возвращают в мир чистоты и невинности, но, пожалуй, лейтмотивом всего произведения звучит тема художника, творца этих прекрасных или безумных фантазий.

Некоторые рассказы и сказки Серapiоновых братьев стали, как, скажем, "Щелкунчик и мышиный король", почти хрестоматийными, многие же, в русском переводе, ныне практически неизвестны. Но даже хорошо знакомые, вернувшись на свое место в этой "романтической энциклопедии" Гофмана, подобно драгоценному камню в дорогой оправе, приобретут законченность и блеск совершенства...

СЕРАПИОНОВЫ БРАТЬЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Первое отделение

-- Нет, как ни придумывай, а горького убеждения, что прошлое никогда, никогда не вернется, нельзя ничем ни прогнать, ни уничтожить! Напрасен труд бороться с неодолимой силой всесокрушающего времени! Туманные картины канувшего в вечную ночь минувшего, наполняя наше существо, дразнят и мучат его, как тяжелый сон, и неужели, глупцы, можем мы мечтать восстановить мыслью в прежней свежести ту частицу нашего "я", которая существовала когда-то? Покидая на долгое время любимую женщину или дорогого друга, мы теряем их навсегда, потому что никогда при

новом свидании не найдем ни себя, ни их похожими на то, чем мы были прежде.

Так говоря, Лотар быстро встал со стула, подошел к камину и, сложив на груди руки, мрачно устремил глаза на весело пылавший огонь.

-- Что касается до тебя, любезный друг Лотар, -- возразил на это Теодор, -- то я могу засвидетельствовать, что лично ты остался совершенно тем же, каким я знал тебя двенадцать лет назад. Узнаю сразу твою способность глубоко чувствовать всякую мелочь и легко поддаваться первому впечатлению. Мы все, и Оттмар, и Киприан, чувствуем не менее тебя, что нынешнее наше свидание после долгой разлуки далеко не так радостно, как мы того ожидали. Но если пошло на то, обвиняй меня одного в том, что я обегал сегодня наши бесконечные улицы с единственной целью собрать вас около моего камина! Может быть, умнее было бы предоставить устройство этого свидания счастливому случаю, -- но неужели после стольких лет сердечной привязанности и тесно связывавшего нас стремления к науке и искусству, нарушенных диким ураганом прошлого, который мы пережили, неужели, повторяю, могли мы упустить случай, приведший нас в одну и ту же гавань, не сделав попытки увидеться телесными глазами, подобно тому, как постоянно смотрели друг на друга зрением духовным? Такая мысль была бы для меня невыносима! И вот теперь сидим мы более двух часов, мучая себя во имя той же сердечной дружбы! Неужели же никто из нас не принес с собой чего-либо умнее этой глупой выставки хандры? А отчего все? Оттого, что мы с простодушием маленьких детей вообразили себя способными затянуть прежним голосом песенку, петую двенадцать лет назад. Неужели Лотар должен по-прежнему начать чтение "Принца Зербино" Тика, а мы, слушая его, таять от восторга? Или Киприан должен явиться с фантастическим стихотворением, а не то с целым либретто бесконечной оперы, которую я тут же бы сначала сочинил, а затем сыграл на наших хромых фортепьянах, уже двенадцать лет тому назад трещавших под моими пальцами до того, что в бедном отжившем инструменте не оставалось живого места? Или не должен ли Оттмар рассказать нам какую-нибудь интересную новость, только что им слышанную, сообщить сведения о новом трактире, где можно достать хорошее вино, рассказать забавный анекдот о чьей-нибудь трусости и этим возбудить наш жар и внимание до того, что мы рискнули бы на серьезную попытку добыть хорошего вина и литературно разработать анекдот. И вот потому только, что никто этого не делает, сидим мы все с надутыми губами и каждый думает про другого: "Сильно, однако, изменился этот добряк! Совсем стал не похож на прежнего! Никак я этого не ожидал!" Да! Все мы стали не такими, как прежде! Я уже не говорю, что мы постарели на двенадцать лет и что земля надвигается

на нас с каждым годом все более и более, до тех пор, пока не очутимся мы совсем под нею, простясь навсегда с воздушною сферой. Но вспомните, как бросал нас жизненный вихрь в событиях нашей жизни! Неужели все, что мы испытали страшного, ужасного и неприятного, могло пройти мимо, не схватив нас в свои объятия и не оставив в нашем существе глубоких, кровавых следов? Вот почему побледнели в нас яркие образы прошлого, и напрасным кажется наше желание их воскресить! Или, может быть, казавшееся нам прежде в жизни прекрасным теперь потеряло свой блеск оттого, что глаза наши привыкли к более яркому свету, между тем как внутреннее чувство, бывшее источником нашей взаимной любви, осталось прежним. Я, по крайней мере, полагаю, что все мы считаем друг друга все еще достойными себя и нашей взаимной дружбы. Оставим же в покое прошлое со всеми его притязаниями и постараемся, во имя прежних чувств, завязать новый узел взаимности.

-- Благодарю Бога, -- перебил тут своего друга Оттмар, -- что Лотар не выдержал того дурацкого состояния, в котором мы находились, и что ты, Теодор, сумел поймать за хвост мучавшего нас зловредного чертика. Меня самого начинала до злости душить вынужденная любезность, которую мы на себя напускали, пока наконец не прервал ее Лотар. Теперь же, когда Теодор объяснил в чем дело, я чувствую, что мы сближены теснее прежнего и что наше прежнее уютное счастье всплывает наверх наперекор всем дурным сомнениям. Теодор прав, что мы сохранили веру в себя, несмотря на дурное влияние времени. Новый союз заключен, и я торжественно предлагаю постановить предварительным условием обязательство собираться раз в неделю, чтобы не потеряться опять среди суетной жизни в большом городе, не отдалиться друг от друга хуже прежнего.

-- Утешил выдумкой! -- возразил на это Лотар. -- Не будешь ли ты так добр продиктовать и дальнейшие законы этих собраний? Не постановить ли о чем можно и о чем нельзя будет говорить? Не обязать ли каждого рассказать непременно три острых анекдота или определить неизменный салат из сардинок для ужина? Этим способом мы погрузимся в такое море филистерства, какое может процветать только в любом клубе. Неужели ты не понимаешь, что всякое определенное условие влечет за собою принуждение и скуку, в которых, по крайней мере для меня, тонет всякое удовольствие? Вспомни наше прежнее отвращение ко всему, что хотя бы чуть-чуть напоминало клуб, кружок или какое-нибудь из этих глупых учреждений, где царят скука и пресыщение! А теперь ты хочешь подводить под это правило наш, способный процветать только на полной свободе четырехлистник.

-- Наш друг Лотар нелегко расстается со своей хандрой, мы это все знаем, -- возразил Теодор. -- Знаем и то, что в этом дурном настроении

он часто создает призраки, с которыми храбро сражается до тех пор, пока, устав до смерти, бывает вынужден сам сознаться, что все эти призраки -- плод его собственного воображения. С какой стати заговорил он о клубах, кружках и связанном с ними филистерстве, выслушав совершенно невинное и притом крайне разумное предложение Оттмара? Я вспомнил по этому поводу забавное приключение из нашей прежней жизни. Помнишь, Лотар, как, оставив в первый раз столицу, мы приехали в маленький городок П***? Местные нравы и приличие требовали, чтобы мы непременно записались в клуб, основанный тамошней городской знатью. И вот в один прекрасный день получаем мы высокопарнейшим слогом написанное послание, которым нас извещали, что на прошедшем голосовании мы оба избраны членами почтенного учреждения. К сему была приложена опрятно переплетенная книга в пятнадцать или двадцать листов толстой бумаги, содержащая изложение клубных законов, сочиненных, вероятно, каким-нибудь старым советником совершенно в форме Прусского земского Уложения, с разделением на статьи и параграфы. Признаюсь, я не читал ничего забавнее! Так, помнится, одна статья, излагавшая права и обязанности женщин и детей, гласила ни более ни менее, что жены членов могут пить в помещении клуба вечерний чай по воскресеньям и четвергам, а в зимнее время имеют право даже танцевать от четырех до шести раз. Постановления о детях были еще строже, так как законодатель обработал этот предмет с особенным старанием, разделив детей на малолетних, подрастающих, несовершеннолетних и находящихся под опекой. Малолетние, в свою очередь, разделялись сообразно их нравственным качествам на послушных и непослушных, из которых последним вход в клуб запрещался основным законом. Забота сделать клуб непременно послушным была одной из главнейших. Затем следовал любопытный раздел о собаках, кошках и прочих бессловесных существах. Никто не имел права вводить в клуб диких, вредных животных, так что если б кто-нибудь из членов выдрессировал льва, тигра или леопарда как комнатную собачку, то швейцары возбранили бы вход такому раскольнику животного царства, даже если бы у него были обрезаны волосы и когти. Клубоспособность отрицалась также у верных пуделей и цивилизованных мопсов, и только в виде исключения дозволялось вводить таковых летом, когда клуб обедал на даче, но и то не иначе как по предъявлении особых карточек, выдаваемых совещательным комитетом. Мы с Лотаром присочинили, помню, тогда к этому глубокомысленному кодексу целый ворох глупейших приложений и деклараций и торжественно представили их на обсуждение первого общего собрания, причем имели удовольствие видеть, что вся эта чепуха дебатировалась серьезнейшим образом, пока проделка наша не кинулась уж слишком

ярко в глаза человекам двум-трем поумнее, за что мы и были только лишены общественного доверия, вопреки нашему ожиданию быть изгнанными из клуба совсем.

-- Помню я это счастливое время, -- заметил Лотар, -- и с сожалением замечая, что нынче меня уже не подобьешь на такую проказу. Стар я стал и отяжелел в придачу до того, что теперь меня зачастую сердит то, что прежде забавляло.

-- Никогда я этому не поверю, -- сказал Оттмар, -- и уверен, что сегодня ты просто хандришь, или, может быть, в душе твоей звучит отголосок какого-нибудь дурного влияния. Новая жизнь оживит, как весна, твое сердце, заглушив его фальшивые тона, и ты будешь опять прежний веселый Лотар, каким был двенадцать лет тому назад. Ваш клуб в П*** напомнил мне другой, основатель которого был, вероятно, великий юморист, если судить по сочиненному им уставу, напоминавшему статуты ордена дураков! Представьте себе общество, организованное совершенно наподобие государства, -- то есть с королем, министрами, советниками и т.д., и притом с единственной целью хорошо поесть и еще лучше выпить. Собрания проходили всегда в гостинице с самой лучшей кухней и погребом. Там торжественно рассуждалось о благоденствии государства, то есть о снабжении его блюдами и вином. Министр иностранных дел докладывал об открытии в одном из отдаленных погребков превосходного рейнвейна. Сейчас же снаряжалось посольство. Граждане, испытанные в должности пробования вин, назначались послами, им давались подробнейшие инструкции, а министр финансов открывал особый кредит на издержки посольства и на покупку указанного товара. Неудачно приготовленный соус вызывал целое волнение: обменивались нотами, произносили резкие речи об угрожающей государству опасности, иногда собирался государственный совет для обсуждения, из какого вина следует готовить холодный пунш. Король глубокомысленно слушал прения, и затем принятый закон о холодном пунше передавался к исполнению министру внутренних дел. Но министр внутренних дел страдал слабым желудком и не мог переносить лимонного сока, почему и напичкал пунш померанцевыми корками! Отсюда новое постановление, узаконивающее отступление от первого. Науки и искусства тоже не оставались без поощрения: поэта, написавшего пуншевую песню, и композитора, положившего ее на музыку, король жаловал кавалерами ордена красного петушиного пера, и они получали разрешение выпить в тот день на одну бутылку вина больше, чем обычно, конечно, за их собственный счет. В торжественные дни король надевал огромнейшую корону из золотой бумаги, брал в руки скипетр и державу, а придворные украшались особыми шляпами. Герб общества изображал серебряный сосуд, на крышке которого стоял жирный петух с расправленными крыльями, старавшийся изо всех сил

снести яйцо. Если прибавить ко всему этому, что в обществе, по крайней мере, в мое время было много умных и острых людей, умевших очень мило разыгрывать свои роли и вместе посмеяться над тем, что происходило вокруг них, то вы легко поймете, к каким веселым шуткам располагало меня посещение этих собраний.

-- Я от души соглашаюсь с твоей мыслью, -- ответил Лотар, -- но только не могу себе представить, чтобы такое препровождение времени могло долго продолжаться. Самая милая шутка должна надоесть, если ею будут заниматься так долго и так систематично, как это делалось в твоём обществе несущегося петуха. Вы оба, Теодор и Оттмар, рассказывали нам о больших клубах с множеством законов и причуд, выслушайте же теперь от меня историю клуба, проще которого, вероятно, не было на свете. В небольшом пограничном польском городке, давно уже отошедшем во владение Пруссии, жили всего два официальных немецких лица: инвалид капитан, исполнявший должность почтмейстера, и сборщик податей. Каждый день, ровно в пять часов, оба они аккуратнейшим образом являлись в единственный существовавший в том городе трактир и усаживались в особую комнату, куда кроме них никто не имел права входа. Сборщик податей являлся обычно первым, так что капитан, входя, заставлял его уже за кружкой пива, с дымящейся трубкой в зубах. Затем, усевшись напротив своего собеседника со словами: "Ну, что скажешь, куманек?" -- он сам закуривал трубку и, вынув из кармана газету, принимался ее прилежно читать, передавая прочитанные листы своему товарищу, который брался за них в свою очередь. Оба сидели среди глубочайшего молчания и густых облаков табачного дыма, которым угощали друг друга в лицо, до тех пор, пока городские часы не пробивали восемь. Тогда сборщик вставал, выколачивал золу из трубки и со словами: "Так-то, куманек!", уходил домой. Оба очень важно называли это времяпрепровождение "своим собранием".

-- Прелестно! -- воскликнул Теодор. -- И знаете, кто бы мог быть достойным сочленом этого собрания? Наш Киприан!.. Он еще ни разу не прервал торжественного молчания своих уст, точно наложил на себя обет монаха-молчальника.

Киприан, который в самом деле не вымолвил до сих пор ни слова, потянулся, как будто пробудясь от сна, и, взглянув на всех, сказал с тихой улыбкой:

-- Я, признаюсь, никак не могу освободиться сегодня от воспоминания об одном замечательном происшествии, случившемся со мною несколько лет тому назад, а когда внутренний голос звучит слишком сильно, то, понятно, язык не поворачивается для разговоров. Но, впрочем, я слышал, о чем здесь говорилось и могу дать подробный отчет. Теодор был совершенно прав, говоря, что мы судили по-детски, думая начать с того, чем кончили тому назад двенадцать лет, и, когда

это не удалось, рассердились друг на друга. Но мне кажется, что если бы нам и удалось попасть в прежнюю колею, то этим мы доказали бы самым ясным образом только наши филистерские наклонности. Это напоминает мне известный анекдот о двух философах, но, впрочем, его следует рассказать обстоятельнее. В Кенигсбергском университете были два студента, назовем их Себастьяном и Птолемеем. Оба ревностно занимались изучением философии Канта и ежедневно затевали горячие споры о том или другом положении. Однажды во время такого философского диспута, в ту минуту, когда Себастьян поразил Птолемея одним из сильнейших аргументов, а тот раскрыл рот, чтобы ему возразить, они были прерваны, и начатый разговор прекратился; а затем судьба распорядилась так, что оба уже более не видались. Прошло двадцать лет, и вот однажды Птолемей, проходя по улице города Б***, увидел идущего перед собой человека, в котором сразу же узнал друга своего Себастьяна. Тотчас бросился он к нему, схватил его за плечи, и едва тот успел обернуться, как Птолемей уже закричал: "Итак, ты уверяешь, что...", и затем начал прерванный двадцать лет назад разговор. Себастьян, в свою очередь, принялся поддерживать кенигсбергские аргументы. Спор продолжался час, другой, они бродили по улицам и наконец, разгорячась и устав, решили представить спорный пункт на усмотрение самого Канта, но, к сожалению, забыли только то, что они были в Б***, а старик Иммануил уже много лет спал в могиле. Это так поразило обоих, что они расстались и уже более не виделись в этой жизни. Эта история, в которой самое важное то, что она действительно случилась, способна навести на очень грустные мысли. Я, по крайней мере, не могу подумать без ужаса о таком страшном филистерстве, и для меня забавнее даже анекдот, случившийся с одним старым советником, которого я посетил, вернувшись сюда. Он принял меня чрезвычайно ласково, но при этом я заметил в его манерах какую-то странную и непонятную для меня принужденность, пока наконец во время одной прогулки добряк не обратился ко мне с умильнейшей просьбой надеть опять мой старый пудренный парик и серую шляпу, поскольку иначе он никак не мог себя уверить, что перед ним стоит его прежний Киприан. При этой просьбе он усердно отер пот, выступивший у него на лбу, и добродушно умолял меня не сердиться на его желание. Отсюда вывод: мы не будем делаться филистерами и не вздумаем тянуть ту же нить, которую тянули двенадцать лет, а также не станем мы обращать внимания и на то, что носим теперь платье и шляпы другого покроя. Мы, напротив, помиримся с прежним, насколько оно в нас осталось, и примем новое, насколько изменились сами. Это решено! Если то, что Лотар, хотя и без уважительных доказательств, проповедовал против клубов и собраний, -- справедливо, то это доказывает только, что люди удивительно склонны лишать себя даже

той небольшой доли свободы, которая им уделена, а любят везде смотреть на светлое небо не иначе как через построенную ими же искусственную крышу. Но все это нас не касается. Я также подаю голос за предложение Отмара собираться еженедельно в назначенный день. Я уверен, что сама судьба чудесно позаботится о том, чтобы мы не сделали филистерами, даже если склонность к тому лежит в ком-нибудь из нас, чему, впрочем, я не верю. Потому возможно ли думать, чтобы характер наших бесед выродился в клубное филистерство? Итак, господа, что вы скажете на счет предложения Отмара?

-- Я всегда буду против него, -- воскликнул Лотар. -- А теперь, чтобы помочь нам выйти из этого прискорбного спора, я предлагаю, чтобы Киприан рассказал нам удивительное происшествие, от воспоминания которого он не может сегодня отделаться.

-- Я думаю, что для рассеяния мрачных мыслей будет полезнее, если Теодор пододвинет сюда и откроет вон ту таинственную чашу, изливающую такой чудный аромат, что судя по нему, она, вероятно, составляла часть хозяйства общества несущегося петуха. Что же до моего приключения, то оно менее всего способно восстановить наш старый веселый дух. В нашем сегодняшнем собрании оно покажется вздорным, нелепым и даже смешным. К тому же оно довольно мрачного характера, и я сам играл в нем не совсем приятную роль. Согласитесь, причин достаточно, чтобы о нем умолчать.

-- Это значит, господа, -- воскликнул Теодор, -- наш баловень Киприан увидел какого-нибудь чудного духа и не считает наши земные очи достойными, чтобы поделиться с нами своим видением! Полно, однако, кобениться и начинай рассказ! Если же ты играл в нем, как ты выразился, дурную роль, то я утешу тебя, рассказав какое-нибудь из моих собственных приключений, в котором я играл роль еще худшую. Это со мной, к сожалению, случалось нередко.

-- Ну, хорошо, пусть будет по-вашему, -- сказал Киприан и, подумав несколько минут, начал так.

-- Однажды, во время моего путешествия несколько лет тому назад по южной Германии, я остановился в городке Б***, известном своими прекрасными окрестностями. Я путешествовал по обыкновению без проводника, хотя иногда помощь его, особенно при дальних прогулках, была бы вовсе не лишней. Так однажды, не зная дороги, я забрел в очень густой лес и чем более старался из него выбраться, тем более, казалось, терял всякий человеческий след. Наконец лес стал немного редеть, и я внезапно увидел сквозь деревья человека в коричневой отшельнической рясе, с соломенной шляпой на голове и с черной, всклокоченной бородой. Он сидел на обломке свесившейся над оврагом скалы и задумчиво глядел вдаль, сложив на груди руки. Во всей его фигуре было что-то странное и необыкновенное, так что я невольно почувствовал небольшой страх, вроде того, какой

непрерывно ощутил бы всякий, если бы увидел вдруг в действительности то, что привык видеть в книгах и на картинах. Передо мною, казалось, сидел живой анахорет первых веков христианства среди обстановки диких пейзажей Сальватора Розы. Впрочем, скоро я сообразил, что бродячие монахи далеко не редкость в этой стране, и смело подошел к моему пустыннику с вопросом, какой дорогой следует мне идти, чтобы скорей выбраться из леса и вернуться в Б***. Он смерил меня с головы до ног мрачным взглядом и ответил глухим, торжественным голосом: "Легкомысленно и безрассудно поступаешь ты, смущая подобным пустым вопросом мою беседу с почтенным собранием, которым я окружен. Я хорошо понимаю, что любопытство меня видеть и слышать привело тебя в эту пустыню, но ты видишь, что теперь у меня нет времени для беседы с тобой. Мой друг Амброзиус Камальдони сейчас возвращается в Александрию, ступай вместе с ним". С этими словами незнакомец встал и спустился в овраг. Мне казалось, что я вижу сон. Вдруг невдалеке послышался стук колес; я бросился на звук сквозь заросли кустарников и скоро вышел на лесную дорогу, по которой ехал крестьянин на двухколесной телеге. Я пошел ему навстречу и воротился вместе с ним в Б***. По дороге я рассказал ему мое приключение и спросил, не знает ли он, кто этот загадочный человек. "Ах, сударь, -- ответил крестьянин, -- это очень почтенный человек; он называет себя священником Серапионом и уже давно живет в этом лесу, где собственными руками выстроил себе хижину. Люди болтают, что у него голова не совсем в порядке, но он все-таки благочестивый человек, никому не делающий зла и часто наставляющий нас, соседних жителей, поучительной речью и добрым советом".

Я надеялся, возвратясь в Б***, узнать о моем пустыннике более интересные подробности и, действительно, узнал. Доктор С*** рассказал мне всю его историю. Он был когда-то одним из замечательно умных и образованных людей в М***, и так как происходил при том из очень хорошей семьи, то немедленно после получения образования ему дали прекрасное назначение по дипломатической части, которое он исполнил с редким умением. При блестящих способностях он обладал еще замечательным поэтическим талантом, налагавшим печать какой-то особенной глубины высокого ума и огненной фантазии на все, что выходило из-под его пера. Тонкий юмор и веселый нрав делали его приятнейшим собеседником в любом обществе. Карьера его шла хорошо, ему даже прочили важный пост посланника, -- как вдруг однажды он непонятным образом исчез из М***. Все поиски оказались тщетны, и ни одна из догадок не привела к желанной цели.

Через некоторое время пронесся слух, что в дальних горах Тироля появился человек, одетый в коричневую рясу, который ходил с

проповедью по деревням и затем возвращался в лес, где жил пустынником. Случилось, что этого человека, называвшего себя пустынником Серапионом, увидел однажды граф П*** и сейчас же узнал в нем своего несчастного исчезнувшего из М*** племянника. Его силой возвратили домой, но все старания искуснейших докторов ничего не могли сделать с ужасным состоянием бешенства, в которое он был приведен этим насилием. Его перевезли в сумасшедший дом в Б***, где искусные и методичные попечения доктора, заведовавшего этим заведением, успели, по крайней мере, прекратить овладевавшие им порывы ярости. Но скоро, вследствие ли принятой относительно его методы обращения или какой-либо другой случайности, сумасшедшему удалось убежать и скрыться на довольно длительное время. Наконец, Серапион оказался живущим в лесу, на расстоянии двух часов пути от Б***, причем врач объявил, что если, жалея несчастного, не хотят довести его опять до состояния бешенства, то следует предоставить ему быть счастливым по-своему и позволить жить в лесу, давая полную свободу делать что ему угодно; всякое же насилие может ему только повредить. Мнение это было уважено, и ближайший полицейский пост в соседней деревне получил предписание вести за несчастным незаметный надзор, не стесняя его ни в чем прочем. Последствия подтвердили вполне мнение врача. Серапион построил небольшую, учитывая обстоятельства, даже удобную хижину, сколотил себе стол и стул, сплел матрац из ветвей и развел кругом небольшой садик, в котором насадил цветы и овощи. Ум его был вполне проникнут мыслью, что он пустынник Серапион, удалившийся при императоре Деции в Фиваидскую пустыню и затем принявший мученическую смерть в Александрии. Во всем прочем он сохранил совершенно свои прежние способности, свой веселый юмор, общительный нрав и мог легко вести самые умные разговоры. Относительно же идеи, на которой он помешался, врач объявил его совершенно неизлечимым и отсоветовал даже всякую попытку возвратить его вновь свету и прежним отношениям.

Вы легко можете себе представить, как заинтересовал меня этот рассказ и как сильно хотелось мне увидеться вновь с моим анахоретом. Вообразите, что я возымел глупость сделать попытку ни более ни менее, как излечить Серапиона от его мономании. Я перечел Пинеля, Рейля и множество других книг о сумасшествии, попавших мне под руку. Мне показалось, что посторонний человек и психолог не по профессии может скорее заронить луч света в помраченном рассудке Серапиона.

При этом занятии я не упустил случая познакомиться более чем с восемью примерами сумасшествия, подобного Серапионову. Наконец, приготовленный таким образом, я в одно ясное утро отправился к моему анахорету. Я застал его в садике с лопатой в руке, поющего

благочестивый гимн. Дикие голуби, которым он щедрой рукой бросал корм, окружали его со всех сторон, а молодая лань кротко протягивала к нему голову через густые ветви подстриженного кустарника. Он, казалось, жил в полном согласии с окружавшими его лесными зверями. Ни малейшего признака сумасшествия нельзя было прочесть на его кротком лице, озаренном какой-то особенной печатью ясного покоя. Вид его совершенно подтверждал сказанное мне в Б*** доктором С***, который, когда я сообщил ему о намерении посетить Серапиона, советовал выбрать для этого ясное утро, так как в это время он охотнее говорил с чужими, а вечером избегал всякого людского общества. Заметив меня, Серапион оставил лопату и дружелюбно пошел мне навстречу. Я сказал, что, устав с дороги, прошу позволения отдохнуть у него несколько минут. "Добро пожаловать, -- отвечал он. -- Все немного, что я могу вам предложить для освежения, к вашим услугам". Он усадил меня на замшелую скамью возле хижины, накрыл маленький стол, принес хлеба, прекрасного винограда, кружку вина и радушно предложил мне все это; сам же, сев против меня, съел с большим аппетитом кусок хлеба, запив его обильно свежей водой. Я не знал, как начать мой разговор, и совершенно недоумевал, с какой стороны атаковать моей психологической мудростью этого ясного, спокойного человека; наконец я собрался с силами и начал:

-- Вы зоветесь Серапионом, милостивый государь?

-- Конечно, -- отвечал он. -- Святая церковь дала мне это имя.

-- В ранней церкви, -- продолжал я, -- известно несколько святых, носивших это имя: аббат Серапион, прославившийся своим милосердием, ученый епископ Серапион, о котором повествует Иеронимус в своей книге "О славных мужах". Был еще, помню, один монах Серапион, который, как рассказывает Гераклид, придя из Фиваидской пустыни в Рим, отверг одну девицу, уверявшую его в том, что она отреклась от мира; он предложил ей в доказательство ее слов пройти с ним раздетой по улицам Рима, и когда она отказалась, то святой человек сказал: "Ты доказала своим отказом, что все еще живешь мыслями в мире и все еще желаешь нравиться! Не хвались же своим величием и не думай, что ты отреклась от света". Если я не ошибаюсь, то этот монах, как его называет Гераклид, был тот же самый, который вытерпел страшные мучения при императоре Деции. Ему, как известно, перерезали сочленения и потом сбросили с высокой скалы.

-- Совершенная правда, -- отвечал Серапион, причем я заметил, что лицо его побледнело и глаза сверкнули мрачным огнем.

-- Совершенная правда, -- продолжал он, -- только этот мученик не имел ничего общего с тем монахом, который в аскетическом исступлении боролся с самой природой; мученик Серапион, о котором вы говорили, не кто иной, как я сам!

-- Как! -- воскликнул я с притворным изумлением. -- Вы утверждаете, что вы тот самый Серапион, который погиб столь ужасным образом несколько веков тому назад?

-- Вы можете, -- продолжал спокойным голосом Серапион, -- находить это невероятным, и я сам подтверждаю, что для того, кто не привык видеть далее своего носа, подобная вещь звучит странным образом, но между тем это именно так! Всемогущий Бог дозволил мне счастливо перенести мое мученичество, и его Святой Промысел судил мне еще долго и тихо жить в этой Фиваидской пустыне. Сильная головная боль и судороги в членах, случающиеся со мной иногда, остались во мне единственным воспоминанием претерпелых мук.

Тут я подумал, что пора начать мое лечение, и издалека, самым ученым образом завел речь о болезни мономании, овладевающей иногда людьми и портящей одним фальшивым тоном весь хорошо настроенный организм. Я привел известный пример одного ученого, который боялся встать со стула из опасения разбить своим носом стекла в окнах соседа, жившего напротив; рассказал историю аббата Молануса, судившего обо всем чрезвычайно здраво, но никогда не покидавшего свою комнату из боязни быть съеденным курицами, так как он вообразил себя ячменным зерном. Затем я стал развивать мысль, что частое сопоставление своего "я" с каким-нибудь известным историческим лицом может легко привести к мономании. Может ли, продолжал я, быть что-нибудь безумнее и несообразнее, чем вообразить Фиваидской пустыней маленький лесок, лежащий в двух часах пути от Б*** и ежедневно посещаемый крестьянами-охотниками, путешественниками, гуляющими, а себя выдавать за святого отшельника, умершего мученической смертью несколько сот лет тому назад?

Серапион слушал меня молча и, казалось, боролся с собой, почувствовав впечатление от моих слов. Я уже думал, что пора нанести последний удар, и -- вскочив с места, схватив его за руки, воскликнул: "Граф П***! Пробудитесь от овладевшего вами злого сна! Сбросьте это рубище! Возвратитесь к вашей семье, которая вас оплакивает, к свету, заявляющему на вас неоспоримые права!". Серапион взглянул на меня мрачным, пронзающим взором, саркастическая улыбка передернула его щеки и рот, и затем он заговорил медленно и спокойно: "Вы, милостивый сударь, говорили долго и, по вашему мнению, хорошо! Позвольте же мне, в свою очередь, сказать вам несколько слов. Святой Антоний и вообще все святые, удалившиеся от соблазнов мира в пустыню, были часто искушаемы злыми духами, пытавшимися из зависти к их душевному спокойствию смущать их своими речами, но, в конце концов, побежденный враг всегда пресмыкался в пыли. То же самое и со мной. Уже не раз являлись ко мне по дьявольскому внушению люди, пытавшиеся уверять, что я -- граф П*** из М***, и

прельстить меня разными мирскими соблазнами. Когда мне не помогала против этих людей просьба, то я обыкновенно выталкивал их из дома и тщательно запираю мой сад; так следовало бы мне поступить и с вами, но, к счастью, надобности в этом не потребуется. Вы явно ничтожнейший из всех моих противников, и я сражусь с вами вашим же оружием, то есть оружием рассудка. Вы завели речь о безумии! Но если кто-нибудь из нас страдает этим ужасным недугом, то, по всем признакам, вы поражены им в гораздо сильнейшей степени, чем я. Вы называете меня мономаном за то, что я считаю себя мучеником Серапионом; мне известно, что много людей думают таким образом или, по крайней мере, уверяют, что думают, но если я действительно безумен, то ведь только сумасшедший может считать возможным вырвать из меня мысль, породившую мое безумие! Если бы это было возможно, то скоро на земле не осталось бы ни одного сумасшедшего, потому что тогда человек научился бы произвольно управлять законами духа, который никогда не был нашей собственностью, но составляет только на время дарованную нам частицу высшей власти, нами управляющей. Если же я не безумец, а действительно мученик Серапион, то не глупее ли еще в этом случае уверять меня в противном и стараться свести с ума на мысли, что я граф П*** из М***, призванный для великих дел! Вы говорите, что мученик Серапион жил много веков назад и что потому я не могу быть им, причем вы, вероятно, основываетесь на убеждении, что время нашего земной жизни не может продолжаться так долго. Но, во-первых, время такое же относительное понятие, как числа, и потому я мог бы вам возразить, что с той точки зрения, как я понимаю время, не прошло и трех часов (говоря употребляемым вами названием), как император Деций велел свергнуть меня со скалы. Но, может быть, несмотря на это, вы попытаетесь заронить во мне сомнение, сказав, что столь долгая жизнь, какую провел я, беспримерна и несвойственна человеческой природе. А скажите мне, прошу вас, известна ли вам продолжительность жизни всех людей, когда-либо живших на земле, если вы так смело употребляете слово "беспримерный"? Или вы сопоставляете всемогущество Божье с бедным искусством часовщика, который не может предохранить от порчи мертвую машину? Вы говорите, что место, где мы находимся, не Фиваидская пустыня, а небольшой лесок в двух часах пути от Б***, ежедневно посещаемый крестьянами, охотниками и прочим народом. Докажите мне это!

Тут я подумал, что сумею его поймать.

-- Хорошо! -- воскликнул я. -- Идите со мной и вы увидите, что через два часа мы будем в Б***. А что показано, то доказано!

-- Бедный ослепленный глупец! -- возразил Серапион. -- Подумал ли ты, какое расстояние отделяет нас от Б***! Но если бы я даже пришел с тобой в город, называемый Б***, то неужели ты думаешь этим меня

уверить, что мы странствовали всего два часа и что место, куда мы пришли, точно город Б***? А что ты мне ответишь, если я, в свою очередь, стану уверять, что ты сам одержим неизлечимым безумием, принимая Фивайдскую пустыню за лес, а далекую Александрию за южнонемецкий город Б***? Такой спор не кончился бы никогда! При этом вот тебе еще доказательство. Взгляни, с каким ясным спокойствием, возможным только для человека, живущего в Боге, говорю я с тобою! Жизнь, какую я веду, возможна только для претерпевшего мученичество! Если воля Всевышнего набросила таинственное покрывало на все, что случилось до этого мученичества, то не тяжкий ли безбожный грех хотеть его приподнять?

Признаюсь, я со всей своей мудростью был уничтожен этим безумцем! Более чем уничтожен -- посрамлен! Строгой, последовательной логичностью своего безумия он решительно сбил меня с моей позиции, и я вполне убедился в нелепости своего предприятия. Тон упрека в его последних словах не мог поразить меня более того чувства удивления, которое внушало мне это воображаемое сознание его прежней жизни, жившее в нем как самостоятельный посторонний дух.

Серапион, казалось, понял мое настроение; он взглянул на меня с выражением чистейшего, откровенного добродушия и сказал:

-- Вы с первого же раза показались мне не совсем дурным человеком, и теперь я убежден в этом окончательно. Очень может быть, что кто-нибудь посторонний, если не сам дьявол, понудил вас меня испытать; я уверен, что сомнение ваше относительно меня было порождено исключительно ожиданием найти анахорета Серапиона вовсе не таким, каким оказался я, чуждый всякого аскетического цинизма, в каком живут многие из моих братьев, и тем, вместо приобретения духовной силы, доводят себя до окончательного разрушения. Я не отдаляюсь ни в чем от того истинного благочестия, которое приличествует человеку, посвятившему свою жизнь Богу и Церкви. Вы могли бы справедливо назвать меня безумным, если бы нашли меня в той отвратительной обстановке, которая окружает многих бесноватых фанатиков. Вы думали найти в Серапионе монаха-аскета, бледного, исхудалого от бессонных ночей и поста, с безумно блуждающим взглядом, напуганного страшными видениями, которые довели до отчаяния самого блаженного Антония, с трясущимися коленями, неспособного держаться прямо и одетого в грязную окровавленную рясу, а вместо того -- встречаете спокойного просветленного человека! И я, правда, когда-то испытал эти муки, посланные мне адом, но едва я очнулся с раздробленными членами и разбитой головой, на меня повеял Святой Дух и исцелил мою душу и тело! О брат мой! Молю Бога, да пошлет он и тебе возможность обрести на земле тот мир и спокойствие, которыми

я наслаждаюсь! Не бойся ложного страха уединения и верь, что только в нем возможна истинно благочестивая жизнь!

Произнося последние слова с настоящим пастырским величием, Серапион умолк, подняв к небу просветленный взор. Признаюсь, меня мороз продрал по коже! Да и было, правду сказать, от чего! Передо мной стоял сумасшедший, считавший свое состояние драгоценнейшим даром неба, находивший в нем одном покой и счастье и от всей души желавший мне подобной же участи!

Я хотел удалиться, но Серапион заговорил снова, переменив тон.

-- Ты не должен думать, что уединение этой дикой пустыни для меня никем не прерывается. Каждый день меня посещают замечательнейшие люди из всевозможных отраслей наук и искусства. Вчера у меня был Ариосто, а после него Данте и Петрарка. Сегодня вечером жду известного учителя церкви Евагриуса и думаю поговорить сегодня о церковных делах, как вчера беседовал о поэзии. Иногда поднимаюсь я на вершину той горы, с которой при хорошей погоде можно очень ясно видеть башни Александрии, и тогда перед моими глазами проносятся замечательнейшие дела и события. Многие уверяют, что это невозможно, и полагают, что так называемые события внешней жизни, которые я вижу, не более как плод моего воображения и фантазии, но я считаю такое мнение одним из самых греховных заблуждений: мы способны усваивать то, что происходит вокруг нас в пространстве и времени, только одним духом. Чем, в самом деле, мы слышим, видим и чувствуем? Неужели мертвыми машинами, называемыми глазом, ухом, руками и тому подобным, а не духом? Неужели дух, воспроизводя в себе, по-своему, формы обусловленного временем и пространством мира, может передать свои функции другому, существующему в нас началу? Явная нелепость! Потому, имея способность познавать события одним только духом, мы должны согласиться, что то, что им познано, действительно существует. Лишь вчера Ариосто, говоря о созданиях своей фантазии, уверял меня, что они выдуманы им и никогда не существовали во времени и пространстве. Я оспаривал это мнение, и он должен был согласиться, что только недостаток высшего просветления может считать ограниченный ум поэта единственным источником созданий, которые вызваны лишь его всевидящим духом. Одним мученичеством можно приобрести этот истинный, просветленный взгляд на вещи и одной уединенной жизнью можно его сохранить. Вы, кажется, со мной не согласны и не вполне меня понимаете? Не мудрено! Может ли дитя мира, будь оно одарено даже самыми лучшими желаниями, постигнуть дела и стремления посвятившего себя Богу анахорета! Выслушайте рассказ о том, что я видел сегодня, с восходом солнца, на вершине этой горы.

И Серапион рассказал мне целую легенду, с таким искусством и последовательностью, какие можно встретить только у одаренных

самой огненной фантазией поэтов. Его образы до того поражали кипящей жизнью и пластической законченностью, что казались виденными во сне, и, слушая его рассказ, можно было в самом деле подумать, будто он все это видел со своей горы. За первой легендой последовала другая, за другой третья, пока солнце не поднялось высоко к зениту. Тогда Серапион встал и сказал, устремя взор вдаль:

-- Вон идет брат мой Илларион; он все на меня ворчит за то, что я слишком много разговариваю с посторонними людьми.

Я понял намек и встал, чтобы удалиться, но при этом спросил, будет ли мне позволено видаться с ним впредь. Серапион ответил с кроткой улыбкой:

-- Вот как! А я думал, что ты, напротив, поспешишь как можно скорее выбраться из этой дикой пустыни, которая так мало подходит к твоему образу жизни. Но, впрочем, если тебе хочется иногда оставлять свой дом для того, чтобы видаться со мной, то я всегда буду рад принять тебя в моем саду и хижине. Может быть, мне удастся обратить того, кто явился ко мне моим яростным противником. Иди с миром, мой друг!

Я до сих пор нахожусь под впечатлением, которое произвело на меня посещение этого несчастного. Меня приводило в ужас его методичное безумие, в котором он видел счастье своей жизни, и в то же время изумлял его глубокий поэтический талант, трогало до глубины души все его существо, проникнутое чистейшим духом кротости и спокойной самоотверженности. Глядя на него, я вспоминал горькие слова Офелии: "Какой благородный дух разрушен! Взгляд вельможи, речь ученого, рука воина, цвет и надежда государства, зеркало нравственности, чудо образования, дивный предмет для наблюдателя -- все, все погибло! Благородный ум звучит фальшиво, как надтреснутый колокол, чудные черты цветущей юности искажены бредом!.." Но все-таки не дерзаю я обвинять Вышнюю волю, которая, доведя несчастного до такого состояния, может быть, спасла его этим в жизни от какой-нибудь грозной подводной скалы и ввела в тихую спокойную гавань. Чем чаще посещал я после того моего анахорета, тем сердечнее к нему привязывался. Всегда находил я его одинаково ласковым, словоохотливым и уже ни разу не приходила мне более мысль стать психиатром. Достойно удивления, с каким умом, с какой проницательностью рассуждал мой отшельник о жизни во всевозможных ее проявлениях, в особенности же о событиях исторических, смысл которых он постигал совершенно с иной точки зрения, чем общеустановившиеся взгляды. Если иногда, несмотря на все остроумие и оригинальность его речей, я решался ему возражать, говоря, что взгляд его не подтверждается ни одним историческим сочинением, он отвечал с добродушной улыбкой, что ни один историк в мире не может знать это лучше него, слышавшего повествования о

событиях от самих участвовавших в них действующих лиц, которые его посещали.

Скоро я должен был оставить Б*** и возвратился туда лишь через три года. Поздней осенью, в середине ноября, а именно четырнадцатого числа, если я не ошибаюсь, поспешил я к моему анахорету. Издалека услышал я звон маленького колокола, висевшего над его хижинкой, и внезапно почувствовал неожиданный страх, точно от плохого предчувствия. Я вошел в хижину. Серапион лежал на своем плетеном одре, со сложенными на груди руками. Я думал, что он спит, но, подойдя ближе, ясно увидел, что он умер!..

-- И ты похоронил его с помощью двух львов! -- перебил своего друга Оттмар.

-- Как так? -- воскликнул изумленный Киприан.

-- Да могло ли быть иначе? -- отвечал Оттмар. -- Приближаясь к хижине Серапиона, ты, конечно, встретил в лесу какое-нибудь удивительное чудовище, с которым вступил в разговор; лесная лань принесла тебе плащ блаженного Афанасия, чтобы завернуть в него Серапионов труп! Но довольно! Теперь я понимаю, почему с некоторого времени ты бредишь монастырями, монахами, пустынниками и святыми! Я заметил это уже в твоём последнем письме, написанном таким мистическим языком, что я невольно над этим задумался. Если я не ошибаюсь, то ты сочинял тогда какую-то удивительную книгу, основанную на глубочайшем католическом мистицизме и содержащую столько чепухи и чертовщины, что скромные и пугливые люди стали бы от тебя открешиваться. Вероятно, ты был тогда начинен глубочайшим серапионизмом.

-- Ты прав, -- отвечал Киприан, -- и я был бы очень рад не выпускать этой фантастической книги в свет, хотя девиз дьявола и стоял на ней, как предостерегающий от него знак. Очень вероятно, что меня побудило к тому мое знакомство с анахоретом. Мне действительно следовало бы его избегать, но ведь и ты, Оттмар, и вы все знаете мою страсть к сближению с сумасшедшими. Мне всегда казалось, что в тех случаях, когда природа уклоняется от правильного хода, мы легче можем проникнуть в ее страшные тайны, и я нередко замечал, что несмотря на ужас, который овладевал мною иной раз при таком занятии, я выносил из него взгляды и выводы, ободрявшие и побуждавшие мой дух к высшей деятельности. Может быть, что основательные, разумные люди почитают такое состояние приступом опасной болезни, но что за нужда, если признаваемый за больного чувствует себя крепким и здоровым.

-- О, что до тебя, мой любезный Киприан, -- начал Теодор, -- то ты, конечно, совершенно здоров, что доказывает твоё крепкое сложение, которому можно позавидовать. Ты говоришь о страшных тайнах природы, а я прибавлю, что избави нас Бог проникать в них взглядом,

который может привести к помрачению рассудка. Никто не станет спорить о кротости и добродушии того вида безумия, которым был одержим Серапион, если только ты изобразил его верно. Его манеры и обращение очень напоминают привычки многих еще живущих поэтов. Но я склонен думать, что, передавая нам этот рассказ спустя много лет после смерти Серапиона, ты значительно его украсил и изобразил одну привлекательную, жившую в твоих воспоминаниях сторону. Что до меня, то я, признаюсь, не могу скрыть ужаса при мысли о том роде безумия, который был у Серапиона. Уже при одном твоём замечании, что он считал свое состояние блаженнейшим в мире и желал тебе того же, я чувствовал, как у меня поднимались дыбом волосы. Допусти только раз поселиться в голове мысли о таком блаженстве -- и все кончено! Безумие твоё будет неизлечимо. Я избегал бы общества Серапиона не только из опасения заразиться им умственно, но даже из простого страха за свою личность, помня французского врача Пинеля, который приводит примеры, что мономаны нередко впадают в бешенство и способны, как дикий зверь, убить всякого встречного.

-- Теодор прав, -- прибавил Оттмар, -- и я тоже осуждаю, Киприан, твоё сумасшедшее пристрастие к безумцам; это в тебе серьёзный порок, в котором ты можешь когда-нибудь горько раскаяться. Что до меня, то я не только избегаю сумасшедших, -- на меня производят неприятное впечатление даже просто люди с чрезмерно развитым воображением, доводящим их иногда до странных, оригинальных поступков.

-- Ну, положим, ты далеко хватил, -- возразил Оттмару Теодор. -- Хотя, впрочем, я знаю, что ты не выносишь никакой оригинальности в выражении внутренних чувств. Люди спокойного темперамента, способные одинаково равнодушно воспринимать и дурные, и хорошие впечатления, действительно, с трудом понимают ту резкость жестов и телодвижений, которыми сопровождается выражение тех разногласий между миром внутренних чувств и внешним миром, которые существуют у обладающих раздражительным характером. Им неприятно и тяжело это видеть. Замечательно, однако, любезный Оттмар, что ты сам, столь чувствительный к этому предмету, нередко напускаешь на себя сплин выше всяких границ. Я сейчас вспомнил об одном человеке, имевшем такой оригинальный характер, что половина города, где он жил, считала его сумасшедшим, несмотря на то, что данных для обвинения в настоящем безумии он представлял менее, чем кто-нибудь. Первое мое с ним знакомство было столь же комично, сколь горестно и трогательно последнее свидание. Я не прочь рассказать вам это для того, чтобы через историю о сплине легче перейти к здравому рассудку после повести о безумии, которую мы только что слышали. Я боюсь только, что буду говорить слишком много о музыке, и вы, пожалуй, сделаете мне тот же упрек, который я

направил Киприану, а именно -- что я немного украсил свой рассказ фантастическими прибавлениями. Но уверяю вас, что, думая так, вы ошибетесь. Я, однако, замечаю, что Лотар бросает очень выразительные взгляды на ту чашу, которую Киприан назвал таинственной и отозвался в многообещающих выражениях о ее содержимом. Не познакомиться ли нам с нею?

Теодор снял крышку с сосуда и угостил друзей таким нектаром, что сами короли и министры общества несущегося петуха признали бы его совершенством и ввели бы в своих владениях без всяких споров.

-- Ну, -- воскликнул Лотар, выпив стакана два, -- теперь, Теодор, рассказывай нам о своем меланхолике! Будь остер, весел, трогателен, словом, будь чем хочешь, только заставь нас забыть проклятого безумного анахорета! Выведи нас из бедлама, куда нас засадил Киприан.

-- Тот, о ком я поведу речь, -- начал Теодор, -- не кто иной, как советник Креспель из Г***. Этот советник Креспель был действительно одним из оригинальнейших людей, которых я когда-либо видел. Когда я приехал в Г*** с намерением прожить там некоторое время, весь город говорил о его новой, только что совершенной проделке, превзошедшей глупостью все прежние. Креспель был известен как опытный, ученый юрист и изрядный дипломат. Один из довольно значительных немецких князей обратился к нему с просьбой составить для него очень важный меморандум с изложением его основательных прав на известную территорию, который он хотел представить на рассмотрение императора. Труд Креспеля увенчался полным успехом, и, когда он потом однажды пожаловался, что не может устроить себе достаточно удобного жилища, благодарный князь в награду за его услугу принял на себя издержки на постройку дома совершенно во вкусе Креспеля. Даже место для дома князь предлагал купить по его выбору. На это, впрочем, Креспель не согласился и просил выстроить ему дом в его собственном саду, расположенном в одной из красивейших местностей.

Немедленно стал Креспель заготавливать и свозить на место постройки все нужные материалы, а затем, одетый в оригинальнейший, им самим выдуманный и сшитый костюм, начал собственными руками размешивать известь, просеивать песок, складывать в правильные кучи камни и т.д. Ни архитектора, ни планов у него не было. Однажды отправился он к известному в Г*** подрядчику и просил его явиться завтра утром к нему в сад для постройки дома с нужным числом каменщиков, рабочих, носильщиков и прочих. Подрядчик, естественно, просил показать ему план и немало изумился, когда Креспель объявил, что никаких планов у него нет и не будет и что вся постройка будет произведена по его указаниям. Когда на другой день хозяин с рабочими

явился на место постройки, они увидели правильно вырытый четырехугольный ров.

-- Здесь, -- сказал Кrespель, -- должен быть заложен фундамент моего дома, а затем я прошу вас начать кладку стен и поднимать их до тех пор, пока я не скажу "довольно!".

-- Как! -- возразил подрядчик, испугавшись, не рехнулся ли Кrespель. -- Без окон, без дверей, без поперечных стен?

-- Совершенно так, как я вам говорю, любезный друг, -- отвечал очень спокойно Кrespель. -- Все остальное придет в свое время.

Только обещание хорошего вознаграждения могло убедить подрядчика начать эту нелепую постройку, и должно сознаться, что никогда ни одна работа не шла так скоро и весело, благодаря тому, что кроме постоянного смеха, оживлявшего рабочих, их поили и кормили отличным образом на месте их работы, так что они никогда ее не покидали. Скоро стены достигли значительной вышины, и однажды Кrespель закричал: "Стой!". Лопаты и молот остановились, рабочие соскочили с мостков и, обступив Кrespеля тесным кружком, казалось, спрашивали улыбающимися лицами: "Ну, а дальше что?".

-- Раздвиньтесь, -- крикнул Кrespель и, добежав до конца сада, медленно зашагал оттуда прямо к одной из выведенных стен, пока не столкнулся с ней лбом. Покачав с неудовольствием головой, он побежал в другой конец, пошел оттуда к другой стене и повторил то же самое. Несколько раз проделывал он этот маневр, пока наконец не закричал, уткнув в стену нос:

-- Эй вы, люди, пробивайте здесь живо дверь!

Он точнейшим образом дал размеры ширины и высоты, и дверь была пробита по его желанию. Кrespель влез в отверстие и весело засмеялся на замечание подрядчика, что стены выведены на высоту здорovenного двухэтажного дома. Походив некоторое время в раздумье вдоль внутренней стороны стен с молотком и лопатой в руке, он вдруг закричал опять:

-- Ломай здесь окно в шесть футов вышины и четыре ширины, а вон там -- в три вышины и четыре ширины, а вон там -- в три вышины, ширины -- в два.

Все это было исполнено. Я сам был свидетелем этой операции, так как приехал в Г*** как раз около этого времени. Забавно было видеть сотню рабочих, толпившихся в саду и с громким смехом выламывавших в каменной стене окна на таких местах, где им бы совсем не следовало быть. Все прочие работы по устройству дома были произведены точно таким же образом -- по указаниям и распоряжениям Кrespеля. Забавная сторона этого предприятия и убеждение, что в конце концов постройка все-таки будет похожа на дом, а главное, Кrespелева щедрость, которая, впрочем, ему ничего не стоила, поддерживали в рабочих бодрый и веселый дух. Затруднения,

представлявшиеся при такой оригинальной манере строить, были побеждены, и дом, глупейший снаружи, так как в нем не было ни одного окна, похожего на другое, скоро был кончен. Внутренность, однако, не была так нелепа, в чем охотно признавались все посетители, в том числе и я сам, когда при более близком знакомстве с Кrespелем был приглашен к нему в гости. До того времени мне не удавалось поговорить с оригиналом даже в двух словах. Он был так занят своей постройкой, что перестал даже ходить по вторникам обедать к профессору М***, как делал обыкновенно, велел сказать на особое приглашение, что он дал слово не переступить порога своей комнаты до празднования новоселья. Знакомые и друзья ожидали по этому случаю приглашения на торжественный обед, но Кrespель позвал только рабочих, мастеров и подмастерьев, строивших дом, и угостил их в самом деле на славу. Каменщики обедались тончайшими паштетами, столяры глодали фазанов, голодные носильщики забирали на этот раз полными руками трюфельные фрикассе. Вечером пришли их жены с дочерьми и начался большой бал. Кrespель сам протанцевал несколько туров вальса, а затем сел в оркестр, взял скрипку и дирижировал музыкой до утра.

В следующий вторник после этого праздника, на котором Кrespель заявил себя таким другом народа, я с удовольствием встретил его у профессора М***. Странность его обращения невольно бросалась в глаза. Неловкость и натянутость его движений заставляла бояться каждую минуту, что он или на что-нибудь наткнется или что-нибудь разобьет, но, к моему удивлению, этого не случилось, так что хозяйка нимало не беспокоилась, видя, как он вдруг начинал раскачивать стол с дорогим сервизом или со всех ног бежал к большому зеркалу, стоявшему на полу, а то и хватал в руки и подбрасывал, как мяч, вазу для цветов из дорогого расписного фарфора. В кабинете Кrespель перетрогал решительно все вещи на столе у хозяина, влезал с ногами на мягкий стул, снимал со стены картину и опять ее вешал на место. Говорил он чрезвычайно много и горячо, так что за обедом это даже бросалось в глаза; в разговоре он то беспрестанно перескакивал с предмета на предмет, то, наоборот, начав что-нибудь, никак не мог отвязаться от одной мысли; в разговоре нередко путался в собственных словах и тщетно старался найти потерянную нить, пока не увлекался чем-нибудь другим. Звук его голоса был то криклив и резок, то вдруг становился мягок и певуч, но никогда не соответствовал характеру высказываемых мыслей. Когда речь зашла о музыке и кто-то отозвался с похвалой о новом композиторе, Кrespель вдруг засмеялся и сказал тихо нараспев:

-- Пусть бы сам сатана спрятал этого музыкального кривляку в ад, на сто миллионов сажень под землю!

А потом вдруг дико закричал:

-- Она ангел! Небесный ангел! Богиня нежных звуков и гармонии, свет и звезда искусства!

При этом слезы покатались у него из глаз. Необходимо объяснить, что ровно за час до того шел разговор об одной известной певице. За столом подавали жареного зайца, и я заметил, что Кrespель с необыкновенной рачительностью складывал на своей тарелке обглоданные кости, потребовав потом, чтобы ему собрали все заячьи лапки, что и было с веселой готовностью исполнено пятилетней дочерью хозяйки. Дети, уже за обедом с любопытством смотревшие на Кrespеля, теперь встали с мест и обступили его стул, впрочем не без некоторой почтительной робости, так что никто не решался подойти к нему ближе трех шагов. Я недоумевал, что из этого выйдет. Между тем подали десерт. Кrespель вдруг вытащил из кармана небольшой ручной токарный станок, привинтил его к столу и с необыкновенным искусством в несколько минут выточил из заячьих костей множество разных безделушек, ящичков, шариков и прочего, которые были тут же с восторгом расхватаны детьми.

Когда вставали из-за стола, племянница профессора спросила:

-- А что делает наша милая Антония, господин советник?

Кrespель сделал такое лицо, как будто откусил кусок померанца, но вместе с тем хотел показать, что это ему очень приятно; выражение это, однако, тотчас исчезло и сменилось сердитым, потом злым, и наконец, как мне показалось, даже каким-то демонским.

-- Наша? Наша милая Антония? -- процедил он сквозь зубы неприятным голосом.

Профессор быстро подошел и строго взглянул на племянницу, из чего я понял, что она задела болезненно отзывающуюся в сердце Кrespеля струну.

-- Что подделывают ваши скрипки? -- весело обратился профессор к Кrespелю, схватив его дружески обеими руками.

Кrespель мгновенно расцвел и ответил своим обыкновенным голосом:

-- О, они в отличном положении, господин профессор! Еще сегодня я разломал великолепную скрипку Амати, которая, помните, по счастливому случаю досталась мне в руки. Надеюсь, Антония удачно разобрала в ней все прочее.

-- Ваша Антония отличная девушка, -- сказал профессор.

-- О да, вы правы, -- крикнул Кrespель и, быстро схватив палку и шляпу, одним прыжком исчез за дверями.

Я успел заметить в зеркале, что светлые слезы катились по его щекам.

Едва Кrespель ушел, я не отставал от профессора с просьбой объяснить мне, какое отношение имели скрипки к Антонии.

-- Ах, -- сказал профессор, -- советник такой странный человек, что даже скрипки делает собственным нелепым способом!

-- Делает скрипки? -- переспросил я с удивлением.

-- Да, -- отвечал профессор, -- Кrespель делает, по мнению знатоков, лучшие в настоящее время скрипки, и в прежнее время он позволял играть на них посторонним, особенно, если какая-нибудь выходила замечательно удачной. Но нынче, сделав новую скрипку, Кrespель обыкновенно поиграет на ней сам с удивительным жаром и увлечением в продолжение двух или трех часов и затем вешает ее на стену, рядом с прочими, не позволяя ни себе, ни кому-либо другому к ней более прикасаться. Если он узнает, что где-нибудь продается скрипка известного мастера, он немедленно ее покупает за первую, какую попросят цену, поиграет на ней несколько раз, разберет потом на части, чтобы изучить ее внутреннее строение и, не найдя того, что воображал найти, бросает с недовольным видом куски от нее в большой ящик, весь наполненный такими обломками.

-- А кто такая Антония? -- быстро спросил я.

-- Это загадочная история, -- отвечал профессор, -- которая могла бы бросить в моих глазах очень дурную тень на Кrespеля, если бы я не знал слишком хорошо его тихий, почти женственный характер и не подозревал в его поступках какой-нибудь тайной, не известной никому причины. Когда много лет тому назад Кrespель поселился в Г***, он жил анахоретом в старом доме на улице N и держал при себе одну старую ключницу. Странности его скоро обратили на себя внимание соседей, и едва Кrespель это заметил, как тотчас же стал искать и делать знакомства, причем в каждом новом доме делался непременно своим человеком, как это вы могли заметить сегодня и у меня. В особенности любили его дети, несмотря на его суровую, странную внешность, и надо заметить, что они никогда его не утомляли, потому что при всем своем дружелюбном с ними обращении он умел внушить к себе род боязливого уважения, защищавшего его от излишней детской навязчивости. Мы все считали его старым холостяком, и он нам в этом не противоречил. Прожив таким образом некоторое время, однажды он вдруг исчез, не сказав никому, куда едет, и вернулся только через несколько месяцев. На следующий вечер окна дома Кrespеля были против обыкновения освещены, что одно уже возбудило любопытство соседей; но каково же было удивление присутствовавших, когда из дома раздались вдруг звуки чудного женского голоса под аккомпанемент фортепьяно. К этому присоединились огненные звуки скрипки, вступившие, казалось с ним в состязание. Все тотчас узнали, что это играл Кrespель. Я сам вмешался в многолюдную толпу, слушавшую под окнами дома этот чудесный концерт, и должен вам сознаться, что пение лучших певиц, когда-либо мною слышанных, показалось мне бледным и ничтожным в

сравнении с голосом и глубочайшей выразительностью, какими была одарена таинственная незнакомка. Никогда в жизни не слышал я такой продолжительности тона, таких соловьиных трелей, такой захватывающей мятежности, таких переходов от могучих звуков органа до нежнейшего лепетания свирели. Сладкое очарование охватило присутствующих до такой степени, что когда певица умолкла, можно было слышать их затаенное дыхание.

Было уже около полуночи, когда из дома раздался знакомый крик советника, которому отвечал с явным, судя по тону, упреком другой мужской голос, и обоих перебивала горько жаловавшаяся на что-то девушка. Все сильнее и сильнее кричал Кrespель, пока, наконец, не впал в знакомый вам протяжный, завывающий тон. Вдруг его прервал отчаянный вопль девушки; на минуту наступила мертвая тишина. Затем послышались быстрые шаги по лестнице; какой-то молодой человек, рыдая, сбежал с нее, и, бросившись в первый же наемный экипаж, умчался в одну минуту. На другой день Кrespель явился к нам чрезвычайно веселый, но ни у кого не хватило мужества завести с ним разговор о происшествии минувшей ночи. Ключница же его на расспросы любопытных объяснила, что он привез с собой прелестную девушку, которую зовет Антонией, и что именно она так очаровательно поет. С ними же приехал какой-то молодой человек, который, судя по его нежному обращению с Антонией, вероятно, был ее женихом. Впрочем, он по непреклонному желанию советника должен был скоро уехать. Кем приходится Антония Кrespелю, никому до сих пор не известно, но можно подумать, что он обходится с ней самым отвратительным образом. Он бережет ее, как доктор Бартоло в "Севильском цирюльнике" берег свою воспитанницу. Она едва смеет выглянуть в окно. Если по настоятельным просьбам он выведет ее в гости, то смотрит за ней глазами аргуса и не выносит в этом случае ни малейшего музыкального звука, а тем более ни за что не допустит, чтобы Антония что-нибудь спела. Впрочем, она и дома уже больше никогда не поет. История пения Антонии в ту ночь, о которой я вам рассказал, сделалась в народе уже какой-то фантастической легендой, граничащей с рассказами о чудесах. Даже те, кто ее никогда не слышал, говорят, критикуя пение какой-нибудь заезжей певицы: "Что это за жалкая пискотня? Петть может только одна Антония".

Вы знаете, как я падаю до подобных фантастических вещей, и можете себе представить, до чего мне захотелось познакомиться с Антонией. Я много слышал рассказов о ее пении, но даже не предполагал, что сама очаровательница томилась во власти сумасшедшего Кrespеля, как в оковах злого волшебника.

Само собой разумеется, что на следующую ночь мне уже грезилось чудное пение Антонии, причем она в выразительнейшем адажио (как мне казалось, мною самим сочиненном), трогательно умоляла меня

спасти ее, а я, подобно новому Астольфу, проникал в дом Кrespеля, как в зачарованный замок Альцина, и освобождал царицу пения от позорных, удерживавших ее уз!

Все, однако, случилось гораздо проще, чем я думал. Едва удалось мне увидеть Кrespеля два или три раза и горячо поговорить с ним о конструкции скрипок, как он сам пригласил меня посещать его дом. При первом же визите он показал мне богатство своей коллекции скрипок. Не менее тридцати штук их висело на стенах кабинета, и из них особенно обращала на себя внимание одна, носившая на себе следы глубокой древности, с вырезанной львиной головой и всем прочим. Она висела выше остальных и была увенчана цветочным венком, как царица.

-- Эта скрипка, -- ответил Кrespель на мой вопрос о ней, -- замечательнейшее и удивительнейшее произведение неизвестного мастера, вероятно, времен Тартини. Я убежден, что во внутреннем ее строении скрыто что-то особенное, и если бы я разобрал ее на части, то, уверен, проник бы в эту тайну, узнать которую давно добиваюсь. Вы, может быть, будете надо мной смеяться, если я вам скажу, что эта мертвая вещь, в которую жизнь и звуки вливаю я, чудесным образом сама говорит со мною. Когда я заиграл на ней в первый раз, мне казалось, что я не более как магнетизер, старавшийся возбудить сомнамбулу для того, чтобы она высказала собственными словами свои внутренние чувства. Вы, конечно, не должны думать, что я и правда верю в такие фантастические сумасбродства, но верно, однако, то, что я никогда не мог решиться разломать эту глупую деревянную вещь. И теперь я сам этому радуюсь, потому что с тех пор, как у меня живет Антония, я иногда играю ей на этой скрипке. Антония слушает ее охотно, очень охотно!

Эти слова, произнесенные растроганным голосом, ободрили меня до того, что я решился сказать:

-- О, любезный господин советник! Не сделаете ли вы это теперь в моем присутствии?

Лицо Кrespеля мигом приняло кисло-сладкое выражение, и он сказал известным уже мне протяжным, певучим голосом:

-- Нет, дражайший господин студиозус, нет!

Тем дело и кончилось. Впрочем, он еще долго показывал мне разные бессмысленные безделушки и, наконец, открыв небольшой ящик, вынул оттуда что-то завернутое в клочок бумаги и, сунув его мне в руку, сказал торжественным голосом:

-- Вы -- друг искусства, примите же от меня этот подарок, который должен для вас навсегда остаться незабвенной памятью.

С этими словами он взял меня за плечи и, заставив дойти до дверей комнаты, обнял еще раз на пороге. Ясно, что этим символическим намеком он выпроваживал меня вон. Развернув бумажку, я нашел в ней

маленький, величиной в осьмушку дюйма, кусочек квинты и при нем надпись: "Часть квинты, бывшей на скрипке покойного Стамица, когда он играл свой последний концерт".

Резкий отказ Кrespеля, едва я заикнулся об Антонии, казалось, отнимал у меня всякую надежду когда-либо ее увидеть, но на деле вышло не так, и когда я пришел в нему во второй раз, Антония сидела в комнате, помогая ему собирать скрипку. Наружность ее не производила большого впечатления с первого взгляда, но, всмотревшись в нее пристальнее, трудно было оторваться от голубых глаз и розовых губок ее замечательно милого личика. Оно казалось бледным, но чуть разговор заходил о чем-то изящном, умном или хорошем, легкий румянец мгновенно вспыхивал на ее щеках, мало-помалу замирая опять в розовой, матовой бледности. Я разговорился с ней без всякого стеснения и при этом ни разу не заметил в Кrespеле того аргусова взгляда, о котором мне говорил профессор. Он был совершенно в своем обычном расположении духа и даже, казалось, остался очень доволен моим разговором с Антонией. Чем чаще я стал посещать их дом и чем более мы привыкали друг к другу, тем теснее сближался, к общей живейшей радости, наш маленький кружок. Советник много забавлял меня своими оригинальными выходками, но, конечно, главной чарующей приманкой была для меня Антония, заставлявшая меня часто переносить то, от чего, по моей тогдашней нетерпеливости, я иной раз готов был убежать.

Свойственная Кrespелю оригинальность выражалась иногда довольно скучным, чтобы не сказать, глупым, образом; в особенности же бесило меня его поведение, когда я заводил речь о музыке или еще более о пении. Он кривил лицо на манер какой-то дьявольской улыбки и, отпустив своим завывающим противным голосом какую-нибудь самую обыкновенную пошлость, менял таким образом немедленно разговор. Глубокое огорчение, выражавшееся в подобных случаях на лице Антонии, ясно показывало, что эта выходка имела единственной целью воспрепятствовать мне когда-либо услышать ее пение. Но я не оставлял своих попыток. Препятствия, которые ставил мне советник, только разжигали мое желание их преодолеть; мне надо было услышать пение Антонии хотя бы для того, чтобы не сойти с ума, бредя им по ночам.

Однажды вечером Кrespель был в особенно хорошем расположении духа. Он только что разломал старинную кремонскую скрипку и нашел, что душка была в ней на половину линии более скошена, чем обыкновенно. Важное, обогатившее практику открытие! Мне удалось возбудить в нем жар разговором об истинном искусстве скрипичной игры. Кrespель заговорил о старинной манере пения великих певцов, чем, естественно, вызвал замечание, что нынче искусство это попало на

ложную дорогу, гоняясь за одной виртуозностью, приличной только артистам-инструменталистам.

-- Может ли быть что-нибудь глупее, -- воскликнул я, вскочив со стула и подбежав к фортепьяно, которое тут же открыл, -- может ли быть что-нибудь глупее этих нелепых пассажей, которые похожи более на рассыпанный по полу горох, чем на музыку!

Я спел несколько современных фермат, перекрученных и вертлявых, как кубарь, аккомпанируя одними пустыми аккордами. Креспель хохотал как сумасшедший.

-- Так, так! -- говорил он, задыхаясь. -- Я так, кажется, и слышу наших немецких итальянцев или итальянских немцев, как они распинаются в какой-нибудь арии Пучитты, Портогалло, "Maestro di capella*", или, вернее, "Schiavo d'un primo uomo!***".

* *Капельмейстер (итал.).*

** *Первый среди рабов (итал.).*

Теперь, подумал я, настала минута.

-- Не правда ли, -- обратился я вдруг к Антонии, -- такая манера петь не ваша?

И при этом заиграл чудную, полную жизни песню старика Леонардо Лео. Щеки Антонии вспыхнули, небесный огонь сверкнул в оживившихся глазах, она бросилась к фортепьяно, губы ее открылись - но вдруг в один миг Креспель вскочил со стула, крепко схватил меня за плечи и крикнул душераздирающим тенором:

-- Сынок! Сынок! Сынок!

Вслед за тем он продолжил тихим певучим голосом, держа в самой учливой позе мою руку:

-- Было бы крайне невежливо и в высшей степени противно общепринятым правилам приличия, любезный господин студиозус, если бы я громко выразил желание, чтобы сам дьявол взял вас на этом месте своими калеными когтями за ворот и отправил таким образом куда следует! Но, несмотря на это, вы должны помнить, что на улице становится темно, а на лестнице нет света, и потому, если бы я даже вас с нее не сбросил, то вы все-таки рискуете переломать ноги, ежели станете спускаться в потемках! А потому убирайтесь домой подобру-поздорову и не поминайте лихом вашего покорнейшего слугу в случае, если вы более никогда -- вы это слышите! -- никогда не найдете его дома!

Затем он меня обнял, повернул и, по-прежнему крепко держа, довел до двери, так что я не мог даже взглянуть на Антонию. Вы понимаете, что при всем моем желании поколотить Креспеля палкой, я не мог этого сделать в том положении, в каком находился.

Профессор долго надо мной смеялся и уверял, что отношения мои с советником испорчены теперь навсегда. Я слишком уважал или, вернее сказать, боготворил Антонию, чтобы разыгрывать перед ней роль подоконного воздыхателя и искать любовных приключений. С растерзанным сердцем оставил я Г***, и хотя мало-помалу, как это всегда бывает, пламенные краски моей фантазии стали блекнуть, но память об Антонии и ее пении, которого я никогда не слышал, часто озаряла мое сердце светом, похожим на тихое мерцание бледно-розовой вечерней зари.

Через два года, уже совершенно устроившись в Б***, предпринял я путешествие по южной Германии. На ясной вечерней заре предстали предо мной башни Г***, и чем ближе я к нему подъезжал, тем сильнее охватывало меня чувство какого-то мучительного страха. Грудь мою точно давила свинцовая тяжесть, я не мог дышать и вынужден был выйти из кареты на свежий воздух. Грусть овладела мной настолько, что я почти ощущал физическую боль, как вдруг я услышал аккорды торжественного хора, пронесшиеся в воздухе. Звуки становились все явственнее, и я уже мог различить мужские голоса, певшие церковный гимн.

-- Что это значит? -- воскликнул я, почувствовав в то же время, будто раскаленный кинжал пронзил мне сердце.

-- Разве вы не видите? -- отвечал почтальон. -- Кого-то хоронят.

Мы в самом деле ехали мимо кладбища, и я ясно видел группу одетых в траур людей, стоявших около гроба, который готовились закопать. Слезы брызнули у меня из глаз; мне казалось, что тут хоронили всю радость и счастье моей жизни. Лежавший на дороге холм скрыл кладбище из моих глаз, так что я не мог более видеть, что там происходило; хорал умолк, и скоро я увидел выходящих из ворот кладбища людей в траурных одеждах. Они возвращались с погребения. Профессор с племянницей под руку, оба в глубоком трауре, тихо прошли мимо, не заметив меня; племянница закрывала глаза платком и плакала навзрыд. Я чувствовал, что не в силах ехать в город, и, отправив своего слугу с каретой и вещами в гостиницу, сам бросился прогуляться по знакомым местам, думая разогнать то тяжелое настроение, которое, может быть, было следствием усталости, дорожной жары или чего-либо подобного.

Проходя по аллее, ведущей к загородному увеселительному заведению, я был поражен удивительным зрелищем. Два одетых в траур человека вели под руки советника Кrespеля, старавшегося странными прыжками от них вырваться и убежать. Он был одет, как всегда, в свой оригинальный им самим сшитый сюртук, и только длинный черный креп развевался по воздуху на его маленькой треугольной надвинутой на одно ухо шляпе. На поясе была у него надета черная португеза, в которой вместо шпаги болтался длинный

скрипичный смычок. Холод пробежал у меня по жилам. "Он сошел с ума", -- подумал я, своротив с дороги, чтобы пойти за ним. Провожатые довели его до дома, где он обнял их, громко засмеявшись. Они ушли; он же тут только увидел меня рядом с собой. Тупо посмотрев на меня несколько минут, он наконец воскликнул глухим голосом:

-- Здравствуйте, господин студиозус! Вы все хорошо поймете! -- И, схватив за руку, он потащил меня по лестнице за собой в дом, в комнату, где висели его скрипки.

Все они были завешены черным крепом, но старинной скрипки уже не было, на ее месте висел кипарисовый венок.

-- Понимаю! -- воскликнул я с неизъяснимой горестью. -- Антония! О Антония!

Креспель стоял передо мной, словно в удивлении, со сложенными на груди руками. Я указал на кипарисовый венок.

-- В минуту ее смерти, -- проговорил Креспель глухим, торжественным голосом, -- душка скрипки разлетелась вдребезги, а дека раскололась во всю длину! Верная подруга могла жить только в ней и с ней! Она положена в ее гроб и похоронена с нею вместе.

Пораженный, я опустился на стул, а Креспель вдруг затянул хриплым голосом веселую песню и начал подпрыгивать при этом на одной ноге, так что на него становилось страшно смотреть; креп на шляпе, которую он не снял и в комнате, развеялся во все стороны, задевал за висевшие скрипки, и вдруг, при одном диком прыжке Креспеля, длинный конец креповой ленты хлестнул меня по лицу. Я не мог удержать невольного крика; мне казалось, что какая-то страшная сила, схватив, тащит меня в бездну безвозвратного сумасшествия. Вдруг Креспель остановился и заговорил своим певучим голосом:

-- Сынок, а сынок! Что ты кричишь? Или ты увидел ангела смерти? Это бывает в таких случаях! -- И выйдя на середину комнаты, он выхватил из портупеи смычок, поднял его обеими руками над головой и разломал вдребезги.

-- Ну вот, -- закричал он с громким смехом, -- вот и шпага переломлена надо мною! Значит, я осужден на смерть! Не так ли сынок? Нет, нет!.. Теперь я свободен, свободен!.. Тра-ла-ла!.. Больше я не буду делать скрипок! Не буду, не буду!.. Тра-ла-ла!

Все это пропел он на какой-то неистово веселый мотив, подпрыгивая на одной ноге. Полный ужаса, я бросился к двери, но Креспель меня удержал и сказал спокойным голосом:

-- Оставайтесь, господин студиозус! Не сочтите безумием это выражение горя, которое гложет меня хуже смертной пытки; все случилось только из-за того, что я недавно сшил себе новый шлафрок, в котором хотел блаженствовать, как Бог или сама судьба.

Тут он принялся болтать уже совершенную чепуху и вконец обессиленный опустился с подкошенными ногами. На мой зов явилась его старая хозяйка, а я с радостью вырвался наконец на свежий воздух.

Я не сомневался ни одной минуты, что Кrespель сошел с ума, но профессор утверждал обратное.

-- Есть люди, -- говорил он, -- у которых природа или немилосердный рок сорвали покров с таких сторон жизни, которые показались бы безумными в каждом из нас, не будь они обыкновенно скрыты от взгляда посторонних. Люди эти похожи на тех существ с прозрачной кожей, у которых можно наблюдать движение их мускулов, что, конечно, отвратительно на вид, но тем не менее совершенно правильно; что у нас остается мыслью, то у Кrespеля сейчас же переходит в действие. Желчь, накипевшую под влиянием заключенного в земные оковы духа, Кrespель выражает в странных ужимках и диких кривляньях, но это именно и служит для него громоотводом. Он воздает земле земное -- но божественную искру хранит свято. Потому я думаю, что рассудок его в совершенном порядке, несмотря на внешние резко бросающиеся в глаза безумные выходки. Внезапная смерть Антонии, конечно, сильно его поразила, но я бьюсь об заклад, что с завтрашнего дня жизнь его поплетется обыкновенным, привычным ходом.

Слова профессора оправдались. На другой день советник смотрел совершенно по-прежнему и только объявил, что он уже никогда не будет более делать скрипок и даже ни на одной не попробует играть. Слово это, как я узнал впоследствии, он хранил свято.

Намеки профессора укрепили меня еще более в мысли, что странные, так тщательно скрываемые отношения Кrespеля к Антонии, а, может быть, даже ее смерть должны лежать на его душе тяжелым, неискупимым грехом. Я не хотел оставлять Г***, не обнаружив подозреваемого мною преступления. Я думал, что, если мне удастся внезапно потрясти Кrespеля до глубины души, то вынужденное признание ужасного поступка сорвется с его языка. Чем более обдумывал я это дело, тем более, казалось мне, убеждался в злодействе Кrespеля и тем с большим жаром готовил красноречивую, огненную речь, которая будто сама собой выливалась у меня в великолепные риторические формы. Так настроенный и разгоряченный донельзя, отправился я к нему. Кrespель сидел со спокойным улыбающимся лицом и точил игрушки.

-- И вы можете, -- вдруг накинулся я на него, -- чувствовать хоть на минуту душевный покой, не терзаясь ужасными угрызениями совести при мысли о вашем страшном злодействе!

Советник устал на меня изумленный взгляд и отложил резец в сторону.

-- Что вы сказали, мой дражайший? -- спросил он. -- Садитесь пожалуйста, вот вам стул.

Я с жаром продолжил свою речь и, разгораясь все более и более, перешел уже прямо к обвинению его в убийстве Антонии, угрожая ему карой Всевышней власти. Получив недавно юридическую степень и потому полный рвения к своему призванию, я зашел так далеко, что стал даже грозить ему доносом, возбуждением следствия и отдачей его еще здесь в руки светского правосудия. Я, кажется, в самом деле немного заврался, потому что, по окончании моей высокопарной речи, Кrespель, не возражая ни единым словом, взглянул на меня очень спокойно, как бы ожидая, не стану ли я продолжать. И точно, я чуть было не начал снова, но тут стало у меня уже все выходить так глупо и нескладно, что пришлось замолчать. Кrespель с явным удовольствием заметил мое замешательство; злая ироническая улыбка скользнула по его губам, но потом лицо его вдруг приняло важное выражение, и он заговорил торжественным тоном:

-- Молодой человек! Вы можете, если хотите, считать меня глупцом и безумцем; я вам это прощаю потому, что мы оба сидим в одном сумасшедшем доме, и если вы нападаете на меня за то, что я вообразил себя Богом Отцом, то только потому, что себя вы считаете Богом Сыном!.. Но как осмеливаешься ты вторгаться в чужую жизнь и стараться объяснить ее сокровеннейшую тайну, когда тайна эта всегда была и всегда должна остаться для тебя закрытой! Но она улетела, и тайна открылась!

Кrespель умолк, встал со стула и прошелся несколько раз по комнате. Я осмелился попросить объяснения. Он пристально на меня посмотрел, схватил за руку и, подведя к окну, открыл обе его половинки; затем лег грудью на подоконник и, свесившись таким образом в сад, рассказал мне историю своей жизни. Растроганный и пристыженный ушел я от него по окончании рассказа.

Дело Антонии объяснилось просто. Доходившая до страсти любовь советника к отыскиванию и покупке скрипок старых мастеров привела его лет двадцать тому назад в Италию. Сам он тогда скрипок еще не делал, а потому и не разбирал их на части. В Венеции услышал он знаменитую певицу Анджелу, блиставшую тогда в первых ролях в театре Сан Бенедетто и возбуждавшую всеобщий энтузиазм столько же доведенным ею да совершенства искусством, сколько и своей ангельской красотой. Кrespель искал случая познакомиться с ней и благодаря его смелой, выразительной игре на скрипке ему в самом деле удалось снискать полное расположение красавицы, несмотря на неловкость и угловатость его манер. Такое сближение привело их через несколько недель к браку, который, впрочем, остался негласным, потому что синьора Анджела ни за что не согласилась ни оставить

театр, ни переменить прославленное ею имя, да еще на такое неблагозвучное имя Кrespель.

Со злейшей иронией описывал Кrespель терзания и мучения, которые заставила его вытерпеть синьора Анджела с тех пор, как стала его женой. Капризы и злость всех первых певиц в мире, казалось, по его словам, были сосредоточены в маленькой фигурке его жены. Чуть, бывало, захочет он настоять на чем-либо и показать, что он муж, Анджела тотчас же созовет в дом целый полк аббатов, музыкантов, студентов, которые, не зная их настоящих отношений и считая Кrespеля несносным надоедающим воздыхателем, осмеивали его самым обидным образом в его собственном доме. Как-то раз после одной из таких бурь Кrespель просто убежал в загородный дом Анджелы и, чтобы забыть горе, стал фантазировать на своей кремонской скрипке. Но не прошло получаса, как синьора, уехавшая тотчас вслед за ним, внезапно вошла в комнату. На этот раз ей почему-то пришло в голову разыграть нежную супругу. Подойдя к Кrespелю, она обняла его с ласковым и заискивающим взглядом и припала головкой к его плечу. Но супруг, погруженный в мир своих аккордов, ничего не видел и продолжал пилить смычком так, что дрожали стены. Вдруг, при одном неистовом взмахе руки, смычок заехал не туда куда следует и довольно неосторожно задел синьору. "Asino tedesco!"* -- крикнула Анджела, а затем, вскочив, как фурия, вырвала из рук Кrespеля скрипку и в один миг разбила ее вдребезги о стоявший тут же мраморный стол. Кrespель остолбенел, но, очнувшись, как будто пробудясь от сна, он вдруг с неистовой силой схватил Анджелу обеими руками и выбросил ее, как мячик, за окно ее собственного дома. Сделав это, Кrespель, не заботясь более ни о чем, тотчас же уехал к себе в Германию.

* *Немецкий осел (нем.).*

Только спустя довольно долгое время стало ему ясно, что он наделал, хотя он знал, что окно возвышалось над землей всего на каких-нибудь пять футов, и потому, казалось, все условия, чтобы выбросить из него синьору, были вполне благоприятны. Тем не менее не мог он отделаться от чувства тягостного беспокойства, помня, что Анджела в последнее время довольно ясно намекала ему на свое положение сладкой надежды. Он боялся даже наводить справки и потому был застигнут совершенно врасплох, получив месяцев через восемь очень нежное письмо, в котором дорогая супруга, не упоминая ни единым словом о происшествии в загородном доме, уведомляла его о рождении прелестной дочки и убедительно упрашивала, чтобы любимый муж и счастливый отец тотчас вернулся в Венецию. Кrespель, однако, не внял этой просьбе, выпросив, впрочем, у одного близкого друга о

подробностях известного происшествия и узнав, что, вылетев из окна, синьора упала, как легкая птичка, в мягкую, высокую траву и отделалась одним только испугом, не причинив себе ни малейшего вреда. К этому друг прибавил, что употребленное Креспелем героическое средство совершенно преобразило Анджелу. Капризов, причуд, прежней злости не осталось в ней и следа, так что маэстро, который напишет оперу к будущей масленице, будет счастливейшим человеком в мире, потому что синьора обещает петь все эти арии без малейших изменений, приводивших прежде в такое отчаяние всех композиторов. В заключение друг просил Кrespеля не очень распространяться об употребленном им для исправления Анджелы средстве, опасаясь, что иначе, пожалуй, все певицы начнут вылетать из окон.

Рассказ этот сильно взволновал советника, мигом заказал он лошадей и уже сел было в карету, как вдруг закричал: "Стой!.. А что, -- проворчал он сквозь зубы, -- если вдруг дурной нрав Анджелы, как это бывало прежде, вернется к ней вновь, едва она меня увидит? В тот раз я выбросил ее за окно; что же мне придется делать с ней в этом случае?" Говоря так, он вылез вон из кареты, написал своей выздоравливающей жене крайне нежное письмо, в котором премило замечал, как любезно было с ее стороны похвастать перед ним тем обстоятельством, что у дочки было за ухом такое же, как у него родимое пятнышко, и -- остался в Германии. Завязалась живая переписка. Выражения любви, приглашения, жалобы на отсутствие возлюбленного, разочарования, надежды летели из Венеции в Г***, из Г*** в Венецию. Наконец Анджела сама приехала в Германию и, как известно, поступила первой певицей в большой театр в городе Ф***. Хотя она была уже не первой молодости, восторг, возбужденный ее чарующим талантом, был невыразим. Голос ее нимало не пострадал. Между тем Антония подрастала, и ее мать не могла достаточно выразить в письмах к отцу радость по поводу того, какой дивный голос расцвел вместе с нею. То же самое говорили и жившие в Ф*** друзья Кrespеля, убеждая его приехать туда хоть один раз, чтобы подивиться на редкое явление двух великих певиц на одной сцене. Люди эти и не подозревали, в каких близких отношениях состоял Кrespель с этой артистической парой. Советнику страстно хотелось увидеть горячо любимую дочь, о которой он грезил даже во сне, но мысль о жене разом сжимала ему сердце, и он оставался дома, сидя среди своих распиленных скрипок.

Вы, наверное, слыхали в Ф*** о подававшем большие надежды молодом композиторе Б***, которой внезапно пропал без вести? Может быть, вы даже знали его лично. Юноша этот страстно влюбился в Антонию, а так как она сердечно отвечала ему тем же, то оба обратились к матери с неотступными просьбами немедленно заключить союз, освященный самим искусством. Анджела не имела

ничего против, а Кrespель был даже очень доволен, так как сочинения молодого жениха сумели снискать благосклонность этого строгого судьи. Он уже ожидал известия о совершившейся свадьбе, как вдруг вместо того получил письмо с черной печатью, написанное незнакомой рукой. Доктор Р*** уведомлял советника, что Анджела, простудившись в театре, тяжело заболела и умерла в ночь накануне дня, назначенного для свадьбы Антонии. Умирая, она открылась доктору в том, что была женой Кrespеля, а Антония его дочерью, почему доктор и просил его немедленно приехать, чтобы взять сироту.

Как ни поражен был советник известием о смерти Анджелы, скоро, однако, почувствовал он, что с души его словно свалилась свинцовая тяжесть, душившая его целую жизнь и что теперь только может он дышать свободно. В тот же день поехал он в Ф***. Вы не можете себе представить, до чего трогателен был рассказ Кrespеля о минуте его свидания с дочерью. Самая странность его выражений была проникнута какой-то могущественной поэтической прелестью, которую я не в состоянии воспроизвести. В Антонии сосредоточились все прелести Анджелы без единого из ее дурных качеств. Ни малейшей неровности, ни малейшей резкой черты нельзя было подметить в ее грациозном существе. Молодой жених явился также. Антония с нежным вниманием спела восхищенному отцу несколько мотетов старого падре Мартини, которые, как ей было известно, Анджела постоянно должна была ему петь в счастливейшее время их любви. Старик рыдал! Сама Анджела не могла бы спеть так. В тембре голоса Антонии было что-то неизъяснимое, напоминавшее то Эолову арфу, то трели соловья. Слушая ее, невозможно было себе представить, чтобы такие звуки могли вырываться из обыкновенной человеческой груди. Сияющая радостью и счастьем, Антония спела все свои лучшие песни, а в промежутках фантазировал Б***, как только может фантазировать упоенный восторгом влюбленный. Кrespель плавал в блаженстве, но потом вдруг задумался и замолчал, как будто что-то соображая. Наконец, он внезапно вскочил со стула, прижав Антонию к сердцу, и проговорил ей тихо и мрачно:

-- Не пой больше! Не пой, если только меня любишь! У меня сжалось сердце! Страшно, страшно... Не пой больше!

-- Нет, -- говорил Кrespель на другой день доктору Р***, -- когда во время пения румянец ее вдруг слился в два темно-красных пятна на бледных щеках, я увидел, что это не простое фамильное сходство! Это именно то, чего я так боялся!

Доктор, с самого начала разговора стоявший с печальным лицом, сказал:

-- Может быть, что слишком большое напряжение в груди во время пения было тому причиной или виновна сама природа, но верно то, что Антония страдает органическим пороком сердца, в чем именно и

заключается причина этой поразительной силы и выходящего, могу даже сказать, за пределы человеческого голоса тембра. Но это же неминуемо приведет ее к преждевременной смерти, и я даю ей не более шести месяцев жизни, если она будет продолжать петь.

Слова эти впились в сердце Кrespеля, как сто ножей. Прекрасный, расцветший для него в первый раз в жизни цветок он должен был подсесть у самого корня, отказавшись навсегда от его чудной зелени и цвета. Но решение его было твердо. Он все рассказал Антонии и предложил ей на выбор: идти ли за своим женихом, прельстясь радостями любви и света, но зато погибнуть ранней смертью, или посвятить себя отцу, успокоив его печальную, не знавшую счастья старость, и зато прожить еще долгие годы. Антония, рыдая, бросилась в объятия отца, но он, чувствуя всю тягость для нее настоящей минуты, не хотел продолжать разговора с ней и обратился к жениху, которого, несмотря на все его уверения и клятвы, что никогда ни один звук не вырвется из груди Антонии, успел, однако, убедить, что ему самому не хватит сил побороть желание услышать пение Антонии хотя бы только в его собственных сочинениях.

-- Сама публика, -- говорил Кrespель, -- не даст вам покоя и будет по своей эгоистичности искать случая насладиться пением Антонии, даже зная о ее болезни.

Вскоре советник с дочерью уехали из Ф*** и поселились в Г***. В отчаянии уехал туда и Б***. Он не оставил совершенно своих домогательств и настиг уехавших в самом Г***.

"Увидеть его раз и потом умереть!" -- умоляла Антония. -- "Умереть?.. Умереть!" -- воскликнул Кrespель в ярости; холодная дрожь пробежала по его жилам. Дочь, единственное существо в мире, доставившее ему несколько минут неведомого для него счастья, примирившего его с жизнью, и та сама отрывалась от его сердца! Ну если так, то будь что будет! Б*** сел за фортепьяно, Антония запела, Кrespель с восторгом схватил скрипку. Вдруг зловещие красные пятна показались на ее щеках. Кrespель остановил всех. Прощаясь с женихом, Антония не выдержала и с громким воплем лишилась чувств.

-- Я думал, -- рассказывал мне Кrespель, -- что она, как я и ожидал, умрет на месте, но, чувствуя, что сам это вызвал, остался довольно спокоен. Схватив за плечи Б***, который стоял потрясенный, с глупой физиономией, я ему сказал (тут Кrespель впал в свой протяжный, завывающий тон): "Так как вы, почтенный господин фортепьянщик, согласно вашему желанию успели уморить вашу возлюбленную невесту, то теперь вам остается только спокойно отправляться домой, а не то, вы меня извините, может случиться, что я проткну вас моим охотничьим ножом, чтобы подкрасить вашей драгоценной кровью бледные, как вы видите, щеки моей дочери. Убирайтесь же скорей, а не то я пушу нож вам вдогонку!".

-- Вероятно, -- прибавил Кrespель, -- я был очень страшен, произнося эти слова, потому что он вскочил и, вырвавшись от меня, с криком ужаса бросился через дверь на лестницу.

После ухода Б*** Кrespель бросился поднимать лежавшую без чувств на полу Антонию. С глубоким вздохом открыла она глаза и сомкнула сейчас же снова; казалось, она умирала. Кrespель громко зарыдал. Врач, позванный хозяйкой, нашел состояние Антонии тяжелым, но не столь уж опасным, и она в самом деле поправилась скорее, чем смел на то надеяться советник.

Как она к нему привязалась! Как старалась угодить его малейшим желаниям и даже странным причудам! Она помогала ему разбирать старые скрипки и собирать новые. "Я не буду петь, но стану жить для тебя!" -- говорила она кротко, ласкаясь к отцу после того, как отказывала кому-либо в убедительных просьбах что-нибудь спеть. Кrespель по возможности старался не вводить ее в подобного рода искушения и потому не любил бывать с ней в обществе, а также старательно избегал доставлять ей случай слушать музыку. Он хорошо понимал, чего стоило Антонии отказаться от доведенного ею до такого совершенства искусства.

Однажды Кrespель купил прекрасную скрипку, которую и похоронил потом вместе с Антонией, и хотел по обыкновению ее сломать. Антония горестно на него посмотрела и проговорила голосом, в котором слышалась мольба:

-- Неужели и эту?

Советник вдруг почувствовал, что какая-то неодолимая сила заставляет его оставить скрипку нетронутой и даже что-нибудь на ней сыграть. Но едва взял он несколько первых нот, как вдруг Антония радостно воскликнула:

-- Боже! Да это я! Я пою снова!

И в самом деле, в серебристо-светлых звуках инструмента слышалось что-то совершенно особенное, точь-в-точь, как будто они рождались в человеческой груди. Пораженный Кrespель играл как никогда, постепенно одушевляясь, он разразился наконец чудными, полными силы и смелости перекатами, и тут восхищенная Антония всплеснула руками и воскликнула:

-- О! Как хорошо я поступила, как хорошо!

С этой минуты покой и мир воцарились в ее жизни. Часто говорила она отцу: "Мне бы очень хотелось что-нибудь спеть". И Кrespель сейчас же брал скрипку и играл к величайшему наслаждению Антонии ее любимые песни.

Вдруг однажды ночью (это было незадолго до моего вторичного приезда) слышались Кrespелю звуки фортепьяно, доносившиеся из соседней комнаты; скоро он ясно узнал по манере знакомые прелюдии Б***. Он хотел пойти туда, но скованный какой-то странной давящей

на него силой, удерживавшей его словно железными узами, -- не мог ни встать, ни пошевелиться. Вдруг послышался тихий голос Антонии и, разрастаясь мало-помалу до могучего фортиссимо, разрешился звуками глубоко чарующего гимна, собственно для нее написанного бывшим женихом в строго церковном стиле старых маэстро. Чувство, которое испытывал при этом Кrespель, было, по его словам, невыразимо! Ужас и блаженство разом наполнили его грудь! Вдруг какой-то странный бледный свет разлился по комнате, и в его сиянии Кrespель явственно увидел Антонию с Б***, державших друг друга в объятиях, с лицами, озаренными священным восторгом. Звуки песни с аккомпанементом аккордов раздавались по-прежнему, хотя, по-видимому, ни Антония не пела, ни Б*** не играл на фортепьяно. Кrespель чувствовал какое-то тупое бессилие, в котором исчезли постепенно и видение, и звуки... Проснувшись, он еще живо чувствовал тягостный, навеянный сновидением страх. Мгновенно бросился он в комнату Антонии. Она лежала на софе с улыбающимся лицом и закрытыми глазами; руки были сложены на груди; она, казалось, спала и видела во сне небесное блаженство. Подойдя ближе, Кrespель увидел, что она умерла!

* * *

В продолжение рассказа Теодора Лотар не раз выказывал нетерпение и неудовольствие. Он то вставал и начинал ходить по комнате, то опять садился, осушая стакан за стаканом и угощая себя вновь; подошел к письменному столу Теодора, перерыл на нем бумаги и книги, вытащил, наконец, старый, переплетенный с белыми листами домашний календарь и, усердно перелистав его с начала до конца, положил на место с таким видом, как будто вычитал в нем что-то крайне интересное.

-- Нет, это, наконец, невыносимо, -- воскликнул он по окончании рассказа. -- Ты говоришь, что тебе страшно было бы иметь дело с добряком юродивым, о котором нам рассказывал Киприан. Ты боишься проникнуть взглядом в страшные тайны природы, избегаешь не только говорить о таких вещах, но даже слушать о них, и вдруг угостил нас такой безумной историей, что у меня сжалось сердце! Ведь тихий, счастливый Серапион ничто перед твоим страшным, одержимым Кrespелем. Ты хотел рассказом об ипохондрии Кrespеля сделать переход от безумия к здравому смыслу, а вместо того нагородил нам такие картины, что, если присмотреться к ним попристальнее, то, пожалуй, потеряешь собственный здравый рассудок. Если уж Киприан бессознательно украсил свой рассказ собственными прибавлениями, то ты, наверно, сделал это еще в большей степени, потому что я знаю твою способность погружаться при малейших звуках музыки в какой-то сомнамбулический экстаз, доводящий тебя до галлюцинаций. Ты, по

обыкновенно, придавал всей повести некий таинственный оттенок, который действует наверняка, как все чудесное, даже если оно фальшиво. Но меру надо соблюдать во всем, в особенности же там, где может сбиться с пути рассудок. Антония с ее мистической симпатией к старинной скрипке трогательно бесспорно, это признает каждый, но трогательно так, что, вспоминая о ней, чувствуешь, как горячая кровь разливается в сердце и безотрадное тяжелое чувство глубоко проникает в душу! Это гадко, повторяю, гадко! И я не согласен взять назад это слово!

-- Разве я, -- возразил Теодор, улыбаясь, -- хотел рассказать вам вымышленное, по правилам искусства сочиненное произведение? Речь была просто о замечательном человеке, которого я вспомнил в связи с рассказом о сумасшедшем Серапионе. Я просто рассказал происшествие, которое действительно случилось и притом на моих глазах, и если ты, любезный Лотар, находишь его неестественным, то должен вспомнить, что действительно случившееся очень часто кажется нам неестественным.

-- Все это, -- отвечал Лотар, -- нимало тебя не извиняет; ты бы гораздо лучше сделал, если б вовсе промолчал о твоём проклятом Кrespеле или, по крайней мере, придавал его фигуре с присущим тебе искусством более приятный колорит. Но, впрочем, довольно об этом смущающем покой архитекторе, дипломате и скрипичном мастере! Пора его предать забвению! А теперь я склоняю колени перед тобой, дорогой Киприан! Я не назову тебя более фантастическим духовидцем. Ты часто утверждал, что воспоминание -- странная, таинственная вещь. Сегодня ты не мог отвязаться от мысли о Серапионе. Я замечаю, что теперь, когда ты о нём рассказал, дух твой стал свободнее. Загляни же в эту замечательную книгу, в этот глубокомысленный календарь, дающий ответы на все вопросы. Не четырнадцатое ли сегодня ноября? И не в этот ли день нашел ты своего пустытника мертвым в его хижине? Я думаю, что если ты не хоронил его, как полагал Оттмар, с помощью двух львов и даже не видал при этом каких-нибудь других чудес, то все-таки вид твоего умершего друга должен был произвести на тебя очень сильное впечатление. Оно должно было остаться неизменным, и даже очень может быть, что образ его, виденный на смертном одре, запечатлелся помимо воли в твоём сознании гораздо сильнее, чем ты хотел. Доставь же мне удовольствие, любезный Киприан, и расскажи, не было ли по случаю смерти Серапиона еще каких-нибудь чудесных явлений; иначе вся твоя история оканчивается уж слишком обыкновенно.

-- Когда я, -- сказал Киприан, -- глубоко тронутый и потрясенный видом умершего, вышел из хижины, ручная лань, о которой я говорил, прыгнула мне навстречу со светлыми слезами на глазах; дикие голуби окружили меня с робким криком. Когда же я пришел в деревню, чтобы

объявить о смерти пустынного, мне встретились крестьяне с дорогами. Они сказали, что услышав звон колокола в необычное время, догадались, что святой человек готовился умереть или уже умер. Вот все, любезный Лотар, что я могу сообщить, чтобы было тебе над чем позубоскалить.

-- Что ты говоришь, -- громко воскликнул Лотар, вставая со стула, -- что ты говоришь о зубоскальстве? Какого же, значит, ты обо мне мнения, дорогой Киприан? Разве у меня не строгий нрав и не честный характер, чуждый всякой лжи и обмана? Не прямая душа? Не мечтаю ли я с мечтателем, фантазирую с фантазером, плачу с плачущим, радуюсь с радующимся?.. Но взгляни, любезный Киприан, взгляни еще раз в эту прекрасную книгу, полную неопровержимых истин, в этот великолепный календарь! Против четырнадцатого ноября стоит ничтожное имя Левина, но брось взгляд на католический столбец и ты увидишь напечатанное красными буквами "мученик Серапион!" Итак, твой Серапион скончался в день святого, за которого он себя выдавал! Сегодня Серапионов день! Ура! Пью этот стакан в память пустынного Серапиона!.. Следуйте моему примеру, любезные друзья!

-- От всей души! -- воскликнул Киприан, и стаканы зазвенели.

-- Я должен сказать, -- продолжал Лотар, -- что обдумав предмет хорошенько, и еще более вследствие неприятного впечатления, которое произвел на меня рассказ Теодора об отвратительном Креспеле, я совершенно примирился с Киприановым Серапионом. Даже более чем примирился: я уважаю его безумие, потому что так сойти с ума мог только совершенно развитый и притом поэтический дух. Было время, когда поэт и пророк значили то же самое, я и теперь не считаю эту мысль устаревшей, но очень часто бывает, что поэт также мало заслуживает это имя, как и беснующийся фанатик, кричащий о пригрезившихся ему чудесах. Отчего, скажите, иногда поэтическое произведение, вовсе не плохое по форме и изложению, не только не производит на нас никакого впечатления, точно бледная картина, но, напротив, еще более увеличивает производимое холодное чувство? Причина проста -- поэт не видал сам образов, о которых говорит; радость, счастье, ужас и торжество не волновали его души по мере того, как он проникался своим предметом; не побуждали его высказать в огненных словах пожиравшее его внутреннее пламя. Напрасен будет труд поэта заставить нас верить тому, чему он сам не верит да и не может верить, потому что ничего не видал. Такой поэт, говоря старинным сравнением, никогда не будет пророком, и его образы останутся всегда призрачными куклами, кропотливо склеенными из чужого материала! Твой пустынный, любезный Киприан, был истинным поэтом! Он действительно видел то, о чем рассказывал, и потому речь его западала в душу и сердце. Бедный Серапион! Вся причина твоего сумасшествия заключалась в том, что влияние какой-то

враждебной звезды отняло у тебя способность понимать различие между собой и внешним миром, чем единственно и обуславливается земное самосознание... Есть мир внутренний, равно как есть духовная сила, с помощью которой мы познаем его с полной ясностью и блеском в движении жизни, но таков уж наш земной удел, что рядом с ним стоит еще мир внешний, в котором мы заключены и который действует на эту духовную силу как движущий рычаг. Явления внутреннего мира могут вращаться только в кругу, образованном явлениями мира внешнего и, переступая за этот последний круг, дух наш теряет прочную почву, погружаясь в область неясных предчувствий и представлений. Но ты, о мой пустынный, ты не признавал внешнего мира, ты не замечал открытого рычага, которым он давил на твою внутреннюю силу. Когда ты, с наводящей ужас проницательностью, утверждал, что только дух может видеть, слышать и чувствовать, что он один сознает факты и что поэтому признанное им за существующее должно существовать в самом деле, ты забывал при этом, что, наоборот, внешний мир заставляет заключенный в теле дух действовать так или иначе по своему произволу. Твоя жизнь, добрый анахорет, была постоянным сном, от которого ты, вероятно, без большого горя пробудился за гробом. Этот стакан посвящаю также твоей памяти!

-- Замечаете ли вы, господа, что Лотар совершенно изменил свое расположение духа? -- сказал Оттмар. -- Честь и слава напитку, которым угостил нас Теодор. Он, как вижу, умеет прогонять кислое настроение.

-- Не приписывайте, прошу, мое теперешнее веселое расположение исключительно вдохновляющему влиянию этой чаши, -- ответил Лотар. -- Вы хорошо знаете, что я развеселился бы и без этого. Теперь я точно чувствую себя опять хорошо в вашем кругу. Напряженное состояние, в котором я, признаюсь, находился, прошло, и так как я не только примирился с Серапионом Киприана, но даже его полюбил, то уж пусть Бог простит и Теодору его зловещего Кrespеля. Теперь же я вам скажу вот что: мне кажется, можно считать решенным, как упомянул уже Теодор, что каждый из нас не прочь возобновить наши прежние отношения. Но так как многолюдие большого города, отдаленность места жительства и наши занятия этому препятствуют -- давайте назначим день, час и место для еженедельных собраний. Сверх того, я полагаю, будет вовсе не лишним, если мы, по старому обычаю, будем прочитывать друг другу наши выношенные в душе поэтические произведения. Но тут мы должны брать пример с пустытника Серапиона: пусть каждый, прежде чем решится что-либо читать, сначала точно убедится, что он действительно видел и созерцал изображаемый предмет; или, по крайней мере, пусть ревностно стремится отделать возникающие в душе образы всеми подходящими

штрихами, красками, тенями, светом и уже потом только, вполне вдохновясь, выведет изображаемое из внутреннего мира во внешний. Только при таких условиях собрания наши будут покоиться на прочной основе, и мы будем вправе ждать от них живительной пользы для каждого из нас. Пустынник Серапион, будь нашим патроном! -- и да вдохновит его ясновидящий дар каждого из нас! Мы последуем его уставу, как верные братья Серапионова ордена!

-- Не удивительнейший ли из удивительнейших людей наш Лотар? -- сказал Киприан. -- Давно ли он один кричал и шумел против разумного предложения Отмара касательно еженедельных собраний; горячился, сравнивал их безо всяких причин с клубами, кружками и Бог знает с чем, и вот теперь он же не только находит отдельные собрания уже недостаточными, но проектирует даже их направление и устав!

-- Я восставал, -- ответил Лотар, -- только против формальности и филистерства наших собраний, кроме того, я был тогда в дурном расположении духа, которое теперь прошло. Да и может ли филистерство найти место среди нас -- поэтических душ и поэтов в душе? Хоть некоторая склонность к нему есть, конечно, в каждом человеке, но чувствовать иногда такой маленький привкус не мешает, для осторожности. Довольно о дурных сторонах наших собраний; их, поверьте, сам дьявол выкопает при благоприятных обстоятельствах наружу. Давайте лучше обсуждать Серапионов устав! Что вы на это скажете?

Теодор, Отмар и Киприан утверждали единогласно, что литературный характер будущих собраний обрисовуется сам собой, и дали обещание быть верными до последних сил уставу пустынника Серапиона, как его метко окрестил Лотар, причем Теодор справедливо заметил, что обещание это должно заключаться единственно в том, чтобы не надоедать обществу чтением плохих, недостойных произведений.

Весело наполнили они бокалы и обнялись, как верные Серапионовы братья.

-- Полночь еще далеко, -- сказал Отмар, -- и потому было бы очень недурно, если б кто-нибудь угостил нас веселеньким рассказом, чтобы прогнать окончательно мрачное и тяжелое настроение, давившее нас сегодня. Я полагаю, что обязанность Теодора -- исполнить его обещание о переходе к здравому смыслу.

-- Если так, -- отозвался Теодор, -- то я, пожалуй, прочту вам недавно написанный мной небольшой рассказ по поводу одной картины. Когда я стоял перед ней, мне пришла в голову мысль, которую, наверное, не имел да и не мог иметь художник, ее писавший, так как мысль эта тесно связана с одним воспоминанием моей ранней молодости, всплывшим теперь наверх.

-- Я надеюсь, -- заметил Лотар, -- что в рассказе твоём не будет сумасшедших, которых я желал бы с сегодняшнего дня изгнать раз и навсегда из нашего круга, и что вообще рассказ будет достоин нашего патрона Серапиона.

-- За первое я ручаюсь, -- ответил Теодор, -- что же касается второго, то здесь я должен положиться на суд моих почтенных Серапионовых братьев, которых прошу вперед не быть слишком строгими, так как произведение мое основано на легкой, веселой шутке и не претендует на что-либо большее, нежели простой, забавный анекдот.

Друзья обещали свое снисхождение тем охотнее, что введенный в этот день Серапионов устав должен был касаться только будущих произведений.

Теодор вынул рукопись и начал так:

ФЕРМАТА

Прелестная, полная жизни картина Гуммеля, изображающая общество в итальянской харчевне, стала известна публике на берлинской выставке осенью 1814 года, где она доставила истинное удовольствие всем знатокам. Густо оплетенная зеленью беседка, уставленный вином и фруктами стол, за ним две итальянские дамы, сидящие друг против друга, одна из которых поет, другая играет на гитаре; между ними аббат, стоя дирижирующий музыкой. Подняв палочку, он остановился и готов ее опустить, ожидая момента, когда синьора, окончив с поднятыми к небу глазами каденцу, разольется финальной трелью, а гитаристка смело возьмет доминантный аккорд. Аббат весь полон восторга и блаженства, но взгляд его несколько боязлив: более всего на свете боится он прозевать и махнуть жезлом не вовремя; он едва дышит и готов, кажется, связать рот и крылья каждой мухе и каждому комару, лишь бы они не жужжали. И что же! Как раз в эту торжественную минуту с шумом врывается в дверь злодей хозяин с заказанным вином. Беседка пронизана сквозь листья лучами яркого солнца, а на заднем плане виден всадник на лошади, которому подают из харчевни кружку вина.

Перед этой картиной задержались два друга, Эдуард и Теодор.

-- Чем больше, -- сказал Эдуард, -- смотрю я на эту, хотя и старинной школы, но вдохновенную истинной виртуозностью певицу, чем пристальнее рассматриваю ее пестрое платье, чем сильнее восхищаюсь настоящим римским профилем и прекрасным сложением гитаристки; наконец, чем более забавляет меня этот великолепный аббат, тем вернее кажется мне все это выхваченным из настоящей, реальной жизни. Конечно, это карикатура, но карикатура высокая, полная истинной силы и свежести. Я, кажется, сейчас был бы готов вскочить в беседку и схватить одну из этих прелестных оплетенных бутылок, так

приветливо улыбающихся со стола. Мне чудится даже аромат благородного вина!.. Нет, не надо давать остыть подобному настроению в этом тощем воздухе! Идем, выпьем бутылку итальянского вина в честь прекрасной картины, в честь искусства, в честь светлой Италии, где жизнь кипит таким горячим ключом!

Пока разгоряченный Эдуард говорил короткими, отрывистыми фразами, Теодор стоял рядом, глубоко задумавшись. "Да, надо это сделать", -- сказал он и, как бы пробудясь от сна, отошел от картины, но, покидая ее вместе со своим другом, он не мог, однако, удержаться, чтобы не бросить еще раз из дверей страстного взгляда на певиц и аббата.

Предложение Эдуарда было легко исполнимо. Друзья перешли улицу, и скоро в небольшой голубой комнатке в Сала-Тароне красовалась уже перед ними на столе точно такая же оплетенная бутылка, какая была изображена на картине.

-- Мне кажется, -- сказал Эдуард после того, как несколько стаканов было опорожнено, а Теодор между тем все еще сидел повесив голову, -- мне кажется, что картина произвела на тебя странное и далеко не такое приятное, как на меня, впечатление.

-- Напротив, -- возразил Теодор, -- могу тебя уверить, что я наслаждался вполне прелестью этой живой картинки, но меня поразило то, что сюжет ее ничто иное, как верное изображение одного из событий моей жизни; верное до портретного сходства действующих лиц. А ведь ты знаешь, что даже светлые воспоминания способны нас сильно поразить, особенно, если они пробуждаются неожиданным, словно волшебством вызванным образом. Это именно случилось теперь со мною.

-- Как! Картина представляет событие из твоей жизни? -- воскликнул удивленный Эдуард. -- Что певицы и аббат -- удачные портреты, в этом я сам был уверен, но чтоб они были тебе знакомы!.. Рассказывай же скорее, как это случилось; мы одни, и в это время никто сюда не заглядывает.

-- Расскажу с удовольствием, -- ответил Теодор, -- но я должен начать очень издалека, со времени моей ранней молодости.

-- Тем лучше, -- сказал Эдуард, -- я так мало знаю о ней, о твоей молодости. Если рассказ твой окажется слишком длинен, то вся беда будет состоять в том, что мы потребуем лишнюю бутылку вина. А это не повредит ни нам, ни господину Тароне.

-- Все уже привыкли и не удивляются, -- начал так Теодор, -- что я давно бросил все и отдался полностью благородному искусству музыки. Еще будучи мальчиком, я ничего не хотел делать иного и по целым дням то и дело трещал на старых, расколотых фортепьянах моего дяди. Городишко, где мы жили, был крайне плох в музыкальном отношении, так что единственным учителем, который мог мне что-

нибудь показать, был старый, упрямый органист, простой ремесленник в искусстве, мучивший меня скучнейшими фугами и токкатами. Тем не менее я выдержал это испытание, не упав духом. Правда, иногда старик ворчал несносно, но стоило ему смелой рукой сыграть что-нибудь действительно хорошее, я мирился с ним вновь. Чудесные бывали у меня в то время минуты! Часто какая-нибудь пьеса, в особенности же, Себастьяна Баха, казалась мне целой поэмой, исполненной странных событий, и я, играя ее, испытывал тот сжимающий душу ужас, которому так легко предается склонная к фантастическому юность. Когда же зимой городские музыканты с помощью двух или трех плохих любителей давали концерт, причем мне за мое умение держать музыкальный счет поручалась в симфонии партия литавров, то я, казалось, уносился в самый рай. До чего эти концерты были глупы и смешны, понял я только впоследствии.

Учитель мой играл обыкновенно два фортепьянных концерта -- один Вольфа, другой Эммануила Баха; любитель-подмастерье уродовал Стамица, а сборщик податей дул с таким усердием во флейту, что, бывало, каждый раз гасил горевшие на пюпитре свечи, так что их приходилось зажигать вновь. О пении, разумеется, нечего было и думать, к крайнему прискорбию моего дяди, бывшего большим меломаном. С восхищением вспоминал он, как, бывало, в доброе старое время, четверо канторов из четырех церквей сходились в концертном зале для исполнения "Лотхен при Дворе". Особенно восхвалял он в этом случае редкую веротерпимость, которую обнаруживали во имя искусства участники, так как в числе исполнителей не только католики и евангелисты, но даже и реформатская община резко распадалась по французскому и немецкому языку на две враждебные половины. Французский кантор ни за что не соглашался уступить кому-нибудь партию Лотхен и исполнял ее, как уверял меня дядя, с очками на носу и таким тончайшим фальцетом, какой вряд ли когда-либо вырывался из человеческого горла.

У нас в городе проживала тогда, помню, одна старая пятидесятипятiletняя дева по имени фрейлен Мейбель, блиставшая когда-то в звании придворной певицы и получавшая за то небольшой пенсион. Дядя полагал, что за деньги она, вероятно, согласится блеснуть еще раз в нашем концерте. Сначала она немножко поломалась и заставила себя довольно долго просить, но наконец сдалась, и таким образом в концерте появились и бравурные арии.

Замечательная особа была эта фрейлен Мейбель. Я, как теперь, помню ее маленькую, сухоощавую фигуру. Плавнo и торжественно выходила она с партитурой в руках в пестрейшем платье и легким, чинным поклоном приветствовала собрание. На голове ее был какой-то чудной головной убор, с насаженной спереди веткой с цветами,

дрожащей и качавшейся все время, пока она пела. Окончив среди громогласных аплодисментов пение, она с тем же чинным видом передала партитуру моему учителю, дозволив ему при этом в виде особой милости запустить пальцы в ее маленькую фарфоровую табакерку, изображавшую мопса, из которой она на этот раз с особенным наслаждением достала щепотку табаку. У нее был прескверный визжащий голос, при пении она выделявала какие-то вычурные завитки и фиоритуры, и ты можешь себе представить, как на меня действовало все это в соединении с ее карикатурной наружностью. Дядя рассыпался перед ней в похвалах. Я не мог этого понять и гораздо более сочувствовал моему органисту, особенно когда он, вообще презиравший пение, будучи на этот раз в ипохондрически злом настроении духа, преуморительно передразнил после концерта манеру пения смешной старой девы.

Чем более начинал я разделять неуважительное мнение моего учителя о пении, тем выше ценил он мои музыкальные способности. С величайшим рвением преподавал он мне контрапункт, и скоро постиг я тайну фуг и токкат.

Раз, в день моего рождения (мне исполнилось тогда девятнадцать лет), играл я дяде пьесу, мной самим сочиненную, как вдруг явился лакей из нашей лучшей гостиницы и доложил о прибытии к нам двух иностранных дам. Дядя поспешно сбросил свой цветной шлафрок, но прежде чем успел он одеться окончательно, приезжие уже вошли. Ты знаешь, как сильно действует появление всякого заезжего гостя на привыкших жить в маленьком городке, но на этот раз, когда появление было так неожиданно, впечатление его, конечно, оказалось еще сильнее.

Представь себе двух стройных высоких итальянок, одетых в яркие, по последней моде сшитые платья. Смело и бойко обратились они без малейших церемоний прямо к дяде и в один миг закидали его, перебивая друг друга, целым потоком громких, но необыкновенно звучных фраз. Что это был за чудесный язык! Он так мало походил на немецкий! Вижу, дядя не понимает ни слова и, озадаченный, пятится к дивану, приглашая знаком посетительниц сесть. Они садятся, начинают говорить между собою, слова их звучат как музыка; наконец удается им втолковать кое-как дяде, что обе они -- странствующие певицы и желают дать в нашем городке концерт, а обращаются к нему за советом, так как он знаком с устройством подобных вечеров.

Пока они трещали между собой, мне удалось расслышать их имена; что же до их наружности, то я, кажется, могу описать каждую гораздо лучше теперь, чем в ту минуту, когда был так поражен их появлением. Лауретта, казавшаяся старшей, с блестящими пронизательными глазами, и говорившая, резко жестикулируя, особенно живо и храбро атаковала совершенно растерявшегося дядю. Она была ростом

несколько меньше сестры и так прелестно сложена, что, глядя на нее, юные мои чувства смутились каким-то совершенно новым, неведомым мне восторгом. Терезина, более высокая и гибкая, со строгим овальным лицом, говорила меньше, но зато понятнее. Порой она посмеивалась; казалось, ее очень забавлял добрый мой дядя со своим шелковым шлафроком, который он второпях напялил на себя, точно футляр, и при этом тщетно старался как-нибудь запрятать проклятую желтую тесемку, стягивавшую его ночную рубашку и как нарочно предательски вылезавшую наружу. Наконец, гости встали; дядя обещал им устроить концерт в три дня, причем представил меня в качестве молодого виртуоза. Прощаясь, сестры любезно пригласили нас прийти к ним после обеда на чашку шоколада.

С чувством некоторого страха, но вместе с тем и восторга, поднялись мы по лестнице гостиницы, где они остановились. Мы так отвыкли ходить куда бы то ни было, что смущение невольно овладевало нами. Поздоровавшись, дядя счел нужным сказать приготовленную еще дома приличествующую речь о значении искусства, которой, признаться, никто из присутствовавших, считая и самого оратора, не понял. За шоколадом я два раза преболно обжег язык, но вытерпел боль с твердостью Муция Сцеволы и даже постарался улыбнуться. Наконец Лауретта предложила что-нибудь спеть. Терезина взяла гитару, настроила, и полные, звучные аккорды раздались под ее пальцами. Я прежде никогда не слыхал этого инструмента, и меня глубоко поразило его глухо-таинственный тон. Лауретта начала петь тихим голосом, возвышая его мало-помалу до фортиссимо, и -- разразилась смелой фигурой, сделав скачок почти на полторы октавы. Я, как теперь, помню начальные слова песни, которую она пела: "*Sento l'amica speme*"*. У меня сжало грудь от восторга: никогда не слыхал я ничего подобного. По мере того, как пение Лауретты раздавалось все смелее и свободнее, охватывая меня огненными, дрожащими звуками, все ярче и ярче восставало в душе моей давно замороженное в ней сухой схоластикой чувство истинной гармонии, вырываясь наружу широко и пламенно. Ах! В первый раз в жизни слышал я настоящую музыку!

* *Подруга чувствует надежду (итал.).*

Обе сестры спели нам еще несколько превосходных, глубоко прочувствованных дуэтов аббата Стефани. Чистый, звучный контральто Терезины пронзил мне душу. Я не мог преодолеть волнения, и слезы ручьем хлынули из моих глаз. Напрасно дядя, заметивший мое настроение, покашливал в мою сторону, бросая сердитые взгляды. Ничего не помогало, я был решительно вне себя. Певицам это заметно понравилось, и они начали расспрашивать меня о моем музыкальном образовании. Мне стыдно было сознаться в

направлении, которого я до сих пор держался, и с дерзостью, сообщенной воодушевлением, решился я объявить громко, что музыку слушал сегодня в первый раз. "Il buon fanciullo",* -- пролепетала Лауретта нежным, милым голосом.

* *Милый юноша (итал.).*

Придя домой, я почувствовал какой-то припадок ярости. Стоккаты, фуги и даже сочиненная и посвященная мне с собственноручной надписью органиста каноническая тема с сорока пятью вариациями -- все полетело в огонь, а я со злобной радостью смотрел, как двойной контрапункт шипел и корчился на горячих углях. Кончив это аутодафе, я сел за инструмент и старался, подражая звукам гитары, сначала припомнить и подобрать мелодии двух сестер, а потом сам их спеть.

-- Скоро ты перестанешь квакать и терзать мои уши? -- вдруг около полуночи крикнул вошедший ко мне в своем шлафроке дядя и, задув все мои свечи, ушел назад.

Нечего делать, пришлось послушаться. Во сне, мне казалось, я постиг тайну пения, потому что прекрасно, как сам думал, пропел "Sento l'amica speme".

На следующее утро дядя собрал для репетиции концерта всех, кто был только способен в нашем городке во что-нибудь дуть или на чем-нибудь пикировать. Ему явно хотелось блеснуть степенью нашей музыкальности, но, увы, вышла неудача. Лауретта хотела исполнить целую, довольно большую сцену, но уже в речитативе оркестр, никогда не аккомпанировавший пению, понес такую околесицу, что не было никакой возможности продолжать. Лауретта расплакалась, разрыдалась; органист, сидевший за фортепьяно, первый выдержал поток брани, которым она разразилась. С ожесточением встал он с места и вышел вон. Первый скрипач, которому Лауретта пустила вдогонку: "Asino maledetto!"*, также взял скрипку под мышку и, упрямо надвинув на лоб шляпу, отправился вслед за ним. А глядя на них, и прочие музыканты начали, кто спускать смычок, кто отвинчивать мундштуки. Остались одни дилетанты, глупо оглядываясь кругом с видом сожаления, а сборщик податей воскликнул трагически:

* *Проклятый осел (итал.).*

-- О, как мне это прискорбно!

В эту минуту вся моя робость исчезла мигом. Я бросился поперек дороги первому скрипачу, стал его просить, умолять, обещал сочинить ему для городского бала шесть новых менуэтов с двойными трио и -- успел его урезонить. Он вернулся на свое место, за ним уселись и прочие музыканты, так что оркестр оказался вновь в полном составе,

кроме, однако, органиста, который медленными шагами расхаживал по рыночной площади, не внимая никаким просьбам. Терезина смотрела на все, едва удерживаясь от смеха, а Лауретта, напротив, вдруг расцвела настолько же, насколько прежде рассердилась. Она не могла нахвалиться моими хлопотами, спросила, не играю ли я сам на фортепьяно, и не успел я оглянуться, как уже сидел на месте органиста перед партитурой.

Я в жизни ни разу не аккомпанировал пению, а тем более никогда не дирижировал оркестром. Терезина села возле меня, стала подавать мне знаки для каждого темпа, и дело пошло так хорошо, что скоро я заслужил одобрительное "браво!" Лауретты. Оркестр стал согласнее, и все наконец наладилось как нельзя лучше. Вторая репетиция удалась еще более; в концерте же пение сестер произвело уже совершенный восторг.

В столичном городе готовились в то время празднества -- по случаю возвращения князя; обе сестры получили приглашение петь на тамошнем театре и в концертах. А в ожидании поездки, имея некоторое время, решились они остаться в нашем городке и дать еще несколько концертов. Восторг публики не знал границ, только одна старая Мейбель, понюхивая табак из своего фарфорового мопса, говорила, качая головой: "Этого рева и пением то нельзя назвать! Петь надо томно".

Органист мой куда-то исчез совсем, да я его и не искал. Вообще я был счастливейшим человеком в мире. Целый день сидел я у сестер, аккомпанировал, расписывал им голоса и партитуры для будущих концертов в столице. Лауретта стала моим идеалом. Капризы, вспышки, сидение по целым часам за фортепьяно -- словом, все, чем она меня ни мучала, сносил я безропотно. Ведь она одна открывала передо мною мир истинной музыки! Я начал учиться по-итальянски и уже пробовал сочинять канцонетты. В каком блаженстве плавал я, когда, бывало, Лауретта споет и похвалит что-нибудь, сочиненное мной. Часто казалось мне, что я даже не думал и не гадал сам выразить в моем сочинении то, что открывала в нем она, исполняя его своим голосом. К Терезине привязался я далеко не до такой степени. Она пела редко, обращала на меня гораздо меньше внимания и иногда, как мне казалось, даже надо мной подсмеивалась. Наконец, настал день отъезда. Тут в первый раз почувствовал я, чем стала для меня Лауретта, и увидел совершенную невозможность с ней расстаться. Как часто, будучи в расположении духа, что называется *smorfioso**, она вдруг, бывало, приласкает меня самым невинным образом, ну и тут молодая моя кровь вскипала так, что только гордый, холодный вид, какой она умела принимать, останавливал меня, чтобы не схватить и не сжать ее со всей силой огненной страсти в моих объятиях. У меня был небольшой теноришко, которым я до того никогда еще не пел, но

теперь он начал заметно развиваться. Часто пели мы с Лауреттой нежные итальянские дуэты, которым, как известно, несть числа. Один из них, а именно -- "Senza di te ben mio, vivere non poss'io"**, спели мы как раз перед отъездом.

* *Жеманном (итал.).*

** *Без тебя, мой милый, я жить не могу (итал.).*

Могло ли это обойтись даром? Я в отчаянии бросился к ногам Лауретты. Она меня подняла и спросила с удивлением: "Мой друг! Но разве мы расстаемся?"

Я остолбенел и поднялся с колен. Они с Терезиной предложили мне ехать с ними в столицу, доказывая, что в любом случае мне придется уехать из моего городка, если я серьезно хочу посвятить себя музыке. Если ты можешь себе представить положение человека, упавшего в бездонную пропасть, ожидавшего каждую минуту разбиться об острые скалы и вместо того внезапно очутившегося в прелестной беседке из роз, усеянной тысячами прекраснейших цветов, из которых каждый шепчет ему на ухо: "Милый! Ведь ты жив!", то ты поймешь, что я чувствовал в эту минуту. "С ними в столицу!" -- вот была мысль, заполнявшая мою душу.

Я не стану утомлять тебя подробностями о том, как удалось мне убедить дядю отпустить меня только съездить в недалекий столичный город, как он на это согласился, объявив, впрочем, что поедет вместе со мной, и какой удар был этим нанесен всем моим планам, так как в намерении моем ехать путешествовать с певицами я не смел ему признаться. Спасибо, меня выручил катар, которым внезапно дядя захворал.

Я поехал с почтой, но только до первой станции, где и остановился ждать мою богиню. Не совсем пустой кошелек дал мне возможность приготовить им приличный прием. Мне запала в голову романтическая мысль сопровождать моих дам верхом, как подобало паладину-защитнику. Лошадь удалось мне достать неказистую на вид, но очень, по уверению продавца, терпеливую, и на ней я торжественно выехал им навстречу. Скоро показалась медленно тащившаяся маленькая двухместная карета. Спереди сидели сестры, а на прикрепленном сзади небольшом сидении лепилась их горничная, маленькая, толстая и смуглая неаполитанка Жанна. Карета сверх того была чуть не до верху набита множеством корзин, ящиков, сундуков и тому подобной рухлядью, с которой, как известно, дамы даже в путешествии никак не могут расстаться. На коленях Жанны сидели два маленьких мопса, поднявших на мое любезное приветствие невообразимейший лай.

Сначала путешествие наше шло счастливо, и мы подъезжали уже к последней станции, как вдруг лошадь моя почувствовала

непреодолимое желание вернуться домой. Зная, что в таких случаях крутые меры ни к чему не приведут, я испробовал всевозможные ласковые средства, но упрямая скотина оставалась непреклонной, несмотря на все мои дружеские убеждения. Я погонял вперед, а она пятилась назад, и вся уступка, какой я наконец от нее добился, состояла в том, что вместо того, чтобы пятиться, она стала кружиться на одном месте. Терезина, высунувшись из кареты, хохотала как сумасшедшая, между тем как Лауретта с криком закрывала лицо руками, точно дело шло о серьезной опасности для моей жизни. Это придало мне отчаянное мужество; с силой вонзил я шпоры в бока моей клячи и в тот же миг растянулся, сброшенный с седла на землю. Лошадь осталась на том же месте и, вытянув длинную шею, казалось, смотрела на меня с насмешкой.

Я не мог встать сам, кучер поспешил мне на помощь. Лауретта, выскочив из кареты, плакала и кричала. Терезина помирала со смеху. Но оказалось, что я помял ногу и не мог более сидеть верхом. Что тут было делать? В конце концов лошадь привязали к карете, а мне пришлось кое-как поместиться в ней же. Представь себе маленькую двухместную карету, в которой уже были две довольно крупных барышни, толстая горничная, два мопса, дюжина всевозможных сундуков, корзин, баулов, и туда же должен был забраться еще и я! Вообрази себе громкие жалобы Лауретты, что ей неловко сидеть, остроты на мой счет Терезины, ворчание неаполитанки, вой и лай мопсов, мою боль в поврежденной ноге -- и ты постигнешь все удовольствия моего желанного путешествия.

Терезина наконец не выдержала и объявила решительно, что не может более оставаться в таком положении. Мы остановились. Одним прыжком выскочила она из кареты, отвязала мою лошадь, храбро уселась по-дамски в седло и загарцевала перед нами. Признаюсь, она была в эту минуту восхитительна! Прирожденные ловкость и грация выказывались ею на лошади еще прелестнее. Она велела подать себе гитару, обмотала повод вокруг руки и запела гордые испанские романсы, аккомпанируя звучными, сильными аккордами. Ее светлое шелковое платье развевалось по воздуху сияющими складками, а перья, точно что-то ей нашептывая, колыхались на шляпе. Вся ее фигура дышала чем-то романтическим, и я не мог отвести от нее глаз, несмотря на то, что Лауретта бранила ее фантастической дурой и уверяла, что она со своей смелостью свернет себе когда-нибудь шею. Дурного, впрочем, на этот раз ничего не случилось. Каприз лошади прошел или, может быть, певица показалась ей более приятным седоком, чем паладин. Только перед самыми городскими воротами Терезина сошла с лошади и села опять в карету.

Теперь ты должен вообразить меня в концертах, в опере, во всевозможных музыкальных собраниях, вообразить в виде прилежного

репетитора арий, дуэтов и Бог знает чего еще. Ты бы с трудом мог меня узнать, потому что я походил на угорелого. Вся моя провинциальная робость исчезла. Перед партитурой за фортепьяно, дирижируя исполнением моей богини арии или сцены, сидел я важно, как какой-нибудь великий маэстро. Все мои мысли и чувства обратились в мелодию. Упоенный восторгом, писал я по всем правилам контрапунктических тонкостей различные канцонетты и арии, которые Лауретта исполняла с удовольствием, хотя, правда, только дома. Почему не хотела она исполнить что-либо из моих сочинений в концерте, я никак не мог постичь! Иной раз Терезина представлялась мне скачущей на гордом коне, с лирой в руках, как живое олицетворение искусства! В восторге писал я тогда высокую, вдохновенную песню! Лауретта, правда, пела, выделявая всевозможные украшения, как настоящая капризная фея звуков! Но могло ли что-нибудь быть ей запрещено, когда она так хотела? Терезина не делала рулад: небольшой форшлаг, иногда мордента -- вот все, что она себе позволяла, но зато чудный, выдержанный тон ее голоса так великолепно раздавался в ночной темноте! Когда я ее слушал, то мне казалось, что тихие духи заглядывали мне прямо в сердце!.. И как я мог так долго жить, ничего этого не зная!

Наконец наступил уговоренный сестрами концерт-бенефис. Лауретта должна была исполнить вместе со мной большую сцену Анфосси. Я, по обыкновению, аккомпанировал на фортепьяно. Настала последняя фермата, Лауретта хотела превзойти себя. Полились соловьиные трели, выдержанные ноты, невозможные рулады, словом, это было целое сольфеджио! Мне, признаюсь, показалось немножко длинным такое вводное украшение, и я сидел как на углях. Терезина стояла за мной, и вдруг в ту самую минуту, как Лауретта перевела дух, чтобы, залившись нескончаемой трелью, перейти в темпе, как будто сам дьявол толкнул меня хватить финальный аккорд! Оркестр грянул за мною вслед, и великолепная трель, которая должна была окончательно поразить всех, была уничтожена! Я не успел опомниться, как партитура, яростно разорванная белыми ручками Лауретты, полетела мне в лицо, так что клочки осыпали меня с головы до ног. Взгляд ее был готов меня растерзать! Как бешеная убежала она через оркестр в комнату артистов. Окончив tutti*, я поспешил туда же. Лауретта топала ногами, рыдала, плакала.

* *Все (итал.), исполнение музыки всем составом оркестра.*

-- Прочь с моих глаз, злодей! -- закричала она, едва меня увидела. -- Дьявол, лишивший меня всего: моей славы, моей чести, моей трели! Ах, моей трели! Прочь с глаз, исчадие ада! -- И с этими словами она

яростно бросилась на меня с поднятыми кулаками; я едва успел убежать.

С трудом удалось Терезине и капельмейстеру несколько успокоить бесновавшуюся Лауретту, так что по окончании прочих пьес концерта она решилась даже выйти вновь на эстраду, но я не смел уже и думать подойти к фортепьяно. В последнем дуэтино, исполненном обеими сестрами, Лауретте удалось счастливо сделать свою гармоническую трель и возбудить, как и следовало тому быть, ожидаемый восторг публики. Но я уже не мог подавить в себе оскорбления, нанесенного мне Лауреттой перед всей публикой, и твердо решился на следующее же утро вернуться домой. Я уже сложил свои вещи, как вдруг в комнату вошла Терезина.

-- Ты хочешь нас покинуть? -- спросила она.

Я объяснил, что после того, что сделала со мною Лауретта, я не мог оставаться в их обществе.

-- Значит, глупая вспышка сестры, -- сказала Терезина, -- в которой она сама уже сердечно раскаивается, гонит тебя прочь? А где, кроме нашего общества, можешь ты так свободно предаться занятию искусством? Да и не от тебя ли самого зависит отучить Лауретту от таких выходов? Ты слишком ей поддаешься, слишком с ней нежен и тих, а главное, сам вбиваешь ей в голову чересчур высокое о самой себе мнение. Конечно, у нее недурной голос и изрядное умение петь, но что значат все эти каденцы, скачки, эти вечные трели? Не пустые ли это фокусы, похожие на прыжки канатного плясуна? Разве этим можно истинно поразить или глубоко тронуть? Ее трель, которую ты прервал сегодня, я не могу выносить без тяжелого чувства, смешанного со страхом. А это вечное карабканье голоса наверх, к подчеркнутым три раза нотам? Разве это не насилование естественности, которая одна способна увлекать нас и трогать? Нет, что до меня, то я люблю больше средний и низкий регистры. Проникать прямо в сердце -- вот истинное предназначение голоса. Чисто, ровно выдержанный тон, покоряющий душу одной выразительностью, без всяких украшений, -- вот в чем состоит истинное искусство пения, и так понимаю его я. Если ты рассорился с Лауреттой, то подумай о Терезине, которая так тебя любит! Твои взгляды на искусство до того сходны с моими, что ты можешь и должен сделаться композитором исключительно для меня. Ты на меня не сердись, но я тебе скажу прямо, что все твои, написанные для Лауретты вычурные арии и канцонетты, ничто в сравнении с этой.

И Терезина запела своим звучным голосом простой, написанный мною за несколько дней до того гимн в церковном стиле. Звуки с чудной силой проникли мне в душу, слезы восторга брызнули из глаз; я схватил руку Терезины, покрыл ее поцелуями и поклялся никогда с ней не расставаться.

Отношения мои с Терезиной скоро возбудили затаенную зависть Лауретты, смешанную с неудовольствием, потому что, по правде сказать, я был очень ей полезен, так как, несмотря на все свое искусство петь, она ничего не могла выучивать одна, да сверх того плохо читала ноты, беспрестанно сбиваясь с такта. А Терезина пела с листа и умела удивительно держать счет. Аккомпанировать Лауретте было истинным наказанием. Капризы ее выступали при этом ярче всего. Ей никак нельзя было угодить, потому что на аккомпанемент она смотрела только как на неизбежное зло; она полагала, что при пении -- фортепьяно совсем не должно быть слышно. Вечное пианиссимо, вечное стушевывание на задний план да еще и каждый такт иначе, смотря по тому, какая блажь зайдет ей в эту минуту в голову, -- вот в чем состоял, по ее мнению, аккомпанемент. Но с этой минуты я твердо восстал против ее капризов, смело вступил в бой с причудами и доказал, что аккомпанемент немыслим без должной энергии и что эффективность пения состоит вовсе не в неопределенной расплывчатости. Терезина с жаром меня поддерживала. Я стал сочинять одни духовные пьесы и все соло писал для низкого регистра. Терезина часто меня критиковала, но это мне нравилось, потому что она гораздо более Лауретты смыслила в строгом немецком стиле.

Мы объехали южную Германию. В одном из маленьких городков встретился нам итальянский певец, тенор, ехавший из Милана в Берлин. Мои дамы были в восторге от встречи с земляком и скоро стали с ним неразлучны, особенно Терезина, так что я, к моему великому прискорбию, стал с тех пор играть при ней совершенно второстепенную роль.

Раз с партитурой в руках хотел я войти к ним в комнату, как вдруг услышал оживленный разговор обеих сестер с певцом, в котором шла речь обо мне. Я остановился и стал слушать. Итальянский язык был мне в то время уже настолько знаком, что я не упустил ни одного слова. Лауретта как раз рассказывала несчастное приключение в концерте, где я своим аккордом прервал ее трель. "*Asino tedesco!*"* -- воскликнул тенор.

* *Немецкий осел (итал.).*

Мне хотелось ворваться в комнату и выбросить театрального героя в окошко, однако, я удержался. А Лауретта прибавила, что хотела тотчас же меня прогнать, но что я неотступными просьбами умолил ее позволить мне остаться из милости, чтобы доучиться у нее пению. Терезина, представь, поддержала эту ложь.

-- Он добрый мальчик, -- сказала она, -- и притом влюблен в меня, так что пишет теперь все для контральто. В нем есть небольшой талант, но ему надо освободиться от этой глупой немецкой неуклюжести. Я

надеюсь выработать из него хорошего аранжировщика, и когда он переложит мне все то, что нужно для альта, я отправлю его на все четыре стороны. Он страшно надоедает мне своим томничаньем и любезностями, беспрестанно лезет с собственными сочинениями, которые из рук вон плохи.

-- Я, по крайней мере, от него освободилась, -- подхватила Лауретта, - а до чего он приставал и ко мне со своими ариями и дуэтами, это ты, Терезина, знаешь хорошо.

Тут Лауретта начала петь сочиненный мною дуэт, который очень хвалила прежде. Терезина подхватила второй голос, и обе начали своим исполнением пародировать мою музыку обиднейшим образом. Тенор хохотал так, что дрожали стены. Холод пробежал по всему моему телу... Я принял решение.

Тихонько убежал я от их дверей в свою комнату, окна которой выходили на соседнюю улицу. Почта была напротив, и в эту минуту как раз запрягали Бамбергский почтовый экипаж. Пассажиры стояли уже у ворот, но у меня был еще час времени. Мигом сложил я пожитки, щедро заплатил по счету в гостинице и поспешил на почту. Проезжая по улице, я увидел моих дам, все еще стоявших перед окном вместе с певцом и высунувшихся на звук почтового рожка. Я спрятался в угол кареты и со злобным наслаждением думал о полном желчи письме, которое оставил на их имя в гостинице...

Окончив рассказ, Теодор стал с видимым удовольствием прихлебывать остатки огненного элэатико, которое налил ему Эдуард.

-- Я не думал, -- сказал тот, откупорив новую бутылку и ловко сплеснув плававшую наверху частицу масла, -- я не думал, чтобы в Терезине обнаружились такие фальшь и коварство. У меня не выходит из головы прелестная картинка, как она, гарцуя на лошади, распевает испанские романсы.

-- Это был лучший момент во всей ее жизни, -- сказал Теодор. -- Я как теперь помню впечатление, которое произвела на меня эта сцена. Я позабыл даже свою боль, и Терезина в эту минуту казалась мне каким-то высшим существом. Такие мгновения, несмотря на всю их внезапность, глубоко проникают в память, оставляя в ней неизгладимые следы. Даже теперь, если мне удастся написать смелый романс, которым я остаюсь доволен, образ Терезины верхом на лошади непременно ярко предстает в ту минуту перед моими глазами.

-- Не следует, однако, -- сказал Эдуард, -- забывать и талантливую Лауретту, а потому позабудем дурное и чокнемся за обеих сестер!

После этого Теодор сказал:

-- Как напоминает аромат этого вина сладкое дыхание Италии, какая свежесть разливается от него по жилам! О, зачем должен был я покинуть так скоро тот дивный край!..

-- Но все-таки, -- воскликнул Эдуард, -- я не нахожу никакой связи между всем, что ты рассказал, и прелестной картиной, а потому, я думаю, твоя повесть о сестрах еще не окончена. Я догадываюсь, что дамы, изображенные на картине, должны быть Лауреттой с Терезиной.

-- Совершенно справедливо, -- ответил Теодор, -- и мое желание вновь увидеть прекрасную Италию также связано с концом рассказа. Два года тому назад, незадолго до моего отъезда из Рима, я отправился в маленькое путешествие верхом. Проезжая мимо одного трактира, я увидел на пороге хорошенькую девушку и подумал, что очень бы приятно было получить из ее ручек кружку доброго вина. Я остановился перед дверьми под прелестным увитым прозрачной зеленью навесом; издали долетали до меня пение и звуки гитары. Я вздрогнул; оба женских голоса как-то странно на меня действовали, точно некое смутное, безотчетное воспоминание поднялось в моей душе. Я сошел с лошади и осторожно прокрался к зеленой беседке, из которой доносились звуки. Второй голос умолк, первый пел канцонетту. С каждым моим шагом знакомое, овладевшее мною при первых звуках чувство становилось все живее и живее. Певица замерла на длинной фигурной фермате. Голос ее зазвенел, залился всевозможными фиоритурами, перейдя, наконец, в длинную, нескончаемую трель, как вдруг резкий женский крик, явно изобличавший происшедшую ссору, прервал пение. Послышались шум, проклятия, брань; один мужской голос стал оправдываться, другой хохотал, кто-то вмешивался в ссору. Брань росла все шире и дальше с настоящей итальянской *gabbia**, наконец, когда я уже совсем подошел к беседке, из нее вдруг выскочил аббат, чуть не сбив меня с ног. Я тотчас узнал в нем почтенного синьора Людовика, моего музыкального корреспондента из Рима.

* *Злостью (итал.).*

-- Ради Бога, что с вами случилось? -- воскликнул я.

-- Ах, синьор маэстро, синьор маэстро! -- кричал он. -- Спасите меня!.. Защитите меня от этой беснующейся, от этого крокодила, от этого тигра, от этой гиены, от этого черта в женском образе!.. Да, да, я, конечно, виноват, что отбивал такт в канцонетте Анфосси и, кончив слишком рано фермату, прервал ее трель. Но Боже! Зачем я только взглянул в глаза этой чертовой богини! К черту все ферматы, все ферматы!

Пораженный, я потащил аббата опять в беседку и, взглянув, узнал сразу моих сестер. Лауретта еще кричала и шумела, Терезина говорила с жаром, хозяин смеялся, стоя со сложенными руками, а горничная уставляла стол новыми бутылками. Едва меня увидя, певицы разом

кинулись ко мне с криком: "Синьор Теодоро!". Я был буквально засыпан сладкими словами. Ссоры как будто и не бывало.

-- Посмотрите, господин аббат, -- говорила, указывая на меня Лауретта, -- вот композитор, в котором совместились итальянская грация с немецкой силой.

И обе наперебой принялись затем рассказывать о счастливых днях, когда мы жили вместе, о моих глубоких музыкальных познаниях, когда я был еще мальчиком, о моих трудах, сочинениях, и т.д. Обе, по их словам, могли петь исключительно переложенное мной. Терезина, между прочим, сообщила мне, что к будущей масленице она ангажирована одним импресарио на роли первой трагической певицы, но что теперь она объявит непременно условием ангажемента, чтобы мне было поручено сочинение оперы для нее. Ведь трагическая музыка была, по ее словам, моим истинным призванием и т.д. и т.д., -- все в том же роде. Лауретта уверяла, наоборот, что очень будет жаль, если я не напишу оперу-буффа, что соответствует характеру моего таланта изображать одно приятное и притом виртуозное, и что само собой разумеется, будь она также ангажирована в качестве первой певицы, она не стала бы петь никаких опер, кроме сочиненных мной. Ты можешь себе представить, с каким чувством стоял я между ними, и теперь видишь, что общество, в котором я находился, было как раз то самое, которое Гуммель выбрал для сюжета своей картины, и притом как раз в тот момент, когда аббат должен прервать фермату Лауретты.

-- Но неужели, -- заметил Эдуард, -- они совершенно забыли о твоём отъезде и об исполненном желчи письме?

-- Не вспомнили ни единым словом, -- ответил Теодор, -- а я еще менее, чем они. Мое горе давным давно испарилось, и вообще все приключение с сестрами казалось для меня самого более забавным, чем серьезным. Я позволил себе только рассказать аббату, что и со мной так же, как с ним сегодня, случилось много лет тому назад подобное же несчастье и тоже в арии Анфосси. Изображению моей бывлой дружбы с сестрами я придал в своем рассказе несколько комический оттенок, и, ловко, как мне казалось, раздавая направо и налево деликатные щелчки, сумел дать почувствовать обоим, насколько опытность в жизни и в искусстве поставили меня выше их.

-- Какое счастье, -- сказал я в заключение, -- что прервал тогда фермату! Дело шло о моей будущности: если бы я угодил певице, то, пожалуй, до сих пор сидел бы за ее фортепьяно!

-- Но, однако, синьор, -- заметил аббат, -- какой же маэстро дерзнет предписывать законы примадонне? Ваше тогдашнее преступление было гораздо тягостнее моего; вы отличились в концертном зале, а я здесь, в беседке, да к тому же ведь я только маэстро-любитель, с которого нечего взять, но и тут я бы, наверно, не оказался таким ослом, если бы меня не очаровал огненный блеск этих небесных глазок!

Последние слова аббата пролились целительным бальзамом, так как начинавшие было снова гневно сверкать глазки Лауретты были ими совершенно успокоены.

Мы провели вечер вместе. Четырнадцать лет, прожитых мной в разлуке с сестрами, изменили многое. Лауретта значительно постарела, но все еще была привлекательна. Терезина сохранилась лучше и не утратила своего прекрасного, стройного стана. Обе были пестро одеты и вообще казались на вид, как и тогда, гораздо моложе своих лет. Терезина спела по моей просьбе несколько выразительных песен, так сильно на меня действовавших прежде, но теперь -- увы! -- они уже звучали в моей душе совершенно иначе. То же самое и с Лауреттой. Голос ее, почти ничего не потеряв в силе и чистоте, вовсе не походил на прежний, живший в моем воспоминании. Уже это одно сравнение жившего в моей душе идеала с действительностью могло бы меня серьезно расстроить, не говоря уже о характере нашей встречи, о глупом экстазе обеих сестер, их льстивой, звучащей милостивым покровительством болтовне, но меня, спасибо ему, выручил аббат. Наблюдая, с какой сладкой, смешной приторностью разыгрывал он роль влюбленного в обеих сестер воздыхателя, с каким наслаждением смаковал он вкусное вино, я невольно развеселился, и остаток вечера прошел очень приятно. Сестры убедительно звали меня к себе в гости, чтобы немедленно условиться о партиях, которые я должен буду для них написать, но я оставил Рим, не выдав их больше.

-- И все-таки ты многим обязан им в выработке настоящего взгляда на пение, -- сказал Эдуард.

-- О, без сомнения, -- ответил Теодор, -- и сверх того, благодаря им создал я бездну прекрасных мелодий; но именно потому мне и не следовало вновь с ними сходиться. Каждый композитор хранит в душе впечатления молодости, которые никогда не умрут. Наш внутренний дух, пробуждаясь внезапно под влиянием звуков родственного ему духа, делает эти звуки исходной точкой собственного творчества, а творчество, пробудясь однажды, уже никогда не погибнет. Поэтому вполне понятно, что мелодии, сочиненные нами самими, кажутся нам не более как отголосками когда-то слышанного пения любимой артистки, бросившей в нас первую искру священного огня. Мы как бы по-прежнему слышим ее и пишем под ее диктовку. Но уж таков удел, данный нам, слабым смертным, что, копошась на нашей земле, мы вечно жаждем небесного и стараемся низвести его до себя. Потому я утверждаю безусловно, что певица может дать нам счастье как возлюбленная, но никогда -- как жена! Иначе очарование нарушится, и чудесно звучащая в нас внутренняя мелодия погибнет под влиянием разбитой чашки в хозяйстве или чернильного пятна на белье. Счастлив композитор, который никогда не встретит вновь в земной жизни ту, которая с таинственной силой зажгла скрытую в нем искру гармонии!

Если юноша будет даже терзаться муками любви и отчаяния, расставшись со милой очаровательницей, то образ ее все-таки останется для него вечным источником небесных звуков, в которых будет отражаться она и только она как высший идеал, стремящийся вырваться из души и облечься во внешние, видимые формы!

-- Странно, но верно! -- сказал Эдуард, выходя со своим другом под руку из дверей Тароне на улицу.

* * *

По окончании чтения друзья единогласно решили, что хотя рассказ Теодора и не мог называться вполне серапионовским в том смысле, какой было решено придавать этому слову, так как выведенные в нем образы были простыми копиями с натуры, но что все-таки ему нельзя отказать в милой, открытой веселости, а потому и следовало признать его не совсем недостойным Серапионова клуба.

-- Ты своим рассказом, любезный Теодор, -- сказал Оттмар, -- отлично изложил, по крайней мере, для меня, твои воззрения на высокое искусство музыки. Каждый из нас хотел учить тебя по-своему: Лотар требовал инструментальных произведений, я -- комических опер, Киприан, в чем он теперь, конечно, сознается, считал тебя способным на невозможное, требуя, чтобы ты перекладывал на музыку, вопреки всем правилам, сочиненные тобою же стихотворения, а сам ты упражнялся только в строгом церковном стиле. Мне же кажется, что при настоящем направлении строгая трагическая опера составляет высшую ступень, к достижению которой должен стремиться всякий композитор, и я удивляюсь, как ты до сих пор не предпринял такого труда и не произвел чего-нибудь замечательного.

-- А кто виноват, -- возразил Теодор, -- в моей медлительности, как не ты же сам вместе с Лотаром и Киприаном? Согласился ли кто-нибудь из вас написать мне текст оперы, несмотря на все мои мольбы, просьбы и требования?

-- Станный ты человек, -- возразил Киприан, -- да не я ли предлагал тебе сто раз оперные сюжеты и не отвергал ли ты постоянно самые лучшие из моих мыслей? Не уверял ли ты, что я сам должен прежде научиться музыке, чтобы понять твои требования и помочь им осуществиться. При таких условиях пропадет всякая охота что-нибудь писать, особенно когда я увидел, что ты совершенно так же, как вся наша братия, композиторы, капельмейстеры и дирижеры, держишься общепринятых избитых форм и никак не хочешь выскочить из этой колеи.

-- Вот что для меня загадочно, -- сказал Лотар. -- Скажите, почему ни Теодор, ни кто-либо другой в целом мире, будучи очень способным к поэтическому изложению мыслей, не напишет сам текста оперы? По какому праву композитор хочет сделать нас музыкантами в ущерб

нашему поэтическому таланту и требует, чтобы мы создавали вещи, в которые огонь и вдохновение будут вложены им одним? Разве он сам не знает лучше, что ему нужно? Не увлеклись ли композиторы просто односторонней предвзятой идеей, полагая, что половина труда должна доставаться им готовой? Можно ли ожидать строгого единства текста с музыкой, если поэт и композитор не будут одним и тем же лицом?

-- Все это звучит, пожалуй, довольно оригинально, но, к сожалению, вовсе не справедливо, -- ответил Теодор. -- Я удостоверяю по-прежнему, что никто не в состоянии написать произведение, равно великое как по мысли, так и по музыке.

-- Это ты, любезный Теодор, -- возразил Лотар, -- только так думаешь вследствие твоей природной лености или недоверия к себе. Мысль поработать над стихами, прежде чем приняться за звуки, кажется тебе такой страшной, что ты боишься за нее взяться. А я остаюсь убежден, что в голове истинно вдохновенного поэта-композитора слова и звуки зарождаются в один и тот же момент.

-- Это очень верно! -- воскликнули Киприан и Оттмар.

-- Вы зажали меня в угол, -- сказал Теодор, -- и я прошу позволения прочесть вам вместо ответа разговор двух друзей о требованиях к опере вообще, написанный мною несколько лет тому назад. Это было как раз в начале пережитого нами рокового времени, когда я считал мою жизнь, посвященную искусству, разбитой и погибшей навсегда. Мной овладело глубокое отчаяние, начало которого коренилось, может быть, в телесном недуге. К счастью, встретил я тогда верного друга, истинного Серапиона в душе, носившего, впрочем, вместо посоха меч. Он умел утешить меня в моем горе и силой вовлек меня в пестрый kaleidoscope великих дел и событий того славного времени.

Тут Теодор остановился и начал так:

ПОЭТ И КОМПОЗИТОР

Враг стоял у ворот; пушечные выстрелы наполняли все вокруг громом; огненные гранаты, шипя, пронизывали воздух. Жители спешили с бледными от страха лицами по домам, а на мостовой пустых улиц раздавался звук подков конных патрулей, с бранью гнавших отставших солдат к укреплениям. Один только Людвиг сидел в своей отдаленной комнате, погруженный в чудный фантастический мир, вызванный им звуками фортепьяно. Он только что окончил сочинение симфонии, в которой пытался выразить звуками все то, что прозвучало в глубине его души. Симфония эта, подобно созданиям в этом роде Бетховена, должна была рассказать божественным языком о дивных чудесах той далекой романтической страны, к которой мы стремимся с таким неизъяснимым желанием. Она должна была, как и те чудеса,

явиться воочию среди нашей скудной, бедной, житейской обстановки и запеть голосом сирены, приневоливая к себе тех, кто ему поддается!

В эту минуту вошла хозяйка и начала ворчать на жильца, что вот он бренчит на своем фортепьяно в такую пору, когда кругом одна беда, и что, верно, он хочет быть убитым на своем чердаке осколками бомб. Людвиг не сразу понял, что ему говорила хозяйка, как вдруг в эту самую минуту с треском ворвалась в комнату граната, оторвав часть крыши и разбив вдребезги оконные стекла. Хозяйка с криком бросилась вниз по лестнице, а Людвиг, захватив впопыхах все, что у него было самого дорогого, то есть партитуру своей симфонии, побежал вслед за нею в подвал. Там уже собрались все жильцы этого дома. Помещавшийся в нижнем этаже хозяин винного погребка принес в припадке не совсем свойственного ему великодушия две дюжины бутылок лучшего вина. Хозяйка, охая и дрожа от страха, не забыла, однако, привычных забот и притащила в корзины кое-что из своих кухонных запасов. Все начали есть, пить и скоро, позабыв страх и беду, пришли в то приятное расположение духа, когда соседи, стараясь приноровиться друг к другу, хлопчут об общем спокойствии и удобстве, отложив под влиянием тяжелого испытания в сторону заботы о тех мелочных, стесняющих условиях, которым учат законы так называемых житейских приличий.

Судя по завязавшимся веселым разговорам, можно было подумать, что опасность была вовсе забыта. Соседи, знавшие друг друга только по шапочному знакомству на лестнице, сидели теперь вместе, дружески разговаривая и поверяя задушевные мысли. Выстрелы становились реже, и некоторые из присутствовавших начали уже поговаривать о том, чтобы выйти, уверяя, что улицы теперь безопасны. Один старый военный, сделав предварительно поучительную ссылку на систему защиты городов древними римлянами с употреблением катапульт и отозвавшись, перейдя затем к новому времени, с похвалой о Вобане, доказал как дважды два, что бояться более нечего, так как дом, где они были, остался вне линии пушечных выстрелов. И надо же было случиться, что в эту самую минуту какое-то шальное ядро, ударив в стену, засыпало подвал обломками кирпичей, которыми была закрыта отдушина, не сделав, впрочем, никому вреда. Изумленный оратор вскочил со стаканом в руке на стол, покрытый осколками разбившихся бутылок, и изрек торжественное проклятие всем шальным ядрам. Выходка эта рассмешила общество и возвратила всем хорошее настроение.

Ночь прошла спокойно, а на следующее утро разнеслась весть, что защищающая армия заняла другую позицию, оставив город во власть противнику. Когда общество вышло из подвала, неприятельская конница уже скакала по улицам, а прибитое на стенах объявление обещало жителям мирную жизнь и неприкосновенность имущества.

Людвиг вмешался в пеструю толпу, стремившуюся с жадным любопытством поглазеть на неприятельского военачальника, въезжавшего с блестящей свитой гвардии под торжественно гремевший марш в городские ворота. Вдруг, с трудом веря глазам, заметил Людвиг в числе адъютантов своего лучшего друга по университету Фердинанда -- в мундире, верхом на прекрасной лошади, с подвязанной левой рукой. "Это он! Это точно он!" -- невольно воскликнул Людвиг. Но напрасно старался он догнать своего друга, быстро унесенного быстрым скакуном.

В раздумье воротился Людвиг домой. Безуспешно хотел он приняться за работу; она валилась из рук, и при каждом воспоминании о старом, так много лет не виденном друге поднимался в его сердце светлый образ счастливой, проведенной вместе с Фердинандом юности.

Фердинанд никогда не обнаруживал склонности к военной службе, напротив, он всецело отдавался поэзии и нередко истинно гениальные черты, мелькавшие в его произведениях, обещали в нем незаурядного поэта в будущем. Поэтому внезапное превращение Фердинанда в военного было для Людвига совершенно загадочным, и можно себе представить, с каким нетерпением искал он случая его увидеть, не зная, как это сделать и где его отыскать.

Между тем город оживлялся все более и более; основная часть армии уже прошла, и в город вступили союзные князья, которые хотели остановиться здесь на несколько дней для отдыха. Но чем многочисленнее становилось на главной квартире, тем безнадежнее оказывались попытки Людвига найти своего друга, пока однажды он совершенно неожиданно не встретился с ним в одной небольшой кофейной, где сидел за своим скромным ужином. Возглас радости вырвался из груди Фердинанда. Людвиг, напротив, остался нем. Какое-то странное, горькое чувство внезапно отравило ему страстно желаемую минуту свидания. Чувство, охватившее его, походило на впечатление от сна, в котором, как нам кажется во сне, мы бросаемся обнять дорогих нашему сердцу людей, а они, вдруг приняв чуждый облик, мгновенно уничтожают радость ужасным разочарованием.

Питомец нежных муз, поэт заунывных песен, которые облакал в звуки Людвиг, стоял перед ним теперь в высоком шлеме, с гремевшей на боку саблей и даже говорил каким-то иным, суровым, отрывистым голосом. Людвиг заметил его подвязанную руку и остановил взгляд на знаке чести, украшавшем его грудь. Фердинанд обнял его правой рукой, крепко прижав к сердцу.

-- Я знаю, -- сказал он, -- о чем ты думаешь и что чувствуешь при нашем теперешнем свидании. Но меня призвало отечество, и я не посмел послушаться этого зова. С радостью и энтузиазмом, зажженными святым делом в груди каждого, чье сердце не заклеяно

позорной печатью рабства, схватилась за меч эта рука, привыкшая до сих пор управлять только пером. Кровь моя уже лилась, и случай, когда я перед лицом его величества исполнил свою обязанность, украсил меня этим орденом. Но верь, Людвиг, что струны, звеневшие в моей душе и пленявшие тебя прежде, еще не оборвались. Бывало, после жестокого боя, на привале, сидя с товарищами около бивачных огней, сочинял я под влиянием неподдельного вдохновения песни, укреплявшие меня самого в призыве к битве за свободу и честь!

По мере того, как Фердинанд говорил, Людвиг чувствовал, что сердце его оттаивало, и когда оба они вошли в отдельную небольшую комнату и Фердинанд снял каску и саблю, он ясно почувствовал, что прежнего друга изменила только одежда. Подкрепившись легкой закуской и весело чокнувшись стаканами, оба почувствовали, как к ним возвратился прежний веселый дух. Воспоминания о чудесном прошлом охватили их радужными переливами, и в дивной красоте обновленной юности вновь возникли перед их глазами вдохновенные образы, которые так часто вызывали они сами в своем обоюдном стремлении к искусству. Фердинанд с интересом расспрашивал Людвига, что он с тех пор написал, и был чрезвычайно удивлен, когда тот ему признался, что никак не может написать и поставить оперу, потому что ни один сюжет не смог до сих пор вдохновить его на сочинение музыки.

Далее разговор продолжался так:

Ф е р д и н а н д. Я не понимаю, как ты со своей в высшей степени богатой фантазией, обладающей всем нужным для сочинения сюжета, и с твоим редким умением владеть языком не напишешь либретто оперы сам?

Л ю д в и г. Я знаю, что моей фантазии хватило бы на то, чтобы сочинить порядочный оперный сюжет, и признаюсь даже, что иногда по ночам, когда легкая головная боль погружает нас в приятную полудрему, похожую на что-то среднее между сном и бодрствованием, мне случалось не только выдумывать сюжеты, но даже как будто слышать их исполнение с моей музыкой. Но что касается дара стихосложения, то я думаю, его у меня нет, и полагаю даже, что мы, композиторы, не можем его усвоить. Тут для удачного выполнения нужны известные механические приемы, которые можно усвоить только путем усидчивой работы и долгого упражнения и без которых никакие стихи не выйдут удачны. Скажу более: мне кажется, что если бы я даже научился излагать сочиненный сюжет правильными и хорошими стихами, то все-таки едва ли бы решился писать либретто для собственной оперы.

Ф е р д и н а н д. Но кто может лучше тебя самого понять твои музыкальные намерения?

Л ю д в и г. Это совершенно справедливо, но мне кажется, что заставить композитора самого перелагать в стихи задуманный оперный сюжет будет похоже на то, если мы живописца, создавшего план картины, заставим сначала сделать ее гравюру на меди и уж потом только разрешим ему написать красками самую картину.

Ф е р д и н а н д. Ты, вероятно, думаешь, что необходимый для композитора священный огонь ослабнет и погаснет при сочинении им стихов?

Л ю д в и г. Совершенно так! И сверх того, самые мои стихи показались бы мне ничтожными, подобно пустым ракетным гильзам, которые еще вчера пронизывали полный огненной жизни воздух. Я вполне убежден, что музыка более, чем всякое другое искусство, требует для удачного творчества, чтобы художник создавал произведения свои сразу, со всеми мельчайшими подробностями, так как нигде изменения и исправления не вредят так делу, как в ней. Я, по крайней мере, знаю по опыту, что первая, точно волшебной силой зародившаяся в уме при чтении какого-нибудь стихотворения мелодия, всегда бывает лучшей и, может быть, единственно верной. Сочинять стихи, не перелагая их тотчас же на соответствующую музыку, совершенно невозможно для композитора. Предавшись творчеству в музыке, он напрасно будет гоняться за сочинением слов, а занявшись даже удачным их подбором, он скоро заметит, что чудно возникший в нем, подобно буре, поток мелодии вязнет в этой кропотливой работе, как колеса в песке. Я постараюсь выразиться еще яснее. В минуту музыкального вдохновения жалкими и ничтожными кажутся все слова, и художнику, захотевшему их собирать, пришлось бы, спустившись с вдохновенной высоты в низшую область слова, просить милостыню в ней, как нищему, для удовлетворения насущных потребностей. Он испытал бы судьбу пойманного орла, который уже не может воспарить к солнцу на оципанных крыльях.

Ф е р д и н а н д. Все это, конечно, хорошо звучит, но знаешь ли, любезный друг, что слова твои только обнаруживают в моих глазах только твое собственное нежелание пробить себе с помощью арий и дуэтов дорогу к музыкальному творчеству, но отнюдь меня не убеждают.

Л ю д в и г. Пусть будет так, но теперь я обращусь к тебе со вторым упреком: отчего ты в то время, когда мы были еще связаны общим стремлением к искусству, никогда не хотел исполнить моего пламенного желания, написав мне либретто для оперы?

Ф е р д и н а н д. Потому что я всегда считал это самой неблагоприятной из неблагоприятных работ. Ты должен согласиться, что относительно ваших требований вы, господа композиторы, несноснейший и упрямейший народ в мире. Если ты утверждаешь, что для композитора ниже его достоинства заниматься механической

работой версификации, то я, со своей стороны, полагаю, что поэтам также не доставляет большого удовольствия мучить себя конструкцией требуемых вами терцетов, квартетов, финалов и тому подобного, и все для того только, чтобы не погрешить против затеянной вами Бог весть почему именно такой, а не иной формы произведения. Если мы в минуту истинного вдохновения успели начертать настоящие характеры и положения для наших лиц и сумели выразить их вдохновенным словом и подходящим стихом, то не варварство ли с вашей стороны безжалостно вычеркивать прекраснейшие стихи и портить впечатление от них непрерывными повторениями или перестановкой, как того требует пение? Это я говорю еще только о бесполезности в нашем труде тщательной внешней обработки стиха. Но как часто бывает, что вы отвергаете как негодные для музыкального выражения целые прекраснейшие вдохновенные сюжеты, которыми мы мечтали вас осчастливить? Ведь это чистый каприз, чтобы не подумать хуже, если при этом посмотреть, какие иной раз жалкие сюжеты вы сами выбираете для того...

Л ю д в и г. Постой, любезный друг! Конечно, есть композиторы, которым музыка также чужда, как некоторым стихоплетам поэзия. Они, согласно с твоим предположением, действительно перекладывают иногда на ноты ничтожнейшие сюжеты. Но истинные живущие и дышащие одной святой музыкой композиторы выбирают для своих опер непременно поэтический текст.

Ф е р д и н а н д. А Моцарт?

Л ю д в и г. И он выбирал для своих классических опер истинно подходящие к музыке тексты, хотя многие с этим и не согласны, но теперь не об этом речь. Я все-таки утверждаю, что выбор сюжетов для опер вовсе не так труден поэту, как кажется, и что ему не угрожает никакая опасность впасть в этом случае в грубую ошибку.

Ф е р д и н а н д. Я никогда о них не думал, да, полагаю, и не могу думать при совершенном отсутствии во мне музыкальных познаний.

Л ю д в и г. Если ты под музыкальными познаниями понимаешь так называемую школу музыки, то в ней ты для правильного понимания желаний композитора не нуждаешься. Понимать музыку можно и без этой школы. В этом отношении иной простой любитель с гораздо большим правом может назваться истинным музыкусом, нежели бездарный кропатель, изучивший в поте лица музыкальную технику со всеми ее заблуждениями и обоготворяющий взамен чистого духа искусства им же самим созданного кумира мертвых правил, губя таким образом во имя ложного идолопоклонства истинный культ высокой религии.

Ф е р д и н а н д. И ты думаешь, поэт может проникнуть в святилище музыки, не пройдя низших ступеней школы?

Л ю д в и г. Конечно! Поэт и композитор -- родные братья и члены одной и той же религии в чудесном царстве, которое, наполняя нас дивными стремлениями, посылает нам чарующие звуки, пробуждающие родной им отголосок в нашей стесненной груди, и притом отголосок, который, будучи вызван ими, может сам ринуться и зазвучать такими же огненными, живыми звуками, сделав и нас участниками блаженства этого рая!

Ф е р д и н а н д. Слушая, любезный Людвиг, как ты пытаешься глубокомысленными словами объяснить таинственное значение искусства, я чувствую, что пространство, разделяющее поэта и композитора, все более и более уменьшается на моих глазах.

Л ю д в и г. Позволь мне высказать тебе в нескольких словах мое личное мнение об истинном значении оперы. Я признаю настоящей оперой только такую, в которой музыка сама собой вытекает из текста как необходимое его дополнение.

Ф е р д и н а н д. Признаюсь, это для меня не совсем понятно.

Л ю д в и г. Не является ли музыка таинственным языком таинственного царства духа, дивные звуки которого, находя отзвук в нашей душе, пробуждают ее к высшей жизни? Под ее влиянием страсти рождаются в нашей груди и мечутся в смутном стремлении, овладевая всем нашим существом. Таково действие инструментальной музыки. Но вот появляется требование, чтобы музыка совершенно отождествилась с жизнью, украсила бы ее слова и дела и заговорила об определенных страстях и поступках. Можно ли, спрашивается, говорить высоким слогом об обыкновенных предметах? Может ли музыка выразить что-либо иное, кроме чудес того далекого царства, из которого она к нам принеслась? Потому пусть поэт приготовится лететь в дальний мир романтизма и ищет там чудеса, которые он должен перенести в жизнь со всеми их живыми и свежими красками, и так перенести, чтобы всякий им не только поверил, но даже мог бы забыться до убеждения, что он сам отторгся от скудной ежедневной жизни и точно в зачарованном сне рвет прекрасные цветы, понимая только свойственный тому царству язык музыки!

Ф е р д и н а н д. Значит, ты признаешь только романтические оперы с их феями, духами, чудесами и превращениями?

Л ю д в и г. Без сомнения! Потому что музыка может чувствовать себя дома только в царстве романтизма. Но ты, конечно, понимаешь, что я подразумеваю здесь не те произведения досужей фантазии, выдуманые для забавы праздной толпы, где кривляются перед зрителями глупые черти и чудеса громоздятся на чудеса без всякой связи и толку. Настоящую романтическую оперу может написать только гениально вдохновенный поэт, потому что он один способен органически слить чудесные явления мира духов с явлениями обыкновенной жизни. На его крыльях только можем мы перенестись

через пропасть, разделяющую эти два царства, и почувствовать себя как дома в чуждом нам до тех пор мире, поверив чудесам, которые нам представляются, хотя явление их, собственно говоря, есть ничто иное, как следствие влияния высших сил на наше слабое существо, которое со страхом или с наслаждением взирает на возникающий перед ним ряд поразительных образов. Одна волшебная сила поэтической правды должна руководить писателем, изображающим фантастический мир чудес, потому что только при этом условии можем мы им восхищаться. Всякая же попытка нагромождать без толку и смысла ряд сверхъестественных нелепостей, вроде превращения паяца в рыцаря, что, к сожалению, мы видим нередко, всегда покажется холодной и пошлой, не возбудив в нас ни малейшего сочувствия. Таким образом, если в опере должно воочию выразиться влияние на нас мира высших явлений, раскрыв перед нами сущность романтизма, то понятно, что и язык этого мира должен быть гораздо выразительнее обыкновенного или, еще лучше, должен быть заимствован из чудного царства музыки и пения, в котором действия и положения, выраженные могучим потоком звуков, охватывают и поражают нас с гораздо большей, по сравнению с обыкновенным языком, силой.

Ф е р д и н а н д. Теперь я понимаю тебя вполне и переносюсь мыслью к Ариосто и Тассо. Но все-таки, мне кажется, построить музыкальную драму на поставленных тобой условиях -- очень трудная задача.

Л ю д в и г. И которую, прибавь, может выполнить только истинно гениальный, романтический поэт. Вспомни очаровательного Гоцци. Он в своих драматических сказках отлично выполнил то, что я требую от драматического поэта, и я удивляюсь, как до сих пор никто не воспользовался этим богатым рудником оперных сюжетов.

Ф е р д и н а н д. Я помню Гоцци -- он точно приводил меня в восторг, когда я его читал много лет тому назад, хотя с твоей точки зрения я, конечно, на него тогда еще не смотрел.

Л ю д в и г. Самая прелестная его сказка, бесспорно, -- "Ворон". Она рассказывает о том, как Миллон, король Фраттомброзы, не любил ничего, кроме охоты. Раз в лесу он увидел прекрасного ворона -- и пронзил его стрелой. Ворон упал на памятник из белого мрамора, стоящий в лесу под деревом, и окропил его, смертельно раненый, своей кровью. Весь лес содрогнулся, а из пещеры поблизости выползло страшное чудовище и предало несчастного Миллона ужасному проклятью, согласно которому он умрет от буйного помешательства, если не отыщет женщины белой, как мрамор памятника, красной, как воронова кровь, и черной, как его крылья. Все попытки Миллона ее отыскать оказались напрасны. Тогда брат короля Дженнаро, горячо его любивший, дал слово не знать ни покоя, ни отдыха, пока не найдет женщины, которая должна спасти брата от ужасного безумия. Он

пустился странствовать по морям и суше и наконец по указанию одного мудрого старца, чернокнижника и некроманта, встретил Армиллу, дочь могущественного чародея Норандо. Кожа ее была бела, как мрамор памятника, щеки румяны, как воронова кровь, волосы и брови черны, как его крылья. Ему удалось ее похитить и приплыть вместе с нею, выдержав жестокую бурю, к берегам Фраттомброзы. Незадолго до приезда случай доставил ему в руки прекраснейшего вороного коня и редкого сокола, так что он был в полном восхищении при мысли не только спасти брата, но и обрадовать его такими прекрасными подарками. Подъезжая, Дженнаро лег отдохнуть в раскинутой под деревом палатке. Вдруг на ветви прилетели два голубя и сказали: "Горе тебе, Дженнаро, и лучше, если бы ты совсем не родился! Сокол выклюет твоему брату глаза, а если ты его не отдашь или откроешь брату все, что узнал, то будешь сам превращен в камень. Вороной конь сбросит твоего брата и убьет до смерти, а если ты его не отдашь или откроешь, что узнал, то будешь сам превращен в камень. Если Миллон женится на Армилле, то будет в первую же ночь растерзан драконом, а если ты не отдашь Армиллу или откроешь, что узнал, то будешь сам превращен в камень". Едва голуби улетели, как явился Норандо и подтвердил сказанное ими, прибавив, что это наказание за похищение Армиллы... Итак, безумие Миллона прошло, едва он увидел Армиллу. Конь и сокол привели его в восхищение, и он подумал о любви к нему брата, сумевшего угодить ему такими подарками. Дженнаро поднес ему сокола, и когда Миллон хотел его взять, то Дженнаро мгновенно отрубил соколу голову и так спас глаза брата. А едва Миллон занес ногу в стремя, чтобы сесть на коня, Дженнаро выхватил меч и перерубил коню одним ударом передние ноги, так что он упал на землю. Миллон подумал, что, наверное, безумная любовь побудила брата к таким поступкам, и это подтвердила сама Армилла, рассказав, что странное поведение Дженнаро во время путешествия, его беспрестанные вздохи и слезы давно зародили в ней подозрение, что он ее любит, при этом она уверяла короля, что сама любит только его и полюбила еще ранее, слушая во время путешествия трогательные и полные любви рассказы о нем Дженнаро. К этому она присоединила просьбу поспешить, дабы уничтожить все подозрения, со свадьбой, хотя дело, впрочем, шло само собой. Дженнаро видел перед глазами неизбежную гибель брата да к тому же еще терзался отчаянием от того, что был так подозреваем, зная, что малейшее слетевшее с его языка признание в страшной истине готовило ужасную участь ему самому. Тем не менее он решился спасти брата во что бы то ни стало и для того прокрался подземным ходом к дверям королевской спальни. Явился страшный огнедышащий дракон. Дженнаро бросился на чудовище, но все его атаки оказались тщетными -- дракон все приближался к дверям. Тогда в отчаянии Дженнаро схватил меч

обеими руками и страшным ударом, направленным на дракона, разнес вместо него двери спальни. Дракон исчез, а Миллон, выйдя на шум, увидел Дженнаро и пришел к заключению, что брат под влиянием преступной любви хотел его умертвить. Дженнаро, не смея оправдываться, был схвачен подоспевшей стражей, брошен в тюрьму и приговорен за приписываемое ему преступление к смерти. Перед казнью он просил позволения сказать несколько слов нежно любимому брату. Миллон согласился. Дженнаро в трогательных выражениях напомнил ему о любви, связывавшей их с самого рождения, и спросил - неужели он точно считал его способным на братоубийство? Миллон потребовал от него доказательств невинности, и тогда Дженнаро с отчаянной горестью открыл ему ужасное пророчество голубей и волшебника Норандо. Едва успел он это сказать, как пораженный ужасом Миллон увидел, что брат его превратился в мраморную статую. Тут только понял он его самопожертвенную любовь и, терзаемый раскаянием, поклялся не только никогда не покидать статую любимого брата, но и умереть у ее подножья в знак своего отчаяния и скорби. Вдруг явился Норандо и сказал: "Смерть ворона, твое проклятие и похищение Армиллы были predeterminedены в вечной книге судьбы. Одно только средство может возвратить жизнь твоему брату, но средство это ужасно! Этим кинжалом должна быть умерщвлена Армилла у подножья статуи, и тогда мрамор, окропленный ее горячей кровью, оживет снова. Если ты в состоянии ее убить -- сделай это, а затем плачь и терзайся всю жизнь, как я". Он исчез. Армилла успела вывести от Миллона страшную тайну Норандовых слов. Миллон в отчаянии ее покинул, а она, полная ужаса, презирая жизнь, поразила себя сама кинжалом, оставленным Норандо. Едва ее кровь коснулась статуи, Дженнаро ожил. Возвратившийся Миллон нашел брата живым, а возлюбленную -- мертвой. Безутешный, хотел он пронзить себя тем же кинжалом, от которого погибла Армилла, но вдруг мрачное подземелье, где они находились, превратилось в великолепный зал. Явился Норандо и объявил, что таинственная воля судьбы свершилась: Армилла ожила вновь от прикосновения Норандо, и все кончилось счастливо.

Ф е р д и н а н д. Теперь я вспомнил эту прекрасную фантастическую сказку и то глубокое впечатление, которое она на меня произвела. Ты совершенно прав, говоря, что фантастическое является здесь совершенно необходимым дополнением и так подкреплено поэтической правдой, что ему веришь поневоле. Совершенное Миллоном убийство ворона широко распахивает дверь в фантастический мир, и тот бурным, звенящим потоком врывается в жизнь, опутывая людей таинственными нитями царящего над нами предопределения.

Л ю д в и г. Совершенно так. При этом обрати внимание на чудесные, исполненные силы положения, которые умел создать поэт из сочетания элементов двух миров. Геройское самопожертвование Дженнаро, высокий поступок Армиллы! Какое величие! Наши театральные моралисты не имеют понятия о чем-либо подобном, копаясь в дрызгах повседневной жизни, точно в соре, выметенном из великолепного зала. А как хороши комические эпизоды в партиях переодетых животных и чудовища!

Ф е р д и н а н д. О да! Только в истинном романтизме комическое может быть так соединено с трагическим, что оба производят единое, целостное впечатление, неотразимо захватывая внимание зрителей.

Л ю д в и г. Это смутно чувствовали наши оперные фабриканты, и таким образом явились у нас так называемые героико-комические оперы, в которых героическое часто смешно, а комическое доходит до героизма, пренебрегая всем, что требуют приличие и вкус.

Ф е р д и н а н д. Если подвести оперные сюжеты под твои условия, то у нас в самом деле окажется очень мало настоящих опер.

Л ю д в и г. Еще бы! Большая их часть -- не что иное, как театральные представления с пением, где полное отсутствие драматического действия, приписываемое тексту или музыке, происходит на деле из-за литературной формы всего произведения, состоящего из массы нанизанных одна на другую без толку мертвых сцен, оживить которые не в состоянии никакая мелодия. В таких случаях композитор нередко работает только для себя, и тогда мы видим ничтожный сюжет, который тащится возле мелодии, не будучи нимало проникнут ею, а она -- им. При этом иногда может быть, что музыка в известном смысле даже хороша, то есть, не поражая слушателя с магической силой, до глубины души, она все-таки производит приятное впечатление, как игра цветов в калейдоскопе. Но тогда это уже не опера, а концерт, исполняемый на сцене с декорациями и костюмами.

Ф е р д и н а н д. Если ты считаешь достойными внимания только романтические оперы в узком смысле, то что же тогда, по-твоему, музыкальные трагедии и, наконец, комические оперы в современных костюмах? Их ты уже и вовсе не должен признавать.

Л ю д в и г. Далеко не так! В большинстве старинных трагических опер, какие, к сожалению, теперь уже более не пишутся, слушателя всегда глубоко поражают и увлекают истинно героический характер действия и внутренняя мощь в положениях действующих лиц. Таинственная, мрачная сила, царящая над людьми и богами, открывается здесь перед глазами зрителя, и он слышит выраженные могущественными вещами звуками приговоры судьбы, стоящей выше самих богов. В таком трагическом начале, конечно, нет места фантастическому, но эти столкновения богов с людьми, где последние призываются к почти божественным подвигам, также требуют для

своего выражения тот высокий язык, какой могут дать только прекрасные звуки музыки. Ведь и старинные трагедии декламировались на музыкальный лад. Не обнаруживается ли в этом факте требование более высокого способа выражения, чем может дать обыкновенная речь? Наши музыкальные трагедии самым поразительным образом вдохновили гениальных композиторов к созданию еще более высокого, скажу даже -- святого стиля, в котором человек, как бы с помощью звуков, несущихся с золотых струн херувимов и серафимов, достиг познания того царства света, где ему открывается тайна его собственного бытия. Я хочу этими словами намекнуть тебе, ни больше ни меньше, как на глубокую родственную связь церковной музыки с трагической оперой, из которой старинные композиторы выработали тот дивный своеобразный стиль, о каком новейшие не имеют никакого понятия, не исключая даже чересчур богатого содержанием Спонтини. Я не буду говорить о великом Глюке, возвышающемся над прочими, как колосс, но чтобы почувствовать, как даже менее значительные таланты были тогда проникнуты этим истинно великим, трагическим стилем, стоит вспомнить хор жрецов ночи в Пиччиниевой "Дидоне".

Ф е р д и н а н д. Слушая тебя теперь, я так и вспоминаю те юные золотые дни, когда мы жили вместе и когда, бывало, ты, говоря вдохновенно об искусстве, открывал мне то, чего я не знал прежде! Уверяю тебя, что в эту минуту я гораздо более понимаю музыку, и мне кажется, что я даже не мог бы теперь вспомнить ни одного хорошего стиха без того, чтобы с ним вместе не возникла мелодия.

Л ю д в и г. Вот в этом-то и состоит истинное вдохновение оперного поэта. Я утверждаю, что в душе он может точно так же сочинять мелодии, как и настоящий композитор. Вся разница между ними только в более определенной форме тонов и аккомпанемента, словом, в большем умении композитора владеть составными частями музыки. Но я еще должен высказать тебе мое мнение об опере-буффа.

Ф е р д и н а н д. Наверно, уж ее, представляемую в современных костюмах, ты не слишком высоко ценишь.

Л ю д в и г. Напротив, мой милый Фердинанд, именно в современных костюмах и даже с подчеркнутым характером современной жизни она мне нравится более всего. Словом, в том виде, в каком создали ее горячие, увлекающиеся итальянцы. В ней фантастичны странности, вытекающие из характеров отдельных людей или из игры причудливого случая, смело врывающегося в обыденную жизнь и все перевертывающего вверх дном. Вот, например, перед нами наш сосед, сидящий, как всегда, в своем коричневом праздничном сюртуке с позолоченными пуговицами; но что с ним происходит в эту минуту? Почему он корчит такие уморительные гримасы, точно чем-то крайне недоволен? Причина проста: в комнате сидело почтенное общество

тетушек, нянюшек и томных дочек, занимаясь благочестивыми разговорами, и вдруг ватага студентов под окном вздумала, строя глазки, проорать для них серенаду. Казалось, сам нечистый не мог бы произвести такой сумятицы, какая поднялась при этом! Все вскочили, засуетились, запрыгали в разные стороны, точно ими стала управлять какая-то сумасбродная воля! Ни толку, ни смысла ни в чем -- и вот так самые почтенные, благоразумные люди попадают впросак. В этом-то внезапном вмешательстве случая в обыденную жизнь и в происходящих оттого смешных недоразумениях и заключается, по моему мнению, сущность оперы-буффа. И итальянские комики, надо признаться, умеют в совершенстве изображать эти неожиданные приключения, взятые из обыденной жизни. Они понимают малейший намек автора и умеют облечь в плоть и кровь едва намеченную им мысль.

Ф е р д и н а н д. Теперь я тебя совершенно понял. В опере-буффа фантастическая случайность становится на место романтизма и ее ты считаешь основным началом этого рода музыки. Обязанность же поэта состоит в том, чтобы не только верно изобразить выводимые лица, не только взять их из жизни, но еще и очертить их такими индивидуальными законченными чертами, чтобы зритель мог воскликнуть: "Да, это мой сосед, с которым я вижусь каждый день, а вот это студент, что ходит каждый день в коллегия и так томно вздыхает под окном моей двоюродной сестры", и так далее и так далее; при том все эти люди непременно должны существовать в критических положениях, в которых они изображаются, таким оригинальным способом, который свидетельствует о том, что и они, и все, что их окружает, попало под веселое настроение какого-нибудь насмешливого духа, излившего на них целый поток своих невероятных шуток.

Л ю д в и г. Ты выразил мое задушевнейшее убеждение, и я прибавлю только, что и сама музыка может в опере-буффа легко усвоить комический характер и что здесь точно так же сам собой создается совершенно особый стиль, равно способный увлечь, по-своему, внимание слушателей.

Ф е р д и н а н д. Но неужели музыка может изобразить комическое во всех его оттенках?

Л ю д в и г. Я в этом убежден глубоко, и гениальные художники доказывали это сотни раз. Так, музыка может выразить забавную иронию, которой проникнута, например, прекрасная опера Моцарта "Так поступают все женщины".

Ф е р д и н а н д. Но здесь я решусь заметить, что ведь если судить так, то и текст этой оперы следует считать хорошим.

Л ю д в и г. Я именно так и думал, когда утверждал, что Моцарт выбирал для своих классических опер совершенно соответствующие им сюжеты, хотя, впрочем, "Свадьбу Фигаро" следует назвать, скорее,

пьесой с пением, чем настоящей оперой. Несчастливая попытка переложить слезливую пьесу в оперу никогда не удастся, и потому наши "Сиротский дом", "Глазной врач" и так далее -- наверняка скоро будут преданы забвению. Также не может быть ничего более жалкого и не соответствующего настоящему названию оперы, как ряд поющих представлений, данных нам Диттерсдорфом. Но, например, такие оперы, как "Дитя счастья" или "Пражские сестры" я беру под защиту, потому что их можно назвать истинно немецкими опера-буффа.

Ф е р д и н а н д. Эти оперы, по крайней мере при хорошем исполнении, доставляли мне всегда большое удовольствие, и мне невольно приходит при этом в голову сказанное Тиком в обращении поэта к публике в его "Коте в сапогах": "Если вы хотите найти здесь удовольствие, то должны отложить в сторону высшее образование и сделаться вновь детьми, чтобы забавляться и радоваться подобно им".

Л ю д в и г. К сожалению, эти слова, равно как и многие подобные им, упали на жесткую бесплодную почву, так что не могли приняться и пустить корни. Но глас народа, который в суждениях о театре скорее всего можно назвать гласом Божиим, заглушает иронические улыбки чересчур утонченно развитых личностей, которых поражает ненатуральность и безвкусие, заключающееся в этих, по их мнению, пошлых произведениях. Бывали такие примеры, что иногда среди общего гремевшего в зале смеха иной молчавший с предвзятым мнением ценитель невольно разрешался безудержным смехом, не понимая сам, чему он смеется.

Ф е р д и н а н д. Не Тик ли, по твоему мнению, был поэт, который, если бы захотел, мог сочинять романтические оперы, совершенно подходящие под изложенные тобой условия?

Л ю д в и г. Очень вероятно, потому что он истинно романтический поэт, и я, помню, видел написанную им оперу в совершенно романтическом стиле, но, к сожалению, немного утрированную и растянутую. Если я не ошибаюсь, она называлась "Чудовище в зачарованном лесу".

Ф е р д и н а н д. Ты сам напоминаешь мне об одном из затруднений, в которые вы, композиторы, ставите оперных поэтов. Это -- требуемая вами невообразимая краткость текста, при соблюдении которой тщетным становится всякий труд разработать то или другое положение или подходящим языком изобразить развитие страсти. Все, по-вашему, должно заключаться в двух-трех стихах, да и их вы еще калечите и выворачиваете по своей прихоти.

Л ю д в и г. На этот вопрос я отвечу сравнением: автор оперного либретто должен, подобно декоратору, наметить только общий план картины сильными, ясными чертами, а затем уже дело музыки осветить все правильным светом, привести в перспективу, словом, оживить все

так, чтобы едва заметные черты превратились в смелые, выдающиеся фигуры.

Ф е р д и н а н д. Значит, вместо законченных стихов ты требуешь от нас одного наброска?

Л ю д в и г. Ни в коем случае! Автор должен, во-первых, относительно общего расположения и хода действия остаться верен вытекающим из природы вещей условиям драмы; во-вторых, он обязан так расположить и связать сцены, чтобы действие развивалось перед глазами зрителей само собой, давая возможность понимать общий смысл лицам, даже не знающим языка, на котором текст написан. Никакое драматическое произведение не нуждается более оперы в точном выполнении этого последнего условия, поскольку слова вообще не совсем ясно слышны при пении, а музыка очень склонна увлекать в сторону воображение слушателя, которое, может быть, обуздывается только постоянным приковыванием внимания к определенному моменту, содержащему в себе суть дела. Что касается характера собственно слов, то для композитора всего лучше, если они кратко и сильно выражают положение и страсть, которые должны быть представлены; всякие же украшения или образы будут излишни.

Ф е р д и н а н д. А богатый образами Метастазео?

Л ю д в и г. Да, этот действительно руководился странной идеей, что композитор должен вдохновляться, особенно в ариях, непременно поэтическими образами. Отсюда вечное повторение начальных слов того, что он писал: "come una tortorella"* и так далее; "come spuma in tempesta"** и так далее -- причем и в аккомпанементе слышится то воркование голубков, то шумящее море.

* *Как голубка (итал.).*

** *Как пена в бурю (итал.).*

Ф е р д и н а н д. Но неужели мы должны воздерживаться не только от поэтических украшений, но даже от живописного изображения интересных положений? Так, например, если молодой герой идет сражаться и прощается со стариком-отцом, чье царство до основания потрясено победоносным врагом-тираном, или, если злые обстоятельства разлучают двух влюбленных, -- неужели же в обоих случаях не позволено сказать ничего больше, кроме короткого "прощай"?

Л ю д в и г. Пусть, пожалуй, первый выразит в немногих словах свое мужество и уверенность в правоте дела, а второй скажет своей возлюбленной, что жизнь без нее будет для него медленной смертью. Но даже и одно простое "прощай" композитору, вдохновляемому не словами, а силой положений и действия, даст возможность выразить могучими средствами душевное состояние молодого воина или

покидаемой возлюбленной. Возвращаясь к твоему же примеру, я напомним, на сколько разнообразнейших и глубоко потрясающих ладов пели итальянцы слово "addio"*. Трудно себе представить, на сколько тысяч оттенков способен музыкальный звук. Дивная тайна музыки заключается именно в том, что она находит неиссякаемый источник выражения там, где бедная речь должна умолкнуть.

* *Прощай (итал.).*

Ф е р д и н а н д. Значит, автор либретто должен стремиться к высшей простоте в словесных выражениях, изображая положения только кратким, но сильным образом.

Л ю д в и г. Конечно, потому что, как я тебе сказал, композитора должны вдохновлять сюжет, действие и положение, а не громкие слова. Всякая погоня за тем, что выходит за пределы этого поэтического материала, для композитора сущее самоубийство.

Ф е р д и н а н д. Но ты должен понять, как живо я чувствую трудность написания при твоих условиях текста хорошей оперы! А эта краткость в словах?!

Л ю д в и г. Может быть, она действительно трудна вам, любителям болтовни, но я в отличие от Метастазии, показавшего своими оперными либретто, как их не следует писать, укажу тебе много итальянских стихотворений, могущих служить настоящими образцами музыкальных текстов. Что может быть проще, например, этих строк:

*Almen se non possio
Seguir L'amato bene,
Affetti del cor mio
Seguite lo per me!**

* *Если следовать я не могу за любимым, моего сердца любовь, последуй за ним без меня (итал.).*

Сколько в этих немногих простых словах материала для изображения сраженного любовью и горем сердца, но материала нетронутого, который только под рукою композитора может развиваться и вполне выразить это душевное состояние! Особенность положения, в котором должно находиться лицо, поющее эти слова, может до того вдохновить композитора, что он самой музыке придаст индивидуальный характер. Ты часто можешь видеть, что истинно поэтические композиторы писали иногда прекрасную музыку на прескверный текст. В этом случае их вдохновлял подходящий к оперным требованиям романтический сюжет. В пример я приведу Моцартову "Волшебную флейту".

Фердинанд готов был отвечать, как вдруг под самыми окнами комнаты раздался на улице походный марш. Он вскочил. Людвиг с глубоким вздохом прижал руку друга к своей груди.

-- Ах, Фердинанд! Дорогой друг, горячо любимый друг! -- воскликнул он. -- Что станет с искусством в это грозное, тяжелое время? Что если оно, как нежное растение, напрасно подымающее головку к небу, где вместо солнца видны только грозные свинцовые тучи, увянет и погибнет совсем? Ах, Фердинанд! Где золотое время нашей юности? Все хорошее погибло в бурном потоке, опустошившем цветущие поля. Одни кровавые трупы всплывают на его черных волнах, мы скользим и падаем на пути без опоры. Крик нашего ужаса раздается в пустынном воздухе. Жертвы неукротимой ярости, гибнем мы без надежды!

Людвиг замолчал в тяжелом раздумье, Фердинанд встал, взял саблю и каску. Подобно богу войны, вооружающемуся на бой, стоял он перед Людвигом, смотревшим на него в изумлении. Какой-то огонь зажегся в глазах Фердинанда, и он сказал, возвысив голос:

-- Людвиг! Что с тобой сделалось? Неужели воздух захолустья, которым ты здесь дышишь, довел тебя до болезни, под влиянием которой ты не чувствуешь теплого веяния весны, несущегося от этих заалевших на золотой утренней заре туч? В позорной праздности жили мы, грубые дети природы, не только презирая, но даже попирая ногами ее лучшие дары, и вот грозная мать пробудила нам в наказание войну, спавшую до того в заколдованной местности. Она поднялась, как железный исполин, и пред ее грозным голосом, заставившим задрожать горы, побежали мы, взывая о помощи к матери, в которую сами перестали верить. Но тут вместе с верой пришло и знание. Один труд приносит достойные плоды! Божественное возникает из борьбы, как жизнь из смерти!.. Да, Людвиг! Пришло время, и, как в полных глубокого смысла старинных легендах, чей голос, подобный отдаленному рокотанию грома, доносится до нас из мрака времен, -- прозреваем мы вновь ясное присутствие всеуправляющей власти, шествующей перед нами и пробуждающей в нас веру, способную проникнуть в тайну нашего бытия. Утренняя заря занялась, и мы уже видим вдохновенных певцов, провозглашающих небесное в освеженном воздухе и прославляющих его песнопением! Золотые двери отверсты, и наука с искусством единым лучом зажигают святое стремление, соединяющее людей в одну церковь! Потому, мой друг, смело вперед! с мужеством, верой, надеждой!

Фердинанд обнял друга, тот взял наполненный стакан.

-- Вечный союз в стремлениях, в жизни и смерти!

-- Вечный союз в стремлениях, жизни и смерти! -- повторил Фердинанд, и через минуту горячая лошадь умчала его вслед за войсками, с нетерпением ожидавшими скорую встречу с врагами.

Друзья были глубоко растроганы. Каждый думал о времени, когда над ним тяготела рука враждебного рока и когда, лишившись последнего мужества, они уже думали, что близка беда, а может быть, и сама смерть. Невольно припомнилось им, как тогда, сквозь темные облака, засияли первые лучи звезды надежды, становясь с каждой минутой все ярче и ярче и укрепляя всех в стремлении к новой жизни. Как все с радостью бросились в битву и как прекрасная победа увенчала веру и мужество!

-- Каждый из нас, -- сказал Лотар, -- выдержал борьбу с собой и вынес решение, что следовало делать, подобно серапионовскому Фердинанду. Слава Богу, что опасность, гремевшая над нашими головами и угрожавшая нас уничтожить, напротив, подкрепила нас, как вода из целительного источника. Я признаюсь, что только теперь, когда буря пронеслась совершенно, чувствую я себя среди вас вполне здоровым и ощущаю потребность вновь предаться науке и искусству. Теодор уже сделал это, смело отдавшись весь изучению старой музыки, хотя при этом он не презирает и поэзию, и потому я надеюсь, что скоро мы услышим оперу, в которой и музыка, и текст будут принадлежать ему одному. Все, что он изложил с такой софистической мудростью о невозможности самому сочинить текст и музыку оперы, может быть, звучит очень правдоподобно, но я его словами не убежден.

-- Я придерживаюсь противоположного мнения, -- сказал Киприан. -- Но оставим этот напрасный спор, напрасный тем более, что, может быть, Теодор сам первый опровергнет делом то, что так горячо доказывал на словах. Было бы лучше, если он, угостив нас своим милым рассказом, открыл теперь фортепьяно и поделился с нами чем-нибудь славным из новых своих сочинений.

-- Киприан, -- сказал Теодор, -- часто меня упрекает, что я слишком много внимания обращаю на форму и отказываюсь писать музыку на стихотворения, которые не укладываются в обыкновенные, принятые для музыки рамки. Я докажу вам несправедливость этого мнения, сообщив, что предпринял попытку положить на музыку произведение, совершенно уклоняющееся от всех принятых до сих пор форм. Я говорю ни более, ни менее, как о ночной песне из "Геновефы" Мюллера. Сладкое томление, горечь, душевная тоска, таинственное предчувствие -- словом, все, что наполняет растерзанное безнадежной любовью сердце, прелестнейшим образом выражено в словах этого стихотворения, а если прибавить к этому, что стихи в нем написаны старинным, глубоко проникающим в душу размером, то я думал, что его следует положить для одних голосов, без малейшего аккомпанемента, в старом стиле Алессандро Скарлати или в позднейшем -- Бенедетто Марчелло. В голове я уже сочинил все, но записал только начало. Если вы не совсем забыли музыку и пение и в

состоянии петь, как пели раньше, по невидимым нотам, то я предлагаю исполнить теперь же написанную мною часть.

-- Да! -- воскликнул Оттмар. -- Я очень хорошо помню это, как ты назвал, пение по невидимым нотам. Ты показывал на фортепьяно аккорд, не ударяя по клавишам, а каждый из нас пел свою партию по указанным нотам, не слышав их звука на инструменте. Те, кто не видал этой системы обозначения клавиш, не могли потом постичь, каким образом могли мы импровизировать и петь многоголосные партии; понимавшие же музыку единоголосно признавали это презабавной музыкальной шуткой. Я пою по-прежнему средним, впрочем, довольно шероховатым баритоном и еще не разучился попадать в тон, а Лотар еще может служить камертоном для теноров, которые, подобно тебе и Киприану, склонны слишком забираться наверх.

-- Мое сочинение как нельзя более подходит к прекрасному, мягкому голосу Киприана, потому его и прошу я спеть первую теноровую партию, сам же возьму на себя вторую. Оттмар хорошо попадает в тон, а потому пусть поет первый, а Лотар второй бас. Но, Бога ради, не громко, а, напротив, нежно и тихо, как требует характер всего сочинения.

Сказав это, Теодор взял на фортепьяно несколько вступительных аккордов, и затем все четыре голоса запели тихий, протяжный хор в As-dur.

*Светило чистой любви.
Ты нам сверкаешь вдали
На тихом небесном сияньи.
Все тебя мы зовем,
Все сладкой надеждой живем,
Пошли нам утеху в страданьи!*

Оба тенора начали дуэт F-moll.

*Неба светлые очи
Горят среди дивной ночи,
Хороводы свершая свои!
Но вот с таинственным звоном
Под светлым летит небосклоном
Звук чарующей песни любви!*

При словах "с таинственным звоном" пение перешло в Des-dur, а потом Лотар и Оттмар начали в B-mol.

*О вы, что в сиянии далеком
На небе живете высоком*

*Святые, в блаженной судьбе!
На наши страдания взгляните,
Нам помощи руку прострите,
Мы гибнем, гибнем в тяжелой борьбе.*

И вдруг все четыре голоса перешли в F-dur.

*Летите, летите лишь к нему с мольбами,
И счастья отворится дверь перед вами!*

Лотар, Оттмар и Киприан были глубоко поражены пронзительным, совершенно в духе старинных маэстро выдержанным стилем произведения Теодора. Слезы катились по их щекам, с восторгом обняли они талантливого композитора. Пробило полночь.

-- Благословляю наше радостное свидание, -- воскликнул Лотар, -- и дивное Серапионово родство, связавшее нас вечными узами. Пусть долго растет и процветает Серапионов клуб! Итак, через восемь дней встретимся мы опять у нашего Теодора. И, надеюсь, так же отрадно, как сегодня, проведем день, чуждые всякой принужденности и скуки!

В этом друзья, расставаясь, дали друг другу честное слово.

Второе отделение

Пробило семь часов. Теодор с нетерпением ожидал своих друзей; наконец пришел Оттмар.

-- Сейчас, -- сказал он, -- был у меня Леандр и задержал до сих пор. Я извинился, наконец, что мне нужно было идти по очень важному делу. Но и тут он непременно хотел меня проводить, так что я с трудом скрылся от него в темноте. Очень может быть, он знал, что я иду к тебе и хотел насильно к нам втереться.

-- Зачем же -- возразил Теодор, -- ты его не привел? Я был бы ему очень рад.

-- Ну нет, мой любезный Теодор, -- не согласился Оттмар, -- это было бы совершенно лишнее. Во-первых, я не считаю себя вправе привести сюда кого-нибудь чужого без общего согласия всех Серапионовых братьев, и не только чужого, так как Леандр, пожалуй, не совсем чужой, но просто пятого. А сверх того, с Леандром вышла не совсем приятная вещь по вине Лотара. Он со свойственной ему способностью увлекаться рассказал ему нынче все о нашем милом Серапионовом клубе, объяснил его правила и рассыпался в похвалах серапионовскому принципу, выразив надежду, что, зорко следя в этом последнем случае друг за другом, мы наверняка вдохновимся настолько, что все будем писать одни порядочные вещи. Леандр начал уверять, что такой союз между друзьями-литераторами был всегда его заветной мечтой, что он

надеется не получить отказа быть принятым в наше общество как истинно достойный Серапионов брат и что у него есть много чего почитать. С этими словами он невольным движением руки полез сперва в один, а потом в другой карман, оба, к немалому моему ужасу, страшно оттопыренные от набитых в них рукописей. Даже из нагрудного кармана торчали угрожавшие нам тетради.

Оттмара перебил шумный приход Лотара, за которым следовал Киприан.

-- Сейчас, -- сказал Теодор, -- нашему Серапионову клубу грозило облачко, но Оттмар удачно его развеял. К нам хотел затесаться Леандр, и я воображаю бедственное положение Оттмара, пока он не успел скрыться спасительным бегством во мрак ночи.

-- Как! -- воскликнул Лотар. -- Зачем же Оттмар не привел с собой моего дорогого Леандра? Он умен, остр, образован и вполне достоин назваться Серапионовым братом.

-- Ну вот ты, Лотар, опять за свое, -- возразил Оттмар. -- У тебя вечные перемены мнений и вечная оппозиция. Я уверен, что если бы я привел сюда Леандра, то от тебя первого услышал бы горькие за это упреки. Ты назвал Леандра умным, острым и образованным; с этим я, пожалуй, согласен и даже скажу более, что все, что он напишет, бывает всегда округлено и закончено и обнаруживает здравые суждения даже перед лицом самой строгой критики! Но при всем этом я все-таки полагаю, что никто не подходит менее Леандра под основной принцип нашего Серапионова клуба. Все, что он пишет, бывает ловко придумано, зрело развито, хорошо закончено, но не сотворено. У него рассудок не только господствует над фантазией, но даже сам становится на ее место. А сверх того, в сочинениях Леандра все так растянуто, что слушать его чтение уж совершенно невыносимо. Произведения его, пожалуй, не лишены ни ума, ни остроумия, но когда он читает их вслух, они наводят только зевоту.

-- Это правда, -- перебил своего друга Киприан, -- произведения для чтения вслух надо выбирать с большой осторожностью, и я думаю, что кроме живейшего, прямо из жизни вырванного интереса, они непременно должны быть невелики объемом.

-- И это потому, -- сказал Теодор, -- что при долгом чтении нельзя ни декламировать, что, как известно по опыту, становится невыносимо, ни сохранять спокойный тон, едва намечая разницу в положениях и событиях, что производит на слушателей усыпляющее действие.

-- По моему мнению, -- сказал Оттмар, -- произведения, предназначенные для чтения вслух, должны приближаться к драматической форме или даже быть совсем драматическими, но странно при этом, что многие комедии и трагедии положительно не могут быть читаемы громко, без принуждения и невыносимой тоски.

-- Это потому, -- возразил Лотар, -- что они драматичны только по форме, а не по содержанию, и рассчитаны на исполнение их, при выгодных постановочных условиях, актерами на сцене, будучи же сами по себе слабы и ничтожны, а также невозможны для слушания. Страдая отсутствием законченных картин с живыми лицами, они ожидают помощи только от сцены и таланта актеров. Но мы отделились от нашего Леандра, которого я, вопреки мнению Оттмара, все-таки смело объявлю достойным для поступления в наш кружок.

-- Очень хорошо, -- сказал Оттмар, -- но сначала я тебя прошу, любезный Лотар, припомнить все, что ты уже перенес от Леандра! Помнишь, как он преследовал тебя толстейшей драмой, а ты ускользал от него всякими неправдами, пока ему не удалось наконец залучить нас обоих к себе на ужин и угостить при этом своим произведением. Помнишь, как я храбро выдержал целых два действия, а ты, не выждав даже их, начал клясться всеми святыми, что тебе дурно, и убежал домой, оставив бедного Леандра одного доедать приготовленный ужин. А как, бывало, Леандр приходил к тебе, когда собирались гости? Как он шумел в карманах тетрадами в ожидании, что кто-нибудь скажет: "О, вы, верно, принесли нам что-нибудь занятное, любезный господин Леандр!", и как ты при этом тихонько умолял нас ради Бога молчать, не обращая внимания на этот шум, чтобы избежать неминуемой в таком случае опасности. Вспомни, как ты сравнивал добряка Леандра, всегда вооруженного трагедией и готового к бою, с Мероем, подкрадывающимся к тирану с кинжалом в руках. Как он, приглашенный однажды по необходимости, сразил нас всех, явившись с толстенной тетрадью в руках, и как у нас отлегло от сердца, когда он с самой приятной улыбкой объявил, что останется не более часу, так как зван в этот вечер на чай к одной знакомой даме, которой обещал прочесть свою новую героическую поэму в двенадцати песнях. Помнишь, как по его уходе мы воскликнули в один голос: "О бедная, злополучная женщина!"

-- Перестань, друг Оттмар! -- воскликнул Лотар. -- Если все, что ты рассказывал, действительно случилось, то в нашем Серапионовом клубе подобные вещи повторяться не могут. Разве мы не объявили строжайшую оппозицию всему, что противоречит нашему основному принципу? Я держу пари, что ему подчинится и Леандр.

-- Не думай так, любезный Лотар, -- возразил Оттмар. -- Леандр слишком заражен свойственным, к сожалению, многим писателям недостатком, состоящим в том, что он хочет один и говорить, и читать. Он будет всегда стараться наполнить наши вечера своими бесконечными произведениями, не допуская никаких возражений и нарушив таким образом лучшую соединяющую нас связь, равно как и всякое удовольствие. Он уже сегодня излагал мнение об одной общей

литературной работе, которую нам бы следовало предпринять вместе. А ведь это уж было бы, как говорится, распоследнее дело!

-- Ничего не может быть хуже сотрудничества нескольких лиц в одном и том же произведении, -- сказал Киприан. -- Да сверх того, оно совершенно неисполнимо. Необходимое единство в настроении души, в воззрении на предмет и в последовательности мыслей при нем невозможны. И если даже предположить предварительно разработанный план, то и тут не избежать путаницы в его развитии. Я по этому поводу расскажу вам один презабавный случай. Однажды четверо друзей, к обществу которых принадлежал и я, решили написать в общем сотрудничестве роман, с тем, чтобы каждый писал главы одну за другой по порядку. Один из нас сочинил исходный пункт романа, состоявший в том, что кровельщик упал с крыши и сломал себе шею, а его жена от испуга разрешилась от бремени тройней. Судьба этих трех близнецов, совершенно одинаковых ростом, лицом и сложением, должна была служить предметом романа. О дальнейшем плане уговора не было. Второй из авторов начал писать и вывел в первой главе общество странствующих актеров, исполняющих пьесу, в которой чрезвычайно ловко и талантливо была намечена дальнейшая судьба действующих лиц романа. Таким образом, если бы они все держались этой канвы, то первая глава сделалась бы в то же время осмысленным прологом всей истории, но вместо этого первый из авторов (сочинитель исходного пункта), продолжая вторую главу, уморил в ней главное действующее лицо, выведенное вторым в прологе, так что лицо это исчезло без следа и значения; третий отправил общество странствующих актеров в Польшу, а четвертый вывел сумасшедшую ведьму с вороном-прорицателем и нагородил без нужды и смысла кучу разных ужасов. На этом и остановилось все произведение.

-- Я тоже знаю, -- сказал Теодор, -- одну книгу, задуманную многими и тоже оставшуюся неоконченной. Она мало имела успеха и, по-моему, совершенно несправедливо. Не знаю, было ли виновато в том заглавие или просто неумение ее распространить. Я говорю о "Попытках и бедствиях Карла". Первый и единственный вышедший в свет том этого сочинения принадлежал к числу остроумнейших и интереснейших книг, когда-либо мною прочитанных. Замечательно, что в нем, наряду с многими известными писателями, как, например, Вильгельмом Мюллером, Жан-Полем и другими были выведены с удивительным искусством и фиктивные, вымышленные лица, например, Вильгельм Мейстер с сыном и другие.

-- Я знаю, -- сказал Киприан, -- книгу, о которой ты говоришь. Она доставила мне много удовольствия, и я хорошо помню в ней один рассказ о том, как Жан-Поль, увидя толстяка, в поте лица трудившегося над собиранием на поле земляники, сказал ему: "Верно, земляника очень сладка, если вы ради нее решаетесь на такой тяжелый

труд!". Возвращаясь, однако, к предмету разговора, я также скажу, что сотрудничество многих в одном сочинении, по-моему, вещь рискованная. Но зато взаимное влияние, помощь обменом мыслей между одинаково чувствующими литературными друзьями -- это дело другое! Из него может родиться настоящее вдохновение.

-- Таким влиянием, -- начал Оттмар, -- обязан я нашему другу Северину, которого я, по правде сказать, гораздо скорее, чем Леандра, принял бы в число Серапионовых братьев. Раз я сидел с ним в берлинском Тиргартене и на наших глазах случилось происшествие, послужившее мне сюжетом для рассказа, которому я дал заглавие: "Эпизод из жизни трех друзей" -- и принес сегодня с собой, чтобы вам прочесть. Дело в том, что перед нами села прелестная девушка и горько заплакала, прочтя украдкой сунутое ей письмо. Едва Северин это увидел, как бросил на меня сияющий взгляд и прошептал: "Оттмар! Тут найдется кое-что для тебя! Расправляй проворней крылья фантазии и пиши живо повесть о девушке с письмом и в слезах". Я так и сделал.

Друзья уселись за круглый стол, а Оттмар, вынув рукопись, начал:

ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ ТРЕХ ДРУЗЕЙ

Однажды в Духов день павильон Вебера, одно из самых посещаемых мест в берлинском Тиргартене, был до того переполнен публикой всех сортов, что Александр, только неумоимо преследуя совершенно одуревшего от бесчисленных требований кельнера, мог добыть себе небольшой столик, который и велел поставить в некотором отдалении, под прекрасными деревьями близ воды. Тут уселся он в приятнейшем расположении духа с двумя своими друзьями, Северином и Марцеллом, успевшими также не без стратегических уловок добыть себе пару стульев.

Все они лишь несколько дней тому назад прибыли в Берлин. Александр -- из отдаленной провинции, чтобы получить наследство, оставшееся после смерти старой, умершей в девицах тетки; Марцелл же и Северин -- для того, чтобы заняться вновь цивильными делами, оставленными ими по случаю поступления обоих на военную службу, ныне завершленную по причине окончания самой войны. В этот день хотели они отпраздновать свое свидание и поговорить не столько о богатом событиях прошлом, сколько обдумать и обсудить свое горячее стремление что-нибудь делать в ближайшем будущем.

-- Право, -- воскликнул Александр, взяв себе и передавая друзьям чашки с горячим кофе, -- если бы вы увидели меня в уединенном жилище моей покойной тетки и как я по утрам в торжественном молчании обхожу обитые темными шпалерами комнаты, а старуха Анна, ключница покойницы, маленькое и само похожее покойницу существо, вздыхая и покашливая, приносит мне дрожащими руками на

оловянных тарелках завтрак и ставит с чинным книксеном на стол, а затем, не говоря ни слова, опять вздыхая, уходит, шлепая туфлями, подобно локарнской нищенке Клейста; как мопс и кот, очень неласково на меня поглядывая, уходят вслед за ней и как я, оставшись один в компании скучного, ворчащего попугая и двух качающихся фарфоровых кукол, глотаю чашку за чашкой, едва осмеливаясь осквернить табачным дымом девственные покои, освежавшиеся доселе только жертвенным курением янтаря и мастики, -- то вы бы, наверное, сочли меня за нечто вроде чародея Мерлина. Могу вас уверить, что только одно мое глупое равнодушие к своей особе, в чем вы меня так часто упрекали, было причиной, что я, даже не поискав другой квартиры, поселился в пустом доме тетки, оставшемся благодаря педантичной совестливости душеприказчиков совершенно в том же неудобном для житья виде, в каком он был прежде. Покойница, которую я почти не знал, не велела ничего трогать до моего приезда. Возле ее высокой, покрытой чистейшим бельем, с зеленым шелковым пологом кровати стоит до сих пор маленький табурет с брошенным на него почтенным ночным платьем и униженным бантами чепцом. С полу глядят невероятные вышитые туфли, а из-под вытканного белыми и пестрыми цветами одеяла выглядывает посеребренная, сделанная в виде сирены ручка необходимого сосуда. В гостиной валяется незаконченное шитье, начатое покойницей незадолго до смерти, возле него открытая книга Арндта "Об истинном христианстве". Но что более всего навевает на меня чувства неуютности и страха, так это висящий в той же комнате портрет тетушки в натуральную величину, написанный с нее в возрасте от тридцати пяти до сорока лет, в полном подвенечном наряде, который, как мне с горькими слезами описывала Анна, надет на тетушке и в гробу.

-- Вот оригинальная идея! -- прервал Марцелл.

-- Очень понятная, -- отвечал Северин, -- ведь умирающие девицы -- Христовы невесты, и, право, было бы слишком жестоко оспаривать эту утешительную благочестивую мысль даже у пожилых тетушек. Но чего я не понимаю, так это зачем твоя тетушка велела так давно написать в подвенечном платье свой портрет?

-- Это потому, -- ответил Александр, -- что тетушка, как мне рассказывали, была однажды в самом деле просватана и ожидала уже в назначенный для свадьбы день в полном подвенечном наряде жениха, но он вместо поездки в церковь предпочел убежать из города с какой-то еще прежде любимой им девушкой. Тетушка очень огорчилась и выдумала с тех пор, вовсе не будучи помешанной, преоригинальным способом праздновать день и час несостоявшегося венчания. Утром приказывала она все приготовить для свадьбы, вычистить комнаты, накрыть маленький с золотой резьбой свадебный столик, купить вина, шоколада и печенья для двух особ, а затем, тяжело вздыхая, бродила до

десяти часов вечера по комнатам, ожидая жениха; потом усердно молилась и, наконец, сняв свой брачный наряд, ложилась в постель.

-- Знаешь, -- прервал его Марцелл, -- рассказ твой меня глубоко трогает! От души желал бы я достойного наказания обманщикам, которые доводят до такого ничем не утешимого состояния бедных, преданных созданий.

-- Да, но ведь медаль имеет обратную сторону, -- возразил Александр. -- Тот, кого ты, пожалуй, справедливо называешь обманщиком, поступил в этом случае, по моему мнению, под влиянием доброго гения тетушки, а может быть, и своего собственного. Дело в том, что он думал только о тетушкиных деньгах, ее же считал всегда скупой, сварливой, властолюбивой, словом, настоящим домашним чертом.

-- Все это может быть, -- сказал Северин, положив трубку на стол и скрестив с задумчивым видом на груди руки. -- Все это может быть, но не следует ли сознаться, что мысль о таком трогательном празднике смерти, о такой полной самоотречения, тихой жалобе на изменника могла зародиться только в глубоко чувствующей душе и чуждой тех дурных качеств, которые ты приписываешь бедной тетушке. Быть может, выражение глубокого огорчения, которому вообще люди с трудом могут противостоять, вылилось в тетушке в такие негодные формы, что все, что она ни делала, казалось тоже дурным. Но и целый плохой год окупился бы для меня возвращением одного такого трогательного дня.

-- Ты прав, Северин, -- сказал Марцелл. -- Я тоже думаю, что покойная тетушка, небесное ей царство, не могла быть так невыносима, как уверяет на основании одних сплетен Александр. Но, однако, я сам не люблю долго заниматься людьми, жалующимися на судьбу или обиженными ею, а потому желаю дорогому другу Александру забыть поскорее это празднование мертворожденной свадьбы и, выбив из головы образ оставленной невесты, разгуливающей вокруг стола с шоколадом, заняться лучше разбором оставленных ею сундуков и описи наследства.

Александр быстро поставил на стол уже поднесенную было к губам чашку кофе и воскликнул, всплеснув руками:

-- О Господи! Да оставьте вы, наконец, меня в покое с этим разговором, а то я, право, боюсь, что тетушкина тень в подвенечном платье вдруг мелькнет в этой толпе хорошеньких девушек, не испугавшись даже яркого, светлого солнца.

-- Эта пугающая мысль, -- сказал Северин, улыбаясь и выпуская синие облачки дыма из набитой вновь трубки, -- послана тебе в наказание за то, что ты дурно отзывался о покойнице, сделавшей тебе так много добра своей смертью.

-- А знаете ли вы, -- перебил снова Александр, -- мне кажется, самый воздух в моей квартире до того пропитался духом и существом покойной тетушки, что стоит пробыть в ней каких-нибудь двадцать четыре часа, чтобы самому заразиться тем же!

Северин и Марцелл подали в эту минуту Александру свои пустые чашки, в которые он ловко положил сахара и налил кофе с молоком.

-- Уже из одного того, что я так скоро научился совершенно чуждому мне прежде искусству разливать кофе, -- продолжал он, -- и так правильно распределил в чашках горькое и сладкое, можете вы видеть, как преуспел я в ведении хозяйства; но я вас удивлю еще более, сказав, что я начинаю чувствовать даже какое-то особенное влечение к оловянной и медной посуде, к разборке белья, хрусталя, фарфора -- словом, ко всей оставшейся после тетушки хозяйственной рухляди. Мне как-то особенно приятно чувствовать себя владельцем огромных, размером с кровать, стула и стола с чернильницей и подсвечником. Тетушкин душеприказчик, глядя на меня, только посмеивается и уверяет, что теперь мне недостает только невесты и священника. Кажется, он в своих заветных мечтах прочит мне в подруги жизни собственное детище, преуморительную маленькую фигурку с огромными глазами, наивничавшую хуже маленького ребенка и вертлявую, как пигалица. В шестнадцать лет все это, пожалуй, и шло бы к ее костлявой фигурке, но в тридцать два -- уже немного слишком!

-- Что делать! -- возразил Северин. -- Такое самообольщение, как оно ни ложно, все-таки очень понятно. Где тот рубеж, за которым девушка, чувствующая, что она что-то из себя представляла, должна остановиться и сказать себе: привычки мои остались свежи, как мои наряды, но сама я уже не та! Наружность моя изменилась! Надо забыть и терпеть! Обманывающая себя в подобном случае особа постоянно возбуждает мое живейшее участие, и я всегда готов обратиться к ней со словами сочувствия!

-- Ты замечаешь, Александр, -- сказал Марцелл, -- что Северин сегодня в очень трогательном настроении духа. Сначала он разнежился по поводу тетушки, а теперь ее душеприказчика. Ведь это советник Вальтер, не правда ли? Он привел его в умиление своим очень знакомым мне тридцатидвухлетним перезрелым персиком, и, чего доброго, Северин серьезно посоветует тебе на ней жениться, чтобы вылечить ее, по крайней мере, от наивности, с которой она, ручаясь тебе, расстанется тотчас же после получения предложения. Но только ты, Бога ради, не делай этого; я знаю по опыту, что такие наивненькие особы обладают иногда, или, вернее, всегда, кошачьей натурой и умеют выпускать преострые когти из бархатной лапки, которой так ласково гладят до свадьбы.

-- Слуга покорный, -- воскликнул Александр, -- поверь, что не только Вальтеров персик, но и что-нибудь гораздо более соблазнительное не

прельстит меня отказаться от золотой поры молодости, которая только теперь начинает мне улыбаться благодаря полученному наследству! Так неужели я захочу сам ее испортить? Впрочем, мне этого нечего бояться, потому что фигура тетушки в ее подвенечном наряде совершенно уронила в моем мнении само слово "невеста", соединив с ним понятие о чем-то чрезвычайно страшном и жутком!

-- Жалею тебя, -- сказал Марцелл -- что до меня, так я всегда чувствую какой-то сладкий трепет при одной мысли о красивой, одетой к венцу девушке, а если я ее вижу, то мне так и хочется обнять ее с чистой, небесной, никак не земной любовью!

-- О, я это знаю, -- подхватил Александр, -- ведь ты влюбляешься во всех невест и часто воображаешь себя вступающим в брак даже с чужими женами!

-- Он любит с любящими, -- сказал Северин, -- и за это я горячо люблю его самого.

-- Хочешь, -- смеясь, сказал Александр, -- я подарю тебе тетушкин портрет и тем освобожу себя от гнетущего меня призрака? Вы удивляетесь моим словам? Я не шучу! Овладевшая мной, как я уже говорил, душа старой девы выражается, между прочим, и в том, что я стал бояться привидений, точно ребенок, которого нянька однажды страшно напугала. Мне всерьез чудится даже светлым днем, особенно когда я разбираюсь в оставшихся сундуках и ящиках, что покойная тетушка сует вместе со мной свой нос и длинные пальцы в разбираемое белье, платья и прочие вещи. Если я беру какую-нибудь кастрюльку или горшок, то, представьте, остальные начинают шевелиться сами собой, и мне так и кажется, что костлявая призрачная рука подает мне ту или другую вещь. В таких случаях я обыкновенно бросаю все и, убежав без оглядки в другую комнату, начинаю свистать в отворенное окно к великому огорчению старухи Анны. Но что тетушка ночью, ровно в двенадцать часов, бродит по комнатам -- это несомненно!

Марцелл громко захохотал, но Северин остался серьезен и сказал:

-- Расскажи, пожалуйста, а то это уже становится слишком, и я не могу себе даже представить, чтобы ты с твоим умом мог сделаться духовидцем.

-- Ну слушайте, -- начал Александр. -- Вы оба знаете, что никто более меня не смеется над верой в привидения. Никогда в жизни не случалось со мной ничего сверхъестественного, и никогда не испытывал я даже чего-либо похожего на тот болезненный страх, который овладевает, как говорят, всеми при одной мысли о выходцах с того света. Но слушайте, что со мной случилось в первую же ночь, проведенную на новой квартире.

-- Рассказывай, -- сказал Марцелл, -- я надеюсь, что мы поможем тебе разъяснить и понять случившееся!

-- Едва ли, -- возразил Александр. -- Я не хотел говорить об этой истории с призраком даже вам, но теперь уж делать нечего, расскажу. Итак, когда я переехал в мою новую квартиру, старая Анна встретила меня вся заплаканная и провела, вздыхая и всхлипывая, с серебряным подсвечником в дрожащей руке через ряд пустых комнат в тетушкину спальню. Наемный кучер свалил на пол мой чемодан, взял с меня деньги с лишком, спрятал их, отвернув полу сюртука, в боковой карман брюк и, оглядев с усмешкой комнату, сказал, указывая на высоко вздымавшуюся тетушкину постель с зеленым пологом: "Ну, тут-то господин хорошо отдохнет! Не то, что в карете! Да вот лежат и шлафрок с колпаком", -- прибавил он, ткнув пальцем в тетушкино ночное платье. Старуха моя обомлела, услышав такую дерзость, и чуть не уронила серебряный подсвечник. Я взял его из ее рук и пошел на лестницу посветить кучеру, напоследок поглядевшему на старуху самым плутовским взглядом. Вернувшись в комнату, я нашел, что Анна все еще смотрела как-то со страхом, воображая, вероятно, что вот-вот, сейчас, ужасное свершится, -- и я бесцеремонно растянувшись на девственном ложе тетушки. Она ожила, только когда я ласково объяснил ей, что не привык спать на таких пуховиках, и попросил приготовить мне простую постель в гостиной. Таким образом, преступление было предотвращено к полному восторгу старухи, и я заметил даже, что нечто вроде улыбки скользнуло по ее сморщенному лицу. Быстро нагнулась она к полу, поправила своими костлявыми руками свалившиеся с пяток туфли и, направляясь быстрыми коротенькими шажками к двери, проговорила наполовину ласково, наполовину робко: "Хорошо, господин, я все сделаю". -- "Я хочу хорошенько выспаться, а потому прошу не подавать мне кофе ранее девяти часов", -- прибавил я и с этой фразой из "Валленштейна" отпустил старуху.

Измученный до смерти, я думал, что сон одолеет меня тотчас же, но ошибся. Едва успел я лечь, как множество мыслей, осадив меня со всех сторон, начали сновать и копошиться в моем мозгу. Прежде всего представилась мне внезапная перемена моего положения. Мысль, что я действительно владею тем, что мне досталось, ясно напомнила мне о выходе из стесняющей меня нужды и о вступлении в привольную, беззаботную жизнь. В эту минуту часовая стрелка шелохнулась, и часы начали бить. "Одиннадцать, двенадцать..." -- стал считать я. Мне было так легко на душе, что я с удовольствием прислушивался к тиканью собственных карманных часов и к писку сверчка, забравшегося в какой-то дальний угол.

Вдруг, с последним ударом башенного колокола, глухо донесшимся до меня откуда-то издали, я явственно услышал, что в комнате кто-то ходит тихими, легкими шагами, прерываемыми не то легким стоном, не то вздохами. Вздохи становились все слышнее и слышнее и,

наконец, стали совершенно похожи на предсмертные стоны умирающего. В соседней комнате послышалось царапанье в дверь и жалобный вой собаки, отдававшийся каким-то странным человеческим голосом. Это был старый мопс, тетушкин любимец, запертый там еще с вечера. Я привстал на постели и, широко раскрыв глаза, старался взглянуть в слабо освещенную ночным сумраком комнату. Все стояло на месте, никакой движущейся фигуры не было видно, а шаги все продолжались, вздохи и стоны раздавались по-прежнему и, как мне казалось, возле самой моей постели. Тут охватил меня невольный, никогда мной не испытываемый страх из-за присутствия рядом призрачного существа. Я чувствовал, как холодные капли пота выступили у меня на лбу, и как холод, пробравший до корней волос, заставил их встать дыбом. От ужаса я не мог ни пошевелиться, ни вскрикнуть, кровь стучала у меня в висках, тело, точно в предсмертной агонии, отказывалось повиноваться воле. Вдруг шаги и стоны замолкли, раздался глухой кашель; дверь одного из шкафов скрипнула; послышался стук серебряных ложек, затем кто-то как будто взял бутылку, открыл ее и опять поставил на место. Послышался звук проглоченной жидкости; этот кто-то тихо отхаркался, глубоко вздохнул, и в тот же миг длинная белая фигура, пошатнувшись, отделилась от стены. Тут глубочайший ужас овладел всем существом моим -- и я лишился чувств.

Очнулся я, почувствовав, что будто падаю сверху. Это сонное состояние вам хорошо известно, но испытанное мной в минуту пробуждения чувство едва ли возможно описать. Сначала я старался припомнить, где я был; потом смутное ощущение, что со мной случилось нечто ужасное, способное прервать даже глубокий, почти мертвый сон, овладело моим сознанием. Припоминая мало-помалу все случившееся, я остановился на мысли, что это был не более чем тяжелый бред. Вставая с постели, я невольно бросил взгляд на тетушкин портрет; это была большая, написанная в натуральную величину, до колен, картина. Мороз продрал меня по коже при мысли о замечательном сходстве портрета с почудившейся мне ночью белой фигурой, но то обстоятельство, что в комнате не было ни одного шкафа, меня успокоило и снова заставило поверить, что это был только сон.

Анна принесла кофе и, пристально посмотрев мне в лицо, сказала: "Ах, Боже мой! Да какой же вы бледный и выглядите нездоровым! Уж не случилось ли чего с вами?" Далекий от мысли поверять старухе историю с моим привидением, я сказал, что боль в груди не давала мне спать. "Э-э... да это от желудка, -- прошамкала старуха, -- это от желудка, я знаю, что вам надо", -- и с этими словами она поплелась к одной из стен, отворила незамеченную мной до того и скрытую обоями дверь, и я увидел вделанный в стену шкаф, в котором стояли стаканы,

небольшие склянки и пара серебряных ложек. Старуха, побренчав ложками, взяла одну из них, откупорила склянку, накапала из нее в ложку какой-то жидкости и, поставив склянку опять в шкаф, направилась с ложкой ко мне.

Я вскрикнул от ужаса при мысли, что ночная проделка призрака свершается теперь наяву. "Ну-ка, сынок, -- улыбаясь заговорила старуха, -- изволь принять, это хорошее лекарство, покойница тетушка всегда его принимала, когда, бывало, заболит желудком". Скрепя сердце я проглотил жгучий желудочный эликсир. Глаза мои были обращены прямо на висевший над шкафом портрет невесты. "Кто повесил эту картину?" -- спросил я. -- "О Господи! Да кто ж другой как не сама покойница тетушка!" -- отвечала старуха, и слезы показались у нее при этом на глазах. Мопс начал визжать, точно ночью, а я, с трудом подавляя внутреннее волнение и едва владея собой, сказал: "Послушайте, Анна, мне кажется, что сегодня ночью, в двенадцать часов, покойная тетушка подходила к этому стенному шкафу и принимала капли!" Слова эти, по-видимому, нимало не изумили старуху, и она отвечала тихо, при этом с покрытого морщинами ее лица исчезли следы последнего старческого румянца. "Разве сегодня Воздвижение? Ведь 3 мая прошло давно".

Больше я не мог ничего добиться; старуха ушла, а я, не прикоснувшись к завтраку, выбежал на улицу, чтобы разогнать следы тяжелого ночного кошмара, начавшего было снова мною овладевать. К ночи Анна догадалась без приказа перенести мою постель из прежней комнаты в уютный, выходивший на улицу кабинет. С тех пор я не говорил о призраке ни с ней, ни с советником и вас прошу об этом никому не рассказывать, а то тут пойдут такие пересуды и сплетни, что мне не отделаться от приставаний докучливых любителей потустороннего. Даже в кабинете, где я сплю теперь, мне иногда чудится ночью шум шагов и вздохи, но я намерен потерпеть еще несколько дней, а там без долгих размышлений оставлю тетушкин дом и буду искать другую квартиру.

Александр замолчал, Марцелл же, помолчав несколько секунд, начал:

-- Твое приключение с призраком тетушки в самом деле замечательно, но, хотя я и верю, что духовное начало может проявить себя перед нами тем или другим образом, все же твой случай отзывается чем-то слишком обыкновенным и материальным. Я допускаю шаги, вздохи и стоны, но чтобы покойница принимала, как живая, желудочные капли? Это напоминает анекдот о женщине, которая после смерти стала, как кошка, стучать в затворенное окно.

-- Вот самообман, на который очень падка наша природа, -- прервал Северин. -- Если допустить раз, что мы можем воспринять внешними органами то или другое возможное проявление чужого духовного начала, то почему же наш дух начинает тотчас же умничать и

устанавливать, какие из этих проявлений возможны, а какие нет? По твоей теории, любезный Марцелл, дух может шуметь туфлями, вздыхать, стонать, но никоим образом не откупоривать бутылки или что-нибудь глотать. Вспомните замечательное явление, происходящее во время сна, когда дух наш склонен престранным образом сцеплять понятия о высших представлениях с самыми обыденными явлениями жизни, не разбирая, действительно ли подходят они друг к другу или нет, -- и таким образом рождается целый ряд трагикомических положений. Почему же не допустить этого коренящегося в нашей несовершенной природе свойства и в духе, покинувшем брэнное тело, особенно когда ему дозволено до некоторой степени приблизиться к сферам прежней жизни? Капризная воля и влияние чужого духовного начала имеет в таком случае полную возможность обуславливать на свой лад ряд явлений, воспринимаемых внешними чувствами того, кто вступил в их очарованный круг, и было бы крайне смешно устанавливать для этих явлений какую-либо скроенную норму. Замечательно, что лунатики, эти активные сновидцы, по большей части занимаются самыми обыденнейшими в жизни делами. Я знал одного, который в каждое полнолуние отправлялся в конюшню, выводил из стойла лошадь, седлал ее, снова расседывал, опять ставил в стойло и затем возвращался в постель. Все, что я говорю, впрочем, отрывочные мысли, и я повторяю только...

-- Так ты веришь в тетушкин призрак? -- вдруг прервал Северина заметно побледневший Александр.

-- Чему он только не верит? -- воскликнул Марцелл. -- Да ведь и я верю тоже, хотя и не считаю себя таким примерным духовидцем, как Северин. Если на то пошло, так и я не скрою, что в моей комнате тоже завелся дух, напугавший меня до смерти, пожалуй, еще больше, чем Александра.

-- А со мной разве не было того же, -- пробормотал Северин.

-- Приехав сюда, -- продолжал Марцелл, -- нанял я на Фридрихштрассе чистую, меблированную комнатку и точно так же, как Александр, бросился, измученный усталостью, в постель. Проспав около часа, вдруг почувствовал я, что свет проник мне в глаза сквозь закрытые веки. Я взглянул -- и представьте мой ужас! Возле самой кровати стояла длинная, худая фигура со страшным, мертвенно бледным лицом и глядела на меня огромными неподвижными глазами. Белая рубашка висела у нее на плечах, открывая часть груди, которая, как мне показалось, была покрыта кровью. В левой руке держала она подсвечник с двумя зажженными свечами, а в правой -- большой наполненный водой стакан. В ужасе, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, смотрел я, как это страшное призрачное существо вдруг стало с каким-то диким визгом раскачивать и стакан, и подсвечник. Мною овладел точно такой же страх от близкого присутствия духа, о котором

упомянул и Александр. Все медленнее и медленнее становилось раскачивание и наконец прекратилось совершенно. Вместо того послышалось в комнате тихое пение, и в конце концов призрак удалился медленными шагами, оскалившись на меня ужасной улыбкой. Долго не мог я прийти в себя, но все же, опомнившись, выскочил из кровати и, подбежав к двери, которую забыл запереть, ложась спать, поспешно закрыл ее на задвижку. Мне и прежде приходилось, особенно во время походов, вдруг проснувшись, увидеть возле своей постели незнакомого человека, но это меня никогда не пугало, а потому на этот раз я был вполне убежден, что в этом последнем случае замешана потусторонняя сила.

Утром я хотел пойти к своей хозяйке рассказать ей, какое страшное видение смутило мой сон, но, выйдя в коридор, я вдруг увидел, что из двери комнаты, прямо напротив моей, вышла длинная, худая фигура, закутанная в шлафрок. Взглянув, я сразу же узнал бледные щеки и дикие блуждающие глаза ночного призрака, и хотя в ту минуту понял сам, что мертвеца такого рода можно и поколотить, и сбросить с лестницы, все же должен сознаться, что мой ночной страх вернулся ко мне снова, и я опрометью хотел кинуться вниз по лестнице. Но призрак внезапно загородил мне дорогу, схватил меня за обе руки и спросил с милой улыбкой самым дружеским тоном: "Ну что, любезный сосед, каково провели вы ночь на новом месте?" Я, нимало не колеблясь, рассказал ему мое приключение, сказав также, что считаю, что именно его принял за привидение, и в заключение выразил мою душевную радость, что не заставил его самым чувствительным образом поплатиться за неприятельское вторжение в чужую комнату, прибавив, впрочем, что в будущем за себя не ручаюсь.

Пока я говорил, он с улыбкой покачивал головой, а когда я кончил, сказал мне тихо: "О мой многоуважаемый сосед! Прошу вас, не сердитесь! Я всегда думал, что так оно и должно случиться, и уже сегодня утром знал, что случилось действительно, потому и был внутренне спокоен. Я, видите ли, немного робкий человек, да и как может быть иначе? Вот тоже говорят, что послезавтра..." -- и он заговорил о городских новостях, потом перешел к разным замечаниям, полезным для приезжих и иностранцев, и, надо признаться, говорил все это чрезвычайно живо и остроумно. Так как он меня очень заинтересовал, то я возвратился опять к разговору о ночном происшествии и просил его без дальнейших околичностей объяснить мне, что его побудило так неучтиво потревожить мой сон. "О, ради Бога, не сердитесь, мой любезный сосед, -- начал он снова, -- я не знаю сам, как я осмелился. Это, поверьте, было сделано только затем, чтобы разузнать ваше обо мне мнение! Я, как уже говорил, очень робкий человек, и новый сосед всегда меня смущает, пока я его не узнаю как следует". Я объяснил этому загадочному старику, что до сих пор не

понимаю из его слов ровно ничего; тогда он взял меня за руку и повел в свою комнату. "Для чего скрываться, любезный сосед? -- продолжил он, подойдя со мной к окну. -- Зачем утаивать странную, данную мне способность? Бог часто являет свое всемогущество в ничтожнейших существах, и таким образом мне, бедняку, чья грудь открыта для удара всякого противника, дана Им в защиту чудесная сила проникать, при известных условиях, в сердце человека и подсматривать его задушевнейшие тайны. Для этого я беру этот прозрачный, наполненный дистиллированной водой стакан (он взял стоявший на окне бокал, тот самый, который держал в руках ночью), сосредоточиваю все внимание и мысли на той особе, чьи тайны хочу узнать, и начинаю раскачивать стакан в известном мне одном направлении. И тогда в воде появится множество маленьких пузырьков, которые, скопясь на поверхности, образуют точно зеркальную амальгаму, а на ней, когда я туда смотрю, совершенно ясно отражается как мое собственное внутреннее существо, так еще более существо того человека, на которого я направляю мои мысли. Часто, когда я особенно боюсь близости какого-нибудь нового для меня человека, случается мне делать мои наблюдения по ночам, и это как раз я и делал у вас в комнате сегодня ночью, а все из-за того, что, должен вам признаться, вы вчера вечером внушили мне некоторое беспокойство".

Сказав эти слова, мой странный незнакомец вдруг сжал меня в объятиях и воскликнул, точно охваченный вдохновением: "Но что за радость была мне, когда я прозрел ваши добрые относительно меня намерения! О мой дражайший, милейший сосед! Если я не ошибаюсь, то ведь мы уже жили счастливо вместе лет двести тому назад на острове Цейлон!" Тут он начал путаться в каких-то мудреных комбинациях, а я, догадавшись ясно, кто передо мной стоял, был очень рад, когда удалось, хотя и с трудом, от него отделаться. На мои дальнейшие расспросы у хозяйки узнал я, что сосед мой был прежде замечательнейшим ученым, но с некоторого времени подвергся припадкам меланхолии, в которых ему казалось, что все окружающие питали к нему неприязненные чувства и искали его гибели, пока, наконец, он не вообразил, что нашел верное средство узнавать своих врагов и принимать против них меры. С тех пор он пришел в более спокойное состояние, но зато помешался на этой мысли окончательно. Целые дни проводил он, сидя у окна и делая опыты со своим стаканом. Его добрый, открытый характер выражался даже в этом жалком состоянии, так как он почти во всех открывал одни только добрые намерения, если же встречал, по его мнению, характер сомнительный или злой, то никогда не сердился, а только погружался в печальную думу. Потому сумасшествие его совершенно безвредно, и его старший

брат, на чьем попечении он находится, может совершенно спокойно предоставить ему жить без всякого присмотра где и как ему угодно.

-- Рассказ твой, -- прервал Северин, -- принадлежит поэтому к категории рассказов из книги Вагнера о привидениях, так как завязка его, равно как и вся твоя фантазия, объясняются простейшим, натуральным образом, подобно всем глупым историям этой скучнейшей книги.

-- Если ты хочешь настоящих привидений, то, пожалуй, ты прав, но во всяком случае мой сумасшедший, с которым я теперь состою в самых лучших отношениях, в высшей степени интересное явление. Впрочем, мне не нравится, что он начинает задаваться другими сумасбродными мыслями; так, например, недавно вообразил, что он был королем Амбоины, попал в плен и двадцать лет его показывали за деньги, как жар-птицу. Это уже может повести к совершенному безумию. Я знал одного очень тихого сумасшедшего, который считал себя ночью луной, но когда вообразил однажды, что он солнце, то впал в бешеное безумие.

-- Да полно вам, наконец! -- воскликнул Александр. -- Что у вас за разговоры здесь, среди тысячи нарядных гостей и при этом чудном ярком солнце? Недостает еще, чтобы Северин, который и так смотрит на меня с мрачным, задумчивым видом, объявил, что он пережил в этот день что-нибудь еще более ужасное, чем мы, и угостил нас своим рассказом.

-- А что же, -- сказал Северин, -- хотя привидения я не видал, но чувствовал так близко и живо присутствие неведомой, сверхъестественной силы, что ощущаю еще до сих пор следы тяжелых уз, которыми был окован.

-- Ну вот, -- обратился Александр к Марцеллу, -- не прав ли я был, говоря, что сегодняшнее настроение Северина происходит от чего-либо случившегося с ним особенного!

-- Вот уж услышим мы теперь много чудесного! -- воскликнул со смехом Марцелл, на что Северин возразил:

-- Если мы выслушали, как покойная тетюшка Александра принимала желудочные капли и как мой знакомый правитель канцелярии Неттельман, которого я сейчас же узнал в сумасшедшем Марцелла, прозревал добрые намерения в стакане с водой, то да позволено будет и мне рассказать об одном интересном предчувствии, которое таинственным образом овладело мною в виде цветочного запаха. Вы знаете, что я живу в отдаленной части Тиргартена, возле придворного егеря. Вскоре после моего приезда...

Тут Северин был внезапно прерван одним пожилым, очень хорошо одетым господином, который учтиво попросил его подвинуть немного стул, чтобы открыть свободный проход. Северин встал, а старик, любезно поклонившись, провел под руку немолодую даму, по-

видимому, свою жену; за ними шел мальчик лет двенадцати. Северин хотел было снова сесть, но Александр вдруг сказал:

-- Пой, вон та молодая особа, кажется, тоже из их семьи.

Друзья оглянулись и увидели прелестнейшую девушку, тихо приближавшуюся нерешительной походкой и беспрестанно оглядывавшуюся назад. Похоже было, что она старалась отыскать глазами кого-то, уже замеченного прежде. Почти в ту же минуту какой-то молодой человек быстро протиснулся к ней через толпу и сунул ей в руку маленькую записку, которую она тотчас же спрятала на груди. Старик между тем занял освободившийся недалеко от места, где сидели три друга, стол и, успев поймать за полу суетившегося кельнера, стал обстоятельно заказывать ему все, что следовало принести. Жена его заботливо занялась обтиранием пыли со стульев и оба таким образом не заметили замешкавшейся дочери, которая только теперь поспешила к ним, не обратив впопыхах даже внимания на учтивую позу Северина, стоявшего все это время с откинутым назад стулом. Подойдя, она села так, что друзья, несмотря на широкие поля соломенной шляпы, могли очень хорошо рассмотреть ее прелестное личико и черные, полные жизни глаза. Вся ее фигура и движения были проникнуты чем-то неотразимо восхитительным. Она была с большим вкусом, а для прогулки, пожалуй, даже слишком хорошо, одета, но при этом в туалете ее не было ни малейшей вычурности, так свойственной многим любящим наряжаться девицам. Мать ее поклонилась между тем знакомой, сидевшей невдалеке даме, и обе встали, чтобы сказать друг другу несколько слов. Старик подошел к фонарю закурить трубку, а девушка воспользовалась этим мгновением, чтобы развернуть и быстро прочесть полученную записку. И вдруг друзья увидели, как кровь внезапно бросилась бедняжке в лицо; крупные слезы навернулись на прекрасные глаза, а грудь стала быстро подниматься и опускаться от учатившегося дыхания. Быстро разорвала она записку на множество мелких кусочков и тихо, один за другим, разбросала их по ветру с таким видом, как будто каждый из них уносил с собой навсегда сладкую, потерянную надежду.

Старики возвратились. Отец пристально посмотрел на заплаканные глаза дочери и кажется спросил, что с ней. Девушка проговорила в ответ несколько тихих жалобных слов, которых друзья не могли расслышать, но по движению ее руки, поднесшей к щеке платок, могли догадаться, что она жаловалась на зубную боль. Друзей, однако, немало удивило, что старик, у которого и без того была довольно смешная физиономия, сделал, выслушав дочь, еще более уморительную гримасу и громко засмеялся. Ни Александр, ни Марцелл, ни Северин до сих пор не сказали еще ни слова, но только пристально смотрели на милую девушку, по-видимому, совершенно убитую своим горем. Мальчик также сел, и сестра при этом переменила

место, обернувшись к друзьям спиной. Очарование, таким образом, исчезло, и Александр, хлопнув Северина по плечу, сказал, вставая:

-- Ну, друг Северин, куда девалась твоя история с предчувствиями в виде цветочного запаха? Где правитель канцелярии Неттельман, покойная тетушка и все наши глубокомысленные разговоры? Какое видение поразило нас до того, что глаза наши очарованы, а язык прилип к гортани?

-- Я могу сказать только, -- пробормотал Марцелл с глубоким вздохом, -- что девушка эта -- прелестнейшее, из когда-либо виденных мною, существо!

-- Ах! -- сказал Северин, вздыхая еще глубже. -- И это небесное творение терпит и страдает земной скорбью!

-- Да, -- продолжал Марцелл, -- и какой-нибудь неотесанный болван тому виной!

-- Я тоже так думаю, -- сказал Александр, -- и чувствую, что очень облегчил бы себе душу, если бы мог поколотить негодяя, который сунул ей в руку роковую записку. Конечно, это ее возлюбленный, который вместо того, чтобы сблизиться с ее семейством, уничтожил своим письмом все ее надежды вследствие глупой ревности или любовной ссоры!

-- Но, однако, Александр, -- сказал Марцелл с некоторым неудовольствием, -- как же ты решаешься судить таким образом, не узнав хорошенько дела. Ведь ты бы, пожалуй, поколотил совершенно невиновного почтальона. Разве ты не заметил по довольно глупо улыбавшемуся лицу и вообще по всем манерам и даже походке этого юноши, что он был не более, как только посыльный. Что там ни думай, а лицо всегда верное отражение мыслей или, по крайней мере, краткое их изложение, предшествующее официальной передаче и всегда объявляющее вперед, о чем будет речь. Потому, если бы молодой человек в самом деле передал свое собственное письмо с таким содержанием, то мы непременно прочли бы на его лице явную и злейшую иронию. Ясно, напротив, что девушка, не будучи в состоянии видаться со своим возлюбленным в другом месте, думала найти его здесь. А он почему-нибудь не мог прийти или, пожалуй, как думает Александр, остался вследствие какой-нибудь глупой ссоры и послал своего приятеля с письмом. Но что бы там ни было, а сцена эта глубоко меня огорчила.

-- О, друг Марцелл, -- прервал Северин, -- неужели ты объясняешь такой простой причиной то глубокое горе, которое переживает бедняжка? О нет! Я, напротив, предполагаю, что она любит, любит горячо, может быть, против воли отца! Все ее надежды были поставлены в зависимость от какого-нибудь одного обстоятельства, которое должно было разрешиться сегодня, и вдруг -- удар судьбы! И все рухнуло, звезда надежды померкла, счастье жизни похоронено!

Заметили вы, с каким пронзающим взглядом, с каким безнадежным отчаянием разорвала бедная девушка несчастливое письмо и разбросала клочки, точно Офелия соломенные цветы или Эмилия Галотти -- лепестки розы? Я готов был заплакать кровавыми слезами, видя с какой бездушной жестокостью ветер закрутил и развеял эти слова, которые для нее хуже смерти! Неужели нельзя ничем утешить бедную девушку?

-- Ну полно, полно, Северин, -- воскликнул Александр, -- ты уже опять сочинил целую трагедию. Напротив, мы допустим, что девчонка скоро утешится, да, кажется, она и сама в том не сомневается, если судить по ее прояснившемуся личику. Смотрите, как она мило сняла и завернула в платок новые белые перчатки, как грациозно обмакнула сладкий пирожок в чашку чая, как улыбается старику, который налил ей в чашку несколько капель рому. А мальчишка между тем уминает за обе щеки огромный бутерброд -- пумп! Вот так! Бутерброд шлепнулся в чашку и обрызгал ему лицо. Старики смеются, а девочка -- смотрите, смотрите! -- так и покатилась со смеху!

-- Ах, -- прервал его Северин, -- это-то и ужасно, что бедняжка должна скрывать за обыденной стороной жизни грызущее ее горе! А кроме того, разве вы не знаете, что при глубоком горе судорожно хохотать легче, чем показаться равнодушной.

-- Перестань, наконец, Северин, -- вмешался Марцелл, -- а то мы только расстроим себя, если не оставим эту девушку в покое!

Александр присоединился к мнению Марцелла, и все стали стараться, переходя от предмета к предмету, завязать какой-нибудь новый интересный разговор. Но разговор, как это обыкновенно водится в подобных случаях, никак не клеился. Все, что они ни говорили, носило отпечаток чего-то совсем неподходящего к предмету разговора, а произносимые слова, казалось, имели совсем другое значение.

Приятный день свидания был заключен холодным пуншем, причем на третьем стакане друзья уже размягчились до слез. Девушка между тем встала, подошла к перилам над водой и, опершись на них, стала смотреть с грустным видом на летевшие облака.

-- Тучки небесные, парусы воздуха! -- стал декламировать нежно-сладким голосом Марцелл, а Северин начал с жаром рассказывать о каком-то поле битвы, по которому он блуждал при лунном сиянии, видел бледных мертвецов, смотревших на него страшными, сверкающими глазами, и при этом неистово стукнул стаканом по столу.

-- О Господи, помилуй нас грешных! -- воскликнул Александр. -- Что с тобой, дружище?

Девушка в это время возвратилась и села на свой стул, а друзья, быстро вскочив, бросились в запуски к перилам. Александр, перескочив через два стула, успел обогнать своих друзей и, добежав до перил, оперся на то самое место, где стояла девушка, завладев этой позицией

так крепко, что никакие старания в виде дружеских объятий Марцелла с одной, а Северина с другой стороны не могли его сдвинуть. Северин начал торжественным голосом разглагольствовать об облаках и их полете, объяснял мистическое значение форм, которые они принимали. Марцелл в это же время, не слушая, нес свое: сравнивал прекрасный, открывающийся обзор с Римской виллой, уверял, что он объехал всю Францию и Швейцарию, но не встречал ничего прелестнее настоящего вида, называл торчащие прутья громоотводов на пороховом заводе звездоносными мачтами и тому подобное. Александр ограничился похвальным словом чудной ночи и приятно проведенному в Веберовом павильоне вечеру. Между тем заинтересовавшее их семейство собралось уходить. Старик выколотил трубку, дамы свернули вязание, а мальчик стал искать свою шляпу, которую подал ему славный пудель, забавлявший мальчика целый вечер. Друзья приумолкли; когда все семейство, проходя, вежливо им поклонилось, они поспешили с таким усердием ответить тем же, что стукнулись все трое при наклоне лбами, а пока некоторое время, несколько ошеломленные, недоумевали, что же такое с ними произошло, семейство уже удалилось. Молча возвратились они к своему пуншу и нашли его отвратительным. Живописные облака показались им опять обыкновенным туманом, обзор сделался по-прежнему просто обзором, громоотвод громоотводом, а Веберов павильон обычным трактиром. Публика уже разошлась; в воздухе распространилась неприятная сырость; трубки не хотели гореть. Друзья стали было продолжать разговор, но он уже совсем не клеился и, точно умирающий огонек, вспыхивал только по временам.

Северин расстался с друзьями еще в Тиргартене, отправясь отыскивать свое жилище, Марцелл повернул на Фридрихштрассе, а Александр отправился, таким образом, один в отдаленный дом своей покойной тетки.

Эта отдаленность места жительства побудила друзей назначить день и место для нового свидания. Но сошлись они вторично уже более для того, чтобы сдержать данное слово, чем по внутреннему влечению. Напрасным остался труд возобновить прежнее, царившее среди них приятное настроение. Казалось, каждый носил в душе какую-то тяжесть, подавлявшую всякое удовольствие, и при этом каждый старался скрыть это чувство, считая его не совсем хорошим.

Через некоторое время Северин внезапно исчез из Берлина.

Через некоторое время Александр с отчаянием объявил, что ему отказали в его просьбе о продлении отпуска, а так как он еще не успел привести в порядок дела о наследстве, то теперь должен оставить свою прекрасную, уютную квартиру.

-- Однако, -- возразил на это Марцелл, -- ты, кажется, находил ее прежде вовсе не такой, неужели тебе не приятно вырваться вновь на свободу? Да, кстати, чем кончилось дело о фантоме тетушки?

-- Ах, -- горестно ответил Александр, -- она больше не является! Но ты не можешь себе представить, как я стремлюсь к тихому, домашнему покою. Вероятно, скоро я выйду совсем в отставку, чтобы отдаться вполне литературе и искусству.

Через несколько дней Александр действительно уехал. Скоро затем вспыхнула война; Марцелл, оставив свое прежнее намерение, поступил опять на военную службу и должен был возвратиться в армию. Таким образом, три друга расстались снова и расстались ранее, чем успели тесно сблизиться в строгом смысле этого слова.

Прошло два года. Как раз в Духов день случилось, что Марцелл, оставивший военную службу и возвратившийся в Берлин, стоял вновь близ павильона Вебера, склонясь над Шпрее, и о чем-то раздумывал. Вдруг кто-то ударил его по плечу. Он оглянулся и увидел Александра с Северином.

-- Вот как надо искать и отыскивать друзей! -- воскликнул Александр, с радостью обнимая друга. -- Признаюсь, я и во сне не предчувствовал встретить кого-нибудь из вас! Иду по делу под липами, вижу -- торчит передо мной какая-то знакомая фигура; вглядываюсь, не веря глазам, -- Северин! Зову, он оборачивается; взаимная радость! Я приглашаю его к себе, он наотрез отказывается, уверяя, что какая-то неодолимая сила тянет его к павильону Вебера; я, конечно, бросаю дело и иду с ним. Оказалось, что предчувствие его не обмануло, -- он прозрел, что мы встретим тебя.

-- Совершенная правда, -- сказал Северин, -- я положительно предчувствовал, что встречу сегодня вас обоих, и не мог дожидаться радостного свидания.

Друзья обнялись снова.

-- Замечаешь ли ты, Александр, -- сказал Марцелл, -- что болезненная бледность Северина исчезла совершенно; он выглядит совсем свежим и здоровым; даже эта темная тень на лбу, висевшая точно облако, пропала.

-- То же самое могу я сказать и о тебе, любезный Марцелл, -- сказал, в свою очередь, Северин. -- Хотя у тебя и не было такого болезненного вида, как у меня, чему причиной, впрочем, было то, что я был болен на самом деле и телом, и духом; но и ты был тогда так внутренне расстроен, что милое, юношеское лицо твое смотрелось совсем стариковским. Кажется, с тех пор мы оба прошли через порядочное чистилище, да и Александр также. Ведь он тоже в последнее время потерял всю свою веселость и походил больше на больного, так что даже на лице его, казалось, было написано -- "через час по столовой

ложке". Неужели его так напугала покойная тетушка или что-нибудь в этом роде? Но теперь он, я вижу, воскрес, как и мы оба.

-- Ты прав, -- сказал Марцелл, -- и теперь, когда я на него смотрю, мне невольно приходит на ум мысль о том, что могут сделать с человеком деньги и хорошая жизнь! Ну, когда у него были такие розовые щеки и такой круглый подбородок? От него так и пышет благополучием! С его языка, кажется, так и готова слететь фраза: "А ростбиф-то был хорош, да и бургундское недурно".

Северин засмеялся.

-- А обрати внимание, -- продолжал Марцелл, взяв Александра за плечи и тихонько поворачивая кругом, -- обрати внимание на этот прекраснейший фрак, на это белоснежное белье, на эту золотую цепочку с семью брелоками! Нет, дружище, ты должен нам объяснить, каким образом дошел ты до этой, так несвойственной тебе прежде добропорядочности в костюме? Этот баловень, которого можно было, говоря словами Фальстафа о мировом судье Шеллоу, упрятать в шкуру утря, начинает теперь принимать самую благородную округлость. Рассказывай же нам, что с тобой было?

-- Ну что, что вы, зубоскалы, находите такого необычного в моей наружности? -- возразил, слегка покраснев, Александр. -- Вот скоро год, как я оставил службу, и теперь живу в покое и приволье.

-- А ведь надо признаться, -- вдруг сказал Северин, мало слушавший Марцелла и стоявший все время в задумчивости, -- надо признаться, что мы в последний раз простились вовсе не по-приятельски!

-- Особенно ты, -- возразил Александр. -- Ты, помню, убежал, не сказав никому ни слова.

-- Ах, -- ответил Северин, -- я был тогда охвачен чем-то вроде сумасшествия, да и вы с Марцеллом так же... -- Тут он внезапно остановился, и все три приятеля, быстро взглянув друг на друга, поняли без слов недоговоренную мысль, точно между ними пробежала электрическая искра.

Они во время последней речи Северина уже взялись под руки и подошли к тому самому столу, за которым два года тому назад, в Духов день, сидела красивая девушка, вскружившая им всем троим головы. Здесь, здесь сидела она -- было написано на лице у каждого; и, казалось, что же может быть лучше, чем им сейчас опять тут расположиться, Марцелл даже начал было отодвигать стулья, но, однако, все молча прошли мимо.

Заказанный кофе был подан, а они все сидели молча. Александр казался печальнее всех. Кельнер, стоявший в ожидании расчета, с удивлением смотрел на странных немых гостей; он тер руки, покашливал и наконец спросил, повысив голос:

-- Не прикажут ли господа подать рому?

Тут только друзья очнулись и, взглянув друг на друга, разразились неудержимым смехом.

-- О Господи! Не сошли ли они с ума? -- воскликнул удивленный кельнер, отскочив шага на два. Александр успокоил его, заплатив деньги, и когда все снова уселись, Северин начал:

-- Мы поняли без слов то, что я не договорил; наш внезапный смех был прекрасным заключительным выводом. Два года тому назад мы напустили на себя большую глупость и теперь сами ее стыдимся, значит, мы исцелены.

-- Что правда, то правда, -- сказал Марцелл, -- эта хорошенькая девчонка вскружила голову нам всем троим.

-- Да, точно хорошенькая! -- весело заметил Александр, но потом вдруг прибавил серьезно: -- Ты, Северин, назвал наш тогдашний поступок глупостью, что, говоря точнее, значит, что мы, как дураки, влюбились в хорошенькую незнакомку и теперь выздоровели от этой болезни. Я задаю вопрос: а что будет, если она в эту минуту, такая же очаровательная как прежде, снова сядет за тот стол? Не повторится ли наша глупость снова?

-- За себя я ручаюсь, что нет, -- сказал Северин. -- Я исцелен радикально.

-- И я тоже, -- подхватил Марцелл, -- потому что вряд ли кто-нибудь в мире был одурачен так, как я после ближайшего знакомства с этим несравненным существом.

-- Ближайшего знакомства! Несравненным существом! -- вдруг горячо воскликнул Александр.

-- Ну конечно, -- продолжал Марцелл, -- не стану же я лгать! Для меня здешнее приключение разыгралось маленьким романом в одной части и шуткой в одном действии.

-- А со мной разве было не то же! -- перебил Северин. -- Только если роман Марцелла был в одной части и шутка в одном действии, то для меня все дело кончилось томиком в двенадцатую долю или одной маленькой сценкой.

Александр, слушая это, пылал как на огне, капли пота катились по его лбу, он дышал коротко и судорожно крутил рукою выющиеся на висках волосы; вообще, несмотря на видимые усилия овладеть собой, он не смог скрыть свое волнение, и Марцелл был вынужден его спросить:

-- Что с тобой, дружище? Ты на себя непохож!

-- Да ничего, кроме того, -- смеясь сказал Северин, -- что он до сих пор влюблен по уши в девицу, от которой мы уже отrekliсь, чему он, вероятно, не верит и ревнует к ней теперь без всякой причины нас обоих, воображая какие-нибудь невероятные чудеса в наших романах. Меня, впрочем, ревновать нечего, так как со мной обошлись сквернейшим образом.

-- И со мной не лучше, -- подхватил Марцелл. -- Я могу тебе поклясться, любезный Александр, что вспыхнувшая во мне тогда искорка погасла совсем и уж больше не загорится. Поэтому ты можешь утешиться и любить, сколько душе угодно.

-- Я повторю то же самое, -- сказал Марцелл.

Александр расцвел, засмеялся и сказал:

-- Ваш приговор относительно меня недурен, но, к сожалению, ошибочен; выслушайте меня. Я не стану лгать, что воспоминание о том счастливом дне и прелестном создании было у меня постоянно перед глазами в такой очаровательной живости, что я, казалось, каждую минуту слышал ласковый голос и готов был схватить протянутую мне нежную, белую ручку. Казалось, ее одну только и мог я любить со всей силой пылающей страсти и, только обладая ею, мог чувствовать себя счастливым. Но -- если бы что-либо подобное повторилось теперь, это было бы великим для меня несчастьем!

-- Как так? Почему? -- воскликнули Марцелл и Северин.

-- Потому, -- отвечал уныло Александр, -- что вот уже год, как я женат!

-- Ты женат? Уже целый год! -- воскликнули, всплеснув руками, друзья и весело захохотали. -- Кто же твоя половина? Что она, хороша, богата, бедна, молода, стара? Как... где... каким образом?

-- Ах, пожалуйста, -- запротестовал Александр, ударив левой рукой по столу и взяв правой кофейную ложку, при этом друзья заметили на его мизинце, возле хризопрастового перстня, золотое венчальное кольцо, -- пожалуйста, оставьте покамест расспросы при себе и сделайте мне великое удовольствие, рассказав сначала собственные ваши приключения по поводу встречи с этой особой.

-- Эге, любезный друг, -- сказал Марцелл, -- да не попал ли ты со своей женитьбой впросак? Уж не прельстился ли ты и впрямь перезревшим фруктом Вальтера?

-- Если ты только меня любишь, -- возразил Александр, -- то прошу тебя еще раз, не приставай ко мне с расспросами и начинай прямо рассказ о своем романе.

-- Вот вам и привидение! -- с грустью сказал Северин. -- Свое хозяйство, состоящее из горшков, кастрюль и тарелок, он дополнил женой, которую вдобавок взял, очертя голову, и теперь сидит с раскаяньем и преступной любовью в сердце! Удивляюсь еще, как он может казаться таким спокойным! А как отнеслась к твоей женитьбе покойная тетушка с ее желудочными каплями?

-- Она очень была мной довольна, -- серьезно ответил Александр. -- Но, однако, если вы хотите не испортить мне день нашего свидания и заставить меня уйти, то прекратите расспросы и начинайте же ваш рассказ.

Поведение Александра казалось друзьям очень странным, но они поняли, что не следовало растравлять и дальше его глубокой раны, и потому Марцелл приступил к обещанному роману.

-- Исходный пункт тот, что два года тому назад нам всем троим вскружила голову хорошенькая девушка и что мы, как три влюбленных дурака, стали обманывать друг друга, не будучи никоим образом в состоянии отделаться от этого безумия. День и ночь преследовал меня милый образ, куда бы я ни пошел. В канцелярии министра, в кабинете президента, везде мысли мои были до того заняты этим полным любви взглядом, что я путался в словах, говоря заученные служебные речи, и многие из близких с сочувствием спрашивали, не начал ли я снова страдать от моей раны на голове. Увидеть ее вновь стало моей единственной целью, моим единственным стремлением.

Я, как почтальон, бегал с утра до вечера по улицам, вглядывался во всякое окно, из которого высывалась хорошенькая головка, и все, все напрасно. Каждый день после обеда отправлялся я непременно в Тиргартен, в известный нам павильон.

-- Я тоже! Я тоже! -- воскликнули Северин и Александр.

-- Я вас видел, но тщательно избегал встречи.

-- И мы делали то же самое, -- подхватили друзья, а затем воскликнули в один голос: -- О, ослы мы, какие же мы ослы!

-- Все было напрасно, -- продолжал Марцелл, -- но я не терял ни времени, ни старания. Убеждение, что незнакомка уже любит, что мне придется в отчаянии удалиться, едва я сойду с ней ближе, увидев собственными глазами свое несчастье, а также ее любовь и верность другому -- все это еще более разжигало мои желания. Трагическое заключение, выведенное тогда здесь, в Тиргартене, Северином, было у меня постоянно в памяти, и если я считал эту девушку в высшей степени несчастной в любви, то сам казался себе еще более таковым. Во время бессонных ночей, во время уединенных прогулок сочинял я целые романы, в которых, конечно, я и незнакомка играли первые роли. Каких только положений не придумывал я в этих романах! Роль героя, несчастного в любви, мне удивительно нравилась. Я уже сказал выше, что обегал в то время, как сумасшедший, весь Берлин для того, чтобы отыскать ту, которая овладела всем моим существом. Раз, около полудня, шел я, задумавшись, по новой Грюнштрассе. Вдруг мне встретился хорошо одетый молодой человек и, учтиво сняв шляпу, спросил, не знаю ли я, где живет тайный советник Аслинг. Я отвечал отрицательно, но произнесенное им имя мне что-то напомнило.

Аслинг, Аслинг -- вертелось у меня на уме, и вдруг я почувствовал, что меня словно чем-то ударило: я вспомнил, что, увлеченный романтической любовью, совершенно забыл передать тайному советнику Аслингу порученное мне его раненым и лежавшим в лазарете племянником письмо, которое он убедительно просил меня

вручить лично. Я решился тотчас же исправить этот непростительный поступок и, видя, что молодой человек по указанию ближайшего лавочника вошел в один из соседних домов, последовал за ним. Лакей ввел меня в приемную и просил подождать несколько минут, так как господин советник был занят разговором с кем-то посторонним.

Оставшись один, я стал, не думая ни о чем, рассматривать висевшие по стенам гравюры, как вдруг услышал, что за мной отворилась дверь. Я оглянулся, смотрю -- она! Она сама, небесное видение Тиргартена! Что я при этом почувствовал, не берусь описывать, но верно только то, что у меня остановилось дыхание, что я не мог произнести ни одного слова и думал: вот сейчас, сейчас упаду без чувств к милым ногам!

-- Эге! -- воскликнул несколько смущенный Александр. -- Да ты, приятель, значит, был влюблен не на шутку!

-- По крайней мере, в эту минуту, -- возразил Марцелл, -- вряд ли припадок безумной любви мог быть сильнее. Оцепенение, должно быть, ясно отражалось на моем лице и во всей фигуре, потому что Полина смотрела на меня с изумлением, а так как я стоял перед ней, не говоря ни слова, и она с полным правом могла почесть меня совершенным дураком, то и спросила с легкой, скользнувшей по ее лицу иронической улыбкой: "Вы, вероятно, ожидаете отца?". Тут чувство стыда возвратило мне полное сознание. Я собрался с духом, учтиво поклонился и, назвав себя, объяснил дело, по которому пришел говорить с советником. "О Боже! -- радостно воскликнула Полина. -- Известие о брате! Вы были у него? Вы с ним говорили? Я не верю его письмам; он все пишет, что выздоровел совершенно! Расскажите, прошу вас, все, не скрывая ничего дурного! Он все еще хромает, бедный, не правда ли?". Я уверил, напротив, на что имел полное право, что рана ее брата, почти раздробившая коленные связки, была, конечно, опасна и даже угрожала одно время ампутацией, но что теперь не только всякая опасность миновала, но есть даже надежда, что молодой герой скоро будет в состоянии совсем бросить костыли, без которых он ходит уже несколько месяцев.

Ободренный этим разговором и приглядевшись несколько к чарующему обаянию Полины, я решился рассказать о битве, в которой ее брат получил рану, так как я служил с ним в одном батальоне. Вы, конечно, понимаете, что при таком возбужденном состоянии блестящее красноречие явилось у меня само собой, даже, может быть, в большей степени, чем было надо, чтобы увлечь молодую девушку. Само собой разумеется, что я говорил не о позициях войск, планах битвы, засадах, вылазках, маршах и так далее, а распространялся больше о тех действующих на сердце мелочах, которые так часто проявляются на войне. При этом случалось, что иное происшествие, на которое я сам не обращал большого внимания, внезапно получало в рассказе какой-то особенный, трогательный колорит, и я видел, как лицо Полины то

вдруг содрогалось от страха, то оживлялось кроткой улыбкой сквозь слезы, блескующие в ее глазах.

"Ах, -- сказала она по окончании, -- вы были так задумчивы, когда я вошла; верно, это воспоминание о сражении так действует на вас!". Слова эти пронзили меня, точно раскаленной стрелой; вся кровь бросилась мне в лицо. "Рассказывая вам, -- ответил я, вероятно, с очень жалобным вздохом, -- я думал об одной блаженнейшей минуте в моей жизни, когда был тоже ранен смертельно". "Но теперь вы здоровы? -- с видимым участием прервала меня Полина. -- Вас ранила злая пуля тогда, в решительную минуту славной битвы?". Этот ее вопрос поставил меня в довольно глупое положение, и я, помявшись немного, как пойманный школьник, сказал тихо и смотря себе под ноги: "Я уже имел счастье видеть вас однажды".

Таким образом, прерванный разговор восстановился. "В самом деле? Я этого не знала", -- сказала Полина. "Несколько дней тому назад, -- подхватил я, -- это было в чудесный весенний день, невольно радовавший душу, я праздновал день свидания с двумя моими лучшими друзьями после долгой разлуки". -- "Вам было, вероятно, очень весело?" -- "Именно тогда я вас и увидел". -- "В самом деле? Верно, это было в Тиргартене?" -- "В Духов день в Веберовом павильоне". -- "Ах, да, в самом деле, я была там с моими родными. Было так много народа, и я очень весело провела время, но, помнится, вас не видала".

Тут прежнее смущение овладело мной снова, и я боялся, как бы не сказать какой-нибудь глупости, но на мое счастье отворилась дверь и вошел советник, которому Полина с радостью сообщила, что я привез письмо от племянника. "Как! -- воскликнул старик с восторгом. -- Письмо от Леопольда! Что он, жив? Как его рана? Когда он может приехать?" -- и с этими словами, схватив за полу платья, он потащил меня в кабинет. Полина пошла за нами; он крикнул, чтобы подали завтрак, и забросал меня вопросами. Целых два часа пробыл я у них, и все это время Полина сидела возле меня, смотря мне с детской радостью прямо в глаза. Когда пришлось не без горести в сердце прощаться, старик горячо прижал меня к сердцу и непременно просил, если только я желаю, почаще заходить к ним, всего лучше, как он прибавил, вечером на чай.

С этой минуты попал я под перекрестный огонь, точно во время битвы! Трудно вам пересказать все, что я вытерпел! Сколько раз, увлекаемый непреодолимой силой очарования, подходил я к этому губительному для меня дому, сколько раз, уже взявшись совсем за ручку звонка, бросал ее снова и убегал домой; потом возвращался опять, бродил в отчаянии вокруг и наконец устремлялся в дверь, подобно мотыльку, летящему на верную смерть к огню! Вы бы засмеялись, увидя все это и понимая, как глупо я обманывал сам себя.

Почти при каждом посещении советника заставлял я у него большое общество и, признаюсь откровенно, нигде не случилось мне проводить время приятнее, несмотря на то, что вселившийся злой дух терзал меня, точно острыми шпорами, постоянно крича на ухо: "Ты любишь напрасно! Ты потерянный человек!". Каждый раз возвращался я домой влюбленнее и несчастнее прежнего. Из веселого, откровенного взгляда Полины я прекрасно видел, что тут не могло быть и речи о несчастной любви, а прямые, высказываемые гостями намеки обнаруживали ясно, что она уже просватана и скоро выходит замуж. Вообще в круге лиц, посещавших дом советника, господствовало самое непринужденное веселье, которое он, будучи сам очень веселым от природы человеком, умел прекрасно поддерживать. Сколько раз представлялись предметы для забавных шуток, которые, впрочем, я, будучи посторонним, не всегда мог понять, так как шутки эти по большей части относились на счет отдельных личностей.

Помню раз, придя поздно вечером после долгого колебания, я увидел, что старик и Полина стоят в углу, окруженные толпой молодых девушек. Советник что-то читал, прерываемый взрывами веселого смеха. К своему величайшему удивлению, я увидел, что в руках он держал ночной колпак с огромным букетом гвоздик, который, проговорив несколько слов, он надел себе на голову и начал качать его из стороны в сторону, причем все присутствовавшие опять разразились неумолкаемым смехом.

-- Ах, старый черт! -- внезапно вскричал Северин, ударив себя рукою по лбу.

-- Что с тобой? -- воскликнули изумленные друзья.

-- Ничего, решительно ничего, пожалуйста, продолжай! Что потом? -- эти слова Северин проговорил, засмеясь, с заметным оттенком горечи.

Марцелл продолжал:

-- Не знаю, по причине ли моей дружбы с племянником или уже вследствие того, что мой собственный, несколько экзальтированный характер и вообще вся манера держать себя понравились старику, только вскоре он очень меня полюбил, но, несмотря на это, я все-таки играл бы в их обществе довольно бледную роль, если бы не заметил, что и Полина очевидно отличала меня от толпы прочих окружавших ее молодых людей.

-- Неужели? -- перебил огорченно Александр.

-- Совершенная правда, -- продолжал Марцелл, -- да ведь она, впрочем, должна была невольно меня к себе приблизить, хорошо понимая, будучи очень умной девушкой, с каким тактом умел я приспособиться в моих разговорах к ее любимому настроению и с каким глубоким благоговением относился к ее охваченному пламеннейшей любовью сердцу. Часто она, сама того не замечая, подолгу оставляла свою руку в моей, отвечая на мои тихие пожатия, а

однажды, когда развеселившиеся подружки начали кружиться под звуки старого фортепьяно, она вдруг, быстро схватив меня, пустилась вальсировать со мной. Я чувствовал, как поднималась и опускалась ее грудь, как овевало мои щеки ее сладкое дыхание! Я был вне себя, огонь пробежал по моим жилам -- и я ее поцеловал!

-- Ах, черт возьми! -- вдруг закричал Александр, вскочив точно ужаленный и схватив себя за волосы.

-- Стыдись, стыдись, женатый человек! -- вступился Северин, усаживая его опять на стул. -- Черт меня побери, если ты не влюблен в Полину по-прежнему. Стыдись, бедняга, согнутый под супружеское ярмо!

-- Продолжай, -- печально сказал Александр, -- я приготовился услышать еще лучшие вещи.

-- Из всего сказанного, -- начал снова Марцелл, -- вы легко можете представить, в каком я находился положении; миллион мучений терзали мое сердце! Я решился на героический поступок: осушить разом отравленный кубок и затем, убежав, кончить жизнь где-нибудь далеко от моей возлюбленной. Это иными словами значило, что я хотел признаться ей, во-первых, в любви, а затем, избегая встречи с нею до часа ее свадьбы, притаиться в этот день, как описано во многих романах, за одной из церковных колонн и, услышав роковое "да", грохнуться во весь рост на каменный пол, предоставляя сострадательным гражданам вынести меня вон.

Проникнутый этой безумной мыслью, бегу я однажды утром в дом советника, застаю Полину одну в комнате и прежде, чем она успела испугаться моего дикого вида, бросаюсь к ее ногам, хватаю ее руки, прижимаю их к груди, признаюсь, что люблю ее до безумия, рыдая, называю себя несчастнейшим, приговоренным к горькой смерти человеком, так как она не может быть моею, отдав уже руку и сердце счастливому сопернику. Полина дала мне отбесноваться до конца, затем подняла с колен, заставила сесть на диван и спросила тихим, нежным голосом: "Что с вами, милый господин Марцелл? Успокойтесь, прошу вас, вы меня пугаете". Я, как безумный, повторил сказанное. "Да скажите, -- прервала меня Полина, -- с какой стати вообразили вы, что я уже люблю и обручена с другим? Уверяю вас, что ничего подобного нет и не бывало". Я объявил, что был в этом вполне уверен с первого раза, как ее увидел, а когда она настоятельно потребовала объяснения, рассказал известную вам историю с письмом в Духов день близ павильона Вебера. Надо было видеть, каким хохотом разразилась Полина, едва я кончил. "Нет, -- едва могла она выговорить, бегая по комнате, -- нет! Это прелестно! Какое воображение! Какая фантазия..."

Я сидел как дурак. Полина возвратилась ко мне, взяла за обе руки и, встряхнув их, как бы желая пробудить меня от глубокого сна, сказала,

все еще удерживаясь от смеха: "Ну слушайте же! Тот молодой человек, которого вы сочли посыльным, был не более как приказчик из лавки Брамиха, а письмо -- просто записка от жены хозяина. Надо вам сказать, что этот милейший и услужливейший в мире человек обещал мне выписать из Парижа самую лучшую, последней моды шляпку и хотел дать знать, когда она будет получена. Мне хотелось ее обновить на другой день после того, как вы меня видели в павильоне, на вечере в чайном концертном обществе; вы, конечно, знаете это общество, где собираются пить чай, чтобы слушать пение, и слушают пение для того, чтобы пить чай. Шляпка была получена, но оказалась так дурно уложенной, что совершенно испортилась от пересылки и требовала долгой поправки. Вот вам вся печальная новость, заставившая меня расплакаться. Я не хотела, чтобы папа это заметил, но он успел выведать причину моей грусти и много над ней смеялся. А что я в таких случаях имею привычку прижимать к щеке платок -- заметили вы сами!".

Сказав это, Полина снова принялась хохотать. Меня от ее рассказа сначала проняло до костей холодом, а потом вдруг бросило в жар. "Глупая, пустая кукла!", хотелось мне крикнуть ей в лицо.

-- Ого! Ну, это было бы слишком грубо и несправедливо, -- вдруг прервал рассказчика Александр, видимо, вспыхнув, но тотчас успокоился и сказал: -- Продолжай.

-- Я не в состоянии вам описать, -- снова начал Марцелл, -- мои чувства. Казалось, какой-то злой демон пробудил меня от сладкого зачарованного сна; я понял в одну минуту, что никогда не любил Полину и что все мои прошлые муки были просто глупым непостижимым наваждением приворожившего меня к ней нечистого. Я не мог произнести ни слова, дрожал от внутреннего волнения как в лихорадке, и когда Полина, испугавшись сама, спросила, что со мной, я свалил все на внезапный, будто бы случающийся со мной болезненный припадок и выбежал вон, точно преследуемый олень.

Проходя по Жандармской площади, увидел я выстроившийся для похода отряд волонтеров, и тут, казалось, кто-то мне шепнул, что мне надо сделать, чтобы успокоиться и забыть свое горе. Вместо того, чтобы идти домой, отправился я в канцелярию и немедленно подал просьбу об определении вновь на службу. Через два часа все было кончено; я забежал к себе, надел мундир, собрал ранец, прицепил саблю и жестянку, а сундук с вещами отдал на хранение хозяйке.

Пока я говорил с ней, на лестнице раздался шум. "Ах, наконец-то они его возьмут", -- сказала хозяйка, отворяя дверь. Взглянув, увидел я сумасшедшего Неттельмана, которого вели под руки двое людей. На голове у него была бумажная золотая корона, а в руке он держал вместо скипетра линейку с насаженным наверху золотым яблоком. "Он опять вообразил себя королем Амбоины, -- пробормотала хозяйка, -- и

начал в последнее время делать уж такие глупости, что брат принужден был отправить его в сумасшедший дом". Проходя мимо, Неттельман меня узнал и сказал с милостивой, хотя и гордой улыбкой: "Теперь, после победы моего полководца Телльгейма над болгарами, возвращаюсь я в свои успокоенные владения", -- и затем, прежде чем я даже обнаружил какое-нибудь желание отвечать, он прибавил, замахав рукой: -- "Хорошо, хорошо! Я знаю, что ты хочешь сказать! Но ничего, я был тобой доволен и сделал это с удовольствием; пусть эта безделица будет знаком моего внимания и милости к тебе". При этих словах он подал мне два цветка гвоздики, вынутых из кармана. Тут провожатые усадили его в поданную к крыльцу карету. У меня невольно выступили слезы на глазах.

"Дай Бог вам воротиться домой здоровым и победителем!" -- сказала хозяйка, сердечно пожав мне руку. С тяжелым чувством в груди побежал я в темную ночь и скоро настиг отряд товарищей, весело певших хором военные песни.

-- Итак, ты остался убежден, любезный друг, -- сказал Александр, -- что любовь твоя к Полине была игрой воображения!

-- Убежден так же, как в том, что живу, -- отвечал Марцелл, -- и если ты хоть немного призовешь на помощь знание человеческого сердца, то убедишься сам, что внезапная перемена моих чувств должна была последовать во мне непременно после того, как я узнал, что у меня нет соперника. А сверх того, я должен вам сказать, что люблю нынче по-настоящему, и несмотря на то, что смеялся над женитьбой Александра, который, не во гнев ему будь сказано, всегда представлялся мне преуморительнейшим отцом семейства, я надеюсь в скором времени назвать своей прелестную девушку и притом не в нашей, а в другой, отдаленной стране.

-- В самом деле? -- воскликнул Александр. -- О милый, возлюбленный друг! -- И он с жаром обнял Марцелла.

-- Ну вот, посмотрите, -- сказал Северин, -- человек радуется, что другой делает такую же глупость, как он! Нет, что до меня, так уже одна мысль о женитьбе наполняет меня каким-то страхом. Послушайте теперь и мою историю любви к Полине, которую я готов рассказать вам на забаву.

-- Что же у тебя-то было с Полиной? -- спросил недовольным голосом Александр.

-- Немного, -- отвечал Северин. -- По сравнению с рассказом Марцелла, подробного, проникнутого психологическим анализом, моя история не более чем легкая, пустая шутка. Вы знаете, что два года тому назад, я был в совершенно особенном настроении духа. Мое болезненное состояние раздражало мне нервы почти до той степени, при которой уже общаются с духами. Я точно плавал по бездонному морю предчувствий и сновидений. Мне казалось, что я, как персидские

маги, понимаю пение птиц; в шуме леса слышались мне то угрожающие, то успокаивающие звуки; иногда я воображал, что вижу самого себя, носящегося с облаками по воздуху. Однажды, сидя на замшелой скамье в одном из отдаленных уголков Тиргартена, я пришел именно в подобное состояние, которое лучше всего могло сравниться с бредом наяву, предшествующим засыпанию. Мне казалось, что меня внезапно овеял сладкий запах роз, но в то же время я сознавал, что это был не запах, а живое, дивное существо, которое я давно уже пламенно любил в своем воображении. Я делал страшные усилия, чтобы, сбросив очарование, увидеть это существо воочию, но тут мне почудилось, что где-то близ меня выросла огромная темно-багровая гвоздика, чей страшный, пронзительный запах заглушал, точно раскаленными лучами, сладкий аромат роз и, дурманя все мои чувства, погружал меня в такое тяжелое состояние, что я едва сдерживал жалобные стоны. Из леса в то же время доносились какие-то дивные звуки, похожие на стон Эоловой арфы, звучащей под легкими порывами ветерка, и эти звуки казались мне стонами дивного существа, которое страдало, как и я, не вынося ужасного запаха гвоздики. Роза и гвоздика сделались для меня, подобно образам индийской мифологии, символами жизни и смерти, и все мое тогдашнее безумие, от которого, слава Богу, теперь я отделался совершенно, заключалось в том, что образ встреченной нами в Тиргартене Полины Аслинг полностью воплотился, по моим понятиям, в дивное существо, чудившееся мне в запахе роз, которое я любил со всем пылом неудержимой страсти.

Вы помните, что я тогда оставил вас в самом Тиргартене для того, чтобы вернуться домой. Но какое-то ясное предчувствие говорило мне, что если я поспешу выйти через Лейпцигские ворота на улицу Унтерден-Линден, то непременно встречу виденное нами семейство или при выходе, или около замка. Я побежал, но не туда, куда хотел, а по другой широкой улице, увлекаемый какой-то неведомой силой, и вдруг увидел перед собой и все семейство, и чудное, поразившее меня видение. Я последовал издали за ними и таким образом успел узнать в тот же вечер, где жила моя возлюбленная. Вы будете надо мной смеяться, когда я вам скажу, что таинственный запах роз и гвоздик преследовал меня даже на улице, где я был! Да, так велико было мое безумие. С этой минуты поведение мое стало поведением влюбленного школьника, царапающего, не боясь лесничего, имя возлюбленной на коре каждого дерева и носящего на сердце завернутый в семь бумажек лепесток цветка, который он ощипал. По десять и по двадцать раз в день бегал я мимо дома, где она жила, и если видел ее стоящей у окна, то останавливался и, не кланяясь, вперял в нее страстный взор, который, вероятно, был очень странен. Наконец она меня заметила, а я, Бог знает почему, вообразил, что она меня понимает, что ей известно то психическое воздействие, которое она на меня произвела в виде

запаха роз, и узнала во мне несчастного, который был подавляем враждебным веянием гвоздики в ту минуту, как я стремился к ней со всей силой пламенной любви.

Спустя несколько дней я сел писать послание к ней. В нем рассказал я о видении, представившемся мне в Вебером павильоне, описал, как узнал в нем преследовавшую меня мечту, как уверен в том, что она понимает, что любит сама, но что здесь ожидает ее страшная, грозная опасность. Быть может, прибавлял я, она, подобно мне, угадала в предчувствии наше родство душ, нашу любовь, но, вероятно, и ей только мое появление открыло ясно то, что таилось в глубине ее души. Для того же, чтобы чувство это, воспрянув, могло проявиться в жизни, для того, чтобы я свободно мог устремиться к ней, умолял я, чтобы она ровно в двенадцать часов следующего дня подошла к своему окошку с приколотым к груди букетом роз как знаком нашей взаимной любви. Если же она враждебной мне силой уже очарована без возврата другим существом и отвергает мои страстные желания, то пусть вместо роз увижу я на ней букет гвоздик.

Вероятно, все письмо было написано таким же диким, полупомешанным языком. Я послал его с верным человеком, чтобы быть вполне убежденным в точной доставке. Со страхом и трепетом пошел я на следующий день на Грюнштрассе, приблизился к дому советника и уже издали увидел в окне белую фигуру. Сердце у меня забилося, точно хотело выскочить из груди. Я подошел к двери, мне открыл сам старик. Тут только я увидел, что именно он и был той белой фигурой, которую я видел в окне. На голове у него был надет высокий ночной колпак, а на нем красовался огромный букет гвоздик. Он прелюбезно раскланялся, так что цветы закачались во все стороны, и послал мне рукой нежный, воздушный поцелуй. Тут я заметил и Полину, но как? Злодейка сидела, спрятавшись за занавеской, и помирала со смеху! В первое мгновение я остолбенел, но, очнувшись, пустился бежать без оглядки!

Затем... Но вы сами угадываете конец! Надеюсь, у вас не остается сомнения, что злая эта шутка вылечила меня совершенно. Стыд, однако, меня преследовал, и я, подобно Марцеллу, решился поступить на военную службу, где, к сожалению, судьба помешала нам встретиться.

Александр хохотал до упаду над хитрым стариком.

-- Так вот, -- сказал Марцелл, -- разгадка того представления, которое я тогда видел; Аслинг, вероятно, читал твое эксцентрическое письмо.

-- Ну конечно, -- ответил Северин, -- но несмотря на то, что я теперь сам сознаю, как смешно себя вел, и чувствую полнейшую благодарность старику, так радикально меня вылечившему, все же не могу я до сих пор вспомнить это приключение без тайной грусти и, вероятно, потому же самому терпеть не могу гвоздики.

-- Ну, -- сказал Марцелл, -- мы оба покаяться в своих глупостях, Александр же, который, как мы думали, до сих пор влюблен в Полину, оказался благоразумнейшим из всех, и ему одному нечего нам рассказывать о своих похождениях.

-- Зато пускай, -- воскликнул Северин, -- расскажет он нам историю своей женитьбы.

-- Ах, любезный друг, -- возразил Александр, -- мне нечего вам рассказывать, вроде того, что я -- увидел, влюбился, женился! Единственное, что может вам показаться интересным, так это роль, которую играла в моей женитьбе покойная тетушка!

-- Что, что? -- с любопытством заговорили друзья.

-- Вы помните, -- продолжал Александр, -- что я оставил тогда Берлин совершенно против моей воли, и, что важнее, вследствие того, что являвшееся привидение сделало мне неприятным мой собственный дом. Впрочем, тут все подошло одно к одному. Раз, проснувшись в одно светлое утро, вновь измученный беспрестанным шорохом и шагами, продолжавшимися всю ночь, а в этот раз добравшимися даже до моего кабинета, я недовольный и сердитый присел отдохнуть на окошко и стал без всякой мысли глядеть на улицу. Вдруг окно дома напротив отворилось, и в нем появилась прелестная девушка в премиллом утреннем наряде. Как ни нравилась мне Полина, но явившееся личико показалось мне прелестнее. Я смотрел, не шевелясь, -- она меня заметила; я учтиво поклонился, она ответила тем же.

Через старуху Анну я немедленно навел справки, кто жил напротив, и твердо решил познакомиться с этим домом во что бы то ни стало для того, чтобы сблизиться с милым, очаровавшим меня существом. Достоин замечания, что, едва эта девушка привлекла к себе мои помыслы и я забылся в сладких мечтах любви и счастья, привидение тетушки исчезло совсем и больше не являлось. Анна, совсем переставшая меня бояться с тех пор, как у меня завязалась с ней душевнейшая дружба, часто рассказывала мне о покойной и была неутешна, что такая благочестивая женщина и в гробу не может найти покоя. Причину всего этого она сваливала на бесчестного обманщика жениха и на день свадьбы, когда тетушка была покинута навсегда. Я утешал ее уверениями, что больше мне уже ничего не чудится по ночам. "Ах, Господи, -- говорила она, рыдая, -- хоть бы поскорее прошло Воздвиженье!" -- "А что такое случилось в этот день?" -- спросил я. "Боже мой, -- ответила Анна, -- да ведь это и есть день несчастного брака! Вы знаете, что покойница скончалась третьего апреля. Через восемь дней ее похоронили. Все комнаты, кроме гостиной и кабинета, были тотчас же запечатаны. Я стала хозяйничать в этих хоромах и, признаться, сама не знаю почему, мне становилось страшно. Под утро Воздвиженья я вдруг почувствовала, что чья-то

холодная рука провела мне по лицу, и я совершенно ясно услышала голос покойницы: "Вставай, Анна, вставай! Пора тебе меня одевать, жених едет". В испуге вскочила я с постели, но кругом было все тихо, и только резкий холодный ветерок неся из камина. Мими мяукала страшно, и даже Ганс, а он совсем не робкого десятка, немилосердно пищал, забившись со страху в угол. Тут мне показалось, что комоды и шкафы стали отворяться, кто-то вдруг зашумел шелковым платьем и тихо запел песенку. Вы не поверите, милый хозяин, что все это я явственно слышала собственными ушами и между тем не видела никого! Я чуть не одурела от страха и, упав на колени, стала усердно молиться. Тут послышалось, как отворился шкаф с посудой, стаканы и чашки зашевелились. Я не смела и пальцем пошевелить. Не знаю, что вам рассказывать дальше, но во весь этот несчастный день слышала я, как покойная тетушка ходила и стонала по комнатам, молилась Богу, а едва пробило десять часов, я опять услышала слова: "Ступай в постель, Анна, кончено". Тут уж я не выдержала и упала без чувств на пол, где меня домашние и нашли на следующее утро. Они, не видя меня в обычный час, подумали, что со мной что-нибудь случилось и велели выломать двери. Но я никому, сударь, кроме вас не рассказывала, что со мной случилось в эту ночь".

Испытав сам почти все, что рассказала мне Анна, я нимало не сомневался в истинности ее слов и радовался только тому, что, приехав поздно, уже не так много, как она, возился с докучливым привидением. И вдруг, как раз в это время, когда я думал, что уже совершенно избавился от духа, и более того, проникся сладкой надеждой по соседству, пришлось мне уехать прочь! Вот была причина того расстройства, которое вы во мне замечали. Едва прошло шесть месяцев, я опять выговорил себе отпуск и вернулся назад. Мне удалось скоро познакомиться с дорогими соседями; милая девушка, очаровавшая меня с первого взгляда, с каждой встречей казалась мне все милей и прелестней, и я скоро понял, что счастье возможно для меня только в том случае, если она будет моею. Не знаю почему, но мне вообразилось, что она уже любит другого, и мнение это подтверждалось во мне тем, что как-то раз, когда речь зашла об одном молодом человеке, Полина, едва услыша его имя, быстро встала и удалилась со слезами на глазах. Но я не отчаялся, а напротив, не заводя даже разговора об этом, начал выказывать всеми средствами мою собственную к ней склонность. Она сама становилась ко мне внимательнее с каждым днем и с редким тактом принимала мои услуги, состоявшие по большей части в разных мелочах.

-- Ну, признаюсь, -- перебил Александра Марцелл, -- с трудом верю я твоему рассказу! Ты -- мрачный духовидец и в то же время услужливый кавалер! Охотно бы посмотрел я на тебя, бегającego по

магазинам за нарядами или по цветочным лавкам за букетами роз и гвоздик!

-- Ах, пожалуйста, ни слова об этих гадких цветах! -- воскликнул Северин.

Александр продолжил:

-- Пожалуйста, не подумайте, чтобы я бестактным образом лез с дорогими подарками, я очень скоро заметил, что этот дом был не из тех, где можно преуспеть такими средствами. Напротив, я старался как можно менее выставляться на вид собственную особу и являлся почти всегда с каким-нибудь произведением искусства, с новой песенкой, книгой и тому подобным. Этим путем достиг я того, что в половине двенадцатого каждого дня меня уже ждали с нетерпением.

Но к чему утомлять вас всеми этими подробностями? Короче говоря, отношения наши явно вели к близкому объяснению и неминуемому браку. Мне, однако, хотелось развеять последние облачка сомнения, и однажды, в добрый час, завел я разговор о распространенном мнении, что она уже любит или, по крайней мере, любила, причем я в особенности намекнул на того молодого человека, при имени которого слезы наворачивались ей на глаза. "Не скрою от вас, -- отвечала Полина, -- что более продолжительное знакомство с этим молодым человеком, совершенно случайно получившим вход в наш дом, могло бы, может быть, смутить мой покой, так как я действительно чувствовала к нему сердечное сочувствие. Но его постигло ужасное несчастье, и оно нас разлучило". -- "Ужасное несчастье, которое вас разлучило?" -- переспросил я с любопытством. "Да, -- продолжала она, -- я никогда не встречала человека более способного привлекать к себе всем: умом, чувством, разговором, но, к сожалению, надо признаться, что он, как справедливо замечал мой отец, был постоянно в каком-то странном, экзальтированном состоянии. Я приписывала это посторонним потрясениям, может быть, войне, в которой он участвовал, а мой отец -- просто употреблению спиртных напитков. Последующие события, однако, показали, что права была я. Раз, застав меня одну, он сделал мне признание, которое я сначала приняла было за выражение самой страстной любви; но потом, видя, что он вдруг задрожал всем телом и заговорил вместо слов какими-то непонятными знаками, а потом бросился опрометью бежать, я усомнилась, не сошел ли он с ума. Так оно и оказалось. Он случайно назвал улицу и номер своего дома, которые я запомнила, и когда потом он не являлся к нам в течение нескольких недель кряду, отец мой послал узнать, что с ним случилось. Хозяйка, или лакей, служивший в меблированных комнатах, где он жил, объявили нашему посыльному, что несчастный молодой человек сошел с ума и уже давно отвезен в сумасшедший дом. Вероятно, прибавили они, он помешался на лотерее, потому что вообразил себя королем Амбо".

-- Господи! -- воскликнул Марцелл, побледнев. -- Да ведь это был Неттельман! Амбо -- Амбоина!

-- Замечательное недоразумение! -- тихо пробормотал Северин. -- Я, кажется, начинаю догадываться! Продолжай, однако!

Александр, усмехнувшись на слова Северина, стал рассказывать дальше:

-- Таким образом, я был успокоен, и дело пошло на лад так быстро, что скоро милая девушка стала моей невестой и день нашей свадьбы был назначен. Я хотел было продать старый тетушкин дом, так как в нем опять поднялась возня с призраком, но тесть мой, которому я рассказал всю мою странную историю, отсоветовал это делать. Замечательно, что, выслушав мой рассказ, этот от природы очень веселый и к тому же насмешливый человек стал вдруг серьезен и задумался не на шутку. "Знаете что, -- сказал он, -- в старые времена люди верили простодушно: мы признавали загробную жизнь, но в то же время понимали и ограниченность наших познаний. Теперь пришло время просвещения, просветившего нас до того, что, ослепленные его ярким светом, мы стали видеть менее прежнего, и, точно слепые в лесу, сталкиваемся носом с каждым деревом. Теперь загробную жизнь можно схватить руками из плоти и костей. Оставьте при себе дом вашей тетушки. Я все устрою!".

Представьте мое удивление, когда вслед за тем старик потребовал, чтобы наше венчание происходило в тетушкиной гостиной и непременно в день Воздвиженья! Затем он начал приводить в комнате все точно в такой же порядок, как это делала в памятный день покойница. Анна, совсем перепуганная, могла только бормотать молитву. Явились одетая невеста со священником. Не было ни видно, ни слышно ровно ничего. Но когда пастор произнес слова благословения, в комнате внезапно пронесся какой-то тихий, необыкновенно приятный шорох, и в ту же минуту я, невеста, священник, словом, все присутствующие почувствовали, по единогласному отзыву, странное, необъяснимое удовлетворение, пробежавшее по всем нашим телам, точно теплая электрическая искра.

С тех пор исчез всякий след привидения! Только сегодня живое воспоминание о милой Полине вызвало во мне этот призрак.

-- О глупец, глупец! -- перебил Марцелл. -- Не желал бы я, признаюсь, увидеть ее сегодня, а то, пожалуй, не поручусь за себя.

Между тем множество вновь прибывших гуляющих заняли почти все соседние столы, исключая, однако, того, за которым два года назад сидели Аслинги.

-- Странное предчувствие овладевает мной, когда я смотрю на это пустое место, -- сказал Северин. -- Мне кажется, что...

Вдруг в эту минуту показались тайный советник Аслинг под руку с женой; Полина, веселая и очаровательная, точь в точь как было два

года тому назад, шла за ними. Она, точно так же как тогда, беспрестанно оглядывалась и, казалось, кого-то искала. В эту минуту Александр попал ей на глаза.

-- О, ты уже здесь! -- проговорила она, весело бросившись к нему навстречу. Он взял ее за руку и сказал, обращаясь к остальным:

-- Дорогие друзья! Рекомендую вам мою милую жену Полину!

* * *

Друзья рассказом Оттмара остались довольны.

-- Ты, вероятно, имел причину, -- заметил Теодор, -- избрать местом действия своей повести Берлин и даже назвать улицы и места. Что до меня, то я нахожу чрезвычайно важным указывать место действия. Это не только придает рассказу характер исторической верности, оживляющей скудную фантазию, но хорошо еще тем, что необыкновенно освежает весь сюжет в воображении тех, кто сам бывал в упоминаемых местностях.

-- Он не мог таки отказаться от своей злой иронии, -- сказал Лотар, -- особенно в том, что касается молодой девушки. Впрочем, я ему это прощаю.

-- Немного соли к постному блюду не бывает лишним, друг Лотар, -- возразил Оттмар. -- Я чувствовал сам во время чтения рассказа, что он недостаточно фантастичен и возвращается в круг слишком обыденных явлений.

-- Ежели Теодор, -- сказал Киприан, -- находит необходимым называть место действия, если Оттмар считает свой рассказ недостаточно фантастичным и если, наконец, Лотар согласится простить и мне небольшую дозу иронической злости, то я намерен прочесть вам рассказ, внушенный мне воспоминаниями моей жизни в славном торговом городе Данциге.

Он прочел:

АРТУСОВА ЗАЛА

Без сомнения, благосклонный читатель, ты много слышал о замечательном торговом городе Данциге. Может быть, тебе известно все, что там достойно быть виденным из описаний, но мне гораздо приятнее было бы узнать, что ты сам когда-нибудь был там и видел собственными глазами чудесную залу, в которую я намерен теперь тебя повести. Я разумею Артусову залу. Около полудня зала эта обыкновенно бывает наполнена торговым людом всех наций, совершающим свои сделки; шум и гам речей невольно оглушает посторонних. Но я уверен, что ты, любезный читатель, во время пребывания твоего в Данциге предпочитал посещать эту залу уже по

окончании биржевых часов, когда торговые тузы усядутся за свои столы, и только некоторые пробегают еще вдоль залы, служащей сообщением между двумя улицами.

Какой-то волшебный полусвет льется в это время через мрачные окна, и кажется, что под его влиянием оживают нарисованные и вырезанные по стенам залы фигуры. Олени с огромными рогами и другие чудные животные, наверное, смотрели в это время на тебя особенно пронизательным взглядом, так что тебе, верно, становилось немного страшно, и даже мраморная статуя короля, стоящая в середине, делалась с наступлением сумерек как-то величественнее. Огромная картина, изображающая пороки и добродетели, с подписанными именами, теряла в это время все свое нравственное значение, потому что добродетели под влиянием сумерек исчезали в сероватом тумане, а пороки, роскошные женщины в ярких, пестрых платьях, соблазнительно выступали вперед, очаровывая тебя сладострастными взглядами.

Вероятно, ты охотно переносил свой взор на длинный, окружающий всю залу фриз, на котором изображена веселая компания, одетая в пестрые одежды тех времен, когда Данциг был вольным городом. Почтенные горожане с умными, выразительными лицами едут на отличных, с лоснящейся кожей вороных конях. Барабанщики, флейтисты и алебардисты скачут так смело и живо, что тебе, наверное, чудились даже веселые звуки военной музыки и казалось, что вот-вот сейчас вся эта кавалькада выедет через большое окно на рыночную площадь. Не правда ли, любезный читатель, тебе постоянно хотелось, если только ты искусный рисовальщик, скопировать чернилами и пером, в ожидании, пока вся кавалькада не уехала, этого великолепного бургомистра с молодым, сопровождавшим его красивым пажом? На столах залы всегда разбросано в открытых ящиках множество бумаги и перьев, и, таким образом, готовый материал должен был манить тебя непременно; сверх того, ты, любезный читатель, был свободным человеком и мог это сделать когда тебе угодно, но вот молодой негодник Траугот был не в таком завидном положении как ты, и весьма неприятная причина мешала ему предаться своему любимому занятию!

-- Напишите немедленно авизо нашему гамбургскому приятелю, любезный господин Траугот, и уведомьте его о положении нашего дела.

Так говорил один из биржевых воротил Элиас Роос своему компаньону и жениху единственной дочери Христины.

Траугот с трудом отыскал пустое место за одним из столов, взял лист бумаги, обмакнул в чернила перо и уже хотел выводить красивым, каллиграфическим почерком буквы, но остановился на минуту и, обдумывая дело, поднял глаза вверх. Волею случая взгляд его упал как

раз на ту фигуру в кавалькаде, вид которой постоянно производил на его душу какое-то странное, тягостное впечатление. Это был суровый, мрачный старик с черной курчавой бородой, ехавший верхом на вороной лошади, которую держал за поводья красивый мальчик в пестрой одежде. Развевающиеся волосы и вообще вся фигура мальчика была проникнута скорее чем-то женственным, чем мужским. Но если лицо и фигура старика пугали Траугота, то лицо милого юноши будило в нем сладкие, томительные чувства. Никогда не мог он, бывало, добровольно оторваться от обаяния этих двух фигур, что случилось и на этот раз, так что вместо того, чтобы писать гамбургское авизо господина Элиаса Рооса, он все смотрел на чудесную картину и бессознательно чертил что-то пером на бумаге.

Так продолжалось довольно долго, как вдруг он почувствовал, что кто-то потрепал его сзади по плечу и сказал глухо:

-- Недурно, недурно! Из тебя может выйти прок!

Траугот быстро обернулся, точно пробужденный от сна, и -- остоленел. Ужас и удивление сковали его язык; быстро взглянул он на картину, затем на говорившего: перед ним стоял живой оригинал картины вместе с прелестным, улыбающимся юношей. "Это они, они сами!" -- как молния пронеслось в голове Траугота. Ему казалось, что сейчас сбросят они свои неказистые плащи и явятся в блестящих старинных костюмах.

Между тем толпа все прилиwała и отлиwała, и скоро обе поразившие Траугота личности потерялись в темноте, а он все стоял на том же месте, точно окаменев, с начатым авизо в руке. Биржевое время кончилось, толпа начала редеть, и только некоторые дельцы бегали еще по зале. Наконец, явился с двумя друзьями Элиас Роос.

-- Что это вы ищете в такой поздний час, любезный господин Траугот? -- спросил он. -- Отослали ли вы мое авизо?

Траугот, не думая, подал ему лист бумаги. Господин Роос, как только его увидел, в отчаянии схватился за голову, затопал ногами и закричал на всю залу:

-- Создатель!.. Каракули! Глупые каракули!.. Злодей Траугот! Негодный зять! Глупый компаньон! -- в него вселился черт!.. Авизо! О, мое авизо! О, почта!

Господин Элиас Роос готов был лопнуть от злости; а посторонние посмеивались над удивительным авизо, которое в самом деле никуда не годилось. После первых строк "на ваше почтенное уведомление от 20 июня" и т.д. -- были нарисованы смелыми линиями поразившие Траугота фигуры старика и юноши.

Друзья пытались успокоить господина Элиаса Рооса всевозможными словами, но он лишь дергал из стороны в сторону свой круглый парик, стучал палкой об пол и кричал:

-- Злодей! Ему надо авизировать, а он чертит фигуры! Десять тысяч марок -- фьють! -- он дунул между двух пальцев и завопил опять: -- Десять тысяч марок! Десять тысяч!

-- Да успокойтесь же, любезный господин Роос, -- сказал, не выдержав, старший из присутствовавших. -- Почта, правда, уже ушла, но через час я посылаю в Гамбург курьера, которому могу отдать ваше авизо, таким образом, оно будет на месте еще раньше, нежели с почтой!

-- Несравненный человек! -- воскликнул господин Элиас Роос, внезапно просияв как солнце.

Траугот, оправясь между тем от этой сцены, хотел сесть к столу и скорей написать авизо, но господин Элиас Роос не дал ему даже пошевелиться и, отстранив его довольно грубо рукой, процедил сквозь зубы сердито:

-- Не беспокойтесь, любезный зятек!

Пока он, усевшись, сам поспешно писал письмо, старший господин подошел к Трауготу, очевидно смущенному, и сказал:

-- Вы, молодой человек, мне кажется, не совсем на своем месте. Настоящий купец никогда не позволит себе рисовать на деловой бумаге какие-то там фигуры.

Траугот должен был вполне с этим согласиться и, сконфуженный, мог только возразить:

-- Ах, Боже мой! Сколько раз писала эта рука совершенно правильные авизо, но ведь бывают же иногда такие странные случаи.

-- Станных случаев, любезный друг, быть не должно, -- сказал купец, смеясь. -- Что до меня, то мне кажется, что написанные вами авизо далеко не были так хороши, как эти, такой смелой и твердой рукой нарисованные фигуры. В них виден истинный талант.

С этими словами он взял из рук Траугота превращенное в рисунок авизо, бережно сложил его и спрятал в карман.

Неведомое раньше чувство удовлетворения охватило душу Траугота когда он увидел, что создал нечто лучшее, чем просто коммерческое письмо. Чувство было так велико, что когда Элиас Роос, закончив писать, сказал ему тем же упрекающим тоном:

-- Вы чуть не подвели меня с вашим марианом на десять тысяч марок, -- то он не мог удержаться, чтобы не возразить ему, повысив голос более, чем когда-либо:

-- Нельзя ли так не горячиться! А то я откажусь совсем писать вам ваши авизо, и мы расстанемся навсегда.

Господин Элиас Роос дернул себя обеими руками за парик и, оглядевшись изумленным взглядом, сказал:

-- Милый друг и любезный зять! Что за странные речи я слышу?

Пожилой господин поспешил вмешаться и, быстро восстановив между ними мир, отправился вместе со всей компанией по приглашению Элиаса Рооса к нему на обед.

Фрейлейн Христина приняла гостей очень нарядная, в аккуратно выглаженном, праздничном платье и с привычной хозяйской ловкостью начала разливать тяжелой серебряной ложкой суп.

Охотно нарисовал бы я тебе, любезный читатель, портреты всех пяти особ, пока они сидят за столом, но удовольствуюсь только легким эскизом и притом, наверное, худшим в сравнении с тем, который нацарапал Траугот вместо несчастливого авизо, так как обед может скоро кончиться, а я должен чрезвычайно спешить с обещанной тебе удивительной повестью о похождениях Траугота.

Что до господина Элиаса Рооса, то ты, любезный читатель, знаешь уже из предыдущего, что он носил небольшой круглый парик, и потому я не прибавлю к этому ничего, тем более, что из всего им сказанного ты уже сам себе представил эту небольшую круглую фигурку в светло-желтом, цвета кожи сюртуке, жилете и брюках с позолоченными пуговицами. О Трауготе мне бы следовало распространиться подробнее, так как повесть, которую я рассказываю, относится именно к нему, но если обыкновенно бывает так, что мысли, чувства и речи, вытекая из нашего внутреннего существа, до того обрисовывают нашу внешнюю фигуру, что то целое, которое мы называем характером, удивительным образом и как бы само собой выступает при этом перед нашими глазами, то, без сомнения, любезный читатель, ты успел из всего, что мной уже сказано о Трауготе, представить себе его в совершенно живом виде. Если же нет, то вся моя болтовня ровно ни к чему, и ты можешь считать всю мою повесть как бы вовсе и не читанной тобой.

Оба посторонних гостя, дядя и племянник, были прежде купцами, а теперь вели дела одними денежными оборотами в тесной компании с господином Элиасом Роосом. Они были родом из Кенигсберга, где жили совершенно на английский лад, вывезли себе из Лондона приспособление для снятия сапог, любили покровительствовать искусствам и вообще могли называться порядочно образованными людьми. У дяди был кабинет редкостей, и он любил собирать картины и рисунки (смотри выше -- похищенное авизо).

Затем главной задачей моего рассказа остается, любезный читатель, нарисовать тебе живыми красками Христину, потому что ее легкий образ, как я предчувствую, скоро исчезнет, и я должен торопиться схватить хотя бы некоторые ее черты, а затем -- Бог с ней!

Представь себе, благосклонный читатель, девушку лет двадцати двух или трех, среднего роста, очень здоровенькую, с круглым личиком, небольшим, несколько вздернутым носиком, ласковыми светло-голубыми глазами, которые, кажется, так и говорят каждому: "А я

выхожу замуж!" У нее белая, матовая ручка, волосы вовсе не очень рыжие, сладкие губки, ротик, и не маленький, и к тому же она держит его почти постоянно открытым, но зато при этом обнаруживает два ряда прелестных, жемчужных зубов. Если бы случилось, что огонь от горящего дома соседа ворвался в ее окно, то она, наверное, бросилась бы прежде всего спасать своих канареек и укладывать белье, а затем побежала бы в контору сообщить папаше Элиасу Роосу, что его дом горит. Ни разу в жизни не случилось, чтобы ей не удался миндальный торт, а приготовленный ею масляный соус всегда бывает достаточно густ, потому что она постоянно мешает его ложкой слева направо. Ко всему этому я должен прибавить, что Христина очень любила Траугота именно за то, что он хотел на ней жениться: иначе, что ж бы ей оставалось делать на свете, если бы она не вышла замуж?

По окончании обеда господин Элиас Роос предложил гостям небольшую прогулку по городским валам. Траугот с величайшим удовольствием отделался бы от этого предложения, будучи все еще под влиянием странного происшествия, случившегося с ним сегодня, но это не так легко было выполнить, потому что едва вздумал он проскользнуть в дверь, не поцеловав даже ручку невесты, как Элиас Роос уже схватил его за фалду, проговорив: "Любезный зятек! Дорогой компаньон! ведь вы нас не оставите?" -- и он должен был остаться.

Какой-то физик сказал, что мировой дух, как смелый экспериментатор, владеет могущественной электрической машиной с бесчисленным числом таинственных проводков, протянутых через всю жизнь. Мы можем всячески стараться их избегать, но когда-нибудь непременно наткнемся на один из этих проводков, и в тот миг, когда сотрясающий ток пронизет наше существо, все покажется нам совершенно в другом виде, чем когда-то прежде. Траугот попал именно на такой проводок, когда бессознательно рисовал стоявшие за ним живые фигуры. Появление их заставило его вздрогнуть, точно под ударом молнии, и ему в один миг вдруг стало понятно то, что прежде носилось перед его глазами лишь как неясное предчувствие. Он намеренно молчал, пока разговор шел о посторонних вещах, но едва речь коснулась предмета, запавшего в его душу как святая тайна, язык его мгновенно развязался, и он принял горячее участие в возникшем споре.

Дело в том, что дядя заговорил о чудесных, наполовину нарисованных, наполовину рельефных изображениях Артусовой залы, и объявил их верхом безвкусыя, напав в особенности на картину, изображавшую солдат. Траугот вступился и, оставя в стороне вопрос, подходят они или нет под правила вкуса, распространялся о том фантастическом мире, который невольно захватывает каждого, кто смотрит на эти прекрасные фигуры, смотрящие совершенно живыми глазами и словно готовые заговорить. Ему даже казалось, что фигуры

эти иногда говорили ему самому, что он великий художник, способный на такое же творчество, которым был одарен тот, чья таинственная сила вызвала их к жизни.

Господин Элиас Роос выслушал эту восторженную юношескую речь с равнодушной физиономией, а дядя возразил не без иронии:

-- Я повторяю еще раз, что никак не могу понять, для чего хотите вы сделаться купцом, когда должны предаться полностью изучению искусства?

Траугот испытывал к этому человеку решительное отвращение и постарался во время дальнейшей прогулки примкнуть к молодому племяннику, оказывавшему ему самое дружеское внимание.

-- О Боже! -- говорил тот. -- Как я завидую вашему прекрасному таланту! Если бы я мог рисовать, как вы! В способностях у меня недостатка нет: я очень порядочно рисую носы, глаза и уши и даже отделал три или четыре головки. Но дела! Боже мой, вечная занятость!

-- Я полагаю, -- возразил Траугот, -- что когда чувствуешь в себе талант и истинное призвание к искусству, то тут уж не следует приниматься за какие-нибудь другие занятия.

-- То есть вы хотите сказать, что следует сделаться художником? -- подхватил племянник. -- Как можете вы так говорить? Видите ли, любезный друг, об этом предмете я думал более, чем кто-нибудь другой, и даже, как страстный почитатель искусства, может быть, глубже иного вникал в самую суть дела, а потому я могу сделать о нем самое верное заключение.

Слова эти племянник произнес с видом ученого знатока, и Траугот почувствовал к нему невольное уважение.

-- Вы сами согласитесь со мной, -- продолжал оратор, взяв щепотку табака и втянув ее в два приема, -- вы сами согласитесь со мной, что искусство всего лишь роскошь жизни. Доставить отдохновение и освежение от тяжелых занятий -- вот истинное назначение искусства, и чем выше произведение, тем совершеннее оно достигает этой цели. Практическая жизнь вполне оправдывает это мнение, потому что только тот, кто смотрит на искусство именно с такой точки зрения, достигает довольства в жизни, постоянно убегающего от тех, кто в противность природе вещей делает искусство своим главным и единственным стремлением. Потому не слушайте, любезный друг, моего дядю, который советует вам отклоняться от серьезных занятий жизни и дать увлечь себя потоку, оставляющему нас без твердой опоры и похожими на беспомощных детей.

Тут племянник остановился и, казалось, ждал ответа. Но Траугот не сразу нашелся, что сказать. Доводы собеседника показались ему неубедительными, и он удовольствовался вопросом:

-- Но что же вы называете собственно серьезными занятиями в жизни?

Племянник удивленно на него посмотрел и сказал:

-- Боже мой! Вы, конечно, со мной согласитесь, что в жизни надо жить, а это редко удается присяжным деятелям искусства.

И затем он разразился пустым набором слов, какие только могли попасть на язык. В результате можно было догадаться, что под словом "жизнь" понимал он не что иное, как не иметь долгов, а напротив, иметь побольше денег, вкусно есть и пить, иметь хорошенькую жену и благовоспитанных детей, которые никогда не запачкают жирным пятном праздничное платье, и т.п. Трауготу стало тошно его слушать, и он был очень рад, когда рассудительный племянник наконец его оставил и он очутился один в своей комнате.

-- Что за жалкую жизнь я веду! -- сказал он сам себе. -- Прекрасным весенним утром, когда вольный ветер, гуляя даже по самым глухим улицам, напевает заунывным свистом о тех чудесах, которые растут, полные жизни, в полях и в лесу, бегу я, ленивый и недовольный, в дымную контору Элиаса Рооса, вижу, как там сидят за безобразными пюпитрами бледные лица, и только шелест перевертываемых листов да постукивание считаемых денег прерывают скучную тишину, в которую все там погружено. И что это за занятие? К чему все это писание? Для того, чтобы наполнять сундуки золотыми кружочками, для того, чтобы прибавилось мишурного блеска в этой конуре! Может ли художник в душе свободно вдыхать в такой обстановке свежее веяние весны, побуждающее его внутренний мир к творчеству и к истинной жизни? Дивные образы, зарождающиеся в тайниках души, так и остаются в ней, не облекаясь в цвет, краски и форму, и он должен горестно отказываться от своих созданий! Но что же мешает мне бросить этот проклятый образ жизни? Таинственный старик и прекрасный юноша отлично дали мне понять, что я рожден для искусства. Хотя последний не сказал ничего, но я ясно прочел в его взгляде то, что жило до сих пор во мне как неясное стремление и, будучи подавлено тысячью сомнений, не смело поднять свою голову. Не следует ли мне вместо этих постыдных занятий вполне отдаться живописи?

Траугот вытащил все рисунки, которые были когда-либо им сделаны, и принялся с жаром рассматривать их испытующим взглядом. Многие казались ему сегодня совершенно иными, не такими, как прежде, и притом лучше. В особенности же, из числа этих юношеских опытов его детства, обратил он внимание на один листок, где в истертых, но знакомых чертах узнал он старого бургомистра с прекрасным пажом, и вспомнил, что уже тогда фигуры эти действовали на него каким-то странным, непонятным образом, так что однажды в сумерки, преследуемый неодолимой силой, он бросил игру с товарищами и убежал в Артусову залу, где и уселся копировать картину.

Какое-то щемящее, невыразимое чувство вдруг овладело Трауготом. Он должен был, по обыкновению, провести несколько часов в конторе,

но почувствовал, что это невозможно, и убежал на Карльсберг. Там перед его глазами представало шумящее море; в его волнах и сером тумане, расстилавшемся над водной равниной, он, казалось, видел, как в волшебном зеркале, будущую, ожидавшую, его судьбу.

Не правда ли, ты, любезный читатель, испытывал сам, что чудесный порыв первой любви обыкновенно поселяет в нас чувство какой-то безнадежности? Таковы бывают сомнения художника в своих силах. Он созерцает идеал и чувствует бессилие воплотить его в своем произведении. Ему кажется, что идеал убегает от него безвозвратно; но затем божественное мужество возвращается к нему вновь; он бодро вступает в борьбу, и сомнение разрешается сладкой надеждой, укрепляющей его в стремлении к излюбленному идеалу, к которому подходит он все ближе и ближе, хотя и не достигает его никогда.

Траугот испытывал чувство именно такой безнадежной скорби. Когда рано утром он вновь пересмотрел свои все еще лежавшие на столе рисунки, они показались ему до того слабыми и ничтожными, что он невольно вспомнил слова одного понимавшего толк в искусстве приятеля, который сказал: "Одно из неприятнейших заблуждений для посвящающих себя искусству состоит в том, что многие способность свою живо чувствовать принимают за истинное призвание". Траугот сомневался, не эта ли простая способность чувствовать была в нем затронута видением старика с юношей в Артусовой зале. Напав на эту мысль, он заставил себя силой возвратиться в контору и принялся усердно работать для господина Элиаса Рооса, несмотря на все отвращение, возбуждаемое в нем этим трудом, так что немало силы воли понадобилось ему, чтобы не бросить все и не убежать. Ему было так не по себе, что господин Элиас Роос, глядя на бледного, расстроенного юношу, с участием приписал его состояние болезни.

Между тем время шло, наступила ярмарка, после которой назначена была свадьба Траугота с Христиной и открытое объявление торговому миру, что он делается равноправным соучастником Элиаса Рооса в его делах. Это последнее обстоятельство представлялось Трауготу могилой для всех его надежд, и скверно становилось у него на душе при виде хозяйственных хлопот Христины -- она все время что-то убирала и обставляла в предназначенных для них комнатах среднего этажа, вешала занавески, чистила горящую, как жар, медную посуду.

Раз, потерявшись в толпе, наполнявшей Артусову залу, Траугот вдруг услышал позади знакомый голос, пронзивший его насквозь:

-- Неужели эта бумага стоит так дешево?

Траугот быстро обернулся и увидел странного старика, отдававшего одному из маклеров для продажи какую-то бумагу, курс которой стоял в это время очень низко. Красивый мальчик стоял возле и смотрел на Траугота самым дружеским и участливым взглядом. Траугот быстро бросился к старику и сказал:

-- Позвольте, милостивый государь, вам сказать, что бумага, которую вы желаете продать, стоит именно столько, как вам говорили; но курс ее, я могу вам предсказать наверно, скоро поднимется, а потому, если вам угодно послушать моего совета, повремените с продажей несколько дней.

-- С какой стати, милостивый государь, вмешиваетесь вы в мои дела? -- возразил старик очень сухо и сердито. -- Может быть, мне в настоящую минуту вовсе не нужны эти глупые бумаги, а деньги, напротив, нужны очень.

Траугот, видимо оскорбленный таким неласковым отпором старика, хотел уже удалиться, но в эту минуту упал на него умоляющий взгляд юноши, в котором сквозь слезы читалась просьба, так что он не мог удержаться и сказал:

-- Мне все-таки не хочется, чтобы вы понесли такой значительный убыток. Продайте эту бумагу мне под условием, что я через несколько дней возмещу вам разницу в курсе.

-- Удивительный вы человек, -- возразил старик. -- Пусть будет по-вашему, хотя я все-таки никак не могу понять вашего желания меня обогатить.

С этими словами он бросил быстрый взгляд на мальчика, который стыдливо опустил прекрасные голубые глаза. Оба пошли за Трауготом в контору, где он отсчитал деньги старику, спрятавшему их с мрачным видом в мешок. Мальчик между тем тихо сказал Трауготу:

-- Не вас ли встретили мы несколько недель тому назад в Артусовой зале, где вы рисовали эти прекрасные фигуры?

-- Это правда, -- отвечал Траугот, почувствовав, как воспоминание о несчастном авизо бросило ему всю кровь в лицо.

-- О тогда, -- заметил юноша, -- не удивляйтесь, если... -- В эту минуту старик гневно взглянул на мальчика и тот сейчас же замолчал.

Траугот никак не мог победить в присутствии незнакомцев какого-то неловкого чувства, и они пошли дальше в молчании, которого он никак не решался прервать расспросами о чем-нибудь, касавшемся их личностей. Появление этих двух странных существ в самом деле заключало в себе что-то удивительное, так что даже писцы в конторе были ими заинтересованы. Угрюмый бухгалтер, сунув перо за ухо и упершись головой в обе руки, посмотрел проницательным взглядом на старика.

-- С нами сила Господня, -- пробормотал он. -- Этот, с курчавой бородой и черным плащом, выглядит точь-в-точь, как старинный образ в церкви святого Иоанна 1400 года.

Господин Роос, напротив, несмотря на благородство осанки старика и настоящие старонемецкие черты лица, счел его польским евреем и, усмехнувшись, сказал:

-- Вот дурак! Продает бумагу, за которую получил бы через восемь дней процентов на десять больше.

Он без сомнения, не знал о заключенном условии, по которому Траугот обязался возместить разницу из своего кармана, что и было им исполнено, когда через несколько дней он опять встретил старика с мальчиком в Артусовой зале.

-- Мой сын, -- сказал старик, -- напомнил мне, что вы тоже художник, и таким образом я убедился в том, что предполагал и прежде.

Они стояли возле одного из гранитных столбов, поддерживавших свод залы, как раз напротив фигур, нарисованных Трауготом вместо авизо. Траугот вдруг прямо заговорил о поразительном их сходстве со стариком и юношей. Старик как-то странно улыбнулся, положил руку на плечо Траугота и сказал тихо и значительно:

-- Вы, значит, не знаете, что я немецкий живописец Годофредус Берклингер и что фигуры, которые, по-видимому, вам так нравятся, давным-давно написаны мною, когда я был в искусстве еще учеником. В бургомистре я изобразил, на память, себя, а ведущий лошадь паж -- не кто иной, как мой сын, что вы можете легко видеть сами, сравнив наши лица и рост.

Траугот остолбенел от изумления, но скоро, однако, понял, что человек, выдающий себя за автора двести лет назад написанных картин, должно быть, не совсем в здравом уме.

-- Славный это был век дивного процветания искусства, -- продолжал старик, закинув голову вверх и гордо озираясь, -- когда я украшал эту залу картинами для мудрого короля Артуса! Помнится, сам славный король вошел сюда с благородной и величественной осанкой во время моей работы и облек меня званием художника, которого я до того не имел!

-- Отец мой, -- перебил юноша, -- художник, каких немного, и вы бы, милостивый государь, не раскаялись, если бы он позволил вам взглянуть на свои произведения.

Старик между тем прошелся по опустевшей уже зале и, возвратясь, позвал сына идти домой. Тут Траугот подступился к нему с просьбой показать его картины. Старик пристально посмотрел на него глубоким, пронизательным взглядом и произнес медленно и строго:

-- Вы чересчур дерзки, считая себя достойным войти в святилище еще до окончания ваших ученических годов! Но -- пусть будет так! Если взгляд ваш еще не созрел для полного созерцания, то пусть довольствуется неясным предчувствием! Завтра рано утром приходите ко мне.

Он дал Трауготу свой адрес, и тот, как можно себе представить, не замедлил, отделавшись от конторских занятий, поспешить на указанную улицу в гости к чудному старику.

Юноша, одетый в средневековый немецкий костюм, отворил дверь и провел его в обширную комнату, где он увидел старика, сидевшего посередине на скамейке перед большим, натянутым на раму и загрунтованным серой краской полотном.

-- В добрый час, -- воскликнул старик, едва его увидев. -- Вы пришли как раз в ту минуту, когда я набрасывал окончательные штрихи на одну большую картину, стоившую мне года, хотя работа была вовсе не трудна. Это будет пара к такой же большой картине, представляющей потерянный рай и оконченной мною в прошлом году. Вы ее увидите у меня также. Эта же, как вы можете догадаться, изображает рай, обретенный вновь, но мне было бы очень жаль, если бы вы увидели в ней хоть какую-нибудь аллегория. Аллегорические картины пишут только бездарные художники. Моя картина должна не означать что-либо, но быть. Вы можете сами видеть, как эти группы людей, животных, плодов, цветов и камней сочетаются в гармоническом целом, в одном стройном аккорде небесной музыки, которая и есть истинное просветление!

Тут старик начал объяснять отдельные группы, обращал внимание Траугота на замечательное распределение света и тени, на яркость красок в цветах и металлах, на удивительные фигуры, возникающие из чашечек лилий и соединяющиеся в веселые вереницы прелестных юношей и девиц, на бородатых мужей, разговаривающих со зверями на их языке. Речь его становилась все сильнее и сильнее, но вместе с тем непонятнее.

-- Пусть вечно, о высокий дух, сияет твоя бриллиантовая корона! -- воскликнул он, наконец, устремив горящий взор на полотно. -- Сбрось с лица покрывало Изида, которое надеваешь ты с приближением к тебе непосвященных! Зачем так крепко прижимаешь ты к груди свои одежды? Я хочу видеть твое сердце! Это камень мудрых, перед которым открываются все тайны! Разве ты не я? Зачем ты смотришь на меня так дерзко? Или ты хочешь бороться с твоим властителем? Не думаешь ли ты, что рубин, сияющий в твоем сердце, может сокрушить мою грудь? Прочь же, выходи вон! Я тебя создал, потому что я...

Тут старик вдруг упал, будто пораженный громом. Траугот бросился его поднимать, и они с мальчиком усадили его в кресло, где он немедленно погрузился в тихий, глубокий сон.

-- Вы видите, -- тихо и скромно сказал мальчик Трауготу, -- что бывает с моим бедным старым отцом. Злой рок погубил радость всей его жизни, и уже давно умер он для искусства, которому посвятил всю свою жизнь. Целые дни проводит он, сидя перед натянутым загрунтованным полотном, устремив на него неподвижный взгляд. Это называет он "рисовать", и вы видели, в какое экзальтированное состояние приводит его попытка рассказать содержание задуманной им картины. Сверх того, преследует его еще одна несчастная мысль,

которая готовит очень горькую жизнь и мне, но я смотрю на это как на судьбу, общую для нас обоих. Но вы, может быть, хотите немного прийти в себя после тяжелого впечатления от этой сцены? В таком случае пойдемте со мной в соседнюю комнату, я покажу вам много картин, написанных моим отцом в прежнее, еще счастливое для него время.

Как изумился Траугот, увидев ряд картин работы, по-видимому, лучших мастеров фламандской школы. Это по большей части были сцены из обыденной жизни, например, общество, возвращающееся с охоты, занимающееся пением и музыкой и т.п., и все были проникнуты необыкновенно глубоким смыслом, в особенности же поражало в них полное жизненной правды выражение лиц. Траугот хотел уже возвратиться в первую комнату, как вдруг увидел возле самой двери еще одну картину, перед которой остановился, как вкопанный. Это была прелестная девушка в средневековом немецком костюме, но с лицом, похожим как две капли воды на юношу, сопровождавшего Траугота, только с более светлым цветом волос, да и вся фигура казалась несколько выше. Немой восторг овладел Трауготом при взгляде на эту очаровательную женщину. По силе кисти и изображения жизненной правды картина совершенно напоминала Ван Дейка. Темные, полные страсти глаза смотрели прямо на Траугота; прелестные губки, казалось, так и готовы были открыться, чтобы вымолвить нежное слово любви.

-- Боже! -- с глубоким вздохом вырвалось из груди Траугота. -- Где, где ее найти?

-- Пойдемте же, -- сказал мальчик.

Тут Траугот не выдержал и вскричал как безумный:

-- Это она, возлюбленная моей души, она, образ которой я давно ношу в сердце, которую давно вижу в темных неясных предчувствиях! Где, где она?

Слезы покатались из глаз молодого Берклингера; он, казалось, был охвачен глубочайшим горем, которое с трудом удерживал.

-- Пойдемте, -- сказал он наконец твердым голосом. -- Это портрет моей несчастной сестры Фелицитаты. Ее нет, вы ее никогда не увидите!

Почти без сознания вышел за ним Траугот в другую комнату. Старик все еще спал, но вдруг проснулся в эту минуту и устремил на Траугота гневный взгляд.

-- Что вам надо? -- воскликнул он. -- Что вам надо?

Мальчик подбежал и напомнил старику, что он сам пригласил Траугота, чтобы показать ему свою новую картину. Берклингер помолчал немного, как будто что-то припоминая, и сказал уже мягче:

-- Извините меня, милостивый государь! Не взыщите со старика за такую забывчивость.

-- Ваша новая картина, господин Берклингер, -- сказал Траугот, -- превосходна. Я никогда не видел подобных и воображаю, сколько надо потратить труда и умения, чтобы дойти в искусстве до такой высокой степени. Я чувствую в себе неодолимое призвание к живописи и беру смелость убедительнейше просить вас, достойный учитель, сделать меня вашим прилежным учеником!

Старик совершенно просиял при этих словах, обнял Траугота и обещал быть его верным учителем. С тех пор Траугот стал ежедневно ходить к старому живописцу и начал в самом деле быстро успевать в живописи. Дела в конторе опротивели ему окончательно, и он настолько их забросил, что господин Элиас Роос горько на него жаловался. Наконец дошло до того, что Траугот под предлогом болезни совсем перестал являться в контору, к великому огорчению Христины, так как вследствие этого и свадьба была отложена на неопределенное время.

-- Ваш Траугот, -- говорил Элиасу Роосу один его знакомый негодичант, -- выглядит так печально, что я, право, подозреваю, не замешалась ли тут какая-нибудь старая любовь, которую он никак не может забыть перед свадьбой. Он так бледен и расстроен.

-- Ну вот еще! -- возражал Элиас Роос. -- Я, напротив, думаю, -- догадливо рассуждал он на досуге, -- не плутовка ли Христина его дурачит? Старый осел бухгалтер влюблен в нее по уши и то и дело чмокает, где только можно, ее ручки. А Траугот любит мою девчонку до страсти, ну и понятно, что он начинает ревновать! Ну да я его успокою, беднягу.

Однако как ни старался господин Элиас Роос, все-таки не мог ничего сделать, и наконец сказал своему приятелю негодичанту:

-- Станный человек этот Траугот! Придется ему предоставить действовать по-своему. Не будь у него задолжено пятьдесят тысяч талеров в моих оборотах, я бы знал, что с ним делать, видя, что он сам не хочет делать ничего.

Какую прекрасную жизнь мог бы вести Траугот, посвятив себя любимому искусству, если бы страстная любовь к Фелицитате, которой он грезил даже во сне, не разрывала его сердце. Дорогая ему картина исчезла. Старик куда-то ее запрятал, и Траугот из боязни его рассердить не смел даже о ней упоминать. Во всем прочем Берклингер становился с каждым днем любезнее и позволил даже, чтобы Траугот вместо платы за уроки занялся улучшением его бедной домашней обстановки. Через молодого Берклингера Траугот узнал, что старика сильно надули при продаже небольшого кабинета редкостей и что бумага, которую он продал в тот раз, была последним остатком вырученной суммы и в то же время их последним состоянием. Впрочем, Трауготу редко удавалось откровенно поговорить с мальчиком. Старый отец стерег его самыми ревнивыми глазами и

сурово останавливал всякую попытку откровенной беседы с другом. Трауготу это было тем прискорбнее, что он глубоко полюбил юношу за его разительное сходство с Фелицитатой. Часто, глядя на него, Траугот воображал, что видит дорогую картину; ему чудился даже нежный шепот любви, и дорого дал бы он, чтобы прижать мальчика к своему сердцу, точно он был сама живая Фелицитата.

Между тем зима прошла, и светлая весна засияла в лесу и полях. Господин Элиас Роос посоветовал Трауготу заняться водяным или молочным лечением. Христина обрадовалась опять в надежде на скорую свадьбу, хотя Траугот очень мало думал и о ней, и о самой свадьбе.

Раз один сложный счет задержал Траугота в конторе на целый день, он пропустил час своего урока живописи и только поздно в сумерки отправился в дом Берклингеров. В передней не было никого, но из соседней комнаты доносились звуки лютни. Ни разу прежде не слышал он у них какого-либо инструмента. Он стал слушать: тихо, точно нежные стоны раздавалось пение вперемешку с аккомпанирующими аккордами. Он отворил дверь. О Боже! Повернувшись к нему спиной, сидела в комнате стройная женская фигура в старинном немецком платье с высоким кружевным воротником, точь-в-точь, как на знакомой картине. Шум, невольно произведенный входом Траугота, заставил ее встать, она положила лютню на стол и обернулась.

-- Она, Фелицитата!.. -- вырвалось из груди Траугота.

В восторге упал он к ногам милой картины, но вдруг почувствовал, как крепкая рука встряхнула его, схватив со страшной силой за воротник.

-- Злодей! Предатель! -- раздался голос старого Берклингера. -- Так вот какова твоя любовь к искусству! Убить хочешь ты меня!

И с этими словами он вытолкнул Траугота за дверь; нож сверкнул в его руке. Траугот сбежал с лестницы и, точно оглушенный восторгом и ужасом, едва мог добежать до дома.

Напрасно старался он заснуть в эту ночь: "Фелицитата, Фелицитата! - восклицал он, терзаемый горем и муками любви. -- Ты там, ты там, а я не могу тебя видеть, не могу прижать к своей груди! Ты меня любишь, я это знаю! Я это чувствую сквозь все муки, терзающие мое сердце!"

Светлые лучи весеннего солнца проникли между тем в комнату Траугота. Он встал и дал себе слово во что бы то ни стало выведать тайну Берклингерова дома. Живо побежал он к ним, но каково было его горе, когда он увидел, что окна Берклингеровой квартиры были отворены настежь, а домашняя прислуга выметала и чистила комнаты. Он понял, что случилось.

Еще вчера поздно вечером Берклингер вместе с сыном оставил дом и уехал неизвестно куда. В карету, запряженную парой лошадей, были уложены ящик с картинами и два небольших сундука, составлявшие

все их бедное имущество. Сам старик уехал с сыном полчаса спустя. Все старания узнать, куда они отправились, оказались тщетны. Ни один наемный возчик не давал своих лошадей лицам, похожим на тех, которых описывал Траугот. Даже у городских ворот не могли сказать ничего определенного. Словом, Берклингеры исчезли, улетев точно на плаще Мефистофеля. В отчаянии вернулся Траугот домой.

-- Она уехала! Она, сокровище моей души! Все, все погибло!

Так закричал он, увидя господина Элиаса Рооса на пороге его квартиры.

-- Творец небесный! -- воскликнул господин Элиас Роос, задержав парик. -- Христина! -- завопил он на весь дом. -- Христина! Христина! Негодная девчонка! Преступная дочь!

Конторщики засуетились с испуганными лицами; бухгалтер смог только выговорить:

-- Но, го-го-сподин Роос!

А Роос все кричал:

-- Христина! Христина!

Наконец сама фрейлейн Христина, закончив примерять соломенную шляпку, выбежала к ним и в недоумении спросила, улыбаясь, о чем так вопит ее родитель.

-- И где ты шатаешься? -- накинулся на нее господин Элиас Роос. -- Зять меланхолик! Ревнив, как турок! Прошу вперед сидеть дома, а то долго ли до беды! Вот он сидит и кричит о том, что его невеста сбежала!

Христина с удивлением посмотрела на бухгалтера, который многозначительным взглядом указал ей на стоявший в конторе шкаф, где у господина Элиаса Рооса были спрятаны успокоительные капли.

-- Дай принять их твоему жениху, -- сказал он, зашагав на свое место.

После этого Христина сначала отправилась в свою комнату переодеться и закончить разборку белья, затем, переговорив с кухаркой насчет воскресного жаркого и с любопытством выслушав несколько городских новостей, а уж только потом поспешила узнать, что было нужно ее жениху.

Ты знаешь, без сомнения, любезный читатель что положения, подобные тем, в каком находился Траугот, имеют свой естественный, последовательный ход. За отчаянием наступает период мрачного уныния, переходящего затем в кризис, после которого начинается чувство умеренной скорби, мало-помалу вылечиваемой действием благодетельной природы.

Раз Траугот, будучи именно в этом периоде умеренной скорби, сидел на Карльсберге. Перед ним, как прежде, шумели морские волны и серой пеленой расстился туман, но уже не таковы, как тогда, были его думы о будущности. Исчезло без следа все, чего он так желал и на что так надеялся.

-- Ах! -- говорил он сам себе. -- Обман, горький обман было мое призвание к искусству! Образ Фелицитаты оказался ложным призраком, который манил меня к тому, что было только плодом безумной фантазии больного горячкой! Но теперь все кончено. Назад, в проклятую конуру -- решение это неизменно!

Траугот стал опять ходить в контору, работал с жаром, и день его свадьбы с Христиной был снова назначен. Накануне этого дня Траугот был опять в Артусовой зале и не без прежней горькой скорби рассматривал таинственные фигуры старого бургомистра с пажом. Вдруг заметил он того самого маклера, которому Берклингер предлагал продать свои бумаги. Почти безотчетно бросился Траугот к нему и спросил:

-- Скажите, пожалуйста, знали вы того замечательного старика с черной курчавой бородой, который прежде часто бывал здесь вместе с прекрасным мальчиком?

-- Еще бы не знать, -- отвечал маклер, -- это старый сумасшедший художник, Годфрид Берклингер.

-- В таком случае, -- подхватил Траугот, -- не знаете ли вы, куда он уехал и где живет теперь?

-- Еще бы не знать, -- продолжал тот, -- он давным давно поселился со своей дочерью в Сорренто!

-- С дочерью Фелицитатой? -- крикнул Траугот так неожиданно громко и горячо, что все окружавшие их оглянулись.

-- Ну да, -- отвечал спокойно маклер. -- Ведь это она и была тем хорошеньким мальчиком, постоянно ходившим со стариком. Половина Данцига знала, что это девочка, несмотря на то, что старый сумасшедший воображал, будто никто об этом не подозревает. Ему кто-то предсказал, что он умрет насильственной смертью, едва дочь его выйдет замуж, вот он и выдумал, дабы это предотвратить, выдавать ее всем за мальчика.

Пораженный простоял Траугот несколько минут, а затем пустился бежать куда глаза глядят -- в поле, в лес, лишь бы не быть на одном месте.

-- Несчастный! -- кричал он. -- Она была тут, возле меня! Тысячу раз я сидел с ней, чувствовал ее дыхание, держал ее нежную ручку в своих, смотрел ей в глаза, слушал ее речи -- и потерял все! Так нет же, не потерял! За ней, за ней! В страну искусства! Узнаю перст providения! Вперед, в Сорренто!

Он побежал домой. Господин Элиас Роос попался ему навстречу. Он схватил его за руку и потащил за собой в комнату.

-- Я никогда не женюсь на Христине, -- кричал Траугот. -- В ней, в ней одной роскошь и великолепие! Ее волосы цвета волос Иры на картине в Артусовой зале! О Фелицитата, Фелицитата, возлюбленная души моей! Вижу, как ты простираешь ко мне руки! Иду, иду! А вы

знайте, -- обратился он вновь к растерявшемуся негоцианту, тряся его за плечи, -- знайте, что никогда не увидите меня более в вашей проклятой конторе. Какая мне нужда до ваших глупых книг и тетрадей? Я художник! Великий художник! Берклингер мой учитель, мой отец, мое все, а вы -- ничто! Решительно ничто!

И он опять стал тормошить Элиаса Рооса, кричавшего между тем во все горло:

-- Караул! Люди, помогите! Зять помешался! Компаньон беснуется! Помогите, помогите!

Вся контора сбежалась на крик старика. Траугот выпустил его из рук и, обессиленный, упал на стул. Все кинулись к нему, но вдруг он вскочил и закричал опять с диким, блуждающим взглядом:

-- Что вам от меня надо?

Все отшатнулись и с испугом бросились к дверям, а господин Элиас Роос первый. Через некоторое время за дверью послышался шелест шелкового платья и кто-то спросил:

-- Скажите, милый господин Траугот, вы в самом деле сошли с ума или только шутите?

Это была Христина.

-- Я вовсе не сошел с ума, мой дорогой ангел, но вместе с тем нimalo не шучу, -- отвечал Траугот, -- потому прошу вас, успокойтесь, но только знайте, что завтрашней свадьбы не будет. Я на вас не женюсь ни завтра, ни когда-либо.

-- Ну и не нужно, -- спокойно отвечала Христина. -- С некоторого времени вы мне вовсе не нравитесь; кроме вас найдутся многие, которые почтут за особенное счастье назвать невестой богатую и недурную собой фрейлейн Христину Роос. Прощайте!

С этими словами она ушла. "У нее на уме бухгалтер", -- подумал Траугот.

Успокоившись, он отправился к Элиасу Роосу и коротко объявил, что он никогда не будет ни его зятем, ни компаньоном. Господин Элиас Роос легко примирился с этой новостью и даже с сердечной радостью объявил в конторе, что, благодарение Богу, он наконец отделался от сумасбродного Траугота; а Траугот в это время был уже далеко от Данцига.

Светло и радостно протекла на первых порах его жизнь, когда он приехал в страну, о которой мечтал. В Риме немецкие художники приняли его в свой кружок, а потому он пробыл там долее, чем, казалось бы, допускало его пылкое стремление скорее увидеть вновь разлученную с ним Фелицитату.

Стремление это, впрочем, скоро стало спокойнее; оно словно скрылось глубоко в его душе, как сладкая мечта, наполнявшая всю его жизнь тихим, нежным сиянием. Все, что он ни делал, все, что ни создавал, было неразрывно связано с этим миром сладких надежд и

мечтаний. Каждая нарисованная им женская фигура непременно напоминала дорогие черты Фелицитаты. Молодые живописцы, товарищи Траугота, не встречавшие никогда в Риме оригинала этого лица, беспрестанно осаждали его вопросами, где видел он это прелестное создание. Траугот, однако, боялся рассказывать свою данцигскую историю, пока спустя несколько месяцев один его старинный приятель из Кенигсберга по имени Матушевский, также занимавшийся в Риме живописью, не уверил Траугота самым убедительным образом, что он встретил в Риме девушку, которую он постоянно изображал на своих картинах. Можно было представить восторг Траугота. Он перестал скрывать причину, обратившую его на путь изучения искусства, и молодая компания художников нашла приключение его в Данциге до того интересным и привлекательным, что все поголовно обещали ему употребить всевозможные усилия, чтобы отыскать его потерянную возлюбленную.

Старания Матушевского оказались самыми успешными. Он отыскал дом, где жила девушка, и даже разузнал, что она, действительно, дочь одного старого бедного художника, занимавшегося в это время стенною живописью в церкви Тринита дель Монте.

Все оказалось именно так. Траугот тотчас же поспешил с Матушевским в названную церковь, и ему в самом деле показалось при первом взгляде на стоявшего высоко на подмостках художника, что это был Берклингер. Бегом поспешили тогда друзья, стараясь не быть замеченными стариком, в его жилище.

-- Она! -- воскликнул Траугот еще издали, увидя дочь художника, сидевшую за рукоделием на балконе. -- Фелицитата! Моя Фелицитата! -- с криком вбежал он в комнату.

Девушка явно испугалась при его появлении. Траугот взглянул -- черты Фелицитаты, но это была не она. Казалось, тысяча кинжалов пронзили в эту минуту сердце бедного Траугота. Матушевский объяснил в нескольких словах девушке, в чем дело. Она, видимо, сконфузилась, и яркий румянец разлился по ее щекам. Траугот, хотевший сначала тотчас же удалиться, не мог не заметить, как хороша она была в эту минуту, и невольно остановился, бросив еще один исполненный горести взгляд на милое существо. Матушевский нашелся сказать прекрасной Дорине несколько любезных фраз, чтобы хоть немного сгладить неловкое впечатление от их странного прихода. Она подняла на незнакомцев свои прелестные темные глаза и сказала, улыбаясь, что отец ее скоро вернется с работы домой и будет очень рад видеть у себя немецких художников, которых он вообще очень уважает. Траугот должен был сознаться, что после Фелицитаты ни одна девушка не производила на него такого впечатления, как Дорина. Она в самом деле удивительно походила на Фелицитату, только черты ее лица были несколько резче и выразительнее, а волосы гораздо темнее.

Это были две одинаковые картины, но одна -- написанная Рафаэлем, а другая -- Рубенсом. Спустя некоторое время пришел ее старый отец, и тогда Траугот ясно увидел, что высота церковных подмостков, на которых старик работал, обманула его глаза. Вместо высокой, крепкой фигуры Берклингера отец Дорины оказался маленьким и худощавым старичком с лицом, носившим явные следы удрученности и бедной жизни. Обманчивая тень полумрачного церковного освещения, падавшая на его бритый подбородок, показалась Трауготу черной, курчавой бородой.

В разговоре об искусстве старик обнаружил глубокие практические познания, и Траугот решил непременно продолжить с ним знакомство, начавшееся так неловко, но видимо оживившееся в конце посещения. Веселое расположение духа Дорины и детская непринужденность ее манер ясно обличали, что молодой немецкий художник вовсе не был ей противен. Траугот отвечал ей тем же от чистого сердца. Скоро он так привязался к прелестной пятнадцатилетней девочке, что стал проводить целые дни в этом маленьком семействе, перетащил даже свою мастерскую в соседние с ними незанятые комнаты и, наконец, совсем стал их соседом.

Самым деликатным образом улучшил он благодаря своему обеспеченному положению их бедную обстановку, и старик имел полное основание думать и гадать, что Траугот рано или поздно женится на Дорине. Он даже не скрывал от него этой надежды, так что Траугот не без испуга увидел, как далеко отклонился он от первоначальной цели своего путешествия. Образ Фелицитаты снова возник перед его глазами, но все-таки он чувствовал, что вместе с тем не может оставить и Дорину.

Он понимал, что нельзя достичь обладания любимой женщиной при помощи чуда. Фелицитата представлялась ему каким-то идеалом, которого он не мог ни достичь, ни изгладить из памяти. Положение его относительно нее было вечным положением влюбленных, при котором стремятся, но никоим образом не достигают обладания предметом любви. Дорина же часто представлялась ему в мыслях милой женой; сладкий трепет пробегал по его жилам, и жар загорался в крови при этой мысли, но вместе с тем брак с ней представлялся ему тяжелым преступлением против первой любви. Под влиянием борьбы этих двух чувств, его волновавших, сознался он однажды во всем старику. Признание это оказалось вовсе невпопад, потому что тот просто-напросто принял его за желание обмануть его любимую дочь. К тому же он имел неосторожность где-то рассказать о браке Траугота с Дориной как о деле, давно решенном, да и самую короткость отношений между молодыми людьми, которая могла бы иначе ослабить доброе имя девушки, допускал только вследствие этой уверенности. Горячая итальянская кровь заговорила в старике; он

объявил напрямик, что Траугот должен или жениться на Дорине, или оставить их навсегда, так как иначе он не допустит продолжения прежних отношений ни одного часа. Траугот был глубоко оскорблен. Старик стал в его глазах чуть не простым сводником; свое собственное поведение показалось ему предосудительным. Мысль оставить Фелицитату представилась его уму величайшим преступлением, и как ни тяжело было ему расстаться с Дориной, однако он твердо порвал эту связь и уехал в Неаполь, в Сорренто.

Целый год провел он в поисках Берклингера и Фелицитаты, но все оказалось тщетно; никто не мог сказать ему о них ни слова. Ничтожное сведение, состоявшее в рассказе, что один старый немецкий живописец жил когда-то давно в Сорренто, было все, что он мог узнать. Без твердой опоры, точно покинутый среди морских волн, поселился он в Неаполе и вновь предался искусству. Занятия благотворно подействовали на его душу; бурная страсть к Фелицитате унялась и приняла опять тихий, нежный характер. Вместе с тем, однако, он не мог взглянуть ни на одну хорошенькую девушку, напоминавшую видом, ростом или походкой Дорину, без того, чтобы не почувствовать глубокой горечи от потери этого милого существа. Рисуя, он, правда, постоянно думал о своем идеале, Фелицитате, и никогда о Дорине.

Наконец, получил он письма из родного города, из которых узнал, что господин Элиас Роос умер, вследствие чего Траугота вызывали в Данциг для того, чтобы рассчитаться с бухгалтером, принявшим дела покойного и женившимся на фрейлейн Христине. Траугот поспешил домой.

И вот снова стоял он у гранитных столбов в Артусовой зале напротив бургомистра с пажом и снова думал о чудном происшествии, имевшем для него такие горькие последствия. С безнадежной скорбью смотрел он на черты прекрасного юноши, который, казалось, приветствовал его живым взглядом, и шептал нежным голосом: "Ты не мог меня так покинуть!".

-- Что я вижу? Вы ли это, дражайший? Вылечились ли вы от вашей несчастной меланхолии? -- вдруг резко раздалось над самым ухом Траугота. Это был знакомый маклер.

-- Я не смог ее найти! -- невольно выговорил Траугот.

-- А кого вы искали? -- спросил тот.

-- Живописца Годофредуса Берклингера с дочерью Фелицитатой, -- отвечал Траугот. -- Я искал их по всей Италии; в Сорренто о них никто даже не слышал.

Маклер уставился на него удивленным взглядом.

-- Да где же вы, дражайший, искали живописца с Фелицитатой? Неужто в Италии, в Неаполе, в Сорренто?

-- Ну да, -- отвечал Траугот мрачным тоном.

-- О Господи! -- всплеснув руками, воскликнул маклер.

-- Что же тут удивительного? -- возразил Траугот. -- Чтобы сыскать ту, которую любишь, ездят на край света, а я люблю Фелицитату, да, да, люблю, и поехал за ней!

Тут маклер даже подпрыгнул от изумления и опять воскликнул:

-- О Господи, Господи! -- так что Траугот, рассердившись, схватил его за руку и сказал:

-- Да скажите же мне, наконец, что вы находите тут удивительного?

-- Значит, вы, господин Траугот, не знаете, -- объяснил маклер, -- что Алоизиус Брандштеттер, наш почтенный член магистрата и старшина гильдии, назвал Сорренто свою маленькую виллу у подножия Карльсберга, в сосновом лесу? Он постоянно покупал у Берклингера его картины и в конце концов пригласил его вместе с дочерью совсем поселиться у себя в этом Сорренто. Они прожили там гораздо более года, и если бы вы дали себе труд взобраться на Карльсберг, то могли бы видеть оттуда, как фрейлейн Фелицитата гуляет в саду, одетая в свой живописный древненемецкий костюм, точь-в-точь, как на картинах своего отца. Так что вам совершенно незачем было ездить я в Италию. Вскоре потом старик... Но это печальная история.

-- Рассказывайте, -- глухо проговорил Траугот.

-- Ну да, -- продолжал маклер. -- Примерно в это время вернулся из Англии молодой Брандштеттер, сын старика, и, увидев Фелицитату, влюбился в нее по уши. Раз, встретив ее в саду, он упал перед ней на колени, как это делается в романах, и дал клятву на ней жениться, чтобы освободить ее от тиранского рабства, в котором держал ее отец. А старик стоял между тем за деревьями, так что молодые люди не могли его видеть, и, в ту самую минуту, как Фелицитата готова была сказать "я ваша" -- вдруг упал с глухим криком навзничь и умер на месте. И как же он был в эту минуту страшен! Весь бледный и синий; у него, видите, лопнула какая-то жила. Фрейлейн Фелицитата не могла, конечно, после этого видеть молодого Брандштеттера и вышла замуж за надворного и уголовного советника Матезиуса из Мариенвердера, так что вы, если желаете, можете посетить по старой дружбе госпожу советницу у нее в доме. Съездить в Мариенвердер, во всяком случае, не так далеко, как в Сорренто. Она прелюбезная особа, живет хорошо и имеет уже нескольких детей.

Пораженный ушел от него Траугот. Такого исхода он не мог даже представить себе.

-- Нет, это не она! -- воскликнул он, наконец. -- Это не Фелицитата! Это не тот небесный образ, который жил в моем сердце, наполняя его божественным вдохновением! Образ, ради которого я поехал в Италию, постоянно видя его перед собой, как лучшую надежду, как сияющую путеводную звезду! Фелицитата -- советница Матезиус, да еще уголовная! Ха, ха ха! Советница! -- и он хохотал, хохотал как

сумасшедший и все бежал вперед, пока не вышел за городские ворота и не взобрался на Карльсберг.

Оттуда увидел он Сорренто и горькие слезы брызнули у него из глаз.

-- О Боже! -- воскликнул он. -- Как злобно издевается судьба над нами, бедными людьми! Так нет же, не я хочу как ребенок ползть на огонь и обжечься, вместо того, чтобы разумно пользоваться его светом и теплом! Судьба явно мной управляла, но мой помраченный взор отказывался признать значение высшей силы. Я дерзко вообразил подобным себе то, что было создано и вызвано к жизни гением великого художника! Это создание хотел я унижить, низведя его до степени простого земного существа! Нет, я не потерял тебя, моя прежняя Фелицитата! Ты всегда будешь моей, потому что ты -- ничто иное, как живущая во мне творческая сила. Теперь только узнал я тебя. Какое мне дело до уголовной советницы Матезиус? Ровно никакого!

-- Я тоже думаю, что никакого, почтенный господин Траугот, -- сказал возле него кто-то.

Траугот востолбенел, точно пробудясь ото сна, и увидел, что он, сам не понимая каким образом, очутился опять в Артусовой зале, возле гранитных колонн. Говоривший был муж Христины. Он подал Трауготу полученное на его имя письмо из Рима.

Матушевский писал:

"Дорина стала прелестнее, чем когда-либо. Она тоскует только от разлуки с тобой, дорогой друг, и ждет ежечасно, твердо веря, что ты не можешь ее покинуть. Она любит тебя искренно. Когда же, наконец, мы увидимся?"

-- Я очень рад, -- сказал мужу Христины Траугот, прочитав письмо, -- что мы кончили сегодня наши с вами расчеты. Завтра я уезжаю в Рим, где с нетерпением ждет меня дорогая невеста.

* * *

Друзьям очень понравился светлый, веселый тон Киприанова рассказа. Теодор заметил только, что в нем проглядывало не совсем лестное мнение о женщинах. Им все, наверняка, не могла понравиться ни белокурая Христина, ни мистификация героя с уголовной советницей Матезиус, ни вообще все заключение, проникнутое довольно ядовитой иронией.

-- Что же, разве ты хочешь, -- сказал Лотар, -- мерять все на женский аршин? Если так, то следовало бы исключить иронию отовсюду, а вместе с тем лишит произведение его лучшего юмора, потому что женщины вообще мало понимают как то, так и другое.

-- Это-то мне в них и нравится, -- возразил Теодор. -- Ты должен согласиться, что юмор чисто мужское свойство, вытекающее из противоречивых начал нашей натуры, и потому женщины ему совершенно чужды. Мы это чувствуем, хотя, к сожалению, не всегда

хорошо помним. Скажи сам, неужели ты найдешь удовольствие в разговоре с женщиной, в которой есть комические черты, и неужели согласишься, чтобы она стала твоей женой или возлюбленной?

-- Конечно, нет, -- возразил Лотар. -- Впрочем, вопрос о том, приличен или нет женскому характеру юмор, может быть разработан гораздо подробнее, а потому я предоставляю себе возвратиться к нему когда-нибудь в другое, более удобное время, и поговорить об этом предмете с моими любезными Серапионовыми братьями, так горячо и глубоко, как только может самый рьяный психолог. Однако я и теперь спрошу Теодора, неужели у него для определения степени удовольствия разговора с женщиной существует только одна мерка, а именно вопрос: согласился ли бы он или нет иметь ее женой или возлюбленной?

-- Пожалуй, что так, -- отвечал Теодор. -- Для меня разговор с женщиной, действительно, интересен только в таком случае, если мысль иметь ее женой или возлюбленной, по крайней мере, меня не пугает. И чем приятнее мне лелеять эту мысль, тем самый разговор становится для меня интереснее.

-- Это, -- сказал Оттмар, смеясь, -- как мне давно известно, одно из глубочайших верований Теодора. Ему случалось, иной раз даже не совсем учтиво, поворачиваться к женщине спиной только потому, что она не успела заставить его в себя влюбиться в течение каких-нибудь двух часов. Он, как студент на публичном балу, предлагает свое сердце каждой девушке, с которой танцует кадрили, хотя бы только на время самого танца, и выражает это не только лишними словами, но даже нежными жестами и вздохами во всю грудь.

-- Позвольте, господа, -- воскликнул Теодор, -- прервать этот несерапионовский разговор! Уже поздно, а мне будет очень неприятно, если я не успею прочесть вам рассказ, только что вчера мною оконченный. Я заимствовал сюжет из одного очень известного предания о Фалунском рудокопе и развил его подробнее. Вам же предоставляю судить, следовало ли мне предаваться вдохновению. Мрачный колорит моего рассказа, может быть, вам не понравится после веселой картинки Киприана. Но что делать! Прошу заранее меня извинить и внять мне благосклонным ухом!

Теодор прочел:

ФАЛУНСКИЕ РУДНИКИ

Однажды в светлый июльский день все население Гетеборга высыпало на рейд. Богатый корабль Ост-Индской компании счастливо вернулся из дальнего плавания и, бросив якорь в гавани, весело распустил по светлой лазури вымпела и шведские флаги. Сотни лодок и челноков, наполненные матросами, с торжеством носились по

голубым волнам Готаэльфа, а пушки Мاستутгеторга приветствовали гостей разносившимся далеко по морю громовым залпом. Распорядители Ост-Индской компании расхаживали по набережной и, высчитывая с довольными лицами ожидаемую богатую прибыль, радовались успеху смелого предприятия, расширявшегося с каждым годом и делавшего их родной Гетеборг все более и более местом процветающей торговли. Жители поэтому с удовольствием смотрели на предприимчивых распорядителей и радовались вместе с ними, так как их выгода была тесно связана с благосостоянием всего города.

Экипаж прибывшего корабля числом до ста пятидесяти человек высадился на множестве лодок, нарочно для того приготовленных, и немедленно отправился в полном составе на генсинг -- имя, которым называется особый праздник, даваемый в подобных обстоятельствах в честь прибывших матросов и продолжающийся иногда несколько дней. Праздничная процессия открывалась музыкантами в оригинальных пестрых костюмах, весело наигрывающих на скрипках, флейтах, гобоях и барабанах, между тем как прочая компания распевала веселые песни. Матросы шли попарно, куртки и шляпы у некоторых были украшены бантами из разноцветных лент; в руках одни держали развевающиеся флаги, другие радостно прыгали и плясали; веселый шум далеко разносился по воздуху.

Процессия прошла через верфи и предместья и достигла Гаагского форштадта, где в особой гостинице был приготовлен соответствующий обстоятельствам пир. Эль полился потоками; бочонок опоражнивался за бочонком; скоро, как это заведено у моряков, возвращающихся из дальнего плавания, явились на пир разряженные девушки; начались танцы, а с тем вместе и самый праздник разгорался с каждой минутой все веселее и веселее.

Только один из всего корабельного экипажа, красивый молодой человек лет не более двадцати, по-видимому, не разделял общего веселья и, удалившись незаметно из залы, сел с грустным лицом на скамью, стоявшую возле ворот.

Несколько матросов подошли к нему, и один сказал, засмеявшись:

-- Элис Фребем! Элис Фребем! Ты, кажется, опять разыгрываешь печального дурака и портишь веселье неуместной хандрой. Знаешь что, если ты так убегаешь от нашего генсинга, то убирайся лучше и с корабля! Из тебя, как вижу, никогда не выйдет настоящего моряка. Мужество, правда, в тебе есть, и в опасности ты не трусишь, но выпить не умеешь совсем. Ты больше любишь беречь дукаты в кармане, чем угощать ими береговых крыс. Выпей, товарищ! А не то пусть сам морской дьявол сломает тебе шею!

Элис Фребем быстро вскочил со скамьи, взглянул на говорившего сверкнувшим взглядом и, схватив наполненный до краев большой стакан вина, осушил его залпом.

-- Видишь, Ионс, -- сказал он, -- и я умею пить, не хуже вас, а каков я моряк, пусть решает капитан; теперь же советую тебе укоротить язык и убираться подобру-поздорову. Ваше сумасбродное веселье мне противно, а зачем я сижу здесь, тебе нет дела.

-- Ну, ну, -- проворчал Ионс, -- ведь ты, я знаю, меланхолик от рожденья, а они всегда хандрят и ворчат, ничего не смысля в веселой жизни моряков. погоди, впрочем, я тебе пришлю кое-кого, кто заставит тебя встать с этой проклятой скамьи, на которой ты сидишь из одного упрямства.

Несколько минут спустя красивая девушка вышла из дверей гостиницы и села возле угрюмого Элиса, снова опустившегося в тяжелом раздумьи на свою скамью. По платью и вообще по всем манерам девушки можно было ясно видеть, что она против воли предалась разгульной жизни, не успевшей еще наложить печати своего разрушительного влияния на ее милое, приятное личико. Не нахальное выражение вызывающей вольности, а, напротив, тихая грусть сквозила во взгляде ее темных глаз.

-- Элис! Вы совсем не хотите принять участие в весельи ваших товарищей? Неужели вы не рады тому, что успели благополучно вернуться в ваше отечество, счастливо избежав опасности утонуть?

Так спросила девушка тихим голосом, обнимая молодого человека одною рукой! Элис Фребем очнулся будто от глубокого сна, посмотрел девушке в глаза и, взяв ее руку, прижал к своей груди; видно было, что ее милые черты произвели на него впечатление.

-- Ах, -- сказал он, наконец, как бы о чем-то раздумывая. -- Тут дело не о весельи и не о радости! Мне просто не по душе эти буйные забавы моих товарищей. Поди веселись с ними, если это тебе нравится, и оставь печального Элиса Фребема сидеть здесь одного, а не то он своей хандрой испортит и твое веселье. Постой, впрочем, ты мне нравишься, и я хочу, чтоб ты меня помянула добром, когда я опять уйду в море.

С этими словами он вынул из кармана пару золотых монет, снял с шеи прекрасный индийский платок и подал их девушке. Но у нее навернулись при этом на глазах слезы; она встала и, положив деньги на скамью, сказала:

-- Сберегите ваши золотые, мне их не надо, но ваш прекрасный платок я возьму и буду носить в память о вас. Вы, наверно, уже не найдете меня более, когда будете через несколько лет справлять новый генсинг!

Сказав эти слова, она быстро убежала, не оглядываясь, назад в гостиницу, закрывая обеими руками лицо.

А Элис Фребем опять забылся в своей грустной думе, и только когда новый взрыв веселья пирующих с особенной силой донесся до его слуха, он, как бы очнувшись, тоскливо сказал:

-- О, зачем не похоронили меня в морской глубине, когда нет человека в мире, с которым бы мог разделять я мое счастье!

Вдруг глухой, суровый голос раздался возле него:

-- Ты, молодой человек, должно быть, испытал очень большое несчастье, если желаешь смерти теперь, когда жизнь твоя только что начинается.

Элис оглянулся, и увидел старого рудокопа, который стоял, прислонясь спиной к стене дома гостиницы, с сложенными на груди руками, и смотрел на него проницательным взглядом.

Вглядевшись в старика, Элис почувствовал какое-то странное впечатление, точно после долгого одиночества встретил знакомое и приветливое лицо. Оправясь от этого первого впечатления, он рассказал ему, что лишился отца, служившего штурманом, и погибшего во время той самой бури, от которой он спасся чудесным образом. Оба его брата, бывшие солдатами, убиты на войне, и у него осталась одна престарелая мать, которую он мог полностью содержать, благодаря хорошему вознаграждению, получаемому им при каждом плавании. Привыкнув к морю еще с детства, он решил всю жизнь быть моряком, тем более, что счастливый случай дал ему возможность поступить на службу в компанию. В этой поездке выгоды оказались более, чем когда-либо прежде, так что каждый матрос, кроме положенного жалованья, получил еще порядочную денежную награду. Веселый и радостный, с деньгами в карманах, поспешил он к домику, где жила его мать, но, увы! -- увидел в его окнах чужие лица, а одна молодая женщина, отворившая ему дверь, и которой он сказал свое имя, холодно объявила, что мать его уже три месяца как умерла и что ничтожная сумма денег, оставшаяся после уплаты похоронных издержек, передана в городскую ратушу, где он и может ее получить. Эта смерть окончательно растерзала его сердце и, покинутый всем светом, он остался теперь, как беспомощный пловец, выброшенный на уединенный, пустой утес. Далее он говорил, что самый выбор жизни моряка кажется ему непростительной ошибкой, особенно, когда он подумает, что из-за этого его бедная мать должна была умереть на чужих руках, лишенная всяческого попечения. Эта мысль его терзает постоянно, и он не может себе простить, зачем ушел в море, вместо того, чтобы остаться лелеять и покоить добрую мать. Товарищи насильно увлекли его на генсинг, хотя, впрочем, он сам думал, что напускная веселость и крепкие напитки заглушат хотя немного грызущую его скорбь, но праздник, напротив, довел его до того, что, казалось, в нем готовы были лопнуть все жилы, и он серьезно испугался мысли истечь кровью.

-- Э, полно! -- сказал старый рудокоп. -- Скоро ты опять уйдешь в море и там живо забудешь свою тоску. Старые люди должны же

наконец умирать, а твоя мать, как ты сам сказал, вела в бедности не очень сладкую жизнь.

-- Ах! -- возразил Элис. -- Вот это-то, что никто не хочет верить моему горю, называя меня даже безумцем, более всего и делает мне жизнь несносной. Идти в море я не могу; самая мысль о том мне противна. Прежде бывало у меня прыгало сердце от радости, при виде корабля, когда, распустив, как крылья, свои паруса, он летел по плещущим, как чудная музыка, волнам, а ветер свистел и шумел между снастями. Весело сиделось мне тогда с товарищами на палубе, и часто, стоя темной ночью на вахте, мечтал я о возвращении на родину, к моей доброй матери и думал, как обрадуется она возвращению своего Элиса! Вот тогда мог бы я веселиться на генсинге, отдав матери заработанные деньги, шелковые платки и много других привезенных из дальней стороны гостинцев! Как бывало тогда блестели радостью ее глаза, как весело всплескивала она руками, как торопилась хозяйничать, чтобы угостить своего сыночка хорошим элем, нарочно для него припасенным! А как потом вечером садился я с ней и начинал рассказывать о людях, которых встречал, их нравах, обычаях, и вообще о всех виденных мною во время далекого странствия чудесах! А она, бывало, слушая с любопытством, заводила сама речь о путешествиях моего отца на дальний север, рассказывала мне славные сказки про моряков, которые я уже сотни раз слышал и все-таки не мог довольно наслушаться! Ах, кто возвратит мне эту минувшую радость? Никто, и море менее всего! Что стану я делать среди товарищей? Они будут надо мною только смеяться! И откуда взять мне охоты к труду, который теперь кажется мне только погоней за пустяками!

-- С удовольствием слушаю я тебя, молодой человек, -- сказал старик, -- и вот уже около двух часов с радостью наблюдаю за тобой. Все, что ты мне говорил, доказывает, что ты добрый, честный малый, а таким небо никогда не отказывает в дарах своей благодати. Но скажу тебе, ты напрасно сделался моряком. Пристала ли такая дикая, непостоянная жизнь тебе, меланхолику от природы (что ты меланхолик, вижу я по чертам твоего лица и вообще по всей наружности). Хорошо бы ты сделал, если бы бросил это занятие! Но я знаю, ты не захочешь сидеть сложа руки, а потому последуй, Элис Фребем, моему совету: сделайся рудокопом. Ты молод, силен, предприимчив, сначала будешь ты простым работником, потом помощником, потом штейгером, чем дальше -- тем выше, а там, с заработанными монетами в кармане, вступишь сам в товарищество и получишь собственный пай. Говорю тебе, Элис Фребем, послушай моего совета, сделайся рудокопом.

Элис почти испугался слов старика.

-- Как, -- воскликнул он, -- что ты мне советуешь? Покинуть прекрасную землю, проститься с ясным солнцем, которое нас холит и

радует? Спуститься вниз, в страшную глубь земли, рыться как крот, отыскивая металлы и руды, для того, чтобы добыть жалкий заработок?

-- Вот, -- сердито воскликнул старик, -- мнение толпы! Она презирает то, в чем ровно ничего не смыслит. Жалкий заработок? Как будто вся эта суетливая, мучительная возня на поверхности земли, которую вы называете торговлей, лучше и благороднее прекрасного ремесла рудокопа, чей обогащенный познаниями ум и неутомимое прилежание проникают в места, куда природа скрыла свои неисчерпаемые сокровища. Ты говоришь о жалкой выгоде рудокопа, Элис Фребем? Так знай же, что в ремесле его скрыта более, чем простая выгода. Роясь, как крот, чей слепой инстинкт перерезывает землю во всех направлениях, работая при бледном свете рудничных ламп, рудокоп укрепляет свой глаз и может дойти до такого просветления, что в неподвижных каменных глыбах ему, иной раз, представляются отраженными вечные истины того, что скрыто от нас там, далеко, за облаками! Ты ничего не понимаешь в рудничном деле, Элис Фребем, и я тебе о нем расскажу.

С этими словами старик сел на скамью возле Элиса и начал объяснять ему первые основы горного искусства, стараясь как можно лучше рассказать все незнакомому с этим делом молодому человеку. Он начал с рассказа о Фалунских рудниках, где, по его словам, работал с самых первых лет молодости; описал вид тамошних знаменитых наружных рудников, с их черными отвесными скалами, говорил о неисчерпаемых рудных богатствах, о прекрасных минералах; речь его лилась с каждым словом живее, и все ярче и ярче загорался пронизательный взгляд; подземные ходы описывал он, как аллеи волшебного сада; камни оживали от его слов; ископаемые животные начинали шевелиться; пирозмалиты и альмандины загорались дивным огнем; горные хрустали сияли и просвечивали всевозможными красками радуги.

Элис слушал с увлечением; живая речь старика, описывавшего чудеса подземного мира такими яркими красками, как будто бы он сам находился посреди них, охватила все его существо; грудь его волновалась; ему казалось, что он уже как будто сам стоит, вместе со стариком, в подземной глубине и чувствует, что никогда не увидит более светлого солнца. Все, что тот ни говорил, казалось ему как будто давно знакомым, точно все эти волшебные чудеса уже с детства носились перед его глазами в неясных, туманных видениях.

-- Я рассказал тебе, Элис Фребем, -- так кончил старик, -- о том прекрасном деле, к которому ты предназначен самой судьбой. Подумай об этом и поступи, как тебе посоветует твой собственный здравый смысл.

С этими словами он быстро встал со скамьи и исчез в ночной темноте, прежде чем Элис успел сказать ему слово. Казалось, сам след старика пропал в одно мгновение.

Между тем все утихло и в гостинице. Старый эль и другие крепкие напитки одолели пирующих. Некоторые из матросов разошлись попарно с девчонками, прочие лежали, кто на полу, кто на лавках, и громко храпели. Элис, который не мог возвратиться в свой дом, нанял для ночлега небольшую комнатку.

Едва успел он улечься, усталый, в постель, как сон в то же мгновение простер над ним свои крылья. Ему снилось, что он плывет под полными парусами на прекрасном корабле среди тихого, как зеркало, моря, но под небом, покрытым грядой темных, грозных облаков. Вглядываясь пристальнее в поверхность воды, он увидел, однако, что это была не вода, а, напротив, твердая, прозрачная, сверкающая поверхность, на которую едва он успел взглянуть, как корабль вдруг исчез, точно растворившись в этой кристальной массе, а сам Элис очутился стоящим на светлой хрустальной поверхности. Взглянув наверх, он увидел, что принятый им сначала за облака свод состоял не из облаков, а из нависших сверкающих каменных масс. Увлекаемый точно волшебной силой, Элис сделал несколько шагов по этой прозрачной поверхности, но тут вдруг все зарябило у него в глазах, и из глубины, точно закрутившиеся волны, вдруг поднялись чудные цветы и деревья, сверкавшие металлическим блеском листьев, переливавшиеся всеми цветами радуги. Дно было так прозрачно, что Элис ясно различал корни этих цветов и деревьев, а под ними, вглядываясь еще пристальнее, увидел множество прелестных улыбающихся женских фигур, державшихся друг за друга белыми, сияющими руками. Он видел, что деревья и цветы вырастали из их сердец, и когда они улыбались, то звонкие переливы их смеха отдавались под нависшим сводом звуками чудной, чарующей музыки, а металлические цветы и деревья росли все выше и выше, сплетаясь ветвями. Какое-то странное чувство счастья и вместе с тем боли охватило его сердце; жажда любви, страсти, бурных желаний вдруг закипела в его душе.

"Туда, к вам, к вам!" -- воскликнул он и как безумный бросился с простертыми руками в глубину кристального моря. Оно раздалось от его падения, и он поплыл в пучине какого-то легкого, мерцавшего эфира.

"А ну, Элис Фребем! Как тебе эта красота?" -- вдруг раздался возле него сильный, грубый голос. Элис оглянулся и увидел возле себя старого рудокопа, но чем пристальнее он в него вглядывался, тем более замечал, что фигура его все росла, росла и наконец достигла гигантских размеров, точно из раскаленного металла вылитая статуя. Элис с ужасом отшатнулся, но тут вдруг будто молния сверкнула в

глубине и внезапно озарила исполинский образ величавой женщины. Элис почувствовал, что восторг, охвативший все его существо, достиг последних пределов, какие только может выдержать человеческая грудь. Старик крепко его схватил и воскликнул: "Берегись, Элис Фребем! Это царица! Еще есть время вернуться тебе наверх!"

Элис невольно поднял глаза, и ему показалось, что ночные звезды сияли сквозь трещины свода. Нежный голос, где-то вдали, с отчаянной тоской, произнес его имя; он узнал голос матери; ему показалось, даже, что мелькнул ее образ там в высоте, но это была на мать, а прелестная молодая женщина, простиравшая к нему руки.

-- Наверх, наверх! -- воскликнул он старику. -- Я принадлежу еще этому миру, его светлым небесам.

-- Берегись! -- мрачно произнес старик. -- Берегись, Элис Фребем! Ты должен остаться верен царице, которой предался телом и душой!

Но едва Элис взглянул еще раз на образ поразившей его, величественной женщины, как вдруг почувствовал, что кровь стынет в его жилах, а он сам превращается в холодный блестящий камень. Ужас сковал его душу, и, сделав неимоверное усилие, он очнулся от этого колдовского сна, хотя оставленное им впечатление еще долго волновало все его существо. "Что мудреного, -- старался успокоить себя Элис, -- что мне пригрезились такие странные вещи? Старый рудокоп так много рассказывал мне о чудесах подземного мира, что у меня совсем закружилась голова, и я пришел в возбужденное состояние. Мне кажется, что я сплю до сих пор. Но нет, нет! Это просто болезненное настроение. Скорее на воздух. Свежий морской ветерок исцелит меня сразу?"

Он встал и побежал в гавань, где уже возобновилось празднование генсинга. Но напрасно старался он примкнуть к общему веселью. Мысли путались в его голове; какое-то странное чувство, какие-то неизъяснимые желания, в которых он не мог сам дать себе отчета, наполняли все его существо. То мысль об умершей матери мелькала в его голове, то опять хотелось ему встретить милую девушку, с которой он так дружелюбно разговаривал накануне. То вдруг пугался он мысли, что вместо девушки выйдет из дверей гостиницы старый рудокоп, перед которым он, сам не зная почему, чувствовал какой-то инстинктивный страх. А между тем ему очень хотелось еще раз послушать замечательные рассказы старика о подземном мире.

Терзаемый тяжелыми мыслями, Элис задумчиво устремил глаза в море. Но и тут образы странного сна продолжали его преследовать. Ему казалось, что плывущие корабли исчезали в кристальной влаге, а темные, нависшие над горизонтом облака, сгущаясь все более и более, превращались опять в тяжелый, каменный свод. Он точно заснул снова, и опять чудилось ему, что он видит образ величавой женщины, и вновь,

со страшной силой охватывал его поток прекрасных, неизъяснимых стремлений.

Требование товарищей, чтобы он присоединился к их процессии, прервало этот бред наяву. Но тут ему уже совершенно ясно послышался голос, говоривший:

-- Что ты здесь делаешь? Вперед, вперед, в Фалунские рудники, твоя отчизна там! Там осуществится твой чудный сон! Вперед, в Фалун!

Три дня бродил Элис как помешанный по улицам Гетеборга, постоянно преследуемый видениями из своего сна и какими-то странными, незнакомыми голосами. На четвертый день он остановился в воротах, на дороге в Гефле. Высокий человек вышел из ворот и быстро пошел по дороге. Элису показалось, что это был старый рудокоп, и он, точно увлекаемый какой-то неодолимой силой, побежал ему вдогонку. Но напрасны были его усилия; рудокоп уходил все вперед. Элис знал, что та же дорога ведет в Фалун, и это обстоятельство действовало на него неожиданно успокоительным образом. Ему стало ясно, что в словах старика был голос судьбы, возвестившей ему его дальнейшее предназначение.

И действительно, Элис с удивлением заметил, что каждый раз, как он сомневался на счет того или другого поворота дороги, старик вдруг, точно каким-то волшебством, внезапно выходил то из оврага, то из-за куста, то из-за дикого камня и, направляясь по той дороге, какой следовало идти, быстро исчезал, не оглянувшись ни разу.

Наконец, после нескольких дней тяжелого пути, Элис разглядел вдаль два больших озера, и между ними густые облака белого дыма. Чем выше взбирался он на гору, по которой шла дорога, тем явственнее вырезывались на фоне дыма две высокие башни и множество черных, закопченных крыш. Исполинская фигура старика остановилась перед ним, указала ему рукой на облака дыма и исчезла за нависшей скалой.

-- Это Фалун! -- воскликнул Элис. -- Фалун, цель моего странствия!

И он был прав; несколько догнавших его рудокопов подтвердили, что город, лежавший между двумя озерами, был действительно Фалун и что сам он взбирался теперь на Гуффрисберг, или гору, в которой был наружный выход Фалунских горных работ.

Элис Фребем весело шел вперед, но едва адская лощина рудника открылась перед его глазами, ему показалось, что кровь застыла в его жилах; так ужасен был вид этого мрачного, дикого разрушения.

Наружный выход Фалунских горных работ, простирающийся на тысячу двести футов длины, шестьсот ширины и сто восемьдесят глубины, хорошо известен. Черные скалы окружают его со всех сторон, сначала отвесно, а затем суживаются в глубине, как исполинская воронка. На боковых сторонах чернеют, то здесь, то там, мрачные зевы старых, оставленных шахт, с толстыми срубами, сделанными наподобие блиндажей из огромных, сложенных бревен. Ни одно

деревцо, ни одна травка не растут на этой бесплодной, образовавшейся из обсыпавшихся камней почве. Одни черные массы скал, напоминающие причудливыми очертаниями фигуры странных животных и исполинских людей, высятся над этой ужасной бездной. Внизу, точно дикие развалины, громоздятся груды обвалившихся камней, шлаков, обожженной руды. Одурающий серный дым постоянно несется из глубины, точно адская кухня, отравляя всякую растительность. Можно подумать, что Данте именно здесь спускался в ад, чтобы увидеть подземный мир, со всеми его безутешными ужасами.

Заглянув в эту бездну, Элис Фребем вспомнил давно слышанный им рассказ старого штурмана корабля, на котором он служил. Человеку этому чудилось в припадке горячки, что волны, внезапно расступаясь, открыли перед ним бездонную пропасть морского дна, на котором тысячи отвратительных чудовищ, клубясь и ползая среди груды раковин, кораллов и окаменелостей, рвали и терзали друг друга, пока не погибли в этой страшной борьбе все до последнего. По словам старика, сон этот означал близкую смерть, и, действительно, скоро он, в припадке безумия, бросился с палубы в море и исчез в волнах навсегда. При воспоминании об этом, Элису казалось, что дно Фалунской бездны очень похоже на высохшее дно моря, а черные скалы с голубоватым налетом обжигаемых руд выглядели, точно страшные полипы, простиравшие к нему свои жадные лапы. Несколько рудокопов, поднявшихся снизу, в черных рабочих платьях, с лицами, закопченными пороховым дымом, похожие на демонов, пробивающих себе дорогу к свету, довершали ужасное впечатление.

Элис не мог скрыть возбужденного в нем чувства страха и почувствовал даже, чего никогда не бывает с моряком, невольное головокружение, точно невидимые руки толкали его прямо в зияющую пропасть.

Закрыв глаза, бросился он бежать; только спустившись с Гуффрисберга, где опять засияло над ним светлое солнце, мог он оправиться от впечатления ужасного зрелища. Вздыхнув свободно грудью, он воскликнул:

-- О Боже! Что значат все опасности моря перед ужасом этих каменных масс! Пусть воет буря, пусть вздымаются страшные волны, - придет время, и ясное солнце снова засияет над головой моряка, заставив его скоро позабыть прошлую опасность; но здесь! Никогда луч света не проникнет в эту черную глубину, никогда сладкое дыхание весны не освежит грудь рудокопа. Нет! Не буду я товарищем черных, роющих землю червяков! Никогда не привыкнуть мне к их безотрадной жизни!

Элис решил переночевать в Фалуне и завтра же ранним утром отправиться обратным путем в Гетеборг.

Достигнув рыночной площади, он увидел там собравшуюся толпу народа.

Все сословие рудокопов, в полном составе, с лампами в руках и с музыкантами впереди, стояли, выстроившись перед ратушей. Высокий, стройный человек средних лет вышел из дверей и оглядел всех с ласковой улыбкой. Открытый лоб, свободные движения и блестящие темно-голубые глаза обличали в нем уроженца Далькарлии. Каждому из столпившихся вокруг рудокопов пожал он приветливо руку и каждому сказал несколько ласковых слов.

Элис Фребем узнал из расспросов, что это был Пэрсон Дальсе, альдерман и владелец прекрасной горной фрельзы, близ Стора-Коппарберга. Горными фрельзами называются в Швеции поземельные участки, отведенные под добычу медных и серебряных руд. Владельцы таких фрельз разделяют подземные участки на пай, сохраняя за собою право надзора над правильностью работ. Далее Элису объяснили, что сегодня кончался Бергстинг, или общее собрание рудокопов, и что в этот день они поочередно посещали бергмейстера, гюттенмейстера и альдерманов, встречая везде радушный прием и хорошее угощение.

При виде этих статных, красивых людей с веселыми лицами Элис невольно позабыл роющих червяков, вид которых так поразил его в руднике. Радостное, дружелюбное приветствие, которым был встречен Пэрсон Дальсе, не походило также и на буйное пиршество матросов на генсиннге.

Скромному, трудолюбивому Элису очень понравился тихий характер этого праздника рудокопов. Он чувствовал себя как-то особенно хорошо; когда же молодые рабочие затянули, стройными голосами, старую, хоровую песню, в которой призывалось благословение Божье на их тяжелый труд, он не мог удержать невольных слез.

По окончании пения двери дома Парсона Дальсе отворились, и вся толпа рабочих направилась туда. Элис вошел за ними и остановился на пороге. Вся толпа разместилась в обширной комнате на скамьях, поставленных за столами с роскошным угощением.

Вдруг двери, в стене напротив Элиса, отворились, и в комнату вошла молодая, одетая в праздничное платье девушка. Высокая, стройная, с темными волосами, заплетенными в несколько обернутых около головы кос, с корсажем, изящно убранном блестящими пряжками, она, казалось, улыбалась всем своим существом, как живое олицетворение цветущей молодости. Гости, при входе ее, встали, и легкий ропот удовольствия пробежал по рядам.

-- Улла Дальсе, Улла Дальсе! Наградил же Бог нашего альдермана такой дочкой!

Даже старики не могли удержаться от радостной улыбки, когда Улла приветливо протягивала им руку, чтобы поздороваться. Она велела подать тяжелые, серебряные кружки, и, наполнив их элем, какой умеют

приготавливать только в Фалуне, радушно поднесла его гостям, с лицом, озаренным самой милой, естественной приветливостью.

Элис, едва ее увидел, был мгновенно охвачен таким отрадным чувством мгновенной и глубочайшей любви, что, казалось, молния пронизала все его существо. Он тотчас узнал в ней ту самую женщину, которая протягивала ему руку спасения в его таинственном сне, и, от души прощая старого рудокопа, благословлял судьбу, приведшую его в Фалун.

Но в то же время, стоя на своем пороге, и чувствуя себя бедным, чуждым всем странником, он готов был сожалеть, что не умер прежде, чем увидел Уллу Дальсе и осознал несбыточность своих пылких желаний. Он не мог оторвать глаз от прелестной девушки и не утерпел, чтобы не назвать ее тихо по имени, когда она прошла совсем близко мимо него.

Улла обернулась и заметила юношу, смущенного, с яркой краской на лице, который был не в состоянии произнести ни одного слова.

Она подошла и сказала с ласковой улыбкой:

-- Вы верно чужестранец? Я вижу это по вашей одежде моряка. Что же вы стоите? Садитесь, прошу вас, и порадитесь вместе с нами. -- С этими словами она дружески взяла его за руку, усадила за стол и поднесла полную кружку эля.

-- Пейте, -- прибавила она, -- и будьте нашим дорогим гостем!

Элису казалось, что сладкий сон перенес его в рай, и он каждую минуту боялся пробудиться. Бессознательно выпил он предложенный напиток. В эту минуту подошел Пэрсон Дальсе и, ободряюще пожав ему руку, с участием спросил, кто он такой и зачем прибыл в Фалун.

Элис чувствовал, как живительная сила выпитого эля разливалась по всем его жилам. Он весело смотрел в глаза честного, бодрого Пэрсона Дальсе и рассказывал ему, как, будучи сыном моряка, он с ранних лет вырос на море, как, вернувшись из Индии, не застал в живых свою мать, которую содержал своими трудами, как тяжело показалось ему его одиночество и как опротивела ему бурная жизнь на море, потому он, по собственному внутреннему влечению, решил отправиться в Фалун, чтоб сделаться рудокопом. Как ни противоположно было последнее решение тому, что он думал несколько часов назад, Элис, казалось, высказал его совершенно добровольно, так что потом, соображая все сказанное альдерману, он сам удивлялся, каким образом могло так вдруг сделаться его желанием то, о чем он прежде даже не думал.

Пэрсон Дальсе посмотрел на молодого человека очень серьезным взглядом, как будто хотел увидеть его насквозь, и сказал:

-- Я не хочу предполагать, что одно легкомыслие побудило вас отказаться от прежнего ремесла и что прежде вашего решения вы не взвесили всех трудностей и препятствий, которым исполнен труд

рудокопа. Старое поверье говорит у нас, что если рудокоп не откажется от всяких иных помыслов и занятий, кроме тех, которые требует его работа, и не предастся всей душой и телом труду с огнем в земле, то дело это неминуемо погубит его самого. Но если ваше решение твердо, и вы хорошо себя испытали, то с Богом, в добрый час! На моем участке недостает рабочих, и если желаете, то я приму вас сегодня же. Вы переночуете у меня, а завтра отправитесь в рудник со штейгером, который укажет вам вашу работу.

Элис Фребем чуть по запрыгал от радости, услышав предложение Пэрсона Дальсе. Он забыл все ужасы адского ущелья, поразившие его утром, и думал только о прекрасной Улле, которую будет видеть каждый день, с которой будет жить под одною крышей. Восторг и счастье наполняли его душу, открывая вместе с тем путь и дальнейшим сладким надеждам.

Пэрсон Дальсе объявил рабочим о новом, нанявшемся у него работнике, и представил им Элиса Фребема.

Все тепло поприветствовали Элиса, причем каждый, оглядывая его стройную фигуру и крепкие мускулы, изъявлял надежду, что из него выйдет добрый рудокоп, а что касается честности и прилежания, то в них он, конечно, но обнаружит недостатка.

Один из присутствовавших, уже довольно пожилой человек, подошел к Элису и, дружески пожав ему руку, отрекомендовался главным штейгером на участке Пэрсона Дальсе, прибавив, что он с особенным удовольствием возьмется передать ему все необходимые для его нового ремесла познания. Затем он усадил Элиса возле себя и тотчас же начал объяснять ему, за кружкой эля, в чем состоят занятия рудокопа.

Элис вспомнил старого рудокопа в Гетеборге, говорившего ему то же самое, и, таким образом, оказалось, что он уже знал почти все, что нужно было знать.

-- Эге! -- воскликнул удивленный старик. -- Да где же ты всему этому научился, Элис Фребем? Как вижу, тебя учить только портить, и предсказываю, что ты будешь лихим рудокопом!

Прекрасная Улла, обходя и потчuya гостей, часто обращалась с одобрительными словами к Элису.

-- Ну вот, -- говорила она, -- теперь он нам не чужой! Он принадлежит нашей семье, а не этому лживому, обманчивому морю! Фалун и его богатые горы будут ему вторым отечеством.

Легко себе представить, какое море блаженства открывалось в этих словах пылкому молодому человеку. Улла явно оказывала ему свое расположение, и сам Пэрсон Дальсе, при всей своей строгой серьезности, смотрел на Элиса самым ласковым взглядом.

Однако сердце Элиса сжалось по-прежнему, когда на другой день, одетый в платье рудокопа и обутый в подкованные железом

далькарльские башмаки, он снова приблизился вместе со штейгером к ужасному входу в рудник и стал спускаться в бездонную шахту. Горячий, удушливый пар, беспрестанно встречавшийся на пути, то и дело захватывал ему дух; огоньки рудничных ламп трепетали, встречая струи холодного воздуха, которым вентилировался рудник. Все глубже и глубже спускались они иногда по железным, шириною не более фута лестницам, так что даже привычная ловкость Элиса Фребема в лазании по мачтам ему не помогала.

И вот достигли они последнего предела глубины, где штейгер указал Элису работу, которую он должен был выполнять.

Элис вспомнил прелестную Уллу, чей образ витал над ним светлым ангелом, и быстро забыл весь свой страх, а равно и трудности предстоявшей работы. Он сознавал ясно, что только трудом с напряжением всех сил мог он подняться в мнении Пэрсона Дальсе так высоко, чтобы надеяться на осуществление своих надежд. Понятно, что с таким убеждением он скоро сравнялся умением и ловкостью с лучшими рудокопами.

Пэрсон Дальсе с каждым днем привязывался все более и более к трудолюбивому молодому человеку и часто говорил, что смотрит на него не как на рабочего, а как на родного сына.

Расположение к нему Уллы также росло с каждым часом. Часто, когда Элис отправлялся на особенно опасную работу, она со слезами на глазах умоляла его поберечь себя. И с какой радостью бросалась она к нему навстречу, когда он возвращался! Какой прекрасный эль, какие вкусные блюда находились у нее в таких случаях под рукой, чтобы подкрепить и освежить его силы!

Можно себе представить радость Элиса, когда Пэрсон Дальсе однажды сказал ему, что при той сумме денег, которую он принес с собой, и при его трудолюбии ему вовсе не будет трудно, в скором времени, приобрести в собственность горный участок, а, может быть, и целую фрельзу и что тогда ни один из горных владельцев в Фалуне не отказал бы ему в руке своей дочери. Элис почти был готов тут же сознаться ему в любви своей к Улле, но был удержан каким-то непреодолимым страхом, или, скорее, сомнением, любит ли его Улла.

Однажды Элис работал в самом глубоком отделении рудника, до того наполненном серными испарениями, что его лампочка едва горела бледным, мерцающим светом, и он едва мог отличать горные породы одну от другой. Вдруг услышал он удары горного кайла, раздававшиеся еще глубже той шахты, в которой он находился. Звук этот поразил его каким-то неприятным, зловещим образом, так как он хорошо знал, что в этом отделении рудника никого не было кроме него, прочие же рабочие, еще с утра, были посланы штейгером в другую шахту. Он бросил молот и стал прислушиваться к этому глухому звуку, который все приближался. В эту минуту свежий поток воздуха,

ворвавшись откуда-то в шахту, разогнал серный пар; черная тень скользнула по стене, и Элис, оглянувшись, увидел возле себя старого гетеборгского рудокопа.

-- Доброго успеха! -- сказал старик. -- Доброго успеха, Элис Фребем в твоём деле! Каково поживаешь, товарищ?

Элис хотел спросить, каким образом он смог забраться в шахту, но старик вдруг с такой силой ударил молотом по скале, что искры посыпались во все стороны и точно гром пронёсся по всему подземелью.

-- Славная здесь есть жила! -- закричал он резким, пронзительным голосом. -- Да только ты ее не увидишь, хитрый подмастерье! Вечно будешь ты рыться, как слепой крот, и никогда не полюбит тебя царь металлов! Да и там, наверху, не удастся тебе ничего! Ведь ты работаешь только затем, чтобы жениться на дочери Пэрсона Дальсе Улле! Любви и усердия к делу в тебе нет. Берегись, лукавый работник! Смотри, чтобы здешний царь, над которым ты издеваешься, не переломал о камни и не разбросал в разные стороны твои кости! Никогда Улла не будет твоей женой, это говорю тебе я!

Элиса взорвало от дерзких слов старика.

-- Что ты тут делаешь, -- крикнул он, -- в шахте моего хозяина Пэрсона Дальсе, на которого я работаю со всем усердием, к какому только способен? Убирайся-ка лучше, подбру-поздорову, покуда цел, а не то мы еще посмотрим, кто кому разобьет голову!

С этими словами он грозно встал перед стариком, подняв железный молот, которым работал, но тот только презрительно усмехнулся и, к величайшему ужасу Элиса, вскарабкавшись с проворством кошки по уступам скалы, исчез в мрачных переходах подземелья.

Элис чувствовал, что он точно разбит во всем теле; работа валилась из его рук, и он вышел из шахты. Главный штейгер, встретив его при выходе, воскликнул:

-- Ради самого Создателя, что с тобой, Элис? Ты расстроен и бледен как смерть! Неужто тебя так одурманил серный дым, к которому ты еще не успел привыкнуть? Ничего! Выпей, дружище, это тебе поможет?

Элис выпил добрый глоток из фляжки, поданной ему стариком, и подкрепившись таким образом, рассказал ему свое приключение в шахте, а равно и свое первое знакомство со старым и загадочным рудокопом в Гетеборге.

Главный штейгер выслушал его очень внимательно, а затем, многозначительно покачав головой, сказал:

-- Знаешь что, Элис Фребем! Ведь это был старый Торберн, и я начинаю думать, что сказки, которые о нем здесь рассказывают, далеко не вздор. Лет сто тому назад жил в Фалуне рудокоп, по имени Торберн. Он был один из первых, приведших Фалунское горное дело в порядок,

и при нем выгоды этого занятия были гораздо значительнее, чем теперь. Никто не мог сравниться с Торберном в глубоком познании горного дела, и в Фалуне он был лучшим его представителем. Вечно мрачный и суровый на вид, он, казалось, обладал какой-то сверхъестественной способностью открывать богатейшие рудные жилы и постоянно рылся в земле, никогда не выходя на свет Божий. Ни жены, ни детей, ни даже жилища в Фалуне у него не было. Такая жизнь скоро породила слухи, что будто бы он связался с нечистой силой, которой подвластны расплавленные в земной утробе металлы. Он постоянно пророчил несчастье тем рудокопам, которые работали только для прибыли, а не из бескорыстной любви к благородным камням и металлам. Но его никто не хотел слушать, и рудники наши все более и более перерезывались подземными ходами и шахтами, пока, наконец, однажды, в день святого Иоанна тысяча шестьсот восемьдесят седьмого года, ужасный горный обвал не завалил весь рудник, образовав таким образом наше страшное ущелье и разрушив все работы до такой степени, что только спустя долгое время, с великим трудом, успели восстановить и сделать годными для дальнейших работ некоторые шахты. Торберна никто с тех пор не видал, так что, по всей вероятности, он, работая в шахте, был засыпан обвалом. Однако впоследствии, когда работы были восстановлены, между мастеровыми пронесся слух, что Торберн стал появляться то в той, то в другой части рудника и каждый раз давал дельные советы работающим или указывал новые рудные жилы. Некоторые встречали его даже наверху, причем он или печально на что-то жаловался, или сердито ворчал. Многие из пришедших сюда молодых людей уверяли, что им советовал искать счастья в горном труде и прислал именно в Фалун неизвестный им старый рудокоп. Замечательно, что это случалось каждый раз, когда здесь был недостаток в рабочих руках, так что Торберн, казалось, и этим хотел услужить любимому им горному делу. Если человек, с которым ты поссорился в шахте, был действительно Торберн и если он в самом деле говорил тебе о близко лежащей жиле, то это верный знак, что тут есть богатая залежь руды, и завтра мы непременно исследуем эту местность. Ведь ты знаешь, что залежи руды мы называем жилами, когда, выходя на поверхность, они разбиваются на несколько ветвей.

Когда Элис Фребем, раздумывая о всем слышанном, вернулся в дом Пэрсона Дальсе, его очень удивило, что Улла не выбежала, по обыкновению, ему навстречу. Напротив, со смущенным лицом и, как показалось Элису, с заплаканными глазами, сидела она на своем обычном месте, возле нее стоял красивый молодой человек, держа ее руку в своих и стараясь, как по всему было видно, поддержать с ней веселый, дружеский разговор. Сердце Элиса сжалось от какого-то

тяжелого предчувствия, когда Пэрсон Дальсе, увидев его, попросил, с таинственным видом, выйти вместе с ним в другую комнату.

-- Ну, Элис Фребем, -- так начал он, -- скоро придется тебе доказать на деле твою ко мне привязанность. Я давно уже смотрю на тебя, как на сына, и скоро ты будешь им на самом деле. Человек, которого ты сейчас видел, богатый купец Эрик Олафсен из Гетеборга. Он просит руки моей дочери, и я дал на то согласие. Он увозит ее в Гетеборг, и ты останешься у меня один опорой моей старости! Что же ты молчишь?.. бледнееешь... Неужели тебе не нравится мое предложение и ты откажешь остаться со мной теперь, когда дочь моя меня покидает? Но я слышу, что Эрик Олафсен меня зовет. Я должен идти к ним.

С этими словами Пэрсон Дальсе вышел.

Элис чувствовал, что сердце его было готово разорваться на части; он не мог ни говорить, ни плакать. В безумном отчаянии выбежал он из дома и бежал, бежал не оглядываясь, пока не достиг большого обрыва. Если это место возбуждало невольный ужас даже при свете дня, то сейчас, ночью, оно казалось во много раз страшнее, когда бледный лунный свет, едва озаряя дикие скалы, еще более делал похожими их очертания на толпу чудовищ, обвитых пеленою поднимавшегося снизу дыма, сверкавших огненными глазами и простиравших исполинские руки, чтобы схватить дерзкого, осмелившегося приблизиться к этому проклятому месту человека.

-- Торберн! Торберн! -- крикнул Элис безумным голосом, отдавшимся громким эхом между скал. -- Торберн! Я здесь! Ты был прав, говоря, что я лукавый работник, который трудился ради надежд, оставленных на поверхности земли! Внизу мое счастье, моя жизнь, мое все! Явись ко мне, укажи мне богатейшие жилы: в них буду я рыться и работать без устали, без желания взглянуть на свет Божий! Торберн, Торберн! Явись ко мне!

Элис достал огниво и кремень, зажег лампочку рудокопа и спустился в шахту, в которой работал вчера. Торберн, однако, там не было. Но каково было удивление Элиса, когда, достигнув крайней глубины, он вдруг увидел богатейшую рудную жилу, простиравшуюся перед ним так ясно, что он мог проследить глазами все ее разветвления и повороты! По мере того, как он пристальнее всматривался в эту чудную, каменную массу, ему показалось, что по шахте разливается какой-то легкий бледный свет, выходивший неизвестно откуда, и от которого стены подземелья делались прозрачными, как чистейший хрусталь. Таинственный сон, виденный им в Гетеборге, повторился в яви. Зачарованный сад металлических цветов и деревьев, с рдеющими на ветвях плодами из драгоценных камней, сверкавших, как ряд разноцветных огней, обступили его со всех сторон. Снова увидел он улыбающиеся лица прелестных женщин, и снова восстал перед ним величавый образ царицы. Она привлекла его к себе и прижала к своей

груди. Тут все помутилось в его глазах; какой-то раскаленный луч проник в его сердце, и ему казалось, что он понесся по волнам голубоватого, сверкающего эфира.

-- Элис Фребем! Элис Фребем! -- вдруг раздался на верху громкий голос; свет двух факелов озарил шахту.

Это был Пэрсон Дальсе, поспешивший вместе со штейгером на поиски бедного юноши, после того как он, точно безумный, выскочил из дверей дома и убежал в рудник.

Они нашли его стоящим в каком-то оцепенении, с лицом, крепко прижатым к холодному камню.

-- Что ты тут делаешь поздней ночью, глупый ты человек? -- воскликнул Пэрсон Дальсе. -- Вставай проворнее, соберись с силами да полезем наверх; а там услышишь ты хорошие вести.

Очнувшийся Элис машинально последовал за ним, не проронив ни одного слова, между тем как Пэрсон Дальсе всю дорогу ворчал и бранился за страшную опасность, которой подвергался Элис.

Уже совершенно рассвело, когда они вернулись домой. Улла с громким криком радости упала на грудь Элиса, называя его всеми нежнейшими именами. Но Пэрсон Дальсе продолжал ворчать:

-- Глупый ты человек, -- говорил он, -- неужели ты воображал, что я не знал о твоей любви к Улле и не понимал очень хорошо, что только для нее работаешь ты с таким усердием в руднике? Неужели не видел я, что Улла также любит тебя всем сердцем, и, наконец, мог ли я найти себе зятя лучше, чем ты, честный, трудолюбивый Элис? Меня огорчило только, зачем вы оба молчали и скрывались.

-- Да разве мы сами подозревали, что любим друг друга так горячо? -- перебила Улла.

-- Ну, это ваше дело, -- продолжал Пэрсон Дальсе, -- только я тоже довольно помучился, раздумывая, почему Элис не хочет мне прямо открыться в своей любви. И вот вследствие этого, а также для испытания твоего сердца, выдумал я сказку об Эрике Олафсене, от которой Элис чуть не погиб. Глупый ты человек! Да ведь Эрик Олафсен давно женат, а мою Уллу отдам я тебе, честный, храбрый Элис, и повторяю, что никогда не мог бы пожелать лучшего зятя!

Слезы радости текли по щекам Элиса. Счастье всей его жизни пришло так внезапно, что он серьезно думал, не был ли это один лишь призрачный сон.

Все рабочие были приглашены в этот день Пэрсоном Дальсе на большой обед.

Улла, одетая в лучшее свое платье, была до того прелестна, что не находилось человека, который не повторил бы, глядя на нее: "Ну уж достал себе невесту наш честный Элис Фребем! Благослови Господь их обоих за их благочестие!"

На бледном лице Элиса мелькали еще следы пережитой им ужасной ночи, и иногда он невольно содрогался.

-- Что с тобой, мой Элис? -- ласково спрашивала Улла.

-- Ничего, ничего, -- бормотал он в ответ, прижимая ее к сердцу. -- Ты моя, значит -- все хорошо.

Но при всем том Элису иногда чудилось, что точно какая-то ледяная рука хватала его за сердце, и глухой мрачный голос отдавался в его ушах: "И ты думаешь, что достиг всего, сделавшись женихом Уллы? Глупец, глупец! Ты забыл, что видел царицу!"

Неизъяснимый страх сжимал грудь Элиса; его преследовала ужасная мысль, что вот, вот сейчас какой-нибудь из рабочих обернется исполинской фигурой Торберна и грозно потребует, чтобы он, бросив все, следовал за ним в подземное царство камней и металлов, для которого закабалил себя навеки. И при этом он никак не мог понять, почему был так враждебно настроен по отношению к нему старик и какая связь существует между подземным царством и его любовью?

Пэрсон Дальсе видел огорчение Элиса и приписывал его влиянию ужасной ночи, проведенной им в руднике. Не так думала Улла, тщетно умолявшая под гнетом какого-то зловещего предчувствия, чтобы возлюбленный рассказал ей все, что его так томило. У Элиса готова была разорваться грудь от отчаяния. Напрасно порывался он рассказать ей свое таинственное видение в шахте. Какая-то неведомая сила сковывала его язык; он словно видел внутренним зрением зловещий облик царицы, звавшей его по имени, и ему казалось, что ее взгляд, подобно взгляду Медузы, заколдовывал и превращал в камень и его самого, и все окружающее. Дивные прелести, так восхищавшие его в глубине, казались ему теперь каким-то адским наваждением, зачаровавшим его для вечной муки и гибели.

Пэрсон Дальсе требовал, чтобы Элис вовсе перестал ходить в рудник, пока не оправится совершенно от своей болезни. За все это время нежнейшие попечения любящей Уллы сумели наконец несколько изгладить в памяти Элиса мысль об его ужасном приключении. Он снова стал весел, здоров и поверил в свое счастье, перестав бояться угрожавшей ему злобной власти.

Но когда, выздоровев, он снова спустился в рудник, все показалось ему там не таким, как прежде. Богатейшие рудные жилы ясно рисовались перед его глазами. Он начал работать с удвоенным жаром, забывал все и выходил наверх только по настойчивым требованиям Пэрсона Дальсе и своей Уллы. Он точно чувствовал себя разделенным на две половины, из которых большая неудержимо стремилась туда, к центру земли, где, казалось, неизъяснимое блаженство ждало его в объятиях царицы, а другая чувствовала, что наверху, в Фалуне, для него все пустынно и мертво.

Когда Улла заговаривала с ним о своей любви и об ожидавшем их счастье, он, точно в каком-то забытии, начинал бормотать о прелестях подземного мира, о скрытых в нем несчетных богатствах; иногда говорил даже до того темно и бессвязно, что бедная Улла не могла понять, что за ужасная перемена произошла в ее Элисе. Штейгеру Пэрсона Дальсе Элис с каким-то восторженным видом беспрестанно рассказывал о богатейших залежах и прекраснейших рудных жилах, которые он будто бы открывал, и если тот возражал, что в них ничего нет, кроме пустой породы, Элис презрительно смеялся и думал про себя, что значит ему одному дано понимать таинственные приметы и знаки, начертанные рукой царицы на каменных глыбах, и что ему совершенно достаточно просто о них знать, так как он не имеет ни малейшего желания делиться с кем-нибудь своими открытиями.

С горестью смотрел старый штейгер на молодого человека, когда тот, дико сверкая глазами, описывал ему дивные чудеса подземного мира:

-- Ах, хозяин, хозяин! -- тихо шептал он Пэрсону Дальсе. -- Ведь нашего бедного мальчика обошел злой Торберн!

-- Полно тебе, старина, пугать этими бреднями рудокопов, -- возражал тот. -- Бедному парню просто любовь вскружила голову. Дай нам только справить свадьбу, а там, увидишь сам, он забудет все свои жилы, залежи и подземные чудеса.

День, назначенный для свадьбы, наступил. За несколько дней до нее Элис Фребем стал гораздо сдержаннее и серьезней, точно обдумывал какую-то важную мысль, и в то же время никогда не был он так нежен с Уллой и никогда не чувствовал так глубоко своего счастья. Он не покидал ее ни на одну минуту и даже не ходил в рудник. Казалось, он совсем забыл свою страсть к горному делу и во все это время ни разу не заговорил о своем подземном царстве. Улла утопала в счастье. Боязнь таинственных подземных сил, легенды о которых она слышала от старых рудокопов и которые заставляли ее так волноваться за Элиса, исчезла в ней без следа. Даже Пэрсон Дальсе, улыбаясь, говорил старому штейгеру:

-- Ну вот, видишь! У нашего бедного Элиса просто закружилась голова от любви к моей Улле.

Рано утром в назначенный для свадьбы день -- это был день святого Иоанна -- Элис постучал в дверь своей невесты. Она отворила и отшатнулась в ужасе. Бледный как смерть, с дико блуждающими глазами стоял перед ней Элис, одетый в праздничный свадебный наряд.

-- Я пришел тебе объявить, моя дорогая, -- заговорил он тихим, срывающимся голосом, -- что мы стоим теперь возле высочайшего счастья, какое только может достаться в удел людям. Все открылось мне в эту ночь: там, внизу, на страшной глубине, под толстым слоем хлорита и слюды зарыт огненный, сверкающий алмадин. На нем вырезана ожидающая нас судьба, и его получишь ты от меня как

свадебный подарок. Он прекраснее, чем кровавый карбункул, и когда мы будем смотреть на него полными любви глазами, увидим мы ясно, как наше внутреннее существо, разрастаясь, переплетается с теми дивными ветвями, которые вырастают из сердца царицы в самом центре земли. Надо только добыть этот камень, и я это сделаю. Жди меня, моя бесценная Улла! Скоро я вернусь к тебе обратно!

Улла, заливаясь горячими слезами, умоляла его бросить сумасбродное предприятие, говоря, что предчувствует в нем гибель их счастья. Но Элис остался непоколебим, утверждая, что иначе он не будет иметь всю жизнь ни одной минуты покоя и что в предприятии его нет ровно ничего опасного. Затем он крепко обнял свою невесту и ушел.

Уже собрались гости, для того чтобы ехать вместе с женихом и невестой в Коппарбергскую церковь, где по окончании службы была назначена свадьба. Толпа молодых девушек в праздничных нарядах, провожавшие, по местному обычаю невесту, окружили Уллу, весело болтая и смеясь. Музыканты настраивали инструменты на веселый свадебный марш. Был почти полдень, а Элис Фребем все еще не являлся. Вдруг на улице показалась толпа бежавших, с бледными, испуганными лицами, рабочих, и вслед затем распространилась ужасная весть, что страшный горный обвал, обрушившись на участок Пэрсона Дальсе, завалил все его шахты.

-- Элис! Мой Элис! Ты там, ты там! -- с раздирающим душу воплем воскликнула Улла и упала замертво.

Тут только узнал от штейгера Пэрсон Дальсе, что Элис Фребем еще ранним утром направился к руднику, куда спустился один, так как все прочие рабочие были приглашены на свадьбу, и в шахте никого не было. Все жители с Пэрсоном Дальсе во главе бросились к обвалу, но тщетны оказались все, даже с опасностью для жизни, проведенные розыски. Элис Фребем не был найден. Ясно было, что обвал застиг его в шахте и похоронил заживо. Так слезы и горе поселились в доме честного Персона Дальсе в ту самую минуту, когда он думал найти покой и отраду своих грядущих дней!

Давно умер честный альдерман Пэрсон Дальсе; давно исчез самый слух о его дочери Улле. Никто не помнил о них в Фалуне, так как уже более пятидесяти лет прошло со дня несостоявшейся свадьбы Элиса Фребема. Однажды смена рабочих, пробивая штольню между двумя шахтами, внезапно нашла труп молодого рудокопа, плававший в подземном озере купоросной воды и казавшийся с виду совершенно окаменелым.

Молодой человек, казалось, спал глубоким сном; так свежо сохранились черты и краски его лица, одежда рудокопа, и даже букет цветов на груди. Все население Фалуна высыпало смотреть на

покойника, перенесенного из рудника на поверхность. Но не только никто из присутствовавших не мог узнать его в лицо, но даже ни один из старых рудокопов не помнил, чтобы кто-либо из их товарищей погиб таким образом. Труп уже хотели перенести в Фалун для погребения, как вдруг через толпу окружавших его пробилась старая, дряхлая старушка на двух костылях.

-- Это Иоаннова старушка, -- слышалось между стоявшими рудокопами.

Имя это было ей дано потому, что с незапамятных времен она ежегодно в день святого Иоанна рано утром приходила в Фалун, становилась над обрывом со скрещенными на груди руками и весь день жалобно стонала, глядя на бездну, чтобы потом опять уйти неизвестно куда.

Едва старушка увидела окаменелый труп юноши, как в тот же миг всплеснула руками, уронив оба костыля, и воскликнула раздирающим душу голосом: "О Элис Фребем! О мой Элис! Мой милый жених!". С этими словами она упала на труп, схватив его холодные руки, и крепко прижала их к своей груди, где, как святой огонь нефтяных источников, скрытый под покровом земли, еще билось полное горячей любви сердце.

-- Ах! -- сказала она, озираясь на присутствующих. -- Никто из вас не помнит Уллы Дальсе, бывшей счастливой невестой этого юноши пятьдесят лет тому назад! Когда, потеряв его, я с отчаянием удалилась в Орнэс, меня нашел там старый Торберн и утешил предсказанием, что я еще раз, на день Иоанна, увижу на земле моего Элиса, похороненного под обвалом. С тех пор каждый год приходила я сюда и жадно вперяла взор в эту пропасть. И вот сегодня дождалась я, наконец, радостного свидания! О мой Элис! Милый жених мой!

И снова охватила она иссохшими руками дорогой труп, как бы не желая никогда с ним расставаться. Все присутствующие были тронуты до глубины души.

Все тише и тише раздавались ее рыдания, пока не затихли совсем.

Рабочие хотели поднять бедную Уллу, чтобы ей помочь, но было уже поздно: она умерла, лежа возле своего окаменевшего жениха. Через некоторое время от соприкосновения со свежим воздухом тело Элиса распалось и превратилось в пыль.

В Коппарбергской церкви, где пятьдесят лет тому готовились совершить свадебный обряд, погребли прах бедного юноши, а рядом с ним положили тело его невесты, оставшейся верной ему до гроба.

* * *

-- Мне кажется, -- сказал Теодор, кончив чтение, и видя, что друзья молча смотрели друг на друга, -- мой рассказ вам не совсем

понравился, или, может быть, вы сегодня не были расположены к слушанию чего-либо печального.

-- Рассказ твой действительно производит грустное впечатление, -- возразил Оттмар, -- но, строго говоря, я нахожу в нем совершенно излишними заимствованные тобой подробности о шведских горных фрельзах, рудниках, народных поверьях и видениях. На меня гораздо глубже подействовала та часть рассказа, где просто и трогательно описывается, как молодой человек был найден в руднике и бедная старушка узнала в нем своего бывшего жениха.

-- Обращаюсь с просьбой защиты, -- сказал, улыбаясь, Теодор, -- к нашему патрону, пустыннику Серапиону, и уверяю вас его именем, что вся рассказанная мною повесть о молодом человеке не только написана, но и выдумана мною самим.

-- Предоставим каждому, -- сказал Лотар, -- свободу писать, как ему вздумается. Я, напротив, очень доволен тем, что из рассказа Теодора мы могли почерпнуть кое-какие неизвестные нам прежде сведения о горной науке, о Фалунских рудниках и о шведских нравах. Хотя, правда, можно заметить, что некоторые из употребленных тобой горных терминов не для всех понятны, но ведь этак, пожалуй, иной, прослушав твою историю, стал бы уверять, что добрые гетеборгцы и фалунцы пьют деревянное масло, по созвучию слов Ael (эль) и Oel (масло), тогда как эль ничто иное, как прекрасное, крепкое пиво.

-- Что до меня, -- вмешался Киприан, -- то повесть Теодора понравилась мне гораздо больше, чем Оттмару. Многие замечательные поэты часто изображали людей, погибавших, подобно Элису Фребему, от такой же ужасной раздвоенности своего нравственного существа, производимой вмешательством каких-то посторонних таинственных сил. Теодор разработал именно эту канву, и мне она очень нравится из-за своей глубинной правды. Я сам встречал людей, которые внезапно изменялись до основания вследствие какой-нибудь посторонней причины, и, неустанно преследуемые злобной властью, не знали они ни минуты покоя, доходя иной раз до гибели.

-- Довольно, довольно, -- закричал Лотар, -- если наш духовидец Киприан будет продолжать эту тему, то мы скоро запутаемся все, как есть, в безысходном лабиринте таинственных стремлений и предчувствий. С вашего позволения, чтобы разогнать общее мрачное настроение, я намерен прочесть в заключение сегодняшнего вечера сочиненную мною недавно сказку для детей, которую, как кажется, нашептал мне сам веселый домашний дух Дроль.

-- Детскую сказку! -- воскликнули все. -- Лотар сочинил детскую сказку!

-- А почему бы нет? -- возразил Лотар. -- Вам кажется нелепым, что я сочиняю детские сказки. Но прежде выслушайте, а там судите.

Лотар вынул тетрадь из кармана и прочел:

ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ

СОЧЕЛЬНИК

Целый день двадцать четвертого декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату. С наступлением сумерек дети, Мари и Фриц, сидели в темном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках, но что он, впрочем, наверное знает, что это был их крестный Дроссельмейер. Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:

-- Ах, я думаю, что крестный подарит нам что-нибудь очень интересное.

Друг дома советник Дроссельмейер был очень некрасив собой; это был маленький, сухощавый старичок, с множеством морщин на лице; вместо правого глаза был у него наклеен большой черный пластырь; волос у крестного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крестного за то, что он был великий искусник, и не только умел чинить часы, но даже сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крестный приходил, снимал свой парик и желтый сюртук, надевал синий передник и начинал копать в часах какими-то острыми палочками, так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крестный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот, -- и часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крестный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям: то куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка, словом, что-нибудь в этом роде. Но к рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав ее детям, потом всегда бережно прятали ее в шкаф.

-- Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный? -- повторила маленькая Мари.

Фриц уверял, что крестный, наверно, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солдатами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят ее взять, но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.

-- Нет, нет, -- сказала Маша, -- крестный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки, в потом придет к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами.

-- Лебеди конфет не едят, -- перебил Фриц, -- да и как может крестный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают; то ли дело игрушки, которые дарят папа и мама! Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим.

Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая ее кукла, мамзель Трудхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметилах, а о чистоте ее платья нечего было и говорить; как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький зонтик у ее подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостает хорошей гнедой лошади, да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно.

Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки; знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их елку и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые все еще шушукались о об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос и что Он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие, а потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог все-таки удержаться, чтобы не пробормотать: "А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!"

Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово, им казалось, что будто над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света; дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик: "Динь-динь-динь-динь!"

Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперед со словами:

-- Ну, детки, пойдёмте смотреть, чем одарил вас младенец Христос!

ПОДАРКИ

Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель, -- Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы тебя ни звали, -- и прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками, -- и тогда ты хорошо поймешь радость Мари и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую елку! Мари только воскликнула:

-- Ах, как хорошо! Как чудно!

А Фриц начал прыгать и скакать, как козленок. Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что еще ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек.

Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль, и великое множество разных лакомств унизывали ветви стоявшей посередине елки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звездочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под елкой -- трудно и описать! Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством, но больше всего ее обрадовало шелковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон.

-- Ах, мое милое платьице! -- в восторге воскликнула Маша. -- Ведь оно точно мое? Ведь я его надену?

Фриц между тем уже успел трижды обскакать вокруг елки на своей новой лошади, которую он нашел привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал ее по холке и сказал, что конь -- лютый зверь, ну да ничего: уж он его вышколит! Потом он занялся эскадроном новых гусар в ярко красных, с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабелями и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра.

Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же, и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображенные, что, казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за

картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это, значит, пришел черед подаркам крестного Дроссельмейера, и они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшая стол, раздвинулись, -- и что же увидели дети! На свежем, зеленом, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном зале, ярко освещенном множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзолчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крестного Дроссельмейера, в зеленом плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крестный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:

-- Крестный, крестный! Позволь мне войти в этот замок!

Крестный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который со всеми его золотыми башенками, был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал.

Посмотрев еще некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зеленый человечек все выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:

-- Крестный, сделай, чтобы этот зеленый человечек выглянул из других дверей!

-- Этого тоже нельзя, мой милый Фриц, -- возразил крестный.

-- Ну так вели ему, -- продолжал Фриц, -- гулять и танцевать с прочими, а не высовываться.

-- И этого нельзя, -- был ответ.

-- Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз; я хочу их рассмотреть поближе.

-- Ничего этого нельзя, -- ответил немного обиженный крестный, -- в механизме все сделано раз и навсегда.

-- Во-о-т как, -- протяжно сказал Фриц. -- Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо! Мои гусары лучше! Они умеют ездить вперед и назад, как я захочу, а не заперты в доме.

С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать, словом, делать все, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крестного, потому что и ей, по правде сказать, немного наскучило

смотреть, как куколки выделывали все одно и то же; она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крестного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:

-- Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок!

Но мать остановила крестного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием все показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям еще несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного, душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нем такой нарядной и хорошенькой, что и Мари, глядя на нее, захотелось непременно надеть свое, в котором, ей казалось, она будет еще лучше. Ей это охотно позволили.

ЛЮБИМЕЦ

Мари никак не могла расстаться со своим столиком, находя на нем все время новые вещицы. А когда Фриц взял своих гусаров и стал делать под елкой парад, Маша увидела, что за гусарами скромно стоял маленький человечек-куполка, точно дожидаясь, когда очередь дойдет до него. Правда, он был не очень складный: невысокого роста, с большим животом, маленькими тонкими ножками и огромной головой. Но человечек был очень мило и со вкусом одет, что доказывало, что он был умный и благовоспитанный молодой человек. На нем была лиловая гусарская курточка с множеством пуговиц и шнурков, такие же рейтузы и высокие лакированные сапоги, точь-в-точь такие, как носят студенты и офицеры. Они так ловко сидели на его ногах, что, казалось, были выточены вместе с ними. Только вот немножко нелепо выглядел при таком костюме прицепленный к спине деревянный плащ и надетая на голову шапчонка рудокопа. Но Мари знала, что крестный Дроссельмейр носил такой же плащ и такую же смешную шапочку, что вовсе не мешало ему быть милым и добрым крестным. Мари отметила про себя также то, что во всей прочей своей одежде крестный никогда не бывал одет так чисто и опрятно, как этот деревянный человечек. Рассмотрев его поближе, Мари сейчас же увидела, какое добродушие светилось на его лице, и не могла не полюбить его с первого взгляда. В его светлых зеленых глазах сияли приветливость и дружелюбие. Подбородок человечка окаймляла белая завитая борода из бумажной штопки, что делало еще милее улыбку его больших красных губ.

-- Ах, -- воскликнула Мари, -- кому, милый папа, подарили вы этого хорошенького человечка, что стоит там за елкой?

-- Это вам всем, милые дети, -- отвечал папа, -- и тебе, и Луизе, и Фрицу; он будет для всех вас щелкать орехи.

С этими словами папа взял человечка со стола, приподнял его деревянный плащ, и дети вдруг увидели, что человечек широко разинул рот, показав два ряда острых, белых зубов. Мари положила ему в рот орех; человечек вдруг сделал -- щелк! -- и скорлупки упали на пол, а в руку Маши скатилось белое, вкусное ядрышко. Папа объяснил детям, что куколка эта зовется Щелкунчик. Мари была в восторге.

-- Ну, Мари, -- сказал папа, -- так как Щелкунчик очень тебе понравился, то я дарю его тебе; береги его и защищай; хотя, впрочем, в его обязанность входит щелкать орехи и для Фрица с Луизой.

Мари тотчас же взяла Щелкунчика на руки и заставила его щелкать орехи, выбирая самые маленькие, чтобы у Щелкунчика не испортились зубы.

Луиза под села к ней, и добрый Щелкунчик стал щелкать орехи для них обеих, что, кажется, ему самому доставляло большое удовольствие, если судить по улыбке, не сходявшей с его губ.

Между тем Фриц, порядочно устав от верховой езды и обучения своих гусар, а также услышав, как весело щелкались орехи, подбежал к сестрам и от всей души расхохотался, увидев маленькую уродливую фигуру Щелкунчика, который переходил из рук в руки и успевал щелкать орехи решительно для всех. Фриц стал выбирать самые большие орехи и так неосторожно заталкивал их Щелкунчику в рот, что вдруг раздалось -- крак-крак! -- и три белых зуба Щелкунчика упали на пол, да и челюсть, сломавшись, свесилась на одну сторону.

-- Ах, мой бедный Щелкунчик! -- заплакала Мари, отобрав его у Фрица.

-- Э, да какой он глупый! -- закричал Фриц. -- Хочет щелкать орехи, а у самого нет крепких зубов! На что же он годен? Давай его мне, я заставлю его щелкать, пока у него не выпадут последние зубы и не отвалится совсем подбородок!

-- Нет, нет, оставь, -- со слезами сказала Мари, -- я тебе не дам моего милого Щелкунчика, посмотри, как он на меня жалобно смотрит и показывает свой больной ротик! Ты злой мальчик: ты бьешь своих лошадей и стреляешь в своих солдат.

-- Потому что так надо, -- возразил Фриц, -- и ты в в этом ничего не смыслишь; а Щелкунчика все-таки дай мне; его подарили нам обоим!

Тут Мари уже совсем горько расплакалась и поскорее завернула Щелкунчика в свой платок. В это время подошли их родители с крестным. Крестный, к величайшему горю Мари, вступился за Фрица, но папа сказал:

-- Я поручил Щелкунчика беречь Мари, а так как он теперь болен и больше всего нуждается в ее заботах, то никто не имеет права его

отнимать. А ты, Фриц, разве не знаешь, что раненых солдат никогда не оставляют в строю? Ты, как хороший военный, должен это понимать!

Фриц очень сконфузился и потихоньку, позабыв и Щелкунчика, и орехи, отошел на другой конец комнаты, где и занялся устройством ночлега для своих гусар, закончивших на сегодня службу. Мари между тем собрала выпавшие у Щелкунчика зубы, подвязала его подбородок чистым белым платком, вынутым из своего кармана, и еще осторожнее, чем прежде, завернула бледного перепуганного человечка в теплое одеяло. Взяв его затем на руки, как маленького больного ребенка, она занялась рассматриванием картинок в новой книге, лежавшей тут же, между прочими подарками. Мари очень не понравилось, когда крестный стал смеяться над тем, что она так нянчится со своим уродцем. Вспомнив, что при первом взгляде на Щелкунчика ей показалось, что он очень похож на самого крестного Дроссельмейера, Мари не могла удержаться, чтобы не ответить ему на его насмешки:

-- Как знать, крестный, был бы ты таким красивым, как Щелкунчик, если бы тебя пришлось даже одеть точно так, как его, в чистое платье и щегольские сапожки.

Родители громко засмеялись, а крестный, напротив, замолчал. Мари никак не могла понять, отчего у крестного вдруг так покраснел нос, но уж, верно, была какая-нибудь на то своя причина.

ЧУДЕСА

В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево, у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трудхен, устроила премиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари (ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари), -- итак, я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая,

чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен.

Между тем наступил поздний вечер; стрелка часов показывала двенадцатый; крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом, так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать.

-- Правда, правда, -- сказал Фриц, -- надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняг не посмеет лечь, пока я тут, я это знаю хорошо.

С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, несколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом.

-- Приходи же скорей, Мари, -- сказала мама, уходя в свою комнату, - - если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать.

Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило, и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной Щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души.

-- Ах, мой милый Щелкунчик! -- сказала она. -- Ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил; Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы, и все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо; он на такие штуки мастер...

Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера Щелкунчик вдруг скривил лицо и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо Щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение.

-- Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю Щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует.

Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле:

-- Будь умницей, Клерхен, уступи свою постель бедному больному Щелкунчику, а тебя я уложу на диван; ведь ты здорова; посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван.

Клерхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки.

-- И чего я церемонюсь! -- сказала Мари и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа.

"Незачем ему оставаться с недоброй Клерхен", -- подумала Мари и кровать вместе с лежавшим на ней Щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары Фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать, но тут -- слушайте внимательно, дети! -- тут за печкой, за стульями, за шкафами -- словом, всюду, вдруг слышались тихий, тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую, кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом:

-- Хррр...р! Часики идите! -- тише, тише не шумите! -- король мышиный к вам идет! -- войско свое ведет! -- хрр...р -- хрр-р! бим-бом! -- бейте, часики, бим -- бом!

И затем, мерно и ровно, часы пробили двенадцать. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать, но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер и, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими, точно сова крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах:

-- Крестный! Крестный! Что ты там делаешь? Не пугай меня! Сойди вниз, гадкий крестный!

Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон, точно тысячи маленьких лапок забежали по полу, а из щелей, под карнизами, выглянули множество блестящих, маленьких огоньков. Но это были не огоньки, а, напротив, крошечные сверкавшие глазки, и Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот! Хлоп-хлоп! -- так и раздавалось по комнате.

Мыши толкались, сустились, бегали целыми толпами, и наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком Фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети, и прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и

громкий писк, от которого холод пробежал у Маши по жилам. Ах! Что она увидела! Нет, любезный читатель Фриц! Хотя я и уверен, что у тебя, также как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце, все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверно, убежал бы со всех ног, прыгнул в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого! Вы только послушайте, дети! Как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков известки, песка и камешков, словно от подземного толчка, и вслед затем выглянуло целых семь мышиных голов с золотыми коронами, и -- представьте -- все эти семь голов сидели на одном туловище! Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась наконец из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречало ее с громким, торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана -- сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет, но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось: клик-клак-хрр!.. -- и стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца: она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы.

Но что же это опять? В шкафу, за спиной Мари, поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали: -- В бой, в бой! Бей тревогу! Ночью в бой, ночью в бой! Бей тревогу!

И вместе с этим раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков.

-- Ах, это колокольчики в игрушке крестного, -- радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мочь: "Крак, крак! Мышиный король дурак! Крак, крак! Дурак! Дурак!"

При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать:

-- Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?

Тут подбежали к нему три паяца, Полишинель, трубочист, два тирольца с гитарами, барабанщик и хором воскликнули:

-- Да, принц! Клянемся тебе в верности! Веди нас на смерть или победу!

С этими словами они все, вместе с Щелкунчиком, спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо! На них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись, а каково было спрыгнуть, почти на два фута вниз, бедному Щелкунчику, сделанному из дерева? Бедняга, наверно, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия.

-- Ах, моя милая, добрая Клерхен! -- воскликнула Мари. -- Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель Щелкунчику.

Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила:

-- О принц! Неужели вы хотите идти в бой такой раненый и больной? Оставайтесь! Лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы! Паяц, полишинель, трубочист, тиролоец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, оставайтесь со мной!

Так говорила Клерхен, но Щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал:

-- О сударыня! Верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!

Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях Щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном:

-- Нет, сударыня, нет, не этим! -- и, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой.

Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что Щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари и только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то, что та была очень красива и сверкала. Доброму, верному Щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари!

Однако что-то будет, что-то будет!

Едва Щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная, густая толпа собралась

под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами!

Что-то будет! Что-то будет!

СРАЖЕНИЕ

-- Бей походный марш, барабанщик! -- громко крикнул Щелкунчик, и в тот же миг барабанщик начал выбивать такую сильную дробь, что задрожали стекла в шкафу.

Затем внутри его что-то застучало, задвигалось, и Мари увидела, что крышки ящиков, в которых были расквартированы войска Фрица, отворились, и солдаты, торопясь и толкая друг друга, впопыхах стали прыгать с верхней полки на пол, строясь там в правильные ряды. Щелкунчик бегал вдоль выстроившихся рядов, ободряя и воодушевляя солдат.

-- Чтобы ни один трубач не смел тронуться с места! -- крикнул он сердито и затем, обратясь к побледневшему Полишинелю, у которого заметно дрожал подбородок, торжественно сказал:

-- Генерал! Я знаю вашу храбрость и опытность; вы понимаете, что мы не должны терять ни одной минуты! Я поручаю вам командование всей кавалерией и артиллерией; самому вам лошади не надо, у вас такие длинные ноги, что вы легко поскачете на своих двоих. Исполняйте же вашу обязанность!

Полишинель тотчас же приложил ко рту свои длинные пальцы и так пронзительно свистнул, что и сто трубачей не смогли бы затрубить громче. Ржание и топот раздались из шкафа ему в ответ; кирасиры, драгуны, а главное -- новые, блестящие гусары Фрица, вскочив на лошадей, мигом попрыгали на пол и выстроились в ряды. Знамена распустились, и скоро вся армия, предводительствуемая Щелкунчиком, заняла под громкий военный марш правильную боевую позицию на середине комнаты. Пушки с артиллеристами, тяжело гремя, выкатились вперед. Бум! Бум! -- раздался первый залп, и Мари увидела, как ядра из драже полетели в самую гущу мышей, обсыпав их добела сахаром, чем, казалось, они были очень сконфужены. Особенно много вреда наносила им тяжелая батарея, поставленная на мамину скамейку для ног и обстреливавшая их градом твердых, круглых пряников, от которых они с пискom разбежались в разные стороны.

Однако основная их масса придвигалась все ближе и ближе, и даже некоторые пушки были уже ими взяты, но тут от дыма выстрелов и возни поднялась такая густая пыль, что Маша не могла ничего различить. Ясно было только то, что обе армии сражались с необыкновенной храбростью и победа переходила то на ту, то на другую сторону. Толпы мышей все прибывали, и их маленькие серебряные ядра, которыми они стреляли необыкновенно искусно,

долетали уже до шкафа. Трудхен и Клерхен сидели, прижавшись друг к другу, и в отчаянии ломали руки.

-- О неужели я должна умереть вот так, во цвете лет! Я! Самая красивая кукла! -- воскликнула Клерхен.

-- Для того ли я так долго и бережно хранилась, чтобы погибнуть здесь, в четырех стенах! -- перебила Трудхен; и, бросившись друг другу в объятия, они зарыдали так громко, что их можно было слышать даже сквозь шум сражения.

А то, что делалось на поле битвы, ты, любезный читатель, не мог бы себе даже представить! Прр...р! Пиф-паф, пуф! Трах, тарарах! Бим, бом, бум! -- так и раздавалось по комнате, и сквозь эту страшную канонаду слышались крик и визг мышинового короля и его мышей да грозный голос Щелкунчика, раздававшего приказания и храбро ведущего в бой свои батальоны. Полишинель сделал несколько блестящих кавалерийских атак, покрыв себя неувядаемой славой, но вдруг гусары Фрица были заброшены артиллерией мышей отвратительными, зловонными ядрами, которые испачкали их новенькие мундиры, и они отказались сражаться дальше. Полишинель вынужден был скомандовать им отступление и, вдохновясь ролью полководца, отдал такой же приказ кирасирам и драгунам, а наконец, и самому себе, так что вся кавалерия, обернувшись к неприятелю тылом, со всех ног пустилась домой. Этим они поставили в большую опасность стоявшую на маминой скамейке батарею; и действительно, не прошло минуты, как густая толпа мышей, бросившись с победным кличем на батарею, сумела опрокинуть скамейку, так что пушки, артиллеристы, прислуга -- словом, все покатилося по полу. Щелкунчик был озадачен и скомандовал отступление на правом фланге. Ты, без сомнения знаешь, мой воинственный читатель Фриц, что такое отступление означает почти то же, что и бегство, и я уже вижу, как ты опечален, предугадывая несчастье, грозящее армии бедного, так любимого Машей Щелкунчика. Но погоди! Позабудь ненадолго это горе и полюбуйся левым флангом, где пока все еще в порядке, и надежда по-прежнему воодушевляет и солдат, и полководца. В самый разгар боя кавалерийский отряд мышей успел сделать засаду под комодом и, вдруг выскочив оттуда, с гиком и свистом бросился на левый фланг Щелкунчика, но какое же сопротивление встретили они! С быстротой, какую только позволяла трудно проходима местность, -- надо было перелезть через порог шкафа, -- мгновенно сформировался отряд добровольцев под предводительством двух китайских императоров и построился в каре. Этот храбрый, хотя и пестрый отряд, состоявший из садовников, тирольцев, тунгусов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, морских котов, обезьян и т.п., с истинно спартанской храбростью бросился в бой и уже почти вырвал победу из рук врага, как вдруг какой-то дикий, необузданный

вражеский всадник, яростно бросившись на одного из китайских императоров, откусил ему голову, а тот, падая, задавил двух тунгусов и одного морского кота. Таким образом, в каре была пробита брешь, через которую стремительно ворвался неприятель и в один миг перекусал весь отряд. Не обошлось, правда, без потерь и для мышей; как только кровожадный солдат мышьиной кавалерии перегрызал пополам одного из своих отважных противников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, от чего он умирал на месте. Но все это мало помогло армии Щелкунчика, который, отступая все дальше и дальше, все более терял людей и остался, наконец, с небольшой кучкой героев возле самого шкафа. "Резервы! Скорее резервы! Полишинель! Паяц! Барабанщик! Где вы?" -- так отчаянно кричал Щелкунчик, надеясь на помощь еще оставшихся в шкафу войск. На зов его действительно выскочили несколько прятничных кавалеров и дам, с золотыми лицами, шляпами и шлемами, но они, размахивая неловко руками, дрались так неискусно, что почти совсем не попадали во врагов, а, напротив, сбили шляпу с самого Щелкунчика.

Неприятельские егеря скоро отгрызли им ноги, и они, падая, увлекли за собой даже некоторых из последних защитников Щелкунчика. Тут его окружили со всех сторон, и он оказался в величайшей опасности, так как не мог своими короткими ногами перескочить через порог шкафа и спастись бегством. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке и не могли ему помочь. Гусары и драгуны прыгали в шкаф, не обращая на него никакого внимания. В отчаянии закричал Щелкунчик:

-- Коня! Коня! Полцарства за коня!

В эту минуту два вражеских стрелка вцепились в его деревянный плащ; мышиный король, радостно оскалив зубы в своих семи ртах, тоже прыгнул к нему. Мари, заливаясь слезами, могла только вскрикнуть:

-- О мой бедный Щелкунчик! -- и, не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги башмачок и бросила его изо всех сил в самую гущу мышей.

В тот же миг все словно прахом рассыпалось; Мари почувствовала сильную боль в левой руке и упала в обморок.

БОЛЕЗНЬ

Очнувшись, точно от тяжелого сна, Мари увидела, что лежит в своей постельке, а солнце светлыми лучами освещает комнату сквозь обледенелые стекла окон.

Возле нее сидел, как сначала показалось ей, какой-то незнакомый господин, в котором она скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал тихонько:

-- Ну вот, она очнулась.

Мама подошла к ней и посмотрела на нее испуганным, вопрошающим взглядом.

-- Ах, милая мамочка! -- залепетала Мари. -- Скажи пожалуйста, прогнали ли гадких мышей и спасен ли мой милый Щелкунчик?

-- Полно, Мари, болтать всякий вздор, -- сказала мама, -- какое дело мышам до твоего Щелкунчика? Ты уж без того напугала нас всех; видишь, как нехорошо, когда дети не слушаются родителей и все делают по-своему. Вчера ты заигралась до поздней ночи со своими куклами и задремала. И тут очень могло случиться, что какая-нибудь мышь, которых, впрочем, до сих пор у нас не было, вылезла из-под пола и тебя напугала. Ты разбила локтем стекло в шкафу и поранила себе руку, и если бы господин Вендельштерн не вынул тебе из раны кусочков стекла, то ты бы могла легко перерезать жилу и истечь кровью, а то и лишиться руки. Слава Богу, что ночью мне вздумалось встать и посмотреть, что вы делаете. Я нашла тебя на полу, возле шкафа, всю в крови и с испуга чуть сама не упала в обморок. Вокруг тебя были разбросаны оловянные солдатики Фрица, пряничные куклы и знамена; Щелкунчика держала ты на руках, а твой башмачок лежал посередине комнаты.

-- Ах, мама, мама! Вот видишь! Это были следы сражения кукол с мышами, и я испугалась потому, что мыши хотели взять в плен Щелкунчика, который командовал кукольным войском. Тут я бросила в мышей мой башмачок и уже не помню, что было потом.

Хирург Вендельштерн сделал маме знак глазами, и та сказала тихо:

-- Хорошо, хорошо! Пусть будет так, только успокойся. Всех мышей прогнали, а Щелкунчик, веселый и здоровый, стоит в твоём шкафу.

Тут вошел в комнату папа и долго о чем-то говорил с хирургом. Оба они пощупали Мари пульс, и она слышала, что речь шла о какой-то горячке, вызванной раной.

Несколько дней ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, хотя она, если не считать боли в локте, почти не чувствовала недомогания. Она была спокойна, ведь Щелкунчик ее спас, но нередко во сне она слышала его голос, который говорил: "О моя милая, прекрасная Мари! Как я вам благодарен! Но вы можете еще многое для меня сделать!"

Мари долго думала, что бы это могло значить, но никак не могла придумать. Играть она не могла, из-за больной руки, а читать и смотреть картинки ей не позволяли, потому что у нее при этом рябило в глазах. Потому время тянулось для нее бесконечно долго, и она не могла дожидаться сумерек, когда мама садилась у ее кровати и начинала ей рассказывать или читать чудесные сказки.

Однажды, когда мама только что кончила сказку про принца Факардина, дверь отворилась, и в комнату вошел крестный Дроссельмейер со словами:

-- Ну-ка дайте мне посмотреть на нашу бедную, больную Мари!

Мари, как только увидела крестного в его желтым сюртуке, тотчас со всей живостью вспомнила ту ночь, когда Щелкунчик проиграл свою битву с мышами, и громко воскликнула:

-- Крестный, крестный! Какой же ты был злой и гадкий, когда сидел на часах и закрывал их своими полами, чтоб они не били громко и не испугали мышей! Я слышала, как ты звал мышиною короля! Зачем ты не помог Щелкунчику, не помог мне, гадкий крестный? Теперь ты один виноват, что я лежу раненая и больная!

-- Что с тобой, Мари -- спросила мама с испуганным лицом; но крестный вдруг скорчил какую-то престранную гримасу и забормотал нараспев:

-- Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Бейте часики тик-тук! Тик да тук, да тик да тук! Бим-бом, бим-бам! Клинг-кланг, клинг-кланг! Бейте часики сильнее! Прогоните всех мышей! Хинк-ханк, хинк-ханк! Мыши, мыши, прибегайте! Глупых девочек хватайте! Клинг-кланг, клинг-кланг! Тири-бири, тири-бири! Натяните крепче гири! Прр-пурр, прр-пурр! Шнарр-шнурр, шнарр-шнурр!

Мари широко открытыми глазами уставилась на крестного, который показался ей еще некрасивее, чем обыкновенно, и который размахивал в такт руками, точно картонный плясун, когда его дергают за веревочку. Мари стало бы даже немножко страшно, если бы тут не сидела мама и если бы Фриц, пришедший в комнату, громко не расхохотался, увидев Дроссельмейера:

-- Крестный, крестный! -- закричал он. -- Ты опять дурачишься! Знаешь, ты теперь очень похож на моего паяца, которого я забросил за печку.

Мама закусила губу, глядя на Дроссельмейера, и сказала:

-- Послушайте, советник, что это, в самом деле, за неуместные шутки?

-- О Господи, -- рассмеялся советник, -- разве вы не знаете моей песенки часовщика? Я ее всегда напеваю таким больным, как Мари.

Тут он сел к Маше на кровать и сказал:

-- Ну, ну, не сердись, что я не выцарапал мышиному королю его все четырнадцать глаз. За это я тебя теперь поражаю.

С этими словами крестный полез в карман, и что же он оттуда тихонько вынул? Щелкунчика! Милого Щелкунчика, которому он успел уже вставить новые крепкие зубы и починить разбитую челюсть.

Мари в восторге захлопала руками, а мама сказала:

-- Видишь, как крестный любит твоего Щелкунчика.

-- Ну само собой, -- возразил крестный, -- только знаешь что, Мари, теперь у твоего Щелкунчика новые зубы, а ведь он не стал красивее прежнего и все такой же урод, как и был. Хочешь, я тебе расскажу, почему сделался он таким некрасивым? Впрочем, может быть, ты уже

слышала историю о принцессе Пирлипат, о ведьме Мышильде и об искусном часовщике?

-- Послушай, крестный, -- внезапно перебил Фриц, -- зубы Щелкунчику ты вставил и челюсть починил, но почему же нет у него сабли?

-- Ну ты, неугомонный! -- проворчал советник. -- Тебе нужно все знать и во все совать свой нос; какое мне дело до его сабли? Я его вылечил, а саблю пусть он добывает сам где хочет!

-- Правильно! -- закричал Фриц. -- Если он храбр, то добудет себе оружие.

-- Ну так что же, Мари, -- продолжил советник, -- знаешь ты или нет историю про принцессу Пирлипат?

-- Ах, нет, нет, милый крестный, -- отвечала Мари, -- расскажи мне ее, пожалуйста.

-- Я надеюсь, советник, -- сказала мама, -- что история эта не будет очень страшной, как обыкновенно бывает все, что вы рассказываете.

-- О, несколько, дорогая госпожа Штальбаум, -- возразил советник, -- напротив, она будет очень забавной.

-- Рассказывай, крестный, рассказывай, -- воскликнули дети, и советник начал так:

СКАЗКА О КРЕПКОМ ОРЕХЕ

Мать принцессы Пирлипат была женой короля, а потому Пирлипат, когда родилась, сразу стала принцессой. Король отец был в таком восторге от рождения славной дочки, что даже прыгал около ее люльки на одной ноге, приговаривая:

-- Гей-да! Видал ли кто-нибудь девочку милее моей Пирлипатхен?

И все министры, генералы и придворные, прыгая вслед за королем на одной ноге, отвечали хором:

-- Не видали, не видали!

И это не было ложью, потому что, действительно, трудно было найти во всем свете ребенка прелестнее новорожденной принцессы. Личико ее было, точно белоснежная лилия с приставшими к ней лепестками роз, глазки сверкали, как голубые звездочки, а волосы вились прелестнейшими золотыми колечками. Ко всему этому надо прибавить, что Пирлипатхен родилась с двумя рядами прелестных жемчужных зубов, и когда, спустя два часа после ее рождения, рейхканцлер хотел пощупать ее десны, она так больно укусила ему палец, что он завопил: "Ай-ай-ай!" Правда, некоторые придворные уверяли, что он закричал: "Ой-ой-ой!" -- но вопрос этот до сих пор еще не решен окончательно. Бесспорно одно, что принцесса укусила рейхканцлера за палец и что вся страна разом уверилась в раннем уме и редких способностях принцессы.

Рождение ее, как уже было сказано, обрадовало решительно всех, и только одна королева вдруг стала, неизвестно почему, грустна и задумчива. Замечательно и то, что она с особенной тщательностью приказала оберегать колыбель новорожденной. Мало того, что у самых дверей ее комнаты стояли на страже драбанты и что у колыбели всегда сидели две няньки, королева приказала, чтобы еще шесть нянек постоянно дежурили в той же комнате. Но чего уже решительно никто не мог понять, так это то, почему каждая из этих шести нянек должна была держать на коленях по коту и всю ночь гладить его, заставляя мурлыкать. Вы, милые дети, никак бы не догадались, зачем королева-мать ввела такие порядки, но я это знаю и сейчас вам расскажу.

Раз ко двору отца Пирлипат съехалось много прекрасных принцев и королев, чему он был очень рад и всячески старался развеселить своих гостей всевозможными забавами, театрами, рыцарскими играми, балами и т.п. Желая показать, что в царстве его нет недостатка в золоте и серебре, он велел не скупиться и провести празднество, достойное его. Посоветовавшись с главным кухмистером, король решил задать своим гостям пир на славу и угостить их самой чудесной колбасой, какая только есть на свете, тем более, что, по уверению главного астронома, теперь было самое удобное для колки свиней. Сказано -- сделано! Мигом сел король в карету и поскакал звать гостей на обед, уже заранее наслаждаясь своим торжеством; перед обедом же дружески сказал королеве:

-- Ведь ты, дружок, конечно, знаешь, какую я люблю колбасу...

Королева понимала очень хорошо, что этим он изъявил желание, чтобы она сама занялась приготовлением его любимого блюда, как это уже бывало не раз. Казначей немедленно распорядился достать из кладовой и принести в кухню большой золотой котел, а также серебряные кастрюльки; когда большой огонь запылал в очаге, королева надела камчатый передник, и скоро вкусный дух от варившегося фарша проник даже в двери совета, где заседал король. В восторге он не мог удержаться и, быстро проговорив: "Извините, господа, я сейчас ворочусь", -- побежал в кухню, нежно обнял королеву, помешал немного скипетром в котле, и затем, успокоенный, воротился заканчивать заседание.

Между тем кухне предстояло самое важное дело: поджарить на серебряных вертелах разрезанное на куски вкусное сало. Придворные дамы должны были удалиться, потому что королева, из любви и уважения к королю, хотела непременно исполнить это сама. Но едва успела она положить шпик на огонь, как вдруг раздался из-под пола тоненький голосок:

-- Сестрица, сестрица! Позвольте мне кусочек! Ведь я такая же королева, как и вы; мне очень хочется попробовать вашего вкусного сала.

Королева сейчас же поняла, что это был голос госпожи Мышильды, уже давно жившей под полом их дворца. Крыса эта приписывала себя к королевскому роду и уверяла, что она сама правит королевством Мышляндия и держит поэтому под печкой большой двор. Королева была очень добрая, сострадательная женщина, и хотя в душе вовсе не почитала седую крысу своей родственницей и сестрой, но в такой торжественный день ей не хотелось отказывать кому бы то ни было ни в какой безделице, и она добродушно отвечала:

-- Сделайте одолжение, госпожа Мышильда, пожалуйста сюда и кушайте на здоровье.

Крыса живо выскочила из-под пола, вскарабкалась на очаг и стала хватать своими лапками кусочки сала, которые подавала ей королева. Но тут, вслед за крысой, прибежала вся ее родня, тетки, кумушки, а главное -- семь ее сыновей, препротивных обжор, и стали поедать сало в таком страшном количестве, что бедная королева не знала, что ей делать. К счастью, подросла вовремя обергофмейстерина и сумела прогнать эту жадную свору. Оставшееся сало было аккуратнейшим образом поделено придворным математиком по равному кусочку на каждую колбасу.

Между тем трубы и литавры возвестили о прибытии гостей. Принцы и короли в праздничных одеждах -- кто верхом на прекрасной лошади, кто в изящном экипаже -- собирались на колбасный пир. Король принимал всех с очаровательной любезностью и затем, как хозяин, сел за обедом на первом месте стола, со скипетром и короной. Но едва подали ливерную колбасу, как все заметили, что король вдруг побледнел, стал вздыхать и вертеться, как будто ему было неудобно сидеть. Когда же гостей обнесли кровяными колбасами, он уже не выдержал, и, громко застонав, опрокинулся на стул, обеими руками закрывая лицо. Все повскакивали со своих мест; лейб-медик напрасно пытался нащупать у короля пульс; наконец после невероятных усилий и употребления таких средств, как пускание в нос дыма жженных перьев, удалось привести короля немного в чувство, причем первыми его словами было:

-- Слишком мало сала!

Королева, едва это услышала, как тут же бросилась королю в ноги, с отчаянием ломая руки и рыдая:

-- О бедный, несчастный супруг мой! -- кричала она. -- Чувствую, чувствую, как вы страдаете! Виноватая здесь, у ног ваших ног! Накажите строго! Крыса Мышильда со своими семью сыновьями, тетками и прочей родней съела все сало! -- и с этими словами королева без чувств упала навзничь.

Король в ужасном гневе вскочил со своего места и закричал:

-- Обергофмейстерина! Как это могло случиться?

Та рассказала все, что знала, и король дал тут же торжественную клятву отомстить за все крысе и всей ее родне.

Государственный тайный совет, созванный для совещания, предложил немедленно начать против крысы процесс, конфисковав предварительно ее имущество; но король, главным образом боявшийся, как бы крыса во время процесса не продолжала поедать сало, решил поручить все это дело придворному часовщику и механику. Человек этот, которого звали, также как и меня, Христианом Элиасом Дроссельмейером, обещал очень искусным способом изгнать крысу со всем ее семейством навсегда из пределов королевского дворца.

Он выдумал маленькие машинки, в которые положил для приманки по кусочку сала, и расставил их около крысиной норы.

Сама крыса была слишком умна, чтобы не догадаться, в чем тут было дело, но для жадной семьи мудрые ее предостережения остались напрасными, и, привлеченные вкусным запахом сала, все ее семь сыновей, а также многие из прочих родственников, попались в машинки механика Дроссельмейера и были внезапно захлопнуты опускающимися дверцами в ту самую минуту, когда собирались полакомиться салом. Пойманных немедленно казнили в той же кухне.

Старая крыса покинула место скорби и плача со всем своим оставшимся двором, пылая горем, отчаянием и жаждой мести.

Король и придворные ликовали, но королева очень беспокоилась, зная, что крыса не оставит неотомщенной смерть своих сыновей и родственников. И действительно, раз, когда королева готовила своему супругу очень любимый им соус из потрохов, крыса вдруг выскочила из-под пола и сказала:

-- Мои сыновья и родственники убиты! Смотри, королева, чтоб я за это не перекусила пополам твою дочку Пирлипат! Берегись!

С этими словами она исчезла и уже больше не показывалась, а испуганная до смерти королева опрокинула в огонь всю кастрюльку с соусом, так что крыса испортила во второй раз, к великому гневу короля, его любимое блюдо.

-- Но, впрочем, на сегодня довольно; конец расскажу в другой раз, -- неожиданно закончил крестный.

Как ни просила Маша, в головке которой рассказ крестного оставил совершенно особенное впечатление, продолжить начатую сказку, крестный остался неумолим и, вскочив с места, повторил: "Много сразу -- вредно для здоровья! Продолжение завтра".

С этими словами он хотел направиться к двери, но Фриц, поймав его за фалды, закричал:

-- Крестный, крестный! Это правда, что ты выдумал мышеловки?

-- Какой вздор ты городишь, Фриц! -- сказала мама, но советник, засмеявшись каким-то особенно странным смехом, тихо сказал:

-- Ведь ты знаешь, какой я искусный часовщик; так почему же мне не выдумать

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ О КРЕПКОМ ОРЕХЕ

-- Теперь вы знаете, дети, -- начал так советник Дроссельмейер на другой день вечером, -- почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе. Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу. Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной, предусмотрительной крысы, и придворный астроном, носивший титул тайного обер-звездочета, объявил, что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со своей семьей мог спасти принцессу и отвадить Мышильду от колыбельки. Поэтому-то каждая из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей кота Мура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности, причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности.

Как-то ночью случилось, что одна из двух обер-гофнянек, сидевшая у самой колыбели, незаметно вздремнула, а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась -- тишина! Ни шороха, ни мурлыканья! И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же был ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса и прямо глядела на нее своими противными глазами! С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе, но Мышильда (это была она) успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут то было! Она исчезла в щели в полу. Принцесса между тем проснулась от шума и громко расплакалась.

-- Слава Богу, она жива! -- воскликнули няни; но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком! Вместо белой, с розовыми щечками, кудрявой головки, на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная, уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара, а рот раздвинулся до ушей!

Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головой, крича:

-- О, несчастный я монарх!

Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мышильду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в

голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика Христиана Элиаса Дроссельмейера из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейер в течение четырех недель во что бы то ни стало вылечил принцессу или, по крайней мере, указал верное к тому средство; в противном же случае объявил, что ему будет отрублена голова.

Дроссельмейер не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ей ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение, и, к крайнему прискорбию, пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошеет, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг.

Наступила среда четвертой недели, и король, гневно сверкая глазами и потрясая скипетром, воскликнул:

-- Христиан Дроссельмейер! Или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!

Дроссельмейер горько заплакал, а принцесса то и дело щелкала орехи. Тут в первый раз запала Дроссельмейеру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она без умолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами.

-- О святой инстинкт природы! -- воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер. -- О неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны! Я постучу -- и тайна откроется!

Он тотчас же просил позволения переговорить с придворным астрономом, и был сведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями, а затем, запершись в уединенном кабинете, начали рыться в груди книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях и многих тому подобных, премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмейера гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого, упорного труда, оба с восторгом прочли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех Кракатук и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко.

Орех Кракатук имел такую твердую скорлупу, что ее не могло бы пробить сорокавосемифунтовое пушечное ядро. Мало того -- этот орех

должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапогов. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха с зажмуренными глазами, а затем отступить семь шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза.

Три дня и три ночи кряду работали Дроссельмейер с астрономом для составления этого гороскопа, и наконец в субботу во время обеда, как раз накануне того дня, когда Дроссельмейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял, обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два праздничных кафтана.

-- Сейчас же после обеда, -- сказал он, -- мы испытаем это средство; позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы, да, главное, не давайте ему вина, чтоб он не споткнулся, когда будет пятиться задом положенные семь шагов; потом пусть пьет вволю!

Дроссельмейер похолодел при этих словах короля и не без трепета осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех Кракатук и маленького человечка предстояло еще отыскать, и что он, сверх того, сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясая скипетром над своей венчанной головой, закричал, как лев:

-- Так прощайся же со своей головой!

На счастье Дроссельмейера, король хорошо пообедал в этот день и потому был расположен склонять милостивое ухо к разумным доводам, которые не преминула ему представить добрая, тронутая участием Дроссельмейера королева. Дроссельмейер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им, а потому он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король, хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба -- часовщик и звездочет -- немедленно отправятся на поиски ореха Кракатука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявление для желающих сделать это во всех, выходящих в государстве газетах и ведомостях...

Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечером.

КОНЕЦ СКАЗКИ О КРЕПКОМ ОРЕХЕ

На следующий день, едва зажглись свечи, явился крестный, и стал рассказывать далее:

-- Дроссельмейер вместе с придворным астрономом странствовали уже около шестнадцати лет и все-таки никак не могли напасть даже на след ореха Кракатука. Какие страны они посетили, какие диковинки видел -- этого, любезные дети, мне не пересказать вам в течение целых четырех недель, а потому я не стану этого делать, а сообщу вам только, что под конец путешествия Дроссельмейер очень стосковался по своему родному городу Нюрнбергу. Непреодолимое желание увидеть его вновь зародилось в нем с особенной силой в каком-то дремучем лесу в Азии, где они блуждали с другом и остановились выкурить трубочку превосходного кнастера.

"О мой милый, родной Нюрнберг! -- воскликнул он. -- Какие бы города ни посетил путешественник -- Лондон, Париж, Петервардейн, но, увидя тебя в первый раз, с твоими чудесными домами и окнами, он позабудет их все!"

Пока Дроссельмейер так жалобно вспоминал Нюрнберг, астроном, глядя на него, разревелся уже не на шутку и рыдал так громко, что голос его далеко разнесся по всей Азии. Скоро, однако, собрался он вновь с силами, отер слезы и сказал:

-- Послушай, любезный друг! Какая нам польза от того, что мы тут сидим и плачем? Знаешь что! Отправимся в Нюрнберг! Ведь нам решительно все равно, где искать этот проклятый орех Кракатук.

-- А что, ведь и в самом деле! -- ответил, развеселившись, Дроссельмейер.

Оба встали, набили трубки и, определив сторону, в которой был Нюрнберг, относительно того места в Азии, где они находились, отправились туда по совершенно прямой линии. Достигнув цели путешествия, Дроссельмейер немедленно отыскал своего родственника, игрушечного мастера и позолотчика Кристофа Захарию Дроссельмейера, с которым не виделся очень много лет. Игрушечный мастер очень удивился, когда Дроссельмейер рассказал ему всю историю принцессы Пирлипат, крысы Мышильды и ореха Кракатука, и, слушая, он несколько раз всплескивал руками и все повторял:

-- Ну, любезный братец, чудеса так чудеса!

Дроссельмейер рассказал ему о некоторых из своих приключений во время долгого странствования, рассказал, как он два года прожил у Финикового короля, как нехорошо обошлись с ним принцы Миндального государства, как напрасно собирал он сведения об орехе Кракатуке во всевозможных ученых обществах и как ему никоим образом не удалось напасть даже на его след. Во время его рассказов Кристоф Захария беспрестанно прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, причмокивал губами и приговаривал:

-- Гм, гм! Эге! Вот оно как!

Наконец, стащив с себя парик, радостно подбросил он его кверху, а затем, обняв Дроссельмейера, воскликнул:

-- Ну, братец! Ведь ты счастливец! Верь мне! Послушай, или я жестоко ошибаюсь, или орех Кракатук у меня!

С этими словами он вынул из маленького ящика небольшой, позолоченный орех средней величины и, показывая его своему родственнику, рассказал следующее.

-- Несколько лет тому назад пришел сюда в рождественский сочельник незнакомый человек и предложил дешево купить у него мешок орехов. Как раз перед дверью моей игрушечной лавки он поссорился с нашим лавочником, который не хотел терпеть чужого торговца. Незнакомец, желая удобнее действовать в случае нападения лавочника, спустил мешок со своей спины на землю, но тут проезжала мимо тяжело нагруженная фура и, переехав через мешок, раздавила решительно все орехи кроме одного, который хозяин, странно улыбаясь, предложил мне купить за цванцигер 1720 года. Замечательно, что, опустив руку в карман, я нашел в нем именно такой цванцигер, какой желал иметь этот человек. Купив орех, я, сам не зная зачем, велел его позолотить и удивлялся только тому, что решился заплатить за него так дорого.

Сомнение в том, точно ли это орех Кракатук, было немедленно разрешено астрономом, который, соскоблив позолоту, прочитал на ободке ореха ясно написанное китайскими буквами слово "Кракатук".

Можно себе было представить радость путешественников! Игрушечный мастер считал себя самым счастливым человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что, кроме пожизненной пенсии, ему будет возвращено даже все золото, использованное им на позолоту ореха. Оба, и часовщик и астроном, уже надели ночные колпаки, чтобы отправиться спать, как вдруг последний сказал:

-- Знаешь что, любезный друг? Ведь счастье никогда не приходит одно. Мне кажется, мы нашли не только орех Кракатук, но и маленького человечка, который должен его раскусить; и это не кто иной, как сын нашего почтенного хозяина! Я не могу думать о сне и немедленно займусь составлением его гороскопа!

С этими словами он снял свой колпак и тотчас принялся наблюдать за звездами.

Сын игрушечного мастера был пригожий юноша, который, действительно, еще ни разу не брился и ни разу не надевал сапог. В ранней молодости он, два Рождества кряду, исполнял роль паяца, но следов от этого занятия в нем не заметил бы никто: так искусно с тех пор воспитывал его отец. К Рождеству одевали его в красивый красный, вышитый золотом кафтан со шляпой, прицепляли шпагу и завивали волосы. В таком наряде стоял он в лавке своего отца и с необыкновенной любезностью щелкал маленьким девочкам орехи, за что они его и прозвали Щелкунчиком. На следующее утро астроном с восторгом обнял часовщика и воскликнул:

-- Это он! Он! Мы его нашли! Только прошу тебя, помни следующее: во-первых, надо будет приделать твоему племяннику сзади крепкую деревянную косу и соединить ее, с помощью пружин, с его подбородком, чтобы придать его зубам большую крепость. А во-вторых, приехав в столицу, мы отнюдь не должны рассказывать, что привезли с собой человечка, который должен разгрызть орехи. Он должен явиться позже, потому что я прочитал в его гороскопе, что король после того, как некоторые обломают себе зубы, объявит, что тому, кто разгрызет орех Кракатук, он даст принцессу Пирлипат в жены и сделает наследником престола.

Игрушечный мастер был в восторге, что сын его может жениться на принцессе Пирлипат и сделаться королем, почему и отпустил его охотно с часовщиком и звездочетом. Деревянная коса, которую приделал часовщик своему племяннику, действовала превосходно, так что он без малейшего труда мог раскусывать самые твердые персиковые ядрышки.

Едва в столице распространился слух о возвращении Дроссельмейера с астрономом, как тотчас же были сделаны необходимые приготовления, и оба путешественника, явившиеся ко двору с привезенными ими лекарством, нашли там множество желающих попробовать раскусить орех и вылечить принцессу, среди них было даже несколько принцев.

Оба с немалым испугом увидели принцессу вновь. Ее маленькое тело с крошечными, тощими ручонками едва держало огромную, уродливую голову. Безобразие ее лица еще более увеличилось из-за белой, точно нитяной, бороды, которой обросли ее губы и подбородок.

Дальше все произошло именно так, как предсказал по гороскопу звездочет. Молокососы в башмаках один за другим напрасно пытались разгрызть орех, но только переломали себе зубы и испортили челюсти, а принцессе ничуть не полегчало. Каждый, кого выносили, был почти без памяти; зубные врачи только приговаривали:

-- Ну! Вот так орех!

Наконец, когда сокрушаемый горем король объявил, что отдаст счастливцу, который раскусит орех, свою дочь в супруги и сделает своим наследником, скромно явился ко двору молодой Дроссельмейер и попросил позволения сделать попытку.

Этот юноша понравился принцессе больше всех остальных, так что она даже положила на сердце свою маленькую ручку и сказала, вздохнув:

-- Ах, если бы он раскусил орех и стал моим мужем!

Поклонившись учтиво королю, королеве и принцессе, молодой Дроссельмейер взял из рук обер-церемониймейстера Кракатук, положил его, не долго думая, в рот, крепко стиснул зубы и раздалось -- крак! Скорлупка разлетелась вдребезги. Ловко очистил он ядро от

кожицы и, преклонив верноподданнически колени, он подал его принцессе, а затем, закрыв глаза, начал пятиться. Принцесса мигом проглотила ядро, и вдруг -- о чудо! -- уродец исчез, а на его месте оказалась прелестная молодая девушка. Щеки ее опять стали похожи на лилию, с приставшим к ней розовыми лепестками, глаза засверкали, точно голубые звездочки, а волосы завились прелестными золотыми колечками.

Громкий звук труб и гобоев смешался с радостным криком народа. Король и придворные опять начали прыгать на одной ножке, как и при рождении царевны, а на королеву пришлось даже вылить целый флакон одеколона, потому что ей от радости сделалось дурно.

Разволновавшаяся толпа чуть было не сбила с ног молодого Дроссельмейера, которому еще было положено пятиться семь шагов; однако он не споткнулся и уже занес было ногу, чтобы ступить в седьмой раз, как вдруг из-под пола с громким свистом и шипением поднялась голова седой крысы; молодой Дроссельмейер, опуская ногу, больно придавил ее каблуком и в одну минуту превратился в такого же уродца, каким была до того принцесса. Туловище его съежилось, голова раздулась, глаза вытаращились, а вместо косы повис за спиной тяжелый деревянный плащ.

Часовщик и астроном не могли прийти в себя от ужаса, но, однако, они заметили, что и крыса, вся в крови, лежала без движения на полу. Злость ее не осталась без наказания, так как каблук молодого Дроссельмейера крепко ударил ее по шее, и ей пришел конец.

Но, охваченная предсмертными муками, она собрала последние силы и прошептала:

-- Орех Кракатук! Сгубил меня ты вдруг! Хи-хи! Пи-пи! Но умру я не одна! Щелкунчик-хитрец, и тебе придет конец! Сынок с семью головами отомстит тебе со своими мышами! Ох, тяжело, тяжело дышать! Пришла пора умирать! Пик!

С этими словами крыса умерла, и труп ее был тотчас убран из зала придворным истопником. О молодом Дроссельмейере между тем, казалось, все позабыли, но принцесса сама напомнила королю о его обещании и приказала привести своего избавителя. Но едва она его увидела, как в ужасе закрыла лицо руками и закричала:

-- Прочь, прочь гадкий Щелкунчик!

Гофмаршал тотчас же схватил его за воротник и выбросил вон за двери.

Король, рассердившись, что ему хотели навязать в зятя такого уродца, свалил всю вину на часовщика с астрономом и приказал немедленно выслать их обоих навсегда из столицы. Так как это обстоятельство не было предусмотрено гороскопом, составленным в Нюрнберге, то астроном принялся снова за наблюдения и прочел по звездам, что молодой Дроссельмейер, несмотря на свое безобразие, все-таки будет

принцем и королем. Уродство же его исчезнет только в том случае, если ему удастся убить сына крысы Мышильды, родившегося после смерти ее семи сыновей с семью головами и ставшего мышинным королем, и если прекрасная юная дама полюбит Щелкунчика, несмотря на его безобразие. Вследствие этого Щелкунчика опять выставили к Рождеству в лавке его отца, но обходились уже с ним почтительно, как с принцем!

Вот вам, дети, сказка о крепком орехе! Теперь вы знаете, почему люди говорят, что не всякий орех по зубам, а также, почему Щелкунчики бывают такие уроды!

Так кончил советник свою сказку. Мари подумала про себя, что Пирлипат -- недобрая и неблагодарная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и в правду храбрец, то он сумеет управиться с мышинным королем и возвратит себе свою прежнюю красоту.

ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

Если какому-нибудь из моих любезных читателей или слушателей случалось когда-нибудь порезаться стеклом, то он, без сомнения, помнит, как это бывает больно и как медленно заживают подобные раны. Так и Мари должна была провести целую неделю в постели, потому что при всякой попытке встать, у нее начинала кружиться голова. Наконец она выздоровела и опять могла по прежнему бегать и прыгать по комнате.

В стеклянном шкафу нашла она все в полном порядке и чистоте. Деревья, цветы, домики, куклы стояли чинно и мило. Но всего более обрадовалась Мари своему милому Щелкунчику, стоявшему на второй полке с совершенно новыми, крепкими зубами и весело улыбавшемуся ей. Увидев своего друга, Мари задумалась. Ей пришла в голову мысль, что уж не с ее ли Щелкунчиком случилось все то, о чем рассказывал крестный в своей сказке о ссоре Щелкунчика с мышинным королем? Рассуждая далее, она пришла к выводу, что Щелкунчик ее не кто иной, как молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, заколдованный крысой Мышильдой, племянник крестного Дроссельмейера.

О том, что искусным часовщиком при дворе отца принцессы Пирлипат был сам советник Дроссельмейер, Мари не сомневалась ни одной минуты уже во время самого рассказа. "Но почему же не помог тебе твой дядя?" -- сокрушалась Мари, припоминая подробности виденной ею битвы, в которой Щелкунчик, как оказалось, дрался за свою корону и царство. "Если, -- думала Мари, -- все куклы называли тогда себя его подданными, то значит, пророчество придворного астронома исполнилось, и молодой Дроссельмейер точно стал принцем кукольного царства".

Рассуждая так, умненькая Маша заключила, что если Щелкунчик и его вассалы живы, то они должны шевелиться и уметь двигаться, но в шкафу все было тихо и неподвижно. Тогда Мари, далекая от мысли расстаться со своим внутренним убеждением, приписала это просто влиянию колдовства седой крысы и ее семиголового сына.

-- Во всяком случае, мой милый господин Дроссельмейер, -- говорила она, обращаясь к Щелкунчику, -- если вы не можете двигаться и говорить со мной, то, наверное, слышите меня и хорошо знаете, что можете во всем рассчитывать на мою помощь. Я попрошу и вашего дядю помогать вам, когда это будет нужно.

Щелкунчик остался недвижим, но Мари показалось, что в шкафу будто кто-то тихонько вздохнул, так что стекла, неплотно вставленные в раму, чуть-чуть задребезжали, и в то же время кто-то проговорил тоненьким голоском, похожим на серебряный колокольчик: "Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук -- я буду твой!"

Мари испугалась, но и почувствовала какое-то необыкновенно приятное чувство.

Наступили сумерки. Советник медицины вернулся домой вместе с крестным; Луиза разлила чай, и все семейство уселось за круглым столом, весело разговаривая. Мари потихоньку придвинула свой высокий стульчик к тому месту, где сидел крестный, и уселась возле него. Улучив минутку, когда все замолчали, Мари посмотрела пристально на крестного своими большими, голубыми глазами и сказала:

-- Крестный! А ведь я знаю, что мой Щелкунчик -- это молодой Дроссельмейер, твой племянник из Нюрнберга, и что он стал принцем и королем, как предсказал твой друг звездочет. Ты ведь тоже знаешь, что он воюет с мышинным королем, сыном крысы Мышильды; почему же ты ему не помогаешь?

При этом Мари снова подробно рассказала историю виденного ею сражения, прерываемая громким смехом мамы и Луизы. Только Дроссельмейер и Фриц остались серьезны.

-- Откуда эта девочка набралась такого вздора? -- сказал советник медицины.

-- У нее очень живая фантазия, -- ответила мама, -- и все это не более чем горячечный бред.

-- Да притом это неправда, -- закричал Фриц, -- мои красные гусары не такие трусы, чтобы убежать с поля сражения! Не то я бы им показал!

Крестный между тем ласково улыбаясь, взял Мари на колени и сказал, глядя ее по головке:

-- Не слушай их, моя маленькая Мари! Тебе Бог дал больше, чем всем нам! Ты, как моя Пирлипатхен в сказке, родилась принцессой и умеешь править в чудесном, прекрасном королевстве, что же касается твоего

Щелкунчика, то тебе придется перенести из-за него немало горя: мышинный король преследует его везде; не я, а ты одна можешь его спасти, будь только стойкой и преданной!

Ни Мари, ни кто-либо из присутствующих не могли догадаться, что хотел крестный сказать этими словами, а советнику медицины речь эта показалась до того странной, что он даже пощупал у крестного пульс и сказал:

-- Эге, любезный друг, да у вас, кажется, прилив крови к голове, я вам что-нибудь пропишу.

Только советница в раздумьи покачала головой и тихо сказала: -- Я, кажется, догадываюсь, что он хочет сказать, но только не могу этого выразить словами.

ПОБЕДА

Через несколько дней Мари была вдруг разбужена ночью каким-то шумом, доносившимся из угла комнаты, где она спала. Казалось, будто кто-то бросал и катал маленькие шарики по полу и при этом громко пищал.

-- Ах, мыши! Это опять мыши! -- с испугом вскрикнула Мари и хотела уже разбудить свою маму, но голос ее прервался на полуслове, а холод пробежал по жилам, когда она вдруг увидела, что мышинный король, выскочив со своими семью коронами из-под пола, вспрыгнул разом на маленький круглый столик, стоявший возле постели Мари, и, уставясь на нее, запищал, щелкая гадкими зубами:

-- Хи! Хи! Хи! Если не отдашь мне все твои конфеты и марципаны, то я перекушу пополам твоего Щелкунчика! -- и сказав это, опять исчез в своей норе.

Мари так испугалась, что была бледна после того целый день и едва могла говорить. Несколько раз готова она была рассказать свое приключение маме, Луизе и Фрицу, но каждый раз останавливалась при мысли, что ей не поверят и будут смеяться. Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щелкунчика надо было расстаться и с конфетами, и с марципанами, и потому все, что у нее было, положила она вечером потихоньку на пол возле шкафа. На другой день утром мама сказала:

-- Какая неприятность, у нас опять завелись мыши! Сегодня ночью они съели у бедной Мари все ее конфеты.

Так оно и было. Жадный мышинный царь, съев конфеты, оставил только марципан, не найдя его, должно быть, по своему вкусу, но все-таки до того его изгрыз, что остатки все равно пришлось выбросить. Добрая Мари не только не жалела конфет, но в душе даже радовалась, что спасла тем своего Щелкунчика. Но что почувствовала она, когда услышала на следующую ночь опять возле своей подушки знакомый,

пронзительный свист! Мышиный царь сидел снова на столике, и, сверкая глазами еще отвратительнее, чем в прежнюю ночь, пищал сквозь зубы:

-- Отдай мне твоих сахарных и пряничных кукол, или я разгрызу пополам твоего Щелкунчика! Разгрызу, разгрызу!

Сказав это, он опять исчез под полом.

Мари была очень огорчена, когда, подойдя на другой день к шкафу, увидела своих сахарных и пряничных куколок. Горе ее было совершенно понятно, потому что вряд ли когда-нибудь видела ты, моя маленькая слушательница Мари, таких прелестных сахарных и пряничных кукол, какие были у Мари Штальбаум. Тут были и пастух с пастушком и целое стадо белоснежных барашков, и весело прыгавшая вокруг них собака, были два почтальона с письмами да кроме того четыре пары красиво одетых мальчиков и девочек, танцевавших русский танец; был Пахтер Фельдкюммель с Орлеанскою Девой, которые, впрочем, не особенно нравились Маше; всех же более любила она маленького, краснощекого ребенка в колыбельке. Слезы полились из ее глаз, когда она увидела любимую куколку, но, впрочем, тотчас же, обратясь к Щелкунчику, сказала:

-- Ах, мой милый господин Дроссельмейер! Поверьте, я пожертвую всем, чтобы вас спасти, но все-таки мне очень, очень тяжело!

Щелкунчик, слушая, глядел так печально, что Мари, вспомнив мышиного царя, с его оскаленными зубами, готового перекусить Щелкунчика пополам, мигом забыла все и твердо решила спасти своего друга. Всех своих сахарных куколок положила она вечером на пол возле шкапа, как вчера конфеты, но прежде перецеловала пастушка, пастушку, всех барашков, вынула, наконец, своего любимца, поставив его в самый задний ряд, а Фельдкюммеля с Орлеанской Девой -- в первый.

-- Нет, это уже слишком! -- воскликнула на другой день советница, -- у нас завелась какая-то прожорливая мышь в стеклянном шкафу! Представьте, что все сахарные куколочки бедной Мари изгрызены и перекусаны на куски!

Мари чуть было не заплакала, но, вспомнив, что спасла Щелкунчика, даже улыбнулась сквозь слезы. Когда вечером советница рассказала об этом крестному Дроссельмейеру, отец Мари очень был недоволен и сказал:

-- Неужели нет никакого средства извести эту гадкую мышь, которая поедает у моей бедной Мари все ее сласти!

-- Ну как не быть? -- весело воскликнул Фриц. -- Внизу у булочника есть отличный серый кот; надо его взять к нам наверх, а он уж отлично обделает дело, будь даже эта скверная мышь сама крыса Мышильда или сын ее, мышиный король!

-- Да, -- прибавила мама, смеясь, -- а заодно начнет прыгать по стульям, столам и перебьет всю посуду и чашки.

-- О нет! -- возразил Фриц. -- Это очень ловкий кот; я бы хотел сам уметь так лазать по крышам, как он.

-- Нет уж, пожалуйста, нельзя ли обойтись ночью без кошек, -- сказала Луиза, которая их очень не любила.

-- Я думаю, -- сказал советник, -- что Фриц прав, а пока можно будет поставить и мышеловку; ведь у нас она есть?

-- Что за беда, если и нет, -- закричал Фриц, -- крестный тотчас сделает новую! Ведь он же их выдумал!

Все засмеялись, когда же советница сказала, что у них в самом деле нет мышеловок, крестный объявил, что у него в доме их много, и тотчас велел принести одну, отлично сделанную.

Сказка о крепком орехе постоянно занимала все мысли Мари и Фрица. Когда кухарка начала жарить сало, Мари не могла смотреть на нее без страха, и, полная воспоминаниями о странных, слышанных ею вещах, она сказала однажды дрожащим голосом:

-- Ах, королева, королева! Берегитесь седой крысы и ее семейства!

Фриц же тотчас выхватил саблю и закричал:

-- А ну-ка, ну-ка! Пусть они явятся! Я им покажу!

Но все оставалось спокойно и в кухне, и под полом. Советник между тем положил в мышеловку кусочек сала, приподнял захлопывавшуюся дверцу и осторожно поставил ее возле шкафа. Фриц, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать:

-- Ну смотри, крестный-часовщик! Не попадись сам! Мышиный король шуток не любит!

Тяжело пришлось бедной Мари на следующую ночь. Противный мышиный король был до того дерзок, что вскочил в этот раз ей на самое плечо и, высунув со скрежетом семь кроваво-красных языков, шипел в самое ухо до смерти перепуганной, дрожащей Мари:

-- Хитри, хитри! В оба смотри! Я ведь ловок! Не боюсь мышеловок! Подавай твои картинки, платице и ботинки! А не то -- ам, ам! Щелкунчика пополам! Хи, хи! Пи, пи, квик, квик!

Можно себе представить горе Мари! Она даже побледнела и чуть не расплакалась, когда на другой день утром мама сказала, что злая мышь еще не поймана, но, решив, что Мари печалится о своих конфетах и боится мышей, прибавила:

-- Полно, успокойся, милая Мари! Поверь, что мы прогоним всех мышей. Если не помогут мышеловки, то Фриц достанет нам своего кота.

Едва Мари осталась одна в комнате, как тотчас же подошла, плача, к шкафу и сказала:

-- Ах, мой добрый господин Дроссельмейер! Что могу сделать для вас я, бедная, маленькая девочка? Если я даже отдам гадкому мышиному

королю все мои книжки с картинками и мое хорошенькое новое платье, которое мне подарили к Рождеству, то он потребует что-нибудь еще, а у меня больше нет ничего, и он, пожалуй, захочет перекусить вместо вас меня! О бедная, бедная я девочка! Что же мне делать, что мне делать?

Так плача и жалуясь, Мари заметила, что у Щелкунчика с прошлой ночи появился на шее красный, кровавый рубец, как после раны. Она вообще-то с тех пор, как узнала, что Щелкунчик был племянником крестного Дроссельмейера, почему-то стеснялась брать его на руки и целовать как прежде, но теперь взяла с полки и стала бережно оттирать кровавое пятно платком. Но как оторопела и изумилась Мари, почувствовав, что Щелкунчик вдруг в ее руках потеплел и зашевелился. Быстро поставила она его вновь на полку и увидела, что губы Щелкунчика вдруг задвигались, и он внезапно проговорил тоненьким голоском:

-- Ах, моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Милый, единственный друг мой! Нет, не приносите в жертву ради меня ни ваших книжек с картинками, ни платьев! Достаньте мне саблю, только саблю!.. А об остальном уж позабочусь я сам!

На этих словах Щелкунчик замолк, и оживившиеся глаза его приняли прежнее, деревянное и безжизненное выражение. Мари не только не испугалась, но, напротив, почувствовала невыразимую радость, услышав, что может спасти своего друга без дальнейших тяжелых жертв. Но где было достать ей саблю для маленького героя?

Мари решила посоветоваться с Фрицем, и вечером, когда родители ушли, и они остались вдвоем возле шкафа, рассказала ему все, что происходило между мышинным королем и Щелкунчиком, а также и о средстве, каким можно было его спасти.

Фриц стал очень серьезен, когда услышал от сестры, какими трусами оказались в сражении его гусары. Он даже потребовал, чтобы она дала ему честное слово, что это было действительно так, и когда она это исполнила, он подошел к шкафу и обратился к ним с очень грозной речью, закончив тем, что собственными руками сорвал с их шапок в наказание за трусость кокарды и запретил им в течение года играть их военный, походный марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился снова к Мари и сказал:

-- Что касается сабли, то я могу помочь твоему Щелкунчику; вчера я уволил в отставку с пенсией одного старого кирасирского полковника, а потому его прекрасная, острая сабля больше ему не нужна.

Отставной полковник проживал на пожалованную ему Фрицем пенсию в углу, на третьей полке шкафа; его вытащили оттуда, отвязали его прекрасную саблю и отдали ее Щелкунчику.

Всю следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от страха. Ровно в полночь в комнате, где стоял шкаф, началась такая суматоха, какой

еще никогда не бывало, и сквозь этот страшный гвалт вдруг раздался знакомый уже Мари резкий пронзительный писк.

-- Мышиный король! Мышиный король! -- воскликнула Мари и в ужасе вскочила со своей кровати, но тут шум мгновенно утих, и вместо этого кто-то осторожно постучал в дверь ее комнаты, сказав тоненьким голоском:

-- Успокойтесь, милая фрейлейн Штальбаум, у меня хорошие вести!

Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула на себя платице и отворила дверь. Щелкунчик стоял перед ней с окровавленной саблей в правой и с маленькой, зажженной восковой свечкой в левой руке. Увидав Мари, он встал на одно колено и воскликнул:

-- О дама моего сердца! Вы дали мне силу и вдохновили меня для победы над тем, кто осмеливался вас оскорбить! Мышиный король, смертельно раненный, купается в собственной крови. Не откажите принять из рук преданного вам до гроба рыцаря трофеи его победы!

С этими словами Щелкунчик ловко стряхнул с левой руки, надетые им, как браслеты, семь корон мышиного короля и подал их Мари, радостно принявшей этот подарок.

-- Теперь, когда враг мой повержен, -- продолжал Щелкунчик, -- я покажу вам, дорогая фрейлейн Штальбаум, такие диковинные вещи, каких никогда не видали вы; решитесь только последовать за мною; решитесь, прошу вас! Не бойтесь ничего!

КУКОЛЬНОЕ ЦАРСТВО

Я думаю, дети, никто из вас ни минуты не колебался бы, пойти ли за добрым, милым Щелкунчиком, который уж, конечно, не имел ничего плохого на уме. Мари готова была на это тем охотнее, что могла рассчитывать на величайшую благодарность Щелкунчика, и была твердо уверена, что он сдержит слово и действительно покажет ей много диковинок. Потому она и сказала:

-- Я согласна идти с вами, господин Дроссельмейер, но только если это будет не очень далеко и не очень долго, потому что, признаться, я еще не выспалась.

-- Ну, в таком случае, -- возразил Щелкунчик, -- я выберу самую короткую, хотя я не совсем удобную дорогу.

Он пошел вперед, а Мари за ним, пока наконец оба не остановились пред большим платяным шкафом, стоявшим в столовой. Мари очень удивилась, когда увидела, что двери этого, бывшего всегда запертым шкафа, были отворены настежь, и она ясно могла видеть висевшую папину дорожную лисью шубу. Щелкунчик ловко взобрался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть, болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Едва он ее дернул, как по шубе вниз

спустилась сквозь рукав изящная, сделанная из кедрового дерева лестница.

-- Взойдите по этой лестнице, милая Мари, -- крикнул Щелкунчик сверху.

Мари стала взбираться, но едва она пролезла сквозь рукав и достигла воротника, как увидела, что ее внезапно озарил какой-то легкий приятный свет, и она очутилась стоящей на пролестном, вкусно пахнувшем лугу, усыпанном, как ей показалось, миллионами ярко сиявших, драгоценных камней.

-- Мы на Леденцовом лугу, -- сказал Щелкунчик, -- и сейчас пройдем вон через те ворота.

Тут только Мари заметила чудесные ворота, стоявшие на том же лугу в нескольких шагах от нее. Они, казалось, были сложены из мрамора, белого, шоколадного и розового цветов, но, подойдя ближе, Мари увидела, что это был не мрамор, а обсахаренный миндаль с изюмом, потому, как объяснил Щелкунчик, и сами ворота назывались Миндально-Изюмными. Простой же народ, довольно неучтиво, называл их воротами обжор-студентов. На одной из боковых галерей ворот, сделанной, вероятно, из ячменного сахара, сидели шесть маленьких, одетых в красные курточки обезьян и играли янычарский марш, так что Мари, сама того не замечая, шла под музыку все дальше и дальше по мраморному, прекрасно сделанному из разноцветных леденцов полу.

Скоро в воздухе повеяли прекрасные ароматы, несшиеся из чудесного лежавшего по обе стороны дороги леска. На фоне его темной зелени сверкали светлые точки, и, подойдя ближе, можно было ясно видеть золотые и серебряные яблоки, висевшие на ветвях, украшенных бантами из разноцветных лент, какие бывают у женихов или съехавшихся на свадьбу гостей. Когда же легкий ветерок, разносивший чудный апельсиновый запах, колебал ветки деревьев, то золотые и серебряные плоды, касаясь один другого, звенели, точно хрустальные колокольчики, и вместе с тем так и мелькали в глазах, как сверкающие огоньки.

-- Ах, как здесь хорошо! -- воскликнула восхищенная Мари.

-- Мы в лесу Детских рождественских подарков, -- сказал Щелкунчик.

-- О погодите же, не идите очень скоро, здесь так хорошо, -- продолжала Мари.

Щелкунчик остановился, хлопнул в ладони, и сейчас же вышли им навстречу маленькие пастухи и пастушки, охотники, такие белые и нежные на вид, что, казалось, они были сделаны из чистого сахара. Мари только сейчас их заметила, хотя они давно уже гуляли в лесу. Они принесли прекрасное золотое кресло, положили на него мягкую шелковую подушку и любезно предложили Мари отдохнуть. Едва она

села, как пастухи и пастушки протанцевали перед ней прекрасный балет под музыку охотничьих рогов, и затем все скрылись в кустарниках.

-- Извините, милая фрейлен Штальбаум, если танец показался вам немножко однообразным, но это танцоры из нашего механического театра и могут танцевать всегда только одно и то же. Потому и охотники так сонно дули в свои рога; им досадно также, что они не могут достать повешенных слишком высоко на этих деревьях конфет. Но не угодно ли вам отправиться дальше?

-- Да что вы, балет был просто прелесть какой и мне очень понравился! -- сказала Мари, вставая с кресла и отправляясь вслед за Щелкунчиком.

Они пошли вдоль светлого, струившегося ручейка, который наполнял своим чудным благоуханием весь лес.

-- Это Апельсиновый ручей, -- ответил Щелкунчик на расспросы Мари, -- он, правда, очень хорошо пахнет, но по своей красоте не может сравниться с Лимонадной речкой, впадающей в Озеро миндального молока, которые мы сейчас увидим.

До слуха Мари в самом деле стали доноситься шум и журчание воды, и скоро увидела она широкий, лимонадный поток, кативший свои светлые, сверкавшие радужными переливами волны среди изумрудных кустов. Приятная, бодрящая грудь и дыхание прохлады веяла от прекрасных вод. Неподалеку лениво струился какой-то желтоватый, мутный ручеек с очень приятным запахом; на берегу его сидели красивые детки и удили маленьких, толстых рыбок, которых тут же съедали. Вглядевшись, Мари увидела, что рыбки эти очень походили на маленькие, круглые пряники. Неподалеку, на самом берегу ручейка, раскинулась очаровательная деревушка с домами, церквами, домом пастора, амбарами -- все темного цвета, но с позолоченными крышами, а на некоторых стенах, казалось, были лепные украшения из обсахаренных миндалей или лимонных цукатов.

-- Это деревня Медовых пряников, -- сказал Щелкунчик, -- и лежит она на берегу Медового ручья; жители ее очень хорошие люди, но сердитые, потому что вечно страдают от зубной боли. Лучше мы туда не пойдем.

В эту минуту глазам Мари открылся красивый городок с разноцветными и прозрачными домиками. Щелкунчик направился прямо к нему, и скоро до слуха Мари долетел веселый шум и гам уличного движения; сотни маленьких людей и повозок толкались и шумели на рыночной площади. Повозки были нагружены бумажками от конфет и шоколадными плитками. Толпа только что принялась их разгружать.

-- Мы в Конфетенхаузене, -- сказал Щелкунчик, -- куда сейчас прибыло посольство от шоколадного короля из Бумажного

королевства. Бедные жители и их дома недавно очень пострадали от нашествия жадных мух, вот почему они и возводят теперь укрепления из конфетных бумажек и шоколадных брусьев, которые им прислал в дар шоколадный король. Но, впрочем, нам не хватит времени посетить все города и деревни этой страны: в столицу! в столицу!

Щелкунчик быстро пошел вперед, а за ним полная любопытства Мари. Скоро в воздухе повеяло чудесным запахом роз, и все вокруг вдруг озарилось нежным, розовым сиянием. Мари увидела, что это был отблеск сверкавшей, как заря, водяной поверхности, по которой с тихим плеском катились серебристо-розовые волны, превращавшимися в сладостно-мелодичные звуки. На водной равнине, открывавшейся все более и более по мере того, как они к ней подходили, и оказавшейся целым озером, плавали серебряные лебеди, с золотыми ленточками на шее и пели веселые песенки, под звуки которых в розовых волнах танцевали и кружились бриллиантовые рыбки.

-- Ах, -- воскликнула в восторге Мари, -- это точно то озеро, которое обещал мне сделать крестный Дроссельмейер, а я та самая девочка, которая должна была кормить лебедей!

Щелкунчик, услышав это, засмеялся так насмешливо, как еще ни разу не смеялся, и сказал:

-- Ну нет! Крестному такой вещи не сделать! Скорее вы, милая мадемуазель Штальбаум... Да, впрочем, что нам об этом напрасно спорить, отправимся лучше по Розовому озеру в столицу.

СТОЛИЦА

Щелкунчик захлопал в ладони, и розовое море вдруг заволновалось сильнее прежнего; волны стали подниматься выше и выше, и Мари увидела приближавшуюся к ним сверкавшую, точно драгоценные камни, лодочку-раковину, в которую были впряжены два дельфина с золотой чешуей. Двенадцать прелестных маленьких арапчат, в шапочках и передниках, сделанных из радужных перышков колибри, выскочили из лодочки на берег и, подхватив Мари на руки, перенесли сначала ее, а потом и Щелкунчика, скользя по волнам, в лодочку, которая сейчас же повернула и понеслась по озеру.

Весело было Мари плыть по этим чудным, розовым волнам, обдававшим ее своим ароматом. Золоточешуйчатые дельфины, высунув из воды головы, высоко пускали вверх фонтаны розовой, кристальной воды, а брызги, падая обратно, сверкали всеми цветами радуги, сливая свое журчание с хором тоненьких голосков, которые слышались повсюду из волн: "Послушайте, скорее, скорее! -- навстречу хорошенькой фее! Мушки жужжите! Рыбки плывите! Лебеди песенки пойте! Волны кружитесь, играйте! -- Птички над нами летайте! Динь-динь-дон! Динь-динь-дон!"

Но песенка эта, по-видимому, очень не нравилась двенадцати маленьким арапчатам, сопровождавшим Мари; они так сильно стали махать над нею зонтиками из финиковых листьев, что чуть было их не переломали, и в то же время, топая ногами, старались перебить такт песенки, затянув свою: "Клип-клап! Клип-Клап! Не уступит вам арап! Рыбки прочь! Птички прочь! Клип-клап! Клип-клап!"

-- Арапчата -- веселый народ, -- сказал Щелкунчик, с некоторым беспокойством, -- но они у меня взбаламутят сейчас все море.

И в самом деле, голоса, так очаровательно певшие в волнах, умолкли, хотя Мари этого и не заметила, засмотревшись на розовые волны, из которых смотрели на нее прелестные, улыбающиеся лица.

-- Ах, -- радостно воскликнула она, всплеснув руками, -- посмотрите, милый господин Дроссельмейер! Ведь это принцесса Пирлипат смотрит на меня, весело улыбаясь! Посмотрите, посмотрите, прошу вас!

Щелкунчик печально вздохнул и сказал:

-- О моя дорогая фрейлейн Штальбаум! Это не принцесса Пирлипат, а вы, вы сами! Вы не узнали вашего милого личика, отражающегося в волнах!

Услышав это, Мари очень смутилась и, закрыв глаза, быстро отвернулась. В эту минуту маленькие мавры опять подхватили ее на руки и перенесли на берег. Открыв глаза, она увидела маленькую рощу, которая показалась ей еще лучше, чем лес Детских подарков; так чудно сверкали в ней листья и плоды на деревьях, разливая свой дивный тончайший аромат.

-- Мы в Цукатной роще, -- сказал Щелкунчик, -- а там лежит столица.

Боже! Что увидела Мари, взглянув в сторону, куда указывал Щелкунчик. Я даже не знаю, дети, как вам описать красоту и богатство города, широко раскинувшегося на усеянной цветами роскошной поляне. Он поражал не только удивительной игрой красок своих стен и домов, но и их причудливой формой, которую не сыскать на всем белом свете. Вместо крыш на домах красовались золотые короны, а башни были обвиты прелестными зелеными гирляндами.

Когда Мари с Щелкунчиком вошли в городские ворота, выстроенные из миндального печенья и обсахаренных фруктов, серебряные солдатики, стоявшие на часах, отдали им честь, а маленький человечек, одетый в пестрый халат, выбежав из дверей одного дома, бросился на шею Щелкунчику, восклицая:

-- Здравствуйте, здравствуйте, дорогой принц! Добро пожаловать в наш Конфетенбург!

Мари очень удивилась, услышав, что такой почтенный господин называл молодого Дроссельмейера принцем. В эту минуту до слуха ее стал доноситься шум и гам, звуки ликования и веселых песен;

удивленная Мари невольно обратилась к Щелкунчику с вопросом, что это значит.

-- О милая фрейлейн Штальбаум, -- ответил тот, -- в этом нет ничего удивительного; Конфетенбург богат, многолюден и очень любит развлекаться. Здесь каждый день веселье и шум. Но пойдемте, прошу вас, дальше.

Пройдя немного, они очутились на большой рыночной площади. Тут было на что посмотреть! Все окружающие дома были выстроены из разноцветного сахара и украшены сахарными галереями ажурной работы. А посередине площади возвышался высокий сладкий пирог в виде обелиска, окруженный четырьмя искусно сделанными бассейнами, из которых били фонтаны лимонада, оршада и других прохладительных напитков. Пена в бассейнах была из сбитых сливок, так что ее можно было сейчас же зачерпнуть ложкой. Но всего прелестнее были маленькие люди, сновавшие в разные стороны целыми толпами, с песнями, шутками, радостными восклицаниями, то есть со всем тем шумом, который еще издали так поразил Мари.

Тут были прекрасно одетые кавалеры и дамы, армяне, греки, евреи, тирольцы, офицеры, солдаты, пасторы, арлекины -- словом, всевозможный народ, какой только существует на свете. В одной части площади поднялся страшный гвалт: толпы людей собрались, чтобы поближе посмотреть, как несли в паланкине великого Могола, сопровождаемого девяносто тремя подвластными ему князьями и семьями невольниками, и надо же было случиться, что навстречу ему попало торжественное шествие цеха рыбаков, в количестве пятисот человек; да, кроме того, турецкий султан вздумал прогуляться по площадке с тремя тысячами янычар, к тому же туда же вмешалась религиозная процессия, певшая, с музыкой и звоном, торжественный гимн солнцу. Шум, гам и давка поднялись невообразимые! Раздались жалобные крики; один из рыбаков неосторожно отбил голову брамину, а великий Могол чуть не был сбит с ног арлекином. Свалка принимала все более и более опасный характер, и дело почти уже не доходило до драки, как вдруг человек в халате, приветствовавший Щелкунчика в воротах, быстро влез на обелиск, ударил три раза в колокол и громко три раза крикнул: "Кондитер! Кондитер! Кондитер!" Мигом все успокоилось; каждый кинулся спастись как мог; великий Могол вычистил испачканное платье, брамин снова надел свою голову, беспорядок утих, и прежнее веселье снова возобновилось.

-- Кто такой этот кондитер? -- спросила Мари.

-- Ах, милая фрейлин Штальбаум, -- отвечал Щелкунчик, -- кондитером здесь называют невидимую, но страшную силу; она может делать из людей все, что ей угодно. Это тот рок, который властвует над нашим маленьким, веселым народцем, и все так его боятся, что уже одно произнесенное его имя может унять народное волнение, как это

сейчас нам доказал господин бургомистр. Вспомнив кондитера, всякий из здешних жителей забывает все и невольно впадает в раздумье о том, что такое жизнь и что такое есть он сам!

В эту минуту Маша невольно воскликнула от восторга, внезапно заметив прелестный замок, весь освещенный розовым светом, с множеством легких, воздушных башенок. Стены были покрыты букетами прекраснейших фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, и их яркие краски восхитительно переливались на белых, подернутых розоватым оттенком стенах. Большой средний купол и пирамидальные крыши башенок были усеяны множеством золотых, сверкавших как жар, звездочек.

-- Мы перед Марципановым замком, -- сказал Щелкунчик.

Мари не могла глаз оторвать от этого волшебного дворца, однако она успела заметить, что на одной из главных башен недоставало крыши, которую достраивала сотня маленьких человечков, стоявших на помостах, сделанных из палочек корицы. Не успела она спросить об этом Щелкунчика, как он ответил сам:

-- Недавно этому прекрасному замку грозила очень большая опасность, или, лучше сказать, даже совершенная гибель; великан Лизогуб, проходя мимо, откусил крышу этой башни и уж хотел было приняться за купол, да жители успели его умиловить, поднеся ему, в виде выкупа, целый квартал города и часть конфетной рощи, которыми он позавтракал и отправился дальше.

В эту минуту послышались звуки тихой, нежной музыки, ворота замка отворились, и навстречу Маше вышли двенадцать маленьких пажей, держа в руках горевшие факелы из засушенных гвоздичных стебельков. Головки пажей были сделаны из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а ноги из чистого, самой искусной работы золота. За ними следовали четыре дамы, ростом почти с куклу Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах; Мари сейчас же догадалась, что это были принцессы. Они нежно обняли Щелкунчика, воскликнув с радостью:

-- О милый принц! Милый братец!

Щелкунчик был очень тронут и не раз отирал слезы, а потом, схватив Мари за руку, представил ее подошедшим, сказав с жаром:

-- Вот фрейлейн Штальбаум, дочь почтенного советника медицины и моя спасительница. Если б она не бросила вовремя свой башмачок и не достала мне саблю отставного полковника, то я лежал бы теперь в гробу, перекушенный пополам жадным мышинным королем! Судите сами, может ли сравниться с фрейлейн Штальбаум по красоте и доброте сама Пирлипат, хотя она и прирожденная принцесса? Нет, тысячу раз нет!

Дамы воскликнули:

-- Нет! нет! -- и со слезами бросились обнимать Мари.

-- О милая, добрая спасительница нашего брата! Прелестная фрейлейн Штальбаум!

Затем дамы повели Щелкунчика и Мари во внутренность замка, где был чудесный зал со стенами, усеянными блестящими разноцветными кристаллами. Но что более всего понравилось Мари, так это хорошенькая маленькая мебель, украшавшая зал. Это были прелестные миниатюрные стульчики, столики, комоды, конторки, все сделанные из дорогого кедрового и бразильского дерева.

Принцессы усадили Щелкунчика и Мари рядом и сказали, что сейчас будет подаваться обед. Мигом уставили они стол множеством маленьких тарелок, мисок, салатников, сделанных из тончайшего японского фарфора, а также ножей, вилок, кастрюлек и прочей посуды, все из чистого золота и серебра. Затем принесли прекрасные плоды и конфеты, каких Мари даже никогда не видела, и живо подняли такую стряпню и возню своими маленькими белыми ручками, что Мари только удивлялась, как хорошо умели принцессы хозяйничать. Фрукты резали, миндаль толкли в ступках, душистые корешки терли на терках, и не успела Мари оглянуться, как великолепный обед был готов. Мари очень хотелось помочь принцессам и научиться самой тоже так хорошо готовить. Младшая и самая красивая из сестер Щелкунчика, услышав о таком желании Мари, сейчас же подала ей золотую ступку и сказала:

-- Вот возьми, милая спасительница нашего брата, и потолки эти карамельки.

Мари радостно принялась за работу, прислушиваясь к тому, как чисто и звонко гудела ступка под ее пестиком, точно напевая веселую песенку, а Щелкунчик начал рассказывать сестрам подробности о битве его войска с мышинным королем, о том, как он был почти побежден вследствие трусости своих солдат и как противный мышиный король наверно раскусил бы его пополам, если бы Мари не пожертвовала для его спасения своими лучшими куколками и конфетами, и т.д. Мари во время этого рассказа казалось, что голос Щелкунчика все как-то более и более перемешивается с ударами ее пестика о стенки ступки; а затем какой-то серебристый туман, спускаясь откуда-то сверху, одел и ее, и принцесс, и Щелкунчика легкой, прозрачной пеленой, так что под конец ей казалось, что она уже не сидела, а неслась в этом тумане вместе с ними; пение, шум, стук, сливаясь в однообразный гул, уносились куда-то вдаль, а сама она точно на легких, качающихся волнах, поднималась куда-то высоко-высоко, все выше... выше...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Та-ра-ра-бух! -- вдруг раздалось в ушах Мари, и не успев вскрикнуть, почувствовала она, что упала откуда-то со страшной высоты. В испуге,

открыв глаза, увидела она, что лежит в своей кровати, светлый день глядит в окно, а мама стоит возле нее и говорит:

-- Как же ты, Мари, так долго спишь! Ведь уже завтрак на столе.

Вы, конечно, догадываетесь, любезные читатели, что Мари, очарованная виденным ей чудесами в Марципановом замке, в конце концов заснула и что мавры с пажами, а может быть и сами принцессы, перенесли ее домой, в ее кровать.

-- Ах, мамочка, милая моя мамочка! Если бы ты знала, куда меня водил сегодня ночью молодой Дроссельмейер и какие чудеса я видела! -- воскликнула Мари, и при этом рассказала все, что я вам уже рассказал, на что мама удивилась и сказала:

-- Ты, Мари, видела очень длинный и хороший сон, но теперь пора тебе выбросить его из головы.

Мари стояла, однако, на своем, уверяя, что это был не сон, а сущая правда, так что мама, наконец, подошла к стеклянному шкафу, вынула оттуда Щелкунчика, стоявшего по обыкновению на третьей полке, и сказала, показывая его Мари:

-- Ну можно ли быть такой глупенькой девочкой и вообразить, что деревянная нюрнбергская кукла может двигаться и говорить?

-- Ах, мама, -- перебила ее Мари, -- да ведь Щелкунчик -- это молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, племянник крестного Дроссельмейера!

Тут оба, и советник и советница, разразились неудержимым смехом.

-- Папа, папа! -- почти со слезами говорила Мари. -- Вот ты смеешься над моим Щелкунчиком, а знаешь ли ты, как хорошо он о тебе отзывался, когда мы пришли в Марципановый замок и он представил меня своим сестрам-принцессам? Он сказал, что ты весьма достойный советник медицины!

Тут уже расхохотались не только папа и мама, но даже Луиза с Фрицом. Тогда Мари побежала в свою комнату, достала из своей маленькой шкатулочки семь корон мышинового короля и сказала, подавая их маме:

-- Так вот смотри же, мама: видишь эти семь корон мышинового короля? Их подарил мне прошлой ночью молодой Дроссельмейер на память, в знак своей победы.

Советница с изумлением разглядывала поданные ей короны, которые были сделаны из какого-то совершенно особенного, блестящего металла и притом с таким искусством, что трудно было поверить, чтоб это было делом человеческих рук. Советник тоже не мог насмотреться на эти короны. Затем отец и мать строго потребовали, чтоб Мари непременно объяснила им, откуда она их взяла. Мари ничего не могла прибавить к тому, что уже рассказала, и когда папа начал ее строго журить и даже назвал маленькой лгуньей, она расплакалась и могла только сказать, рыдая:

-- Бедная, бедная я девочка! Что же должна я говорить?

В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел крестный:

-- Что это? -- воскликнул он. -- Моя милая крестница Мари плачет! Что это значит?

Советник рассказал ему все, что случилось, и показал ему коронки. Крестный, как только их увидел, громко расхохотался и воскликнул:

-- Так вот в чем дело! Да ведь это те самые коронки, которые я постоянно носил на моей часовой цепочке и два года тому назад подарил Мари в день ее рождения. Разве вы забыли?

Ни советник, ни советница не могли этого вспомнить, а Мари, увидев, что папа и мама опять развеселились, бросилась к крестному на шею и воскликнула:

-- Крестный, крестный! Ты все знаешь, уверь их, что Щелкунчик мой -- твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга и что коронки подарены мне им!

Крестный на это сделал очень недовольную мину и процедил сквозь зубы:

-- Какая, однако, глупая штука вышла!

Тогда советник взял Мари за руку и, поставив ее перед собой, сказал очень серьезно:

-- Послушай, Мари, ты должна выбросить из головы эти глупости! Если же ты еще станешь уверять, что твой глупый Щелкунчик племянник господина Дроссельмейера, то я выброшу за окошко и его, и всех остальных твоих куколок, не исключая мамзель Клерхен.

С тех пор бедная Мари не смела и заикнуться о том, что ее так радовало и восхищало, хотя, можно себе представить, как нелегко забываются такие чудеса, какие они видела! Представь себе также, мой почтенный читатель Фриц, что даже тезка твой Фриц Штальбаум не хотел слушать рассказов Мари о прекрасном королевстве, в котором она была так счастлива, презрительно называя ее глупой девчонкой, и так мало верил тому, что она говорила, что на первом же параде, который устроил для своих войск, не только отменил все наказания, которые назначил гусарам, но даже пожаловал им другие, высшие отличия на шапки в виде султанчиков из гусиных перьев и опять позволил играть их торжественный марш! Этого, признаюсь, зная давно добрый нрав Фрица, я от него даже не ожидал! Что касается нас, то мы-то знаем, как отличились гусары Фрица, испугавшись грязных пятен, которыми мыши испачкали их новые мундиры!

Итак, Мари не смела более говорить о своих приключениях, но образы сказочной страны не оставляли ее, окружая ее каким-то чудным светом и звуча в ушах дивной, очаровательной музыкой. Она, казалось, постоянно жила в нем и вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, она стала от всех удаляться, постоянно находилась в тихой задумчивости, и ее прозвали маленькой мечтательницей.

Раз как-то случилось, что крестный Дроссельмейер поправлял часы в доме советника, а Мари, погруженная свои мечты, сидела возле шкафа и смотрела на Щелкунчика.

-- Ах, милый господин Дроссельмейер, -- вдруг невольно сорвалось с ее языка, -- если б вы жили на самом деле, то поверьте, я не поступила бы с вами, как принцесса Пирлипат, которая отвергла вас за то, что вы из-за меня потеряли вашу красоту!

-- Ну, ну, глупые выдумки! -- вдруг так громко крикнул крестный, что в ушах у Мари зазвенело и она без памяти свалилась со стула.

Очнувшись, она увидела, что мама хлопочет около нее и говорит:

-- Ну можно ли так падать со стула? Ведь ты теперь большая девочка! Вставай скорей, к нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга; будь же умницей и веди себя при нем хорошо.

Взглянув, Мари увидела, что крестный, одетый опять в свой желтый сюртук и с париком на голове, держал за руку очень милого молодого человека, небольшого роста и уже почти совсем взрослого, лицо которого сияло свежестью и здоровьем, словом, кровь с молоком; на нем был надет красный, вышитый золотом кафтан, белые шелковые чулки и лакированные башмаки, а в петлице торчал прекрасный букет. Молодой человек был тщательно завит и напудрен, а на затылке его висела прекрасная коса; маленькая шпага блестела, как дорогая игрушка, а под мышкой держал он новую шелковую шляпу.

Хорошие и благовоспитанные манеры молодой человек доказал тем, что тотчас же подарил Мари множество хорошеньких вещиц, а между прочими -- марципаны и точно такие же фигурки, какие перегрыз когда-то мышиный король. Фрицу же досталась прекрасная сабля. За столом молодой человек щелкал орехи для всех. Самые твердые не могли устоять против его зубов. Правой рукой клал он орехи в рот, левой дергал себя за косу, раздавалось -- крак! -- и орех рассыпался на кусочки.

Мари покраснела, как маков цвет, едва увидела милого молодого человека, и покраснела еще больше, когда после обеда он учтиво попросил ее пройтись вместе с ним к стеклянному шкафу.

-- Забавляйтесь, детки, забавляйтесь, -- сказал крестный, -- я ничего не имею против; теперь все мои часы в порядке.

Едва молодой Дроссельмейер остался с Мари один, как тотчас же встал перед ней на одно колено и сказал:

-- О милая, дорогая фрейлейн Штальбаум! Примите благодарность молодого Дроссельмейера здесь, на том самом месте, где вы спасли ему жизнь. Вы сказали, что никогда не поступили бы со мною, как злая принцесса Пирлипат, за которую я пострадал. Смотрите теперь, я перестал быть гадким уродливым Щелкунчиком и приобрел свою прежнюю, не лишенную приятности внешность! О милая фрейлейн! Осчастливьте меня вашей рукой! Разделите со мной венец мой и

царство, в котором я теперь король, и будьте владельницей Марципанового замка!

Мари заставила молодого человека встать и сказала тихо:

-- Милый господин Дроссельмейер! Я знаю, что вы хороший, скромный молодой человек, и так как вы, кроме того, царствуете в прекрасной, населенной милым, веселым народом стране, то я охотно соглашаюсь быть вашей невестой!

Тут же было решено, что Мари выходит замуж за молодого Дроссельмейера.

Через год была свадьба, и молодой муж, как уверяют, увез Мари к себе на золотой карете, запряженной серебряными лошадками. На свадьбе танцевали двадцать две тысячи прелестнейших, украшенных жемчугом и бриллиантами куколок, а Мари, как говорят, до сих пор царствует в прекрасной стране со сверкающими рощами, прозрачными марципановыми замками -- словом, со всеми теми чудесами, которые может увидеть только тот, кто одарен зрением, способным видеть такие вещи.

Вот вам сказка про Щелкунчика и мышиноного короля.

* * *

-- Скажи, пожалуйста, любезный Лотар, -- начал так Теодор, -- каким образом назвал ты свою историю о Щелкунчике и мышиноном короле детской сказкой, тогда как дети, наверно, не в состоянии будут понять тех тонких нитей, которыми связаны ее совершенно самостоятельные части в одно целое. Они позабавятся разве только отдельными фактами.

-- Разве этого мало? -- возразил Лотар. -- А кроме того, по моему мнению, совершенная ошибка думать, чтобы дети с живым воображением, о которых здесь только и может быть речь, довольствовались бы только теми бессодержательными пустяками, которые часто выдают им за сказки. Поверьте, что они требуют гораздо большего, и надо иной раз поистине удивляться, как ловко схватывают они своим маленьким умом такие вещи, какие и в голову не приходят их образованным папенькам. Этого факта нельзя не признать. Я читал мою сказку публике, которую одну признаю ценительницей подобных произведений, а именно -- детям моей сестры. И надо было видеть, в какой восторг пришел заядлый военный Фриц при рассказе об армии его тезки. Описание же битвы просто вывело его из себя. Бум! Бух! Пиф-паф, бом-бам -- то и дело вскрикивал он вслед за чтением, сидя на стуле, как на иголках, и беспрестанно хватался за саблю, точно хотел тотчас же лететь на помощь бедному, теснимому со всех сторон Щелкунчику. А между тем я вас уверяю, что племянник мой Фриц не читал ни военных реляций, ни Шекспира, а следовательно, никак не мог понять настоящей связи, существующей между описанием битв,

которые он знает только из газетных статей, и знаменитым восклицанием: "Коня! Коня! Полцарства за коня!"; точно также маленькая племянница моя Евгения совершенно верно оценила привязанность Мари к Щелкунчику и была тронута до слез рассказом, как Мари пожертвовала своими конфетами, картинками и даже новым платьем для того, чтобы спасти своего любимца. Ей вовсе не показался странным прекрасный леденцовый луг, на котором очутилась Маша, пройдя через таинственный рукав лисьей шубы ее отца. Вообще описание кукольного царства привело детей в неописуемый восторг.

-- Эта часть твоего рассказа, -- заметил Оттмар, -- должна считаться удачайшей, принимая во внимание, что слушателями будут дети. Напротив, вводную историю о крепком орехе, которая должна была связать действие, считаю я не совсем уместной, так как связь эта недостаточно ясна, и все впечатление, вообще, делается каким-то расплывчатым. Впрочем, ты не признаешь нас в этом случае компетентными судьями, а потому я лучше замолчу, но не скрою, впрочем, от тебя моего убеждения, что, если ты вздумаешь напечатать твою сказку, то весьма и весьма многие очень неглупые люди, особенно мало знающие детей, будут непременно покачивать головой и назовут все, что ты написал, порядочным сумбуром, какой можно сочинить только в состоянии лихорадочного бреда, а никак не в здоровом уме.

-- Ну, -- воскликнул Лотар, -- перед такими ценителями я только склонил бы голову и почтительнейше доложил, что какой бы фантастический бред ни пришел в голову автору, ему от этого будет очень мало пользы, если он не осветит его лучом рассудка и не сплетет предварительно разумного основания для всего произведения. Ясная спокойная мысль, положенная в основу, нужнее всего для такого рода произведений, потому что, чем свободнее и фантастичнее мечутся во все стороны образы, тем тверже должно быть положено основное зерно.

-- Кто с этим спорит, -- возразил Киприан, -- но я замечу только, что едва ли можно назвать удачной попытку переплестать фантастическое с явлениями обыденной жизни и украшать волшебным колпаком таких почтенных и серьезных людей, каковыми являются советники, архивариусы, студенты и т.п., заставляя их, как чертей, куролесить среди белого дня на улицах знакомого города на смех всем соседям. Конечно, подобные сцены оправдываются забавной иронией, которая является в них сама собой и невольно увлекает даже флегматичного читателя в новую для него область.

-- Да, но не забудь, что эта ирония очень опасная вещь, -- возразил Теодор. -- Она иногда может стубить все произведение, убив окончательно тот веселый, приветливый тон, который непременно должен господствовать в сказке.

-- Неужели возможно, -- начал опять Лотар, -- предписывать условия и формы в такого рода произведениях? Тик, великий мастер в деле сочинения сказок, действительно вкладывал в уста своим фантастическим лицам только умные, поучительные сентенции. Потому можно бы, казалось, предположить, что в сказке все должно развиваться тихо и спокойно, с самыми невинными образами, точь-в-точь наподобие фантазирования искусного музыканта на фортепьяно, без всякого горького привкуса, без того, чтобы заставить задуматься над полученным впечатлением. Но неужели одним правилом можно исчерпать все содержание целого рода литературы? Я не говорю о моем Щелкунчике, потому что, признаюсь сам, в основе сказки часто мелькают намеки на дела и отношения взрослых людей, отчего он и не может быть понят детьми в полном объеме, но замечу Киприану, что сказка нашего далекого друга, озаглавленная "Золотой горшок", на которую он намекал, содержит в себе гораздо более того, что он вообще требует от сказок, однако, именно вследствие этого обстоятельства она и приобрела благосклонное отношение к ней строгих ценителей искусства. Впрочем, я обещал моим маленьким судьям, детям моей сестры, написать к будущей елке новую сказку, в которой постараюсь поменьше улетать в фантастическую область, а, напротив, ближе применяться к требованиям и понятиям детей. На этот раз будьте довольны тем, что я вывел вас вновь на белый свет из ужасной Фалунской бездны и что мы, как следует Серапионовым братьям, расстаемся с веселым, хорошим настроением духа. Вот, кстати, бьет двенадцать часов.

-- Да поможет нам Серапион. -- воскликнул Теодор, поднимая стакан, -- собираться и впредь также весело для чтения того, что продиктует нам наше вдохновение! С этим воззванием к нашему святому патрону расстаемся мы, как достойные Серапионовы братья!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Третье отделение

-- Вы замечаете, господа, -- сказал Лотар, когда Серапионовы братья собрались снова, -- что наш Киприан, кажется, держит сегодня на уме опять что-то особенное, точь-в-точь, как это было в день святого Серапиона, когда мы заключил наш союз. Он бледен, расстроен, слушает наши разговоры краем уха, и если сидит сам посреди нас, то наверно блуждает духом где-то очень далеко отсюда.

-- Пусть же он, -- добавил Оттмар, -- поделится с нами рассказом о том безумном, чьи именины празднуются сегодня.

-- Вы ошибаетесь, -- сказал Киприан. -- Вместо истории о моем сумасшедшем, я поделюсь с вами, наоборот, очень приятной новостью: слышали вы, что общий наш друг Сильвестр переехал на житье из деревни в наш город.

Друзья воскликнули от радости: тихий, кроткий Сильвестр с его симпатичным поэтическим талантом был в равной степени дорог им всем.

-- Никто не может достойнее Сильвестра назваться нашим Серапионовым братом, -- сказал Теодор. -- Он, правда, тих, замкнут в себе, и его не так легко заставить говорить, но я не знаю никого, кто бы умел так верно и метко оценивать чужие произведения. Он даже мнение свое умеет высказывать молча. Сколько раз случалось мне читать в его выразительных глазах меткий приговор тому, что перед ним говорилось, и сколько раз мне самому становилось легче и веселее в его присутствии!

-- Сильвестр в самом деле, -- перебил Оттмар, -- редкий человек. Когда многие из новейших писателей объявили жестокою войну беспритязательной скромности, составляющей, по моему, одно из главнейших свойств поэтических натур, когда даже талантливейшие люди должны постоянно сражаться за сохранение своих прав, Сильвестр один остался по-прежнему беззащитным ребенком. Часто говорили мы ему, что он слишком скромн, что он пишет гораздо менее, чем бы мог благодаря своей богато одаренной натуре; но неужели, в самом деле, следует все только писать и писать? Если внутренние образы сами просятся выразиться в словах, то Сильвестр сядет и будет писать непременно, но никогда не будет он выражать то, что не прочувствовано им вполне. По этому одному он уже имеет полное право назваться Серапионовым братом.

-- Я не люблю нечетных чисел, -- сказал Лотар, -- кроме мистического числа семь и потому полагаю, что пять Серапионовых братьев как-то не подходят к нашему делу; но будь нас шестеро, как приятно и уютно сиделось бы нам за этим круглым столом. Сегодня приедет Сильвестр, и я полагаю, было бы недурно, если бы здесь же бросил якорь наш непостоянный, беспокойный Винцент. Мы знаем, что он, имея общий с Сильвестром приятный нрав и добродушие, во всем прочем противоположен ему совершенно. Если Сильвестр тих и сосредоточен в себе, то Винцент, напротив, неудержим, как поток, в своих смелых и острых выражениях. У него удивительный талант представить в оригинальном виде все, начиная с самых необыкновенных и кончая обыденнейшими вещами, и притом представить с таким жаром и юмором, что рассказы его можно сравнить только с рядом картин волшебного фонаря, сменяющихся без малейшего перерыва и отдыха.

-- Ты прекрасно охарактеризовал Винцента, -- прервал Теодор. -- К этому надо прибавить замечательное обстоятельство, что он, при своих редких познаниях и светлом, склонном к юмору уме занимается в то же время мистическими вопросами. Знаете ли вы, что он всей душой предался изучению медицины?

-- Да, -- сказал Оттмар, -- и кроме того, он один из самых ярких поборников магнетизма. Я не солгу, сказав смело, что самые разумные и глубокие заключения, какие только существуют относительно этого темного предмета, сделаны им.

-- Ого! -- воскликнул Лотар со смехом. -- Уже не был ли ты, любезный Оттмар, учеником всех магнетизеров на свете, начиная с Месмера, если так положительно определяешь разумнейшие и глубочайшие выводы, сделанные по этому предмету? Но, впрочем, если уже говорить об этих нелепых снах и предчувствиях, то я сам думаю, что наш Винцент с его светлым умом способен более других открыть в них что-либо разумное. К тому же мне нравится, что он относится к этому предмету с какою-то особенной милой веселостью. Раз как-то, помню, в один из своих приездов Винцент застал меня со страшной головной болью, от которой не помогали никакие средства. Я рассказал ему о моей беде. "Как! -- воскликнул он весело. -- Ты страдаешь головной болью? Не более того! Стоит ли об этом говорить? Хочешь, я в десять минут выгоню твою боль из головы и заставлю ее залезть туда, куда захочешь: в стул, в чернильницу, в плевательницу, в окошко..." С этими словами он начал делать свои магнетические пассы. Дело, однако, на лад не шло, и я невольно рассмеялся. "Ага! -- весело воскликнул Винцент. -- Видишь, как я в одну минуту овладел твоей болью?" Я сказал, что, к сожалению, боль моя не уменьшилась нисколько, а он начал уверять, что это вздор и что мое теперешнее чувство не более, как обманчивое эхо. Досадное эхо продолжалось, однако, еще несколько дней. Потому я считаю долгом объявить моим достойным Серапионовым братьям, что не верю в целительную силу так называемого магнетизма ни на один грош. Глубокомысленнейшие исследования по этому предмету напоминают мне известный вопрос, заданный одним королем членам британской Академии: почему ведро с водой, в которое выпущена десятифунтовая рыба, весит ровно столько, сколько другое такое ведро, наполненное только водой? Многие удачно разрешили на бумаге эту задачу и хотели уже представить свои мудрые решения королю, как вдруг одному, поумнее других, пришла мысль проверить этот факт на опыте. И что же? Оказалась, что рыба не согласилась уступить своих прав и увеличила тяжесть ведра ровно на свой вес, так что остроумные результаты мудрых изысканий оказались никуда не годными.

-- Эй, эй, ничему не верящий скептик! -- воскликнул Оттмар. -- А каким же, скажи мне, образом случилось, что ты... но, впрочем, это я

должен рассказать Теодору и Киприану обстоятельней, и обратить презрительное неверие Лотара на его собственную голову. Вы знаете, что Лотар страдал некоторое время нервным расстройством до такой степени, что потерял даже всякую способность наслаждаться жизнью. Однажды, полный самого теплого участия, зашел я к нему. Вижу, он сидит бледный и расстроенный на кресле, с натянутым на уши ночным колпаком, а перед ним -- свидетель мне Бог, что я не лгу -- торчит какая-то маленькая, сухощавая фигурка и водит руками по его лицу, сгорбленной спине, по всему телу, приговаривая: "Ну, каково вам, дражайший господин Лотар?" А он, плаксиво куксясь, отвечает слабым голосом: "Лучше, любезный доктор, намного лучше". Одним словом, Лотар, который не верит в целительную силу магнетизма, называет ее пустым напряжением мозгов и презирает всех магнетизеров как обманщиков, тот самый Лотар, повторяю я, позволил магнетизировать самого себя!

Киприан и Теодор от души расхохотались над анекдотом, рассказанным им Оттмаром, а Лотар воскликнул:

-- Ах, пожалуйста, молчи; вы знаете все, что человек, к сожалению, слаб благодаря свойству своего организма, согласно которому психическое начало нередко подпадает в нем под власть физического. Каждое ненормальное состояние, каждая болезнь вселяет в него невольный страх, под влиянием которого он делается иной раз способным на самые безумные поступки. Я знал многих очень умных людей, которые, потеряв веру в лечивших их докторов, обращались за советами к разным старухам, знахаркам и употребляли с полной верой какие-то симпатические средства, и -- Бог знает что еще! Если я, раздраженный до крайности нервным расстройством, решился прибегнуть к магнетизму, то это доказывает только мою слабость и ничего более.

-- Я уверен, любезный Лотар, -- вмешался Киприан, -- что высказываемые тобою сегодня сомнения насчет магнетизма не более как временное увлечение. Что такое, в самом деле, магнетизм, рассматриваемый как лекарство? Не более, уверяю, как сила воли нашего духовного существа, стремящаяся сперва понять наше физическое начало, затем подчинить его себе, и наконец, переделать совершенно, т.е. вылечить. Я не предполагаю, чтоб ты стал отрицать психическую силу и не признавал чудных, таинственных звуков, пронизывающих всю нашу жизнь и служащих для нас как бы отголоском той дивной музыки сфер, которая составляет самую душу природы.

-- Ты говоришь, -- возразил Лотар, -- своим обыкновенным языком, т.е. впадаешь в мистическую чепуху, а так как учение о магнетизме чрезвычайно склонно идти по этой дороге, то понятно, что оно особенно нравится таким мечтателям, как ты. Я не отрицаю, что

загадочность этого вопроса имеет свою долю заманчивости, я даже признаюсь, что до некоторой степени интересуюсь им самим, но вот вам в немногих словах мое решительное по этому предмету мнение. Есть ли, скажите, какая-нибудь возможность проникнуть умом в глубочайшие тайны природы и понять, хотя бы в форме смутных предчувствий или уподоблений, ту таинственную связь, которая соединяет тело и душу, обуславливая все наше бытие? А между тем весь магнетизм основан на этой задаче, и потому понятно, что если невозможна она, то и его учение следует счесть рядом бессмысленных догадок, похожих на неверные шаги слепорожденных. Я не отрицаю, что есть особые душевные состояния, при которых дух видимо господствует над телом и, вливая в него особенную силу, проявляется в странных, загадочных феноменах. Свойственные нам неясные к чему-то стремления, не выходящие в обыкновенном состоянии за пределы смутных предчувствий, встают в таких случаях с особенной силой и облекаются в ясные, зримые формы, так что мы видим и понимаем их всеми нашими способностями. Сон, это самое чудное, по моему мнению, явление в человеческом организме и его высшая ступень -- сомнамбулизм -- представляют лучший пример тех состояний, о которых я говорю. Но понятно также, что подобные состояния должны рассматриваться как полнейшая аномалия в психо-физических отношениях. Самые чудные, самые живые сны являются обыкновенно в минуты телесных болезней. Дух в этих случаях как бы пользуется бессилием своего физического сотоварища, тела, и делает его своим послушным рабом. Таким образом, и магнетизм должен рассматриваться как проявление духа в теле, пораженном болезнью. Очень может быть, что природа при некоторых условиях допускает духовный дуализм (проповедуемый магнетизмом), при котором дух, как бы отделяясь временно от тела, производит поистине странные, непонятные нам явления, но я придерживаюсь того мнения, что одна природа вправе производить эти явления, и всякая попытка вызвать их вопреки воле царицы должна считаться если не безумной, то, во всяком случае, опасной дерзостью. Я иду далее и не отрицаю даже (так как факты это доказывают), что подобные душевные состояния могут быть вызваны произвольно и что их может произвести даже совершенно посторонний дух с помощью какой-то таинственной силы, исходящей из рук магнетизера во время пассов в виде магнетического тока или чего-либо подобного, так что его духовная сила, овладевая пациентом, может произвести в его существе те ненормальные отклонения, которые, по внешнему своему виду, побуждают нас думать, что он находится в это время в общении с миром духов. Все это я не отрицаю, но повторяю, что подобного рода опыты будут всегда мне казаться смешным и вредным насильствием природы, не имеющим, вопреки всем теориям, ровно никакого смысла. Кто-то, помнится, назвал

магнетизм опасным орудием в руках ребенка, и я совершенно с этим согласен. Если человек дерзает подчинить себе, по собственному желанию, чужое духовное начало, то мне в сравнении с этим кажется гораздо невиннее Барбаренская школа спиритуалистов, считавшая волю и веру началом всего. Простое направление твердой воли будет только скромным вопросом природы, допускает ли она духовный дуализм, с предоставлением ей самой решить этот вопрос. Магнетизирование с помощью тока без всякого вмешательства магнетизера кажется мне гораздо менее опасным, потому что при этом, по крайней мере, устраняется вредное влияние чужого духовного существа. Но! -- к сожалению, ныне слишком многие посвящают себя, не спросясь броду, этой самой темной и таинственной из наук, если только магнетизм может называться наукой. Вартель в своей физиологии и физике магнетизма приводит мнение одного иностранного врача, который чрезвычайно удивляется, каким смелым опытам подвергают немецкие доктора своих магнетических пациентов, относясь к ним не как к людям, а как к простым физическим аппаратам. Потому я считаю себя в полном праве сказать, что лучше уже совершенно отказаться от целительной силы магнетизма, чем ожидать, что глупый эксперимент какого-нибудь шарлатана вредно подействует на мое собственное здоровье.

-- Все, что ты говорил, -- возразил Лотару Теодор, -- с такой глубокой убедительностью и, пожалуй, отчасти справедливо о магнетизме, не более как перифраз твоего же собственного анекдота о десятифунтовой рыбе. Сначала сказал ты, что веришь в магнетизм, а между тем из одной трусости отказываешься позволить какому-нибудь магнетизеру сделать опыт на самом себе. Впрочем, что касается до боязни влияния чужого духовного начала, то в этом случае я вполне согласен с тобой и прошу позволения рассказать, для примера, каким образом познакомился я сам с магнетическими опытами. Мною при этом руководил один университетский приятель, врач по профессии. Зная меня, вы можете себе представить, с каким интересом и рвением предался я этому делу. Я перечел все, что только мог достать, и между прочим известное сочинение Клуге "О животном магнетизме как врачебном средстве". Книга эта сначала заронила во мне некоторое сомнение, так как в ней, без всякой ученой систематизации или критики, излагались только единичные факты и притом иногда уже совершенно похожие на сказки. Друг мой, однако, опроверг все мои возражения и доказывал, что изучение одной теории еще более пошатнуло бы мою веру, которая может укрепиться только при личном присутствии на магнетических опытах. Но, к великому моему сожалению, их-то и было очень трудно у нас устроить, так как, в случае даже, если бы мы нашли магнетизера, то субъекта, способного к сомнамбулизму или ясновидению, уже не оказывалось вовсе.

Около этого времени я приехал в столицу, где магнетизм был живейшей новостью дня. Во всех кружках только и речи было, что о чудесах сеансов магнетизма у одной очень умной и образованной дамы, которая вследствие сильных нервных припадков дошла сама собой до сомнамбулизма и ясновидения, проявлявшихся в ней с такой изумительной силой, что, по отзывам знакомых с магнетическими опытами людей, им никогда не случалось видеть что-либо подобное. Мне удалось познакомиться с лечившим ее врачом, и он, предвидя во мне ярого поклонника магнетизма, обещал доставить случай присутствовать на одном из сеансов. Обещание это он исполнил, пригласив однажды прийти вечером около шести часов, когда, по словам его, ожидал, что больная впадет в магнетический сон. С любопытством, превосходившим все границы, был я введен в роскошно убранную комнату с окнами, завешенными розовыми гардинами, так что лучи заходящего солнца, проходя сквозь них, озаряли все легким, розовым полусветом. Пациентка, одетая в изящном неглиже, лежала на диване и, судя по ее тихому дыханию, казалось, спала крепким сном; вокруг в глубоком благоговении сидело несколько адептов магнетизма: две молодые девицы, то и дело закатывавшие со вздохом глаза и готовые сами сейчас заснуть магнетическим сном в наизидание и поучение находившихся тут же одного юного офицера и еще одного очень, по-видимому, образованного молодого человека, которые с любопытством следили за опытом. Было еще несколько старух, прислушивавшихся к каждому вздоху сомнамбулы и изумленно всплескивавших руками при каждом слабом движении ее ресниц.

Ожидался сеанс ясновидения. Магнетизер, уверявший, что ему нет даже надобности магнетизировать сомнамбулу, чтобы войти с ней в контакт, так как он имел его постоянно, приблизился к пациентке и стал задавать вопросы. Она назвала минуты дня, в которые он особенно думал о ней; рассказала несколько случившихся с ним сегодня приключений и наконец попросила вытащить и отложить в сторону лежавший в его кармане футляр с перстнем, который он прежде никогда не носил, потому что, как она уверяла, золото и в особенности бриллианты враждебно на нее действовали. Магнетизер с видом величайшего изумления вынул из кармана футляр с перстнем, который, по его словам, только что сегодня купил, и потому существование его могло быть открыто пациентке исключительно с помощью ясновидения. Чудо это так сильно подействовало на обеих нервных девиц, что они, всплеснув руками, в судорогах откинулись на спинки стульев, и только благодаря нескольким ручным пассам со стороны магнетизера были успокоены и погружены в глубокий магнетический сон. Отложив в сторону таинственный футляр, магнетизер, уже исключительно для меня, проделал с сомнамбулой еще несколько

фокусов, заставлял ее чихать, когда он нюхал табак, читать письмо, положенное ей на сердце, и т.п.; наконец, сделал попытку поставить в магнетическое отношение к сомнамбуле меня самого. Это вполне удалось. Она описала меня подробнейшими красками и прибавила, что задолго до моего прихода уже предчувствовала, что магнетизер приведет с собой сегодня преданного ему друга. Присутствие мое, по-видимому, ей очень нравилось. Вдруг она замолчала и приподнялась с дивана; глаза ее и губы слегка вздрогнули. Магнетизер объявил присутствовавшим, что она переходит в пятую и высшую степень сомнамбулизма, при которой может созерцать, как бы со стороны, все, что происходит в ней самой. Слова эти отклонили внимание обоих молодых людей от уснувших девиц в ту самую минуту, когда их магнетический сон начинал тоже было становиться интересным: одна принялась уверять, что волосы молодого офицера, с которым она вошла в сообщение, светились каким-то странным, приятным светом, другая же объявила, что жившая в нижнем этаже дома генералова жена пила в это время прекрасный караванный чай, тонкий аромат которого проник в ее нос через пол, и что она чувствует, что через четверть часа будет сама пить чай с тортом. Сомнамбула между тем заговорила каким-то особенным необыкновенно звучным голосом, но смысл ее слов до того был темен, что я ничего не понял, хотя магнетизер уверял, будто она высказывала всевозможные поучительные вещи о состоянии своего желудка. От желудка она, по словам магнетизера, перешла в еще более созерцательное состояние. В словах ее проскакивали иногда фразы, которые, помнилось мне, я читал в "Отрывках" Новалиса или в "Душах мира" Шеллинга. Затем она внезапно упала опять на подушки. Магнетизер, предвидя скорое пробуждение, просил нас всех выйти из комнаты, говоря, что присутствие многих лиц может неприятно подействовать на нее в эту минуту. Таким образом нас выпроводили до дома. Обе девицы, на которых никто не обращал внимание, заблагорассудили проснуться еще раньше и незаметно покинули комнату. Вы можете сами догадаться, как на меня подействовала вся эта сцена. Не говоря уже о двух глупеньких девчонках, вздумавших вместо ролей зрительниц порисоваться в качестве действующих лиц, сама сомнамбула на диване казалась мне очень похожей на искусную, ловко игравшую притворщицу.

Магнетизера я знал за честного, открытого человека, не способного разыгрывать подобного рода комедии, а потому не имел ни малейшего права подозревать, чтобы он мог быть пособником такого обмана. Если же обман был, то в нем следовало винить исключительно почтенную госпожу, которая, воспользовавшись преданностью врача новому учению, успела его обморочить, несмотря на его ум, знания и рассудок. Я не задавал себе вопроса, какая причина могла ее заставить добровольно выносить такое мучение, потому что нельзя же назвать

иначе то страшно напряженное состояние, в которое она себя приводила! Ведь были же одержимые бесом урсулилки, мяукавшие монахини, выворачивавшие свои члены изуверы и множество подобных субъектов, включая и ту женщину в Вюрцбургском госпитале, которая засовывала себе в раны гвозди и куски стекла для того, чтобы удивить врача присутствием в ее теле посторонних вещей. Женщины же, в особенности, нередко жертвовали здоровьем, жизнью, свободой, -- словом, всем, лишь бы только заставить говорить о себе и прослыть особыми, исключительными существами. Но возвратимся к моей сомнамбуле. Я осмелился намекнуть врачу о моих сомнениях. Он улыбнулся и ответил, что сомнение это не более как последние возражения побежденного противника, и просил меня непременно явиться на следующий сеанс, так как сомнамбула, по его словам, была очень довольна моим присутствием, действовавшим на нее чрезвычайно благотворно, и потому имела основательные причины желать моего прихода. Он был уверен, что следующие опыты убедят меня совершенно. Действительно, чем чаще стал я посещать сеансы, тем более начал склоняться к вере, особенно же после того, как однажды сомнамбула, приведенная магнетизером в близкое со мной сообщение, рассказала мне непостижимым для меня образом, о некоторых событиях моей прежней жизни и, между прочим, о тяжелой нервной болезни, которую я перенес после смерти любимой сестры. Мне не нравилось только, что она каждый раз приглашала все больше и больше посетителей и что сам магнетизер начал выдавать ее за нечто в роде прорицательницы, заставляя давать советы обращающимся к ней больным. Однажды встретил я в собравшемся у нее обществе одного почтенного старого доктора и притом ярого противника магнетизма, которому он не верил вовсе. Сомнамбула объявила еще до его прихода, что сегодняшней сеанс будет длиться дольше обыкновенного и что она не проснется раньше двух часов. Затем она погрузилась в глубокий ясновидящий сон и начала свои мистические речи. Магнетизер уверял, что в этом восторженно-возбужденном состоянии она совершенно отделяется от тела и делается чисто духовным существом, теряя всякую физическую чувствительность. Старый доктор просил для пользы науки и для убеждения неверующих сделать убедительный опыт, а именно -- предложил приложить ей к подошве раскаленное железо и убедиться таким образом, точно ли она ничего не чувствует. Опыт всем показался жестоким, а потому тут же были приготовлены все в случае неудачи необходимые средства для заживления раны. Доктор вынул из кармана железную пластинку. Магнетизер торжественно объявил, что сомнамбула не обратит внимания на боль даже после пробуждения, если только средство это послужит к убеждению неверующих. Принесли жаровню с горячими угольями, и доктор раскалил пластинку. Но тут вдруг сильная судорога

передернула тело сомнамбулы, и она, глубоко вздохнув, проснулась от своего магнетического сна, жалуясь на сильную дурноту. Доктор бросил на нее проницательный взгляд, остудил свою пластинку в стакане намагнетизированной воды, стоявшем на столе, и спрятал ее в карман, а затем, взяв шляпу и палку, вышел вон из комнаты. У меня точно повязка упала с глаз; пристыженный поспешил я вслед за ним, весь полный нелестной для меня мыслью, как ловко одурачила почтенная госпожа и добряка магнетизера, и всех нас. К сожалению, должно прибавить, что опыт умного старого доктора не разочаровал ни преданного делу магнетизера, ни прочих фанатиков, присутствующих на сеансах с благоговением, словно они в церкви. Но что до меня, то магнетизм упал с тех пор в моем мнении окончательно, и я не хотел более о нем слышать.

Скоро после того отозвали меня в Б***. Там тоже только и разговоров было что о магнетизме, хотя настоящих опытов производимо не было. Рассказывали даже, что один известный и тоже пожилой врач, подобный тому, который прославился знаменитым противосомнамбулическим железом, был в то же время директором тамошнего госпиталя и решительно высказался против всякого магнетического лечения и даже запретил заниматься им подчиненным ему врачам.

Но какого же было мое изумление, когда через некоторое времени я услышал, что тот же самый врач стал применять, хотя и тайно, магнетическое лечение в своем госпитале!

Я познакомился с ним и стал настойчиво искать случая поговорить о магнетизме; но он постоянно избегал разговора на эту тему. Наконец после многих попыток завести речь об этом предмете и когда он, по-видимому, убедился, что я кое-что в нем смыслю, он спросил меня, каким способом применялось магнетическое лечение в столице. Я не задумываясь рассказал ему случай с сомнамбулой, так прозаически упавшей с неба на землю перед страхом быть немножко поджаренной. "Ну вот! Ну, вот!" -- пробормотал он, сверкнув глазами, и тотчас же переменил разговор. Только позже, когда я еще более вошел к нему в доверие, высказал он мне, наконец, свое мнение о магнетизме, причем объявил, что он вполне верит в существование этой таинственной силы природы, убежденный в том несомненными опытами, но что вместе с тем он считает эти опыты делом весьма опасным, которое может быть доверено только совершенно спокойным по характеру и чуждым всякого увлекающегося энтузиазма врачам. Нигде, продолжал он, самообман не может быть так опасен, как в магнетизме, так что делом этим, по его мнению, не следовало заниматься даже тому, кто, наслышавшись много о его чудесах, не может сохранять необходимое спокойствие духа и трезвого взгляда на предмет. Заманчивая мысль войти в сообщение с миром духа слишком сильно действует на

поэтические или экзальтированные натуры и невольно увлекает воображение на ложный путь. Обаяние власти магнетизера над чужим духовным существом нередко побуждает к неверным, вредным опытам там, где следовало бы пользоваться этой властью как крепкой, разумной уздой. Он не отрицал, что употреблял магнетизм как врачебное средство в своем госпитале, но разрешал это только избранным врачам под собственным строжайшим надзором, почему и был вполне уверен, что при этом не только не произойдет никакого вреда, но, напротив, последует неоспоримая польза, как для лечения больных, так и для обогащения науки сведениями об этом таинственнейшем из всех средств. В заключение, взяв с меня слово хранить тайну, чтобы не привлечь слишком много любопытных, он обещал мне дать возможность присутствовать при врачебном магнетическом сеансе, как скоро к тому представится случай.

Случай, действительно, дал мне скоро возможность видеть одну из замечательнейших сомнамбул. Дело было так: раз к врачу явились из небольшой деревни, лежавшей на расстоянии часов около двадцати от Б***, родители одной шестнадцатилетней девочки и с горькими слезами описывали ему положение их дочери. По их словам, она была не то больна, не то здорова. Не чувствуя никаких болезненных ощущений, она пила и ела, как все; спала иногда по целым суткам, но вместе с тем чахла и худела с каждым днем и, наконец, потеряла силы до того, что не могла заниматься ровно никакой работой. Врач остался убежден, что несчастный ребенок страдал сильным нервным расстройством, и решился употребить магнетическое лечение, причем объявил родителям, что лечить их дочь в деревне не было никакой возможности, но что здесь, в Б***, он отвечает за ее полное исцеление, для чего и предложил им поместить больную в его госпитале, где она будет без всякой с их стороны платы окружена всеми нужными попечениями. Родители, не без борьбы, решились исполнить его совет. Мне удалось увидеть больную еще до начала магнетического лечения. Она была помещена в светлой, высокой комнате, прекрасно приспособленной для содержания больной. Нежное ее сложение представляло удивительный контраст с сословием, в котором она родилась, а тонкие черты лица могли бы назваться даже красивыми, если бы их не портили закрытые глаза и мертвенная бледность губ. Умственное ее развитие, может быть, вследствие болезни, казалось крайне ограниченным, и она с трудом отвечала со своим местным крестьянским выговором на самые обыкновенные вопросы. Директор выбрал для нее магнетизером молодого, здорового ассистента доктора, со светлым, добродушным лицом, убедившись предварительно, что больная не имела против него никакой природной антипатии. Лечение началось. О любопытных посетителях, фокусах или о чем-нибудь подобном не могло быть и речи. При сеансах присутствовали только

магнетизер, директор, с напряженным вниманием следивший за всякой мелочью, да я. Больная сначала, по-видимому, мало подчинялась влиянию магнетизера, но мало-помалу дошла, в течение трех недель, до состояния совершенного ясновидения. Я не буду описывать вам всех поразительных явлений, которым был свидетель, но скажу только, что здесь, где не могло быть и речи о каком-нибудь обмане, я убедился вполне в существовании того состояния, которое адепты магнетизма зовут высшей степенью ясновидения. В состоянии этом, как говорит Клуге, связь между субъектом и магнетизером становится так тесна, что магнетизируемый не только сию же минуту чувствует, что мысли магнетизера сделались рассеянными или отклоняются от его положения, но может даже прямо читать в его душе. Он совершенно подпадает под его власть и может действовать и говорить только его духом и способностями. Описываемая мною девочка находилась именно в таком положении. Из всех поразительных виденных мною фактов я, чтобы не утомлять вашего внимания, расскажу только один, но зато, по моему, самый замечательный. Представьте, что сомнамбула во время усыпления говорила совершенно правильным, чистым языком и отвечала на вопросы, которые магнетизер ей ласково задавал, точь-в-точь в духе и характере его собственных выражений. И при этом губы ее и щеки покрывались здоровым румянцем и самые черты лица как будто облагораживались.

Немало дивился я тогда этому совершенному уничтожению нравственного существа сомнамбулы и ее полному подчинению чужому духовному началу. Признаюсь, глядя на нее, я чувствовал иногда невольный ужас. Я не мог подавить искреннего сожаления о бедняжке, в особенности, когда после успешного окончания лечения она, здоровая и расцветшая, рассыпалась опять на своем уродливом, прежнем жаргоне в благодарностях директору и магнетизеру. Директор понял мое чувство и, по-видимому, вполне его разделял, но мы ни разу об этом не говорили. Никогда с тех пор не приходила мне в голову охота вновь присутствовать при магнетическом лечении; да и в самом деле, что мог бы я из этого вынести? Пример был так ясен и чист, что я вполне уверовал в силу магнетизма, но вместе с тем помнил и то чувство томительного ужаса, который ощущал, стоя на краю этой ужасной бездны. Потому в заключение скажу, что относительно этого предмета держусь совершенно мнения Лотара.

-- Я также, -- перебил Оттмар, -- присоединяюсь к этому мнению, и таким образом мы все, как говорится, очутились под одним колпаком. Какой-нибудь заядлый врач-магнетизер, наверно, сделал бы нам строгий выговор, что мы, слабые смертные, дерзаем ощущать ужас пред откровением такой истины, но, вероятно, это не заставило бы нас переменить чувства. Мы должны, однако, признать за магнетизмом ту заслугу, что он, вероятно, часто служил могущественным рычагом в

наших серапионовских трудах, побуждая наши духовные силы к творчеству. Ты первый, любезный Лотар, уверен я, находился под его влиянием, когда писал твою назидательную сказку о Щелкунчике и мышинном короле! Ведь твоя Мари, ни более ни менее, как маленькая сомнамбула! Однако как же далеко зашли мы по поводу разговора о Винценте!

-- Переход был очень естественен, -- сказал Лотар, -- и нить разговора наметилась сама собой. Если Винцент будет посещать наши собрания, то мы услышим еще много чудных, таинственных вещей; ведь это его конек. Однако Киприан уже довольно долго не вмешивается в наш разговор и перелистывает вынутую из кармана тетрадь. По справедливости, мы должны уступить ему честь и место для облегчения его души и сердца.

-- Разговор ваш о магнетизме, -- сказал Киприан, -- действительно, порядочно мне наскучил, и если вы разрешаете, то я прочту вам серапионовский рассказ, заимствованный мной из Нюрнбергской хроники Вагенфейля. Прошу только помнить, что это будет не антикварное, сухое исследование знаменитого Вартбургского состязания, но просто ясный легкий рассказ, навеянный на меня воспоминанием об этом событии.

Киприан прочел:

СОСТЯЗАНИЕ ПЕВЦОВ

Около той поры, когда весна готова расстаться с зимой, в ночь на равноденствие, сидел он в уединенной комнате и перелистывал книгу Иоганна Христофа Вагенфейля о дивном искусстве мейстерзингеров. Буря завывала вокруг, вздымая пыль с полей; тяжелые капли дождя со звоном колотились в оконные стекла; ветер шумел в печных трубах, а лучи полной луны, прорывая гряды облаков, рисовались на стене комнаты, точно бледные прозрачные фигуры. Но он не замечал ничего и, закрыв книгу, молча устремил взгляд на весело трещащий в камине огонь. В душе его внезапно поднялись дивные образы прошлого, о которых повествовала книга, и мало-помалу стало ему казаться, что какой-то легкий туман, опускаясь сверху, окутал пеленой и его, и все окружавшие предметы. В диком реве бури и в треске горевшего огня стал ему чудиться тихий таинственный шепот, а какой-то внутренний голос говорил, что это сон, тот самый дивный сон, который, слетая на радужных крыльях, проникает в нашу сердце, как чистый душой младенец, и тихим, легким поцелуем снимает с глаз пелену, мешавшую им видеть наяву картины иной, высшей жизни, в их полном, чарующем блеске. Какой-то, бледный свет, точно нескончаемая молния, разлился

вокруг. Заснувший открыл глаза: туман исчез, и он увидел себя лежащим на траве, в тихую лунную ночь, в прелестной зеленой роще. Вокруг раздавались журчание ручьев и шепот листьев, пронизываемые громкими трелями соловья. Свежий утренний ветерок разогнал облака, застилавшие восток, и скоро первые лучи солнца заиграли на зеленых листьях. Птички, пробудясь, защебетали среди ветвей. Вдали слышались веселые звуки рогов. Олени и серны зашевелились, некоторые, просунув головы сквозь кусты, с любопытством глядели на него своими прекрасными, человеческими глазами и затем опять боязливо прыгали в чащу. Рога умолкли, но вместо них, точно небесная музыка, слышались полные, звучные аккорды арф, сопровождавшие какую-то песню. Все ближе и ближе раздавались голоса; охотники с копьями в руках и блестящими рогами на перевязях тихо выехали из глубины леса. За ними, на прекрасной гнедой лошади следовал рыцарь в княжеской мантии, одетый в средневековый немецкий костюм; рядом на небольшом иноходце ехала красивая, прекрасно одетая дама. Шестеро мужчин с важными и задумчивыми чертами лица, какие встречались только в старину, следовали за ними, сидя на лошадях разных мастей. Закинув поводья на шею коней, они, играя на арфах и лютнях, пели ту самую песню, которая раздавалась в лесу, причем кони, привыкшие к звукам, казалось, пританцовали, гарцуя перед княжеской четой, а в промежутках пения охотники подхватывали ту же мелодию на рогах, сливавшуюся с веселым ржанием коней. Пажи и оруженосцы в праздничных одеждах замыкали торжественную вереницу, мало-помалу исчезающую в густой чаще леса.

Тогда, пораженный и изумленный виденным, он поднялся со своего ложа и воскликнул вдохновенным голосом:

-- О Боже! Неужели передо мной восстало из гроба дивное старое время? Кто эти прекрасные люди?

Вдруг глухой голос раздался ему в ответ:

-- Неужели не узнаешь ты тех, о ком думаешь постоянно?

Он оглянулся и увидел возле себя почтенного старика в черном, с вьющимися локонами парике и в черном же, приблизительно так, как одевались в тысяча шестьсот восьмидесятом году, костюме; он тотчас узнал старого профессора Иоганна Христофа Вагенфейля, продолжавшего свою речь следующим образом:

-- Неужели ты не догадался, что человек в княжеской мантии не кто иной, как славный ландграф Герман Тюрингский, а дама рядом с ним, звезда красоты, благородная графиня Матильда, молодая вдова умершего ранней смертью графа Куно фон Фалькенштейна? Шесть следующих за ними и играющих на лютнях певцов -- это шесть славных мейстерзингеров, которых благородный граф, движимый любовью к высокому искусству, пригласил к своему двору. Теперь все они заняты охотой, а потом соберутся на прекрасном зеленом лугу

среди леса и начнут петь свои песни. Мы сейчас отправимся туда, чтобы прибыть раньше, чем окончится охота.

И затем оба пошли на отдаленный звук рогов, лай собак и восклицания охотников, повторяемые лесным эхом.

Все произошло совершенно так, как говорил Вагенфейль. Едва достигли они зеленого луга, как в тот же миг увидели приближавшихся ландграфа, графиню и мейстерзингеров.

-- Я назову тебе, -- сказал Вагенфейль -- каждого из певцов. Видишь этого статного, с открытым, веселым лицом красавца, верхом на светлокарой лошади, которая чуть не пляшет под его седлом, смотри, смотри -- вот ландграф говорит с ним, и он весело смеется в ответ. Это славный Вальтер фон дер Фогельвейде. А вон тот широкоплечий, с густой курчавой бородой и рыцарским вооружением, Рейнгард фон Цвекштейн. Там дальше, верхом на пегой лошади, едет в сторону леса и смотрит с таким вниманием, улыбаясь, точно перед ним встают какие-то чудесные образы, -- это Генрих Шрейбер. Он, должно быть, занят какой-нибудь посторонней мыслью и, по-видимому, вовсе не думает ни о зеленом луге, ни о пении; вот он въехал в самую чащу, так что ветви хлещут его по лицу. А вот поскакал за ним Иоганн Биттерольф, статный мужчина на буланом коне, с короткой рыжеватою бородой. Он кличет Шрейбера; тот оглянулся, точно пробудясь от сна, и теперь оба возвращаются назад. Но что там за шум в кустарниках? Точно ветер гудит по лесу. Нет, это мчится какой-то всадник и так яростно шпорит лошадь, что она вся в поту и пене. Каков красавец! Как блестят его глаза! Как передергиваются черты его лица, точно он страдает и хочет умчаться прочь от своего горя! Это Генрих Офтердинген. Но что же могло с ним случиться? Он ехал спокойно и пел вместе со всеми. Взгляни! Видишь этого рыцаря на белом, арабском скакуне, видишь как он, ловко подлетев к графине Матильде, сразу осадил свою лошадь и любезно подает ей руку, чтобы помочь сойти с седла; как явно говорят его голубые глаза, что он любит и не может налюбоваться красавицей! Это Вольфрам фон Эшенбах. Но вот все они спешили, и сейчас начнут пение.

Каждый из мейстерзингеров спел, по очереди, прекрасную песню, и легко было заметить, до чего старался каждый новый певец превзойти своего предшественника. Но это не удалось, однако, ни одному: до того одинаково ровно и одинаково блистательно пели все. Однако графиня Матильда, видимо, желала отдать победный венок Вольфраму фон Эшенбаху. Заметив это, Генрих Офтердингер быстро вскочил со своего места, сверкая темными глазами, бросился на середину арены состязания и, сорвав с головы берет, так что волосы рассыпались по бледному лицу, воскликнул:

-- Стойте! Награда еще не выиграна! Прежде должна прозвучать моя песня, и тогда пусть ландграф решает, кому получить этот венец!

Необычная, странного вида лютня вдруг появилась неизвестно откуда в его руках, и едва он ее тронул, то весь лес словно вздрогнул под ее страстным, могущественным звуком. Сильным, звучным голосом запел он свою песню. В ней прославлял он, не называя имени, короля, главу всех прочих королей, и его одного считал достойным быть воспетым певцами, если только правда и честь вдохновляли их сердца. Дерзкая насмешка не раз сквозила в словах его песни. Ландграф гневно смотрел на смелого певца. Прочие певцы встали и запели хором, но Офтердинген хотел заглушить всех. Все сильнее и сильнее ударял он в струны, пока, наконец, они не оборвались с громким стоном под его руками.

Вдруг какая-то страшная темная фигура внезапно встала из-под земли и, схватив Офтердингена, подняла его высоко в воздух. Песня мейстерзингеров замолкла в раскатах отдаленного эхо; черный туман, спустясь сверху, накрыл и лес, и арену темным покровом. Вдруг яркая светлая звезда зажглась в облаках и полетела по небосклону. За ней вслед понеслись певцы, играя на своих лютнях. Бледный свет озарил все пространство, и лес, словно пробудясь от зачарованного сна, весело загудел в ответ на их дивные песни.

Ты догадываешься, любезный читатель, что сон этот видел тот самый автор, который хочет рассказать тебе историю о певцах в том самом виде, в каком он узнал ее от Иоганна Христофа Вагенфейля.

Часто случается, что, завидя вдали заинтересовавшие нас образы, мы с разгоревшимся любопытством бросаемся к ним, чтобы узнать, что это такое; мы подходим все ближе и ближе; вот они делаются яснее, краски становятся ярче; кажется, уже различимы их лица и слышен разговор, но тут вдруг словно какой-то колдовской туман скрывает все из наших глаз, и поразивший нас предмет оказывается пустым миражом. Напрасны будут все усилия заставить эти образы явиться вновь в прежнем блеске, хотя и очень бы хотелось, иной раз, увидеть вблизи то, что казалось таким прекрасным издали!

Если только что рассказанный сон возбудил в тебе, любезный читатель, подобную мысль, то дай смело мне руку, и я поведу тебя прямо в Вартбург, ко двору ландграфа Германа Тюрингского.

МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ В ВАРТБУРГЕ

Это было около тысяча двести восьмого года, когда благородный покровитель высокого искусства пения ландграф Тюрингский собрал к своему двору шесть лучших мейстерзингеров того времени. Это были: Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде, Рейнгард фон Цвекштейн, Генрих Шрейбер и Иоганн Биттерольф -- все давно

посвященные в рыцари, и только один, Генрих Офтердинген из Эйзенаха, не имел этого звания, что, впрочем, отнюдь не мешало им жить в добром мире и согласии как служителям одной религии, посвятившим все свои силы и мысли высокому искусству пения, этому дивному и лучшему из даров, какими благословил Бог людей.

Хотя каждый отличался своеобразным, ему одному свойственным талантом, но так, как различные тона гаммы соединяются в один стройный величественный аккорд, точно таким образом и разный характер пения не мешал гармоническому сочетанию их дарований в одно целое, подобно различным лучам, исходящим из одной и той же звезды. Никто не считал своего таланта лучшим и, напротив, высоко чтил манеру и искусство каждого из товарищей, ставя несравненно выше значение общего их кружка в сравнении с искусством каждого по отдельности. Все они хорошо понимали, что каждый отдельный тон звучит чище и сильнее, когда вызывает себе в ответ звучание другого, родственного с ним тона. Если песни Вальтера фон дер Фогельвейде отличались благородством, нежностью и смелостью веселья, то в голосе Рейгарда фон Цвекштейна звучал оттенок какой-то истинно рыцарской твердости и прямооты. Если Генрих Шрейбер изумлял глубиной своих познаний и исторической верностью, то Иоганн Биттерольф отличался блеском образов и богатством фантазии.

Песни же Генриха Офтердингена проникали до глубины сердца своей задушевностью и какой-то страстной тоской, которую он умел возбудить в груди присутствующих. Но порой прорывались в нем и жесткие, суровые слова, след глубокого скрытого горя, от которого так сжимало сердце, что появлялось невольное желание бросить иной раз желчный, презрительный упрек в лицо слушателя. Ни один из певцов не обладал в подобных случаях такой силой слова, как Генрих.

Вольфрам фон Эшенбах был родом из Швейцарии. Его песни, полные ясной чистоты и спокойствия, напоминали светлое, голубое небо его родины. Его голос звучал, как гармоничный звон колоколов или как нежные звуки свирели. Но и шум горных водопадов, прерываемый раскатами грома, мелькал иногда в его пении. Слушавший его песни, казалось, плыл вместе с ним по волнам быстро несущегося потока, или убаюкиваемый мирным движением волн, или, напротив, вступая с ними в упорную борьбу, после которой ждала его мирная приветливая пристань.

Несмотря на свою молодость, Вольфрам фон Эшенбах считался лучшим из всех собравшихся при дворе певцов. С самого раннего детства преданся он изучению искусства и, прежде чем достиг высокого звания мейстерзингера, странствовал по многим землям, пока, наконец, не сделался учеником известного певца Фридебранда, завершившего его образование. Под руководством учителя он записал и выучил множество песен, очень расширивших его кругозор и

сделавших ему ясным многое, что прежде мелькало перед ним в одних смутных образах. Особенно много передал ему Фридебранд шотландских легенд, послуживших Эшенбаху темой для поэмы о Гамурете, сыне его Парцифале, маркграфе Вильгельме Парбенском, о сильном Ренневарте и многих других, переведенных впоследствии по просьбе мейстерзингеров Ульрихом Тюркгеймом на обычный немецкий язык и изданных отдельной книгой, так как не все могли понимать высокий стиль Эшенбаха. Таким образом слава Эшенбаха распространилась далеко и приобрела ему милость многих князей и герцогов. С великой честью принимали его при их дворах, и, наконец, прославленный везде, был приглашен он просвещенным ландграфом Германом Тюрингским.

Чудесный талант, а также приятный, открытый характер Эшенбаха скоро приобрели ему благоволение и милость ландграфа, и многие стали замечать, что прежний его любимец, Генрих Офтердинген, со времени прибытия Вольфрама отодвинулся несколько на второй план. Это, однако, нимало не возбудило зависти Генриха, и он, по-прежнему, остался в лучших отношениях с Вольфрамом, отвечавшем ему также самой искренней любовью. И так сияли они оба, как две прекрасные звезды на ночном небосклоне, окруженные блестящим созвездием других мейстерзингеров.

ТАЙНА ГЕНРИХА ОФТЕРДИНГЕНА

Страстный, нервный характер Офтердингена начал с некоторого времени выказываться с особенной силой. Лицо его сделалось бледно, взгляд мрачен. В то время как прочие мейстерзингеры выбирали содержанием для своих песен события из священного писания или восхваляли подвиги рыцарей и красоту дам, в песнях Офтердингена звучало выражение одной томительной муки, похожей на стоны тяжелораненого, напрасно умоляющего смерть покончить с его страданиями. Окружающие объясняли это несчастной любовью, и напрасен остался всякий труд проникнуть его тайну. Сам ландграф, искренно любивший Генриха, предпринял в минуты откровенной беседы вывести причину его страданий и обещал своим княжеским словом сделать все от него зависящее, чтобы удалить угрожавшее ему зло или помочь исполнить мучившее его желание, но и он сумел не более других выяснить причину скорби бедного молодого человека. "О мой благородный повелитель! -- воскликнул в ответ Офтердинген, не будучи в состоянии удержать горячих слез, катившихся по его щекам. - Поверьте, я сам не могу понять, что за адское чудовище мучит и гложет мне душу, порвав мою связь и с небом, и с землей, которой я

больше не принадлежу и не могу найти ни минуты покоя! Языческие поэты рассказывают о существовании теней умерших, отвергнутых и раем, и Орком. Там, на берегу Ахерона, бродят они, наполняя жалобами на свою ужасную судьбу мрачный воздух, недоступный ни одному лучу надежды. Но напрасны их стоны! Суровый перевозчик безжалостно отталкивает их от своей лодки! Вот то состояние, в каком нахожусь я!"

Скоро после разговора своего с ландграфом Офтердинген, серьезно заболев, должен был оставить Вартбург и поселиться в Эйзенахе. Мейстерзингеры глубоко сожалели о безвременной потере лучшего цветка из их поэтической гирлянды, отравленного непонятным ядовитым влиянием. Вольфрам Эшенбах, однако, не отчаивался и даже полагал, что переход душевной болезни Офтердингена в телесное страдание может служить знаком скорого выздоровления. Ведь бывает же, думал он, что душа иногда таинственно предчувствует зарождающуюся в теле болезнь. Может быть, это случилось и с Офтердингеном, которому он в будущем намеревался посвятить все свои заботы и попечения.

Вольфрам отправился в Эйзенах. Придя к Офтердингену, застал он его лежавшим на постели с мертвенно-бледным лицом и полузакрытыми глазами. Расстроенная, с наполовину оборванными струнами лютия висела на стене. Увидев друга, Генрих приподнялся на постели и протянул с грустной улыбкой руку. Вольфрам передал ему полное сердечных пожеланий приветствие ландграфа и прочих мейстерзингеров. Офтердинген выслушал и затем сказал слабым голосом:

-- Я много перенес в это время. Знаю, что вы с полным правом можете называть меня безумцем или подозревать, что какая-нибудь страшная тайна тяготит мое сердце. Но, увы! Тайна эта была скрыта от меня самого. Какое-то неведомое горе терзало мне грудь, и напрасны были все мои попытки узнать его причину. Все, чтобы я ни предпринимал, казалось мне до того пустым и ничтожным, что сами мои песни звучали в моих ушах какой-то ложью и фальшью, достойными начинающего ученика. И при все этом, я, ослепленный какой-то дерзкой уверенностью, думал победить тебя и других на состязании. Счастье и радость, к которым я простирал руки, стояли где-то там, недостижимо высоко, сияя, как золотые звезды, и я чувствовал, что мне следовало или достичь их, или погибнуть. Я сделал попытку достигнуть; я простер к ним руки, но тут точно какой-то ледяной ветер прогудел мне с насмешкой: "Чего ты ищешь? на что надеешься?.. Ты! слабый и больной слепец!.. Ты не в состоянии перенести даже вида твоих надежд и счастья, а не только что их достигнуть!" Таким образом, тайна опять сомкнулась перед моими глазами. Я чувствую, что умру и утешаюсь мыслью, что смерть даст

мне блаженство покоя. Раз как-то, лежа в постели, я почувствовал, что порыв мучившей меня лихорадки как будто смягчился. Приятная теплота разлилась по моим членам. Мне чудилось, что я несея в каком-то голубом просторе, над грядой темных, грозowych облаков. Вдруг молния сверкнула под моими ногами, и я, сам не зная как, невольно вскрикнул: "Матильда!" Все исчезло в один миг, и я проснулся. Сердце во мне стучало точно от какого-то страха и в то же время неизъяснимого блаженства. Матильда! -- звучало еще в моих ушах, и мне казалось, что лес, горы и скалы еще гудели отголоском сладкого имени, что тысяча голосов передавали ей самой, как безумно люблю я ее! Ее -- звезду, горевшую в моем сердце, пробудившую в нем все муки безнадежной любви и заставившую забыть все, кроме мысли о ней и ее совершенстве!

Теперь, Вольфрам, ты знаешь мою тайну, и я умоляю похоронить ее в твоём сердце. Ты видишь, я успокоился и конечно, поверишь моему слову, что я скорее погибну, чем решусь упасть в вашем общем мнении, обнаружив мою безумную страсть. Тебе, тебе одному, также любящему Матильду, кому она отвечает тем же, должен был я во всем сознаться! Едва выздоровев, я унесу мои муки далеко, в чужую землю, и тогда только можешь ты открыть Матильде, что я...

Тут молодой человек не выдержал и, упав на постель, спрятал голову в подушки, оборотясь к стене лицом. Громкие рыдания выдавали борьбу, кипевшую в его сердце.

Вольфрам был глубоко поражен признанием, которое сделал ему Генрих. С опущенной головой сидел он возле его ложа, погруженный в глубокое раздумье о том, как как спасти друга от его безумной страсти, которая влекла его к неизбежной гибели.

Он употребил все свое красноречие, чтобы убедить бедного юношу возвратиться вновь в Вартбург и сделать смелую попытку приобрести благосклонность Матильды. Он говорил, что сам приобрел ее расположение песнями, а потому и Офтердинген при его замечательном таланте мог надеяться на то же самое. Но Генрих только печально покачал ему в ответ головой и сказал:

-- Никогда не увидите вы меня в Вартбурге! Для чего лететь в огонь на верную гибель? Я могу умереть тихой смертью и здесь!

Вольфрам удалился, а Генрих остался в Эйзенахе.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ С ОФТЕРДИНГЕНОМ

Часто случается, что муки любви, поселившись в нашем сердце, в конце концов в нем осваиваются и вместо острых страданий превращаются в тихую, порой даже как будто приятную грусть.

Резкость пропадает и заменяется спокойными жалобами на судьбу, которые, возвращаясь в сердце, как эхо, исцеляют иной раз нанесенные ему раны. Это случилось и с Генрихом Офтердингеном. Несчастливая любовь жила по-прежнему в его сердце, но мрачный взгляд на жизнь начал мало-помалу проясняться и даже сменился надеждой, точно почувствовав сладкое приближение весны. Как будто сама Матильда улыбалась ему откуда-то сверху и вдохновляла на сочинение прекраснейших песен. Лютня была снята со стены и приведена в порядок, струны натянуты вновь, и однажды в чудесный день только что наступившей весны Генрих, взяв ее, отправился прогуляться.

Неодолимая сила невольно влекла его в ту сторону, где был Вартбург. Завидя издали башни замка и подумав, что он более никогда не увидит Матильды, что любовь его навсегда останется одним напрасным стремлением и что Вольфрам выиграл соперничество благодаря могуществу своего таланта, Генрих невольно почувствовал, как к нему возвращаются прежние муки ревности и как темным покровом оделись возникшие было в его сердце надежды. Мгновенно вернулся он назад, точно преследуемый злым духом, заперся опять в своей уединенной комнате и напрасно пытался вновь вызвать песнями свои радостные мечты, рисовавшие перед ним образ возлюбленной.

Долго боролся он с неодолимым искушением, увлекавшим его в Вартбург, но наконец не выдержал и, сам не зная как, очутился опять в лесу, откуда были видны замок и его башня. Дойдя до открытой поляны, окруженной деревьями и колючим кустарником, стал он взбираться на огромную, покрытую мхом скалу. Замок открывался с ее вершины, как на ладони. Присев на обломок камня, думал бедный молодой человек хотя бы в мечтаниях заглушить преследовавшее его горе.

Солнце давно закатилось. Поднявшийся туман озарился бледным сиянием месяца; ночной ветер загудел между ветвями деревьев, и листья кустарников, точно в лихорадочном припадке, вздрагивали под его порывами; ночные птицы выползли из расщелин скал и закружились с криком над головой Генриха, а шум ручьев и горных водопадов стал явственнее и слышнее. Но едва лучи полного месяца проникли в самую глубину леса, в воздухе внезапно пронесся звук отдаленной песни. Генрих вскочил. Он узнал голоса своих друзей, которые пели в Вартбурге благочестивый вечерний гимн. Ему почудилось, что он видит благосклонный взгляд Матильды, устремленный на Вольфрама: сколько любви и блаженства было в этом взгляде и какое же райское счастье должен был он пробуждать в душе счастливца! В тоске схватил Генрих свою лютню и запел. Запел так, как, может быть, не пел никогда. Ветер утих, кусты и деревья замерли. Звуки песни Генриха лились и проникали в лес вместе с лучами месяца. Он хотел было закончить, уже звуки его голоса замирали в

отдаленном отголоске, как вдруг резкий злобный смех раздался где-то вблизи. В ужасе обернулся Генрих и увидел темную высокую фигуру, стоявшую как раз подле него, и прежде чем он успел прийти в себя от неожиданности этого появления, незнакомец заговорил с ним презрительным тоном:

-- Давно брожу я здесь, чтобы подсмотреть, кто напевает тут песни! Так это Генрих Офтердинген? Следовало бы мне догадаться об этом прежде, слушая самого плохого из всех собравшихся в Вартбурге так называемых певцов! Такая глупая, без толку и смысла песня, конечно, могла быть пропета только им!

Генрих наполовину испуганным, но еще более раздраженным оскорбительной речью незнакомца голосом воскликнул:

-- А кто ты сам? И если ты меня знаешь, то как смеешь оскорблять подобными словами?

С этими словами он схватился за рукоятку меча. Незнакомец засмеялся опять; луч месяца осветил в эту минуту окрестности, и Офтердинген мог ясно рассмотреть его пронзительные глаза, бледное лицо, рыжую остrokонечную бороду и злую, искривлявшую неприятный рот улыбку. Богатое черное платье и украшенный черными перьями берет дополняли таинственное впечатление, которое производила вся его фигура.

-- О прошу, прекрасный юноша, оставь в покое оружие и не горячись из-за того, что я дурно отозвался о твоих песнях, -- сказал незнакомец. - Я знаю, что певцы -- очень самолюбивый народ, который непременно требует, чтобы все удивлялись каждому звуку вашей лютни, будь это даже самое жалкое бречание. Но именно потому, что я не подчиняюсь этому требованию, а, напротив, прямо присваиваю тебе вместо имени мейстерзингера звание жалкого ученика, должен ты понять, что я искренно желаю тебе добра.

-- Как можешь ты, -- прервал неприятно задетый Офтердинген, -- быть моим другом или желать мне добра, когда я даже ни разу тебя не видел?

Незнакомец, не отвечая на этот вопрос, продолжал:

-- Славное здесь место да и ночь хороша! Тебе рано возвращаться в Эйзенах, а потому я, пожалуй, посижу с тобой при этом лунном свете, и мы кое о чем поболтаем. А ты внимательно слушай, что я скажу: это принесет тебе пользу.

С этими словами незнакомец сел на обросший мхом камень возле Генриха, в груди которого возникло какое-то странное, непонятное чувство. Мужественный от природы, он, однако, не мог подавить в себе некоторого страха, который невольно возбуждал в нем голос и вся личность незнакомца в этом диком, уединенном месте. Ему казалось, что какая-то сила увлекала его по крутизне ската, на котором они сидели, и угрожала сбросить в быстро бегущий горный поток. И в то

же время он чувствовал себя расслабленным и не способным сопротивляться.

Незнакомец между тем нагнулся к Офтердингену и сказал ему тихо, почти на ухо:

-- Сейчас слышал я в Вартбурге писклявые завывания этих твоих мастерзингеров. А между тем графиня Матильда осталась ими очень довольна и находится теперь в самом лучшем расположении духа.

-- Матильда! -- с неизъяснимой горестью воскликнул Офтердинген.

-- Ого! -- засмеялся незнакомец. -- Имя это, кажется, на тебя действует? Да что, впрочем, нам об этом толковать, поговорим лучше об искусстве. Очень может быть, что все вы, сколько вас есть, довольны вашими песнями, но я еще раз повторю, что истинного, глубокого искусства нет ни в одном из вас. Я тебе докажу, что, идя по той дороге, которую вы избрали, ни один из вас не достигнет предполагаемой цели.

Тут незнакомец, вдохновясь, заговорил в каких-то странных, но резких и сильных выражениях об истинном искусстве пения, и по мере того, как он говорил, Генрих чувствовал, что в душе его бурно вставали совершенно неведомые ему до того образы и возникали новые мысли. Каждое слово незнакомца ослепляло его, как молния, и так же, как молния, быстро сверкнув, мгновенно исчезало.

Полный месяц взошел между тем высоко над лесом. Генрих и незнакомец сидели, словно облитые его сиянием, и Генриху казалось теперь, что черты лица его собеседника были далеко не так некрасивы, как он нашел с первого взгляда. Правда, странный и как будто зловещий огонь все еще сверкал в его глазах, но улыбка тонких губ была гораздо приветливее, а ястребиный нос и высокий лоб придавали всему лицу выражение силы.

-- Я не могу выразить, -- сказал Офтердинген после того, как незнакомец замолчал, -- какое странное чувство возбудила во мне ваша речь! Мне кажется даже, во мне только теперь пробудилось истинное понимание искусства, и я чувствую сам, как слабо и ничтожно было все, что сочинял я до сих пор. Вы, без сомнения, сами великий мастер в искусстве пения, и я надеюсь, что не откажете принять меня в число ваших преданных, прилежных учеников?

При этих словах прежняя злая улыбка опять мелькнула на лице незнакомца; он встал и, выпрямившись во весь свой огромный рост, взглянул снова так холодно и страшно, что Генрих невольно почувствовал, как к нему вернулся его ужас.

-- Ты думаешь, -- воскликнул незнакомец резким, далеко разнесшимся по ущелью голосом, -- что я великий мастер в искусстве пения! Порой я бываю им, но заниматься с учениками у меня времени нет! Впрочем, добрый совет я могу дать всякому, кто, как ты, пожелает им воспользоваться. Слыхал ли ты когда-нибудь имя славного певца

Клингзора? Люди болтают, что он чародей и связался с тем, чье имя не всякий любит произносить вслух, но ты этому не верь, потому что люди привыкли приписывать или небу, или черту все, что они не в состоянии понять. Так вот, этот самый Клингзор может тебе лучше меня указать путь, по которому ты должен следовать. Ступай к нему; он живет в Трансильвании. Ты увидишь сам, как заветнейшие дары науки и искусства -- богатство, почести, благосклонность женщин -- открываются перед избранными! Будь он здесь, ему стоило бы только мигнуть, чтобы графиня Матильда забыла своего швейцарского пастушка Вольфрама.

-- Не смей произносить этого имени! -- гневно крикнул
Офтердинген. -- Ступай прочь! Мне с тобой страшно!

-- Ого! -- засмеялся незнакомец. -- Ну, ну, не сердись, бедный юноша! Тебя заставляют дрожать ночная сырость и нежная кожа, а не страх. Вспомни, как тепло и уютно было тебе, когда я сидел подле. Да и что значат холод и дрожь! Я мигом согрею тебя до самых костей! Повторяю, что только песни Клингзора могут завоевать сердце графини Матильды. Я нарочно хулил твои песни, чтобы заставить тебя заглянуть в самого себя и понять свое ничтожество. Но ты, выслушав меня со вниманием, доказал, что в тебе есть хорошие задатки. Может быть, тебе суждено пойти по следам Клингзора, а тогда благосклонность Матильды тебе обеспечена. Вставай же и принимайся за дело! Твой путь в Трансильванию! А если ты не можешь отправиться туда сейчас же, то вот возьми пока эту книгу; она сочинена самим Клингзором, и в ней, кроме полезных советов, найдешь ты немало хороших, им написанных песен.

С этими словами незнакомец вынул небольшую книжку в темно-красном, отсвечивавшем в лунном свете переплете и подал ее Офтердингену; сам же, едва тот успел ее взять, быстро повернулся и исчез в чаще.

Генрих почувствовал, что на него наваливается глубокий сон. Долго ли он спал -- дать отчет себе он не мог, но, проснувшись, увидел, что солнце стояло высоко над горизонтом. Смутно припоминая случившееся, он готов был посчитать все это за сон, но книга в красном переплете, лежавшая на его коленях, ясно доказывала, что это был не сон, а явь.

ГРАФИНЯ МАТИЛЬДА. СОБЫТИЯ НА ВАРТБУРГЕ

Без сомнения, любезный читатель, тебе случалось бывать в одном из тех кружков прелестных женщин и умных, образованных мужчин, которые обыкновенно сравниваются с прекрасным, роскошным

цветником. Подобно тому, как музыка более всех других искусств возвышает и греет нашу душу, вливая радость и счастье в грудь каждого, точно так в кружке, о котором я говорю, царило, безусловно, обаяние одной очаровательной женщины, возвышавшей и украшавшей все своим присутствием. Однако в блеске ее красоты и в музыке ее речей не только не исчезали, но, напротив, еще более выделялись красота и прелесть других женщин, а мужчины черпали, глядя на нее, неиссякаемый источник слов и звуков для своих песен. Хотя названная нами царица старалась почтить в равной мере всех своей благосклонностью и ласковым обращением, но всякий присутствовавший мог легко заметить, что взгляд ее пристальнее останавливался всегда на одном молодом человеке, обычно молча стоявшем рядом с ней и напрасно старавшемся скрыть невольные слезы, выступавшие на его глазах от избытка волновавшего его чувства. Многие завидовали счастливцу, но никому, без сомнения, не приходило в голову возненавидеть его как соперника; напротив, каждый, казалось, еще больше любил и ценил его за оказанное ему предпочтение.

Все написанное в предыдущих строках имело место в действительности при дворе ландграфа Германа Тюрингского, где в прекрасном кружке благородных дам и певцов графиня Матильда, вдова графа Куно фон Фалькенштейна, была именно тем роскошным цветком, чья дивная красота разливала вокруг себя аромат блеска и счастья.

Вольфрам фон Эшенбах, очарованный красотой и умом графини, скоро полюбил ее самой пламенной любовью. Прочие мейстерзингеры, также вдохновляемые ее благосклонным вниманием, воспевали красоту графини в своих песнях. Рейнгард фон Цвекштейн называл ее властительницей его дум и говорил, что готов сражаться за нее на всех турнирах искусства и остроумия. Вальтер фон дер Фогельвейде посвящал ей свои произведения, исполненные смелой рыцарской отваги, а Генрих Шрейбер и Иоганн Биттерольф истощали все свое вдохновение на придумывание всевозможных лестных сравнений, в которых прославлялась красота графини. Но, однако, лишь только песни Вольфрама фон Эшенбаха, изливавшиеся из охваченной глубокой любовью души, попадали острыми стрелами в ни менее любящее сердце Матильды. Остальные певцы хорошо это понимали, но счастье Вольфрама, казалось, согревало их самих и своими лучами еще больше побуждало их к собственному творчеству.

Тайная любовь Офтердингена была единственным облачком, омрачавшим светлое небо блаженства Вольфрама. Он не мог скрыть томительной грусти при мысли, что Офтердинген был единственным из всех его друзей, на которого счастье Вольфрама действовало столь враждебным образом, что заставило его даже укрыться от их

общества и искать печального уединения. Иногда Вольфрам думал, что поведение Офтердингена было временным, мимолетным безумием, которое скоро пройдет, но мысль эта его мало утешала, особенно когда он сознавал, что и сам едва ли бы вынес, если бы Матильда отдала предпочтение другому.

"Чем, -- часто думал он, -- заслужил я расположение Матильды? Что нашла она во мне лучшего по сравнению с Офтердингеном? Разве я умнее, способнее, талантливее? В чем между нами разница? Власть рока, вознесшая меня и сгубившая его, могла бы сделать и наоборот. И вот теперь я, неблагодарный друг, наслаждаюсь своим счастьем, не думая протянуть ему руку помощи". Эта мысль побудила в конце концов Вольфрама отправиться в Эйзенах и во что бы то ни стало убедить Генриха вернуться в Вартбург. Но, прибыв в дом друга, он узнал, что Офтердинген внезапно исчез неизвестно куда. Печальный возвратился Вольфрам в Вартбург, где объявил ландграфу и мейстерзингерам о загадочном исчезновении Офтердингена. Тут только обнаружилось, до какой степени Генриха все любили, несмотря на неровность и иногда даже оскорбительную порывистость его характера. Его оплакивали как умершего, и много потребовалось времени, чтобы изгладить следы печального происшествия и восстановить в прежнем блеске и славе настроение поэтического кружка.

Наступила весна со всей силой и свежестью обновленной жизни. Мейстерзингеры собрались однажды в саду замка на живописной, окруженной высокими деревьями поляне. С радостью приветствовали они молодые листочки деревьев и бутоны распускавшихся цветов.

Ландграф, графиня Матильда и прочие дамы уселись в кружок, приготовясь слушать новую песню Вольфрама фон Эшенбаха, как вдруг какой-то молодой человек с лютней в руке приблизился к ним и остановился за деревом. С радостным изумлением узнали в нем мейстерзингеры потерянного Генриха, и все без исключения обратились к нему с добрыми, сердечными приветствиями. Но он, не обращая на них никакого внимания, подошел прямо к ландграфу и почтительно склонился перед ним и графиней Матильдой. Затем, обратясь к остальным, объявил он, что сумел наконец исцелиться от своей тяжелой болезни, и просил, что если по каким-либо причинам его не захотят принять вновь в число мейстерзингеров, то, по крайней мере, пусть позволят ему спеть наравне с прочими его песню. Ландграф отвечал, что хотя Генрих и был в долгой, безвестной отлучке, это вовсе не может быть причиной для исключения его из числа мейстерзингеров, и он не понимает, почему Генрих хочет сам отделить себя от собравшегося здесь кружка. Затем ландграф обнял Офтердингена и указал ему его прежнее место между Вальтером фон дер Фогельвейде и Вольфрамом фон Эшенбахом.

Скоро все заметили, вглядываясь в Офтердингена, что в нем как будто изменилось все его существо. Вместо прежней несмелой, с опущенными глазами поступи у него появился твердый шаг, с которым он и вошел в их круг с гордо поднятой головой. Хотя бледность как и раньше покрывала его лицо, но прежний растерянный, робкий взгляд стал сосредоточенным и пронзительным. Надменное выражение сменило прежнюю грусть, а губы нередко готовы были сжаться в презрительную, хотя и сдерживаемую улыбку.

Он не удостоил товарищей ни словом и молча сел на свое место. Пока другие пели, Генрих смотрел на летевшие облака, беспрестанно вертелся на своем месте, перебирал пальцами струны лютни и всеми способами выказывал неудовольствие и скуку. Вольфрам фон Эшенбах спел хвалебную песню ландграфу, а затем трогательно изобразил в стихах возвращение дорогого друга, так что все собравшиеся были искренно тронуты. Но Генрих только поморщил лоб и не ответил ни единым словом. Затем он взял, отвернувшись, из рук Вольфрама лютню и начал настраивать ее на свой лад.

С лютней вышел он на середину кружка и начал песню, до того отличную от тех, что пели другие, до того поражающую странностью своего склада и приемов, что все присутствующие были приведены в крайнее изумление. Сначала в ней выражалось необузданное стремление, точно певец с неотразимой мощью стучал в двери самой судьбы, требуя исполнения своих желаний. Затем раздалось воззвание к звездам, причем нежный, трепещущий аккомпанемент звучал, точно небесная музыка сфер, и наконец все заключилось рядом страстных, сильных аккордов, в которых выразилось глубочайшее, возможное только в раю, блаженство любви и счастья.

Все слушавшие были глубоко потрясены. Немое изумление сковало уста всех по окончании песни, и только спустя несколько минут неистовый взрыв восторга, вырвавшись из груди слушателей, сотряс воздух. Матильда, стремительно встав, подошла к Офтердингену и возложила ему на голову назначенный в награду победителю венок.

Горячий румянец вспыхнул на щеках Генриха и, упав на одно колено, страстно прижал он к губам руку красавицы. Вставая, увидел он своего верного Вольфрама, который хотел было к нему подойти, но, встретив сверкнувший взгляд Офтердингена, внезапно остановился, точно удерживаемый какой-то посторонней силой. Только один из присутствовавших не разделял общего восторга, вызванного пением Офтердингена, и это был ландграф. Напротив, со строгим, серьезным лицом сидел он все время, пока продолжалась песня, и по окончании едва удостоил певца незначительным словом одобрения. Офтердинген был этим заметно раздражен.

Вечером того дня Вольфрам фон Эшенбах, напрасно искавший встречи с другом, настиг его в одной из темных аллей парка и сказал, прижав его нежно к груди:

-- Итак, дорогой друг, ты сделался теперь первым из певцов, какие только существуют на свете. Открой же мне, какими способами достиг ты того, о чем мечтал так долго и напрасно? Какой чудный дух посвятил тебя в тайны дивного, открытого тобой мира! О дорогой, дорогой друг, дай мне обнять тебя еще раз!

Но Генрих, уклонясь от объятий Вольфрама, сказал:

-- Я очень рад, что ты признаешь мое превосходство над вами, так называемыми мейстерзингерами, и соглашаешься, как ты выразился сам, что я открыл дивный, иной мир, куда вы напрасно пытаетесь дойти, бредя по вашей ложной дороге. Теперь ты, конечно, не будешь удивляться, если я прямо назову глупым и скучным все ваше ничтожное бречание!

-- Так ты презираешь нас, -- воскликнул Вольфрам, -- нас, кого так высоко ценил прежде, и отказываешься даже иметь с нами что-либо общее? Высокое совершенство, достигнутое тобой в искусстве, значит, изгнало из твоего сердца прежние чувства любви и дружбы? Даже меня, меня самого, не считаешь ты более достойным твоей привязанности только из-за того, что я не могу сравняться с тобой в искусстве! Ах, Генрих, Генрих! Если бы ты знал, каково мне это слышать!

-- Хорошо, что ты сам мне все это сказал, -- ответил Генрих с презрительной усмешкой, -- постараюсь воспользоваться твоим уроком.

-- Генрих! -- начал снова Вольфрам спокойным, серьезным тоном. -- Песня твоя точно звучала дивным, неотразимым образом. Мысли ее стремились неудержимым потоком до самых облаков, но какой-то внутренний голос говорил мне, что такая песня не может быть создана простым человеческим искусством! Она порождена иной, чуждой властью! Той властью, с помощью которой чародей заставляет земную почву взрастить волшебными средствами плоды иных, дальних стран. Ах, Генрих, сознаюсь охотно, что ты стал великим певцом и что славная судьба ожидает тебя впереди. Но! Скажи мне, наслаждаешься ли ты по-прежнему тихим веянием ветерка, когда гуляешь в густой тени леса, весело ли у тебя становится на душе при шелесте листьев или шуме лесного ручья? Скажи, любишь ли ты с прежней детской радостью красотой цветов, чувствуешь ли порыв сладкой любви в сердце, слушая песни соловья, прежнее чувство блаженства охватывает ли твою грудь при всем этом? Ах, Генрих, Генрих! В твоей песне звучало что-то страшное, наполнявшее меня невольным трепетом! Слушая тебя, я вспомнил о несчастных тенях умерших, блуждающих по берегу Ахерона, о которых, помнишь, ты говорил ландграфу, когда

он спрашивал тебя о причине твоей грусти. Мне кажется, ты отрекся от всего святого и блуждаешь, как бедный путник, в пустыне! Я не могу заглушить в себе мысли, что свой высокий талант купил ты, может быть, ценой счастья всей твоей жизни, достаемого в удел только кротким и чистым сердцем. Горькое предчувствие овладевает мной, когда я думаю о причине, заставившей тебя покинуть Вартбург и опять сюда возвратиться! Может быть, тебе удастся достигнуть твоей цели. Может быть, звезда моего счастья закатится навеки! Но знай, Генрих, и вот тебе мое слово порукой, что никогда чувство зависти к тебе не зародится в моей груди. Если когда-нибудь, несмотря на твое теперешнее счастье, ты внезапно очутишься на краю пропасти и будешь готов в нее упасть, знай, всегда встретишь ты меня рядом, желающего поддержать тебя твердой, дружескою рукой!

Генрих в глубоком молчании выслушал все, что говорил Вольфрам, затем, быстро закрыв лицо плащом, исчез в чаще кустарников. Вольфрам успел, однако, расслышать его тихие рыдания.

ВАРТБУРГСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ

Как ни высоко была оценена песня гордого Генриха Офтердингена прочими мейстерзингерами, скоро, однако, и они, почувствовав ее надменный характер, заговорили об отсутствии в авторе благочестия. Одна графиня Матильда в противовес общему мнению безусловно стояла за певца, умевшего так воспеть ее красоту и достоинства. Впрочем, Вольфрам фон Эшенбах тоже не хулил песни друга, но хранил глубокое молчание обо всем.

Скоро все стали замечать, что Матильда с некоторого времени как-то странно изменилась. Презрительная гордость стала выказываться в ее обращении с певцами, и даже ее прежняя благосклонность к Вольфраму исчезла без следа. Она стала брать у Офтердингена уроки пения и скоро начала сама сочинять песни, звучащие совершенно в характере его собственных сочинений. Вместе с этим ни от кого не ускользнуло, что прежняя обаятельная, женственная прелесть Матильды как бы совсем исчезла. Она точно намеренно отталкивала от себя все нежное и доброе, словом все, что более всего нравится в женщине, и скоро стала предметом насмешек для мужчин и осуждения для женщин. Ландграф из боязни, чтобы это безумное настроение Матильды не распространилось, как заразная болезнь, на прочих придворных дам, отдал приказ, запрещающий им под страхом строгого наказания сочинять и петь стихи, за что мужчины, напуганные примером Матильды, были ему крайне благодарны.

Оскорбленная Матильда оставила Вартбург и поселилась в одном замке близ Эйзенаха, куда Офтердинген хотел было за ней последовать, но ландграф приказал ему остаться в Вартбурге и еще раз выйти на состязание с певцами, чего они все требовали.

-- Вы, -- сказал Генриху раздраженный ландграф Герман, -- поселили вашим поведением раздор в нашем милом кружке. Я не усомнился ни на одну минуту, слушая вашу песню, проникнутую одним преступным самолюбием, что она была плодом дурного влияния какого-нибудь нечестивого певца, у которого вы брали уроки. Но к чему служат блеск, слава и талант, если они украшают мертвое тело? Вы прославляете в ваших песнях высокие подвиги и прекрасные дары природы, но смотрите на них не как благочестивый певец, чья грудь наполнена священным восторгом, а как холодный астролог, измеряющий свой предмет циркулем и линейкой. Вечный стыд вам, Генрих Офтердинген, что вы позволили поработить ваш ум и высокий талант преступными, недостойными советами.

-- Я не знаю, мой повелитель, -- возразил Офтердинген, -- чем мог я заслужить ваши гнев и немилость, но думаю, что вы перемените ваше мнение, когда узнаете, какой певец и какой учитель посвятил меня в тайны искусства. С тяжелым чувством покинул я ваш двор, и очень может быть, что чувство это, подавлявшее меня совершенно, было бессознательным, но могущественным стремлением к тому идеалу, который жил в моей душе и жаждал оплодотворения. Случайным образом попалась мне в руки книга, в которой были изложены одним из величайших певцов на свете правила искусства, а также были приведены некоторые из его песен. Чем более я ее читал, тем яснее для меня становилось то, до чего неверно общепринятое мнение, согласно которому певец должен петь только то, что диктует ему его собственное сердце. Мало этого, я чувствовал, что в меня вливается какая-то посторонняя мощь, которая, казалось, помимо меня самого управляла моим пением, тогда как я становился только ее орудием. Я проникся неодолимым желанием увидеть великого певца и услышать из его собственных уст преподаваемые им правила мудрости. Для этого отправился я в Трансильванию и там -- послушайте, мой государь -- там отыскал я мастера Клингзора, того самого, кому обязан той, скажу смело, неземной степенью искусства, которой теперь обладаю. Теперь, надеюсь, вы будете смотреть на меня благосклоннее.

-- Герцог Австрийский, -- сказал ландграф, -- много говорил и писал мне об этом певце. Мастер Клингзор человек, посвященный в познания тайных наук. Он умеет вычислять пути звезд, и ему открыто таинственное их влияние на судьбу людей. Он распознает суть растений, камней и металлов и в то же время не чужд политики, почему и считается близким советником герцога Австрийского. Но в какой степени все это может согласоваться с призванием певца, я,

признаюсь, не понимаю, и, может быть, именно потому песни Клингзора, при всей их законченности и искусном сочинении, никогда не могут меня тронуть или увлечь. Одним словом, Генрих Офтердинген, я передаю тебе, что певцы мои, оскорбленные твоей заносчивостью, делают тебе вызов на состязание в пении, которое должно иметь место через несколько дней.

День состязания настал. Но потому ли, что Офтердинген был действительно увлечен на ложный путь и не мог как следует владеть собой и своими силами, или вдохновение удвоило силы прочих певцов, только оказалось, что всякий, выступавший со своей песней, безусловно побеждал Офтердингена и брал на его глазах назначенную награду, достигнуть которой старался он с таким невероятным трудом. Тогда, раздраженный до последней степени, Генрих запел с неслыханной дерзостью песню, в которой позволил себе презрительно отозваться о ландграфе Германе и прославить до небес в сравнении с ним Австрийского герцога Леопольда VII, называя его лучезарным солнцем искусства. Далее в той же самой песне он задел оскорбительным словом придворных дам, возвеличив, не так как бы следовало благочестивому рыцарю, красоту и прелесть одной графини Матильды. Этим восстановил он против себя уже решительно всех своих товарищей, не исключая даже кроткого Вольфрама фон Эшенбаха, так что они без всякой пощады напали в следующей песне на него самого, низведя в ничто собственный его талант. Генрих Шрейбер и Иоганн Биттерольф доказали ничтожность его взглядов и пустоту содержания, а Вальтер фон дер Фогельвейде и Рейнгард фон Цвекштейн пошли еще дальше, объявив, что преступление Офтердингена заслуживает строгого наказания и что они готовы доказать свою правду, сразившись с ним с мечом в руках.

Таким образом, Генрих Офтердинген увидел, что не только его талант был презираем всеми, но что даже его жизнь подвергалась явной опасности. В отчаянии обратился он к благородному ландграфу Герману, умоляя его о защите, а также прося, чтобы, по крайней мере, спор с мастерзингерами об искусстве было предоставлено разрешить Клингзору, самому знаменитому современному певцу.

-- Ссора ваша с мастерзингерами, -- возразил ландграф, -- дошла до того, что тут речь уже не только о том, кто из вас выше по таланту. Вы в ваших безумных песнях оскорбили меня самого, мой двор и благородных дам. А потому и спор ваш касается не одного искусства, но также моей и их чести. Впрочем, пусть искусство будет исходной точкой его разрешения, и я согласен даже, чтобы мастер Клингзор был избран судьей. Один из моих певцов вступит по жребию с вами в состязание, причем выбор песни будет предоставлен вам самому. Палач с обнаженным мечом будет стоять позади каждого из вас, и признанный побежденным подвергнется немедленной казни. Теперь

идите и постарайтесь устроить, чтобы мейстер Клингзор прибыл в течение года в Вартбург для разрешения этого состязания не на жизнь, а на смерть.

Генрих Офтердинген удалился, и после этого мир и согласие вновь водворились в Вартбурге.

Песни, пропетые певцами в этот день спора с Офтердингеном, стали называться с тех пор "Вартбургским состязанием".

МЕЙСТЕР КЛИНГЗОР ПРИЕЗЖАЕТ В ЭЙЗЕНАХ

Спустя почти год после описанных событий разнеслась внезапно весть, что мейстер Клингзор, действительно, прибыл в Эйзенах и остановился в доме бюргера Гельгрефе, что близ ворот святого Георгия.

Мейстерзингеры очень этому обрадовались, надеясь на скорое разрешение их распри с Офтердингеном, но никто более Вольфрама фон Эшенбаха не жаждал с таким нетерпением увидеть этого славного певца. Пускай, думал он, Клингзор, как о нем говорят, находится в связи с нечистой силой и ей обязан своим дивным искусством. Но разве благородное огненное вино не растет на подземной раскаленной лаве? Какое дело утомленному путешественнику, что сок, утоляющий его жажду, вырос на почве, изрыгнутой адской силой из недр земли? Подобно ему, буду я наслаждаться дивным искусством певца, не входя ни в какие дальнейшие изыскания, и не пущу себя далее той черты, которой не следует переступать истинному благочестию.

Итак, Вольфрам отправился в Эйзенах, где нашел огромную толпу народа, стоявшую перед домом Гельгрефе и пристально смотревшую на балкон. Тут было много учеников пения, и имя великого певца беспрестанно перелетало из одних уст в другие. Один торопился записать слова, сказанные Клингзором при входе в дом Гельгрефе; другой подробно объяснял, что подавалось певцу за обедом; третий уверял, что Клингзор дружелюбно ему улыбнулся, узнав в нем певца по его головному убору; четвертый пел песню, сочиненную им, как объяснял сам, совершенно в духе песен Клингзора. Словом, волнение было огромное. Вольфрам с трудом пробился через толпу и сумел наконец войти в дом.

Гельгрефе ласково с ним поздоровался и тотчас же побежал сообщить Клингзору о приходе такого почетного гостя, но получил в ответ, что мейстер Клингзор теперь занят и не может принять никого ранее двух часов. Вольфрам должен был подчиниться этому отказу и, придя через два часа, был введен после довольно долгого ожидания в комнату Клингзора.

Слуга, одетый в какой-то странный шелковый, пестрый костюм, отворил дверь и доложил о его приходе. Взглянув, Вольфрам увидел высокого статного человека в длинной, сшитой из темно-красного бархата одежде с широкими, опущенными собольим мехом рукавами. Он задумчиво ходил по комнате неслышными, но решительными шагами. Лицо Клингзора напоминало черты Юпитера в том виде, как его изображали языческие художники: так строго выглядело выражение складок его лба и такими угрожающими молниями сверкали большие черные глаза. Густая черная борода обрамляла его щеки и подбородок, а на голове был надет какой-то странный берет, похожий на обвитую несколько раз вокруг головы шаль. Руки он держал сложенными на груди и произносил на ходу какие-то слова, значения которых Вольфрам не мог понять. Оглядевшись в комнате, уставленной книгами и странной мебелью, Вольфрам заметил в углу маленького, бледного человечка ростом не более трех футов, сидевшего на высоком стуле перед пюпитром и старательно выписывавшего серебряным пером на свитке пергамента все, что говорил мейстер Клингзор.

Все это продолжалось довольно долго, и, только внезапно заметив Эшенбаха, Клингзор прервал на полуслове свою речь и, остановясь посреди комнаты, устремил на него строгий, пронизательный взгляд. Вольфрам произнес приветствие в стихах, прося мейстера Клингзора ответить ему тем же в назидание и поучение, ради чего именно он к нему и явился. Клингзор смерил его с головы до ног гневным взглядом и затем сказал:

-- Должно быть, ты, молодой человек, очень смел, если воображаешь, что я на твои стишата стану отвечать тем же! Уж не Вольфрам ли ты Эшенбах, этот ничтожнейший из всех собравшихся в Вартбурге стихоплетов, которых вы называете певцами? Нет, юноша! Ты еще не дорос до того, чтобы со мной померяться!

Эшенбах, не ожидавший такого приема, вспыхнул. Кровь бросилась ему в лицо от презрительных слов Клингзора; никогда благородное сознание данного ему Богом таланта не вставало в нем с такой силой, и под этим впечатлением гордо произнес он, глядя прямо в лицо надменному мейстеру:

-- Нехорошо поступаете вы, мейстер Клингзор, оскорбляя меня таким образом вместо дружеского приветствия на мою речь! Я знаю, что вы превосходите меня в науках, равно как и в искусстве пения, но это не оправдывает вашего гордого самохвальства, которого вы должны были бы сами стыдиться. Теперь я смело скажу вам в лицо, что начинаю верить всему, что говорит о вас людская молва. Вы, вижу, точно вдохновлены адом, с которым находитесь в связи с помощью тайных наук. Ваше искусство -- плод этой связи и может привести на благочестивых людей один только ужас. Вот в чем сила вашей победы,

и никогда не подчинится ей чистое сердце, привыкшее покоряться только чувству глубочайшей любви, изливающейся из груди истинно вдохновенного певца. Потому-то вы так горды, чего никогда не позволит себе певец с чистым, благочестивым сердцем!

-- Эге! -- ответил Клингзор. -- Не заносись, молодой человек, слишком высоко! Что до моей связи с нечистой силой, то о ней советую тебе молчать, так как в этом никто из вас ровно ничего не смыслит, а потому мнение толпы, что ей обязан я моим искусством пения, не более как одни ребячьи бредни. Скажи лучше мне, кому обязан ты сам той степени искусства, которой успел достигнуть? Ты думаешь, я не знаю истории книг Фридебранда о Шотландии, которыми он доверчиво ссудил тебя на время, а ты вероломно присвоил их себе, назвав собственными сочинениями выученные из них песни? Если мне, как ты говоришь, помогал черт, то тебе помогло твое черное, неблагодарное сердце!

Вольфрам почти испугался такого невыносимого оскорбительного укора и, положив руку на сердце, воскликнул:

-- Клянусь Богом, мейстер Клингзор, в вас говорит сам отец лжи, если вы думаете, что я мог так бесчестно обмануть доверие достопочтенного Фридебранда! Знайте же, что книги его имел я у себя с его позволения и возвратил ему по первому требованию. А кроме того, скажите, разве вы сами не выучились ничему по сочинениям других певцов?

-- Что бы ты там ни толковал, -- возразил Клингзор, -- все-таки тебе далеко до сравнения со мной, тем, который ревностно изучал искусства и в Риме, и в Париже, и в Кракове. Знаешь ли ты, что я посетил дальние страны Востока и там изучил сокровеннейшие тайны наук у мудрых арабов? Что потом я вступал в состязание со всеми известными певцами и везде остался победителем, за что и получил имя учителя семи свободных искусств? А ты, выросший в своей пустынной Швейцарии, вдали от всех наук и искусств, где мог изучить ты истинные начала высокого искусства пения?

Вольфрам во время этой речи внезапно почувствовал в душе порыв вдохновения, под влиянием которого его гнев исчез, как исчезают черные тучи, когда яркие лучи солнца, пронизав их насквозь, заставляют их удалиться прочь с лучезарного неба. С тихой и кроткой улыбкой возразил он гневному Клингзору:

-- Правда ваша, мейстер Клингзор, что я не был ни в Риме, ни в Париже, ни в вашем отечестве и даже не учился у мудрых арабов. Но зато под руководством славного Фридебранда посетил я многих певцов в отдаленнейших местах Шотландии и успел много заимствовать у них, благодаря чему также не раз, подобно вам, одерживал победы на состязаниях с певцами при дворах немецких князей. Но я думаю, что ни учение, ни знакомства с известными певцами ни в коем случае не

могли бы мне помочь, если бы само небо не заронило во мне божественной искры, сверкающей чудными лучами песнопения! Если бы я не старался всеми силами души избегать дурных путей в жизни и если бы, наконец, не пел только то, что считаю истинно вдохновенным и что помимо моей воли переполняет мне грудь радостью и святым восторгом!

С этими словами Вольфрам, сам не понимая как, внезапно запел чудесную, тут же сочиненную им песню.

Лицо Клингзора сначала сверкнуло яростью, но потом он остановился и устремил на Вольфрама пронзительный взгляд своих черных глаз. По окончании песни он, как будто смягчившись, положил обе свои руки на плечи Вольфрама и сказал дружелюбно:

-- Ну уж если ты непременно хочешь, то, пожалуй, споем что-нибудь вместе и поспорим, чья возьмет. Только пойдем прочь отсюда, в этой комнате неловко петь; да кроме того, сначала ты должен выпить со мной стакан доброго вина.

В ту же минуту маленький человечек, сидевший на высоком стуле и записывавший слова Клингзора, спрыгнул, точно свалившись со стула, и громко охнул. Клингзор быстро обернулся, толкнул его ногой, как какую-нибудь вещь, в небольшой шкаф, находившийся под пюпитром, и тотчас же запер дверцу на ключ. Вольфраму показалось, что он слышал тихий плач и всхлипывания человечка. Затем Клингзор закрыл одну за другой разложенные кругом книги, причем каждый раз при сгибании переплета по комнате проносился тихий, странный звук, похожий на предсмертный стон умирающего. Потом он стал расставлять по шкафам какие-то не то сучки, не то коренья, походившие внешне на живые существа. По крайней мере, Вольфраму показалось, что они делали попытки сопротивляться и барахтаться, помогая себе ветвями, словно лапами, а серединки их сжимались и гримасничали, напоминая уродливые лица. В шкафах в то же самое время что-то шевелилось и шумело, а по комнате начала летать на блестящих золотых крыльях стоявшая до того неподвижно большая птица.

Наступившие сумерки еще более усиливали таинственный страх, произведенный на Вольфрама всем, что он видел. Заметив это, Клингзор вынул из небольшого ящичка маленький блестящий камень, от которого по комнате внезапно распространился яркий свет, похожий на солнечный. Мгновенно все стихло, и непонятные звуки, испугавшие Вольфрама, исчезли точно их и не было.

Двое слуг, одетых в такие же пестрые платья, как тот, который отворил Вольфраму дверь, вошли в комнату и подали мейстеру Клингзору богатую одежду, а затем Клингзор с Вольфрамом отправились в погреб городской ратуши.

Там в дружеской беседе за стаканом вина начали они договоренное состязание в пении. Хотя при этом не было никого третьего, кто бы мог решить, на чьей стороне осталась победа, но всякий судья наверняка объявил бы побежденным Клингзора, так как, несмотря ни на его талант, ни на глубокое понимание искусства, ни одна из его песен не могла достигнуть высокой простоты и глубокого чувства, которыми было проникнуто все, что пел Вольфрам Эшенбах.

Он только что кончил красивую, трогательную песню, которую Клингзор выслушал в молчании, откинувшись на спинку стула со склоненной на грудь головой, а затем сказал Вольфраму глухим, сдержанным голосом:

-- Вы обвиняли меня в хвастовстве, мейстер Вольфрам! Но вы ошибетесь, если будете думать, что гордость ослепила меня до полного непонимания искусства, в ком бы и где бы я его ни встретил, с глазу ли на глаз или среди заполненного слушателями зала. Здесь нет никого, кто бы мог решить, кто же из нас остался победителем, и потому я беру на себя сказать вам, что победитель вы! Этот приговор, надеюсь, докажет вам, что я кое-что смыслю в искусстве.

-- О мой достопочтенный мейстер Клингзор, -- возразил Вольфрам, -- может быть, особенно счастливая минута вдохновения осенила меня сегодня, но это еще не значит, что меня следует безусловно поставить выше вас. Может быть, вы не были расположены петь. Ведь бывает же, что мрачный туман, лежащий над светлым, зеленым лугом, мешает ярким цветам поднять свои светлые головки. Если вы признаете себя побежденным сегодня, то я, в свою очередь, скажу, что ваши прекрасные песни доставили мне истинное наслаждение, и очень может быть, что при новом состязании завтра победителем станете вы.

-- К чему эта скромность? -- сухо возразил Клингзор и, быстро встав со стула, подошел к высокому готическому окну. Старик, обернувшись к Вольфраму спиной, стал смотреть в окно на полный, сияющий с высоты месяц.

Несколько минут продолжалось молчание, затем Клингзор, повернувшись, подошел к Вольфраму и сказал громким голосом, грозно сверкнул глазами:

-- Ты прав, Вольфрам Эшенбах! Темные силы руководят моим искусством и между нами лежит непроходимая бездна! Меня ты успел победить, но в следующую ночь пришло я к тебе другого певца; его зовут Назиас. Попробуй вступить с ним в состязание и берегись, как бы не остаться побежденным на этот раз!

Сказав это, Клингзор быстро вышел из дверей комнаты.

НАЗИАС ПОСЕЩАЕТ НОЧЬЮ ВОЛЬФРАМА ЭШЕНБАХА

Хозяином дома, где остановился в Эйзенахе Вольфрам, был некий Готшалк. Это был честный, с веселой и открытой душой человек, при этом глубоко уважавший своего постояльца. Вольфрам и Клингзор думали, что никто не видел и не слышал их беседы в погребке, но может быть, какой-нибудь рьяный ученик из числа тех, которые следовали всюду по пятам за великим певцом и благоговейно записывали каждое из его слов, нашел средство подслушать бывшее между певцами состязание. По крайней мере, по всему Эйзенаху распространились слухи, что Вольфрам Эшенбах победил великого Клингзора, и Готшалк узнал это одним из первых.

Исполненный радости, поспешил он к своему дорогому гостю и пристал с неотступной просьбой подробнее рассказать, как было дело и каким образом удалось Вольфраму заставить гордого певца выйти на состязание. Вольфрам чистосердечно рассказал все, не скрыв и угрозы Клингзора прислать на следующую ночь другого певца по имени Назиас для нового состязания. Услышав это, Готшалк побледнел от страха и воскликнул, всплеснув руками:

-- О Господи, помилуй нас грешных! Да разве вы не знаете, почтенный господин, что Клингзор водится с нечистым и вертит им, как хочет? Гельгрефе, в чьем доме живет Клингзор, рассказывал соседям страсти про то, что у него происходит! По ночам в комнате этого проклятого Клингзора поднимается шум и гам, точно туда собралась куча народа, хотя Гельгрефе хорошо знает, что за порог дома не переступал никто. И чего там только не творится! Песни, пляски, какие-то огни в окнах! Ну что если этот Назиас, которого он хочет к вам послать, сам сатана? И что будет, если он сумеет вас погубить? Берегитесь, достойный господин. Говорю вам, берегитесь! Послушайте моего совета: бросьте все и уезжайте скорее прочь отсюда!

-- Полноте, дорогой хозяин! -- возразил Эшенбах. -- Подумайте сами, могу ли я, будучи мейстерзингером, отказаться от предложенного мне состязания? Будь Назиас сам дьявол, я все-таки буду его дожидаться в эту ночь с совершенно спокойным сердцем. Очень может быть, что он перекричит меня своими дьявольскими песнями, но совратить мой ум и победить мою душу, поверьте, ему не удастся!

-- Знаю, знаю, -- возразил Готшалк, -- вы благочестивый, богобоязненный человек и не испугаетесь черта, но если уж вы непременно хотите пойти на это свидание, то позвольте, по крайней мере, чтобы в комнате присутствовал слуга мой Ионас. Это хороший, честный парень и притом с широкими плечами, что вашему состязанию не повредит. Если вы ослабеете в борьбе с сатаной и Назиас станет вас одолевать, то Ионас так крикнет, что мы услышим все и тотчас прибежим со святой водой и освященными свечами. А кроме того, вы знаете, что черт не выносит запаха мускуса, если его носил на своей

груди, зашитым в мешочке, монах. У меня есть такой мешочек, и я буду держать его наготове, чтобы воскурить в случае, если Ионас закричит. Вы увидите, что Назиас поперхнется на первом слове своей песни.

Вольфрам усмехнулся, слушая эти добродушные и наивные предложения своего хозяина, и уверял, что готов сразиться с Назиасом один на один, но если уж он непременно хочет, то пусть, пожалуй, широкоплечий Ионас стоит за дверями, вооруженный всем, что нужно против песен сатаны.

Роковая ночь наступила. Начало ее прошло спокойно. Наконец часы на церковной башне медленно и глухо пробили двенадцать. Вдруг сильный порыв ветра налетел на дом; какие-то странные голоса, точно пронзительные крики стаи ночных птиц, слышались со всех сторон. Вольфрам Эшенбах, обдумывавший между тем содержание благочестивых песен, которые намеревался петь, почти забыл об ожидаемом посещении злого духа, но тут внезапный ужас невольно пробежал по его телу. Впрочем, он тотчас же овладел собой и вышел на середину комнаты. Вдруг дверь, повинувшись сильному, заставившему вздрогнуть весь дом удару, отворилась, и высокая, темная фигура, окруженная зловещим красным сиянием, приблизилась к Вольфраму, впери в него пронзительный взгляд. Вид призрака был до того страшен, что едва ли кто-нибудь, глядя на него, мог устоять на ногах от ужаса. Но Вольфрам, собрав все силы, смело выдержал этот взгляд и спросил твердым, выразительным голосом:

-- Кто ты такой и зачем сюда явился?

-- Я Назиас, -- крикнул призрак пронзительным голосом, -- и пришел для состязания с тобой в пении!

Сказав это, он распахнул плащ и, выронив из-под него на стоявший возле стол груду книг, которые держал в руках, начал тотчас петь чудесную песню о семи планетах и о музыке сфер в том виде, как она описана в Сципионовом сне, стараясь при этом превзойти все, до чего только может дойти искусство. Вольфрам между тем опустился в кресло и стал спокойно слушать, опустив голову. Когда же Назиас кончил, Вольфрам, не раздумывая долго, запел, выбрав, в свою очередь, для этого строгий, благочестивый гимн. Мгновенно нечто странное произошло с Назиасом. Он завертелся, запрыгал, схватил свои книги, начал бросать ими в Вольфрама, но чем громче и чище раздавался голос последнего, тем все более и более бледнело красное сияние, окружавшее его противника, и тем меньше становилась вся его фигура, так что, наконец, сделавшись похожим на жердь, обмотанную красным плащом, он взобрался на шкаф, где и начал жалобно визжать и мяукать. Кончив пение, Вольфрам хотел было схватить его руками, но Назиас, придя несколько в себя, вдруг вскочил опять и, разметав

клубы огня и дыма по всей комнате, закричал своим ужасным, раздирающим душу голосом:

-- Хо, хо! Не шути со мной так, дружище! Ты, может быть, искусный богослов и хорошо понимаешь тонкости толстой книги, в которую вы веруете, но это еще не значит, чтобы ты был певцом, да еще таким, которому впору померяться со мной или моим господином. Споем-ка теперь наперегонки парочку хорошеньких любовных песен и посмотрим тогда, что будет с твоим искусством!

Назиас начал страстную, огненную песню о прекрасной Елене и о наслаждениях Венериной горы. Песня действительно звенела чарующе и была вся пронизана огненными порывами страсти. Раскаленные лучи, окружавшие Назиаса, казалось, превратились в острые стрелы, пропитанные неотразимым ядом кипучих желаний любви и наслаждения, а звуки песни, переплетаясь с ними, исходили как будто из уст самого бога любви.

Вольфрам и на этот раз слушал спокойно, склонив на грудь голову. Ему казалось, точно в туманном видении, что он уносится куда-то вдаль, в волшебный сад, где звуки чудесной, небесной музыки веяли над сонмом прекраснейших цветов и, проникая, точно лучи утренней зари сквозь густо сплетенные ветви деревьев, заглушали и прогоняли звуки песни Назиаса, как темную ночь или черную стаю хищных ночных птиц. По мере того, как эти небесные звуки раздавались сильнее и сильнее, Вольфрам чувствовал, как святой восторг истинной любви все более и более наполнял его сердце. И вот наконец предстала перед ним она -- его жизнь, его счастье, в полном блеске красоты и благочестия! При виде ее, казалось, сами листья на деревьях зашелестели от восторга, а ключи зажурчали радостнее и живее. Точно на крыльях белого лебедя пронеслась она перед ним под звуки чарующей песни, -- и что за восторг, что за счастье чистейшей любви зажег ее взгляд в сердце Вольфрама! Молча, полный неизъяснимого чувства, бросился он на свежий зеленый дерн, называя ее по имени, целуя розы и лилии, как будто бы они могли понять его счастье. Казалось, самый шелест ветерка и журчание ручьев говорили ему о блаженстве, которого он сумел достичь.

Все это пронеслось, как молния, перед глазами Вольфрама, пока Назиас пел свою песню, так что он, вспомнив невольно, как в первый раз увидел Матильду в Вартбурге, когда она предстала перед ним тогда со своим кротким, чарующим взглядом, не слышал ни единого слова из песни своего противника. Когда же Назиас закончил, Вольфрам начал свою песню, в которой сильными и могучими звуками выразил весь рай и счастье истинной и святой любви, воспев в ней поразившее его видение.

Назиас опять беспокойно заметался из стороны в сторону, опять начал прыгать и кривляться, перебив и переломав все в комнате. Тогда

Вольфрам поднялся с кресла, на котором сидел, и, зажав сатану именем Христа, приказал ему удалиться. Назиас, весь объятый струями огня, впопыхах подобрал свои разбросанные книги и крикнул пронзительным голосом:

-- Все-таки ты ниже Клингзора! Ты -- невежда в искусстве!

Затем он улетел, точно бурный вихрь, оставив после себя удушливый запах серного дыма.

Вольфрам отворил окна, освежил чистым, утренним воздухом оскверненную сатаной комнату и затем позвал Ионаса, который все это время самым спокойным образом проспал за дверями и очень удивился, когда ему сказали, что все было кончено.

Пришел Готшалк. Вольфрам рассказал ему, как было дело. Если честный хозяин и прежде глубоко уважал Вольфрама, то теперь он стал казаться ему чуть ли не святым, сумевшим победить своим благочестием власть самого ада. Но каково было удивление Готшалка, когда, подняв случайно кверху глаза, он вдруг увидел, что на стене над дверью сияли, точно написанные огнем слова: "Все-таки ты ниже Клингзора! Ты -- невежда в искусстве".

Дьявол, удаляясь, видно, хотел увековечить свои последние слова и написал их на стене.

-- О Господи! -- воскликнул Готшалк. -- Я не буду иметь ни минуты покоя в собственном доме, пока останутся на стене эти оскорбительные для моего дорогого господина Вольфрама фон Эшенбаха слова!

Он тотчас же побежал за каменщиком и велел немедленно сколоть надпись, но труд оказался напрасным. Почти на целый палец в глубину соскоблили они известку, а надпись все-таки оставалась как и была, и даже когда штукатурка была отбита совсем, буквы оказались выжженными на красных кирпичах.

Готшалк очень горевал и умолял Вольфрама попробовать зажать сатану какой-нибудь песней в надежде, что это поможет уничтожить надпись. Вольфрам с улыбкой отвечал, что едва ли это в его власти, и успокаивал Готшалка надеждой, что, может быть, надпись исчезнет сама собой, когда он уедет из Эйзенаха.

Был светлый полдень, когда Вольфрам, полный самого ясного спокойствия духа, как человек, идущий навстречу сладчайшим надеждам, простился со своим хозяином и оставил Эйзенах. Недалеко от города встретились ему в праздничном платье верхом на прекрасных лошадях и сопровождаемые многими слугами граф Мейнгард фон Мюльберг и граф Вальтер фон Варгель. На приветствие Вольфрама они объявили, что ландграф Герман послал их в Эйзенах для того, чтобы пригласить и торжественно привезти в Вартбург мастера Клингзора.

Клингзор в это время находился на башне Гельгрефова дома и наблюдал движение звезд. По мере того, как он чертил астрономические линии, некоторые из присутствовавших при этом

учеников заметили по выражению его лица и глаз, что, вероятно, он прочел по звездам какую-то важную тайну, глубоко тронувшую его душу. Никто, однако, не посмел его об этом спросить. Тогда Клингзор поднялся сам со стула, на котором сидел, и сказал торжественным тоном:

-- Знайте, что сегодня ночью родилась дочь у венгерского короля Андрея Второго. Ее нарекут Елизаветой, и будет она за свое благочестие причислена к лику святых папой Григорием IX. Небо назначило ее невестой Людвигу, сыну вашего ландграфа Германа.

Это пророчество было сразу же передано ландграфу и обрадовало его до глубины души. Он совершенно изменил свое прежнее, дурное мнение о знаменитом певце, подавшем ему с помощью своих тайных наук такую дивную надежду, и решил принять его в Вартбурге с блеском и почестями, приличествовавшими только коронованным князьям.

Вольфрам думал, что предполагавшееся состязание, может быть, забудется без всяких последствий, тем более, что Генриха Офтердингена нигде не было видно. Но скоро, однако, при дворе заговорили, что ландграф получил весть о прибытии Офтердингена. Внутренний двор замка, назначенный быть ареной для состязавшихся, был приведен в порядок, а вместе с тем и эйзенахский палач Стемпель получил приказание явиться в Вартбург.

МЕЙСТЕР КЛИНГЗОР ОСТАВЛЯЕТ ЭЙЗЕНАХ.

КОНЕЦ СОСТЯЗАНИЯ ПЕВЦОВ

В высоком, роскошном покое Вартбургского замка сидели за дружеской беседой ландграф Герман с Клингзором. Клингзор еще раз подтвердил прочтенное им прошлой ночью в сочетании звезд предсказание о рождении Елизаветы и советовал ландграфу немедленно послать к венгерскому королю посольство с просьбой о руке новорожденной принцессы для своего одиннадцатилетнего сына Людвигу. Мысль эта понравилась ландграфу, и он не мог удержаться, чтобы не выразить своего глубокого уважения к познаниям великого астролога, на что в ответ Клингзор тут же повел речь о тайнах природы, микрокосме, макрокосме и о многих тому подобных, мудреных вещах, так что ландграф, и сам не совершенно чуждый познаниям, был еще более изумлен и сказал своему собеседнику:

-- О, как бы мне хотелось, почтенный мастер Клингзор, постоянно пользоваться вашими умными советами и разговором! Послушайте меня: оставьте вашу неприветливую Трансильванию и переселитесь

навсегда к моему двору, где, как вы сами видите, науки и искусства ценятся гораздо выше, чем где бы то ни было. Мои мастерзингеры, безусловно, признают вас своим главой, потому что в искусстве пения вы стоите так же высоко, как в астрологии и других науках. Повторяю вам, оставайтесь здесь и не думайте больше о Трансильвании.

-- Достопочтимый граф! -- отвечал на это Клингзор. -- В настоящее время я просил бы вас позволить мне возвратиться в Эйзенах и затем в Трансильванию. Земля эта вовсе не так неприветлива, как вы полагаете, и кроме того, я уже привык заниматься своим делом там. За мои открытия по горной части, доставившие моему повелителю королю Андрею уже немалое количество благородных металлов, получаю я ежегодное вознаграждение в три тысячи серебряных марок, что дает мне возможность жить без нужды и посвящать все мое время наукам и искусству. Здесь же я рискую лишиться этого дохода, а кроме того, могу поселить только раздор между вашими мастерзингерами. Мое и их искусство стоит на совершенно разных основаниях и выражаются совершенно иначе как во внутренней, так и в наружной формах. Если благочестивый взгляд на жизнь и чистый нрав -- как они его называют -- служат для них единственным исходным пунктом их творческого дара и если они, как трусливые дети, боятся перешагнуть за эту черту, чтобы расширить поле своего вдохновения, то я не буду их за это упрекать, но в то же время не намерен и сам становиться в их ряд. Это для меня невозможно.

-- Если так, -- сказал ландграф, -- то, по крайней мере, вы не откажетесь быть судьей в споре, возникшем между вашим учеником Генрихом Офтердингеном и прочими певцами?

-- Никогда! -- возразил Клингзор. -- Во-первых, я не могу этого сделать, а во-вторых, не захотел бы, если бы даже мог. Вы сами, благородный граф, должны разрешить этот спор, и это не будет вам трудно сделать, так как вам придется подтвердить лишь голос народа, который, без сомнения, выскажется довольно громко. К тому же вы совершенно напрасно называете Генриха Офтердингена моим учеником. Он сначала точно казался мне полным сил и мужества, но потом, как оказалось, испугался горькой скорлупы ореха, не добравшись до сладкого ядра. Назначайте же день состязания, а я устрою, чтобы Генрих Офтердинген непременно явился в назначенный час.

Никакие просьбы ландграфа не могли поколебать упорного мастера. Он остался при своем решении и покинул Вартбург с богатыми подарками ландграфа.

Роковой день состязания наконец наступил. На дворе замка выстроили подмости для зрителей, как будто дело шло о настоящем турнире. Посередине возвышались два покрытых черным сукном сидения для состязающихся певцов. Позади был поставлен высокий

эшафот. Ландграф избрал судьями тех самых дворян своего двора, которые сопровождали Клингзора в Вартбург -- графа Мейнгарда фон Мюльберг и графа Вальтера фон Варгель. Для них и для ландграфа был воздвигнут недалеко от места состязающихся высокий трон, к которому примыкали места для дам и для прочих зрителей. Остальным певцам предназначалась покрытая черным сукном скамья, поставленная возле эшафота рядом с местами для судей.

Множество зрителей с раннего утра заняли приготовленные места. Окна и крыши Вартбурга были усеяны тысячами голов любопытных. При звуке труб и литавр из ворот замка вышел ландграф Герман, сопровождаемый судьями состязания, и сел на подготовленное место. Мейстерзингеры в торжественной процессии с Вальтером Фогельвейде во главе заняли назначенную им скамью. Возле эшафота встал с двумя помощниками эйзенахский палач Стемпель -- страшного вида гигант, завернутый в широкий красный плащ, из-под складок которого выглядывала ручка огромного меча. Патер Леонгард, духовник ландграфа, был тут же, готовый напутствовать на казнь побежденного в состязании.

Боязливое молчание господствовало во всей несметной толпе, так что, казалось, можно было услышать дыхание каждого. Ожидаемое зрелище вселяло в души присутствовавших ужас. Наконец Франц фон Вальдштромер, маршал двора ландграфа, украшенный знаками своего достоинства, вышел на середину круга и громко объявил причину проведения настоящего состязания, а также неотмененное решение ландграфа Германа, по которому побежденный в состязании немедленно умрет от меча. Патер Леонгард поднял распятие, и все певцы, преклонившись перед ним с обнаженными головами, поклялись добровольно подчиниться этому решению. Тогда Стемпель, трижды взмахнув в воздухе обнаженным мечом, крикнул что-то угрожающее, чтобы всякий знал и видел, что он добросовестно исполнит свою обязанность. Снова раздался звук труб, и Франц фон Вальдштромер, выйдя опять на середину круга, громко и выразительно воскликнул три раза:

-- Генрих Офтердинген! Генрих Офтердинген! Генрих Офтердинген!

Офтердинген, стоявший за выстроенными подмостками, мгновенно вышел на этот зов и при третьем клике стоял уже посередине круга, как раз возле маршала. Преклонясь перед ландграфом, он твердым голосом объявил, что прибыл сюда по его, ландграфа, желанию для состязания с тем из певцов, который для того будет назначен, и что готов безусловно подчиняться решению судей.

Тогда маршал подошел к певцам с серебряным сосудом, из которого каждый вынул приготовленный жребий. Развернув свой, Вольфрам фон Эшенбах нашел на нем знак, означавший, что на состязание должен выйти он. Ужас объял его сердце при мысли, что ему

предстояло быть противником дорогого друга, но тут же мелькнуло в его голове, что, может быть, этот приговор будет величайшей милостью неба. Победенный, он готов был погибнуть с радостью, а оставшись победителем, дал слово скорее умереть сам, чем видеть Генриха Офтердингена казненным рукой палача. Потому с радостным лицом вышел он на арену. Но, приблизившись к другу и взглянув ему в лицо. Вольфрам почувствовал, как страх сжал его сердце. Лицо Офтердингена было бледным, как у покойника, глаза сверкали странным, неприветливым блеском, так что Эшенбах невольно вспомнил Назиаса.

Ужас Вольфрама удвоился, когда он услышал, что Генрих, начавший между тем петь, запел те же самые песни, которые пел Назиас в минувшую роковую ночь. Он, однако, успел овладеть собой и ответил противнику такой чудесной песней, что восторг присутствовавших, выразившийся тысячами потрясших воздух голосов, уже заранее обеспечил ему победу. Но Генрих по приказанию ландграфа должен был петь еще. Он исполнил на этот раз песню, в которой выражалась такая жажда наслаждений и страсти, что огненные ее звуки, принесшиеся, казалось, из-под раскаленного неба далекой Индии и навеянные одурманивающим запахом ее цветов, невольно очаровали всех слушателей. Даже сам Вольфрам почувствовал неотразимое, чужеродное влияние этого голоса страсти и не мог так скоро собраться с мыслями для ответа.

Вдруг в эту минуту толпа, окружавшая арену, заколыхалась, раздвинулась, чтобы дать кому-то пройти. Вольфрам почувствовал, будто электрическая искра пробежала по его телу и, взглянув в ту сторону, он увидел -- о Боже! -- графиню Матильду, с чудным, кротко сиявшим взором, совершенно такую, какой он ее увидел в первый раз в саду Вартбурга. Она приближалась, пройдя сквозь толпу, к кругу и бросила на него полный искренней любви взгляд. В одно мгновение Вольфрам вспомнил и запел в священном восторге ту небесную песню, которой он сумел прогнать в роковую ночь дьявола.

Крики восторженного народа единодушно признали его победителем. Ландграф и судьи поднялись со своих мест; трубы загремели; маршал взял из рук ландграфа венец, чтобы передать его победителю. Сتمпель приготовился исполнить свою обязанность, но едва помощники его приблизились, чтобы схватить побежденного, как вдруг облако удушливого черного дыма, внезапно поднявшись от земли, обволокло, шипя и клубясь, как их, так и Офтердингена. Когда же оно рассеялось, все присутствовавшие увидели, что Офтердингена более не было; он исчез непонятным образом. Ужас объял толпу, все с бледными от страха лицами кинулись бежать кто куда мог, крича о страшных призраках, почудившихся то одному, то другому.

Ландграф собрал певцов вокруг себя и обратился к ним со словами:

-- Теперь я понимаю отказ Клингзора быть судьей состязания, равно как и все то, что он о нем говорил. Слава Богу, что все кончилось таким образом. Для нашего дела все равно, был ли это сам Генрих Офтердинген или кто-либо иной, посланный Клингзором вместо своего ученика. Состязание решено в вашу пользу, доблестные певцы, и теперь мы можем спокойно и смело идти по пути прославления высокого искусства пения.

Некоторые из слуг ландграфа, стоявшие на страже у городских ворот, уверяли, что в тот самый миг, как Вольфрам фон Эшенбах победил подставного Офтердингена, кто-то, закутанный в черный плащ, верхом на свирепо храпевшем вороном коне стремительно проскакал через ворота; фигура всадника, по словам видевших, очень напоминала ростом и сложением Клингзора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Графиня Матильда отправилась между тем в сад замка, куда Вольфрам фон Эшенбах немедленно за ней последовал.

Застав ее среди пышно зеленевших деревьев на увитой цветами дерновой скамье со сложенными на груди руками и задумчиво опущенным вниз прекрасным лицом, он не мог сдержать порыва своего восторга и безмолвно упал к ее ногам. Матильда нежно обняла своего возлюбленного; горячие слезы текли по щекам обоих. Наконец Матильда сказала:

-- Ах, Вольфрам! Какой злой демон сумел обольстить меня, точно слабого ребенка, и как много я перед тобой виновата! Скажи, можешь ли ты меня простить?

Вольфрам заключил ее в объятия и в первый раз в жизни запечатлел огненный поцелуй на розовых устах красавицы. С жаром принялся он ее уверять, как давно жила она в его сердце, как он остался ей верен вопреки козням лукавого и как она одна постоянно воодушевляла и поддерживала его в этой борьбе.

-- О мой милый, -- отвечала Матильда, -- послушай же теперь, каким чудесным образом ты сам спас меня от сетей ада! Однажды ночью (это было очень недавно) мной внезапно овладел поток странных мыслей. Я не сознавала сама, муку или блаженство ощущала, и под их гнетом едва могла дышать от волнения. Побуждаемая неодолимым влечением, начала я писать песню совершенно в характере того злобного гения, который меня мучил. Одурманивающие звуки носились вокруг меня; разум мой был околдован и не сознавал сам, что делал. Под этим влиянием мне казалось, что песня, которую я писала, была страшным заклятием, которому должны повиноваться злые духи. Ужасный

призрак встал предо мной и, схватив меня страшными раскаленными когтями, хотел бросить в бездну. Но тут внезапно пронеслись в воздухе дивные звуки, волшебные и отрадные, точно кроткое сияние звезд. Черный призрак, державший меня, бессильно опустился на землю, но потом, воспрянув с новой силой, вдруг опять злобно бросился на меня, но на этот раз успел схватить только написанную мной песню, с которой и исчез в разверзшейся бездне. Звуки, спасшие меня, были твоей песней, мой Вольфрам, той самой, которую пел ты сегодня и перед которой исчез злобный враг. Бери же меня! Я твоя и одна верная любовь к тебе будет впредь моей песней, той песней, для выражения которой нет на земле слов!

После этих слов снова заключили они друг друга в объятия и долго еще не могли вдоволь наговориться о перенесенном горе и блаженстве вновь заключенного союза.

Матильда действительно слышала во сне песню Вольфрама, с помощью которой он, вдохновленный чистейшей любовью, одолел в роковую ночь Назиаса, а затем смог победить на Вартбургском состязании и своего противника.

Через некоторое время поздно ночью сидел Вольфрам в своей комнате, обдумывая новую песню, как вдруг в двери вошел его хозяин Готшалк и радостно воскликнул:

-- Ну, мой дорогой гость! А ведь вы успели вашей песней победить нечистого дважды! Представьте, что проклятые слова, написанные им над дверями комнаты, исчезли сами собой. Благодарю, благодарю вас тысячу раз! Я принес вам кое-что, порученное мне для передачи вам.

С этими словами он подал Эшенбаху сложенное и запечатанное воском письмо.

Распечатав поданный пакет, Вольфрам увидел, что это было письмо от Генриха Офтердингена:

"Поздравляю тебя, мой дорогой Вольфрам, как может поздравить только тот, кто после долгой смертельной болезни дождался радостного выздоровления! Много ужасного случилось со мной за это время, но позволь мне лучше промолчать о том, что останется во мне как мрачная, непроницаемая тайна! Ты, конечно, помнишь, сказанные мне тобой слова, когда я в безумном забытии дерзко возносил себя над всеми певцами? Ты говорил, что если я когда-либо буду стоять на краю пропасти, готовый в нее упасть, охваченный пагубным головокружением, то всегда найду тебя стоящим рядом и готовым подать мне руку помощи. Вольфрам, то, что ты так пророчески предсказал, теперь свершилось. Я стоял на краю пропасти, и ты поддержал меня в тот самый миг, когда я был готов уже упасть, охваченный головокружением. Миг твоей победы, который стал мигом сокрушения врага, был и минутой моего спасения, возвратившего меня к жизни. Да, мой Вольфрам, под звуками твоей песни порвались

опутывавшие меня тенета, а я вновь увидел над собой светлые небеса! Не должен ли я поэтому вдвойне тебя любить! Ты признал Клингзора великим мастером пения, и ты в этом прав. Но горе тому, кто, не будучи одарен таинственной, присущей ему одному силой, захочет пойти по его следам в то мрачное царство, где он властвует как у себя дома. Но я от него отрекся и не брожу более, как безутешная тень, по мрачному берегу адской реки. Теперь я принадлежу вновь родной стране! Для меня Матильда была не дорогим сердцу образом, но обманчивым призраком, возбуждавшим во мне одни греховные желания земной страсти. Забудь, прошу тебя, все, что я натворил в своем безумии, и передай мой дружеский привет дорогим моим друзьям. Скажи им, что я вновь сделался прежним Генрихом. Прощай, мой дорогой, глубоко любимый Вольфрам! Скоро, надеюсь, услышишь ты обо мне хорошие вести".

Прошло несколько месяцев. До Вартбурга дошел слух, что Генрих Офтердинген поселился при дворе Австрийского герцога Леопольда VII, где сочинил много прекрасных песен. Ландграф Герман получил аккуратно сделанный список с этих песен, к которому прилагались и голоса. Просматривая их, мейстерзингеры сердечно радовались, видя, что Генрих Офтердинген совершенно отрекся от злых внушений лукавого и проникся вполне благочестивым воззрением на высокое искусство.

Так дивный талант и благочестие Вольфрама фон Эшенбаха помогли ему спасти свою возлюбленную от злых козней дьявола, а дорогого друга -- от окончательной гибели.

* * *

Мнения друзей относительно произведения Киприана оказались различны. Теодор находил его никуда не годным, говоря, что прекрасный образ Генриха Офтердингена, созданный Новалисом, испорчен им донельзя. Прекрасный юноша, выведенный в новелле, представлен у Киприана каким-то диким, непостоянным и почти безбожным. В особенности же нападал Теодор на то, что при беспрестанном разговоре о пении в рассказе не приведено ни одной из песен.

Оттмар хотя и соглашался с этим, но находил, что видение, изложенное в начале рассказа, могло назваться вполне серапионовским. Киприану, по его мнению, вовсе не следовало рыться в старых хрониках, так как чтение этого рода, как доказал написанный им рассказ, легко увлекало его на ложную дорогу, где он, как путник, не знакомый с местностью, блуждал по запутанным тропинкам, не будучи в состоянии отыскать прежнего пути.

Киприан, выслушав эти мнения с опечаленным лицом, вдруг вскочил со стула и, быстро подойдя к камину, совсем было приготовился бросить свою тетрадь в пылавший огонь, но тут Лотар, мгновенно обернувшись, успел схватить расстроенного друга за плечи и воскликнул торжественным, наполовину шутливым тоном:

-- О мой дорогой Киприан! Укроти, прошу, демона самолюбия, который нашептывает тебе такие нехорошие советы! Позволь мне заковать его прекрасным заговором юноши Тобиаса Рюльфа: тик-так, тик-тук, юноша, перестань водиться с чертом! Долой окаянного трубочиста!.. Ага, лицо твое прояснилось, ты улыбнулся! Видишь, я тоже одарен силой прогонять чертей! Ну слушай, я пролью целебный бальзам на раны, нанесенные тебе строгим приговором друзей. Если Отмар назвал серапионовским введение в твоём рассказе, то я признаю таким же явление Клингзора и огненного черта Назиаса. Маленький автоматический секретарь кажется мне также премило придуманной вещью. Если Теодору не нравится твой Генрих Офтердинген, то ты можешь сослаться на Вагенфейля, у которого заимствовал его главные черты. Что же до его неудовольствия по поводу того, почему певцы, беспрестанно говоря о пении, ничего не поют, то, признаться, я не понимаю, что он хотел этим выразить, да, я думаю, он и сам этого не растолкует. Вероятно, он хотел, чтобы в рассказе твоём был приведен текст стихов, которые певали мастерзингеры. Если так, то я скажу наоборот, что мне именно нравится твоя мысль предоставить это воображению читателей. Стихи, которыми прерывается главная нить рассказа, не только его не украсят, а, напротив, прервут и испортят все впечатление. За такое средство хватается писатель только тогда, когда сам чувствует слабость своего произведения. Если даже он и сумеет этим кое-как подправить свое положение, то такая помощь напомнит скорее ковыляние хромого на костыле, а отнюдь не твердый шаг здорового человека. В этом-то и ошибка нашей новой школы, что она видит спасение в одной внешней стихотворной форме, забывая, что для такой формы нужно и богатое поэзией содержание. Звучные стихи без содержания способны только усыпить слушателя, как стук мельничного колеса, и усыпить крепко. Это все камешки в огороде нашего музыкуса Теодора, который, как известно, не только всегда гоняется за музыкальностью стиха, но даже иногда под влиянием сонетного безумия производит сам на свет маленьких автоматических уродцев. А теперь обращаюсь вновь к тебе, мой дорогой Киприан! Конечно, тебе не следует гордиться твоим "Состязанием певцов", так как вещь эта, признаться, и мне не особенно понравилась. Но все-таки смертной казни на костре она не заслужила. По законам страны, новорожденные уроды признаются людьми, если они имеют хотя бы человеческую голову, твое же детище не только

одарено правильной головой, но и вообще недурно сложено; жаль только, что все части тела несколько вялы и слабы.

Киприан спрятал, смеясь, свою тетрадь и сказал:

-- Ведь вы знаете мой характер. Если я сержусь, слушая дурные отзывы о моих произведениях, то значит сознаю их слабые стороны. Но, впрочем, довольно и о них, и вообще о моем рассказе.

Разговор перешел на мистического Винцента и его верования.

Киприан сказал, что, по его мнению, такие верования могли зародиться только в глубоко поэтической душе и что вот причина, почему с таким уважением отзывался о магнетизме Жан-Поль, чьих слов весь свет, при всем своем злобном сомнении, не мог опровергнуть. Способность познать все возможна только в поэзии. Поэтические натуры были всегда любимыми детьми природы, и нелепо думать, чтобы она противилась их попыткам поднять завесу, которой прикрыты ее тайны. Наоборот, она поступает в этом случае, как умная, добрая мать, нарочно заставляющая детей стараться понять смысл делаемых ею подарков только при условии их неустанного труда, чтобы они тем лучше и глубже их оценили.

-- К тебе, Оттмар, -- продолжал Киприан, -- и к твоему практическому взгляду на вещи обращаюсь я с этими словами в особенности. Всякий, кто серьезно вглядывался в историю людского рода, без сомнения замечал, что едва появляется какая-нибудь болезнь, природа немедленно подает и целительное против нее средство. Пройдет болезнь, явится другая, и опять найдется, чем следует ее лечить, и так происходит круговорот жизни, охватывая организм всего мира. В нынешнее время, когда благодаря наукам с каждым днем становится яснее и яснее тесное, таинственное родство, связывающее наше духовное начало с телесным, при котором каждая телесная болезнь непременно находит созвучие в нашем духовном существе, чего мудреного, если магнетизм явится тем духовным лекарством, которое подает нам природа, чтобы лечить коренящуюся в нашем духе болезнь.

-- Довольно, пожалуйста, довольно! -- закричал Оттмар. -- Мы уже и прежде достаточно толковали об этой материи, которая всегда была и будет темной и загадочной стороной жизни. Для поэтического употребления, пожалуй, еще можно сорвать в этом саду парочку цветов или ягод и пересадить их на здоровую почву, но не более. Я был так рад, что чтение Киприановой повести прервало этот сводящий с ума разговор, а теперь нам грозит опасность окунуться в него еще глубже! О другом, пожалуйста, о другом!.. Но постойте! Сначала я расскажу вам небольшой анекдот о мистических упражнениях нашего друга, который наверняка вас позабавит. Дело было так. Раз я получил приглашение прийти к нашему приятелю на небольшое собрание. Дело задержало меня в этот день, так что я порядочно опоздал со своим приходом, а потому тем более изумился, когда, подойдя к дверям

собрания, не услышал за ними ни малейшего признака разговора или дружеской беседы. "Неужели никто еще не пришел?" -- невольно пришло мне на ум. С этой мыслью я тихонько отворил дверь и что же увидел? Друг наш сидел за небольшим круглым столом, окруженный прочими, и все с неподвижными лицами, мертвенно-бледные, смотрели куда-то вверх. Свечи стояли в стороне, на другом столе, и моего появления никто не заметил. В изумлении подошел я ближе и тут только заметил, что над столом висел небольшой золотой перстень, качавшийся то направо, то налево, то по кругу. "Удивительно! Непостижимо! Поразительно!" -- так шептали присутствовавшие. Я долго смотрел, что из этого будет и наконец, не выдержав, крикнул громко: "Ради самого Создателя! Что вы тут делаете?". Тут все оглянулись, и Винцент громко закричал: "Злодей! Невежда! Подкрадывается, точно лунатик, и прерывает интереснейший опыт! Нам удалась такая удивительная вещь, что неверующие отнесли бы ее без сомнений к области выдумок. Дело состояло в том, чтобы одним направлением своей воли заставить качаться маятник в какую угодно сторону. Я хотел, чтобы он качался кругообразно, и вот, после долгого ожидания, этот подвешенный на шелковой нитке перстень начал качаться сначала по диагонали прямо ко мне, а потом стал постепенно переходить в кругообразное движение, и вдруг ты прервал все своим внезапным приходом!" -- "Так вот что! -- сказал я. -- А мне кажется, что воля твоя была тут ни при чем, качание же маятника началось просто вследствие струи сквозного ветра, потянувшегося из открытой двери, когда я вошел". -- "О прозаик, прозаик!" -- накинулся тут на меня Винцент, все же прочие громко рассмеялись.

-- А знаешь ли ты, -- начал Теодор, -- что этот самый опыт с качанием перстня однажды чуть было не свел меня с ума! Опыт этот, впрочем, давно известен, и теперь уже почти всеми признано, что мы действительно можем силой воли заставить качаться в любую сторону подвешенный на шелковой нитке золотой перстень, держа эту нитку в руке. Но я с этим раскачиванием, признаюсь, зашел слишком далеко, занимаясь им иногда целыми часами, и под конец вздумал даже сделать перстень своим оракулом. Так, например, задумав какой-нибудь вопрос, я загадывал, что если задуманное исполнится, то перстень должен качаться по диагонали от большого пальца к мизинцу, если же нет, то наоборот, и так далее все в этом же роде.

-- Прелестно! -- воскликнул Лотар. -- Таким образом, ты поселил в самом себе какого-то духа, который, заклиняемый тобою, давал тебе ответы на все. Это настоящий *spiritus familiaris**, или гений Сократа. Отсюда уже остается только один маленький шаг до историй с настоящими призраками и выходцами с того света, которых очень легко создать, допустив воздействие на нас чужого духовного начала.

** Домашний дух (лат.).*

-- Я сделаю этот маленький шаг, -- сказал Киприан, -- и расскажу вам историю правдивейшего привидения, которое когда-либо являлось. История эта замечательна, во-первых, тем, что за подлинность ее поручаются вам люди самого трезвого, здорового ума, а во-вторых, именно она и была причиной того расстроенного состояния, которое заметил во мне сегодня Лотар.

С этими словами Киприан встал и прошелся несколько раз по комнате, что он имел обыкновение делать всегда, когда готовился что-нибудь рассказать и хотел привести мысли в порядок.

Друзья между тем сидели молча, посмеиваясь. "Много же мы услышим чудесного!" -- так, казалось, и было написано на их лицах.

Киприан сел и начал так:

-- Вы знаете, что перед последним походом я прожил некоторое время в гостях в имении полковника П***. Полковник был премильный человек, а его жена -- воплощенная любезность и добродушие.

Сын их находился в это время при армии, так что вся семья во время моего у них пребывания состояла, кроме самих супругов, из двух дочерей и пожилой француженки, выдававшей себя за их гувернантку, хотя обе девушки уже довольно давно перешли возраст, требующий надзора воспитательницы. Старшая была милым, веселым созданием, живая до резвости, очень неглупая, но, к сожалению, в разговоре своем, точно так же, как и в походке, при которой не могла сделать трех шагов без прыжка, она то и дело перескакивала с одного предмета на другой без всякой связи и толку. Я видел собственными глазами, как она в течение десяти минут успевала немного почитать, что-то повязать, а также еще порисовать, попеть и потанцевать, или, заговорив вдруг со слезами на глазах о своем двоюродном брате, убитом в сражении, она в тот же миг раздражалась громким смехом, увидя, что старуха француженка нечаянно опрокинула свою табакерку прямо на нос вертевшегося у ее ног мопса, так что несчастная собачонка стала чихать чуть не до смерти к величайшему ужасу старухи, повторявшей только -- *ah che fatalitata! ah carino! poverino!** Она, надо вам заметить, всегда обращалась к своему мопсу по-итальянски, так как куплен он был в Падуе. Несмотря, однако, на все свое легкомыслие, девочка эта была премиленькая блондинка и даже ее капризы и неровности характера имели в себе что-то неотразимо привлекательное.

** Ах, какая фатальность! Ах, милый! Ах, бедняжка! (итал.).*

Редкую противоположность ей представляла младшая сестра по имени Адельгунда. Я не сумею даже описать вам то странное

впечатление, которое она на меня произвела при первом на нее взгляде. Представьте себе прелестнейшее, но мертвенно-бледное лицо. Прекрасно сложенное, но двигающееся медленно, как автомат, тело. Голос едва слышный и отдающий чем-то нездешним, так что, слушая ее, особенно когда она говорила в большом зале, я всегда невольно содрогался. Потом я, конечно, привык и, сблизившись несколько более с этой загадочной девушкой, ясно увидел, что странное впечатление, производимое ее внешностью, никак не могло быть прирожденным, а наверняка было следствием какого-то страшного, потрясшего всю ее события. Из немногого, что она говорила, можно было ясно видеть, что у девушки этой было доброе сердце, ясный ум и мягкий характер. Но ни следа какого-либо нервного расстройства или признака физического страдания, терзавшего милое создание и выразившегося хотя бы в горькой усмешке или искаженном слезами лице, нельзя было в ней заметить. Особенно странным показалось мне, что все в семье, не исключая даже старой француженки, чрезвычайно боялись допустить, чтобы кто-нибудь из посторонних разговаривал с Адельгундой. Если это случалось, то присутствовавшие всеми силами старались, иногда даже с явной натяжкой, замять и прервать разговор в самом начале.

Но самым удивительным и странным было для меня то, что, едва часы успевали пробить восемь, как все -- мать, сестра, отец и даже француженка -- в один голос напоминали девушке, что пора ей идти в свою комнату, совершенно так же, как отсылают маленьких детей, чтобы они не переутомились. Француженка удалялась с ней, и ни та, ни другая никогда не являлись к ужину, который подавался ровно в девять часов. Жена полковника, заметив мое удивление и желая избежать вопросов, однажды сама мимоходом пояснила, что Адельгунда была подвержена приступам лихорадки, которые повторялись в девять часов вечера, почему врач и предписал ей в этот час полнейшее спокойствие. Я чувствовал, что мне объяснили не все, но более не мог ничего узнать. Только сегодня удалось мне проникнуть в эту тайну и узнать ужасное стечение обстоятельств, разрушивших покой и счастье этого мирного семейного кружка.

Адельгунда в детстве была прелестнейшим, совершенно здоровым ребенком. Раз в день ее рождения -- ей исполнилось четырнадцать лет -- родители пригласили к ней в гости всех ее подруг. Веселая эта компания сидела в беседке домашнего сада, беззаботно болтая и смеясь и вовсе не думая о том, что сумерки надвигались все гуще. Прохладная свежесть июльского вечера, напротив, еще более настраивала их к разным проказам. Начались танцы, причем они стали воображать себя эльфами и другими призрачными существами. Между тем совершенно стемнело.

-- Хотите, -- вдруг весело закричала Адельгунда, -- я явлюсь вам призраком белой женщины, о которой рассказывал наш покойный

садовник. Но для этого надо пойти туда, в конец сада, к старой разрушенной стене.

С этими словами она закуталась в свою белую шаль и побежала вместе со всеми через траву и кусты, заливаясь звонким, веселым смехом. Но едва добежали они до старой стены, как вдруг Адельгунда побледнела и затряслась всем телом. Часы замка пробили девять.

-- Смотрите, смотрите! -- закричала она с выражением величайшего ужаса. -- Вот, вот она стоит и протягивает ко мне свою белую руку!

Молодые девушки не видели ровно ничего, но невольный страх овладел всеми. С криком разбежались они в разные стороны все, кроме одной, имевшей достаточно храбрости, чтобы остаться и поддержать побледневшую, как мертвец, и лишившуюся чувств Адельгунду. На ее крик сбежался весь замок. Адельгунду перенесли в ее комнату. Придя в себя, она прерывистым голосом, вся дрожа, рассказала, как, прибежав к стене, она внезапно увидела перед собой белую воздушную фигуру, колеблющуюся, точно туман, и стоявшую с протянутой к ней рукой. Присутствовавшие, конечно, приписали поразившее Адельгунду явление настроенному на соответствующий лад и обманутому вечерним сумраком воображению, тем более, что через несколько часов больная совершенно оправилась от испуга, и родители имели все основания утешать себя надеждой, что история закончится без дурных последствий. Но какое же горькое разочарование их ожидало! Каждый день с тех пор, едва часы пробьют девять, Адельгунда, где бы она ни была, одна или среди общества, вдруг поднималась и начинала кричать с выражением величайшего ужаса: "Смотрите, смотрите! Вот, вот она стоит прямо передо мной! Разве вы ее не видите?"

Одним словом, Адельгунда положительно утверждала, что с этого несчастного вечера белый призрак постоянно является к ней в девять часов, колыхаясь в течение нескольких секунд в воздухе, точно облако тумана, и затем исчезает. И никто из присутствующих не только ничего не видит, но даже смутно не ощущает присутствия близости духа. Бедную Адельгунду стали считать сумасшедшей, чего родители и сестра стыдились из-за своих превратных понятий, поэтому и изобрели тот способ обращения с ней, который так меня удивлял вначале. Впрочем, все старания вылечить несчастную от ее мономании, как родители называли это состояние, были употреблены, но никакие ухищрения искуснейших докторов не могли ничего сделать. Она, наконец, стала со слезами умолять оставить ее в покое, уверяя, что являющийся ей призрак не имеет в себе ровно ничего ужасного, что он более вовсе ее не пугает и что, если она кажется на вид бледной и больной, то это единственно потому, что она чувствует, как ее душа во время видения оставляет тело и носится где-то в воздушном пространстве.

Однажды полковник познакомился со знаменитым врачом, прославившимся в особенности умением лечить сумасшедших. Врач, выслушав рассказ о болезни бедной Адельгунды, громко рассмеялся и уверил, что нет ничего легче, чем исцелить этот род безумия, причина которого заключалась единственно в излишне возбужденном воображении. Представление о явлении привидения было так тесно связана в уме Адельгунды с мыслью о девяти часах, что сила ее духа никак не могла разделить эти два представления, почему и следовало предпринять попытку произвести это разделение каким-нибудь средством извне, что, по мнению врача, очень легко было сделать, заставив Адельгунду пережить однажды девятый час так, чтобы она этого не заметила. Увидя, что призрак не явился, она сама излечится от своей несчастной мысли, а хорошо подкрепляющее физические силы лечение завершит окончательное выздоровление.

Этот неудачный совет был исполнен. В одну ночь все часы замка, равно как и башенные деревенские часы, бывшие особенно громко и протяжно, были переставлены на один час назад, так что Адельгунда, проснувшись поутру, должна была ошибиться на один час. Настал вечер. Все семейство собралось по обыкновению в ярко освещенной угловой комнате. Посторонних не было никого. Мать Адельгунды старалась всеми силами поддержать непрерывно веселый разговор. Полковник начал, как обычно, подшучивать над француженкой, что часто делал, когда был в хорошем расположении духа, и в чем ему усердно помогала старшая дочь Августа. Шутили, смеялись, как всегда. Но вот пробило восемь часов, а по-настоящему -- девять. Вдруг Адельгунда, побледнев, откинулась на спинку стула; игла, которой она шила, выпала из ее рук. Поднявшись затем, со всеми признаками глубочайшего ужаса на лице, она вперила взгляд в пустое пространство и глухо пробормотала:

-- Как? Часом раньше? Видите, видите! Вот она стоит передо мной!

Неизъяснимый страх овладел всеми. Никто не смел вымолвить ни слова. Наконец полковник нашелся первый и громко воскликнул:

-- Адельгунда! Приди в себя, здесь нет никого! Это призрак твоего воображения. Ты обманута им, мы не видим ничего. Если бы призрак стоял перед тобой, как ты уверяешь, мы бы видели его все. Приди в себя, моя Адельгунда!

-- О Боже, Боже! -- простонала Адельгунда. -- Неужели меня хотят сделать сумасшедшей? Вот она протягивает ко мне длинную белую руку! Она мне кивает.

И бессознательно, с дико блуждающими глазами Адельгунда схватила маленькую фарфоровую тарелку, стоявшую на столе, протянула ее, как бы кому-то подавая, и отняла руку назад. Вдруг, представьте ужас присутствовавших, тарелка остановилась в воздухе никем не поддерживаемая и, покачавшись немного из стороны в

сторону, осторожно опустилась на стол! Полковница с дочерью упали без чувств, а когда очнулись, то оказались в жестокой нервной горячке. Полковник успел в тот вечер овладеть собой, но расстроившееся с этого времени крепкое его здоровье ясно показало, как глубоко подействовал и на него этот странный, необъяснимый феномен.

Старуха француженка упала ничком и могла только бормотать молитву. Она и Адельгунда одни пережили этот вечер без последствий. Полковница не выдержала болезни и умерла. Августа же перенесла болезнь, но, кажется, лучше было бы пожелать смерти и ей.

Представьте, что эта прелестная, как я описывал, девушка сошла с ума на самой ужасной, какую только можно представить себе мысли, вообразив, что она -- именно то самое привидение, которое пугало Адельгунду! Она от всех бежит, прячется, не говорит ни слова ни с кем и едва смеет дышать, твердо уверенная, что никто не может вынести ее вида и всякий немедленно умрет, если заметит ее присутствие тем или иным образом. Ей отворяют двери, приносят еду так, чтобы она этого не заметила, и немедленно уходят прочь, чтобы дать ей хоть минуту покоя, потому что иначе она начинает метаться из стороны в сторону и не возьмет в рот ни одного куска. Можно ли вообразить положение ужаснее?

Полковник, с отчаяния поступивший опять на военную службу, отправился в поход -- и был убит в победоносной битве при В***. Но что всего замечательнее, так это то, что Адельгунда совершенно излечилась после этого несчастного вечера от своей болезни. Призрак ей больше не являлся. С редкой самоотверженностью ухаживает она за больной сестрой, и француженка ей в этом помогает. Сильвестр, рассказавший мне все это, прибавил, что на днях прибыл сюда дядя несчастной девушки, чтобы посоветоваться с нашим известным Р*** о том, какой курс лечения следовало ей применить. Дай Бог, чтобы удалось их доброе, но крайне сомнительное предприятие.

Киприан замолчал. Друзья смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Наконец заговорил Лотар:

-- Скверная, нужно сознаться, история! Не отрицаю, что у меня, слушая ее, сжалось сердце, хотя приключение с порхающей тарелкой, надо признать, кажется уж чересчур по-детски забавным.

-- Потише, потише, любезный Лотар, -- перебил Отмар. -- Ты знаешь мое мнение о привидениях, знаешь также, что всех духовидцев поражаю я простым вопросом: почему мир духов, несмотря на мои неоднократные старания его вызвать, никак не хочет наказать мое неверие своим появлением. Но рассказ Киприана наводит на более серьезные мысли, чем просто фантастическая повесть. Видела или нет Адельгунда свой призрак, качалась или нет тарелка в воздухе, -- это решительно все равно, но важен факт, что однажды вечером в семействе полковника П*** произошло нечто, следствием чего было

такое расстройство здоровья трех человек, что один из них умер, другой сошел с ума, а если допустить выведение причин одного из другого, то, пожалуй, и смерть самого полковника можно приписать тому же происшествию. По крайней мере, один из офицеров полка, где он служил, рассказывал мне, что полковник всегда как безумный, бросался в самый жаркий бой, как будто ища смерти.

Да, наконец, и сама история с качающейся тарелкой, если припомнить всю простоту ситуации, признаюсь, проридает меня по коже, особенно при мысли, что невероятное обставлено тут вполне вероятным. Если даже провести такую теорию, что воображение Адельгунды увлекло и отца, и мать, и сестру и что качание тарелки существовало только в их мозгу, то не следует ли уже одну такую силу, которая, подобно электрическому удару, поражает насмерть сразу трех человек, признать самым опасным из всех существующих привидений?

-- Конечно, -- подхватил Теодор, -- и я совершенно разделяю мнение Теодора, что ужас этой истории заключается именно в ее простоте. Я чувствую, что мог бы выдержать внезапное появление чего-либо действительно страшного, но чувство постоянного присутствия около себя неизвестного и неприветливого загадочного существа могло бы довести меня до настоящего сумасшествия. Помню, раз я, точно маленький ребенок, не мог решиться спать один в своей комнате, прочтя рассказ, как одного старого музыканта постоянно преследовал призрак, доведший его почти до безумия. Он каждую ночь слышал, что кто-то играл на его фортепьяно, причем играл с такой силой и вдохновением, как может только истинно гениальный виртуоз. Старик слышал каждую ноту, видел, как опускались и поднимались клавиши, как дрожали струны, а между тем в комнате не было решительно никого.

-- Нет! -- воскликнул Лотар. -- Это совершенно невыносимо! Безумие, как вижу, делает среди нас быстрые успехи. Я уже сказал, что проклятая тарелка вконец взбудоражила меня. Оттмар прав, говоря, что ужасны не призраки, а производимый ими результат. Потому я охотно прощаю Киприану то расстроенное состояние духа, с каким он сюда явился. Но больше, прошу, ни слова о привидениях! Я уже давно замечаю, что в кармане Оттмара лежит рукопись в надежде вырваться на свет Божий. Так пусть же он даст ей эту возможность!

-- Нет, нет, -- перебил Теодор, -- бурный, смутивший нас поток должен успокоиться постепенно, а потому я прочту сначала очень подходящий для этого отрывок, довольно давно уже мной написанный. В нем есть и таинственное, и психические чудеса, и интересные гипотезы, хотя все вместе -- не более как случай из обыденной жизни.

Теодор прочел:

АВТОМАТ

Говорящий Турок заинтересовал весь город. Везде только и разговоров было, что о нем. И старый и малый спешили наперегонки в течение целого дня, чтобы подивиться оракульским предсказаниям, изрекаемым оживотворенной мертвой куклой. Действительно, занимавший на этот раз публику автомат заключал в себе что-то особенное, резко отличавшее его от прочих подобных фигур, какие можно видеть на всех ярмарках. Посередине небольшой, прилично меблированной комнаты сидела на низеньком треножнике большая, в натуральную величину сделанная кукла, одетая в богатый турецкий костюм. Треножник мог по требованию зрителей двигаться во все стороны, чтобы показать отсутствие связи автомата с каким-нибудь механическим устройством под полом комнаты. Левую руку Турок держал на колене, а правой опирался на маленький стол, стоящий рядом. Вся фигура была превосходно выполнена в художественном отношении, а лучше всего удалась голова. Умная восточная физиономия была исполнена удивительного, совершенно живого смысла, какой очень редко можно встретить в восковых фигурах, даже когда они бывают вылеплены по портретам живых и чем-либо выдающихся людей. Автомат окружали легкие перила, за которые допускался только тот, кто намеревался задавать ему вопросы, или те из публики, кому владелец давал некоторые поверхностные объяснения об устройстве куклы, отнюдь не выдавая, однако, главной тайны.

Когда автомату задавался вопрос, обычно шепотом на правое ухо, он поворачивал сначала глаза, а потом и все тело к спрашивавшему, и, судя по легкому дыханию, выходявшему из его рта, можно было в самом деле подумать, что ответ давался им. Каждый раз после нескольких ответов фокусник, показывавший куклу, вкладывал ей под левую руку ключ и заводил с сильным шумом какой-то, должно быть, часовой механизм. По требованию публики он отворял иногда дверцу в боку автомата и показывал, что внутренность его была наполнена множеством маленьких колесиков, которые, конечно, не могли иметь влияния на даваемые куклой ответы, но тем не менее занимали, по-видимому, так много места, что не было никакой вероятности заподозрить возможность спрятаться внутри фигуры кому бы то ни было, даже знаменитому карлику Августа, который, как известно, уместился в пироге.

Кроме движения головой, Турок поднимал иногда при ответах правую руку как бы в знак угрозы или в подтверждение того, что говорил. Это обычно случалось при настойчивом требовании повторить ответ, если он был двусмыслен или непонятен. Может быть, именно механизм колес производил эти движения головы и руки,

поскольку присутствие скрытого живого существа в данном случае было невозможно и предположить.

Вообще, догадкам и предположениям не было конца. Исследовали стены, соседние комнаты, мебель -- и все напрасно. Автомат и его хозяин стали целью для аргусовых глаз всех городских механиков, но чем более они ломали головы, тем неуловимее казалась сама тайна. Хозяин спокойно болтал и смеялся с гостями в углу комнаты, предоставляя своему Турку говорить и кивать головой как совершенно самостоятельному существу, не связанному с ним ничем. Он даже не мог удержать иронического смеха, когда присутствовавшие передвигали треножник с места на место, щупали куклу, рассматривали ее с помощью увеличительных стекол и заканчивали обычно словами, что при разгадке этого фокуса сошел бы с ума сам черт. Словом, тайна оставалась тайной. Даже предположение, что ток воздуха, выходявшего при ответе изо рта куклы, мог быть производим скрытым мехом, а ответы просто давал сам хозяином с помощью чревовещания, не выдерживало критики, поскольку было видно, как внятно и громко разговаривал он с присутствующими и одновременно с автоматом.

Несмотря, однако, на возбужденный загадочным автоматом интерес, время, конечно, успело бы его остудить, если бы главная приманка, посредством которой хитрому хозяину удавалось постоянно поддерживать внимание публики, не заключалась в содержании самих ответов, всегда чрезвычайно верно попадавших в цель, в соответствии со характером вопрошавших, и проникнутых несомненными умом и тактом при всей их, порой даже несколько грубой, иронии. Иногда автомат даже предсказывал будущее, но всегда возможное и основанное на существовавших уже фактах, хорошо известных вопрошавшему. Спрашиваемый по-немецки, Турок иногда отвечал на этом языке, составляя фразы так кругло и законченно, что трудно было выразить смысл сказанного иначе. Одним словом, почти каждый день передавались публике новые остроумные ответы мудрого Турка, и Бог знает, что собственно начало более занимать публику: вопрос ли о тайной связи живого, разумного существа с бездушной куклой или личный характер этого разумного, умевшего давать такие острые ответы создания.

Раз подобный спор был поднят в одном вечернем обществе, где присутствовали два университетских друга, Людвиг и Фердинанд. Оба должны были сознаться, что, к стыду своему, еще не успели повидать автомат, несмотря на то, что разговоры о нем и его чудесных изречениях уже стали обязательной темой во всяком порядочном обществе.

-- Я не люблю, -- сказал Людвиг, -- подобные фигуры, подделки под людей, напоминающие не то живого человека, не то покойника. Еще

ребенком я однажды разревелся и убежал со всех ног из кабинета восковых фигур, да и теперь не могу посещать подобные кабинеты без тяжелого, неприятного чувства. Мне при этом всегда хочется воскликнуть словами Макбета: "Зачем глядишь ты на меня своими лишенными зренья глазами?". Холодный, мертвый взгляд всех этих королей, героев, убийц и злодеев для меня невыносим, и я уверен, что большинство людей ощущает то же самое, хотя, может быть, и в меньшей степени. Доказательством может служить то, что в подобных кабинетах -- заметьте это сами -- почти никогда не разговаривают громко, но только шепчут, и, уж конечно, это не от излишка уважения к высоким лицам, фигуры которых выставлены. Напротив, тут видно влияние именно этого тяжелого, неприятного чувства, сдавливающего голос в груди. Механические же, движущиеся, как живые, фигуры для меня еще неприемлемее, и я уверен, что ваш диковинный Турок с его ворочающимися глазами, головой и поднимающейся рукой стал бы душить меня по ночам. Потому я ни за что не пойду его смотреть и удовольствуюсь одними рассказами о том, что он наговорил умного и острого.

-- Ты знаешь, -- отвечал Фердинанд, -- что я совершенно разделяю твое мнение о всех сделанных в подражание людям восковых куклах. Но в движущихся автоматах есть все же настоящее искусство, которое способно заинтересовать. Лучший из всех виденных мною автоматов, бесспорно, Энслеров вольтижер. Его полные силы прыжки и тот момент, когда он внезапно садится на канат, кивая головой, заключают в себе нечто в высшей степени удивительное. Я уверен, что при виде его никто не ощущал того тяжелого чувства, о котором ты говорил, разве только уж очень нервные люди. Что же касается нашего Турка, то на него я смотрю совершенно иначе и, судя по рассказам, уверен, что вся его прекрасно сделанная фигура и механические движения глазами и головой придуманы только для того, чтобы отвлечь внимание зрителей от настоящего ключа к загадке. Я допускаю даже возможность дыхания, выходящего из его рта, так как факт этот подтверждается всеми, но это еще не доказывает, что оно является следствием произносимых слов. Нет никакого сомнения, что тут искусно спрятан где-нибудь живой человек, видящий спрашивающих и дающий с помощью разных механических и акустических приспособлений ответы на их вопросы. Факт, что никто из наших механиков не смог проникнуть в тайны этого устройства, доказывает только, что механизм очень хитро и искусно придуман и потому вполне заслуживает внимания. Но меня гораздо более занимает в этом случае личность дающего ответы, проникающего, как говорят, действительно в тайну души зрителей и до того овладевающего их умом, что его полные силы и ума изречения в самом деле напоминают изречения оракула. Многие из моих знакомых передавали мне такие

поразительные вещи, что я не мог надивиться и твердо решил
непременно познакомиться с этим в высшей степени замечательным
ясновидящим существом, для чего завтра же утром отправляюсь
смотреть автомат и непременно с тобой, любезный Людвиг!
Торжественно приглашаю тебя отложить в сторону твой страх перед
мертвыми куклами и отправиться вместе со мной.

Как ни отнекивался Людвиг, но чтобы не прослыть за чудака, должен
был уступить просьбе всех напавших на него присутствовавших и дал
слово завтра вместе с ними отправиться смотреть замечательного
Турка.

На другой день утром вся толпа и в самом деле явилась на квартиру
фокусника. Фигура Турка с его величавой восточной физиономией
показалась Людвигу на первых порах даже несколько смешной, когда
же хозяин стал заводить его ключом под стук хрипевших колес, то это
показалось ему до того глупым, что он не выдержал и воскликнул:

-- Слышите, господа, и у нас случается бурчание в животе, но его
турецкое превосходительство перещеголял всех!

Все засмеялись, а фокусник, которому эта шутка, по-видимому, не
очень понравилась, немедленно прекратил завод. Но потому ли, что
насмешливое настроение общества не понравилось мудрому Турку или
он был в этот день не в ударе, только показалось, что все даваемые им
ответы, несмотря на остроумие некоторых, выходили или темны, или
неудачны. Людвигу особенно не посчастливилось. Оракул не понял его
ни разу и постоянно отвечал невпопад. Все общество хотело уже
покинуть и автомат, и видимо сконфуженного хозяина, как вдруг
Фердинанд сказал:

-- Не правда ли, господа, вы не совсем довольны ответами мудрого
Турка? Но, может быть, мы были сами в том виноваты, задавая
вопросы, которые ему не нравились. Смотрите, вот он наклоняет
голову и поднимает руку как бы в подтверждение моих слов. Не знаю
почему, но мне пришло в голову задать ему еще один вопрос, и если он
на этот раз ответит удачно, то вполне восстановит этим свою честь и
славу.

Сказав это, Фердинанд приблизился к фигуре и шепнул ей что-то на
ухо. Турок поднял руку, по-видимому, не желая отвечать; Фердинанд
настаивал, тогда Турок повернул к нему голову. Вдруг Людвиг
заметил, как мертвенная бледность покрыла лицо Фердинанда. Постояв
неподвижно несколько секунд, он наклонился, повторил вопрос и
снова получил ответ. После этого, обратившись с натянутым смехом к
присутствовавшему, Фердинанд сказал:

-- Господа! Даю вам честное слово, что, по крайней мере, для меня
Турок поддержал честь своим ответом. Но так как изречения оракула
обычно остаются в тайне, то я прошу позволения умолчать как о моем
вопросе, так и об ответе.

Как ни силился Фердинанд скрыть внутреннее волнение, но оно невольно еще более выражалось в его старании казаться веселым и непринужденным, и, если бы Турок надавал всему обществу самых изумительных ответов, это, наверное, не могло бы поразить и смутить их более, чем внезапная перемена духа Фердинанда. Прежнее веселое настроение исчезло; вместо веселого разговора стали перекидываться короткими фразами и в конце концов разошлись в полнейшем расстройстве.

Когда Людвиг и Фердинанд остались одни, последний воскликнул:

-- Ну, любезный друг, не скрою от тебя, что Турок оставил у меня самое тяжелое и неприятное воспоминание до самой смерти, которой должно завершиться его предсказание!

Людвиг с удивлением посмотрел на товарища, а тот продолжал:

-- Теперь я вижу, что неизвестное существо, проявляющее свою силу с помощью автомата, действительно обладает способностью овладевать нашими тайными мыслями и даже предсказывать будущее, облекая в ясные образы то, что жило в нас только в виде таинственного намека, подобно тому, как есть люди, одаренные несчастливым даром видеть и чувствовать, что с ними случится в известный час.

-- Интересный, должно быть, задал ты вопрос, -- сказал Людвиг. -- Но, возможно, ты сам придаешь слишком много значения двусмысленным словам оракула и приписываешь мистической силе человека, говорящего устами Турка, то, что, может быть, было сказано им совершенно случайно.

-- Ты противоречишь тому, -- возразил Фердинанд, -- в чем мы с тобой однажды совершенно согласились, а именно значению слова "случай". Но чтобы ты мог хорошо понять и почувствовать, как глубоко был я сегодня потрясен случившимся, я должен сначала рассказать тебе кое-что из моей молодости, о чем до сих пор не говорил никому.

Несколько лет тому назад, возвращался я из имения моего отца в Восточной Пруссии в город Б***. В К*** встретил я нескольких молодых курляндцев, ехавших туда же, и мы отправились вместе в одной почтовой карете. Можешь легко себе представить, какое веселое, бешеное настроение духа должно было господствовать в обществе молодежи, только начинавшей жить и вдобавок обладавшей недурно набитыми кошельками. Глупейшие шалости следовали одна за другой. Помню, приехав в М***, расположенный по пути, мы учинили набег на дорожный сундук со съестными припасами, принадлежавший содержательнице почты, опустошив его дочи́ста, и, несмотря на протесты как ее, так и сбежавшегося народа, преспокойно разгуливали, покурявая трубки, пока по сигналу рожка карета не унесла нас дальше.

В таком веселом расположении приехали мы в Д***, где думали остаться на несколько дней для осмотра прекрасных окрестностей.

Каждый день происходили оживленные прогулки. Как-то раз, бродя по окрестностям, засиделись мы на Карльсберге и только поздно вечером вернулись в гостиницу, где уже ожидал нас заранее заказанный прекрасный пунш. Свежий морской воздух, от которого мы порядочно продрогли, увеличил еще более достоинства огненного напитка, и мы приложились к нему так усердно, что я, не будучи пьян, чувствовал, однако, как во мне пульсировала каждая жилка и кровь бурлила, точно кипяток. Добравшись до своей комнаты, я повалился, как сноп, на постель, но, несмотря на всю усталость, сон мой был тревожен и походил более на бред. Мне все казалось, что в соседней комнате кто-то говорит шепотом. Мало-помалу я стал явственно различать мужские и женские голоса, наконец, кто-то сказал: "Ну ступай теперь спать, да будь готова к назначенному часу". Дверь скрипнула, и затем воцарилась мертвая тишина.

Вдруг раздался тихий аккорд фортепьяно. Ты знаешь, Людвиг, как чаруют звуки музыки, когда они раздаются посреди ночной тишины. Так было и на этот раз со мной. В тихих аккордах я, казалось, слышал голос нежного, говорившего со мной духа. Я отдался весь чудному впечатлению, ожидая, что вот сейчас, вслед за аккордом, польется мелодия какого-нибудь знакомого сочинения, но каков же был мой восторг, когда после небольшой прелюдии прелестный женский голос запел:

*Mio ben ricordati
S'avvien ch'io mora,
Quanto quest' anima
Fedel t'amo.
Lo se pur amano
Le fredde ceneri
Nel urna ancora
T'adorero*.*

** Помни, мой дорогой, придет время, тебя я покину! О, как преданно любит тебя эта душа! Стану холодным прахом в могиле и буду тебя обожать! (итал.).*

Как описать тебе то чувство, которое пробудили во мне эти томные, то раздававшиеся, то вновь замиравшие звуки! Мелодия, никогда мною не слышанная, но, однако, явно выражавшая глубочайшие муки любви, то звенела, как кристалл, то глухо и томно уносилась куда-то вдаль, точно прощаясь навек со всякой надеждой. Я лежал очарованный. Восторг охватил меня; рой пылких желаний зажегся в груди, дыхание мое замерло, и сам я точно растаял в невыразимом небесном блаженстве, забыв все и превратившись весь в слух и внимание. И

после того, как звуки умолкли, долго еще жило во мне это чувство, пока горячий поток хлынувших из глаз слез не разрушил этого неестественного состояния.

Глубокий сон овладел мной. Вдруг резкий звук почтового рожка раздался, как мне показалось, над самым ухом. Я вздрогнул и, оглянувшись, увидел освещенную ярким солнцем комнату. Смутно припоминая слышанное, я подумал, что это был лишь сладкий сон, но такой сон, в котором, как в недостижимом идеале, выразились все счастье и блаженство моей жизни, к которому я должен был постоянно стремиться. Внезапно прелестная девушка вошла в мою комнату. "Певица!" -- мелькнуло у меня в голове. "Я чувствовала, милый Фердинанд, -- заговорила она, -- что ты лучше всего узнал бы меня в пении. Каждый звук, западавший в твою душу, находил отзвук в моем сердце".

Боже, какой восторг охватил меня, когда я мгновенно узнал в ней подругу моей юности, ту, чей идеальный образ любил уже давно, сам того не сознавая, ту, с которой, казалось мне, был разлучен злобным роком и теперь так внезапно встретился. Я хотел говорить, но слова, не выходя из моей груди, превращались в музыкальные звуки! Мало того, даже ее взгляды, казалось мне, становились мелодией, и все это вместе сливалось в огненные звуки песни, которую я слышал ночью. Что было потом, я сам хорошо не помню; знаю только, что, проснувшись окончательно и припоминая черты моего видения, я хорошо сознавал, что никогда не видел прежде человека, хоть сколько-нибудь похожего на увиденный мною призрак. Сомнения не было: я видел прелестную девушку в первый раз в жизни!

В доме между тем все проснулись и зашумели. Машинально встал я с постели и подошел к окну. Какой-то пожилой, очень хорошо одетый господин стоял во дворе и строго выговаривал почтальону, сломавшему по неосторожности его дорожный экипаж. Наконец все было налажено.

-- Ну вот, все готово, -- сказал господин, -- теперь пора ехать.

Женская фигура выглянула из окна возле меня и тотчас же скрылась, так что я не смог рассмотреть ее лица под широкими полями дорожной шляпки. Выходя из двери дома, она оглянулась. Людвиг! Это была моя певица, мое видение! Взгляд небесных глаз упал прямо на меня; мне показалось, что жгучий кристальный звук пронзил мне грудь, как кинжал, так что я почувствовал настоящую физическую боль; все мои нервы вздрогнули от ощущения небесного блаженства. Быстро села она в карету, почтальон, точно мне в насмешку, затрубил какой-то пошлый мотив, и в один миг все исчезло за поворотом улицы. Ошеломленный, остался я у окна.

Мои товарищи курляндцы с шумом вошли в комнату, приглашая меня отправиться на новую прогулку. Я не ответил ни слова, так что

меня сочли больным. Да и мог ли я рассказать хоть в самых общих чертах, что со мной случилось. Я не стал даже расспрашивать в доме об имени незнакомки. Мне казалось, что всякое слово о ней, сорвавшееся с чужих губ, осквернит святую тайну моего сердца. Как верный любовник, хотел я носить в своем сердце образ той, которую полюбил навеки, пусть бы даже мне никогда не пришлось более ее увидеть! Ты один, дорогой друг, можешь понять состояние, в котором я находился, и не станешь меня упрекать за это нежелание узнать о незнакомке что-либо больше. Общество курляндцев мне опротивело окончательно. Ночью потихоньку от них уехал я из города и поспешил один в Б***.

Ты знаешь, что я и прежде умел порядочно рисовать. Теперь же, приехав в Б***, я немедленно взял хорошего учителя по миниатюрной живописи и под его руководством скоро преуспел настолько, что мог воспроизвести по памяти черты моей незнакомки. Тайно от всех за закрытыми дверями принялся я за эту работу. Ни один человеческий глаз не видел никогда моего рисунка. Закончив, я заказал медальон, вставил в него милый образ и с тех пор постоянно ношу его на груди.

Сегодня тебе первому сообщил я свою тайну, и потому ты единственный человек в мире, который ее знает. Но какая-то злобная сила сумела против моей воли насильно заглянуть мне в душу. Сегодня, задавая вопрос Турку, я спросил, думая о моей возлюбленной, переживу ли еще хоть раз в жизни волшебную минуту, подобную той, когда я ее увидел. Турок сначала, как ты заметил сам, не хотел отвечать, но потом, по моему настоянию, сказал: "Лицо обращено к твоей груди; я вижу только золотую металлическую пластинку; поверни портрет".

Найду ли я слова, чтобы описать тебе, что почувствовал в эту минуту. Ты, верно, заметил мое смущение. Портрет, действительно, лежал на моей груди так, как сказал Турок. Незаметно для присутствующих повернул я медальон, и тогда автомат произнес глухим, мрачным голосом: "Несчастный! Ты потеряешь ее навек в ту минуту, когда снова увидишь!".

Людвиг хотел было утешить совершенно убитого всем этим Фердинанда, но в эту минуту несколько их общих знакомых вошли в комнату.

Молва о новом загадочном ответе автомата успела уже распространиться по городу. Все наперебой пытались узнать, какое несчастное пророчество могло так сильно поразить Фердинанда, всем известного как человека, начисто лишённого предрассудков. Друзей до того осаждали расспросами, что Людвиг, желая хоть немного освободить Фердинанда от докучливых посетителей, принужден был выдумать и рассказать какую-то нелепость, понравившуюся всем тем более, чем дальше она была от истины. Общество, с которым

Фердинанд посещал Турка, имело обыкновение собираться раз в неделю, и в первый же последовавший за тем посещением назначенный день все старались услышать от самого Фердинанда рассказ об удивительном, произведшем на него такое сильное впечатление и так тщательно им скрываемом ответе автомата.

Людвиг хорошо понимал, как глубоко должен был страдать Фердинанд, видя, что заветная тайна его фантастической любви открылась глазам некоего могущественного постороннего существа, а также чувствовал он вместе с Фердинандом, что, вероятно, и таинственная связь происшедшего события с тем, чем оно завершится в будущем, должна быть открыта для глаз этого существа. Людвиг, видно было по всему, склонялся в пользу безусловной веры словам оракула, но дурной характер предсказания, угрожавший счастью дорогого друга, невольно вооружил его против таинственного незнакомца, говорившего устами Турка. Движимый этим чувством, он стал в явную оппозицию к многочисленной толпе почитателей автомата. Когда кто-нибудь находил, что сами движения автомата заключали в себе что-то внушительное, чем еще более увеличивалось значение его ответов, Людвиг, наоборот, уверял, что именно эти движения, особенно же повороты глаз и головы, кажутся ему в высшей степени глупыми и смешными, при этом он вспоминал как доказательство сказанную им при посещении Турка остроту, до того смутившую не только фокусника, но, по-видимому, даже неизвестную говорящую устами автомата личность, что кукла во весь этот день не сказала ровно ничего достойного внимания.

-- Когда я вошел, -- продолжал Людвиг, -- Турок напомнил мне очень знакомую с детства куклу -- деревянного щелкунчика, подаренного мне однажды на елку. Щелкунчик этот был презабавная фигурка с огромными, двигавшимися посредством устроенного в голове механизма глазами и щелкал твердые орехи с такой уморительной, живой гримасой, что я, помню, часами не мог на него налюбоваться. Кукла эта стала для меня лучшей из всех моих игрушек, и я не хотел даже смотреть на многие другие, намного лучше сделанные марионетки. Позднее мне много рассказывали о прекрасных автоматах Данцигского арсенала. Посетив этот город, я нарочно отправился их смотреть. При входе в зал огромный, одетый в старинную униформу солдат направился прямо ко мне и, приложившись своим мушкетом, выстрелил так громко, что эхо раздалось под отдаленными сводами залы. Множество подобных игрушек, имена которых я даже забыл, попадались мне на каждом шагу, но наконец я был введен в особую комнату, где восседал бог войны, сам грозный Марс со своей свитой. Трон его был украшен оружием всех родов и видов и окружен целым отрядом солдат и драбантов. Едва я приблизился, двое барабанщиков забили тревогу, а трубачи затрубили такую нескладицу, что пришлось

зажать уши. "Плохой, однако, у его величества бога войны оркестр", -- заметил я, с чем охотно согласились присутствовавшие. Затем трубы и барабаны умолкли, зато драбанты начали ворочать головами и стучать алебардами, пока бог войны, также порядочно поворочав глазами, вдруг не вскочил с места и не захотел, казалось, броситься прямо на нас. Скоро, правда, он снова сел на свой трон, трубы и барабаны потрещали еще немного, и все пришло в прежнее деревянное спокойствие. Выходя из залы, я невольно сказал себе: "Нет, мой милый щелкунчик развлекал меня намного больше". И теперь, господа, поглядев на мудрого Турка, я повторяю то же самое: что щелкунчик был мне милее!

Все громко засмеялись, но заметили, однако, что мнение Людвига было более забавно, чем справедливо, так как независимо от несомненного остроумия, которым отличались ответы Турка, удивительное искусство, с каким была устроена невидимая связь автомата с личностью, не только дававшей ответы, но даже производившей соответственные движения, было вполне достойным удивления чудом механики и акустики.

С этим последним мнением соглашался сам Людвиг, и автомат был вообще признан замечательным произведением. В эту минуту один из гостей, старичок с виду, очень мало говоривший до того времени, встал с места, что он делал каждый раз, когда ввертывал в разговор какое-нибудь незначительное замечание, и, учтиво обратясь к присутствовавшим, сказал:

-- С вашего, милостивые государи, позволения, осмелюсь попросить у вас минуту внимания. Ваши благоприятные отзывы о давно уже занимающем нас произведении искусства совершенно справедливы. Но вы напрасно полагаете, что автомат сделан самим приезжим фокусником. Он тут совершенно ни при чем. Истинный виновник занимающего нас чуда -- очень ученый и достойный глубокого уважения человек; он давно живет в нашем городе, и мы все его знаем.

Собравшиеся в изумлении принялись осаждать старичка вопросами.

-- Я намекаю, -- продолжал тот, -- ни более ни менее, как на профессора Х***. Турок был уже несколько дней в городе, не обращая на себя почти ничьего внимания. Тогда профессор, будучи известным любителем автоматов, отправился к его хозяину. Получив от Турка несколько ответов, профессор внезапно задумался и, отозвав хозяина автомата в сторону, шепнул ему на ухо несколько слов. Последний, услышав их, внезапно побледнел, тотчас же выпроводил немногих посетителей, запер комнату, где сидел Турок, сорвал афишки со стен на улицах, и затем целых четырнадцать дней не было ни слуху ни духу о мудром автомате. Наконец через две недели появилось новое объявление, и пришедшие посетители нашли Турка уже с новой, прекрасно сделанной головой и в теперешней обстановке,

заставляющей нас так усердно ломать головы над разрешением этой загадки. С этого же времени и ответы Турка стали так находчивы и умны. А что все это дело рук профессора Х***, нет ни малейшего сомнения, так как фокусник в течение упомянутых мною двух недель ежедневно посещал профессора, а также и сам профессор, что вполне известно, каждый день проводил по несколько часов в комнате гостиницы, где до сих пор стоит Турок. Об остальном, господа, сообразуйте догадаться сами. По крайней мере, всем известно, что у профессора есть богатейшее собрание автоматов и что он состоит в постоянной переписке с советником и относительно всего, что только появляется нового в механике и физике, и что если бы он только захотел, то мог бы удивить весь мир. Но, к сожалению, он работает в тиши кабинета и нигде не выставляет свои произведения, хотя изъявляющие желание увидеть их у него в доме никогда не получают отказа.

Хотя присутствующие знали, что профессор Х***, занимавшийся преимущественно химией и физикой, очень интересовался также механическими игрушками, но никому и в голову не приходило подозревать его в чем-либо связанном с говорящим Турком. Да и вообще его коллекция механических предметов была известна в обществе более по слухам. Потому Фердинанд и Людвиг чрезвычайно заинтересовались услышанным предположением старика об участии профессора в деле с автоматом.

-- Не скрою от тебя, -- сказал Фердинанд, -- что, слушая этот рассказ, я проникся лучом некоторой надежды найти ключ к занимающей меня тайне, познакомившись с профессором. Не знаю, предчувствие ли таинственной связи, в которой состоит со мной Турок, или, вернее говоря, тот, кто дает за него ответы, поддерживает эту надежду, но мне кажется, что я получу возможности разрушить сделанное мне тяжелое предсказание. Я решил непременно познакомиться с профессором Х*** под предлогом желания увидеть его автоматы, а так как они, по общим отзывам, замечательны и в музыкальном отношении, то посещение профессора будет небезынтересно и для тебя.

-- Как будто, -- заметил Людвиг, -- одного желания помочь тебе уже недостаточно, чтобы побудить меня отправиться к профессору. Признаюсь, мне самому запали кое-какие мысли в голову, когда я слушал сегодня рассказ старика об участии профессора в деле Турка, хотя, конечно, может быть, что все это вздор, а мы ищем с тобой окольными путями предмет, который лежит у нас перед носом. Не проще ли предположить для разрешения этой загадки, что невидимый оракул знал историю портрета, что носишь на груди, и таким образом довольно удачно попал своим ответом в цель. Дурное же предсказание могло быть просто желанием с его стороны отомстить за наши насмешливые отзывы о мудрости автомата.

-- Повторяю тебе, -- возразил Фердинанд, -- что никто ничего не знал о портрете. Никому не заикался я о моем приключении, и Турку не было возможности что-либо узнать обыкновенным способом. Потому очень может быть, что то, что ты называешь окольным путем, лежит к истине гораздо ближе.

-- Если так, -- сказал Людвиг, -- то в противоположность высказанному мною сегодня мнению, я начинаю думать сам, что автомат этот действительно замечательнейшая из когда-либо виденных мною вещей. Все доказывает, что лицо, управляющее его деятельностью, обладает глубокими познаниями в механике, с чем согласится даже тот, кто привык глядеть на вещи поверхностным взглядом. Внешняя форма вообще имеет мало значения, но здесь даже и она удивительно искусно придумана для того, чтобы вид и движения автомата еще более приковывали внимание публики к сущности и цели даваемых ответов. В самой фигуре, конечно, не может поместиться живой человек, и потому понятно, что выходящие из ее рта ответы не более как акустический обман. Но как этот обман устроен, и каким образом личность дающего ответы может видеть и слышать присутствующих, а также им отвечать, -- решительно остается для меня загадкой. Но как ни замечательны познания в механике и акустике художника, построившего автомат, как ни поразительно его умение воспользоваться малейшими обстоятельствами, чтобы довести до совершенства морочащий нас секрет, все-таки эта сторона дела интересует меня менее, чем то непонятное ясновидение, которым обладает Турок, читая сокровеннейшие тайны в душе спрашивающих его, что ты блистательно испытал на себе. Личность дающего ответы с помощью какого-то непонятного средства, по-видимому, владеет силой психического влияния на нашу душу и может становиться в такое с нами духовное сообщение, что ему делается ясно не только наше душевное настроение, но и вся наша внутренняя сущность. Таким путем самые заветные, часто для нас самих не совсем ясные стремления нашей души вызываются наружу и облекаются по воле ясновидящего духа в совершенно ясные формы, хотя сам способ их выявления и остается иногда несколько темным и как бы проникнутым экстазом, каким, впрочем, всегда сопровождается влияние одного духовного существа на другое. Эта тайная психическая сила соединяет в одно целое наши душевные струны, звучавшие до того порознь, и составляет из них стройный аккорд. Таким образом, в конце концов выходит, что получаемые от Турка ответы мы даем себе сами, его же задача состоит только в том, чтобы пробудить и облечь в понятную мысль жившие в нас до того рассеянными отдельные стремления и предчувствия. Так иногда во сне нам кажется, что какой-то чужой голос надоумил нас на то, о чем мы имели лишь разрозненные, смутные понятия, хотя голос этот, будучи явно чужим, конечно,

выходит из нашего же внутреннего существа и только выражается на этот раз непонятным нам образом. Разумеется, Турку, то есть тому разумному существу, которое говорит его устами, приходится довольно редко выполнять такие трудные задачи. Сотни зевак, обращающихся к нему с пустыми вопросами, заслуживают и получают такие же пустые ответы. Природное остроумие, которым одарен отвечающий, помогает ему легко отделяться в подобных случаях, потому тут не может быть и речи о чем-нибудь глубоком или удивительном. Но редко случающееся экзальтированное настроение кого-либо из присутствующих мгновенно изменяет ответ Турка, заставляет его быть настороже и направляет все силы данной ему власти, чтобы проникнуть в душу задающего вопрос, вступить с ним в психическую связь и из него же самого вырвать подходящий ответ. Медленность, с которой Турок отвечает иногда на подобные вопросы, обличает, может быть, только его старание потянуть время для того, чтобы хорошенько приноровиться к сущности спрашивающего и приготовиться к ответу. Вот мое искреннее мнение о занимающем нас предмете, и ты видишь, что я далеко не так презираю эту игрушку, как это вам всем показалось. Наоборот, я придаю ей даже слишком серьезное значение. Но высказав тебе свои убеждения, я вместо того, чтобы тебя успокоить, еще более растревожил.

-- Напрасно ты так думаешь, -- отвечал Фердинанд. -- Твои мысли совершенно сходятся с моими, но я не мог их так ясно выразить, а потому, выслушав тебя теперь, совсем успокоился. Тайна моя останется тайной, потому что ты наверняка не хуже меня сумеешь схоронить ее в своем сердце как святыню. Но я забыл тебе сообщить еще об одном замечательном обстоятельстве. Представь, что в ту минуту, когда Турок давал мне свой ответ, мне показалось, будто я совершенно ясно слышу звуки мелодии -- "Mio ben ricordati, s'avvien ch'io t'amo" -- в тихих, прерывистых аккордах, сквозь которые как будто опять раздался чудный, выдержанный звук небесного голоса, который я слышал в памятную мне ночь.

-- Вообрази же, -- сказал Людвиг, -- что и моя рука задрожала, когда я положил ее на перила, окружающие автомат, мне даже показалось, что по комнате пронесся тихий музыкальный звук, который, впрочем, я не решаюсь назвать пением. Я тогда не обратил на это внимания потому, что ведь мне, как ты знаешь сам, постоянно чудятся мелодии, так что я не раз бывал этим обманут. Но теперь меня очень изумляет таинственная связь, которая, видимо, существует между этим нежным звенящим мотивом и случившимся с тобой в Б*** событием.

Фердинанд видел в этом доказательство психической связи, существовавшей между ним и его другом. Продолжая затем разговор на эту тему и договорясь, наконец, до еще более удивительных результатов соединяющего их духовного родства, Фердинанд

почувствовал заметное облегчение от той тяжести, которая давила ему грудь с самой минуты получения злосчастного ответа. "Теперь, -- говорил он, -- я готов идти навстречу всему! Я все-таки уверен, что не могу ее потерять. Ее, постоянно живущую во мне и дающую возможность жить мне самому".

Обнадеженные таким образом и твердо уверенные в реальности своих догадок, отправились они к профессору Х***. Профессор оказался уже очень пожилым, одетым в старинный немецкий костюм человеком с открытой, насмешливой физиономией. Маленькие серые глаза его таили в себе что-то неприятное, да и саркастическая, постоянно висевшая на губах усмешка, не могла называться особенно привлекательной.

Услышав о желании друзей посмотреть его автоматы, профессор сказал:

-- Э, так, стало быть, вы любители механики, а может быть, и сами занимаетесь ею? Так я скажу вам, что вы увидите у меня то, что не отыщете во всей Европе.

Голос профессора не был приятным; он говорил разбитым, пронзительным тенором, очень похожим на голос ярмарочных фокусников, зазывающих посетителей в свой балаган. Громко стуча ключами, отворил он дверь большой, прекрасно меблированной комнаты, где находились его автоматы. Большой флигель* стоял на возвышении, посередине комнаты. Возле него была фигура мужчины с флейтой в руках, а с другой стороны сидела кукла женщины перед похожим на фортепьяно инструментом. Позади были два мальчика с барабаном и стальным треугольником. В глубине залы находился уже знакомый друзьям оркестрион, а на стенах было развешано множество часов с музыкой. Профессор подошел к оркестриону с часами и незаметно что-то тронул в автоматах. Затем он сам сел к флигелю и начал играть анданте, вроде марша, пианиссимо. При повторении мотива автомат с флейтой поднес ее к губам и начал играть тему пьесы, а оба мальчика стали точно бить такт, один на барабане, другой на треугольнике. Скоро затем послышались звучные аккорды под деревянными пальцами женщины, сидящей за фортепьяно. Вся зала начала мало-помалу оживляться. Часы с музыкой одни за другими стройно присоединялись к общему оркестру. Барабан бил все громче и громче, треугольник звенел на всю комнату, и наконец фортиссимо грянули стройные звуки оркестриона, так что все в зале задрожало и затряслось, пока профессор не кончил этот концерт громовым финальным аккордом совершенно в такт со всеми своими автоматами. Друзья принесли профессору дань искренней похвалы и удивления, которой, впрочем, судя по его самодовольной улыбке, он вполне ожидал. По-видимому, он хотел показать им что-то еще и снова подошел было к автоматам, но друзья, точно сговорившись,

извинились, сославшись на какое-то не терпящее отлагательств дело, и простились с механиком и его автоматами.

** Рояль.*

-- Ну, -- сказал Фердинанд, когда они вышли, -- как тебе все это понравилось? Не правда ли, недурно?

-- Ах, -- перебил Людвиг с недовольным видом, -- черт бы побрал и профессора, и его автоматы! Нас надули, как дураков. Где разрешение нашей загадки? Куда девалась ожидаемая беседа с профессором, в которой мы думали почерпнуть самую суть мудрости, как ученики в Саисе?

-- Зато, -- возразил Фердинанд, -- мы видели, действительно, замечательные вещи, интересные даже в музыкальном отношении. Кукла с флейтой, без сомнения, это повторение знаменитого автомата Вокансона, и, вероятно, тот же механизм с некоторыми изменениями в устройстве пальцев применен и к виртуозке на фортепьяно, игравшей в самом деле с замечательным искусством. Меня в особенности удивляет общая механическая связь между автоматами.

-- Что до меня, -- перебил Людвиг, -- то именно это искусство способно свести меня с ума. Механическая музыка, к которой я по ее характеру причисляю и игру самого профессора, всегда выводит меня из себя, так что я долго не могу успокоиться. Уже один намек на сходство живого человека с чем-то мертвым, выражающееся во всех этих автоматах, производит на меня тяжелое, гнетущее впечатление. Вообрази, если бы кто-нибудь дошел до искусства делать автоматические фигуры, которые бы танцевали, как живые, и если бы живые люди попробовали протанцевать с этими автоматами какой-нибудь танец, исполнив как следует все фигуры и повороты! Живой кавалер схватил бы мертвую деревянную даму и пустился с ней вальсировать! Неужели ты мог бы без внутреннего ужаса вынести такое зрелище? А мертвая машинная музыка действует на меня еще неприятнее, и потому хорошо сделанная машина для вязания чулок, по моему, гораздо лучше и полезнее всех этих великолепных часов с музыкой. Неужели кто-нибудь может думать, что вдувание воздуха при игре на духовых инструментах или щипание струн на инструментах струнных заключают в себе суть того, что нас восхищает и чарует. Неужели одно подобное мертвое средство достаточно, чтобы пробудить в нашей душе то неизъяснимое, чуждое всему земному чувство, которое можно сравнить только с предвкушением небесного блаженства, доступного исключительно для потусторонней жизни? Не надо ли, наоборот, заключить, что средство это -- не более как только физическое орудие в руках духа, с помощью которого он заставляет звучать слышимым образом то, что таилось до тех пор в глубине

нашей души, и притом зазвучать так, что душа в ответ ему отзывается сама родственным созвучием, делаясь способной вступить в то чудесное царство, из которого принесли, как живительные лучи, эти звуки? Думать, что музыка может быть произведена посредством мехов, пружин, рычагов, валков, словом, всего того, что составляет часть механических музыкальных аппаратов, -- величайшая бессмыслица. Все это не более как средства, которыми пользуется дух, чтобы оживить и вызвать то, что таится в его глубине и жаждет вырваться наружу. Для музыканта нет упрека хуже, чем сказать, что он играет без выражения. Этим он не только портит, но даже совершенно уничтожает всю сущность музыки и притом ею же самой. Но и самого бездушного артиста с его деревянной игрой все-таки легче перенести, чем совершеннейшую музыкальную машину, потому что и в нем может иногда случайно проскочить искра божественного огня, чего, само собой, нельзя ожидать от машины. Стремление механика подражать в своих игрушках музыкальным тонам, доступным только органам человека, кажется мне всегда объявлением войны духовному началу, чье могущество тем победоноснее, чем более встречает оно на своем пути препятствий. Поэтому, чем замысловатее музыкальная машина, тем она ничтожнее в моих глазах, и простой, устроенный без всяких претензий орган с рукояткой, по-моему, гораздо лучше, чем все эти Вокансоны флейтисты и деревянные виртуозки на фортепьяно.

-- Я совершенно согласен с тобой, -- сказал Фердинанд. -- Ты удивительно верно выразил словами то, что я давно смутно чувствовал в душе, в особенности же, сегодня во время посещения профессора. Хотя я не так глубоко понимаю музыку, как ты, и потому не могу так сильно чувствовать ее фальшь, но, признаюсь, мертвая, машинная музыка автоматов всегда производила и на меня неприятное впечатление. Еще будучи ребенком, помню, я терпеть не мог слушать, когда начинали бить старинные часы с курантами, стоявшие у нас дома. Поистине, жалко бывает смотреть, как умные, способные механики убивают время на подобные пустяки вместо того, чтобы заняться простым усовершенствованием музыкальных инструментов.

-- Совершенная правда, -- согласился Людвиг. -- И это в особенности применимо к инструментам с клавишами. Какое богатое поле для усовершенствований представляет хотя бы флигель, от правильного устройства которого так зависит и тон, и требующаяся от игры манера. Но истинно музыкальной механикой называю я ту, которая подслушивает тайну звуков у самой природы, изучая естественные, присущие физическим телам тона, а затем пытается уловить их и приспособить к какому-нибудь инструменту, чтобы звуки эти могли впредь вызываться одной человеческой волей. Стремление изучить различные звуки, порождаемые дрожанием стеклянных или металлических цилиндров, стеклянных палочек, мраморных пластин и

даже простых струн, когда они почему-либо вдруг зазвучат странным, необыкновенным образом, по-моему, в высшей степени достойно похвалы. Жаль только, что польза от этого завоевательного вторжения в тайную, скрытую в недрах природы область акустики часто парализуется пустым шарлатанством, не задумывающимся ради денежных выгод провозглашать новым великим открытием какой-нибудь вздор, или давно известный, или ничего не значащий. Вот причина, почему в последнее время было изобретено так много новых инструментов с громкими, хвастливыми именами, так же скоро забытых и брошенных.

-- Твое определение музыкальной механики, -- заметил Фердинанд, -- очень интересно, но, признаться, я не вполне понимаю ее цель.

-- Эта цель, -- отвечал Людвиг, -- усовершенствование тонов. Я, по крайней мере, считаю музыкальный тон тем совершеннее, чем более приближается он к какому-нибудь из таинственных звуков природы, еще не отторгнутых от ее груди.

-- Не знаю, -- отвечал Фердинанд, -- потому ли, что ты выше меня в музыкальном развитии, но я не совсем ясно тебя понимаю.

-- Сейчас я изложу тебе свой взгляд в полной системе, -- сказал Людвиг и затем начал так: -- В те отдаленные времена, когда человек, говоря словами Шуберта в его "Воззрениях на тайны природы", жил в полной с нею гармонии, обладая даром вещих предсказаний и высокой поэзии, когда силы природы вполне царили над человеком, а не наоборот, так что эта добрая мать сама питала и лелеяла порожденное ею детище, человек жил, можно так выразиться, овеянный ее звуками, открывающими ему то там, то здесь ее вечное движение. Как отголосок этого незапамятного времени дошла до нас чудесная легенда о музыке сфер. Легенда эта, когда я еще ребенком в первый раз прочел о ней в "Сципионовом сне", восхитила меня до того, что я, помню, убежал иной раз в светлые лунные ночи из дома и прислушивался, не донесет ли до меня ветер отголоски этих чудных звуков. Но эти звуки природы, о которых я говорю, не исчезли совсем с лица земли и теперь. Такова, например, воздушная музыка на острове Цейлон, известная под именем "голоса дьявола". Она, как известно, описана всеми путешественниками, утверждавшими единогласно, что даже самые невозмутимые люди не могут равнодушно слушать эти звуки природы, так поразительно похожие на душераздирающие человеческие вопли. Я наблюдал сам нечто подобное этому явлению, когда жил несколько лет назад в одном из имений в Восточной Пруссии, около Куршской косы.

Это было осенью. По ночам при умеренном ветре мне совершенно ясно слышались протяжные, вполне ровно выдержанные тоны, похожие то на звуки органных труб, то на звон отдаленного колокола. Часто я совершенно определенно различал нижнее F вместе с квинтой C; иногда звучала малая терция Es, так что составлявшийся таким

образом резкий септимааккорд невольно пробуждал в моей душе щемящее томление, доходившее почти до ужаса. В возникновении, внезапном усилении и ослабевании этих звуков природы заключено в самом деле что-то, непонятно действующее на душу, а инструмент, напоминающий эти звуки, действует на нее точно таким же образом. Я разумею гармонику. Ее сходный с описанными мною звуками тон способен глубоко потрясти душу, и притом заметить, что именно потому же гармоника менее всего поддается глупым, бессмысленным модуляциям, оставаясь всегда в музыке представительницей священной, первобытной простоты. Недавно изобретенный гармоникорд, в котором с помощью остроумного приспособления звук извлекается посредством клавиш и вала из дрожащих струн, также принадлежит к этой категории инструментов; в нем повышение и понижение тона еще более во власти исполнителя, чем в гармонике, но зато при помощи гармоникорда нельзя извлекать тех дивных, точно с неба несущихся звуков, на что способна гармоника.

-- Я слышал этот инструмент, -- сказал Фердинанд, -- и признаюсь, он глубоко меня поразил, хотя собственно игра артиста в тот раз ничем особенно не отличалась. В общих чертах я понял все, что ты говорил, но та связь, которую ты видишь между звуками природы и инструментальной музыкой, все-таки от меня ускользает.

-- Всякая музыка, -- возразил на это Людвиг, -- прежде чем проявиться в звуке, заключается в природе. Артист посредством инструмента только вызывает эти звуки из ее сокровенных тайников как бы с помощью волшебной палочки. Но в некоторых психических состояниях, как, например, во сне, мы можем иногда слышать эти звуки непосредственно. Впрочем, чистые звуки природы можно иногда услышать даже в концертах, где они, проглянув иной раз вдруг сквозь массу инструментов, пронесутся перед нами, точно в бурном порыве ветра.

-- Ты напомнил мне, -- перебил своего друга Фердинанд, -- Эолову арфу. Что скажешь ты об этом замечательном открытии?

-- Попытка воспроизвести звуки природы, -- отвечал Людвиг, -- в любом случае похвальна; жаль только, что этим занимаются большей частью для забавы, так что природа, как бы недовольная этим, обыкновенно очень скоро портит подобные инструменты. Эоловы арфы, по большей части, устраиваются только для вентиляции, и по моему, гораздо выше их так называемая ветряная арфа, о которой я однажды где-то читал. Туго натянутые разной величины проволоки вывешиваются на ветру и издают, смотря по его силе и напряжению, настоящие музыкальные тона. Вообще надо сказать, что образованный и знающий свое дело физик или механик может еще очень много сделать на этот счет, и я думаю, что при том направлении, которое принимает теперь изучение естественных наук, исследования ученых

откроют такие тайны природы, о которых мы до сих пор не смели даже и думать.

Вдруг в эту минуту какой-то странный звук, напоминавший звук гармоники, пронесся по воздуху. Друзья вздрогнули и невольно остановились. Звук повторился, но на этот раз в нем уже можно было явственно различить женский голос. Фердинанд судорожно сжал руку друга, а Людвиг тихо прошептал: "Mio ben ricordati, s'avvien ch'io mora". Они находились в эту минуту за городом, перед высоким забором, окружавшим чей-то густой, усаженный высокими деревьями сад. Неподалеку сидела в густой траве маленькая девочка и чем-то играла. Услышав пронесшийся звук, она вскочила, прислушалась и затем быстро проговорила:

-- Ах, это опять поет сестрица! Надо ей отнести букет гвоздик! Она, когда увидит эти цветы, запоем еще лучше.

С этими словами девочка поспешно нарвала большой букет и убежала в сад, оставив дверь незапертой, так что друзья могли хорошо видеть, что в нем делалось. Но каково было их удивление и ужас, когда, заглянув в дверь, они увидели профессора Х***, стоявшего в саду под высоким ясенем. Изумление друзей увеличилось еще более, когда, взглянув ему в лицо, они не заметили и следа той неприятной иронии, с которой он их встретил у себя дома. Напротив, лицо его было озарено какой-то важной, серьезной думой, а глубокий взгляд устремленных на небо глаз, казалось, созерцал само небесное блаженство, скрытое там, за далекими облаками и посылавшее ему свой привет в этих дивных, несущихся точно на крыльях ветра, звуках. Постояв несколько минут, профессор задумчиво пошел медленными шагами по аллее, но тут вдруг новое чудо! Кусты и деревья, мимо которых он проходил, как будто оживали с каждым его шагом. Удивительные, кристально звенящие звуки пробуждались в их зелени и, сопровождая проходившего профессора, сливались все вместе в стройный хор, неотразимо проникавший в душу присутствовавших, как струя чистейшего, небесного эфира. Между тем смерклось; профессор исчез за забором, а вместе с ним умолкли и звуки, замерев в едва слышном пианиссимо.

В глубоком молчании добрались друзья до города, но при расставании Фердинанд крепко обнял Людвига со словами:

-- Не оставляй меня, Людвиг! Я чувствую, что какая-то чуждая, злобная власть проникла мне в душу и овладела всеми моими помыслами, так что может делать со мной что хочет, даже погубить по своему произволу. Эта ирония, с которой нас принял профессор, не была ли видимым выражением злобной власти, а все его фокусы с автоматами -- только вступительным приемом для того, чтобы поймать меня в свои сети.

-- Может быть, ты и прав, -- отвечал Людвиг. -- Мысль, что профессору суждено сыграть какую-то, пока еще загадочную для нас роль в твоей жизни или, вернее сказать, в твоих таинственных отношениях с той женщиной, приходила в голову мне самому. При этом очень может быть, что его злое влияние послужит тебе же на пользу, укрепив тебя в борьбе и разбудив силы для достижения желаемого. Во всяком случае, твоя личность должна производить на него неприятное впечатление, как личность врага, становящегося поперек дороги его собственным психическим устремлениям, невольно побуждаемым к враждебной деятельности.

Друзья решили употребить все зависящие от них средства, чтобы сблизиться с профессором и, может быть, добиться разрешения загадки, имевшей такое влияние на жизнь Фердинанд. Уже на следующее утро хотели они вновь отправиться к нему, но полученное внезапно Фердинандом письмо от отца, в котором он звал его немедленно домой по неотложному делу, расстроило их планы. Фердинанд тотчас же взял почтовых лошадей и поспешил в Б***, уверив, впрочем, своего друга, что постарается не позднее, чем через две недели вернуться назад.

Вскоре после отъезда Фердинанда Людвиг вновь имел разговор со старичком, рассказавшим друзьям о влиянии профессора на загадочный автомат. Из этого разговора Людвиг узнал, что создание движущихся кукол было для профессора не более как пустой забавой, настоящим же заветным занятием его жизни было глубокое изучение естественных наук во всех их отраслях. Старичок в особенности высоко ценил труды профессора по теории звука, которых тот, впрочем, еще никому не сообщал в подробностях. Лабораторией его был целый сад, расположенный за городом. Прохожие не раз рассказывали о каких-то удивительных звуках, которые слышали там, как будто сад был населен феями и другими воздушными существами.

Между тем две недели истекли, а Фердинанд не являлся; наконец, через два с лишним месяца, получил Людвиг от своего друга письмо следующего содержания:

"Читай и изумляйся! То, что оба мы смутно подозревали относительно профессора Х*** и что ты, может быть, уже узнал, познакомясь с ним ближе, оправдалось! По дороге отсюда остановился я в одной деревушке для перемены лошадей и задумался, глядя вдаль. Вдруг большая карета подъехала к деревне и остановилась у церковных дверей. Из кареты вышла стройная, просто одетая женщина, за которой следовал красивый молодой человек в форме русского офицера с орденом на груди. Двое людей вышли из экипажа, следовавшего сзади. Почтмейстер объяснил, что это жених и невеста, приехавшие для венчания. Машинально отправился я в церковь и поспел как раз в ту минуту, когда пастор произнес слова

благословения. Обряд закончился. Я взглянул... Невестой была моя певица! Увидя меня, она побледнела и пошатнулась, так что стоявший за ней вынужден был ее поддержать. Это был профессор Х***. Что было дальше, я решительно не помню, равно как и то, каким образом я добрался сюда. Если хочешь, можешь это узнать от самого профессора. Но с той минуты покой и мир вновь возвратились в мою душу. Пророческие слова Турка оказались пустой ложью, из которой мое воображение раздуло Бог знает что. И действительно, разве я ее потерял? Разве она не осталась лучшим, светлым образом, озарившим мою юность? Прощай! Вероятно, ты долго не будешь иметь обо мне известий. Я отправляюсь в К***, а оттуда, может быть, на дальний север".

Из письма Людвиг ясно видел расстроенное душевное состояние своего друга, но тем более он изумился, когда узнал, что профессор Х*** во все это время ни разу не отлучался из города. Неужели возможно, думал он, чтобы столкновение замечательных психических отношений, существовавших, может быть, между несколькими лицами, могло с таким могуществом овладеть душой которого-нибудь из них так, что возбужденное чувство его обманулось несуществовавшим призраком, приняв его за развязку всего дела? Но, впрочем, я еще надеюсь, что поток жизни сумеет изгладить прошлое и утешит в будущем моего друга. Таинственное предсказание Турка исполнилось, и может быть, этим самым был отвращен удар, грозивший погубить Фердинанда совершенно.

* * *

-- И что же? -- с удивлением спросил Оттмар, -- видя, что Теодор окончил чтение. -- Это все? Где же развязка? Что было дальше с Фердинандом, с прекрасной певицей и с русским офицером.

-- Разве я не объявил вам заранее, -- отвечал Теодор, -- что рассказ мой не более как отрывок? Да притом вся история говорящего Турка имеет анекдотический характер. Предоставляю фантазии читателя или слушателя закончить остальное -- как ему будет угодно, а сам предпочитаю умолчать. Если же ты, любезный Оттмар, так заинтересован дальнейшей судьбой Фердинанда, то вспомни отрывок "Поэт и композитор", прочитанный мной на нашем первом собрании, там тот же самый Фердинанд является здоровый телом и духом, горя желанием сразиться за отечество. Значит, дурь молодости прошла для него без следа, и он благополучно разделался со своей сомнамбулической любовью.

-- А я прибавлю, -- вновь возразил Оттмар, -- что наш Теодор уже не в первый раз обнаруживает склонность заблудиться в целом лесу диких

фантазий и таинственных сил, а там вдруг ни с того ни с сего разом оборвать свой рассказ. Может быть, он не замечает этого сам, но всякий посторонний непременно увидит в нем эту слабость. Я помню, было время, когда все в его жизни имело какой-то отрывочный характер: в книгах он читал только второй том, не заботясь об остальных, в театре просиживал только второе и третье действия и все в этом роде.

-- Эта склонность, -- перебил Теодор, -- осталась во мне до сих пор. Я терпеть не могу, если в каком-нибудь фантастическом романе развязка объясняет изложенные события все до последнего, предоставляя читателю только благополучно надеть шляпу и отправляться домой, не возбуждая в нем ни малейшего желания остановиться и еще раз взглянуть за кулисы. Потому мастерски рассказанный отрывок всегда производит на меня большее впечатление и доставляет надолго истинное удовольствие, заставляя мою собственную фантазию распустить свои крылья. Да и кто не испытывал этого чувства хотя бы после чтения "Смуглой девушка" Гете. Прелестный отрывок этой сказки о маленькой женщине, которую путешественник возит с собой в шкатулке, производил на меня всегда неизъяснимое очарование.

-- Ну довольно, довольно! -- остановил его Лотар. -- Ясно, что мы не узнаем ничего более о говорящем Турке, да, кажется, и предмет этот исчерпан вполне; потому пора приниматься за чтение Оттмару.

Отмар вынул свою рукопись и прочел:

ДОЖ И ДОГАРЕССА

Под этим именем значилась в каталоге выставки Берлинской Академии художеств, состоявшейся в сентябре 1816 года, картина известного члена Академии -- Кольбе, до того неотразимо привлекавшая к себе внимание посетителей, что место перед ней никогда не оставалось пустым.

Дождь в великолепной богатой одежде ведет под руку вдоль балкона не менее роскошно одетую догарессу. Он -- старец с седой бородой и темно-красным, с подвижными чертами лицом, выражающим почти одновременно силу, слабость, гордость и усталость. Она -- молодая, цветущая женщина с выражением затаенной печали и множества мечтательных устремлений не только в чертах лица, но и во всем повороте фигуры. За ними пожилая женщина и мужчина, держащие развернутый зонтик. В стороне молодой человек трубит в рог, сделанный из изогнутой раковины. В глубине -- море и на нем украшенная венецианским флагом гондола с двумя гребцами, а на заднем плане сотни и сотни парусов да вздымающиеся в воздух башни

и дворцы прекрасной, возникающей из волн Венеции. Налево виден собор святого Марка, направо церковь Сан Джорджо Маджоре. На золотой раме картины вырезаны слова:

*Ah! senza amare
Andare sul mare,
Col sposo del mare,
Non puo consalare!**

** Без нежного друга пуститься по морю и с моря супругом, все будет лишь горе! (итал.).*

Однажды между зрителями, стоявшими перед этой картиной, возник горячий спор о том, сочинена ли она самим художником, просто хотевшим изобразить согласно со смыслом подписанных стихов положение пожилого человека, который, при всем блеске, его окружающем, все-таки не может удовлетворить желаниям молодой, жаждущей любви женщины или, наоборот, художник был только передатчиком и истолкователем истинного исторического происшествия. Каждый защищал свое мнение, пока, наконец, большинство споривших, утомленные долгим разговором, мало-помалу не разошлись, так что перед картиной осталось всего двое друзей, завярых любителей искусства.

-- Я не понимаю, -- сказал один, -- что за охота портить себе удовольствие подобными бессмысленными спорами? Что до меня, то мне решительно все равно, что случилось с этим дожем и догарессой в жизни. Меня в этой картине поражает, главным образом, блеск и могущество кисти, ощущаемые во всем произведении. Взгляни, как гордо и легко веет в воздухе этот флаг с крылатым львом. О чудная, чудная Венеция!

И сказав это, он начал декламировать начало Турандотовой загадки о крылатом льве:

-- Dimmi, qual sia quella terribil fera...*

** Скажи, кто этот зверь ужасный (итал.).*

Но едва он закончил, как кто-то немедленно ответил приятным звучным голосом разгадку:

-- Tu quadrupede fera...*

** Ты, зверь четвероногий (итал.).*

Тут только друзья заметили, что за ними стоял незаметно подошедший к ним красивый, высокий человек в сером, живописно

наброшенном на плечи плаще и смотрел сверкающими глазами на картину. Завязался разговор. Голос незнакомца звучал почти торжественно.

-- В том-то и особенность искусства, -- сказал он, -- что с его помощью туманные, витающие в пространстве образы, пройдя сквозь душу художника, получают форму и краски и оживают, словно найдя свое отечество, причем нередко бывает, что картина вдруг оказывается верным изображением того, что когда-то уже было или произойдет в будущем. Так и в настоящем случае, очень может быть, что Кольбе, сам того не зная, изобразил в своей картине дожа Марино Фальера и его супругу Аннунциату.

Незнакомец замолчал, но оба друга пристали к нему с неотступной просьбой объяснить им эту загадку, напоминавшую им загадку о льве Адриатики.

-- Если вы будете терпеливы, -- отвечал незнакомец, -- то я объясню вам значение этой картины, рассказав историю дожа Марино Фальера, но терпеливы ли вы? Я должен буду вдаваться в подробности, потому что иначе нельзя рассказывать о вещах, которые до того ясно и живо рисуются перед моими глазами, что, кажется, я видел их сам. Впрочем, последнее до некоторой степени в самом деле справедливо, так как каждый историк непременно должен быть ясновидящим, устремляющим свой взгляд в прошедшее.

Друзья отыскиали вместе с незнакомцем удобное для долгого рассказа место, где он без дальнейших предисловий немедленно начал свою повесть.

-- Давным-давно, если я не ошибаюсь, в августе тысяча триста пятьдесят четвертого года, храбрый генуэзский полководец Паганино Дориа разбил венецианцев наголову и осадил их город Паренцо. В заливе, почти в двух шагах от Венеции, шныряли неприятельские галеры, подобно голодным хищным зверям, ищущим верной добычи. Ужас объял народ и Синьорию. Всякий, кто только мог носить оружие, схватился за меч или весло.

В гавани Сан Никколо кипела главная деятельность. В море затопляли суда, вбивали сваи, замыкали цепи и все для того, чтобы помешать проходу вражеских судов. Пока толпы простого народа работали тут, среди шума оружия и грохота погружаемых в море тяжестей, агенты Синьории с бледными, вытянутыми лицами шныряли по Риальто, добывая за баснословные проценты деньги, которых не было в кассах республики. И к довершению всего -- в это грозное время общего бедствия испуганное стадо осталось без пастыря: старый дож Андреа Дандоло умер, удрученный, под бременем скорби и забот. Народ очень любил покойного герцога и называл своим "милым графчиком" (*il caro contino*) за его ласковое со всеми обращение и добродушие. Все помнили его прогулки по площади святого Марка,

где каждый имел право к нему подходить и говорить о своих нуждах. И никто не уходил прочь без доброго совета, слова утешения или пары цехинов в кармане. Второе горе всегда бывает чувствительнее, когда приходит в разгар первого. Так и теперь, едва глухой звон колоколов святого Марка возвестил о кончине дожа, отчаяние и без того уже растерявшегося народа перешло все границы.

"Теперь нет более надежды на спасение! Теперь должны мы согнуть шею под ярмом генуэзцев!" -- восклицали все, хотя смерть Дандоло собственно с военной точки зрения вовсе не могла назваться потерей. Добрый покойный граф всегда предпочитал жить в мире и тишине. Наблюдения над ходом небесных светил занимали его гораздо больше, чем хитросплетения государственной мудрости. А что касается его способностей предводителя, то устроить на Страстной неделе торжественную процессию умел он намного лучше, чем составить план сражения. Поэтому после его смерти предстояло выбрать дожа, который обладал бы как государственными, так и военными способностями в равной степени и мог твердой рукой спасти потрясенную до самых оснований Венецию от угрожавшего ей дерзкого врага.

Сенаторы собрались для совещания; много толковали они, сидя с печальными лицами и покачивая седыми головами, но не могли прийти ни к какому дельному результату. Где, в самом деле, было найти человека, который мог бы опытной рукой взяться за государственный руль и направить корабль к спасительной пристани? Наконец старейший из них, Марино Бодоэри, сказал, повысив голос:

-- Мы не найдем никого здесь, среди нас. Но давайте обратимся в Авиньон к старому Марино Фальеру, посланному с поздравлением к папе Иннокентию по случаю вступления на папский престол. Вот кто нам нужен! Его следует облечь властью дожа и ему поручить дело нашего спасения. Может быть, мне возразят, что Фальеру исполнилось уже восемьдесят лет, что его борода и волосы белы как снег, что ярким румянцем, который вспыхивает на его щеках обязан он, как уверяют насмешники, употреблению кипрского вина, а не внутреннему жару и бодрости, но вспомните, какой храбростью отличился Фальер, когда мы поручили ему командование нашим флотом в Черном море. Подумайте, каковы должны быть заслуги человека, если сами прокураторы святого Марка сочли достойным наградить его графством Вальдемарино!

Продолжая таким же образом, Бодоэри сумел в таком блестящем виде представить заслуги Марино Фальера, что скоро все без исключения голоса соединились в пользу его избрания. Некоторые, правда, пытались говорить о необузданной вспыльчивости Фальера, о его властолюбии, упрямстве, но другие возражали, что все эти дурные качества должны были неизбежно ослабеть в старике, а потому тем

более следует избрать герцогом Фальера-старика, а не Фальера-юношу. Впрочем, недовольные были скоро заглушены неудержимым восторгом народа, едва он узнал о новом избрании. Известно всем, что в годину общих бедствий всякое единогласное решение обычно принимается как самим небом посланный якорь спасения. Так получилось и теперь. Добрый граф со всей его мягкостью и благочестием был скоро забыт, и его же почитатели громко кричали и клялись святым Марком, что давно уже следовало избрать герцогом Фальера, тогда бы гордый Дориа и думать бы не смел напасть на Венецию. Старые, изувеченные в битвах инвалиды махали заржавленным оружием, приговаривая: "Кто как не Фальер победил Морбассана! Чьи победные флаги развевались в Черном море?"

В кучках собиравшегося народа то и дело рассказывали о подвигах Фальера, и толпы кричали и прославляли его имя, как если бы Дориа был уже побежден. К этому прибавилось еще и то, что командир флота, Никколо Пизани, отправившийся, -- вместо того, чтобы идти навстречу Дориа, -- неизвестно почему к берегам Сардинии, где не было никакой опасности, вновь повернул на Венецию, так что Дориа, видя приближающийся флот, должен был отступить. Это неожиданное, счастливое событие было также приписано влиянию страшного имени Фальера, и необузданный, бешеный восторг народа и Синьории, прославлявших счастливое избрание, перешел все границы.

Было решено принять счастливого, новоизбранного предводителя Венеции с невиданными до того почестями -- как спасителя, посланного самим небом и принесшего с собой честь и славу государства. Двенадцать почетнейших патрициев, каждый с блестящей свитой, были посланы республикой в Верону для встречи Фальера и торжественного объявления ему о происшедшем избрании. Пятнадцать богато убранных галер, оснащенных подестой Кьоджи, под предводительством его собственного сына Таддео Джустиниани, встретили затем Фальера в Кьоджи и с торжеством повезли победоносного герцога на Сант Элену, где ожидал его корабль "Буцентавр".

Как раз около того времени, когда Марино Фальер должен был пересечь на "Буцентавр", вечером третьего октября, почти на закате солнца, какой-то несчастный, истекающий кровью молодой человек лежал без движения на мраморных ступеньках таможни. Почти утратившие первоначальный цвет лохмотья, прикрывавшие его худое, изможденное тело, могли бы принадлежать бывшему моряку или носильщику, хотя кожа бедняги, просвечивавшая сквозь дыры на рубашке, была белой и нежной, как у знатного патриция. Худоба еще более подчеркивала прекрасное телосложение незнакомца, имевшего на вид никак не более двадцати лет от роду, а разбросанные в беспорядке прекрасные каштановые волосы, обрамлявшие высокий,

благородный лоб, и потухшие, но выразительные глаза, орлиный нос и тонкие складки губ невольно заставляли думать, что только ужасное несчастье могло свергнуть его в такое тяжелое положение, вырвав из другой, более высокой среды, к которой он принадлежал по рождению.

Юноша лежал на ступеньках таможни и, опершись головой на правую руку, бессмысленно смотрел ничего не выражавшим взором в морскую даль. При первом взгляде можно было счесть его даже за умершего, если бы тяжелый вздох, более похожий на стон от непереносимой боли, не поднимал иногда его грудь. Левая рука молодого человека была ранена: окровавленная и неподвижная она протянулась, как плеть, вдоль всего тела.

В этот день не было ни работ, ни движения в городе, все население Венеции на тысяче всевозможных лодок и гондол отправилось встречать своего нового дожа Фальера. Юноша был оставлен всеми без помощи и утешения. Его голова совсем уже готова была бессильно опуститься на мраморные плиты в совершенном беспамятстве, как вдруг чей-то резкий, пронзительный голос, в котором, однако, звучало беспокойство, окликнул его несколько раз:

-- Антонио! Милый Антонио!

Молодой человек приподнялся, собрав остаток последних сил, и, с трудом обернувшись к столбам набережной, за которыми раздался голос, с усилием спросил:

-- Кто меня зовет? Кто хочет бросить мой труп в море, так как на земле со мной уже все покончено?

Тут какая-то маленькая, скрюченная старуха подошла на костылях к молодому человеку и, прерывая речь кашлем, быстро заговорила, причем в голосе ее все время проскакивал какой-то судорожный смех:

-- Глупый ты, глупый! Собрался умирать, когда тебя ждет неописуемое счастье! Смотри, каким золотом горит заря! Это твои цехины! Вставай да съешь и выпей что-нибудь, чтобы подкрепить силы. Ты обессилел только от голода; он один -- причина, что ты лежишь здесь на холодной земле; ведь руке твоей уже лучше.

Антонио тотчас узнал в старушке нищую, которую он часто видел на ступенях Францисканской церкви, где она громким и несколько насмешливым голосом выпрашивала у прохожих милостыню. Он вспомнил, как часто сам, привлеченный непонятной симпатией, бросал ей свой последний, заработанный тяжелым трудом цехин. Но тут, находясь в таком тяжелом положении, он ответил сурово:

-- Оставь меня в покое, глупая! Что тут странного, что голод обессилил меня еще более, чем раньше! Уже три дня, как я не смог заработать ни одной монеты. Я было хотел добраться до монастыря, чтобы поживиться хотя бы нищенской похлебкой, да видишь, все мои товарищи уехали и ни один из них не захотел перевезти меня на ту

сторону. Так я и остался лежать здесь на земле, с которой, верно, больше не встану.

-- Ха-ха-ха! -- засмеялась старуха. -- Зачем же отчаиваться? Ты хочешь есть и пить? На то здесь я! Вот свежая рыба; она только сегодня куплена на рынке; вот хлеб, вот лимонный сок. Кушай, мое сокровище, а там мы позаботимся и о твоей раненой руке.

Сказав это, старуха вытащила из висевшего у нее за спиной мешка рыбу, хлеб и лимоны. Едва Антонио успел освежить горевшие губы живительным напитком, голод его пробудился с удвоенной силой и он жадно проглотил рыбу и хлеб. Старуха между тем освободила его раненую руку от лохмотьев, которыми она была перевязана, и, внимательно осмотрев, увидела, что хотя рана и была тяжела, но дело идет к выздоровлению. Достав ящичек с какой-то мазью, старуха разогрела ее своим дыханием, приложила к ране и затем спросила:

-- Кто же тебя так ранил, мой дорогой Антонио?

Молодой человек, уже немного взбодренный, сверкнул глазами и, подняв вверх здоровую правую руку, воскликнул:

-- Меня хотел изувечить негодяй Никколо, потому что его берет зависть при виде каждой, перепадаящей мне монеты! Я жил тем, что помогал переносить тяжелые тюки товаров с приходящих кораблей немецких купцов в лавки, что на Фондако деи Тедески; ведь ты знаешь это здание?

Услышав это название, старуха засмеялась странным, дребезжащим голосом и пробормотала несколько раз:

-- Фондако! Фондако! Фондако!

-- Полно тебе хохотать, выслушай меня, -- нетерпеливо перебил Антонио.

Старуха замолчала, а Антонио продолжал:

-- Заработав кое-что, купил я себе новое платье, в котором выглядел достойно, и поступил в гондольеры. Синьоры полюбили мою гондолу за мой веселый нрав и умение петь песни, так что я всегда успевал заработать немного больше, чем другие. Но тут стали завидовать мне гондольеры; наговорили на меня хозяину, и он меня прогнал, а потом они не стали давать мне нигде прохода, громко обзывая почему-то немецкой собакой и еретиком. Три дня тому назад, когда я помогал в Сан Себастьяно вытаскивать на берег лодку, они напали на меня с камнями и палками. Я стал защищаться, но тут этот проклятый Никколо так ударил меня веслом, что едва не убил, и я без чувств повалился на землю... Спасибо тебе, добрая душа, что ты помогла мне и накормила. Твоя мазь в самом деле чудодейственная. Смотри, я уже могу ворочать рукой и скоро буду опять в состоянии приняться за весло.

Сказав это, Антонио встал и совершенно бодро взмахнул раненой рукой. Старуха опять засмеялась и завертелась около него, забормотав нараспев:

-- Сильнее, сильнее гребь, сынок! Вот плывет твое золото! Гребь сильнее! Еще раз, еще раз! Да зато в последний!

Но Антонио уже не обращал внимания на слова старухи, засмотревшись на открывшееся перед ним зрелище. "Буцентавр", с гордо развевающимся львом на венецианском флаге, точно золотой лебедь, плавно приближался под дружными ударами весел. Среди множества окружавших его галер и гондол гордо поднимал он из волн свою голову, точно полководец, окруженный ликующим войском. Заходящее солнце освещало море и Венецию, и все казалось утопающим в его сверкавших, огненных лучах.

Но пока восхищенный Антонио смотрел на это великолепное зрелище, погода внезапно стала меняться. Сияние зари сделалось красноватым, в воздухе послышался свист ветра, с которым скоро стал сливаться шум разыгравшихся волн. Скоро буря зашумела не на шутку. Наступившие сумерки скрыли флотилию от глаз, и только белые верхушки огромных, гудевших, как стая чудовищ, и грозивших потопить все морских валов еще более усиливали ужас впечатления.

"Буцентавр" с его плоским дном бросало, как мячик, из стороны в сторону; веселые звуки рогов и крик радости сменил вопль ужаса перед неминуемой бедой.

Антонио стоял, как будто внезапно окаменел. Вдруг звук бившейся о мраморные ступени цепи долетел до его слуха. Это был маленький челнок, привязанный к набережной и качавшийся, как скорлупа. Мгновенно точно молния мелькнула в его голове. Быстро вскочил он в челнок, отвязал его, схватил весло, лежавшее на дне, и смело пустился по волнам к тому месту, где должен был находиться "Буцентавр". Чем ближе он к нему приближался, тем явственнее доносились до него крики о помощи: "Сюда, сюда! Спасите дожа! Спасите дожа!"

Маленькие челноки, как известно всем, могут лучше, чем даже большие суда, держаться на воде во время бури в заливах, и потому все, кто только мог, поспешили на лодках спасти драгоценную голову Марино Фальера. Но в жизни всегда бывает так, что полный успех какого-нибудь смелого предприятия непременно достается одному, тогда как другие только напрасно выбиваются из сил. На этот раз успех выпал на долю бедному Антонио. Он один сумел приблизиться со своим маленьким челноком к "Буцентавру". Старый Марино Фальер, привыкший к подобным опасностям, смело вскочил в челнок, покинув великолепного, но коварного "Буцентавра", и Антонио через несколько минут высадил его невредимым на площади святого Марка, пронесшись со своим челноком, как легкий дельфин, сквозь шумевшие волны.

Промокший насквозь, с каплями соленой водой на седой бороде был проведен старый герцог в собор, где члены Синьории, с перепуганными, бледными лицами, поспешили торопливо закончить церемонию. Народ, находясь под зловещим впечатлением неудачного въезда, не преминул отметить, что новый дож был второпях проведен по площади между двумя столбами, где обыкновенно казнили преступников. В глубоком молчании разошлись толпы людей по домам, и день, начатый так торжественно, завершился горем и печалью.

О спасителе дожа между тем все забыли, да и сам Антонио мало думал о своем подвиге, так как измученный до полусмерти, жестоко страдая от вновь открывшейся из-за напряжения раны, лежал он почти без чувств в одной из колоннад герцогского дворца. Тем более он удивился, когда почти уже ночью его внезапно кто-то стал трясти за плечо и говорить:

-- Вставай, приятель, да пойдем за мной во дворец к герцогу.

Это был посланный за ним драбант.

Марино Фальер ласково его встретил и сказал, указывая на два лежащих на столе и туго набитых кошелька:

-- Смелый совершил ты сегодня подвиг, храбрый юноша! Вот возьми эти три тысячи цехинов. Если мало -- требуй еще, но прошу, больше никогда не показывайся мне на глаза.

При этих словах огонь блеснул в глазах старого дожа, и он слегка покраснел.

Антонио не сразу сообразил причину такого приема, потому нимало не оскорбился. Не без усилия пришлось ему поднять свои тяжелые кошельки, законно и справедливо им заработанные.

Счастливый и довольный, в сознании нового своего достоинства смотрел на другой день утром Марино Фальер из-под изогнутых оконных сводов своего дворца на волновавшиеся под ним толпы народа. В задумчивости не заметил он даже прихода товарища и друга своих юных дней Бодоэри, который, постояв несколько минут не замеченный дожем, всплеснул наконец руками и воскликнул, смеясь:

-- Важные, должно быть, мысли засели в твоей голове, друг Фальер, с тех пор, как ты надел герцогскую шапку!

Марино Фальер вздрогнул, будто пробудясь ото сна, и с несколько напускной любезностью пошел навстречу своему другу. Он чувствовал, что обязан своим избранием Бодоэри, и потому слова последнего не совсем приятно отозвались в его ушах. Мысль быть обязанным чем-нибудь кому бы то ни было всегда была невыносимой для его честолюбивого сердца, и в этом отношении старый заслуженный друг стоял в его глазах на одной доске с бедным Антонио. Впрочем, принудив себя, пробормотал он несколько слов благодарности и тотчас же переменил тему, заговорив о

государственных делах и о мерах, которые следовало предпринять против окружавшего их врага.

-- Обо всем этом, -- отвечал ему, лукаво смеясь, Бодоэри, -- поговорим мы через два часа на общем собрании Совета. Если я пришел к тебе так рано, то вовсе не за тем, чтобы толковать, какой отпор следует дать смелому Дория или каким средством образумить угрожающего нашим далматинским городам Людвиг Венгерского. Нет, Фальер, я хочу поговорить о деле, касающемся лично тебя, а именно о твоей женитьбе.

-- Как можешь ты, -- с неудовольствием ответил Фальер, повернувшись снова к окну, -- думать о таких вещах? Время ли теперь заниматься весельем? Когда будет побежден враг и вновь восстановится богатство, слава и честь льва Адриатик, тогда только жених будет достоин прекрасной невесты.

-- Ах, -- перебил нетерпеливо Бодоэри, -- ты думаешь, я говорю о празднестве твоего обручения с морем, когда ты с высоты "Буцентавра" бросишь золотой перстень в волны Адриатики? Ты носишь имя Марино, и потому и без того родственник морю. Нет, я разумею иную невесту, а не коварное, холодное море, так неблагосклонно поступившее с тобой вчера. Можно ли найти счастье в объятиях грозной стихии, так свирепо бушевавшей вокруг, когда ты с посиневшими от холода щеками взирал на нее с палубы "Буцентавра". Достаточно ли жара всего Везувия, чтобы растопить ледяное сердце такой женщины, которая венчалась сотни раз, принимая обручальные перстни не как дар любви, а как должную дань своих рабов? Нет, Марино! Я желал бы видеть твое обручение с земной женщиной и притом прекраснейшей, какую только можно найти.

-- Ты бредишь, старик, -- возразил Фальер, продолжая смотреть в окно, -- мне ли, восьмидесятилетнему старику, придавленному заботами, думать о любви, когда у меня и любить-то нет больше сил!

-- Полно, полно, -- отвечал Бодоэри, -- разве сама холодная зима не отверзает своих объятий прекрасной весне, спешащей к ней навстречу на крыльях теплого ветра? И когда она прижимает ее к своей ледяной груди, ощущая теплое веяние, куда деваются тогда лед и снег? Ты указываешь на свои восемьдесят лет, но разве старость меряется годами? Разве ты не так же прямо держишь свою голову и не так же бодро ходишь, как это было в сорок лет? Или, может быть, ты начинаешь чувствовать, что силы твои слабеют, что прежний меч становится для тебя тяжел, что тебе трудно подниматься по ступеням дворцовой лестницы?

-- Нет, нет! Клянусь небом, -- прервал своего друга Фальер, резко отшатнувшись от окна и бодро подходя к нему, -- об этом нет и речи!

-- Если так, -- продолжал Бодоэри, -- то почему же тебе даже в твоих летах не испытать земного счастья, которое тебе суждено? Послушай

меня: возведи в сан догарессы женщину, которую я для тебя избрал, и ты увидишь, что все венецианки также единодушно признают ее первой по красоте и добродетели, как венецианцы признали тебя первым по уму, силе и храбрости.

Затем Бодоэри стал в таких ярких красках описывать совершенства будущей догарессы, так что у старика Фальера заблестели глаза, огонь вспыхнул на щеках и разгорелись губы, точно он выпил несколько стаканов сиракузского.

-- Что же это за чудо красоты, о котором ты говоришь? -- спросил он, невольно улыбаясь от удовольствия.

-- Да никто другой, -- отвечал Бодоэри, -- как моя собственная воспитанница.

-- Что? -- прервал его Фальер. -- Твоя воспитанница? Да ведь она была замужем за Бетруччио Неноло, когда я был еще подестой в Тревизо.

-- Ты думаешь, -- отвечал Бодоэри, -- о моей племяннице Франческе, а я говорю о ее дочери. Ты знаешь, что дикий, суровый Неноло погиб в морском сражении. Франческа с отчаяния удалилась в монастырь, а маленькую Аннунциату я взял на воспитание в свою виллу близ Тревизо.

-- Так ты дочь своей племянницы назначаешь мне в жены? -- снова нетерпеливо перебил Фальер. -- Да много ли лет прошло со дня самой свадьбы Неноло? Аннунциата должна быть теперь едва десятилетним ребенком. Когда я был подестой в Тревизо, о свадьбе Неноло не было еще и речи.

-- Ровно двадцать пять лет, -- со смехом отвечал Бодоэри. -- Как можешь ты так ошибаться в годах. Аннунциате теперь девятнадцать лет; она хороша, как заря, скромна, добродетельна и ничего еще не слыхала о любви, потому что почти никого не видела. Она, ручаясь, привяжется к тебе с детской преданностью и любовью.

-- Я хочу ее видеть! -- воскликнул дож, которого задел за живое рассказ Бодоэри об Аннунциате.

Желание это исполнилось в тот же день. Хитрый Бодоэри, желавший из собственных соображений во что бы то ни стало видеть свою воспитанницу догарессой, тайно привез Аннунциату во дворец и устроил встречу ее с дожем, когда тот возвращался из Совета.

Ангельская красота Аннунциаты до того поразила старого Фальера, что он не был даже в состоянии заговорить о сватовстве. Аннунциата, уже приготовленная словами Бодоэри к тому, что ее ожидало, склонилась, вся покраснев, перед дожем, и, прижав его руку к губам, прошептала чуть слышно:

-- Мой господин! Ужели вы точно хотите сделать мне честь, возведя на ступени вашего герцогского трона? Клянусь быть преданной вам всей душой до последнего вздоха.

Старый Фальер был вне себя от восторга. Огонь пробежал по его жилам, когда Аннунциата коснулась его руки, голова закружилась, и он, чуть на зашатавшись, должен был сесть в кресло. Доброе мнение Бодоэри о силах восьмидесятилетнего старика, по-видимому, оказалось несколько преувеличенным. Бодоэри не мог даже скрыть появившейся по этому случаю на его губах легкой насмешливой улыбки, но скромная, невинная Аннунциата не поняла ничего, и счастье ее не было нарушено.

В последовавшем затем совещании между обоими стариками было решено, что свадьба будет справлена в величайшей тайне, и догаресса представится через несколько дней Синьории и народу как супруга дожа, уже будто бы прежде с ним обвенчанная и жившая во время Авиньонского посольства Фальера в Тревизо. Причиной такой предосторожности, по всей вероятности, было неловкое чувство, которое ощущал сам дож при одной только мысли -- объявить себя женихом девятнадцатилетней девушки, что при известной склонности венецианцев к насмешкам и злоязычию могло привести к невыгодным для него шуткам.

Теперь мы просим читателей обратить внимание на одного прекрасно одетого юношу, гуляющего по Риальто с туго набитым кошельком в руках. Он ходит медленно, останавливается, вступает в разговор с евреями, турками, армянами, греками, продолжает с недовольным видом свой путь и наконец садится в гондолу, приказывая везти себя на площадь святого Марка, где опять начинает медленно бродить со сложенными на груди руками и с опущенным в землю взором. Молодой человек даже не замечает легкого шепота и украдкой бросаемых взглядов, вызванных его появлением на многих окружающих площадь балконах. Кто бы узнал в этом юноше нашего знакомого Антонио, еще так недавно лежавшего в нищенских лохмотьях на мраморных ступеньках таможни!

-- Антонио! Здравствуй, мой голубчик Антонио! -- вдруг раздался возле него голос старухи нищенки, сидевшей под портиком собора святого Марка, которую он, проходя мимо, совсем не заметил.

Быстро обернувшись, Антонио достал из кошелька полную горсть цехинов и хотел подать старухе, но она замахала руками и крикнула, рассмеявшись, пронзительным голосом:

-- Оставь при себе свое золото! Мне оно не нужно, я богата и без того. А если ты точно хочешь сделать мне добро, то закажи мне новый плащ. Мой стал дыряв и плохо защищает от дождя и ветра. Да, сделай это мой добрый Антонио, но берегись Фондако, берегись Фондако!

Изумленный Антонио взглянул на изможденное, морщинистое лицо старухи, в котором странно перемешивались судорожный смех с выражением величайшего ужаса; когда же она, всплеснув костлявыми руками, снова крикнула раздирающим уши, пронзительным голосом:

"Берегись Фондако!" -- он не мог сдержаться и воскликнул в свою очередь.

-- Ты, кажется, совсем сошла с ума, старуха!

Едва нищая услышала эти слова, как лицо ее мгновенно побледнело, и она кубарем скатилась с мраморных ступеней лестницы. Антонио, прыгнув, едва подоспел и, схватив ее обеими руками, не дал ей сильно ушибиться.

-- О мой голубчик! -- заговорила старуха растроганным голосом. -- Какое страшное вымолвил ты слово! Лучше убей меня сразу, только не говори таких слов. Ты и не подозреваешь, как тяжело меня обидел, меня, которая так тебя любит!

Сказав это, она закутала лицо своим рубищем, покрывавшим ее плечи на манер плаща, и зарыдала как ребенок. Растроганный Антонио взял ее на руки, перенес под портал церкви и усадил на мраморную скамью.

-- Ты много сделала мне добра, старушка, -- заговорил он ласковым голосом. -- Ты спасла меня от смерти: не будь тебя, я лежал бы теперь где-нибудь на дне моря и никогда не удалось бы мне спасти дожа, заработав тем мои честные цехины. Но даже не сделай ты этого, я и так всегда чувствовал к тебе какое-то расположение, несмотря на то, что ты постоянно обходишься со мной странным и непонятным образом, вечно смеешься и кривляешься, так что порой я тебя просто боюсь. Но все-таки скажу тебе по совести, что даже когда я был бедным носильщиком, мой внутренний голос всегда заставлял меня отложить для тебя пару монет.

-- О мой добрый, мой золотой Тонино! -- воскликнула старуха, подняв к небу руки, так что костыль ее упал и покатился по мраморному полу. -- Я это знаю! Знаю, что ты чувствуешь ко мне невольное расположение, но тс-с!.. Молчи об этом, молчи! И она нагнулась за своим костылем. Антонио поднял его и подал ей. Старуха оперлась на него острым костлявым подбородком, уставилась в землю глазами и заговорила глухим, подавленным голосом:

-- Скажи мне, мой голубчик, неужели ты не сохранил ни малейшего воспоминания о том, что было с тобой давным-давно, прежде чем ты очутился здесь несчастным бедняком и без куска хлеба?

Антонио глубоко вздохнул, сел возле старухи и, помолчав немного, начал так:

-- Ах, старая! Я хорошо чувствую, что родился от родителей, живших в довольстве и счастье. Но о том, кто они были, а также что случилось с ними и со мной после, не осталось во мне никакого воспоминания! Точно сквозь сон, помню я черты лица статного, красивого человека, носившего меня на руках и баловавшего лакомствами. Также встает иногда перед моими глазами облик чудной, прекрасной женщины, ухаживавшей за мной, укладывавшей меня каждый вечер спать в

мягкую, чистую постель и ласкавшей при всяком удобном случае. Оба они говорили со мной на каком-то неизвестном мне мягком, звучном языке, и помню, что я сам начинал лепетать что-то на этом языке. Когда я еще работал веслом на гондоле, товарищи часто дразнили меня, говоря, что я и по лицу, и по глазам, и по волосам должно быть урожденный немец; да я и сам думаю, что язык, на котором говорил мой благодетель, или, вернее, мой отец, был немецкий. Но самым живым воспоминанием о том времени осталась во мне одна ужасная ночь, когда, помню, я был внезапно разбужен отчаянным, душераздирающим криком. В доме стояла беготня, двери с шумом отворялись и затворялись. Необъяснимый страх до того овладел мною, что я начал громко плакать. Женщина, о которой я говорил, схватила меня на руки, зажала мне рот и, поспешно закутав в платок, выбежала со мной из дома. Что было потом -- я совсем не помню. Позднее уже встает передо мной опять вид прекрасного дома, расположенного где-то в красивой и теплой стороне. Опять припоминаю я лицо уже другого мужчины, которого называл отцом и который был хозяином этого дома. И он, и все в доме говорили по-итальянски. Как-то я не видел отца в течение нескольких недель. Вдруг пришли в дом какие-то чужие люди со злыми, неприятными лицами. Они много шумели и перевернули весь дом вверх дном. Заметив меня, один из них спросил, кто я такой и что здесь делаю. Я ответил, что я Антонио и живу в доме. Услышав это, они злобно засмеялись, сорвали с меня мое прекрасное платье и вытолкали вон с угрозой, что если я посмею вернуться, то меня прибьют до полусмерти. С громким плачем убежал я от них. На улице встретился мне старик, в котором я сейчас же узнал одного из слуг приемного отца. "Пойдем, мой бедный Антонио, пойдем прочь", -- сказал он, взяв меня за руку. -- Для нас обоих дом этот закрыт навсегда. Теперь надо заботиться, где найти кусок хлеба".

Старик увел меня с собой. Оказалось, что он был вовсе не так беден, как можно было подумать, глядя на его платье. Едва мы пришли к нему, он развязал большой кошелек и высыпал из него много цехинов. С тех пор мы каждый день толклись вдвоем на Риальто, где старик занимался торговлей, продавая и покупая разные вещи. Кончив продажу, он обыкновенно выпрашивал какую-нибудь безделицу для своего мальчишки, разумея меня. И всякий из покупателей, на которых я смотрел смелыми, открытыми глазами, почти всегда бросал мне несколько монеток. Старик же тщательно прятал подаяние в мешок, уверяя, что копит это мне на новую, теплую одежду. Со мной старик, которого все, не знаю почему, называли Блаунас, обходился хорошо, и я не мог на него ни в чем пожаловаться. К несчастью, и эта жизнь продолжалась недолго. Ты помнишь, старуха, то страшное время, когда по всей Италии дрожали дворцы и башни, а колокола звонили сами, точно их раскачивали неведомые исполинские руки. Тому прошло не

более семи лет. Мы со стариком счастливо успели выбежать из нашего дома, развалившегося за нами вслед. Все дела прекратились, ужас и страх простерлись над онемевшим Риальто. Но беда не пришла одна. Вслед за землетрясением появилось страшное чудовище, чье ядовитое дыхание отравило скоро всю страну. Все знали, что чума, завезенная из Леванта сначала в Сицилию, свирепствовала уже в Тоскане. Венеция была пока еще от нее свободна. Однажды дядя Блаунас торговал как всегда на Риальто и, продав что-то одному армянину, попросил по обыкновению безделку для сынишки. Армянин, высокий, статный мужчина с курчавой густой бородой (я вижу его как сейчас перед собой), ласково на меня посмотрел, поцеловал и положил мне в руку пару цехинов, которые я крепко сжал. Мы поплыли на площадь Марка. По дороге старик потребовал, чтобы я отдал ему мои цехины. Мне не хотелось их отдавать, и я стал уверять, что армянин подарил цехины мне, чтобы я непременно берег их сам. Старик рассердился. Во время этой ссоры я вдруг заметил, что лицо его внезапно пожелтело и он начал путаться в словах. Высадившись на площади, он пошел едва держась на ногах, точно пьяный, и вдруг упал как громом пораженный перед самыми окнами герцогского дворца. С криком бросился я к его телу. Сбежался народ, и скоро ужасный вопль: "Чума! Чума!" -- раздался в воздухе. Каждый спешил укрыться где мог. Скоро я сам почувствовал головокружение и упал без чувств на мостовую.

Очнувшись, я увидел, что лежу в опрятной комнате на небольшом матрасе, покрытый шерстяным одеялом. Около меня лежало на таких же кроватях под одеялами двадцать или тридцать посиневших, неподвижных фигур. Позже я узнал, что несколько монахов, добровольно помогавших во время чумы, найдя меня при выходе из церкви святого Марка и заметив во мне некоторые признаки жизни, перенесли меня в гондолу и отправили в Джудекку, где при церкви Сан Джорджо Маджоре они устроили госпиталь.

Как описать тебе, старуха, минуту моего пробуждения! Приступы болезни, казалось, изгладили из меня всю память о прошлом. Я жил минутной жизнью, понимая и сознавая одно лишь настоящее. Казалось, только одна искра жизни внезапно озарила мое умершее тело. Ты не можешь себе представить, до чего ужасной кажется нам жизнь, когда мы чувствуем себя как бы витающими в пустом пространстве, не видя ни малейшей точки опоры или привязанности. Монахи могли мне только объяснить, что нашли меня на площади возле труп дяди Блаунаса, считая за его сына. Мало-помалу удалось мне собрать рассеянные мысли о моей прежней жизни, но из того, что я теперь тебе рассказал, ты видишь, что это не более как ничтожные, потерявшие всякую связь и значение обрывки утраченной навсегда картины. Ах, это чувство одиночества в мире, -- оно не только лишает меня всякой

радости, но, кажется, мешает наслаждаться даже тем, что жизнь послала мне теперь в самом деле хорошего.

-- Тонино, милый Тонино! -- промолвила старуха. -- Удовольствуйся хорошим в настоящем!

-- Молчи, старуха, -- прервал ее Антонио, -- есть у меня еще горе, которое отравляет мне жизнь и рано или поздно погубит меня вконец. Это стремление -- а к чему, я сам не знаю! Какое-то тяжелое, безнадежное чувство, преследующее меня с той самой минуты, как я очнулся больным в госпитале. Когда, бывало, я, слабый, разбитый непосильным дневным и ночным трудом, ложился на свою жесткую постель, благодатный сон смыкал мои глаза, и мне чудилось иногда небесное блаженство, сознание которого успокаивало и укрепляло мне душу. Но почему же теперь, когда я отдыхаю на мягких подушках, не зная ни труда, ни забот, и просыпаюсь без мыслей об ожидающей меня работе, почему теперь не хочет меня оставить это тяжелое, безотрадное чувство и продолжает мучить по-прежнему? Все мои старания проникнуть в эту тайну остаются тщетными. Я никак не могу себе уяснить, что такое чудесное потерял я в жизни, что даже его разрозненные отголоски наполняют душу блаженством при одном воспоминании о нем, хотя то же самое воспоминание мучает и терзает меня еще хуже при мысли о безнадежности возвратить утраченное! К чему же в таком случае эти следы исчезнувшего навеки?

Сказав это, Антонио замолчал и тяжело вздохнул. Старуха слушала его с напряженным вниманием, изображая на своем лице, как в зеркале, отголоски тяжелых чувств, которыми был наполнен его рассказ.

-- Тонино! -- начала она растроганным голосом, в котором слышались слезы. -- Милый Тонино! Стоит ли унывать при мысли о хорошем, которое прошло без следа? Глупый, глупый ты ребенок! Слушай меня, хи-хи-хи! -- И она засмеялась своим обычным деревянным смехом, заматавшись опять из стороны в сторону.

Несколько прохожих бросили ей милостыню.

-- Антонио! Поддержи меня! -- вдруг воскликнула она. -- Сведи меня к морю!

Антонио без размышлений поднял старуху и, поддерживая, повел ее по площади, а она в это время тихо бормотала:

-- Антонио, видишь ты эти кровавые пятна на мостовой, эту кровь, много крови! Хи, хи! Но из крови вырастут розы, розы для твоего венца, для той, которую ты любишь! О Творец Небесный! Кто же эта красавица, которая смотрит на тебя так нежно, с такой ласковой улыбкой? Белые, как лилии, руки простираются, чтобы тебя обнять. О Антонио, счастливый Антонио! Будь смел, будь смел. На светлой заре сорвешь ты белые мирты для своей невесты, для вдовы, оставшейся невестой! Хи-хи-хи-хи! Мирты, которые цветут только в полночь!

Слышишь свист ночного ветра? Слышишь ласкающий ропот волн? Гребь крепче, мой смелый кормчий! Гребь смелее!

Антонио стало даже страшно от этих бессмысленных слов старухи, которые она лепетала как будто во сне, то и дело прерывая себя судорожным смехом.

В эту минуту они подошли к столбу, поддерживающему крылатого льва. Старуха хотел было идти дальше, продолжая бормотать, но Антонио, уставший от ее общества, остановился и сказал твердым голосом:

-- Постою и сяду здесь, да замолчу, прошу тебя, если не хочешь свести меня с ума. Ты предсказала правду, когда говорила прошлый раз, что видела в золотой вечерней заре мои цехины, но что же болтаешь ты теперь о красавицах, вдовах, оставшихся невестами, розах и миртах? Или ты хочешь сделать меня безумным, заставив пуститься в какое-нибудь сумасбродное предприятие, проклятая старуха? Новый плащ тебе будет... Хочешь хлеба, денег? Бери сколько тебе надобно, только оставь меня в покое.

С этими словами он хотел убежать прочь, но старуха крепко схватила его за плащ и закричала пронзительным голосом:

-- Тонино, милый Тонино! Взгляни на меня еще раз, а иначе я дотащусь как-нибудь сама до набережной и брошусь в море!

Антонио, не желая обращать на себя еще более уже и без того возбужденное внимание прохожих, остановился.

-- Тонино, -- продолжала старуха, -- сядь возле меня! Мне тяжело, ох, как тяжело! Сядь возле меня!

Антонио сел на ступеньку, оборотясь, однако, к старухе спиной, и вынул из кармана записную книжку, куда заносил свои торговые сделки на Риальто.

-- Тонино! -- заговорила снова старуха тихим голосом. -- Неужели, когда ты внимательно смотришь на мое морщинистое лицо, ничто не шепчет тебе, что ты меня знал когда-то очень давно?

-- Я уже сказал тебе, -- отвечал Антонио так же тихо и не оборачиваясь, -- что сам не зная почему, чувствую к тебе какое-то влечение, но твое старое, сморщенное лицо, поверь мне, тут ни при чем. Напротив, когда я вижу твои черные, сверкающие глаза, твой острый нос, синие губы, длинный подбородок, всклокоченные седые волосы, слышу твой противный, резкий смех, безумные речи, то мне хочется убежать от тебя без оглядки и никогда не видеть больше.

-- О Боже, Боже! -- завопила старуха в отчаянии. -- Какой злой дух шепчет тебе такие ужасные мысли? О Тонино, милый мой Тонино! Знаешь ли ты, что женщина, которая ласкала тебя и холила, когда ты был ребенком, которая спасла тебя от смерти в ту ужасную ночь, была я?

Антонио быстро вскочил, точно ужаленный, но, взглянув на старое, отвратительное лицо старухи, мгновенно оправился и воскликнул с гневом:

-- Ты хочешь меня провести, старая сумасшедшая! Как ни ничтожны мои воспоминания о детстве, но они живы и свежи! Я как теперь вижу ту прекрасную женщину, которая ухаживала за мной, у нее было чудесное молодое лицо, ангельские глаза, прекрасные каштановые волосы, белые нежные руки; ей едва могло быть тридцать лет, а ты -- девяностолетняя старуха.

-- О все святые! -- рыдая перебила старуха. -- Что же мне делать, если мой Тонино не верит своей верной Маргарите.

-- Маргарите... -- пробормотал Антонио, -- Маргарите? Имя это звучит в моих ушах, точно отголосок давно слышанной музыки! Но это невозможно, невозможно!

-- Тот статный красавец, -- продолжала старуха несколько спокойнее, опершись на костыль и опустив глаза в землю, -- тот статный красавец, который носил тебя на руках и кормил лакомствами, точно был твой отец и говорил он с тобой на прекрасном, звучном немецком языке. Он был почтенный, богатый купец из Аугсбурга. Его молодая жена умерла, когда ты родился. Тогда, не будучи в состоянии жить там, где было похоронено его счастье, переселился он в Венецию и взял с собой меня, твою кормилицу и няньку. В ту ужасную ночь над отцом твоим разразился страшный удар, грозивший и тебе гибелью. Я успела тебя спасти, и ты попал на воспитание к одному богатому венецианцу. Лишенная всех средств к пропитанию, осталась я в Венеции. Отец мой, бывший врачом ран, передал мне тайну своего искусства, навлекшего на него одно время преследование за употребление будто бы запрещенных средств. От него научилась я собирать, бродя по полям и лесам, травы и целебные мхи и готовить из них целительные лекарства. Но вместе с этими познаниями вселилась в меня еще иная сила, которая и должна была меня погубить по неисповедимой воле Провидения. Точно в туманной дали стали мне порой чудиться грядущие события, и тогда, против собственной воли, вырывались из меня, хотя часто в чудных словах, предсказания того, что я видела. Оставшись одна в Венеции, думала я добывать средства к жизни этим моим даром. Мне удавалось скоро и легко вылечить самые тяжелые болезни. К тому же одно мое присутствие уже благотворно действовало на больных. Иной раз мне стоило только погладить больного рукой, чтобы заставить пройти тяжелый приступ болезни. Слава о моем лечении обошла весь город, и деньги посыпались на меня дождем. Но тут восстала против меня зависть врачей, этих шарлатанов, продающих на площади святого Марка свои эссенции и пилюли, отравляющие больных вместо того, чтобы давать им облегчение. Меня обвинили в сношениях с сатаной. Легковерный

народ увлекся их клеветой, и скоро меня потребовали на судилище инквизиции. О мой Антонио, если бы ты знал, какими муками пытались вырвать из меня признание в возводимой на меня вине! Я долго оставалась тверда. Волосы мои поседели, тело сморщилось, как у мумии, руки и ноги искривились. Но ужаснейшие, изуверские пытки, оставленные под конец, побороли и мое мужество, и я сделала признание, вспоминая которое, до сих пор содрогаюсь. Меня осудили на сожжение живой, но в тот день, когда землетрясение поколебало стены дворцов и темниц, сорвались с петель двери подземной тюрьмы, где я была заключена. Среди шума и грохота валившихся зданий вышла я из моего гроба. Ах, Тонино, ты назвал меня девяностолетней старухой, когда мне едва пятьдесят. Взгляни на это костлявое тело, это сморщенное лицо, седые волосы, искривленные ноги! Нет, не годы, а невыразимые муки пыток могли в несколько часов превратить красивую, здоровую женщину в такое чудовище! А этот судорожный смех и подергиванье -- это только последствия последней пытки, при одном воспоминании о которой у меня волосы поднимаются дыбом на голове и точно раскаленное железо пробегает по жилам. Не пугайся же меня, мой Антонио! Не правда ли, твое сердце говорит тебе теперь ясно, что ты точно лежал на моей груди, когда был ребенком?

-- Послушай, -- сказал мрачно Антонио, -- мне кажется, я должен тебе верить, но скажи, кто был мой отец? Как его звали? Какой удар судьбы перенес он в ту ужасную ночь? Кто был мой воспитатель? И что такое удивительное случилось со мной в жизни, что уже одно смутное о том воспоминание овладевает всем моим существом до того, что мысли мои теряются, точно в потемках. Скажи мне все это, и тогда я поверю тебе, загадочная женщина!

-- Тонино, -- отвечала старуха вздохнув, -- для твоего же добра должна промолчать я об этом, но скоро, скоро узнаешь ты все! Фондако, Фондако, берегись Фондако!

-- Не нужно мне твоих загадок! -- гневно воскликнул Антонио. -- Сердце мое истерзано. Говори или...

-- О, без угроз! -- быстро возразила старуха. -- Разве я не твоя верная кормилица и нянька?

Тут Антонио не выдержал и, не дожидаясь конца слов старухи, быстро вскочил и убежал без оглядки, закричав ей, впрочем, издали:

-- Новый плащ тебе будет! Цехинов также бери, сколько хочешь.

Старый дож Марино Фальер представлял действительно любопытное зрелище, когда его видели с молодой, цветущей женой. Он, хотя еще бодрый и крепкий, но с седой как лунь головой и испещренным морщинами темно-красным лицом, старался ходить твердым шагом, гордо закинув голову. Она -- сама прелесть, с ангельской кротостью и неотразимым очарованием во взгляде, с выражением истинного достоинства на лилейно-белом, обрамленном темными локонами лице,

с головкой, склоненной несколько набок, ходила легко и спокойно, точно ни малейшего труда не стоило ей нести стройное, гибкое тело. Живая картина да и только -- такова была Аннунциата, но картина, какие умели писать только старинные мастера. Мудрено ли, что появление ее очаровывало всех и что не было молодого патриция из Синьории, который при виде этой пары не преследовал бы в душе самыми злыми насмешками старика и не клялся употребить все средства, чтобы сделаться во что бы то ни стало Марсом этого старого Вулкана.

Аннунциата скоро увидела себя окруженной воздыхателями, но вкрадчивые их речи не производили на нее ни малейшего впечатления. Чистая, ангельская душа ее не могла даже допустить между ней и ее державным супругом каких-либо иных чувств, кроме верности самой нерушимой и безусловной преданности. Он был с ней ласков и добр, называл ее нежнейшими именами, прижимая в своему уже охладевшему сердцу, осыпал драгоценными подарками, какие она только желала. Чего же больше могла она от него требовать? Мысль стать ему неверной не могла даже зародиться в ее душе. Все то, что лежало за границей таких отношений, было для нее неизвестной, закрытой туманом областью, куда ее невинный глаз не мог даже проникнуть. Таким образом, все домогательства молодых волокит оставались безуспешны.

Самым рьяным, самым бешеным из них был Микель Стено, занимавший в республике, несмотря на свою молодость, важную должность одного из членов Совета сорока. Стено был очень хорош собой и на это обстоятельство, главным образом, и рассчитывал, надеясь на успех. Старого Марино Фальера он не боялся нисколько, тем более, что после свадьбы престарелый дож совершенно изменился. Прежней вспыльчивости не осталось в нем и следа. По целым часам сидел он возле Аннунциаты, одетый в великолепное платье дожа, шутил, смеялся, любовался ее глазами, иногда размягчался до слез, самодовольно спрашивая присутствовавших, кто из них может похвастать такой женой. Вместо прежнего сурового, отрывистого тона в разговоре его появилось что-то несвязное, так что его трудно было порой понять, он перестал быть непреклонным и потакал иногда самым нелепым просьбам. Кто бы узнал в этом расслабленном, влюбленном старике того Фальера, который однажды в Тревизо во время праздника Тела Господня в запальчивости ударил в лицо епископа; того, кто победил храброго Морбассана?

Эта слабость дожа еще более подбивала Стено рискнуть, наконец, опасным предприятием. Аннунциата никак не могла понять, чего хотел от нее Стено, постоянно преследуя своими взглядами и речами, и оставалась по-прежнему с ним учтива и ровна, а это-то спокойствие и выводило его более всего из терпения. Чтобы обладать ею, он готов

был решиться даже на низкое средство. Притворившись для виду влюбленным в горничную Аннунциаты, сумел он добиться от нее ночного свидания в самом дворце. Таким путем думал он пробраться в спальню Аннунциаты, но, по счастью, судьба не допустила совершиться преступлению и обратила его на голову самого виновника.

Случилось, что дож, получивший дурные вести о неудачной битве Никколо Пизани с Дориа при Портолонго, не мог заснуть и, озабоченный, бродил по галереям дворца. Вдруг заметил он черную тень, проскользнувшую, похоже, из спальни Аннунциаты и исчезнувшую на лестнице. Это был Микель Стено, возвращавшийся от своей якобы возлюбленной. Страшная мысль сверкнула в голове старика Фальера. С криком: "Аннунциата!" -- бросился он за преступником с обнаженным стилетом, но Стено, более проворный и ловкий, увернулся от удара и, сбив старика сильным ударом руки, быстро сбежал с лестницы, крикнув с насмешкой: "Аннунциата!"

Фальер поднялся кое-как с пола и полный мук ревности и отчаяния бросился к дверям спальни Аннунциаты. Прислушался -- тишина, как в могиле. Постучал в дверь -- другая, незнакомая ему, горничная отворила.

-- Что угодно моему державному супругу в такое позднее время? -- кротко спросила Аннунциата, накинув легкое ночное платье и выйдя ему навстречу.

Старик впился в нее глазами и затем, подняв к небу руки, воскликнул:

-- Нет, это невозможно! Невозможно!

-- Что невозможно? -- с видом полнейшего неведения спросила, удивленная тоном Фальера, Аннунциата.

Но он, не отвечая ей, обратился к горничной:

-- Зачем ты здесь? Отчего Луджиа не спит, как обыкновенно, у дверей?

-- Ах, -- пробормотала та. -- Луджиа непременно просила меня поменяться с ней очередью; она спит в передней, возле лестницы.

-- Возле лестницы? -- воскликнул радостно Фальер и быстро пошел туда.

Луджиа отворила на его громкий стук, но лишь только увидела пылавшее гневом лицо хозяина, как тут же упала на колени и призналась в своем грехе, что подтверждалось и парой мужских перчаток, забытых на стуле и несомненно обличавших крепким запахом амбры личность щеголеватого владельца. Взбешенный нахальством Стено, Фальер в тот же день написал ему письмо, в котором воспрещал под страхом высылки из города посещать дворец, а равно приближаться каким бы то ни было образом к особе дожа или догарессы.

Ярость Стено не знала пределов, равно как от его неудачи, так и от страха быть удаленным навсегда из города, где жила его богиня. Осужденный видеть издали, как приветливая догаресса по-прежнему ласково и просто обращалась с молодыми людьми из Синьории, дошел он до отвратительной мысли распустить слух, что был ею отвергнут только вследствие более счастливых искательств других. И эту клевету не постыдился он распространять громко и публично.

Фальер, потому ли, что до него дошел слух об этих речах, или воспоминание об известной ночи все-таки так или иначе показалось ему предостережением судьбы, не мог остаться прежним, несмотря на всю его веру в добродетель супруги. Неестественные отношения старика и молодой женщине встали в его глазах призраком, зажегшим адские муки ревности в душе, и он, угрюмый и недовольный, потребовал, чтобы Аннунциата заперлась во внутренних покоях дворца и не принимала ни одного мужчины.

Бодоэри горячо вступился за внучку и стал крепко журить не хотевшего ничего слушать старика. Надо прибавить, что все это случилось незадолго до четверга на масленице, когда старинный, укоренившийся в Венеции обычай требовал, чтобы догаресса присутствовала при даваемом в этот день на площади святого Марка народном празднике, сидя рядом с дожем под балдахином, устроенным на деревянной галерее напротив площади. Бодоэри напомнил об этом старику и выразил надежду, что он не пожелает сам быть осмеянным за свою ревность и народом, и Синьорией, отказав в этой чести Аннунциате. Фальер был задет за живое.

-- Неужели думаешь ты, -- возразил он Бодоэри, -- что я в самом деле настолько глуп, что побоюсь показать мое сокровище, побоявшись воровских рук, которые могу еще отразить мечом? Нет, старина, ты ошибаешься! Завтра же увидишь ты меня под руку с Аннунциатой во время торжественной процессии на площади святого Марка. Пусть народ видит свою догарессу, а в четверг на масленице искусный гребец, сумеющий смелым полетом добраться до галереи, поднесет ей победный букет собственными руками.

Слова дожа намекали на старинную, с незапамятных времен установившуюся народную игру. С верхушки башни святого Марка протягивался канат к сваям, вбитым прямо в море. Какой-нибудь молодец из народа поднимался на вершину башни в корзине, сделанной в виде лодки, и оттуда стремглав стрелой скатывался по канату вниз, стараясь бросить по пути букет цветов догарессе или дожу, если на празднике присутствовал он один.

На другой день Фальер исполнил все, как обещал. Аннунциата, великолепно одетая, окруженная Синьорией, пажами и драбантами, гуляла с ним под руку по площади святого Марка. Давка была невероятная. Всякий стремился увидеть прекрасную догарессу, и

каждый, кому это удавалось, был буквально поражен ее ангельской красотой, думая, что видел небесное видение. Не обошлось и без остроумия насчет Фальера по врожденной склонности венецианцев к злым шуткам. То там, то здесь среди порывов восторга толпы проскакивали ядовитые эпиграммы и стишки, не совсем лестные для старого мужа. Но Фальер их не замечал и, отставив, по-видимому, в сторону ревность, гулял с выражением полного восторга на лице под руку с прекрасной догарессой, не обращая внимания на пламенные, кидаемые на нее со всех сторон взгляды.

Под порталом дворца толпа стеснилась до такой степени, что драбанты с трудом могли осаживать народ, но наконец проход был очищен, и дож с супругой остались окруженные только небольшой кучкой хорошо одетых граждан, которым был дозволен вход во внутренний двор дворца.

Вдруг, в ту самую минуту, как Аннунциата вошла во двор, в толпе послышался чей-то отчаянный крик: "О Боже!" -- и в то же мгновение какой-то молодой человек, стоявший до того вместе с прочими под колоннадой, без чувств грохнулся на мраморный пол. Толпа немедленно его окружила, так что Аннунциата не могла видеть, что происходило дальше. Но тем не менее, услышав уже один его голос, она внезапно вздрогнула, почувствовав, что точно раскаленный кинжал пронзил ей сердце, и, заметавшись, готова была упасть без чувств. Женщины из свиты успели ее поддержать.

Старик Фальер, и без того не совсем хорошо настроенный, от всей души послал к черту неизвестного юношу и, быстро схватив свою Аннунциату на руки, внес ее во внутренние покои дворца, точно раненую голубку, бессильно припавшую головкой к его плечу.

Между тем во дворе, куда толпа народа, привлеченная случившимся, ворвалась уже почти силой, происходило нечто странное. Едва присутствовавшие хотели взять и унести прочь молодого человека, которого посчитали мертвым, как хромая, уродливая старуха протолкалась острыми локтями через толпу к месту, где лежал молодой человек, громко восклицая:

-- Оставьте его! Оставьте, он не умер! Глупый вы народ!

И припав к лежащему, она приподняла ему голову и отерла пот с лица, называя нежнейшими именами. Удивление охватило толпу, но и было от чего: старая нищенка в лохмотьях, с отвратительно подергивающимся лицом, желтыми костлявыми руками, которыми она, дрожа, обнимала юношу, представляла такой контраст с его мертвенно-бледным, но прекрасным лицом и богатой одеждой, что, казалось, сама смерть в облике старухи пришла сжать его в своих когтях. Зрелище это навело такой ужас на людей, что большинство разбежалось и осталась только небольшая кучка тех, что были похрабрее.

Юноша между тем открыл глаза и тихо вздохнул. Его перенесли на Большой канал и положили в гондолу, куда уселась и старуха, приказав вести к указанному ею дому, где, по ее словам, жил молодой человек. Нужно ли объяснять читателям, что юноша был Антонио, а старухам -- нищая из Францисканского монастыря, уверявшая, что была его кормилицей.

Придя в себя после приема каких-то крепких капель, данных старухой, и, заметив ее возле своей постели, Антонио заговорил глухим, сдержанным тоном, уставясь на нее проникающим в душу взглядом:

-- Это ты, Маргарита! Благодарю! Вижу, что мне не найти друга вернее тебя. Прости мне, что я в тебе сомневался. Да, ты точно Маргарита, та самая, которая нянчила меня и кормила. Мне бы давно следовало в том убедиться, но какой-то злой дух путал и смущал мои мысли... Я видел ее... Ее! Это была точно она! Ведь я тебе говорил, что во мне поселилось наваждение, которое овладело мной совершенно. Оно зажгло мне душу зловещим лучом и портит всякую радость от жизни. Теперь я знаю все, все! Мой благодетель звался Бертуччио Неноло, не правда ли? И я жил на его вилле близ Тревизо.

-- Все так, -- согласилась старуха, -- Бертуччио Неноло, смелый мореплаватель, поглощенный морем в то самое время, когда надеялся увенчать себя победным лавровым венком.

-- Не прерывай меня, старуха, -- перебил Антонио, -- прошу, выслушай терпеливо. Мне было хорошо у Бертуччио Неноло. В какие прекрасные платья, помню, меня одевали! Самая вкусная еда была всегда к моим услугам, когда я был голоден. Утром меня заставляли молиться, а затем я целый день мог гулять и бегать по полям и лесам. Недалеко от дома был, помню я, лесок из пиний, полный чудного, чарующего аромата. Однажды, пробежав и прорезвившись целый день, лег я на закате солнца отдохнуть под большим деревом и стал смотреть на голубое небо. Может быть, крепкий запах цветов одурманил мои чувства, но только глаза мои незаметно закрылись, а сам я погрузился в глубокий, тяжелый сон. Вдруг громкий звук, точно от сильного удара, внезапно меня пробудил. Очнувшись, я быстро открыл глаза. Прелестная девочка с небесной улыбкой на лице стояла надо мной и приветливо на меня смотрела. "Милый мой мальчик, -- ласково заговорила она, -- ты так крепко спал, что даже не почувствовал, что смерть была возле тебя так близко". Тут только заметил я маленькую черную змею, лежащую рядом с раздробленной головой. Моя маленькая спасительница убила ее сучком орешника в ту самую минуту, как она готова была меня ужалить. В ужасе вскочил я на ноги. Мне вспомнилась легенда о том, как ангелы сходили иной раз с неба, чтобы спасти людей от угрожавшей опасности. Я упал на колени и, схватив маленькие ручки, воскликнул: "О ты, ангел света, посланный

Богом для моего спасения". Но она быстро отдернула руки и, засмеявшись, с ярким вспыхнувшим на лице румянцем, перебила шутливо: "Ах, мой милый мальчик! Я не ангел, а такой же ребенок, как ты!" Восторг овладел мной тут уже совершенно. Мы крепко обнялись и со слезами счастья поцеловали друг друга; блаженство наполняло наши души. Вдруг чистый, звучный голос воскликнул: "Аннунциата! Аннунциата!" -- "Прощай! Мама меня зовет", -- пролепетала девочка. У меня сжалось сердце от горя. "Ах, я тебя так люблю!" -- прошептал я, и наши горячие слезы смешались. "А я разве не люблю тебя?" -- воскликнула она, поцеловав меня еще раз. "Аннунциата!" -- раздалось снова, и девочка исчезла в кустах. О, Маргарита, с этой минуты я не знаю покоя! Искра любви, запав в мою душу, горит постоянным, неугасимым огнем!

Вскоре после этого происшествия меня выгнали из дома. Я все время приставал к дяде Блаунасу с расспросами о моей маленькой знакомой, чей милый голос слышался мне и в шуме ветра, и в шелесте листьев, и в журчанье родников. Он сказал, что это, вероятно, была дочь Неноло Аннунциата, приезжавшая на несколько дней со своей матерью Франческой в их загородный дом, но теперь уехавшая снова. И представь, Маргарита! Это прелестное создание, мою Аннунциату, узнал я в догарессе!

Сказав это, Антонио с рыданием откинулся на подушки.

-- Антонио! -- заговорила старуха. -- Приди в себя! Переживи мужественно свое горе. В любви ли терять надежду! Для кого же цветут золотые ее цветы, как не для любящих? Вечером нельзя знать, что будет поутру; светлый сон часто обращается в действительность; воздушный замок, видимый в облаках, часто оказывается стоящим на твердой земле. Ты, может быть, не поверишь моим словам, но что-то шепчет мне, что ты еще понесешься по морю под светлым парусом счастья. Потерпи, потерпи еще немного!

Так утешала старуха бедного Антонио, и слова ее действительно ласкали его, как сладкая музыка. Он ни за что не согласился отпустить ее от себя, и старая нищенка францисканского монастыря скоро превратилась в прилично одетую домоправительницу Антонио, степенно и чинно ходившую на рынок святого Марка за покупками.

Наконец, настал четверг масленицы. Посередине Пьяццетты были устроены леса для нового, еще невиданного фейерверка, который приготавливал один знающий это дело грек. Вечером старый Фальер, на этот раз вполне счастливый и довольный всем окружающим, вошел на галерею рука об руку со своей прелестной женой. Но в ту самую минуту, как он садился на приготовленный трон, взгляд его вдруг упал на Микеля Стено, сидевшего на той же галерее и дерзко, почти в упор, смотревшего на догарессу, так что она должна была непременно его заметить. Вне себя от гнева и вновь поднявшейся в сердце ревности,

Фальер громким, повелительным голосом приказал сейчас же удалить Стено с галереи. Тот в бешенстве готов был броситься на дожа, но был удержан подоспевшими драбантами, принудившими его удалиться, несмотря на его скрежет зубами и громкие угрозы страшно отомстить.

Между тем Антонио, на которого вид возлюбленной Аннунциаты произвел потрясающее действие, в отчаянии протиснулся сквозь толпу и, убежав к морю, уныло бродил в темноте по берегу, раздираемый тысячью мук. Мысль окончить их разом, бросившись в холодную глубину, вместо того, чтобы медленно и долго мучиться жизнью, мелькнула в его голове. Исполнение было так близко и так возможно! Уже он стоял на последней ступени, как вдруг чей-то веселый, беззаботный голос крикнул ему с одной из лодок:

-- Здравствуйте, синьор Антонио!

В отблеске света, падавшего с ярко освещенной площадки, Антонио узнал одного из своих прежних товарищей, гуляку Пьетро, стоявшего на лодке в новом пестром плаще, с перьями на шляпе и с огромным букетом душистых цветов в руке.

-- Здравствуй, Пьетро, -- ответил Антонио. -- Каких вельмож собрался ты везти сегодня, что так щегольски вырядился?

-- Эге, синьор Антонио, -- крикнул тот, подпрыгнув так, что лодка чуть не опрокинулась, -- не шутите со мной! Сегодня я заслужу три добрых цехина. Сейчас полезу я на колокольню святого Марка, а оттуда слечу вниз и подам этот букет прекрасной догарессе.

-- А что, нельзя ли при этом сломать шею? -- спросил Антонио.

-- Ну, пожалуй, что и можно, -- отвечал тот, -- особенно сегодня, когда надо пролететь сквозь фейерверк. Грек, правда, уверяет, что его огнем нельзя даже опалить волосы, но... -- и Пьетро пожал плечами.

Антонио прыгнул к нему в лодку и увидел, что она действительно стояла как раз возле спускавшегося в море каната, где была приготовлена корзина для полета. Канат, поднимаясь тонкой полоской кверху, исчезал в темноте.

-- Слушай, Пьетро, -- начал Антонио, немного помолчав, -- хочешь заработать десять цехинов вместо трех и при этом не подвергать жизнь ни малейшей опасности?

-- Неужели? -- крикнул Пьетро. -- О, от всей души!

-- Ну, -- продолжал Антонио, -- так вот, бери эти десять цехинов и поменяйся побыстрее со мной платьем. Я встану на твое место и полечу вместо тебя. Прошу, сделай это, мой добрый друг!

Пьетро озадаченно покачал головой и сказал, взвешивая золото на руке:

-- Вы добры, синьор Антонио. Очень добры, синьор Антонио! Очень добры, называя меня, бедняка, вашим товарищем, да и щедрый впридачу. За деньги, понятно, я готов это сделать, но ведь и подать букет прекрасной догарессе, услышать ее сладкий голосок также

заманчивая награда, за которую стоит рискнуть жизнью. Ну да уж, куда ни шло! Если просите вы, то я это сделаю.

Они проворно обменялись платьем, и Пьетро закричал:

-- Скорей, скорей! Садитесь в корзину! Вон, уже подают знак.

В эту минуту море осветилось потоками света, и в воздухе пронесся гул и гром пущенного фейерверка. Антонио в своей корзинке пронесся, как стрела, по воздуху среди шипящих огненных языков и, благополучно спустившись на галерею, ловко поднес букет вставшей со своего места Аннунциате. Он был так близко от нее, что чувствовал на лице ее сладкое дыхание. Могучий порыв счастья и блаженства, но в то же время и безнадежной, отчаянной скорби охватил его душу. Вне себя, не помня, что делает, схватил Антонио ручку догарессы и, страстно прижав ее к губам, отчаянно воскликнул:

-- Аннунциата!

Но в эту минуту остановившаяся было корзинка задвигалась вновь. Антонио показалось, что ураган оторвал его от возлюбленной, и действительно, полетев назад с огромной скоростью, он стремглав слетел на своей утлой воздушной ладье прямо в море, где бывший настороже Пьетро, подхватил и втащил его в свою лодку.

Между тем на галерее, где сидели дож и догаресса, поднялось смятение; в толпе смеялись, шушукали, передавали друг другу что-то на ухо. Оказалось, что на спинке кресла дожа была приклеена неизвестной рукой надпись на просторечном венецианском жаргоне:

*Il Dose Faliero della bella muier
J altri la gode e lui la mantien.**

** Достал наш Фальер красотку жену, другим на утеху, себе на беду (итал.).*

Взбешенный дож поднялся с места и громко дал клятву подвергнуть жесточайшей каре автора злой шутки. Озираясь на окружающих, внезапно увидел он при ярком свете факелов Микеля Стено, стоявшего в толпе под галереей, и тотчас же приказал драбантам арестовать его как подозреваемого виновника преступления. Но приказ этот вызвал взрыв негодования как в народе, так и в Синьории. Народ негодовал, что бешеный гнев дожа испортил ему праздник, а Синьория вступилась за свои попранные права. Вельможи один за другим встали со своих мест и удалились, и только один старик Бодоэри, проворно шмыгнув в толпу, стал защищать дожа, разжигая народ против Стено, нанесшего такое тяжкое оскорбление главе государства.

Надо сказать, что Фальер не ошибся в своем подозрении. Надпись приклеил, действительно, Стено. Оскорбленный своим удалением с галереи, побежал он в ярости домой, написал известные стихи и,

вернувшись назад, успел незаметно прилепить их к креслу дожа в то время, как все были заняты фейерверком. Поступком своим он думал отомстить разом и дожу, и догарессе, так как надпись была оскорбительна для обоих.

На допросе Стено нагло сознался во всем и даже свалил вину на самого дожа, оправдывая свой поступок желанием отомстить за нанесенное ему оскорбление. Синьория давно была уже недовольна главой государства, который вместо неустанный твердого исполнения своих обязанностей доказывал только, что храбрость и мужество, пережившие себя в старике, подобны ракете, которая хотя и вспыхивает внезапно шипящим огнем, но через минуту оставляет одно облачко бесполезного дыма. К тому же свадьба и молодая жена -- все очень хорошо знали, что он женился недавно -- до того изнежила и расслабила его прежний бодрый дух, что вместо недавнего еще звания героя имя Марино Фальера стало щеголять в народе с нелестным эпитетом *vecchio pantalone**. Все это до того дурно повлияло на судей, разбиравших преступление Стено, что большинство было гораздо более расположено к нему, чем к тяжело оскорбленному главе государства. Совет Десяти передал вопрос на заключение Совета сорока, членом которого считался Стено, а тот решил, что Микель Стено уже довольно потерпел, и потому месячное изгнание признавалось совершенно достаточным наказанием за его проступок.

* букв. "старые штаны" (итал.).

Такое решение само собой взорвало еще более гнев дожа против Синьории, которая вместо того, чтобы защитить главу государства, наносила ему еще более тяжелую обиду, называя ничтожным проступком такое тяжелое оскорбление.

Известно, что малейший луч надежды способен питать и греть сердце влюбленного в течение не только дней и недель, но даже целых месяцев. Так и теперь, очарованный сорванным им поцелуем, Антонио не мог опомниться от своего блаженства. Старуха Маргарита крепко журила его за рискованный прыжок и вообще ворчала, осуждая все его безумные выходки. Но как-то раз возвратилась она из города в таком возбужденном, почти радостном состоянии, какое бывало с ней только во время ее болезненных припадков. Она хохотала, кривлялась, не отвечала на вопросы Антонио и наконец, разведя в камине огонь и поставив на него котелок, стала варить в нем какие-то снадобья, наливая их из разных склянок. Приготовив таким образом мазь, она положила ее в ящичек и тотчас же ушла с теми же ужимками и прыжками.

Поздно вечером вернулась старуха домой, уселась, запыхавшись и кашляя, в свое кресло и немного придя в себя после тяжелых трудов, начала так:

-- Тонино, милый Тонино! Знаешь ли ты, где я была? Попробуй угадать, если можешь.

Антонио, охваченный каким-то предчувствием, уставился на нее, не говоря ни слова.

-- Ведь я была, -- захихикала старуха, -- у твоей дорогой голубки, у твоей Аннунциаты!

-- Старуха! Не своди меня с ума! -- воскликнул Антонио.

-- Видишь, как я думаю о тебе, -- продолжала старуха, -- сегодня утром, покупая под галереей дворца овощи, услышала я толки о каком-то несчастье, случившемся с прекрасной догарессой. Я начала расспрашивать, и вот что сказал один из зевак, засовывая за щеку лимон: догарессу укусил маленький скорпион, и яд его всосался в кровь. Впрочем, доктор синьор Джиованни Басседжио уже во дворце и говорит, что укушенный пальчик надо отрезать вместе с прекрасной ручкой. В эту минуту во дворце раздался шум, и в тот же миг какой-то маленький, круглый человек, крича диким голосом, кубарем слетел с лестницы, вытолканный в шею драбантами. Народ столпился около него, но тут болтун, рассказавший мне о случившемся, растолкал толпу, подхватил маленького, продолжавшего рев доктора на руки и со всех ног пустился бежать вместе с ним к морю, где и уселся проворно в гондолу. Я сейчас же догадалась, что, верно, дож велел вытолкать его вон, когда он занес нож, чтобы резать ручку догарессы. Но у меня было уже другое на уме. Миготом полетела я домой, сварила мазь и опять побежала во дворец. Там как раз на лестнице встретил меня старик Фальер и сурово спросил, сверкнув глазами: "Что тебе надо, старуха?" Я низко-низко, как только могла, присела перед ним и сказала, что знаю средство вылечить догарессу. Услышав это, старик взглянул на меня страшными, пронзительными глазами, погладил бороду и, схватив меня за плечи, потащил во дворец, так что я едва успевала за ним следовать. Ах, Тонино, если бы ты видел нашу голубку, как она, вся бледная, металась от боли и тоски на постельке и лепетала: "Я отравлена, чувствую, что отравлена!"

Я тотчас же подошла к ней и начала с того, что сорвала и выбросила вон пластырь глупца доктора. О Господи! Маленькая ручка вся распухла и была красная от воспаления. Но мазь моя разом ее остудила, и уняла боль. "Мне лучше, гораздо лучше", бормотала больная, а старик Фальер в восторге закричал: "Тысяча цехинов тебе, старуха, если ты вылечишь догарессу!" -- и с этими словами вышел из комнаты.

Три часа провозилась я с ней, перевязывая и лелея маленькую ручку. Красотка перестала метаться, и боль наконец прошла совсем. Я сделала

новую перевязку и, видя что она глядит на меня ласковым, радостным взглядом, сказала ей: "Ведь вы сами, государыня догаресса, спасли однажды маленького мальчика от змеи, которая хотела укусить его, когда он спал?" Тонино! Если бы ты видел, какой румянец вспыхнул при этих словах на ее бледных щечках, как сверкнули ее померкшие глазки! "Да, да! -- пробормотала она, -- я была еще маленькой девочкой. Это случилось в загородном доме моего отца. И какой же красивый был этот мальчик! Я помню его как теперь. Мне кажется, что с тех пор у меня не было ни одной минуты счастливее". Тут я и рассказала ей все о тебе: как ты живешь в Венеции, как любишь ее по-прежнему, как для того, чтобы хоть раз увидеть небесные глазки, решился на опасный воздушный прыжок и подал ей букет в четверг на масленице. Тут уж она не выдержала и воскликнула в восторге: "Я это чувствовала, чувствовала, когда он прижал к своим губам мою руку, когда назвал меня по имени! Я не могла понять, что со мной было в ту минуту! Это была и радость, и вместе с тем какая-то боль. Приведи его, приведи ко мне моего дорогого мальчика".

Антонио как безумный бросился на колени и, подняв руки к небу, воскликнул:

-- О Боже! Молю об одном, не дай мне умереть теперь! Только теперь, пока я ее не увидел, пока не успел прижать к груди!

Он непременно хотел, чтобы старуха на другой же день отвела его во дворец, в чем она, однако, отказала ему наотрез, сославшись на то, что старый Фальер посещает больную почти каждый час.

Много дней прошло с тех пор. Старуха давно уже вылечила догарессу, но устроить свидание между ней и Антонио все еще не было возможности. Старая нищая, насколько могла, утешала нетерпеливца, постоянно передавая ему свои разговоры с Аннунциатой, в которых только и речи было, что о спасенном и так любимом ею Антонио. А он, чтобы сократить мучительные минуты разлуки, бродил по площадям, разъезжал по каналам в гондолах, но неодолимая сила постоянно влекла его к герцогскому дворцу. Однажды, бродя около заднего фасада дворца, который примыкал к тюрьмам, Антонио внезапно увидел Пьетро, стоявшего на своей новой, привязанной к столбу и разукрашенной флагами и искусной резьбой гондоле, так что с виду она почти что напоминала "Буцентавра". Заметив старого товарища, Пьетро радостно закричал:

-- Здравствуйте, синьор Антонио! Посмотрите-ка, какое счастье принесли мне ваши цехины!

Антонио стал рассеянно расспрашивать, что это было за счастье и узнал, ни более ни менее, что Пьетро каждый вечер возил дожа и догарессу в Джудекку, где недалеко от церкви Сан Джорджо Маджоре у дожа был свой прекрасно отделанный дом. Антонио вздрогнул при этом рассказе.

-- Друг мой! -- быстро проговорил он, схватив Пьетро за руку. -- Хочешь заслужить еще десять цехинов, а не то и больше? Пусти меня опять на твое место; я хочу прокатить дожа!

Пьетро отвечал, что этого никак нельзя, потому что дож знал его лично и доверял только ему, но Антонио не отставал и, терзаемый муками любви, дошел, наконец, до того, что, разгорячась, прыгнул в гондолу и поклялся выбросить Пьетро в море, если он не согласится исполнить его просьбу по доброй воле.

-- Эге, -- засмеявшись отвечал Пьетро, -- кажется, прелестные глазки догарессы очаровали вас не на шутку!

После этого они условились, что Антонио поедет в гондоле как помощник Пьетро, что было тем легче оправдать в глазах дожа, что он и прежде находил Пьетро слишком слабым для быстрой езды в гондоле.

Антонио в восторге побежал домой и едва успел вернуться переодетый в бедное матросское платье, с испачканным лицом и подвешенной бородой, как дож вместе с догарессой, оба одетые в красивые праздничные платья, сошли со ступеней дворца.

-- Кто этот чужой? -- недоверчиво спросил Фальер.

Пьетро поклялся всеми святыми, что ему сегодня необходим помощник, но не без труда, однако, сумел убедить ревнивого старика позволить Антонио плыть вместе с ними.

Часто так случается, что в минуту полного блаженства и удовлетворенного счастья дух наш, как бы подкрепленный влиянием этой минуты, бывает более способен удержаться и скрыть свои чувства. Так было и с Антонио. Близость возлюбленной Аннунциаты, которой он почти касался платьем, придавала ему особенную способность сдерживать порывы любви и с удвоенной силой работать веслом, так что ему почти не было времени на нее взглянуть.

Старый Фальер был весел. Он шутил, смеялся, целовал маленькие ручки Аннунциаты, обнимал рукой ее гибкий стан. Гондола между тем выплыла в открытое море, откуда вся прекрасная Венеция с ее гордыми башнями и дворцами открылась перед путниками, как на ладони. Фальер гордо поднял голову и сказал, самодовольно озираясь:

-- Ну что, моя дорогая! Не правда ли, весело плыть по морю с его властителем и супругом? Ты, однако, не должна ревновать меня к моей супруге, которая несет теперь нас обоих на своих волнах. Слышишь их сладкий плеск? Не похож ли он на слова любви, которые она шепчет своему супругу и повелителю? Но эта супруга схоронила мой брошенный перстень, а ты носишь его на пальце!

-- Ах, мой господин, -- отвечала Аннунциата, -- может ли холодная, коварная стихия быть твоей супругой? Мне неприятна даже мысль, что ты зовешь своей женой бесчувственное, бесконечное море!

Фальер засмеялся так, что у него задрожали подбородок и борода.

-- Не бойся, моя голубка, -- сказал он, -- я знаю, что покоиться в твоих нежных объятиях приятнее, чем в морской глубине, но не правда ли, хорошо и приятно плыть по морю с его повелителем?

В ту минуту, как дож произнес эти слова, внезапно донеслись издали звуки музыки. Тихий мужской голос, далеко разносимый по волнам пел:

*Ah! senza amare
Andare sul mare,
Col sposo del mare,
Non puo consolare!*

Раздались другие голоса, и в их созвучии слова пропетой песни, повторившись несколько раз, замерли, разнесенные ветром. Фальер же не слышал ничего и продолжал рассказывать Аннунциате историю происхождения торжества, когда дож с высоты "Буцентавра" бросает в море свой обручальный с ним перстень. Он говорил о победах республики, о том, как были ею завоеваны Истрия и Далмация при доже Пьетро Орсеоло II и как с тех пор был введен обычай обручения с морем. Но если пропетая песня прошла незамеченной мимо ушей Марино Фальера, точно так же незамеченным прошел для Аннунциаты его рассказ. Она была глубоко поражена унесенными вдаль звуками. Глаза ее смотрели неопределенно и задумчиво, как у того, кто, внезапно пробудясь, не может еще дать себе отчет в мыслях.

-- Senza amare! senza amare! -- non puo consolare! -- шептали уста, и светлые, как блестящие жемчужины, слезы невольно навернулись на прекрасные глаза, между тем как глубокий, подавленный вздох вырвался из взволнованной закипевшим чувством груди.

А Марино Фальер, веселый как прежде, все продолжая рассказ, вышел из гондолы на крыльцо своего дома напротив церкви Сан Джорджо Маджоре, не замечая, что Аннунциата, точно под гнетом тяжкого предчувствия, молча и задумчиво стояла возле него с устремленным куда-то вдаль взором. Молодой человек, одетый в матросское платье, громко затрубил в рог, сделанный в виде изогнутой раковины; звук далеко разнесся по морю; по этому знаку подъехала другая гондола.

Между тем из дома вышли навстречу приехавшим мужчина с зонтиком от солнца и женщина. Дождь и догаресса, сопровождаемые таким образом, направились ко дворцу. Другая гондола пристала к ступенькам. Марино Бодоэри с целой толпой гостей, среди которых были купцы, художники и даже люди из простого народа, вышел из нее и отправился в дом вслед за дождем.

На другой день Антонио едва мог дожидаться вечера, ожидая известий об Аннунциате, к которой послал свою старуху. Наконец, та возвратилась и, усевшись в кресло, могла только всплеснуть руками.

-- Ах, Тонино, Тонино! -- заговорила она. -- Ума не приложу, что это случилось с нашей голубкой! Вошла я сегодня к ней и вижу, что бедняжка лежит в постельке с закрытыми глазками, обхватив руками головку, и не то спит, не то плачет, не то больна, не то здорова. Я подошла и спрашиваю: "Что с вами, дорогая догаресса? Или у вас опять раскрылась зажившая ранка?". А она как вскинет на меня свои глаза! Ах, Тонино, Тонино! Что это за глаза! Точно лучи месяца прятались они за шелковыми ресницами, как за темной тучей! Посмотрев, вздохнула она тяжело, повернулась личиком к стене и начала шептать так тихо и жалобно, что у меня сердце разрывалось: "Amare, amare! ah senza amare!".

Я подвинула маленький стул, села возле нее и начала говорить про тебя. Она поднялась, впилась в меня глазками и стала дышать так скоро, так порывисто. Я рассказала, как ты переодетый, плавал с ней в гондоле и что скоро приведу тебя к ней, потому что нет уже сил терпеть тебе больше. А она, услышав это, только залилась горячими слезами, да и говорит мне: "Нет, нет! Ради Бога, нет! Я не могу, я не хочу его видеть! Старуха я тебя умоляю, скажи ему, чтобы он никогда не подходил ко мне больше! Чтобы он уехал из Венеции, уехал скорее!". -- "Ну, -- говорю я, -- если так, то значит, наш бедный Тонино должен умереть". Она опять откинулась на постель, заплакала горько и говорить: "А я! Разве я не умру тоже?". Тут старый Фальер вошел в комнату, и я по его знаку должна была удалиться.

-- Она меня отвергла! -- в отчаянии воскликнул Антонио. -- Так прочь же отсюда! В море! В море!

Старуха по обыкновению захихикала.

-- Глупый, ты глупый мальчик! -- закричала она на него. -- Да разве ты не видишь, что Аннунциата любит тебя так, как не любила еще ни одна женщина! Уймись, дурачок! А завтра вечером приходи тайком во дворец, я буду тебя ждать во второй галерее, направо от большой лестницы. Там мы посмотрим, что делать дальше.

Когда на другой день вечером Антонио, дрожа от волнения, взбирался по большой лестнице, его обуял страх, точно он совершал величайшее преступление. Шатаясь, едва мог он неверными шагами находить ступени. По условию ему следовало прислониться к одному из столбов галереи и ждать старуху там. Вдруг яркий свет сверкнул в темной галерее и не успел он опомниться, как увидел перед собой старого Бодоэри, за которым стояло несколько слуг с факелами в руках.

Бодоэри без всякого, по-видимому, удивления взглянул на молодого человека и сказал:

-- Ага! Антонио! Я знаю, что тебе велели стоять здесь; ступай за мной.

Антонио, имея полное право предполагать, что все открыто, не без трепета пошел за Бодоэри. Но как же он изумился, когда Бодоэри, пройдя несколько комнат, вдруг крепко его обнял, заговорил о важности порученного ему поста и в заключение выразил надежду, что он оправдает в эту ночь оказанное ему доверие. Но удивление Антонио скоро перешло в величайший ужас, когда он узнал, что дело шло, ни более ни менее, как о заговоре против Синьории, во главе которого стоял сам дож, и что по последнему решению, принятому в доме Фальера на Джудекке, в эту самую ночь все члены Синьории должны быть убиты, а Марино Фальер провозглашен полновластным герцогом Венеции.

Антонио, слушая Бодоэри, был не в состоянии произнести ни слова, но старик, приняв его молчание за уклончивый отказ от участия в таком опасном деле, воскликнул с гневом:

-- Трус! Или берись сейчас за оружие или умри на месте! Во всяком случае ты не выйдешь из дворца живой. Но прежде с тобой поговорит вот кто!

В эту минуту высокая статная фигура человека со строгим, благородным лицом показалась в глубине комнаты. Антонио едва разглядел при свете горевших свечей лицо вошедшего, как тут же упал на колени и закричал в исступлении:

-- Святые небеса! Отец мой, Бертуччио Неноло! Мой благодетель!

Неноло поднял юношу, заключил его в объятия и затем сказал тихим голосом:

-- Да, я точно Бертуччио Неноло! Ты считал меня погребенным на дне моря, тогда как я был в тяжелом плену у свирепого Морбассана, от которого только теперь освободился. Я был твоим воспитателем и никак не мог предполагать, что глупые слуги, которых Бодоэри послал занять купленный им у меня дом, выгонят тебя на улицу. Бедный, ослепленный юноша! Неужели ты колеблешься поднять оружие против деспотической касты, жестокость которой лишила тебя отца? Да, ступай на двор Фондако, иди же на свое Немецкое подворье; там на каменном полу увидишь ты следы крови твоего отца. Когда Синьория передала в пользование немецким купцам местность, называемую Фондако, было ею строжайше запрещено, чтобы владельцы отведенных им лавок брали с собой в случае отъезда ключи, которые должны были оставаться у смотрителя от Синьории. Отец твой не послушался этого постановления и этим одним уже совершил в их глазах тяжелое преступление. Когда по его возвращении лавка была отперта, под товарами нашли ящик, наполненный венецианской фальшивой монетой. Напрасно клялся он в своей невиновности. Ясно, что какой-то негодяй, может быть, сам смотритель, подкинул ящик,

чтобы погубить твоего отца. Жестокие судьи, приняв во внимание только факт, что ящик был найден в лавке твоего отца, осудили его на смерть и он был обезглавлен на самом дворе Фондако. И ты сам не избежал бы гибели, если бы тебя не спасла верная Маргарита. Я, лучший друг твоего отца, взял тебя к себе, а чтобы ты не выдал себя сам Синьории, от тебя скрыли твоё имя. Но теперь, Антон Дальбингер, время тебе взяться за оружие и головами Синьории отомстить за позорную смерть твоего отца.

Антонио, возбужденный жаждой мести, немедленно поклялся в верности заговору и неизменном мужестве.

Известно, что тяжкое оскорбление, которое заведывавший морскими вооружениями Дандоло нанес Бертуччио Неноло, ударив его в лицо, подвигло последнего вместе с его честолюбивым зятем восстать против синьории. Оба, и Неноло и Бодоэри, хотели возвести на трон старика Фальера только затем, чтобы самим править от его имени.

План заговорщиков состоял в том, чтобы распространить ночью внезапный слух о появлении будто бы в лагуне неприятельского флота, ударить затем в колокол святого Марка, призывая город к оружию против неприятеля. По этому знаку заговорщики, число которых было значительно по всей Венеции, должны были занять площадь святого Марка, утвердиться на этом главном пункте города и затем, перебив Синьорию, провозгласить себя самодержавным герцогом Венеции. Но небо не допустило исполнить этот кровавый замысел, а тем и разрушить основные законы государства ради удовлетворения прихоти гордого, честолюбивого старика. Собрания заговорщиков, бывшие в доме Марино Фальера на Джудекке, не ускользнули от бдительного надзора Совета Десяти, хотя совершенно точных сведений они не имели. Но один из заговорщиков, торговец мехами из Пизы по имени Венциан, терзаемый угрызениями совести, вздумал спасти от гибели своего благодетеля и родственника Никколо Леони, бывшего одним из членов Совета Десяти. В сумерки отправился он к нему и пристал с неотступной просьбой не выходить в эту ночь из дома, что бы ни случилось. Леони, побуждаемый подозрениями, немедленно арестовал Венциана и, пригрозив ему пыткой, выведал все подробности. Тогда по согласию с Джиованни Градениго и Марко Корнаро собрали они немедленно весь Совет Десяти в Сан Сальвадоре, и там в течение трех часов были уже приняты все меры, которые должны были уничтожить план заговорщиков в самом его начале.

Антонио было поручено явиться с толпой заговорщиков на площадь и ударить, как было условлено, в колокол. Но, подойдя к дверям колокольни, они нашли их уже занятыми многочисленным отрядом из Арсенала, встретившим пришедших алебардами. Пораженные ужасом, заговорщики разбежались врассыпную и исчезли в темноте. Антонио слышал, что по следам его кто-то гонится. В страхе хотел он уже

остановиться и напасть на преследователя, как вдруг в мелькнувшем свете фонаря узнал Пьетро.

-- Спасайтесь, синьор Антонио! Спасайтесь в моей гондоле, -- кричал Пьетро. -- Все погибло! Неноло и Бодоэри во власти Синьории; ворота дворца заперты; дож арестован в своих покоях и как преступник охраняется своими же вероломными драбантами. Скорей, скорей!

Почти без чувств позволил Антонио посадить себя в гондолу. Глухие голоса, звон оружия, порой вопли ужаса слышались ему во мраке ночи; затем все смолкло, и наступила еще более ужасающая тишина.

На другой день утром, объятый страхом народ был свидетелем леденящего кровь зрелища. Совет Десяти еще в ту же ночь произнес смертный приговор схваченным зачинщикам заговора. Все они были обезглавлены на маленькой площадке напротив дворца, как раз на том месте, где дож любовался зрелищем фейерверка и где Антонио, промчавшись мимо прекрасной Аннунциаты, подал ей свой букет. В числе казненных были Марино Бодоэри и Бертуччи Неноло.

Через два дня старый Марино Фальера был также осужден Советом Десяти и обезглавлен на так называемой лестнице Великанов.

Как тень, скитался Антонио во время этих ужасов по улицам Венеции; никто не знал о его участии в заговоре, а потому никто и не преследовал. Увидев, как скатилась под топором седая голова Фальера, ему показалось, что он бредит жутким сном. С отчаянным воплем: "Аннунциата!" -- бросился он во дворец, совсем обезумев. Никто не думал его удерживать. Сами драбанты, казалось, были поражены всем случившимся.

В галерее встретил он рыдающую старуху Маргариту. Она схватила его за руку, и они вбежали в комнату Аннунциаты, лежавшей без чувств на своей постели. Антонио бросился к ней, покрыл пламенными поцелуями ее руки, называл ее нежнейшими именами. Мало-помалу она пришла в себя и устремила на него взгляд, как бы не узнавая сначала, но потом вдруг вскочила, бросилась к нему и, крепко прижав к своей груди, облила слезами его лицо, покрыла поцелуями щеки и уста.

-- Антонио! Мой Антонио! -- шептала она, рыдая. -- Люблю тебя, люблю безумно! Есть еще счастье на земле. Что смерть мужа, отца и дяди в сравнении с моей к тебе любовью! Бежим, бежим от этого кровавого места!

Так порывисто говорила Аннунциата, терзаемая горем и блаженством сразу. Среди поцелуев и слез поклялись они в вечной верности, забыв прошедшие ужасы. Глаза их, обращенные к небесному блаженству, не видели более земной скорби, просветленные любовью.

Старая Маргарита советовала им бежать в Чиоццу. Оттуда Антонио думал пробраться по суше в свое отечество. Пьетро добыл им маленькую лодку и причалил ее к мосту близ заднего фасада дворца. В

сумерки тихонько прокралась туда Аннунциата вместе с Антонио и старой Маргаритой, державшей под плащом небольшой сундук с драгоценностями. Незаметно спустились они с лестницы и сели в лодку. Антонио бодро схватил весло, и лодка понеслась по волнам. Лунный отблеск, точно веселый спутник любви и счастья, играл и переливался в волнах. Они вышли в открытое море.

Понемногу разыгрался ветер, черные тучи, повиснув в воздухе, как тяжелые занавесы, скрыли светлое сияние месяца; его веселый отблеск исчез, и море стало темной, неприветливой бездной, шумевшей глухо и грозно. Буря разыгралась не на шутку. Ветер с глухим ревом гнал перед собой мрачные облака, лодка зарывалась в волнах.

-- Спаси нас, милосердный Боже! -- воскликнула старуха.

Антонио не мог более управлять и, бросив весло, крепко схватил Аннунциату, покрывая ее поцелуями.

-- Антонио!

-- Аннунциата!

Так восклицали они, позабыв, казалось, и самую бурю. Но тут море поднялось, как ревнивая вдова обезглавленного Фальера, охватило лодку исполинскими пенящимися волнами и погребло всех троих в своей холодной, шумящей бездне.

Окончив рассказ, человек в плаще быстро встал и, не говоря ни слова, поспешно вышел из комнаты. Друзья удивленно посмотрели ему вслед и затем опять обратились к картине. Старый дож опять предстал перед ними со своей горделивой усмешкой на самодовольном лице, но, взглянув на лицо догарессы, оба тотчас заметили неуловимую тень смутных желаний, лежавших на лилейно-белом челе, порхавших около прелестных губ и светившихся в темном задумчивом взгляде. В воздухе и густых облаках, несшихся со стороны площади святого Марка, веяло чем-то мрачным, угрожавшим смертью и горем. Глубокое значение прекрасной картины ясно выступило перед их глазами, и печальная история любви Антонио и Аннунциаты невольно наполняла сладкой скорбью их сердца каждый раз, когда они вновь останавливались перед ней.

* * *

Друзьям понравился рассказ Оттмара, и они единодушно решили, что он вполне по-серапионовски воспользовался историей честолюбивого дожа Марино Фальера.

-- Оттмар, однако, порядочно поработал, когда писал свой рассказ, -- заметил Лотар. -- Мало того, что его вдохновила картина Кольбе, история Венеции Лебретта постоянно лежала раскрытая на его столе, и все стены его комнаты были увешаны живописными видами

венетских улиц и площадей, которые он сумел где-то добыть. Потому повесть его, как это и должно быть, насквозь пропитана местным колоритом.

В эту минуту пробило полночь, и друзья расстались в приятнейшем расположении духа.

Четвертое отделение

Винцент и Сильвестр явились наконец в общество Серапионовых братьев. В день их вступления Лотар обратился к ним с сильной речью, в которой, наполовину комически, наполовину серьезно, изложил обязанности достойных Серапионовых братьев.

-- Итак, -- заключил он, -- обещайте мне, достойные новобранцы, дружеским пожатием руки, оставаться всегда верными правилу святого Серапиона, то есть употребить все ваши силы, чтобы являться в собраниях нашего прекрасного кружка с запасом ума, веселости, остроумия и вдохновения, на какие вы только способны!

-- Что до меня, -- ответил Винцент, -- то я обещаю это от всей души. Все мое состояние остроумия и способностей я жертвую в общую кассу, из которой, в свою очередь, намерен откармливаться сам. Каждый раз как идти сюда, я, как говорится, покормлю сахаром свою обезьяну, чтобы возбудить ее расположение к веселым прыжкам. А так как ваш патрон стяжал свою славу и честь безумием, то я постараюсь превзойти глупостями его самого. Пусть только мои достойные Серапионовы братья пожелают, и я берусь сойти с ума на какой им будет угодно идее фикс. Если хотите, я могу сейчас же вообразить себя, как профессор Титель, римским императором или, как патер Сгамбари, кардиналом. Пожалуй, как жена Траллиона, стану уверять, что весь свет вертится на моем мизинце, что у меня стеклянный нос, отсвечивающий на стене, как призма, всеми цветами радуги, или, наконец, как маленький шотландец Дональд Монро, воображу себя зеркалом и начну передразнивать движения и гримасы стоящих передо мною. Да! Я уверен, что если я плешив, как кавалер д'Эпернэ, то в этом виновата моя *anima sensitiva**, но зато тем легче может воспарить мое остроумие. Надеюсь, вы оцените все эти припадочки безумия, как достойные Серапионовы братья! Исполните это, дорогие друзья, и в особенности прошу вас, не вздумайте меня лечить по методу Боргаве, Меркуриалиса, Анстиуса, Фридриха Крафта, Рихтера и всех прочих, рекомендующих как хорошее средство плети и оплеухи. Исправная порка, впрочем, действительно возбуждает к правильной деятельности и душу, и тело.

** Чувствительная душа (итал.).*

Возможно ли было бы вдавливать нам в голову вокабулы без розги? Я хорошо помню одно происшествие со мной, когда мне было двенадцать лет. Я только что прочел Вертера и вследствие того страстно влюбился в одну тридцатилетнюю девицу, так что хотел даже стреляться. Отец мой, порывшись в Разусе и Валускусе де Таранта, вычитал, что розга прекрасное средство от излишней нервной возбужденности в сердце, вследствие чего выпорол меня самым отличным образом. И я был свидетелем горячих слез радости, которые проливал старик, убедившись что сын его не совсем осел, который, как известно, стоит на своем тем тверже, чем больше его бьют. А как хорошо действует это средство на тело! Вспомните венецианского принца, о котором рассказывает Кампанелла. Несчастный страдал запором и мог получить от него облегчение только после хорошей порки, для чего состоял у него на службе специально назначенный для сей цели человек.

-- О пустомеля из пустомель! -- воскликнул Теодор. -- Присяжный собиратель глупостей! Неужели у тебя всегда только одни пустяки на уме? Но, впрочем, продолжай быть таким! Твой веселый нрав пригодится, чтобы оживить наше общество, если случайно набегит скучная минутка. Да и теперь я попросил бы тебя развеселить, если можешь, Сильвестра, который по своему обыкновению не сказал еще ни слова.

-- Признаюсь, -- подхватил Оттмар, -- я даже сомневаюсь, точно ли это Сильвестр! Он так громко расхваливал свою жизнь в деревне и до того ставил ее выше по сравнению с городской, что мне, право, кажется, не одна ли это Сильвестрова тень, которая того гляди разлетится дымом, как сигара.

-- Сохрани меня Господь! -- прервал Сильвестр, улыбаясь. -- Неужели ты думаешь, что я, порядочный человек, свяжусь с нечистой силой и стану пугать честных людей? Или я похож на Сведенборга? Но, отвечая на обвинение Теодора в молчании, я сообщу вам, что берегу сегодня свой голос нарочно, для того, чтоб прочесть довольно длинный рассказ, написанный мной во время моей жизни в деревне под впечатлением одной картины нашего милого Кольбе. А если Оттмар удивляется, что я, любя деревню, все-таки приехал теперь в город, то прошу его припомнить, что, несмотря на мое отвращение к городскому шуму и хлопотам, я как писатель и поэт все-таки нуждаюсь в них, чтобы освежить, а главное возбудить свое вдохновение. Рассказ мой не был бы вовсе написан, если бы я не увидел картины Кольбе и не уехал затем отдыхать и лениться в деревню.

-- Сильвестр прав, -- сказал Лотар, -- говоря, что ему как драматическому и романтическому писателю городские шум и пестрое

движение необходимы, чтобы вдохновиться, а деревенская тишина, чтобы осмыслить и написать задуманное. Обстановку виденной им картины мог он найти и в деревне, но живых, изображенных на ней лиц там не увидишь. Писатели с его характером не должны удаляться в уединение, а, напротив, жить в свете, в пестром свете, чтобы видеть и наблюдать все его бесчисленные движения.

-- Господа! -- крикнул вдруг Винцент. -- Помните, как Шекспиров Жак, встретив Амьена в лесу, восклицает: "Шут! Шут! Я встретил в лесу пестрого шута! О жалкий свет!". Так восклицаю и я -- поэт! поэт! я встретил поэта! В обеденный час он вышел, покачиваясь, из третьего кабака и, выпучив на солнце пьяные глаза, воскликнул вдохновенным голосом: "О тихая, кроткая луна! Как отрадно льешь ты свои светлые лучи в мою душу и на весь свет! О, прошу, прекрасное светило, освети мне путь туда, где я могу узнать жизнь и людей! О чудный напиток, согревающий сердце и фантазию! Да, я постиг человека, что потягивал вино в той комнате! Высокий, худощавый, в синем фраке с желтыми пуговицами; он носит английские сапоги и нюхает табак из черной лакированной табакерки. Он хорошо говорит по-немецки, а потому, несмотря на его сапоги и итальянскую колбасу, настоящий, природный немец, почему вполне годится для моего нового романа! Но... надо еще немножко заняться изучением людей и характеров! Да! Надо! Надо!" -- и с этими словами поэт мой исчез за дверями четвертого кабака.

-- Молчи ты, шут, что готов все выворотить наизнанку! -- воскликнул Лотар. -- Именно шут, потому что ты обратил в пародию все, что я говорил. Я хорошо понял, что ты хотел сказать твоим поэтом, ищущим познания людей в кабаках, и его человеком в синем фраке, а потому -- нечего тебе больше зубоскалить. Многие точно так же думают, что достаточно с кем-нибудь познакомиться или что-нибудь увидеть, чтобы сейчас же браться за перо, и затем великое произведение готово. Но не тут то было! Подметить, что у какого-нибудь старика коса съехала набок или что иная девчонка любит одеваться в цветные платья, еще ровно ничего не значит. Для того, чтобы постигнуть сущность предметов, надо вникать в них более глубоким, пронизательным взглядом, да и еще с одним взглядом также немного сделаешь. Дух поэта должен не только воспринять вереницу пестрых, вечно движущихся происшествий, но и переработать их в своем мозгу, откуда, как осадок или экстракт, образующийся при химических процессах, получатся наконец те живые, принадлежащие всему миру и жизни дивные образы, в которых мы без всякого намека на какие-нибудь отдельные личности узнаем живых и живущих среди нас людей. Приведу в пример Фальстафа и несравненного Санчо Пансо. Если Винцент заговорил о синем фраке, то значит, что личность, которую создал истинный поэт, должна быть непременно одета таким образом!

-- Совершенно так, -- прервал Оттмар, -- и за примерами ходить недалеко. Я уверен, что каждый из нас, будучи чем-нибудь особенно поражен, не мог себе потом и вообразить, что бы виденные им лица носили платье, шапку или шляпу каким-либо иным образом. Это странное, живущее в нас свойство поистине изумительно.

-- Но не потому ли это бывает, что мы так хотим? -- возразил Киприан.

-- Какое преступление! -- комически воскликнул на это Винцент, но был перебит Сильвестром, подтвердившим со свойственным ему увлечением, что все сказанное Лотаром совершенно согласно с его собственным на этот счет мнением.

-- Не забудьте, кроме того, -- прибавил он, -- что независимо от желания вас видеть, я был лишен в деревне еще одного величайшего и необходимого для меня наслаждения, именно музыки. Настоящее исполнение больших произведений с пением в деревне немыслимо. А здесь я еще сегодня слышал и вполне постиг мессу Бетховена, исполненную в католической церкви.

-- Я не удивляюсь твоему восхищению только потому, -- возразил Киприан недовольным тоном, -- что ты давно не слышал хорошей музыки, а потому слушал эту вещь, как говорится, на голодные зубы. Конечно, Бетховен написал гениальную по музыке вещь, но только никак не мессу. Где в ней, скажите, строгий церковный стиль, так поражающий в старинных композиторах?

-- Ну, я так и знал! -- прервал Теодор. -- Ведь Киприан признает только старинных маэстро, и для него черная нота в церковной партитуре -- настоящее пугало. Всякое нововведение в этом роде преследует он даже до несправедливости.

-- Однако, -- заметил Лотар, -- я скажу, что в бетховенской мессе многое мне самому показалось слишком торжественным и отзывающимся более земным характером. Очень бы хотелось мне уяснить, почему одни и те же части мессы часто разрабатываются различными композиторами в совершенно различных характерах, несколько не похожих один на другой.

-- Вот вопрос, -- воскликнул Сильвестр, -- который и мне часто приходил в голову. Возьмите, например, *Benedictus est qui venit in Nomine Domini**. Спокойный, благочестивый характер, кажется, звучит здесь в самих словах, а между тем, многие композиторы писали на этот текст совершенно различную музыку. И что еще страннее -- слушая различные выражения одной и той же мысли в творениях великих художников, мне никогда и в голову не приходило порицать то или другое произведение. Не объяснит ли нам это наш присяжный музыкус Теодор?

* *Благословен приходящий во имя господне (лат.).*

-- С удовольствием, -- отвечал Теодор, -- но предупреждаю вас, что должен сначала сделать довольно большое и притом порядочно сухое отступление, которое, может быть, не совсем вам понравится в сравнении с шутливо веселым характером, который приняла наша сегодняшняя беседа.

-- Мешать серьезное с шуткой совершенно в духе серапионовского устава, -- заметил Оттмар, -- потому начинай смело, тем более, что предмет этот равно интересует нас всех, исключая Винцента, который в музыке не смыслит ровно ничего, почему я и обращаюсь к нему как к новобранцу с покорнейшей просьбой проглотить, не выпуская на свет, новую глупость, которая, я уже вижу, висит у него на губах, и не прерывать нашего оратора.

-- О Серапион, Серапион! -- с серьезно-комическим видом пробормотал Винцент, между тем как Теодор начал обещанное разъяснение.

-- Молитва и религиозное размышление рождаются из глубины нашего духа, вследствие того настроения, в котором он находится в данную минуту, смотря по тому, страдают ли наше тело и душа или, наоборот, находятся под впечатлением счастья. В первом из этих случаев мы побуждаемся к самоуничтожению и падению в прах, с мольбой о прощении грехов пред Творцом неба и земли, а во втором, напротив, обращаемся к нему со словами благодарности и детского доверия, предшественника райского блаженства. Текст мессы заключает в сжатом виде только изложение этих чувств, путеводную нить, с помощью которой мы можем дать исход тому или другому душевному настроению. В *Kyrie* призывается милосердие Божие; *Gloria* восхваляет Его всемогущество и величие; *Credo* говорит о твердой вере, которая должна жить в нашей душе; между тем как *Sanctus* и *Benedictus*, говоря о Божьей святости и величии, обещают спасение верующим. В *Agnus* и *Dona* умоляем мы послать посредника, который даровал бы мир и покой истинно верующей душе. Но уже одна эта общность смысла, выраженного в тексте, дает возможность каждому развивать его по-своему в словах своей молитвы, а следовательно, и в музыкальном изображении. Вот причина, почему является такое разнообразие в характере музыкальных переложений *Kyrie*, *Gloria* и т.д. Сравните, например, оба *Kyrie* в мессах C-dur и D-moll Иосифа Гайдна или оба его *Benedictus*. Но из сказанного следует также и то, что, если композитор, вдохновленный тем или другим душевным настроением, принялся за сочинение мессы, то должен строго выдержать это настроение с начала до конца. Оно должно господствовать и в *Miserere*, и в *Gloria*, и в *Qui tollis*, отнюдь не допуская чередования плача и вопля отчаянной души с ее же криком торжества и духовной радости. Все попытки к сочинению таких

смесей, к несчастью, очень часто повторяющиеся в последнее время, величайшая ошибка заблудшего таланта, я презираю их не менее, чем Киприан, но зато с истинным благоговением отношусь к прекрасным произведениям церковной музыки Михаила, Иосифа Гайдна, Гассе, Наумана и многих других, преимущественно старинных итальянских маэстро: Лео, Дуранте, Беневолли, Перли и прочих, умевших, не выходя из границ высокой простоты, до высочайшей степени возбуждать и трогать благочестивый дух, что, к сожалению, не удастся ни одному из новейших композиторов. Несомненно и то, что строгий, старинный церковный стиль, при котором звуки не так быстро чередуются одни с другими, что напоминает чуждую церкви светскую суету и хлопотливость, предпочтителен уже потому, что медленно несущиеся тона несравненно торжественнее раздаются под высокими сводами церкви, тогда как быстрое их чередование делает всю музыку неясной и непонятной. Вот почему так глубоко действует на душу исполняемый в церкви хорал.

Я совершенно согласен с Киприаном, что старинные произведения церковной музыки предпочтительней перед современными уже по одной их простоте и строго выдержанной святости стиля, но вместе с тем полагаю, что при современном развитии музыки, в особенности относительно богатства и разнообразия инструментов, представляется полная возможность употребить их для церковной музыки истинно достойным образом, без впадения в грубый мишурный блеск. Смелое сравнение, что старинная церковная музыка напоминает собор святого Петра, а новейшая -- Страсбургский собор, имеет значительную долю правды. Величественная пропорциональность размеров первого успокаивает душу, тогда как при посещении второго ею невольно овладевает чувство какого-то беспокойства при виде этих смелых извилин, переходов из одной линии в другую и несущихся вверх стрельчатых сводов. Но это же самое беспокойство способствует возбуждению в душе предчувствия чего-то неземного, заставляя дух признать небеса и уверовать в бесконечное. Совершенно таково впечатление чисто романтического начала в музыке Моцарта и Гайдна. Отсюда становится понятным, почему современным композиторам трудно написать что-нибудь духовное, в строгом стиле старых итальянских маэстро. Я вовсе не хочу этим сказать, что новейшим музыкантам недостает горячей, истинной веры, укреплявшей и вдохновлявшей старинных к созданию истинно святых звуков, но у них нет того самоотречения и той гениальности. В чем как не в простоте более всего выражается гений! Но кто в то же время откажется щегольнуть всеми сторонами своего таланта и удовольствуется похвалой одного ценителя, хотя бы этот ценитель и обладал истинным пониманием искусства?

Овладевшее всеми стремление щеголять эффектами, какого бы они не были происхождения, привело к тому, что стиль, в строгом смысле этого слова, в настоящее время исчез в музыке почти совсем. Мы то и дело встречаем в комической опере торжественные, строгие мотивы, в опере серьезной легкие песенки, а в церковной музыке мессы и оратории, написанные по оперной выкройке. Но надо прибавить, что настоящий гений сумеет даже при этом фигурном направлении остаться на высоте предмета и создаст, при искусной инструментовке, настоящую, достойную церкви музыку. Так Моцарт, оставшийся щеголем в своих двух мессах в C-dur, блистательно разрешил эту задачу в Реквиеме. Вот настоящая романтическая и вместе с тем святая музыка, вылившаяся из души истинного художника! Я уже не распространяюсь о Гайдне, который умел так прекрасно выразить святое и высокое в своих духовных сочинениях, что некоторые ничтожные погрешности можно ему простить вполне. Когда я узнал, что Бетховен сочинил мессу, то, не слышав еще ни одной ноты, готов был держать пари, что она будет написана в стиле старика Гайдна, но, однако, глубоко ошибся тем, что не угадал, в каком настроении духа застал его текст. Гений Бетховена способен более всего выражать величественное и наводящее страх, потому я вполне естественно думал, что мысль о неземном заставит зазвучать в нем именно эту струну, но вместо того оказалось, что вся его месса пропитана чувством детской любви к Богу и полной к нему преданности как к отцу, любящему и желающему добра своим детям. А затем, что касается до выполнения и разумного употребления инструментов, то, отложив в сторону разбор общего направления и характера всего произведения, а также того, подходит оно или нет к церковному стилю, должно сознаться, что месса эта вполне великое произведение, достойное своего творца.

-- А вот это-то направление, которое ты отложил в сторону, -- прервал Киприан, -- по-моему, извращено в этой мессе совсем и даже оскверняет истинно высокое и святое. Позволь мне высказать мое мнение о церковной музыке, и тогда ты увидишь, что я себе не противоречу. Ты, конечно, согласишься, что ни одно искусство не может быть ближе и родственнее духу, чем музыка и ни одно не нуждается для своего выражения в более эфирном и духовном средстве. Стремление к высокому и святому, желание выразить видимым образом могущество духа, согревающего и оживотворяющего всю вселенную, -- вот задача музыки, и задача эта всего лучше выполняется в форме благодарственного гимна Творцу как лучшего и высочайшего проявления наших чувств. Потому уже по самому существу своему музыка прежде всего должна быть орудием религии, святым средством в руках церкви. Но, проникая все дальше и могущественнее в жизнь, она мало-помалу рассыпает свои сокровища

повсюду, и тогда даже обыденные отношения жизни, украшаясь ее блеском и силой, становятся лучше и живее, заставляя нас радоваться детской радостью там, где ее прежде не было. Но обыденное, пропитываясь могуществом музыки, должно поневоле подняться от земли, чтобы встретить этого небесного гостя, и вот почему музыка не могла существовать в древнем мире, крепко прикованном к земле узами чувственности, а, наоборот, принадлежит всецело новому времени. Пластика и музыка -- вот два противоположных полюса искусства, в которых оно выразилось в язычестве и христианстве. Христианство разбило пластику и воздвигло на ее развалинах музыку вместе с ее сестрой живописью; но как старинные живописцы пренебрегали перспективой и колоритом, так точно прежние композиторы не хотели знать ни мелодии, ни гармонии, понимая мелодию в высшем значении этого слова как простой музыкальный рисунок, не имеющий никакого отношения к словам. Но не этот недостаток, обличающий только низшую степень, на которой стояли музыка и живопись, был причиной, что оба эти искусства не могли пустить на бесплодной для них почве древнего мира тех ростков, которые так роскошно разрослись и принесли такие чудесные плоды в мире христианском. Музыка и живопись только видимо занимали место в древнем мире. Они были подавлены, задушены пластикой или, лучше сказать, не могли развиваться в среде, где она властвовала безгранично. Они даже не заслуживали имени искусств в том виде, в каком существовали тогда, ступаясь перед пластикой точно также, как она, в свою очередь, ступалась перед ними, покинув прекрасное тело в мире христианском. Но даже древний мир, в той слабой степени, в которой он допускал существование музыки, получившей полное развитие только в мире христианском, понимал, что истинное её место -- религия, и употреблял музыку при своих религиозных торжествах. Древние драмы, выражавшие по большей части радости или страдания богов, пропитаны вполне религиозным характером и сопровождались, при своем исполнении, инструментальной музыкой, аккомпанировавшей декламации. Это уже одно доказывает, что музыка древних была чисто ритмической и не заключала в себе ни мелодии, ни гармонии, этих двух краеугольных камней музыки современной. Если Амброзиус и позднее Григорий, в пятисот девяносто первом году, положили в основание христианских гимнов дошедшие до них гимны древних и если следы этого, чисто ритмического пения, мы встречаем в так называемом *Canto Fermo* и в антифонах, то это значит только, что названные лица употребили в пользу начатки искусства, имеющего в настоящее время интерес только для завязанных антиквариев.

Настоящая христианская музыка, со всей ее вдохновенной глубиной, должна считать своим началом то время, когда религия достигла своего

апогея в Италии и когда великие маэстро, вдохновленные величием предмета, умели изобразить тайну богопочитания в дивных, неслыханных дотоле звуках. Достоин замечания, что вскоре после того, как Гвидо Арещо положил основание строгому изучению музыки как науки, она сделалась для схоластиков предметом сухой математической теории и начала терять свое высокое звучание. Дивные небесные звуки облеклись в земную плоть. Средство сковать звуки с помощью нотных иероглифов было найдено, и, к сожалению, следствием вышло то, что средство чуть было не убило цель. Изображению стали отдавать преимущество перед изображаемым. Музыкальные кропотуны зарылись в отыскивание вычурных гармонических тонкостей, и высокому искусству угрожала опасность сделаться почти ремеслом. Направление это дошло, наконец, до того, что религия, можно сказать, была осквернена тем, что ей навязывали под именем музыки, а между тем дух чувствовал, что музыка высший и единственный для религии язык. Возник раздор, кончившийся, к счастью, как и всегда, торжеством вечной истины над ложью Папа Марцелл, хотевший было уже совсем изгнать музыку из церквей, лишив таким образом религию ее лучшего украшения, был с нею примирен великим Палестриной, открывшим перед его глазами её истинное значение. С тех пор музыка стала могущественнейшим орудием католической церкви, и с того же времени истинное её понимание, вселившись в благочестивую душу композиторов, породило их вдохновенные, излившиеся прямо из сердца бессмертные гимны. Ты, Теодор, конечно, знаешь, что шестиголосная месса, сочиненная Палестриной, если не ошибаюсь, в 1555 году, именно с той целью, чтобы помирить с музыкой раздраженного папу, носит даже название *Missa Papae Marcelli**.

* *Месса папы Марцелла (итал.)*.

С Палестриной наступил золотой век церковной музыки, а следовательно, и музыки вообще, постоянно развивавшейся после него, в богатстве и благочестивой глубине, в течение целых двухсот лет, хотя надо признаться, что уже в первом же столетии стремление композиторов к созданию чего-либо нового и оригинального значительно повлияло на первобытную простоту. Что за великий художник был Палестрина! Без всяких украшений, без всякой мелодии чередуется в его сочинениях ряд чудных, согласных аккордов, увлекающих своей силой и смелостью душу до высочайшей степени. Христианская любовь и согласие всего живущего в мире вполне выражаются в аккорде, который потому и явился впервые только в христианской музыке. Аккорд -- это изображение гармонии и духовного общения с Творцом, с идеалом, царящим над нами, и в то же

время заключенным в нас. Потому чистой, святой, церковной музыкой может быть только та, которая прямо вытекает из глубины души, без малейшей примеси каких-либо земных помыслов. Таковы именно дивные по своей простоте произведения Палестрины. Зачатые в глубине бесконечно любящей души, они легко, но с неотразимой мощью изображают небесное. К его музыке может быть применено выражение: *musica del'altro mondo** -- слова, которыми итальянцы определяли произведения другого, гораздо более слабого, в сравнении с ним, композитора. Простое чередование тройственных аккордов кажется для нашего испорченного вкуса уже до того ничтожным, что многие, чья душа закрыта для понимания истинной святости, видят в нем только ряд технических этюдов. Но, отложив даже в сторону истинный взгляд на церковную музыку и вспомнив одну только практическую сторону дела, неизбежно придешь к заключению, высказанному уже Теодором, а именно, что всякие украшения и вставные ноты, наполняя пространство под церковным сводом, производят только сплошной гул, убивающий силу пения. А в музыке Палестрины каждый аккорд доходит во всей полноте до ушей слушателя, и никогда никакие искусственные модуляции не произведут такого впечатления, как эти могущественные, точно лучи, стремящиеся аккорды. Палестрина, в одно и то же время, прост, истинен, могуществен, детски благочестив и вполне христианин. В живописи с ним могут быть сравнены Пьетро Кортоне и наш Альбрехт Дюрер. Его труды были в то же время религиозным подвижничеством. При этом надо сказать, что я не забываю и других великих художников, каковы Кальдара, Барнабеи, Скарлатти, Марчелло, Лотти, Порпора, Бернардо, Лео, Валотти и других, отличившихся также простотой и силой своих произведений. Невольно приходит мне на память семиголосная месса а капелла Алессандро Скарлатти, исполненная однажды, под управлением Теодора, его учениками и ученицами. Месса эта истинно гениальное произведение, несмотря на то, что, будучи написана в 1705 году, она уже несколько подпала под влияние распространявшегося стремления к мелодичности.

* *Неземная музыка (итал.).*

-- Что же, -- заметил Теодор, -- ты не говоришь ничего о могущественном Генделе, о неподражаемом Гассе и глубочайшем Себастьяне Бахе?

-- О! -- возразил Киприан. -- Их, конечно, я причисляю также к святой плеяде композиторов, почерпавших в глубине веры и любви ту силу, которая дала им возможность вступить в союз с высоким и создать произведения, отрешенные от всего земного и проникнутые духом одной святой религии. Сочинения их до того запечатлены духом

истины, что в них не найдешь и следа той мирской суеты, оскверняющей дары неба и выражающейся в музыке всеми этими неестественными модуляциями, фигурами, изнеженными мелодиями и пустой инструментальной шумихой, бьющими на то, чтобы оглушить и поразить слушателя, в надежде, что таким образом он не заметит скрытой за ними пустоты. Заслуга этих композиторов должна считаться тем более высокой, что они жили и писали уже в позднейшее, испорченное время, когда истинная религия исчезла с лица земли, и тем не менее остались верны своему святому призванию. Здесь следует упомянуть также имя Фаша, принадлежавшего к прежнему времени, и чьи превосходные произведения так несправедливо остались незамеченными после его смерти. Его шестнадцатиголосная обедня не могла быть издана по недостатку средств. В заключение я замечу, что ты, Теодор, совершенно несправедливо называешь меня врагом новой музыки. Гайдна, Моцарта и Бетховена я считаю гениальнейшими творцами той музыки, которой первые зачатки появились еще в половине восемнадцатого века. Если поверхностность и непонимание толпы доходят до того, что ей можно безнаказанно подсовывать фальшивую монету за золото, то это не уменьшает заслуги великих художников, в которых дух проявил свои истинные дары. Конечно, при том развитии, которое нынче получила инструментальная музыка, оттесняющая чистое церковное пение все более и более на задний план, чему, впрочем, способствуют и некоторые другие побочные обстоятельства (как, например, уничтожение монастырей), нет уже возможности думать о возвращении к стилю Палестрины, однако, в какой степени сумеет новая музыка выполнить и разрешить задачу музыки церковной -- это еще вопрос. Но! -- мировой дух идет все вперед, и то, что прошло, никогда не восстанет, зато будет всегда сиять истина, а ее таинственной связью соединятся настоящее с прошедшим и будущим. Дух старых композиторов еще живет в их произведениях; их звуки еще раздаются, но не одобрили бы они, уверен я, многие из наших диких современных порывов, грозящих погубить столько хорошего. Пожелаем же, чтобы скорее настало исполнение наших надежд! Чтобы мир, радость и благочестие, воцарясь в жизни, оперили и серафимские крылья музыки; чтобы она опять воспарила к своему отечеству, к тому иному миру, из которого изливаются радость и утешение в мятежную грудь человека!

Слова эти Киприан произнес с таким глубоким видом чувства, что в истине их не было возможности сомневаться. Друзья, глубоко пораженные его речью, сидели молча. Наконец, первым заговорил Сильвестр:

-- Хотя я и не музыкус, как вы, Теодор с Киприном, но все, что вы говорили о бетховенской мессе и церковной музыке вообще, было так

ясно, что я понял решительно все. Однако к замечанию Киприана, что в настоящее время почти нет композиторов исключительно церковной музыки, я скажу, что вряд ли найдется и поэт, который взялся бы сочинить церковно-музыкальный текст.

-- Совершенная правда, -- отвечал Теодор, -- и немецкий текст бетховенской мессы доказывает это лучше всего. В мессе, как известно, три главные составные части: Kyrie, Credo и Sanctus. Между первым и вторым вставляется Graduale (обыкновенно в виде симфонии), а между вторым и третьим Offertorium (по большей части ария). Для введения этой прекрасной музыки в протестантскую церковь, а также для исполнения ее в концертах целое было тоже разделено на три части. Что же касается до слов, то они, и по смыслу, и по значению, конечно, должны были соответствовать целому и, при всей силе и сжатости, оставаться близкими к библейскому тексту, насколько это было возможно. Гендель, как известно, прекрасно ответил одному епископу, предлагавшему написать текст для его мессы: "Я согласен, если ваше преосвященство напишете текст лучше того, который я найду в Библии". Вот лучшее выражение того, что требуется для текста церковной музыки. А что вышло в бетховенской мессе из простых слов: Kyrie eleison, Christe eleison! Вот слова мессы:

*В пылу возносим мы мольбы
К тебе, вечному Творцу мира!
К Тебе Всемогущему!
Кто может понять Тебя и назвать?
Бесконечный! Неизмеримый!
Невыразимо Твое могущество!
И мы только, как дети, лепечем
Великое имя: Бог!*

-- Как, в самом деле, -- воскликнул Сильвестр, -- слова эти напыщены, пусты и в то же время многоречивы! Мне самому всегда казалась недостижимой простота старинных латинских гимнов, и даже переводы лучших поэтов не могли меня удовлетворить. Самые удачные и те звучат как-то странно, например, ave maris stella, неужели хорошо -- "привет тебе, звезда морей"?

-- Потому, -- возразил Теодор, -- если бы я решился писать церковную музыку, то непременно на старинный текст.

-- Да полноте же, наконец, господа! -- воскликнул Винцент, вскочив со стула. -- Объявляю вам, что я, как разгневанный папа Марцелл второй, изгоняю разговор о музыке из братства святого Серапиона. Вы оба, и Теодор и Киприан, говорили хорошо, но пора оставить этот предмет и возвратиться к старому уставу, который я как новичок уважаю и оберегаю с особенным рвением.

-- Винцент прав, -- сказал Лотар, -- для нас, профанов в музыке, разговор этот не мог иметь большого интереса, а потому пора его прервать. Пускай лучше Сильвестр примется за чтение обещанного рассказа.

Друзья одобрили мнение Лотара, и Сильвестр, не раздумывая долго, начал так:

МЕЙСТЕР МАРТИН-БОЧАР

И ЕГО ПОДМАСТЕРЬЯ

Не правда ли, любезный читатель, ты с чувством особенного удовольствия и умиления бродишь по улицам тех немецких городов, где дома и памятники старинного немецкого искусства, красноречиво свидетельствуя о трудолюбии и благочестивой жизни наших предков, заставляют выступать перед тобой в живом виде картины прекрасного прошлого? Не похоже ли это чувство на то, которое овладевает нами, когда мы посещаем только что покинутый жильцами дом? На столе еще лежит открытая священная книга, которую читал отец семейства; искусная пестрая ткань, работа хозяйки, висит на стене. Дорогие разной работы вещи, подарки, полученные в торжественные дни, чинно расставлены в шкафах. Так и кажется, что вот, вот сейчас войдет и гостеприимно встретит тебя кто-нибудь из членов семейства. Но напрасно будешь ты искать того, что уже унесено колесом вечно вращающегося времени, и только в мечтах, навеянных памятниками, что с такой силой и благочестием создали старинные мастера, можешь ты воскресить прошлое, одна память о котором в состоянии возбудить и тронуть до самой глубины души!

Рассматривая эти памятники, ты как будто сам переселяешься в то время и начинаешь понимать как его, так и художников, которые могли родиться под его влиянием. Но увы! Едва хочешь ты заключить в объятия эти видения прошлого, они ускользают, как ночная тень перед светом дня, и ты, со слезами на глазах, остаешься с настоящим, охватывающим тебя сильнее прежнего! Точно пробужденный от сладкого сна, увлекаешься ты потоком обыденной жизни, сохранив одно томительное стремление, наполняющее священным трепетом душу и сердце!

Точно такое чувство постоянно испытывал пишуший эти строки, когда ему приходилось посещать старинный, славный город Нюрнберг! Любуясь то чудесным фонтаном на рыночной площади, то гробницей св. Зебальда или дарохранительницей в церкви св. Лаврентия, то созерцая в старом замке и в ратуше исполненные мастерства и глубины

произведения Альбрехта Дюрера, невольно предавался он сладким мечтам, переносившим его в былую жизнь славного имперского города, и поминутно приходили ему в голову простодушные стихи патера Розенблюма:

*О, Нюрнберг, родной уголок!
Удел твоей славы высок!
Мудрость в тебе родилась
И правда на свет излилась!*

Ярко вставала перед глазами картина самобытной жизни горожан, когда ремесло и искусство жили тесно рука об руку, в благородном соревновании, и светло и ясно становилось на душе при виде всего этого. Потому, надеюсь, ты, благосклонный читатель, не посетуешь, если тебе будет представлена одна из таких картин былого. Быть может и ты с удовольствием и светлой улыбкой посетишь дом мастера Мартина и не соскучишься, проведя несколько часов, окруженный его бочками и бадьями! Если так, то автор этих строк будет сердечно вознагражден за предпринятый им труд.

КАК МЕЙСТЕР МАРТИН БЫЛ ВЫБРАН ЦЕХОВЫМ СТАРШИНОЙ И КАК БЛАГОДАРИЛ ЗА ТО СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Первого мая тысяча пятьсот восьмидесятого года праздновал по старинному обычаю почтенный цех бочаров имперского города Нюрнберга свое торжественное собрание. Незадолго до этого времени умер один из цеховых старшин, и потому предстояло выбрать нового. Выбор пал на мастера Мартина. И действительно, едва ли кто-нибудь мог сравниться с ним в искусстве постройки бочек. Никто не разумел лучше его винного хозяйства в погребах, вследствие чего мастер Мартин был поставщиком знатнейших господ и вообще жил в добром довольстве и общем почете. Потому, когда произошло избрание мастера Мартина, почтенный ратман Якоб Паумгартнер, присутствовавший на празднике как староста ремесленников, сказал:

-- Хорошо вы сделали, добрые друзья, избрав своим представителем мастера Мартина! Никто лучше его не может выполнить этой обязанности. Мастера Мартина уважают все, кто только его знает, за редкое искусство беречь и холить благородное вино. А его трудолюбие и благочестивая жизнь, несмотря на его богатство, может служить

примером вам всем. Да здравствует же на много, много лет наш почтенный представитель мейстер Мартин!

С этими словами Паумгартнер встал и выступил несколько шагов вперед, с протянутыми руками, ожидая, что мейстер Мартин пойдет к нему навстречу. Но тот, опершись обеими руками на ручки кресла, медленно встал, как то позволяла его довольно почтенная толщина, и, лениво подавшись вперед, дал себя обнять Паумгартнеру, почти не ответив на его объятие.

-- Что же, мейстер Мартин? -- молвил тот, несколько озадаченный. -- Или вы недовольны оказанной вам честью?

Мейстер Мартин откинул голову назад, как он имел привычку всегда делать, сложил пальцы на толстом животе, обвел свысока окружающих глазами и, закусив нижнюю губу, сказал:

-- Почему же, почтенный староста, думаете вы, что я недоволен? Разве бывает недовольным тот, кто получает плату за труды? Или разве станет кто-нибудь гнать с порога должника, когда тот принес старый, просроченный долг?

-- А вы все, -- продолжал он, обращаясь к окружающим, -- вы, наконец, догадались, что представителем нашего почтенного цеха могу и должен быть только я? Скажите, чего вы требуете от представителя? Искусства в ремесле? Ступайте же и посмотрите на мою двойную бочку, лучшее мое произведение, и затем подумайте, сделает ли кто-нибудь из вас такую по чистоте и отделке? Хотите вы, чтоб представитель ваш был богат и тароват -- приходите ко мне в дом: я отворю вам мои сундуки, и у вас разбегутся глаза, глядя на золото и серебро. Нужно вам, чтоб представителя всякий уважал и чествовал? Спросите наших почтенных ратманов, князей и баронов, живущих кругом нашего доброго города Нюрнберга; спросите, наконец, самого достохвального епископа Бамберского и послушайте, что они вам скажут о мейстере Мартине! Надеюсь, не услышите ничего дурного!

С этими словами мейстер Мартин самодовольно похлопал себя по животу и затем, зажмурив уже совершенно глаза от счастья, продолжал, среди воцарившейся тишины, прерываемой, впрочем, то там, то здесь не совсем довольными возгласами.

-- Ну, так если я принимаю плату за труды, если беру долг с просрочившего должника, так отчего же не подписаться мне и под этим счетом -- "получил с благодарностью Томас Мартин бочарный мастер". Будьте же довольны и вы, что, избрав меня старшиной, вы расквитались со старым долгом. А я, со своей стороны, обещаю вам честно и справедливо исполнять свою обязанность. Каждый из вас смело приходи ко мне за советом и помощью. Я сам порадею, чтоб с честью поддержать наше доброе ремесло, а теперь покорно прошу вас, почтенный староста, а равно и вас, достойные товарищи, пожаловать ко мне на веселый обед в будущее воскресенье. Там, за добрым

стаканом гохгеймера, иоханнисбергера или, словом всего, что найдется в моем погребѣ, потолкуем мы о том, что предпринять для нашего общаго добра. Повторяю же мое приглашение!

Лица почтенных мастеров, заметно нахмурившіеся во время первой половины не совсем учтивой речи мейстера Мартина, прояснились при еѣ заключеніи, и дружное рукоплескание сменило угрюмую тишину. Заслуги мейстера Мартина выплыли наружу и были обсуждены по достоинству, равно как и его погреб. Все непременно обещали прийти в воскресенье и наперерыв стремились пожать руку новоизбранному старшине. А он от души отвечал каждому, некоторых же из наиболее уважаемых мастеров удостоил даже любезно прижать к своему животу, как бы в виде объятія. Вообще все расстались веселые и довольные.

О ТОМ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ДАЛЕЕ В ДОМЕ

МЕЙСТЕРА МАРТИНА

Путь к дому ратмана Якоба Паумгартнера проходил как раз мимо жилища мейстера Мартина. Потому оба отправились вместе, когда же поровнялись с дверями мейстера Мартина, последний снял с головы шапочку и, поклонясь так низко, как только мог, сказал:

-- Не во гнѣве будь сказано вашей милости, если вам угодно будет зайти на часок в мой домишко, то великую радость окажете вы мне, дозволив послушать ваших умных речей.

-- С удовольствіем, мейстер Мартин, -- возразил улыбаясь Паумгартнер, -- но почему же вы так унизительно называете ваш дом домишком? Я знаю хорошо, что по отделке и богатому хозяйству он не уступит дому ни одного из наших граждан. Ведь вы только что отстроили его снаружи, а по внутренней отделке он, я знаю, и прежде не пристыдил бы любого дворянина.

Старый Паумгартнер был прав. Посетитель, перед которым отворялась блестящая, натертая воском и украшенная медными чеканными изображениями дверь жилища мейстера Мартина, встречал за нею устланные мягкими коврами полы, увешанные прекрасными картинами стены, уставленные богатой мебелью комнаты, точно в какой-либо для особеннаго торжества убранной зале, так что, при виде всего этого, каждый подчинялся правилу, написанному на повешенной, по старому обычаю, в комнате доске и гласившему так:

*Кто хочет сюда войти,
Надень чистые башмаки,
Или отряхни их от пыли,*

*Чтоб хозяева тебя не бранили,
А как себя дальше держать,
Разумный сам должен понять.*

День был жаркий, и воздух в комнатах стал, с наступлением сумерек, удушлив и зноен. Потому мейстер Мартин повел своего гостя в просторную и прохладную хозяйскую. Так называлась в домах богатых горожан комната, отделявшаяся наподобие кухни, в которой кушанье, однако, не готовилось, а уставлялась она только для виду всевозможной дорогой и искусно сделанной хозяйственной утварью. Войдя туда, мейстер Мартин громко крикнул:

-- Роза! Роза!

Дверь тотчас же отворилась, и единственная дочь мейстера Мартина, Роза, вошла в комнату.

Если ты, любезный читатель, в состоянии воспроизвести мысленно лучшие произведения нашего великого Альбрехта Дюрера; если ты можешь вообразить его девушек в том живом, кротком и скромном виде, как они изображены на его картинах, то представь себе стройную, прекрасно сложенную, высокую женскую фигуру; вообрази лилейно-белый лоб, чудесные, покрытые ярким, как розовые листочки, румянцем щеки; красные, как спелые вишни, губы; скромно потупленные глаза, прикрытые длинными ресницами, которые приглушают их блеск, как листья деревьев лучи месяца; роскошные, лоснящиеся, как шелк, заплетенные в толстые косы волосы; вообрази всю прелесть подобного существа -- и перед тобой будет портрет прекрасной Розы. Рассказчик же отказывается описывать тебе иначе красоту этого небесного создания. Но, впрочем, я помогу тебе сделать еще сравнение, вспомнив произведение одного молодого талантливоего художника, вдохновленного созерцанием доброго старого времени, одним словом, немецкого художника Корнелиуса. "Я не знатна и не прекрасна!" -- эти слова Гетевой Маргариты подписаны под картиной Корнелиуса, и какой изображена им в эту минуту Маргарита, такой именно была Роза, когда с целомудренной робостью старалась иной раз выразить затаенную в сердце мысль.

Роза с детской застенчивостью присела перед Паумгартнером и, взяв его руку, прижала к своим губам. Щеки старика вспыхнули ярким румянцем, и, как лучи заходящего солнца золотят уже потемневшие листья деревьев, так сверкнули его глаза отблеском давно утраченной молодости.

-- Ну, мейстер Мартин, -- сказал он довольным и несколько взволнованным голосом, -- наградил вас Бог и добром, и богатством, но лучший его подарок -- бесспорно ваша дочка Роза. На что мы, старики, а и то, сидя в совете, встрепаемся и не можем отвести подслеповатых глаз, когда она проходит мимо. Чего же мудреного, если все наши

молодые люди останавливаются будто вкопанные и уподобляются каменным изваяниям, когда встретят ее на улице; они забывают молиться, глядя на нее в церкви, а в праздник на лугу только и бегают за ней со вздохами, страстными взглядами да любовными речами, на зависть всем прочим девушкам. Вот уже поистине, мейстер Мартин, вам не зачем даже бросать клич, чтобы добыть себе в зятя любого дворянина.

Мейстер Мартин угрюмо нахмурился на эту речь и приказал дочери принести бутылку хорошего старого вина; когда же она, вся раскрасневшись, вышла из комнаты, сказал Паумгартнеру:

-- Послушайте, почтенный староста! Хотя вы и правы, называя дочь мою красавицей и лучшим из всех даров, какими наградил меня Бог, но как же можно говорить об этом в присутствии девушки? А что до зятя из дворян, то это уже совершенный вздор.

-- Ну, ну, молчите, -- улыбаясь возразил Паумгартнер, -- вы знаете, что от избытка сердца уста глаголют, а ведь даже моя старая кровь разыгрывается, когда я гляжу на Розу, потому, если я что говорю от чистого сердца, то вы не должны сердиться.

Роза между тем принесла вино и два граненых стакана. Мейстер Мартин придвинул на середину комнаты тяжелый, украшенный резьбой стол. Но едва старики уселись и стаканы были наполнены вином, под окном раздался топот лошадиных копыт. Приехавший всадник соскочил с лошади, и громкий его голос раздался в передней. Роза побежала навстречу и возвратилась с известием, что приехал барон Генрих Шпангенберг и желает говорить с мейстером Марином.

-- Вот так счастливый вечер, -- воскликнул мейстер Мартин, -- раз ко мне пожаловал мой старинный заказчик! Верно хочет что-нибудь заказать, и мне будет новая работа.

С этими словами он встал и поспешил навстречу приезжему гостю.

КАК ВЫСОКО МЕЙСТЕР МАРТИН ЦЕНИЛ СВОЕ РЕМЕСЛО ПЕРЕД ВСЕМИ ДРУГИМИ

Заискрившийся в граненых стаканах гохгеймер скоро развязал трем старикам языки и сердца. Старый Шпангенберг, сохранивший, несмотря на свои годы, весь пыл молодости, начал рассказывать разные веселые истории, так что у мейстера Мартина порядком тряслось брюхо от чрезмерного смеха и он несколько раз отирал выступавшие на глазах слезы. Сам Паумгартнер забыл свое степенное звание старосты, наслушавшись историй и отведав благородного вина. Когда же Роза возвратилась с опрятной корзинкой на руке, вынула

чистую белоснежную скатерть и салфетки, проворно накрыла с хозяйской ловкостью стол, устала его разными вкусными блюдами и с милой улыбкой пожелала хорошего аппетита гостям, прося снисходительно не осудить ее поспешной стряпни, то, глядя на нее, у всех даже язык не повернулся что-нибудь ответить, и самые шутки и смех прекратились. Оба, и Паумгартнер и Шпангенберг, не могли отвести глаз от очаровательной девушки, и даже сам мейстер Мартин, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на животе, с видимым удовольствием смотрел на хлопоты своей дочери. Накрыв стол, Роза хотела удалиться, но тут Шпангенберг не вытерпел, вскочил с проворством юноши из-за стола, схватил Розу за плечи и, воскликнув со светлыми слезами на глазах: "Ах ты, милая, милая девочка!" -- поцеловал ее несколько раз в лоб и затем, точно над чем-то задумавшись, возвратился на свое место. Паумгартнер, со стаканом в руке, провозгласил здоровье Розы.

-- Да, мейстер Мартин, -- заговорил Шпангенберг, когда Роза удалилась, -- послал вам Бог в вашей дочке сокровище, которое сумеете ли вы только оценить? Большие можете вы приобрести через нее себе почести, потому что, я уверен, нет человека, который не пожелал бы быть вашим зятем, к какому бы состоянию ни принадлежал!

-- Ну, вот видите, мейстер Мартин, -- подхватил Паумгартнер, -- почтенный барон говорит то же, что и я! И мне кажется, я уже вижу вашу Розу невестой благородного дворянина, с богатыми жемчугами в ее прекрасных волосах.

-- Почтенные господа! -- отвечал мейстер Мартин с неудовольствием. -- Что вам за охота говорить о деле, о котором я сам еще не начинал думать? Розе едва восемнадцатый год, и в эти лета рано еще думать о женихах. А что будет в будущем, предоставляю я решать Господней воле! Знаю только то, что дочь моя не достанется ни дворянину, ни рыцарю, а просто подмастерью из бочаров, который лучше всех отличится в своем искусстве; само собой разумеется, если только человек этот не будет ей противен, потому что принуждать мое дорогое дитя к чему бы то ни было, а тем более к насильственному браку, я ни в каком случае не буду.

Паумгартнер и Шпангенберг с удивлением посмотрели друг на друга, услышав такое решение старика. Наконец, чуть покашляв, Шпангенберг сказал:

-- Так значит дочь ваша никак не выйдет из вашего сословия?

-- Ни за что на свете! -- отвечал мейстер Мартин.

-- Но, однако, -- продолжал Шпангенберг, -- если найдется добрый, хороший подмастерье из другого цеха, например, из золотых дел мастеров или из живописцев, и если оба они с Розой полюбят друг друга, что тогда?

-- Покажи мне, скажу я этому подмастерью, -- отвечал мейстер Мартин, откинув назад голову, -- покажи мне образцовую, сделанную тобой, двойную бочку, и, если он не в состоянии будет это исполнить, то я учтиво покажу ему порог и попрошу постучаться в другую дверь.

-- Ну а если, -- продолжал Шпангенберг, -- подмастерье этот скажет: бочку сделать я вам не могу, но пойдемте на площадь, там увидите вы дом, смело поднимающий в воздух свою стройную верхушку, -- это мое произведение!

-- Ах, почтенный барон, -- перебил мейстер Мартин нетерпеливо, -- к чему вы только стараетесь меня переспорить? Я сказал, что зять мой будет бочар, как я, потому что мое ремесло считаю я самым благородным из всех, какие только есть на свете. Неужели вы думаете, что достаточно стянуть доски обручами для того, чтоб вышла бочка? Достаточно вспомнить хотя бы одно то, что наше искусство учит, как беречь и холить лучший Божий дар -- благородное вино, которое, перебродив как следует, потом греет нас и утешает! Разве это не похвально? А, наконец, само изготовление бочки! Не должны ли мы точнейшим образом все расчертить и вымерить для того, чтобы оно удалось? Нам надо знать и математику, и механику, потому что иначе нельзя правильно рассчитать размер и вместимость. Эх, милостивый господин, знаете ли вы, как сердце веселится у меня в груди, когда я начинаю собирать какую-нибудь хорошую бочку, когда уже все части хорошо выструганы и пригнаны и подмастерья, взмахнув колотушками, ударяют по клиньям -- тук-тук, тук-тук! Веселая музыка! А когда стоит готовая вещица, и я, с клеймом в руке, должен поставить, довольный и веселый, значок своего ремесла на дно бочки, зная, что его уважают и почитают все добрые погребщики! Вот эта радость, вот счастье! Вы говорили мне о зодчих! Конечно, хорошо построенный дом тоже прекрасная вещь. Но знаете что? Если бы я построил хороший дом, а потом, проходя мимо, увидел, что на балконе его стоит и смотрит на меня какой-нибудь пустой кутила, купивший его на бесчестные деньги, то мне стало бы стыдно и в душе невольно родилась бы охота разрушить мое собственное произведение. А с моими бочками мне никогда не придет в голову такая мысль: в них живет лучшее произведение земли -- благородное вино! Благослови же Бог мое славное ремесло!

-- Ваше похвальное слово, -- молвил Шпангенберг, -- вполне справедливо. Великая вам честь, что вы так высоко цените свое ремесло, но не будьте нетерпеливы и послушайте, что я скажу вам еще! Что если бы за дочь вашу действительно посватался благородный дворянин? Ведь вы знаете, что когда ожидаемый случай происходит на самом деле, то мы часто видим вещи в ином виде, чем прежде.

-- Ах! -- воскликнул мейстер Мартин уже с горячностью. -- Случись это, мне пришлось бы, как я уже говорил, учтиво поклониться и сказать: почтенный господин! если бы вы были бочаром и т.д.

-- Пойдите, пойдите, -- настаивал Шпангенберг, -- я говорю, что если бы в один прекрасный день стройный красавец рыцарь, в богатой одежде, с блестящей, многочисленной свитой, соскочил с коня у ворот вашего дома и попросил вашу дочь в супруги?

-- Желая я, чтобы это случилось! -- вскрикнул уже совершенно вспыхнувший мейстер Мартин. -- Увидели бы вы, какими затворами и болтами запер бы я свою дверь и как сказал бы незваному гостю: скачите дальше, господин рыцарь! Розы, как моя, цветут не для вас. Ведь вам нравятся мой погреб и золото, а дочку хотите вы взять в придачу! Скачите же дальше -- и скатертью вам дорога!

Старик Шпангенберг весь вспыхнул при этих словах и, встав со стула, оперся обеими руками на стол.

-- Ну! -- заговорил он немного помедлив. -- Еще один и последний вопрос! Если бы этот рыцарь был мой единственный сын? Если бы я, вместе с ним, вошел к вам в дом, то неужели бы вы и тогда заперли дверь и сочли нас искателями ваших денег и вина?

-- Никогда! -- отвечал мейстер Мартин. -- Я учтиво пригласил бы вас к себе, угостил бы всем лучшим, что только есть в моем доме, а что касается до моей Розы, то ответил бы так: "Если бы небу было угодно сделать вашего сына хорошим бочаром, то не было бы в мире человека, которого назвал я с таким удовольствием своим зятем, -- а теперь..." Однако, послушайте, любезный барон! К чему смущать и сердить меня такими речами? Посмотрите, как расстроился наш веселый разговор! Как стаканы стоят неопорожненными! Оставим же в покое и зятя, и свадьбу моей Розы, и выпьем за здоровье вашего рыцаря, который, как я слышал, красавец хоть куда!

С этими словами мейстер Мартин поднял свой стакан, Паумгартнер последовал его примеру.

-- Забудем же, -- воскликнул он -- неприятный разговор, и да здравствует ваш рыцарь!

Шпангенберг отвечал с принужденной улыбкой:

-- Вы, конечно, догадываетесь, что я пошутил и что разве только одна безумная любовь могла бы побудить моего сына позабыть свой сан и звание и искать союза с вашей дочерью, тогда как он может взять невесту из такого же благородного рода, к какому принадлежит сам. Но все-таки вы бы могли несколько поласковее ответить на мой вопрос.

-- И в шутку и серьезно, -- отвечал мейстер Мартин, -- ответил бы я одинаково, если бы даже и в самом деле случилось это сказочное приключение с вашим рыцарем. Я тоже горд и имею на то причины, потому что вы сами признаете, что я лучший бочар в этих краях и, сверх того, смыслю в искусстве обходиться с вином. Я строго

соблюдаю винный устав блаженной памяти императора Максимилиана; поступаю честно всегда и во всем и никогда не сожгу более одного лота серы, чтобы окурить внутренность моей двойной бочки, зная хорошо, что это может повредить вину. Впрочем, вы все это хорошо знаете сами, потому что пили мое вино.

Шпангенберг, заняв прежнее место, старался придать своему лицу более веселое выражение, а Паумгартнер заговорил о другом. Но как всегда бывает, что никакое искусство музыканта не может вызвать стройного аккорда из струн инструмента, один раз уже расстроенного, так и теперь никакой разговор не клеился между тремя стариками. Шпангенберг кликнул своих слуг и, недовольный, покинул дом мастера Мартина, куда пришел в совершенно противоположном состоянии духа.

ПРЕДСКАЗАНИЕ СТАРОЙ БАБУШКИ

Мейстер Мартин чувствовал, однако, сам, что был немного виноват перед своим старым заказчиком, покинувшим его дом с таким огорченным видом. Не желая, однако, в этом сознаться, он сказал, обращаясь к Паумгартнеру, который тоже собрался уходить:

-- Я, право, не знаю, что хотел сказать старый барон своей речью, а равно и то, почему он так рассердился.

-- Послушайте, мейстер Мартин! -- ответил Паумгартнер. -- Вы, я знаю, честный, благочестивый человек и бесспорно заслуживаете общего уважения за ваши труды и богатство, дарованное вам Богом, но для чего говорить об этом самому и притом уже совсем не с христианским смирением? Еще утром, в собрании цеха, вы совершенно неуместно поставили себя выше всех прочих мастеров. Конечно, вы превосходите их искусством, но говорить об этом самому и притом им в лицо, значит только разжигать бесполезную зависть. А вечером? В словах Шпангенберга вы, конечно, не могли видеть ничего иного, как только шутовское желание испытать, до чего доходит ваша гордость. Подумайте же, как глубоко оскорбили вы почтенного старика, объявив, что в сватовстве всякого дворянина видите вы только посягательство на ваше богатство. И вы могли бы еще поправить горечь этих слов, если бы хоть немного спохватились, когда он заговорил о собственном сыне. Неужели вам трудно было ответить так: "О почтенный барон! Если бы сватом моей дочери явились вы с вашим сыном, то, конечно, при такой неожиданной высокой чести, я бы подумал". Сказав так, вы бы утешили старика, ничего не обещая; обида была бы позабыта, и он расстался бы с вами совершенно довольным и счастливым.

-- Журите меня, журите! -- сказал мейстер Мартин. -- Я сам чувствую, что заслужил это, но что же прикажете делать? Слушая, как старик нес свои бредни, я не выдержал и не мог ответить иначе.

-- А потом, -- продолжал Паумгартнер, -- к чему это безумное решение выдать вашу дочь непременно за бочара! Вы сами сказали, что предоставляете решить участь вашей дочери Господней воле, и вслед затем, с недостойным, греховным упрямством, кидаете вызов самому Господу, объявляя, в каком небольшом кругу людей допускаете выбор зятя. Ведь это может погубить и вас, и вашу Розу. Полноте, мейстер Мартин! Одумайтесь и бросьте эту нехристианскую гордость! Предоставьте решить это дело Божьей воле, которая уже, наверно, вложит в сердце вашей дочери добрые мысли.

-- Ах, почтенный староста, -- отвечал мейстер Мартин, заметно взволнованный, -- теперь только я вижу, как дурно не договаривать до конца. Вы думаете, что одно уважение к моему ремеслу заставило меня принять неизменное решение выдать дочь мою только за бочара? Но это не так! Тут замешалась еще другая, тайная причина, и если на то пошло, то я вам ее расскажу, чтобы вы, уйдя, не бранили меня на ночь. Садитесь же и подарите мне несколько минут внимания. Здесь еще стоит бутылка вина, которую не допил расходившийся барон; вот мы ее и разопьем.

Паумгартнер, изумленный необычным доверительным тоном мейстера Мартина, и, полагая, что, верно, какая-нибудь действительно тяжелая тайна лежала у него на душе, охотно согласился. Старики уселись снова, и мейстер Мартин, выпив стакан вина, начал так:

-- Вы знаете, почтенный староста, что моя добрая жена скончалась в родах несколько дней спустя после рожденья Розы. Тогда была еще жива моя старая бабушка, если только можно назвать живым человека, лишенного глаз, языка и не способного пошевелить ни одним членом. В день крестин Розы кормилица сидела, держа ее на руках, в комнате, где лежала старуха. Я был так убит вследствие смерти жены и вместе так обрадован рождением дочки, что, подавленный приливом чувств, стоял молча возле постели больной, завидуя ее состоянию, так как она была свободна от всякой земной скорби. Вдруг, всматриваясь в ее бледное лицо, я заметил, что она начала как-то странно улыбаться: померкшие глаза точно оживились, а легкий румянец вспыхнул на бледных щеках. Она потянулась, поднялась, точно под влиянием какой-то чудной силы на иссохших руках, и тихо, но внятно произнесла: "Роза! Милая моя Роза!" Кормилица подала ей ребенка, которого она, взяв на руки, стала медленно укачивать и вдруг (судите о моем изумлении) твердым и внятным голосом запела песню Ганса Берхлера, хозяина гостиницы Духа в Страсбурге:

Девочка с розовыми щеками

*Роза! помни завет!
И Бог с другими дарами
Пошлет тебе свой совет.
Жизнь проведешь ты без бед,
Лишь не гонись за мечтами.
Будет время, придет он, придет
И вещицу с собой принесет;
Сладкий напиток струится,
Если в нее заглянуть,
И ангелов рой веселится,
Смотри! то к счастью твой путь!
Вещицу эту ты примешь,
Когда с ней он явится в дом,
И сладко пришельца обнимешь,
Отцу не сказавши о том.
Счастье и жизнь твоя в нем!
Девочка! слушай! найдете
С ним вы счастье вдвоем!
Слушай! слова мои верны,
Трудись, занимайся умно,
И все тебе будет дано!
Благость Господня безмерна!*

И, кончив петь, она положила ребенка возле себя на постель, а сама, воздев руки к небу, начала дрожащими губами шептать молитву, о чем можно было догадаться по ее просветленному лицу. Тихо, тихо потом склонилась она на подушки, и, когда кормилица подошла взять ребенка, грудь ее поднялась, глубоко вздохнула -- и жизнь отлетела с этим вздохом.

-- Замечательно, -- произнес Паумгартнер, когда мейстер Мартин кончил свой рассказ, -- но я не вижу, какое же может иметь отношение песня старой бабушки к вашему твердому намерению выдать Розу только за бочара?

-- Помилуйте! Что же может быть яснее? -- возразил мейстер Мартин. -- Понятно, что старуха, исполненная пророческого духа перед смертью, указала, что должно случиться с Розой, если она хочет быть счастливой. Жених с вещицей, которая принесет в дом богатство, радость и счастье, кто же это может быть иной, как не искусный бочар? Где струится сладкий напиток, как не в винной бочке? А когда вино начнет бродить, шуметь и пениться, не сами ли ангелы возмущают его весельем по Божьему велению. Поверьте, я хорошо понял, что старая бабушка прочила Розе в женихи искусного бочара, а потому пусть на том и останется.

-- Признаться, мейстер Мартин, -- молвил Паумгартнер, -- вы по-своему толкуете предсказание старой бабушки! Что до меня, то я никак не могу согласиться с вашим объяснением и остаюсь при прежнем мнении, что вопрос этот следует предать воле Божьей и сердцу вашей дочери, которая, поверьте, не ошибется в выборе.

-- А я, -- нетерпеливо перебил мейстер Мартин, -- тоже остаюсь при прежнем мнении, что зятем моим может быть и будет только искусный бочар.

Тут уже Паумгартнер совсем рассердился, однако, удержался и сказал, вставая:

-- Уже поздно! Мы довольно выпили и поговорили. Продолжать то и другое, кажется, бесполезно.

Выходя из дверей, они увидели молодую женщину с пятерыми детьми, из которых младшему было не более полугода. Бедная женщина плакала навзрыд. Роза, расспрашивавшая ее о чем-то, поспешно обернулась к пришедшим и сказала:

-- О Господи! Валентин умер, и вот его жена с детьми.

-- Как! -- воскликнул мейстер Мартин пораженный. -- Валентин умер! Ах бедный, бедный! Подумайте, -- обратился он к Паумгартнеру, -- это был мой лучший подмастерье и по честности, и по ремеслу. Недавно он тяжело ранил себя при обделке большой бочки. Рана пошла все хуже и хуже, у бедняка сделалась лихорадка, и вот он умер в лучшей поре сил и здоровья!

Бедная вдова между тем горько жаловалась, что теперь ей самой приходится умирать с детьми от нужды и голода.

-- Как! -- сказал мейстер Мартин. -- Твой муж ранен на моей работе, а я оставлю вас без куска хлеба? За кого же ты меня принимаешь? С этого дня ты и дети твои принадлежат к моей семье. Завтра, или когда хочешь, мы похороним твоего бедного мужа, а затем переезжай со всеми детьми в мой дом у городских ворот, где моя мастерская и где я каждый день работаю с моими подмастерьями. Там ты будешь заниматься хозяйством, а мальчишек твоих я воспитаю как собственных сыновей. Да и старика отца твоего перевези тоже. Он в свое время был добрым бочаром, и, если не может больше рубить и обтесывать доски, то будет, по крайней мере, обстругивать обручи. Одним словом, он должен жить вместе с нами.

Не поддержи при этом мейстер Мартин бедную женщину, она, от избытка благодарности, почти без чувств упала бы к его ногам. Старшие ребяташки повисли на полах его платья, а двое младших, которых взяла на руки Роза, так тянулись к нему ручонками, точно поняли его слова. Старый Паумгартнер, отирая неволью катившиеся слезы, схватил руку мейстера Мартина и, сказав растроганным голосом:

-- Мейстер Мартин! На вас невозможно сердиться, -- отправился к себе домой.

КАК ПОЗНАКОМИЛИСЬ МОЛОДЫЕ ПОДМАСТЕРЬЯ, ФРИДРИХ И РЕЙНГОЛЬД

На прекрасном, открытом со всех сторон пригорке, покрытом свежей зеленой травой, лежал красивый молодой человек, по имени Фридрих. Солнце уже взошло, и только алое пламя полыхало на горизонте. Вдали совершенно отчетливо был виден славный имперский город Нюрнберг, расстилавшийся в долине и смело возносивший свои гордые башни в вечернем сиянии, которое своим золотом обливало их верхи. Молодой человек, положив одну руку на лежавшую возле него дорожную котомку, мечтательно смотрел на открывавшийся перед ним вид. Сорвав несколько цветов, он бросил их по направлению к городу, и светлые слезы заискрились в его глазах. Наконец, подняв голову, он простер руки вперед, как бы желая обнять мерещившийся ему милый образ, и запел звучным голосом:

*Вновь тебя вижу я,
Дорогая земля!
Сердце вечно тебя не забудет.
Неба розовый цвет!
Пусть твой ясный привет
Моей Розы предвестьем мне будет!
Сердце, сердце, уймись,
И будить берегись
Преждевременно сладкие грезы.
Луч румяной зари,
Отнеси ты мои
Ей желанья, приветы и слезы.
Если ж к ней не дойдя
Мертвым здесь лягу я,
И она тебя спросит об этом,
Ты скажи, светлый луч,
Ей сверкнув из-за туч,
Умер с сердцем он, полным приветом.*

Кончив песню, Фридрих достал из котомки кусок воска, разогрел его своим дыханием и начал искусно лепить прекрасную розу с множеством лепестков. Занявшись этой работой, он стал опять

напевать вполголоса строфы своей песни, не замечая, что за ним уже давно стоял какой-то статный молодой человек и внимательно смотрел на его работу.

-- Послушайте, приятель, -- заговорил наконец незнакомец, -- я редко видел, чтобы кто-нибудь умел так хорошо делать подобные вещицы.

Фридрих вздрогнул и быстро обернулся, но, увидев, какое искреннее добродушие сквозило в глазах юноши, он немедленно успокоился и отвечал с улыбкой:

-- Стоит ли обращать внимание на такой вздор, которым занимаешься только от скуки в дороге!

-- Ну, -- продолжал незнакомец, -- называть вздором так изящно и верно с природой сделанный цветок может только настоящий художник. Вы доставили мне двойное удовольствие. Сначала меня поразила ваша песня, которую вы так верно спели на манер Мартина Гошера, а теперь я не меньше удивляюсь вашему таланту в лепке. А куда вы думаете дойти еще нынче?

-- Цель моего странствия, -- отвечал Фридрих, -- перед нами: я иду в имперский город Нюрнберг. Но солнце уже зашло, и потому я думаю переночевать в первой деревне, а завтра рано утром пушусь в путь и успею прийти в Нюрнберг к обеду.

-- В самом деле? -- радостно воскликнул молодой человек. -- Ну, значит, у нас одна дорога, потому что я тоже иду в Нюрнберг. Переночуем в деревне вместе, а завтра отправимся дальше, а теперь поговорим еще немножко.

С этими словами молодой человек, которого звали Рейнгольдом, сел на траву возле Фридриха и затем продолжал:

-- Не правда ли, вы должно быть литейщик или золотых дел мастер? Я догадываюсь об этом по вашему искусству в лепке.

Фридрих смущенно опустил в землю глаза и ответил:

-- К сожалению, вы считаете меня гораздо выше, чем следует. Я просто занимаюсь бочарным ремеслом и иду поступить в подмастерья к одному известному нюрнбергскому мастеру. Теперь вы станете меня презирать, узнав, что вместо искусства литья, я только наколачиваю обручи на бочки и бадьи.

Рейнгольд в ответ громко засмеялся и воскликнул:

-- Я стану вас презирать за то, что вы бочар? Да я сам тоже бочар!

Фридрих с удивлением уставился на Рейнгольда и не знал, верить или нет его словам, так как, и по платью, и по всей наружности молодого человека, очень трудно было принять его за странствующего бочара. Его черный, сшитый из тонкого сукна и обложенный бархатом камзол, нарядный воротник, широкая, короткая шпага, берет с длинным развевающимся пером выдавали скорее богатого купца, чем ремесленника, а открытые, благородные черты лица заставляли предполагать даже еще более высокое происхождение. Рейнгольд,

заметив сомнения Фридриха, быстро развязал свою дорожную котомку, вытащил оттуда бочарный струг с ножом и, показывая их своему новому товарищу, воскликнул:

-- Ну вот смотри и не сомневайся, что я тебе точно товарищ по ремеслу. Я знаю, тебя вводит в заблуждение мое платье, но я родом из Страсбурга, где бочары богаты и одеваются не хуже дворян. Прежде я, также как и ты, думал заняться чем-нибудь другим, но теперь ремесло бочара для меня милее всех, с тех пор, как я возлагаю на него кое-какие надежды. Не то же ли самое и с тобою, товарищ? Но что это значит? Лицо твое подернулось недовольством, точно облаком, и ты стал смотреть как-то невесело! Песня, которую ты пел, звучала желанием любви и счастья, но в ней слышались слова и выражения, точь-в-точь подслушанные у меня, и мне кажется, я догадываюсь о всей твоей истории! Доверься мне, приятель, и поверь, что мы останемся в Нюрнберге добрыми друзьями, несмотря ни на что.

Сказав это, Рейнгольд обнял Фридриха одной рукою, приветливо заглянув ему в глаза.

-- Чем больше я на тебя смотрю, -- отвечал Фридрих, -- тем более чувствую к тебе какое-то невольное влечение и тем более твои намерения и слова кажутся мне эхом моих собственных. Вижу, что должен рассказать тебе все, хотя не для того, чтобы жаловаться на судьбу, а просто из понятного желания поделиться своими заветными мечтами с другом, которого душа моя признала в тебе с первого взгляда. Знай же, что я сделался бочаром только позднее, с детства же занимало меня совсем иное, более благородное искусство. Я хотел быть литейщиком и чеканщиком серебряных вещей, как наш Петер Фишер или итальянский Бенвенуто Челлини. С усердием занимался я в мастерской Иоганна Гольцшуэра, знаменитого чеканщика в Нюрнберге, который, хотя и не занимался собственно отливкой, но мог преподать мне все нужные к тому навыки. В доме Гольцшуэра часто бывал бочар Томас Мартин со своей прекрасной дочерью Розой. Как и когда я ее полюбил, я и сам не умею сказать, но знаю только, что когда я отправился в Аугсбург, чтобы окончательно выучиться искусству литья, любовь моя к Розе вспыхнула в разлуке с неудержимой силой. Я спал и видел только ее. Мне стало противно все, что я ни делал, если это не было соединено с попыткой добиться ее обладания. А средство к тому было одно: мейстер Мартин объявил, что отдаст дочь свою только за бочара, который сделает в его доме образцовую бочку и если сумеет понравиться Розе. Я бросил свое искусство, выучился бочарному ремеслу и теперь иду в Нюрнберг поступить в подмастерья к мейстеру Мартину. Но едва сегодня увидел я перед глазами родной город и вспомнил прекрасную Розу, тысяча сомнений родились и заволновались в моем сердце. Предприятие мое впервые показалось

мне сумасбродством. И точно, ведь я даже не вздумал прежде удостовериться, любит ли меня Роза, полюбит ли когда-нибудь?

Рейнгольд выслушал рассказ Фридриха с напряженным вниманием. По окончании он облокотился головой на одну руку, прикрыл другой глаза и спросил глухим, неприязненным голосом:

-- А что ж Роза подавала тебе когда-нибудь хоть маленькую надежду?

-- Ах! -- возразил Фридрих. -- Роза, когда я покинул Нюрнберг, была почти еще ребенком; она держала себя со мной ласково, смеялась и резвилась, когда я рвал для нее цветы в доме Гольцшюэра, но ничего более.

-- Ну так значит не вся еще надежда потеряна! -- Вдруг воскликнул Рейнгольд таким пронзительным и противоположным прежнему, ласковому тону голосом, что Фридрих вздрогнул. Когда же Рейнгольд, произнеся эти слова, вскочил, и меч брякнул у него на боку, а ночная тень, упавшая на лицо, внезапно изменила доброе, ласковое выражение, заменив его каким-то неприятно вызывающим, то изумленный Фридрих даже невольно воскликнул:

-- Что с тобой, товарищ? -- и отступя шага два назад, нечаянно наступил на лежавшую на земле котомку Рейнгольда. Звон струны вдруг раздался под его ногой. Рейнгольд, услышав это, закричал с гневом:

-- Ну ты, косолапый! Ты хочешь сломать мою лютню!

Лютня была в самом деле привязана к котомке. Рейнгольд схватил ее обеими руками, и бурная, мятежная песня застонала под его пальцами, так что, казалось, готовы были лопнуть струны. Мало-помалу, однако, игра его стала принимать более мягкий характер, и наконец, окончив, он сказал прежним ласковым тоном:

-- Ну что ж, дорогой друг! Пойдем, как решили, в деревню. В руках у меня хорошее средство прогнать злого духа, если он попадетсЯ нам по дороге и вздумает снова овладеть мной, как теперь.

-- Полно, милый брат, -- отвечал Фридрих, -- с чего бы это злые духи стали привязываться к нам в пути? Но играешь ты очень приятно, продолжай, прошу тебя еще.

Золотые звезды зажглись между тем на темной лазури; ночной ветер, загудев, понесся вдоль ароматных лугов: тихо журчали ручьи; вокруг шелестели листья. Фридрих и Рейнгольд шли с игрой и пением; звуки плавно и тихо разносились по воздуху. Когда они достигли ночлега, Рейнгольд бросил котомку и лютню на землю и крепко обнял Фридриха, почувствовавшего, как горячие слезы катились по лицу его нового друга.

КАК ОБА МОЛОДЫЕ ПОДМАСТЕРЬЯ ФРИДРИХ И

РЕЙНГОЛЬД БЫЛИ ПРИНЯТЫ В ДОМЕ

МЕЙСТЕРА МАРТИНА

Проснувшись на другой день утром, Фридрих не нашел возле себя Рейнгольда, заснувшего на такой же связке соломы, как и он. А так как не было заметно ни лютни, ни котомки, Фридрих подумал, что, вероятно, Рейнгольд хотел, по какой-нибудь причине, его оставить и пойти другой дорогой. Но едва успел он выйти из дома, как Рейнгольд, с котомкой и лютней в руках, но одетый уже совсем иначе, чем вчера, сам попался ему навстречу. Перо с берета было у него снято, шпага спрятана, а вместо обложенного бархатом камзола надел он простой, не бросающийся в глаза камзол, какие носят горожане.

-- Ну! -- воскликнул он весело, увидя Фридриха. -- Неужели ты и теперь не признаешь во мне приятеля и товарища по ремеслу? Но знаешь что? Скажу тебе, что ты слишком долго спал для влюбленного. Смотри, как высоко стоит солнце! Пора нам в путь.

Фридрих был серьезен и молчалив и едва отвечал на вопросы и шутки Рейнгольда, который, точно чем-то возбужденный, шутил, смеялся, бросал свою шапку вверх и ловил ее руками, но, однако, по мере того, как они подходили к городу, и он сделался серьезнее.

-- Остановимся немного под этими деревьями, -- сказал наконец Фридрих почти у самых ворот Нюрнберга, -- а то я не могу идти дальше: так мне тревожно, так сладостно-тоскливо на душе.

С этими словами он бросился на зеленую траву; Рейнгольд сел возле него и, помолчав немного, сказал:

-- Я чувствую, милый мой брат, что ты должен был найти очень странным мой вчерашний поступок. Но когда ты рассказал мне историю твоей любви, и я увидел твою горе, у меня забрался такой вздор в голову, что я был бы готов Бог знает на какой безумный поступок, если бы не успокоила меня твоя песня и моя игра, прогнав овладевшего мной злого духа. Сегодня же с зарей исчезли все следы случившегося, и прежнее мое веселье воротилось вполне, особенно теперь, когда я прогулялся на свежем воздухе. А увидя тебя, я опять почувствовал, как крепко тебя полюбил! Послушай, я расскажу тебе одну трогательную историю, слышанную мною в Италии, и из которой ты поймешь, что значит истинная дружба. Случилось, что некий князь, ревностный и благородный друг и покровитель изящных искусств, назначил очень высокую награду тому живописцу, который создаст картину на определенный, весьма благородный, но и очень трудный для исполнения сюжет. Два молодых художника, связанные узами тесной дружбы, решили испытать свои силы над исполнением этой задачи. Оба часто сходились и советовались, как приняться за дело. Старший, более опытный в деле композиции, расположении и

группировки фигур, скоро успел набросать план своей картины, а затем помог добрым советом и младшему, который без того совсем было уже приходил в отчаяние, не будучи в силах справиться с трудным сюжетом картины. Когда, кончив план, принялись они за его исполнение, оказалось, что младший, бывший очень хорошим колористом, сделался в свою очередь необходим для старшего, с большою пользою следовавшего его советам. Результатом вышло то, что младшему никогда в жизни не удавалось написать такую превосходную картину по рисунку, а старшему -- по колориту, так что, по окончании работы, оба они с восторгом обнялись, заранее поздравляя друг друга с заслуженной наградой. Судьи присудили, однако, ее младшему, узнав о чем, он воскликнул со стыдом: "Как могу я взять эту награду, когда всем, что есть в моей картине хорошего, обязан я доброму совету и помощи моего дорогого друга?" -- "А разве ты, -- возразил старший, -- не помогал мне также? Моя картина, благодаря тебе, вышла также неплохой, но награду должен получить ты, как присудили судьи. Стремиться к одной и той же цели честно и открыто -- вот истинное дело друзей; лавр, который достался победителю, принесет честь и побежденному. Я полюбил тебя еще более после твоей победы, зная, что твоя заслуга вместе с тем делает честь и мне". Не правда ли, Фридрих, художник, сказавший это, был прав? Смелое и честное стремление к одной цели должно служить еще к более тесному сближению, а отнюдь не к разрыву дружеских уз. Да и может ли найти место малодушная зависть в истинно благородных сердцах?

-- Никогда! -- ответил с жаром Фридрих. -- Оба мы стали добрыми друзьями и братьями, и оба с одинаковым усердием примемся за постройку наших нюрнбергских бочек. И вот тебе Бог свидетель, что ни малейшее чувство зависти не загорится в моей душе, если твоя бочка окажется лучшей.

-- Ха! ха! -- громко засмеялся Рейнгольд. -- Что касается работы и чистоты отделки, ты, наверно, превзойдешь меня, но где понадобится сделать правильный размер, чертеж и вообще придать наружную форму, тут уж приду к тебе я на помощь. Да и в выборе дерева можешь ты положиться на меня. Выбрать хороший срубленный зимой дубовый брус, без красных полос, без пороков, без червотчины, -- на это у меня верный глаз, и я рад буду помочь тебе словом и делом; моя бочка не выйдет от этого хуже.

-- О Господи! -- воскликнул Фридрих. -- Слушая тебя, можно подумать, что мы уж спорим о том, чья работа вышла лучше! Работа, чтобы заслужить Розу! У меня кружится голова от одной этой мысли!

-- Потише, приятель, потише, -- перебил Рейнгольд смеясь, -- о Розе пока еще не было и речи. Ты просто мечтатель; дай нам прежде прийти в город.

Фридрих замолчал и задумчиво продолжил путь. Умывшись и вычистившись на постоялом дворе, Рейнгольд сказал:

-- Я, право, не знаю сам, к какому бы хозяину поступить в подмастерья. Я ни с кем не знаком в Нюрнберге. Не возьмешь ли ты меня с собой к мастеру Мартину? Может быть, он согласится принять и меня.

-- От твоих слов у меня словно камень с души свалился, -- отвечал Фридрих, -- чувствуя, что ты возле меня, мне легче будет победить мою застенчивость и страх.

И затем оба молодые подмастерья направились к дому мастера Мартина. Это случилось как раз в воскресенье, когда мастер Мартин давал цеху обещанный праздничный обед. Шум и звон стаканов долетел издали до их слуха вместе с веселыми восклицаниями пирующих.

-- Ах, -- сказал Фридрих, впадая в полное уныние, -- кажется, мы явились не в пору.

-- А я, -- возразил Рейнгольд, -- думаю, что совсем наоборот: в обеденный час мастер Мартин, наверно, добрее, и потому будет легче исполнить наше желание.

Скоро мастер Мартин, которому они послали сказать о своем прибытии, вышел к ним навстречу, в богатом праздничном платье, с красными, сияющими щеками и носом и остановился на пороге. Едва увидя Фридриха, он громко воскликнул:

-- Смотрите! Да это наш Фридрих! Наш славный малый возвратился назад! Вот это дело! Ну что ж, научился ты своему ремеслу? Мастер Гольцшюэр до сих пор строит кислую физиономию, едва речь зайдет о тебе, рассказывая, какие славные серебряные вещи мог бы ты делать вроде тех, что выставлены у св. Зебальда или в палатах Фуггера в Аугсбурге; но это он городит вздор! Ты сделал отлично, переменяя ремесло. Здравствуй, добрый дружище! Здравствуй!

И мастер Мартин с искренней радостью обнял молодого человека. Фридрих совершенно ожил от этого ласкового приема; прежняя его робость исчезла, и он тут же объявил мастеру Мартину, что пришел не один, прося его принять вместе с собою и Рейнгольда.

-- Вот уж по правде, -- ответил мастер Мартин, -- вы не могли явиться более кстати! У меня работы бездна, а рабочих не хватает. Я беру вас обоих; кладите ваши котомки и садитесь за стол. Обед, правда, уже кончается, но Роза для вас что-нибудь отыщет.

И говоря так, мастер Мартин повел обоих молодых людей в столовую, где пировали, с веселыми раскрасневшимися лицами, почтенные ремесленники со старостой Якобом Паумгартнером во главе. Десерт был только что подан, и благородное вино искрилось в граненых хрустальных стаканах. Веселые гости шумели, кричали; каждый думал, что слушают только его; взрывы хохота оглашали

воздух, причем все смеялись, сами не зная чему. Но едва мейстер Мартин вошел в комнату, держа за руки обоих молодых людей, и громко объявил, что, и как нельзя более кстати, к нему явились два подмастерья, имеющие хорошие свидетельства, все умолкли и невольно залюбовались двумя красивыми молодыми людьми. Рейнгольд оглядел всех со смелой, гордо поднятой головой, а Фридрих, напротив, опустил глаза и застенчиво перебирал руками шапку.

Мейстер Мартин указал им два места за нижним концом стола, но места эти оказались, однако, самыми лучшими, потому что, едва они успели сесть, вошла прекрасная Роза и, сев между ними, стала радушно угощать их кушаньями и дорогим вином. Ее милое личико между двумя молодыми людьми и ряд седобородых стариков вокруг -- все это составляло прелестнейший контраст, точно светлое розовое облачко несло по небу среди темных туч или цветник свежих цветов поднимался из темной, зеленой травы. Фридрих не мог вымолвить ни слова от избытка чувств и лишь украдкой кидал робкие взгляды на ту, которая была для него дороже всего на свете. Еда не шла ему на ум, и тарелка оставалась перед ним нетронутой. Рейнгольд, напротив, не сводил глаз с прелестной девушки. Не думая долго, смело завязал он с ней разговор; начал рассказывать о своих путешествиях и притом так ярко и живо, что Роза в жизнь свою не слыхала, кто бы говорил так занимательно. Рассказ Рейнгольда проносился перед ее глазами, точно живая картина. Вся превратилась она в слух и даже не поняла, как могло случиться, что Рейнгольд, в порыве горячей речи, внезапно схватив ее руку, крепко прижал к своей груди.

-- Что ж ты молчишь, Фридрих, точно немой? -- вдруг прервал речь Рейнгольд, обращаясь к своему товарищу. -- Вставай и давай выпьем за здоровье нашей прекрасной, гостеприимной хозяйки!

Фридрих схватил дрожащей рукой стакан, который Рейнгольд налил ему до краев, и осушил, по его настоянию, до капли.

-- Ну а теперь, -- закричал Рейнгольд, -- да здравствует наш хозяин!

И Фридрих должен был пить снова. Но тут от выпитого вина закружилась у него голова, а кровь могучим потоком забурлила во всех его жилах.

-- О, как хорошо! -- прошептал он, и лицо его покрылось жгучим румянцем. -- Ни разу в жизни не удавалось мне испытывать такого блаженства!

Роза, невольно подслушавшая его слова и не понявшая их истинного значения, улыбалась ему самой доброй, милой улыбкой. Фридрих, оправаясь наконец от своего смущения, решился ей сказать:

-- Милая Роза! А ведь вы, верно, меня не помните?

-- Как вы можете так думать, Фридрих? -- отвечала Роза, опустив глаза. -- Неужели я забыла вас в такое короткое время? Правда, я была еще ребенком, когда вы жили у мейстера Гольцшюэра, но вы и тогда не

гнушались играть со мной и, помню, умели так хорошо меня занимать. А маленькая корзинка из серебряной проволоки, которую вы подарили мне на Рождество! Ведь я храню ее до сих пор, как самую дорогую из моих вещей!

Слезы готовы были брызнуть из глаз счастливого молодого человека. От блаженства не мог он вымолвить ни слова и только шептал: "О Роза! Милая Роза!"

-- Я всегда от всей души желала увидеть вас вновь, -- продолжала Роза, -- но никогда не думала, что вы станете заниматься бочарным ремеслом. Как жаль, что вы оставили ваше искусство и не будете больше делать таких прекрасных вещей, как прежде, когда жили у мастера Гольцшуэра!

-- Ах, Роза, -- прошептал Фридрих, -- ради вас! Только ради вас бросил я любимое искусство!

Сказав эти слова, Фридрих так испугался, что готов был провалиться сквозь землю: ведь признание так неожиданно сорвалось с его языка. Роза, понявшая все, вспыхнула и поспешила отвернуть лицо; к счастью, в эту минуту Паумгартнер с силой ударил ножом по столу и, потребовав общего внимания, объявил, что Волльрад, почтенный мастер пения, намерен спеть песню. Волльрад встал, откашлялся и спел такую чудную песню по старинному ладу Ганса Фогельгезанга, что все сердца невольно вздрогнули от радости, и даже Фридрих пришел в себя от своего смущения. За первой песней последовала другая, в других ладах и тонах, и наконец, устав, мастер Волльрад объявил, что если кто из присутствующих знает толк в пении, то пусть и он запоет теперь свою песню. Услышав это, Рейнгольд немедленно встал и сказал, что если обществу будет угодно, то он споет итальянскую песню, сопровождая ее игрой на лютне, и при этом сохранит в ней настоящий немецкий лад. Так как никто не возразил, то он настроил лютню и, взяв несколько благозвучных аккордов, служивших прелюдией, начал так:

*Где чудный, светлый ключ,
Что блещет точно луч,
И радостной струей,
Живой,
Сердца всем утешает?
Живой горячий ключ,
Что блещет точно луч,
То может быть одна
Струя вина!
Но кто же нам, когда,
Душа вина попросит,
Кто нам его подносит?
Господен этот дар*

*Подносит нам бочар!
Ему должны принести
За то мы честь!
Бочар вино лелеет
И людям душу греет!*

Песня необыкновенно понравилась всем, а мейстер Мартин совершенно просиял от восторга. Не слушая мейстера Волльрада, глубокомысленно толковавшего что-то о музыкальных ладах Ганса Мюллера, ловко введенных молодым человеком в свою песню, мейстер Мартин вскочил со своего места, поднял высоко стакан и закричал на всю залу:

-- Сюда! Ко мне, мой славный подмастерье и песенник! Этот стакан выпьешь ты со мной вдвоем!

Рейнгольд должен был повиноваться. Возвратясь на место, он шепнул задумчивому Фридриху:

-- Ну, теперь твоя очередь! Спой песню, которую пел вчера вечером.

-- Ты с ума сошел! -- с сердцем отвечал Фридрих, а Рейнгольд, не обращая на него внимания, громко провозгласил:

-- Почтенные господа! Я должен вам сказать, что товарищ мой, Фридрих, поет еще лучше меня, но, к несчастью, он охрип в дороге и потому споет свою песню в другой раз.

Тут все обратились к Фридриху со словами сожаления и одобрения, как будто он уже и спел. Многие даже всерьез принялись утверждать и доказывать, что Фридрих непременно должен петь лучше Рейнгольда, а Волльрад, осушив еще один стакан вина, уверял, что Фридрих лучше знает настоящие немецкие лады, тогда как в пении Рейнгольда слишком преобладал итальянский характер. Мейстер Мартин, выслушав тех и других, решил наконец спор, ударив себя рукой по животу и воскликнув:

-- Я вам скажу, что оба они теперь мои подмастерья! Мои! Подмастерья мейстера Томаса Мартина, бочара в Нюрнберге!

Спорившие беспрекословно склонились перед этим решением, пробормотав уже не совсем связно: "Да, да!", и допивали остатки вина в стаканах. Наконец пир кончился, и пирующие разошлись. Фридриху и Рейнгольду мейстер Мартин отвел в своем доме по светлой чистой комнате.

КАК В ДОМ МЕЙСТЕРА МАРТИНА ПОСТУПИЛ ТРЕТИЙ ПОДМАСТЕРЬЕ И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

Присмотревшись внимательно в течение нескольких недель к работе Фридриха и Рейнгольда, мейстер Мартин заметил, что там, где дело касалось чертежей, размеров и вычислений, Рейнгольд был гораздо способнее и толковее, но не то было, когда приходилось работать с лекалом, ножом или инструментами в руках. Тут Рейнгольд скоро уставал, и работа валилась у него из рук. Наоборот, Фридрих стучал и молотком и долотами так, что любо было слушать, и не уставал он никогда. Но что было в них общего, так это примерное поведение и необыкновенные, особенно у Рейнгольда, веселость и добродушие.

Во время работы они никогда не молчали, а если тут же находилась прекрасная Роза, они не щадили глоток и своими красивыми голосами, которые очень подходили друг к другу, пели чудесные песни. Если, бывало, Фридрих, смущенный присутствием Розы, затыкает что-нибудь в заунывном тоне, Рейнгольд тотчас его перебьет и гаркнет песню, сочиненную им и начинавшуюся словами: "Бочонок ведь не лютня, а лютня не бадья!", так что мейстер Мартин нередко опускал колотушку, которой уже готов был нанести удар, и хватался за живот, колыхавшийся от веселого смеха. Вообще оба они, Рейнгольд же в особенности, совершенно овладели расположением мейстера Мартина, и внимательный глаз мог бы заметить, что даже Роза выискивала способ иной раз побыть в мастерской дольше, чем то было нужно.

Однажды мейстер Мартин, очень озабоченный, вошел в свою мастерскую у городских ворот, где работы производились только летом. Фридрих и Рейнгольд собирали в это время небольшую бочку. Мейстер Мартин остановился перед ними, скрестив на груди руки, и сказал:

-- Очень я вами доволен, мои добрые подручные, но, признаться, меня заботит одна вещь. Сейчас получил я известие с Рейна, что там ждут нынче особенно благодатного года для вина. Один мудрый ученый предсказал, что явившаяся на небе комета оплодотворит своими волшебными лучами землю, и земля выпустит весь жар, скопившийся в ее глубинах, где кипят и клокочут драгоценные металлы, так что виноградные лозы нальются под этим дивным зноем как никогда и дадут самое лучшее огненное вино. Говорят, триста лет уже не было такого благодатного сочетания созвездий. Потому надо ждать, что работы будет у нас полон рот. Я уже теперь получил письмо от достопочтенного епископа Бамбергского с заказом большой бочки. Нам втроем не под силу будет управиться со всем этим, и потому надо будет поискать еще одного хорошего подмастерья в подмогу. Мне не хотелось бы брать с улицы первого встречного, а время-то не терпит. Если вы слыхали, где-нибудь, о добром, хорошем работнике, который был бы вам по душе, то скажите; я не пожалею хороших денег, чтобы его залучить.

Едва успел мейстер Мартин произнести эти слова, как высокий, сильный на вид, молодой человек вошел в мастерскую и громко крикнул:

-- Эй вы! Здесь что ли мастерская мейстера Мартина?

-- Ну да, здесь! -- отвечал мейстер Мартин. -- Только зачем же так орать и топтать ногами? Разве так входят к порядочным людям?

-- Ха, ха, ха, -- захохотал молодой человек, -- да вы должно быть сами и есть мейстер Мартин. Я вас сейчас узнал по толстому брюху, двойному подбородку, красному носу и блестящим глазам -- мне так вас описывали. Ну здравствуйте!

-- А что тебе нужно от мейстера Мартина? -- спросил мейстер Мартин совсем уже недовольным голосом.

-- Я бочарный подмастерье, -- отвечал молодой человек, -- и хотел спросить, не нужен ли вам работник.

Мейстер Мартин, вне себя от изумления, что нужный ему подмастерье явился сам, как раз в ту минуту, когда он изъявил желание его иметь, смерил молодого человека испытующим взглядом с ног до головы. Обзор говорил вполне в пользу пришедшего. Широкая грудь, хорошее сложение и крепкие кулаки обещали в нем доброго работника, и мейстер Мартин сейчас же потребовал показать ему свидетельства о ремесле.

-- У меня их нет с собой, -- отвечал молодой человек, -- но скоро я их получу, а до тех пор, даю вам честное слово, буду работать усердно и хорошо и, наверно, успею вам угодить.

С этими словами молодой человек, не дожидаясь ответа мейстера Мартина, сбросил ранец, снял шапочку, навязал передник и сказал, обратясь к нему:

-- Ну вот я и готов! Что прикажете делать?

Мейстер Мартин, несколько озадаченный смелыми ухватками нового работника, немного подумал и сказал:

-- Ну хорошо! Докажи мне, что ты добрый бочар, возьми молоток и набей обручи на бочонок, что стоит вон там на станке.

Молодой человек мигом бросился исполнять приказание; работа так и кипела в его руках, и не успел мейстер Мартин оглянуться, как бочонок был готов.

-- Ну! -- воскликнул новый подмастерье. -- Будете вы еще сомневаться, что я добрый бочар? Однако, -- продолжал он, оглядываясь на инструменты и подготовленное дерево, -- что это у вас тут за игрушки? Этим молоточком в пору забавляться разве только вашим детям. А это долотце? Ха! Это верно для учеников?

И с этими словами он схватил огромную, тяжелую колотушку, которой с трудом пользовался Фридрих, а Рейнгольд и совсем не мог управлять, потом оттолкнул в сторону, как легкие мячи, два здоровых бочонка, добрался до тяжелой еще необструганной бочечной доски и,

крикнув: "Здоровая доска! А я, смотрите, разобью ее как стекло!" -- так крепко хватил по ней молотом, что она с треском раскололась на две половины.

-- Тише ты, тише! -- воскликнул мейстер Мартин. -- А то, пожалуй, ты вздумаешь выкинуть в окно мою двойную бочку или, чего доброго, разнести всю мастерскую. Вижу, что вместо колотушки надо будет мне выворотить тебе балку, а долото велю принести тебе из ратуши -- трехфутовый Роландов меч.

-- Вот это будет дело! -- крикнул молодой человек, сверкнув глазами, однако, сейчас же спохватился и сказал тихим голосом:

-- Я думал, почтенный хозяин, что вам для вашей работы нужны крепкие работники, а потому и прихвастнул немного своей силой! Но, надеюсь, вы все-таки меня примете, а я, как уже сказал, обещаюсь работать честно и верно.

Мейстер Мартин посмотрел молодому человеку в лицо и должен был сознаться, что редко случалось ему видеть более благородные и красивые черты. Ему казалось, что незнакомец напоминал ему кого-то, давно ему знакомого, но никак не мог припомнить, кто бы это мог быть. Все это вместе побудило мейстера Мартина немедленно согласиться на просьбу молодого человека, выговорив, однако, непременно, чтобы он доставил ему в непродолжительное время свой ремесленный аттестат.

Фридрих и Рейнгольд между тем кончили наколачивание на бочку обручей и затянули нежную песню на щеглячий лад Адама Пушмана. Вдруг Конрад (так звали нового подмастерья) бросил данную ему мейстером Мартином работу и, подойдя к ним, крикнул:

-- Это что за жалкий писк? Мыши что ли завелись у вас под полом мастерской? Если хотите петь, так пойте так, чтобы и сердце радовалось и работа спорилась в руках. Дайте-ка спою я!

И он запел лихую охотничью песню с гиканьем и всяческими выкриками, подражая и лаю собак, и крикам охотников, таким пронзительным голосом, что звук его отдавался в пустых бочках, и, казалось, самые стены мастерской дрожали. Мейстер Мартин заткнул пальцами уши, а дети покойного Валентина, игравшие в мастерской, от страха забились под скамью. Роза, также испуганная этим, совсем не похожим на пение ревом, вбежала в мастерскую, а Конрад, увидев ее, тотчас же замолчал и, бросив работу, приветствовал ее самым благородным, почтительным поклоном.

-- Милая девица, -- заговорил он тихо и скромно, однако, с огнем, сверкнувшим в глазах, -- ваш приход осветил точно розовой зарей эту грязную мастерскую, и, если бы я только знал, что вы были близко, то, поверьте, никогда не оскорбил бы ваших ушей моей дикой охотничьей песней. Перестаньте же и вы, -- крикнул он, обратясь к мейстеру Мартину и прочим, -- стучать и шуметь. Пока прекрасная хозяйка

удостаивает нас своим присутствием, молотки могут оставаться в покое; мы будем слушать ее сладкий голос и с почтением исполнять, как верные слуги, одни ее приказания.

Рейнгольд и Фридрих изумленно переглянулись, а мейстер Мартин громко засмеялся и воскликнул:

-- Ну, Конрад, вижу, что ты первейший шут из всех, какие когда-либо носили передник. Сначала пришел и чуть было не разнес всю мастерскую; потом начал орать так, что у нас зазвенело в ушах, и в заключение всех дурачеств, обращается к моей дочери Розе, как влюбленный рыцарь к своей знатной возлюбленной.

-- Ваша прекрасная дочь, -- тем же тоном отвечал Конрад, -- лучше всех знатных дам на свете, и счастлив будет рыцарь, которого она удостоит чести быть ее покорным верным слугой.

Тут уже мейстер Мартин схватился за бока, чтобы не лопнуть от смеха.

-- Ну хорошо, хорошо, -- едва мог он проговорить, задыхаясь и кашляя, -- я тебе позволяю считать мою Розу знатной дамой! А теперь, не во гневе будь сказано твоему рыцарству, ступай-ка назад к станку.

Конрад, опустив глаза, стоял как вкопанный, затем он потер себе лоб и, прошептав: "И то правда!", исполнил то, что ему было велено Роза села, как делала всегда при посещении мастерской, на небольшой бочонок, который Рейнгольд тщательно обтер, а Фридрих заботливо ей подвинул, и оба по заказу мейстера Мартина опять начали петь ту песню, которую прервал своим диким ревом Конрад, теперь совершенно погруженный в свои мысли и молча работавший у своего верстака.

По окончании песни мейстер Мартин сказал:

-- Поистине хорошим даром наградил вас Бог, дорогие мои подмастерья! Вы не можете себе представить, как я люблю пение. Было время, когда я сам хотел сделаться мейстерзингером, да раздумал только потому, что как только, бывало, запою, все и захохочут. Оно точно правда, что я никак не мог с самого начала попасть в лад, да и во время пения случалось, что иной раз то заведу в сторону, то не на том месте кашляну, то захочу выделывать одно, а выйдет другое. Ну да вы это умеете лучше! Пословица говорит правду: что не постиг мастер, постигнут подмастерья. В будущее воскресенье, вы знаете, будут петь в церкви святой Екатерины после проповеди. Вот вам прекрасный случай отличиться и блеснуть вашим талантом. Перед положенной программой будет позволено петь каждому, кто что пожелает. Вот, Конрад, попробовал бы тебе рявкнуть там твою славную охотничью песню.

-- Не смейтесь, -- отвечал Конрад, -- всякому свое место! Вы пойте там, а я позабавлюсь на городском лугу!

Случилось так, что желание мейстера Мартина исполнилось. Рейнгольд пропел в назначенный день много песен, доставивших истинное удовольствие знатокам, хотя большинство находило, что в пении его звучал оттенок чего-то чужого, не немецкого, но чего именно, никто не умел объяснить. После Рейнгольда взошел на кафедру Фридрих. Сняв шапочку и взглянув на собравшуюся толпу, он случайно встретился глазами с прекрасной Розой, невольно вздрогнувшей от этого взгляда. Ободренный и вдохновленный, он запел прекрасную песню Генриха Фрауэнлоба, столь чудесную, что все присутствовавшие единодушно решили, что вряд ли кто из них превзойдет молодого подмастерья.

Когда наступил вечер и состязания певцов кончилось, мейстер Мартин отправился вместе с Розой на луг, где начались веселые игры. Фридрих и Рейнгольд присоединились к ним; Роза шла между обоими молодыми людьми. Фридрих, окрыленный своим успехом и похвалой мейстерзингеров, забыл немного свою робость и был гораздо смелее обыкновенного. Роза, опустив глаза, слушала его пламенные речи, не показывая, впрочем, вида, что их понимает. Она даже, по-видимому, более занималась Рейнгольдом, который, как обыкновенно, нимало не стесняясь, нес всякий вздор и дошел в своей развязанности даже до того, что бесцеремонно подхватил ее под руку.

Еще издали донеслись до них с луга крики и звонкий смех веселившейся молодежи. Игры уже начались. Скоро явственные голоса: "Победил! Победил!.. Молодец сильнее всех!.. С ним не так легко справиться!" -- долетели до их слуха. Протеснившись сквозь толпу, мейстер Мартин увидел, что внимание и восторг народа были обращены на его нового работника Конрада, оказавшегося победителем и в беге, и в кулачном бою, и в бросании мячей. В эту минуту Конрад во всеуслышанье спрашивал, не найдется ли желающего помериться с ним в битве на тупых мечях. Несколько отважных юношей-дворян, привычных к этой рыцарской игре, приняли вызов, но прошло немного времени, как Конрад без малейшего труда победил всех, так что восторг народа, прославлявшего храбреца, не знал пределов.

Между тем солнце зашло, и сумерки быстро обратили день в ночь. Мейстер Мартин, Роза и оба подмастерья остановились отдохнуть возле источника. Рейнгольд принялся рассказывать о виденной им прекрасной Италии; Фридрих безмолвно и блаженно смотрел в глаза прелестной Розе. В эту минуту показался Конрад и остановился, как бы не зная, следовало ли ему к ним присоединиться.

-- Ну, что же ты стоишь? -- сказал мейстер Мартин. -- Ты храбро отличился на лугу и заслуживаешь быть моим подмастерьем. Садись к нам, я тебе позволяю, не бойся! -- Конрад бросил на мейстера Мартина взгляд, нельзя сказать, чтобы очень почтительный, и отвечал:

-- Бояться вас я и не думал, а равно не нахожу нужным спрашивать, могу ли здесь остановиться, да и пришел сюда совсем не к вам, а к вашей прекрасной дочери; всех моих противников я победил в веселой рыцарской игре и потому осмеливаюсь спросить, не признает ли она меня заслуживающим получить этот букет с ее груди в награду за мою храбрость?

С этими словами Конрад опустился на одно колено, своими карими глазами, ясными и честными, посмотрел ей в лицо и стал просить:

-- Дайте мне этот букет, прекрасная Роза! Вы не в праве мне в этом отказать!

Роза тотчас же сняла букет и сказала, подавая его Конраду с улыбкой:

-- Храбрый рыцарь, как вы, вполне заслуживает получить знак чести из рук дамы. Вот вам мой увядший букет.

Конрад поцеловал поданные ему цветы и приколот их к своей шапочке, а мейстер Мартин воскликнул:

-- Ну полно вам дурачиться! Уже поздно, пора домой!

Сказав это, он пошел дальше, а Конрад ловко и учтиво взял Розу под руку. Фридрих и Рейнгольд, оба недовольные, шли сзади. Люди, попадавшиеся по дороге, останавливались, глядели им вслед и говорили: "Посмотрите, посмотрите, вот идет богатый бочар Томас Мартин со своей милой дочкой и своими славными подмастерьями! Хорошие парни -- ничего не скажешь!"

КАК МАРТА ГОВОРИЛА С РОЗОЙ О ТРЕХ ПОДМАСТЕРЬЯХ И КАК КОНРАД ПОССОРИЛСЯ С МЕЙСТЕРОМ МАРТИНОМ

Молодые девушки часто на другое утро после праздника мысленно вновь переживают все его радости, и это повторение торжества кажется им едва ли не прекраснее, чем оно само. Так и прекрасная Роза сидела на другой день утром в своей уединенной комнате, сложив руки на коленях и опустив голову на грудь, и думала о минувшем дне, позабыв и прялку, и шитье. Кто знает, что было у нее на уме? Вспоминала ли она пение Фридриха и Рейнгольда, или храбрый Конрад, победитель своих противников, рисовался в ее воображении? Губы ее то напевали вполголоса мотивы слышанных песен, то опять шептали: "Подарите мне ваш букет!"; при этом румянец невольно вспыхивал на ее щеках, глаза сверкали сквозь опущенные ресницы, и грудь волновалась под легким вздохом.

Тут в комнату вошла Марта, и Роза с радостью принялась рассказывать ей обо всем, что происходило вчера в церкви святой Екатерины и на лугу. Когда Роза кончила рассказывать, Марта с улыбкой сказала:

-- Ну, милая Роза, теперь вам скоро придется выбирать -- который из трех красавцев женихов вам милее.

-- Ах, ради Бога, милая Марта, -- с испугом и вся покраснев, воскликнула Роза, -- как вы можете говорить таким образом? Мне? Выбирать из трех женихов?

-- Полно, ну полно, моя милая! Не притворяйтесь удивленной, -- возразила Марта, -- надо быть совсем слепой, чтобы не заметить, до чего влюблены в вас все наши три подмастерья!

-- Что вы только выдумываете! -- пролепетала Роза, стараясь закрыть руками лицо.

-- Ах ты, моя милая скромница, -- ласково продолжала Марта, садясь возле Розы и обнимая ее рукой, -- полно! Взгляни-ка лучше мне прямо в глаза, да попробуй сказать, что ты не замечаешь сама, как ухаживают они за тобой все трое! Ага, видишь! Солгать не хватает духу, да ведь, по правде сказать, мудрено, если бы это было иначе! Да и странно было бы, если бы девушка этого сразу не заметила. Как все бросают работу и начинают глазеть на тебя, едва только ты войдешь в мастерскую, и как у них тогда все особенно ловко получается! Как Рейнгольд и Фридрих запевают свои лучшие песни, и даже сам неистовый Конрад становится кроток и приветлив; как каждый из них старается подойти к тебе и каким ярким огнем загорается лицо у того, кого ты удостоишь ласкового взгляда, приветливого слова! Скажи сама, не лестно разве тебе, что твоей благосклонности добиваются такие красавцы? Кто из них больше тебе понравится и на ком остановишь ты свой выбор -- я не знаю сама, потому что пока ты равно любезна со всеми, мне же кажется... но, впрочем, об этом лучше помолчать! Если бы ты пришла ко мне и спросила, кого из этих трех молодцов выбрать в мужья, я бы тебе сказала: спроси свое сердце, а если оно тебе не укажет прямо и сразу, тогда выпроводи их всех. Что до меня, то мне нравятся и Рейнгольд, и Фридрих, и Конрад, хотя, опять же, в каждом есть и свои недостатки. Да, милая Роза, когда я вижу этих трех славных молодых людей за работой, невольно приходит мне на память бедный мой Валентин! Мало того, что он работал не хуже их, но в его работе было что-то совсем другое, другая какая-то стать и сноровка. Он отдавался работе всей душой, тогда как они, кажется, трудятся, имея что-то другое на уме. Работа для них бремя, которое они добровольно на себя взвалили и несут теперь весело и бодро. Фридрих в этом отношении еще лучше других. Он действительно честная, открытая душа и по натуре больше всех похож на ремесленника. Его понимаю я лучше, да и он, кажется, любит тебя

больше, чем прочие и притом любит так нежно и почтительно, что иной раз и взглянуть на тебя не смеет. Заметь только, как краснеет он, когда ты с ним заговоришь. Это называю я настоящей любовью честного сердца.

Глаза Розы подернулись слезами при этих словах Марты, и она, повернувшись к окну, чтобы та их не заметила, возразила:

-- Фридрих точно прямая душа, но почему же не сказать того же о Рейнгольде?

-- Есть хорошее и в Рейнгольде, -- отвечала Марта, -- он бесспорно самый красивый из всех трех. Что за глаза! Его взгляд трудно вынести. Но знаешь что? А все же есть в нем что-то чудное, и это меня отпугивает, нагоняет на меня страх. Мне кажется, мейстер Мартин, задавая Рейнгольду в мастерской какую-нибудь работу, должен чувствовать тоже, как если бы мне поставили в мою кухню золотую кастрюльку, украшенную дорогими камнями, и заставили употреблять ее наравне с прочей медной посудой, тогда как мне и дотронуться до нее было бы страшно. Когда Рейнгольд начнет говорить, то речь его звучит словно музыка; кажется, слушал бы не наслушался, а как потом поразмыслишь о чем он говорил, так и выйдет, что в конце концов я и словечка не поняла. А когда он начнет шутить и держать себя по-нашему, то я все почему-то думаю, что он только притворяется, и мне даже становится страшно. Нельзя сказать, чтобы он походил с виду на рыцаря или дворянина, и все-таки есть в нем что-то особенное. Словом, Бог знает почему, но мне всегда кажется, будто водится он с высшими духами, будто он -- из другого мира. Конрад -- другое дело! Тот какой-то дикий и необузданный, и есть в нем что-то страшно важное, и не к лицу ему кожаный передник. И держит он себя так, словно только он один и может повелевать, а другие должны его слушаться. Посмотри, как он в короткое время успел одним своим громким голосом сделать так, что его иной раз слушает сам мейстер Мартин. Но Конрад все же такой добрый и честный, что на него нельзя сердиться. Я даже признаюсь, что, несмотря на грубоватость своих манер, Конрад нравится мне более Рейнгольда. Он, правда, говорит также много и громко, но его, по крайней мере, всегда поймешь. Я готова биться об заклад, что он, как бы он ни прикидывался, а в сраженьях побывал. Потому-то он умеет так хорошо владеть оружием да и перенял кое-что рыцарское, а это ему очень идет... Ну так как же, милая Розочка? Который из трех нравится тебе больше?

-- Не спрашивайте, милая Марта, так настойчиво, -- отвечала Роза, -- я должна, однако, вам признаться, что далеко не разделяю вашего мнения о Рейнгольде. Правда, он вовсе не похож на других и даже говорит иначе, но когда я его слушаю, мне кажется, я гуляю в каком-то зачарованном саду, с такими чудными цветами и деревьями, каких не найти в мире, и потому на меня он вовсе не наводит страха. Скажу

даже, что с тех пор как у нас поселился Рейнгольд, я начала совершенно иначе смотреть на многие вещи, и то, что, бывало, прежде казалось мне неясным и туманным, стало внезапно совершенно понятным и ясным.

Марта встала, чтобы уйти, но, уходя, погрозила Розе пальцем и сказала:

-- Эге, Роза! Значит, можно думать, что избранником твоим будет Рейнгольд! Признаюсь, я никак не ожидала того.

-- Пожалуйста, -- возразила Роза, провожая ее до двери, -- не ожидайте ничего, и пусть все это решит будущее! А что бы оно ни принесло, оно принесет то, что угодно Господу, который посылает каждому по его заслугам.

Между тем в мастерской мастера Мартина работа кипела. Для того, чтобы управиться с множеством заказов, должен был он нанять еще простых рабочих и учеников. Стук и гам далеко разносились по улице. Рейнгольд кончил размеры и чертежи большой бочки, предназначавшейся для епископа Бамбергского, и так рьяно принялся, вместе с Фридрихом и Конрадом, за ее постройку, что мастер Мартин не мог ими налюбоваться.

"Вот это будет штука! -- говорил он самодовольно. -- Такой бочки мне ни разу не удавалось сделать, кроме, конечно, моей образцовой". Все три подмастерья наколачивали на бочку обручи, так что стук колотушек наполнял всю мастерскую. Старый отец Валентина заботливо стругал доски; Марта с двумя младшими мальчиками на коленях сидела позади Конрада, а прочие дети возились и играли с обручами.

В этом шуме и гаме никто не заметил, как в мастерскую вошел старый почтенный Иоганн Гольцшуэр. Увидев гостя, мастер Мартин сейчас же пошел к нему навстречу и учтиво спросил, чего он желает.

-- Очень мне захотелось, -- отвечал тот, -- повидаться с моим Фридрихом и посмотреть, как он работает. Да сверх того, я намерен заказать вам, мастер Мартин, хорошую большую бочку, которой недостает в моем погребе. Вот, кажется, стоит именно такая, как мне надо, а потому я бы ее охотно взял, скажите только цену.

Рейнгольд, который, устав от работы, отдыхал тем временем в стороне, подошел, услышав это, к бочке и сказал, обращаясь к Гольцшуэру:

-- Ну нет, почтенный господин! О нашей бочке вы лучше и не думайте, ее мы делаем для высокопочтенного господина епископа Бамбергского!

Мейстер Мартин, заложив руки за спину и выставив левую ногу вперед, откинул назад голову и, указывая на бочку, промолвил гордым и надменным тоном:

-- Вы уже по одному взгляду на дерево и на работу должны были догадаться, что бочка эта назначается для княжеских погребов. Подмастерье мой был прав, говоря, что об этой бочке лучше и не думайте. Вот когда соберут виноград, так я вам сделаю такую же хорошую по вашему погребу бочку.

Старый Гольцшуэр, затронутый за живое высокомерным обращением мастера Мартина, возразил, что деньги его стоят столько же, сколько и епископа Бамбергского, а потому -- за свои деньги требует он такой же работы. Мастер Мартин, охваченный гневом, с трудом сдерживался, не смея оскорбить старого, почитаемого и магистратом, и всеми горожанами господина Гольцшуэра. На беду Конрад, продолжавший работать, стал колотить все сильнее и сильнее, так что дерево трещало под его руками. Тут мастер Мартин дал волю свою гневу и грубо закричал:

-- Ну ты, болван? Что ты колотишь без толку или хочешь проломить бочку?

-- Ого! -- вдруг, выпрямившись, возразил Конрад. -- А если бы и так, ремесленная твоя башка!

И с этим словами он так неистово хватил по бочке колотушкой, что главный обруч разлетелся вдребезги, а Рейнгольд, ошеломленный ударом, даже свалился с помоста. Удар был так силен, что несколько досок было расколото.

"Пес проклятый!" -- вне себя от ярости крикнул мастер Мартин и, выхватив доску из рук старого Валентина, ударил что было силы Конрада по спине. Конрад, почувствовав удар, выпрямился, как бы не сознавая в первое мгновение, что случилось, но потом, крикнув вдруг так, что задрожали стены: "Ударил!" -- схватил, скрежеща и бешено сверкнув глазами, валявшийся на полу скобель и как исступленный кинулся на мастера Мартина. Старику бы, наверно, несдобровать, если бы Фридрих не успел толкнуть его в сторону, так что направленный в голову удар попал в плечо, мгновенно облившееся кровью. Мастер Мартин, толстый и неловкий, потерял равновесие и покатился с помоста на пол. Все присутствующие бросились унимать рассвирепевшего Конрада, который, потрясая окровавленным скобелем в руке, продолжал реветь: "К черту его! К черту!" Он уже успел вырваться из удерживавших его рук и готов был нанести мастеру Мартину второй удар, который бы, наверно, прикончил стонавшего на полу старика, как вдруг дверь быстро отворилась и в комнату вбежала бледная, дрожащая от испуга Роза. Увидев ее, Конрад точно окаменел и остановился с поднятым скобелем в руке. Потом, бросив его в сторону, он ударил себя обеими руками в грудь и, воскликнув раздирающим душу голосом: "Господи! Что я наделал!" -- кинулся вон из комнаты. Никому и в голову не пришло его преследовать.

С трудом успели поднять и привести в чувство бедного мастера Мартина. Железо, по счастью, попало в мякоть руки, так что кость оказалась целой и рана была вовсе не опасна. Старый Гольцшюэр, которого мастер Мартин увлек за собой в своем падении, лежал также под досками. Его подняли и, сколько можно было, успокоили детей Марты, которые не переставая кричали и плакали о добром дяде Мартине. Мастер Мартин, впрочем, скоро оправился и скорбел больше об испорченной негодяем бочке, чем о своей ране.

Для старого Гольцшюэра, порядочно помятого при падении, пришлось принести носилки. Пока его усаживали, он не переставал ругаться и ворчать на проклятое ремесло, при котором употреблялись такие смертоносные орудия, и со слезами убеждал Фридриха вновь возвратиться к своему прежнему, благородному искусству чеканки и литья.

Поздно ночью Рейнгольд, которого сильно ударило обручем и который чувствовал себя теперь совершенно раздавленным, отправился вместе с Фридрихом домой в город. Проходя мимо какой-то изгороди, слышали они тяжелый вздох, похожий скорее на стон, и прежде чем успели подойти ближе, длинная, белая фигура внезапно выросла перед их глазами. Оба тотчас узнали Конрада и невольно попятились назад.

-- Ах, милые товарищи! -- воскликнул Конрад печальным голосом. -- Да не пугайтесь вы меня! Я знаю, что должен казаться в ваших глазах лютым зверем, но я не таков, право, не таков! Иначе я не мог поступить! Я должен был непременно убить старика! Вы это слышите: должен! Но я этого не сделаю! Нет! Прощайте! Вы меня более никогда не увидите. Поклонитесь от меня прекрасной Розе, которую я люблю больше всего на свете. Скажите ей, что букет ее буду вечно носить на сердце и украшу им себя в тот день, когда... Но она еще обо мне услышит. Прощайте, добрые товарищи! -- и с этими словами Конрад исчез в темноте.

-- В этом человеке есть что-то странное, -- заметил Рейнгольд, -- его поступки нельзя судить и оценивать обыкновенной меркой. Придет время, когда, может быть, тайна, которая тяготит его сердце, откроется сама собой.

РЕЙНГОЛЬД ПОКИДАЕТ ДОМ МАСТЕРА МАРТИНА

Мрачным и печальным сделался веселый дом мастера Мартина. Рейнгольд, не в состоянии работать, был постоянно задумчив и уныл. Мастер Мартин, сидя с подвязанной рукой, все только ворчал и бранил ранившего его злого работника, взявшегося невесть откуда.

Роза и Марта с детьми боялись входить в мастерскую, где произошло несчастное побоище и где Фридрих один продолжал усердно работать над большой бочкой. Но стук от его колотушки раздавался глухо и печально, точно унылая рубка дров в лесу в зимнее время.

Грусть глубоко запала в душу Фридриха, когда он начал ясно замечать то, чего так давно боялся, а именно, что Роза любит Рейнгольда. Мало того, что все ее ласковые слова и знаки внимания и раньше относились только к Рейнгольду, но теперь явилось налицо другое, несомненное доказательство: Роза ни разу не появилась в мастерской с тех пор, как перестал ходить на работу больной Рейнгольд. Напротив, постоянно сидела она дома, верно для того, чтобы заботливо ухаживать за дорогим ее сердцу возлюбленным. Когда по воскресеньям, во время общего веселья, мейстер Мартин, выздоровевший уже от раны, приглашал Фридриха отправиться вместе с Розой на луг, он всегда отклонял под каким-нибудь предлогом приглашение и печальный уходил в деревню на тот холм, где в первый раз встретился с Рейнгольдом. Там бросался он на мягкую, душистую траву и грустно начинал размышлять, как закатилась без возврата звезда надежды, освещавшая ему обратный путь на родину, и как, подобно несбыточным ожиданиям мечтателя, простиравшего руки к пустому миру, погибли все его труды и начинания. Слезы градом катились при этом из глаз молодого человека и падали на свежие чашечки цветов, склонявшие под ним свои головки, точно жалея о его несчастьи. Раз, сам того не замечая, перешел он от слез к словам, а от слов к песне:

*Где ты, где ты
Любви звезда?
Скажи куда,
В какую даль
Склонилась ты?
Лети скорей,
Ты буйный вихрь,
Уйми, развей
Мою печаль,
Чтоб сладко грудь
Могла вздохнуть,
Устав рыдать
И век страдать!
Пусть шелест твой
Среди ветвей
Напомнит мне
Надежды весть!
Или пускай*

*Укажет мне
К могиле путь,
Где б мог заснуть
Я в тишине!*

И как всегда бывает, что печаль и горе, высказавшись в словах, находят облегчение и даже зажигают как бы луч надежды в сердце, так точно Фридрих почувствовал себя заметно утешенным и облегченным, пропев свою песню. Вечерний ветерок и темные деревья, к которым он в ней обращался, как бы в самом деле его услышали и загудели радостней и веселей, а яркие лучи солнца, пронизав темные тучи, облили его своим светом, как лучи проснувшейся надежды. Фридрих встал ободренный и, спустившись с холма, направился к деревне. Тут ему почудилось, будто рядом с ним идет Рейнгольд, как и в тот раз, когда он впервые его увидел. Все его слова, которые говорил он тогда, ясно пришли ему на память. Припомнив его сказку о двух состязавшихся художниках, Фридрих почувствовал, что с глаз его как будто спала пелена. Ясно было, что Рейнгольд уже прежде видел и полюбил Розу. Для нее одной пришел он в Нюрнберг к мастеру Мартину, а под состязанием художников разумел, без сомнения, общую любовь их к Розе. Фридрих еще раз припомнил слова Рейнгольда: "Дружно стремиться к одной цели должны истинные друзья, помогая друг другу, потому что в благородных сердцах нет места низкой злобе и зависти".

-- Да! -- громко воскликнул Фридрих. -- К тебе обращусь я, дорогой друг, и тебя спрошу, точно ли следует мне оставить всякую надежду!

Было уже позднее утро, когда Фридрих постучал в комнату Рейнгольда. Никто ему не ответил. Постояв немного времени, тихо отворил он дверь и что же увидел войдя! Прелестный, похожий как две капли воды портрет Розы в натуральную величину стоял на мольберте, чудесно освещенный светлыми солнечными лучами. Разбросанные возле муштабель, свежие краски и кисти доказывали, что картина была только что окончена. "О Роза, Роза!" -- с глубоким вздохом прошептал Фридрих. В эту минуту вошедший Рейнгольд похлопал его по плечу и спросил, улыбаясь:

-- Ну что? Как находишь ты мою картину?

Фридрих крепко прижал его к своей груди и воскликнул:

-- О дорогой друг! Великий художник! Теперь мне стало ясно все! Ты! Ты выиграл приз, за который я имел глупость с тобой состязаться! Что перед тобой я? Что перед твоим мое искусство? И я смел мечтать! Не смейся только, прошу, надо мной, дорогой друг! Ведь я тоже думал вылепить и вылить статуэтку Розы из чистого серебра, но теперь вижу, что это ребяческая затея! Как очаровательно, во всем сладостном блеске своей красоты улыбается она тебе со своего портрета! Ах

Рейнгольд, Рейнгольд! Счастливый ты человек! То, что ты предсказал, исполнилось. Оба мы состязались -- и ты победил, потому что должен был победить, но я тем не менее остаюсь предан тебе всей душою. Но я должен покинуть этот дом, этот город. Я не выдержу, если увижу Розу еще хотя бы один раз. Прости мне, дорогой друг, эти слова. Сегодня же убегу я отсюда без оглядки, туда, далеко-далеко, куда завлечет меня мое неутешное горе!

Сказав это, Фридрих готов был тотчас же уйти, но Рейнгольд удержал его силой и тихо произнес:

-- Не уходи! Может быть, все уладится совершенно иначе, чем ты думаешь. Пора мне объявить тебе то, что я скрывал до сих пор. Что я не бочар, а живописец, узнал ты сам, и, я надеюсь, по этой картине ты понял, что я по праву причисляю себя не к последним из художников. В юности жил я в Италии, стране искусства, и там, под руководством великих художников, в число учеников которых мне удалось попасть, загорелась ярким огнем искра моего таланта. Скоро картины мои стали известны во всей Италии, и могущественный герцог Флоренции пригласил меня к своему двору. Тогда я еще презирал немецкое искусство и, даже не видав ваших картин, легкомысленно порицал, по одним слухам, неправильность рисунка и сухость ваших Дюреров и Кранахов. Но однажды явился в галерею герцога продавец картин и показал одну из мадонн старика Альбрехта. При виде ее точно какой-то луч озарил меня новым светом, так что я совершенно охладел к великолепию итальянских картин и в тот же час решился вернуться в свое отечество, чтобы своими глазами увидеть чудеса его искусства. Приехав в Нюрнберг, я внезапно увидел Розу, и мне показалось, что поразившая меня мадонна сошла перед моими глазами на землю. Любовь охватила все мое существо точно так же, как это было с тобой, мой дорогой Фридрих. Одну Розу видел я постоянно перед глазами, думал о ней одной, как будто все прочее для меня перестало существовать, и если мое искусство осталось мне дорого, то только потому, что я мог сотни и сотни раз рисовать милые черты. Я думал завязать с ней знакомство будто случайно -- так, как это делается в Италии, но все мои старания оказались напрасны. Совсем не удавалось найти приличного повода для того, чтобы получить доступ в дом мастера Мартина. И я думал было уже явиться прямо в качестве сватающегося жениха, но тут узнал решение старика отдать свою дочь только за искусного бочара. Тогда составил я замысловатый план: выучиться в Страсбурге бочарному ремеслу, а потом поступить в подмастерья к мастеру Мартину, предоставив остальное Божьей воле. Как я исполнил это намерение, ты уже знаешь, но не знаешь того, что на днях мастер Мартин сказал мне, что из меня выйдет хороший бочар и что он будет рад видеть меня своим зятем, тем более что, насколько он замечал, Роза также меня любит.

-- Могло ли быть иначе! -- печально возразил Фридрих. -- Да! Да! Роза будет твоей! Как мог надеяться на такое счастье я!

-- погоди, -- возразил Рейнгольд -- ты забываешь, что мнение самой Розы мы еще не слыхали; а мудрый мейстер Мартин мало ли что может вообразить! Конечно, Роза была со мной всегда очень любезна и ласкова, но -- любящее сердце ведет себя иначе! Послушай! Обещай мне три дня не говорить никому об этом ни слова и работать по-прежнему в мастерской. Я сам бы мог уже ходить на работу, но, признаюсь, с тех пор как вернулся к своему дорогому искусству, написав эту картину, проклятое ремесло опротивело мне окончательно. Я больше не могу брать в руки колотушку, будь что будет. Через три дня я тебе откровенно скажу, в каком положении мои дела с Розой. Если она меня любит в самом деле, то, конечно, тебе останется только удалиться и предоставить вылечить твое горе времени, исцеляющему самые тяжелые раны.

Фридрих обещал терпеливо ждать решения своей судьбы.

На третий день (Фридрих все время тщательно избегал встречаться с Розой) сердце затрепетало у него в груди от страха и боязливого ожидания. Точно в каком-то забытии ходил он по мастерской: работа валилась из его рук, так что мейстер Мартин начинал даже на него ворчать, чего никогда не случалось прежде. Особенно странным находил он то, что Фридрих был так печален. Уже начинал даже он заговаривать о хитрости и неблагодарности, хотя и не высказывал своей мысли яснее. Когда наступил вечер и Фридрих, оставив мастерскую, отправился в город, внезапно встретился ему всадник на коне, в котором он немедленно узнал Рейнгольда. Поровнявшись с другом, Рейнгольд немедленно закричал:

-- Как я рад, что нашел тебя здесь!

Он спрыгнул с лошади, намотал повод на одну руку, а другой обхватил Фридриха.

-- Ну, -- заговорил он, -- пройдемся немного вместе; теперь могу я тебе рассказать, что случилось с моей любовью.

Фридрих заметил, что Рейнгольд был одет совершенно так же, как в день первой их встречи; на лошади была навьючена его дорожная котомка, сам же он казался очень бледным и взволнованным.

-- Ну, дружище! -- воскликнул Рейнгольд решительным голосом. -- Уступаю тебе честь и место! Работай! Сколачивай свои бочки, я тебе в том не помеха! Сейчас простился я навсегда и с мейстером Марином, и с Розой!

-- Как! -- воскликнул Фридрих, который будто ощутил всем телом электрический удар. -- Ты оставил мейстера Мартина, когда он изъявил согласие иметь тебя своим зятем и уверял притом, что Роза тебя любит?

-- В том-то и дело, любезный друг, -- возразил Рейнгольд, -- что все это вообразил ты, вследствие одной ревности! Я убежден, напротив, что Роза никогда меня не любила и если бы за меня вышла, то единственно из благочестивого послушания отцу. Да и Бог знает, способна ли она любить с ее холодной натурой! Хорош бы я был, сделавшись для нее бочаром! В будни наколачивал бы на бочки обручи, а по воскресеньям чинно отправлялся под руку со степенной хозяйкой в церковь святой Екатерины или к святому Зебальду, а оттуда гулять на городской луг. И так из года в год, из года в год... До гроба...

-- Ну, не шути так! -- перебил Фридрих расходившегося, даже несколько злобно, Рейнгольда. -- Не смейся над скромной жизнью трудолюбивого ремесленника. Роза не виновата, если тебя не любит, а ты так сердишься, так неистовствуешь...

-- Ты прав, ты прав, -- спохватился Рейнгольд, -- это все моя глупая привычка, что если я чем-нибудь задет за живое, то веду себя, как балованное дитя. Чтобы кончить, сообщу тебе, что я сказал Розе о моей любви и о согласии ее отца, а она в ответ только заплакала, задрожала и прошептала, что из отцовской воли не выйдет. С меня этого было довольно. Что мне было не совсем приятно в эту минуту, ты можешь прочесть на моем лице, но вместе с тем увидел я ясно, что любовь моя к ней была только одним самообманом. Ведь как только окончен был портрет Розы, я почувствовал какое-то душевное облегчение, и иной раз мне серьезно чудилось, что Роза только картина и что картина эта заменила мне настоящую Розу. Жалкое ремесло сделалось мне отвратительным, и когда вся эта пошлая жизнь с женитьбой и званием мастера так близко подступила ко мне, то мне и показалось, будто меня должны посадить в тюрьму и приковать к цепи. Да и как может этот ангел, которого я ношу в сердце, стать моей женой? Нет, вечно юная, полная прелести и красоты, должна она сиять на картинах, которые создаст мое вдохновение. О! Как я к этому стремлюсь! Да разве мог бы я изменить божественному искусству? Скоро я окунусь снова в твои жгучие благоухания, о дивная страна, отчизна всех искусств!

Тут друзья пришли на перекресток, где дорога, которой думал ехать Рейнгольд, сворачивала налево.

-- Здесь расстанемся мы, -- воскликнул Рейнгольд и, крепко прижав Фридриха к своей груди, вскочил на лошадь. Фридрих, ошеломленный всем услышанным, долго смотрел ему вслед, а затем тихо отправился домой, волнуемый бурным потоком новых, неожиданных мыслей.

КАК МЕЙСТЕР МАРТИН ПРОГНАЛ ОТ СЕБЯ ФРИДРИХА

На другой день утром мейстер Мартин, в самом ворчливом настроении духа, трудился над большой бочкой епископа Бамбергского. Фридрих, который лишь теперь почувствовал всю горечь разлуки с Рейнгольдом, молча ему помогал. Ни слова, ни песни не шли ему на ум. Наконец мейстер Мартин с сердцем бросил на пол колотушку и, всплеснув обеими руками, воскликнул печальным голосом:

-- Ну вот и Рейнгольд меня оставил! А как долго, подумай, он, будучи живописцем, дурачил меня своим бочарным мастерством! Но если бы только мог я это подозревать, когда он, вместе с тобой, явился ко мне в дом! Умел бы я тогда указать ему на дверь! Этакое честное на вид лицо, а в душе ложь и обман! Останься верен хоть ты нашему доброму бочарному ремеслу! Кто знает, насколько станем мы еще ближе друг к другу. Если ты сделаешься исправным бочаром и Роза тебя полюбит, то... ну, ты меня понимаешь и, конечно, потрудишься для такой награды.

Сказав это, он поднял колотушку и опять усердно принялся за работу, Фридрих же с удивлением заметил, что слова мейстера Мартина точно какой-то тяжестью легли на его сердце, отуманив страхом все проблески надежды. Роза после долгого отсутствия опять стала приходить в мастерскую, но казалась погруженной в глубокую задумчивость. След какой-то грусти лежал на ее лице, да и глаза часто бывали заплаканы. "Она плачет о нем! Она его любит!" -- так появилось вновь подозрение в сердце Фридриха, и от тоски не смел он даже взглянуть в лицо той, которую так невыразимо любил!

Большая бочка наконец была окончена, и мейстер Мартин, любуясь на свое новое, вполне удавшееся произведение, стал опять весел и счастлив.

-- Да, дружок, -- говорил он, трепля Фридриха по плечу, -- сумей только понравиться Розе, сделай такую же штучку и будешь моим зятем! Тогда для большей чести, можешь, пожалуй, записаться и в цех мейстерзингеров!

Заказы между тем сыпались на мейстера Мартина со всех сторон, так что он должен был нанять еще двух подмастерьев. Это были здоровые, но грубые ребята, одичавшие от долгих скитаний. Грубые плоские шутки и дикие мужицкие песни заменили прежний веселый разговор и стройное пение Рейнгольда с Фридрихом в мастерской мейстера Мартина. Роза совсем перестала туда ходить, так что Фридрих мог видеть ее только мельком. Если ему удавалось встретить ее и с горестью сказать: "Ах, милая Роза! Если бы вернулось то счастливое время, когда, помните, вы были так милы и ласковы при Рейнгольде", она опускала глаза и, прошептав: "Я, право, не знаю, чего же вы от меня хотите", поспешно уходила. Печально смотрел тогда Фридрих ей

вслед. Сладкий миг свиданья улетал точно молния, что сверкнет в лучах заката и исчезнет, прежде чем мы успеем заметить ее.

Мейстер Мартин настаивал, чтобы Фридрих начал постройку своей образцовой бочки на звание мастера. Он сам выбрал из своих запасов прекрасное, чистое дубовое дерево, без малейшего сучка или иного порока, которое лежало у него уже больше пяти лет, и решил, что никто не будет помогать Фридриху, кроме старого Валентина. Мысль, что работа эта навсегда решит его судьбу, невольно сжимала сердце бедному Фридриху, а грубость новых подмастерьев все более и более отвращала его от бочарного ремесла. Страх, который он невольно ощутил при словах мейстера Мартина, когда тот похвалил его прилежание к своему любимому мастерству, усиливался с каждым днем. Он чувствовал, что погибнет и заплесневеет навек, променяв свое дорогое искусство на грубое простое ремесло, и это до глубины возмущало его душу.

Написанный Рейнгольдом портрет Розы не выходил из его головы, но и его собственное искусство представлялось ему в полном блеске. Часто, когда это чувство просыпалось в нем с особенной силой, покидал он мастерскую и бежал в церковь святого Зебальда, где, по целым часам, стоял перед превосходным памятником Петера Фишера, восклицая: "О Боже! Боже! Задумать и исполнить такое произведение! Есть ли на свете что-нибудь прекраснее!" И затем, когда, возвратясь опять к своим обручам и доскам, вспоминал он, что только этим путем может получить свою Розу, ему казалось, что миллион раскаленных когтей терзало и рвало его сердце и что страшная сила тащит его к неминуемой гибели.

Часто во сне видел он, будто Рейнгольд приносит ему новые рисунки или дивные скульптурные произведения, в которых Роза была изображена то в виде цветка, то в виде ангела с крыльями. Но при этом казалось ему, что в изображениях этих чего-то недоставало, и, присмотревшись, замечал он, что Рейнгольд упустил из виду выражение ее сердечности и чистоты. Тогда, как безумный, схватывал он резец или кисти и с восторгом пририсовывал недостающее. Мертвый материал оживал под его руками; цветы и листья начинали шевелиться и испускать чудный аромат; благородные металлы в своем сверкающем зеркале являли ему образ Розы, и когда он простирали к ней страстные руки, изображение исчезало, точно в тумане, а Роза сама, живая и прелестная, горячо прижимала его к своему любящему сердцу.

Когда работа в мастерской делалась ему уже совершенно невыносимой, убегал он искать отрады к своему старому учителю Гольцшюэру, который охотно позволял, чтобы Фридрих занимался в его мастерской какой-нибудь чеканкой. Золото и серебро для этой работы покупал он на тщательно сберегаемое жалованье, которое

платил ему мейстер Мартин. Мало-помалу посещения эти сделались так часты, что он почти перестал ходить в мастерскую мейстера Мартина, и изготовление большой бочки почти не продвигалось. Сам он похудел и пожелтел, точно после тяжкого недуга. Мейстер Мартин строго выговаривал ему за леность, требуя, чтобы он работал, по крайней мере, столько, сколько позволяли силы, и Фридрих должен был снова стать у ненавистной ему колоды и взять в руки скобель. Раз во время его работы мейстер Мартин, вздумав осмотреть приготовленные им доски, до того рассердился, что даже побагровел в лице.

-- Это что за работа? -- расходился не на шутку старик. -- Ученик стругал эти доски или подмастерье, который собирается быть мастером? Что с тобой, Фридрих, какой дьявол в тебя вселился? Мои прекрасные дубовые доски испорчены!

Фридрих, не будучи более в силах сдерживать порыва терзавших его мук, отбросил скобель и воскликнул:

-- Мейстер Мартин! Что бы со мной ни было, но продолжать таким образом я не могу, если бы даже пришлось мне погибнуть в нищете! Ремесло ваше мне противно, и я должен возвратиться к моему дорогому искусству. Я люблю Розу, как никто на свете любить не может. Для нее одной взялся я за этот ненавистный труд. Знаю, что потерял ее навсегда, и может быть, не перенесу этого горя, но все-таки возвращусь к моему прекрасному искусству, к моему почтенному господину Гольцшюэру, оставленному мной так постыдно!

Мейстер Мартин остолбенел, глаза его загорелись, как две свечи; от ярости почти не в силах говорить, он, запинаясь, пробормотал:

-- Как!.. Мерзкое ремесло?.. Ложь и обман!.. Вон из моего дома, негодяй! Вон, вон сию же минуту!

И схватив бедного Фридриха за плечи, мейстер Мартин вытолкнул его из мастерской. Злобный смех новых работников раздался ему вслед. Только один старый Валентин, горько всплеснув руками и крепко задумавшись, прошептал:

-- Недаром всегда мне казалось, что у малого на уме что-нибудь повыше простого строгания!

Марта горько плакала о бедном Фридрихе, а дети ее еще больше, вспоминая, как он всегда был с ними ласков и какие славные покупал им пряники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как ни зол был мейстер Мартин на Рейнгольда и Фридриха, однако, должен был сам сознаться, что с их уходом исчезли в его мастерской

прежняя веселость и общее довольство; новые подмастерья только сердили его с утра до вечера. О каждой мелочи ему приходилось заботиться самому, если бы он не хотел, чтобы работа была испорчена, и часто, утомленный к вечеру этими пустыми хлопотами, внутренне восклицал он: "Ах, Рейнгольд и Фридрих! Если бы вы не поступили со мной так скверно и остались добрыми бочарами!" Бывали даже такие минуты, что он серьезно думал бросить бочарное дело.

В таком печальном настроении сидел мейстер Мартин однажды вечером в своей комнате. Вдруг двери неожиданно отворились, и Якоб Паумгартнер вместе со старым господином Гольцшуэром зашли к нему в гости. Уже с первых слов мейстер Мартин смекнул, что речь будет о Фридрихе, и действительно, Паумгартнер скоро свернул разговор на него, а Гольцшуэр начал рассыпаться во всевозможных похвалах молодому человеку. Он уверял, что при своем трудолюбии и таланте Фридрих не остановится на простой чеканке, но, несомненно, достигнет высокой степени совершенства и в искусстве литья статуй, пойдя по следам знаменитого Петера Фишера. Паумгартнер же, перебив его, стал внушительно журить мейстера Мартина за недостойный поступок, жертвой которого стал бедный подмастерье, а в заключение оба напали на старика с просьбами не упрямитесь и согласиться отдать Фридриху Розу, если только она его любит и если Фридрих, как можно было вполне ожидать, сделается искусным художником.

Мейстер Мартин дал им договорить до конца, а затем, сняв свою шапочку, возразил с улыбкой:

-- Не знаю, господа, почему вы заступаетесь за подмастерья, который так оскорбил своего хозяина! Но, впрочем, я ему это прощаю. Что же касается моего твердого решения относительно Розы, то я просил бы вас на этом не настаивать.

В эту минуту вошла в комнату Роза, вся бледная, с заплаканными глазами, и молча поставила перед гостями стаканы с вином.

-- Ну, -- сказал Гольцшуэр, -- в таком случае и я должен уступить желанию Фридриха: он хочет навсегда покинуть свой родной город. Он сделал у меня славную вещицу и собирается, если вы, дорогой мастер, позволите, подарить ее на память вашей Розе, -- взгляните-ка.

С этими словами Гольцшуэр вынул маленький, чрезвычайно искусно сработанный серебряный бокал и подал его мейстеру Мартину, большому любителю редких, хороших вещей. Вещица эта в самом деле достойно возбудила внимание старика своей превосходной работой. Прелестная гирлянда виноградных листьев и роз обвивала бокал снаружи, и из каждого цветка выглядывала очаровательная ангельская головка. Внутри, на позолоченном дне, также были награвированы улыбающиеся личики ангелов. Когда же бокал наполнялся вином, то

ангелы эти, сквозь плескавшуюся струю, казалось, оживали и смеялись на самом деле.

-- Бокал и вправду сделан очень тонко, -- с довольным видом сказал мейстер Мартин, -- но я оставляю его у себя только в том случае, если Фридрих согласится принять от меня чистым золотом двойную его цену.

Произнеся эти слова, мейстер Мартин наполнил бокал вином и поднес его к губам. В эту минуту дверь отворилась, и Фридрих, бледный, расстроенный мыслью о вечной разлуке с возлюбленной, показался на пороге.

-- Фридрих! -- отчаянным голосом воскликнула Роза и, забыв все, бросилась в его объятия.

Мейстер Мартин, увидя Розу, припавшую к груди Фридриха, отшатнулся, точно перед ним были привидения. Он поставил бокал на стол, но затем тотчас взял его опять и, посмотрев внимательно на дно, вдруг вскочил со своего стула и воскликнул:

-- Роза! Любишь ли ты Фридриха?

-- Ах! -- прошептала Роза. -- Люблю! люблю! Больше я не в силах молчать! Сердце разрывалось у меня в груди, когда вы его прогнали!

-- Так обними же свою невесту, Фридрих! Да! Да! Свою невесту! -- крикнул мейстер Мартин.

Паумгартнер и Гольцшуер не могли прийти в себя от изумления, а мейстер Мартин, с бокалом в руке, продолжал:

-- О Боже, Боже! Ведь все, что предсказала старая бабушка, исполнилось: вещицу с собой принес, сладкий напиток струится, если в нее заглянуть, и ангелов рой веселится, смотри то к счастью твой путь! вещицу эту ты примешь, когда с ней он явится в дом, и сладко пришельца обнимешь, отцу не сказав о том! счастье и жизнь твоя в нем!.. О глупец я! Слепой глупец. Вот и вещица, и ангелы, и жених! Ну, дорогие друзья! Теперь хорошо, все хорошо! Зять наконец найден!

Только тот, чью душу смущал когда-нибудь злой сон, внушавший ему, будто он лежит в глубоком черном мраке могилы, сон, от которого он вдруг пробудился в светлый весенний день, полный благоуханий, солнечного блеска, в объятиях той, что всех дороже ему на земле, женщины, чье милое небесное лицо наклонилось к нему, только тот, кто это переживал, может понять чувства Фридриха, может представить себе всю полноту его блаженства. Безмолвно держал он Розу в своих объятиях, точно боясь опять ее потерять, пока, наконец, она тихонько не высвободилась сама и не подвела его к отцу. Тогда только, придя в себя, воскликнул он с восторгом:

-- И вы точно, мейстер Мартин, отдаете мне Розу? И я могу по-прежнему заниматься моим искусством?

-- Да, да! -- отвечал мейстер Мартин. -- Да и могу ли я поступить иначе? Ведь благодаря тебе исполнилось предсказание старой бабушки. Можешь оставить свою сорокаведерную бочку.

-- Если так, -- подхватил счастливый Фридрих, -- то и я сделаю вам удовольствие: немедленно примусь я за обещанную двойную бочку и, только окончив ее, возвращусь к литейной печи.

-- О мой милый, добрый мой сын! -- воскликнул мейстер Мартин, просияв от радости. -- Да, да! Кончай свою работу над бочкой, а там тотчас сыграем и свадьбу!

Фридрих честно исполнил обещание. Он сделал сорокаведерную бочку, и все мастера признали, что нелегко сделать вещь лучше этой. Мейстер Мартин был в полном восторге и от души говорил сам себе, что такого зятя послало ему само небо.

День свадьбы наконец наступил. Бочка работы Фридриха, наполненная лучшим вином и вся увитая цветочными гирляндами, была выставлена на пороге дома. Нюрнбергские бочары с Якобом Паумгартнером во главе, а также и золотых дел мастера, все с женами, собрались, чтобы проводить жениха и невесту.

Свадебное шествие готово уже был тронуться в путь к церкви святого Зебальда, где было назначено венчание, как вдруг на улице раздались звуки труб, и вслед затем множество всадников остановились у дома мейстера Мартина.

Мейстер Мартин поспешил к окну и увидел барона Генриха фон Шпангенберга, в великолепной праздничной одежде, а в нескольких шагах позади него, верхом на горячем коне, блистательного молодого рыцаря со сверкающим мечом на боку, с высокими пестрыми перьями на шляпе, украшенной искрящимися камнями. Возле рыцаря, на белом, как только что выпавший снег, иноходце, сидела богато одетая прекрасная благородная дама. Множество пажей и оруженосцев окружали их. Трубы умолкли, и старый Шпангенберг сказал:

-- Ну, мейстер Мартин! Не ради вашего погреба или золота являемся мы сюда, а чтобы присутствовать на свадьбе Розы! Хотите видеть нас вашими гостями?

Мейстер Мартин очень сконфузился, вспомнив слова, сказанные им Шпангенбергу, и поспешил любезно принять гостей. Старый Шпангенберг, соскочив с лошади, вошел в дом; пажи, подбежав к прекрасной даме, сложили руки в виде стремени, чтобы помочь ей сойти, а затем рыцарь, взяв ее под руку, повел вслед за Шпангенбергом. Мейстер Мартин, как только взгляделся ближе в лицо рыцаря, отскочил шага на три назад и воскликнул, всплеснув руками:

-- О Господи Боже! Конрад!

Рыцарь, улыбнувшись, отвечал:

-- Да, дорогой хозяин! Ваш подмастерье Конрад! Простите ли вы теперь мне рану, которую я вам нанес? Вы понимаете, что ведь я имел бы право вас убить, ну да, слава Богу, все обошлось благополучно.

Мейстер Мартин, совершенно уничтоженный, пробормотал, что он очень рад тому, что остался в живых, а о нанесенной ему царапине не стоит и говорить.

Когда гости вошли в дом, все бывшие там пришли в радостное изумление, увидя прекрасную молодую даму, которая до того походила на Розу, что казалась была ее близнецом. Рыцарь подошел к милой невесте и с благородной учтивостью сказал:

-- Позвольте ли вы, прекрасная Роза, чтобы Конрад присутствовал на вашей свадьбе? Не правда ли, вы не сердитесь более на вашего дикого подмастерья и прощаете ему, если он сделал вам какую-нибудь неприятность.

Старый Шпангенберг видя, что жених, невеста и мейстер Мартин не могут прийти в себя от изумления, воскликнул:

-- А теперь я вам все объясню. Это мой сын Конрад, а вот и жена его, которую зовут также Розой. Помните, мейстер Мартин, наш разговор, когда я спрашивал, согласились ли бы вы отдать вашу дочь моему сыну? Ведь я это спрашивал с намерением. Молодец мой был страстно влюблен в вашу дочь и просил меня, во чтобы то ни стало, позволить ему посвататься. Когда же я ему передал ваш суровый ответ, он имел глупость явиться к вам в качестве подмастерья, чтобы только заслужить благосклонность вашей Розы и вашу. Ну, да вы удачно выбили из него дурь своей палкой! Большое вам за то спасибо, мейстер Мартин. Теперь он нашел себе жену из равного с ним дома, и, по всей вероятности, она и была той Розой, которая царила в его сердце и которую он думал, что любит в лице вашей дочери.

Молодая дама тем временем ласково поздоровалась с Розой и подарила ей на свадьбу прекрасное жемчужное ожерелье.

-- Смотри, милая Роза, -- сказала она, сняв со своей груди букет засохших цветов, -- вот цветы, которые ты дала моему Конраду в день его победы на лугу. Он свято берег их до того дня, когда увидел меня. Тогда он изменил тебе и подарил их мне. Не сердись же на него за это.

Роза, вся вспыхнувшая, отвечала, опутив глаза в землю:

-- Ах, благородная госпожа! Как вы можете так говорить? Виданное ли дело, чтобы рыцарь мог полюбить бедную, простую девушку? Вас одну он любил, а свататься ко мне думал только потому, что зовут меня тоже Розой, и я, как говорят, немного на вас похожа, но мысли его были только о вас.

Шествие уже во второй раз готово было двинуться в путь, как вдруг вошел молодой человек одетый на итальянский лад, весь в черном бархате, с белым кружевным воротником и прекрасной золотой цепью на шее.

-- Рейнгольд! Мой Рейнгольд! -- воскликнул Фридрих и бросился обнимать своего друга. Даже невеста и сам мейстер Мартин радостно вскрикнули, обрадованные его возвращением.

-- Ведь я тебе говорил, -- молвил Рейнгольд, горячо обнимая Фридриха, -- что все кончится благополучно! Я приехал издалека, чтобы присутствовать на твоей свадьбе и привез тебе картину, которую ты должен повесить в своем доме, так как я написал ее для тебя.

Тут он сделал знак, и двое слуг внесли большую картину, на которой было изображено, как мейстер Мартин трудится в мастерской над большой бочкой со своими подмастерьями Фридрихом, Рейнгольдом и Конрадом, а в дверь как раз входит Роза. Все присутствовавшие были поражены правдивостью этого произведения искусства и великолепием красок.

-- Ну, -- сказал, смеясь, Фридрих, -- это, верно, твоя бочарная работа на звание мастера? Моя стоит там внизу, но скоро и я займусь другим делом!

-- Знаю, знаю, -- ответил Рейнгольд, -- и радуюсь за тебя всем сердцем. Оставайся верен твоему искусству, которое ничем не хуже моего, да и более сподручно для семейного человека.

За свадебным столом Фридрих сидел между двумя Розами, а против него мейстер Мартин, между Рейнгольдом и Конрадом. Паумгартнер наполнил вином бокал Фридриха до самых краев, провозгласив здоровье мейстера Мартина и его славных подмастерьев. Потом бокал пошел по кругу, начав с барона Генриха фон Шпангенберга, а за ним и все почтенные мастера, сидевшие за столом, осушили этот бокал за здоровье мейстера Мартина и его добрых подмастерьев.

* * *

По окончании чтения Сильвестра друзья единогласно решили, что рассказ достоин клуба Серапионовых братьев, и в особенности хвалили господствовавший в нем светлый, сердечный тон.

-- Мне должно быть суждено уже всегда критиковать, -- сказал Лотар, -- и потому я замечу, что, по-моему, мейстер Мартин слишком резко напоминает свое происхождение от картины. Сильвестр, вдохновленный картиной Кольбе, нарисовал целую галерею других картин, правда, живых и ярких, но зато только картин, в которых не видно ни малейшего движения, как бы этого требовала драматичность рассказа. Конрад со своей Розой и Рейнгольд являются единственно для того, чтобы украсить и сделать торжественнее свадьбу Фридриха. Сверх того, если бы мне не была хорошо известна манера Сильвестра и если бы простой, повествовательный тон не был выдержан во всей его истории, то я бы подумал, что он своим Конрадом хотел просто

осмеять героев наших новейших романов, представляющих замечательную смесь глупости, грубости и вместе с тем чувствительной любезности. Люди эти только называют себя рыцарями, тогда как в них и похожего ничего нет на настоящие рыцарские черты, и их совершенно достойно разбил в пух и прах Вейт Вебер со своими последователями.

-- Рыцарскую ярость, -- перебил Винцент, -- ты вывел, друг Сильвестр, впрочем, очень удачно. Непростительно только, зачем позволил ты безнаказанно огреть дворянскую спину палкой. Истинный рыцарь непременно разбил бы за то мейстеру Мартину голову, а потом бы учтиво попросил извинения и предложил бы даже вылечить каким-нибудь таинственным средством. Может быть, его приросшая голова стала бы после этого умнее. Единственный пример, на который ты можешь сослаться в извинение твоей оплошности, -- это несравненный Дон-Кихот. Он, как известно, был много раз бит в награду за свою храбрость, любезность и великодушие.

-- Браните, браните! -- смеясь, возразил Сильвестр. -- Предаю себя в ваши руки и утешаюсь надеждой заслужить одобрение хотя бы от женщин. Те, которым я читал моего мейстера Мартина, остались очень им довольны и искренно хвалили всю повесть.

-- Ну, такая похвала из прекрасных уст, -- заметил Оттмар, -- конечно, заманчива и может вдохновить иного романтика написать немало глупостей. Но, однако, если я не ошибаюсь, кажется, Лотар обещал опять поделиться с нами сегодня своими фантастическими бреднями.

-- Как же, как же! -- отвечал Лотар. -- Вы помните, я собирался написать для детей моей сестры другую сказку, в менее фантастическом роде и ближе подходящую к детским понятиям, чем "Щелкунчик и мышиный король". Сказка готова, и вы ее сейчас услышите.

Лотар прочел:

НЕИЗВЕСТНОЕ ДИТЯ

БАРОН БРАКЕЛЬ ФОН БРАКЕЛЬГЕЙМ

Жил был однажды дворянин по имени Таддеус фон Бракель; жил он в маленькой деревушке Бракельгейм, доставшейся ему в наследство от покойного отца и составлявшей все его достояние. Четверо крестьян, бывшие единственными, кроме него, жителями этой деревни, с почтением называли Бракеля господином бароном, хотя он с виду

нисколько не отличался от них: ходил точно так же с длинными, плохо причесанными волосами и только по воскресеньям, отправляясь со своей женой и двумя детьми, Феликсом и Христлибой, в соседнюю церковь, снимал свой ежедневный рабочий камзол и облакался в светлый, сшитый из зеленого тонкого сукна кафтан и красный, обложенный золотыми шнурками жилет, так красиво на нем сидевшие.

Крестьяне очень уважали своего помещика, и когда путешественники спрашивали, как пройти к господину Бракелю, то они всегда отвечали: "Все прямо через деревню, а там будет от березового леска поворот на гору к замку; тут и живет сам почтенный барон". Каждый, однако, хорошо знает, что замком обыкновенно называется большое высокое здание, с многими окнами, дверями и башнями, с развевающимися на них флагами, но о чем-либо подобном не было и помину в жилище барона Бракеля. Это был просто маленький домик с небольшими окнами и такой низенький, что заметить его можно было только подойдя к нему почти вплотную. Но зато, если подходя к настоящему замку путешественник ощущает невольно какое-то неприятное чувство, почуяв холодный воздух, веющий из его бойниц и подземелий, а взглянув в неподвижные глаза каменных статуй, стоящих точно суровые стражи на стенах и воротах, не только теряет охоту войти, а, напротив, рад стремглав убежать, то дом барона Бракеля производил на приходящих гостей совершенно противоположное впечатление.

Уже в лесу гибкие, беленькие березы, тихо качая зелеными ветвями, казалось, ласково кланялись пришельцу, а ветерок, тихо шелестя листьями, как будто приветливо шептал: "Милости, милости просим!" То же самое и в домике: маленькие чистые окна, выглядывая из заросших до самой крыши гибким плющем стен, казалось, совершенно ясно говорили: "Заходи, заходи, усталый путник, здесь ты отдохнешь и освежишься!" О том же щебетали и ласточки, перелетая с гнезда на гнездо, а серьезный аист, сидя на трубе, словно бы глубокомысленно говорил сам себе: "Вот уже которое лето живу я здесь, а нигде не находил жилища спокойнее и удобней, и, право, если бы мне не было написано на роду вечно странствовать, да не будь здесь зимой так дороги дрова, я поселился бы тут навсегда!" Так приветлив и мил казался всем дом барона Бракеля, вовсе не будучи роскошным богатым замком.

ПРИЕЗД ЗНАТНЫХ ГОСТЕЙ

Однажды утром госпожа Бракель встала очень рано и поспешно замесила большой сладкий пирог с миндалем и изюмом, положив их

такое множество, что он даже вышел вкуснее и душистее того, какой готовился ко дню Светлого Воскресенья. Тем временем господин Бракель старательно вычистил и выколотил свой зеленый кафтан с красным жилетом, а Феликс и Христлиба получили приказание надеть свои лучшие праздничные платья.

-- Сегодня, -- сказал им господин Бракель, -- вы не пойдете бегать в лес, а будете сидеть дома, чтобы достойно и прилично встретить вашего почтенного дядюшку.

Солнышко между тем весело проглянуло сквозь туман и ярко осветило комнаты; ветерок зашумел в лесу; зяблики, чижи, соловьи радостно затянули свои песенки. Христлиба сидела спокойно и чинно за столом, тербя ленты своего кушака или принимаясь за свое вязание, которое, однако, шло в этот раз почему-то очень плохо. Феликс, которому отец дал в руки книгу с прекрасными картинками, рассеянно перебирал листы, искоса поглядывая на березовый лесок, где обыкновенно играл и резвился по несколько часов каждое утро. "Ах! Как там, наверное, хорошо!" -- вздыхая, шептал он про себя. Когда же его большая любимая собака Султан, выбежав из дома и побегав некоторое время в лесу, остановилась с громким лаем перед окошком, точно говоря: "Ну что же ты, разве не пойдешь сегодня в лес? Зачем ты сидишь в душной комнате?", то Феликс не мог более удержаться и громко воскликнул:

-- Милая матушка! Пустите меня побегать хоть одну минутку!

Однако госпожа Бракель не слушала его просьбы, а, напротив, строго отвечала:

-- Нет, нет, сегодня ты будешь сидеть дома; а то ведь я знаю, что бывает, когда вы с Христлибой отправитесь в лес: начнете прыгать по пням, по кустарникам, вернетесь домой испачканные, оборванные, так что дядюшка, пожалуй, сочтет вас за грязных крестьянских ребятишек и не поверит, чтобы так мог ходить кто-нибудь из баронов Бракелей, все равно маленьких или взрослых.

Феликс с недовольным видом стал перелистывать свою книгу, проворчав про себя почти сквозь слезы:

-- Если наш почтенный, знатный дядюшка называет крестьянских детей грязными, то значит он не видал ни Волльрадова Петера, ни Гентшелеву Лизу, да и никого из нашей деревни, потому что я не знаю, могут ли быть дети милее и красивей.

-- Правда, правда, -- воскликнула, точно вдруг проснувшись, Христлиба, -- а дочка Шульца Гретхен! Можно ли быть лучше, чем она, хотя у нее и нет таких лент на платье, как у меня!

-- Полноте болтать вздор! -- остановила детей рассерженная госпожа Бракель. -- Вы еще не в состоянии понимать, что говорит и думает почтенный господин наш дядюшка.

Словом, никакие просьбы и вздохи детей о том, как хорошо было бы сегодня в лесу, не помогли; оба, и Феликс и Христлиба, должны были находиться в комнате, что было тем прискорбнее, что и сладкий пирог, стоявший на столе и манивший детей своим аппетитным запахом, должен был оставаться нетронутым до приезда дядюшки.

-- Ах! Хоть бы они поскорее приехали! -- восклицали они, чуть не плача от нетерпения.

Наконец послышался вдали лошадиный топот, и скоро к крыльцу подкатила карета, такая блестящая и так искусно украшенная золотыми бляхами, что дети ахнули от изумления, никогда не видав чего-либо подобного. Длинный, сухой господин вышел из кареты с помощью егеря, откинувшего подножку, и, обняв не стигбаясь Бракеля, дважды приложил свои щеки к его губам, проговорив:

-- Bon jour*, любезный родственник! Пожалуйста, не конфузьтесь!

** Добрый день (франц.).*

Егерь между тем помог выйти из кареты маленькой толстой даме, а затем вынул из нее еще двух детей, мальчика и девочку, очень осторожно спустив их на землю. Феликс и Христлиба тотчас же подошли к высокому господину и, взяв его, как было им приказано родителями, один за одну, а другая за другую руку, поцеловали их со словами:

-- Милости просим, многоуважаемый господин дядюшка!

Затем сделали то же самое с приехавшей дамой, сказав:

-- Милости просим, многоуважаемая госпожа тетушка!

Обратившись, наконец, к приехавшим детям, оба даже как будто немножко растерялись, впервые увидев такую нарядную одежду.

Мальчик был в великолепных, расшитых золотом панталонах и камзоле темно-красного сукна; на боку его была прицеплена маленькая блестящая сабля, а на голове надета красная с белым пером шапочка, из-под которой он как-то особенно смешно и глупо выглядывал со своим бледным, одутловатым лицом и маленькими, заспанными глазами. Девочка была одета так же, как и Христлиба, в белое платье, но только с невообразимым множеством бантов и лент. Волосы ее были заплетены в несколько вздернутых кверху кос, а на голове сияла маленькая блестящая корона. Христлиба хотела было дружелюбно взять ее за руку, но та вдруг скорчила такую кислую, плаксивую гримасу и так поспешно отдернула руку, что бедная Христлиба даже испугалась. Феликс тоже вздумал было поближе посмотреть на хорошенькую саблю своего гостя, но тот во все горло закричал:

-- Сабля! Моя сабля! Он хочет отнять мою саблю! -- и, проворно убежав, спрятался за высокого господина.

Феликс покраснел от негодования и крикнул:

-- С чего ты взял, что мне нужна твоя сабля? Глупый ты мальчик!

Последние слова, правда, он пробормотал совсем тихо, но господин Бракель их слышал и строго его остановил словами:

-- Ну, ну! Феликс!

Толстая дама между тем сказала:

-- Герман! Адельгунда! Не бойтесь! Дети не сделают вам ничего дурного. Не будьте такими капризными.

А сухой господин, заметив: "Они сами познакомятся!", подхватил под руку госпожу Бракель и вошел с ней в дом. Господин Бракель подал руку толстой гостье, а за ней в дом побежали Герман и Адельгунда. Феликс и Христлиба остались одни.

-- Наконец-то разрежут пирог! -- шепнул Феликс сестре.

-- Ах, да, да! -- весело воскликнула Христлиба.

-- А потом мы побежим в лес! -- добавил Феликс.

-- И не будем водиться с этими приезжими недотрогами, -- подхватила Христлиба.

Сказав это, дети в два прыжка очутились в комнате. Герману и Адельгунде сладкого пирога не дали, потому что это могло, как сказали родители, испортить им желудки. Взамен они получили по сухарику, которые егерь вынул из принесенной коробки. Зато Феликс и Христлиба с наслаждением приложились к сладкому пирогу, который матушка полновесными кусками разделила между всеми присутствовавшими.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ

ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЗНАТНЫХ ГОСТЕЙ

Приезжий гость, называвшийся Киприанус фон Бракель, приходился родственником нашему Бракелю, хотя и был родом значительно знатнее его. Он не только пользовался титулом графа, но носил на каждом из своих верхних платьев по большой, вышитой серебряной звезде; вышитая звезда была даже на его простыни для бритья, потому, наверное, когда он год назад посещал Таддеуса Бракеля, еще без толстой дамы, которая была его женою, и без обоих детей, Феликс его спросил:

-- Вы, верно, почтенный господин дядюшка, король?

Феликс вспомнил одну виденную им картину, где был нарисован король с точно такою же звездой, потому и заключил, что дядюшка тоже король, если носит такие ордена. Дядюшка очень смеялся над этим вопросом и отвечал:

-- Нет, любезный племянник, я не король, но верный его слуга и министр и управляю многими людьми. Если бы ты происходил от Бракелей по прямой линии, то мог бы надеяться со временем носить такую же звезду, как и я, но ты не более, как просто "фон", из которого многого выйти не может.

Феликс ровно ничего не понял из дядюшкиных слов, а господин Таддеус Бракель и не счел нужным ему их объяснять.

В этот свой приезд дядюшка, сидя за столом, вспомнил и рассказал историю о том, как Феликс решил, что он король, своей жене, и та с восхищением воскликнула: "О трогательная, святая невинность!" Мать позвала Феликса и Христлибу из их уголка, где они доедали остатки миндального пирога, утерла им рты и подвела к дядюшке и тетушке, которые поцеловали по разу обоих, приговаривая:

-- О милые, милые дети! О деревенская простота! -- а затем сунули каждому в руки по какому-то свертку.

Господин Таддеус Бракель и его жена чуть не заплакали от умиления при таком знаке милости от своих знатных родственников, а Феликс, открыв сверток и обнаружив в нем вкусные конфеты, стал с удовольствием их грызть, в чем ему охотно помогала Христлиба. Дядюшка, увидя это, воскликнул:

-- Детки! Детки! Так нельзя! Вы можете испортить себе зубы; конфеты надо сосать, пока они не распустятся во рту сами, а не грызть.

Феликс, услышав его, громко захохотал и воскликнул:

-- Ну что ты, дядюшка! Уж не думаешь ли ты, что я грудной ребенок и умею только сосать! Посмотри-ка какие у меня крепкие зубы! -- и с этими словами он взял в рот несколько конфет сразу и так принялся их грызть, что зубы захрустели.

-- О милая наивность! -- воскликнула толстая дама вместе со своим мужем, но у господина Таддеуса Бракеля выступили капли холодного пота на лбу; так он был сконфужен поведением Феликса.

Госпожа Бракель поспешила шепнуть Феликсу на ухо:

-- Да перестань же так хрустеть зубами, негодный мальчишка!

Это совсем обескуражило Феликса, совсем не понимавшего, что он сделал такого дурного. Потихоньку вынул он изо рта еще непережеванные конфеты, положил их опять в сверток и сказал, подавая его дядюшке назад:

-- Возьми твой сахар себе, если его нельзя есть.

Христлиба, привыкшая во всем подражать Феликсу, сделала то же самое! Тут уже господин Таддеус Бракель не выдержал и громко воскликнул:

-- Ах, многоуважаемый господин родственник! Прошу вас, не осудите моего дурачка! Где ему было здесь в деревне набраться хороших манер? Ведь воспитать детей так, как вы воспитали своих, могут очень немногие.

Граф Киприанус Бракель самодовольно засмеялся и важно посмотрел при этом на Германа и Адельгунду, которые уже давно съели свои сухари и чинно сидели на стульях, не шевеля ни пальцем, ни бровью. Толстая дама улыбнулась и прибавила:

-- Да, любезный родственник, воспитание детей было всегда нашей первой заботой! -- при этом она незаметно сделала мужу знак, и тот немедленно предложил Герману и Адельгунде множество вопросов, на которые они ответили, как по писаному, без запинки.

Тут речь была и о городах, и о реках, и о горах, лежавших за тысячи миль и носивших самые мудреные имена. Оба одинаково безошибочно рассказали о разных зверях, живущих в жарких странах, о невиданных деревьях, плодах и травах, рассказали так, будто сами видели те деревья и попробовали те плоды. Герман отлично описал битву, произошедшую триста лет тому назад, и назвал имена всех отличившихся генералов, а Адельгунда в заключение рассказала что-то о звездах, из чего дети поняли, что на небе будто бы есть какие-то странные звери и фигуры. Феликс слушал со смущением и наконец, не вытерпев, шепнул матери на ухо:

-- Матушка! Что они за вздор городят?

-- Молчи! -- строго остановила его госпожа Бракель. -- Это все науки. Феликс замолчал, а господин Таддеус Бракель в восторге воскликнул:

-- Это удивительно! Это непостижимо! В таком детском возрасте!

А госпожа Бракель прибавила почти со слезами:

-- Господи! Какие ангелы! Что же может выйти из наших детей в этом захолустье!

Таддеус Бракель стал громко горевать о том же, а граф Киприанус, слыша это, любезно обещал прислать им через некоторое время ученого воспитателя, который займется образованием их детей.

Между тем карета гостей была снова подана. Егерь вынул из нее два больших ящика, которые Герман и Адельгунда, по приказанию родителей, передали Феликсу и Христлибе.

-- Если вы, *mon cher**, любите игрушки, -- сказал при этом Герман, -- то вот вам самые лучшие.

** Мой дорогой (франц.).*

Феликс, стоявший с очень печальным лицом, машинально взял ящик и сказал:

-- Я не моншер, а Феликс, да и не вы, а ты.

Христлиба тоже готова была скорее заплакать, чем радоваться полученному подарку, хотя из ящика, который ей дали, несся такой чудный запах, что, казалось, он был наполнен самыми вкусными лакомствами. Когда гости выходили из дверей, Султан, верный друг и любимец Феликса, начал по обыкновению лаять и прыгать. Герман так

этого испугался, что заревел во все горло и не знал, куда ему спрятаться.

-- Что ты кричишь? -- сказал Феликс. -- Он тебя не укусит; это ведь только собака, а ты уверял, будто видел разных страшных зверей. Даже если бы он на тебя бросился, то на то у тебя есть сабля.

Слова Феликса, однако, не помогли, и Герман продолжал кричать по-прежнему, пока егерь, взяв его на руки, не посадил в карету. Адельгунда, глядя на брата, или Бог знает почему, нашла нужным расплакаться тоже, и в конце концов и добрая Христлиба, которая не могла видеть чужого горя, начала также потихоньку всхлипывать. Сопровождаемый криком и плачем детей граф Киприанус фон Бракель наконец уселся в карету и уехал; тем и кончилось посещение знатных родственников.

НОВЫЕ ИГРУШКИ

Едва карета графа Киприануса фон Бракеля и его семейства исчезла за поворотом горы, господин Таддеус поспешно снял свой зеленый кафтан с красным жилетом, а затем, надев свой обыкновенный камзол и расчесав раза два или три частым гребнем свои волосы, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:

-- Ну слава тебе, Господи!

Дети тоже мигом сбросили свои праздничные платья, а Феликс, чувствовавший себя как-то особенно привольно и легко, радостно закричал:

-- В лес! Теперь в лес! -- и при этом начал прыгать чуть не на высоту своего роста.

-- Разве ты не хочешь сначала посмотреть, что нам подарили Герман и Адельгунда? -- спросили госпожа Бракель и Христлиба, которая уже давно с нетерпеливым любопытством поглядывала на ящик, полагая, что времени побегать в лесу будет довольно и потом. Феликса, однако, не так легко было убедить.

-- Ну что! -- воскликнул он. -- Ну что могли нам подарить этот недотепа в красных штанах и его сестра в лентах? Болтает о каких-то науках, знает, где живут львы и медведи, умеет ловить слонов, а испугался моего Султана; ревет и прячется под стол, когда у самого висит на боку сабля. Хороший, нечего сказать, вышел бы из него охотник!

-- Ах, милый Феликс, -- возразила Христлиба, -- позволь мне открыть ящик и взглянуть хоть одним глазком!

Феликс был всегда рад доставить сестре удовольствие, а потому, отложив прогулку в лес, тотчас же терпеливо уселся за стол, где стояли

ящики. Матушка их отворила, и что же увидели дети! Без сомнения, мои любезные читатели, вы хорошо помните то счастливое время, когда в день ярмарки или в рождественский сочельник родители или добрые знакомые дарили вам множество разных интересных вещей. Вспомните, как вы радовались при виде всех этих блестящих солдатиков, шарманщиков, кукол, посуды, книжек с картинками и тому подобного добра! Вот точно так же обрадовались Феликс и Христлиба, увидя много прекрасных игрушек и лакомств, которые были в ящиках. Оба всплеснули руками от восторга и не могли удержаться, чтобы не воскликнуть:

-- Ах! Как здорово!

Только одни свертки с конфетами Феликс презрительно оттолкнул в сторону, и когда Христлиба стала его упрашивать не выбрасывать их, по крайней мере, за окно, что уже он совсем готов был сделать, то, вынув несколько конфет, он бросил их Султану, вертевшемуся около стола. Султан, обнюхав конфеты, отвернулся с недовольным видом.

-- Видишь, Христлиба, -- воскликнул Феликс с торжеством, -- даже Султан не хочет есть этой дряни!

Из подаренных вещей Феликсу очень понравился славный егерь, который, когда его дергали за привешенный под камзолом шнурок, поднимал ружье и очень верно попадал в цель, поставленную от него в трех футах. Также недурным нашел он маленького человечка-куколку, умевшего кланяться и начинавшего играть на арфе, когда его заводили ключом. Но всего более обрадовали Феликса деревянное ружье и охотничий нож, прекрасно посеребренные, а также гусарская шапка и патронташ. Христлиба нашла в своем ящике красивую куколку с полным домашним хозяйством для куклы. Занявшись игрушками, дети забыли про лес и проиграли до позднего вечера, пока не пришло время идти им спать.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НОВЫМИ ИГРУШКАМИ В ЛЕСУ

На другой день утром дети, проснувшись, начали с того, чем закончили накануне вечером -- опять вытащили свои новые игрушки и принялись продолжать прерванную игру. Солнышко, как и вчера, весело глядело в окна; свежий ветер шумел и гудел между ветвями берез; чижи, жаворонки и соловьи весело распевали свои песенки. Видя все это, Феликсу стало скучно с охотником, музыкантом и деревянным ружьем.

-- Побежим, Христлиба, в лес, -- сказал он сестре, -- ведь там всегда нам так хорошо!

Христлиба только что успела раздеть свою новую куклу и в это время собиралась одевать ее снова, что ей доставляло большое удовольствие, вот почему она и попросила брата остаться в комнате и еще немного поиграть с новыми игрушками.

-- Вот что, -- отвечал тот, -- пойдем в лес и возьмем игрушки с собой; я повешу на пояс охотничий нож, надену ружье через плечо и буду как настоящий охотник, а егерь и музыкант пусть бегут за мной. Ты также возьми свою куклу и что тебе более всего понравится из ее хозяйства; ну пойдем же, пойдем.

Христлиба проворно одела куклу, и они оба мигом побежали в лес, захватив с собой и игрушки. Прибежав, расположились они на прекрасном зеленом лужке, где Феликс заставил играть своего музыканта.

-- Знаешь что? -- сказала Христлиба. -- Ведь он играет совсем плохо; послушай, как звук струн неприятно раздается в лесу; только и слышно: клинг -- клинг, тинг -- тинг! -- даже птички как-то насмешливо выглядывают из кустов, точно смеются над глупеньким музыкантом, который вздумал играть тогда, когда они поют.

Феликс начал вертеть пружину и затем воскликнул:

-- Правда, правда! Он играет прескверно; мне даже становится стыдно перед чижигом, который посматривает на нас вон из того куста. Но он будет играть лучше! Обещаю тебе, будет! -- и Феликс до того сильно закрутил пружину, что вдруг раздалось "крак -- крак!", и ящик, на котором стоял музыкант, разломался на тысячу кусков.

-- Ай, ай! Бедный музыкантик! -- закричала Христлиба.

Феликс же, повертев несколько минут в руках сломанную им игрушку, сказал:

-- Э! Что об нем жалеть! Это был дурачок, который умел только бренчать да кривляться, как и наш братец в красных штанах! -- при этом, взяв музыканта за ноги, он швырнул его далеко в кусты.

-- Егерь лучше, -- прибавил он, -- тот, по крайней мере, умеет попасть в цель, -- и говоря так, он заставил его стрелять много раз кряду; затем остановился на минуту и сказал, подумав: -- Однако это довольно глупо, что он стреляет только в цель. Папа говорил, что настоящий охотник никогда на этом не остановится. Он должен стрелять в лесу оленей, коз, зайцев и притом на бегу. Долой его цель! -- и Феликс одним ударом сломал доску, в которую стрелял егерь.

-- Ну-ка, ну-ка! -- закричал он. -- Попробуй убить мне кого-нибудь теперь.

Но сколько ни дергал он за шнурок, егерь стоял с неподвижно опущенными руками; ружье не хотело ни подниматься, ни стрелять.

-- Ага! -- закричал Феликс. -- Ты в цель умеешь стрелять только в комнате, а не в лесу, как следует хорошему охотнику. Этак, пожалуй, ты испугаешься первой собаки и убежишь от нее со своим ружьем, как

недотепа братец убежал от Султана со своей саблей. Так убирайся же прочь! Мне тебя не надо! -- и егерь полетел в кусты вслед за музыкантом.

-- Давай теперь побегаем, Христлиба, -- сказал он сестре.

-- Ах да, да, -- радостно воскликнула та, -- и моя куколка побежит с нами. Вот будет весело!

Дети схватили куклу за обе руки и что было духу побежали с нею через пни и кусты, пока не добежали до большого, поросшего высоким камышом пруда, находившегося еще во владениях господина Таддеуса Бракеля и на котором он иногда стрелял диких уток. Тут дети остановились, и Феликс сказал:

-- погоди немного, я попробую подстрелить моим ружьем в тростнике утку, как папа.

В эту минуту Христлиба, взглянув на свою куклу, с испугом вскрикнула:

-- Боже, моя куколка! Что с нею сделалось?

Куколка действительно была в очень жалком виде. Оба во время бега не заметили, что колючие кусты, на которые они не обращали никакого внимания, разорвали ей все платье в клочки; обе ножки оказались сломанными, а хорошенького воскового личика почти нельзя было узнать: до того оно было избито и исцарапано.

-- Ах, моя куколка! Моя куколка! -- громко заплакала Христлиба.

-- Видишь, -- сказал Феликс, -- какую дрянь надали нам эти приезжие. Кукла твоя -- недотрога, которая не умеет ни бегать, ни играть без того, чтобы не испортить себя всю. Давай ее мне!

Христлиба подала куклу брату, а тот, прежде чем она успела ахнуть, забросил ее далеко в пруд.

-- Ты не жалеешь об этой глупышке, -- прибавил он сестре, -- дай мне только убить утку и тогда я подарю тебе все замечательные перышки, которые растут у нее на крыльях.

В тот же миг вдруг что-то зашевелилось в тростнике; Феликс мигом вскинул свое ружье, но тотчас же его опустил и сказал:

-- Какой же я смешной! Ведь чтобы стрелять, нужны порох и пули, а где мне их взять. Да если бы они у меня и были, то разве можно зарядить порохом деревянное ружье! На что же годна такая безделица? А нож! И он деревянный: им нельзя ни резать, ни колоть. Сабля глупого братца, верно, такая же, потому он и испугался Султана. Вижу, что весь этот подаренный хлам не годен ни на что.

Сказав все это, Феликс побросал в пруд и ружье, и нож и, наконец, сам патронташ.

Христлиба продолжала плакать и жалеть о своей загубленной куколке, а потому и Феликс был не совсем весел. Придя домой, он на вопрос матери, куда делись их новые игрушки, чистосердечно рассказал обо всем, что случилось с музыкантом, егерем, куклой,

ружьем и всем прочим. Госпожа Бракель очень рассердилась и назвала их плохими детьми, которые не умеют обращаться с хорошими, дорогими игрушками. Господин Таддеус Бракель, напротив, с заметным удовольствием выслушал рассказ Феликса и сказал жене:

-- Оставь детей, пусть делают что хотят. Я, наоборот, очень рад, что они сумели отделаться от вещей, которые их и связывали и мешали им.

Но, однако, ни дети, ни сама госпожа Бракель не поняли тогда, что хотел выразить этими словами их отец.

НЕИЗВЕСТНОЕ ДИТЯ

На другой день, рано утром, Феликс и Христлиба опять убежали в лес. Госпожа Бракель велела им вернуться пораньше, так как теперь следует больше сидеть дома и заниматься чтением и письмом, чтобы хорошенько подготовиться к встрече учителя, которого обещал прислать знатный дядюшка.

-- Хорошо, матушка, -- ответил Феликс, -- только позволь остаться в лесу хоть на часок, чтобы набегаться и напрыгаться вволю.

Прибежав в лес, начали они играть в охоту, представляя собаку и зайца, и успели так в короткое время устать, что вскоре игра должна была прекратиться поневоле. Много игр затевали они потом, но ни одна почему-то в этот раз не удавалась. То ветер, сорвав шапку Феликса, уносил ее в кусты, то вдруг, запнувшись на бегу, падал он прямо на свой нос, а то платье Христлибы, зацепившись за кустарник, рвалось в клочки, или она вдруг больно колола острым камнем ногу. Переиграв во все игры, они уже решительно не зная, что им еще начать, стали с недовольным видом бродить по лесу.

-- Скоро пойдем домой, -- сказал Феликс сестре, привольно разлегшись в тени дерева.

Христлиба последовала его примеру. Так пролежали они некоторое время, уставившись в голубое небо.

-- Ах, -- промолвила Христлиба, -- если бы у нас были наши хорошенькие игрушки!

-- Ну да! -- недовольно сказал Феликс. -- Для того только, чтобы их опять сломать! Верно, матушка была права, сказав, что мы не умеем обращаться с хорошими вещами. А знаешь почему? Потому что мы не учились наукам.

-- Правда, правда, -- воскликнула Христлиба, -- и если бы мы были ученые, как наши нарядные братец и сестрица, то, может быть, сумели бы сберечь и охотника, и музыканта, да и моя хорошенькая куколка не лежала бы в утином пруду! Какие же мы глупые! Ничего-то мы не знаем! -- и, сказав это, Христлиба начала горько плакать, а, глядя на

нее, и Феликс разревелся так громко, что плач обоих детей разнесся далеко по всему лесу.

-- Бедные, мы бедные! Ничего-то мы не знаем! -- голосили оба, но вдруг, внезапно остановясь, с изумлением взглянули друг на друга.

-- Христлиба, ты слышала?

-- Феликс! Ты видел?

В темной глубине кустарника, перед которым сидели дети, вдруг заколыхался какой-то странный свет, точно дрожащий луч месяца, когда, прорвав зеленый свод ветвей, он внезапно посеребрить листья деревьев. Тихий, приятный звук, похожий на нежные аккорды арфы, промчался по лесу. Странное чувство овладело сердцами детей; слезы радости, сменившие горе, заблестали в их глазах. Все светлее и светлее делалось в кустах, и все чище и чище раздавались звуки; у детей готово было выскочить сердце от восторга, когда вдруг, среди этого колеблющегося света, показалось прелестное детское личико, озаренное ласковой тихой улыбкой.

-- О приди, приди же к нам! -- разом воскликнули оба, вскочив со своих мест и бросившись навстречу милому видению.

-- Иду, иду! -- проговорил в кустах нежный голосок, и, вспорхнув точно на крыльях утреннего ветерка, незнакомое дитя плавно и тихо спустилось к Феликсу и Христлибе.

КАК НЕИЗВЕСТНОЕ ДИТЯ ИГРАЛО

С ФЕЛИКСОМ И ХРИСТЛИБОЙ

-- О чем вы так плачете, милые дети? -- спросил незнакомый ребенок. -- Ваш плач донесся до меня издали, и мне стало вас очень жаль.

-- Ах, мы и сами этого хорошенько не знаем! -- отвечал Феликс. -- Но теперь, мне кажется, мы плакали только оттого, что тебя с нами не было.

-- Правда, правда, -- подхватила Христлиба, -- и теперь, когда ты с нами, мы развеселились опять; где же ты пропадал так долго?

Обоим детям казалось, что они давно уже знакомы с неизвестным ребенком и играли с ним раньше; даже причина их горя теперь легко объяснилась долгим отсутствием их милого товарища.

-- Игрушек у нас больше нет, -- сказал Феликс, -- потому что вчера я, глупый мальчик, разбил и бросил все хорошенькие вещицы, которые подарили нам наши братец и сестрица, и нам теперь не с чем играть с тобою.

-- Ну так что же за беда, что ты их бросил, -- весело залепетало неизвестное дитя, -- значит они того стоили. А что касается игрушек, то оглянитесь оба и посмотрите, какое их множество вокруг вас.

-- Где же? Где? -- закричали дети.

-- А вы взгляните, -- продолжало дитя.

Феликс и Христлиба оглянулись и с изумлением увидели, что миллионы цветочков, выглянув из травы, смотрели на них живыми глазами. Тысячи разноцветных камешков и раковин сияли сквозь мягкий зеленый мох, а золотые жучки, танцуя и кружась, пели без умолку веселые, звонкие песенки.

-- Ну, дети! Давайте строить из этих камешков дворец! -- воскликнуло неизвестное дитя.

Феликс с Христлибой бросились собирать пригоршнями разбросанные по земле камушки; работа закипела, и скоро готовый дворец, с колоннадой, покрытый чешуйчатой золотой крышей, засверкал на солнце. Неизвестное дитя поцеловало цветы, поднимавшие сквозь траву свои головки, и каждый цветок, миглом взметнувшись вверх, обвил колонны прекрасными душистыми гирляндами, которые свешивались между ними, как роскошные зеленые арки, и под ними стали прыгать и резвиться дети. Маленький товарищ Феликса и Христлибы хлопнул в ладоши, и вдруг крыша дворца рассыпалась на тысячу кусочков; дети только тогда заметили, что она вся состояла из жучков, сцепившихся крылышками; колонны исчезли, точно растаяв, и на их месте забили из земли прозрачные ключи, по берегам которых росли чудесные цветы, склонявшиеся к ним головками и слушая сладкое журчание воды. Неизвестное дитя, нарвав сухих веток и трав, набросало их перед Феликсом и Христлибой, и каждая травка, падая, превращалась в хорошенькую куколку, а ветка в маленького егеря. Куколки танцевали вокруг Христлибы, карабкались к ней на платье и на руки, шептали разные ласковые слова. Егеря стали палить из ружей, затрубили в рога -- и вдруг зайцы выскочили из кустов; собаки помчались за ними; раздались выстрелы! Что это были за радость и потеха! А потом все это умчалось куда-то далеко-далеко Феликс и Христлиба с изумлением вскричали:

-- Где же куколки? Где егеря?

-- Они всегда с вами, милые дети, -- отвечал их маленький друг, -- и вам стоит только пожелать, как они опять к вам явятся, ну а как вы на счет того, чтобы сейчас побегать по лесу?

-- Конечно, да, да! -- сказали Феликс и Христлиба.

-- Так пойдемте же! -- воскликнул ребенок и, подхватив обоих за руки, помчался с ними по лесу. Но назвать это бегом было нельзя; все трое точно мчались по воздуху, почти не задевая земли; птицы то и дело попадались им на пути; дети поднимались все выше и выше.

-- Здравствуйте, здравствуйте! -- крикнул им сверху аист.

-- Не троньте меня, дети! -- крикнул испуганным голосом коршун. -- Я не стану больше таскать ваших голубков.

При этом коршун всеми силами старался убраться куда-нибудь подальше. Феликс хохотал от восторга, но Христлибе стало немного страшно.

-- Ах! Задыхаюсь! Я сейчас упаду! -- едва могла она проговорить. В тот же миг все трое плавно спустились на землю.

-- Теперь, -- сказал незнакомый ребенок, -- я сыграю вам на прощание лесную песенку и расстанусь с вами до завтра.

С этими словами он начал дуть в хорошенький золотой рожок, изогнутый наподобие блестящей цветочной чашечки. Весь лес встрепнулся от его чистого ровного звука. Соловьи, слетевшись со всех сторон, затаили свои песенки. Мало-помалу звуки стихли, а с ними вместе и неизвестное дитя скрылось в густых кустах, крикнув детям откуда-то издали:

-- До завтра, дети! До завтра!

А они были в таком восторге, что, кажется, не сознавали, что же такое с ними произошло.

-- Вот если бы теперь было уже завтра! -- воскликнули оба, спеша домой, чтобы поскорее рассказать родителям свои удивительные приключения в лесу.

КАК ГОСПОДИН И ГОСПОЖА БРАКЕЛЬ

ГОВОРИЛИ О НЕЗНАКОМОМ РЕБЕНКЕ

И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ

-- Право, мне кажется, дети все это видели во сне, -- так сказал господин Таддеус Бракель своей жене, слушая рассказы восхищенных детей о наружности, песнях, играх и вообще все об их новом, чудесном знакомце.

-- Но, впрочем, -- продолжал господин Бракель, -- если вспомнить, что оба рассказывали одно и то же и, следовательно, должны были видеть один и тот же сон, то я не знаю, что об этом и подумать.

-- Незачем много думать, -- прервала госпожа Бракель, -- я уверена, что этот ребенок просто сын школьного учителя из соседней деревни и что его зовут Готлиб. Все эти шалости и беганье в лесу -- его проделки, но я не хочу, чтобы это повторялось в другой раз.

Господин Бракель был совсем другого мнения, и Феликс с Христлибой были призваны еще раз с приказанием описать подробнее все, что особенного они заметили в наружности незнакомого им

раньше ребенка и как он был одет. Что касается наружности, оба в один голос отвечали, что у него было белое, как лилия, личико, розовые, как лепестки розы, щечки, яркие, как вишни, губы, голубые блестящие глаза, светлые золотые волосы, и все это вместе было так мило и хорошо, что более прелестного ребенка не случилось им видеть во всю жизнь. Об одежде оба также единогласно утверждали, что на нем не было ни голубой полосатой куртки, ни таких же панталон, ни черной кожаной фуражки, какие носил сын школьного учителя Готлиб. Но когда заходила речь о том, как же именно неизвестное дитя было одето, то рассказы их были до того путаны и противоречивы, что нельзя было ничего понять. Так Христлиба уверяла, что дитя было одето в легкое, блестящее платьице, сшитое из розовых лепестков, а Феликс, напротив, утверждал, что платье ребенка сверкало золотисто-зеленым цветом, как молодые листья на весеннем солнце. Что это не был сын школьного учителя, видно было, по словам Феликса, уже по тому искусству, с каким милый мальчик умел стрелять и охотиться, как будто всю свою жизнь провел в лесу и не занимался ничем другим, кроме охоты.

-- Ах, Феликс! -- перебила Христлиба. -- Как же можно называть охотником маленькую, хорошенькую девочку? Конечно, может быть, она смыслит кое-что и в охоте, но главное ее дело -- домашнее хозяйство. Посмотри, как мило помогла она мне одеть моих кукол и какие вкусные выучила готовить блюда!

Таким образом, оказалось, что Феликс считает неизвестное дитя мальчиком, а Христлиба, наоборот, девочкой, и оба никак не могли прийти к согласию по этому пункту. Госпожа Бракель полагала, что не стоит толковать с детьми о подобных глупостях, но господин Бракель сказал:

-- Я был бы готов сам пойти с детьми в лес и посмотреть, что это за чудесный ребенок, но, кажется, этим я испорчу им все, а потому лучше останусь дома.

На следующий день неизвестное дитя уже ожидало Феликса и Христлибу в урочный час в лесу. Вчерашние игры возобновились, и к ним присоединились новые чудеса, так что Феликс и Христлиба не переставали ахать от изумления. Оказалось, что неизвестное дитя умело во время игр разговаривать с деревьями, цветами и ручьями на их собственном языке. Все они ясно отвечали на его вопросы, и, что было еще удивительнее, Феликс и Христлиба точно так же ясно понимали этот язык.

-- Эй вы, беспокойный народ! Что вы там так трясетесь? -- крикнул ребенок в густую чащу осин.

-- Ха, ха, ха! -- весело откликнулись листья, задрожав от смеха. -- Мы радуемся вестям, которые примчал нам сегодня с гор и облаков дружок

утренний ветер. Он принес нам поклон от золотой королевы и обвеял целым морем сладкого аромата.

-- Полноте, дети, слушать этих пустомель, -- внезапно заговорили цветы, -- нечего им хвастать сладким ароматом, который принес им ветер; ведь он занял его у нас. Пусть листья шумят и лепечут свое, а вы, дети, займитесь нами! Ведь мы вас очень любим, и если одеваемся каждый день в такие яркие платья, то только затем, чтобы понравиться вам.

-- Да ведь и мы вас любим, наши милые цветы, -- сказала неизвестное дитя, а Христлиба, бросившись на землю и протянув обе руки, как будто желая обнять разом все цветы, воскликнула:

-- Ах да, любим, любим!

Феликс же добавил:

-- И я вас люблю за ваши яркие платья, но люблю также кусты и деревья за то, что они вас защищают своей листвой!

-- Что правда, то правда, -- загудели на это густые сосны, -- ты сказал верно, умный, хороший мальчик. Ты, конечно, нас не боишься даже тогда, когда мы сильно расшумимся порой, поссорившись с дядей буйным ветром.

-- Не боюсь, не боюсь! -- закричал Феликс. -- Напротив, у меня, как у всякого охотника, сердце прыгает от радости, когда вы расшумитесь!

Но тут прожурчал ручей:

-- Оно, конечно, так, только зачем же вечно охотиться и рыскать по лесу. Садитесь, дети, на мой бережок, на зеленый лужок, да послушайте, что я вам расскажу. Итак, далеко, в неведомых тайниках родился я на свет Божий; много знаю я сказочек, и все-то они разные и новые. Слушайте только мое журчание! Много картинок покажу я вам, глядите только в мое светлое русло: голубые небеса, кусты и леса! золотые облака -- все промчится перед вами! А захотите, так я вас самих приласкаю и освежу; спуститесь только в мои светлые волны!

-- Видите, Феликс и Христлиба, -- сказал их милый товарищ с очаровательной улыбкой, -- как все здесь вас любят! Но, однако, пора! Вечерняя заря начинает разгораться, а соловей громко зовет меня домой!

-- О, погоди еще немного, -- умоляющим голосом сказал Феликс, -- полетай с нами, как вчера!

-- Только не так высоко, -- попросила Христлиба, -- а то у меня закружится голова.

Неизвестное дитя, подхватив детей за руки, помчалось с ними среди розовых волн вечерней зари, а птички опять, с песнями и свистом, пустились за ними вдогонку. И что это были за радость и веселье! А в светлых облаках засияли перед ними прекрасные замки, построенные словно из рубинов и других драгоценных камней!

-- Гляди, Христлиба, какие чудесные замки! -- с восторгом закричал Феликс. -- Выше, выше лети, милый мальчик! Я хочу долететь до них!

Христлиба тоже с восхищением смотрели на великолепные дворцы, так что даже забыла свой вчерашний страх.

-- Это мои воздушные замки, -- ответил их новый друг, -- но вам, дети, пора домой! На сегодня довольно!

Феликс и Христлиба от восторга даже не заметили, каким образом очутились они перед дверями дома их родителей.

ОТКУДА РОДОМ БЫЛО НЕИЗВЕСТНОЕ ДИТЯ

На другой день маленький товарищ Феликса и Христлибы дожидался их в чудесной палатке, построенной им на тенистом берегу ручейка из гибких лилий, ярких роз и пестрых тюльпанов. Дети уютно уселись под ее тенью и стали слушать разные интересные истории, которые стал рассказывать им, по вчерашнему обещанию, ручей. Послушав некоторое время, Феликс обратился к неизвестному ребенку:

-- Милый наш товарищ! Вместо того, чтобы слушать то, что он так тихо про себя бормочет, так что я даже и не все понимаю, расскажи-ка, пожалуйста, нам что-нибудь сам. Мы бы особенно хотели узнать, кто ты такой, откуда ты родом и почему ты всегда так быстро нас покидаешь, что мы даже оглянуться не успеваем?

-- А мама моя, -- перебила Христлиба, -- думает, что ты сын школьного учителя Готлиб.

-- Молчи, ты, глупенькая -- воскликнул Феликс, -- матушка говорит так, потому что никогда его не видала, иначе она и не поминала бы школьного учителя с его Готлибом!

-- Скажи нам, друг, -- продолжал он, -- где ты живешь, ведь мы могли бы взять тебя к нам в дом зимой, когда будет холодно и снег занесет в лесу все кусты и тропинки.

-- Ну конечно! -- воскликнула Христлиба. -- Скажи нам, где ты живешь, кто твои родители и как тебя зовут.

Маленький товарищ детей сделал очень серьезное, даже печальное лицо при этом вопросе и тяжело вздохнул; затем, помолчав немного, сказал так:

-- Ах, милые дети! Зачем вам знать, кто я такой? Разве вам не довольно, что я каждый день прихожу играть с вами? Я могу вам, пожалуй, и сказать, что моя родина там, далеко, за синими, похожими на облака горами, но если вы, пробежав день и ночь, достигнете этих гор, то встретите за ними другие горы, и так далее, и так далее, так что вы так и не сможете никогда добраться до моего отечества.

-- Ах, -- печально воскликнула Христлиба, -- значит ты живешь очень, очень далеко от нас и приходишь к нам только в гости!

-- Но ведь вам стоит только сердечно пожелать, чтобы я был с вами, и я мигом явлюсь тут как тут, со всеми моими чудесами и игрушками, -- возразило неизвестное дитя, -- потому не все ли это равно, живете ли вы сами в моей стране или очень, очень далеко от нее?

-- Нет, не совсем так! -- возразил Феликс. -- Я думаю, твоя родина должна быть чудесная, прекрасная страна, если уже так хороши ее игрушки, которые ты нам приносишь. Чтобы ты ни говорил о том, как трудно в нее попасть, я готов хоть сейчас пуститься в дорогу через поля и леса, через ручьи и горы, как следует хорошему охотнику, и уж, поверь, я не устану!

-- И прекрасно! -- рассмеялось неизвестное дитя. -- Ты начни только поступать таким образом и может сумеешь когда-нибудь добраться до моей родины. Страна, где я живу, так чудесна, что с ней не сравнится никакое ее описание. А могущественная царица этого царства счастья и радости -- моя мать.

-- Так ты принц? Так ты принцесса? -- разом воскликнули дети почти испуганно.

-- Конечно, -- отвечало дитя.

-- Так ты живешь в прекрасном дворце? -- спросил Феликс.

-- О да, и дворец моей матери еще лучше тех прекрасных воздушных замков, которые вы видели в облаках; его чистые, кристальные колонны поднимаются высоко, высоко в воздух, и на них покоится весь голубой небесный свод. Под ним плавают, на золотых крыльях, светлые облака; там встает и ложится ясная заря, и танцуют в веселых хороводах блестящие звездочки. Вы, конечно, слышали о феях, которые делают чудеса, недоступные обычным людям, ну так вот моя мать и есть одна из таких фей, да еще самая могущественная из них. Она любит все, что только есть на земле светлого и живого, хотя, к несчастью, не все люди хотят ее знать. Более же всего любит моя мать маленьких детей, вот поэтому и праздники, которые она устраивает для них в своем царстве, бывают лучше и веселее всех остальных. Для них духи, подвластные моей матери, протягивают от одного конца ее дворца до другого, через светлые облака, разноцветную радугу и под ней ставят для моей матери блестящий, бриллиантовый трон, перевитый гирляндами душистых лилий и роз. А когда моя мать садится на этот трон, то духи начинают играть на золотых арфах и хрустальных цимбалах и при этом так сладко поют, что сердца замирают от восторга. Им вторят своими голосами жар-птицы, такие большие, похожие на орлов, с яркими пурпурными крыльями, каких вы в жизни своей и не видали. Вместе с музыкой все оживает во дворце и его садах. Тысячи маленьких детей начинают прыгать и резвиться от радости. Они то ловят друг друга в кустах, перебрасываясь душистыми

цветами; то взбираются на ветки деревьев, где их качает и баюкает ветер; то рвут и едят сколько захотят вкусные плоды, о каких на земле нет и помину; а то играют с ручными оленями или другими зверьками, весело прыгающими в кустах. Порой бегают вверх и вниз по радуге, а бывает вскочат на золотых фазанов и носятся с ними под облаками.

-- Ах, как все это должно быть хорошо! -- в восторге воскликнули Феликс и Христлиба.

-- Но взять вас, однако, с собой в свое царство я не могу, -- продолжало неизвестное дитя, -- потому что оно лежит очень далеко, и для этого вам следовало бы уметь летать, как летаю я.

Дети очень опечалились после этих слов и грустно опустили глаза в землю.

О ЗЛОМ МИНИСТРЕ ЦАРИЦЫ ФЕЙ

-- Вы бы сами, -- продолжал маленький товарищ Феликса и Христлибы, -- не могли чувствовать себя так хорошо в моем отечестве, как вам представляется по моим рассказам. Пребывание там могло бы даже принести вам вред. Многие дети не выносят пения тамошних жар-птиц и, наслушавшись его, умирают в одно мгновение от сильнейшего возбуждения. Другие, вздумав скатиться по радуге, скользят и падают; а есть даже столь неразумные, что, сидя на золотых фазанах, начинают щипать им перья, за что те до крови расклевывают им грудь и сбрасывают с облаков вниз. Мать моя горько печалится об их участи, хотя это и случается не по ее вине. Ей бы хотелось, чтобы все дети могли пользоваться и наслаждаться чудесами ее царства, но, к сожалению, даже самые смелые, которые могли бы сами летать, скоро бы там устали и причинили ей одни заботы и горе. Потому вместо того, чтобы звать их к себе, она позволяет мне летать и носить милым детям хорошие игрушки, как я это сделал и для вас.

-- Ах! -- воскликнула Христлиба. -- Я бы не сделала ничего дурного хорошеньким птичкам, но, признаюсь, что скатиться с радуги наверняка бы побоялась.

-- Это было бы дело для меня, -- подхватил Феликс, -- и именно для этого мне страшно хочется попасть в царство твоей матери! Или знаешь что? Не мог бы ты привезти завтра радугу с собой?

-- Нет, -- возразило неизвестное дитя, -- этого сделать нельзя, к тому же я должен признаться, что и сам я летаю к вам только тайком. Прежде я был в безопасности везде, точно весь мир был царством моей матери, но с некоторого времени за его пределами зорко сторожит меня злой недруг, выгнанный моей матерью из ее владений.

-- Недруг! -- закричал Феликс, вскочив со своего места и взмахнув вырезанной им сучковатой палкой. -- Покажи мне того, кто хочет сделать тебе что-нибудь дурное! Я с ним сумею разделаться, а не разделаюсь сам, то позову на помощь моего отца, а уж тот, поверь, сумеет его поймать и запереть в нашу башню.

-- Ах! -- со вздохом продолжало дитя. -- Враг этот бессилен мне навредить в пределах царства моей матери, но вне их мне не помогут ни палки, ни башни.

-- Кто же этот злодей, которого ты так боишься? -- спросила Христлиба.

-- Я уже вам говорил, -- отвечало неизвестное дитя, -- что моя мать могущественная царица, а у цариц, вы знаете, так же, как и у царей, есть свой двор и министры.

-- Конечно, -- перебил Феликс, -- мой дядя граф как раз такой министр и потому носит на груди звезду. А министры твоей матери носят звезды?

-- Нет, -- отвечал ребенок -- потому что многие из них сами сияют, как звезды, и им не нужно ни одежд, ни украшений. Министры моей матери -- могущественные духи, живущие в морях, в огне, в воздухе, и везде исполняют они ее приказания. Давным-давно жил у нас один такой дух, по имени Пепазилио, выдававший себя за великого ученого, знающего будто бы все на свете лучше других. Моя мать сделала его одним из своих министров, но тут вскоре и сказалось его коварство. Мало того, что он старался уничтожить все добро, которое делали другие министры, он еще особенно любил портить все удовольствие детям на наших веселых праздниках. Так, уверив однажды мою мать, что хочет сделать что-то совсем особенное и приятное для детей, привесил он тяжелые гири к хвостам фазанов, так что они не могли подняться. В другой раз начал он стаскивать детей за ноги, когда они качались на розовых ветвях, отчего многие, попадав, разбили себе до крови носы; он даже подставлял детям подножки во время бега, и они, конечно, со всех ног падали и ушибались. Жар-птицам запихивал он в клювы сучки, чтобы помешать петь (их пение он терпеть не мог); ласковых зверьков дразнил и тиранил всеми возможными способами. Но самой злой из его проделок была та, во время которой он однажды ночью с помощью таких же негодяев облил стены дворца, с их блестящими драгоценными камнями, а также розы и лилии нашего сада и даже светлую радугу какой-то скверной, черной жидкостью, отчего пропали весь их блеск и красота, и все облачилось в печальные, унылые тона. Сделав это, захохотал он на все царство и громко объявил, что наконец исполнилось то, чего давно он добивался; а к этому прибавил, что не хочет более признавать мою мать царицей и станет царствовать здесь сам, а затем, превратясь в огромную, черную муху со сверкающими огненными глазами и быстрым огромным

жалом, полетел, страшно треща и жужжа, прямо к трону моей матери. Тут все разом догадались, что коварный министр, скрывавшийся под ничего не говорящим именем Пепазилио, был не кто иной, как злой царь гномов Пепсер. Но безумец слишком понадеялся на свою силу и на помощь своих единомышленников. Министры воздуха и ветра тесно окружили свою царицу, обвеяв ее волнами тончайшего аромата; духи огня заметались вокруг по всем направлениям, а жар-птицы, клювы которых были уже вычищены, громко запели свои песни, так что царица не была обеспокоена даже видом отвратительного Пепсера. Полководец фазанов стремглав бросился на него и в один миг так скрутил его своими когтями, что злой Пепсер от боли и ярости взвыл не своим голосом и кувыркком полетел вниз на землю, сброшенный, как мячик, с высоты трех тысяч футов. Упав и сильно разбившись, долго не мог он пошевелить ни одним членом, пока его не услышала и не приползла на его дикий рев старая тетка Пепсера синяя жаба и, взвалив раненого на спину, не уволокла в свое гнездо. Прочие его единомышленники, продолжавшие еще портить прекрасные цветы, были перебиты с помощью мушиных хлопущек, которые были розданы пяти самым смелым и храбрым из детей. Черная жидкость, которою Пепсер облил все во дворце, сошла мало-помалу сама собой, и вскоре все опять зацвело и засияло в государстве. Хотя злой Пепсер не может с тех пор ступить и ногой в пределы царства моей матери, но он знает, что я часто летаю оттуда, и потому преследует меня всеми возможными способами, так что мне, бедному, слабому ребенку, часто с большим трудом удается избежать встречи с ним; и вот почему улетаю я иногда от вас, милые дети, так поспешно и внезапно. Если бы я вздумал взять вас с собой в наше царство, то Пепсер, наверно, нас бы подстерег и убил всех троих.

Христлиба стала горько плакать из-за опасности, постоянно угрожавшей их маленькому товарищу, но Феликс, напротив, думал, что если гадкий Пепсер не более как большая муха, то он точно сумел бы управиться с ним отцовской хлопущкой. И пусть тогда тетка жаба тащит в свое гнездо то, что от него останется!

КАК ПРИЕХАЛ ДЯДЮШКИН УЧИТЕЛЬ

И КАК БОЯЛИСЬ ЕГО ДЕТИ

С восторгом возвратились в этот раз дети домой, радостно восклицая: -- Наш маленький друг принц! Наш маленький друг принцесса! Но почти уже на пороге дома, когда хотели они рассказать об этом родителям, дети внезапно остановились как вкопанные. Господин

Таддеус фон Бракель стоял на пороге, а возле него торчала какая-то маленькая, черная фигурка, брюзгливо ворчавшая под нос:

-- Посмотрим, посмотрим на этих неучей.

-- Вот, -- сказал, взяв гостя за руку господин Бракель, -- учитель, которого прислал вам ваш почтенный дядюшка; будьте с ним почтительны и послушны.

Но дети продолжали смотреть на учителя, не двигаясь с места, да и точно было чему удивляться, глядя на эту замечательную фигуру. Ростом человек был только на половину головы выше Феликса, хотя и очень коренаст. Огромный круглый живот торчал на двух тоненьких, как у паука, ножках; безобразная, четырехугольная голова и очень некрасивое лицо казались еще хуже от темно-красного цвета щек и длинного, свисающего вниз носа. Маленькие серые глаза смотрели так неприветливо и зло, что в них тяжело было заглянуть. На учителе был надет огромный черный парик, и все платье было такого же цвета. Звали учителя господином Тинте. Госпожа Бракель, видя, что дети стоят разинув рты, не решаясь подойти к учителю, очень рассердилась и прикрикнула довольно строго:

-- Что же это значит? Или вы хотите, чтобы господин Тинте принял вас за невоспитанных крестьянских детей? Сейчас же поздоровайтесь с учителем и подайте ему руки!

Дети послушались скрепя сердце, но едва господин Тинте взял их за руки, как оба они разом отдернули их назад, громко вскрикнув:

-- Ай, больно, больно!

Учитель злобно засмеялся и, раскрыв руку, показал, что в ней была у него спрятана большая, острая булава, которой он и уколол детей. Христлиба расплакалась, а Феликс тихо заметил:

-- Попробуй-ка сделать это еще раз, толстая кубышка!

-- Зачем вы укололи детей, господин Тинте? -- спросил не совсем довольным голосом Бракель.

-- Таков мой обычай при первой встрече! -- отвечал учитель и, подперев руками свои бока, залился самым неприятным, пронзительным смехом, точно испорченная трещотка.

-- Вы, должно быть, большой шутник, -- принужденно улыбнувшись, продолжал Бракель, хотя и у него, и у госпожи Бракель, а особенно у детей, почему-то очень нехорошо стало на душе от этого смеха.

-- Ну, ну, посмотрим, что смыслят эти маленькие поросята в науках! -- сказал господин Тинте, и с этими словами он забросал Феликса и Христлибу разными вопросами, совершенно вроде тех, которые дядя граф предлагал своим детям.

Когда же Феликс и Христлиба сказали, что ничему этому не учились и потому ответить не могут, господин Тинте, всплеснув руками над головой, закричал как сумасшедший:

-- Это хорошо! Это бесподобно! Не учились никаким наукам! Придется же с вами поработать! Ну да я сумею вбить в ваши головы знания!

Феликс и Христлиба по приказанию отца четко написали страницу прописей и пересказали своими словами несколько детских повестей, прочитанных в отцовских книгах, но эти доказательства их познаний не удовлетворили господина Тинте, назвавшего все это вздором. С этого момента исчезла даже всякая мысль о прогулках по лесу. Целый день должны были дети сидеть в четырех стенах и зубрить уроки господина Тинте, из которых не понимали ни слова. Что это было за горе! С какой завистью смотрели они на свежий, тенистый лес! Сколько раз слышался им сквозь щебетание птичек и шум ветвей голос их маленького друга, говорившего:

-- Феликс! Христлиба! Где вы? Разве вы не хотите играть со мной? Идите скорее! Я выстроил вам новый цветочный дворец; мы будем в нем играть и собирать разноцветные камушки!

В такие минуты дети всей душой стремились в лес и не только не понимали, но даже и не слушали того, что говорил им учитель. А господин Тинте в подобных случаях обыкновенно начинал громко стучать кулаками по столу и кричал каким-то странным, неприятным голосом, в котором слышался не то визг, не то ржание:

-- Фрр...р брр...р! Что это значит?

Однажды Феликс не выдержал и, вскочив со своего места, громко закричал.

-- Уходи прочь со своими науками, отправляйся к братцу в красных штанах! Там будешь ты на своем месте, а я хочу в лес! Пойдем, Христлиба! Наш маленький принц, наверно, ждет нас давно!

Господин Тинте, услышав эти слова, поспешно вскочил и загородил детям дорогу в дверях, но Феликс, и не думавший уступать, храбро схватился с маленьким человечком и благодаря помощи Султана, тотчас же вступившегося за своего господина, легко успел его одолеть. Султан, надо заметить, невзлюбил учителя с самого первого дня его приезда; всякий раз при виде его он начинал ворчать, лаять и так ловко колотил хвостом господина Тинте по его тоненьким ножкам, что тот должен был делать самые искусные прыжки, чтобы увернуться и не разбить себе носа. Так и на этот раз, едва Султан увидел, что господин Тинте держит Феликса за руки, он тотчас же вскочил и схватил его самого за воротник, -- учитель закричал на весь дом. Господин Бракель прибежал в испуге и едва смог разнять всех троих.

-- Ну вот теперь-то уж нам точно не бывать в лесу! -- со слезами на глазах воскликнула Христлиба.

Господин Бракель, хотя и побранил Феликса, но в душе не мог не пожалеть детей, лишенных удовольствия побегать и порезвиться на чистом воздухе. Вследствие этого господин Тинте получил приказание,

как это не было ему противно, ежедневно гулять с детьми некоторое время в лесу.

-- Если бы у вас, по крайней мере, -- сердито бормотал он, -- был правильно разбитый сад, с кустами и дорожками, то я бы еще понял цель прогулки в нем с детьми; а то бродить и гулять в диком лесу!

Дети были, впрочем, также недовольны, а Феликс возражал почти громко:

-- И для чего нам брать с собой этого урода в наш лес!

КАК ДЕТИ ГУЛЯЛИ С УЧИТЕЛЕМ ТИНТЕ В ЛЕСУ И ЧТО ПРИ ЭТОМ СЛУЧИЛОСЬ

-- Ну что же, господин учитель! Нравится вам в нашем лесу? -- спросил Феликс.

Тинте, продираясь сквозь густой кустарник, скорчил в ответ кислую физиономию и проворчал:

-- Гадость! Скверность! Ни цветников, ни дорожек! Изорвешь только чулки и платье и ничего не услышишь, кроме глупого птичьего щебетанья!

-- Ну так я и ожидал! -- возразил Феликс. -- Я заметил давно, что вы ничего не смыслите в пении и никогда не прислушиваетесь к шелесту листьев и голосу ветерка, которые нам рассказывают чудные, веселые сказочки.

-- А цветы вы любите, господин Тинте? -- перебила брата Христлиба.

Тут учитель совершенно рассердился и, побагровев, как переспелая вишня, воскликнул, всплеснув ручками:

-- И кто только набил их головы подобным вздором! Стану я слушать глупую болтовню листьев и ручьев или птичий писк! Цветы я люблю, когда они стоят на окнах, в горшках, и наполняют запахом комнату, тогда, по крайней мере, не надо ее обкуривать духами. А какие такие цветы есть в лесу?

-- Как какие! -- ахнула Христлиба. -- Разве вы не видите васильков, колокольчиков, маргариток? Посмотрите, они, точно улыбаясь, кивают нам своими головками.

-- Что? что? -- захохотал учитель. -- Цветы улыбаются! Кивают! И хоть бы один из них приятно пахнул!

С этими словами господин Тинте нагнулся и, вырвав с корнем пучок гвоздик, презрительно отбросил их далеко в кусты. Дети вздрогнули, сами не зная почему, причем обоим показалось, что по лесу точно пронесся какой-то жалобный стон. Христлиба не могла удержаться и заплакала, а Феликс с досадой закусил губу. В эту минуту маленький

чиж пролетел мимо самого носа господина Тинте и, усевшись на ветке, затянул веселую песенку.

-- Ах ты глупая пичуга! -- воскликнул учитель. -- Ты, кажется, вздумала надо мной смеяться! -- и подняв с земли камень, он запустил им в бедную птичку с такой силой, что та в один миг, вся в крови, мертвая упала на землю.

Тут уже Феликс не выдержал и закричал, рассердившись не на шутку:

-- Послушайте, скверный, злой Тинте! Что вам сделала бедная птичка? Где ты, где ты наш маленький принц? Прилетай поскорее и заberi нас с собой в твоё царство! Я не хочу больше видеть этого гнусного уроды!

Христлиба, громко рыдая, тоже кричала:

-- Милая маленькая принцесса! Лети к нам скорее! Спаси нас, спаси! А то злой Тинте убьёт нас так же, как убил птичку!

-- Это ещё что за принц? -- спросил Тинте.

В эту минуту порыв ветра сильно зашумел листьями, и в звуке этого шелеста послышался как будто бы ясный, сдержанный плач, похожий на отдаленные звуки колокола. Светлое облако спустилось почти до земли, и посредине него обрисовалось милое личико их маленького друга. Маленькие ручки были сложены на груди; светлые слезы, как жемчуг, катились по розовым щечкам.

-- Ах, мои милые товарищи! -- послышался знакомый детям голос. -- Я не могу более прилетать и играть с вами! Вы меня никогда больше не увидите! Прощайте! Прощайте! Гном Пепсер с вами! Прощайте, бедные дети! -- сказав это, неизвестное дитя умчалось вдаль на своем облаке.

Но тут вдруг что-то зашумело и зарычало ему вслед. Учитель Тинте превратился в страшную, огромную муху, казавшуюся тем более отвратительной, что она сохранила на себе некоторые остатки от своей одежды. Медленно и тяжело поднялся он на воздух с очевидным намерением преследовать маленького товарища Феликса и Христлибы. Дети в ужасе опрометью бросились бежать из леса и только уже будучи на лугу, осмелились оглянуться. Вдали в облаках чуть виднелась светлая точка, сиявшая, как ясная звездочка.

-- Это наш друг! -- воскликнула Христлиба.

Звездочка все приближалась, и вместе с ней до детей стали долетать звуки, точно от гремевших труб. Скоро они увидели, что это была не звезда, а прекрасная, с золотыми перьями птица, спускавшаяся с пением и смелыми взмахами крыльев прямо на лес.

-- Это полководец фазанов, -- радостно закричал Феликс, -- он заключает учителя Тинте до смерти. Неизвестное дитя спасено, и мы тоже! Побежим, Христлиба, скорее домой и расскажем папе, что случилось!

КАК ГОСПОДИН БРАКЕЛЬ ПРОГНАЛ УЧИТЕЛЯ ТИНТЕ ИЗ ДОМА

Господин и госпожа Бракель сидели возле своего маленького домика и любовались вечернею зарей, начинавшей уже бледнеть за дальними голубыми горами. Перед ними на накрытом столе стоял приготовленный ужин, весь состоявший из большого кувшина прекрасного молока и корзинки с бутербродами.

-- Я, право, не знаю, -- сказал господин Бракель -- куда это запропастился учитель Тинте с детьми? Прежде, бывало, он ни за что не хотел ходить с ними в лес, а теперь не дожدهшься, когда они вернутся. Станный этот учитель Тинте, и мне, признаться, иной раз кажется, что лучше было бы, если бы он не приезжал к нам вовсе. Мне уже очень не понравилось то, что он при первой встрече так больно уколол булавкой детей, а что касается до его наук, то я в них не вижу большого проку. Заставляет детей зубрить какие-то вздорные, непонятные слова; несет чепуху о том, какие сапоги носил Великий Могол, а сам не умеет отличить липы от каштана, да и вообще все, что ни скажет, выходит у него как-то дико и глупо. Могут ли дети уважать такого учителя?

-- Ох, уже даже и мне все это приходило в голову -- добавила госпожа Бракель, -- как ни рада была я, что наш почтенный родственник обещал похлопотать о воспитании наших детей, но теперь вижу, что он мог бы это исполнить как-нибудь иначе, вместо того, чтобы посылать нам этого Тинте. Есть ли какой-нибудь толк в его науках, я не знаю, но верно то, что этот маленький черный толстяк, с его тоненькими ногами, становится мне противнее с каждым днем. Отвратительнее всего в нем это его жадность. Он не может видеть стакана с молоком или пивом, чтобы тотчас же не облизать его краев, а если на столе стоит открытая сахарница, то уж тут начинает он таскать кусок за куском, пока я не захопну ее у него перед самым носом. А он в ответ сердится, ворчит и при этом как-то странно не то свистит, не то шипит.

Господин Бракель собирался ответить, как вдруг из леса прибежали, запыхавшись, Феликс и Христлиба.

-- Ура! Ура! -- кричал Феликс. -- Полководец фазанов заклевал до смерти учителя Тинте!

-- Ах, мама, мама! -- задыхаясь, перебила Христлиба. -- Учитель Тинте не учитель! Он царь гномов Пепсер, он большая противная муха, только в парике и башмаках с чулками.

Родители с удивлением смотрели на детей, которые наперебой рассказывали о неизвестном ребенке, о его матери, о царице фей, о короле гномов Пепсере и битве с ним полководца фазанов.

-- Кто вам сообщил все эти глупости? Во сне вы это видели или с вами в самом деле случилось что-нибудь особенное? -- спросил господин Бракель, но дети стояли на своем, уверяя, что все было именно так, как они передают, и что гном Пепсер, выдававший себя за учителя Тинте, точно лежит в лесу мертвый. Госпожа Бракель всплеснула руками и воскликнула печально:

-- Дети, дети! Что с вами будет потом, если вам уже сейчас чудятся всякие глупости и вас нельзя в них разуверить!

Но господин Бракель задумался и очень серьезно сказал:

-- Феликс! Ты уже большой и рассудительный мальчик, и потому я скажу тебе, что и мне учитель Тинте с самого первого раза показался немного странным и вовсе не похожим на других учителей. Скажу больше: и я, и ваша мать, оба мы им недовольны, в особенности за то, что он так жаден и вечно сует свой нос туда, где увидит что-нибудь сладкое, и при этом так ужасно шипит и ворчит. Поэтому он у нас долго и не задержится. Но подумай сам, неужели существуют на свете гномы и тому подобные вещи? И кроме того, неужели учитель может быть мухой?

Феликс посмотрел на отца своими светлыми голубыми глазами и, когда господин Бракель повторил вопрос:

-- Ну что же? Веришь ли ты точно, что учитель может быть мухой? -- отвечал: -- Я раньше никогда об этом не думал, да и сам не поверил бы во все это, если бы не слышал, что рассказало нам неизвестное дитя, и если бы не видел собственными глазами, что Пепсер гадкая противная муха и только выдает себя за учителя Тинте. Вспомни, папа, что учитель Тинте однажды сам признался тебе, что он муха. Я был свидетелем и слышал, как он сказал, что был в школе веселой мухой. А что сказано, то и доказано. Мама тоже говорила, что учитель Тинте большой лакомка и вечно сосет и лижет сладкое; разве мухи не делают то же самое? А это его противное ворчание и жужжание!

-- Замолчи! -- воскликнул совершенно рассерженный господин Бракель. -- Чем бы ни был учитель Тинте, но твоя сказка, что его заклевал какой-то полководец фазанов, -- чистая ложь! А вот он и сам идет сюда из леса.

Тут дети вскрикнули от испуга и разом убежали в дом.

Учитель Тинте в самом деле показался из березовой рощи, но в каком виде! Глаза его были дики и выпучены; парик разорван; шумя и жужжа кидался он из стороны в сторону, стучаясь головой о деревья так сильно, что даже раздавался треск. Увидя кувшин с молоком, неистово вскочил он прямо в него, и, расплескав почти все молоко, жадно проглотил то, что в нем осталось.

-- Господи Боже! Что с вами, учитель Тинте? -- воскликнула госпожа Бракель. -- Или вы сошли с ума?

-- Может сам черт вас отделал? -- воскликнул в свою очередь господин Бракель.

Но Тинте, не обращая ни на что внимание, отскочил от кувшина и прыгнул в блюдо с бутербродами, уселся на его край и, распустив с громким шипением и жужжанием полы своего кафтана, начал загребать бутерброды тонкими ножками; потом вдруг полетел он, продолжая жужжать все сильнее и сильнее, к дверям дома, но не мог их найти и, заматавшись, точно пьяный, из стороны в сторону, стал с шумом колотиться в оконные стекла, которые только звенели и дрожали.

-- Эй! -- закричал господин Бракель. -- Вы что, в самом деле с ума сошли?! Вы не только стекла разобьете, но и себя всего израните!

Господин Бракель попробовал схватить учителя за полы кафтана, но тот с удивительной живостью ускользнул от его рук. В эту минуту Феликс выбежал из дома с большой мушиной хлопушкой и подал ее отцу, крича:

-- Папа! Папа! Вот тебе хлопушка! Прихлопни ею хорошенько гадкого Пепсера!

Господин Бракель и в самом деле схватил хлопушку, и тут-то началась охота за учителем. Феликс, Христлиба и госпожа Бракель, схватив салфетки со стола, напали с ними на него со всех сторон, а господин Бракель, колотя хлопушкой направо и налево, старался изо всех сил прихлопнуть учителя Тинте, увертывавшегося от ударов с необыкновенным искусством. Азартная охота разгоралась все сильнее и сильнее. Зумм -- зумм, зимм -- зимм -- жужжал учитель; клип -- клап, клип -- клап -- щелкал господин Бракель; хлоп -- хлоп! хлоп -- хлоп! -- колотили салфетками Феликс, Христлиба и госпожа Бракель. Наконец, господину Бракелю удалось прихлопнуть Тинте по полам кафтана. Жалобно вскрикнув, шлепнулся Тинте об пол, но тотчас же придя в себя, поднялся опять с новой силой на воздух и, увернувшись от второго удара, которым господин Бракель наверняка бы с ним покончил, улетел с неистовым жужжанием в лес, где и исчез за березками.

-- Ну слава Богу, мы разделались с этим проклятым Тинте! -- сказал господин Бракель. -- Больше, ручаюсь, он не переступит через мой порог.

-- Уж, наверно, так, -- подхватила госпожа Бракель, -- этикие учителя принесут только вред вместо пользы! Хвастается науками, а сам весь как есть шлепнулся в кувшин с молоком. Хорош, нечего сказать!

Дети торжествовали.

-- Ура! ура! -- кричали они. -- Папа прихлопнул учителя по носу и прогнал его вон! Ура! ура!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЛЕСУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОГНАЛИ УЧИТЕЛЯ ТИНТЕ

Феликс и Христлиба вздохнули свободней, точно с сердца их свалилась свинцовая тяжесть. Особенно восхищала их мысль, что теперь, когда гадкий Пепсер улетел далеко, неизвестное дитя будет, наверно, опять прилетать и играть с ними. Полные радостных надежд, побежали они в лес, но там все было тихо и пусто. Песен соловьев и чижей слышно не было, а вместо тихого шелеста листьев и сладкого журчанья ручейка в воздухе слышался неприветливый вой ветра. Скоро небо заволоклось черными облаками, и заревела буря. Гром грозно рокотал вдали, высокие сосны, треща, раскачивали верхушками. Христлиба в страхе, вся дрожа, прижалась к Феликсу.

-- Чего же ты боишься, -- утешал он сестру, -- ведь это гроза; нам нужно только побыстрее добраться до дому.

С этими словами он схватил Христлибу за руки и побежал, но оказалось, что вместо того, чтобы выбраться из леса, дети углублялись в него все дальше и дальше. Кругом становилось совсем темно; по листьям ударили тяжелые капли дождя; молния со свистом рассекала воздух. Дети остановились перед колючим, густым кустарником.

-- Постой, Христлиба, переждем грозу здесь, она же долго не продлится, -- сказал Феликс.

Христлиба горько плакала, однако, брата послушалась. Но едва они уселись под густыми ветвями кустов, как вдруг послышались чьи-то резкие, неприятные голоса:

-- Ага! Это вы, глупые, дрянные ребятишки! Не умели играть с нами, так будете же теперь всегда без игрушек!

Феликс с испугом осмотрелся и каков был его ужас, когда вдруг увидел он, что брошенные им охотник и музыкант внезапно поднялись из глубины куста, под которым сидели дети, и с громким смехом, указывая на них пальцами, смотрели прямо им в лицо своими страшными, мертвыми глазами. Музыкант ударил в струны, как-то особенно отвратительно зазвучавшие в этот раз под его пальцами, а охотник направил свое ружье прямо в Феликса, крича:

-- Погодите же вы, дрянные мальчишка и девчонка! Ведь мы верные слуги учителя Тинте! Сейчас он сам будет здесь, и тогда мы вам за все отплатим!

В ужасе, не обращая уже внимание ни на проливной дождь, ни на гремевший гром, ни на бурю, бросились они бежать, пока не добежали до берега пруда, за которым кончался лес. Но едва успели они

остановиться, чтобы перевести дух, из тростника вдруг поднялась кукла Христлибы и закричала громким, противным голосом:

-- Ага! Это вы, гадкие дети! Не умели играть со мной, так сидите же теперь без игрушек! Мы ведь верные слуги учителя Тинте! Сейчас он сам придет сюда, и тогда мы вам за все отплатим.

И с этими словами злая кукла начала пригоршнями черпать и бросать воду в лицо уже и без того промокшим до костей детям. Этого не смог выдержать даже Феликс и, подхватив под руку полумертвую от страха Христлибу, побежал с нею куда глаза глядят, до тех пор, пока оба в изнеможении не упали посреди леса. Вдруг страшное жужжание раздалось над их головами.

-- Это учитель Тинте! -- только и смог воскликнуть Феликс, и оба они с Христлибой лишились чувств.

Очнувшись, точно после тяжелого сна, они увидели, что лежат на мягкой постели из моха. Гроза прошла; солнышко сияло светло и радостно; капли дождя сверкали на кустах и деревьях, как драгоценные камни. С удивлением заметили они, что платья их были совершенно сухи, и ни следа сырости или холода не чувствовали они в своем теле.

-- Ах! -- радостно воскликнул, всплеснув руками Феликс. -- Это нас спас и защитил наш маленький принц! -- и затем оба радостно стали кричать на весь лес:

-- Приди к нам! Приди к нам! Мы не можем без тебя жить!

Светлый луч, перед которым тихо раздвинулись ветви, проглянул сквозь кусты, но напрасно продолжали звать дети своего милого друга; больше перед ними ничего не появилось. Печально отправились они домой, где родители, обеспокоенные их долгим отсутствием, встретили с радостью и любовью.

-- Нехорошо, дети, -- сказал затем господин Бракель, -- что вы так неосторожны, я боялся, что учитель Тинте бродит еще по лесу и может легко сделать вам что-нибудь плохое.

Феликс рассказал все, что с ними случилось.

-- Что за глупое у вас воображение, -- сказала госпожа Бракель, -- если вам и впредь будет видаться в лесу всякий вздор, то я не буду вас пускать туда вовсе, и вы останетесь сидеть дома.

Этого, однако, не случилось, и когда дети умоляюще просили:

-- Милая матушка, позволь нам немножко побегать по лесу! -- то госпожа Бракель обыкновенно только говорила:

-- Ну хорошо, ступайте, только играйте умно и возвращайтесь вовремя.

Скоро между тем дети сами перестали проситься в лес. Незвестное дитя больше не появлялось, а к густым кустарникам и к утиному пруду они не решались подходить, боясь опять услышать голоса охотника, музыканта и куклы:

-- Ага! Глупые, дрянные ребяташки! Не умели вести себя с хорошими, образованными людьми! Не умели играть с нами, сидите же теперь без игрушек!

Этого дети не могли выносить и предпочитали оставаться дома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

-- Я не знаю, -- сказал однажды господин Таддеус Бракель своей жене, -- я не знаю, что со мной с некоторого времени делается, но мне все как-то не по себе и право, порой приходит мне в голову мысль, что на меня как будто навел порчу злой учитель Тинте. Представь себе, что с той самой минуты, как я его стукнул хлопушкой, у меня в теле все время чувствуется какая-то тяжесть.

Действительно, господин Бракель очень похудел за последнее время и изменился. Редко переступал он через порог своего дома и совсем перестал хозяйничать и работать как прежде. По целым часам сидел иногда он в глубокой задумчивости, часто заставляя Феликса и Христлибу рассказывать ему о их приключениях и встречах с маленьким незнакомцем. Когда же они, с жаром и увлечением, принимались рассказывать ему о прекрасных, виденных ими чудесах и о невиданном царстве их маленького друга, господин Бракель грустно улыбался и тихие слезы навертывались на его глаза. Феликс и Христлиба были очень огорчены, что неизвестное дитя так больше и не появилось, чтобы избавить их от козней злых кукол в кустах и утином пруду, из-за чего они и не могли больше ходить в лес.

-- Пойдемте, дети, вместе в лес; злые друзья учителя Тинте не причинят нам никакого вреда, -- так сказал одним светлым, прекрасным утром господин Бракель Феликсу и Христлибе, взяв их обоих за руки и отправясь с ними к лесу, который в этот день был весь наполнен свежестью, благоуханием и пением птиц. Когда, придя туда, они все трое уселись на мягкую траву, среди душистых цветов, господин Бракель начал так:

-- Милые дети! Давно мне хочется вам рассказать, что я тоже очень хорошо знаком с нашим милым неизвестным другом, доставившим вам столько радости и счастья в лесу. Когда я был ваших лет, неизвестное дитя навещало меня так же, как и вас, и играло со мной в веселые, чудесные игры. Не понимаю, как оно могло меня оставить, и тем более мне странно, что я до того забыл моего маленького товарища, что даже не поверил вам, когда вы рассказали мне о вашем первом с ним знакомстве, хотя какое-то смутное воспоминание о нем жило во мне постоянно. Но с некоторого времени память о моем прекрасном детстве возвратилась ко мне живее, чем это было раньше, а вместе с

тем и милый облик прекрасного ребенка, виденный мною давным-давно, опять возник в моем воспоминании с таким блеском и свежестью, что сердце мое восхищенно им не меньше вас, хотя мне кажется, что вряд ли перенесу я эту радость. Чувствую, что, вероятно, в последний раз сижу под этими прекрасными деревьями и кустами и что скоро должен буду вас покинуть. Смотрите же, дети! Не забывайте же, когда я умру, про неизвестное дитя!

Феликс и Христлиба горько разрыдались, услышав такие слова отца, и закричали наперебой:

-- Нет, нет, папа, ты не умрешь! Ты будешь жить и играть вместе с нами и с незнакомым ребенком.

Но, однако, день спустя, болезнь принудила господина Бракеля уже лечь в постель. Пришел какой-то длинный сухой господин, пощупал Бракелю пульс и сказал:

-- Ничего! Пройдет!

Но болезнь не прошла и на третий день. Бракель умер.

О, как горько плакала госпожа Бракель! В каком отчаянии ломали руки Феликс и Христлиба, как громко восклицали:

-- Папа! Папа! Наш дорогой папа!

Через несколько дней после смерти, когда четверо крестьян господина Бракеля отнесли его на своих плечах в могилу, явились в дом несколько человек со злыми, неприятными лицами, очень похожие на учителя Тинте, и объявили, что они пришли отобрать все имущество умершего господина Таддеуса Бракеля за его долг графу Киприану фон Бракелю, так как этот долг превосходил стоимость всего имущества и господин граф требовал вернуть ему его же собственность. Таким образом, госпожа Бракель сделалась совсем нищей и должна была оставить свою прекрасную деревеньку Бракельгейм. В горе решила она отправиться к родственникам, жившим неподалеку, и, собрав для того, вместе с Феликсом и Христлибой, в маленький узелок все их платья и белье, покинула свой милый дом.

Уже доносилось до них знакомое журчание лесного ручья, через который хотели они перебраться по мосту, как вдруг госпожа Бракель, не перенеся своего тяжелого горя, почувствовала себя дурно и упала без чувств. Феликс и Христлиба, оба в слезах, бросились перед ней на колени.

-- Бедные, бедные мы дети! -- рыдали они. -- Неужели же ничто не поможет нашему горю!

Вдруг тихая, прекрасная музыка послышалась им в журчании ручья; листья зашевелились с каким-то сладким шепотом, и весь лес засверкал будто бы тысячами блестящих огоньков. Неизвестное дитя, окруженное таким ярким сиянием, что дети должны были закрыть глаза, тихо, тихо поднялось среди свежего, душистого куста и

заговорило своим знакомым им ласковым голосом, мгновенно облегчившим их горе:

-- Не печальтесь, милые мои друзья! Ведь я люблю вас по-прежнему и никогда вас не оставлю! Пусть вы не видите меня больше глазами, но я всегда возле вас, защищаю и оберегаю вас своей властью. Храните только в сердце память обо мне, как делали до сих пор, и никогда ни злой Пепсер, ни кто-либо другой не причинит вам никакого зла. Любите же меня крепко и горячо!

-- О да, о да! -- воскликнули Феликс и Христлиба. -- Мы любим тебя! Любим всем сердцем!

Открыв глаза, дети увидели, что неизвестное дитя уже исчезло, но вместе с ним исчезло и их горе, и напротив, какое-то чувство особенного счастья наполняло их грудь. А госпожа Бракель, придя в себя, сказала детям:

-- Дети! Я видела во сне, как вы стояли в светлых золотых лучах, и это утешило и исцелило меня.

Радость сверкала у детей в глазах и сияла на щеках розовым румянцем. Они рассказали матери, что к ним приходил их маленький друг, на что госпожа Бракель в этот раз промолвила:

-- Не знаю почему, но сегодня я верю вашей сказке и чувствую, что и горе мое ушло прочь. Пойдемте же дальше.

Они были ласково приняты своими родственниками, а затем случилось все так, как обещало неизвестное дитя. Все, что ни предпринимали Феликс и Христлиба в жизни, удавалось так хорошо, что и они, и мать могли жить в полном довольстве и счастье, и долго, долго еще потом играли они в своих мечтах с неизвестным ребенком, который им всегда рассказывал чудесные истории о своей прекрасной стране.

* * *

-- Ты был прав, -- сказал Оттмар, когда Лотар кончил чтение, -- ты был прав, говоря, что "Неизвестное дитя" более детская сказка, чем твой "Щелкунчик", но, извини за откровенность, я замечу, что некоторых язвительных щелчков, слишком тонких для детского понимания, ты все-таки не мог избежать.

-- Маленького чертика, который, как ручная белка, постоянно сидит у Лотара на плече, я знаю давно, -- возразил Сильвестр, -- нельзя же ему не вернуть своего словца, когда речь коснется интересующего его предмета.

-- В таком случае, -- заметил Киприан, -- если Лотар берется писать сказки, то ему не следует называть их безусловно детскими, а лучше озаглавливать так: сказки для больших и маленьких детей.

-- Или, -- перебил Винцент, -- пускай он называет их: сказки для детей, которые не дети. Таким путем весь свет будет удовлетворен и может думать о его книге, что ему будет угодно.

Все расхохотались, а Лотар поклялся, с комическим неудовольствием, что так как все друзья на него нападают, то в следующей сказке он распростится с фантастическими бреднями навсегда.

Пробила полночь, и друзья, приятно возбужденные всем серьезным и шутливым, слышанным ими в этот вечер, разошлись в самом лучшем расположении духа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Пятое отделение

Жизнь, в ее вечно изменяющемся течении, опять разбросала наших друзей в разные стороны. Сильвестр возвратился в деревню; Оттмар уехал по делам; Киприан тоже; Винцент, оставшийся в городе, зарылся в свое уединение и стал, по обыкновению, невидим. Один Лотар остался ухаживать за больным Теодором, слегшим вследствие очень серьезной болезни, заставившей его довольно долго оставаться в постели.

Прошло несколько месяцев. Оттмар, чей внезапный отъезд стал первой причиной временного закрытия Серапионова клуба, наконец возвратился и вместо ожидаемого, цветущего общества нашел только измученного, носившего еще на бледном лице следы тяжелой болезни друга, оставленного всеми прочими, за исключением одного, встретившего его градом самых язвительных упреков.

Лотар был опять в том настроении духа, при котором жизнь казалась ему пустой, бесполезной шуткой, отравленной вечными насмешками какого-то злобного, враждебного демона, приставленного природой к человеку, как к малолетнему ребенку, в виде несносного гувернера и только затем, чтобы примешивать к каждому его любимому блюду горькое, противное лекарство, в надежде, что пациент, получив к нему отвращение, лучше сохранит свой желудок.

-- Что за нелепая была идея! -- так воскликнул ядовитым голосом Лотар при первом свидании с Оттмаром, когда тот посетил больного Теодора. -- Что за нелепая была идея искать опять соединения наперекор самой судьбе, перескакивая через пропасть, разверстную между нами естественным ходом событий и времени! Киприану обязаны мы основанием братства святого Серапиона, устроенным, как нам казалось, на всю жизнь и разрушившимся через несколько

месяцев. Вот как вредно сердечно привязываться к пустякам и полагаться на что-нибудь, живущее вне нас. Я сознаюсь чистосердечно, что характер и обаяние наших Серапионовых вечеров овладели мной до такой степени, что когда достойные братья разбрелись так внезапно в разные стороны, жизнь без нашего общества показалась мне такой же противной, пустой и поверхностной, как и меланхолическому принцу Гамлету!

-- Ну, это еще полгоря! -- возразил, смеясь Оттмар. -- Тебе, к счастью, не пришлось беседовать в полночный час с духом, взывавшим тебя к мести, ни отсылать в монастырь возлюбленную, ни поражать отравленной рапирой вероломного короля-убийцу. Потому меланхолию принца Гамлета можешь ты легко отложить в сторону и поразмыслить, не величайший ли эгоизм отрицать сердечно и разумно сложившееся общество только потому, что его может временно разлучить какая-нибудь внезапная причина. Человеку неприлично, как какому-нибудь чувствительному жучку, заметаться и зашевелить усами во все стороны от первого вздорного прикосновения. Неужели же для тебя не имеет никакого значения воспоминание о так хорошо проведенных нами минутах? Я, по крайней мере, думал о вас во все время моего путешествия и постоянно переселялся мыслью на вечера Серапионова клуба, который, был я уверен, процветает по-прежнему. Сколько забавного, которым намерен был я с вами поделиться, припоминалось мне в эти минуты и сколько надеялся я услышать от вас сам! Но, впрочем, что же я напрасно теряю слова и убеждения, зная хорошо, что Лотар, наверно, не держит в душе и десятой доли того раздражения, какое выказывает теперь под влиянием минутного впечатления. Не сказал ли он сам, что его расстроила именно наша разлука.

-- Болезнь Геодора, -- возразил Лотар, -- чуть было не сведшая его в гроб, была также не из таких удовольствий, которые настраивают на веселье.

-- А теперь, -- ответил Оттмар, -- когда Теодор выздоровел, я не понимаю почему бы Серапионову клубу не возродиться вновь, в виду возвращения целых трех достойных его членов?

-- Оттмар совершенно прав, -- возразил Теодор, -- и я тоже полагаю, что нам необходимо возобновить наши серапионовские беседы. Я уверен, что из зерна, которое мы составляем, вырастет опять роскошное свежее дерево, с плодами и цветом. Перелетная птица Киприан вернется скоро; Сильвестр также не любит деревни, когда перестают петь соловьи и, наверно, захочет послушать другой музыки; а затем и Винцент вынырнет из своего болота и не откажется затянуть свою песенку.

-- Делайте, что хотите, -- отвечал Лотар, гораздо, однако, мягче, чем прежде, -- делайте, что хотите, но не требуйте ничего от меня;

присутствовать, впрочем, на Серапионовых собраниях я буду и предлагаю, в виду того, что Теодору нужен свежий воздух, устроить их где-нибудь на открытом месте.

Друзья, посоветовавшись, назначили последнее число текущего мая днем, а прекрасный, лежавший неподалеку, уединенный сад, местом будущего Серапионова собрания.

* * *

Быстро налетевшая гроза окропила деревья и кусты немногими, тяжелыми каплями небесного, живительного бальзама и освежила духоту жаркого дня. Прекрасный сад стоял в полном блеске, весь пропитанный ароматом листьев и цветов и оглашаемый щебетаньем и чириканьем бесчисленных птиц, порхавших среди орошенных дождем деревьев.

-- Как чувствую я эту живительную свежесть! -- воскликнул Теодор, занимая вместе со своими друзьями место в тени густых лип. -- Малейший след болезни исчез, и мне кажется, в меня точно вселилась вторая жизнь, наслаждающаяся сама собой. Надо было именно испытать такую болезнь, чтобы сделаться способным почувствовать то, что чувствую я теперь, укрепленный духом и телом и вылеченный окончательно этим самым чувством, заставляющим нас ощутить веяние мирового духа. Мне кажется, что живительное дыхание природы вырывается из моей собственной груди и что я, потеряв всякую тяжесть, ношусь под простирающимся над нами голубым небесным сводом!

-- Это чувство, -- возразил Оттмар, -- доказывает, дорогой друг, что ты выздоровел окончательно и должен вечной благодарностью Богу за то, что Он одарил тебя достаточно крепкой натурой, чтобы перенести такую болезнь. Я удивляюсь даже тому, что ты выздоровел, не говоря уже о скорости твоего исцеления.

-- Что до меня, -- сказал Лотар, -- то я нимало не удивляюсь выздоровлению Теодора и никогда в нем не сомневался. Представь себе, Оттмар, что как ни тяжка была физическая болезнь Теодора, психически он все-таки не хворал и даже в самые тяжелые минуты страдания был в этом отношении гораздо крепче меня, здорового вполне. Как часто, бывало, после припадков болезни, он начинал весело шутить и имел даже столько нравственной силы, что припоминал фантазии своего собственного лихорадочного бреда. Много говорить было ему запрещено, и потому я думал было развлекать его рассказами в минуты облегчения болезни, но он заставлял меня молчать и просил предоставить его собственным мыслям, уверяя, что обдумывает в это время одно из своих больших сочинений.

-- Ну! -- возразил Теодор со смехом. -- Слушая Лотара, можно вообразить, что тут в самом деле было что-нибудь необыкновенное! Я вам объясню дело проще. Вы уже знаете, что со дня прекращения наших Серапионовых бесед Лотаром овладел какой-то злой демон своенравия. Но даже зная это, трудно себе вообразить, в какие занятия ударился он под влиянием этого расположения! Раз, вижу я, пришел он ко мне (я был уже тогда в постели) и говорит: "А ведь Киприан был прав, когда говорил, что лучшие сюжеты для рассказов, сказок, новелл и драм следует искать в старых хрониках". На другой день я, несмотря на тяжелый приступ болезни, заметил, что Лотар сидит возле меня, погруженный в чтение какого-то громаднейшего фолианта. Каждый день стал он бегать в публичную библиотеку, где откапывал всевозможные хроники, какие только мог найти. Голова его переполнилась до краев всевозможными сказками из этих заплесневелых книг, и их-то вздумал он пересказывать мне в часы моего отдыха от болезни, так что я только и слышал, что о войнах, чуме, странных рожденьях, уродах, кометах, пожарах, аутодафе ведьм, волшебниках, чудесах, в особенности же, о проделках домовых, которым, как известно, отведено в старых хрониках самое почетное место. Я удивляюсь даже, как он не свернул на эту тему до сих пор сегодня, и подозреваю, не одет ли он как-нибудь иначе, что его нельзя узнать. Согласись, Оттмар, что подобного рода разговор не совсем подходил для развлечения такого больного, как я.

-- Надеюсь, господа, -- возразил Лотар, -- вы не осудите меня, не выслушав. Хотя совершенно справедливо, что в старинных хрониках найдется много материала для рьяного новеллиста, но я занимался вообще ими очень мало, а еще менее той модной чертовщиной, без которой, как известно, не обходится, с некоторого времени, ни один писатель. Еще вечером, накануне отъезда Киприана, я имел с ним горячий спор по этому предмету и старался доказать, что он слишком много занимается чертом, со всей его семьей, причем чистосердечно высказал ему мое мнение, что хотя я и защищал при чтении натянутыми похвалами его рассказ "Состязание певцов", но вообще считал его совершенно неудавшейся вещью. Но тут он, сделавшись почти что адвокатом дьявола, напал на меня с таким увлечением и столько наговорил мне хорошего об этих старых, забытых книгах, что, признаюсь, смутил меня совершенно. Когда Теодор заболел, а я стал хандрить, мне, не знаю сам почему, опять пришла в голову повесть Киприана "Состязание певцов", и даже сам дьявол стал чудиться по ночам. И при этом, как я от него ни чурался, все-таки не мог не оказать ему в значительной доле уважения, как непременно адъютанту современных новеллистов. Результатом было то, что я решился угостить вас, в смысле страшного и таинственного, чем-нибудь еще покрепче, чем Киприан.

-- Ты? -- воскликнул Оттмар. -- Ты хочешь сочинять таинственное и ужасное с твоей фантазией, вечно гуляющей в шутовском колпаке.

-- Да! -- отвечал Лотар. -- И начал я с того, что перерыл все старые хроники, рекомендованные мне Киприаном как главный рудник чертовщины, хотя признаюсь вам по секрету, результат моих трудов вышел у меня совсем иной, чем я ожидал.

-- О да! -- живо воскликнул Теодор. -- Я могу это засвидетельствовать! Стоит посмотреть, что произошло от столкновения чертовщины и процессов ведьм с насмешливым юмором автора "Щелкунчика и мышиноного короля". Выслушай, Оттмар, как я познакомился с небольшим отрывком Лотара, написанным вроде пробы пера по части чертовщины. Раз он, уходя от меня, оставил на письменном столе книгу. Я в то время поправился уже настолько, что мог ходить по комнате, и, подойдя к столу, прочел действительно замечательное заглавие: "Hafftitii Microcronicon Berolinense", со следующей фразой на первом же листе: "В этом году дьявол открыто бродил по берлинским улицам, провожал покойников и старался казаться печальным". Можешь себе представить, любезный Оттмар, как меня обрадовало это известие! Но еще более заинтересовался я, увидя, что возле книги лежало несколько листов, исписанных рукою Лотара, в которых, сколько я мог судить из поверхностного взгляда, излагался, с его обычным юмором, рассказ о шалостях черта по поводу одного уродливого рождения и последовавшего затем страшного процесса одной ведьмы. Вот эти листы! Я их принес с собой на потеху тебе, любезный Оттмар.

С этими словами Теодор вынул из кармана и подал Оттмару несколько исписанных листов.

-- Как! -- воскликнул Лотар. -- Так это ты злостным образом похитил этот отрывок, который я считал уже давно уничтоженным, и где, признаюсь сам, очень неудачно изложил эпизод из жизни одной известной личности. И теперь ты думаешь поднять меня на смех перед порядочными, образованными людьми! Давай рукопись! Давай, говорю тебе; я тотчас же разорву ее на тысячу кусков и развею по ветру.

-- Ни за что! -- отвечал Теодор. -- Напротив, я хочу отомстить тебе за те муки, которым ты подвергал меня во время моей болезни, читая вслух твои хроники, и потому прошу теперь тебя самого прочесть Оттмару твое произведение, причем утешу тебя уверением, что считаю его сам -- пустой, неудавшейся шуткой.

-- Могу ли я отказать в чем-либо тебе, о мой Теодор? -- возразил Лотар, не без некоторой, однако, принужденной усмешки в лице. -- Ты требуешь, чтобы я отдал себя на суд этому строгому, серьезному судье? Изволь.

Лотар взял рукопись и прочел:

-- В тысяча пятьсот пятьдесят первом году на берлинских улицах стал с некоторого времени появляться, особенно в сумерки и по ночам, какой-то очень приличный с виду господин, одетый в прекрасный опушенный соболем кафтан, широкие штаны и разрезные башмаки. На голове носил он бархатный с красным пером берет. Манеры его обличали учтивость и хорошее воспитание. Встречным кланялся он чрезвычайно вежливо, особенно же женщинам и девицам, которых всегда старался занять приятным, любезным разговором.

-- Сударыня! Позвольте вашему покорнейшему слуге употребить все свои услуги для исполнения ваших желаний, если только таковые существуют в вашем сердце! -- так обращался он к знатым дамам, девицам же говорил: -- Да пошлет вам, сударыня, небо дорогого сердцу, какого заслуживают ваша красота и добродетели!

Также учтиво обходился он и с мужчинами, и потому нет ничего мудреного, что все очень сочувственно относились к незнакомцу и всегда были готовы ему помочь, если он останавливался перед широкой канавой, затрудняясь, как ее перейти. Надо заметить, что, несмотря на статное сложение, незнакомец был хром и ходил с костылем.

Когда ему подавали руку, он брал ее очень грациозно и, оперевшись, прыгал футов на шесть вверх вместе с подавшим ему помощь, а затем становился по другую сторону канавы шагах в двенадцати от того места, где был. Прыжок этот очень удивлял присутствовавших, и иногда случалось, что прыгавший с незнакомцем повреждал даже себе ногу, что всегда влекло за собой поток самых учтивых извинений с его стороны, причем он рассказывал, что был прежде придворным танцором венгерского короля и потому при малейшей помощи для маленького прыжка, его так и тянуло в воздух. Объяснение это совершенно успокаивало любопытных, и они порой даже забавлялись, видя, как какой-нибудь почтенный советник или судья, подав незнакомцу руку, внезапно прыгал с ним так несообразно своему важному званию.

Но как ни любезен был незнакомец обыкновенно со всеми, порой на него находили странные минуты, когда он изменялся совершенно. Иногда ночью вдруг начинал он бродить по улицам, громко стуча во все ворота. Когда же ему отворяли, то видели перед собою высокую, одетую в саван фигуру, громко и злобно завывавшую, так что даже самые храбрые ощущали невольный страх. После таких ночей он обыкновенно извинялся, уверяя, будто должен это делать для напоминания добрым, благочестивым гражданам о смерти и о спасении их бессмертной души. И при этом он даже доходил до слез, чем искренно умилял слушавших. Незнакомец непременно присутствовал на каждых похоронах, провожая гроб тихими шагами со скорбным, благочестивым видом, и при этом плакал и всхлипывал так громко, что

не мог даже присоединить своего голоса к пению похоронных псалмов. Но ежели он с подобающей горестью присутствовал на похоронах, то с таким же подходящим весельем любил посещать свадьбы граждан, совершавшиеся в то время так торжественно в здании городской ратуши. В этих случаях распевал он веселые песни, играл на цитре, танцевал по целым часам с женихом и невестой на своей здоровой ноге, искусно подобрав хромую, и вообще вел себя чрезвычайно учтиво и благопристойно. В особенности же присутствие его на свадьбах было приятно новобрачным, так как он всегда делал им ценные подарки: золотые цепи, запястья, дорогую утварь и пр.

Конечно, вследствие всего этого молва о благочестии, добродетели, щедрости и нравственности незнакомца скоро облетела весь Берлин и дошла до ушей самого курфюрста. Курфюрст полагал, что такой почтенный человек может украсить его двор, и потому приказал спросить, не пожелает ли он принять какую-нибудь придворную должность. В ответ на это предложение незнакомец написал на большом, шириною в фут, листе пергамента красными чернилами учтивое письмо, в котором верноподданически благодарил курфюрста за оказанную честь, но от должности отказался, прося его высочество позволить ему остаться простым гражданином, так как мирная, спокойная жизнь гораздо более соответствовала его наклонностям и привычкам. В заключение писал он, что выбрал Берлин местом своего жительства потому, что нигде, по его словам, не встречал он таких милых, любезных людей, не видел столько сочувствия и внимания и вообще не мог найти место более подходящего к его нраву и привычкам. Курфюрст и весь двор немало удивлялись красноречию незнакомца, с каким он сумел учтиво ответить на высокое предложение и в то же время остаться при своем.

Около этого времени случилось, что супруга ратмана Вальтера Люткенса готовилась в первый раз разрешиться от бремени. Старая повивальная бабка Барбара Ролоффин предсказала, что такая красивая, здоровая женщина родит непременно мальчика, чем привела господина Вальтера Люткенса в совершенный восторг.

Незнакомец, присутствовавший на свадьбе господина Люткенса, посещал его и потом, и вот раз случилось, что, зайдя однажды в сумерки, встретился он там с Барбарой Ролоффин.

Старуха, едва его увидела, громко воскликнула от радости, и в ту же минуту присутствующим показалось, что морщины ее внезапно разгладились, бледные губы и щеки покрылись румянцем, словом, как будто она внезапно обрела силу и свежесть давно прошедшей молодости.

-- Ах, ах, господин рыцарь! Вас ли это я вижу здесь! -- завопила она с восторгом и при этом чуть не в ноги поклонилась незнакомцу.

Но тот разом осадил ее гневным взглядом, сверкнув глазами, точно в них блеснули искры огня. Никто из присутствовавших не смог понять, что он сказал затем старухе, тихо и смиренно убравшейся в отдаленный уголок.

-- Берегитесь, любезный господин Люткенс, -- сказал незнакомец ратману, -- чтобы у вас в доме не случилось чего дурного при родах вашей супруги. Старая Барбара Ролоффин вовсе не такая искусная повивальная бабка, как вы полагаете. Я знаю давно как ее, так и то, что ей не раз уже случалось сгубить и роженицу, и ребенка.

Можно себе представить, как слова эти напугали господина Люткенса и его супругу и как упала Барбара Ролоффин в их мнении, особенно после того, как они видели, с каким испугом отнеслась старуха к незнакомцу, очевидно, знавшему за ней не совсем чистые дела. Понятно, что ее тотчас же выпроводили вон, запретив переступать порог дома, и сразу послали за другой повитухой.

Барбара Ролоффин перенесла, однако, эту обиду уже не с таким смирением и, уходя, с гневом воскликнула, что заставит господина и госпожу Люткенс горько раскаяться в их поступке с нею.

И действительно, скоро радость и надежды господина Люткенса превратились в горькое разочарование и печаль, когда супруга его, вместо обещанного Барбарой Ролоффин славного мальчика, родила отвратительного урода, темного цвета, с двумя рогами, огромными глазами, безносого, с широким до ушей ртом и почти без шеи. Голова торчала среди двух безобразных плеч, живот был раздут и весь в морщинах, а руки выходили откуда-то из бедер.

Горько плакал господин Люткенс.

-- О Господи! -- восклицал он в отчаянии. -- Что же мне теперь делать? Может ли мой сын пойти по достойным следам своего отца? Где же это видано, чтобы бывали черные ратманы с двумя рогами на голове?

Незнакомец старался утешить несчастного отца, как только мог. Хорошее воспитание, по его словам, значило очень много. Несмотря на ясное уродство новорожденного, в его больших глазах светился, по мнению незнакомца, несомненный ум, что подтверждалось и значительно широким пространством лба между рогами. Если мальчик не достигнет звания ратмана, то все-таки может быть замечательным ученым, и тогда его безобразие будет даже к месту и наверно поможет ему снискать общее уважение.

Разбирая причины своего горя, господин Люткенс пришел к заключению, что во всем была виновата Барбара Ролоффин. Что положительно доказывалось тем, что во все время родов старуха сидела на пороге дома. Госпожа Люткенс, сверх того, со слезами на глазах уверяла, что во время ее страданий ей постоянно мерещилось

отвратительное лицо старой Барбары и что от этого кошмара она никак не могла отделаться.

Доказательства эти, однако, не могли быть признаны достаточными для уголовного дела. Но вскоре представился случай, и преступные деяния Барбары Ролоффин сами собой всплыли наружу.

Это произошло однажды во время сильной бури, налетевшей как раз в полдень. Люди, бывшие на улицах, уверяли, будто видели, как Барбара Ролоффин, возвращавшаяся от одной роженицы, пролетела, шипя и свистя, по воздуху и опустилась совершенно безвредно для себя на лежащий вблизи Берлина большой луг.

Связь Барбары Ролоффин с нечистой силой была таким образом доказана несомненно, и господин Люткенс подал на нее жалобу, вследствие которой старуха была заключена в тюрьму.

Сначала она во всем заперлась, почему и была подвергнута пытке. Тогда, не вытерпев мук, призналась она, что была уже давно в связи с сатаной и вообще занималась чернокнижием. Бедную госпожу Люткенс околдовала действительно она и сверх того умертвила и сварила в котле много других христианских детей с помощью еще двух колдуний из Блумберга, которым их нечистый союзник, за несколько недель перед тем, свернул шеи. Целью их занятий было, по ее словам, намерение произвести в стране общую дороговизну.

По приговору суда, последовавшему очень скоро, старая колдунья была присуждена к сожжению живой на рыночной площади.

В день казни Барбару Ролоффин привезли, среди несметной толпы народа, на площадь и возвели на приготовленный эшафот. Перед казнью велели ей снять прекрасную, бывшую на ее плечах шубу, но она ни за что на это не соглашалась и умоляла помощников палача непременно привязать ее к столбу в том платье, в каком она была. Это ей было позволено.

Когда костер запылал со всех четырех углов, в толпе народа внезапно явилась исполинская фигура незнакомца, смотревшего сверкающими глазами прямо в лицо старухи.

Высоко взвивались клубы черного дыма; огненные языки уже охватили платье ведьмы, как вдруг она закричала ужасным, раздирающим голосом:

-- Сатана! Сатана! Так-то ты исполняешь договор, который со мной заключил! Помоги мне, помоги! Час мой еще не пришел!

Едва успела старуха выговорить эти слова, как незнакомец исчез, и вместо него вылетела из земли огромная летучая мышь. Быстрым взмахом крыльев спустилась она, громко крича, на костер, схватила шубу старухи и поднялась вместе с нею в воздух, а костер в ту же минуту рассыпался и погас.

Ужас овладел толпами народа. Всякий понял очень хорошо, что незнакомец был не кто иной, как сам сатана, успевший, по злобе на

благочестивых берлинцев, воспользоваться добрым приемом, который они ему сделали, и с такой адской хитростью погубить и почтенного ратмана Вальтера Люткенса, и много других достойных людей с их супругами.

Так велика власть дьявола, от чьих козней да избавит нас милость Господня!

* * *

Окончив чтение, Лотар посмотрел в лицо Оттмара с тем комическим видом, какой являлся у него всегда, если он собирался посмеяться над самим собой.

-- Ну, -- прервал молчание Теодор, -- что скажешь ты, любезный Оттмар, по поводу лотаровской чертовщины, в которой самое лучшее, по-моему, то, что она недлинна.

Оттмар, от души смеявшийся во время чтения, сделался, напротив, очень серьезен в конце.

-- Я не знаю, -- сказал он, -- как бы назвать настоящим именем то, что беспрерывно проскакивает в рассказе Лотара. Это какая-то комическая наивность, которая удивительно идет к изображению немецкого черта. Слушая описание чертовых прыжков вместе с почтенными бюргерами через канаву, а равно изображение черного уродца, если и не годного для того, чтобы быть статным, степенным ратманом, то обладающим всеми данными для ученой карьеры, -- во всем этом, повторяю, так и бросаются в глаза прыжки капризного конька, на котором ездил верхом наш достойный Лотар, когда писал своего Щелкунчика. Но, к сожалению, конек этот, кажется, устал к концу рассказа. Я, по крайней мере, явно заметил, что наивный юмор, которым пропитаны первые его страницы, почти исчезает в последних, и вместо него появляется, напротив, что-то очень тяжелое и неподходящее, так что впечатления этого не выкупают даже заключительные слова, где он опять возвращается к прежнему юмору.

-- О ты, мудрейший из всех критиков! -- воскликнул Лотар. -- Ты готов анатомировать, с очками на носу, самую ничтожнейшую вещь из всего, что я написал в жизни. Да не говорил ли я сам, что весь этот отрывок не более как этюд или проба пера расходившейся юмористической фантазии и притом отрывок, которому строжайший приговор произнес я сам. Впрочем, я все-таки рад, что прочел вам эту вещь и могу по этому поводу распространиться о подобных историях вообще в кругу достойных Серапионовых братьев в надежде заслужить их одобрение моим взглядам.

Прежде всего я постараюсь объяснить тебе, любезный Оттмар, причину того неприятного чувства, которое ощутил ты там, где думал,

напротив, посмеяться тому, что назвал комической наивностью. Каковы бы ни были намерения старика Хафтития, когда он рассказывает о похождениях черта в обществе добрых берлинцев, для нас, конечно, эта часть рассказа останется не более как фантастической чепухой, и если даже допустить в рассказе что-либо ужасное, осязаемое некоторыми людьми при всякой мысли об "отрицающем начале творенья", то в нас, собственно, неприятное ощущение будет вызвано скорее попыткой слить с этой чепухой саркастический взгляд, плохо уживающийся с изображением действительно неприятного. Совершенно иное при описании процессов ведьм. Тут перед нами выступает настоящая, реальная жизнь со всеми ее ужасами. Когда я читал историю Барбары Ролоффин, мне казалось, я вижу собственными глазами дымящийся на площади костер, окруженный всеми ужасами так называемых процессов ведьм. Дико исступленные глаза, разбросанные в беспорядке косы черных или седых волос, худое, изможденное тело, вот что считалось достаточным для того, чтобы назвать бедную женщину ведьмой, возвести на нее небывалые преступления, судить по всем правилам закона и наконец, сжечь на костре. пытка вызывала признание, и таким образом все было кончено.

-- Замечательно, однако, -- прервал Теодор, -- что многие ведьмы признавались в связи с нечистой силой совершенно добровольно без всяких принуждений и без помощи пытки. Года два тому назад я просматривал несколько подлинных процессов ведьм, случайно попавших мне в руки, и, признаюсь, меня мороз продрал по коже при чтении, какие нелепые вины вваливали на себя эти несчастные. То шла речь о мази, с помощью которой можно человеческую голову превратить в звериную, то о летании верхом на помеле, словом, это был полный подбор всей чертовщины, какую мы знаем из старинных сказок. Особенно же охотно и даже как будто с каким-то хвастовством признавались женщины в любовной связи с чертом. Скажите, какая причина таких странных, нелепых фактов?

-- Твердая вера в связь с чертом ведет к действительной связи, -- ответил Лотар.

-- Как так? -- воскликнули Оттмар и Теодор.

-- Согласитесь, -- продолжал Лотар, -- что в те времена, когда никто не сомневался в существовании черта и в его вмешательство в людские дела, все эти несчастные существа, которых так свирепо преследовали огнем и железом, верили сами в возможность того, в чем обвинялись. Желание сделать зло или жажда корысти очень могли побудить многих стараться всеми силами вступить в связь с нечистой силой с помощью одуряющих напитков или разных исступленных заклятий, причем возбужденный до высшей степени ум часто доводил до галлюцинаций, убеждавших, что цель достигнута и связь с чертом, одарившая их сверхъестественной силой, заключена. Признания, о которых вы

говорите, будучи, конечно, не более как горячечным бредом, получают, однако, нешуточное значение, если взглянуть на них с этой точки зрения; а что они вполне возможны, доказывается уже одним расположением женщин к истеричности, доводящей их иногда до непонятных, странных поступков. Минута раскаяния в воображаемом преступлении тоже могла иной раз вырвать признание и заставить преступницу осудить себя на ужасную казнь. Отрицать факты, случавшиеся при старинных процессах ведьм, во всяком случае, невозможно уже потому, что они подкреплены вескими свидетельствами; что же касается до их загадочных признаний, то при этом случалось, что обвиняемые в колдовстве, иной раз, совершали действительно тяжкие преступления. Вспомните прекрасный рассказ Тика, озаглавленный "Чары любви", где идет речь о умерщвлении одной женщиной ребенка, приведшем ее на скамью подсудимых, так что смерть на костре была для нее только вполне справедливым наказанием за ужасное преступление.

-- Я вспомнил, -- перебил Теодор, -- одно глубоко поразившее меня происшествие, в котором я мог подозревать именно одно из подобных преступлений. Во время моего пребывания в В*** посетил я однажды прелестный замок Л***, о котором совершенно справедливо кто-то сказал, что он, как гордый лебедь, плавает среди зеркального озера. Уже прежде слышал я рассказы, будто его недавно умерший владелец был какой-то полупомешанный и серьезно занимался магическими опытами при помощи одной старой женщины и что оставшийся в живых до сих пор старый кастелян замка знал и мог рассказать очень любопытные по этому предмету подробности, если только посетитель успеет завладеть его доверием.

Старик этот уже с первого взгляда поражал своей наружностью. Представьте себе высокого, белого как лунь человека, с печатью глубочайшей грусти на лице, бедно одетого в обыкновенное крестьянское платье и вместе с тем обладавшего самыми изысканными манерами. Представьте, что этот человек, занимавший, как по всему было видно, должность простого лакея, говорил со мной, по моему незнанию местного немецкого наречия, на чистейшем французском или итальянском языке. Прохаживаясь с ним вдвоем по опустевшим залам и заведя под впечатлением раздумья о загадочной жизни его господина разговор о прежних временах, показав при этом, что ими интересуюсь, я успел несколько оживить этого старика. Он объяснил мне темное значение некоторых картин, некоторых комнатных украшений, не имевших смысла для непосвященного и, оживляясь мало-помалу, стал делаться с каждой минутой все более и более доверчивым. Наконец отворил он дверь в маленький кабинет с белым мраморным полом, где вместо всякой мебели стоял большой медный котел. Стенные украшения, казалось, были содраны. Я догадался, что

стоял в том самом месте, где бедный, помраченный рассудком владелец замка занимался своими магическими опытами под гнетом несчастной мысли возвратить способность к прежним наслаждениям молодости. Едва я намекнул на этот предмет, старик вздрогнул и, подняв к небу глаза с выражением отчаянной тоски, простонал с тяжелым вздохом: "Простила ли ты, святая Матерь Божья!" -- и затем молча указал мне на большую мраморную плиту, вделанную в самой середине комнаты. Я осмотрел ее внимательно и увидел, что на мраморе были вкраплены какие-то красноватые прожилки. Вглядываясь в них пристальнее, представьте мой ужас, вдруг заметил я, что прожилки эти, точно под впечатлением ряби, подернувшей мои глаза, стали сначала сливаться, а затем сквозь них начала проступать какая-то определенная фигура, точно старинная стертая картина, пока все это вместе не приняло ясно вид детского личика, обезображенного выражением отчаянного страдания и борьбы со смертью. Струя крови сочилась из верхней части груди, остальная же часть тела исчезала, точно в тумане. С трудом мог подавить я овладевшее мной при этом чувство ужаса и в глубоком молчании поспешил покинуть страшное место.

Только в парке, на свежем воздухе, рассеялся тяжелый прилив охватившего меня щемящего чувства, почти испортившего то отрадное впечатление, которое произвел на меня, на первых порах, вид этого маленького рая. Из немногих, произнесенных старым кастеляном слов мог я с вероятностью заключить, что несчастная, вселившаяся в старого владельца замка мысль возвратить себе утраченную способность наслаждения ослепила его до того, что довела, мало-помалу, до совершения ужаснейшего преступления.

-- Вот-то рассказец для нашего Киприана! -- воскликнул Оттмар. -- Воображаю, в какой восторг привело бы его и явление окровавленного ребенка на мраморе, и вся личность старого кастеляна.

-- Что там ни толкуйте, -- прервал Теодор, -- точно ли видел я ребенка или было это просто игрой воображения, очень способного находить определенные фигуры в мраморных прожилках и в этот раз особенно настроенного слышанными мной намеками старика, но тот факт, что в этой комнате действительно случилось что-то ужасное, доказывается для меня тем расстроенным душевным состоянием старого кастеляна, с которым он сам глубоко верил в преступление своего господина и мысль о нем соединял именно с этой мраморной плитой.

-- Я советую тебе, -- сказал Оттмар, -- обратиться за разрешением этого вопроса к святому Серапиону, а теперь полагал бы оставить в покое ведьм с их колдовством и обратиться к настоящему немецкому черту, о котором мне хочется сказать вам несколько слов. Мне кажется, что во всех легендах, где рассказывается о вмешательстве лукавого в людские дела, интересна не его личность, а те чисто немецкие юмор и

добродушие, которыми проникнуты эти легенды. Трудясь, хлопоча изо всех сил, чтобы сделать людям зло, употребляя всевозможные средства, чтобы закабалить людские души, черт остается в этих легендах, однако, всегда самым добропорядочным человеком, соблюдая строжайшим образом условия заключенных контрактов, вследствие чего часто попадает в просак сам и остается одураченным до такой степени, что заслужил даже, согласно пословице, название глупого черта. Сверх того, в чертах его всегда проглядывает значительная доля комического элемента, чем несколько уничтожается даже характер ужасного, подавляющего душу впечатления, производимого на благочестивые души вмешательством в людские дела сатаны. Но это милое искусство, с каким черт изображался в старинных легендах, к сожалению, уже потеряно, и в новейших фантастических произведениях вы не найдете и следа его. В них, по большей части, черт является или просто глупым шутком, или, наоборот, окружается целым арсеналом самых плоских, балаганных ужасов.

-- Ты забываешь, однако, -- прервал Лотар, -- одно новейшее произведение, где с необыкновенным искусством соединены в изображении чертовых проказ именно две черты комического и страшного, о которых ты говорил по поводу старинных легенд. Я намекаю на мастерский рассказ Фуке "Человечек из-под виселицы", на который я охотно бы променял множество других произведений в том же роде. Не говоря уже о прекрасных фантастических подробностях, как, например, эпизод о появлении маленького человечка, вырастающего за ночь в бутылке и прицепляющегося к щеке уснувшего господина к величайшему его ужасу, или рассказ об ужасном человеке из ущелья, чей вороной конь лазал по скалам, как муха; несмотря, повторяю, на все это, общее впечатление повести удивительно действует на душу. Впечатление это походит на действие опьяняющего напитка, который, хотя и туманит рассудок, но в то же время благотворно согревает внутренности. Строго выдержанный тон всего произведения и необыкновенная жизненная правда в изображении отдельных эпизодов производят то, что даже заключительное, приятное впечатление, испытываемое невольно при рассказе, как бедняку удалось спастись от злых чертовых лап, не мешает в то же время от души смеяться над всеми комическими, выведенными в повести сценами. Я не помню, чтобы какая-нибудь фантастическая повесть доставляла мне при чтении столько удовольствия, как этот рассказ Фуке.

-- И я уверен, -- добавил Теодор, -- что Фуке заимствовал содержание своего рассказа непременно из какой-нибудь старой хроники.

-- Я не думаю, однако, -- отвечал Лотар, -- что ты хочешь принизить заслугу автора, если бы это было даже действительно так, и

уподобиться тем критикам, которые привыкли доискиваться, во что бы то ни стало, откуда взят сюжет того или другого поэтического произведения, и затем с торжеством напасть на бедного автора, виновного только в том, что выведенные в его повести образы извлечены им из болота, где они лежали без всякого употребления. Как будто бы для поэтического произведения достаточно выдумать сюжет и выпустить его в свет, не переработав его по-своему внутри своей души, чем, единственно, и определяется степень таланта истинного поэта? Но мы в этом случае отдадим себя под защиту нашего святого Серапиона, который рассказывал все не так, как вычитал из книг, но как видел или думал, что видел собственными глазами.

-- Ты не прав по отношению ко мне, Лотар, -- возразил Теодор, -- думая, что я держусь иного мнения. Как следует пользоваться заимствуемым сюжетом и перерабатывать его по-своему в полных жизни картинах, лучше всех доказал, по-моему мнению, Генрих Клейст в своем классически превосходном рассказе о торговце лошадьми Кольхаасе.

-- И этот Кольхаас, -- прервал Лотар, -- гораздо более создание самого Клейста, так рано от нас унесенного, чем Хафтития, в чьем рассказе Кольхаас является какой-то бледной, безжизненной фигурой. А теперь, кстати упомянув о Хафтитии, я намерен прочесть вам рассказ, заимствованный мной отчасти из *Microchronicon*'а и написанный под влиянием какого-то особенно шутливого расположения, овладевшего мною несколько дней тому назад. Рассказ этот докажет тебе, любезный Оттмар, что сплин, в котором обвинял меня Теодор, был уже вовсе не так силен, как вы могли подумать с первого раза.

Лотар вынул рукопись и прочел:

ВЫБОР НЕВЕСТЫ

ИСТОРИЯ, В КОТОРОЙ ОПИСЫВАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО СОВЕРШЕННО НЕВЕРОЯТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой трактуется о невестах, свадьбах,

тайных канцелярских секретарях, процессах ведьм,

Однажды в ночь под равноденствие правитель канцелярии Тусман, живший на Шпандауэрштрассе, возвращался домой из кофейной, где он регулярно проводил по нескольку часов каждый вечер.

Правитель канцелярии Тусман был необыкновенно пунктуален во всех своих привычках. Так каждый вечер, едва башенные часы церковью Пресвятой Девы Марии и св. Николая начинали бить одиннадцать, он проворно снимал платье и сапоги, влезал в просторные туфли и поспевал, как раз к последнему удару колокола, натянуть на уши ночной колпак.

Озабоченный мыслью не изменить своей привычке и на этот раз, так как часовая стрелка уже была близка к одиннадцати, Тусман быстро, почти вприпрыжку, свернул с Кенигштрассе на Шпандауэрштрассе, но вдруг остановился на бегу как вкопанный, пораженный каким-то необычным стуком.

Осмотревшись, увидел он при тусклом свете фонаря, что под башней старой ратуши стояла какая-то высокая, сухощавая фигура, одетая в темный плащ, и неистово колотила кулаком в запертые двери лавки торговца железом Варнаца. Поколотив, фигура отошла несколько шагов в сторону, тяжело вздохнула, возвратилась затем на прежнее место и, остановясь, устремила взгляд на полуразвалившиеся башенные окна.

-- Вы, милостивый государь, вероятно, изволили ошибиться дверью, - учтиво обратился Тусман к незнакомцу, -- там в башне никто не живет, если не считать жильцами несколько крыс, мышей и сов. Если же вам угодно купить какой-нибудь железный товар у господина Варнаца, то потрудитесь наведаться сюда завтра утром.

-- Почтеннейший господин Тусман! -- ответил незнакомец.

-- Правитель канцелярии вот уже несколько лет, -- перебил Тусман, несколько удивленный, что незнакомец знал его имя, но тот, не обращая внимания на эту поправку в титуле, начал снова:

-- Почтеннейший господин Тусман, вы совершенно ошибаетесь в ваших предположениях. Мне не нужно ни железных, ни скобяных товаров, ни самого господина Варнаца, а если я здесь, то для того, чтоб увидеть, воспользовавшись ночью под осеннее равноденствие, счастливую невесту. Я уже чувствую, что она услышала мои горячие вздохи, и, наверно, сейчас появится в том окне.

Мрачный тон, с каким были сказаны эти слова, заключал в себе что-то до того торжественное и вместе с тем угрожающее, что Тусман невольно почувствовал, как у него пробежали по спине мурашки.

В эту минуту башенные часы церкви Пресвятой Девы Марии начали бить одиннадцать. С первым ударом вдруг что-то стукнуло на верху башни; окно отворилось, и в нем показалась белая женская фигура.

Едва свет фонаря успел озарить ее черты, как Тусман жалобно простонал: "Милостивый Господи и вы все святые! Да что же это такое!"

Постояв несколько секунд неподвижно, привидение исчезло с последним ударом одиннадцати часов, то есть как раз в ту самую минуту, когда Тусман, по заведенному порядку, должен был натягивать свой ночной колпак.

Видение это почему-то очень встревожило Тусмана. Он тяжело вздыхал, вздрагивал, смотрел во все глаза на то место, где явилась фигура, и бормотал про себя: "Берегись, Тусман! Берегись! Не дай провести себя дьяволу! Опомнись и приди в себя!"

-- Вы, кажется, очень поражены тем, что увидели, -- прервал Тусмана незнакомец, -- я просто хотел посмотреть на невесту, а вы, по всему видно, заметили что-то другое.

-- Ах, сделайте одолжение! -- пролепетал Тусман. -- Я правитель канцелярии! Правитель канцелярии и в эту минуту совершенно растерявшийся правитель канцелярии! Извините, если я не называю вас надлежащим титулом, но это потому только, что не имею чести вас знать. Впрочем, я позволю себе называть вас тайным советником. Их так много в нашем добром городе Берлине, что, обратиться к кому-нибудь с этим почтенным титулом, редко рискуешь ошибиться. Итак, покорно прошу вас, уважаемый господин тайный советник, не будете ли вы так любезны сообщить мне, какую невесту вы намеревались лицезреть здесь в такой неурочный час?

-- Странное у вас пристрастие к чинам и званиям! -- сказал незнакомец, возвыся голос. -- Впрочем, если называть тайным советником того, кто знает кое-какие тайны и вместе с тем может подать добрый совет, то, пожалуй, называйте меня этим именем. Меня удивляет, однако, каким образом такой начитанный в древних книгах и редких рукописях человек, как вы, почтенный господин тайный секретарь, каким образом не знаете вы, что тот, кто в ночь под осеннее равноденствие постучит в одиннадцать часов вечера в дверь или в стену этой башни, увидит в окне образ девушки, которая сделается, еще до весеннего равноденствия, счастливейшей невестой во всем Берлине.

-- Неужели господин тайный советник? -- воскликнул Тусман, просияв от радости. -- Неужели это бывает именно так?

-- Конечно! -- ответил незнакомец. -- Но что же, однако, стоим мы здесь на улице? Вы уже пропустили час, когда привыкли ложиться спать, а потому не отправиться ли нам вместе в новый погребок, что на Александерплац? Там, если хотите, вы узнаете от меня подробнее о виденной вами невесте, а кроме того, придете немного в себя, так как, я вижу по всему, вы чем-то очень взволнованы.

Правитель канцелярии Тусман был чрезвычайно скромный и умеренный человек. Все его житейские развлечения, которые он себе позволял, состояли в том, что каждый вечер проводил он часа два в кофейной, где за кружкой хорошего пива просматривал новые газеты или прилежно читал приносимые с собой книги. Вина он почти не пил и делал в этом случае исключение только по воскресеньям, когда позволял себе после проповеди выпить в ближнем винном погребеке стакан хорошей малаги, закусывая ее сухариком. Шататься же по трактирам ночью было для него совершенной новостью, и потому тем более было изумительно, что в этот раз он, не возразив ни слова, позволил увлечь себя незнакомцу, твердыми шагами направившемуся в сторону Александерплац.

Придя в погребок, увидели они, что за столом сидел всего один посетитель и пил из большого, стоявшего перед ним стакана рейнвейн. Глубокие морщины на его лице свидетельствовали о преклонном возрасте. Взгляд его глаз был острый и колющий, а остроконечная борода и вообще вся внешность обличали еврея, оставшегося верным своему закону и обычаям. Одет он был в старомодный костюм, приблизительно такой, какой носили в тысяча семьсот двадцатом году, и поэтому казался выходцем из давно минувшей эпохи.

Но, однако, незнакомец, с которым пришел Тусман, был еще более необычен с виду.

Это был высокий, худощавый, крепко сложенный и мускулистый человек, имевшей на вид лет под пятьдесят. Черты его лица могли вполне назваться красивыми, до того живо сверкали под густыми бровями его черные глаза, полные еще юношеского огня. Высокий открытый лоб, прекрасно изогнутый орлиный нос, тонко очерченные губы и красивый подбородок сразу отличили бы незнакомца среди сотен других. Платье его было сшито по новому покрою, но плащ, воротник и берет соответствовали моде конца шестнадцатого столетия. Всего же более поражал в незнакомце его пронзительный взгляд, глухой голос и вообще весь его облик, резко выделявший его среди современников, так что всякий невольно ощущал в его присутствии странное, почти жуткое чувство.

Человеку, сидевшему за столом, незнакомец кивнул, как давнишнему приятелю.

-- Ну вот, привелось еще с вами увидеться! -- воскликнул он, как только его заметил. -- Все ли вы в добром здравии?

-- А вот как видите! Жив, здоров, на ногах, и, если будет надо, так смогу за себя постоять.

-- Ну это мы еще увидим, еще увидим! -- воскликнул незнакомец и, обратясь затем к ожидавшему приказаний слуге, заказал бутылку лучшего французского вина, какое только было в погребеке.

-- Почтеннейший господин тайный советник, -- начал было робким голосом Тусман, но незнакомец быстро его перебил:

-- Оставьте ваши титулы! Я не тайный советник, не правитель канцелярии, а просто художник и занимаюсь благородными металлами и драгоценными камнями. Зовут меня Леонгардом.

-- Значит, золотых дел мастер, ювелир, -- пробормотал Тусман.

Впрочем, при первом же взгляде на незнакомца в освещенной комнате погребка, Тусман и сам догадался, что он никак не мог быть почтенным тайным советником, судя по его старинному плащу, воротничку и берету, каких тайные советники никогда бы себе не позволили надеть.

Оба, и Тусман и Леонгард, уселись за стол напротив старика, поклонившегося им с оскаленной улыбкой. Выпив, почти по принуждению Леонгарда, стакана два хорошего вина, Тусман почувствовал, что щеки его начинают разгораться и что вообще ему становится веселее на душе. С удовольствием смотрел он на бутылку и даже сам начал улыбаться и подшучивать, точно воображение рисовало ему какие-то приятные картины.

-- Ну, мой почтенный господин Тусман! -- начал Леонгард. -- Теперь должны вы рассказать, чему вы так удивились, когда появилась в окне башни невеста, и чему так, по-видимому, радуетесь теперь? Со мной вам церемониться нечего, так как мы с вами, верьте этому или нет, старые знакомые, а этот почтенный старик также не может быть помехой вашему рассказу.

-- Господи Боже мой! -- уже не совсем связно проговорил Тусман. -- Почтенный господин профессор, вы, надеюсь, позволите мне вас так называть. Я уверен, что вы очень искусный художник и потому можете с честью занять кафедру в Академии художеств. Итак, почтенный господин профессор, скажу вам, что я не имею никаких причин перед вами молчать, по пословице -- что на сердце, то и на языке. Сегодня вечером я брел по улице и, находясь, как говорят, в жениховском положении, мечтал о том, как введу к себе в дом, еще до весеннего равноденствия, счастливую невесту. Потому, можете ли вы удивляться, что у меня дрожь пробежала по телу, когда вы, почтенный господин профессор, объявили, что покажете мне невесту в окне башни?

-- Что? -- вдруг пронзительным голосом воскликнул старый еврей, прервав Тусмана. -- Что? Вы хотите жениться? В ваши-то годы, да еще при такой образине, совсем как у павиана?

Тусман так обомлел от грубости старика, что не мог даже сообразить, что ему ответить.

-- Не взыщите со старого человека, любезный господин Тусман, -- вмешался Леонгард, -- он, поверьте, не так груб, как может показаться по первому взгляду. Но, признаюсь, поразмыслив хорошенько, я также

нахожу, что вы затеяли жениться несколько поздно. Ведь вам уже, по крайней мере, стукнуло пятьдесят.

-- Девятого октября, в день святого Дионисия, исполнится мне сорок восемь, -- отвечал видимо задетый за живое Тусман.

-- Ну, пусть даже так, -- возразил Леонгард, -- лета еще не главное препятствие, но ведь вы постоянно вели уединенную, холостую жизнь, вовсе не знаете женщин, а потому, я думаю, даже не сумеете шагу ступить женившись.

-- Чего же тут ступать, почтенный господин профессор, -- перебил Леонгарда Тусман, -- право, вы, кажется, считаете меня уже слишком ветреным и нерассудительным человеком, полагая, что я так, зря, не размыслив, затеял подобное дело. Напротив, я всегда строго обдумываю и взвешиваю каждый мой поступок, и потому вы можете быть совершенно уверены, что, почувствовав себя уязвленным стрелой бога любви, которого древние прозвали Купидоном, я приложил все старания, чтобы приготовить себя к моему новому положению. Известно, что всякий, готовящийся к строгому экзамену, заботливо постарается пройти относящиеся к этому предмету науки. Ну вот я и счел брак именно таким экзаменом и постарался как можно лучше к нему подготовиться, чтобы выдержать его с честью и славой. Взгляните, дражайший, на эту маленькую книжку, которую я со времени, как задумал жениться, всегда ношу с собой и постоянно изучаю. Взгляните, и вы убедитесь, как основательно я поступаю, чтобы не оказаться в этом деле неопытным, хотя женский пол, действительно, был для меня до сих пор совершенно неизвестен.

С этими словами правитель канцелярии вынул из кармана маленькую, в пергамент переплетенную книжку и раскрыл заглавный лист, на котором стояло следующее:

"Краткое наставление, которым следует руководствоваться для добропорядочного умения вести себя во всяком приличном обществе, посвященное всем желающим изучить законы приличия и переведенное с латинского текста Томазиусом. С приложением подробного оглавления. Франкфурт и Лейпциг. Издано у книгопродавца Иоганн Гроссен и сыновья. 1710".

-- Обратите внимание, -- продолжал Тусман со сладкой улыбкой, -- обратите внимание на то, что почтенный автор говорит о браке вообще и об обязанностях отца семейства в параграфе шестом главы седьмой:

"Главное не следует торопиться. Чем ближе женится человек к зрелым летам, тем разумнее поступает. Ранние браки заключают только нерассудительные или лукавые люди, не дорожащие ни телесными, ни душевными силами. Зрелый возраст никогда не совпадает с молодостью и наступает только с ее концом".

А затем, что касается самого выбора любимого предмета, с которым полагаешь сочетаться браком, несравненный Томазиус говорит в параграфе девятом:

"Золотая середина здесь лучше всего. Не следует брать ни слишком красивой, ни совершенно дурной, ни слишком бедной, ни слишком богатой, ни очень знатной, ни совершенно низкого рода. Равенство с самим собой, как по состоянию, так и во всех прочих статьях, всего приличней".

Этому правилу последовал и я, выбрав невесту, следуя совету Томазиуса, изложенному им в параграфе семнадцатом, которым предписывается сначала долго испытывать ее разговорами, чтобы досконально узнать, не притворна ли кажущаяся добродетель, так как, в конце концов, вечно притворяться все-таки невозможно.

-- Оно так, -- возразил золотых дел мастер, -- но только мне кажется, почтенный господин Тусман, что подобное, как вы называете, испытание женщины разговором, возможно только при довольно большом навыке и опыте с собственной стороны, иначе тебя обведут вокруг пальца.

-- Великий Томазиус подает руку помощи и здесь, -- отвечал Тусман, -- он самым пунктуальным образом учит всевозможным приятным разговорам с дамами и притом разговорам, исполненным самых милых шуток и острот. Однако, что касается острот, то автор, в пятой главе своей книги, советует употреблять их очень осторожно, как повару соль, позволяя пользоваться ими более как оружием для собственной защиты, на манер выставяющего свои иглы ежа. При этом умный человек должен более следить за выражением лица, ибо то, что частенько утаивают речи, выдает лицо, и зарождению симпатии либо антипатии поведение, а не слова, споспешествует.

-- Вижу, что на вас трудно напасть с какой бы то ни было стороны. Вы вооружены от головы до пяток. Потому бьюсь об заклад, что вы успели своей обходительностью вполне завоевать любовь вашей избранницы.

-- Я стараюсь, -- сказал Тусман, -- согласно советам Томазиуса, только любезно угождать, потому что почтительное, любезное обхождение и услужливость, будучи самым вернейшим знаком собственной любви, в то же время способно более всего вызвать взаимность, подобно тому, как зевота заражает целое общество. Впрочем, в почтительности я не захожу слишком далеко, потому что женщины, по словам того же Томазиуса, в сущности ни ангелы, ни демоны, а просто смертные существа и существа духом и телом более слабые, чем мы, что и определяет собственно разность полов.

-- Чтоб черт вас побрал с вашей глупой болтовней! -- внезапно воскликнул старик. -- Вы только мешаете мне здесь насладиться отдыхом после дневных трудов.

-- Молчи, старик! -- перебил золотых дел мастер, повыся голос. -- Будь доволен тем, что мы терпим твое присутствие; такого грубияна давно пора было вытолкать вон. Не сердитесь на него, почтеннейший господин Тусман, вы любите Томазиуса и доброе старое время, а я, как вы можете видеть по моему платью, сам отчасти принадлежу ему. Да, почтеннейшей! То было время получше нынешнего! И чудеса, которые видели вы сегодня в башне, -- наследство, оставленное нам именно им.

-- Как же это, достойный господин профессор? -- удивленно спросил Тусман.

-- Веселые бывали тогда свадьбы в ратуше, -- продолжал золотых дел мастер, -- и свадьбы, не похожие на нынешние! Счастливые невесты то и дело выглядывали из окон башни, так что даже и теперь делается весело на душе, когда такой фантом, появившись в окне башни, из далекого прошлого вещает нам о том, чему суждено свершиться в наши дни. Вообще надо признаться, что прежний Берлин был куда веселее и оживленнее нынешнего, где все ходят вытянутые в струнку на один и тот же манер, точно в скуке ищут от нее же развлечения. О тогдашних праздниках осталось нынче одно воспоминание. Помню я, как в пост тысяча пятьсот восемьдесят первого года был устроен торжественный прием курфюрсту Августу Саксонскому, прибывшему сюда с супругой, сыном Христианом и свитой из ста дворян, все верхом на прекрасных лошадях. Бюргеры обоих городов -- Берлина и Кёльна, включая и шпандаунцев, стояли, выстроившись шпалерами, от Кепеникских ворот вплоть до самого замка. На следующий день была дана прекрасная карусель, на которой присутствовали курфюрст Саксонский и граф Йост Барбийский с множеством дворян, все блистающие золотом, с золотыми венцами на головах; оплечья, налокотники и наколенники изображали золотые львиные головы, а ноги и руки, облаченные в шелк телесного цвета, казались обнаженными, как у языческих воинов на наших картинах. Певцы и музыканты сидели, спрятанные, в золотом Ноевом ковчеге, на котором стоял маленький мальчик, одетый в платье телесного цвета, с крылышками, луком, колчаном и повязкой на глазах, как изображают Купидона. Два других мальчика, украшенные белыми страусовыми перьями, с позолоченными глазами и клювами, изображали голубков и везли ковчег, из которого каждый раз, как курфюрст пускал коня и попадал в цель, раздавалась музыка. А потом выпустили из ковчегу несколько голубей, из которых один вылетел, спустился на соболью шапку курфюрста, а затем, захлопав крыльями, пропел итальянскую арию приятно и куда лучше, чем семьдесят лет спустя певал наш придворный певец Бернгард Пасквино Гроссо из Мантуи, но все же не так очаровательно, как в наши дни поют оперные певицы, кои, надо сознаться, исполняют свои арии в гораздо более удобном положении, чем тот голубок. Затем был пеший турнир, на котором курфюрст

Саксонский и граф Барбийский явились в ладье, обитой черной, с желтыми полосами, материей и украшенной парусом из золотой тафты. За курфюрстом сидел мальчик с длинной седой бородой, изображавший перед тем Купидона, и одетый теперь в пестрое платье и высокую, остроконечную, черно-желтую шапку. Певцы и музыканты были одеты точно так же. Вокруг ладьи веселились и танцевали многие благородные господа из свиты, в масках и с рыбьими хвостами и головами. Вечером, в десять часов, жгли великолепный фейерверк с несколькими тысячами ракет, изображавший четырехугольную крепость, осажденную ландскнехтами, гнавшими с криком и шутками стрелков, между тем как огненные лошади, люди-птицы и другие странные звери с шумом и свистом взлетали на воздух. Фейерверк продолжался целых два часа.

Во все время рассказа золотых дел мастера Тусман всячески высказывал свое восхищение: он подпрыгивал на стуле, охал и ахал от изумления, потирал руки и беспрестанно наливал себе стакан за стаканом вина.

-- Удивительно! -- воскликнул он, наконец, резким фальцетом, какой являлся у него всегда в минуты восторга. -- Можно, право, подумать, почтенный господин профессор, судя по живости вашего рассказа, что вы сами присутствовали при всем этом!

-- Ну, а почему бы мне не видеть этого собственными глазами?

Тусман, не понявший сразу смысла этих слов, хотел было попросить разъяснения, но старик не дал ему начать и, угрюмо обратившись к золотых дел мастеру, сказал:

-- А что же ты не рассказываешь о других праздниках, также немало занимавших добрых берлинцев в те хорошие, по твоему мнению, времена? Как на рыночной площади дымились костры и лилась кровь несчастных, признававшихся под пыткой во всем, что только могли выдумать людская глупость и изуверство!

-- Вы, вероятно, разумеете процессы ведьм и колдунов? -- вмешался в разговор Тусман. -- Это действительно было большое зло, и слава нашему благу просвещению, положившему им предел.

Золотых дел мастер пристально посмотрел на старика и на Тусмана и затем, обращаясь к последнему, спросил, как-то странно засмеявшись:

-- А слышали ли вы про историю о еврее Липпольде, разыгравшуюся в тысяча пятьсот семьдесят втором году? -- и прежде, чем Тусман успел ответить, продолжил: -- Еврей этот, пользовавшийся полным доверием курфюрста, был первым ростовщиком в стране и снабжал деньгами всех и каждого, в какой угодно сумме. Наконец, однако, был он обвинен во множестве мошеннических проделок и потребован к суду. Но тут, вследствие ли своей ловкости или с помощью каких-либо других средств, или, как многие подозревали, просто подкупом приближенных к курфюрсту, только ему удалось оправдаться вполне и

сохранить прежнюю милость курфюрста, приказавшего отдать его только под присмотр бюргеров в собственном его доме на Штралауэрштрассе. Раз случилось, что Липпольд поссорился с женой, которая, рассердясь, сказала так громко, что слова ее слышали все:

-- Если бы господин курфюрст знал, какой ты мошенник и какие дела творишь с помощью твоей колдовской книги, то тебе бы давно пришел конец.

Слова эти были переданы курфюрсту, который немедленно приказал сделать в доме Липпольда строжайший обыск и во что бы то ни стало узнать, что это была за колдовская книга. Книгу отыскиали, и, по прочтению ее сведущими людьми, преступления Липпольда обозначились ясно как день. Он, оказалось, ни более ни менее, занимался колдовством для того, чтобы забрать совершенно в свои руки достойного курфюрста, спасенного от этого злого умысла только особенной благодатью Господней.

Липпольд был сожжен на рыночной площади, и когда тело его, вместе с колдовской книгой, было превращено в пепел, из-под помоста эшафота вылезла огромная черная мышь, которая бросилась прямо в огонь. Присутствовавшие остались вполне убеждены, что мышь эта была тот самый нечистый, который помогал Липпольду в его колдовских делах.

Пока золотых дел мастер рассказывал эту историю, старик сидел, опершись локтями на стол и закрыв руками лицо, причем во все время рассказа тяжело охал и стонал, точно чувствовал тяжелую, непереносимую боль. Напротив, правитель канцелярии, казалось, не обращал большого внимания на рассказ и был занят какими-то другими, крайне приятными мыслями. Когда же золотых дел мастер кончил, Тусман, посмеиваясь, спросил вкрадчивым голосом:

-- А скажите мне, пожалуйста, почтеннейший господин профессор, это была точно Альбертина Фосвинкель, та женщина, которая смотрела на нас своими прекрасными глазами из развалившегося окна старой башни?

-- А вам что за дело до Альбертины Фосвинкель? -- вдруг оглянувшись, отрывисто спросил золотых дел мастер.

-- Как какое дело! -- сладким голосом возразил Тусман. -- Да ведь это она и есть та прелестная особа, с которой я намереваюсь сочетаться браком.

Услышав это, золотых дел мастер побагровел до ушей:

-- Что! Да вы совсем спятили? Или в вас вселился дьявол? Вы, старый заплесневелый буквоед, хотите жениться на красавице Альбертине Фосвинкель? Вы! Не видящий дальше своего носа и не умеющий ступить трех шагов, несмотря на всю вашу вычитанную в Томазиусе премудрость! Советую вам выбить эту дурь из головы, если вы не хотите сломать себе шею в эту же ночь.

Тусман, как уже сказано, был очень скромный, миролюбивый человек, скажем больше, робкий человек. Но слова золотых дел мастера были чересчур оскорбительны, да кроме того правитель канцелярии выпил на этот раз больше обыкновенного, потому неудивительно, если он, весь вспыхнув, закричал пронзительнейшим дискантом:

-- Я не понимаю, господин неизвестный ювелир, с чего вы себе позволяете говорить мне такие вещи! Вы, кажется, намереваетесь меня подразнить и, вероятно, сами влюблены в Альбертину Фосвинкель, с которой, уверен я, сняли портрет на стекло и показали мне его в окне башни с помощью волшебного фонаря, спрятанного вами под плащом! Но я вас разгадал, и вы напрасно думаете стать мне поперек дороги подобными глупостями или фокусами.

-- Берегитесь, Тусман, -- возразил со странной усмешкой золотых дел мастер. -- Вы сейчас имеете дело с не совсем обыкновенными людьми.

Едва успел он это сказать, как Тусман вдруг увидел, что с плеч незнакомца оскалилась на него вместо головы отвратительная лисья морда. В ужасе, прерванный на полуслове, откинулся он на спинку кресла. Старик, напротив, нимало не удивился проделке золотых дел мастера и даже засмеялся, отбросив свое прежнее, угрюмое выражение.

-- Смотрите, какой фокус! -- воскликнул он весело. -- Удивить ты меня вздумал, что ли? Я умею делать штуки почище, такие, какие тебе и во сне не грезились.

-- А ну, покажи, покажи! -- сказал золотых дел мастер, приняв свой прежний вид. -- Похвастай, на что ты горазд.

Старик вынул из кармана большую черную редьку и, тщательно очистив ее маленьким ножом, стал резать на небольшие тоненькие кусочки, раскладывая их на столе один возле другого. Затем он поднял кулак и стукнул по первому ломтику, который подпрыгнув, немедленно превратился в блестящую золотую монету. Старик взял ее и бросил золотых дел мастеру, который, поймав монету на лету, щелкнул по ней пальцем, отчего она в миг рассыпалась на тысячу искр. Старик нахмурился и стал все сильнее и сильнее колотить кулаком по ломтикам, но все они с большим треском рассыпались в руках золотых дел мастера.

Правитель канцелярии, глядя на все это, совсем онемел и растерялся от ужаса и страха; наконец, сделав неимоверное усилие, поднялся он со стула, на котором сидел, и, пробормотав дрожащими губами:

-- Честь имею, почтеннейшие господа, с вами раскланяться! -- поспешно выскочил на улицу, едва успев захватить шляпу и трость.

Уже будучи за дверями, услышал он раздавшийся за ним громкий смех таинственных незнакомцев, смех, от которого кровь застыла в его жилах.

ГЛАВА ВТОРАЯ

*где рассказывается о том, как сигара,
которая никак не загоралась, привела к объяснению в любви,
хотя влюбленные уже до того стукнулись лбами.*

Менее странным образом, чем правитель канцелярии Тусман, познакомился с загадочным золотых дел мастером Леонгардом молодой художник Эдмунд Лезен.

Однажды, когда Эдмунд рисовал с натуры группу деревьев в Тиргартене, Леонгард подошел к нему сзади и без церемонии стал глядеть через плечо на его рисунок. Эдмунд этого не заметил и с жаром продолжал свою работу до тех пор, пока золотых дел мастер не заметил:

-- Вот интересная манера рисовать! Ведь у вас, молодой человек, получаются не деревья, у вас получается что-то иное!

-- Что же такое вы в них заметили? -- спросил Эдмунд, взглянув ему в лицо своими ясными глазами.

-- Мне кажется, -- продолжал Леонгард, -- что сквозь эти ветви и листья выглядывает множество каких-то фигур, напоминающих гениев, красавиц, странных зверей, цветы, хотя все это вместе действительно похоже на купу деревьев, пронизанную светлыми лучами солнца.

-- Если вы это видите, -- отвечал Эдмунд, -- то значит, или вы одарены особым, проницательным зрением, или я во время работы сумел передать в рисунке мое самое сокровенное. Разве, когда вы на лоне природы всецело отдались страстному чувству, разве вам не кажется тогда, что из кустов и деревьев ласково глядят на вас всякие причудливые образы, разве с вами так не бывает? Это как раз и хотел я наглядно изобразить в моем рисунке, и, как видно, это мне удалось.

-- Значит, насколько я понимаю, -- возразил холодно Леонгард, -- вы хотите забыть труд и ученье и освежиться, дав свободный ход исключительно одной фантазии.

-- Нисколько! -- воскликнул Эдмунд. -- Напротив, именно этот род рисования с натуры считаю я лучшим и полезнейшим способом учения. С помощью его вношу я поэзию и фантастичность в мертвый ландшафт. Пейзажист должен быть поэтом точно так же, как и исторический живописец, иначе он весь свой век останется бездарным кропотуном.

-- Как? Любезный Эдмунд Лезен? И вы также...

-- Вы меня знаете? -- быстро перебил молодой человек.

-- Еще бы мне вас не знать! -- отвечал Леонгард. -- Я познакомился с вами в такую минуту, которую вы, наверно, очень плохо помните, а именно -- в самый день вашего рождения. Причем, надо отдать вам полную справедливость, вы вели себя очень умно и пристойно, если принять в соображение вашу тогдашнюю неопытность в жизни. Вы не заставили долго мучиться вашу матушку и заревели таким веселым голосом, являсь на свет, что не было даже надобности, по моему совету, хорошенько вас шлепнуть, что, согласно мнению новейших врачей, очень хорошо действует на развитие моральных и физических способностей в новорожденном. Папаша ваш был так рад вашему рождению, что прыгал по комнате на одной ноге, напевая арию из "Волшебной флейты": "Коль жаждет так любви мужчина, в нем, верно, добрая душа..." Затем передал он вас на руки мне и просил составить ваш гороскоп, что я и исполнил. С тех пор я часто бывал у вас в доме, и вы охотно лакомились изюмом и миндалем, которыми я вас угощал. Затем, когда вам исполнилось лет шесть или восемь, уехал я в долгое, дальнейшее путешествие и, возвратясь в Берлин, увидел вас здесь и с удовольствием узнал, что отец прислал вас из Мюнхенберга для изучения благородного искусства живописи, что очень трудно было бы исполнить на вашей родине по совершенному недостатку образцовых картин, мраморов, бронз и прочих произведений искусства. Ваш родной город не может тягаться с Римом, Флоренцией или Дрезденом, от которых в дальнейшем, возможно, не отстанет и Берлин, ежели из Тибра выудят и переправят сюда новехонькие произведения античного искусства.

-- О Боже! -- воскликнул Эдмунд. -- Теперь начинаю я припоминать мое детство и догадываюсь, что вы, вероятно, господин Леонгард?

-- Конечно, я зовусь Леонгардом, а не как-нибудь по-иному, -- отвечал золотых дел мастер, -- и, признаюсь, немало удивлен, что вы меня помните до сих пор.

-- А между тем это так, -- подтвердил Эдмунд. -- Я очень хорошо помню, как всегда радовался вашему приходу в дом моего отца, благодаря лакомствам, которыми вы меня угощали, и вообще вашему ласковому со мной обращению, хотя при этом я всегда чувствовал к вам что-то вроде уважения, смешанного со страхом, чувство, не покидавшее меня даже после вашего ухода. Но еще более укрепило во мне память о вас рассказы моего отца. С какой теплотой вспоминал он вашу к нему дружбу и ту готовность, с которой вы много раз помогали ему в затруднительных обстоятельствах жизни, так часто с ним происходивших! С особенным же уважением говорил он всегда о ваших глубоких познаниях в оккультных науках и даже иногда ясно намекал, что будто бы вы, извините, если я ошибаюсь, что вы в конце концов не кто иной, как Агасфер, вечный жид!

-- А почему бы не Гамельнский крысолов или "Старик Везде-Нигде", или какой-нибудь кобольд, -- прервал молодого человека Леонгард. -- Впрочем, я не отрицаю, что у меня точно есть кое-какие способности, о которых я, однако, не люблю много распространяться. Отцу вашему я, действительно, оказал моими познаниями несколько услуг, из которых более всего обрадовал его гороскоп, составленный мной при вашем рождении.

-- Ну! -- сказал молодой человек, внезапно покраснев. -- Кажется, моим гороскопом нельзя было остаться очень довольным. Отец часто мне говорил, что, по вашему предсказанию, из меня должен был выйти или великий художник, или великий глупец. Я рад, по крайней мере, что вследствие этого отец мой не препятствовал развитию моей природной склонности к живописи, и теперь очень бы мне интересно было от вас услышать, оправдал ли я, по вашему мнению, мой гороскоп?

-- О, без сомнения! -- холодно и спокойно ответил золотых дел мастер. -- Вы стоите на самой прямой дороге, чтобы сделаться великим глупцом.

-- Как? Милостивый государь! -- воскликнул затронутый за живое Эдмунд. -- Вы позволяете говорить мне такие вещи в глаза? Вы...

-- Всецело в твоей власти, -- перебил его золотых дел мастер, -- уклониться от неприятной альтернативы, предсказанной моим гороскопом, и сделаться великим художником. Твои рисунки и опыты свидетельствуют о задатках живой фантазии, силы выражения и смелости приемов, а на этих данных можно было бы воздвигнуть прекрасное здание, если только ты успеешь уберечься от нынешней модной эксцентричности и будешь серьезно учиться. Я искренно хвалю твое уважение к простоте и достоинствам старинных немецких художников, но и на этой дороге есть опасные подводные камни, о которые разбилось немало молодых талантов. Желание бороться против современного застоя в искусстве с помощью изучения старинных немецких мастеров и стремление проникнуться духом их произведений -- похвально в высшей степени, потому что только этим путем и можно, вовсе не будучи подражателем, зажечь и развить в себе самом самостоятельную искру вдохновения, способного произвести новую эпоху в искусстве. Но, к сожалению, многие из молодых художников воображают, что если им удастся состряпать картину на библейский сюжет, -- с длинными, костлявыми фигурами, вытянутыми в аршин лицами, с угловатой, деревянной драпировкой и неверной перспективой, -- то значит готово великое произведение в характере старинных немецких художников. Такие нищие духом подражатели похожи на тех крестьянских мальчиков, которые, не зная наизусть "Отче наш", держат в церкви, во время службы, шляпу перед лицом и

бормочут что-нибудь губами, показывая тем, что если они не знают молитвы, то, по крайней мере, напевают ее мотив.

Много еще говорил золотых дел мастер все в том же роде об искусстве и преподавал столько полезных советов Эдмунду, что тот, глубоко тронутый его словами, не мог, наконец, удержаться, чтобы не спросить, каким образом Леонгард, так хорошо понимая искусство, не сделался сам художником и кроме того, почему он вел такую неизвестную, уединенную жизнь, вместо того, чтобы быть одним из деятелей в области художественной критики.

-- Я уже тебе сказал, -- ласково и серьезно ответил Леонгард, -- что взгляды мои и суждения по этому предмету выработались путем долгой практики и труда. Что же до моей уединенной жизни, то я ее веду потому, что вздумай я пуститься в публичную деятельность, со мной непременно случилось бы что-нибудь особенное, отчего бы спокойствие мое в Берлине нарушилось. Это уже следствие моего характера и какой-то, действительно, мне одному присущей силы. У меня постоянно перед глазами личность одного человека, который в некотором роде может назваться моим предшественником и чье существо до того срослось с моим, что порой мне чудится даже, что мы одно с ним лицо. Человек этот не кто иной, как швейцарец Леонгард Турнгейзер, живший в Берлине в тысяча пятьсот восемьдесят втором году при дворе курфюрста Иоганна-Георга. В те времена, как тебе известно, всякого химика называли алхимиком, а всякого астронома -- астрологом, а Турнгейзер мог считаться за обоих. Во всяком случае, это был крайне замечательный человек, отличавшийся большими познаниями в медицине. К сожалению, у него был один недостаток: он любил слишком много говорить о своих познаниях, везде во все вмешиваться и спешить ко всем с помощью и советом. Этим он навлек на себя зависть и ненависть, подобно богачу, хвастающему своим богатством, пусть и законно приобретенным, и нажил себе много врагов. Раз такие благоприятели Турнгейзера уверили курфюрста, будто он умеет делать золото, а Турнгейзер, потому ли что он этого не умел или по каким другим причинам, отказался заниматься этим наотрез. Тогда наушники с радостью зашипели курфюрсту: "Видите, видите, какой это бесстыдный обманщик! Хвастает познаниями, которых у него нет, а сам занимается только колдовством да жидовским ростовщичеством, за что, по всей справедливости, следовало бы его предать позорной смерти, как еврея Липпольда". Это разгласили везде и постарались затоптать в грязь даже те познания, которыми он в самом деле владел, уверяя, что все, что он писал или предсказывал, было открыто не им, но покупалось за деньги у других ученых. Словом, зависть, злоба и ненависть сделали свое, и чтобы избежать участи еврея Липпольда, он тайно покинул Берлин. Противники подняли крик, что он сделался папским агентом, но это

была неправда. Турнгейзер поселился в Саксонии, где стал по-прежнему заниматься ювелирным ремеслом, не забывая при этом и науку.

Эдмунд чувствовал какое-то особенное влечение к старому золотых дел мастеру, несмотря на ту суровость, с какой он отнесся к его трудам, разобрав их с такой поучительной строгостью. Зато теперь был он вознагражден истинно полезными советами, которые преподавал ему Леонгард относительно искусства составлять и смешивать краски, искусства, оставшегося секретом старых художников и с помощью которого можно было достичь поразительных результатов.

Таким образом, между Эдмундом и Леонгардом установились самые дружеские отношения, какие только могут существовать между отечески нежным учителем и самым преданным учеником.

Некоторое время спустя случилось, что господин коммерции советник Мельхиор Фосвинкель, сидя однажды прекрасным летним вечером в охотничьем павильоне берлинского Тиргартена, никак не мог зажечь ни одной сигары, до того они были туго свернуты. С неудовольствием бросая на землю одну за другой, он под конец воскликнул:

-- Что за наказание?! Плачу огромные деньги, чтобы получать сигары прямо из Гамбурга, и вот теперь эти пакостницы испортили мне все удовольствие! Без сигары я не могу ни наслаждаться природой, ни говорить. Пренеприятно!

Слова эти были явно обращены к Эдмунду Лезену, стоявшему в стороне с прекрасно дымившейся сигарой. Эдмунд, хотя и не знал вовсе коммерции советника, однако, тотчас же открыл свою полную сигарочницу и любезно ему ее поднес, прибавив, что вполне отвечает за качество и хорошую свертку сигар, хотя они и не были выписаны прямо из Гамбурга, а просто куплены в табачном магазине на Фридрихштрассе.

Советник, просияв от радости, рассыпался в благодарностях, а когда от прикосновения горящего фидибуса поднялось над ним тонкое светло-серое облачко, воскликнул в полном восторге:

-- О, милостивый государь! Вы вывели меня из ужасного затруднения! Благодарю вас тысячу раз, пожалуй, у меня хватит наглости, докурив эту сигару, попросить у вас другую.

Эдмунд отвечал, что весь его футляр к услугам советника, и затем оба расстались со взаимным поклоном.

Между тем смеркло. Эдмунд, обдумывавший новую картину, смотрел на окружавшее его пестрое общество, никого не замечая, а затем в рассеянности, вздумав выйти на свежий воздух, без церемонии пошел прямо, задевая попадавшиеся на дороге стулья и столы. Вдруг коммерции советник словно вырос перед его глазами и любезно предложил ему место за своим столом. Эдмунд, стремясь выйти на

волю, совсем было приготовился отвечать отказом, как вдруг взгляд его упал на прелестную молодую девушку, сидевшую за тем самым столом, из-за которого встал советник.

-- Моя дочь, Альбертина! -- отрекомендовал ее советник Эдмунду, который стоял точно остоленев и даже забыл поклониться. Он с первого взгляда узнал в Альбертине виденную им, на прошлогодней выставке, изысканно одетую юную красавицу, задержавшуюся перед одной из его картин и с большим знанием дела и увлечением растолковывавшую пожилой даме и двум девушкам, пришедшим вместе с нею, фантастическое значение картины. Рисунок, группировка, краски -- все обращало на себя ее внимание, особенно же лестно отзывалась она о таланте художника, говоря, что, вероятно, он должен быть молодым человеком и что ей очень бы хотелось его видеть. Эдмунд стоял как раз позади нее и с наслаждением упивался похвалами, срывавшимися с милых губок. Охваченный волнением и восторгом, не мог он удержаться, чтобы тут же не отрекомендовать себя как автора картины. Альбертина, ахнув, уронила только что снятую с руки перчатку. Он бросился ее поднимать; Альбертина нагнулась тоже -- и они при этом так неосторожно стукнулись лбами, что у обоих посыпались искры из глаз и зашумело в голове. Альбертина с невольным восклицанием боли схватилась за свою голову, а Эдмунд, проклиная все на свете, подался назад и при этом одной ногой отдал лапу жалобно завизжавшему мопсу какой-то старой дамы, а другой наступил на ногу подагрику-профессору, который поднял страшный крик и от всей души послал неловкого Эдмунда ко все чертям.

Происшедшая по этому случаю суматоха привлекла внимание толпы; из всех зал сбежались зрители, наставив лорнетки на несчастного, сгоравшего от стыда Эдмунда, который с великим трудом кое-как вырвался и выбежал вон среди жалобной визготни мопса, проклятий профессора, брани старухи, насмешливого хихиканья барышень и участливых хлопот дам, вытаскивавших свои флаконы с одеколоном, чтобы потереть ушибленный лоб Альбертины.

Несмотря, однако, на весь комизм неудачного знакомства, Эдмунд уже тогда бессознательно влюбился в Альбертину, и только воспоминание о совершенной им неловкости удерживало его от попытки искать ее во всех концах города. Он представлял себе Альбертину не иначе как с красной шишкой на лбу, гневным лицом и потоком самых горьких упреков.

Однако ничего подобного не увидел он при теперешней встрече, хотя, правда, Альбертина покраснела и смутилась очень заметно, едва увидела молодого человека. Когда же советник спросил Эдмунда об имени, она, с очаровательной улыбкой, ответила за него, что если не

ошибается, то имеет удовольствие видеть перед собой господина художника Лезена, чьи прекрасные картины известны ей уже давно.

Можно себе представить, какой электрической искрой отделились эти слова в сердце Эдмунда. Воодушеваясь, хотел он высказаться целым потоком бурных слов, но советник прервал его на первом, схватив за полы сюртука со словами:

-- А как же, дражайший, обещанная сигара? -- Затем, получив ее от Эдмунда и закулив от окурка еще дымившейся старой, тотчас же продолжил: -- Итак, вы живописец? И притом очень искусный; мне это говорила дочь моя Альбертина, а она в этом знает толк. Очень, очень рад. Я тоже люблю живопись и часто говорю с Альбертиной о ней и об искусстве вообще. Могу смело сказать, что сам собаку съел по этому предмету. В картинах я большой знаток. Меня в этом деле, также как и Альбертину, никто не надует, у меня глаз наметан. Скажите, дорогой художник, скажите, не конфузюсь, ведь это вашей работы те замечательные картины, перед которыми я останавливаюсь каждый день, проходя по улице: что за краски! глаз невозможно от них оторвать!

Эдмунд никак не мог понять, каким это образом советник каждый день останавливался перед его картинами, тогда как он, сколько помнил, никогда не писал ни одной вывески. Сделав, впрочем, несколько осторожных вопросов, догадался он, что господин Мельхиор Фосвинкель толковал просто о разрисованных подносах, экранах и прочем подобном товаре, которым тот постоянно любовался в магазине Штобвассера на Унтер-ден-Линден, по которой ежедневно проходил ровно в одиннадцать часов, отправляясь к Сала-Тароне съесть четыре неизменных сардинки и выпить рюмочку данцигской водки за завтраком. Эти расписные вещи, как оказалось, считал он лучшими произведениями искусства, чем, без сомнения, немало разочаровал Эдмунда, от души пославшего к черту советника, мешавшего своей болтовней его разговору с Альбертиной.

Наконец, на счастье, подошел в нем какой-то знакомый коммерции советника и вступил с ним в разговор. Эдмунд воспользовался этой минутой и поспешил сесть возле Альбертины, отнесшейся к этому благосклонно.

Весь круг знакомых Альбертины безусловно сходилась во мнении, что она была воплощенная красота и грация; кроме того, знали, что она со вкусом одевалась, как умели одеваться только берлинские барышни, брала уроки пения в Цельтеровской Академии, училась на фортепиано у Лауска, танцам -- у первой танцовщицы и что вышитые ею тюльпаны, фиалки и незабудки уже не раз красовались на выставке. Знали также ее веселый, увлекающийся характер, хотя иногда и обнаруживавший некоторую наклонность к сентиментальности, особенно во время разговоров за вечерним чаем. Известно было также,

что она постоянно переписывала мелким, как бисер, почерком в кожаный, украшенный золотом альбом особенно понравившиеся ей стихи и сентенции Гете, Жан-Поля и других замечательных людей и поэтов и что, наконец, она никогда не путала падежных окончаний.

Поэтому совершенно понятно, что теперь, в присутствии молодого человека, сердце которого было переполнено любовью и благоговением, Альбертина почувствовала припадок сентиментальности еще в большей степени, чем это бывало во время вечерних разговоров или чтений за чаем, и поэтому весьма приятным голосом лепетала о наивности, поэтической душе, жизненной достоверности и тому подобных вещах.

Вечерний ветерок, поднявшись, обвеял их обоих сладким ароматом цветов. В темной чаще кустов запели два соловья. Под влиянием всего этого Альбертина стала декламировать стихи Фуке:

*Жужжанье, шорох, пенье
Промчались по кустам
И сетью наслажденья
Пленили сердце нам!*

Эдмунд, сделавшись смелее под покровом сумерек, схватил ручку Альбертины и, крепко ее сжав, немедленно продолжал:

*Когда б хотел сказать я,
Какая это сеть,
То должен бы назвать я
Любовь, и умереть!*

Альбертина тихонько освободила свою руку, но только затем, чтобы снять тонкую лайковую перчатку и опять подать ее счастливцу. С жаром хотел он поцеловать прелестную ручку, как вдруг раздался голос советника:

-- Однако становится холодновато! Глупо я сделал, что не взял с собой пальто. Тинхен! Накинь свою шаль. Вот хорошая шаль, любезный художник! Настоящая турецкая и стоит пятьдесят дукатов. Закутайся, Тинхен, хорошенько. Пора домой. Мое почтение, дражайший!

Эдмунд, в порыве любезности, поспешно выхватил из кармана сигарочницу и поспешил угостить советника третьей сигарой.

-- О пожалуйста, пожалуйста! -- воскликнул Фосвинкель. -- Вы обязательнейший и милейший человек! Я знаю, полиция воспрещает гуляющим курить в Тиргартене, дабы они не подпалили прекрасные газоны, но дымок запретной трубки или сигары делается от того еще приятнее.

В ту минуту, как советник пошел к фонарю зажечь сигару, Эдмунд осмелился робко и тихо предложить Альбертине проводить их до дома. Она подала ему руку, и оба пошли вперед. Советник, воротясь, остался очень этим доволен, потому что, кажется, сам хотел предложить Эдмунду отправиться вместе.

Всякий, кто был молод и влюблен (иным это никогда не удавалось), легко может себе представить, что Эдмунду, шедшему под руку с Альбертиной, воображалось, будто он идет не по пыльной дороге, а, напротив, парит над деревьями, под светлым пологом лучезарных облаков.

Согласно словам Розалинды в пьесе Шекспира "Как вам это понравится" отличительные признаки влюбленного состоят в следующем: впалые щеки, голубые круги над глазами, равнодушие ко всему, всклокоченная борода, спустившиеся подвязки, неподвязанная шляпа, распушенные рукава, незашнурованные башмаки и печать какой-то безутешности во всех поступках. Всего этого, однако, не было в Эдмунде точно так же, как и в влюбленном Орlando, но зато подобно тому, как Орlando перепортил множество деревьев и кустов ежевики и боярышника, царапая на их коре имя Розалинды или целые, сочиненные в ее честь оды и элегии, точно также Эдмунд истребил необъятное количество бумаги, пергамента, красок и холста, воспевая свою возлюбленную в плохих стихах и рисуя ее портреты во всех возможных видах, причем нередко подтверждал пословицу "охота смертная, да участь горькая", так как его фантазия опережала его искусство. Если прибавить к этому его постоянно рассеянный, точно у лунатика, взгляд и ежеминутные глуповатые вздохи, то понятно, что проницательный Леонгард скоро понял состояние, в каком находился его молодой друг. Да, впрочем, Эдмунд сам не замедлил ему чистосердечно сознаться во всем при первом же вопросе.

-- Эге! -- воскликнул Леонгард. -- Ты, значит, не подумал о том, что нехорошо влюбляться в чужую невесту. Ведь Альбертина Фосвинкель обручена с правителем канцелярии Тусманом.

Трудно было себе представить отчаяние Эдмунда, когда он услышал эту роковую весть. Леонгард хладнокровно выждал, когда пройдет первый приступ отчаяния, и затем спросил, точно ли он намеревался жениться на Альбертине Фосвинкель. Эдмунд рассыпался в клятвах, что женитьба на ней была величайшим его желанием, и умолял Леонгарда помочь ему всеми силами убрать с дороги правителя канцелярии и завоевать красавицу.

Золотых дел мастер отвечал, что, по его мнению, такому молодому художнику можно влюбляться сколько угодно, но тотчас же думать о женитьбе было бы величайшей глупостью. В пример привел он молодого Штернбальда, решительно высказывавшегося против женитьбы и оставшегося холостым. Говоря так, Леонгард метко попал

в цель: Штернбальд, герой книги Тика, был в то же время любимым героем Эдмунда, который постоянно ласкал себя надеждой также сделаться героем какого-нибудь романа. Потому понятно, что он, услышав строгое мнение Леонгарда, опечалился и почти готов был разрыдаться.

-- Ну, впрочем, -- продолжал Леонгард, -- делай, как знаешь! Правителя канцелярии я уберу, а затем, каким образом втереться в дом коммерции советника и сблизиться с Альбертиной, будет уже твое дело. Но мои действия, направленные против правителя канцелярии, могут начаться только в ночь под равноденствие.

Эдмунд был в полном восторге, зная хорошо, что если Леонгард что-нибудь обещает, то всегда держит свое слово.

Каким образом золотых дел мастер повел свою атаку против правителя канцелярии, благосклонному читателю уже известно из первой главы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

*описывающая особу правителя канцелярии Тусмана,
его привычки, приключение и то, как он очутился
верхом на "бронзовой" лошади великого курфюрста,
а также многие другие, достойные внимания вещи.*

Из того, что было выше сказано о правителе канцелярии Тусмане, благосклонный читатель уже может живо представить себе его характер и привычки. Но все же для описания его внешности необходимо будет добавить, что он был очень небольшого роста, плешив, с кривыми ногами и притом пресмешно одевался. Носил он обыкновенно старый долгополый сюртук прадедушкиного фасона, длиннющий жилет, широкие панталоны и башмаки, звеневшие при ходьбе пряжками, точно ботфорты курьера, что происходило от того, что Тусман никогда не шел по улице размеренным шагом, а, напротив, постоянно припрыгивал неправильными скачками, вечно куда-то торопясь, так что полы его сюртука развевались на ветру, как два крыла.

Несмотря на очень смешное выражение лица и глуповатую улыбку, обличавшую, впрочем, в Тусмане доброе сердце, все знакомые искренно его любили, хотя никто не упускал случая посмеяться над его педантичностью и смешной неловкостью, резко выделявшую его во

всяком обществе. Самой большой страстью Тусмана было чтение. Куда бы и когда бы он ни выходил, карманы его сюртука были всегда набиты книгами. Он читал постоянно, на ходу, стоя, на улице, в церкви, в кофейне, читал без разбора все, что попадалось под руку, но читал преимущественно старые книги, так как все новое было ему ненавистно. Сегодня углублялся он, сидя в ресторане, в руководство по алгебре, завтра -- в кавалерийский устав Фридриха-Вильгельма I, а затем в замечательнейшее произведение под заглавием: "Цицерон, как ветреник и ябедник, избобленный в десяти речах", издания 1720 года. К этому надо прибавить, что Тусман был одарен необыкновенной памятью. Он старательно записывал все, что находил интересным при чтении какой-нибудь книги, и один раз записанное не забывал никогда. Таким образом он стал в некотором роде живым энциклопедическим словарем, по которому можно было справляться о всяком историческом или научном предмете. Если случалось, что Тусман не мог тотчас ответить на какой-нибудь вопрос, то можно было быть уверенным, что он неустанно обегает и перероев все библиотеки, пока не отыщет желаемого и не притащит с торжеством требуемую справку. Замечательно было, что часто, погруженный в чтение посреди целого общества, он в то же время слышал и понимал все, о чем говорилось, ввертывал в разговор свои совершенно уместные замечания, иногда очень остроумные, и все это не отрывая глаз от книги и обнаруживая свое внимание к разговору только резким, коротким смехом.

Коммерции советник Фосвинкель и правитель канцелярии Тусман были товарищами по школе в Сером монастыре, чем и объяснялась взаимная, связывавшая их дружба. Альбертина выросла на глазах Тусмана, и он в первый раз позволил себе поцеловать ее руку, когда поднес на двенадцатый год ее рождения с любезностью и ловкостью, какие от него трудно было ожидать, прекрасный букет душистых цветов, с большим вкусом составленный лучшим берлинским садовником. С этого дня зародилась в голове коммерции советника мысль, что школьный его товарищ мог бы быть для Альбертины прекрасной партией. Он полагал, что свадьба Альбертины, которую он страстно желал, устроилась бы таким образом наименее хлопотно и что, кроме того, нетребовательный Тусман не станет гнаться за приданым. Советник очень любил обделывать дела наверняка, не терпел новых знакомств и как всякий, служивший по коммерческой части, излишне предавался расчетам. В день, когда Альбертине исполнилось восемнадцать лет, открыл он так долго лелеянный им план правителю канцелярии. Тот с первого раза пришел от этого предложения в совершенный ужас. Мысль сочетаться браком, да еще с молодой, цветущей девушкой, была решительно против его понятий. Мало-помалу идея эта, однако, стала казаться ему менее дикой, и когда, наконец, Альбертина, по настоянию отца подарила ему однажды

ею самой связанный из разноцветного шелка кошелек, назвав при этом его "милый господин правитель канцелярии", он растаял совершенно и, влюбившись по уши, немедленно объявил советнику о своем согласии жениться на Альбертине. Советник обнял его как дорогого будущего зятя, и свадьба была таким образом решена, с тем, впрочем, маленьким упущением, что сама Альбертина не только не знала, но даже ничего и не подозревала о совершившейся на ее счет сделке.

Рано утром после приключения под окнами ратуши и в погребке на Александерплац Тусман, бледный и изменившийся в лице, чуть свет ворвался в спальню коммерции советника. Тот никогда не видел Тусмана в таком отчаянном виде и справедливо предположил, что случилось какое-нибудь несчастье.

-- Правитель! -- воскликнул он (так сокращенно называл советник Тусмана). -- Правитель! Откуда ты? Что с тобой случилось?

Но Тусман, не отвечая ни слова, бросился в изнеможении в глубокое кресло и лишь несколько минут спустя, отдышавшись, едва смог сказать срывающимся голосом:

-- Советник, ты видишь меня одетым и с книгами в кармане! Я к тебе прямехонько со Шпандауэрштрассе, по которой всю ночь ровно с двенадцати бегал взад и вперед! Домой к себе я не попал, на постель даже не прилег, глаз так и не сомкнул!

И Тусман подробно рассказал все, что произошло прошлой ночью, начиная с первого знакомства с загадочным золотых дел мастером и до той минуты, когда, ужаснувшись выходов чернокнижника, стремглав выбежал он из погребка на улицу.

-- Правитель! -- воскликнул советник. -- Ты, кажется, вопреки твоим привычкам немного выпил на ночь, и все эти чудеса пригрезились тебе просто во сне.

-- Что ты говоришь? -- поспешно возразил Тусман. -- Что ты говоришь? Видел во сне? Неужели ты думаешь, я так мало знаком с теорией сна и сновидений? Я тебе сейчас объясню, что значит сон по теории Нудова, и докажу, что спать можно и без сновидений, потому и принц Гамлет говорит: "Уснуть и видеть сны, быть может?" А какое отношение имеют сновидения к сну, можешь ты прочесть в "Somnium Scipionis" или знаменитом сочинении Артемидора о снах, или, наконец, во франкфуртском соннике. Но ведь ты ничего не читаешь и поэтому, понятно, судишь совершенно ложно об этом предмете!

-- Ну хорошо, хорошо! -- возразил советник. -- Не горячись! Я тебе верю и пожалуй, согласен, что ты вышел несколько из себя, попав в руки ловким фиглярам, одурачившим тебя после того, как ты хватил лишний стакан. Но скажи, пожалуйста, почему, когда ты счастливо выбрался за двери, почему тогда не отправился ты спокойно домой вместо того, чтобы шататься по улицам?

-- О, советник! -- жалобно запричитал Тусман. -- Добрый школьный коллега! Прошу, не обижай меня оскорбительными подозрениями! Узнай, напротив, что проклятый, преследующий меня бес начал свои самые гнусные выходки именно с той минуты, как я выбежал на улицу. Добежав до ратуши, я вдруг увидел во всех окнах яркий свет и услышал веселую бальную музыку, которую играл военный оркестр. Сам не понимаю как, при моем маленьком росте, успел я, поднявшись на цыпочки, заглянуть в окно. И что же я увидел! Боже милосердный! Твою дочь! Девицу Альбертину Фосвинкель, одетую в подвенечный наряд и кружившуюся в бешеном вальсе с каким-то совершенно незнакомым мне молодым человеком. Я стучу в окно и кричу: "Достойнейшая мадемуазель Альбертина! Что вы тут делаете? Как вы сюда попали такой поздней ночью?" Но тут вдруг выбежала из-за угла Кенигштрассе какая-то высокая, темная фигура и так крепко ударила меня на бегу по ногам, что обе они разом отвалились. Негодяй быстро схватил мои ноги под мышки и скрылся в темноте, громко захохотав, а я, бедный правитель канцелярии, упав ничком, потащился на брюхе по мостовой, крича во все горло: "Караул, почтенная полиция! Многоуважаемый патруль, ко мне, ко мне, держите вора! Он украл обе мои ноги!" Но тут внезапно стало опять темно и пусто в ратуше, и один мой голос раздавался на пустынной улице. Я совсем уже стал приходить в отчаяние, как вдруг вор мой воротился и на бегу же бросил мне обе мои ноги прямо в лицо. Я поднялся кое-как с земли и поспешил прямо домой, на Шпандауэрштрассе. Но представь же себе мой ужас, когда, добежав с ключом в руке до двери моего дома, увидел я, что перед ней уже стоит другой я сам! Да, да! Я сам -- и точно так же дико озирается на меня глазами, как я на него! В ужасе кидаюсь я назад и попадаю прямо в чьи-то объятия, сжавшие меня, как тиски. По алебарде, которую неизвестный держал в руке, предположил я, что это должно быть ночной сторож, и учтивейшим образом обратился к нему с просьбой: "Почтеннейший господин сторож! Умоляю вас, помогите мне прогнать мошенника правителя канцелярии Тусмана, что стоит у дверей, для того, чтобы честный правитель канцелярии Тусман, каковой есть я сам, мог попасть в свое жилище". -- "Да вы, кажется, сошли с ума, Тусман?" -- так ответил мне глухим голосом тот, к кому я обращался, причем я с ужасом заметил, что это был совсем не ночной сторож, а сам страшный золотых дел мастер, державший меня в своих руках. Тут ужас овладел мной уже совсем, и я почувствовал, как холодные капли пота катятся у меня по лбу. "Уважаемый господин профессор! -- воскликнул я в отчаянии. -- Прошу не сердитесь, что я в темноте принял вас за ночного сторожа! Называйте меня сами как хотите, пожалуй, даже на манер пустых французов мосье Тусман, обращайтесь со мною как вам будет угодно, -- я согласен на все, только, умоляю, спасите меня от этого ужасного наваждения, ведь это

же в вашей власти!" А проклятый чернокнижник мне в ответ своим глухим, замогильным голосом: "Вас никто не тронет, если вы здесь же, на месте, дадите мне клятву отказаться от женитьбы на Альбертине Фосвинкель". Советник, можешь себе представить, что я почувствовал при этом возмутительном предложении! "Господин профессор, -- обратился я к негодю, -- вы хотите растерзать мое сердце! Я терпеть не могу вальса! Это самый безнравственный танец, и я сейчас видел, как моя невеста, Альбертина Фосвинкель, вальсировала с каким-то молодым человеком и вальсировала так, что у меня, глядя на нее, помутилось в глазах; однако, я все-таки не могу от нее отказаться! Не могу! Не могу!" Едва я произнес эти слова, проклятый колдун дал мне такого пинка, что я завертелся, как волчок и, словно подхваченный неопреодолимой силой, принялся вальсировать взад и вперед по Шпандауэрштрассе, чувствуя, что вместо дамы у меня торчит в руках помело, которым я исцарапал себе все лицо, между тем как невидимые руки пребольно колют меня в спину иголками, а кругом меня вальсируют, точно с такими же метлами, великое множество других правителей канцелярии Тусманов. Наконец -- в изнеможении упал я без чувств на землю. Занявшееся утро заставило меня открыть глаза, я взглянул и -- представь, добрый школьный товарищ, мой ужас! -- вдруг увидел, что сижу высоко, верхом на бронзовой лошади памятника курфюрста, склоняюсь головой на его медную грудь. На мое счастье, часовые дремали, и я смог незаметно, хотя и с опасностью для жизни, слезть прочь. На первых порах я хотел тотчас же бежать домой, на Шпандауэрштрассе, но обуявший меня страх был так велик, что я решился укрыться у тебя!

-- Послушай, правитель! -- возразил советник. -- Неужели ты серьезно хочешь меня уверить во всей чепухе, которую теперь наплел? Ну кто когда-нибудь слышал, чтобы подобные вещи случались в нашем добром, просвещенном городе Берлине?

-- Вот видишь, -- отвечал Тусман, -- как ошибочно судишь ты вследствие того, что ничего не читаешь! Если бы ты прочел, как я, "Microchronicon marchicum" Хафтития, ректора обеих школ -- Берлинской и Кельнской на Шпрее, -- ты бы узнал, что здесь случались и не такие вещи, и в заключение я выскажу тебе мое полное убеждение, что проклятый золотых дел мастер -- сам нечестивый сатана, давший себе слово меня мучить и преследовать.

-- Ну, ну, пожалуйста! -- возразил советник. -- Не морочь ты меня, прошу, этими суеверными бреднями. Вспомни лучше, не пропустил ли ты просто лишний стаканчик, а затем сдуру сам взобрался на бронзовую лошадь курфюрста?

Тусман готов был почти расплакаться от такого обидного подозрения, но постарался скрыть это насколько мог. Советник между тем сидел с очень серьезным лицом, когда же Тусман, несмотря ни на

что, продолжал уверять, что все рассказанное им случилось на самом деле, то он не выдержал и сказал: "Послушай, правитель! Чем больше я слушаю твои рассказы о старом еврее и золотых дел мастере, с которыми ты, совершенно вопреки твоему умеренному образу жизни, пировал поздней ночью, тем более прихожу к убеждению, что твой еврей -- это просто старый Манассия, мой старый знакомец, а чернокнижный золотых дел мастер не кто иной, как ювелир Леонгард, время от времени появляющийся в Берлине. Хотя я, действительно, не так много прочел книг, как ты, но это не мешает мне, однако, очень хорошо знать, что и Манассия, и Леонгард просто честные люди и уж никак не чернокнижники. Я даже удивляюсь, как такой хороший юрист, как ты, забываешь, что колдовство строжайше запрещено законом и что заведомый чернокнижник никогда не получит ремесленного свидетельства, по которому мог бы чем-нибудь заниматься. Слушая тебя, мне пришло даже в голову очень нехорошее подозрение! Да, да! Пришло, хотя я и надеюсь, что оно несправедливо. Я просто готов подумать, что ты намерен отказаться от женитьбы на моей дочери, для чего и выдумал всю эту чепуху. Как в самом деле тебе жениться, если черт угрожает тебе оторвать за это обе ноги и вдобавок исколоть всю спину булавами! Но если это так, то мне очень горько узнать, до какой степени ты проникнут ложью и лицемерием!

Это обидное предположение вывело Тусмана решительно из себя. Он стал уверять и клясться, что любит Альбертину до безумия, что он второй Леандр, второй Троил, что готов скорее даже на мученическую смерть от когтей сатаны, чем согласится от нее отказаться.

Пока Тусман в жару произносил эту клятву, внезапно кто-то постучал в дверь, и вслед затем вошел старый Манассия, о котором только что говорил советник.

При виде старика Тусман закричал как иступленный:

-- О Господи милосердный! Это тот самый еврей, что делал вчера червонцы из редьки и бросал их в голову золотых дел мастера! Того и гляди сейчас явится и другой чернокнижник!

И он совсем было бросился к дверям, но советник удержал его со словами:

-- Нет, нет, постой, сейчас все объяснится.

Затем, обратясь к старику Манассии, он повторил ему рассказ Тусмана обо всем, что, по его словам, случилось прошлой ночью в погребке на Александерплац.

Манассия язвительно засмеялся, искоса посмотрев на Тусмана, и сказал:

-- Я не знаю, чего от меня хочет этот господин, но вчера пришел он в погребок вместе с золотых дел мастером Леонгардом в то время, как я тоже там сидел за стаканом вина, отдыхая после трудной работы,

задержавшей меня почти до полуночи. Затем стал он пить стакан за стаканом и, едва держась на ногах, вышел, шатаясь, на улицу.

-- Видишь! -- воскликнул советник, обращаясь к Тусману. -- Я тебе говорил то же самое и теперь прибавлю, что эту скверную привычку должен ты бросить непременно, если хочешь жениться на моей дочери.

Правитель канцелярии, совершенно уничтоженный несправедливым подозрением, в бессилии опустился в кресло, закрыл глаза и с видом глубокого горя что-то бормотал.

-- Вот плоды дурного поведения! -- сказал, указывая на него, советник. -- Проштался всю ночь, а теперь вот раскис и размяк!

Затем, несмотря на все протесты со стороны Тусмана, советник укутал ему голову белым платком, кликнул проезжавший мимо наемный экипаж и, усадив его туда, отправил домой на Шпандауэрштрассе.

-- Ну что скажите нового, Манассия? -- обратился советник к своему гостю.

Манассия осклабился с довольным видом и затем сказал, что советник, наверно, и не предчувствует, какую приятную новость намерен он ему сообщить.

Любопытство советника было возбуждено до крайности этим предисловием, и он пристал к Манассии с неотступной просьбой рассказать в чем дело. Тогда старик с таинственным видом объявил, что недавно возвратился в Берлин из Италии его племянник, Беньямин Дюммерль, молодой человек красивой наружности, обладатель миллионного состояния и, наконец, только что возведенный в Вене за свои неисчислимые заслуги в баронское звание. И этот самый племянник, страстно влюбившись в Альбертину, предлагал ей теперь, ни более ни менее, как свою руку и сердце.

Молодого барона Дюммерля можно было постоянно видеть в театре, где он важно сидел, развалившись в ложе первого яруса, а еще чаще -- на всевозможных концертах. Все знали, что барон длинен и сух, как бобовый стручок, что у него совершенно желтый цвет лица, черные как смоль волосы и бакенбарды и что вообще он каждым своим суставом выдавал разительнейшим образом свое восточное происхождение. Одевался барон всегда щеголем, по последней английской модной картинке, говорил на всех языках, хотя и с заметным, свойственным его нации акцентом, пиликал немного на скрипке, дребезжал на фортепьянах, кропал плохие стихи, разыгрывал без толку и смысла знатока литературы и искусства, острил всегда невпопад -- словом, нахальный, навязчивый, несносный, был он, по выражению людей почтенных и образованных, в общество которых втирался всеми силами, несносным шалопаем. Если прибавить к этому, что, несмотря на свое богатство, он был скряга и крохобор, то станет понятным, что

даже неразборчивые в своем преклонении перед золотым тельцом люди не слишком охотно искали его общества.

Советник не мог, однако, выслушав предложение Манассии от его дорогого племянника, удержаться от выражения некоторого удовольствия при мысли о полумиллионе, действительно принадлежавшем Бенъяминчику, но в ту же минуту вспомнил он о важном препятствии, которое, по его мнению, могло расстроить все дело.

-- Любезный друг, -- сказал он старику, -- вы забываете, что ведь ваш достойный племянник исповедует иную веру.

-- Ну так что же? -- возразил Манассия. -- Довольно того, что он влюблен в вашу дочь, и если только она будет согласна, то неужели вы думаете он остановится перед тем, чтобы окропить себе лоб несколькими каплями воды? Ведь от этого его не убудет. Подумайте об этом, любезный советник, а я дня через два зайду к вам опять вместе с моим маленьким бароном.

С этими словами Манассия вышел.

Советник, оставшись один, стал раздумывать. Несмотря на свою скупость, бесхарактерность и беспринципность, все в нем возмущалось, когда представлял он свою Альбертину замужем за противным Бенъямином.

Следуя этому порыву пробудившейся честности, решился он сдержать слово, данное старому школьному товарищу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой ведется речь о портретах,

зеленых лицах, прыгающих мышах

и иудейских проклятиях.

Вскоре после своего знакомства с Эдмундом в Тиргартене, Альбертина стала находить, что большой написанный масляными красками и висевший в ее комнате портрет отца совершенно не похож и притом загроможден донельзя. Как дважды два доказала она советнику, что хотя портрет написан несколько лет тому назад, ее милый папенька и теперь кажется на вид гораздо моложе и красивее, чем изображен на портрете. В особенности же нападала она на темный, неприятный тон всей картины и на старый французский костюм, в который был одет на портрете советник, досталось также и огромному букету роз, который

советник держал между двумя пальцами, униженными бриллиантовыми перстнями.

На эту тему Альбертина говорила так много и часто, что скоро советник сам стал находить, что картина в самом деле нехороша, и не мог при этом понять, как художник сумел сделать из его приятной личности такую карикатуру. Чем более вглядывался он в портрет, тем более признавал его жалкой мазней и в конце концов решился убрать куда-нибудь в чулан.

Альбертина тотчас согласилась, что бездарная картина вполне того заслуживает, но при этом поспешила прибавить, что она так привыкла постоянно видеть перед глазами портрет дорогого отца, что ей грустно будет смотреть на оставшееся после него пустое место. Потому лучше всего было бы устроить, чтобы папенька заказал новый портрет и на этот раз искусному художнику, хорошо улавливающему сходство, лучше всего молодому Эдмунду Лезену, уже написавшему не один прекрасный и очень схожий портрет.

-- Дочка, дочка! Что ты затеяла? -- нерешительно возразил советник. - Молодые художники воображают о себе бог знает что и заламывают огромные цены за всякие пустяки. Им подавай блестящие фридрихсдоры, а от серебра, даже если это новенькие талеры, они нос воротят!

Альбертина, напротив, уверяла, что господин Лезен художник больше из любви к искусству, чем по ремеслу, и потому возьмет очень дешево. Словом, она до тех пор убеждала отца, пока тот наконец не решился отправиться к Эдмунду и поговорить на счет портрета.

Можно себе представить, с какой радостью принял Эдмунд предложение написать портрет советника, в особенности, когда узнал, что это была затея самой Альбертины. Он, конечно, сразу догадался, что таким путем она создавала им возможность видаться, и потому понятно, что на робкий вопрос советника о цене, объявил, что не желает никакого гонорара, считая себя слишком счастливым уже тем, что искусство его откроет ему доступ в дом такого почтенного, достойного человека.

-- Как? -- воскликнул в совершеннейшем изумлении советник. -- Достойный господин Лезен! Так ли я вас понял? Ни одного фридрихсдора за ваши труды? Ничего даже за потраченные краски и полотно?

Эдмунд поспешил уверить, что это такая безделица, о которой не стоит и толковать.

-- Однако! -- с некоторым сомнением произнес советник. -- Вы, может быть, не знаете, что тут идет дело о большом, поколенном портрете, в натуральную величину?

-- Это не имеет никакого значения, -- возразил Эдмунд.

Тут советник не выдержал и стремительно, со слезами на глазах, прижал Эдмунда к своей груди.

-- О Творец милосердный! -- воскликнул он. -- Есть же еще в нашем испорченном свете такие возвышенные, бескорыстные души! В тот раз сигары, а теперь портрет! Превосходный вы человек или, вернее, превосходный молодой человек! В вас живут именно те истинно немецкие чистота и добродетель, о которых память осталась только в книгах. Но поверьте, что я, несмотря на мое звание советника и мой французский костюм, питаю те же чувства и вполне могу оценить ваше благородство, да и сам я тоже человек бескорыстный и хлебосол...

Ловкая Альбертина хорошо придумала способ ввести Эдмунда к ним в дом, и выдумка ее удалась вполне. Советник рассыпался в похвалах прекрасному молодому человеку, столь чуждому всякого корыстолюбия, а чтобы вознаградить его хотя бы чем-нибудь, решил, что так как у молодых людей вообще, а у художников в особенности, голова всегда бывает вскружена немного на романтический лад, при котором они придают большое значение маленьким подаркам и сувенирчикам, получаемым от хорошеньких девушек в виде ленточек, засохших цветов, рукоделий и тому подобных мелочей, потому, повторяем, советник решил, что Альбертина должна связать Эдмунду кошелек, и позволил ей даже вплести в него прядку ее прекрасных каштановых волос. Этим он полагал вполне расквитаться с Лезеном за портрет и дал это позволение совершенно рассудительно, приняв даже на себя ответственность за него перед тайным секретарем Тусманом.

Альбертина, которой он это сказал, решительно не могла понять, какое могло быть до этого дело Тусману, так как советник еще не сообщал ей своих по этому делу проектов. Впрочем, она и не любопытствовала узнавать.

А Эдмунд в тот же вечер перенес в дом советника весь свой рисовальный прибор и на следующее утро усадил его на первый сеанс.

Он попросил коммерции советника мысленно перенестись в какую-нибудь из наиболее радостных и счастливых минут его жизни, ну, хотя бы вспомнить первое признание в любви к нему его покойницы жены, или рождение Альбертины, или, скажем, неожиданную встречу с другом, которого он считал погибшим...

-- Пойдите, господин Лезен, пойдите, месяца три тому назад я получил уведомление из Гамбурга, которым мне сообщили, что на мой билет пал значительный выигрыш в тамошней лотереи. С этим письмом в руке тотчас же побежал я к дочери, и, сколько помню, ни разу в жизни не было у меня более счастливой минуты. Потому и остановимся на этом. А чтобы вы лучше могли схватить значение этой минуты, я сейчас же принесу письмо и буду держать его открытым в руках.

Советник так и уперся на том, чтобы Эдмунд изобразил его бегущим с открытым письмом в руке, на котором четко и ясно было написано: "Имею честь Вас, Милостивый Государь, уведомить" и т.д..., а на стоявшем возле століке должен был валяться распечатанный конверт с адресом: "Его высокоблагородию господину коммерции советнику, члену магистрата и брандмайору Мельхиору Фосвинкелю. Берлин". При этом советник особенно хлопотал, чтобы Эдмунд не забыл изобразить на конверте почтовый штемпель города Гамбурга.

Работа пошла, и скоро портрет красивого, с выражением достоинства на лице, прекрасно одетого человека, черты которого действительно напоминали несколько лицо советника, был готов. Когда же посетители читали сделанную на конверте надпись, то не оставалось ни малейшего сомнения на счет особы, изображенной на портрете.

Советник был в полном восторге.

-- Вот где виден истинный художник! -- восклицал он с радостью. -- Как сумел передать симпатичную внешность красивого человека, несмотря на то, что он уже в летах! Только теперь я вполне понимаю мнение одного профессора, уверявшего раз в обществе любителей гуманитарных наук, будто хороший портрет в то же время должен быть и подлинной исторической картиной. Каждый раз, как я смотрю на мой портрет, мне непременно приходит на память история с лотерейным билетом, и я понимаю тогда, почему это лицо озаряет приятная улыбка!

В припадке радости советник сам предупредил дальнейшие планы своей дочери, которые она еще не смела высказать, а именно: потребовал тотчас, чтобы Эдмунд написал и ее. Эдмунд, конечно, не заставил себя долго просить, однако, с портретом Альбертины дело не так быстро пошло на лад, как с портретом советника. Десятки раз он начинал, стирал, начинал снова, загроутовывал, потом опять бросал все, иногда находил, что в комнате было слишком светло или, напротив, слишком темно, так что, наконец, советник, присутствовавший на первых сеансах, вышел из терпения и стал оставлять их одних.

Эдмунд являлся каждое утро и каждый вечер, но картина не очень подвигалась вперед. Зато взаимная симпатия Альбертины и Эдмунда с каждым днем становилась все прочнее.

Без сомнения, благосклонный читатель, ты знаешь по опыту, что тому, кто влюблен, для вящей убедительности его уверений, нежных слов и речей, для большей наглядности его пламенных желаний часто приходится брать ручку любимой, пожимать, целовать ее, и тогда в ответ на такую ласку уста, словно наэлектризованные, вдруг прильнут к устам, и электрическое напряжение разрядится бурным потоком пламенных поцелуев. Понятно потому, что Эдмунд часто совсем забывал свою картину и даже вовсе не садился к мольберту.

Таким образом, однажды утром случилось, что Эдмунд, стоя с Альбертиной возле оконной занавески и находясь под влиянием потребности усилить значение своих клятв, обхватил одной рукою ее стан, а другой беспрестанно прижимал к губам ее ручку. В это самое время правитель канцелярии Тусман проходил как раз мимо дома советника, с карманами, начиненными всевозможными книгами и пергаменатами, толковавшими о многих полезных и поучительных предметах. Несмотря на то, что приближался обычный час его прихода в контору, почему Тусман и спешил, подпрыгивая, он, однако, остановился на минуту и со сладкой улыбкой взглянул в окно своей нареченной невесты.

Вдруг, точно в тумане, увидел он сквозь занавеску фигуры Эдмунда и Альбертины, и хотя ясно не мог он видеть ничего, тем не менее у него, неизвестно почему, сильно забилося сердце. Какой-то неизъяснимый страх толкнул его к совершенно несообразному с его характером поступку, а именно -- вместо того, чтобы идти в контору, быстро вбежал он в дом советника и в одно мгновение объявился в комнате Альбертины.

Он попал как раз в тот миг, когда Альбертина, нежно припав к груди Эдмунда, тихо сказала:

-- Да, Эдмунд, я полюбила тебя навеки!

И Эдмунд прижал ее к сердцу, а затем последовал целый сноп вышеописанных электрических разрядов.

Правитель канцелярии Тусман невольно попятился назад и затем остановился посредине комнаты, нем и недвижим, точно пораженный громом.

В чаду блаженства влюбленные не только не слышали стука тяжелых башмаков правителя канцелярии, но даже не заметили, как он отворил дверь и прошел до середины комнаты.

Наконец, очнувшись, рявкнул он пронзительнейшим фальцетом:

-- Что же это такое, мадемуазель Альбертина Фосвинкель?

Влюбленные в испуге мгновенно бросились -- Эдмунд к мольберту, а Альбертина к стулу, на котором позировала. Тусман между тем, переведа дух, продолжал:

-- Но... но!.. Мадемуазель Альбертина! Что же это вы делаете? Ночью вальсируете вы в ратуше с молодым человеком, которого я не имею чести знать, и вальсируете так, что у меня, несчастного правителя канцелярии и вашего побитого жениха, в глазах помутилось? А теперь, уже не ночью, а светлым днем, здесь, за занавеской!.. О Господи Боже! И так ведет себя молодая, добропорядочная особа и невеста.

-- Какая невеста? -- быстро перебила Альбертина. -- Какая невеста? О ком вы говорите, господин правитель канцелярии?

-- О Ты, Творец вселенной! -- простонал Тусман. -- Вы спрашиваете, какая невеста и о ком я говорю? Да о ком же я могу говорить, как не о

вас? Разве не вы моя высокоуважаемая, желанная невеста? Разве не вашу прелестную, достойную одних поцелуев ручку давно уже обещал мне ваш почтенный папенька?

-- Господин Тусман! -- вне себя воскликнула Альбертина. -- Вы или уже с утра успели побывать в винном погребе, куда, как мне сказал папенька, начали нынче частенько заглядывать, или совсем сошли с ума! Вы уверяете, что отец мой обещал вам мою руку?

-- Мадемуазель Фосвинкель! Драгоценная Альбертина! -- снова заговорил Тусман. -- Одумайтесь! Вы меня знаете уже давно. Не был ли я всегда трезвым, умеренным человеком? Как же мог я внезапно сделаться пьяницей, предавшись этому отвратительному пороку? Но выслушайте меня, а я зажмурю глаза и буду говорить, что ничего здесь не видал! Все будет прощено и забыто! Только одумайтесь, прошу вас, ведь вы уже дали мне ваше слово, когда глядели ночью в окно ратуши, и хотя вы затем вальсировали там же с этим молодым человеком, тогда как я...

-- Ну посмотрите, пожалуйста, что он за чепуху несет! -- прервала правителя канцелярии Альбертина. -- Можно, право, подумать, что он только что вырвался из сумасшедшего дома. Ступайте, ступайте! Вы меня пугаете! Слышите! Говорю я вам, уходите сейчас же прочь!

Слезы градом брызнули из глаз Тусмана.

-- О Господи, Господи! -- воскликнул он, всхлипывая. -- И так обращается со мной дорогая невеста! Так нет же, не уйду! Не уйду! И буду стоять до тех пор, пока вы не перемените обо мне вашего дурного мнения!

-- Идите, говорю вам, -- настоятельно повторяла Альбертина и, не выдержав, расплакалась сама, убежав с прижатым к глазам платком в угол комнаты.

-- Нет, нет! -- топая ногами, кричал Тусман. -- Я останусь согласно совету мудрого Томазиуса, останусь, пока вы... -- и он сделал шаг вперед с намерением подойти к Альбертине.

Эдмунд между тем, дрожа от ярости и едва владея собой, судорожно водил кистью, покрытой зеленой краской, по полотну. Но тут, не выдержав и крикнув во все горло:

-- Проклятый дьявол! -- кинулся он прямо на Тусмана и, ткнув его несколько раз толстой кистью прямо в лицо, схватил за плечи и дал такого пинка, что правитель канцелярии стрелой вылетел вон из комнаты к неописуемому изумлению советника, который, привлеченный шумом, хотел войти и вдруг увидел перед собой школьного товарища, всего вымазанного густой, зеленой краской.

-- Правитель! -- воскликнул он. -- Ради всего святого, что с тобой?

Тусман, едва помня себя, вкратце, отрывистыми фразами рассказал ему все, что сделали с ним Альбертина и Эдмунд.

Советник вспыхнул не на шутку, взял его за руку и, войдя вместе с ним в комнату, накинудся на Альбертину.

-- Что это значит? Где это видано? Так обращаться с женихом!

-- С женихом? -- испуганно воскликнула Альбертина.

-- Ну да! С женихом! -- продолжал советник. -- Я не понимаю, чему ты удивляешься, когда это давным-давно решенное дело! Разве ты не знаешь, что наш дорогой правитель канцелярии давно твой жених и что через несколько недель назначена ваша свадьба.

-- Никогда! -- крикнула Альбертина. -- Никогда не выйду я за правителя канцелярии! Никогда не полюблю такого уроду!

-- Какая тут любовь? Какой тут урод? -- перебил советник. -- Тут дело не о любви, а о свадьбе. Мой дорогой правитель канцелярии не вертопрах, не ветреник, а человек почтенных лет, как и я. Эти годы совершенно справедливо зовут лучшими. К тому же он честный, достойный, начитанный, обходительный человек и мой школьный товарищ.

-- Нет, нет! -- в отчаянии, со слезами на глазах запротестовала Альбертина. -- Я его терпеть не могу, я его ненавижу! О мой Эдмунд!

И с этими словами она почти без чувств упала в объятия Эдмунда, крепко прижавшего ее к своей груди.

Советник вытаращил глаза от изумления, точно увидел привидение.

-- Это еще что? -- крикнул он на весь дом.

-- Ну вот, ну вот! -- жалобно забормотал Тусман. -- Мадемуазель Альбертина и знать меня не хочет. Она чувствует какое-то странное влечение к господину художнику! Она его целует без всякого стеснения! А мне не позволяет даже прикоснуться к прелестной ручке, на которую я собирался надеть обручальное кольцо.

-- Отпустите!.. Врозь!.. Без разговоров! -- закричал советник и насильно вырвал Альбертину из объятий Эдмунда.

Но тот поклялся, что не отступится от Альбертины, даже если это будет стоить ему жизни.

-- Вот как? -- со злобной усмешкой сказал советник. -- Скажите, какая милая любовная история разыгралась у меня под носом. Прекрасно, дражайший господин Лезен! Так вот причина вашего бескорыстия, сигар и портретов! Втереться в мой дом с бесчестным намерением обольстить мою дочь! И вы полагаете, что я соглашусь отдать ее голодному, бессовестному, дрянному пачкуну?

Эдмунд вне себя от гнева после таких оскорбительных слов советника схватил муштабель и, взмахнув им по воздуху, совсем уже готов был броситься на Фосвинкеля, как вдруг раздался громкий голос внезапно явившегося в дверях Леонгарда:

-- Эдмунд, остановись! Не буй! -- крикнул он. -- Фосвинкель старый дурак, он еще одумается.

Советник, испуганный появлением Леонгарда, отпрыгнул в дальний угол и, прижавшись к стене, воскликнул нерешительно:

-- Я не понимаю, господин Леонгард, как вы осмеливаетесь...

Тусман же, совершенно обезумевший от страха, едва увидев золотых дел мастера, забился под диван и, делая оттуда всевозможные знаки советнику, кричал чуть не плача:

-- О Господи, Господи! Берегись, советник, берегись, добрый товарищ! Лучше молчи! Ведь это сам господин профессор, не знающий пощады распорядитель танцев со Шпандауэрштрассе.

-- Полноте, Тусман, кричать и вылезайте вон, -- сказал со смехом Леонгард. -- Не бойтесь! Вам не сделают ничего дурного. Вы, за вашу глупую охоту жениться, наказаны уже довольно, так как останетесь на всю жизнь с зеленой физиономией.

-- Что вы говорите, -- с ужасом закричал Тусман, -- с зеленой физиономией? Что же скажут люди? Что скажет сам господин министр? Его превосходительство может подумать, что я раскрасил себе лицо из-за глупого кокетства! Я погиб, погиб окончательно! Мне откажут от должности, потому что государство не потерпит у себя на службе правителя канцелярии с зеленым лицом! Ох я несчастный...

-- Ну, ну, успокойтесь! -- прервал Тусмана Леонгард. -- Не хнычьте! Можно еще все поправить, если вы дадите мне честное слово отказаться от глупой затеи жениться на Альбертине.

-- Этого я не могу! -- Этого он не смеет! -- разом выкрикнули советник и правитель канцелярии.

Золотых дел мастер гневно взглянул на обоих, но едва хотел он продолжать, как вдруг дверь отворилась, и в комнату вошел старый Манассия вместе со своим племянником, новоиспеченным венским бароном Беньямином Дюммерлем. Беньямин прямо направился к Альбертине и, схватив ее довольно нахально для первого знакомства за руку, сказал:

-- Прелестная девица! Это я! Я сам явился за тем, чтобы бросится к вашим ногам. Вы понимаете, что барон Дюммерль не преклоняет своих колен ни перед кем, даже перед его величеством императором, потому, надеюсь, вы вознаградите меня поцелуем!

И с этими словами он совсем было приготовился поцеловать Альбертину, как вдруг случилось нечто до того странное, что все присутствовавшие, кроме Леонгарда, пришли в неопиcуемый ужас.

Нос Беньямина, бывший уже совсем на пути к лицу Альбертины, вдруг вытянулся во всю длину комнаты и, проскользнув мимо ее щеки, стукнулся, звонко щелкнув, о противоположную стену. Беньямин отскочил назад -- нос мгновенно сократился и принял прежний вид. Барон опять подвинулся к Альбертине -- и та же история. Словом, каждый раз, как он порывался подойти к Альбертине и отпрыгивал назад, нос вытягивался и сокращался, как цугтромбон.

-- Проклятый колдун! -- заревел Манассия и, выхватив из кармана веревку с петлей, бросил ее советнику, продолжая кричать:

-- Накиньте ему скорее петлю на шею, мы его вытащим за дверь, и тогда все уладится!

Советник схватил веревку, но вместо того, чтобы попасть в Леонгарда, накиннул ее прямо на шею старому еврею, и тотчас же оба они, словно сумасшедшие, начали прыгать чуть не до потолка комнаты. Бенъямин тем временем продолжал возиться со своим носом, а Тусман истерично хохотать и метаться из стороны в сторону. Наконец советник, в полном изнеможении, упал в глубокое кресло.

-- Теперь пора! -- воскликнул Манассия и, запустив руку в карман, вытащил оттуда огромную, черную мышь, которая прыгнула прямо на золотых дел мастера; но Леонгард, прежде чем она его коснулась, успел поймать ее на большую, острую, золотую булавку, попав на которую, мышь с громким писком мгновенно исчезла неизвестно куда.

Тут Манассия, сжав кулаки, накиннулся на несчастного советника и закричал, бешено сверкая глазами:

-- Так ты тоже против меня, Мельхиор Фосвинкель! Ты тоже в союзе с проклятым колдуном, которого приютил в своем доме. Проклят, проклят будешь ты за то со всем твоим родом и погибнешь, как беспомощная птица в гнезде! Да порастет травой порог твоего дома, да распадутся прахом все твои начинания и да уподобишься ты голодному, который хочет насытиться яствами, что видит во сне; да поселится Далес в доме твоём и да пожрет все добро твое; и будешь ты, моля о подаянии, стоять в старом, дырявом рубище под дверью презренных тобою сынов народа божьего, который изгоняет тебя, аки пса шелудивого. И будешь ты повержен во прах, как иссохшая ветвь в добычу червям, и вовек не услышишь арфы серафимов. Будь проклят, будь проклят, коммерции советник Мельхиор Фосвинкель!

С этими словами разъяренный Манассия вместе со своим племянником бросился вон из комнаты.

Альбертина, перепуганная до смерти, спрятала лицо на груди Эдмунда, который, сам с трудом владея собой, крепко держал ее в объятиях.

Золотых дел мастер подошел к ним и, ласково улыбаясь, сказал:

-- Ну полноте! Не пугайтесь этих глупостей. Все будет хорошо, я ручаюсь за это. Но теперь надо вам разлучиться, прежде чем Фосвинкель с Тусманом придут в себя.

Затем он вместе с Эдмундом вышел из комнаты.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

из которой благосклонный читатель узнает,

*кто такой был Далес, каким образом Леонгард
спас правителя канцелярии Тусмана от позорной смерти
и как утешил пришедшего в отчаяние советника.*

Советник гораздо более испугался проклятий Манасии, чем фокусов Леонгарда. Проклятия эти, действительно, были плохой шуткой, потому что навязывали советнику на шею Далеса.

Не знаю, благосклонный читатель, слышал ли ты, кто такой этот еврейский Далес.

Раз жена одного бедного еврея (так рассказывает один из талмудистов) нашла у себя на чердаке маленького, костлявого, изнеможенного голого человечка, жалобно попросившего его приютить, накормить и обогреть. В испуге бросилась она к мужу, крича: "Какой-то голый господин забрался к нам в дом и просит крова и пищи! Как же нам прокормить еще и чужого человека, когда сами мы едва перебиваемся и сводим концы с концами?" -- "Погоди, -- сказал муж, -- я пойду и посмотрю, может быть удастся выпроводить его из дома". -- "Зачем пришел ты сюда? -- сказал он незнакомцу. -- Я беден и не могу тебя прокормить. Ступай в дома богатых, где каждый день закалывают животных и постоянно угощают гостей". -- "Как можешь ты так сурово меня гнать, -- возразил незнакомец, -- если я уже пришел под твою крышу. Ты видишь, я наг и бос, потому, как я покажусь в доме богатых? Сшей мне сначала платье, которое было бы мне впору, и тотчас я тебя оставлю." -- "А что же! -- подумал еврей. -- Лучше будет, если я раз пожертвую последним и от него отделаюсь, чем оставлю его здесь и буду содержать на те крохи, которые в поте лица зарабатываю". С этой мыслью заколол он последнего теленка, которым думал кормиться со своей женой в течение многих дней, продал его мясо и на вырученные деньги купил и сшил незнакомцу хорошую одежду. Но едва стал он ее примерять, как, будучи до того маленьким, сухим человечком, стал расти и вырос и раздулся так, что платье оказалось коротко и тесно. Бедный еврей очень испугался такому чуду, но незнакомец сказал: "Выкинь из головы глупую мысль от меня отделаться, потому что я Далес". Тут бедный еврей всплеснул руками и горько заплакал: "О Боже моих отцов! -- воскликнул он. -- Значит, я на всю жизнь осужден страдать под лозой твоего гнева, потому что это Далес, который не смягчится никогда и сожрет все, что у меня есть, делаясь от этого только больше и крепче!" Ведь Далес -- это нищета, которая, раз где-нибудь поселившись, никогда уже оттуда не уйдет, а будет все расти и расти.

Но если советник серьезно испугался, что Манассия посулил ему нищету, то не менее побаивался он и старого Леонгарда, который,

независимо от его несомненных познаний в колдовском деле, во всем своем существе имел что-то до крайности внушительное, вселяющее невольный страх. Советник чувствовал, что ничего не может сделать против обоих, и обрушил весь свой гнев на Эдмунда Лезена, которому он приписал все напасти, свалившиеся на него. А услышав, кроме того, решительные слова Альбертины, что она любит Эдмунда более всего на свете и ни за что не пойдет ни за старого педанта Тусмана, ни за противного барона Беньямина, советник уже совершенно вышел из себя и рад бы был от души спровадить Эдмунда туда, где растет перец. Но так как, в противоположность последнему французскому правительству, действительно отправлявшему людей, которые ему не нравились, в страну, где растет перец, советник при всем желании не мог этого сделать и ему поневоле пришлось удовольствоваться тем, что он написал Эдмунду решительное послание, в котором, излив весь свой яд и желчь, в заключение просил никогда не переступать порог его дома.

Можно легко себе представить, в каком отчаянии застал Эдмунда после получения этого письма Леонгард, по обыкновению зашедший к нему в сумерки.

-- К чему же послужили мне ваши старания и покровительство, чтобы убрать с моего пути проклятых соперников? -- такими словами встретил Эдмунд золотых дел мастера, едва его увидел. -- Вы только напугали всех вашими глупыми балаганными фокусами, даже мою дорогую Альбертину, и ваше вмешательство стало единственной причиной, что на моем пути встала непреодолимая преграда! О, бегу! С сердцем, пронзенным кинжалом, бегу прочь отсюда, бегу в Рим?

-- Это будет самое лучшее, что ты можешь придумать, -- сказал Леонгард, -- и чего бы я более всего желал. Вспомни, что еще тогда, когда ты в первый раз признался мне в любви твоей к Альбертине, я сказал тебе, что, по моему мнению, молодой художник может влюбляться сколько угодно, но о женитьбе не должен и думать, потому что тогда он ничего не достигнет. Тогда же я полушутя привел тебе в пример молодого Штернбальда, а теперь скажу совершенно серьезно, что если ты хочешь стать настоящим художником, то должен выкинуть из головы всякую мысль о женитьбе. Свободный и радостный отправляйся на родину искусства, проникнись его духом, и только тогда пойдет тебе на пользу совершенство в техники живописи, которого ты, возможно, достиг бы и здесь.

-- Вижу, -- воскликнул Эдмунд, -- как глупо поступил я, признавшись вам в своей любви! Значит вы, от кого ждал я помощи советом и делом, -- именно вы и действовали мне во вред, намеренно разбив с каким-то злорадством мои самые лучшие надежды.

-- Ого, юноша! -- остановил его Леонгард. -- Умерьте, прошу, ваш пыл и будьте сдержаннее в выражениях, помятуя, что вы слишком еще

неопытны, чтобы понять мои взгляды и намерения. Но, впрочем, я на тебя не сержусь, понимая, что гнев твой только следствие твоей безумной любви.

-- А что касается искусства, -- продолжал Эдмунд, -- я не понимаю, почему мое обручение с Альбертиной может помешать мне отправиться в Рим и там изучать искусство, так как средства к тому, вы знаете сами, у меня есть. Я даже намеревался сам, посватав Альбертину, отправиться в Италию, прожить там целый год и уже потом только, обогатясь истинными познаниями в искусстве, вернуться в объятия невесты.

-- Как? -- воскликнул золотых дел мастер. -- Ты говоришь, что это действительно было твоим намерением?

-- Конечно, -- отвечал Эдмунд, -- поверьте, что как я ни люблю Альбертину, прекрасная страна, бывшая колыбелью моего дорогого искусства, привлекает меня несколько не меньше.

-- Даете ли вы мне, -- подхватил Леонгард, -- честное слово, что как только Альбертина станет вашей невестой, вы немедленно отправитесь в Италию?

-- Почему же мне его не дать, -- ответил Эдмунд, -- когда это было без того моим всегдашним намерением и уж, конечно, осталось бы им даже в случае исполнения того, в чем я сомневаюсь.

-- Ну если так, -- живо воскликнул Леонгард, -- то знай же, что решением этим ты выиграл Альбертину! И даю тебе честное слово, что через несколько дней она будет твоей невестой. А что я сумею это устроить, тебе сомневаться нечего.

Радость и восторг засверкали в глазах Эдмунда. Загадочный же золотых дел мастер поспешил уйти, оставя юношу под обаянием будущего счастья и самых радужных надежд.

В одной из отдаленных частей Тиргартена лежал под большим деревом, подобно (тут мы воспользуемся сравнением Селии из шекспировской комедии "Как вам это понравится") упавшему желудю или раненому рыцарю, правитель канцелярии Тусман и поверял свою сердечную скорбь холодному, осеннему ветру.

-- О Боже милосердный! -- вздыхал несчастный, достойный сожаления правитель канцелярии. -- Чем заслужил я все эти свалившиеся на мою голову поношения? Не сказал ли великий Томазиус, что брак никогда не может быть помехой для мудрости, а я едва только задумал жениться, как уже, кажется, потерял весь свой рассудок? Откуда это непонятное отвращение достойной Альбертины Фосвинкель к моей, хотя и не Бог знает какой замечательной, но все-таки исполненной самых благородных намерений особы? Разве она считает меня политиком, которому не следует жениться, или юристом, имеющим право, по учению Клеобула, высечь свою жену в случае непослушания, так чего же красавицу Альбертину так пугает брак со

мной? О Господи Боже, что за несчастье! За что осужден ты, бедный правитель канцелярии, водиться с этими колдунами и с этим бешеным живописцем, принявшим твое лицо за кусок старого пергамента и разрисовавшего его своей бесстыдной кистью под какого-то исступленного Сальватора Розу? Вот что приводит меня больше всего в отчаяние! Я возложил все упование на моего друга Стрециуса, знающего толк в химии, в надежде, что он поможет моему горю, -- и все напрасно! Чем больше моюсь я водой, которую он мне прописал, тем краска становится ярче и ярче, хотя изменяет свои оттенки, так что лицо мое теперь изображает поочередно то весну, то лето, то осень! Да! Эта зелень погубит меня, и, если, наконец, не добьюсь я для моего лица белой зимы, которой так жажду, я впаду в полное отчаяние, брошусь в заплесневевший лягушачий пруд и утону в зеленом болоте.

Тусман имел полное право горько жаловаться на свою судьбу, потому что состав, которым Эдмунд вымазал ему лицо, был, по-видимому, не простой краской, а какой-то очень сложной тинктурой, так глубоко проникшей в поры кожи, что вывести ее не было никакой возможности. Днем бедный правитель канцелярии не смел выходить из дома иначе, как надвинув на глаза шляпу и прикрывая оставшуюся часть лица платком, и даже в сумерки, проходя по многолюдным улицам, торопился, подпрыгивая, из боязни, чтобы его не осмеяли уличные мальчишки или не встретил кто-нибудь из сослуживцев по канцелярии, куда он с тех пор не являлся, сославшись на болезнь.

Обыкновенно бывает, что постигшее нас несчастье чувствуется гораздо сильнее и тягостнее тихой, темной ночью, чем хлопотливым днем. Так и теперь, чем гуще надвигались темные облака, чем чернее становились тени деревьев и чем пронзительнее начинал завывать между листьев и ветвей холодный осенний ветер, тем яснее становилось Тусману вся безысходность его положения.

Ужасная мысль покончить все прыжком в зеленый лягушачий пруд стала так живо рисоваться перед его умственным взором, что он был почти готов принять ее за единственный, указываемый самой судьбой исход.

-- Да! -- воскликнул он звенящим голосом, вскочив с места, где лежал. -- Да, правитель канцелярии! С тобой все покончено! Отчайся и умри, добрый Тусман! Томазиус тебе больше не поможет! Туда, туда, в зеленый пруд! Прощайте, жестокосердная мадемуазель Альбертина Фосвинкель! Никогда не увидите вы более вашего, презренного вами жениха! Еще миг, и он прыгнет в лягушачий пруд!

Сказав это, побежал он как сумасшедший к близлежащему пруду, расстилавшемуся в сумрачном свете наступавшего вечера, как свежий, зеленый луг, и остановился у самого края.

Мысль о близкой смерти должно быть несколько помрачила его рассудок, потому что, остановившись, он вдруг запел громким,

пронзительным голосом английскую народную песню с припевом: "Прекрасен луг зеленый!"; а затем бросил в пруд сначала книгу Томазиуса, потом придворный календарь и Гуфландово руководство "Искусство продления жизни" и наконец, был готов уже совсем прыгнуть в воду сам, как вдруг почувствовал, что кто-то обхватил его сзади сильной, твердой рукой, и в то же время над ухом его раздался хорошо ему знакомый голос чернокнижного золотых дел мастера:

-- Тусман? Что с вами? Сделайте милость, не будьте ослом, выкиньте дурь из головы!

Правитель канцелярии делал невероятные усилия, чтобы освободиться от крепких рук Леонгарда, и, почти потеряв дар речи, невнятно бормотал:

-- Господин профессор? Вы видите, я в отчаянии, и потому теперь больше нет церемоний! Не сердитесь, если я вам скажу то, чего никогда бы не сказал учтивый правитель канцелярии Тусман. Но теперь, господин профессор, высказываю без обиняков желание, чтобы вас черти взяли вместе с вашим колдовскими штучками, вашей грубостью и вместе с вашим "Тусманом" в придачу!

Леонгард выпустил Тусмана из рук, и он с размаха шлепнулся в высокую, мокрую траву, вообразив, что упал в воду.

-- О холодная смерть! -- кричал он. -- Прощай, зеленый луг! Мое нижайшее почтение мадемуазель Альбертине Фосвинкель! Будь здоров, дорогой советник! Бедный правитель канцелярии переселился к лягушкам, громко восхваляющим Творца в летнюю пору!

-- Видите, Тусман, -- крикнул громким голосом Леонгард, -- до чего вы дошли с вашим упрямством. Вы посылаете меня к черту, а что если я и есть черт и сейчас сверну вам шею тут же на месте, в пруду, в котором, по вашему предположению, вы лежите?

Тусман стонал, охал, вздыхал и дрожал, точно в сильнейшей лихорадке.

-- Но, однако, -- продолжал золотых дел мастер, -- я не желаю вам зла и прощаю вам все, вина только ваше отчаянное положение. Вставайте и идите со мной.

Он помог подняться на ноги бедному правителю канцелярии, лепетавшему без связи и смысла:

-- Я в вашей власти, почтенный господин профессор! Делайте, что хотите с моим смертным телом, но умоляю вас, пощадите мою бессмертную душу!

-- Ну полно нести чепуху, идите скорей, -- прервал ювелир, подхватив Тусмана под руку и направившись вместе с ним через Тиргартенскую рощу к месту, где были павильоны.

-- Пойдите, -- продолжал он, остановясь на дороге, -- вы совершенно мокрый, дайте я вам хоть лицо оботру.

С этими словами он вынул из кармана белый платок и провел им несколько раз по лицу Тусмана.

Едва вдали засверкали сквозь деревья фонари Веберовского павильона, как Тусман в испуге воскликнул:

-- Ради Бога, почтенный господин профессор, куда вы меня ведете? Пойдемте в город ко мне на квартиру, но только не туда, где мы можем встретить много людей. Я не могу показаться в обществе! Выйдет неприятность! Скандал!

-- Не понимаю, Тусман, чего вы сторонитесь людей? -- возразил Леонгард. -- Полноте! Не будьте трусом! Вам непременно надо что-нибудь выпить, чтобы подкрепить свои силы, хотя бы стакан горячего пунша; иначе вы простудитесь и вас хватит лихорадка. Идемте же!

Правитель канцелярии жалобно стонал и упирался, ссылаясь на свое лицо с зеленым пейзажем Сальватора Розы, но Леонгард был неумолим и силой тащил его за собой в павильон.

Когда они вошли в ярко освещенный зал, Тусман быстро закрыл лицо платком, так как несколько гостей сидело еще у столиков.

-- Да что с вами? -- шепнул Тусману на ухо Леонгард. -- Для чего вы так стыдливо скрываете ваше честное лицо?

-- О Господи! -- простонал правитель канцелярии. -- Многоуважаемый господин профессор! Разве вы не видели, как рассердившийся молодой художник раскрасил мне все лицо зеленой краской?

-- Вздор! -- крикнул золотых дел мастер, толкнув Тусмана прямо к большому зеркалу, стоявшему в конце зала, и осветил ему лицо восковой свечой, взятой со стола.

Тусман взглянул и невольно радостно ахнул. Несчастная зеленая краска не только совершенно исчезла без следа, но даже все лицо получило какой-то новый, свежий оттенок, так что Тусман казался помолодевшим на несколько лет.

В порыве восторга правитель канцелярии подпрыгнул и начал сладчайшим голосом:

-- О Господи! Что я вижу! Глубокоуважаемый, бесконечно уважаемый господин профессор! Этим счастьем обязан я вам, вам одному! Теперь, конечно, прелестная Альбертина Фосвинкель, ради которой я был готов прыгнуть в лягушачий пруд, не откажется избрать меня в супруги! Да, господин профессор! Вы исторгли меня из бездны! Не даром я чувствовал что-то восхитительно приятное, когда вы водили вашим белоснежным платком по моему лицу! О, скажите, ведь благодетелем моим были вы?

-- Не стану отрицать, любезный Тусман, -- ответил ювелир, -- что зеленую краску с вашего лица стер точно я, из чего вы легко можете заключить, что я совсем не так неприязненно отношусь к вам, как вы думали. Я не одобряю только засевшую в вашей голове, по наущению

советника, глупую идею жениться на молоденькой, хорошенькой девушке, в которой жизнь бьет ключом. Знайте же, что я мог бы легко выбить вам эту мысль из головы, видя, что вы опять за нее ухватились, едва освободясь от неприятной, сыгранной с вами шутки, но я этого не сделаю, а только посоветую вам не предпринимать по этому предмету ничего до полудня следующего воскресенья. Что будет дальше, вы увидите сами, но повторяю, что если вы осмелитесь сделать попытку увидеть Альбертину до тех пор, то, во-первых, я заставлю вас плясать до потери чувств, а затем превращу вас в самую зеленую из зеленых лягушек и брошу вас в Тиргартенский пруд, а не то и в Шпрее, где вы будете квакать до конца жизни. Подумайте же об этом, а мне надо еще успеть сделать кое-что в городе, куда вам идти за мной нельзя. Прощайте!

Золотых дел мастер был прав, говоря, что Тусман не мог пойти за ним, будь он даже обут в семимильные сапоги самого Шлемеля. Не успел правитель канцелярии оглянуться, как Леонгард уже исчез в направлении к Сальским воротам.

Не прошло и пяти минут, как он уже был у квартиры советника Фосвинкеля и, представ перед ним, как призрак, громко пожелал ему доброго вечера.

Советник порядочно струсил, едва его увидел, но взял себя в руки и резко спросил, что ему тут надобно в такой поздний вечер, добавив, что лучше бы он убирался вон и не приставал со своими дурацкими фокусами, которыми, наверное, опять собирается его морочить.

-- Вот каковы теперь люди пошли, особенно если это коммерции советники, -- почти развязно ответил Леонгард. -- Именно того, кто больше всех желает им добра и в чьи объятия должны бы они броситься с полным доверием, гонят они прочь. Да знаете ли вы, несчастнейший, достойнейший сожаления советник, какая грозит вам опасность? Чувствуете ли вы, что я прибежал сюда темной ночью, чтобы посоветовать вам, как отклонить смертельный удар, равно угрожающий нам обоим?

-- О Господи! -- воскликнул советник вне себя от страха. -- Неужели кто-нибудь опять объявил себя банкротом в Гамбурге, Бремене или Лондоне, что грозит мне полным разорением; о я несчастный, пострадавший коммерции советник, только это еще не хватало...

-- Нет, дело не в этом, -- прервал золотых дел мастер, -- но скажите сначала, вы решительно отказываетесь выдать Альбертину за молодого Эдмунда Лезена?

-- И вы еще спрашиваете? -- воскликнул советник. -- Чтобы я отдал дочь за этого жалкого пачкуна!

-- А вы забыли, как он прекрасно написал вас и Альбертину?

-- Ого! -- возразил советник. -- Вот была бы отличная сделка: отдать дочь за пару портретов! Я отослал их ему оба назад.

-- Смотрите, Эдмунд будет вам за это мстить!

-- Хотел бы я знать, -- ответил коммерции советник, -- какую месть замышляет этот жалкий щенок против коммерции советника Мельхиора Фосвинкеля.

-- Это я вам сейчас же объясню, мой храбрый коммерции советник, -- отвечал Леонгард. -- Знайте, что Эдмунд только что принялся преинтересным образом ретушировать ваш портрет. Веселое, довольное лицо превращено им в хмурое и мрачное, со сдвинутыми бровями, с мутными глазами и отвислой губой. Морщины лба и щек проведены вдвое сильнее. Седина, которую вы скрываете пудрой, изображена во всей красоте. Вместо приятного известия о лотерейном выигрыше, написана на письме скверная, полученная вами третьего дня новость о банкротстве дома Кэмпбелл и К® в Лондоне, а на конверте поставлен адрес: "Неудавшемуся статскому советнику" и т.д. Он знает хорошо, что полгода тому назад вы безуспешно домогались получить этот чин. Из разодранных карманов вашего сюртука сыплются червонцы, талеры и ассигнации, изображая понесенную вами потерю. И в этом виде картина будет выставлена у торговца, против здания банка на Егерштрассе.

-- Злодей! Разбойник! -- завопил коммерции советник. -- Он не смеет этого сделать! Я обращаюсь к полиции, к правосудию!

-- Чего же вы этим достигнете? -- спокойно возразил золотых дел мастер. -- Достаточно каким-нибудь пятидесяти человекам увидеть картину, чтобы весть о ней, украшенная тысячью прибавлений праздных остряков, облетела весь город. Все смешное и глупое, что говорили и говорят о вас до сей поры, будет откопано вновь и подцвечено новыми красками. Каждый при встрече с вами будет смеяться вам в лицо, и, наконец, что всего хуже, в городе громко заговорят о потерях, которые вы понесли вследствие банкротства дома Кэмпбелла. Тогда конец вашему кредиту.

-- Господи Боже! -- повторял перепуганный советник. -- Но нет, нет! Злодей должен отдать картину назад, я пошлю за ней завтра же утром!

-- Ну а если бы он ее отдал, то что же из того? -- перебил Леонгард. -- Тогда, пожалуй, награвировет он ваш портрет в том виде, как я его описал, на медной доске, сделает несколько сот оттисков, сам их изящно, с любовью раскрасит и разошлет по всему свету: в Гамбург, Бремен, Любек, Штеттин, даже в Лондон.

-- Пойдите, пойдите, -- перебил советник, -- я придумал вот что; сходите, прошу вас, сами к этому ужасному человеку и предложите ему пятьдесят, если надо сто талеров, лишь бы он отказался от этой затеи.

-- Ха-ха-ха! -- рассмеялся Леонгард. -- Вы забываете, что Эдмунд в деньгах не нуждается. Родители его достаточные люди, и кроме того его старая тетка, девица Лезен, живущая на Брейтштрассе, давно уже

отписала ему по духовному завещанию все свое имущество. А имущество это не маленькое и ценится, ни больше ни меньше, как в восемьдесят тысяч талеров.

-- Что? -- воскликнул советник, побледнев от изумления. -- Как вы сказали? Восемьдесят?.. Знаете, дражайший друг, ведь я и сам замечал, что Альбертина по уши влюблена в этого молодого человека, а я... я же очень мягкий человек, хороший отец и не могу противостоять слезам и просьбам. К тому же молодой человек и мне нравится. Он замечательный художник, а где дело коснется искусства, там, вы знаете, я готов на все... Милый Лезен! У него тьма прекрасных качеств!.. Восемьдесят, сказали вы? Ну так слушайте же, Леонгард, по доброте, исключительно по доброте сердца отдаю я этому милому юноше свою дочь!

-- Гм! -- гмыкнул золотых дел мастер. -- Однако я должен рассказать вам нечто весьма любопытное. Я сейчас из Тиргартена, где нашел под деревом возле пруда вашего друга и школьного товарища правителя канцелярии Тусмана, которому вы прежде еще обещали руку Альбертины. Он был в ужаснейшей отчаянии и совсем было собрался утопиться с горя после того, как Альбертина его отвергла. С великим трудом успел я удержать его от этого ужасного намерения, убедив, что вы, твердо держась своего слова, употребите всю силу отеческой власти над Альбертиной, чтобы заставить ее отдать ему свою руку. Если же это не состоится и дочь ваша выйдет за Лезена, то ваш правитель утопится непременно. Подумайте, как посмотрят в обществе на такое ужасное самоубийство почтенного человека! В его смерти, наверное, обвинят вас, вас одних. Всякий при встрече с вами будет с презрением от вас отворачиваться. Никто не станет приглашать вас к обеду, а если вы зайдете в кафе почитать газеты или осведомиться о новостях, вас вытолкают за дверь, спустят с лестницы! Мало того: правителя очень ценит начальство, его репутация превосходного чиновника известна во всех канцеляриях. Потому, если станет известно, что ваши непостоянство и криводушие довели несчастного до самоубийства, то нечего вам будет и думать на всю оставшуюся жизнь, что вас когда-нибудь примет какой-нибудь тайный советник или тайный обер-финансдиректор, а уж о настоящих тайных и говорить нечего. Ни одно присутственное место, в помощи которого вы нуждаетесь, не займется вашими делами. Заурядные коммерции советники станут вас презирать, экспедиторы преследовать, может быть, даже с оружием в руках, и даже простые канцелярские рассыльные при встрече с вами глубже надвинут шляпу. Вы лишитесь чина коммерции советника, а затем, со ступеньки на ступеньку, полетит сначала ваш кредит, потом состояние, и, таким образом, вы доживете до полного презрения, отчаяния и нищеты!

-- Довольно! Довольно, не терзайте меня! -- крикнул коммерции советник. -- Ну кто бы мог подумать, чтобы Тусман в его лета окажется таким влюбчивым павианом! Но вы правы! Будь что будет, а я должен сдержать слово, данное моему правителю, иначе мне грозит полное разорение. Да! Это решено! Тусман получит руку Альбертины.

-- Вы забываете, -- возразил Леонгард, -- искательство барона Дюммерля! Забыли про страшное проклятие Манассии! В нем, в случае отказа его племяннику, вы наживете опасного врага. Манассия не даст вам сделать ни одной торговой сделки. Он не пожалеет никаких средств для того, чтобы подорвать ваш кредит, будет вредить вам на каждом шагу, не успокоится, пока не разорит вас окончательно и пока Далес, которого он вам посулил, действительно не поселится в вашем доме. Одним словом, кому бы из трех соискателей ни отдали вы теперь руку Альбертины, вам не избежать мести двух остальных, и вот почему назвал я вас несчастным, достойным сожаления человеком.

Советник как безумный заметался по комнате, восклицая на каждом шагу:

-- Я погиб! Погиб! Я разорен! Не было печали, так вот, нате же, теперь с дочкой никак не соображу. Черт бы их всех побрал: и Лезена, и барона, да и моего правителя в придачу.

-- Однако, -- продолжал Леонгард, -- есть одно средство выручить вас из беды.

-- Какое? -- воскликнул советник, внезапно остановившись и тупо глядя на золотых дел мастера. -- Какое? Говорите! Я готов на все.

-- Видели вы на сцене "Венецианского купца"? -- спросил Леонгард.

-- Какого? -- спросил советник. -- Это не та ли пьеса, где Девриент играет кровожадного еврея по имени Шейлок, которого потянуло на свежее купеческое мясо? Конечно, видел, но что же из того?

-- Если видели, -- продолжал Леонгард, -- значит, вы должны помнить, то там есть некая богатая невеста по имени Порция, которую отец по духовному завещанию назначил в супруги тому, кто выиграет ее в некоторого рода лотерее. Для этого были приготовлены три ларца, которые соискатели ее руки должны были выбирать и открывать по очереди, с тем, что руку Порции получит выбравший ларец с ее портретом. Вот и вы, коммерции советник, поступите так же, пусть воля живого отца уподобится воле покойного. Скажите женихам, что они равно дороги вам все трое, и потому решение спора предоставляется слепому случаю. Три закрытых ларчика будут поднесены соискателям, и тот, кто найдет портрет Альбертины, получит ее руку.

-- Что за оригинальное предложение! -- воскликнул советник. -- Да неужели вы думаете, почтенный господин Леонгард, что если даже я на него соглашусь, то помогу тем своей беде? Положим, один получит руку Альбертины, но ведь этим я навлеку на себя гнев и мщение двух

остальных, которым не посчастливится найти портрет и потому уйдет ни с чем?

-- А вот тут-то и вся хитрость! -- отвечал Леонгард. -- И в ней я берусь вам помочь. Я торжественно обещаю вам приготовить ларчики таким способом, что каждый останется доволен тем, что в них найдет. Оба неугадавшие жениха найдут в своих ларчиках не насмешливый отказ, подобно Марокканскому и Арагонскому принцам, а, напротив, нечто такое, что заставит их самих отказаться от Альбертины и даже поблагодарить вас за такую счастливую выдумку.

-- Возможно ли? -- воскликнул советник.

-- Не только возможно, но должно быть и будет так, как я вам сказал, в чем и даю вам мое честное слово.

Теперь коммерции советник не сомневался в успехе плана золотых дел мастера, и оба они решили, что выбор невесты будет происходить в будущее воскресенье ровно в полдень.

Золотых дел мастер обещал, со своей стороны, приготовить к этому времени три нужных ларчика.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой описывается, каким образом

происходил выбор невесты, а затем

заканчивается и само повествование.

Можно представить, в какое отчаяние пришла Альбертина, когда советник объявил ей о своем намерении разыграть ее руку в злосчастной лотерее и не отказался от своего решения, несмотря на все ее просьбы, слезы и мольбы. К этому присоединилось и другое горе: Лезен во все это время не только не пытался ее увидеть, как бы это сделал всякий искренно любящий, но даже не написал ей ни одной строчки. Такое равнодушие, конечно, ее вдвойне огорчало. В субботу вечером, накануне рокового воскресенья, Альбертина, печальная, сидела в сумерки одна в своей комнате и, подавленная мыслью об угрожавшем ей несчастье, серьезно начала думать, не лучше ли будет решиться на отчаянный поступок и просто убежать из дома отца, чем ожидать ужасной судьбы быть насильно выданной замуж за старого педанта Тусмана или противного барона Беньямина. Тут невольно пришел ей на память загадочный золотых дел мастер с его странными фокусами, которыми он остановил навязчивого барона Дюммерля, когда тот попытался ее поцеловать. Она ясно видела, что Леонгард

действовал в интересах Эдмунда, и это зародило в ее сердце надежду, что в трудную минуту он окажет помощь и ей. И тут ей до того захотелось увидеть Леонгарда и с ним поговорить, что даже, казалось ей, она бы не испугалась, если бы он, подобно призраку, явился перед ней.

Последняя мысль Альбертины оказалась верна, потому что она, действительно, ничуть не испугалась, когда высокая, стоявшая в углу темная фигура, которую она до того принимала за печку, вдруг оказалась Леонгардом, который приблизился к ней и заговорил своим тихим, но звучным голосом:

-- Оставь, милое дитя, печаль и заботы! -- сказал он. -- Знай, что Эдмунд Лезен, которого ты любишь или, во всяком случае, думаешь, что любишь, мой питомец и что я поддерживаю его всей моей властью. Знай также, что именно я надумал твоего отца устроить эту лотерею и что я же взялся приготовить роковые ларчики, а потому ты можешь догадаться, что портрет твой достанется именно Эдмунду!

Альбертина ахнула от восторга, но Леонгард продолжал:

-- Я мог бы устроить вашу свадьбу иначе, но мне хотелось в то же время удовлетворить двух других соискателей: правителя канцелярии Тусмана и барона Беньямина. Но теперь останутся довольны и они, так что ни тебе, ни твоему отцу не придется опасаться нападок отвергнутых претендентов.

Альбертина не знала, чем выразить свою благодарность, и почти готова была броситься к ногам старого золотых дел мастера. Она прижимала к сердцу его руку, уверяя, что несмотря на всю странность и неестественность того, что он делал, несмотря даже на внезапное, необъяснимое его появление в ее комнате, она вовсе его не боялась и под конец кончила простодушной просьбой объяснить ей, что все это значит и кто таков он сам.

-- Ну, моя дорогая девочка! -- с улыбкой отвечал Леонгард. -- Это будет мне довольно трудно объяснить. Меня, как и многих других, принимают вовсе не за того, кем я являюсь в самом деле. Некоторые, например, считают меня ни больше ни меньше, как золотых дел мастером Леонгардом Тунгейзером, жившем в таком почете при дворе курфюрста Иоганна-Георга в тысяча пятьсот восьмидесяти годах, а когда завистники и злодеи стали искать его погибели, то исчезнувшего неизвестно как и куда. Если подобные люди, которых зовут романтиками и фантазерами, выдают меня за этого Турнгейзера, а значит, за привидение, то можешь представить, какие неприятности меня ожидают со стороны честных бюргеров, не признающих ни черта, ни романтизма, ни поэзии. Даже здравомыслящие литературные критики ополчаются на меня и преследуют не хуже, чем ученые фарисеи во времена Иоганна-Георга, изо всех сил стараясь отравить и испортить мне то скромное существование, которое я веду. Даже

теперь, милое мое дитя, несмотря на то, что я ежеминутно пекусь о тебе и Эдмунде, являясь всюду, как *deus ex machine**, все-таки чувствую я, что единомышленники литературных критиков не захотят признать моей роли в этой истории, потому что они не верят в самое мое существование! Поэтому, чтобы обеспечить себе, по крайней мере, спокойную жизнь, я никому никогда и не говорю, что я золотых дел мастер Леонгард Тунгейзер, живший в шестнадцатом столетии. Таким образом я даю возможность этим людям считать меня просто искусным фокусником и объяснять мои чудеса Виглебовой "Натуральной магией" или какой-либо иной. Оно, впрочем, правда, что я и теперь занят устройством одного фокуса, какого не сумел бы сделать ни Филидор, ни Филадельфио, ни сам Калиостро и который совершенно не поддается объяснению, а потому навсегда останется камнем преткновения для этих людей. Тем не менее я не могу без него обойтись, потому что он нужен для окончания берлинской истории о трех соискателях руки прекрасной Альбертины Фосвинкель. Итак, не падай духом, дитя мое, встань завтра как можно раньше, надень свое лучшее платье, заплети и уложи покрасивее косы и терпеливо ожидай, что будет дальше.

** Бог с машины (лат.).*

Сказав это, Леонгард исчез так же, как и появился.

В воскресенье в назначенный час, то есть ровно в одиннадцать, явились старый Манассия со своим преисполненным надежды племянником, правитель канцелярии Тусман и Эдмунд Лезен с золотых дел мастером. Женихи, не исключая и Бенъямина, невольно вздрогнули, когда увидели Альбертину, до того она была на этот раз красива и привлекательна. Те девицы и дамы, которые любят со вкусом сшитые платья и изящные украшения (а во всем Берлине вряд ли сыщется такая, которая этого не любит), могут мне поверить, что платье на Альбертине, отделанное с особой элегантностью, было как раз нужной длины и не скрывало ножек, обутых в белые туфельки, что короткие рукава и корсаж были из дорогого кружева, что между рукавом и белой лайковой перчаткой, натянутой чуть выше локтя, была видна полная красивая ручка, что ее темные косы украшал только изящный золотой гребень с драгоценными камнями и для подвенечного наряда ей не хватало лишь миртового венка. Но что делало Альбертину особенно очаровательной, так это выражение любви и надежды, сиявшее в прекрасных глазах и игравшее ярким румянцем на прелестных щеках.

В припадке великодушного гостеприимства советник заказал роскошный завтрак. Старый Манассия злобно посмотрел на накрытый стол, а когда Фосвинкель пригласил гостей садиться, в глазах его,

казалось, можно было прочесть ответ Шейлока: "Да, чтобы нанюхаться свинины, вкусить от той домовины, куда ваш пророк из Назарета загнал беса. Я согласен вести с вами дела, торговать, продавать, покупать рассуждать и все такое прочее. Но ни есть, ни пить, ни молиться с вами не согласен".

Барон Бенъямин не был так разборчив: он съел гораздо больше бифштексов, чем обыкновенно, и при этом болтал глупости как всегда.

Советник в этот торжественный час, казалось, стал совершенно на себя не похож. Он не только обильно угощал гостей портвейном и мадерой, но даже велел принести из погреба бутылку столетней малаги. По окончании завтрака он объяснил трем женихам способ, которым будет решено, кому достанется его дочь, в такой складной и вразумительной речи, какой от него нельзя было и ожидать. Женихам предлагалось зарубить себе на носу, что Альбертина достанется только тому, кто выберет ларчик с ее портретом.

Едва часы начали бить двенадцать, отворилась дверь в зал, посредине которого все увидели покрытый дорогим ковром стол, а на нем три небольших ларчика.

Один из них был золотой с искусно сделанным на крышке венчиком из дукатов и надписью внутри венка:

"Кто меня выберет, будет счастлив сообразно своему вкусу".

Второй ларчик -- серебряный -- был очень тонкой работы. На крышке его среди нескольких надписей на чужих языках стояли слова:

"Кто выберет меня, получит гораздо больше, чем надеялся получить".

Наконец, третий, сделанный из слоновой кости, был с надписью:

"Кто выберет меня, получит блаженство, о котором мечтал".

Альбертина села на кресло за столом, возле нее стал советник; Манассия и золотых дел мастер удалились в глубину комнаты.

Вынули жребий, при чём оказалось, что право первому выбрать досталось Тусману, а Бенъямин и Эдмунд отправились в другую комнату.

Правитель канцелярии с глубокомысленным видом подошел к столу, внимательно осмотрел ларчики и прочел их надписи. Но вскоре он почувствовал, что его неудержимо влекут искусно переплетающиеся письмена на серебряном ларчике.

-- Боже праведный, -- вдохновенно воскликнул он, -- что за прекрасные письмена, как интересно сочетаются здесь римские и арабские буквы! А надпись! "Кто выберет меня, получит гораздо больше, чем надеялся получить". Разве я надеялся, что мадемуазель Альбертина Фосвинкель осчастливит меня своей прелестной ручкой? Я был в полном отчаянии, там, в пруду! Но здесь мое счастье и утешение! Советник! Мадемуазель Альбертина! Я выбираю серебряный ларчик!

Альбертина встала и подала правителю канцелярии маленький ключ, которым он сейчас же отворил ларчик. Но как же оторопел Тусман, когда вместо ожидаемого портрета Альбертины, нашел он только маленькую, переплетенную в пергамент книжку, в которой, перелистав, обнаружил он только чистые листы.

При ней лежала следующая записка:

*Путь ошибочный забыт.
К счастью ход тебе открыт.
Дар, который здесь лежит,
Невежество просветит,
В мудрость превратит.*

-- Боже праведный! -- пробормотал Тусман. -- Что же это такое? Книга? Нет, не книга, а просто переплетенная бумага! Итак, вместо ожидаемого портрета конец всем моим надеждам! О несчастный, уничтоженный правитель канцелярии! Все с тобой покончено! Туда! Туда! В лягушачий пруд!

И он хотел выбежать вон, но Леонгард загородил ему дорогу со словами:

-- Тусман, вы ошибаетесь, для вас нет сокровища дороже того, которое вы получили! Уже одни стихи должны были навести вас на эту мысль. Спрячьте, прошу вас, книжку в карман.

Тусман сделал, как ему было сказано.

-- А теперь, -- продолжал золотых дел мастер, -- назовите книгу, которую вы бы желали иметь в эту минуту.

-- О господи! -- воскликнул печальным голосом Тусман. -- Я самым непростительным образом утопил "Краткое руководство политичного обхождения" несравненного Томазиуса в лягушачьем пруду!

-- Выньте книгу из кармана, -- сказал Леонгард.

Тусман сделал, как ему было велено, и остоленел -- там было не что иное, как "Руководство" Томазиуса.

-- Господи боже мой! -- воскликнул правитель канцелярии вне себя от радости. -- Да что же это такое! Мой дорогой Томазиус спасен от мести жадных лягушек, которым никогда бы не выучиться у него ничему!

-- Тише! -- перебил его золотых дел мастер. -- Спрячьте книгу опять в карман.

Тусман спрятал.

-- Теперь, -- продолжал Леонгард, -- назовите какое-нибудь редкое сочинение, которое вы долго и напрасно искали во всевозможных библиотеках.

-- О Господи! -- пробормотал Тусман почти растроганно. -- Когда я вздумал посещать оперу, то очень желал предварительно ознакомиться с сущностью музыки, и для того тщетно старался достать одну

маленькую книжку, в которой аллегорически изображено искусство композиции и музыкального исполнения. Она называется: "Музыкальная война, или Описание генерального сражения между двумя героинями -- Композицией и Гармонией, как они объявили друг другу войну, как сражались и после кровавой битвы опять примирились", сочинение Иоганна Бера.

-- Скорее полезайте в карман! -- воскликнул Леонгард.

Правитель канцелярии, вытащив книгу, громко вскрикнул от восторга, так как это было ничто иное, как "Музыкальная война" Иоганна Бера.

-- Видите, -- сказал золотых дел мастер, -- какую богатейшую, небывалую библиотеку приобрели вы благодаря вашему ларчику, причем библиотеку, которую вы можете постоянно носить с собой. С этой книжкой в кармане можете вы получить любое сочинение, какое только пожелаете иметь.

Тусман, забыв и про Альбертину, и про советника, убежал в дальний угол комнаты, бросился в кресло и начал то и дело прятать книгу в карман и опять ее доставать, и по его засиявшим от восторга глазам было ясно, что обещание золотых дел мастера осуществилось.

Затем наступил черед барона Бенъямина. Он вошел в комнату со свойственной ему неуклюжей развязностью, направился к столу и с лорнеткой на глазах прочел надписи. Скоро, однако, какой-то неизъяснимый инстинкт остановил его внимание на золотом ларчике с венчиком из дукатов.

-- Кто меня выберет, будет счастлив сообразно своему вкусу, -- пробормотал он себе под нос. -- Ну да! Дукаты -- это по мне по вкусу. Альбертина тоже! Чего уж тут долго думать и выбирать!

С этими словами Бенъямин схватил золотой ларчик и, открыв его полученным от Альбертины ключом, нашел маленький английский напильник, при котором была записка со стишком:

*Желаний ты добыл предмет,
Какого в мире лучше нет,
Все остальное пустоцвет!
Одна торговля процветает,
И не пред чем не отступает.*

-- Что же это? -- воскликнул он в сердцах. -- Что стану я делать с напильником? Разве напильник портрет? Портрет Альбертины? Этот ларчик я подарю ей в день свадьбы! Подите сюда, моя милая!

Сказав это, барон направился прямо к Альбертине, но золотых дел мастер схватил его за плечи со словами:

-- Потише, потише, любезнейший! Это уже против уговора! Вам следует удовольствоваться напильником, и вы, уверен я, будете вполне

удовлетворены, узнав про неоценимые свойства полученной вами вещицы, на что намекал и стишок. Скажите, если у вас в кармане хороший, новый дукат с гуртиком?

-- Ну, есть, -- недовольным тоном ответил Беньямин, -- что же с того?

-- Возьмите и отпилите ему гуртик вашим напильником.

Беньямин сделал это с ловкостью, обличавшей долгую практику. И что же? Дукат несколько не уменьшился, а, напротив, засверкал еще ярче и красивее. То же самое повторилось и со вторым дукатом, и с третьим: чем больше пилил их Беньямин, тем, казалось, полновеснее они становились.

Манассия, спокойно смотревший до того на все, что происходило, тут вдруг вскочил и, накинувшись на племянника с дико сверкающими глазами, закричал как иступленный:

-- Господь отцов моих! Это что? Отдай напильник! Говорю, отдай! За него триста лет тому назад продал я свою душу дьяволу... Отдай напильник!

С этими словами он попытался силой отнять у Беньямина напильник, но тот, защищаясь с необыкновенной ловкостью, в свою очередь кричал:

-- Отстань, старый осел! Отстань! Напильник выиграл я, а не ты!

А Манассия ревел еще громче:

-- Ехидна! Червивый плод от моего корня! Отдай напильник! Все дьяволы восстанут на тебя, проклятый вор!

Изрыгая поток еврейских проклятий, сцепился Манассия с племянником, пытаясь руками, ногами, чуть не зубами одолеть его и вырвать напильник. Но Беньямин защищал свою драгоценность, как львица своих детенышей, так что в конце концов силы Манассии иссякли. Тогда племянник крепко обхватил дядюшку, так что у того затрещали кости, и вытолкнул его за дверь, а затем, вернувшись поспешно назад, схватил он маленький столик, поставил в угол комнаты, противоположный тому, в котором сидел Тусман, вытащил из кармана горсть дукатов и с жаром принялся работать напильником.

-- Ну! -- сказал Леонгард. -- Наконец-то мы отделались от старого скряги Манассии. Говорят же люди, что он второй Агасфер и бродит по земле с тысяча пятьсот семьдесят второго года, когда за свое колдовство он был сожжен под именем чеканщика монет Липпольда и спасен от смерти дьяволом, которому продал за то свою душу. Многие знающие люди уверяют, будто встречали его здесь в Берлине в разных обличьях, вследствие чего даже произошла легенда, что в наше время бродит по свету не один, а множество Липпольдов. Ну, поскольку я тоже немного смыслю в этих делах, то ручаюсь, что теперь с ним покончено.

Может быть ты, любезный читатель, даже не желаешь, чтобы я продолжал дальше, потому что, без сомнения, догадался, что Эдмунд

Лезен выбрал ларчик из слоновой кости с надписью: "Кто выберет меня, получит блаженство, о котором мечтал", а в нем нашел прекрасный миниатюрный портрет Альбертины со стихами:

*Тобой приобретенный рай
В чертах прелестной прочитай.
Ловить нам счастье рок велит,
Иначе счастье улетит.
Так доказательство любви
С прелестных губок ты сорви!*

О том, что Эдмунд, следуя по стопам Бассанио, последовал совету заключительных строк стиха и поцеловал залившуюся ярким румянцем возлюбленную и что советник был в полном восторге, выйдя так счастливо из затруднительного положения, нечего и распространяться.

Между тем барон Бенъямин усердно работал напильником, а Тусман не менее усердно читал, причем ни тот, ни другой не обращали ни малейшего внимания на то, что происходило вокруг, пока советник не объявил во всеуслышание, что Эдмунд выбрал ларчик с портретом Альбертины, а потому получает ее руку. Правитель канцелярии чрезвычайно этому обрадовался и, по своему обыкновению, подпрыгнул раза три, потирая руки, что обычно служило у него проявлением удовольствия. Бенъямина вопрос о свадьбе, по-видимому, совершенно перестал занимать, но тем не менее он обнял советника, назвав его превосходнейшим человеком, и рассыпался в благодарностях за подарок напильника, прибавив, что советник может вполне рассчитывать на его помощь во всех делах. Сказав это, он раскланялся и быстро ушел.

Правитель канцелярии тоже, весь растроганный, со слезами на глазах, благодарил за удивительную книгу, уверяя, что стал с этой минуты счастливейшим человеком в мире; затем, произнеся несколько галатных комплиментов Альбертине, попрощался со всеми и вслед за бароном поспешил покинуть дом коммерции советника.

С этих пор умолк всякий слух о литературных трудах барона Бенъямина, так долго надоедавшего ими всем и каждому. Почтенный барон, безусловно, предпочел заниматься подпиливанием дукатов. А Тусман оставил в покое библиотекарей, которым раньше приходилось целыми днями рыться, отыскивая требуемые им старые, давно забытые книги.

В доме коммерции советника радость и восторг первых дней вскоре сменились сердечной печалью. Леонгард настоятельно потребовал, чтобы Эдмунд сдержал данное слово и ради собственной своей пользы, как и для пользы искусства, отправился по обещанию в Италию.

Несмотря на всю тяжесть расставания с Альбертиной, Эдмунд, однако, чувствовал, что неодолимая сила влекла его в страну искусства, а Альбертина, проливая горячие слезы, думала о том, как приятно и интересно будет ей где-нибудь в обществе, за чаем, вынуть при всех из рабочей корзинки письмо, полученное прямо из Рима.

Эдмунд уже более года живет в Риме, и некоторые уверяют, будто переписка его с Альбертиной становится заметно холоднее. Кто знает, возможно, что со временем даже самый вопрос об их браке канет в вечность. Старой девой Альбертина не останется ни в каком случае: она для этого слишком хороша и богата. Замечают даже, что референдарий по судебным делам Глоксин, прекрасный молодой человек с тонкой талией, двумя жилетами и на английский манер завязанным галстуком, очень часто танцует зимой с девицей Альбертиной Фосвинкель на всех балах, а летом постоянно гуляет с ней под руку в Тиргартене и что коммерции советник любит эту парочку с истинно отцовским, довольным видом. Референдарий Глоксин уже сдал второй экзамен при суде и сдал отлично, что признали сами экзаменаторы, которые с самого утра изрядно мучили его или, как говорится, пробовали на зубок, а это бывает очень больно, особенно если зуб с дуплом. Этот-то экзамен и наводит на мысль, что референдарий лелеет мечту о браке, ибо он проявил особую осведомленность по части рискованных афер.

Возможно, что Альбертина выйдет за добропорядочного референдария, как скоро ему удастся получить хорошее место. Ну что же, поживем, увидим.

* * *

-- Замечательную, однако, ты написал чепуху! -- сказал Оттмар после того, как Лотар кончил чтение. -- Вся твоя история с невероятными происшествиями произвела на меня впечатление какой-то пестрой мозаики, которая до того ослепляет глаз, что он никак не может уловить в ней какой-либо определенной фигуры.

-- Что до меня, -- перебил Теодор, -- то я нахожу, что некоторые эпизоды повести Лотара очень забавны, хотя целое, по моему мнению, удалось бы гораздо лучше, если бы он менее усердно читал Хафтития. Так, например, оба сверхъестественные лица, вынырнувшие из мрака прошедших веков, золотых дел мастер и любитель фальшивых монет еврей, по-моему, выведены совершенно напрасно, и представляются мне совершенно ненужными воскресшими мертвецами, только мешающими общему ходу повести. Я очень рад, любезный Лотар, что рассказ твой не напечатан, иначе пощипала бы тебя критика.

-- Неужели же, -- возразил Лотар, усмехаясь своей обыкновенной комической улыбкой, -- неужели моя повесть о злосчастных приключениях тайного секретаря Тусмана не достойна украсить даже страницы Берлинского альманаха? Я постарался бы придать ей еще более местного колорита, вывел бы кое-какие известные публике лица и, таким образом, обеспечил бы успех, по крайней мере, в среде театральных ротозеев и присяжных любителей литературы. Но шутки в сторону, признайтесь, что вы несколько раз от души смеялись во время моего чтения, потому и строгость вашей критики должна смягчиться перед этим обстоятельством. Если Оттмар сравнивает мою повесть с пестрой, ослепляющей глаза мозаикой, то пусть он, по крайней мере, признает за ней достоинство калейдоскопа, в котором мозаика, хотя и переворачивается из стороны в сторону без всякой строго предвзятой мысли, но, в конце концов, все-таки составляет правильные фигуры. Некоторые из выведенных в моем "Выборе невесты" личностей, во всяком случае, следует признать довольно удачными, и во главе их ставлю я милейшего барона Бенъямина, этого достойного наследника еврея Липпольда. Но, впрочем, не довольно ли говорить о всем произведении вообще, тем более, что я остался верен моему всегдашнему стремлению искать фантастическое в настоящей, реальной жизни, а не Бог знает где.

-- Это стремление хвалю я в тебе в особенности, -- сказал Теодор. -- В литературе существовал одно время обычай непременно переносить действие фантастических произведений в отдаленные, баснословные страны Востока, принимая за образец сказки Шехерезады. Но при этом настоящие, характерные черты Востока оставлялись в стороне, и содержание повести строилось просто на воздухе. Потому все подобные сказки прочитываются, не оставляя в душе ни малейшего следа и даже не возбуждая фантазии. Я, напротив, полагаю, что основание фантастических подмостков, на которые фантазия хочет взобраться, должно быть непременно укреплено на реальной почве жизни, чтобы на них легко мог взойти вслед за автором всякий. Тогда, как бы высоко ни залетала фантазия автора, читателям всегда будет видна связь между его и их собственной жизнью, так что они сами себя будут считать принадлежащими этому дивному царству фантазии. Это, говоря сравнением, будет похоже на прекрасный сад, разведенный вплотную к городским стенам, так что всякий может в нем гулять и наслаждаться, нисколько не отрываясь от обыденных занятий.

-- Не забывай, однако, -- перебил Оттмар, -- что не всякий способен вскарабкаться на эти, как ты назвал, подмостки. Некоторые считают такое времяпрепровождение даже как будто ниже своего достоинства, у других с третьей ступеньки начинает кружиться голова, а есть, наконец, и такие, что, проходя даже каждый день мимо этих нагроможденных подмостков, вовсе их не замечают. Что же касается

до сказок "Тысячи и одной ночи", то достойно замечания, что позднейшие подражатели этой книги выпускают в своих подражаниях именно то, что книга эта дает истинно живого и реального и что, по принципу Лотара, должно преимущественно лечь в основу фантастических произведений. Все эти люди, ремесленники, портные, носильщики, дервиши и купцы, выведенные в сказках, в сущности, самые обыкновенные люди, каких мы ежедневно сотнями встречаем в обыденной жизни, а так как жизнь в ее более глубоких проявлениях остается всегда одна и та же, независимо от колорита места и времени, то потому и люди эти, несмотря на внешнюю разность с нами, а равно и на окружающий их волшебный, фантастический мир, кажутся нам знакомыми, точно живущими среди нас людьми. Вот в чем, по-моему, заключается главная прелесть этой превосходной книги.

Между тем заметно похолодало. Выздоровливающему Теодору было вредно оставаться на открытом воздухе, и потому друзья перешли в садовую беседку, где вместо горячих, возбуждающих напитков велели подать на этот раз, по той же причине, успокоительный чай.

Едва поданный самовар закипел на столе и затянул свои песенки, Оттмар сказал:

-- Я не нахожу более подходящего случая, чтобы прочесть вам один уже довольно давно написанный мною небольшой рассказ, который также начинается чаем. Предупреждаю при этом, что он сочинен в духе Киприана.

Оттмар прочел:

ЗЛОВЕЩИЙ ГОСТЬ

Буря, предвестница приближающейся зимы, шумела в воздухе. Черные тучи быстро неслись над землею, разражаясь потоками града и дождя.

Стенные часы пробили семь.

-- Кажется, -- сказала полковница Б*** своей дочери Анжелике, -- мы сегодня просидим одни. В такую погоду вряд ли кто-нибудь из друзей вздумает приехать в гости, и мне бы хотелось только, чтобы скорее вернулся твой отец.

Едва успела она произнести эти слова, как дверь отворилась и в комнату вошел ротмистр Мориц Р***. За ним следом явился молодой правовед, знакомый полковницы, один из постоянных посетителей назначенных в ее доме четвергов. Это был юноша открытого, веселого характера, душа всякого общества, и потому с его появлением Анжелика справедливо заметила, что неожиданно составившийся на этот раз интимный кружок будет веселее любого многолюдного

собрания. В зале было довольно холодно, и полковница велела развести в камине огонь и накрыть чайный столик.

-- Вы, господа, -- сказала она, -- с истинно рыцарским героизмом приехали сегодня, несмотря на бурю и дождь, и потому, вероятно, с удовольствием выпьете чаю. Маргарита сейчас приготовит нам этот северный напиток, который словно нарочно придуман для такой погоды.

Маргарита, француженка одних лет с Анжеликой, жившая в доме полковницы в качестве компаньонки ее дочери как для практики во французском, так и для выполнения некоторых хозяйственных обязанностей, явилась немедленно и исполнила приказание полковницы относительно чая.

Пунш закипел. Огонь затрещал в камине. Маленькое общество уютно уселось за чайным столом, в приятной надежде скоро согреться. Веселые разговоры, с которым до того прогуливались они по залу, на минуту затихли, и только шум бури, завывавшей в печных трубах, прерывал наступившее молчание.

Наконец, Дагобер, так звали молодого юриста, заговорил первый.

-- Замечательно, -- сказал он, -- до какой степени осень, буря, огонь в камине и пунш способны, все вместе, наполнять сердце каким-то таинственным, необъяснимым страхом!

-- Однако страх этот очень приятен, -- прервала Анжелика. -- Я удивительно люблю этот легкий озноб, пробегающий по всему телу, причем душа точно получает непреодолимое желание заглянуть в какой-то иной, странный, фантастический мир.

-- Совершенная правда! -- воскликнул Дагобер. -- Этот легкий озноб охватил пять минут тому назад нас всех, и если мы внезапно замолчали, то именно вследствие невольно родившегося в нас желания бросить хотя бы один взгляд на этот фантастический мир, о котором вы говорили. Впрочем, я очень рад, что чувство это прошло и мы вернулись к прекрасной действительности, потчующей нас таким славным чаем! -- и, поклонившись полковнице, он осушил стоявший перед ним стакан.

-- Чему же тут радоваться? -- прервал Дагобера Мориц. -- Если и ты, и я, и мы все соглашаемся, что испытанное нами чувство страха и мечтательности было приятно, то остается только пожалеть, что оно прошло.

-- Постой, постой! -- ответил Дагобер. -- Тут речь идет не о той сладкой мечтательности, при которой дух наш, создавая ряд чудных картин и образов, тешит сам себя. Шум бури, треск огня и шипение пунша, напротив, являются предвестниками иного страха и иных мечтаний, хотя и таящихся также в глубине нашего духа, но которых надо крайне остерегаться. Я имею в виду -- страх увидеть призрак! Известно всем, что таинственные эти гости чудятся нам всегда ночью и

преимущественно в бурную, дождливую погоду, когда они, кажется, особенно любят покидать свою холодную отчизну и пугать нас своими неприветливыми посещениями. Вот почему в подобное время мы невольно и ощущаем какой-то страх.

-- Что за странные вещи говорите вы, Дагобер! -- прервала полковница. -- Я не могу даже согласиться с вашим мнением, будто страх, о котором вы упомянули, составляет прирожденное наше чувство, и гораздо более склоняюсь к мысли, что это просто следствие тех глупых сказок и историй о мертвецах, которыми пугали нас в детстве няньки.

-- О нет, милейшая хозяйка! -- живо воскликнул Дагобер. -- Далеко не так! Никогда эти сказки, которые, замечу мимоходом, в детстве мы постоянно слушали с восторгом, а отнюдь не со страхом, никогда, повторяю, эти сказки не оставили бы в нас такого глубокого следа, если бы в душе нашей не существовало самостоятельных, звучащих им в ответ в том же тоне струн. Отрицать существование странного, непонятного нам до сей поры особого мира явлений, поражающих иной раз наши уши, иной раз глаза, нет никакой возможности, и поверьте, что страх и ужас нашего земного организма только внешнее выражение тех страданий, которым подвергается живущий в нем дух под гнетом этих явлений.

-- Как вижу, вы духовидец, -- смеясь сказала полковница, -- впрочем, ими всегда бывают люди с легко возбуждающимся, нервным характером. Но если я даже вам поверю и соглашусь, что точно существует какой-то особый мир непонятных явлений или, пожалуй, духов, открывающихся нам то в странных звуках, то в видениях, все же остается мне неясным, почему природа непременно хочет, чтобы мы соприкасались с этим миром только в мгновения страха и ужаса, точно при встрече с врагом.

-- Очень может быть, -- ответил Дагобер, -- что это род наказания, которое налагает на нас матушка природа за наше стремление ускользнуть из-под ее опеки. Я, по крайней мере, убежден, что в то золотое время, когда люди жили в тесном сближении с природой, они не знали и следа этого страха и ужаса, совершенно невозможных при том дружеском общении и гармонии, в каких состояли тогда все созданные ею силы и существа. Я говорил уже, что явления эти иногда проявляются в странных, непонятных звуках, но скажите, разве не производят на нас таинственного, гнетущего впечатления даже такие звуки природы, которых происхождение нам вполне понятно и ясно? К числу замечательнейших звуков этого рода принадлежат бесспорно так называемые голоса дьявола, слышимые на острове Цейлоне и в окрестных с ним странах, и о которых можете вы прочесть в сочинении Шуберта "Тайны естественных наук". Голоса эти, совершенно похожие на человеческий плач, слышатся всегда в ясные, тихие ночи, причем,

обыкновенно, сначала кажутся они несущимися откуда-то издали и, приближаясь мало-помалу, раздаются, наконец, совершенно отчетливо и ясно. Говорят, что впечатление этих непонятных звуков на душу сильно до такой степени, что даже хладнокровнейшие, чуждые всяких предрассудков наблюдатели не могут сдержаться, слыша их, от выражения глубочайшего ужаса.

-- Это действительно так, -- перебил своего друга Мориц, -- я никогда не был ни на Цейлоне, ни в окрестных с ним странах, однако, нечто подобное этим ужасным голосам природы слышал сам, причем не только я, но и все присутствующие тогда ощущали именно то щемящее чувство, о котором говорил Дагобер.

-- О, если так, -- воскликнул Дагобер, -- то ты доставишь нам всем большое удовольствие, рассказав, что это было за приключение, и этим, может быть, успеешь убедить нашу прекрасную хозяйку.

-- Вы знаете, -- так начал Мориц, -- что я сражался в Испании под началом Веллингтона против французов. Однажды, после битвы при Виттории, случилось мне с отрядом испанской и английской кавалерии провести ночь на биваках, в открытом поле. Утомленный донельзя вчерашним переходом, заснул я как убитый, едва успев лечь; но вдруг, среди глубокого сна был внезапно пробужден странным, пронзительным звуком. Вскочив спросонок, я тотчас же вообразил, что, вероятно, вблизи лежит тяжелораненый, может быть, умирающий и что я слышал его стон, но, однако, товарищи мои спокойно храпели вокруг меня, и слышанный мною звук прекратился. Между тем свет чуть-чуть забрезжил сквозь ночную тьму. Я встал и прошелся немного по полю, думая, не увижу ли где раненого. Тишина была невозмутимая, и только изредка набегавший легкий порыв ветра чуть шелестел листьями кустарников. Вдруг знакомый звук повторился и, как бы промчавшись по воздуху, утонул где-то далеко-далеко. Казалось, то был плач убитых, раздавшийся над полем сражения под безграничным небесным сводом. Сердце мое вздрогнуло невольно; глубочайший ужас овладел всем моим существом; что значили жалобные вопли, раздававшиеся из обыкновенной человеческой груди в сравнении с этим ужасным, раздирающим душу стоном! Тут уже и товарищи мои, услышав этот стон, повскакивали один за другим со своих постелей. Стон раздался в третий раз еще ужаснее, еще пронзительнее. Лошади начали храпеть и чутко зашевелили ушами. Испанцы упали на колени и стали громко читать молитвы. Один английский офицер уверял, что ему часто случалось наблюдать этот феномен в южных странах, когда атмосфера бывает переполнена электричеством, и что вслед за этим надо ждать перемены погоды. Испанцы, вообще склонные к суеверию, стали клясться, что им слышались настоящие голоса демонов и что это предвещает какое-нибудь ужасное событие. Предсказание это они впоследствии

подтверждали тем, что через несколько дней действительно была дана в этой местности одна из кровопролитнейших битв той войны.

-- Что касается нас, -- прервал своего друга Дагобер, -- мне кажется, нам незачем ехать ни на Цейлон, ни в Испанию для того, чтобы услышать эти поражающие душу звуки природы. Если этот ветер, этот град, этот визг железных флюгеров на крыше недостаточны, чтобы наполнить душу страхом и трепетом, то прислушайтесь к треску камина, в котором слышатся сотни каких-то диких голосов и, наконец, к оригинальной, колдовской песенке, которую начинает затягивать чайник.

-- О Господи! Час от часу не легче! -- воскликнула полковница. -- Дагобер населил привидениями даже вскипающий чайник и заставляет нас слушать их жалобные песни.

-- Однако, милая матушка, -- прервал ее Анжелика, -- я скажу вам, что Дагобер не совсем не прав. Треск, щелканье и шипенье могут иной раз в самом деле навеять боязливое чувство, особенно, когда ум к этому расположен. Что же касается жалобной песенки чайника, то она мне уже положительно неприятна, и я даже погашу сейчас огонь, чтобы ее прекратить.

С этими словами Анжелика встала, причем платок, в который она была закутана, скользнув с ее плеч, упал на пол. Мориц быстро его поднял и подал ей, за что был награжден взглядом, в котором каждый сразу бы прочел более чем простую благодарность. В порыве чувства схватил он милую ручку и крепко прижал ее к губам.

Маргарита, передававшая в эту минуту Дагоберу стакан пунша, вдруг вздрогнула, точно от электрического удара, и, пошатнувшись, выронила стакан, разбившийся вдребезги. Испуганно вскрикнув, бросилась она к ногам полковницы, обвиняя себя в непростительной неловкости и умоляя позволить ей удалиться в свою комнату. Настроение, которое принял разговор, хотя и не вполне ею понятый, подействовало, по ее словам, так сильно на ее нервы, что она, не будучи в состоянии выносить треск камина, чувствовала себя совсем больной и хотела лечь в постель. Говоря так, она в то же время крепко целовала руки полковницы, обливая их горячими слезами.

Дагобер понял, что затеянный им разговор грозил разрешиться не совсем приятным исходом и что потому следовало его прервать во что бы то ни стало. С комизмом, на какой только был способен, он также бросился к ногам хозяйки и самым смешным, плаксивым голосом стал умолять ее помиловать преступницу, осмелившуюся пролить драгоценный напиток, назначенный для освежения его адвокатского горла и сердца. Что же касается широкого, пуншевого пятна на паркете, то клялся он всеми святыми на следующее утро подвязать себе к подошвам полотерские щетки и танцевать на этом месте целый час,

танцевать, как на придворном балу, до тех пор, пока не останется ни малейшего следа преступления.

Полковница, с заметным неудовольствием смотревшая на Маргариту, невольно рассмеялась забавной выходке Дагобера.

-- Встаньте, встаньте и осушите ваши слезы, -- сказала она, подавая ему обе руки, -- я соглашаюсь вас помиловать. Маргариту за ее преступную неловкость с пуншем прощаю также, чем она обязана исключительно вашему геройскому самопожертвованию. Но, впрочем, совершенно без наказания оставить ее я не могу и потому произношу приговор, чтобы она, забыв свою болезнь, осталась в зале и усерднее прежнего принялась за угощение дорогих гостей пуншем. Сверх того -- обязана она наградить своего спасителя поцелуем.

-- Вот как всегда награждается добродетель! -- с комическим жаром воскликнул Дагобер, схватив руку Маргариты. -- Верите вы теперь, моя красавица, что на свете есть еще мужественные адвокаты, готовые пожертвовать всем для спасения правоты и невинности? А теперь следует привести в исполнение безапелляционный приговор нашего строгого судьи.

Говоря так, он прямо в губы поцеловал Маргариту и затем торжественно подвел ее к стулу, на котором она сидела. Маргарита, вся покраснев, громко рассмеялась сквозь светлые слезы, блиставшие еще в ее глазах.

-- Простите меня, пожалуйста, -- сказала она по-французски, -- право, я такая глупая. Но, конечно, я считаю долгом повиноваться всему, что скажет моя благодетельница, и потому обещаюсь вам успокоиться и по-прежнему наливать пунш, не пугаясь разговора о привидениях.

-- Браво! -- воскликнул Дагобер. -- Браво, моя героиня! Чувствую, что я вдохновил вас моей храбростью, а вы меня вашим поцелуем! Фантазия моя разыгралась вновь, и я сейчас же намереваюсь угостить всю компанию новым рассказом из regno di pianta*, страшнее прежнего.

* *Царство плача (итал.).*

-- Я думала, -- возразила полковница, -- мы уже простились со всем страшным и призрачным.

-- О пожалуйста, матушка, -- перебила Анжелика, -- позволь Дагоберу продолжать рассказ. Я совершенный ребенок и ужасно люблю повести с привидениями, от которых холод пробегает по жилам.

-- Как приятно мне это слышать! -- воскликнул Дагобер. -- В молодой девушке пугливость очаровательнее всего, и ни за что на свете не женился бы я на женщине, которая не боится привидений.

-- Ты, однако, не объяснил еще нам, -- сказал Мориц, -- почему, по твоему мнению, надо остерегаться того охватывающего нас чувства страха, которое должно считаться предвестником близости духов.

-- Потому, -- отвечал Дагобер, -- что страх этот никогда не задерживается на своей первой ступени. Вслед за чувством, почти приятным, следует страх, леденящий кровь в жилах и поднимающий волосы дыбом на голове, так что первое приятное чувство можно считать за род приманки, которой враждебный мир духов хочет сначала очаровать нас и опутать. Мы сейчас говорили о загадочных звуках природы, так поразительно действующих на нашу душу, но иногда случается, что звуки самые обыкновенные, вполне объяснимые присутствием какого-либо животного или током сквозного ветра, мучают нас и доводят до отчаяния точно таким же образом. Каждый, без сомнения, испытывал, до чего невыносим ночью самый тихий звук, раздающийся через определенные промежутки времени, и до какого отчаяния может он нас довести, прогнав всякий сон.

Раз, во время моих путешествий, случилось мне остановиться на ночь в одной гостинце, в прекрасной, просторной комнате, отведенной мне самим хозяином. Ночью вдруг проснулся я, неизвестно почему. Полный месяц глядел сквозь незавешанные окна и освещал в комнате все до последней мебели. Вдруг раздался звук, точно от капли воды, упавшей в большой металлический таз. Я стал прислушиваться. Звук повторялся мерно и постоянно. Собака моя, лежавшая под кроватью, вскочила и стала с беспокойством обнюхивать все предметы, царапать стены, пол и жалобно визжать. Я чувствовал, как холод пробежал по моим жилам и холодные капли пота выступали на лбу. Пересилив, однако, невольное овладевшее мною чувство ужаса, я сначала громко окликнул: "Кто тут?", а затем, выскочив из постели, прошелся до середины комнаты. Капли продолжали падать с тем же металлическим звуком и в этот раз уже совершенно возле меня, хотя я ничего не видел. В ужасе бросился я опять в постель и закутался с головой в одеяло. Звук стал тише, хотя и продолжался с теми же мерными промежутками и наконец мало-помалу затих, точно растворившись в воздухе. Я заснул глубоким, тяжелым сном, от которого проснулся уже поздним светлым утром. Собака взобралась ко мне на кровать и, пролежав всю ночь, прижимаясь к моим ногам, начала весело лаять и бегать, оправившись от своего страха только после того, как я встал сам. Мне пришла в голову мысль, что, может быть, слышанный мною звук был самой обыкновенной вещью и что я не мог только догадаться, в чем было дело. Потому я немедленно рассказал хозяину гостиницы напугавшее меня. Приключение, надеясь, что он поможет мне найти ключ от этой загадки, и удивлялся только, зачем он меня об этом не предупредил. Но каково же было мое изумление, когда хозяин, выслушав меня, вдруг страшно побледнел и затем стал меня умолять, ради самого неба,

никому не рассказывать о том, что со мной случилось, потому что иначе ему грозила беда лишиться куска хлеба. Уже многие, посещавшие гостиницу, жаловались, по его словам, на этот загадочный звук, являвшийся обыкновенно в светлые лунные ночи. Безуспешно исследовали в комнате решительно все; поднимали полы как в ней, так и в смежных комнатах; осматривали даже соседние дома -- все было напрасно! Тщательные поиски не навели даже на след происхождения загадочного звука. Перед моим приездом явление это, впрочем, не обнаруживалось в течение целого года, и хозяин думал уже, что оно исчезло без следа, как вдруг теперь, к величайшему его ужасу, оказалось, что это неприветливое "нечто" поселилось в комнате вновь. В заключение он давал честнейшее слово ни за что впредь не помещать в этой комнате никого из приезжих.

-- Как это в самом деле страшно! -- сказала Анжелика, обнаруживая все признаки лихорадочной дрожи. -- Мне кажется, я бы умерла, если бы со мной случилось что-либо подобное. Мне и то часто случается вдруг с испугом вскочить ночью, точно со мной случилось что-либо ужасное, между тем как решительно не могу в этот момент дать себе отчета, что бы это могло быть, и даже не помню виденного мною страшного сна. Напротив, мне кажется, что я пробуждаюсь из совершенно бессознательного, мертвого состояния.

-- Это явление мне очень хорошо знакомо, -- сказал Дагобер. -- Очень может быть, что тут замешивается власть какого-нибудь постороннего, психического явления, которому мы подчиняемся против воли. Так сомнамбулы никогда не помнят ни своего сомнамбулического состояния, ни того, что они при этом делали. Очень вероятно, что и тот непонятный, нервный страх, о котором вы говорите, не более как отголосок какого-нибудь могущественного влияния, обрывающего связь между нами и нашим сознанием.

-- Я помню, -- продолжала Анжелика, -- как однажды в день моего рождения, года четыре тому назад, вдруг пробудилась я ночью именно в таком состоянии и затем не могла прийти в себя в течение нескольких дней, тщетно стараясь припомнить, какой именно сон меня так испугал. Но что всего страннее, так это то, что я хорошо помнила, как во сне же рассказывала подробно этот сон многим людям и в том числе матушке, пробудясь же, забыла решительно все, кроме этого обстоятельства.

-- Этот удивительный феномен, -- прервал Дагобер, -- стоит в теснейшей связи с магнетизмом.

-- О Боже мой! -- воскликнула полковница. -- Неужели этот разговор никогда не кончится? Об этих вещах неприятно даже думать, и я требую, чтобы Мориц сейчас же рассказал что-нибудь веселое, покончив разом с историями о привидениях.

-- С удовольствием исполню ваше желание, -- ответил Мориц, -- но в заключение прошу позволить мне рассказать еще одну историю в том же роде. Она вертится теперь у меня на языке, и я чувствую, что не буду в состоянии говорить ни о чем веселом, не облегчив душу рассказом.

-- Так облегчите же ее, -- сказала полковница, -- если только этим вы обещаете покончить со всем таинственным и ужасным. Муж мой скоро должен возвратиться, и тогда мы с удовольствием о чем-нибудь с вами поспорим или поговорим о хороших лошадях, чтобы только выйти из того напряженного состояния, в которое разговор наш о привидениях, не хочу этого отрицать, привел даже меня.

-- Во время последнего похода, -- так начал Мориц, -- познакомился я с одним русским офицером, уроженцем Лифляндии. Ему было лет около тридцати, и так как случай сделал, что мы довольно долгое время сражались вместе, то знакомство наше скоро превратилось в тесную дружбу. Богислав, так звали моего друга, владел редкой способностью повсюду возбуждать общую к себе симпатию и уважение. Он был высок ростом, статен, мужествен, красив собой, прекрасно образован, храбр как лев, к довершению всего, имел самый милый, открытый характер. Трудно было найти более задушевного товарища для дружеской пирушки, но иногда что-то странное случалось с ним среди самого бурного разгара веселости, причем, точно какое-то ужасное воспоминание вдруг искажало черты его лица. В этих случаях делался он внезапно молчалив, серьезен и тотчас же покидал общество, обычно уходя ночью в поле, где начинал или бродить как тень пешком, или переезжать верхом на лошади от одного форпоста к другому и, только утомясь до невероятности, возвращался домой, чтобы лечь в постель. Случалось при этом, что он без всякой нужды, как бы нарочно, искал опасности, кидаясь в каждую горячую свалку рукопашной битвы, но, казалось, ни мечи, ни ядра не смели его коснуться, потому что он постоянно выходил невредим из самого жаркого боя. Все это заставляло меня с уверенностью предполагать, что, вероятно, какой-нибудь странный случай, или, может быть, тяжелая потеря отравили ему жизнь до такой степени.

Раз взяли мы на французской границе приступом один укрепленный замок, в котором и остановились на несколько дней, чтобы дать отдохнуть войскам. Комната, занимаемая Богиславом, была как раз возле моей. Ночью вдруг был я разбужен легким стуком в мою дверь. Кто-то тихо назвал меня по имени. Очнувшись, я узнал голос Богислава и, встав с постели, отворил ему дверь. Богислав стоял в ночном платье, освещенный свечкой, которую держал в руке, бледный как полотно, дрожа всем телом, и что-то невнятно бормотал. "Ради Бога, что с тобой, мой дорогой?" -- воскликнул я и, схватив его, чтобы поддержать, довел до большого кресла, в которое усадив, заставил

силою выпить стакан вина из стоявшей на столе бутылки, стараясь в то же время согреть его руки в своих и успокоить всевозможными ласковыми словами, хотя решительно не мог дать себе отчет, какая причина довела его до такого ужасного состояния. Придя немного в себя, Богислав глубоко вздохнул и затем проговорил тихим, прерывистым голосом:

-- Нет! Нет! Я не вынесу и сойду с ума, если смерть, в чьи объятия я бросаюсь так жадно, отказывается со мною покончить! Тебе, дорогой Мориц, должен я поверить эту ужасную тайну! Так слушай же!.. Ты знаешь, что я прожил несколько лет в Неаполе. Там познакомился я с одной девушкой из прекрасного дома и полюбил ее страстно. Она отвечала мне полной взаимностью, и оба мы с согласия родителей думали заключить союз, от которого ожидали райского счастья. День свадьбы был уже назначен, как вдруг в дом отца и матери моей невесты стал являться какой-то сицилийский граф, обнаруживая всем своим поведением явное намерение отбить у меня мою возлюбленную. Дошло до объяснения. Он ответил мне дерзостью, вследствие чего состоялась дуэль, на которой я смертельно ранил его шпагой в грудь. Но каково же было мое отчаяние, когда, поспешив затем к моей невесте, я, вместо радости при виде меня спасенным, нашел ее в жесточайшем припадке горя и слез. Она называла меня гнусным убийцей, отталкивала меня со всеми знаками величайшего отвращения и лишилась даже чувств, когда я коснулся ее руки, точно укушенная ядовитым скорпионом! Кто может описать тебе мое горе! Внезапная эта перемена осталась необъяснима даже для родителей моей невесты. Никогда ни малейшим словом не потакали они домогательствам графа. Отец скрыл меня в своем доме и употребил все старания, чтобы дать мне возможность безопасно покинуть Неаполь. Преследуемый всеми фуриями, уехал я в Петербург. Но не измена моей невесты тяготила и мучила меня главным образом. Нет! Какое-то страшно мучительное чувство осенило с тех пор всю мою жизнь. Какой-то необъяснимый адский страх не дает мне ни минуты покоя с несчастливого дня моей дуэли в Неаполе. Часто днем, но еще чаще ночью, слышится мне чей-то тяжелый, предсмертный стон то вдали, то почти подле меня, и я с ужасом узнаю в нем голос убитого мною графа. Говорить ли о том, до чего мучит это меня и терзает? И представь, что стон этот слышится мне везде, его не заглушают ни гром пушек, ни треск оружейного огня, он разжигает и поднимает в моей душе ярость и отчаяние, способные довести до окончательного безумия. Даже сегодня ночью...

Тут Богислав вдруг остановился и в ужасе стиснул мою руку. Я вздрогнул вместе с ним. Тяжелый, раздирающий стон тихо, но ясно пронесся в ночной тишине. Потом показалось, будто кто-то с трудом, тяжело вздыхая, поднялся с земли и направился к нам слабой, неверной

походкой. Богислав, собрав последние силы, поднялся с кресла; глаза его засверкали диким блеском отчаяния.

-- Покажись, злодей! -- крикнул он так, что задрожали стены. -- Покажись, если смеешь! Вызываю тебя со всеми дьяволами, которые тебе служат!

Страшный удар в дверь раздался ему в ответ...

Как раз в эту минуту сорвалась с крючка под точно таким же ударами дверь комнаты, где сидело все общество...

* * *

Едва Оттмар успел прочесть эти слова, как уже с настоящим треском распахнулись обе половинки дверей садовой беседки, где сидели Серапионовы друзья, и темная, закутанная в широкий плащ фигура, появившись на пороге, приблизилась к ним неслышными, призрачными шагами. У всех невольно занялся дух от ужаса.

Когда первое впечатление прошло и свечи озарили лицо вошедшего, Лотар, узнав в воображаемом призраке общего их друга Киприана, воскликнул:

-- Ну можно ли так глупо пугать порядочных людей, прикинувшись привидением! Впрочем, с Киприана взыскивать нельзя: он живет до того запанибрата с миром призраков и мертвецов, что, пожалуй, готов сам превратиться в какого-нибудь духа. Рассказывай же скорее, как ты сюда попал и каким образом успел нас отыскать?

-- Да, да! Рассказывай! -- повторили Оттмар и Теодор.

-- Сегодня только, -- начал Киприан, -- воротился я из моего путешествия и тотчас же побежал к Теодору, затем к Лотару и, наконец, к Оттмару. Не застав никого, недовольный, пошел я прогуляться и, возвращаясь в город, совершенно случайно, забрел в глубь сада, где внезапно, показалось мне, услышал знакомые голоса в беседке. Заглянув в окно, увидел я моих достойных Серапионовых братьев и услышал, что Оттмар читает своего "Зловещего гостя".

-- Как! -- перебил Оттмар. -- Разве ты знал мою повесть уже прежде?

-- Ты забываешь, -- отвечал Киприан, -- что я же подал тебе о ней главную мысль. Не из моих ли рассказов узнал ты о феномене воздушных звуков и дьявольских голосов на Цейлоне? Канву повести о зловещем госте сообщил тебе также я, и потому мне очень было любопытно послушать, как воспользовался ты моим сюжетом. Таким образом вы легко поймете, что едва Оттмар дошел в своем чтении до растворившейся с громом и треском двери, я, по необходимости, сделал то же и явился среди вас.

-- С той, однако, разницей, -- заметил Теодор, -- что явился ты не как неприятный зловещий гость, а как дорогой и верный Серапионов брат,

искренно нас обрадовавший, несмотря на то, что явление твое, признаюсь, порядочно меня испугало.

-- А сверх того, -- прервал Лотар, -- если он захотел, во что бы то ни стало, остаться сегодня духом, то, надеюсь, что это будет дух очень мирный, который спокойно займется чаем и не станет даже стучать чашками, чтобы не мешать продолжению чтения рассказа Оттмара, заинтересовавшего меня тем более, что сюжет, как мы теперь узнали, принадлежит не ему.

Шутка Киприана произвела, однако, довольно сильное впечатление на Теодора, еще не совсем оправившегося от болезни; он сидел бледный как смерть, и ясно было видно, что больших усилий стоило ему казаться веселым.

Киприан это заметил и сильно раскаивался в своей проделке.

-- Действительно, -- сказал он, -- глупую я сделал штуку, забыв, что Теодор едва успел только оправиться от своей болезни. И это тем неприятнее, что подобные проделки совершенно противны моим собственным убеждениям. Сколько раз случалось, что шутки в этом роде влекли за собой действительное вмешательство мира духов и оканчивались несчастьем. Я даже знаю один пример...

-- Довольно, довольно! -- закричал Лотар. -- Я не люблю долгих перерывов, а Киприан приготовился, кажется, уже совсем вести нас в свой родной, заколдованный лес. Прошу, Оттмар, продолжай свое чтение.

Оттмар продолжал:

* * *

Высокий человек, одетый с головы до ног в черное, с бледным лицом и серьезным, пронизательным взглядом, вошел в комнату. Приблизясь почтительно к полковнице, он самым вежливым тоном, обличавшим привычку и манеры хорошего общества, попросил извинения, что явился так поздно, несмотря на полученное приглашение, причем сослался на чей-то визит, к сожалению, задержавший его дома. Полковница, находясь еще под первым впечатлением испуга, проговорила в ответ несколько незначительных слов, пригласив неожиданного гостя садиться. Он поставил стул возле нее, как раз против Анжелики и, сев, обвел взором все общество. Несколько минут продолжалось общее, довольно неловкое молчание. Наконец незнакомец заговорил снова, прибавив к сказанному, что независимо от позднего прихода ему следует еще убедительнейше просить извинения за тот шум, с которым он, можно сказать, почти ворвался в зал. Впрочем, вина, по его словам, должна была пасть на лакея, встреченного им в передней, который так неосторожно отворил дверь.

Полковница, с трудом подавляя поселившееся в ее душе какое-то неприятное чувство, спросила о том, кого она имеет честь у себя принимать? Но незнакомец, как будто не расслышав этого вопроса, занялся Маргаритой, в которой какая-то странная перемена произошла с первой минуты его прихода. Она вдруг оживилась и, сев возле незнакомца, принялась нервно смеяться, без умолку болтать по-французски, рассказывая ему, как они сидели все, слушая страшную повесть о привидениях, и как он явился как раз в ту минуту, когда ротмистр Мориц дошел до появления духа в своем рассказе. Полковница, чувствуя неловкость расспрашивать об имени гостя, который объявил, что явился по приглашению, не повторила своего вопроса, несмотря на все беспокойство, причиняемое ей его присутствием, и даже не дала заметить Маргарите, что излишняя ее развязность в разговоре с незнакомцем не совсем уместна. Гость, однако, наконец сам положил конец ее болтовне, сказав в ответ, причем обратился уже к хозяйке и к прочему обществу, что происшествие, совершенно подобное рассказанному, случилось недавно в этой же самой местности. Полковница что-то невыразительно ответила; затем сказал несколько слов Дагобер, но разговор все как-то не клеился. Маргарита между тем начала напевать французские песенки, вскочила со своего места, пустилась танцевать, уверяя, что хочет повторить новую фигуру гавота, словом, держала себя совершенно вразрез с общим, принужденным настроением общества. Все сидели, точно подавляемые каким-то тяжелым чувством, явно тяготясь присутствием таинственного незнакомца и как бы не решаясь заговорить с ним после взгляда на его мертвенно-бледное лицо. При всем том трудно было сказать, чем мог он так неприятно подействовать на всех, потому что ни в тоне его, ни в манерах не было ровно ничего особенно из ряда вон выходящего. Напротив, и то, и другое обличали привычки порядочного, умеющего себя держать светского человека. Острый акцент, с которым он говорил по-французски и по-немецки, заставлял с вероятностью предполагать, что он не принадлежал ни к одной из этих национальностей.

Наконец точно гора скатилась с плеч хозяйки, когда вслед за раздавшимся под окнами дома стуком лошадиных копыт, услышала она голос возвратившегося мужа.

Через несколько минут полковник вошел в комнату и, едва увидя незнакомца, поспешил прямо к нему с радостным восклицанием:

-- Милости, милости просим, любезный граф! Душевно рад вас видеть! -- и затем, обратясь к жене, прибавил: -- Граф С-и! Верный, дорогой друг, с которым я познакомился на далеком севере и с особенным удовольствием встречаю теперь здесь!

Полковница, успокоенная этими словами, с любезной улыбкой приветствовала гостя, объявив, что если он не был принят с первого

раза как верный, близкий друг, то вина должна упасть на полковника, не предупредившего ее об этом посещении. Затем рассказала она мужу, как целый вечер проговорили они о привидениях и прочих, тому подобных вещах, как Мориц рассказал ужасное приключение со своим другом и как граф внезапно вошел в зал как раз в ту самую минуту, когда речь зашла о страшном ударе в дверь.

-- Это прелестно! -- воскликнул полковник. -- Итак, любезный граф, вас приняли за привидение. Мне кажется, что моя Анжелика до сих пор не может оправиться от следов страха на лице, как будто ротмистр еще не покончил со своей историей, да и Дагобер все еще смотрит невесело. Скажите, граф, ведь это должно быть преобидно быть принятым за привидение или мертвеца?

-- Разве я, -- сказал граф, как-то странно усмехнувшись, -- имею что-нибудь призрачное в своей фигуре? Впрочем, нынче много говорят, будто есть люди, обладающие силой оказывать на других такое психическое влияние, что взгляд их бывает трудно перенести. Может быть, таким взглядом владею и я.

-- Вы шутите, любезный граф! -- возразила полковница. -- Но что нынче действительно возобновилась мода на подобные таинственные вопросы, в этом вы совершенно правы.

-- А равно и в том, -- прибавил граф, -- что вопросы эти часто переходят в чистые суеверные бредни, обнаруживающие не совсем здоровое состояние рассудка рассказчиков. Да хранит судьба всех и каждого от этой напасти. Но я, однако, прервал господина ротмистра на самом интересном месте его рассказа и потому убедительно прошу его продолжать, чтобы удовлетворить общее любопытство слушателей.

Мориц, которому вся личность незнакомца была не только неприятна, но положительно противна, очень хорошо понял злую насмешку в той улыбке, с какой были произнесены графом последние слова. Он вспыхнул и отвечал довольно резко, что боится смутить подобными бреднями ту веселость, которую граф сумел внести своим приходом в их скучавший кружок, и потому предпочитает лучше промолчать.

Граф, не обратив никакого внимания на этот ответ, сел возле полковника и, небрежно играя золотой табакеркой, тихо спросил, не французенка ли та дама, которая находится, по-видимому, в очень веселом расположении духа.

Вопрос относился к Маргарите, все еще продолжавшей напевать и кружиться по залу, так что полковник был вынужден подойти к ней и негромко спросить, в своем ли она уме? Маргарита вздрогнула и, как бы очнувшись, смиренно уселась за чайным столом.

Граф между тем искусно возобновил разговор, рассказав несколько последних, недавно случившихся новостей. Дагобер слушал молча, а Мориц, смотря на графа в упор и беспрестанно меняясь в лице,

казалось, ждал только случая быть затронутым, чтобы ответить чем-нибудь дерзким. Анжелика, не поднимая глаз, прилежно сидела за работой. Вообще же разошлись все в самом натянутом расположении духа.

-- Счастливый ты человек! -- воскликнул Дагобер, оставшись наедине с Морицем. -- Кажется, теперь уже нет сомнения, что Анжелика тебя любит. Я сегодня долго смотрел ей в глаза и убедился в этом совершенно. Но берегись! Дьявол силен и умеет посеять дурную траву среди прекраснейших цветов! Маргарита любит тебя тоже и притом любит, как только может полюбить самое пылкое сердце. Сегодняшнее ее поведение показало такие муки ревности, что она не в состоянии была даже их скрыть. Надо было видеть, что происходило в ее душе, когда Анжелика уронила платок, и ты, подняв его, поцеловал ее в руку. И во всем этом виноват ты один. Я помню хорошо, как усердно ухаживал ты сам за хорошенькой француженкой, и хотя знаю, что этим ты только маскировал свою любовь к Анжелике, все же фальшивые стрелы попали в цель и сделали свое дело, во всяком случае, дело очень скверное, потому что я даже не могу предвидеть, как выйти из этого положения благополучно.

-- Оставь меня в покое с этой своей Маргаритой! -- рассердился Мориц. -- Если Анжелика любит меня точно, в чем я -- увы! -- еще сомневаюсь, то мне столько же дела до всевозможных Маргарит со всей их глупостью, сколько до прошлогоднего снега. Но у меня другое беспокойство на душе: мне все кажется, что этот непрощенный граф, явившийся внезапно, как темная ночь, и смутивший самым неприятным образом наше веселое настроение, встанет чем-то вроде помехи между мной и Анжеликой. Я смутно чую душой, точно во сне, будто бы человек этот уже оказал на меня где-то и когда-то тяжелое, непонятное влияние, и не знаю почему, но мне все кажется, что там, где он появится, случится непременно какое-нибудь несчастье, вызванное им из недр темной, неприветливой ночи. Заметил ты, как проницательно смотрел он на Анжелику и как при этом невольный румянец то вспыхивал, то исчезал у нее на щеках под его взглядом? Он видел, что моя любовь к Анжелике стоит на его собственной дороге, и вот почему прозвучали таким призранием его обращенные ко мне слова. Но я ему не уступлю, хотя бы нам пришлось встретиться на узкой дорожке смерти!

Дагобер тоже соглашался, что граф казался с виду каким-то существом другого мира, но, по его мнению, таким людям следовало только, не уступая, смело смотреть прямо в глаза.

-- А может быть, -- прибавил он, -- в сущности, тут нет ровно ничего особенного, и неприятное, произведенное графом впечатление следует приписать только странности и обстановке его прихода.

-- Будем, -- сказал он в заключение, -- смело и твердо встречать разрушительные, направленные против нас силы, и поверь, что никакая мрачная власть не заставит преклонить гордо поднятую против нее голову!

Прошло много времени. Граф все чаще и чаще посещал дом полковника и, наконец, сделался в нем почти неизбежным гостем. Вместе с тем и общее к нему отношение стало мягче. В семействе даже прямо говорили, что причину производимого присутствием графа неприятного впечатления следует скорее искать в собственном предрассудке, чем в его личности.

-- Не точно ли с таким же правом, -- рассуждала жена полковника, -- граф мог назвать неприятными людьми нас самих, если судить по нашим бледным, вытянутым лицам и вообще по нашему тогдашнему с ним обращению?

Граф выказывал в разговорах бездну разнообразнейших познаний и хотя, будучи итальянцем по рождению, говорил на иностранных языках с заметным акцентом, делал это совершенно правильно и с редкой увлекательностью. Его рассказы были проникнуты таким огнем жизненной правды и до того невольно очаровывали слушателей, что даже Мориц с Дагобером, долее всех выказывавшие к графу неприязненное отношение, переменили мнение и с невольным интересом, подобно Анжелике и всем прочим, слушали эти рассказы, удивительно оживляемые выражением его бледного, но по-настоящему красивого лица и очарованием порхавшей на тонких губах улыбки.

Дружба между графом и полковником завязалась вследствие одного обстоятельства, из которого последний вынес глубочайшее уважение к благородству характера графа. Они встретились на дальнем Севере, где граф помог полковнику в одном из тех бывающих нередко случаев жизни, когда дело идет не только о потере денег или имущества, но даже доброго имени и чести. Полковник, глубоко чувствуя эту услугу, предался с тех пор графу всей душой.

Раз полковник, будучи наедине с женой, сказал ей:

-- Время мне сообщить тебе о причине, побуждающей графа так долго оставаться здесь. Ты знаешь, что мы целых четыре года прожили с графом в П***, где дружба наша завязалась так тесно, что даже поселились мы в одной комнате. Раз случилось, что граф, войдя ко мне рано утром, увидел на моем столе маленький миниатюрный портрет Анжелики, который возил я всегда с собой. По мере того, как он в него вглядывался, с ним случилось что-то странное. Не будучи в силах оторвать от портрета глаз, воскликнул он, наконец, с каким-то вдохновением, что никогда в жизни не видел он женщины прелестнее и никогда не чувствовал до этой минуты, что значит любовь, внезапно поселившаяся в сердце. Я посмеялся тогда над этим необычным действием портрета, назвал в шутку его новым Калафом и, пожелав

ему счастья, прибавил, что, во всяком случае, дочь моя не Турандот. При этом дал я ему деликатно почувствовать, что хотя годы его и не могли назваться совершенно старыми, но что все-таки он был уже не в первом юношеском возрасте, и потому идея так внезапно влюбиться в кого-нибудь за глаза, по портрету, показалась мне немного странной. На это поклялся он мне с жаром и всеми признаками глубокой страсти, что такие явления не редкость в людях его нации и что он действительно до того безумно полюбил Анжелику, что серьезно просит ее руки. Вот причина приезда графа в наш дом. Он уверяет, что вполне убежден в расположении к нему Анжелики, и вчера обратился ко мне с формальным сватовством. Что скажешь ты на это?

Последние слова полковника испугали жену его невыразимо.

-- Боже! -- воскликнула она. -- Как! Отдать ему нашу Анжелику? Ему? Совсем чужому нам человеку?

-- Чужому? -- нахмутив лоб, возразил полковник. -- Ты называешь чужим того, кому я обязан честью, свободой и, может быть, жизнью? Я сознаюсь сам, что по летам он, пожалуй, не совсем пара нашей голубке, но он хороший человек и притом богат, очень богат.

-- И ты хочешь, -- перебила полковница, -- решить дело так, не спросясь Анжелики, которая, может быть, вовсе не разделяет склонности к ней графа, как он это себе вообразил.

Полковник весь вспыхнул и быстро вскочил со стула.

-- Разве я, -- воскликнул он, сверкнув глазами, -- подавал тебе когда-нибудь повод считать меня дурным отцом? Отцом тираном, готовым выдать дочь за первого встречного, не удостоверившись в ее на то согласии? Но и ты, во всяком случае, умерь немножко свою чувствительность и романтические затеи. Мало ли какие нелепости приходится выслушивать и болтать при всякой свадьбе! Заметь сама, как Анжелика превращается вся в слух и внимание, когда граф говорит; как смотрит на него всегда самым дружеским взглядом; как охотно позволяет ему брать свою руку и краснеет, когда он ее поцелует. В неопытной девушке такие признаки -- явный знак склонности, могущей осчастливить человека. А что касается разных романтических бредней, которые вы, женщины, так любите, то чем их меньше, тем лучше!

-- Мне кажется, -- возразила жена полковника, -- что сердце Анжелики менее свободно, чем, может быть, она думает сама.

-- Что такое? -- воскликнул полковник, уже совершенно рассердясь, но вдруг в эту минуту дверь отворилась, и в комнату с самой милой улыбкой невинности вошла сама Анжелика.

Полковник, мгновенно придя в себя, подошел к ней, поцеловал ее в лоб и, взяв за руку, усадил в кресло, сев сам подле нее. Затем прямо повел он речь о графе, говорил о его благородной наружности, его уме, образе мыслей и наконец спросил мнение о нем Анжелики. Анжелика

отвечала, что с первого раза граф произвел на нее очень неприятное впечатление, но что теперь чувство это совершенно прошло и она с большим удовольствием его видит и с ним говорит.

-- Ну, если так, -- воскликнул полковник с радостью, -- то мне остается только благодарить Бога, устроившего все к нашему общему счастью! Узнай же, что благородный граф любит тебя страстно и просит твоей руки, в которой ты, конечно, ему не откажешь!

Едва полковник выговорил эти слова, как Анжелика, внезапно побледнев, откинулась без чувств на спинку кресла. Полковница бросилась к ней, успев укоризненно взглянуть на мужа, который, весь уничтоженный, без слов смотрел на бледное лицо своей дочери. Придя в себя, Анжелика в недоумении осмотрелась, и вдруг поток слез хлынул из ее глаз.

-- Граф! -- воскликнула она отчаянным голосом. -- Выйти за страшного графа! Нет! Нет! Никогда!

Полковник, овладев собой насколько мог, самым ласковым, спокойным голосом спросил, почему же граф кажется ей таким страшным? На это Анжелика отвечала, что едва отец ее выговорил, что граф ее любит, она вдруг с ужасающей подробностью вспомнила тот страшный сон, виденный ею четыре года тому назад в день рождения, пробудясь от которого, вынесла она только одно страшное о нем воспоминание, никак не будучи в состоянии припомнить, что именно ее так испугало.

-- Мне снилось, -- говорила Анжелика, -- будто, гуляя в прекрасном, с множеством цветов и деревьев саду, я остановилась перед каким-то чудным деревом с темными листьями и большими, чудесно пахнущими цветами, похожими на сирень. Ветви его простирались ко мне до того красиво и грациозно, что я не могла преодолеть желания отдохнуть в его тени и, привлекаемая точно невидимой силой, опустилась на мягкий дерн, раскинувшийся под деревом. Тут вдруг какие-то странные звуки раздались в воздухе, точно набежавший ветерок вместо шелеста исторг из ветвей дерева неприятные, раздражающие стоны. Чувство неизъяснимой боли и вместе с тем сожаления проникло мне в душу, хотя я сама не знала почему. Вдруг почувствовала я, что точно какой-то раскаленный луч пронзил мне сердце. Крик ужаса, замерев в моей стесненной груди, разрешился одним тяжелым, подавленным вздохом. Скоро увидела я, что луч этот был -- пронзительный взгляд двух человеческих глаз, смотревших на меня из темной глубины куста. Глаза эти все приближались и, наконец, остановились совсем рядом со мной. Белая как снег, призрачная рука, появившись внезапно, стала обводить вокруг меня огненные круги все теснее и уже, так что, стесненная ими точно оковами, я не могла пошевелиться. Вместе с тем и взгляд ужасных глаз, проникая все дальше и дальше в мою душу, точно охватывал и подчинял себе все

мое существо. Чувство смертельного страха оставалось еще одно во мне самостоятельным. В эту минуту дерево низко склонило ко мне свои цветы, и среди них послышался нежный, любящий голос: "Анжелика! Я спасу тебя! Спасу! Но..."

Тут рассказ Анжелики был внезапно прерван приходом лакея, доложившим, что ротмистр Р*** желает говорить с полковником по одному делу. Едва Анжелика услышала имя Морица, как слезы внезапно брызнули из ее глаз, и она с выражением, невольно обличавшим глубочайшую любовь, воскликнула:

-- О Мориц! Мориц!

Вошедший Мориц услышал эти слова. Увидя Анжелику всю в слезах, с простертыми к нему руками, он внезапно вздрогнул и, не сняв, а сорвав со своей головы фуражку и бросив ее на пол так, что зазвенели металлические украшения, кинулся сам к Анжелике, бессильно опустившейся в его объятия, и с жаром прижал ее к своей груди. Полковник, увидев все это, онемел.

-- Я предчувствовала, что они любят друг друга, -- прошептала ему жена, -- но только не знала этого наверно.

-- Господин ротмистр Р***! -- гневно воскликнул полковник. -- Не угодно ли вам объяснить, что это значит?

Мориц, очнувшись, тихо усадил полумертвую, ослабевшую Анжелику в кресло, поднял свою фуражку и, подойдя с горящим лицом к полковнику, поклялся честью, что одна истинная, глубочайшая любовь к Анжелике побудила его к этому невольному порыву, но что никогда до этой минуты не позволил он себе намекнуть ей о том ни малейшем словом, не будучи уверен в том, любит ли Анжелика его. Но в эту минуту тайна, сулящая ему небесное счастье, открылась, и он надеется, что любящий свою дочь отец не откажет в своей согласии благословить союз, заключенный с такой чистейшей, взаимной привязанностью.

Полковник, мрачно взглянув на Морица и на Анжелику, молча прошелся несколько раз по комнате со сложенными на груди руками, как бы обдумывая, на что решиться. Остановясь затем перед женой, хлопотавшей около Анжелики, он довольно сурово обратился к последней с вопросом:

-- Какое же отношение имеет твой глупый сон к графу?

Анжелика, поднявшись, бросилась вся в слезах к ногам отца и, покрыв его руки поцелуями, проговорила чуть слышно:

-- Отец! Милый отец! Эти ужасные, опутывающие меня чарами глаза -- были глаза графа, и его же призрачная рука обводила вокруг меня те огненные круги! Но голос, чудный голос, раздавшийся из глубины прекрасного дерева, был голос Морица! Моего Морица!

-- Твоего Морица? -- резко крикнул полковник, стремительно отступив, так что Анжелика чуть не упала на пол.

-- Так вот что! -- продолжал он мрачным голосом. -- Воображение! Ребячьи фантазии! Старания любящего отца и глубокая любовь благородного человека приносятся в жертву подобным глупостям! -- и, пройдя затем опять несколько раз по комнате, обратился он, несколько успокоенный, к Морицу:

-- Господин ротмистр Р***! Вы знаете, что я глубоко уважаю вас и люблю! Признаюсь вам прямо, что я не пожелал бы себе лучшего зятя! Но я связан словом, данным мною графу С-и, которому считаю себя обязанным, как только человек может быть обязан другому. Не подумайте, впрочем, что я хочу разыграть упрямого и жестокого отца. Сейчас пойду я к графу и открою ему все. Любовь ваша, может быть, будет стоить мне жизни, но собой я готов пожертвовать! Прошу вас дожждаться моего возвращения.

Мориц живо возразил, что готов лучше сто раз умереть сам, чем допустит, чтобы полковник подверг себя хоть малейшей опасности. Полковник ничего не ответил и быстро вышел из комнаты.

Едва успел он удалиться, влюбленные в порыве восторга бросились друг другу в объятия с клятвами вечной любви и верности. Анжелика уверяла, что только в ту минуту, когда отец сообщил ей о сватовстве графа, почувствовала она, до чего невыразимо любит Морица и что предпочла бы она смерть браку с кем-либо другим. Ей казалось давно, что и Мориц любит ее точно так же. Затем стали они припоминать те минуты, когда случалось им, против воли, выказывать свою привязанность друг к другу, словом, в чаду восторга и счастья, казалось, оба забыли, как маленькие дети, и гнев полковника, и его недовольство. Полковница, уже давно подозревавшая эту любовь и в глубине души вполне одобрявшая выбор Анжелики, искренно дала слово обоим употребить, со своей стороны, все зависящие от нее старания, чтобы убедить полковника отказаться от задуманного им брака, который, она сама не знала почему, пугал ее точно так же, как Анжелику.

Спустя около часу времени дверь комнаты внезапно отворилась, и, к общему удивлению, вошел граф С-и, за которым следовал с сияющим радостью лицом полковник. Граф, подойдя к Анжелике, схватил ее руку и посмотрел на нее с грустной улыбкой. Анжелика содрогнулась и не могла удержаться, чтобы не прошептать едва слышно:

-- Ах! Эти глаза!

-- Вы бледнеете, Анжелика! -- так начал граф. -- Бледнеете точно так же, как это было в тот день, когда я в первый раз явился в ваш круг. Неужели я точно кажусь вам каким-то страшным, призрачным существом? Я не хочу этому верить! Не бойтесь меня, я вас умоляю! Поверьте, что я не более как просто бедный, убитый горем человек, любящий вас со всем пылом юношеского увлечения! Вся моя вина в том, что я, не спросясь, свободно ли ваше сердце, увлекся безумной

мыслью заслужить вашу руку. Но поверьте, что даже слово вашего отца не дает мне, по моим убеждениям, никакого права на счастье, которое подарить можете только вы! Вы свободны вполне, и я не хочу напоминать вам даже своим присутствием о тех неприятных минутах, которые заставил вас перенести. Скоро, очень скоро, может быть, не далее, как завтра, возвращаюсь я в мое отечество.

-- Мориц! Мой Мориц! -- воскликнула с восторгом Анжелика и бросилась в его объятия.

Дрожь пробежала по всему телу графа при этой сцене; глаза его сверкнули каким-то необыкновенным блеском: губы задрожали и, несмотря на все усилия, не мог он удержать слабого, вырвавшегося из груди его стоны. Быстро обратясь к полковнику с каким-то незначительным вопросом, успел он, однако, овладеть собой и подавить этот прилив восставшего в душе его чувства.

Зато полковник был уже совершенно вне себя.

-- Какое благородство! Какое великодушие! -- восклицал он поминутно. -- Много ли найдется людей, подобных моему дорогому другу! Другу навсегда!

Нежно обняв затем Морица, Анжелику и жену, он, смеясь прибавил, что не хочет более вспоминать о коварном заговоре, который они против него составили, и выразил надежду, что Анжелика не будет более бояться призрачных глаз графа.

Был уже полдень. Полковник пригласил Морица и графа к обеду. Послали также за Дагобером, явившимся в полном сиянии восторга за счастье своего друга.

Едва успели сесть за обед, как все тотчас заметили, что за столом недоставало Маргариты. Оказалось, что она, почувствовав себя нездоровой, заперлась в своей комнате и отказалась выйти.

-- Я, право, не знаю, -- сказала полковница, -- что сделалось с некоторых пор с Маргаритой. Она беспрестанно не в духе, плачет, смеется без всякой причины, а иногда причуды ее делаются просто невыносимы.

-- Твое счастье -- ей смерть, -- шепнул Дагобер своему другу.

-- Перестань, духовидец, -- возразил Мориц, -- и не порти мне удовольствие хоть в эту минуту.

Редко бывал полковник так счастлив и доволен, как в этот день. Полковница тоже чувствовала, что точно тяжесть свалилась с ее плеч при мысли об успехе, увенчавшем ее заботы об Анжелике. Дагобер шутил и смеялся в самом лучшем расположении духа, и даже граф, по-видимому, подавив свое горе, сделался любезен и разговорчив, каким он умел быть всегда благодаря своему уму и прекрасному образованию. Словом, все вокруг, казалось, свивалось для влюбленной пары в прекрасный, цветущий венок.

Наступили сумерки. Благородное вино искрилось в граненых стаканах. Пили с искренними пожеланиями счастья, а также за здоровье обрученных. Вдруг двери комнаты отворились, и в них появилась, шатаясь, в белом ночном платье, с распущенными по плечам волосами Маргарита, бледная как смерть.

-- Маргарита! Что это за шутки? -- воскликнул полковник, но Маргарита, не обращая на него внимания, направилась прямо к Морицу, положила на его грудь свою, холодную как лед руку, поцеловала его в лоб и, тихо прошептав: "Поцелуй умирающей приносит счастье веселому жениху!", упала без чувств на пол.

-- Вот неожиданная беда! -- тихо шепнул графу Дагобер. -- Эта безумная влюблена в Морица.

-- Я это знаю, -- ответил граф, -- и, кажется, она простерла свою глупость до того, что приняла яд.

-- Что вы говорите? -- в ужасе воскликнул Дагобер и стремительно бросился к креслу, в которое усадили несчастную.

Анжелика с матерью хлопотали около Маргариты, опрыскивая ее водой и прикладывая к голове примочки со спиртом. Едва приблизился Дагобер, больная открыла глаза.

-- Успокойся, милая, успокойся! -- ласково сказала полковница. -- Ты заболела, но это пройдет.

-- Да, пройдет и пройдет скоро, -- глухо проговорила Маргарита, -- я приняла яд!

Крик ужаса вырвался из груди жены полковника и Анжелики, а полковник, не удержавшись, в бешенстве закричал:

-- Чтобы черт побрал таких безумцев! Скорей за доктором! Тащите первого и лучшего, какой попадется!

Слуги и сам Дагобер хотели тотчас же бежать, но граф, смотревший до того на все совершенно безучастно, тут внезапно оживился и остановил их восклицанием:

-- Стойте! -- и, осушив вслед затем бокал любимого им огненного сиракузского вина, продолжал:

-- Если она точно приняла яд, то нет никакой надобности посылать за врачом, потому что в подобных случаях лучший доктор я! Отойдите от нее, прошу вас, прочь.

Говоря так, подошел он к лежавшей в обмороке и только изредка судорожно вздрагивавшей Маргарите, нагнулся к ней, вынул из кармана маленький футляр и, достав из него какую-то вещицу, провел ею несколько раз по ее груди, а особенно около того места, где находилось сердце. Затем, выпрямившись, сказал он, оборотясь к окружающим:

-- Она приняла опиум, но ее еще можно спасти известным мне одному средством.

Маргариту, по приказанию графа, перенесли в ее комнату, где он потребовал оставить его с нею наедине. Полковница с горничной нашли между тем в комнате пузырек с опиумом, прописанный незадолго до того самой жене полковника. Оказалось, что несчастная выпила его весь.

-- Странный, однако, человек этот граф! -- несколько иронически заметил Дагобер. -- Едва увидев Маргариту, не только узнал он тотчас, что она отравилась, но даже прямо определил род яда!

Спустя около получаса граф вернулся в гостиную и объявил, что всякая опасность для отравленной миновала, причем прибавил, бросив косвенный взгляд на Морица, что надеется уничтожить и причину, побудившую ее к такому поступку. Затем изъявил он желание, чтобы горничная просидела всю ночь у постели больной, сам же хотел остаться в соседней комнате, чтобы быть под рукой в случае, если окажется надобность в новой помощи. А чтобы подкрепить себя, попросил он выпить еще стакана два сиракузского.

Сказав это, сел он за стол с мужчинами, между тем, как полковница и Анжелика, глубоко потрясенные случившемся, не хотели более оставаться и удалились в свои комнаты.

Полковник продолжал браниться и ворчать на безумную выходку Маргариты. Мориц и Дагобер чувствовали себя не совсем ловко. Зато граф был веселее всех. В разговоре его и вообще во всем настроении духа выказывалось так много живости и довольства, каких прежде в нем никогда не замечали, так что иногда на него даже как-то страшно становилось смотреть.

-- Удивительно только, до чего тяжело мне присутствие этого графа! -- сказал Морицу Дагобер после того, как они остались одни, отправившись домой. -- И, право, мне кажется, что между нами суждено случиться чему-нибудь нехорошему.

-- Ах! -- ответил Мориц. -- Лучше не говори! И у меня лежит он на сердце, как стопудовая гиря. Но мое предчувствие хуже твоего, потому что мне все кажется, будто он стоит поперек дороги к моей любви и к моему счастью.

В ту же ночь получена была депеша с курьером, которой полковник вызывался немедленно в столицу. На другой день утром он, бледный и расстроенный, хотя и с принужденным спокойствием сказал жене:

-- Мы должны расстаться, мой дорогой друг! Затихшая было война вспыхнула снова. Сегодня в ночь получил я приказ, и очень может быть, что завтра уже выступлю с полком в поход.

Полковница испугалась невыразимо и залилась слезами. Полковник утешал ее надеждой, что поход этот будет также славен, как и предыдущий, и при этом прибавил, что сам он отправляется с совершенно спокойным сердцем, предчувствуя, что вернется здоровым и невредимым.

-- Ты бы сделала очень хорошо, -- прибавил он в заключение, -- если бы на все время войны, до самого заключения мира, отправилась вместе с Анжеликой в наши имения. Я дам вам компаньона, который сумеет оживить и заставить забыть вашу скуку и одиночество. Одним словом, с вами поедет граф С-и.

-- Что я слышу! -- воскликнула жена полковника. -- С нами поедет граф? Отвергнутый жених! Мстительный итальянец, умеющий так искусно скрывать свою злобу затем, чтобы вылить ее разом при удобном случае! Не знаю почему, но скажу тебе, что со вчерашнего вечера он сделался мне вдвое противнее, чем прежде.

-- Нет! Это уже невыносимо! -- воскликнул полковник. -- С горем вижу я, как какой-нибудь глупый сон может до того расстроить женскую голову, что она не хочет видеть истинного благородства души честного человека. Граф провел всю ночь возле комнаты Маргариты, ему первому сообщили известие о войне. Возвращение его на родину стало вследствие того почти невозможным, и он был очень этим встревожен. Тогда предложил я ему поселиться на это время в моих имениях. Он долго совестился принять мое предложение, но наконец согласился и дал мне в благодарность слово быть вашим защитником и компаньоном на время нашей разлуки, насколько это будет в его силах. Ты знаешь, как много я обязан графу, и оказать гостеприимство в моих имениях -- мой священный долг.

Полковница ничего не могла и не смела возразить против таких доводов.

Между тем слова полковника оправдались. На следующее же утро раздался звук походного марша, и, можно себе представить, с какими горестью и отчаянием расстались, счастливые еще вчера, жених и невеста.

Несколько дней спустя, дождавшись совершенного выздоровления Маргариты, полковница с ней и Анжеликой отправились в свое имение. Граф следовал за ними с многочисленной прислугой.

Первое время граф с редким тактом являлся в обществе полковницы и ее дочери только тогда, когда они сами изъявляли желание его видеть; остальное же время он или оставался в своей комнате или совершал уединенные прогулки по окрестностям.

Между тем возобновившаяся война сначала, казалось, была благоприятна для противника, но скоро потом стали доходить слухи и о победоносных битвах. Граф как-то всегда успевал получать эти известия прежде других, в особенности же, сведения об отряде, которым командовал полковник. По рассказам графа, как полковник, так и ротмистр Мориц постоянно выходили невредимы из самых кровопролитных стычек, и вести из главной квартиры подтверждали эти сведения вполне.

Таким образом, граф постоянно являлся к полковнице и Анжелике вестником самых приятных новостей. Сверх того -- вся его манера себя держать относительно последней была до того проникнута деликатной преданностью и расположением, что, казалось, так себя вести мог только нежно любящий отец. Обе, и Анжелика и ее мать, должны были невольно сознаться, что полковник не ошибся, называя графа своим лучшим другом, и что прежняя их к нему антипатия, действительно, должна быть объяснена только причудой воображения. Даже Маргарита, казалось, совершенно исцелилась в последнее время от своей безумной страсти и стала прежней веселой и болтливой француженкой.

Наконец получены были письма от полковника к жене и от Морица к Анжелике, которыми развеивались последние опасения. Столица неприятелей была взята, и вслед затем заключено перемирие.

Анжелика плавала в счастье и блаженстве. Граф постоянно говорил с ней о Морице, с увлечением рассказывая о его подвигах и рисуя картины счастья, ожидавшие прекрасную невесту впереди. Часто в таких случаях схватывал он в порыве увлечения ее руку, прижимая к своей груди, и спрашивал, неужели Анжелика чувствует к нему антипатию до сих пор? Анжелика, краснея, со слезами стыда на глазах уверяла, что она никогда не думала его ненавидеть, но слишком любила Морица, чтобы допустить даже мысль о чьем-либо постороннем сватовстве. Тогда граф обыкновенно серьезно говорил: "Смотрите, дорогая Анжелика, на меня, как на лучшего вашего друга", -- и при этом тихо целовал ее в лоб, что она с полным сознанием невинности беспрекословно позволяла ему делать, почти представляя себе, что так мог целовать ее только родной отец.

Уже надеялись, что, может быть, полковнику удастся получить отпуск и вернуться хотя бы на короткое время домой, как вдруг было получено от него письмо с самым ужасным содержанием. Мориц, проезжая с небольшим отрядом через одну неприятельскую деревню, подвергся нападению шайки вооруженных крестьян и, пораженный пулей, упал мертвый с лошади как раз возле одного храброго старого солдата, успевшего пробиться сквозь толпу неприятелей и привести это известие. Так внезапно радость, одушевлявшая весь дом, сменилась ужасом и безутешной скорбью.

Шум и движение наполняли весь дом полковника. Нарядные, в богатых ливреях лакеи бегали по лестницам. Во двор замка, гремя, въезжали кареты с приглашенными гостями, которых полковник радушно и любезно принимал, одетый в полный мундир, с новым, полученным им за последний поход орденом.

В отдаленной комнате сидела полковница с Анжеликой, одетой в великолепный подвенечный наряд и сияющей всей прелестью молодости и красоты.

-- Ты совершенно свободно, милое мое дитя, -- говорила полковница, -- согласилась выйти замуж за графа С-и. Отец твой, так горячо желавший этого брака прежде, совсем перестал на нем настаивать после несчастной смерти Морица, и мне кажется, что теперь он даже совершенно разделяет то скорбное чувство, которое я, признаюсь тебе, никак не могу в себе подавить. Не понимаю, как могла ты забыть Морица так скоро! Роковая минута близится, и скоро должна будешь ты подать графу руку навсегда. Загляни же в свое сердце еще раз, пока есть возможность возврата. Что если воспоминания об умершем встанет когда-нибудь грозной тенью, чтобы омрачить светлое небо твоего счастья?

-- Никогда, -- воскликнула в ответ на это, заливаясь слезами, Анжелика, -- никогда не забуду я Морица и никогда не полюблю кого бы то ни было так, как любила его. Граф внушает мне совершенно иные чувства. Я даже не понимаю сама, чем и как он успел приобрести мое расположение! Вижу хорошо, что не могу любить его, как любила Морица, но вместе с тем чувствую, что не могу без него не только жить, но, как ни странно это звучит, даже и мыслить! Какой-то неведомый голос постоянно мне твердит, что я должна за него выйти, потому что иного пути в жизни для меня нет. И я невольно слушаюсь этого голоса, в котором, кажется мне, слышится воля самого Провидения.

В эту минуту вошла горничная с известием, что Маргариту, исчезнувшую куда-то еще с утра, нигде не могли найти, но что сейчас принес от нее записку садовник, объявивший при этом, что получил приказание передать ее не ранее, чем закончит свою работу и перенесет все цветы в замок.

Полковница распечатала записку и прочла:

"Вы никогда не увидите меня более. Жестокая судьба заставляет меня покинуть ваш дом. Умоляю вас, ту, которая была для меня доброй, нежной матерью, не стараться меня разыскать, а еще более заставлять возвратиться силой. Иначе вторая попытка уйти из жизни удастся мне лучше первой. Искренне желаю Анжелике счастья, которому завидую от всего сердца. Прощайте навсегда и забудьте несчастную

Маргариту".

-- Что же это такое? -- горячо воскликнула полковница. -- Кажется, эта сумасшедшая поставила себе задачей доставлять нам хлопоты и неприятности на каждом шагу! Неужели ей суждено всегда становиться помехой между тобой и тем, кого избрало твое сердце? Ну да, впрочем, терпение мое истощено, и я не намерена более заниматься

этой неблагодарной, о которой заботилась, как о своей дочери! Пусть делает, что хочет!

Анжелика горько заплакала о несчастной любимой подруге, несмотря на все убеждения рассерженной полковницы не смущать себя воспоминанием о безумной хотя бы в эту торжественную минуту ее жизни. Гости между тем собрались в гостиной в ожидании назначенного часа, чтобы отправиться в домашнюю часовню замка, где католический священник должен был совершить обряд венчания. Полковник ввел Анжелику, поразившую всех своей красотой, которую еще более подчеркивало изящество богатого наряда. Ожидали графа, но прошло, однако, около четверти часа, а он не являлся. Полковник сам отправился за ним в его комнату, где встретил камердинера графа, объявившего, что господин его, будучи уже совсем одет, внезапно почувствовал себя нездоровым и вышел в парк немного освежиться, запретив ему за собой следовать.

Полковника известие это встревожило почему-то гораздо более, чем бы, казалось, оно того заслуживало. Неотступная мысль, что случится какое-нибудь несчастье, овладело всем его существом. Объявив собравшимся, что граф скоро явится, вызвал он тайно из среды гостей одного очень искусного врача и отправился вместе с ним и камердинером графа в парк, чтобы отыскать пропавшего жениха. Свернув с главной аллеи, прошли они на окруженную густым кустарником поляну, бывшую, насколько помнил полковник, любимым местом прогулок графа. Скоро увидели они его издали, сидевшего на дерновой скамье в черном платье, с блестящей орденской звездой на груди. Руки графа были опущены вдоль тела, а голова прислонена к толстому стволу цветущей сирени. Глаза были открыты и смотрели неподвижно. Все трое невольно вздрогнули при этом виде, помня хорошо прежнее огненное выражение этих глаз и сравнив его с теперешним мертвым его взглядом.

-- Граф С-и! Что с вами? -- громко воскликнул полковник, но ответа не последовало ни словом, ни малейшим движением.

Врач бросился к сидевшему, быстро расстегнул ему жилет, сорвал с шеи галстук и начал тереть ему лоб и виски, но скоро остановился и глухо сказал полковнику:

-- Всякая помощь бесполезна: он умер от удара, который сразил его мгновенно.

Камердинер громко зарыдал, а полковник, собрав все силы своего твердого характера, подавил ужас и унял плачущего.

-- Мы убьем Анжелику, если будем действовать без осторожности, -- сказал он и, подняв затем труп, отнес его окольными дорожками в уединенную, находившуюся в парке беседку, ключ которой имел при себе.

Оставя покойника там под присмотром камердинера, отправился он вместе с доктором в замок, обдумывая по дороге, следовало ли скрыть на время от бедной Анжелики ужасное происшествие или осторожно рассказать ей все тотчас же.

Войдя в гостиную, встретил он там величайшее смятение и беспокойство. Оказалось, что Анжелика среди оживленного разговора вдруг закрыла глаза и лишилась чувств. Ее перенесли в соседнюю комнату и положили на софу. Всего замечательнее было при этом, что она не только не побледнела, но, напротив, казалось, расцвела гораздо живее и румянее, чем была обыкновенно. Какое-то небесное просветление было разлито в чертах ее лица, и она, оставаясь без чувств, казалось вкушала райское блаженство и счастье. Врач, исследовавший ее с величайшим вниманием, уверил, что в состоянии ее нет ни малейшей опасности и что, по всей вероятности, она совершенно непонятным образом погружена в магнетический сон. Пробудить ее посторонним средством он не решался и советовал лучше дать ей проснуться естественным образом.

Между тем весть о внезапной смерти графа успела каким-то путем распространиться среди присутствующих. Гости сходились кучками, шептались друг с другом и наконец, поняв, что теперь не время для объяснения, догадались разехаться без прощания. Во дворе то и дело слышался стук отъезжавших карет.

Полковница, припав к Анжелике, ловила малейшее ее дыхание. Ей казалось, что она шепчет какие-то слова, непонятные никому. Врач не только не позволил раздеть Анжелику, но даже запретил снимать с ее рук перчатки, сказав, что любое прикосновение может быть для нее крайне опасно.

Вдруг Анжелика открыла глаза, быстро вскочила на ноги и, громко воскликнув:

-- Он здесь! Он здесь! -- бросилась стремительно через ряд комнат в переднюю.

-- Она сошла с ума! -- раздирающим голосом воскликнула полковница. -- О Боже! Боже! Она сошла с ума!

-- Нет, нет, будьте покойны! -- утешал врач. -- Поверьте, это не сумасшествие, хотя чего-нибудь необыкновенного, действительно, следует ожидать.

И с этими словами бросился он вслед за больной.

Он увидел, как Анжелика, выбежав из ворот замка, с простертыми вперед руками быстро побежала по дороге. Дорогие кружева и рассыпавшиеся по плечам волосы развевались за ней по воле ветра.

Быстро мчавшийся по направлению к замку всадник показался вдали. Поравнявшись с бегущей Анжеликой, соскочил он на всем скаку с седла и заключил ее в свои объятия. Два других всадника подоспели к ним и тоже спешили. Полковник, не отстававший от доктора,

остановился, увидя эту группу, точно пораженный громом. Он тер себе лоб, протирал глаза и никак не мог, по-видимому, собраться с мыслями.

Мориц, сам Мориц стоял перед ним и держал в своих объятиях Анжелику. Возле него стояли Дагобер и еще какой-то красивый молодой человек в богатом, русском, генеральском мундире.

-- Нет! -- воскликнула Анжелика, придя в себя и обнимая Морица. -- Нет! Никогда не была я тебе неверной, милый, дорогой мой Мориц!

-- Знаю, знаю! -- поспешил он ей ответить. -- Ты, ангел чистоты, была опутана злобной адской властью!

И затем, крепко держа Анжелику, довел он ее до замка, в глубоком молчании сопровождаемый прочими. Уже почти у ворот полковник вздохнул в первый раз свободно и, получив снова возможность мыслить и говорить, невольно воскликнул:

-- Что за явление! Что за невероятные чудеса!

-- Все, все объяснится, -- сказал Дагобер и тотчас же представил полковнику приезжего незнакомца, назвав его русским генералом Богиславом фон С-ен, лучшим другом Морица.

Придя в комнаты, Мориц, не обращая внимания на испуг, причиненный его появлением полковнице, первым делом спросил, быстро озираясь:

-- Где граф С-и?

-- На том свете, -- мрачно ответил полковник, -- час тому назад умер он от удара.

Анжелика вздрогнула, но тотчас же с живостью перебила отца:

-- Я это знаю, знаю! В минуту его смерти почувствовала я, будто какой-то кристалл, вдруг зазвенев, вдребезги разбился в моем сердце, и я погрузилась в непонятное для меня самой состояние. Казалось, я опять увидела мой ужасный сон, но уже совсем иначе. Я чувствовала, что страшные глаза потеряли надо мной власть и опутывавшие меня огненные тенета порвались сами собой. Я была свободна и вслед затем увидела Морица! Моего Морица! Он спешил ко мне, и я кинулась ему навстречу.

И снова бросилась она в объятия к счастливому жениху, точно боясь потерять его снова.

-- Господи! Благодарю тебя! -- подняв к небу глаза, сказала полковница. -- Я чувствую, точно свинцовая тяжесть скатилась с моего сердца, душившая его с той самой минуты, как Анжелика согласилась отдать свою руку недоброй памяти графу. Постоянно казалось мне, что дорогое дитя мое обручается с чем-то темным и страшным.

Генерал С-ен просил непременно позволить ему видеть труп графа. Его свели в беседку. Подняв покров, которым тело было закрыто, и, взглянув в лицо умершего, он содрогнулся и, невольно отступя, воскликнул:

-- Это он! Он! Клянусь всеми святыми!

Анжелика между тем тихо заснула на плече Морица. Ее уложили в постель по приказанию врача, сказавшего, что сон лучшее лекарство для того состояния, в котором она находилась, и что этим средством она избежит угрожавшей ей опасной болезни.

Из приглашенных гостей не оставалось в замке никого.

-- Теперь, -- сказал полковник, -- пора нам разъяснить странные, случившиеся в этот день происшествия, и прежде всего пусть расскажет Мориц, каким чудом видим мы его живым!

-- Вы знаете, -- начал Мориц, -- какому злодейскому нападению подвергся я уже после заключения мира. Раненный пулей, упал я без чувств с лошади и до сих пор не могу сказать, долго ли лежал в этом положении. Первым проблеском сознания было во мне чувство, что меня куда-то везут. Кругом была темная ночь. Несколько голосов тихо шептали кругом меня, и я слышал, что это был французский язык. Итак, тяжело ранен и в плену у неприятелей! Такова была горестная первая мысль, пришедшая мне в голову, мысль, поразившая меня до того, что я вновь лишился чувств. Затем помню я еще несколько светлых мгновений, во время которых чувствовал только жестокую головную боль; наконец, однажды утром, проснулся я в первый раз с некоторым сознанием восстановившихся сил и способностей. Оглядевшись, увидел я, что лежу в чистой, роскошной постели, с шелковыми занавесками и тяжелыми кистями. Комната, где я находился, была высока, обита прекрасными шелковыми обоями и уставлена тяжелой, золоченой мебелью старого французского стиля. Какой-то совершенно незнакомый мне человек стоял, нагнувшись над моей постелью, и, увидя, что я открыл глаза, быстро бросился к шнурку колокольчика и сильно позвонил. Дверь через несколько минут отворилась, и в комнату вошли на этот раз уже два человека, из которых старший был одет в старомодный французский костюм, с крестом святого Людовика на груди. Тот, кто был помоложе, приблизился ко мне, пощупал пульс и затем сказал, обращаясь к первому:

-- Он спасен: всякая опасность миновала.

Тогда старший, приблизясь, отрекомендовал себя шевалье Т*** и объявил, что я находился в его замке. Далее сообщил он мне, что, проезжая однажды через какую-то деревню, увидел он рассвирепевшую толпу крестьян, собиравшихся расправиться с раненым, упавшим с лошади. Вырвав из рук толпы, велел он положить его (а это был я) в карету и перевезти в свой, далеко лежавший от места военных действий замок, где его искусный домашний хирург принялся за лечение моей раны. По словам моего хозяина, он очень любил мой народ, гостеприимно приютивший его в ужасное время революции, и потому очень был рад, что мог отплатить в моем лице за оказанные ему

благоденствия. Весь свой прекрасно устроенный замок предлагал он к моим услугам, лишь бы мне было удобно и хорошо, и объявил, что, во всяком случае, не выпустит меня прежде, чем я оправлюсь от моей раны и пока окрестные дороги не сделаются вполне безопасными для проезда. В заключение объявил он крайнее свое сожаление, что это последнее обстоятельство делало невозможным для него самого сообщить какие-либо известия обо мне моим друзьям и близким.

Хозяин мой был вдовец, и так как сыновья его были в отсутствии, то оказалось, что во всем замке жил он один с хирургом и многочисленной прислугой. Я не стану вас утомлять рассказом о моем лечении, выдержанным мною под руками искусного хирурга, скажу только, что я видимо поправлялся день ото дня и что хозяин мой употреблял все усилия, чтобы сделать мне приятной нашу отшельническую, уединенную жизнь. Образование его и ум были гораздо глубже, чем мы обыкновенно привыкли встречать у французов. Он много и охотно говорил со мной о науках и искусствах, но избегал, заметил я, всячески заводить разговор о современных событиях. Говорить ли вам, до чего сердце мое было постоянно наполнено мыслью об Анжелике и как мучился я, думая, что она считает меня умершим, а я не могу подать ей о себе ни малейшего известия! Постоянно осаждал я моего хозяина просьбами переслать от меня письмо в главную квартиру, но он неизменно отвечал, что не может ручаться за верность передачи, потому что военные действия возобновились вновь. Он утешал меня, впрочем, уверением, что употребит все силы невредимым доставить меня, во что бы то ни стало, обратно в отечество, лишь только я выздоровлю окончательно. Из его недомолвок я должен был заключить, что война, действительно, разгорелась вновь и на этот раз уже не к выгоде союзников, о чем он, по-видимому, из деликатности нарочито избегал распространяться.

Но здесь, для связного моего рассказа, должен я сделать небольшое отступление и сказать несколько слов о тех догадках, давно уже высказывавшихся Дагобером, которые необходимо мне теперь непременно включить в свою повесть.

Выздоровление мое подвинулось настолько, что лихорадочные припадки уже почти совсем меня оставили. Однако раз ночью я проснулся в чрезвычайно возбужденном состоянии, о котором мне неприятно даже говорить, несмотря на то, что теперь осталось о нем во мне одно воспоминание. Мне казалось, я видел Анжелику, но в каком-то бледном, призрачном образе, постоянно ускользавшем, едва я хотел его схватить. Вместе с тем чувствовал я, что какое-то другое чуждое существо насильно становилось между нами, что наполняло грудь мою и сердце адской, невыразимой мукой, и что это существо словно навязывало мне мысли и чувства, от которых я защищался всеми своими силами. Проснувшись утром, внезапно обратил я внимание на

большую, висевшую против моей кровати картину, которой до того времени я ни разу не замечал. Всмотревшись, с испугом увидел я, что это был портрет Маргариты, глядевшей прямо на меня своими черными, точно живыми глазами. Я спросил лакея, откуда картина эта взялась и кого она изображала, на что он отвечал, что это портрет племянницы моего хозяина, маркизы Т***, и что картина постоянно висит тут; если же я не замечал ее до сих пор, то, вероятно, потому, что только вчера была она вычищена от пыли. Шевалье Т*** подтвердил то же самое.

С тех пор каждый раз, едва начинал я, во сне или наяву, думать об Анжелике, роковая картина, как тень, становилась передо мной, лишая меня всякой способности чувствовать самостоятельно и самовластно распоряжаться всем моим существом. Трудно выразить то чувство ужаса, которое испытывал я, сознавая свое бессилие бороться с этой чуждой, злобной властью, и никогда в жизни не забуду я перенесенных мною тогда мук.

Раз утром сидел я на окне, вдыхая свежее веяние утреннего ветерка. Вдруг вдали раздались звуки военной музыки. Вслушавшись, тотчас узнал я веселый марш русской кавалерии. Сердце во мне так и вздрогнуло от восторга, точно я услышал голоса дружеских, любящих духов, слетевшихся ободрить меня и утешить, точно чья-то доброжелательная рука, вырвав меня из мрачной могилы, куда был я ввергнут злобной, чуждой властью, вновь возвратила меня к жизни. Несколько всадников с быстротою молнии проскакали прямо во двор. "Богислав!" -- невольно вырвалось из моей груди, едва увидел я лицо командира.

Радость переполнила мне сердце. Хозяин мой вбежал бледный, расстроенный внезапным приходом непрошенных гостей, которым следовало отвести квартиры. Я не обратил внимания на его слова и, выскочив во двор, бросился в объятия моего друга.

Но каково же было мое изумление, когда после первых порывов радости, узнал я от Богислава, что мир был уже давно заключен и вся армия находилась на полном марше домой. Оказалось, что хозяин мой все это от меня скрывал умышленно и держал в своем замке военнопленным. Ни я, ни Богислав никак не могли себе представить, какая причина побудила его к такому поступку, но оба смутно подозревали, что тут должно было скрываться что-нибудь нехорошее. Шевалье стал с этой минуты решительно неузнаваем. Ворчливость, недовольство, мелочная придирчивость сменили его прежнюю любезность и предупредительность, и даже когда я от чистого сердца стал благодарить его за спасение моей жизни, он только язвительно засмеялся в ответ и скорчил самую недовольную, нетерпеливую гримасу.

После сорокавосьмичасового отдыха отряд Богислава собрался покинуть замок. Я отправился с ним. С чувством редкого счастья покинули мы маленький старинный городок, показавшийся мне теперь мрачной, душной тюрьмой. Но, однако, на этом я кончу свой рассказ и предоставлю дальнейшую нить наших чудесных приключений продолжать Дагоберу.

-- Можно ли -- начал так Дагобер, -- сомневаться, что предчувствия существуют в человеческом сердце? Я, по крайней мере, ни одной минуты не верил тому, что Мориц умер. Дух наш, внятно говорящий с нами во сне, постоянно шептал мне, что он жив и только удерживается где-то далеко неведомыми, тайными оковами. Весть о предполагаемой свадьбе Анжелики с графом растерзала мое сердце. Я поспешил сюда и, увидя Анжелику, с первого же взгляда был поражен состоянием, в котором она находилась. В глазах ее, в мыслях, во всем существе мерещилось мне, как в магическом зеркале, что-то странное и чужое, заставлявшее подозревать во всем этом вмешательство какой-то посторонней, таинственной власти. Тогда зародилось во мне намерение изъездить всю чужую страну, на земле которой якобы погиб Мориц, и во что бы то ни стало его отыскать. Говорить ли после того о том восторге, с которым встретил я в А***, следовательно, уже на немецкой земле, моего Морица вместе с генералом С-ен.

Можете себе представить, какой ад поднялся в душе моего друга, когда он слышал о предстоявшей свадьбе Анжелики. Но все его упреки и горькие жалобы на измену Анжелики прекратились мгновенно, едва я рассказал ему сопровождавшие это дело загадочные обстоятельства. Генерал С-ен вздрогнул, едва слышал упомянутое мною в рассказе имя графа С-и, когда же я, по его просьбе, описал наружность графа, его рост и манеры, то генерал невольно воскликнул: "Это он! Он сам! Нет никакого сомнения!"

-- Вы должны знать, -- перебил генерал Дагобера, -- что несколько лет тому назад граф этот отнял у меня невесту в Неаполе, очаровав ее с помощью какой-то непонятной, ему одному известной силы. Я, по крайней мере, положительно почувствовал, что в тот самый миг, как я нанес ему своей шпагой удар в грудь, какой-то холодный, адский призрак встал между моей невестой и мной, разделив нас навсегда. Позднее узнал я, что нанесенная мною рана оказалась вовсе не опасной и что он, выздоровев, получил руку моей возлюбленной, но, представьте, она умерла, сраженная нервным ударом, в самый день, назначенный для свадьбы.

-- Милосердный Боже! -- воскликнула полковница. -- Уж не угрожала ли подобная судьба и моему дорогому дитяти? Но объясните мне, почему я, не зная ничего этого, постоянно томила каким-то тяжелым предчувствием при мысли об этой свадьбе?

-- Это был голос вашего доброго гения! -- сказал Дагобер. -- И вы видите, что он вас не обманул.

-- Но как, -- продолжала полковница, -- чем же кончился ужасный случай, о котором рассказывал нам тогда Мориц и был прерван неожиданным появлением графа?

-- Вы помните, -- начал Мориц, -- что я дошел в своем рассказе до страшного удара в дверь. Вслед за тем поток холодного воздуха, точно чье-то мертвое дыхание, повеял нам прямо в лицо, и вместе с тем какая-то бледная, колыхавшаяся в неясных, едва видимых очертаниях фигура пронеслась по комнате. Я, собрав все силы, успел подавить свой ужас, но Богислав, лишившись последних сил, упал без чувств на землю. Приведенный с трудом в себя позванным врачом, протянул он мне руку и сказал грустным голосом: "Скоро! Завтра кончатся мои страдания!"

Случилось, действительно, так, как он предсказал, но, благодаря Бога, более счастливым, чем я думал, образом. В пылу кровопролитнейшей битвы картечная пуля, ударив Богислава на излете в грудь, сбросила его с лошади, разбив вдребезги портрет неверной возлюбленной, который он, несмотря на ее измену, постоянно носил на сердце. Легкая, произведенная ударом контузия скоро прошла, а вместе с тем исчезли с той минуты навсегда и мучительные видения, отравлявшие Богиславу всю его жизнь.

-- Совершенная правда! -- сказал генерал. -- С тех пор даже воспоминание о той, которую я любил, вызывает во мне одно сожаление, так благотворно действующее на душу. Но, однако, прошу Дагобера продолжать свой рассказ.

-- С поспешностью, какая только была возможна, выехали мы из А*** и сегодня рано утром прибыли в городок П***, лежащий в шести милях отсюда. Там думали мы отдохнуть несколько часов и затем продолжить наше путешествие. Но каково было наше изумление, когда в комнату, занимаемую нами в гостинице, вдруг стремительно вбежала бледная, с безумным, блуждающим взглядом Маргарита и, увидя Морица, бросилась, рыдая, к его ногам, называя себя преступницей, тысячу раз заслужившей смерть, и умоляя Морица убить ее собственными руками. Мориц, подавив знаки величайшего отвращения, успел вырваться из ее рук и выбежал вон из комнаты.

-- Да, -- перебил своего друга ротмистр, -- едва увидел я Маргариту и почувствовал ее прикосновение, в сердце моем возобновились те муки, которые пережил я в замке ее дяди. Ярость моя в эту минуту была так велика, что, право, мне кажется, я был бы в состоянии убить Маргариту, если бы не поспешил выбежать вон.

-- Я поднял, -- продолжал Дагобер, -- Маргариту с пола, перенес ее в другую комнату, где, успокоив всевозможными средствами, успел

добиться, хотя и в отрывочных фразах, признания, что же ее так мучило. Вот письмо, полученное ею от графа в полночь того дня.

С этими словами Дагобер вынул письмо и прочел:

"Бегите, Маргарита! Все потеряно! Наш недруг близок. Все мои силы и способности не могут сделать ничего против неумолимой судьбы, сражающей меня в тот самый миг, когда я думал, что уже достиг своей заветной цели. Маргарита! Я посвятил вас в такие тайны, знание о которых не выдержала бы никакая женщина. Но с вашей волей и с вашим твердым характером вы сумели сделаться достойной ученицей опытного учителя. Вы поняли меня и мне помогли. Через вас успел овладеть я всем существом Анжелики и в благодарность за то хотел доставить счастье и вам, в том виде, как вы его понимали. Мне самому становилось иной раз страшно при мысли о том, что я для этого делал и чему себя подвергал! Но все напрасно! Бегите! Иначе погибнете и вы. Что до меня, то я буду сопротивляться враждебной мне власти до конца, хотя чувствую, что это принесет мне преждевременную смерть. Но пусть умру я один! В роковую минуту удалюсь я под то чудное дерево, в тени которого открыл вам столько известных до того мне одному тайн! Отрекитесь от них, Маргарита! Отрекитесь навсегда! Природа -- жестокая мать! Тем из своих непокорных детей, которые думают дерзкой рукой сорвать завесу с ее тайн, бросает она в забаву блестящие, опасные игрушки, которые сначала их очаровывают, а затем против них же самих обращают свою губительную силу. Я раз уже убил этой силой одну женщину в тот самый миг, когда думал, что успел достигнуть высшей цели своей к ней любви. Этот случай очень сильно меня надломил, но я, слепой безумец, не обратил внимание на это предостережение и все еще смел мечтать о земном счастье для себя! Прощайте, Маргарита! Вернитесь в ваше отечество. Шевалье Т*** позаботится о вас. Еще раз прощайте!"

Все присутствующие, выслушав это письмо, почувствовали, что кровь холодеет в их жилах от ужаса.

-- Значит, -- тихо сказала полковница, -- я должна поверить таким вещам, против которых возмущается до сих пор все мое существо. Но все-таки остается для меня непонятным, каким образом могла Анжелика так скоро забыть своего Морица. Правда, я часто замечала, что она находилась в каком-то возбужденном состоянии, но это только еще более усиливало мое беспокойство. Теперь припоминаю я, что и склонность Анжелики к графу началась каким-то странным, непонятным образом. Она говорила мне, что с некоторого времени каждый день видела графа во сне и что первое влечение ее к нему появилось именно во время этих сновидений.

-- Так оно и есть, -- подтвердил Дагобер. -- Маргарита призналась мне, что ночью, по приказанию графа, она постоянно сидела возле спящей Анжелики и тихим, нежным голосом шептала ей на ухо его

имя. Сам граф подходил часто ночью к дверям комнаты Анжелики и направлял свой взгляд на то место, где она спала, после чего опять удалялся к себе. Но, впрочем, нужны ли еще какие-либо расследования и комментарии после того, как я прочел многозначительное письмо графа? Ясно, что он употребил в дело все тайны своих познаний для того, чтобы психически подействовать на внутреннее существо Анжелики, и это ему удалось при помощи какой-то неведомой силы природы. С шевалье Т*** он был в связи, оба они принадлежали к последователям той тайной секты, которая возникла из одной известной школы, чьи адепты рассеяны по всей Франции и Италии. По его наущению Мориц был задержан шевалье в его замке замке и подвергнут им, со своей стороны, такого же рода опутывающему влиянию. Я мог бы еще много рассказать о тех способах, с помощью которых граф, как это мне сообщила Маргарита, умел подчинять себе чужое нравственное существо, а равно и о той несколько известной мне науке, имени которой я не назову из боязни ошибиться; но увольте меня, прошу, от этого хоть на сегодня!

-- О, навсегда, -- с воодушевлением воскликнула полковница. -- Бога ради никогда более ни слова об этом темном царстве ужаса и зла! Вечно буду я благодарить милосердное небо, спасшее мое дорогое дитя и освободившее нас от этого страшного графа, чуть не внесшего ужас и горе в наш счастливый дом!

Тут же было решено возвратиться на другой день в город, и только полковник с Дагобером остались, чтобы распорядиться о похоронах графа.

...Давно была уже Анжелика счастливой женой Морица. Раз, в один ненастный ноябрьский вечер, вся семья вместе с Дагобером собралась снова у пылавшего камина, в том самом зале, где так внезапно явился граф С-и. Точно так же, как и тогда, в печных трубах свистели и завывали какие-то странные голоса, пробужденные порывистым, бурным ветром.

-- Помните? -- многозначительно спросила полковница.

-- Только ради Бога без историй о привидениях! -- воскликнул полковник, но Мориц и Анжелика не могли удержаться, чтобы не вспомнить всего, что перечувствовали они в тогдашний вечер и как уже тогда любили друг друга безгранично.

Малейшие события ясно рисовались перед их глазами, и во всех видели они одно подтверждение своей любви, даже в том невольном страхе, который тогда ощущали. И действительно, страх этот, вызванный призрачными голосами, был, по их мнению, вполне понятен, потому что предшествовал появлению графа, чуть не разбившего их счастья.

-- Не правда ли, Мориц, -- сказала в заключение Анжелика, -- что в сегодняшнем завывании ветра нет решительно ничего страшного? Он,

напротив, кажется, так дружески напевает о том, что мы любим друг друга!

-- Истинная правда, -- подхватил Дагобер. -- Даже свист и шипение чайника вовсе не кажутся сегодня так неприятны и мне, совсем наоборот, все чудится, что это добрые, домашние духи пытаются затащить сладкую колыбельную песенку!

Анжелика, покраснев, спрятала лицо на груди счастливого Морица, а тот, обвив ее руками, прошептал невольно:

-- О Боже! Неужели может быть на земле счастье выше этого?

* * *

-- Кажется, я замечаю, -- сказал Оттмар, закончив чтение и видя, что друзья сидели в довольно угрюмом молчании, -- кажется, я замечаю, что вы не особенно довольны моим рассказом. Потому я полагал бы лучше, не заводя более о нем речи, предать его прямо забвению.

-- Это будет самое лучшее, что мы можем сделать, -- сказал Лотар.

-- Но все-таки, -- возразил Киприан, -- я должен взять моего друга под свою защиту. Может быть, вы скажете, что я защищаю тут самого себя, так как некоторые приправы своего рассказа Оттмар получил от меня, да и вообще все блюдо можно считать состряпанным в моей кухне. Потому, может быть, вы не признаете меня судьей в этом деле, но, надеюсь, не захотите быть также теми критиками, которые бранят все огулом. Согласитесь, что некоторые страницы рассказа Оттмара следует признать серапионовскими, как, например, начало.

-- Это так, -- прервал своего друга Теодор. -- Описание общества, собравшегося за чайным столом, действительно, исполнено жизненной правды, как и некоторые из других эпизодов рассказа, но все-таки, строго говоря, пора бы перестать выводить в повестях такие призрачные личности, как заезжий граф. Право, в настоящее время за ними нельзя признать даже новизны или оригинальности. Граф этот очень похож на Альбана в повести "Магнетизер", которую вы знаете и в которой сюжет основан совершенно на той же мысли, как и в рассказе Оттмара. Потому я искренно попросил бы, как Оттмара, так и тебя, Киприан, не выбирать более для своих повестей подобных сюжетов. Оттмар, я знаю, может быть, это и исполнит, но ты, Киприан, -- едва ли, потому я полагаю, что тебе должны мы будем позволять возвращаться иногда к этому предмету, хотя под неперменным условием, чтобы он был обработан по-серапионовски, то есть возник действительно из глубины твоей собственной фантазии. Повесть "Магнетизер" очень похожа на рапсодическое произведение, а "Зловещий гость" рапсодичен уже совершенно.

-- Я должен вступиться за Оттмара и здесь, -- прервал Киприан. -- Знаете ли вы, что совсем недавно в этой самой местности случилось происшествие, очень похожее своим содержанием на "Зловещего гостя". В тихом, мирном семейном кружке, где также любили рассказывать повести о привидениях, внезапно явился незнакомец, показавшийся всем в высшей степени антипатичным, несмотря на то, что был, казалось, самым обыкновенным человеком во всех отношениях. Незнакомец этот не только смутил своим приходом удовольствие вечера, среди которого явился, но впоследствии разрушил даже покой и счастье всей семьи. Случай этот я рассказал Оттмару, причем описание внезапного появления незнакомца и того страха, который охватил, как предчувствие чего-то ужасного, всю семью, действовало на него так сильно, что из этого основного зерна выросла у него вся повесть.

-- А так как, -- перебил, смеясь, Оттмар, -- единичный эпизод или сцена далеко еще не целая повесть, которая, по моему мнению, должна всегда выйти из головы автора готовой, как Минерва, со всеми мельчайшими подробностями, то очень может быть, именно поэтому и целое вышло у меня не совсем удачно, несмотря на то, что отдельные черты выхвачены прямо из жизни и, вполне возможно, даже недурно обработаны с фантастической стороны.

-- Да, -- согласился Лотар, -- в этом ты прав! Единичный, хотя и поразительный эпизод никак нельзя назвать целой повестью, точно также, как счастливо придуманное драматическое положение далеко еще не театральная пьеса. Невольно вспоминаю я подлинное признание, как писал свои произведения один писатель, теперь уже умерший и при том такой ужасной смертью, что это должно бы обезоружить его врагов и покончить с воспоминаниями о его недостатках. Раз в обществе, где присутствовал и я, признавался он без утайки, что, встретив где-нибудь хорошее драматическое положение, он хватался за него как за основной мотив и затем лепил на него все, что приходило в голову! Это подлинные его слова! Признание это сразу объяснило мне всю суть и характер его произведений, особенно последних. В каждой из них непременно является хоть один очень хороший и подчас даже гениальный эпизод, кругом которого сгруппировано множество обыденнейших, искусственно сплетенных, как паутина, подробностей. И несмотря на это, привычная рука автора умела так ловко их сплести, что, не зная в чем дело, никогда нельзя было этого заметить.

-- Никогда? -- перебил Теодор. -- А я думаю, что каждый раз, когда автор, любитель подобных жалких, заурядных подробностей, пробовал переходить к чему-нибудь истинно поэтическому и высокому. Несчастнейший подобный пример представляет известная романтическая пьеса "Деодата" -- настоящий литературный подкидыш,

над текстом которого не стоило бы талантливому композитору тратить свои силы для сочинения музыки. Не может быть более наивного собственного сознания в недостатке внутренней поэзии и презрения к драматической правде, как это выражено в предисловии к "Деодате", где автор отрицает оперу на том основании, что, по его мнению, не натурально, если люди поют на сцене, и затем прибавляет, что старался введенному им в свое произведение пению, придать натуральный характер.

-- Оставим в покое мертвых! -- возразил Киприан.

-- Да, -- подтвердил Лотар, -- и тем более, что, как мне кажется, пробила полночь, час, которым покойник, пожалуй, вздумает воспользоваться, чтобы внезапно явиться здесь и всех нас поколотить, как это ему случалось делать при жизни со своими рецензентами.

Через несколько минут карета, которую Лотар нанял для больного Теодора, увезла всех четырех друзей.

Шестое отделение

Сильвестр, которого ничто в мире не могло заставить покинуть деревню летом, внезапно приехал в город, побуждаемый к тому neodолимым влечением. Дело в том, что в городском театре было объявлено первое представление небольшой пьесы его сочинения, а известно, что нет автора, который бы согласился пропустить такой случай, несмотря ни на страх, ни на неприятности, с которыми приходится при этом сталкиваться.

Винцент сделался также видимым, и таким образом Серапионов клуб восстановился, по крайней мере, временно в полном составе. Братья решили собираться в том же саду, где провели последний вечер.

Сильвестр стал решительно неузнаваем: он был весел, разговорчив намного более обыкновенного и вообще держал себя как человек, на которого внезапно свалилось небывалое счастье.

-- Не умно ли мы поступили, -- сказал Лотар, -- отложив свои собрания до того времени, пока наш дорогой друг дождался постановки своей пьесы? Собравшись раньше, мы бы только его расстроили, нашли подавленным заботами и безучастным ко всему. На наших вечерах возился бы он постоянно со своим произведением, как с обузой, тогда как теперь, когда куколка раскрылась и из нее выпорхнула прекрасная бабочка, не напрасно рассчитывавшая на общую благосклонность, наш друг стал весел и говорлив. Высказанное публикой к нему сочувствие заставило его гордо поднять голову, и мы не оскорбимся нимало, если он даже будет сегодня смотреть на нас немножко свысока, потому что вряд ли кто из нас сумеет, как он,

наэлектризовать сразу восемьсот человек зрителей. Но воздадим каждому свое! Пьеса его хороша бесспорно, но Сильвестр должен сознаться, что превосходное ее исполнение немало окрылило успех. Без сомнения, Сильвестр очень доволен игрою актеров.

-- Конечно! -- отвечал Сильвестр. -- Хотя и очень редко можно сказать, чтобы драматический писатель остался доволен исполнением собственного произведения. Не олицетворяет ли он в самом деле каждое, созданное и взлелеянное им лицо со всеми особенностями его характера? А потому, можно ли допустить, чтобы кто-нибудь другой проникся до такой степени чужими мыслями, чтобы олицетворить их в полной жизненной правде? А между тем упрямый автор требует этого непременно, и чем живее представляется ему самому созданная им личность, тем недовольнее будет он малейшими отклонениями, какие допустит в изображении ее актер в сравнении с мыслью автора. Потому совершенно понятным становится небеспристрастие автора, часто портящее ему наслаждение от собственного произведения, возможное только в том случае, если он сумеет совершенно отрешиться от созданных им образов и взглянуть на них с чисто объективной точки зрения.

-- Но, однако, -- прервал Оттмар, -- я думаю, что каково бы ни было неудовольствие автора при виде, как актеры искажают его произведение, изображая иногда совершенно не похожие на выведенные им лица, все-таки он достаточно вознагражден одобрением публики, к которому не может остаться равнодушным ни один художник.

-- О, без сомнения! -- отвечал Сильвестр. -- И так как одобрение это прежде всего относится к актеру, то и автор, сидя где-нибудь со страхом и трепетом в темном уголке зала, может утешиться мыслью, что исполнение его произведения лицом, стоящим на подмостках, должно быть не так дурно, как показалось ему. Бывают и такие случаи, которые не станет отрицать ни один искренний поэт, что порой гениальный актер, проникнувшись мыслью автора, присоздает к выведенным им чертам новые, не пришедшие до того в голову самому автору, верность которых, однако, он должен признать сам. Поэт, смотря в этом случае на игру актера, видит собственные черты и мысли, облеченные во внешние, хотя и новые, но все-таки соответствующие основной его идее формы и, присматриваясь к ним ближе, сознает, что иначе они и не могли быть и выражены. Радостное чувство, ощущаемое при этом автором, похоже на то, как если бы кто-нибудь нашел в своей собственной комнате сокровище, о существовании которого прежде и не подозревал.

-- В этих словах, -- перебил его Оттмар, -- узнаю я нашего дорогого, честного Сильвестра, совершенно чуждого того мелочного самолюбия, которое нередко душит многие истинные таланты. Я слышал раз сам,

как один драматический писатель уверял, что нет актера, который мог бы усвоить настолько дух и характер его произведений, чтобы изобразить их совершенно верно на сцене. Какая разница с нашим великим Шиллером! Вот кто искренно ощущал ту радость, о которой говорил Сильвестр, когда присутствуя при первом представлении своего "Валленштейна", уверял, что в первый раз видит сам своего героя вполне живым, облеченным плотью и кровью! Надо, впрочем, прибавить, что Валленштейна играл тогда незабвенный Флекк.

-- Я сам держусь того же мнения, -- прервал Лотар, -- и приведенный Оттмаром пример лучшее тому доказательство, что никогда истинный поэт с верным взглядом на искусство, дошедший до сознания мирового его значения, не унижится до суетного самообожания, сотворив себе кумира из своего собственного "я". Замечательные таланты часто принимаются современниками за гениев, но время лучше всего уничтожает подобные заблуждения, оставляя нетронутым гения в полном блеске его красоты и повергая в забвение талант. Но, возвращаясь к Сильвестру и его пьесе, должен я вам высказать мое мнение, что, признаюсь, никак не понимаю, каким образом можно вообще дойти до героической решимости выставить на всеобщее обозрение на театральных подмостках произведение своей фантазии, зачатое и созданное в счастливейшие минуты вдохновения!

Друзья невольно рассмеялись, думая, что Лотар, по обыкновению, хочет пооригинальничать своим мнением.

Лотар, заметив это, продолжал:

-- Неужели вы в самом деле считаете меня человеком, который хочет во что бы то ни стало думать иначе, чем другие? Впрочем, если так, то и пусть будет так! Я, во всяком случае, повторяю, что если писатель с душой и сердцем, как, например, наш Сильвестр, решается отдать свое произведение на сцену, то мне кажется, что он поступает подобно человеку, решившемуся прыгнуть с третьего этажа в надежде, что вдруг да не ушибется. Мнение это я вам докажу. Во-первых, с вашего позволения признаюсь вам, что когда я уверял, будто не видел пьесы Сильвестра, а судил о ней по одним слухам, то я солгал умышленно. Напротив, я сидел в театре, в скромном, темном уголке, волнуясь и страшась не меньше, чем сам автор пьесы, а может быть даже и больше, потому что, признаюсь вам откровенно, вряд ли сам Сильвестр мог быть в более напряженном состоянии и чувствовать страх и трепет так, как чувствовал за него их я. Каждое слово, каждое движение актеров, казавшееся мне неправильным, захватывало мне дух, и невольно мучила меня мысль, неужели может это понравиться? Неужели это может подействовать на сердце зрителя? И не автор ли останется виноватым в их глазах?

-- Ну, ты уже немного преувеличиваешь, -- возразил Сильвестр. -- Начало представления, скажу откровенно, разочаровало и меня, но

заметив потом, что публике начала интересоваться и что дело пошло на лад, впечатление это уступило, напротив, место очень приятному чувству, в котором, не хочу скрывать, авторское наслаждение собственным созданием играло не последнюю роль.

-- Ах вы, театральные писаки! -- воскликнул Винцент. -- Самолюбивее вас нет народа на свете! Для вас одобрение толпы слаще меда, и вы любите выпить его, облизываясь, по капельке. Но я поддерживаю мнение, что все ваши страхи и терзания не более как простое самолюбие, а погоня за одобрением публики -- игорная ставка, за которой стоит ваше собственное "я". Одобрение -- ваш выигрыш, а неуспех -- гибель, притом не просто один молчаливый неуспех, но еще более тот неуспех, который дорастает до размеров открытого и громкого выражения, переходящего в насмешку, что, с французской точки зрения, составляет величайший и окончательный приговор, какому может только подвергнуться автор. Французы -- как всем известно -- готовы лучше прослыть мошенниками, чем быть осмеянными. Но, впрочем, надо действительно согласиться, что осмеянное произведение следует считать убитым навсегда. Даже если произойдет такой случай, что оно обратит на себя внимание публики впоследствии, то все-таки этот успех будет более чем сомнительным. И многие авторы, испытавшие это, ударялись потом в сочинение таких произведений, которые хоть и были скомпонованы на манер сценических, но, по клятвенным заверениям их авторов, отнюдь не назначались ими для сцены.

-- Я, -- сказал Теодор, -- совершенно согласен с Лотаром и Винцентом, что большую смелость выказывает драматический писатель, а еще более композитор, отдавая свое произведение на сцену. Этим вверяет он свое сокровище непостоянству волн и ветров. Вспомните, от каких иногда ничтожных случайностей зависит успех или неуспех произведения! Как иногда прекрасно задуманный и рассчитанный эффект пропадает по неловкости певца или даже простого музыканта! Как часто...

-- Слушайте! Слушайте! -- закричал Винцент. -- Вы видите, что я употребляю выражение благородных лордов в парламенте, когда какой-нибудь из них начинает нести вздор. Итак, Теодор никак не может забыть представления своей оперы, бывшее года два тому назад. После дюжины неудачных репетиций, из которых даже на последней капельмейстер не только не твердо знал партитуру, но даже не усвоил себе порядочно характера всего произведения, он перестал беспокоиться, по его словам, о судьбе своей оперы, висевшей над ним, словно мрачная туча, окончательно. "Ну неуспех, так неуспех! -- повторял он беспрерывно. -- Я не отвечаю ни за что и отлагаю все авторские страхи в сторону!" Много еще говорил он все в том же роде. Однако в день представления заметил я, что почтенный друг мой

собирался в театр бледный как смерть, причем все как-то судорожно смеялся Бог знает о чем и, однако, решился утверждать, будто он даже и забыл, что сегодня давалось его произведение. Надевая сюртук, продел он правую руку в левый рукав, так что я вынужден был ему помочь; затем побежал по улице в театр точно угорелый и, услышав, подходя к дверям ложи, первый аккорд увертюры, чуть не упал без чувств на руки испуганному капельдинеру!

-- Довольно! Довольно! -- поспешил остановить его Теодор. -- Что касается моей оперы и ее исполнения, то мне будет много что вам порассказать, если вы когда-нибудь захотите опять поговорить о музыке, но сегодня прошу об этом больше ни слова.

-- Мы, правда, слишком много болтали о подобных вещах, -- сказал Лотар, -- но в заключение я все-таки припомню анекдот о Вольтере, случившийся во время первого представления одной из его трагедий, если не ошибаюсь, "Заир". Он до того страшился за успех своей пьесы, что не решился даже явиться в театр. По всей дороге от его дома до театра были расставлены вестовые, передававшие ему, как по телеграфу, известия о ходе пьесы, так что он, сидя в халате в своей комнате, мог переносить все мучения и восторги автора.

-- Какой прекрасный сюжет для сцены! -- сказал Сильвестр. -- И какая трудная была бы задача актеру, играющему характерные роли, представить подобное положение. Воображаю Вольтера на кресле! Является вестник: "Публика недовольна!" -- "О! -- восклицает Вольтер. -- Кто в состоянии угодить тебе, легкомысленный народ!" -- "Публика аплодирует в полном восторге!" -- "Так, так! Умные французы! Вы умеете ценить вашего Вольтера! Вы его..." -- "Публика свистит и шикает!" -- "Злодеи! Изменники! И это мне! Мне!"...

-- Ну хватит, довольно! -- воскликнул Оттмар. -- Сильвестр, в восторге от успеха своей пьесы, вздумал разыграть перед нами целое представление в лицах вместо того, чтобы, как достойный Серапионов брат, прочесть написанный им и принесенный сегодня с собой рассказ с очень интересным сюжетом, о котором он сообщил мне недавно.

-- Мы только что говорили о Вольтере, -- сказал Сильвестр, -- прошу вас теперь вспомнить его эпоху, время Людовика XIV, откуда заимствовал я содержание рассказа, представляемого теперь вашему благосклонному вниманию.

Сильвестр прочел:

ДЕВИЦА СКЮДЕРИ

Рассказ из времен Людовика XIV

На улице Сент-Оноре стоял небольшой домик, подаренный благосклонностью Людовика XIV и госпожи де Ментенон известной писательнице Мадлен де Скюдери.

Однажды поздней ночью, осенью 1680 года, послышался внезапно сильный стук в дверь упомянутого домика, громко отозвавшийся по всему помещению. Батист, исполнявший в скромном хозяйстве Скюдери должность повара, лакея и привратника, отлучился в этот день, с позволения своей госпожи, в деревню, на свадьбу сестры, так что из всей домашней прислуги в доме оставалась только горничная хозяйки Мартиньер. Услыхав этот необычный стук и вспомнив, что Батиста не было дома, а значит, что они с госпожой в доме одни, без всякой защиты, Мартиньер сильно испугалась; ей пришли на ум все случаи грабежей и убийств, беспрестанно происходивших в то время в Париже. Мысль, что там, внизу, была толпа убийц, привлеченных уединенным положением дома и решившихся во что бы то ни стало ограбить его обитателей, овладела ею до того, что она, не смея пошевелиться, сидела дрожа в своей комнате, внутренне проклиная Батиста вместе со свадьбой его сестры. Между тем удары становились все сильнее и сильнее, и вскоре к ним присоединился громкий, умоляющий голос: "Отворите! Отворите ради Бога!" Мартиньер, как ни была испугана, зажгла, однако, свечу и решила выйти в сени. Там поразивший ее голос уже совершенно ясно говорил: "Отворите ради Христа, отворите!" -- "Неужели так говорят разбойники? -- невольно мелькнуло в голове Мартиньер. -- Уж не просит ли, наоборот, кто-нибудь защиты от них, наслушавшись о добром сердце моей госпожи? Но только надо быть осторожными!" Говоря так, отворила она окошко и громко спросила, нарочно стараясь говорить низким голосом, чтобы придать ему сходства с мужским, кто это стучит там так, что перебудил весь дом? При слабом мерцании лунного света, прорвавшего как раз в эту минуту облака, увидела она высокую, закутанную в светло-серый плащ фигуру, с широкой, надвинутой на глаза шляпой и, испугавшись вдвойне при этом виде, закричала еще громче, призывая несуществующую прислугу:

-- Клод! Пьер! Батист! Ступайте вниз и посмотрите, что за мошенник ломится к нам в дом!

Но незнакомец, услышав это, поднял голову и сказал самым ласковым, умоляющим тоном:

-- Ах! Милая госпожа Мартиньер, как ни стараетесь вы говорить чужим голосом, но я узнал вас тотчас, и я также знаю, что Батист уехал в деревню и что кроме вас и вашей госпожи в доме никого нет. Отворите, прошу, мне без всякого страха дверь. Мне надо, во что бы то ни стало, сию же минуту поговорить с вашей хозяйкой.

-- Да вы, кажется, сошли с ума, -- ответила Мартиньер, -- вообразив, что госпожа моя станет говорить с вами среди ночи. Она давно спит, и я ни за что на свете не пойду тревожить ее первый, сладкий сон, который так необходим в ее годы для подкрепления сил.

-- Полноте, -- перебил незнакомец, -- я знаю хорошо, что госпожа ваша только что отложила в сторону свой роман "Клелия", над которым работает так усердно, и теперь сочиняет стихи для прочтения их завтра у маркизы де Ментенон. Умоляю вас, будьте милосердны, отворите мне дверь! Знайте, что дело идет о спасении от гибели несчастного, чья жизнь, честь и свобода зависят от одной минуты разговора с вашей госпожой! Подумайте, как рассердится на вас она сама, узнав, что вы, жестокосердно меня прогнав, тем самым погубили горемыку, пришедшего умолять ее о помощи!

-- Ну что за просьбы в такой поздний час! -- возразила, все более и более теряясь от изумления, Мартиньер. -- Приходите завтра утром.

-- Разве судьба останавливает свои быстрые как молния удары? -- перебил ее незнакомец. -- Разве она подсчитывает часы и минуты? Пропустить минуту -- значит сделать спасение невозможным. Отворите же мне дверь! Не бойтесь бедняка, покинутого всем светом, преследуемого немилосердной судьбой и пришедшего умолять вашу госпожу о спасении его от надвигающейся гибели!

Мартиньер расслышала, что незнакомец, произнеся эти слова, горько зарыдал, и при этом голос его показался ей кротким и тихим, как голос ребенка. Она почувствовала жалость и, не думая больше, быстро повернула ключ в замке.

Едва дверь отворилась, незнакомец в плаще, ворвавшись в комнату, закричал диким голосом невольно отшатнувшейся Мартиньер:

-- Веди меня к своей госпоже!

Мартиньер в испуге, осветив его поднятой вверх свечой, увидела бледное, искаженное лицо еще совершенно молодого человека. Но каков же был ее ужас, когда из-под распахнувшегося плаща незнакомца вдруг увидела она блестящий стилет, за рукоятку которого схватился он, угрожающе сверкнув глазами. Бедная женщина чуть не лишилась чувств от страха, а молодой человек крикнул ей еще пронзительнее:

-- Говорю тебе, веди меня к твоей госпоже!

Мысль об опасности, угрожавшей ее любимой госпоже, которую давно привыкла она почитать за добрую, нежную мать, мелькнула в душе верной горничной и воспламенила в ней храбрость, на какую она в другой раз сама бы не сочла себя способной. Быстрым движением захлопнула она отворенную дверь во внутренние комнаты и, встав перед ней, отвечала решительно:

-- Не очень-то вяжется твое теперешнее поведение с жалобным видом, которым ты-таки сумел меня смягчить, стоя на улице. Но, во

всяком случае, госпожи моей ты не увидишь. Если у тебя точно нет ничего дурного на уме и если ты не боишься дневного света, то приходи завтра поутру и объясни, что тебе нужно, а теперь изволь убираться вон!

Незнакомец, выслушав это, тяжело вздохнул и, сверкнув своим страшным взглядом на Мартиньер, снова схватился за стилет. Она же, безмолвно поручив свою душу Богу, смело смотрела ему в глаза, загородив собою дверь, через которую должен был пройти этот человек, чтобы попасть к ее госпоже!

-- Еще раз повторяю тебе: веди меня! -- крикнул он.

-- Можешь делать что тебе угодно, -- отвечала Мартиньер, -- я не тронусь с места! Убей меня, если хочешь, но тогда не избежать тебе самому смерти на Гревской площади, вместе с подобными тебе злодеями!

-- О-о! Ты в самом деле права! -- перебил незнакомец. -- Вооруженный таким образом, я действительно похож на разбойника, но только товарищи мои еще не осуждены! Нет, нет... не осуждены!

И с этими словами выхватил он стилет из ножен, бросая яростные взгляды на смертельно испуганную женщину.

-- Милосердный Боже! -- прошептала она, готовясь к смерти, но тут вдруг стук копыт и звон оружия послышались за окном.

-- Стража! Это стража! -- воскликнула Мартиньер. -- Помогите! Помогите!

-- Ты хочешь меня погубить, злая женщина! -- прошептал незнакомец. -- Так будь же что будет!.. На!.. Возьми! Отдай это твоей госпоже сегодня же или, если хочешь, завтра! -- и с этими словами он, вырвав из рук Мартиньер свечу и быстро ее задув, сунул ей в руки маленький ящичек.

-- Отдай это своей госпоже, если только тебе дорого спасение твоей души! -- крикнул он еще раз и затем быстро выбежал на улицу.

Мартиньер, упавшая от страха на пол, с трудом поднялась и, ощупью добравшись в темноте до своей комнаты, в бессилии опустилась в кресло. Звук поворачиваемого ключа, который она оставила во входной двери, долетел до ее слуха. Затем дверь заперли, и вслед затем тихие шаги раздались у дверей ее комнаты. Лишившись последних сил, сидела она неподвижно и приготовилась ко всему, но, к счастью, новый посетитель, вошедший с ночником в дверь, был не кто иной, как честный, преданный Батист. Он был бледный как смерть и в страшном смятении.

-- Ради всех святых, -- заговорил он прерывающимся голосом, -- скажите, что у вас случилось? Не знаю почему, но какой-то страх не отпускал меня на свадьбе весь вечер. Я ушел раньше и поспешил домой, думая, что Мартиньер спит чутко и уж, наверно, впустит меня, услышав, что я тихо стучу в дверь. Вдруг навстречу мне попадается

дозор, пеший и конный, вооруженный с ног до головы, и окружает меня со всех сторон. К счастью, дозором командовал мой знакомый лейтенант Дегре. Сунув мне под нос фонарь, он меня тотчас узнал и крикнул: "Да это Батист! Что ты шатаешься по ночам вместо того, чтобы стеречь дом? Здесь неспокойно, и мы надеемся сегодня на славную добычу". Можете себе представить, до чего испугали меня эти слова! Без памяти вбежал я по лестнице, как вдруг навстречу мне вырвался из дверей какой-то человек со сверкающим стилетом в руке и со всех ног пустился бежать по улице. Смотрю -- дом открыт! Ключ торчит в замке! Скажите, ради Бога, что все это значит?

Мартиньер, оправясь немного от испуга, рассказала ему обо всем случившемся. Затем они прошли в сени и нашли там потушенную, брошенную незнакомцем свечу.

-- Нет никакого сомнения, -- заговорил Батист, -- что госпожу нашу хотели ограбить, а то и убить. Негодяй этот знал, что вы в доме одни и что госпожа наша сидит еще за работой. Это, наверняка, один из тех мошенников, которые умеют проникнуть в любой дом и хитро выведывают все, что нужно для их дьявольских дел. А маленький ящичек, я полагаю, следует нам, не отворяя, бросить в Сену, где поглубже. Кто знает, не скрыто ли там что-нибудь, что может злодейски отправить на тот свет нашу добрую госпожу. Очень может быть, что, открыв ящичек, она упадет замертво, как старый маркиз де Турне. Вы же знаете, что с ним случилось, когда он открыл поданное ему каким-то неизвестным письмо?

Посоветовавшись, верные слуги решили, однако, все рассказать на следующее же утро своей госпоже, причем вручить ей и таинственный ящичек с тем, чтобы открыть его с величайшими предосторожностями. Оба, припоминая все подробности появления подозрительного незнакомца, пришли к убеждению, что тут кроется какая-то тайна, о которой они не вправе были умолчать и разгадку которой должны были предоставить своей госпоже.

Опасения Батиста имели серьезные основания. Как раз в это время Париж стал местом совершения гнусных преступлений благодаря недавно открытому адскому способу, с помощью которого их можно было осуществлять.

Некто Глазер, немец-аптекарь и вместе с тем лучший из современных химиков, занимался, как все люди его ремесла, алхимическими опытами, стараясь отыскать философский камень. В опытах ему помогал один итальянец, по имени Экзили, которому, впрочем, старания добиться возможности делать золото служили только предлогом для совершенно иных целей. Он изучал лишь способы варить, смешивать, перегонять ядовитые вещества, с помощью которых надеялся достичь благосостояния; наконец ему удалось приготовить яд, что не имеет ни запаха, ни вкуса, убивает сразу или постепенно и не

оставляет никаких следов в человеческом организме, вводя в заблуждение самых искусных ученых, врачей, которые, не подозревая об отраве, приписывают смерть какой-нибудь естественной причине. Но как ни осторожен был Экзили в этом деле, все-таки навлек он на себя подозрение в торговле ядовитыми веществами, за что и был заключен в Бастилию. Скоро затем в тот же каземат был посажен капитан Годен де Сент-Круа, находившийся долгое время в любовной связи с маркизой де Бренвиллье. Муж маркизы не особенно сокрушался о позоре, нанесенном женой его имени, но зато отец ее, кавалер Дре д'Обре, был так возмущен ее поведением, что добился приказа об аресте капитана, и тем самым разлучил преступную пару. К несчастью, поступок этот принес еще более горькие плоды. Сам Экзили не мог бы выбрать себе лучшего сообщника, чем этот малодушный, бесхарактерный, не имеющий никаких убеждений и привыкший с детства к всевозможным порокам человек -- капитан Годен де Сент-Круа, горевший, сверх того, жадной мести и желанием истребить всех своих врагов, на что адское изобретение Экзили годилось ему как самое надежное средство. Сделавшись ревностным его учеником, Сент-Круа скоро превзошел своего учителя и, выпущенный наконец из Бастилии, вышел оттуда готовый действовать и без всякой на то посторонней помощи.

Бренвиллье была всегда решительной женщиной, но влияние Сент-Круа сделало ее совершенным чудовищем. По его наущению отравила она сначала своего родного отца, к которому нарочно переселилась, лицемерно уверив его, что хочет заботиться о его старости, потом своих двух братьев и, наконец, сестру. Отца отравила она из мести, а остальных -- из-за богатого наследства.

Судьба многих отравителей дает страшный пример того, как совершенные им преступления превращаются в непреодолимую страсть. Без всякой цели, ради одного удовольствия, подобно химикам, производящим свои опыты, отравители часто убивали людей, чья смерть не могла принести им ровно никакой пользы. Внезапная смерть нескольких бедняков в богадельне возбудила впоследствии подозрение, что хлеб, посылавшийся туда еженедельно Бренвиллье в качестве благочестивой благотворительности, был отравлен. По крайней мере, доказано вполне, что она однажды отравила за завтраком нескольких из своих гостей паштетом. Кавалер дю Ге и многие другие пали жертвами этого адского угощения. Долго скрывали Сент-Круа, его сообщник Лашоссе и Бренвиллье свои преступления в величайшей тайне, но то, что могла скрывать коварная людская хитрость, было наконец обнаружено праведным небом, решившим еще на земле воздать должное злодеям за их преступления. Яд, приготовляемый Сент-Круа, был до того страшен, что если его порошок (который отравители называли "poudre de succession"*) лежал открытым во

время приготовления, то было достаточно вдохнуть малейшую его частицу, чтобы мгновенно отравиться самому. Поэтому Сент-Круа всегда надевал во время своих манипуляций стеклянную маску. Однажды, когда он только что собирался всыпать в склянку приготовленный ядовитый порошок, маска сползла, и он, вдохнув тонкую ядовитую пыль, в то же мгновение упал замертво. Так как он умер без наследников, то судебная власть явилась немедленно для опечатывания его имущества. При описи нашли не только ящик с целым арсеналом смертоносных ядов, употреблявшихся Сент-Круа, но и письма к нему Бренвилье, не оставлявших никакого сомнения в ее злодеяниях. Бренвилье бежала в Льеж и скрылась в одном из монастырей. Дегре, офицер полиции, был послан с приказанием арестовать ее во что бы то ни стало. Переодевшись монахом, Дегре явился в монастырь и после долгих стараний успел склонить ужасную женщину на любовную с ним связь, назначив местом свиданий уединенный сад, расположенный за городом. Придя туда, Бренвилье была немедленно окружена сыщиками Дегре, сам же предполагаемый любовник, сбросив монашеское платье, внезапно превратился в офицера полиции и заставил ее сесть в карету, стоявшую наготове у садовых ворот; Бренвилье была немедленно доставлена, окруженная стражей, в Париж. Лапоссе был обезглавлен еще раньше, и вслед за ним та же участь постигла и Бренвилье. Тело ее после казни было сожжено, и прах его развеян по ветру.

** Порошок для наследников (франц.).*

Парижане вздохнули свободнее при известии, что чудовище, готовое всегда отравить и друга и врага, получило возмездие за свои преступления. Но вскоре оказалось, что страшное искусство Сент-Круа оставило после себя наследников. Подобно невидимому коварному призраку, смерть прокрадывалась даже в самый тесный круг, основанный на родстве, любви, дружбе, и быстро и уверенно хватала несчастную жертву. Тот, кто был еще вчера цветущим и здоровым, завтра внезапно заболел и умирал в муках, и все искусство врачей не могло спасти его от смерти.

Богатство, видная должность, красивая или слишком молодая жена -- были достаточными причинами, чтобы навлечь на себя преследования и пасть их жертвой. Самое страшное недоверие разрушало священнейшие узы. Муж боялся жены, отец -- сына, сестра -- брата. Боялись есть за обедом, пить за дружеской беседой, и там, где прежде царили веселье и шутка, люди испуганно искали взглядом скрытого под личиной убийцу. Можно было видеть, как отцы семейств в отдаленных улицах закупают припасы и сами в какой-нибудь грязной харчевне готовят себе пищу, боясь адского предательства в

собственном доме. И несмотря на это, часто оставалась напрасной самая предусмотрительная предосторожность.

Наконец, король, видя необходимость положить предел злодействам, все более распространявшимся, учредил специальный суд с исключительной целью преследовать и наказывать такого рода преступления. Это была известная, так называемая *chambre ardente**, заседавшая недалеко от Бастилии и имевшая своим президентом Ла-Рени. Долго оставались тщетными все усилия Ла-Рени что-либо открыть, несмотря на всю энергию, с какой принялся он за дело. Хитрому Дегре было поручено докопаться до самого источника злодеяний.

** Буквально "пылающая (или огненная) комната" -- название, вызванное тем, что заседания суда происходили в помещении, обтянутом черной материей и освещаемой только факелами.*

В это время в предместье Сен-Жермен жила одна старая женщина по имени Ла-Буазен, занимавшаяся гаданием и заклинанием духов и умевшая при помощи своих двух подручных Лесажа и Ле-Вигуре повергать в страх и изумление даже людей, которых нельзя было назвать слабыми и легковверными. Но деятельность ее не ограничивалась этим. Ученица Экзили и Сент-Круа, умела она готовить не хуже их тот страшный, не отставлявший следов яд, с помощью которого помогла она уже многим преступным сыновьям ускорить получение богатого наследства, а некоторым женам обвенчаться с более молодыми мужьями. Дегре успел проникнуть в ее тайну. Она призналась во всем, и была, по приговору *chambre ardente*, сожжена живой на Гревской площади. У нее нашли список все тех лиц, кто прибегал к ее помощи, и, таким образом, вскоре не только потянулись длинной вереницей, одна за другой казни, но тяжелое подозрение пало даже на лиц высокопоставленных. Так, подозревали, что кардинал Бонзи с помощью Ла-Буазен отравил в короткое время всех тех, кому он, как архиепископ Нарбоннский, должен был выплачивать пенсион. В сообщничестве с той же ужасной женщиной были обвинены герцогиня Бульонская и графиня Суассон и только на том основании, что имена их найдены были в этом списке, и, наконец, не был пощажен даже Франсуа Анри де Монморанси, Будебель, герцог Люксембургский, пэр и маршал королевства, также обвиненный страшной *chambre ardente*. Он сам явился по требованию суда в Бастилию, где ненависть и злоба Лувуа и Ла-Рени заключила его в темницу, длиной в шесть футов. Месяцы прошли, прежде чем невиновность герцога стала ясна, причем оказалось, что упавшее на него подозрение было основано только на том, что он поручил Лесажу составить свой гороскоп.

Излишнее, слепое рвение привело президента Ла-Рени к мерам насильственным и жестоким. Суд, под его председательством, превратился в настоящую инквизицию, для которой малейшего подозрения было достаточно, чтобы бросить подозреваемого в ужасную тюрьму, и нередко один только счастливый случай спасал невинно осужденных от позорной казни. Ла-Рени был сверх того страшно некрасив собой, груб в обращении, так что скоро заслужил ненависть даже того самого общества, для защиты которого был призван. Герцогиня Бульонская, допрашиваемая им, на вопрос, видела ли она черта, ответила: "Я вижу его сейчас перед собой".

Между тем как на Гревской площади лилась кровь виновных и подозреваемых, а случаи смерти от тайной отравы стали все реже и реже, объявилась напасть иного рода, вызвавшая новое замешательство. В Париже составила какая-то шайка грабителей, поставивших себе задачу овладеть всеми украшениями из драгоценных камней, какие только были в столице. Богатые уборы, едва купленные, исчезали непостижимым образом, с какими бы предосторожностями их не хранили. Но еще хуже было то, что всякий, решившийся выходить ночью, имея при себе бриллианты, бывал непременно ограблен, а иногда и убит -- все равно, на открытой улице или в узких переходах домов. Оставшиеся в живых рассказывали, что все обыкновенно начиналось внезапным, как молния, ударом кулака в голову, после чего владелец драгоценностей падал без чувств и, очнувшись, находил себя ограбленным и лежавшим совершенно в другом месте. У убитых (а их находили по несколько человек каждое утро) была одинаковая смертельная рана -- удар кинжалом прямо в сердце, удар, по мнению врачей, столь быстрый и верный, что раненый должен был упасть, даже не вскрикнув. Известно, что при великолепном дворе Людовика XIV не было ни одного придворного, которому не случилось, завязав тайную любовную связь, красться в поздний час к возлюбленной, а порою же нести ей и богатый подарок. В этих случаях разбойники, казалось, были в союзе с нечистой силой, открывавшей им всегда, где и как можно было поживиться. Часто несчастный владелец бриллиантов был умерщвляем не только перед самым домом, где думал найти наслаждение и счастье, но иногда даже на пороге комнаты своей возлюбленной, с ужасом находившей окровавленный труп.

Тщетно приказывал министр полиции Аржансон брать под стражу всех и каждого из черни, кто возбуждал хоть малейшее подозрение. Напрасно свирепствовал Ла-Рени, думая пыткой вырвать признание у обвиняемых. Усиленные дозоры разъезжали по всему городу и все-таки не могли ничего обнаружить. Только те, кто выходил вооруженным с головы до ног, а, кроме того, приказывал нести перед собой факел, успевал иногда уберечься от злодеев, но и тут случалось,

что внезапно брошенный из-за угла камень оглушал сначала лакея, несшего свет, а затем убивали и грабили самого господина.

Замечательно было и то, что при строжайших обысках, сделанных во всех местах, где только могли бы продаваться драгоценности, оказалось, что ни одна из украденных вещей не была предлагаема к продаже, так что даже и в этом случае не было возможности за что-либо ухватиться для дальнейшего расследования. Дегре был в настоящем бешенстве при мысли, что даже его прославленное искусство не могло ничего поделать. Кварталы города, в которых производил он свои поиски, делались на это время спокойны, но в то же время в остальных, где прежде не случалось ничего, новые убийства следовали одно за другим. Дегре придумал хитрость одеть и загримировать несколько сыщиков совершенно подобно себе. Походка, фигура, манеры, лицо были скопированы ими до того верно, что даже сами полицейские агенты иногда ошибались, принимая за Дегре этих подставных лиц. Между тем сам он, отваживаясь на все и подвергая опасности собственную жизнь, бродил по самым темным закоулкам, следя как тень то за тем, то за другим из своих же сыщиков, раздав им предварительно бриллиантовые уборы. Но ни одно из таких выставленных для приманки лиц ни разу не подверглось нападению, так что, по всему было видно, злодеи нашли средство провести и про эту хитрость. Дегре был в совершенном отчаянии.

Однажды утром Дегре явился к президенту Ла-Рени, бледный, расстроенный, вне себя от бешенства.

-- Что с вами? Какие новости? -- воскликнул тот. -- Или вы напали на какие-нибудь следы?

-- Ха! -- ответил Дегре, чуть не скрежеща зубами от ярости. -- Вчера ночью, недалеко от Лувра, маркиз де Ла-Фар подвергся нападению на моих глазах!

-- Возможно ли! -- воскликнул Ла-Рени с радостью. -- Значит убийцы в наших руках?

-- Постойте и выслушайте дальше, -- продолжал, горько усмехнувшись, Дегре, -- я стоял около Лувра, раздумывая о нашем деле, и внутренне проклинал негодяев, умевших надуть до сих пор даже меня! Вдруг увидел я человеческую фигуру, тихо и осторожно прокрадывавшуюся мимо и, по всему было видно, меня не замечавшую. При свете луны я тотчас узнал маркиза де Ла-Фар, тем более, что знал хорошо, зачем он тут был и к кому пробирался. Но едва успел он сделать десять или двенадцать шагов, как вдруг словно из земли вырос один из этих негодяев, кинулся на маркиза, как тигр, и в один миг свалил его на землю. В восторге от мысли, что убийца наконец попадет в мои руки, я выскочил с громким криком из своей засады и бросился на элодея, но тут словно бес попутал меня зацепиться за мой плащ, и я во весь рост растянулся на земле. А между

тем негодяй, вижу я, бросился бежать, словно у него выросли крылья. Я живо поднимаюсь с земли и со всех ног пускаюсь за ним в погоню; по дороге кричу, трублю в свой рожок; свистки полицейских отвечают мне издали, весь квартал приходит в движение, топот лошадей, стук оружия раздаются отовсюду. "Сюда! Сюда! Дегре! Дегре!" -- кричу я на всю улицу, и все бегу, и все вижу, при лунном свете, моего разбойника перед собой шагах в двадцати; вижу, как он, думая меня обмануть, нарочно кидается из стороны в сторону. Так добежали мы до улицы Никез, где, показалось мне, силы начали ему изменять; я удваиваю свои; каких-нибудь пятнадцать шагов оставались между нами...

-- И затем вы его схватили! передали страже! -- воскликнул с радостным лицом Ла-Рени, схватив Дегре за руку, точно тот сам был убийцей.

-- Пятнадцать шагов оставалось между нами, -- унылым голосом продолжал Дегре, тяжело вздохнув, -- как вдруг, кинувшись в сторону, злодей исчез сквозь стену!

-- Исчез сквозь стену? Вы бредите? -- воскликнул Ла-Рени, невольно подавшись назад и всплеснув руками.

-- Можете говорить, если вам угодно, что брежу, -- продолжал Дегре, в отчаянии схватившись за голову как человек, которого проследуют нелегкие мысли, -- называйте меня, пожалуй, духовидцем, но тем не менее дело было так, как я вам рассказал. Ошеломленный виденным, остановился я перед стеной, туда же подошла и толпа моих сыщиков, а с ними и маркиз де Ла-Фар, который с обнаженной шпагой прибежал, задыхаясь, к тому же месту. Мы зажгли факелы, перещупали всю стену сверху до низу! Ни малейшего следа двери, окна или какого-либо отверстия не оказалось. Это была толстая каменная стена, отделявшая двор дома, в котором живут люди, против которых невозможно возбудить никакого подозрения. Сегодня утром я провел еще более точное расследование и тоже не нашел ничего! Право, я сам начинаю думать, что во всей этой истории нас водит за нос сам дьявол!

История Дегре скоро стала известна во всем Париже. Везде только и речи было, что о колдовстве, о связи с дьяволом Вуазен, Ле-Вигуре, известного священника Лесажа, а так как человеческая натура очень склонна подозревать в загадочных вопросах вмешательство потусторонней силы, то скоро почти все твердо уверовали в то, что Дегре высказал только в минуту недовольства и озлобления, а именно - что сам дьявол защищает и скрывает злодеев, продавших ему за то свои души. Можно себе представить, с какими украшениями и прибавлениями передавался молвой рассказ о приключении с Дегре! На всех углах продавался листок с картинкой, изображавшей, как страшная фигура дьявола исчезла сквозь землю перед испуганным до смерти Дегре. Словом, дело дошло до того, что не только народ, но

даже сами полицейские сыщики были так напуганы, что едва смели показываться по ночам на отдаленных улицах, и то еще не иначе как оглядываясь, дрожа и обвешав себя предварительно всевозможными, окропленными святой водой амулетами. Аржансон, видя, что даже усилия *chambre ardente* не могли ничего сделать, решил просить короля учредить другое, облеченное еще более широкими полномочиями судилище, которое преследовало бы и карало этих новых преступников. Но король, без того пораженный количеством казней, состоявшихся по приговору Ла-Рени, и убежденный, что даже *chambre ardente* иной раз действовала чересчур сгоряча, безусловно, отказал исполнить этот проект.

Тогда придумали другое средство заставить короля согласиться на просьбу Аржансона.

В комнатах госпожи де Ментенон, где король часто проводил время до поздней ночи, работая со своими министрами, было передано ему стихотворение, написанное от имени запуганных любовников, жаловавшихся королю на то, что они не могут сделать безопасно ни одного дорогого подарка своим возлюбленным. Как ни честно и славно, говорилось в стихотворении, пролить кровь за ту, которую любишь, на поле чести, но совершенно иное -- погибать от руки подлых, тайных убийц, не имея даже возможности защититься. Король Людовик, который, как звезда, покровительствует всему, что касается любви, обязан рассеять своим светом мрачную ночь, под покровом которой совершалось преступление, и разрушить козни злодеев. Божественный герой, победивший своих врагов, сумеет обратить свой меч и в другую сторону и, подобно Геркулесу, поборовшему Лернейскую гидру, или Тезею, убившему Минотавра, сразит, конечно, страшное чудовище, вооружившееся против радостей и утех любви и облакавшее в печальный траур всякое счастье и наслаждение.

Благодаря ужасу, действительно, испытываемому всеми, немалое место было отведено в стихах описанию и того страха, который должны были ощущать любовники, прокрадываясь к предметам своей страсти, страху, убивавшему в зародыше самое чувство любви. Все это было описано в самых замысловатых, остроумных метафорах, а в конце стихотворения помещен панегирик Людовику, так что, по-видимому, не оставалось ни малейшего сомнения, что королю это доставит непременно удовольствие. Людовик, прочитав про себя стихотворение, обратился, не поднимая глаз от бумаги, к Ментенон и, прочтя стихи еще раз ей вслух, спросил, весело улыбнувшись, что же следовало делать с просьбой бедных, испуганных любовников? Ментенон, верная принятому ею раз и навсегда тону безукоризненной добродетели, отвечала, что, по ее мнению, запрещенные, безнравственные сети любви не заслуживают покровительства и защиты, но что для пресечения ужасных преступлений, действительно,

следовало принять самые строгие меры. Король, недовольный этим двучленным ответом, сложил бумагу и хотел уже выйти в соседнюю комнату, где его ожидал государственный секретарь, как вдруг, внезапно оглянувшись, увидел Скюдери, бывшую тут же и сидевшую недалеко от Ментенон на маленьком кресле. Подойдя к ней с прежней, игравшей на его губах улыбкой, исчезнувшей после ответа Ментенон, Людовик остановился и, перебирая в руках бумагу, сказал тихо:

-- Маркиза мало знакома с сердечными похождениями наших кавалеров и видит в них одни запрещенные вещи. Но вы, милейшая Скюдери! Каково ваше мнение об этой поэтической просьбе?

Скюдери почтительно встала и с легким румянцем, вспыхнувшим на ее бледном, немолодом лице, тихо ответила, опустив глаза:

*Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour*.*

** Любовник, боящийся воров, недостойн любви (франц.).*

Король, пораженный рыцарственным смыслом этих слов, уничтожившим в его душе впечатление всего бесконечно длинного стихотворения, воскликнул весело:

-- Клянусь святым Дионисием! Вы совершенно правы! Не хочу и я жестоких мер, при которых правый может пострадать вместе с виноватым! Пусть Аржансон и Ла-Рени действуют как знают, по-прежнему!

Описав предварительно живейшими красками ужасы, волновавшие весь Париж, Мартиньер, дрожа, передала на другой день своей госпоже загадочный ящичек и рассказала ей ночное происшествие. Затем оба, и она, и Батист, стоявший в углу и перебиравший в руках с испуганным, бледным лицом свой ночной колпак, принялись умолять свою госпожу открыть ящичек не иначе как с величайшими предосторожностями. Скюдери, выслушав их и взвесив таинственную посылку на руке, отвечала, невольно улыбнувшись:

-- Вы, кажется, оба сошли с ума! Разбойники знают также хорошо, как и вы, что я небогата, и потому меня не стоит убивать с целью грабежа. Вы сами сказали, что они умеют предварительно выследить нужный им дом. Значит, им нужна только моя жизнь, а я не думаю, чтобы кому-нибудь нужна была жизнь семидесятитрехлетней старухи, которая и злодеев-то преследовала только в сочиняемых ею романах, и еще писала стихи, не возбуждавшие ничьей зависти. От меня ничего не останется, кроме титула старой девы, иногда бывавшей при дворе, да нескольких дюжин книг с золотым обрезом. Потому, какими бы страшными красками ты, Мартиньер, ни описывала появление того

незнакомца, я все-таки не хочу верить, чтобы у него было что-нибудь дурное на уме! Значит...

Тут Мартиньер с невольным криком ужаса отскочила шага на три, а Батист почти упал на колени, когда их госпожа, храбро надавив блестящую пуговку ящика, заставила с шумом отскочить крышку. Но каково же было изумление всех троих, когда оказалось, что в ящичке лежали два великолепных золотых браслета, богато украшенных бриллиантами, и не менее драгоценное бриллиантовое ожерелье! Скюдери вынула вещи, и, пока она с удивлением рассматривала прекрасное ожерелье, Мартиньер, схватив браслеты, не переставала изумленно восклицать, что таких бриллиантов не было даже у чванной Монтеспан.

-- Но что же это такое? Что это значит? -- невольно задавала себе вопрос Скюдери.

Вдруг заметила она, что на дне ящичка лежала небольшая сложенная записка. В надежде найти в ней разрешение занимавшей ее загадки Скюдери прочла записку, но вдруг, задрожав, уронила ее на пол и, подняв умоляющий взгляд к небу, опустилась в бессилии в кресло. Мартиньер и Батист в испуге бросились к ней.

-- О Боже! -- воскликнула Скюдери, заливаясь слезами. -- Какой стыд!.. Какое оскорбление!.. И это в мои годы!.. Как могла я, подобно глупой девочке, сделать такой необдуманный поступок? Вот к чему привели слова, сказанные полушутя! Я, прожившая всю жизнь, незапятнанная ничем с самого раннего детства, обвиняюсь теперь в сообщничестве с самым адским злодейством!

И она, горько рыдая, прижимала к глазам платок, между тем как Мартиньер и Батист, теряясь в догадках, решительно не знали, чем и как ей помочь в ее горе. Наконец, Мартиньер, заметив на полу роковую записку, подняла ее и прочла:

*"Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour."*

Ваш острый ум, сударыня, избавил от тяжелых преследований нас, пользующихся правом сильного для присвоения себе сокровищ, отнимая их из рук низких и трусливых душ, способных только на мотовство. В знак искреннейшей нашей благодарности, просим мы вас принять этот убор. Это -- драгоценнейшая из всех вещей, какие нам удалось добыть в течение долгого времени, хотя вы, милостивая сударыня, заслуживали бы украшения лучшие, чем эти. Просим вас и впредь не лишать нас вашего расположения и хранить о нас добрую память.

Невидимые".

-- Возможно ли! -- воскликнула Скюдери, придя в себя. -- Возможно ли, чтобы до таких пределов могла дойти дерзость и наглость!

Между тем солнце, проглянув в эту минуту сквозь красные шелковые оконные занавески, осветило разложенные на столе бриллианты пурпурным отблеском. Скюдери, увидя это, закрыла в ужасе лицо и немедленно приказала Мартиньер спрятать украшения, на которых, казалось ей, видит она кровь убитых жертв. Мартиньер, укладывая вещи обратно в ящичек, заметила, что, по ее мнению, следовало бы представить вещи в полицию, рассказав вместе с тем и о таинственном появлении молодого человека в доме и вообще о всей загадочной обстановке, при которой бриллианты были вручены.

Некоторое время Скюдери медленно, в раздумьи прохаживалась по комнате, теряясь в предположениях, что следовало делать. Наконец, приказала она Батисту приготовить портшез, а Мартиньер помочь ей одеться, объявив, что немедленно отправляется к маркизе де Ментенон.

Скюдери знала, что в этот час застанет она маркизу наверняка одну в своих комнатах. Садясь в портшез, взяла она с собой и ящичек с убором.

Можно себе представить удивление Ментенон, когда вместо спокойного, полного достоинства и доброжелательства лицо, какое она всегда привыкла встречать у Скюдери, как это и соответствовало ее летам, увидела она на этот раз бедную старую женщину бледной, расстроенной, приближавшейся к ней неверными, дрожащими шагами. "Что случилось, во имя самого Господа?" -- воскликнула Ментенон, поспешив навстречу почтенной особе, огорченной до того, что с трудом смогла она дойти до середины комнаты и опуститься в подвинутое маркизой кресло. Придя, наконец, в себя, прерывистым голосом рассказала она Ментенон недостойную шутку, сыгранную с ней благодаря тем немногим словам, которые сказала она в насмешку над трусливыми любовниками. Ментенон, выслушав все, прежде всего постаралась успокоить бедную Скюдери, уверив ее, что она уж слишком близко к сердцу принимает это приключение, что никогда злая насмешка не может оскорбить или запятнать благочестивую душу и, наконец, в заключение попросила показать ей бриллианты.

Скюдери подала ей открытый ящичек. Крик изумления невольно вырвался из груди маркизы, едва она увидела действительно поразительное богатство убора. Взяв ожерелье и браслеты, подошла она с ними к окну, заставила играть камни на солнце, переворачивала их во все стороны, рассматривала тончайшие золотые скрепления цепочек и не могла налюбоваться поразительной чистотой и тонкостью искусной работы. Кончив этот осмотр, Ментенон обратилась к Скюдери и сказала решительно:

-- Убор этот, уверена я твердо, мог сделать только Рене Кардильяк.

Рене Кардильяк был тогда искуснейшим парижским ювелиром и в то же время одной из оригинальнейших личностей в целом городе. Маленького роста, широкоплечий, крепко и мускулисто сложенный, Кардильяк, хотя имел уже около пятидесяти лет, сохранил при этом всю силу и подвижность юноши. О силе этой свидетельствовали и его жесткие, рыжие волосы, без малейшей седины и вообще все коренастое сложение. Не будь Кардильяк известен во всем Париже за честнейшего, бескорыстнейшего, с открытой душой и всегда готового помочь человеку, то вся его фигура и в особенности взгляд зеленых, всегда глядевших исподлобья глаз, наверно, навлекли бы на него подозрение в злобе и коварстве. Как уже сказано, Кардильяк был искуснейшим ювелиром не только в Париже, но и вообще одним из самых замечательных представителей этого ремесла в свое время. Глубокий знаток достоинства и свойств драгоценных камней, умел он шлифовать их и группировать с таким неподражаемым искусством, что часто убор, ничем прежде не замечательный, пройдя через руки Кардильяка, выходил из его мастерской решительно неузнаваемым по приобретенным блеску и красоте. Каждый заказ принимал он с горячей страстью истинного художника и всегда брал за свою работу крайне умеренную, сравнительно с ее достоинством, цену. Взяв заказ, Кардильяк уже не знал покоя ни днем, ни ночью. Без устали стучал он своим молотком, и часто случалось, что, окончив уже почти работу, вдруг находил, что какое-нибудь ничтожное украшение не соответствовало всей форме или что какой-нибудь бриллиант не так вправлен; этого было для него достаточно, чтобы бросить все в плавильный тигель и начать работу снова. Таким образом всякая вещь выходила из его рук чудом совершенства, невольно изумлявшим знатоков. Но была и неприятная сторона для тех, кто имел дело с Кардильяком. Заказчику стоило неимоверного труда выручить от него заказанную и готовую уже вещь. По целым неделям и месяцам оттягивал он под разными предлогами ее выдачу, обманывая всевозможными способами заказчиков. И даже когда, принужденный к тому почти силой, выдавал он сделанный убор владельцу, то делал это с таким отчаянием и даже затаенной яростью, что стоило взглянуть на его лицо, чтобы убедиться, какого горя стоило ему расстаться со своим произведением. Когда же ему приходилось отдавать какое-нибудь особенно богатое украшение, стоившее многих тысяч как по достоинству камней, так и по тонкости золотой работы, то он делался похож на помешанного: бранился, выходил из себя, проклинал заказчиков и свои труды. Но ежели случалось наоборот, что кто-нибудь приносил ему новую работу со словами:

-- Любезный Кардильяк! Сделайте-ка хорошенькое ожерелье для моей невесты или браслеты для моей любезной, -- и тому подобное, то

Кардильяк мгновенно останавливался и, сверкнув маленькими глазами, говорил, потирая руки:

-- А ну покажите, покажите, что у вас такое?

Когда же заказчик, вынув футляр, продолжал:

-- Конечно, в этих камнях нет ничего особенного, но надеюсь, что под вашими руками... -- то Кардильяк не давал ему даже закончить: быстро хватал бриллианты, действительно стоившие не очень дорого, встряхивал их перед светом и в восторге восклицал:

-- Ого! Это, по-вашему, дрянь? Такие камни? Погодите, погодите! Вы увидите, что я из них сделаю. Если вы только не пожалеете лишней горсти луидоров, то я прибавлю к ним еще камешка два -- и тогда убор ваш засверкает не хуже солнца!

-- Извольте, извольте, господин Рене, -- говорил заказчик, -- я заплачу сколько вам будет угодно!

Тогда Кардильяк, не обращая внимания на то, был ли заказчик простого звания или важный придворный, бросался к нему на шею, целовал, называя себя счастливейшим в мире человеком, и обещал непременно кончить всю работу за восемь дней. Затем бежал он, сломя голову, домой, запирался в мастерской, начинал стучать и работать, и через восемь дней образцовое произведение было действительно готово. Но едва заказчик являлся получить свою вещь и заплатить условленную, умеренную плату, Кардильяк делался груб, дерзок и объявлял решительно, что не может отдать свою работу в этот день.

-- Но подумайте сами, Кардильяк, -- говорил изумленный заказчик, -- ведь завтра день моей свадьбы.

-- Какое мне дело до вашей свадьбы! -- запальчиво возражал Кардильяк. -- Приходите через две недели.

-- Убор готов, вот деньги, и я его беру, -- говорил заказчик.

-- А я, -- отвечал Кардильяк, -- говорю вам, что должен кое-что в нем переделать и сегодня вам его не отдам!

-- Так знайте же, что если вы не соглашаетесь отдать убор, за который я готов заплатить вам вдвое, то через четверть часа я возвращусь со стражниками Аржансона.

-- Ну берите! И пусть сам сатана вцепится в вас своими калеными когтями, да вдобавок привесит к убору гирю в три центнера, чтобы она задавила вашу невесту!

И с этими словами Кардильяк, сунув убор в карман жениху, так бесцеремонно выталкивал его из дверей, что тот иной раз пересчитывал собственными боками ступеньки лестницы, а Кардильяк со злобным смехом смотрел в окно, как несчастный, зажав лицо платком, старался унять кровь из разбитого носа. И никому совершенно не было понятно, почему Кардильяк, взяв с восторгом работу, потом вдруг со слезами, на коленях заклинал всеми святыми заказчика уступить вещь ему. Многие знатные особы добивались и

сулили огромные деньги, чтобы только добыть какую-нибудь вещьцу работы Кардильяка, но напрасно. А делать же что-нибудь для самого короля Кардильяк отказался решительно и на коленях умолял не принуждать его к этому. Точно также отклонял он постоянно заказы Ментенон и не согласился даже изготовить для нее маленький перстень, украшенный эмблемами искусства, который та хотела подарить Расину.

-- Я держу пари, -- сказала Ментенон, -- что Кардильяк откажется ко мне прийти даже в том случае, если я пошлю за ним только для того, чтобы узнать, кому он делал эти уборы. Он непременно подумает, что я хочу что-нибудь ему заказать, а он не соглашается сделать для меня ни безделицы. Впрочем, я слышала, будто нынче он несколько смягчился, работает прилежнее и даже тотчас отдает вещь заказчикам, хотя все-таки не без кислой физиономии.

Скюдери, рассчитывавшая при свидании с Кардильяком узнать, кому принадлежали вещи, чтобы возвратить их владельцу, уверяла, что чудак, вероятно, не откажется прийти, если ему дадут слово, что здесь и речи не будет о каком-нибудь заказе, а просто попросят его сказать свое мнение о неких драгоценностях. Ментенон согласилась и приказала немедленно послать за Кардильяком, явившимся очень скоро, так что можно было подумать, не ожидал ли он этого приглашения сам.

Увидя Скюдери, Кардильяк остановился, точно пораженный чем-то неожиданным, и в смущении своем растерялся до того, что обратился с почтительным поклоном к ней прежде, чем к маркизе. Ментенон, указывая на украшения, сверкавшие на темном, покрытом зеленым сукном столе, тотчас же спросила, не его ли это работа? Кардильяк, бросив беглый взгляд на бриллианты, быстро их схватил и, спрятав обратно в ящичек, оттолкнул его от себя каким-то судорожным движением.

-- Вероятно, госпожа маркиза, -- заговорил он с неприятной улыбкой на красном лице, -- очень плохо знакома с работой Рене Кардильяка, если могла хотя бы одну минуту подумать, что найдется другой ювелир в целом свете, который в состоянии сделать такой убор. Конечно, это моя работа.

-- Если так, -- продолжала Ментенон, -- то скажите, для кого вы его делали?

-- Для себя! -- отвечал Кардильяк и затем, видя изумленное недоверие Ментенон и испуганное ожидание Скюдери, выразившееся на их лицах при этом ответе, продолжал:

-- Вы можете, госпожа маркиза, находить это очень странным, но тем не менее я сказал вам совершенную правду. Я просто из любви к искусству обработал свои лучшие камни и работал при этом искуснее,

чем когда бы то ни было. Но несколько дней тому назад украшения исчезли из моей мастерской непонятным для меня образом!

-- Слава Богу! -- воскликнула Скюдери и в восторге быстро вскочила, как молодая девушка, с кресла, на котором сидела, затем подбежала к Кардильяку и, положив свои руки на его плечи, сказала:

-- Получите же обратно, господин Кардильяк, вашу собственность, украденную у вас бессовестными негодяями!

После этого подробно описала она ему, каким образом убор достался в ее руки. Кардильяк слушал ее молча, с опущенными глазами и только изредка прерывал рассказ невнятными восклицаниями: "Гм!.. Вот как!.. Ого!" -- и при этом он беспрерывно то складывал руки на груди, то поглаживал подбородок, словно чувствуя себя крайне неловко.

Когда же Скюдери кончила, он долгое время стоял, точно под впечатлением какой-то борьбы и сомнения не зная как поступить; потирал себе лоб, вздыхал, тер глаза пальцами, как будто стараясь удержать готовые брызнуть слезы, наконец, схватил решительно ящичек, подаваемый ему Скюдери, медленно опустился перед ней на одно колено и сказал:

-- Вам, высокоуважаемая сударыня, присудила владеть этой драгоценностью сама судьба. Не знаю почему, но только я постоянно думал о вас, когда занимался этой работой, и чувствовал, что работаю для вас! Не откажите же принять от меня и носить это украшение -- лучшее из всего, что я до сих пор сделал!

-- Полноте! Полноте, господин Рене, -- полушутливо возразила Скюдери, -- мне ли в мои годы думать об украшении себя такими драгоценностями? И кроме того, с чего это вы решили сделать мне такой дорогой подарок? Вот если бы я была красавицей и богата, как маркиза де Фонтанж, то, конечно, не выпустила бы этого убора из рук. А теперь! Руки мои исхудали, шея всегда закрыта, так зачем же мне все это суетное великолепие?

Но Кардильяк, поднявшись с колен и бешено сверкая глазами, продолжал, по-прежнему подавая ящичек Скюдери:

-- Возьмите! Возьмите хоть из сожаления! Вы не можете себе представить, как глубоко чту я вашу добродетель и ваши заслуги! Возьмите же этот подарок в знак моего желания выразить вам те чувства, которые я к вам питаю!

Так как Скюдери все еще колебалась, то Ментенон, взяв ящичек из рук Кардильяка и обращаясь к ней, сказала:

-- Что это вы все говорите о ваших годах? Какое нам с вами до них дело? Вы, точно молоденькая девушка, конфузитесь протянуть руку, чтобы взять то, что вам в самом деле нравится. Полноте! Отчего же вам и не принять от честного Рене подарка, который он дает вам по доброй воле, тогда как многие другие рады бы заплатить за него и деньгами, и просьбами, и мольбами!

Пока Ментенон, говоря так, почти насильно заставила Скюдери взять ящичек, Кардильяк вел себя совершенно как сумасшедший. Он то бросался перед Скюдери на колени, целовал ее платье, руки, стонал, вздыхал, плакал, вскакивал, то опять начинал бегать по комнате, и, наконец, задевая за стулья и столы, так что стоявшие на них фарфоровые и другие дорогие вещи задрожали, бросился вон из комнаты. Испуганная Скюдери невольно воскликнула: "Господи Боже! Скажите, что с ним случилось?" На что Ментенон, лукаво улыбнувшись, что совершенно противоречило ее строгому характеру, отвечала:

-- Разве вы не видите, что Кардильяк в вас влюблен и по заведенному порядку повел атаку на ваше сердце дорогими подарками?

Затем, продолжая шутку в том же тоне далее, стала она с комическим видом уговаривать Скюдери не быть слишком жестокой к несчастному воздыхателю. Скюдери, подстрекаемая сама этим шутливым тоном, начала отвечать множеством остроумных ответов: говорила, что если дело действительно зашло так далеко, то, пожалуй, она сама чувствует, что вынуждена будет объявить себя побежденной, показав таким образом свету невиданный пример семидесятитрехлетней невесты с незапятнанной репутацией. Ментенон бралась приготовить сама свадебный венок и обещала выучить новобрачную, как вести дом и все хозяйство, чего такое молодое и неопытное существо, конечно, не сумело бы сделать.

Когда Скюдери, наконец, встала, чтобы откланяться, прежний ее страх, несмотря на последние минуты веселости, возвратился снова, едва пришлось ей волей-неволей взять драгоценный ящичек.

-- Дорогая маркиза! -- сказала она. -- Вы, конечно, хорошо понимаете, что я никогда не вздумаю воспользоваться сама этими драгоценностями! Что там ни говорите, все-таки уборы побывали в руках злодеев, предавших свои души вечной гибели. Мне страшно подумать о крови, которая, чудится мне, каплет с этих бриллиантов, а, кроме того, само поведение Кардильяка кажется мне в высшей степени странным и невольно наводящим ужас. Не скрою от вас, что внутренний, тайный голос постоянно шепчет мне, будто во всем этом непременно должна заключаться какая-то ужасная тайна, хотя, с другой стороны, я никак не могу себе представить, в чем эта тайна может состоять, особенно если предположить, что тут замешан такой честный и достойный человек, как Кардильяк, который не может быть в связи с чем-нибудь дурным. Во любом случае верно то, что я никогда не решусь надеть эти бриллианты.

Ментенон полагала, что Скюдери уже слишком преувеличивает значение всего дела, но на просьбу последней, сказать по совести, чтобы сделала бы она сама на месте Скюдери, маркиза ответила, что

бросила бы скорее весь убор в Сену, чем позволила себе когда-нибудь его надеть.

На другой день Скюдери описала в очень милых стихах приключение свое с Кардильяком и вечером прочла их в комнатах Ментенон королю. Особе Кардильяка немало досталось в этих стихах при описании его шуточного сватовства к семидесятитрехлетней деве с незапамятной древностью рода, и вообще все произведение было проникнуто самым милым комизмом без малейшей примеси неприятного оттенка всей истории. Король от души смеялся, слушая чтение, и поклялся, что сам Буало должен уступить пальму первенства Скюдери, потому что во всю жизнь не написал ничего забавнее и остроумнее.

Через несколько месяцев случилось однажды Скюдери проезжать через Новый мост в карете со стеклами, принадлежавшей герцогине Монтансье. Кареты со стеклами были тогда только что изобретенной новинкой, и потому толпы зевак обыкновенно останавливались на улице поглазеть при всяком проезде подобного экипажа. Так и в этот раз густая толпа народа окружила на Новом мосту карету герцогини Монтансье, так что лошади почти не могли двигаться. Вдруг громкие крики и брань долетели до ушей Скюдери, и вслед за тем увидела она, что какой-то человек, расталкивая направо и налево людей кулаками, старался всеми силами пробиться к карете. Когда он подошел ближе, оказалось, что это был совсем еще молодой человек, с бледным как смерть лицом и пронзительным, отчаянным взглядом. Добравшись с трудом до кареты, внезапно вскочил он на подножку и, прежде чем Скюдери успела ахнуть, бросил ей на колени небольшую сложенную записку, а сам, мгновенно соскочив на землю, кинулся опять в толпу, в которой и исчез, пробивая себе дорогу по-прежнему локтями и кулаками. Мартиньер, сидевшая в карете со своей госпожой, едва увидела молодого человека, испустила крик ужаса и без чувств упала на подушки. Скюдери стала дергать шнурок, приказывая кучеру остановиться, но тот, напротив, почему-то еще сильнее ударил лошадей, так что они, рванувшись с пеной на удилах, в одно мгновение с громом и шумом пронесли карету по всему Новому мосту. Скюдери вылила чуть не всю свою скляночку спирта на лежавшую в обмороке Мартиньер, и когда та очнулась, вся бледная, с выражением прежнего ужаса на лице, то первыми словами, которые она произнесла, судорожно прижимаясь к своей госпоже, были:

-- Ради небесной Владычицы, чего хотел этот ужасный человек? Ведь это был он! Он самый, который принес тогда ночью ящичек!

Скюдери старалась всеми силами успокоить бедную Мартиньер, уверяя, что ничего дурного не случилось и что, вероятно, узнают они все из брошенной в карету записки. С этими словами развернула она бумажку и прочла:

"Неумолимая судьба угрожает мне погибелью, которую вы одна можете отклонить. Умоляю вас, как только может умолять свою мать преданный, нежно любящий сын, возвратите Кардильяку ожерелье и браслеты под предлогом переделки, починки или чего хотите. От этого зависят ваше благосостояние и сама жизнь. Если вы не сделаете этого до послезавтра, то я проникну в ваш дом и убью себя на ваших глазах!"

-- Ну, -- сказала Скюдери, кончив чтение, -- теперь ясно, что если этот загадочный человек действительно принадлежит к шайке злодеев и убийц, то против меня, по крайней мере, он не имеет никакого дурного умысла. Если бы ему удалось поговорить со мною в ту ночь, то кто знает, какие неожиданные обстоятельства могло бы это открыть и предупредить, тогда как теперь должна я напрасно теряться в догадках, что все это значит. Но что бы там ни было, я, безусловно, прислушаюсь к совету и рада буду сама отделаться от этого убора, который постоянно кажется мне чем-то вроде талисмана, непременно приносящего несчастье. Кардильяк же, получив его обратно, по своему старому обычаю, не так легко выпустит его из рук.

На следующий же день хотела Скюдери отправиться с бриллиантами к мастеру. Но как назло с самого утра была она осаждена самыми блестящими умами всего Парижа, явившимися кто со стихами, кто с трагедией, а кто с интересным анекдотом. Едва успел кончить чтение трагедии Лашапель, глубоко уверенный, что ничего подобного не написал бы даже Расин, как Расин сам внезапно явился в двери и уничтожил чтение своего соперника патетическим монологом какого-то короля. А там и Буало осветил черный трагический небосклон фейерверком своего остроумия, осмеивая то того, то другого, доказывая таким образом, что весело и умно болтать можно не об одной только вновь построенной архитектором Перро колоннаде Лувра.

После полудня Скюдери должна была ехать к герцогине Монтансье, и, таким образом, посещение Кардильяка было отложено до следующего утра.

Страшное беспокойство тяготило во все это время ее душу. Образ молодого человека постоянно рисовался перед ее глазами, и точно какое-то смутное воспоминание шептало ей, что она уже видела раньше эти черты. Ночью, посреди дремоты, вдруг с испугом просыпалась она под гнетом неотвязной мысли, упрекавшей ее совесть в том, что она поступила легкомысленно, отказав протянуть руку помощи несчастному, готовому погибнуть и взывавшему к ней о спасении, и все казалось ей, что сама судьба назначила ее предупредить и открыть ужасное преступление. Едва занялось утро, она быстро встала, оделась и, захватив с собой ящичек, немедленно отправилась к Кардильяку.

Приехав на улицу Никез, где жил Кардильяк, увидела Скюдери несущиеся к дому ювелира со всех сторон толпы народа. Слышались крики, вопли, шум. Полиция с трудом сдерживала любопытных, старавшихся проникнуть внутрь дома. Из волнующейся толпы доносились угрожающие восклицания: "Смерть!.. Смерть убийце!.. На куски его!". Наконец, показался Дегре с большим отрядом стражи, перед которыми толпа немедленно открыла проход. Двери дома отворились, и из них стражники почти вынесли на руках бледного молодого человека в цепях, встреченного бушующей толпой взрывом самых грозных проклятий и ругательств. В ту же минуту чей-то отчаянный, пронзительный крик долетел до слуха перепуганной и пораженной каким-то нехорошим предчувствием Скюдери. "Вперед! Скорее вперед!" -- крикнула она вне себя кучеру, который ловким оборотом сумел наконец проехать, никого не задев, сквозь несметную толпу и остановиться вплотную подле дверей дома Кардильяка.

Выглянув в окно, увидела Скюдери Дегре и перед ним на коленях молоденькую, красивую девушку, с рассыпавшимися по плечам волосами, полуодетую, с выражением отчаяния на лице. Обнимая его колени, кричала она голосом, от которого разрывалось сердце: "Он невиновен! Невиновен!". Напрасно старался Дегре со своими людьми оттолкнуть ее прочь и поднять с земли. Наконец высокий, грубый стражник, схватив несчастную неуклюжей рукой, оторвал ее от Дегре и с такой силой толкнул в сторону, что она без чувств упала на каменную мостовую. Тут Скюдери не могла уже более выдержать.

-- Ради самого Господа, что случилось? -- воскликнула она и, отворив сильным движением руки дверцу, вышла из кареты.

Толпа с уважением очистила ей дорогу, между тем как две каких-то сострадательных женщины, подняв несчастную девушку, усадили ее на ступеньки крыльца и, стараясь привести в чувство, растирали ей лоб и виски. Скюдери, приблизясь к Дегре, с горячностью повторила свой вопрос.

-- Ужасное происшествие! -- ответил Дегре. -- Сегодня рано утром Кардильяк найден убитым ударом кинжала. Убийца его собственный подмастерье Оливье Брюссон, и мы сейчас ведем его в тюрьму.

-- А девушка! Кто она? -- с живостью спросила Скюдери.

-- Это Мадлон, дочь Кардильяка, -- отвечал Дегре. -- Злодей был ее любовником. Вон она плачет и воет, уверяя всеми святыми, что Оливье невиновен, но сама наверняка знает что-нибудь по этому делу, и сейчас я ее тоже отправлю в Консьержери.

Сказав это, Дегре бросил на бедное дитя такой злобный, свирепый взгляд, что Скюдери невольно вздрогнула. Между тем несчастная девушка пришла немного в себя и испустила слабый вздох, но все еще не была в состоянии двигаться и лежала без движения на крыльце, так что окружавшие ее не знали, следовало ли ее взять и внести в дом или

оставить тут, пока она не опомнится. Глубоко тронутая страданием девушки и взволнованная грубостью Дегре и его помощников, Скюдери не могла сдержать невольных слез. Вдруг глухой шум послышался на лестнице, и вслед затем вынесли из дверей тело Кардильяка.

-- Я беру девушку к себе, -- решительно сказала Скюдери, -- а вы, Дегре, можете позаботиться об остальном.

Тихий ропот одобрения послышался в толпе. Женщины подняли бедную девушку; сотни рук с готовностью бросились им помочь, и таким образом высоко поднятая в воздух, она была бережно перенесена в карету среди благословений, расточаемых всей толпой доброй заступнице, успевшей своим вмешательством спасти невинность от рук кровожадного правосудия.

Усилия Серона, лучшего из тогдашних парижских врачей, смогли привести в себя Мадлон, долгое время остававшуюся в совершенно бесчувственном состоянии. Скюдери довершила старания врача, ласково уговаривая девушку не отчаиваться, пока, наконец, ободренная этими кроткими попечениями, она не разрыдалась, облегчив тем самым стесненное дыхание. Получив возможность говорить, Мадлон рассказала, не переставая плакать, своей благодетельнице всю ужасную историю этого дела.

Около полуночи, по словам Мадлон, была она разбужена легким стуком в дверь и слышала затем голос Оливье, умолявшего ее встать, потому что отец ее -- при смерти. В страхе выскочила она из постели и открыла дверь. Оливье, бледный, растерянный, с каплями холодного пота на лбу, со свечой в руке, привел ее, шатаясь, в мастерскую, где увидела она своего отца, простертого на постели, лежавшего в последней предсмертной агонии. С воплем отчаяния бросившись к нему, увидела Мадлон, что рубашка Кардильяка была вся окровавлена. Оливье затем отвел ее от умиравшего и, открыв рубашку, стал обмывать зиявшую на левой стороне груди рану, прикладывая к ней смягчающую мазь. Скоро раненый открыл глаза, перестал хрипеть и, взглянув с одушевлением на Мадлон и Оливье, взял их руки и соединил вместе. Оба упали на колени перед постелью умирающего, который между тем снова заметался с громким стоном и затем, подняв с усилием глаза к небу и глубоко вздохнув, скончался. Оба громко зарыдали. Оливье же ей рассказал, что, отправясь по приказанию Кардильяка с ним ночью по какому-то делу, подверглись они нападению разбойников и Кардильяк был смертельно ранен на его глазах, после чего он, с трудом взвалив тяжелое тело на плечи, принес его домой. С наступлением утра прочие жильцы дома, встревоженные слышимыми ими ночью стонами и плачем, поспешили в комнату Кардильяка и нашли обоих молодых людей, безутешно рыдавших на коленях перед его телом. Весть об убийстве распространилась; явилась

полиция и, заподозрив в совершении преступления Оливье, повела его в тюрьму. Мадлон с плачем и отчаянием клялась в его невинности; приводила примеры его добродетели и любви к убитому, которого он всегда почитал и уважал, как родного отца; рассказывала, как любил молодого человека сам Кардильяк, как готов был отдать ее за него замуж, несмотря на его бедность, руководясь в этом случае исключительно верой в его доброе сердце и трудолюбие. Все это передала Мадлон Скюдери с самой искренней печатью правды и уверенности и кончила словами, что если бы она собственными глазами видела, как Оливье проткнул кинжалом грудь ее отца, то и тут усомнилась бы в его виновности, подумав скорее, что это был принявший его образ дьявол, чем решилась обвинить доброго, честного Оливье в таком ужасном преступлении.

Скюдери, глубоко растроганная несчастьем Мадлон и склонная сама считать Оливье невинным, немедленно стала собирать справки, которые могли бы подтвердить ее рассказ, причем оказалось, что та часть рассказа Мадлон, в которой она говорила о дружеских, близких отношениях Оливье с Кардильяком, подтверждалась вполне. Прислуга, соседи -- все единодушно подтвердили, что Оливье был всегда образцом честного, прилежного ученика; никто не мог сказать против него дурного слова, но едва речь заходила о том, кто же совершил злодеяние, все в сомнении качали головами и признавались, что во всем этом кроется какая-то страшная, непроницаемая тайна.

Оливье, приведенный на допрос в *chambre ardente*, твердо и прямо отрицал, как узнала Скюдери, возводимое на него обвинение, утверждая, что Кардильяк подвергся нападению на его глазах на улице и что он принес его еще живым домой, где он вскоре и умер. Таким образом, и это показание было совершенно согласно с рассказом Мадлон.

Скюдери беспрестанно заставляла Мадлон повторять для себя малейшие, какие только она могла припомнить подробности несчастного случая. Так выпрашивала она, не произошло ли в последнее время между Оливье и Кардильяком какой-нибудь ссоры, не был ли Оливье вспыльчивого характера, который иногда выводит из себя даже искренних и добрых людей, толкая их невольно на совершение тяжелых преступлений? Но чем живее описывала в ответ на это Мадлон постоянные мир и согласие, в которых жили они все трое, тем бледнее становилась в душе Скюдери тень подозрения на обвиняемого в подлежащем смертной казни преступлении Оливье. Допуская даже мысль, что, несмотря на все ею слышанное, убийцей Кардильяка был все-таки Оливье, Скюдери не могла отыскать ни одного предлога, побудившего его на совершение этого преступления, которое вместо всяких выгод расстроило бы, наоборот, его собственное счастье. И действительно: несмотря на то, что он был беден, хотя и

трудолюбив, ему удалось приобрести расположение богатого хозяина, дочь которого он любил. Хозяин благосклонно относился к этой любви и счастье и довольство ожидали Оливье впереди! Если предположить даже, что увлеченный порывом гнева подмастерье точно убил своего благодетеля и будущего тестя, то какие же дьявольские должен он был иметь сердце и терпение, чтоб так упорно потом запереться во всем! Убежденная этими доводами окончательно в невинности Оливье, Скюдери дала себе слово спасти бедного юношу во что бы то ни стало.

Придумывая, как это сделать, пришла она к заключению, что прежде чем обратиться с просьбой о милосердии непосредственно к королю, следовало бы сначала поговорить с Ла-Рени и сообщить ему все обстоятельства, говорившие в пользу невинности Оливье; этим, надеялась она, можно будет расположить его в пользу подсудимого, а затем подействовать через него и на судей.

Ла-Рени принял Скюдери с глубочайшим уважением, на что, впрочем, она, будучи высоко почитаема самим королем, имела полное право рассчитывать. Спокойно выслушал он все, что думала она о преступлении и характере обвиненного в нем Оливье, причем чуть заметная насмешливая улыбка была единственным вызванным в нем знаком внимания к патетическим словам Скюдери, которая красноречиво, со слезами на глазах распространялась по поводу того, что всякий судья должен быть не врагом обвиняемого, а, напротив, обращать внимание и на благоприятные для него стороны дела. Когда наконец Скюдери кончила, вытирая слезы, Ла-Рени повел свою речь так:

-- Я прекрасно понимаю, -- говорил он, -- что ваше, милостивая сударыня, доброе сердце, тронутое слезами молоденькой, любящей девочки, верит всему, что она говорит и что вы даже не в состоянии вообразить себе возможности совершения подобного преступления. Но совершенно иначе должен рассуждать судья, привыкший срывать маску с гнуснейших притворств. Я не имею права открывать кому бы то ни было хода уголовных процессов. В этом деле исполняю я только свою обязанность и очень мало забочусь о том, что скажет о моих действиях свет. *Chambre ardente* не знает иных кар, кроме огня и крови, и злодеи должны трепетать перед ее приговорами, но перед вами, сударыня, я не желаю прослыть извергом и чудовищем, а потому объясню вам в коротких словах неоспоримость преступления злодея, который, благодарение небу, не избегнет заслуженного наказания. Ваш проницательный ум, уверен я, поймет тогда сам неуместность вашего заступничества, которое делает честь вашему доброму сердцу, но мной принято в соображение быть не может. Итак, я начинаю: утром того несчастного дня Кардильяк был найден мертвым, убитый ударом кинжала. Никого при этом с ним не было, кроме его подмастерья Оливье и дочери. При обыске в комнате Оливье найден между прочими

вещами кинжал, покрытый свежей кровью и приходившийся как раз по мере раны убитого. Оливье уверяет, что Кардильяк был убит ночью на его глазах при попытке ограбления. Это не доказывается ничем. Напротив, естественно рождается вопрос, если Оливье был с ним, то почему же он его не защищал? Почему не задержал убийцу? Почему не кричал о помощи? Он объясняет, что Кардильяк шел перед ним в пятнадцати или двадцати шагах. "Почему так далеко?" -- "Так хотел Кардильяк", -- уверяет подсудимый. -- "А что делал Кардильяк так поздно на улице?" Этого подсудимый не знает. "Но ведь прежде Кардильяк никогда на выходил позже девяти часов?" Вопрос этот приводит Оливье в видимое смущение; он начинает плакать, запинаться, снова принимается уверять, что в эту ночь Кардильяк в самом деле вышел и был убит. Но тут, заметьте это хорошенько, является новая улика: доказано положительно, что Кардильяк не думал выходить этой ночью из дома, и потому показания Оливье становятся очевидной ложью. Наружная дверь запиралась тяжелым замком, который, когда дверь отворяют или запирают, производил сильный шум, да и сама дверь поворачивалась на тяжелых петлях с таким скрипом, что, как доказал произведенный опыт, скрип этот был слышен в верхнем этаже дома. В нижнем этаже, как раз возле двери, живет старый Клод Патрю со своей экономкой, очень еще живой, веселой женщиной, несмотря на то, что ей почти восемьдесят лет. И он, и она слышали, как Кардильяк в этот вечер как обычно поднялся наверх ровно в девять часов, запер с обыкновенным шумом дверь, заложив ее засовом, потом спустился вновь, громко прочел свою вечернюю молитву и затем, насколько можно было судить по стуку дверей, прошел в свою спальню. Клод Патрю, подобно всем старым людям, страдает бессонницей и не мог сомкнуть в эту ночь глаз. Экономка показывает, что около половины десятого вышла она из кухни, зажгла свечу, села к столу с господином Клодом и стала читать старую хронику, между тем как старик то садился в свое кресло, то опять вставал и прохаживался по комнате, думая утомить себя и нагнать таким образом сон. По словам обоих, в доме царствовала невозмутимая ничем тишина до полуночи. Но тут вдруг послышались торопливые шаги, сначала на лестнице, а потом и в верхней комнате. Затем что-то тяжелое и мягкое вдруг глухо упало на пол, и вместе с тем послышался продолжительный жалобный стон. Страх и подозрение, что совершилось какое-нибудь злодейство, мигом запало в душу обоих. Наступившее утро доказало, что подозрение это было не напрасно.

-- Но, однако, -- возразила Скюдери, -- скажите мне, ради всех святых, неужели после всего, что вам рассказала я, находите вы хотя бы малейший предлог, который мог бы побудить Оливье совершить это преступление?

-- Ба! -- ответил Ла-Рени. -- Кардильяк, во-первых, был богат; его камни славились своей ценностью.

-- Но ведь все это, -- перебила Скюдери, -- в любом случае досталось бы его дочери, а Оливье, вы знаете сами, должен был на ней жениться.

-- Что ж за беда! -- отвечал Ла-Рени. -- Очень вероятно, что Оливье должен был с кем-нибудь поделиться добычей, а может быть даже и совершил убийство в сообщничестве с другими.

-- Делиться!.. В сообщничестве с другими! -- в ужасе воскликнула Скюдери.

-- Знаете ли вы, -- продолжал Ла-Рени, -- что Оливье был бы уже давно казнен на Гревской площади, если бы мы не подозревали, что существует связь между его преступлением и теми злодействами, которые наводят в последнее время такой ужас на весь Париж? Оливье, по всему следует думать, принадлежит к той проклятой шайке грабителей, которым, несмотря на все наши труды и бдительность, удавалось до сих пор ловко нас дурачить, оставаясь при этом безнаказанными в насмешку над самим правосудием! Но через Оливье узнаем мы все! Рана Кардильяка совершенно такая же, какие оказывались у всех убитых и ограбленных, где бы ни случилось нападение -- на улице или в доме. Но что всего более говорит в пользу моих предположений, так это то, что со времени ареста Оливье Брюссона убийства и грабежи совершенно прекратились, и теперь парижские улицы безопасны ночью точно также, как светлым днем. Достаточное доказательство, что Оливье, без сомнения, стоял во главе всей шайки. Он, правда, пока еще в этом запирается, но есть средства заставить его заговорить и против его собственного желания.

-- А Мадлон! -- воскликнула Скюдери. -- Что будет с этой несчастной, невинной девочкой?

-- Что до Мадлон, -- ответил Ла-Рени, язвительно усмехнувшись, -- то, признаюсь, я сильно подозреваю ее в сообщничестве с Оливье. Припомните, как она у тела убитого отца плакала только об арестованном любовнике!

-- Что вы говорите! -- воскликнула Скюдери. -- Убить отца! Подозревать в этом такого ребенка!

-- Вспомните Бренвилье! -- холодно возразил Ла-Рени. -- Во всяком случае, я должен вперед просить у вас прощение, если по дальнейшему ходу дела буду поставлен в необходимость взять эту девушку у вас в доме и отослать в Консьержери.

Скюдери была совершенно вне себя от этого ужасного подозрения. Ей казалось, что в сердце этого страшного человека не существует веры в привязанность и добродетель и что во всем видит он одни достойные свирепой казни преступления.

-- Будьте хоть немного человечнее! -- вот все, что могла она с трудом проговорить, вставая и покидая Ла-Рени.

Спускаясь по лестнице, по которой Ла-Рени почтительно и церемонно ее проводил, Скюдери вдруг остановилась под впечатлением внезапно сверкнувшей в ее уме мысли: а что если бы позволили ей видеть несчастного Оливье Брюссона? Не раздумывая долго, немедленно обратилась она с этой просьбой к президенту. Ла-Рени, со своей обычной, неприятной улыбкой, отвечал, пожав плечами:

-- Вы хотите, не доверяя тому, что мы видели собственными глазами, и следуя внушению вашего внутреннего голоса, убедиться сами в виновности или невиновности Оливье? Пусть будет по-вашему, и если вы только не боитесь очутиться в гнезде разбоев и преступлений, если вам не противно будет своими глазами увидеть их во всем многообразии, то через два часа ворота Консьержери будут перед вами открыты. К вам приведут этого Оливье, чья судьба так сильно вас занимает.

Скюдери действительно далеко не была убеждена словами Ла-Рени в виновности молодого человека. Как ни сильны были говорившие против него улики, не заставившие бы поколебаться ни одного судью в мире для вынесения строгого приговора, все-таки, с другой стороны, картина семейного счастья, которую так живо изобразила Мадлон, рассеивала в глазах Скюдери всякое подозрение, и скорее готова была она совершенно отказаться от разгадки этой непроницаемой тайны, чем допустить предположение, против которого возмущалось все ее существо.

Она хотела заставить Оливье рассказать все события той роковой ночи и постараться взвесить и обсудить все подробности, которые, может быть, ускользнули от внимания суда, будучи сочтены ими за слишком ничтожные.

Когда Скюдери приехала в Консьержери, ее встретили и провели в большую, светлую комнату. Через несколько минут послышался звон цепей, и вслед затем явился Оливье Брюссон. Скюдери, едва на него взглянув, испустила крик ужаса и лишилась чувств, когда же пришла она в себя, то Оливье уже не было в комнате. Быстро вскочив со стула, потребовала она тотчас карету, не желая оставаться ни минуты дольше в этом вертепе злодеев и преступников. Довольно сказать для объяснения, что в Оливье узнала она сразу молодого человека, который бросил в ее карету записку на Новом мосту, а следовательно, принес и таинственный ящик с бриллиантами. Все сомнения уничтожались этим обстоятельством, и ужасные заключения Ла-Рени приобретали полную вероятность. Значит Оливье точно принадлежит к шайке злодеев, и конечно, никто кроме него не мог убить своего хозяина! Но Мадлон? Тут Скюдери, никогда еще не обманутая так жестоко в лучших своих чувствах и убедившаяся, что зло действительно существует на земле в таких ужасных формах, готова была усомниться во всяком добре и чуть сама не заподозрила Мадлон в совершении ужасного

преступления. И так как человеческая натура чрезвычайно бывает склонна, вообразив что-нибудь, раскрасить этот самый воображаемый предмет самыми яркими, подходящими красками, то и С্কюдери, припоминая разные подробности рассказов и поведения Мадлон, стала во всем находить пищу для своих подозрений. Так многое, что до сих пор считала она знаком невинности и чистоты, стало казаться ей более похожим на признаки лжи и коварства. Слезы и отчаяние несчастной девушки, при мысли об ужасной судьбе угрожавшей ее жениху, готова она была счесть страхом Мадлон за собственную участь, страхом погибнуть от руки палача. "Нет! -- решила, наконец, С্কюдери. -- Надо прогнать эту змею, которую я отогрела на своей груди!". Выйдя с этой мыслью из кареты, вошла она в свою комнату, где первой увидела Мадлон, в отчаянии бросившуюся перед ней на колени.

Казалось, сам ангел не мог бы смотреть в глаза с большим чистосердечием. Со слезами горя ломала себе руки бедная дитя, умоляя о защите и помощи. С্কюдери, с трудом овладев собой, осталась все же верна прежнему настроению и сказала спокойно и холодно:

-- Да, да! Проси за убийцу, которого ожидает справедливое возмездие за его злодейства! Молись лучше о себе, чтобы кровавая кара не пала и на тебя.

-- Боже! Значит все потеряно! -- воскликнула раздирающим голосом Мадлон и без чувств упала на пол.

С্কюдери поручила ее заботам Мартиньер, а сама удалилась в другую комнату. Разочарованная в своей вере в хорошее, С্কюдери почти что стала гнушаться жизнью. Горько обвиняла она судьбу, давшую ей прожить так долго с полной верой в доброе и затем с такой злобной насмешкой разбившая под конец жизни все ее лучшие убеждения, показав всю ничтожность взглядов, лелеянных ею в течение стольких лет.

Когда Мартиньер уводила к себе в комнату Мадлон, С্কюдери услышала ее тихие жалобы: "Ах! и ее тоже обманули эти жестокие люди! Несчастный Оливье! Несчастливая я!" Тон, которым произнесла Мадлон эти слова, был до того искренен, что добрая душа С্কюдери мгновенно смягчилась, опять почти готовая поверить в невиновность Оливье и склониться к мысли, что во всем этом крылась страшная, необъяснимая тайна. Подавляемая наплывом этих противоречивых чувств, в отчаянии воскликнула она: "И для чего только злой рок захотел вмешать меня в эту историю, которая, чувствую, будет стоять мне жизни!"

В эту минуту в комнату вошел Батист, бледный, испуганный, и объявил, что С্কюдери желает видеть Дегре. Надо сказать, что со времени ужасного процесса Ла-Вуазен появление Дегре в любом доме считалось всегда предвестником какого-либо тяжелого обвинения, а потому страх Батиста был вполне понятен. С্কюдери, однако, оказалась

храбрее и, с улыбкой обратясь к нему, спросила: "Чего же ты боишься? Разве имя Скюдери также найдено в списках Ла-Вуазен?"

-- Ах! как можете вы так шутить! -- возразил, дрожа всем телом, Батист. -- Ведь это Дегре! Страшный Дегре! И пришел он с очень таинственным видом, объявив, что должен вас видеть немедленно.

-- Введи же этого страшного человека, -- отвечала Скюдери, -- я, по крайней мере, не боюсь его нисколько.

-- Меня послал к вам президент Ла-Рени, сударыня, -- сказал Дегре, входя в комнату. -- Он поручил обратиться к вам с просьбой, исполнение которой никто не имеет право от вас требовать, но, зная вашу доброту и мужество, президент надеется, что вы не откажетесь способствовать раскрытию кровавого преступления, не дающего покоя *chambre ardente*, тем более, что вы сами принимаете живое участие в его виновнике. Оливье Брюссон стал решительно неузнаваем с тех пор, как вас увидел. Он был почти готов во всем сознаться, а теперь начал опять клясться и уверять, что совершенно невиновен в смерти Кардильяка, хотя и пойдет с охотой на заслуженную им казнь. Заметьте, что последние слова явно намекают на иные совершенные им кроме этого преступления, хотя объяснить все в подробности он решительно отказывается даже под угрозой пытки. На все убеждения отвечает он одним, а именно -- обещанием признаться во всем вам! вам исключительно! Потому нам остается одно: просить вас не отказаться выслушать признание Брюссона!

-- Как! -- воскликнула вне себя Скюдери. -- Вы хотите сделать меня орудием уголовного правосудия! Хотите, чтобы я, обманув доверие несчастного, своим словом отправила его на казнь? Нет, Дегре! Даже если Оливье Брюссон убийца, никогда не соглашусь я так коварно его обмануть. Ничем не заставите вы меня выслушать его признание, которое в любом случае осталось бы схороненным навсегда в моем сердце!

-- Может быть, сударыня, -- возразил Дегре, причем едва заметная усмешка скользнула по его губам, -- может быть, перемените вы ваше мнение, выслушав признание Брюссона? Вспомните, что вы сами просили президента быть человечнее. Если он соглашается теперь на безумное требование Оливье, то единственно из уважения к этой просьбе, иначе Оливье был бы давно подвергнут пытке, к которой, по правде говоря, следовало бы уже приступить.

Скюдери вздрогнула, услышав эти слова; а Дегре продолжал:

-- Будьте уверены, сударыня, что вас не заставят еще раз отправиться под мрачные своды тюрьмы, которые наводят на вас такой ужас. Нет! Напротив, Оливье Брюссон будет привезен к вам поздней ночью, чтобы не возбудить чьего бы то ни было внимания, и привезен, как совершенно свободный, частный человек. Стража останется невидимой, и таким образом, он сознается перед вами во всем без

малейшего принуждения. За вашу личную безопасность отвечаю своей жизнью я. Оливье Брюссон отзывается о вас не иначе как с величайшим уважением и клянется, что злой рок, помешавший ему видеть вас прежде, виновен один во всем этом деле, грозящем ему незаслуженной смертью. В заключение скажу, что только от вас будет зависеть, открыть нам признание Брюссона или о нем умолчать. Согласитесь, что более снисходительной просьбы невозможно представить.

Скюдери задумалась. Ей казалось, что сама судьба заставляет ее принять участие в этом деле, оказав содействие в раскрытии ужасной тайны и что она не вправе была в этом отказать, как ни неприятна была такая обязанность. Решившись, сказала она с достоинством Дегре:

-- Я готова! Приведите Оливье! Надеюсь, Бог поддержит и укрепит мои силы!

Поздно ночью, совершенно так, как это было в тот день, когда Оливье принес ящичек, раздался снова стук у дверей дома Скюдери. Батист, предупрежденный о ночном посещении, открыл дверь. Невольная дрожь пробежала по телу Скюдери, когда, по глухому шуму и тихим шагам, раздавшимся со всех сторон, догадалась она, что привезшая Оливье стража заняла все входы и выходы дома.

Наконец дверь комнаты, где была Скюдери, тихо отворилась. Вошел Дегре, сопровождаемый Оливье, освобожденным от цепей и одетым в приличное платье.

-- Вот Брюссон, милостивая государыня! -- сказал Дегре и, почтительно склонившись перед Скюдери, вышел из комнаты.

Оливье, оставшись наедине со Скюдери, встал перед ней на колени и отчаянно, со слезами на глазах поднял к небу сложенные руки.

Скюдери, бледная, безмолвно смотрела на молодого человека. Даже сквозь искаженные страданием черты просвечивало выражение чистейшей искренности, и, чем пристальнее она в него вглядывалась, тем сильнее казалось ей, что лицо Брюссона напоминает ей кого-то другого, давно виденного ею, любимого человека. Страх ее исчез совершенно и, позабыв самую мысль, что перед ней стоял на коленях, может быть, убийца Кардильяка, обратилась она к нему самым ласковым, доброжелательным тоном:

-- Ну, Брюссон, что же хотите вы мне сказать?

Оливье, продолжая стоять на коленях, глубоко вздохнул и затем отвечал:

-- Неужели, уважаемая сударыня, в вас исчезло всякое воспоминание обо мне?

Скюдери, вглядываясь в него еще внимательнее, ответила, что действительно, находит она в его чертах сходство с кем-то, кого, кажется ей, она когда-то горячо любила и что если говорит она теперь так спокойно с убийцей, то единственно благодаря этому сходству,

которое помогает ей превозмочь невольное отвращение. Оливье, глубоко уязвленный этими словами, быстро встал с мрачным видом и сделал шаг назад. После некоторого молчания он сказал:

-- Значит вы совершенно забыли имя Анны Гийо? Забыли и ее сына Оливье, которого так часто, еще ребенком качали на своих коленях? Оливье этот стоит теперь перед вами!

Услышав эти слова, Скюдери только воскликнула:

-- О Господи! -- и в бессилии опустилась в кресло, закрыв обеими руками лицо.

Для объяснения ее ужаса достаточно сказать, что Анна Гийо, бывшая дочерью одного обедневшего знакомого Скюдери, была воспитана ею с малолетства как собственная дочь. Когда Анна выросла, за нее посватался прекрасный молодой человек Клод Брюссон, искусный часовщик, очень успешно ведущий свои дела в Париже. Так как Анна его тоже любила, то Скюдери и не думала ставить какие-либо препятствия браку своей названной дочери. Молодые люди устроились очень хорошо и жили долго в полном мире и согласии, заботясь о воспитании родившегося им на радость единственного сына, удивительно походившего на мать.

Маленького Оливье Скюдери просто боготворила. Целые дни проводила она с ним, лаская и балуя его всеми способами. Мальчик сам привязался к ней необыкновенно и любил ее не меньше, чем родную мать. Три года протекли в полном довольстве и покое для маленького кружка, но скоро потом конкуренция с многими поселившимися в Париже часовщиками уменьшила мало-помалу число заказчиков Брюссона до такой степени, что уже с трудом мог он зарабатывать даже на то, чтобы скудно прокормить свою семью. Это еще более подогрело его постоянное желание переселиться со всей семьей в его родную Женеву, что он и исполнил, несмотря на то, что Скюдери была решительно против этого и всячески уговаривала Брюссона остаться в Париже, обещая посильную помощь. Анна, после переселения, написала несколько писем своей благодетельнице, но затем постепенно переписка прекратилась, из чего Скюдери заключила, что, верно, вся семья жила настолько счастливо, что совершенно забыла свои прежние дни.

Двадцать три года прошло с того дня, как Брюссон покинул со своей семьей Париж и переселился в Женеву.

-- Боже! Боже! -- с неизъяснимой горечью воскликнула Скюдери, придя немного в себя. -- Ты -- Оливье? Сын моей Анны! и вот теперь!..

-- Я хорошо понимаю, добрая моя благодетельница, -- ответил Оливье, -- каково вам видеть, что тот, кого вы любили ребенком как нежная мать, качали на своих коленях, баловали лакомствами, явился перед вами обвиненный в ужасном злодействе. *Chambre ardente* имеет полное основание считать меня преступником, но я клянусь вам, что

если даже придется мне умереть от руки палача, все-таки умру я чистым и невиновным в преступлении, потому что не от моей руки погиб несчастный Кардильяк.

Слова эти Оливье произнес дрожа и едва удерживаясь на ногах. Скюдери молча указала ему на стул, стоявший в стороне, на который он опустился в полном изнеможении.

-- Я имел время подготовиться к свиданию с вами, -- так начал Оливье снова. -- И постарался запастись спокойствием и твердостью, насколько мог, чтобы воспользоваться этой, выпрошенной мною милостью неба и рассказать подлинную историю моих несчастий. Будьте же милосердны и вы, выслушав меня терпеливо, а главное -- спокойно, так как тайна моя такого рода, что может привести в ужас хоть кого своей неожиданностью. О, если бы мой несчастный отец, думаю я теперь невольно, никогда не уезжал из Парижа! Немногое, что я помню о нашей женевской жизни, сводится к воспоминаниям о горе и слезах, постоянно проливавшихся моими родителями. Уже позднее я осознал и понял, в какой страшной бедности мы жили, какие тяжелые лишения терпели. Отец мой обманулся во всех своих ожиданиях. Подавленный рядом неудач, скончался он, едва успев пристроить меня учеником к одному золотых дел мастеру. Мать моя часто говорила мне о вас, даже собиралась обратиться к вам с просьбой о помощи, но постоянно удерживалась робостью, всегдашней спутницей нищеты. Ложный стыд лишал ее сил исполнить это намерение, и через несколько месяцев после смерти моего отца последовала за ним и она в могилу.

-- Анна! Бедная Анна! -- в слезах воскликнула Скюдери.

-- Нет не жалеть ее должно, -- горячо возразил Оливье, -- а скорее благодарить Бога за то, что Он допустил ее умереть прежде, чем увидела бы она позорную казнь своего сына! -- при этом он с тоскою взглянул на небо.

В эту минуту шум раздался за дверями: то там, то здесь слышались мерные шаги.

-- Ого! -- с горькой усмешкой заметил Оливье. -- Это Дегре осматривает свою стражу! Он, кажется, боится, что я могу убежать отсюда! Однако продолжу... Хозяин, которому отдали меня в ученье, обращался со мной сурово, несмотря на то что я делал быстрые успехи и скоро превзошел в искусстве его самого. Однажды какой-то незнакомец явился в мастерскую для покупки драгоценностей. Увидя ожерелье моей работы, он пришел в совершенный восторг и сказал, дружески потрепав меня по плечу: "Вот, молодой человек, поистине отличная работа! Я думаю лучше вас умеет делать золотые вещи разве только Рене Кардильяк, бесспорно считающийся первым ювелиром на свете. Вот к кому бы поступить вам в ученики. Он, уверен я, примет вас охотно, потому что кроме вас вряд ли кто-нибудь может быть ему

настоящим помощником. Да и вы сами, если хотите чему-нибудь научиться, можете сделать это только у Кардильяка". Эти слова глубоко запали в мою душу. Непреодолимая сила гнала меня вон из Женевы. Наконец, удалось мне уйти от моего хозяина и приехать в Париж. Кардильяк принял меня очень холодно, но я не пришел в отчаяние и попросил поручить мне какую-нибудь работу, хотя бы самую ничтожную. Он дал мне сделать небольшой перстень. Когда я принес ему готовую вещь, то увидел, что глаза его засверкали, точно он хотел пронзить меня ими насквозь. "Ну! -- заговорил Кардильяк. -- Вижу, что ты умелый подмастерье и что, действительно, можешь быть мне хорошим помощником. Платить тебе буду я исправно и ты останешься мною доволен!" Слово свое он сдержал. Несколько недель прожил я у него, ни разу не видав Мадлон, которая гостила, если я не ошибаюсь, в деревне у своей кормилицы. Но, наконец, она возвратилась. Что почувствовал я, увидев этого ангела, я не берусь описывать. Никогда ни один человек не любил так, как люблю ее я! А теперь! О Мадлон! Мадлон!

Оливье не мог продолжать и, закрыв обеими руками лицо, рыдал как ребенок. Сделав невероятное усилие, успел он овладеть собой и продолжил:

-- Мадлон почувствовала расположение ко мне с первого свидания. Все чаще и чаще стала она приходить в мастерскую. Как ни зорко следил за нами Кардильяк, но порой тихое рукопожатие и беглый взгляд делали свое дело. Союз был заключен без ведома отца. Я надеялся добиться независимого положения, а потом, пользуясь расположением к себе Кардильяка, попросить руки Мадлон. Однажды утром, в ту минуту, как я собирался приняться за работу, Кардильяк вошел ко мне в комнату с гневным взглядом и презрительно сказал: "Ты мне больше не нужен. Можешь сейчас же убираться вон из моего дома и прошу не возвращаться сюда более никогда. Причины моего решения объяснять тебе я не буду. Скажу одно, что для такой дряни, как ты, виноград, к которому вздумал ты протянуть руку, висит слишком высоко". Я хотел возразить, но он схватил сильными руками меня за плечи и вытолкнул вон, так что я, скатившись с лестницы, больно расшиб себе руку и голову. Вzbешенный донельзя, с растерзанным сердцем, покинул я дом и нашел приют у одного доброго знакомого, жившего в Сен-Мартенском предместье, радушно предложившего мне стол и свой чердак. С той минуты покой и мир оставили меня без возврата. Ночью прокрадывался я к дому Кардильяка в надежде, что Мадлон, услышав мои вздохи и слезы, может быть, покажется в окне своей комнаты и скажет мне два-три ободряющих слова. Тысячи сумасброднейших планов рождались в моей голове, на исполнение которых надеялся я склонить Мадлон. К дому Кардильяка на улице Никез примыкает старая стена с нишей, в

которой помещена каменная статуя. Однажды ночью стоял я возле нее и смотрел на окно дома, выходящее во двор, находившийся за стеной. Вдруг увидел я свет, мелькнувший в окне мастерской. Была полночь. Кардильяк никогда не работал в это время, потому что привык ложиться в девять часов. Какое-то боязливое предчувствие охватило мне грудь. Не знаю почему, но мне казалось, что я буду свидетелем чего-то необычайного. Свет исчез. Я плотно прижался к стене, к одному из каменных изваяний. Но каков же был мой ужас, когда вдруг увидел я, что статуя, возле которой я стоял, начала двигаться. Мертвый камень повернулся. В ночном полусумраке увидел я ясно, что в стене открылась дверь, через которую прошла на этот раз уже, безусловно, живая темная фигура и направилась тихими шагами вдоль по улице. Я невольно отскочил от места, где стоял. Статуя приняла прежнее положение. Тогда, точно толкаемый невидимой силой, тихо пошел я вслед за загадочным незнакомцем. Он остановился ненадолго около статуи Богородицы, причем свет горевшей лампадки упал прямо ему в лицо. Это был Кардильяк! Неизъяснимый страх охватил мое сердце. Как завороченный, пошел я вслед за лунатиком, каковым счел его в ту минуту несмотря на то, что время полнолуния, когда эти несчастные имеют обыкновение бродить по ночам, уже прошло. Пройдя немного, Кардильяк вдруг исчез в тени, но по звукам его шагов я догадался, что он намеренно спрятался в воротах одного из домов. "Что это значит? Что же это может быть?" -- тщетно спрашивал я сам себя. Остановившись у стены, я стал наблюдать за тем, что будет дальше. Вдруг послышался звон шпор, и вслед затем какой-то мужчина, беззаботно напевая, оказался на улице. Едва поравнялся он с воротами дома, как вдруг Кардильяк, выскочив из своей засады, как тигр, ринувшийся на добычу, напал на незнакомца и в тот же миг свалил его на землю. С криком ужаса бросился я вперед и увидел, что Кардильяк, нагнувшись к убитому, его обшаривал. "Хозяин! Что вы делаете?" -- невольно вырвалось из моей груди. -- "Проклятье!" -- неистово крикнул Кардильяк, вскочив на ноги с быстротой молнии и исчез в темноте. Дрожа всем телом, вне себя от ужаса, приблизился я к человеку, поверженному на землю, встал возле него на колени в надежде, что успею еще, может быть, его спасти. В страхе я даже не заметил, как был окружен сбежавшейся стражей. "Опять убитый! -- раздались голоса. -- А ты молодой человек, что тут делаешь?.. Или ты тоже из их шайки?.. Взять его!" Потрясенный, едва мог я проговорить в ответ, что никогда не занимался такими злодейскими делами, что присутствовал при убийстве совершенно случайно и потому прошу отпустить меня домой. Тут один из стражников осветил мне лицо фонарем и, узнав кто я, воскликнул: "Да это же Оливье Брюссон! Подмастерье почтенного Кардильяка. Ну этот уж, конечно, не станет резать прохожих на улицах, да и по правде сказать, не в обычае мошенников причитать над

трупом, чтобы их легче было словить. Рассказывай-ка, юноша, как это все было! говори смело!" -- "Как раз на моих глазах, -- сказал я, -- выскочил из ворот дома какой-то человек, напал на несчастного и скрылся быстрее молнии, услышав мой крик, а я подбежал посмотреть нельзя ли помочь раненому". -- "Нет, сынок! -- воскликнул один из поднимающих тело. -- Помощь тут не нужна; он убит ударом прямо в сердце. Дьявол! Мы опять опоздали, как и третьего дня!". И они удалились, унеся с собой труп.

Оставшись один, я не знал, верить ли тому, что слышал и видел? Мне казалось, что мне приснился ужасный сон, от которого я каждую минуту жаждал проснуться и убедиться, что все это один тяжелый обман. Кардильяк, отец моей Мадлон -- гнусный убийца! Оглушенный, подавленный этой мыслью, почти без чувств, сел я на ступени одного дома. Утро между тем начало заниматься. Вглядываясь, заметил я, что на мостовой, как раз возле меня, лежала офицерская шляпа, богато украшенная перьями; несомненное доказательство преступления Кардильяка было, таким образом, перед моими глазами. В ужасе убежал я прочь от страшного места.

Придя домой, долго просидел я на своем чердаке, все еще не будучи в состоянии собраться с мыслями. Вдруг дверь комнаты отворилась -- и на пороге явился сам Кардильяк! "Что вам от меня надо, во имя самого неба?" -- громко крикнул я, когда его увидел. Но он, на обращая никакого внимания на мой вопрос, приблизился ко мне со своей обычной, неприятной улыбкой, еще более усиливавшей мое к нему отвращение и, придвинув старую, поломанную табуретку, сел напротив меня. Я чувствовал, что не имею сил подняться и остался лежать на своем соломенном тюфяке. "Ну что, Оливье! -- начал так Кардильяк. -- Как поживаешь, бедняга? Признаюсь, я немного сурово поступил с тобой, прогнав от себя прочь, и теперь чувствую, что мне недостает тебя на каждом шагу. У меня как раз есть работа, с которой без тебя я никак не могу сладить. Что если бы ты согласился вернуться ко мне опять? Ты молчишь? колеблешься? Впрочем, я знаю сам, что тебя обидел. Но что делать! Меня сильно взбесили твои шашни с моей Мадлон. Теперь, однако, я зрело обдумал этот вопрос и решил, что при твоём искусстве и трудолюбии мне незачем и желать лучшего зятя. Воротись же ко мне, мой славный малый, и постарайся заслужить Мадлон".

Слова Кардильяка пронзили мне сердце; до того был я поражен его злодейством и лицемерным хладнокровием. "Ты все еще колеблешься! -- продолжал Кардильяк, вперив в меня пронзительный взгляд своих сверкавших глаз. -- Может быть, у тебя другое на уме? Не собираешься ли ты вместо того, чтобы пойти со мной, отправиться к Дегре, Аржансону или Ла-Рени? Берегись, юноша! Смотри, чтобы тебе самому не попасть в яму, которую ты роешь другим, и не переломать

кости!" Тут я не выдержал и воскликнул: "Пусть эти имена будут страшны тому, кто чувствует на своей душе какое-нибудь злодейство, но мне до них дела нет!" -- "Совершенно так, -- сказал Кардильяк, -- ты уже за большую честь должен считать, что будешь принят подмастерьем в мастерскую такого искусного и притом глубоко уважаемого за свою честность хозяина, а потому всякая на него клевета упадет на голову самого клеветника. Что до Мадлон, то ты должен знать, что теперешней моей благосклонностью обязан исключительно ей. Бедняжка любит тебя до безумия, и я ничего не мог с ней поделать. Едва ты ушел, она бросилась к моим ногам, обняла мои колени и, обливаясь слезами, объявила, что не может без тебя жить. Я сначала думал, что это просто блажь влюбленной девчонки, готовой, подобно им всем, хоть сейчас же на смерть при первой улыбке смазливой паренька. Но, однако, Мадлон не унималась, а, напротив, начала худеть и чахнуть с каждым днем и в припадках лихорадки то и дело повторяла твое имя. Что оставалось мне тут делать, если я не хотел ее гибели? Наконец, вчера вечером решился я сказать ей, что на все согласен и сегодня же приведу тебя обратно. Посмотрел бы ты, как она после этого расцвела и похорошела за одну ночь и с каким нетерпением желает тебя увидеть!" Не знаю, проститься ли мне когда-нибудь мой поступок, но дело кончилось тем, что я, забыв себя, тотчас же побежал в дом Кардильяка; там встретил мою Мадлон, в восторге повторявшую только: "Оливье! Оливье! Милый мой Оливье!". Обняв, прижал я ее к своей груди, целовал без счета и, наконец, дал клятву всем святым, что только существуют на свете, никогда с ней не расставаться.

Расстроенный воспоминаниями, вызванными рассказом, Оливье должен был остановиться. Скюдери, пораженная открытием, что человек, которого считала она олицетворенной честностью и добродетелью, оказался таким презренным злодеем, могла только воскликнуть:

-- Ужасно! Итак, Рене Кардильяк принадлежит к шайке грабителей, превративших наш Париж в вертеп разбойников!

-- Что вы сказали? -- прервал ее Оливье. -- Шайке грабителей? Ее нет и никогда не было! Кардильяк один, один, без всяких помощников, не зная усталости, совершал в городе все эти убийства. Потому становится понятной тщетность всех усилий поймать и обличить убийцу. Но позвольте мне продолжить, и тогда вы увидите сами, в какие тенета злой рок впутал меня, несчастнейшего из людей! Можно легко себе представить отношения, которые должны были возникнуть между мной и моим хозяином. Но шаг был сделан, и возвратиться назад я не мог. Иногда мне казалось, что я, скрывая эти ужасы, делался сам соучастником Кардильяка в его злодействах, и тогда одна любовь к Мадлон могла хоть несколько ободрить меня и утешить. Только в ее присутствии рассеивался немного тот вечный страх, под гнетом

которого я жил. Работая с Кардильяком в мастерской, я не смел взглянуть ему в лицо.

Неизъяснимый ужас сковывал мой язык при виде этого страшного человека, умевшего так лицемерно разыгрывать днем роль честного горожанина и нежного отца, а ночью совершать кровавые преступления. Мадлон, этот чистый, безгрешный ангел, любила отца до безумия, и я невольно содрогался при мысли, что будет с ней в тот день, когда откроется все и дьявольская пелена, заслонявшая ей глаза, спадет сама собой. Уже эта одна мысль способна была заставить меня молчать и сделаться укрывателем преступника. Хотя из слов стражников я мог догадываться о многом, но все-таки причина и способ совершения Кардильяком злодейств оставались для меня загадкой. Объяснение не заставило долго себя ждать. Однажды Кардильяк в противоположность своему всегдашнему веселому настроению, которым он, видимо, старался рассеять мое к нему отвращение, сделался вдруг серьезен и угрюм. Занятый работой, вдруг бросил он на стол молоток и отделяваемые им вещи, так что золото и бриллианты рассыпались по полу, встал передо мной со сложенными на груди руками и сказал: "Оливье! Так больше не может продолжаться! Случай открыл тебе то, чего не могла открыть вся хитрость Дегре и его сыщиков. Ты застал меня за ночной работой, к которой влечет меня моя злая звезда, властвующая надо мной безгранично. Та же власть, уверен я, соединила нас теперь. Ты во многом похож на меня. Шаг твой, подобно моему, тих и неслышен, как у кошки, так что даже я, при моем чутком слухе и зрении, с которыми не хуже тигра слышу на улице малейший шорох и жужжание комара, не мог тебя заметить в ту ночь. Потому я повторяю, что одна общая наша судьба назначила тебя быть моим помощником. Изменить мне ты в теперешнем твоём положении не можешь, и потому я могу открыть тебе все". -- "Никогда не буду я твоим помощником, проклятый злодей!" -- так хотел я воскликнуть, но ужас, внушенный словами Кардильяка, сдавил мне горло. Невнятное восклицание было все, что я мог произнести. Кардильяк уселся в свое рабочее кресло, вытер пот, выступивший у него на лбу и, точно подавленный каким-то тяжелым воспоминанием, продолжил так: "Ученые люди рассказывают, что неожиданные внешние впечатления, полученные беременными женщинами, часто оказывают удивительное влияние на будущего ребенка. С моей матерью, когда она была на первом месяце беременности, случилось одно приключение. Однажды она в толпе зрителей присутствовала на одном великолепном придворном празднике в Трианоне, и вдруг ее взгляд упал на богато одетого красавца в испанском платье, с такой великолепной золотой цепью с бриллиантами, что блеск их и красота невольно приковали ее внимание. Когда она глядела на эти сверкающие камни, ей казалось,

что в них заключается счастье и блаженство всей ее жизни. Испанец этот за несколько лет перед тем, когда мать моя еще не была замужем, сильно ею интересовался, но бесчестные его попытки были отвергнуты ею с презрением. Мать моя тотчас узнала его в этот вечер, и на этот раз в блеске сверкавших бриллиантов показался он ей каким-то высшим существом и олицетворением самой красоты. Испанец заметил произведенное им на мою мать впечатление и подумал, не будет ли он счастливее на этот раз. Подойдя к ней, сумел он отвлечь мою мать окружавших и увести с собой в уединенное место в саду. Оставшись наедине, вдруг неистово схватил он ее и заключил в свои объятия. Мать моя, потрясенная и не понимавшая сама, что делает, крепко схватилась за висевшую на его шее цепь. Но вдруг кавалер ее, пошатнувшись, упал и, падая, увлек в своем падении на землю и ее. Один Бог знает, что с ним случилось, но довольно сказать, что он умер в одно мгновение, словно пораженный каким-то ударом. Тщетно пыталась мать вырваться из окостеневших рук покойника. Холодный и мертвый лежал он с открытыми глазами, вперив их прямо в лицо моей матери. Пронзительный ее крик о помощи достиг, наконец, ушей гулявших в отдаленных аллеях зрителей праздника. Сбежавшиеся люди сумели освободить мою мать от объятий страшного любовника. Ужасное это приключение подействовало на нее до того сильно, что в тот же день слегла она в постель, и искуснейшие доктора долгое время думали, что, по крайней мере, для ребенка все было кончено. Однако мать моя не только выздоровела, но даже роды впоследствии прошли благополучнее, чем можно было ожидать. И все же страх, пережитый матерью в тот ужасный день, наложил свой отпечаток на меня. Злая моя звезда возшла в самый момент моего рождения и распалила во мне своими лучами губительную страсть. С самых юных лет блеск бриллиантов и золота стал производить на меня какое-то страшное и чарующее впечатление. Сначала думали, что это просто детское пристрастие к блестящим игрушкам, но годы отрочества доказали обратное. Я стал красть золото и камни, где только мог. С каким-то непостижимым инстинктом научился я сам собой отличать настоящие драгоценности от поддельных не хуже опытного знатока. Настоящее золото тянуло меня к себе еще издали, тогда как поддельное не оказывало на меня никакого влияния. Никакие меры строгости, употреблявшиеся моим отцом, не могли погасить во мне этой неодолимой страсти. Только для того, чтобы постоянно быть около золота, выбрал я ювелирное искусство своим ремеслом. Прилежание и труд скоро поставили меня в один ряд с первыми золотых дел мастерами в столице, и тут страсть моя, не удерживаемая более ничем, доросла до таких размеров, против которых уже ничего нельзя было сделать. Едва отдавал я заказчику оконченный мною драгоценный убор, как какая-то адская, невыносимая тоска, лишавшая меня покоя,

сна и здоровья, овладевала всем моим существом. Точно призрак, стоял перед моими глазами днем и ночью в блеске моих бриллиантов человек, которому я их отдал, и какой-то ужасный голос шептал мне постоянно: "Возьми!.. возьми!.. они твои!.. мертвым не нужны уборы". Подавляемый этим неодолимым влечением, стал я сначала воровать мои драгоценности. Имея благодаря своему ремеслу доступ в дома вельмож и богатых людей, скоро научился я пользоваться любыми обстоятельствами, чтобы овладевать их бриллиантами. Никакой замок не мог устоять против моей ловкости и искусства, и мало-помалу успел я таким образом возвратить большинство сделанных мной вещей. Но и это меня не удовлетворило! Прежний голос, точно издеваясь надо мной, опять стал звучать в моих ушах. "Хо! хо! -- слышалось мне постоянно. -- Уборы твои носят мертвые!" Страшная, неутолимая ненависть закипала в моей душе против всех, для кого я трудился. Каждого хотелось мне убить во что бы то ни стало и хотелось так, что иногда я сам ужасался этой возникавшей во мне тяги. Около этого времени купил я этот дом. Сделка сблизила меня с продавцом, и вот однажды вздумали мы отпраздновать покупку. Сидели мы в этой комнате за бутылкой вина. Наступила ночь, и я уже думал, что пора бы разойтись, как вдруг прежний владелец дома сказал: "Послушайте, Кардильяк, пока вы не ушли, я должен сообщить вам один секрет, касающийся вашего нового дома". И с этими словами отворил он этот, вделанный в стену шкаф, надавил пружину в задней доске, после чего она отворилась, и мы очутились в большой комнате со спускной дверью в полу. Он ее поднял, и оба мы, спустясь по узкой, витой лестнице, остановились перед потайной дверью, выходившей прямо во двор. Пройдя через него до каменной стены, отделявшей двор от улицы, бывший хозяин дома поднял небольшой, искусно скрытый в камне засов, при этом часть стены, вдруг повернувшись на петлях, открыла небольшой проход, достаточный, чтобы пройти человеку. Я тебе покажу эту лазейку, устроенную, вероятно, монахами, обитателями этого, бывшего прежде монастырем, здания для того, чтобы незаметно отлучаться по ночам для своих проказ. Дверь эта деревянная, и только была оштукатурена и выкрашена под камень, а снаружи прислонена к ней была тоже деревянная, сделанная наподобие каменной статуя, поворачивающаяся на петлях вместе с дверью. Открытие это меня поразило! Казалось, сама судьба устраивала все, чтобы дать мне возможность удобнее совершать мои тогда еще не вполне созревшие замыслы. Незадолго перед тем сделал я бриллиантовый убор для одного придворного, который предназначал его в подарок оперной танцовщице. Рой адских, невыносимых мук овладел моей душой, едва отдал я мою работу! Владелец убора стал преследовать меня в моих видениях, точно призрак! А страшный голос шептал прежние слова! Шатаясь, весь дрожа, возвращался я домой и

бросался на постель. Но сон не приходил. Мне все чудился этот человек и как он ночью прокрадывается с моим украшением к своей танцовщице. Наконец, не выдержав, в бешенстве вскочил я однажды с постели, накинул плащ, спустился по потаенной лестнице и вышел на улицу Никез. Вижу, идет мой мучитель. Одним прыжком накинулся я на него и убил сразу ударом кинжала прямо в сердце. Сокровище было в моих руках. Неизъяснимый покой и счастье разлились в моей душе, едва кончил я это дело. Преследовавший меня призрак исчез, и проклятый голос перестал шептать свои дьявольские советы. Тут понял я, что мне оставалось или следовать по пути, который указывала мне моя злая звезда, или погибнуть. Теперь ты знаешь все, Оливье! Не думай, что принужденный к таким поступкам, я отказался совершенно от чувств сожаления и милосердия, присущих человеческой душе. Ты видел сам, как неохотно отдаю я мою работу и как упорно отказываюсь делать что-нибудь для лиц, чьей смерти я не желаю. Иногда даже, поборов жажду смерти, я стараюсь только оглушить моих врагов ударом кулака, лишь бы овладеть обратно моей драгоценностью".

Кончив свою исповедь, Кардильяк свел меня в свою кладовую и показал собранные им драгоценности. Ручаюсь, что такого собрания нет у самого короля. К каждой вещи прикреплена у него бумажка с надписью, для кого вещь сделана, а также в какой день и каким способом -- воровством, грабежом или убийством -- возвращена назад. "В день твоей свадьбы, -- сказал Кардильяк, обратясь ко мне глухо и мрачно, -- должен ты будешь поклясться мне с рукой, положенной на Распятие, что после моей смерти превратишь все эти драгоценности в порошок с помощью средства, которое я тебе укажу. Я не хочу, чтобы кто-либо на свете, а всего менее Мадлон или ты, владели этими, купленными ценою крови вещами". Опутанный этой ужасной сетью злодейства, терзаемый чувствами любви и отвращения, счастья и ужаса, стал я похож на того приговоренного к вечным мукам, которому постоянно улыбался светлый ангел, в то время как сатана рвал и душил его своими калеными когтями, так что ангельская улыбка только отягощала его мучения. Мысль о бегстве и даже о самоубийстве часто приходила мне в голову. Но Мадлон!.. Вы можете строго порицать меня, сударыня, за мою слабость, за мое бессилие побороть страсть, приковавшую меня к такому ужасному преступлению, но разве я уже не наказан, и даже слишком жестоко, тем положением, в котором теперь нахожусь?..

Однажды Кардильяк вернулся домой в особенно веселом настроении духа. Он шутил с Мадлон, смотрел на меня с самым дружеским взглядом, выпил за столом бутылку хорошего вина, что позволял себе только в праздник, распевал песни, словом, казался счастливым и довольным вполне. После ухода Мадлон в свою комнату, я хотел пойти в мастерскую, но Кардильяк меня остановил, весело крикнув: "Сиди,

юноша, сиди! Сегодня работы не будет; я хочу выпить вместе с тобой за здоровье достойнейшей и почтеннейшей особы в целом Париже!" Выпив с этими словами залпом полный стакан вина, Кардильяк продолжал: "Скажи-ка Оливье, как нравится тебе этот стишок:

*Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour?*

И затем рассказал он мне все, что произошло между вами и королем в комнатах маркизы Ментенон, прибавив, что с этой минуты стал он уважать вас более всех на свете, и что злая звезда не заставила бы его поднять против вас руку, даже если бы вы носили драгоценнейший из сделанных им уборов. "Слушай, Оливье, -- продолжил Кардильяк, -- что я решил. Давно уже заказаны были мне ожерелье и браслеты для Генриетты Английской из моих собственных камней. Работа вышла удачнее всего, что я делал до сих пор, но мысль расстаться с этим сокровищем моего сердца терзала и мучила меня невыразимо. Скоро потом принцесса была злодейски убита, и бриллианты остались, таким образом, в моем владении. Теперь хочу я поднести их в знак моего уважения госпоже Скюдери от имени преследуемой шайки грабителей. Этим думаю я угодить ей и в то же время посмеяться над Дегре с его сыщиками. Тебе поручаю я отнести к ней убор". Едва Кардильяк назвал ваше имя, я почувствовал, что точно темная пелена спала с моих глаз и передо мной во всей живости и красоте восстали светлые годы моего детства. Луч радостной надежды, перед которым исчез мучивший меня тайный призрак, внезапно зажегся в моем сердце. Но Кардильяк по-своему понял выразившуюся на моем лице радость." Мысль моя, -- сказал он, -- кажется, тебе понравилась; я чувствую, что внутренний голос, побуждающий меня к этому поступку, далеко не тот, который, точно свирепый зверь, толкает меня на убийство. Со мной иногда бывают странные вещи. Порой какой-то тайный ужас, приносящийся, чудится мне, из какого-то нездешнего далека, овладевает всем моим существом, и в эти минуты кажется мне, будто моей душе может быть поставлено в вину то, что злая моя звезда совершает моими руками все эти злодеяния, пусть даже помимо моей воли. Однажды пребывая в таком настроении духа, решил я сделать бриллиантовую корону и пожертвовать ее для статуи Богородицы в церкви святого Евстахия. Но намерение это только удвоило чувство того страха, о котором я говорил, и невольно пришлось мне отказаться от моей мысли. Теперь же кажется мне, что, подарив бриллианты Скюдери, я тем принесу очистительную жертву на алтарь добродетели и благочестия, замолив и мои собственные грехи". Кардильяк был хорошо знаком с образом жизни, который вы ведете, и потому дал мне подробнейшие наставления, когда и как передать вам бриллианты,

бережно положенные им в изящный ящик. Что до меня, то я был в полном восторге, восхищенный мыслью, что через преступного Кардильяка небо указывало мне путь к моему собственному избавлению из того ада, в котором я, закоренелый грешник, пресмыкался до сих пор. Я хотел во чтобы то ни стало видеть вас самих, хотя это и не входило в намерения Кардильяка. Мысль броситься к вашим ногам, назвать себя сыном Анны Брюссон, вашим воспитанником, во всем вам сознаться -- овладела мной совершенно. Я знал, что из сочувствия к безгранично несчастной Мадлон, вы умолчали бы о преступлениях ее отца, открытие которых грозило бедой и ей; но в то же время был уверен, что утонченный ваш ум нашел бы средство пресечь дальнейшие злодеяния Кардильяка, не предавая его в руки правосудия. Я не спрашивал себя, каким способом можно было это сделать, но доволен того, что верил твердо в то, что вы спасете меня и Мадлон! Верил, как верят в заступничество Богоматери. Вы знаете, что намерение мое в известную вам ночь не удалось, но я не потерял надежды быть счастливее в другой раз. Между тем заметил я, что Кардильяк стал внезапно опять молчалив и печален. Угрюмо бродил он по комнатам, ворчал себе под нос какие-то непонятные слова, беспрерывно размахивал руками, точно старался отстранить от себя невидимого врага, и вообще казалось, что ум его терзали недобрые мысли. Однажды, проводя в подобном настроении целое утро, сел он за свой рабочий стол, но вдруг вскочил, выглянул в окно и затем проворчал глухо и мрачно: "Очень бы мне хотелось, чтобы убор мой достался Генриетте Английской!" Слова эти наполнили мне душу невыразимым страхом. Я догадался, что злой дух обуял его снова и что дьявольский голос опять стал нашептывать ему мысли об убийстве. Я видел, что жизнь ваша в опасности, но знал также, что вы спасетесь, если Кардильяку удастся получить обратно свои бриллианты. Между тем опасность росла с каждой минутой, и времени терять было нельзя. Тогда счастливый случай сделал так, что я встретил вашу карету на Новом мосту. Протолкавшись через толпу, бросил я в окно кареты записку, в которой умолял возвратить убор Кардильяку. Вы этого не сделали в тот день, а на следующее утро страх мой удвоился, так как Кардильяк только и говорил, что о своих бриллиантах, которые, по его словам, снились ему целую ночь. Слова его могли относиться исключительно к посланному вам убору, и я был убежден, что кровавый замысел, вполне созревший в его голове, будет им исполнен в эту ночь. Я решился вас спасти хотя бы ценой жизни самого Кардильяка. Едва успел Кардильяк вечером прочесть по обыкновению свою молитву, я быстро спустился через окно во двор, прошел сквозь скрытую в стене дверь и притаился в тени дома. Вскоре увидел я Кардильяка, тихо кравшегося по улице, и незаметно пошел за ним. Он направился прямо к улице Сент-Оноре. Сердце во мне так и

дрогнуло. Кардильяк между тем внезапно скрылся из моих глаз. Я решил забежать вперед и встать у дверей вашего дома, как вдруг на улице показался какой-то человек, весело распевавший, точь-в-точь как это было в ту ночь, когда случай сделал меня свидетелем преступления Кардильяка. Незнакомец, оказавшийся на этот раз каким-то молодым офицером, поравнялся со мной и прошел мимо, меня не заметив. Вдруг какая-то черная тень, выскочив из-за угла, бросилась прямо на него. Это был Кардильяк! В этот раз хотел я помешать убийству во что бы то ни стало и с громким криком бросился на место преступления, но, добежав, увидел, что на земле вместо офицера лежал раненный насмерть сам Кардильяк. Офицер бросил кинжал и, выхватив шпагу, приготовился защищаться, вероятно, сочтя меня за сообщника убийцы. Видя, однако, что я, не заботясь о нем, кинулся к телу, он оставил меня в покое и скрылся в темноте. Кардильяк еле дышал. Спрятав брошенный офицером кинжал, я взвалил раненого на плечи и с трудом, едва передвигая ноги под тяжелой ношей, успел притащить его через потайной ход в мастерскую. Остальное вам известно, и вы видите, что мое преступление состоит только в том, что я, не решаясь предать в руки правосудия отца моей Мадлон, умышленно умалчивал о его преступлениях. Сам я неповинен в пролитой крови, но повторяю, что никакая пытка не принудит меня обвинить перед судом Кардильяка. Я не хочу, чтобы злодейство отца упало черным пятном на голову невинной дочери, испортив всю ее будущую жизнь из-за того прошлого, в котором она неповинна! Не хочу, чтобы людская месть вырвала из земли мертвый труп и чтобы палач позорно сжег успокоившиеся уже кости! Пусть лучше та, которую я люблю, оплатит меня, как невинную жертву. Эту скорбь может еще унести время, но я буду знать, что вечный позор не покроет ее головы при воспоминании об адских злодействах отца.

Оливье замолчал. Неудержимый поток слез хлынул из его глаз, и, со стоном упав к ногам Скюдери, воскликнул он раздирающим душу голосом:

-- Убеждены ли вы в моей невинности?.. О скажите! Скажите!.. Сообщите мне что-нибудь о Мадлон!

Скюдери позвала Мартиньер, и через минуту Мадлон лежала в объятиях Оливье.

-- Теперь все хорошо! Ты здесь, и я спокойна! Я знала, что она нас спасет! -- так восклицала Мадлон, и, казалось, сам Оливье, слушая ее, забыл о своей страшной участи, утопая в блаженстве и счастье. Оба наперебой рассказывали друг другу, как тяжело страдали они во время разлуки, и оба плакали от радости, что им так неожиданно удалось свидеться.

Если Скюдери не была до сих пор убеждена в невинности Оливье, то теперь, видя счастье и восторг обоих молодых людей, забывших все

свое горе и несчастья, убедилась она в ней окончательно. "Нет! -- невольно вырвалось из ее груди. -- Так блаженно забываться могут только чистые души!"

Светлое утро, занявшись, проникло в окна. Дегре тихо постучал в дверь комнаты и напомнил, что настало время Оливье отправляться назад, так как позднее можно возбудить неизбежное внимание толпы. Несчастливым молодым людям пришлось расстаться вновь.

Мрачные предчувствия Скюдери, появившиеся в ее душе с той минуты, как она увидела Оливье, претворились теперь в страшную действительность. Сын ее любимой Анны оказался невинно осужденным на позорную смерть -- и не было почти никакого средства его спасти! Она преклонялась перед мужественной решимостью Оливье лучше умереть, чем спастись ценой признания, которое могло бы погубить его Мадлон. Но как ни напрягала она все свои способности изыскать средство вырвать Оливье из рук жестоких судей, средства не находилось! Однако мысль спасти его во что бы то ни стало, чтобы предотвратить вопиющую несправедливость, твердо запала в ее душу. Тысячи планов, один другого фантастичнее, придумывались ею один за другим и отвергались также быстро, как и создавались. Надежда становилась с каждой минутой слабее и слабее, и Скюдери готова была почти впасть в отчаяние. А Мадлон между тем с трогательным детским доверием была убеждена, что все идет хорошо, что скоро обнимет она оправданного возлюбленного; мечтала, как будет его счастливой, любящей женой, так что, глядя на нее порой, и Скюдери как будто воскресала вновь в своих надеждах.

Для того чтобы предпринять, наконец, хоть что-нибудь, написала Скюдери длинное письмо к Ла-Рени, в котором говорила, что Оливье Брюссон самым убедительным образом доказал ей свою невинность в смерти Кардильяка и что только твердая решимость унести с собой в могилу одну тайну, которая могла бы разрушить покой и мир невинного существа, побуждала его так упорно скрывать перед судом признание, вполне достаточное, чтобы снять подозрение как в убийстве Кардильяка, так и в принадлежности к шайке злодеев. Письмо было проникнуто всем, что только могла придумать пламенная убежденность и мудрое красноречие, для того чтобы смягчить суровое сердце Ла-Рени. Через несколько часов был получен ответ последнего, в котором он писал, что сердечно радуется успеху, с которым Оливье успел оправдаться в глазах своей покровительницы; что же касается его геройской решимости унести с собой в могилу тайну, на которую Скюдери намекает, то Ла-Рени очень сожалеет, что *chambre ardente* не может принимать за добродетель подобную решимость и, напротив, собирается усиленными средствами ее побороть, чтобы попытаться этой скрываемой за ней тайны. В заключение Ла-Рени прибавил, что

через три дня он во любом случае надеется вывести на свет Божий все таинственные подробности этого дела.

Скюдери очень хорошо поняла, на что намекал Ла-Рени, говоря об усиленных средствах, с помощью которых надеялся он побороть решимость Оливье. Не было сомнения, что несчастный Оливье будет в тот же день подвергнут пытке. В тоске отчаяния думала она о том, нельзя ли добиться хотя бы небольшой отсрочки, и потому решила посоветоваться с кем-нибудь, знающим все тонкости судебных дел.

Пьер Арно д'Андильи был тогда знаменитейшим адвокатом в Париже. Его честность и добросовестность вполне равнялись его глубоким познаниям и уму. К нему отправилась Скюдери и рассказала все, насколько это было возможно, чтобы не выдать заветной тайны Брюссона. Она надеялась, что д'Андильи горячо примется за дело, чтобы защитить невиновного, но надежду ее постигло горькое разочарование.

Д'Андильи спокойно выслушал все и затем ответил с улыбкой стихом Буало: "Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable"*. Далее доказал он Скюдери, что тяготевшее над Оливье подозрение имело слишком основательные улики и что решение Ла-Рени никак нельзя было назвать слишком поспешным или несправедливым, так как поступив иначе, он нарушил бы свою обязанность судьи, и что, наконец, он сам, д'Андильи, очень мало доверял показаниям Оливье, видя в них только желание отклонить минуту пытки. Ход дела, по его словам, мог измениться только в том случае, если Брюссон или во всем сознается, или, по крайней мере, расскажет такие подробности убийства Кардильяка, которые обнаружат достаточно новых фактов, чтобы направить расследование в другую сторону.

** Правда иногда может быть неправдоподобной (франц.).*

-- Ну, если так, -- вне себя, вся в слезах, возразила Скюдери, -- то я брошусь в ногам короля и буду умолять его о милосердии.

-- Ради Бога, не делайте этого! -- воскликнул д'Андильи. -- Поберегите это средство для другого, более подходящего случая. Подумайте о том, что если оно вам не поможет сейчас, вы никогда больше не сможете к нему обратиться! Никогда король не согласится помиловать преступника такого рода, потому что этим может быть возбужден справедливый ропот в народе. Предоставьте Брюссону самому позаботиться о себе, если только признание его может действительно направить подозрение в другую сторону. Вот тогда можно будет вам обратиться к королю, потому что в руках его будет хоть какое-то основание для того, чтоб отменить приговор суда и решить дело по собственному убеждению.

Скюдери поневоле должна была согласиться с советом многоопытного адвоката. С глубокой печалью возвратилась она домой, тщетно взывая о помощи к Богородице и всем святым, прося наставить и научить ее, что делать для спасения несчастного Оливье. Поздно вечером сидела она в своей комнате, преследуемая все той же неотвязной мыслью, как вдруг вошедшая Мартиньер доложила, что граф Миоссан, полковник гвардии короля, желает видеть госпожу для того, чтобы переговорить по очень важному делу.

-- Извините, сударыня, -- так начал Миоссан, поклонившись с военной учтивостью, -- если я бесцеремонно являюсь к вам в такое позднее время. Мы солдаты к этому привыкли, и потому, надеюсь, вы извините и меня. Я пришел к вам по делу Оливье Брюссона.

-- Оливье Брюссона! -- воскликнула, встрепенувшись Скюдери. -- Этого несчастного? Скорее!.. скорее! Говорите, что вы о нем знаете!

-- Я угадал, -- с торжественной улыбкой ответил Миоссан, -- что стоит произнести это имя и мне сразу же будет обеспечен благосклонный прием. В виновности Брюссона уверен весь свет, но я знаю, что вы держитесь другого мнения, хотя мнение ваше, как мне сказали, основывается единственно на показаниях самого обвиняемого. Со мной же все совершенно иначе. Никто лучше меня не может засвидетельствовать невиновность Оливье в убийстве Кардильяка.

-- О, говорите, говорите! -- воскликнула с неизъяснимой радостью Скюдери.

-- Старый золотых дел мастер, -- продолжил Миоссан, -- убит мной самим на улице Сент-Оноре, неподалеку от вашего дома.

-- Вами?

-- Мной, и я прибавлю, что достойно горжусь этим поступком. Знайте, что Кардильяк был величайший злодей и что все совершенные в городе по ночам и оставшиеся безнаказанными убийства были делом его рук. Не знаю почему, но подозрение против него зародилось у меня с той самой минуты, как он с самым злым, мрачным видом принес мне заказанный мной убор, причем стал самым подробным образом хитро допытываться у моего камердинера, кому предназначались эти бриллианты и в какое время имел я обыкновение посещать эту особу. Давно уже казалось мне странным, почему все жертвы ночных убийств всегда погибали от одной и той же раны. Ясно было, что убийца привык наносить удар, если мог убивать человека наповал. Беда требовала соответствующего лекарства, и я удивляюсь, как простая мысль надеть на себя кирасу и таким образом спастись от удара не пришла никому в голову. Выйдя ночью, я действительно применил это средство. Кардильяк напал на меня сзади. Удар его был страшен, но кинжал соскользнул по стальному нагруднику. Быстро обернувшись, напал я на него в свою очередь и поразил прямо в сердце кинжалом, который держал наготове.

-- И вы об этом молчали! -- вскрикнула Скюдери. -- Вы не поспешили объявить об этом суду!

-- Позвольте вам заметить, -- прервал Миоссан, -- что подобное объявление, сделанное без всякой нужды, могло бы впутать в неприятнейший процесс меня самого. Ла-Рени и без того видит везде одни преступления. Что же было б, если бы он вздумал обвинять меня в убийстве честного, по его мнению, Кардильяка, этого образца всевозможных добродетелей? Что если бы меч правосудия вдруг обратился против меня самого?

-- Это невозможно, -- возразила Скюдери, -- ваше звание, ваше происхождение...

-- О, -- продолжал Миоссан, -- вспомните Люксембургского маршала, посаженного в Бастилию по подозрению в отравлении только за то, что он просил Лесажа составить его гороскоп. Нет, нет! Клянусь святым Дионисием, ни одним часом моей свободы не хочу я пожертвовать для бешеного Ла-Рени, готового ежеминутно перерезать горло каждому из нас!

-- Но ведь тогда невинный Брюссон погибнет из-за вас на эшафоте! -- сказала Скюдери.

-- Вы называете его невинным? -- прервал Миоссан. -- Невинным этого несомненного помощника и сообщника Кардильяка, сто раз заслужившего казнь! Нет, нет! Что касается его, то он, поверьте, умрет вполне справедливо и заслуженно! Если я открыл теперь вам все события в настоящем их виде, то, поверьте, сделал это только из глубокого к вам уважения и в надежде, что вы не захотите предать меня в руки *chambre ardente*, но, может быть, сумеете извлечь из моих показаний пользу для этого человека, которого вы взяли под свою защиту.

Скюдери, восхищенная тем, что невиновность Оливье доказывалась таким несомненным образом, не поколебалась ни на одну минуту просить графа отправиться с ней тотчас к д'Андилюи. Ему хотела она под секретом открыть все и посоветоваться, что следует предпринять.

Д'Андилюи, выслушав рассказ Скюдери, внимательно принялся расспрашивать все подробности дела и в особенности настаивал на вопросе, точно ли граф Миоссан уверен в том, что на него напал действительно Кардильяк, а также -- узнает ли он в Оливье Брюссоне человека, унесшего труп?

-- Я это подтверждаю безусловно, -- отвечал Миоссан, -- так как очень хорошо узнал при лунном свете старого ювелира, и кроме того, я видел у Ла-Рени кинжал, которым был убит Кардильяк. Кинжал этот принадлежит мне и отличается прекрасной резьбой на рукоятке. Лицо молодого человека, у которого, как теперь помню, свалилась шляпа, разглядел я также очень хорошо и, конечно, узнаю его с первого взгляда.

Д'Андильты подумал несколько минут, потупив взгляд, и сказал:

-- Вырвать Брюссона из рук правосудия обыкновенным путем нечего и думать. Он в любом случае не захочет обвинить Кардильяка уже ради своей Мадлон. Да если бы он даже это и сделал, доказав справедливость своих слов и указав потайную кладовую Кардильяка, где спрятаны награбленные сокровища, то все-таки суд должен будет приговорить его к смертной казни как сообщника. То же самое будет, если сделает свое признание и граф Миоссан, рассказав, каким образом на самом деле произошло убийство Кардильяка. Единственный счастливый исход из этого дела может последовать только тогда, если граф, отправясь немедленно в Консьержери, попросит позволения видеть Оливье Брюссона и затем объявит Ла-Рени, что, проходя по улице Сент-Оноре, он видел совершенное убийство, после чего, когда он стоял над трупом, к убитому подошел другой человек, наклонился, увидел, что раненый еще жив, и унес его с собой. В этом человеке граф должен признать Оливье Брюссона. Это показание вызовет необходимость очной ставки Оливье с графом, и пытка будет отсрочена до нового расследования. Тогда можно будет обратиться с просьбой о помиловании к королю, что ваш утонченный ум, сударыня, уверен я, исполнит со всей необходимой осторожностью и тактом. По моему, было бы самым лучшим открыть королю всю тайну. Показание графа Миоссан подтвердит признание Оливье, а кроме того, к этой цели может привезти и тайный обыск в доме Кардильяка. Вообще не суд, а единственно решение короля, основанное на внутреннем чувстве, что милосердие должно требовать пощады там, где судья обязан карать, сможет распутать это дело.

Граф Миоссан в точности исполнил этот совет, и дело пошло так, как предсказал д'Андильты.

Пришла, наконец, пора обратиться к королю, и это оказалось труднейшей задачей во всем деле, так как в голове Людовика, насколько он слышал об этом процессе, сложилось безусловное мнение о виновности Брюссона, которого он считал единственным виновником злодейств, повергавших весь Париж в страх и ужас. Король не мог даже говорить о нем без сильного гнева. Ментенон, верная своему правилу никогда не говорить королю о чем-нибудь неприятном, отвергла все просьбы о ходатайстве за Брюссона, и участь его, таким образом, осталась окончательно в руках Скюдери. После долгого раздумья, что же ей делать, решила она на одно предприятие, которое тотчас же привела в исполнение. Одевшись в черное шелковое платье и надев великолепный, доставшийся ей от Кардильяка убор, отправилась она к Ментенон как раз в такое время, когда там обыкновенно бывал король. Благородная ее осанка, удивительно выигрывавшая от великолепного наряда, возбудила невольное почтение даже в легкомысленной толпе челяди, наполнявшей

дворцовые передние. Все перед ней расступились, и даже сам король, встав с кресла, на котором сидел, сделал ей навстречу несколько шагов. Сверкающие бриллианты браслетов и ожерелья невольно бросились ему в глаза, и он не мог удержаться от восклицания:

-- Клянусь Богом, это бриллианты Кардильяка! -- А затем, обратясь с веселой улыбкой к Ментенон, прибавил: -- Смотрите, маркиза, как глубоко горюет наша прекрасная невеста о своем покойном женихе!

Скюдери, ухватясь за случай продолжить разговор в шутливом тоне, ответила:

-- Неужели, ваше величество, думаете вы, что опечаленная невеста станет заботиться о нарядах? Полноте! Я бы давно перестала и думать о покойном ювелире, если бы порой перед моими глазами не возникала вновь ужасная картина -- его труп, который проносят мимо меня.

-- Как! -- воскликнул король. -- Вы видели этого беднягу мертвым?

В ответ на это Скюдери рассказала в коротких словах всю виденную ей сцену перед домом Кардильяка после убийства, умолчав, однако, из осторожности об имени Оливье. В трогательных, живых красках изобразила она отчаяние Мадлон, рассказала, как удалось ей спасти несчастную девушку из рук Дегре под восторженное одобрение всей толпы, а затем, с возрастающим мастерством, полился рассказ о последующих сценах с Ла-Рени, с Дегре и, наконец, с самим Брюссоном. Король, живо заинтересованный прекрасным поэтическим изложением дела, в том виде, как его подавала Скюдери, и, позабыв совсем, что речь шла о том самом отвратительном Брюссоне, имени которого он не мог до того даже слышать, превратился весь в слух и внимание, и прежде чем успел он опомниться и привести в порядок свои мысли, Скюдери уже была у его ног с горячей мольбой о пощаде для Оливье.

-- Что вы делаете! -- воскликнул король, схватив Скюдери обеими руками и пытаясь поднять ее и усадить в кресло. -- Вы берете меня врасплох! Рассказ ваш поистине страшен! Но кто же поручится, что слова Оливье правдивы?

-- Показания Миоссана... обыск в доме Кардильяка... наконец, внутреннее убеждение! Ваше величество, убеждение, основанное на благородстве души Мадлон, угадавшей такую же прекрасную душу и в Оливье!

Король хотел было что-то возразить, но в эту минуту дверь отворилась, и в ней показался с беспокойным, озабоченным лицом Лувуа, работавший в соседней комнате. Король встал и вышел вместе с ним. Обе, и Скюдери и Ментенон, увидели в этом очень дурной знак, потому что вряд ли можно было ожидать, чтобы король, один раз прерванный, заинтересуется этим делом в другой раз в точно такой же степени. Однако через несколько минут король возвратился и,

пройдясь несколько раз по комнате, заложив за спину руки, остановился перед Скюдери и сказал тихим голосом:

-- Я бы хотел видеть вашу Мадлон.

-- О, ваше величество! -- воскликнула Скюдери. -- Какой высокой чести угодно вам ее удостоить! Тотчас, тотчас несчастное дитя будет у ваших ног!

И она с поспешностью, какую только позволяло тяжелое платье, бросилась к дверям и выкрикнула, чтобы немедленно позвали Мадлон Кардильяк, потом, возвратясь назад, уже окончательно разрыдалась от восторга и счастья. Надо объяснить, что Скюдери, точно по предчувствию, привезла Мадлон с собой и оставила ту в комнате одной из придворных дам с прошением в руках, написанным для нее самим д'Андильты. Мадлон, войдя, бросилась к ногам короля без сил что-либо вымолвить. Чувство страха, уважения, горести, безграничной любви, взволновали ее кровь до последней степени; щеки ее горели пурпурным румянцем, а на глазах блистали прозрачные жемчужины слез, которые одна за другой падали с шелковых ресниц на прекрасную лилейно-белую грудь. Сам король, казалось, был поражен ее ангельской красотой. Тихо поднял он ее с пола и в порыве чувства сделал такое движение, словно хотел ее поцеловать. Но затем отпустил, продолжая смотреть на прелестное дитя глазами, влажными от слез.

-- Смотрите, -- шепнула Ментенон Скюдери, -- до чего она походит на Ла-Вальер, король весь погружен в сладкое воспоминание; теперь можно вас поздравить -- ваше дело выиграно!

Как ни тихо были сказаны эти слова, но казалось, что король их понял; румянец вспыхнул на его щеках; быстро взглянув на Ментенон, взял он прошение Мадлон и прочел его.

-- Я вполне верю, -- мягко и ласково сказал он ей, -- что ты, милое дитя, убеждена в невинности твоего жениха, но сначала посмотрим, что скажет *chambre ardente*.

С этими словами знаком руки простился он с горько плакавшей девушкой. Скюдери с ужасом увидела, что воспоминание о Ла-Вальер, так благотворно подействовавшее на короля сначала, вероятно, было совершенно уничтожено, едва Ментенон произнесла ее имя. Может быть, король увидел в этом грубый намек на то, что он собирается пожертвовать законностью и правдой ради обаяния красоты, или, может быть, с ним случилось то же, что бывает с каким-нибудь мечтателем: если резко окликнуть его, сразу же улетучиваются прекрасные волшебные образы, только что казавшиеся ему осязаемым. Возможно также, что ему представилась не Ла-Вальер, какой она была некогда, а *Soeur Louise de la Misericorde* (ее монашеское имя в Кармелитском монастыре), вызывавшая теперь в нем только досаду своей набожностью и покаянием. Во всяком случае, как бы ни

обстояли дела, Скюдери оставалось одно: терпеливо дожидаться решения короля.

Показания графа Миоссана, сделанное им перед *chambre ardente*, скоро стали известны всем, и, как это бывает обыкновенно в подобных случаях, тот же самый народ, который недавно еще проклинал Оливье как величайшего злодея, и был готов разорвать его на куски по дороге на эшафот, теперь ударился в другую крайность и стал превозносить невинно оклеветанного, несчастную жертву варварской юстиции. Соседи наперебой рассказывали о прекрасном поведении Оливье, о любви его к Мадлон, о верности и преданности телом и душой старому ювелиру. Доходило даже до того, что толпы народа с угрожающим видом кричали под окнами дома Ла-Рени: "Подайте нам Оливье Брюссона, он невиновен!" -- причем иногда даже камни летели в окна, так что Ла-Рени приходилось искать защиты у полиции от разъяренной черни.

Прошло много дней, в течение которых ничего не доходило до Скюдери о процессе Оливье. Печальная и грустная отправилась она однажды к Ментенон, но на все свои горячие настояния получила в ответ только то, что король ни слова более не говорит об этом деле; обращаться же с вопросами к нему было бы неловко и неудобно. Когда же Ментенон, как-то странно усмехнувшись, спросила, что поделявает маленькая Ла-Вальер, то Скюдери хорошо поняла, до чего неприятно подействовала на Ментенон сцена, возбуждая в легко увлекающемся короле воспоминания, власть над которыми ускользала из ее рук. Следовательно, надеяться на Ментенон было нечего.

Наконец с помощью д'Андильи удалось Скюдери узнать, что король имел длинный, секретный разговор с графом Миоссаном и что Бонтан, камердинер и ближайший поверенный короля, был в Консьержери, где разговаривал с самим Оливье, и затем в ту же ночь с многими людьми посетил дом Кардильяка, где провел довольно долгое время. Клод Патрю, живший в нижнем этаже, рассказывал, что стук и шум раздавались всю ночь над потолком его комнаты, причем, прислушавшись к голосам, он явственно слышал голос Оливье. Таким образом, несомненно было, что король лично от себя приказал провести расследование по этому делу, непонятной оставалась только медленность его производства. Скюдери невольно приходила к заключению, что, вероятно, Ла-Рени не щадила со своей стороны никаких усилий, чтобы удержать в своих когтях готовую вырваться жертву, и эта мысль убивала в зародыше все ее надежды.

Около месяца протекло в этих ожиданиях. Вдруг получила Скюдери приглашение от Ментенон приехать к ней вечером, потому что ее желал видеть король.

Сердце Скюдери сильно забилося. Она чувствовала, что участь Брюссона была решена, и сказала об этом Мадлон. Бедная девушка со

слезами упала на колени, горячо моля Пресвятую Деву и всех святых, чтобы они внушили королю убеждение в невинности Оливье.

Однако Скюдери сначала показалось, что король как будто позабыл о всем этом деле. Беззаботно шутил он с Ментенон и Скюдери, говорил о тысяче посторонних предметов и ни одним словом не обмолвился о бедном Брюссоне. Наконец вошел Бонтан и, приблизившись к королю, сказал ему несколько слов так тихо, что ни Скюдери, ни Ментенон их не расслышали. Скюдери вздрогнула. Король между тем встал и, подойдя к ней, сказал с самым довольным, веселым видом:

-- Могу вас поздравить! Ваш Оливье Брюссон свободен!

Скюдери, у которой слезы потоком хлынули из глаз при этих словах, хотела броситься к ногам короля, но он удержал ее и продолжал в том же тоне:

-- Полноте, полноте! Вам по праву следовало бы быть парламентским адвокатом и защищать мои собственные дела, потому что, клянусь святым Дионисием, перед вашим красноречием никто не может устоять. Впрочем, -- прибавил он серьезнее, -- если защищать что-нибудь берется сама добродетель, то мудрено ли, что обвиняемый останется прав не только перед *chambre ardente*, но и перед всяким судом на свете.

Скюдери не знала, в каких словах выразить свою благодарность, но король прервал ее, сказав, что дома ожидает ее еще более горячая благодарность, обращенная к ней самой, потому что в эту минуту счастливый Оливье, без сомнения, обнимает уже свою Мадлон.

-- Бонтан, -- сказал в заключение король, -- выдаст вам тысячу луидоров, которые вы передадите от моего имени Мадлон как приданое. Пусть выходит она замуж за своего Оливье, который, по правде сказать, вряд ли заслуживает такого счастья, а затем оба они должны оставить Париж. Такова моя воля.

Мартиньер и Батист поспешили навстречу Скюдери с радостными лицами, они кричали в восторге: "Он здесь! Он свободен! О милые молодые люди!" Счастливая пара бросилась к ногам своей благодетельницы.

-- О! Я знала! Знала, что вы одна спасете моего мужа! -- восклицала Мадлон.

-- Вера в вас, мою вторую мать, только она одна поддерживала меня! -- перебил Оливье, и оба целовали руки Скюдери, покрывая их потоками горячих слез.

Затем снова бросались они в объятия друг друга, клялись, что блаженство этой минуты заставило их забыть все прошедшие горести, и давали слово не разлучаться до самой смерти.

Через несколько дней была свадьба Оливье и Мадлон. Оливье и без королевского приказания решил покинуть Париж, где все слишком живо напоминало ему о страшном времени Кардильяковых злодейств и

где какой-нибудь случай, внезапно открыв истинную историю этого дела, мог бы навсегда разрушить мирное течение их жизни. Сразу же после свадьбы молодые супруги, напутствуемые благословениями Слюдери, отправились в Женеву. Жизнь их там потекла в довольстве и счастье, благодаря приданому Мадлон, искусству Оливье и их скромным требованиям. Тщетные надежды отца Оливье, сведшие его в могилу, полностью исполнились для сына.

Спустя год после отъезда Брюссона появилось публичное объявление, подписанное Арлуа де Шовалоном, архиепископом Парижским и адвокатом парламента Пьером Арно д'Андильти, гласившее, что один раскаявшийся грешник под тайной исповеди передал церкви добытое грабежом собрание золотых и бриллиантовых украшений. Лица, у которых были похищены воровством или открытым нападением на улицах драгоценные вещи до конца 1680 года, приглашались явиться к д'Андильти с подробным описанием украденных вещей, и в случае несомненного доказательства права собственности они могли получить их обратно. Многие, занесенные в Кардильякову опись как оглушенные ударом кулака, воспользовались этим объявлением и, обратившись к д'Андильти, получили, к немалому изумлению, назад свои похищенные драгоценности. Остальное было приобщено к сокровищнице церкви Святого Евстахия.

* * *

Рассказ Сильвестра заслужил единодушное одобрение друзей. Название серапионовского было ему присуждено в особенности за то, что автор, основав рассказ на исторической почве, сумел в то же время придать ему фантастический колорит.

-- Сильвестру, -- заметил Лотар, -- действительно удалась его смелая затея заинтересовать читателя личностью старой, ученой девы, открывшей на улице Сент-Оноре нечто в роде bureau d'esprit*. Наши немецкие писательницы, которым я от души желаю всевозможных благ, особенно когда они достигают почтенных лет, остались бы очень довольны повестью Сильвестра, если бы ее слышали, и даже простили бы ему изображение страшного, отвратительного Кардильяка, характер которого, уверен я, выдуман и развит исключительно самим Сильвестром.

* *Кабинета остроумия (франц.).*

-- Не думаю, -- возразил Оттмар. -- Я, по крайней мере, помню почти наверняка, что читал где-то старинную повесть об одном венецианском башмачнике, считавшемся во всем городе за честного, благочестивого

человека и бывшего в то же время гнуснейшим злодеем и убийцей. Совершенно подобно Кардильяку, прокрадывался он по ночам во дворцы богатых людей и убивал того, кого хотел ограбить под покровом темноты, верным ударом кинжала в сердце, так что несчастная жертва умирала на месте. Все усилия бдительной полиции поймать убийцу, перед которым дрожала вся Венеция, оставались тщетными, пока наконец благодаря совершенно случайному обстоятельству ее подозрение не пало на истинного злодея. Башмачник внезапно заболел, и полиция обратила внимание на то, что убийства прекратились на время его болезни и возобновились снова, как только он выздоровел. Тогда под каким-то выдуманном предлогом посадили его в тюрьму -- и повторилось то же самое: пока злодей сидел под стражей, жители были в своих домах в безопасности, но едва был он выпущен по отсутствию доказательств на свободу, убийства повторились. Наконец пыткой вынудили у него признание, и он был казнен. Замечательно, что все награбленное добро, которое он никогда не использовал для себя, было в целости и сохранности найдено под полом его комнаты. О причинах, побуждавших его к совершению преступлений, злодей наивно сказал, что дал когда-то обет покровителю своего ремесла, святому Роху, непременно скопить известную сумму денег и если бы его не арестовали, то он, исполнив свое намерение, прекратил бы все свои разбои.

-- О венецианском башмачнике, -- ответил Сильвестр, -- я ничего не слышал, но если уже прямо и честно сознаться в том, из какого источника заимствован сюжет моей повести, то скажу вам, что известные стихи: *Un amant qui craint* и т.д. -- в самом деле принадлежат перу Скюдери и написаны ею по поводу именно такого случая, который представлен в моей повести. История подарка, составленного из награбленных сокровищ, также отнюдь не простой плод досужей фантазии автора, а, напротив, взято мной из источника, который вы, наверно, не угадаете, а именно -- из Нюрнбергской хроники Вагензейля. Автор рассказывает, что в бытность свою в Париже он посетил Скюдери, и если мне, как вы говорите, удалось действительно недурно изобразить эту почтенную особу в моей повести, то я обязан признаться, что лучшими чертами ее привлекательного характера обязан Вагензейлю и его описанию.

-- В самом деле, -- воскликнул смеясь Теодор, -- отыскать образ госпожи Скюдери в Нюрнбергской хронике -- это один из тех счастливых для автора случаев, какие удаются только нашему Сильвестру! Он сегодня, подобно созвездию близнецов, озарил нас двойным блеском своей славы, и как драматический писатель, и как рассказчик.

-- Вот это-то, -- вмешался Винцент, -- и считаю я непростительной дерзостью. Тот, кто хорошо пишет для сцены, не должен соваться с претензией на умение хорошо рассказывать.

-- Это верно! -- заметил Киприан. -- Хотя и кажется странным, почему писатели, имеющие талант изображения характера и положений в повествовательном рассказе, обыкновенно оказываются совершенно несостоятельными в драматических произведениях.

-- Это, -- отвечал Лотар, -- легко объясняется условиями драмы и повествования, противоположными до такой степени, что обычно даже попытки переделать в драму романы не удаются, да и не могут удасться. Вы понимаете, впрочем, что я говорю о настоящих рассказах, в узком смысле слова, а не о так называемых новеллах, которые, наоборот, часто, точно в зерне, содержат превосходнейшие сюжеты для драмы, ожидающие только случая, чтобы разрастись роскошным деревом.

-- А что скажете вы, -- прервал Винцент, -- об оригинальной идее превратить драму в повествовательный рассказ? Несколько лет тому назад читал я Иффландова "Охотника", переделанного в рассказ, и вы не можете себе представить, до чего восхитительными вышли в нем Тонхен с блестящим охотничьим кортиком и Рикхен с потерянным башмаком! Особенно понравилось мне в этой переделке то, что автор, сохранив все сцены драмы, очень мудро догадался только связать их разговорами, и я уверяю вас, что поэтическая мечтательность Иффландова "Охотника" привела меня в неописуемый восторг только после прочтения этой переделки. Научная тенденция драмы стала мне также понятна только после этого чтения, и я не удивляюсь, что нашел однажды в одной библиотеке Иффландова "Охотника" помещенным в отделе биологических наук!

-- Молчи, шут! -- закричал Лотар. -- Довольно тебе балагурить! Преклони-ка лучше вместе с нами внимательнее ухо к тому, что собирается прочесть наш достойный Серапионов брат, если судить по вытащенной им из кармана рукописи.

-- В этот раз, -- сказал Теодор, -- я пустился по другому пути и прошу вперед вашего снисхождения. Рассказ мой основан на истинном происшествии, которое, впрочем, узнал я не из книги, а из устного предания.

Теодор прочел:

СЧАСТЬЕ ИГРОКА

Более чем когда-нибудь были оживлены Пирмонтские воды летом 18** года. Прилив богатых и знатных иностранцев усиливался с

каждым днем к неопишуемой радости мошенников всех родов.

Антрепренеры игры в фараон нарочно рассыпали на игорных столах перед глазами публики свое блестящее золото, действуя в этом случае, как опытные охотники, в надежде, что завлекательная приманка сделает свое дело и приведет в их руки и более благородную дичь.

Кто не знает, что во время сезона на водах, когда каждый приезжающий туда выходит более или менее из колеи обыденной жизни и невольно предается приятной праздности, проводя время в удовольствиях и развлечениях, игра имеет для многих какое-то неотразимо обаятельное влечение. Нередко можно видеть людей, никогда не бравших в руки карт, которые вдруг делаются рьяными игроками, тем более, что в высшем кругу считается в это время даже за признак хорошего тона проигрывать каждый день хоть что-нибудь.

Но ни общее страстное влечение к игре, ни забота о хорошем тоне не оказывали, по всей видимости, никакого воздействия на одного приезжего молодого немецкого барона, которого мы назовем Зигфридом. Когда вся публика теснилась у игорных столов, и Зигфриду не с кем было, как он любил, перемолвить двух слов о чем-нибудь дельном и занимательном, он или предпринимал уединенные прогулки, мечтая о чем-то своем, или запирался в комнате, где занимался чтением или писал что-нибудь сам. Зигфрид был молод, независим, богат, имел приятную наружность и общительный характер. Потому нечего было и удивляться, что общее сочувствие и в особенности благосклонность женщин были ему обеспечены. Кроме того, казалось, что какая-то счастливая звезда покровительствовала ему всегда и во всех его предприятиях. Любовные интриги, которые у него случались беспрерывно, сходили ему все благополучно с рук, даже те, из которых иной, быть может, вряд ли бы сумел выпутаться с честью. В кругу знакомых барона, когда заходил разговор о его необыкновенном везении, рассказывалось, в подтверждение, действительно случившаяся с ним, еще в ранней молодости, забавная история с часами.

Однажды Зигфрид, будучи еще под опекой, очутился во время одного из своих путешествий в такой нужде, что должен был продать свои дорогие, украшенные бриллиантами часы, чтобы быть в состоянии уехать из города. Часы, конечно, пошли бы за бесценок, но, на счастье его, в одной с ним гостинице остановился какой-то молодой князь, пожелавший купить именно такую дорогую безделку, и таким образом Зигфрид получил за свою вещь настоящую цену. Прошло около года. Зигфрид уже достиг совершеннолетия и стал сам распоряжаться своим имуществом. Вдруг прочел он однажды в газетах, что в соседнем княжестве разыгрывались в лотерею дорогие часы. Он взял билет, стоивший пустяки, -- и выиграл на него свои собственные, проданные им часы, которые затем выменял на дорогой перстень. Вскоре он поступил на службу к князю фон Г***. Через год, после того, как он

оставил это место, князь послал ему в знак своей милости бриллиантовые часы с тяжелой золотой цепью, которые опять оказались теми самыми, его собственными часами!

С этой истории разговор обычно переходил на странный каприз Зигфрида -- никогда в жизни не касаться карт, к которым он, по своему необыкновенному везению, мог бы иметь вполне оправдываемое влечение. Толки и пересуды по этому предмету в конце концов сводились к мнению, что, вероятно, барон, при всех своих блестящих качествах, был скуповат и боялся, как огня, рискнуть самой малейшей потерей, хотя надо заметить, что во всем своем остальном поведении Зигфрид не давал никакого повода к подобному заключению. Но так как толпа обыкновенно очень любит найти хоть какое-нибудь пятно на репутации человека, который заметно отличается от других, то и воображаемое предположение о скупости Зигфрида, как о причине, недопускающей его к игре, пошло таким образом в ход, несмотря на все свое неправдоподобие.

До слуха Зигфрида скоро дошли эти невыгодные для него толки, и так как по своему благородному, истинно джентльменскому характеру, он сам ненавидел скряжничество больше всего на свете, то тотчас захотел положить конец этим сплетням, для чего, несмотря на свое отвращение к игре, и решился умышленно проиграть сотни две луидоров, чтобы сбросить с себя обидное подозрение. С этим намерением, отложив для проигрыша положенную сумму, приблизился он к игорному столу. Но оказалось, что всегдашнее его счастье, не изменило ему и тут. Каждая карта, на которую он ставил, выигрывала непременно. Всевозможные кабалистические расчеты старых, опытных игроков распадалась в прах перед игрой барона. Меняли ли они карты, ставили ли их совершенно наобум, выигрыш все равно был на его стороне. Вообще барон представлял из себя до того редкое зрелище игрока, приходившего в ярость от собственного выигрыша, что присутствующие, теряясь в догадках при объяснении такого загадочного явления, начали даже озабоченно шептаться и подозревать, не сошел ли он, вследствие своего влечения ко всему оригинальному, совершенно с ума, так как странно же было в самом деле предположить, чтобы игрок в здравом рассудке был бы недоволен своим счастьем.

Значительный выигрыш побудил барона продолжать игру в надежде, что, вероятно, удача когда-нибудь отвернется от него и он добьется желанной потери. Но цель не достигалась никоим образом. Чем более он играл, тем счастье игрока более и более ему благоприятствовало.

Между тем, незаметно для самого Зигфрида, страсть к игре в фараон, простейшей, а потому и азартнейшей из всех игр, стала понемногу овладевать всем его существом. Он уже не сердился более на свое везение. Игра сама по себе приковала все его внимание; по целым

ночам проводил он за игорным столом, увлекаемый тем колдовским очарованием, о котором слышал прежде от своих друзей, но не хотел ему верить.

Однажды ночью, когда банкомет только что кончил прометанную талию, Зигфрид, подняв глаза, внезапно увидел перед собой немолодого уже человека, стоявшего прямо напротив него и глядевшего ему в лицо с грустным, серьезным видом. Затем весь оставшийся вечер каждый раз, как он, окончив ставку, отводил глаза от карт, он непременно замечал на себе мрачный взгляд незнакомца, так что в конце концов какое-то неловкое, томительное чувство невольно поселилось в его душе. С окончанием игры оставил игорный зал и незнакомец, но в следующую же ночь опять поместился против Зигфрида и опять стал смотреть на него в упор своими призрачными глазами. Зигфрид на этот раз держал себя в руках, но когда то же самое повторилось на третью ночь и незнакомец опять остановил на Зигфриде свой сверкающий взгляд, то он уже не выдержал и отрывисто сказал:

-- Милостивый государь, не угодно ли вам выбрать для себя другое место, потому что вы мешаете моей игре.

Незнакомец, грустно улыбнувшись, поклонился в знак согласия и тотчас же оставил зал, не сказав ни слова.

На следующую ночь, однако, появился он опять на прежнем месте и, казалось, смотрел на него еще мрачнее и пронзительнее.

Тут Зигфрид уже с явным гневом воскликнул:

-- Если вы, милостивый сударь, желаете продолжить ваши шутки, то я прошу вас выбрать для этого другое время и место, а теперь...

И при этом знаком руки, указавшей на дверь, барон дал понять то, чего не договорил.

Также как и в прошлую ночь, незнакомец послушно склонясь, ушел с той же грустной улыбкой.

Возбужденный игрой, вином, а также и этим неожиданным происшествием в игорном зале, Зигфрид не мог сомкнуть глаз всю ночь. Образ незнакомца преследовал его до самого утра. Строгое, с печатью страдания лицо, глубокие темные глаза, благородная, не скрываемая бедным платьем осанка, обличавшая манеры человека из общества, -- все это ярко рисовалось перед умственным взором Зигфрида. При мысли же о том, с каким достоинством перенес незнакомец сказанные ему обидные слова и с каким грустным, подавленным чувством удалился он из залы, Зигфрид не мог сдержаться и воскликнул невольно: "Нет! Я был неправ! Глубоко неправ! Неужели мне написано на роду, как неотесанному буршу, постоянно оскорблять людей без всякого с их стороны повода?"

Рассуждая на эту тему далее, пришел Зигфрид к заключению, что пристальный, горестный взгляд незнакомца, вероятно, был вызван

тяжелой нуждой, в какой он, может быть, находился, в то время, как сам барон, предававшийся игре, пригоршнями загребал золото. Результатом этих мыслей было то, что Зигфрид решил на другой же день непременно отыскать незнакомца и прояснить все дело.

Случай сделал так, что первый человек, которого Зигфрид встретил, выйдя утром прогуляться по аллее, был именно тот самый незнакомец.

Барон, подойдя к нему, тотчас же заговорил первый о происшествии прошлой ночью и кончил искренней просьбой извинить ему его невежливость. Незнакомец отвечал, что он не находит ничего в поступке барона, требующего извинения, так как разгоряченный игрок не всегда может отвечать за свои слова, а кроме того, он сам, упорно оставаясь на своем месте и смущая барона своим вниманием, по своей вине навлек вырвавшиеся у Зигфрида жестокие слова.

Зигфрид пошел в разговоре еще дальше, сказав, что он очень хорошо понимает, как иногда тяжелые обстоятельства доводят до унижительного положения даже образованных, порядочных людей, и затем довольно ясно намекнул, что готов от души помочь незнакомцу своим выигрышем, если только он в том нуждается.

-- Милостивый государь! -- возразил незнакомец. -- Вы считаете меня за неимущего, но в этом вы ошибаетесь, потому что, не будучи богатым, я имею совершенно достаточно, чтобы вести тот скромный образ жизни, к которому привык. А кроме того позвольте вам заметить, что, предлагая вознаградить меня золотом за нанесенное оскорбление, вы этим противоречите самому себе, если вы, как сказали, считаете меня порядочным и образованным человеком.

-- Кажется, я вас начинаю понимать, -- пробормотал несколько оторопело Зигфрид, -- и потому спешу прибавить, что если вы желаете удовлетворения, то я готов дать его вам хоть сейчас же.

-- О Боже! -- воскликнул незнакомец. -- Вот был бы поистине неравный бой! Я уверен, что вы, также как и я, не считаете дуэль ребячьей забавой и далеки от мысли, что несколько капель крови, пролитой, может быть, из оцарапанного пальца, были в состоянии смыть пятно с опозоренной чести. Бывают случаи в жизни, когда двум людям тесно жить на земле, и, если бы даже один жил на Кавказе, а другой на берегах Тибра, то и тут расстояние ничего бы не значило, пока один существует пусть хотя бы только в мыслях другого. Тут уже, конечно, поединок один может решить, который из двух должен очистить другому место. Но между нами, как я уже сказал, дуэль будет слишком неравной, потому что моя жизнь далеко не стоит вашей. Если убью вас я, то погублю этим целый мир самых радужных надежд, если же буду убит сам, то вы разрушите самое печальное, давно уже разбитое существование; но во всяком случае, повторяю, что вовсе не считаю себя оскорбленной стороной в этом деле. Вы просили меня удалиться, и я это исполнил.

Последние слова незнакомец произнес голосом, в которой слышалась затаенная обида, что послужило для Зигфрида причиной, чтобы еще раз искренно перед ним извиниться, причем он, однако, не скрыл, что, сам не зная почему, во время игры положительно не мог вынести пристального взгляда незнакомца, в высшей степени действовавшего на его нервы.

-- В таком случае, -- ответил незнакомец, -- если мой взгляд точно проникает до глубины вашей души, то искренно желал бы я, чтобы он успел предостеречь вас от страшной опасности, в какой вы находитесь. Меня поражает тот веселый вид и то беззаботное веселье, с какими стоите вы на краю ужасной пропасти. Один толчок -- и вы полетите прямо в нее! Иными словами, я хочу сказать, что вы стоите на пути, чтобы сделаться страстным, отчаянным игроком и тем погубить себя навеки.

Зигфрид стал уверять, что незнакомец ошибается, и рассказал ему все обстоятельства, побудившие его приблизиться к игорному столу, прибавив, что никогда в жизни он не чувствовал пристрастие к игре и решился, наоборот, во что бы то ни стало, проиграть несколько сот луидоров, прекратив после этого играть, но, к сожалению, ему до сих пор сопутствует везение -- это счастье игрока.

-- Ах! -- воскликнул незнакомец. -- Вот это-то счастье и есть та страшная приманка, с помощью которой злобная, враждебная власть овладевает нами совершенно. Ваше счастье в игре, барон, причины, побудившие вас к ней приступить, манера себя держать, ясно обличающая, что пагубная страсть начинает овладевать вами окончательно, -- все это удивительно напоминает мне судьбу одного несчастного, поразительно похожего на вас. Вот причина, почему я так пристально на вас смотрел и едва мог удержаться, чтобы не высказать словами то, что думал выразить взглядом. "Неужели ты не видишь, что демоны уже готовы схватить тебя и низвергнуть в Орк!" -- так хотелось мне воскликнуть, и теперь я сердечно рад, что успел познакомиться с вами. Позвольте мне рассказать вам историю того несчастного, о котором я упомянул, и тогда вы, уверен я, убедитесь сами, что не просто игра расстроенного воображения заставляет меня считать, что вы находитесь в опасности, и стремиться о ней предупредить.

Оба, и незнакомец и Зигфрид, сели на стоявшую неподалеку скамью, после чего незнакомец начал так:

-- Не менее вас, барон, был одарен молодой шевалье Менар теми дарами судьбы, с помощью которых снискаются завистливое уважение мужчин и благосклонное расположение женщин. Если он уступал в чем-нибудь вам, то разве в одном богатстве. Он жил почти в нужде и только благодаря строжайшей воздержанности мог с достоинством поддержать в обществе вес и значение, принадлежавшие ему по праву, как потомку древнего и известного рода. Бедность эта, делавшая для

него значительной всякую малейшую потерю, безусловно заставляла его отказываться от игры, к которой, впрочем, он и не чувствовал особенного влечения, а потому отказ этот и не составлял для него большой жертвы. Во всем прочем редкая удача сопутствовала Менару везде, так что везение его в кругу знакомых вошло даже в пословицу.

Однажды совершенно случайно посетил он ночью один игорный дом, причем друзья, в компании которых он пришел, немедленно занялись игрой. Менар, не принимавший в игре никакого участия, стал медленно и безучастно прохаживаться по залу, погруженный в совершенно другие мысли, и только изредка бросал взгляд на игорный стол, где банкومت грудами загребал золото. Вдруг один старый полковник, игравший до того очень неудачно и знавший Менара, увидел его и тотчас же воскликнул: "Какого черта, вы хотите играть и выигрывать, а ведь тут находится Менар со своим всем известным везением, который еще не объявил, чью сторону он будет держать! Да погодите! Сейчас я его притащу сюда, и он будет понтировать за меня!"

Менар стал было отказываться, что он положительно не умеет играть, но полковник не отставал до тех пор, пока он волей или неволей не приблизился к столу.

Удача сопутствовало ему точно так же, как и вам, барон. Каждая поставленная Менаром карта выигрывала непременно, и вскоре, благодаря этому, порядочная сумма денег очутилась в руках полковника, пребывавшего в полном восторге от того, что он так удачно призвал себе на помощь Менарово счастье.

На самого Менара его удивительное везение в игре, повергшее в изумление всех присутствующих, не произвело, по-видимому, ни малейшего впечатления. Наоборот, он почувствовал даже, что его отвращение к игре как будто удвоилось, так что, проснувшись на другой день, усталый и разбитый, вследствие почти без сна проведенной ночи, он принял твердое решение никогда в жизни не посещать больше игорных домов.

Решение это укрепилось в нем еще более, когда до него дошел слух, что полковник с того вечера не мог выиграть больше ни одного луидора и, постоянно теряя свои деньги, имел глупость обвинять в этом Менара. С самой неприятной настойчивостью осаждал он его просьбами понтировать за него, или, по крайней мере, сидеть возле во время игры, чтобы отогнать, по его словам, злого демона, совавшего ему в руки дрянные карты. Известно всем, что игроки подвержены самым глупейшим суевериям. Менару, наконец, надоело все это до того, что однажды он серьезно вынужден был объясниться с полковником и объявить ему напрямик, что скорее согласен с ним драться, чем играть. Полковник был не из великих храбрецов, и потому дело на том и кончилось. Тем не менее Менар постоянно с крайним

раздражением вспоминал о том вечере, когда он связался с этим глупцом.

Молва об удивительном счастье барона в игре, однако, распространилась повсеместно, причем, конечно, не обошлось и без обычных в таких случаях сплетен, что будто бы он обязан этим своей связи с какими-то потусторонними силами. Но зато твердость Менара, с которой он, несмотря на свое счастье, положительно отказался от игры, еще более способствовала общему к нему уважению.

Прошло около года, и однажды случилось, что Менар, потеряв неожиданно в каком-то предприятии небольшой капитал, которым жил, очутился в самой крайней нужде. Он обратился с просьбой о помощи к одному из своих лучших друзей, который хотя ему и помог, но тем не менее не мог удержаться, чтобы не назвать его удивительнейшим оригиналом, страдающим только по своей собственной вине. "Судьба, -- так говорил приятель Менара, -- указывает каждому из нас, на какой дороге должны мы искать свое счастье, и если мы не слушаемся этих указаний и их не понимаем, то в этом виновно одно наше собственное к себе равнодушие. Тебе судьба твоя ясно говорит, что если ты хочешь получить почет и деньги, то должен играть, а между тем ты сам себя осуждаешь на вечную нужду, бедность и зависимость".

Совет на этот раз попал в цель. Его необыкновенное счастье в игре невольно пришло Менару на память. С волнением вдруг вспомнил он свою первую игру. Звон золота, восклицания банкометов: "Gagne, perd!"* -- снова явственно раздались в его ушах. "Что правда, то правда! -- так говорил он сам с собою. -- Одна такая ночь, и я спасен от нужды и несчастья, доведших меня до постыдной просьбы о помощи у своих друзей! Я верю в голос судьбы и буду ему следовать."

* *Выигрыш, проигрыш (франц.).*

В тот же вечер отправился он в игорный дом вместе с приятелем, посоветовавшим ему испробовать это средство и снабдившим его для начала суммой луидоров в двадцать.

Если Менар удачно играл в первый раз для полковника, то, играя для себя, он, казалось, был удачливее вдвойне. Точно какая-то невидимая рука подсовывала ему все хорошие карты, несмотря на то, что сам он ставил их без всякого выбора и соображения. Не он искал счастливого случая, а наоборот, сам случай устраивал всю игру к его пользе. В конце вечера круглая сумма в тысячу луидоров лежала в его кармане.

В беспмятстве, точно оглушенный, Менар проснулся на следующее утро. Выигранные луидоры лежали возле него на столе. В первую минуту показалось ему, что он видит сон. Нарочно протирал он руками глаза, считал и пересчитывал деньги, пока, наконец, не убедился, что

золотые, лежавшие перед ним кружочки существовали в действительности. И в то же мгновение почувствовал Менар в первый раз в жизни, что дух корыстолюбия, внезапно поднявшись, овладел всей его душой, без следа уничтожив прежние чистоту и воздержанность, которые оберегал он так тщательно.

Едва дождавшись ночи, поспешил он опять к игорному столу. Счастье по-прежнему стояло за него горой, так что, проиграв несколько недель кряду, успел он себе составить довольно значительное состояние.

На свете есть два рода игроков. Одних игра тянет к себе, как неизъяснимая приманка, причем они не обращают никакого внимания на выигрыш или проигрыш. Наблюдать случайные сочетания вероятностей, придумывать системы для подчинения их каким-то высшим, роковым законам и затем попытаться, не удастся ли воспарить на этих, собственными руками слепленных крыльях, -- вот что возбуждает и приводит в восторг этих людей. Я знал одного игрока, который целыми днями и ночами понтировал сам с собой, запершись в своей комнате, и это, по моему мнению, был истинный игрок! Другие, напротив, жаждут играть, чтобы выиграть и таким образом быстро обогатиться. К этому последнему разряду принадлежал и барон Менар, доказав своим примером, что настоящая страсть к игре присуща лишь немногим и что игроком надобно родиться.

Скоро роль простого понтера стала уже для него недостаточной. С помощью значительной, выигранной им суммы открыл он собственный банк, причем извечное его счастье не оставляло его и тут, так что банк его стал одним из богатейших в Париже. Игроки, как водится, со всех сторон стремились к богатому и счастливому банкомету.

Пустая, безумная жизнь игрока оказала на Менара свое разрушительное действие, ощутило притупив его телесные и душевные качества, успевшие снискать ему в былое время общее уважение. Имя Менара перестало упоминаться в обществе в качестве образца верности в дружбе, занимательности и веселости в беседах и рыцарской почтительности к женщинам. Прежняя ревностная страсть к наукам и искусствам исчезла без следа. На его бледном лице, в темных, сверкавших каким-то мрачным огнем глазах читалось одно полнейшее выражение пагубной, овладевшей им полностью страсти. Не удовольствия, но единственно денег искал он в игре, и, казалось, сам злой гений игры распалил в нем эту страсть до высшей, какой-то только возможно, степени. Одним словом, он сделался банкометом от головы до пят, в полнейшем смысле этого слова.

Однажды во время одной ночной игры случилось, что Менар, хотя и ничего не потерял, но вместе с тем не был так счастлив в игре, как обыкновенно. В числе игроков оказался какой-то маленький, скромно одетый старик, с очень неприглядной наружностью, неуверенно

приблизившийся к столу и выбравший всего одну карту, поставив на нее золотой. Прочие игроки с удивлением довольно презрительно покосились на этого непрошенного гостя, но старик не обратил на это никакого внимания и не выразил своего неудовольствия ни одним словом и ни одним жестом.

Карта старика оказалось битой; он поставил на другую, но и та проиграла. Удваивая затем постоянно ставки, стал он терять раз за разом, к неопишуемому удовольствию прочих игроков. Когда ставка, наконец, дошла до пятисот луидоров, и была проиграна им по-прежнему, неудержимый смех и радостные восклицания громко раздались в толпе понтировавших. "Так, синьор Вертуа, так! -- закричал один. -- Только не смущайтесь и продолжайте в том же духе! Кто знает, может вам удастся сорвать весь банк!"

Старик посмотрел взглядом василиска на шутника и тотчас же быстро удалился. Однако через полчаса вернулся он вновь с карманами, наполненными золотом. Но последней талии закончить он не смог, потому что по-прежнему проиграл все, что у него было.

Менар, несмотря на всю гнусность своего ремесла, считал, однако, необходимостью поддерживать в своем банке внешний порядок и благоприличие, а потому презрительное обращение с несчастным понтером всех остальных игроков крайне ему не понравилось. По окончании игры, когда старик ушел, он со строгой внушительностью обратился к шутнику, его оскорбившему, а также и к прочим поддержавшим его гостям, пригласив их воздержаться впредь от подобных выходок.

-- Как! -- воскликнул в ответ на это один из гостей. -- Так значит вы не знаете старого Франческо Вертуа? Иначе вы бы не только не нашли ничего предосудительного в нашем поведении, а напротив, одобрили бы его сами. Знайте же, что этот Вертуа, неаполитанец по происхождению, уже пятнадцать лет живет в Париже, занимаясь самым грязным, отвратительным ростовщичеством, какое только можно себе представить. В сердце его нет места малейшему проблеску какого-нибудь человеческого чувства, и если бы он увидел своего родного брата, умирающим у своих ног, то и тогда не согласился бы пожертвовать даже одним луидором, чтобы его спасти. На душой его тяготят проклятия сотен семейств, разоренных его низкими махинациями. Его ненавидят все, кто только его знает, и каждый от души желает ему всевозможного зла и даже смерти в наказание за все дурное, что он сделал. Игрой он никогда не занимался, по крайней мере, с тех пор как живет в Париже, -- и вы видите, как все мы изумились, увидя, что старый скряга решился подойти к игорному столу. Вот причина, почему мы все обрадовались его проигрышу, так как видеть этого негодяя еще и счастливым в игре было бы уж слишком обидно. По всей вероятности, старый глупец прельстился

везением, сопутствующим игре вашего банка, и думал вас обождать, но оказалось, что вместо того был ошипан сам. Не понимаю только, как мог решиться Вертуа при своей невероятной скупости играть в такую сильную игру. Теперь, конечно, он больше сюда не вернется, и мы можем считать себя избавленными от него навсегда.

Предсказание это, однако, не сбылось, потому что на следующий же вечер Вертуа опять явился к игорному столу Менара и проиграл гораздо больше, чем накануне. При этом он вовсе не приходил в отчаяние, а напротив, даже злобно посмеивался, точно предчувствуя, что скоро дело повернется иначе. Но проигрыш его увеличивался с каждым вечером быстрее спускающейся с гор лавины, так что в конце концов оказалось, что общая его потеря достигла огромной цифры в тридцать тысяч луидоров. Тогда явился он однажды смертельно бледный, когда игра была уже в разгаре, остановился в отдалении от стола и устремил отчаянный взгляд на карты, которые Менар мешал в своих руках. Едва игра была сдана, и началась новая талия, Вертуа вдруг воскликнул пронзительным голосом, так что все невольно вздрогнули: "Стойте!" А затем, протиснувшись к столу, зашептал, обратясь к Менару:

-- Барон! Мой дом на улице Сент-Оноре, богато меблирован и снабжен всем необходимым для хозяйства, в доме есть достаточно серебра и золота, и он оценен в восемьдесят тысяч франков! Согласны ли вы взять его под залог моей ставки?

-- Согласен, -- холодно уронил шевалье Менар, даже не обернувшись, и затем стал спокойно продолжать игру.

-- Дама! -- сказал Вертуа.

Карта пошла и была бита. Старик пошатнулся и, только прислонясь к стене, успел удержаться от падения. Никто не обратил на него никакого внимания.

Игра между тем кончилась. Менар с помощью крупье собрал деньги проигравших понтеров и запер их в шкатулку. Вдруг Вертуа, появившись точно призрак из угла, где сидел все это время, приблизился к Менару и сказал глухим, мрачным голосом:

-- Шевалье! Прошу вас на одно слово!

-- Ну что еще? -- спросил Менар, поворачивая ключ в замке и посмотрев на старика презрительным взглядом.

-- Все мое имущество, -- продолжал Вертуа, -- потерял я за вашим игорным столом. Больше у меня нет ничего, и я не знаю, где будет завтра мое пристанище и где я найду кусок хлеба! Я вас очень прошу! Сжальтесь! Возвратите мне хотя бы десятую часть того, что я проиграл, чтобы я мог продолжить мое дело и вновь подняться из нищеты, в которую теперь повержен!

-- Где вы, господин Вертуа? -- возразил на это Менар. -- В лавке ростовщика? Или вы забыли, что банкомет никогда не возвращает

своего выигрыша? Это было бы против основного правила, которому я не изменю никогда.

-- Вы правы, шевальер! -- сказал Вертуа. -- Я знаю, что мое требование безумно! Шутка ли -- десятую часть! Нет, нет!.. двадцатую! Отдайте мне одну двадцатую, заклинаю вас всеми святыми!

-- Я вам уже сказал, что не возвращаю моих выигрышей! -- с досадой оборвал его Менар.

-- Так, так! -- бормотал Вертуа, между тем как смертельная бледность разлилась по его лицу и все неподвижнее и безумнее становился его взгляд. -- Вы не имеете право что-нибудь мне отдать! В былое время я сам поступал точно также! Но подать милостыню нищему может всякий! Дайте же мне хоть сотню луидоров из приобретенного вами сегодня богатства с помощью слепого счастья.

-- Однако умеете же вы надоесть, синьор Вертуа! -- с гневом ответил Менар. -- Я не даю вам ни ста, ни пятидесяти, ни двадцати, ни даже одного луидора! Не дам, потому что я не так глуп, чтобы дать вам средство продолжать ваше гнусное ремесло. Судьба раздавила вас, как ядовитого червяка, и уж, конечно, я не стану вас спасать. Ступайте и повесьтесь, как вы того заслуживаете.

Вертуа, закрыв лицо обеими руками, мог только тяжело вздохнуть. Менар приказал слуге отнести шкатулку в карету и затем намеренно грубо спросил, повернувшись к старику:

-- Когда намерены вы передать мне ваш дом и имущество?

Вертуа, услышав это, выпрямился и ответил неожиданно твердым голосом:

-- Сию же минуту, шевалье! Неудобно ли вам отправиться со мной?

-- Хорошо, -- сказал Менар. -- Мы можем доехать вместе до вашего дома, который прошу вас оставить завтра же утром.

Во всю дорогу ни тот, ни другой не проронили ни слова. Выйдя у подъезда дома на улице Сент-Оноре, Вертуа позвонил в дверь. Какая-то старуха отворила, и, увидев Вертуа, радостно воскликнула: "Ну слава Тебе, Господи! Наконец-то вы вернулись, синьор Вертуа, а то Анжела совершенно измучилась от беспокойства."

-- Молчи! -- крикнул Вертуа. -- Дай Бог, чтобы Анжела не услышала моего звонка. Она не должна знать, что я вернулся.

И с этими словами, взяв свечу из рук изумленной старухи, посветил он Менару, вошедшему в дом.

-- Я решился на все, шевалье! -- так начал Вертуа. -- Вы меня ненавидите и презираете! Мое несчастье доставляет вам радость, между тем вы даже не догадываетесь, кто я есть на самом деле. Подобно вам был я прежде игроком, которому всегда необыкновенно везло в игре. Половину Европы изъездил я с моим золотом, открывая игорные дома, где только мог, и везде деньги рекой текли в мои руки, как текут теперь в ваши. У меня была добрая, верная жена, которую я

забывал из-за игры и содержал в унижительной бедности, несмотря на все мое богатство. Однажды в Генуе появился за моим игорным столом один молодой римлянин и проиграл все свое имущество, как я сегодня вам. Подобно мне умолял он со слезами на глазах дать ему хотя бы ту ничтожную сумму, которая была необходима, чтобы вернуться в Рим. Я отказал с презрительным смехом, и он тут же в отчаянии ударил меня в грудь стилетом, который всегда носил с собой. С трудом сумел врач залечить мою рану, но после этого какое-то болезненное расстройство меня уже больше не покидало. Тогда-то настоящим ангелом-утешителем оказалась моя жена! С каким самоотвержением она за мной ухаживала! Как меня ободряла! Как помогала своим участием переносить муки болезни! Какое-то новое, неведомое до того чувство поселилось в моей душе. Мы, игроки, отказываемся от всего человеческого, и потому, мудрено ли, что я даже и не подозревал, что значит любовь и преданность женщины! Глубочайшее раскаяние охватило мне душу при мысли, как несправедлив и неблагодарен был я к моей дорогой подруге и какому преступному чувству пожертвовал ее. Души несчастных, погубленных мной с таким постыдным и жестоким равнодушием, вставали передо мной, точно черные призраки, призывающие мщение на мою голову! Я постоянно слышал их замогильные голоса, упрекавшие меня во всех несчастьях и преступлениях, начало которым положил я! Жена моя одна умела меня утешать и успокаивать в эти ужасные минуты. Я дал нерушимый обет, что никогда в жизнь не возьму более карт в руки. Решительно разорвал я всякую связь с сообществами игроков и твердо выдержал всевозможные искушения со стороны моих крупье, уговаривавших меня не бросать дела, в котором мне так явно везло. Выздоровев окончательно, поселился я тихо и скромно вместе с моей женой в одном загородном доме близ Рима. Но увы! только один год удалось мне прожить в мире и счастье, о которых прежде я даже не мечтал. Жена моя умерла при родах, подарив мне дочь. Отчаяние мое не знало границ! Я проклинал судьбу! Проклинал самого себя и свою гнусную, прожитую жизнь, за которую в постигшем меня несчастье видел справедливую Божью кару. Точно преступник, страшась наказания, убежал я из моего дома и переехал жить в Париж вместе с моей дочерью Анжелой. Моя дочь, повзрослев, оказалась живым портретом своей матери. Для нее одной стал я жить с той минуты, всеми силами стараясь не только сберечь мое значительное состояние, но еще его и приумножить. Правда, что я давал деньги в заем за большие проценты, но в гнусном ростовщичестве меня обвиняют несправедливо! Да и кто же мои обвинители? Легкомысленные люди, пристающее во мне с ножом к горлу, требуя денег для мотовства, и они же потом обвиняют меня, когда я строго и неотступно возвращаю назад добро, принадлежащее моей дочери. Недавно ссудил я значительной

суммой одного молодого человека, чем положительно спас его от гибели и бесчестья. Ни одним словом, ни одним намеком не напоминал ему об уплате, пока он был беден. Но недавно узнал я, что должник мой получил богатое наследство, а потому потребовал расчета со мной. Представьте же, барон, что негодяй этот, обязанный мне своим спасением, хотел отказаться от своего долга и, принужденный к уплате приговором суда, осмелился мне же бросить в лицо, что я гнусный скряга и ростовщик. Я мог бы рассказать вам много подобных случаев, которые действительно сделали меня суровым и непреклонным там, где я вижу, что имею дело с легкомыслием и нахальством. Но зато, скажу вам, не раз случалось мне, наоборот, осушать горькие слезы бедняков и что немало их молитв возносилось к небу за меня и мою Анжелу. Вы, я знаю, не поверите моим словам и все равно мне ничего не дадите, потому что вы -- игрок! Что до последнего моего несчастья, то тут, уверен я, само небо поручило дьяволу увлечь меня и погубить, потому что поступком моим могло руководить только одно безумие. Я услышал о вашем счастье, барон! Каждый день приносил новую весть то о том, то о другом несчастном, разорившемся за вашим игорным столом. Тогда пришла мне в голову мысль, что я с моим счастьем игрока, никогда меня не покидавшим, назначен самой судьбой положить конец вашей игре. Мысль эта, которую, повторяю, могло породить только одно безумие, не давала мне покоя ни днем ни ночью. И вот явился я к вам в этот памятный мне вечер и не покидал игры до тех пор, пока все достояние мое и моей Анжелы не досталось вам! Я кончил и обращаюсь к вам с просьбой, позвольте ли вы, по крайней мере, моей дочери взять необходимые ей платья?

-- Гардероб вашей дочери, -- ответил Менар, -- мне не нужен; можете также оставить себе ваши постели и домашнюю утварь. С этим хламом мне делать нечего. Но берегитесь и подумайте утаить что-либо ценное.

Старый Вертуа безмолвно, пристально посмотрел на Менара, и вдруг слезы хлынули из его глаз. В отчаянии бросился он к его ногам и воскликнул раздирающим голосом, сложив с мольбой руки:

-- Шевалье! Неужели в вашем сердце совсем нет человеческого чувства! Будьте сострадательны! Подумайте, что вы губите не меня, но мою бедную, ни в чем неповинную Анжелу! Будьте милосердны! Возвратите ей хотя бы двадцатую долю ее имущества! О, я чувствую, что вы смягчитесь! Анжела! Анжела, дочь моя!

И он с плачем и рыданиями продолжал повторять имя своей дочери.

-- Однако эта глупая театральная сцена начинает мне надоедать, -- равнодушно сказал Менар.

Вдруг в эту минуту дверь с шумом отворилась, и прелестная девушка, в белом ночном платье, с распущенными волосами и бледным лицом, стремительно вбежала в комнату, бросилась на шею к старику и обняла его с криком:

-- Отец! Милый отец! Я слышала все! Я все знаю! Ты говоришь, что все потерял? Но разве у тебя не осталась твоя Анжела? Зачем нам богатство и деньги? Анжела будет содержать тебя своим трудом! Не унижайся, отец, умоляю тебя, перед этим презренным человеком! Не мы бедны и несчастны, а он со всем его богатством, потому что он одинок и нет у него для утешения любящего сердца! Пойдем, отец! Сейчас же оставим этот дом, чтобы не доставить этому чудовищу удовольствия видеть наше горе!

Вертуа без сил опустился в кресло. Анжела бросилась перед ним на колени. Схватив его руки, целовала их, потом начала громко перечислять все, что она знает и что умеет для того, чтобы трудиться и жить в достатке вместе с отцом; умоляла со слезами на глазах не приходить в отчаяние и забыть свое горе; уверяла, что работать ради отца, шить, вязать, петь и играть на гитаре, будет для нее истинным и величайшим наслаждением в жизни.

Самый закоренелый злодей вряд ли бы остался равнодушен, глядя на эту прелестную девушку и слыша, как она утешала отца своим нежным голосом, в котором так и дышала глубокая любовь и детская преданность.

И шевалье не устоял. В нем заговорила совесть, заставив почувствовать адские муки. Анжела показалась ему светлым ангелом, перед которым исчезло, как темный туман, безумное его ослепление, и он в ужасающей наготе увидел свое настоящее, одинокое положение в этом мире.

И теперь, когда мрак этого, жившего в его душе ада внезапно озарился чистым, светлым лучом, показавшем, что существуют на свете небесное блаженство и счастье, его душевная пытка стала вдвое ужаснее и мучительней.

Менар не любил ни разу. Увидя Анжелу, почувствовал он себя охваченным самой пылкой страстью, которая, однако, вместо счастья, посылала ему одно горе, так как была совершенно безнадежна. И в самом деле, мог ли надеяться на счастье взаимной любви человек, начинавший знакомство с чистой, невинной девушкой, почти ребенком, при таких обстоятельствах?

Менар хотел что-то сказать, но слова не шли, точно он лишился языка. Наконец, с усилием овладев собой, воскликнул он дрожащим голосом:

-- Синьор Вертуа! Я не выиграл у вас ничего! Вот моя шкатулка! она принадлежит вам! И не одна она!.. нет, нет! Я ваш должник навеки! Берите ее, берите!

-- Дитя мое! -- заговорил было Вертуа, но Анжела, быстро поднявшись, подошла в Менару и с гордостью взглянув на него, сказала:

-- Знайте же, шевалье, что есть сокровище дороже золота и серебра! Это то, незнакомое вам чувство, которое заставляет нас с презрением отказаться от вашего подарка и, несмотря на это, сохранить душевное спокойствие! Оставьте у себя ваши деньги, на которыми тяготеют проклятья разоренных вами, бесчестным и бессердечным игроком!

-- Да! -- воскликнул вне себя Менар, дико озираясь. -- Вы правы! Пусть я буду проклят и осужден на вечные муки, если хоть когда-нибудь снова коснусь карт! Но если вы, Анжела, оттолкнете меня и после этой клятвы, то в моей гибели будете виновны вы одни! О, вы меня еще не знаете! Вы можете считать меня безумцем, но что скажете вы тогда, когда я буду лежать у ваших ног, бездыханный, с простреленной головой! Теперь дело идет уже о жизни или смерти! Прощайте!

С этими словами Менар выбежал вон из комнаты. Вертуа тотчас понял, что в нем происходило, и начал было объяснять Анжеле, что, может быть, имеются некоторые обстоятельства, которые смогут сгладить неловкость получения подарка от Менара. Анжела испугалась этих слов отца и объявила прямо, что, по ее мнению, Менар не заслуживает ничего, кроме презрения.

Однако судьба, распоряжающаяся самовластно и сердцем, и душой людей, часто против их собственной воли устраивает так, что неожиданное и негаданное происходит в жизни действительно.

Менару казалось, что он, внезапно проснувшись от ужасного сна, увидел себя лежащим на краю страшной пропасти и тщетно простирающим руки к светлому, прекрасному существу, явившемуся где-то вдалеке не для того, чтобы его спасти, -- но нет! -- напротив, чтобы напомнить ему о его гибели!

Скоро, на удивлению всего Парижа, банк Менара исчез из дома, где помещался. Сам он не показывался нигде, так что о внезапном его исчезновении стали даже ходить в обществе самые невероятные слухи. Менар избегал видаться с кем бы то ни было, доведенный своей несчастной любовью до полнейшего отчаяния, как вдруг однажды во время уединенной прогулки в Мальмезонском саду, встретил он лицом к лицу старого Вертуа с дочерью. Анжела, которая не могла и подумать о Менаре иначе, как с презрением и гневом, была на этот раз поражена, видя его бледным, несчастным и едва осмеливавшимся на нее взглянуть под влиянием самого глубокого смущения. Она, впрочем, уже знала, что Менар бросил совершенно игру после той роковой для него ночи, и теперь мысль, что все это произошло из-за нее, невольно мелькнула в ее голове. Она видела ясно, что спасла его от гибели, а может ли что-нибудь более польстить самолюбию женщины?

Потому не было ничего удивительного в том, что после того как Вертуа и Менар обменялись первыми словами вежливости, Анжела под

впечатлением своего нового ощущения ласково и сочувственно спросила:

-- Что с вами, кавалер Менар? У вас такой больной, измученный вид. Вам, право же, не мешало бы обратиться к врачу.

Можно себе представить, какой сладкой надеждой отозвались эти слова в сердце Менара. Он переродился в одно мгновение и, подняв голову, почувствовал, что язык его вновь приобрел то умение говорить и увлекать, которым в былое время снискал он общую любовь и сочувствие. Вертуа между тем спросил, когда желает он принять в свое владение выигранный им дом.

-- Да, синьор Вертуа, да! -- оживленно воскликнул Менар. -- Пора этим заняться. Завтра я приду с вами поговорить об этом деле, но сначала должны мы договориться о предварительных условиях, как бы долго это ни длилось.

-- Пусть будет по-вашему, кавалер, -- ответил с улыбкой Вертуа, -- хотя мне и кажется, что при этом мы договоримся о том, о чем, может быть, теперь и не думаем.

Можно легко вообразить, как ожил и расцвел Менар после этой встречи и как вновь возвратилась к нему его милая легкость и радость жизни, подавленные до того губительной, жившей в нем страстью. Все чаще и чаще стал он посещать дом старого Вертуа, и с каждым днем все более привязывалась к нему его спасительница Анжела, так что, наконец, она сама пришла к мысли, что его любит, и охотно согласилась на сделанное предложение. Старый Вертуа был несказанно этому рад, видя в этом превосходное средство окончательно предать забвению свой проигрыш Менару.

Однажды Анжела, будучи уже счастливой невестой Менара, сидела у окна, полная самых приятных мыслей о своем счастье, как вдруг на улице раздался веселый марш и вслед затем показался полк, отправляющийся в поход в Испанию. Анжела с участием смотрела на этих храбрых людей, шедших на смерть, как вдруг какой-то молодой офицер, покинув ряды, подскочил на лошади прямо к ее окну. Анджела, увидев его, тихонько вскрикнула и без чувств упала на кресло.

Всадник, произведший на нее такое впечатление, был молодой Дюверне, сын соседа ее отца, товарищ ее юности, с которым провела она лучшие годы своего детства; он почти ежедневно бывал у них в доме и бесследно исчез с тех пор, как к ним стал заходить Менар.

В полном упреке взоре молодого человека, обличавшем глубочайшее страдание, Анжела с первого мгновения ясно прочитала не только то, что он страстно любит ее, но также поняла, как невыразимо она его любит сама. В один миг стало ей ясно, что привязанность ее к Менару была лишь минутным увлечением. Вздохи Дюверне, когда они оставались вдвоем, его безмолвные взгляды, на которые она не

обращала большого внимания, вдруг получили теперь значение в ее глазах, и впервые поняла она, какое чувство волновало ее грудь, когда видела она Дюверне или слышала его голос. "Поздно!.. Он для меня потерян!" -- так сказала сама себе Анжела и с силой характера, которой обладала вполне, принудила себя безусловно подавить это воспрянувшее в ней чувство.

От пронизательного взора Менара не могло скрыться, что его Анжела чем-то глубоко опечалена. Он, однако, был настолько деликатен, что не стал выведывать тайну, которую, как казалось ему, она хотела скрыть, и просил только ускорить свадьбу, устроенную им с таким тактом и вниманием к вкусам и желаниям Анжелы, что уже это одно вполне восстановило ее к нему расположение и сочувствие. Вообще Менар вел себя относительно жены с такой предупредительностью истинной любви и до того старался во всем ей угодить, что внезапно пробужденное воспоминание о Дюверне стало изживаться само собой. Скоро, правда, ее счастливая жизнь омрачилась: старый Вертуа вдруг захворал и через несколько дней умер.

Он не брал в руки карт с той самой ночи, как проиграл все свое имущество Менару, но в последние дни жизни пагубная страсть, казалось, снова возникла в его душе. Когда позванный священник явился его напутствовать и заговорил ему о небе, Вертуа лежал с закрытыми глазами и тихо бормотал: "Perd! Gagne!" -- и в то же время ослабевшими руками делал судорожные движения, точно смешивал и сдавал карты. Напрасно Менар и Анжела, склоняясь над ним, старались ласковыми словами пробудить его внимание; он ничего не слушал, никого не узнавал и умер со словом "gagne" на губах.

Такая смерть, конечно, не могла не оставить в душе Анжелы надолго ужасного впечатления. Картина той страшной ночи, когда в первый раз увидела она своего мужа в виде бессердечного, погибшего игрока, с удивительной ясностью возникла в ее душе, и страшная, неотвязчивая мысль, что, может быть, Менар, вдруг сбросив надетую им на себя маску добродетели, опять начнет вести прежнюю жизнь, неотступно стала преследовать ее днем и ночью.

К несчастью, предчувствие Анжелы скоро стало явью.

Как ни был потрясен Менар смертью Вертуа, который отказался от последних утешений религии из-за прежней греховной жизни, тем не менее смерть эта, он сам не знал как, пробудила в его душе мысль об игре с неодолимой силой. Каждую ночь снилось ему, что опять сидит он за своим игорным столом, загребая новые груды золота.

Анжела все чаще стала вспоминать подробности своего первого знакомства с мужем, и постепенно даже ее обращение с ним невольно теряло в ласке и нежности, в то же время Менар, со своей стороны, сделался подозрительным и недоверчивым, приписывая происшедшую

в жене перемену той давней тайне, которую когда-то он не захотел раскрыть. Недоверие скоро перешло в открытое недовольство, повлекшее за собой ряд домашних сцен, глубоко оскорблявших Анжелу. После нескольких таких столкновений в душе ее снова ясно возник образ несчастного Дюверне, а вместе в тем родилось горькое чувство утраты загубленной любви, которая когда-то поселилась в юных, неопытных сердцах. Трещина, появившаяся в отношениях супругов, делалась все шире и шире, так что Менар в скором времени окончательно бросил тихую семейную жизнь, кинувшись по-прежнему всеми своими силами в вихрь светских удовольствий.

Злая звезда Менара загорелась снова. То, что началось чувством недовольства и душевной неустроенности, закончил бессовестный негодяй, пропащая душа, бывший крупье при банке Менара -- его коварные нашептывания сделали свое дело, и Менар, наконец, стал сам изумляться, как мог он осудить себя на тихую, сонную жизнь, как мог он из-за жены бросить свет и его удовольствия, без которых жизнь его теряла всякий смысл.

Дело кончилось тем, что скоро игорный промысел Менара стал успешнее прежнего. Везение сопровождало его как всегда. Игроки являлись толпами, и деньги текли рекой в его кассу. Но зато счастье Анжелы исчезло, как сон. Менар обращался с ней с равнодушием, равнявшимся презрению. Часто не видала она его по целым неделям и месяцам. Старый дворецкий кое-как управлял домом и хозяйством; остальная прислуга менялась всегда по капризу Менара, так что Анжела иногда чувствовала себя чужой в собственном доме. Часто во время бессонных ночей слышала она, как карета Менара останавливалась у подъезда, как выносили из нее тяжелые, набитые золотом шкатулки, как Менар отрывистым голосом раздавал приказания, после чего тяжело и со стуком запирались двери отдаленной комнаты. Горькие слезы ручьем катились из глаз бедной женщины, на ум невольно приходил Дюверне, и Анжеле оставалось только умолять небо послать желанный и скорый конец ее несостоявшейся жизни.

Однажды случилось, что один молодой человек из хорошего семейства, проиграв за игорным столом Менара все свое состояние, застрелился тут же на глазах у всех, так что его кровь и мозг брызнули на стоявших рядом игроков, в ужасе отпрянувших. Менар один остался невозмутим и холодно спросил спешащих разойтись партнеров, что неужели поступок глупца, неумеющего себя вести в обществе, мог послужить причиной, чтобы кончить игру раньше времени?

Случай этот, однако, наделал много шума. Даже завязтые, отчаянные игроки были потрясены бессердечием Менара. Против него восстали все. Полиция закрыла его игорный дом. Кроме того его обвинили в шулерстве, чему в числе доказательств, по мнению суда, служило его

необыкновенное счастье в игре. Менар не смог оправдаться, и огромный, наложенный на него штраф лишил его значительной доли состояния. Он увидел себя униженным и обесчещенным. Тогда снова вернулся он к оставленной им жене, которая с добрым участием приняла его, несчастного и раскаявшегося, помня пример своего отца, который под старость успокоился и бросил бурную жизнь игрока; она надеялась, что и Менар, приближавшийся к зрелым годам, сможет переменится. Менар оставил с женой Париж и поселился в Генуе, родном городе Анжелы, где и жил первое время скромно и тихо. Но разрушенные уже однажды демоном, овладевшим Менаром, светлые, прежние отношения с женой восстановить было невозможно. Недоразумения и недоговоренность между супругами остались и скоро вынудили Менара опять искать вне дома удовольствий и развлечений. Его дурная слава долетела из Парижа до Генуи, так что начать игорное дело не представлялось никакой возможности, несмотря на неодолимое желание это сделать.

В Генуе держал в это время самый богатый игорный дом один французский полковник, вынужденный оставить службу из-за полученных в нескольких кампаниях ран. С завистью и затаенной злобой явился Менар в числе игроков, надеясь, что обычное его счастье поможет ему сорвать банк и уничтожить соперника. Полковник против своего обыкновения приветствовал Менара с шутливой веселостью, громко объявив, что сегодня игра в первый раз будет чего-нибудь стоить, потому что в числе игроков оказался Менар со своим всем известным счастьем.

В начале Менару по-прежнему являлись все счастливые карты, но когда, наконец, доверясь своему счастью вполне, воскликнул он: "Va banque!" -- его карта была бита, и он сразу проиграл очень значительный куш.

Полковник, бывший до того совершенно равнодушным и к везению и к неудачам других, в этот раз с какой-то особенной радостью забрал деньги изумленного Менара, счастье которого, по всему было видно, совершенно изменилось с этой минуты. Он стал просиживать за игрой целые ночи и, теряя постоянно, проиграл наконец все свое состояние, кроме небольшой суммы тысячи в две дукатов, которая у него хранилась в ценных бумагах.

Целый день пробегал он в поисках возможности разменять эти бумаги на звонкую монету и только поздно вечером вернулся домой. Ночью хотел он начать игру на эти последние деньги, но Анжела, догадавшаяся обо всем, вся в слезах бросилась к его ногам, заклиная его Божьим именем и всеми святыми бросить пагубное намерение, которое грозило повергнуть их в беспросветную нищету и унижение.

Менар, выслушав жену, поднял ее с колен, прижал с тоской к своей груди и сказал:

-- Анжела! Дорогая моя Анжела! Я должен сделать это сегодня во чтобы то ни стало! Но завтра все твои заботы кончатся, потому что я даю тебе торжественную клятву, что иду играть в последний раз. Будь же спокойна и ложись спать. Бог даст, увидишь во сне другую, лучшую жизнь, которая, верь мне, наступит для нас очень скоро.

С этими словами поцеловал он жену и стремительно убежал прочь.

Придя в игорный зал, он в две талии проиграл все и, недвижимый, стоял без слов возле полковника, уперев бессмысленный взгляд на зеленый стол.

-- Что же вы, шевалье! Разве вы больше не понтируете? -- спросил полковник, тасуя карты для новой талии.

-- Я проиграл все! -- отвечал Менар с напускным спокойствием.

-- Неужели у вас нет больше ничего? -- продолжал полковник.

-- Я нищий! -- воскликнул Менар дрожащим от ярости голосом, смотря по-прежнему на стол и не замечая, что удача все больше склоняется на сторону понтеров.

Но полковник продолжал игру, нимало не смущаясь.

-- Что ж! У вас осталась хорошенькая жена, -- сказал он тихо, не глядя на Менара и тасуя карты для новой игры.

-- Что вы хотите этим сказать? -- гневно спросил Менар.

Полковник взял колоду карт, не отвечая на вопрос, срезал ее и затем сказал, оглянувшись:

-- Десять тысяч дукатов или -- Анжела!

-- Вы сошли с ума! -- крикнул Менар, придя в себя и начиная замечать, что полковник проигрывал все больше и больше.

-- Двадцать тысяч дукатов -- против Анжелы, -- тихо прибавил полковник, перестав на мгновение тасовать карты.

Менар молчал. Полковник снова начал игру, причем почти все его карты проигрывали.

-- Идет! -- шепнул Менар ему на ухо при начале новой талии и поставил даму.

Карта оказалась бита.

Со яростным скрежетом зубов поднялся Менар со своего места и, бледный как смерть, шатаясь, отошел к окну.

Игра между тем кончилась.

-- Ну, так как же ваш долг? -- с презрительной улыбкой сказал полковник Менару.

-- Ха! -- совершенно вне себя воскликнул тот. -- Вы меня разорили, пусть! Но вообразить, что вы выиграли мою жену, может только сумасшедший! Мы не на островах и жена моя не невольница, чтобы муж мог проиграть ее как вещь! Но вы действительно рисковали двадцатью тысячами дукатов, и потому, проиграв, я должен разрешить моей жене бросить меня и последовать за вами, если только она на это

согласится. Едемте же ко мне и вы сами увидите, с каким отвращением она оттолкнет предложение сделаться вашей любовницей!

-- Берегитесь, шевалье! -- возразил полковник со злобной улыбкой. -- Смотрите, чтобы ваша жена не оттолкнула вас, как человека, приведшего ее к бедности и несчастьям, и не бросилась сама с радостью и восторгом в мои объятия! Не любовницей, а женой, соединенной со мной священными узами церкви, рискуете вы ее увидеть! Узами, венчающими самые чистые желания! Вы называете меня безумцем! Так знайте же, что если я играл на вашу жену, то для того только, чтобы получить на нее право, жена же ваша и без того принадлежит мне! Знайте, что меня одного любит она всем сердцем и что я тот самый Дюверне, сын соседа Вертуа, с которым Анжела была вместе воспитана и которого любила еще до того, как вы успели околдовать ее вашим дьявольским искусством! В тот роковой год, когда я отправлялся на войну, а Анжела была вашей невестой, она уже чувствовала, чем я был для нее на самом деле, но было поздно! Прошло несколько лет, и однажды злой демон шепнул мне, что погубить вас можно только игрой, и вот для чего сделался я игроком -- последовал за вами в Геную -- и всего достиг! Идемте же к вашей жене!

Менар, совершенно уничтоженный, стоял перед Дюверне, чувствуя в груди целый ад. Страшная, подозреваемая им тайна была разоблачена, и только теперь увидел он, в какую бездну несчастий поверг свою Анжелу.

-- Анжела может уехать, если сама этого захочет, -- пробормотал он глухо и вышел вон. Полковник радостно последовал за ним.

Приехав в дом, где жил Менар, Дюверне быстро подошел к комнате Анжелы и схватился за дверную ручку.

-- Она спит, -- поспешно остановил его Менар, -- или вы хотите потревожить ее спокойный сон?

-- Гм! -- возразил Дюверне. -- Сомневаюсь, чтобы она проспала спокойно хоть один час с тех пор, как вы сделали ее нищей!

Сказав это, он хотел войти в комнату, но Менар, бросившись перед ним на колени, в отчаянии закричал:

-- Будьте милосердны! Вы все у меня забрали, оставьте же мне хотя бы мою жену!

-- Точно так же лежал перед вами старый Вертуа, но не смог смягчить вашего каменного сердца; а потому праведная месть неба должна разразиться и над вами!

Сказав это, Дюверне вошел в комнату Анжелы.

Одним прыжком шевалье опередил его, бросился к постели, где спала его жена, и отдернул полог с криком: "Анжела! Анжела!"

Затем он склонился к ней, схватил ее руки и вдруг отчаянно закричал страшным голосом:

-- Берите ее! Вы выиграли труп моей жены!

Полковник в ужасе кинулся к постели. Менар был прав: Анжела лежала мертвая.

Ударив себя кулаком по голове, с диким криком бросился Дюверне вон из комнаты. Что с ним стало потом -- неизвестно.

...Кончив рассказ, незнакомец встал со скамьи и быстро удалился, прежде чем глубоко потрясенный Зигфрид успел ему что-нибудь сказать.

Через несколько дней незнакомец был найден в своей комнате в предсмертной агонии, сраженный нервным ударом. Смерть последовала через несколько часов мучений, во время которых он не мог сказать ни одного слова. Из оставшихся бумаг узнали, что фамилия Бодассон, под которой он здесь жил, была ложной и что в действительности это был не кто иной, как несчастный шевалье Менар.

Зигфрид счел знакомство свое с Менаром предостережением самого неба, посланным, чтобы остановить его на пути в верной гибели, и дал честное слово противостоять всем искушениям попытать вновь счастья в игре.

Слово это он свое сдержал.

* * *

-- Право, -- сказал Лотар по окончании чтения, обратясь к Теодору, -- можно подумать, прослушав твою повесть, что ты сам был игроком и вздумал прочитать мораль самому себе, хотя я знаю, что ты никогда в руки не брал карт!

-- Это верно, -- ответил Теодор, -- но все-таки должен я сознаться, что написать мой рассказ помогло мне одно приключение, случившееся со мной.

-- Если так, -- перебил Оттмар, -- то вместо эпилога к твоей повести, лучше всего было бы рассказать, что это было за приключение.

-- Вы знаете, -- начал Теодор, -- что после завершения курса наук я довольно долгое время прожил в Г*** у моего старого дяди. Один из близких друзей старика, тоже пожилой человек, чрезвычайно ко мне привязался, несмотря на разницу в наших летах, и привязался в особенности за мой тогдашний веселый, насмешливый характер. Сам он был оригинальнейшим из когда-либо виденных мною людей. Мелочный в обыденной жизни, ворчун и притом скряга, был он в то же время величайшим почитателем и ценителем всевозможных шуток и острот, так что про него со справедливостью можно было сказать, что, вовсе не будучи занимателен сам, он легко был "занимаем" во всяком обществе. При этом, несмотря на свои немолодые годы, имел он несчастную страсть гоняться в своем туалете за модой, что навлекало на него всегдашние насмешки, особенно, когда иной раз

обнаруживалось, до чего неумоготу было ему по его летам исполнять все ее требования и как при этом, все-таки, в поте лица, мучил он себя до невероятности, боясь погрешить в чем-нибудь, чтобы одеться не так как следовало. Живо помню я два случившихся с ним по этому поводу приключения, которые должен вам непременно рассказать. Раз старик мой, путешествуя по горной стране в довольно большом обществе дам и мужчин, был приглашен отправиться пешком осмотреть находившийся вблизи водопад. Представьте же себе, что для этой прогулки оригинал вырядился в новый шелковый фрак с блестящими стальными пуговицами, в белоснежные чулки и лакированные башмаки с пряжками, причем унизал все свои пальцы драгоценными перстнями. В густом еловом лесу, через который шла дорога, общество было застигнуто сильной бурей. Дождь лил как из ведра; лесные ручьи разлились по всем дорогам, и вы можете себе представить, в каком положении очутился через несколько минут наш бедный щеголь. В другой раз случилось, что молния, ударив ночью в башню церкви Св. Доминика в Г***, зажгла все здание. Приятель мой был восхищен видом языков пламени, которые развевались на фоне черного неба и освещали все окрестности. Скоро, однако, пришло ему в голову, что вид на эту картину с горы, находившейся за городом, должен быть еще лучше. Тотчас же переоделся он как всегда с необыкновенной тщательностью, захватил с собой коробку с сухариками, бутылку вина, воткнул в петлицу прекрасный букет цветов, взял складной стул и отправился таким образом на вершину горы. Там уселся он самым спокойным образом и стал с наслаждением любоваться пожаром, потчuya себя то глотком вина, то кусочком сухарика, а то и понюхивая свой букет. В особенности оригинал мой...

-- Пстой, пстой! -- закричал Лотар. -- Ты обещал рассказать нам случай, который помог тебе написать твое "Счастье игрока", а между тем рассказываешь похождения какого-то сумасброда, в котором столько же забавного, сколько и глупого.

-- Что же делать, -- возразил Теодор, -- если я увлекся! Во всяком случае, нечего меня упрекать за изображение такой действительно живой, оригинальной личности. Но к делу. Человек, о котором я вам рассказывал, пригласил однажды меня отправиться вместе с ним в один городок на водах. Хотя я знал при этом, что приглашаюсь только в качестве веселого компаньона или, иначе говоря, *maitre de plaisir**, привлекательность прекрасного путешествия по горам и притом за чужой счет побудила меня принять его предложение. В городке, куда мы отправились, существовал в то время один из богатейших игорных домов, с фондом в несколько тысяч фридрихсдоров. Спутник мой, посмеиваясь, смотрел на сверкавшее золото, прохаживался взад и вперед по залу, подходил к игорному столу и оставлял его снова, нерешительно вынимал из кармана два-три фридрихсдора и быстро

прятал опять. Словом, было видно по всему, что очень бы хотелось ему приобрести хотя бы немного от того лежавшего на столе золота, но только он не доверял своему счастью. Наконец, переломив себя в этой комической борьбе, он внезапно подошел ко мне, отер с лица холодный пот и сунул мне в руку шесть фридрихсдоров, потребовав, чтобы я играл за него, причем стал уверять, что отнюдь не доверяет моему счастью также, как и собственному, а просто желает проиграть эти деньги. Я подошел к столу и, как бывает обыкновенно со всяким новичком, удача неожиданно и негаданно повернулась ко мне. В самое короткое время выиграл я для моего приятеля около тридцати фридрихсдоров, которые он с видимым удовольствием спрятал в свой карман. На следующий вечер обратился он ко мне с просьбой продолжить игру. Но тут вздумалось мне, сам не понимаю до сих пор как, попробовать собственного счастья. До его просьбы мне и в голову не приходила подобная мысль, а напротив, мне очень хотелось покинуть душный зал и выйти в сад. Решившись, однако, играть за себя, я храбро подошел к столу и вытащил из жилетного кармана два составлявших все мое тогдашнее состояние фридрихсдора. Если счастье благоприятствовало мне и вчера, то на этот раз казалось, сам демон игры открыто встал на мою сторону. Какие карты я ни ставил, как их ни гнул -- каждая выигрывала непременно, так что со мной повторилось почти то же, что и с бароном Зигфридом в начале моей истории. Чувства мои помрачились. Всякий раз, как мне приходилось подгрести новую грудку золота, я боялся, не вижу ли это во сне, и сердце мое невольно билось при мысли, что вот-вот сейчас я проснусь и богатство мое исчезнет. С ударом двух часов ночи игра, по заведенному порядку, прекратилась. Покидая зал, внезапно почувствовал я, что кто-то легонько стукнул меня по плечу и, оглянувшись, увидел немолодого офицера, который сказал мне со строгим, серьезным лицом: "Молодой человек! Если бы вы были опытни, то могли бы сегодня сорвать банк, но прежде чем приобретете вы эту опытность, дьявол заберет вас также, как и прочих." С этими словами он меня оставил, не дождавшись моего ответа.

** Устроитель празднеств (франц.).*

Утро уже занималось, когда я вернулся в свою комнату и принялся выгружать золото из всех карманов. Можете себе сами представить состояние духа мальчика, который из полной зависимости, позволявшей ему иметь несколько монет на карманные расходы, вдруг превратился во владельца такой суммы денег, которая для него должна была показаться неисчислимым богатством! Любуясь, правда, своим золотом, я никак не мог отогнать от себя чувства какого-то страха, бросавшего меня в невольную дрожь при воспоминании о загадочных,

страшных словах пожилого офицера. Лежавшие передо мной деньги казались мне платой, которую дьявол уплатил за мою душу, осужденную с этих пор на вечную погибель. Юность моя казалась мне отравленной ядовитым жалом злой гадины, и я невольно впал в мрачное отчаяние.

Заря между тем разгорелась; солнце осветило верхушки гор; я лег на окно и стал смотреть, как ночные тени долин, убегая, скрывались перед его чудесным светом. По мере того как поля и леса освещались все более золотыми лучами, покой и мир стали снова возвращаться в мою душу. Твердая решимость во что бы то ни стало противостоять губительному искушению и спасти себя от дьявольских сетей, ведущих к прямой гибели, поселилась в моем уме. Я дал себе слово никогда не брать в руки карт и сдержал его свято. Первое употребление, сделанное из выигранных мною денег, состояло в том, что я тотчас же расстался с моим другом, к немалому его изумлению, и немедленно предпринял путешествие в Дрезден, Прагу и Вену, о котором рассказывал вам много раз.

-- Легко могу я себе представить, -- сказал Сильвестр, -- какое впечатление должно произвести такое неожиданное, хотя и сомнительное счастье на молодую неопытную душу! Что ты противостоял искушению и в самом твоём счастье сумел прозреть угрожающую тебе опасность -- все это делает тебе большую честь; но извини! -- самый твой рассказ, в котором ты умел так искусно охарактеризовать главную черту характера игроков, доказывает, что страсть к игре никогда не жила самостоятельно в твоей душе. Иначе ничего бы ты не поделал с ней при всей твоей геройской решимости. Винцент, который, кажется, лучше всех нас понимает игру, наверно, поддержит меня в этом случае.

-- Признаюсь, -- ответил Винцент, -- что я почти ничего не слышал из того, что рассказывал Теодор о своём счастье в игре, потому что все это время думал о том восхитительном оригинале, который бродит в шелковых чулках по лесам и любит с сухариком, вином и букетом зрелищем пожара. Я был крайне рад, что среди мрачного содержания наших сегодняшних рассказов, выдалась такая забавная, комическая фигура, и искренно желал бы видеть его героем какой-нибудь целой повести.

-- Разве тебе не довольно, -- возразил Лотар, -- изображения уже одной его личности? Вообще я полагаю, что мы должны допускать иногда в наших Серапионовых беседах изображения отдельных характеров для общей забавы, чтобы разнообразить впечатление от монотонно действующих на нас некоторых рассказов.

-- Прекрасное предложение, -- перебил Винцент, -- и я от души подам за него голос. Эти отдельные эпизоды будут служить нам материалом для компоновки картин, которые каждый будет рисовать сообразно

своему вкусу и умению. Их должны мы считать вкладами в кассу серапионовской фантазии. А чтобы доказать вам сочувствие мое в этом деле, я намерен немедленно первый выступить с рассказом об одной забавной личности, встреченной мной однажды в южной Германии.

Однажды, остановясь в Б***, пошел я прогуляться в близлежащем лесу, где внезапно увидел толпу крестьян, занятых обрубкой сучьев на кустах и деревьях. Сам не зная почему, спросил я, не новая ли проложится тут дорога? Работавшие только засмеялись мне в ответ и сказали, чтобы я потрудились пройти через лес и поднялся на гору, где встречу господина, который объяснит мне в чем дело. Послушав их, я действительно увидел маленького, пожилого человека, с бледным лицом, в плаще и дорожной, надвинутой на глаза шляпе. Через плечо была у него повешена сумка, а сам он пристально смотрел в зрительную трубу, наведя ее на то место, где работали крестьяне. Заметив мое приближение, поспешно оторвал он трубу от глаз и спросил: "Вы пришли из леса? Скажите, каково работают там мои люди?" Я отдал ему отчет в том, что видел. "Хорошо! хорошо! -- продолжал он. -- Вот уже с трех часов утра стою я здесь (было около шести вечера) и смотрю, как лентяят эти ослы, которым, однако, я заплатил очень немало. Надеюсь все же, что мой превосходный вид скоро откроется!" -- и с этими словами он снова приставил трубу в глазам и опять стал смотреть в том же направлении. Прошло несколько минут. Вдруг раздался глухой шум; последняя группа деревьев повалилась, и в то же мгновение действительно прелестный вид на отдаленные горы и руину замка, точно по мановению волшебного жезла, открылся перед нашими глазами. Крик восторга вырвался из груди моего незнакомца. Полюбовавшись с четверть часа этим зрелищем, спрятал он трубку в футляр и не простясь со мной, внезапно убежал, точно чего-то испугался. Потом узнал я, что это был никто иной как Р***, один из величайших оригиналов, который уже давно, подобно известному барону Гротхусу, путешествует пешком по всей Германии и везде, где только можно, ищет живописные виды. Оказавшись в местности, где, по его мнению, хороший вид скрыт высокими деревьями, которые следует для того спилить, немедленно вступал он в сделку с владельцем леса и не щадил никаких издержек для покупки тех деревьев и найма рабочих. Раз он затеял даже сжечь целую ферму, которая, по его мнению, портила своим видом окрестности, закрывая прекрасный обзор, и был очень огорчен, когда наивное это желание не осуществилось. Когда же попытка очистить хороший вид ему удастся, он обыкновенно любит им около получаса, а затем быстро убегает далее, никогда не возвращаясь более в эту местность.

Друзья, выслушав рассказ Винцента, решили единодушно, что иной раз трудно бывает даже выдумать те глупости, которые в жизни случаются постоянно.

-- Я нахожу уместным, -- сказал Киприан, -- в дополнение к похождениям двух оригиналов, рассказать историю третьего, о котором недавно узнал через одного знакомого нам всем музыканта. Оригинал мой, известный всем барон Б***, жил в Берлине в 1789 или 1790 году и принадлежал к замечательнейшим явлениям в музыкальном мире. Для большей живости моего рассказа я буду говорить в первом лице от имени моего знакомого музыканта, бывшего действующим лицом в этой истории, и надеюсь, что мой достойный Серапионов брат Теодор не останется недовольным, если я буду вынужден рассказывать совершенно в его духе. Итак, мой знакомый мне рассказывал следующее:

-- Я был еще очень молод, когда барон Б*** жил в Берлине. Мне было не более шестнадцати лет, и я со всем жаром, на какой только был способен, предался изучению игры на моем любимом инструменте. Музикус Гаак, мой почтенный, но очень строгий учитель, становился с каждым днем все более и более мною доволен. Он хвалил мою быстроту и чистоту интонации и позволил мне даже играть в оперном оркестре и на домашних концертах короля. При этом я часто слышал, как Гаак, разговаривая с молодым Дюпортом, Риттером и другими музыкальными знаменитостями, упоминал имя барона Б*** и хвалил музыкальные вечера, с большим вкусом и толком устраиваемые им в его собственном доме, так что в них иногда принимал участие даже сам король. На вечерах этих исполнялись прекрасные произведения старинных, почти уже позабытых композиторов, которые только и можно было слышать благодаря тому, что у барона Б*** была прекрасная библиотека музыкальных сочинений, в особенности скрипичных, начиная старинными и кончая самыми новейшими. Затем разговор обыкновенно переходил на описание прекрасной обстановки в квартире барона, радушного приема, который там все находили, его редкого умения обращаться с художниками и музыкантами, причем в заключение обыкновенно договаривались до единодушного признания, что барона следует считать самой блестящей звездой, сиявшей на тогдашнем музыкальном небе Берлина.

Все это чрезвычайно возбуждало мое любопытство, которое усиливалось еще более, когда, если разговор продолжался, говорившие часто, склонясь друг к другу головами, начинали о чем-то таинственно шептаться, причем из отдельных, долетавших до меня отрывочных фраз, я мог догадаться, что дело шло все о том же бароне, а также о каких-то музыкальных часах и уроках. На лице Дюпорта всегда появлялась при этом саркастическая улыбка, и когда все остальные на него нападали, то он защищался очень слабо и, не будучи в состоянии

подавить приступа смеха, обыкновенно завершал разговор тем, что, схватив скрипку и начав ее настраивать, говорил громко: "Все-таки он прекрасный человек!"

Я не мог, наконец, удержаться и, рискуя получить суровый отказ, робко попросил однажды моего учителя сделать мне когда-нибудь честь и взять меня с собой на музыкальный вечер барона.

Гаак смерил меня взглядом от головы до ног. Я уже ожидал бури, но, однако, вместо того он только как-то странно засмеялся и сказал: "Ну хорошо! Ты действительно можешь многому научиться у барона. Я поговорю с ним о тебе и почти уверен, что он не откажет тебе в позволении прийти; он вообще любит иметь дело с молодыми учениками".

Вскоре после того проиграл я однажды с Гааком несколько очень трудных скрипичных дуэтов. Он, казалось, остался доволен и, положив скрипку в сторону, сказал: "Ну, Карл! Надень сегодня вечером твое праздничное платье, шелковые чулки и приходи ко мне. Мы отправимся вместе к барону Б***. Сегодня у него будет очень немного приглашенных, и я воспользуюсь этим случаем, чтоб тебя представить".

Сердце во мне сильно забилося от радости, и я, сам не зная почему, ожидал, что увижу или услышу что-нибудь крайне интересное.

Мы отправились. Барон оказался пожилым, небольшого роста человеком, одетым в старинный, французского покроя парадный кафтан. Увидя нас, он поспешил навстречу и с радостью пожал моему учителю руку.

Никогда в жизни не чувствовал я в себе самом при посещении более или менее известных людей такой почтительности и в то же время такого дружеского влечения. На лице барона выражалось самое ласковое добродушие, но в глазах был тот запрятанный огонь, который обыкновенно с первого раза выдает людей, истинно и горячо преданных искусству. Весь мой страх, весьма понятный в молодом неопытном юноше, исчез мгновенно.

-- Ну что, каково поживаете, мой дорогой Гаак? -- так обратился барон добродушнейшим голосом к моему учителю. -- Вы уже выучили вы мой концерт? Да? Ну так мы его послушаем завтра! А это, без сомнения, тот юный артист, о котором вы мне говорили?

Я в смущении опустил глаза, чувствуя, что краснею с каждой минутой все больше и больше.

Гаак назвал меня по имени, похвалив мои способности и лестно отозвался об успехах, которые я сделал в короткое время.

-- Так значит, юноша, -- обратился барон ко мне, -- вы выбрали своим инструментом скрипку? Но подумали ли вы при этом о том, что скрипка труднейший из всех когда-либо существовавших инструментов? что при всей своей кажущейся простоте она включает

в себе неисчерпаемое богатство звуков, вызвать которые удастся только немногим избранным, предназначенным к тому самой природой? Говорить ли вам ваш внутренний голос, что вы в состоянии будете овладеть этой тайной? Многие думали так и все же оставались на всю свою жизнь жалкими кропотунами, а мне бы крайне не хотелось, чтобы вы умножили собой их число. Попробуйте что-нибудь мне сыграть, а там я скажу, на что вы можете надеяться, и дам кое-какие добрые советы. Может быть, с вами будет то же, что с Карлом Стамицем, который чудеса воображал о своей скрипичной игре, однако, когда я открыл ему на этот счет глаза, то он бросил скрипку в печь и тотчас же схватился за альт и виолончель. На этих инструментах он точно стал пилить довольно порядочно своими широкими пальцами. Начинайте же, юноша, начинайте! Я слушаю!

Эта оригинальная вступительная речь барона, признаюсь, меня немного задела. Слова его глубоко ранили мою душу, и я почувствовал даже некоторое разочарование при мысли, что, может быть, только потерял даром время, посвятив с таким жаром свою жизнь на изучение такого трудного и таинственного инструмента.

Предложено было разыграть три новых квартета Гайдна, недавно появившихся и составлявших животрепещущую новость дня.

Учитель мой достал скрипку из ящика. Но едва провел он по струнам смычком для настройки, как барон заткнул уши пальцами и закричал точно исступленный: "Гаак, Гаак! Ради Бога! Как можете вы портить вашу игру, играя на этом рожке!"

Учитель мой имел прекраснейшую старинную скрипку Антонио Страдивари, лучше которой мне даже не случалось слышать и которую он сам ценил так высоко, что ничем нельзя бывало его более рассердить, как отозвавшись о его любимице хоть с какой-нибудь стороны невыгодно. Потому я был изумлен, когда Гаак только улыбнулся на отчаянное восклицание барона и тотчас же запер скрипку обратно в ящик. По-видимому, он хорошо знал, что делал. Он даже вынул совсем ключ прочь из ящика, увидя, что барон, который перед тем вышел из комнаты, вновь возвратился, держа обеими руками обитый малиновым бархатом и украшенный золотыми гвоздиками футляр, с которым обращался также осторожно, как с новорожденным ребенком.

-- Сегодня, -- так начал барон, -- я хочу оказать вам особую честь, Гаак! Вы будете играть на моей лучшей старинной скрипке. Это настоящий Грануэло, перед которым ваш Страдивариус -- мальчишка. Тартини не играл ни на каких скрипках, кроме скрипок Грануэло. Берите же ее с почтением, чтобы великий мастер вдохновил вас своим искусством и вы удостоились вызвать из нее те звуки, какие она способна издать.

Барон открыл ящик, и я увидел инструмент, имевший налицо все следы глубокой древности. При скрипке находился и смычок, но такой чудной формы, что если судить по чрезмерному выгибу, то можно было скорее счесть его луком для пускания стрел. Барон торжественно вынул скрипку из ящичка и подал Гааку, принявшему ее с таким же почтительным видом.

-- Смычка, -- прибавил барон, ласково потрепав его по плечу, -- я вам не даю, потому что вы еще не умеете с ним обращаться, а потому никогда не сумеете извлечь из нее настоящего звука.

-- Смычок этот, -- продолжал он после паузы, взяв его в руки и рассматривая с восторженным лицом, -- употреблял великий Тартини! Когда же он умер, то на всем свете осталось только двое из его учеников, постигших тайну давнего, захватывающего дух взмаха, с помощью которого можно извлечь этим смычком невероятные звуки. Один из этих учеников -- Нардини, дряхлый семидесятилетний старец, способный только понимать музыку и о ней говорить; другой же, как вы сами, милостивые судари, знаете -- я. Таким образом, истинное искусство скрипичной игры живет еще только во мне, и, конечно, я не откажусь по возможности учить других этому искусству, творец которого был Тартини... Но, однако, друзья, не угодно ли вам начать.

Квартеты Гайдна были исполнены с таким совершенством, выше которого трудно было что-либо желать.

Барон слушал с закрытыми глазами, покачивая головой то вправо, то влево. Затем, вдруг вскочив, подошел он к исполнителям, повернул нахмурясь несколько листов партитуры, вернулся тихо в своему месту и, взявшись за голову руками, начал тихонько стонать и вздыхать. "Стойте! -- закричал он вдруг посреди чудесного, певучего адажио. -- Стойте! Это написано совсем в духе Тартини, но вы сыграли не так, как нужно; повторите еще."

Артисты, переглянувшись с улыбками, исполнили просьбу и повторили сыгранную часть квартета, замедлив темп. Барон плакал и рыдал как ребенок от восторга.

Когда концерт закончился, барон снова заговорил:

-- Божественный композитор Гайдн! Он умеет вполне овладеть душой, но писать для скрипки ему не дано. Впрочем, может быть, он не делает этого нарочно, потому что, если бы ему и удалось написать что-нибудь в единственно верном, тартиниевском роде, то вы бы не сумели этого исполнить.

Наступила моя очередь. Я должен был исполнять несколько вариаций, написанных Гааком собственно для меня.

Барон встал возле и стал смотреть в ноты. Можно себе представить, как меня стесняло это близкое соседство строгого критика. Но вскоре дойдя до бурного аллегро, я вдохновился, забыв и барона и всех

окружающих, и действительно стал играть с силой, на какую тогда был способен.

Когда я кончил, барон потрепал меня по плечу и сказал с улыбкой:

-- Можешь оставаться при скрипке, юноша! Но о тоне и исполнении ты не имеешь еще никакого понятия, и это потому, что до сих пор у тебя еще не было достойного учителя.

Пошли ужинать. Стол, накрытый в соседней комнате, вполне заслуживал именованья роскошного как по количеству, так и по качеству вин и блюд. Артисты приложились к угощению с большим усердием. Разговор, оживлявшийся с каждой минутой все более и более, исключительно вертелся около музыки. Барон обнаружил неистощимый запас музыкальных познаний. Его меткие и верные суждения обличали не просто образованного любителя, но истинного, знающего свое дело музыканта. Особенно поразила меня его характеристика знаменитейших скрипачей, которую я постараюсь повторить, насколько ее запомнил. Барон говорил:

-- Корелли -- первый пробил дорогу. Сочинения его могут исполняться только в манере Тартини, и это одно доказывает, как глубоко познал он суть скрипичной игры. Пуньяни -- порядочный скрипач; у него есть тон и смысл, но смычок его слишком мягок при апподжиатуре. Чего только не говорили мне о Джеминиани! Когда я слышал его в Париже, то мне показалось, что это пилит на скрипке лунатик во сне, да и слушая его, всякий готов был заснуть сам. Все только темпо рубато без всякого стиля и выдержки. Проклятый, вечный темпо рубато портит отличнейших скрипачей, потому что они искажают эти темпом тон. Я проиграл ему тогда мои сонаты, и он сам, поняв свое заблуждение, пожелал у меня учиться, на что я, конечно, охотно изъявил согласие. Но мальчик был уже испорчен своей методой, да к тому же и очень состарился. Он насчитывал себе тогда девяносто первый год!.. Да простит Господь Бог Джакардини в Своем Царствии и не помянет его тяжких грехов! Он первый сорвал яблоко с древа познания и сделал грешниками всех последующих артистов. Вычурные и бессмысленные украшения введены им. Он заботился только о левой руке и скачках пальцами, забывая, что истинная душепение находится в правой и что ее пальцами передается все зародившееся в груди и увлекающее сердце слушателя чувство. Каждому такому бессмысленному виртуозу желаю я иметь Иомелли учителем, который сумел бы довести его до разумения его глупости посредством хорошей оплеухи, что Иомелли, действительно, сделал однажды, когда Джакардини совершенно испортил своими выкрутасами, скачками, глупыми трелями и мордентами одно чудное адажио. Лолли -- сумасшедший кривляка, канатный плясун, не умеющий исполнить ни одного адажио. Вся его известность основана на том, что ему удалось найти несколько глупцов, которые им

восхищаются. Я повторяю, что с Нардини и мной умрет истинное искусство скрипичной игры. Виотти недурной музыкант, но то, что он смыслит, заимствовано им у меня же, потому что он был моим прилежным учеником. Но что делать! У него не достало терпения, и он бросил мою школу. Впрочем, я надеюсь еще что-нибудь сделать из Крейцера. Он усердно у меня занимался и будет продолжать занятия, когда я возвращусь в Париж. Мой новый концерт, который вы, Гаак, разыгрывали со мной, исполнялся им недурно. Но владеть моим смычком все-таки ему еще не по силам. С Джарновичи я разделался окончательно. Это трусливый глупец, который суется судить о Тартини и о других великих артистах, а учиться у меня, его ученика, не хочет. Теперь у меня забота сделать что-нибудь из Роде. Он учится прилежно, и ему думаю я даже передать мой смычок.

-- Он, -- продолжил барон, обратясь ко мне, -- твоих лет, но глубже тебя и серьезнее. Ты мне кажешься (не сердись за это выражение) порядочным ветреником. Ну да это пройдет! От вас, любезный Гаак, ожидаю я многого. Вы стали совершенно другим человеком, с тех пор как берете уроки у меня. Трудитесь только, трудитесь с прежней горячностью, а главное -- не пропускайте уроков, вы же знаете, как это меня огорчает.

Я был положительно поражен всем слышанным и с нетерпением ожидал свободной минуты, чтобы спросить моего учителя, неужели барон в самом деле выучил всех современных знаменитых скрипачей и неужели Гаак сам брал у него уроки?

-- Конечно, -- отвечал Гаак, прибавив, что он совсем не пренебрегает возможностью являться к барону и пользоваться его благодетельными уроками, советует даже мне прийти когда-нибудь к барону утром и попросить принять себя в число его учеников.

На все мои дальнейшие вопросы о бароне и его талантах Гаак не отвечал ни слова и повторял только, чтобы я, как он уже сказал, явился к нему сам и узнал все на собственном опыте. При этих словах Гаака от меня, однако, не ускользнула какая-то странная улыбка, мелькнувшая на его губах, поэтому любопытство мое было возбуждено до самой крайней степени.

Когда затем я, робко и почтительно обратившись к барону, выразил ему мое желание, распространяясь горячо об истинном призвании, которое чувствовал к моему любимому искусству, он пристально на меня посмотрел самым ласковым доброжелательным взглядом и сказал: "Хорошо ты сделал, юноша, что обратился с просьбой ко мне, первому из современных скрипачей! Это доказывает, что в тебе есть стремление сделаться артистом и что в душе твоей живет идеал истинной скрипичной игры. С охотой исполнил бы я твое желание, но время, время! Где его взять? Я так много вожусь с Гааком, да тут еще этот юноша Дюран, который хочет выступить со своей игрой перед

публикой, но не смеет и подумать сделать это, не кончив курс у меня! Ну да мы это как-нибудь устроим! Послушай, между завтраком и обедом или, еще лучше, во время самого завтрака, у меня есть свободный час. Приходи ровно в двенадцать часов каждый день. Я буду заниматься час с тобой, а затем явится Дюран".

Можно легко представить, что на другой же день я с бьющимся от восторга сердцем был у барона аккуратнейшим образом в назначенный час.

Он не позволил мне взять ни одной ноты на моей собственной скрипке и сунул мне в руки инструмент работы Антонио Амати. Никогда в жизни не случалось мне играть на чем-либо подобном. Дивное звучание струн восхитило меня и вдохновило! Пассажи полились точно сами собой! Тон мой усиливался с каждой минутой, разливаясь точно плеск волн или раскаты небесной гармонии. Мне казалось, что никогда не играл я так хорошо: но барон, однако, неодобрительно покачивал головой и сказал, когда я кончил: "Юноша, юноша! Все это ты должен забыть! Во-первых, ты не умеешь держать в руке смычок", -- и при этом он тотчас показал мне, как следует за это взяться на манер Тартини. Мне с первого раза показалось, что на этот лад я не сумел бы извлечь ни одного звука, однако, каково же было мое изумление, когда, повторив по приглашению барона мои пассажи, тотчас же увидел я преимущество системы держать смычок так, как он мне показал.

-- Ну! -- продолжал барон. -- Начнем же наш урок. Проведи смычком по струнам и покажи, как долго можешь ты выдержать тон. Береги смычок, береги! Что вздох для певца, то смычок для музыканта.

Я сделал, что мне было сказано, и невозможно обрадовался сам, чувствуя, что мне хорошо удалось с силой выдержать тон, поднявшись до фортиссимо и опять спустившись к пианиссимо в один взмах смычком.

-- Видишь, видишь, юноша, -- закричал барон, -- делать пассажи, новомодные прыжки, трели и украшения ты можешь, а выдержать простого тона не в состоянии! Давай-ка я тебе покажу, что значит держать на скрипке тон.

Он взял инструмент у меня из рук, придавил смычок прямо к подставке, и -- но нет! -- у меня не хватает даже слов выразить, что я услышал!

Барон что было мочи пилил по струнам; раздалось какое-то не то мычание, не то кваканье, не то мяуканье! Тон его походил на голос старухи, когда, сидя за работой, с очками на носу, она пытается затянуть старым, разбитым голосом какую-нибудь песню. И при этом он выворачивал глаза, подымал их к небу с выражением полнейшего блаженства. Наконец, перестав терзать струны смычком и положив

скрипку на место, барон воскликнул с блистающими от восторга глазами:

-- Вот это тон! Вот это тон!

Я не мог прийти в себя! Неудержимый смех, готовый вырваться из моей груди, был, однако, остановлен почтенным видом старика, озаренного светом неподдельного вдохновения. Вся эта сцена подействовала на меня, как тяжелый кошмар, так что я, потрясенный до глубины души, не мог вымолвить ни одного слова.

-- Не правда ли, юноша, -- заговорил барон, -- я сумел поразить тебя и тронуть? Ты, я думаю и не воображал, что такая сила может быть заключена в деревянной коробке с четырьмя жалкими струнами? Ну а теперь выпьем, юноша, выпьем!

Он налил мне стакан мадеры, который я должен был непременно выпить и закусить куском торта, стоявшего на столе. В эту минуту пробило час.

-- На сегодня довольно, -- сказал барон, -- ступай, юноша, и приходи завтра. А сейчас получи вот это!

И он сунул мне в руку бумажку, в которой оказался завернут светлый, новенький голландский гульден.

Пораженный и изумленный прибежал я к Гааку и рассказал ему все случившееся. Он громко рассмеялся и сказал:

-- Теперь ты видишь, что за учитель наш барон и какие дает он уроки! Тебя он считает новичком, а потому и заплатил тебе за час только один золотой. Но чем ученик успешнее и прилежнее учиться, по мнению барона, тем выше становится плата. Я получаю уже целый луидор, а Дюран, если не ошибаюсь, даже два золотых.

Я не мог удержаться от возражения, что, по моему, не совсем хорошо было так мистифицировать бедного старика, а кроме того, брать его деньги.

-- Ты не должен забывать, -- ответил Гаак, -- что для барона нет наслаждения выше, как давать уроки таким образом, и что всякого артиста, который откажется у него их брать, он, со своим замечательным критическим талантом и значением в музыкальном мире, втопчет в грязь и высмеет повсюду. А сверх того барон, если забыть его манию самому играть на скрипке, очень приятный и образованный человек, советами которого готов пользоваться всякий музыкант. Суди же после того сам, прав ли я, продолжая с ним знакомство, несмотря на его безумие, и пользуясь иногда его деньгами? Советую и тебе чаще его посещать, причем слушать не бредни сумасшедшего, а разумные слова знающего дело, умного человека. Это принесет тебе несомненную пользу.

Я последовал этому совету. Часто с трудом удавалось мне подавлять смех, когда барон вместо того, чтобы перебирать пальцами струны, барабанил ими по скрипичной доске и в то же время немилосердно

пилил смычком по струнам, уверяя, что играет прелестнейшее соло Тартини и что он единственный в мире скрипач, способный его исполнить.

Но зато потом, отложив скрипку в сторону, начинал он с одушевлением говорить об искусстве в таких глубоких и метких выражениях, что я невольно ощущал, что, слушая его, я развиваю свое музыкальное образование.

Когда потом мне случалось играть на каком-нибудь из его концертов и игра мне особенно удавалась, барон, гордо улыбаясь, говорил окружающим его людям: "Этим он обязан мне! Мне, ученику великого Тартини!"

Такую пользу и удовольствие приносили мне мои уроки у барона и его голландские гульденy.

* * *

-- Ну, -- сказал Теодор смеясь, -- я думаю немало наших теперешних виртуозов, которые и не подумали бы учиться, тем не менее согласились бы охотно брать уроки у барона.

-- Слава Богу, -- перебил Винцент, -- что сегодняшний вечер нашего Серапионова клуба заключился, хотя и совершенно неожиданно, забавным рассказом. Я хочу даже предложить моим достойным братьям постановить, чтобы впредь страшное сменялось непременно веселым, чего, к сожалению, сегодня не было.

-- Это произошло, -- возразил Оттмар, -- по твоей вине. Ты бы должен был угостить нас сегодня забавной историей о тебе самом и притом достойным твоего юмора образом.

-- В особенности же, -- подхватил Лотар, -- потому, что ты, достойный, хотя и ленивый Серапионов брат, задолжал в общую кассу хорошенький рассказ, соответствующий имени нашего патрона.

-- Тише, тише! -- ответил Винцент. -- Вы еще не знаете, какая редкость лежит в кармане моего сюртука! Страннейшая сказка, рекомендуемая мною особенно вниманию Лотара, которую я бы охотно прочел вам сегодня же, но вы, верно, заметили сами, что хозяин ресторана уже не раз заглядывал к нам в окно, совершенно так, как дядюшка Струй из повести Фуке "Ундина" заглядывает в хижину рыбака. А видели ли вы жалобную физиономию кельнера? Когда он снимал нагар со свечей, на его лбу я так и читал слова: "Что же вы вечно будете здесь сидеть, не давая покоя честным людям?" И он согласится, прав. Полночь прошла, и время нам разойтись.

Друзья дали слово собраться в скором времени вновь и затем расстались.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Седьмое отделение

Давно уже наступила поздняя осень, когда однажды Теодор, сидя в своей комнате перед трещащим камином, поджидал достойных Серапионовых братьев, начинавших, один за другим, собираться к условленному часу.

-- Что за отвратительная погода! -- воскликнул явившийся последним Киприан. -- Несмотря на плащ, я промок до костей, а ветер чуть было совсем не унес мою шляпу.

-- Погода эта -- перебил Оттмар, -- наверно, будет держаться очень долго, так как известный нам всем метеоролог, что живет на моей улице, предсказал прекрасную, светлую осень.

-- Совершенно согласен с тобой, друг Оттмар, -- сказал Винцент. -- Известно, что когда наш несравненный пророк начинает уверять соседей, будто наступающая зима окажется совершенно южной, без малейших морозов, -- то все в испуге скорее бегут закупать дров, сколько влезет в кладовую. Таким образом вещий наш метеоролог оказывается совершенно правдивым предсказателем, на которого можно вполне положиться, с тем только, что верить следует в диаметрально противоположное тому, что он предвещает.

-- На меня, -- заметил Сильвестр, -- эти осенние бури и дожди производят самое тягостное впечатление. Я в это время делаюсь угрюм и почти болен, да, кажется, и с тобой, друг Теодор, бывает то же самое.

-- Конечно, -- поддержал Теодор, -- такая погода.

-- Прелестное начало! -- воскликнул, внезапно перебив его, Лотар. -- Прелестное и преостроумное начало для серапионовского вечера! Мы говорим о погоде, точно старые кумушки, сидящие за кофейным столом!

-- Я не понимаю, -- возразил Оттмар, -- почему нам не поговорить о погоде? Дурно, если подобного рода разговор затевается из-за недостатка материала для более умной беседы, но почему же не перекинуться двумя-тремя веселыми словами о погоде и ветре, если мысль о них естественно приходит в голову? Такое введение в приятную беседу совершенно натурально.

-- И сверх того, -- продолжал Теодор, -- разве не решительно все равно, каким способом затевается разговор? Я уверен даже, что предвзятое намерение начать его непременно умно и остро убьет в самом начале непринужденность и свободу, составляющие душу всякого общества. Я знаю одного молодого человека, впрочем, и вы его тоже знаете, у которого вовсе нет недостатка в уме и находчивости для

того, чтобы поддерживать разговор, но, находясь в обществе, преимущественно дамском, он вечно терзается несчастной мыслью начать непременно с чего-нибудь поразительно остроумного, причем в результате выходит только то, что он кидается из стороны в сторону, делает беспокойное лицо, бормочет что-то, -- и в конце концов не может сказать ни слова.

-- Молчи, несчастный! -- воскликнул с комическим жаром Киприан. - Не растравляй злодейской рукой едва закрывшуюся рану. Ведь это, -- прибавил он смеясь, -- говорится обо мне, заметьте это; а между тем знаете ли вы, что когда, недели две тому назад, я хотел во что бы то ни стало побороть в себе этот недостаток, который сам признаю очень смешным, то вышла такая комическая история, что я раскаиваюсь до сих пор в своей попытке. Я расскажу вам этот случай сам, как он был, чтобы упредить Оттмара, который, конечно, сделает это с невыгодными для меня прибавлениями. Как-то за чайным столом в одном обществе, куда были приглашены Оттмар и я, присутствовала одна очень умная и прелестная особа, от которой, как вы все уверяете, я сходил с ума. Мне, действительно, очень хотелось подсесть к ней и завязать разговор, но едва я, подойдя, взглянул ей в лицо, меня сразу покорило, потому что я увидел, что в ответ на мой дружеский, вопрошающий взгляд она поглядела очень строго, не вымолвив ни одного одобрительного слова. "Кажется, перемена луны принесла нам, наконец, хорошую погоду", -- брякнул я довольно некстати. "Вы, вероятно, намерены издать вскоре метеорологический календарь!" -- ответила на это с очаровательной улыбкой моя собеседница.

Друзья расхохотались.

-- Скажу к слову, -- прервал Оттмар, -- что я знаю еще другого молодого человека, знакомого, безусловно, вам всем. Этот, по крайней мере, никогда не затрудняется в разговорах с дамами. Мне кажется даже, что в подобных случаях он держится всегда строго обдуманной наперед системы разговора. Так, например, видя, что какая-нибудь красавица сидит тише воды, ниже травы, едва обнаруживая, что она жива, чуть заметным движением пальчиков, когда размешивает сахар в чашке чая, или коротеньким, сделанным на ухо соседки замечанием: "Как сегодня жарко!", на что получает такой же тихий ответ: "Очень жарко!", -- словом, видя такую парочку, чей разговор нейдет далее "да" или "нет", -- друг мой сейчас же составляет план расшевелить и испугать интересующую его особу так, чтобы она перестала быть похожей сама на себя. "Боже! Как вы сегодня бледны!" -- вдруг восклицает он прямо в лицо румяной, как вишня, барышне, занятой вязанием кошелька из серебряных ниток. Барышня в испуге роняет работу на колени и начинает сама уверять, что чувствует себя сегодня в лихорадочном состоянии. "Лихорадка? Да, может быть, и лихорадка!" - продолжает мой друг, и вслед за тем с неподражаемым искусством и

остроумием начинает развивать эту тему: расспрашивает о симптомах, дает советы, предостережения, -- и таким образом, забавный, интересный разговор завязывается сам собой.

-- Спасибо, -- воскликнул Теодор, -- что ты умел так хорошо подметить и описать мои таланты!

Смех друзей удвоился.

-- Гостиная болтовня в обществе, -- вмешался Сильвестр, -- имеет, действительно, особый, свойственный ей характер. Французы уверяют, что тяжеловесность нашего национального характера делает нас положительно неспособными к подобного рода разговорам по совершенному недостатку нужных для того тона и такта, и может быть, что они до некоторой степени правы. Но, с другой стороны, я замечу, что и французская болтовня в их интимных кружках производит на меня какое-то одуряющее действие! Их *bon mots** и каламбуры, часто очень натянутые, вовсе не составляют, по моему, сути того настоящего, здорового остроумия, которым должен быть проникнут истинно умный, занимательный разговор. Настоящие же французские остроты мне просто противны.

* *Шутки (франц.).*

-- Мнение это, -- сказал Киприан, -- обнаруживает твой кроткий, милый характер, дорогой мой Сильвестр. Но ты упустил еще то, что большинство французских *bon mots*, кроме их пустоты, проникнуты еще характером какого-то презрения, которое можно хорошо выразить словом "задиристость". А эта струйка в разговоре очень легко может перейти за границы того, что позволяет такт, и тогда прощай всякое удовольствие от интимной беседы. Кроме того, заметьте, что французы положительно не в состоянии понимать остроты, если они основаны на более глубоком юморе, чем простое *bon mot*, и я иногда поистине удивлялся, до чего испаряется во французских переводах всякое остроумие произведения, хотя и не особенно глубокого, но тем не менее проникнутого истинно забавным характером.

-- Не забудь, -- возразил на это Оттмар, -- что подобные остроты очень часто совершенно непереводимы.

-- Или, -- перебил Винцент, -- иной раз они бывают очень дурно переведены. Я вспомнил по этому поводу один смешной анекдот, слышанный мной несколько дней тому, и который, если пожелаете, расскажу вам сейчас.

-- Рассказывай, рассказывай, веселый любитель анекдотов! -- разом воскликнули все друзья.

-- Один молодой певец, -- так начал Винцент, -- обладающий прекрасным басом, дебютировал в роли Зарастро в "Волшебной флейте". В ту минуту, как он должен был сесть в колесницу, чтобы

выехать на сцену, одолел его внезапно такой страх, что он, несмотря на всевозможные уверения и подбадривания директора, весь дрожал и решительно не мог прийти в себя, так что даже не был в состоянии прямо сидеть в своей колеснице. На беду случилось еще, что конец длинной мантии Зарастро попал на ходу в колеса, и чем быстрее они вертелись, тем мантия прикручивалась все сильнее и сильнее. Несчастный дебютант, упираясь крепко ногами, должен был делать невероятные усилия, чтобы сохранить баланс. В такой позе, откинувшись назад, крепко прижатый спиной и с расставленными ногами, выехал он на середину сцены, и -- что же? -- взрыв аплодисментов восхищенной публики приветствовал неопытного юношу за истинно царственную позу, в которой он явился. Продолжение дебюта прошло прекрасно, и обрадованный директор заключил с ним выгодный контракт. Этот анекдот был недавно рассказан в одном обществе, где присутствовала француженка, не знавшая ни слова по-немецки. Когда по окончании рассказа все засмеялись, она пожелала узнать причину смеха. Общий наш знакомый Д., который, как вы знаете, хоть и прекрасно передразнивает манеру французов говорить, но когда сам говорит на их языке, безбожно путается в выражениях, так вот он и взялся быть ее толмачом. И вот когда он в своем объяснении дошел до колеса, в котором запутался плащ Зарастро, благодаря чему он и явился в своей величественной позе, то, по ошибке, вместо *la roue*, что значит "колесо", сказал *le rat* -- "крыса". Лицо француженки мгновенно изменилось, брови сдвинулись, и по выражению глаз можно было прочесть, что рассказ произвел на нее самое ужасное впечатление, чему еще более помогло то обстоятельство, что рассказчик, обладавший очень подвижной физиономией, нарочно придал своему лицу трагикомическое выражение. Когда по окончании рассказа мы расхохотались еще сильнее прежнего над происшедшим забавным недоразумением, и притом никто из нас не решался объяснить, в чем дело, француженка, не выдержав, прошептала: "*Ah, les barbares!*"* Именем этим она угостила нас за то, что мы так недостойно, по ее мнению, посмеялись над бедным юношей, которого отвратительная крыса до смерти испугала в торжественную минуту начала его сценической карьеры, внезапно схватив зубами конец его мантии.

* *Ах, варвары (франц.).*

После того как друзья достаточно посмеялись над анекдотом, Винцент продолжал:

-- Я полагаю, что нам вообще следовало бы навсегда оставить в покое французскую манеру разговора, со всеми их *bon mots*, каламбурами и прочими неизбежными приправами, признав, что истинное

удовольствие может доставить только разумная, полная юмора беседа, затеянная в одухотворенном мыслью и чувством немецком кружке, в котором никогда не перестанут сверкать и искриться полные ума остроты и замечания, точно тысячи взрывающихся к небу ракет и бенгальских огней.

-- При этом надо заметить, -- возразил Теодор, -- что истинное удовольствие может доставить такая беседа только в том случае, если собеседники, вне зависимости от таланта умно и красноречиво говорить, умеют также и слушать. Это одно из необходимейших условий подобного кружка.

-- Конечно! -- подтвердил Лотар. -- Любители первенствовать в разговорах убивают удовольствие от всякой беседы. Есть немало болтунов, вечно начиненных анекдотами, которые только и делают, что перебегают из одного общества в другое, и вечно лезут с надоевшими рассказами, точно паяцы. Я знал одного такого говоруна, очень, впрочем, неглупого и даже остроумного человека, который успел прослыть такого рода присяжным рассказчиком, так что в любом обществе, где только он появлялся, все тотчас уставлялись на него в ожидании, какую остроту отпустит он на этот раз. Часто несчастному приходилось делать невероятные усилия, чтобы поддержать свою репутацию, и потому очень понятно, что иной раз ему приходилось окончательно спасовать, после чего на него обращалось не больше внимания, чем на лишнюю мебель. В таких случаях он обыкновенно начинал печально бродить из угла в угол, точно тот щеголь в рассказе Рабенера о душах, попавших в ад, который, умирая, забыл впопыхах захватить с собой свою золотую табакерку с испанским табаком, составлявшую необходимую принадлежность его особы, вследствие чего вместо той уверенности и блеска, с какими он держал себя на земле, он представлял в аду самую печальную фигуру.

-- Есть на свете такие удивительные люди, -- продолжил Оттмар, -- которые, когда они принимают у себя гостей, считают обязанностью поддерживать разговор во что бы то ни стало, лишь бы он как-нибудь не прервался; спрашивают беспрестанно гостей о том, весело ли им и т.п., чем, без сомнения, убивают в зародыше всякое веселье и непринужденность.

-- Это самый верный способ, -- подхватил Теодор, -- для того, чтобы надоесть, и я видел раз, как его блистательным образом привел в исполнение мой старый чудак дядя, которого, кажется, вы отчасти знаете по моим рассказам. У него был старый школьный товарищ, повадившийся ходить к нему каждый день, причем как своими манерами, так и разговором мешал дяде решительно во всех его занятиях и привычках, к довершению же всего постоянно, незванный, непрошенный, оставался обедать. Напрасно дядя морщился, нарочно держал себя сухо и нелюбезно, давая понять всеми средствами

докучливому гостю, что посещения его вовсе не были приятны. Ничего не помогало. Однажды дядя вышел из себя до того, что, как мне казалось, готов был немедля указать незваному гостю на дверь, что я даже ему и посоветовал сделать, но он на это не согласился и сказал мне, усмехнувшись: "Нет, любезный друг, он все-таки мой школьный товарищ, но я знаю другое средство, как от него отделаться, и притом средство верное".

Представьте же, как был я удивлен, когда на следующее утро увидел, что дядя принял своего гостя с распростертыми объятиями, бросив в сторону все дела и громко рассыпаясь в изъявлениях радости, что видит старого товарища и может поговорить с ним о добром, старом времени. Тысяча анекдотов, которыми посетитель надоедал каждый день, теперь посыпались с языка самого дяди, так что несчастный гость не мог, в буквальном смысле, разинуть рта. И все эти рассказы дядя пересыпал выражениями -- "да ты, кажется, недоволен!", "ты не говоришь ни слова!", "будь же повеселее!", "поболтаем вместе о старине!". Но едва гость хотел что-нибудь вымолвить, дядя прерывал его на первой букве какой-нибудь своей новой, нескончаемой историей. Прием этот надоел наконец самому посетителю, так что он собрался было домой. Но не тут-то было! Дядя почти силой удержал его к обеду, прельщая описанием всевозможных вкусных блюд и вин, так что гость согласился остаться. Но едва успел он проглотить две или три ложки супа, как дядя вдруг неистово закричал: "Это что за помой! Брось ложку, любезный друг, пожалуйста, брось! Сейчас подадут нам что-нибудь получше! Эй, Иоганн! Уноси живо тарелки!" -- и в тот же миг тарелка исчезла из-под носа удивленного гостя. То же самое повторилось и со всеми прочими блюдами, приготовленными на этот раз с большим искусством и выглядевшими очень аппетитно, пока, наконец, не подали на стол настоящий честерский сыр, которого приятель дяди не мог видеть без отвращения, как и вообще все сыры. Словом, под предлогом искреннего желания хорошенько угостить доброго друга, дядя не дал ему проглотить даже двух кусков. Не лучше обстояло дело и с вином. Едва успел гость поднести к губам первый стакан, как дядя воскликнул: "Ты сморщил лицо! Правда, правда! Вино никуда не годится!.. Иоганн! Дай нам бутылку получше!" Сорт следовал за сортом, французские вина сменяли рейнвейны и так далее. "Нет, нет! не то!.. Вина плохие!" -- добродушно ворчал дядя, так что гость, насмотревшись на честерский сыр, не выдержав, выскочил из-за стола. Дядя бросился к нему, стал утешать его нежнейшими выражениями, огорчался, что тот остался недоволен и ведет себя совершенно не так, как прежде, и в заключение упросил остаться, чтобы выпить, по крайней мере, в честь дружеской беседы бутылку столетнего. Успокоенный несколько гость уселся опять в свое кресло. Подали стаканы. "Подержи стакан против солнца! подержи! -- вдруг

опять закричал дядя. -- Вино как будто помутилось!.. Да, да! точно!.. Нет, вижу, что сегодня я не могу угостить тебя ничем!" -- и с этими словами он выплеснул оба стакана за окно. Тут взбешенный гость даже привскочил на своем кресле, но, впрочем, тотчас же уселся в него вновь, когда дядя крикнул: "Иоганн, токайского!" Токайское явилось; дядя налил стакан и, подавая его приятелю, сказал: "Ну, дружище! Теперь, надеюсь, ты будешь доволен, попробовав этот нектар!" Но едва гость снова поднес стакан ко рту, как дядя уже кричал снова: "Ах, черт возьми! Смотри, смотри! -- в бутылке сидит огромный паук-крестовик!". Тут приятель, в ярости схватив стакан, с такой силой пустил им в стену, что разбил вдребезги, сам же убежал без оглядки и уже более не являлся никогда.

-- Как ни забавна кажется мне хитрость твоего дяди, -- заговорил Сильвестр, -- но я не могу одобрить той злой последовательности, с какой он достиг своей цели -- выпроводить докучливого гостя. Случись подобное обстоятельство со мной, я бы лучше просто попросил его удалиться, вместо того, чтобы выдумывать такую изощренную систему и разыгрывать целую и пустую комедию, потому что нельзя же ведь назвать иначе оригинальный обед, о котором ты только что рассказал. Легко могу себе вообразить, какие танталовы муки вынес бедный нахлебник, когда дядя, постоянно поддерживая в нем надежду, тотчас же ее уничтожал в минуту ее исполнения; как, наконец, доведенный до отчаяния...

-- Ты можешь, -- перебил Теодор, -- воспользоваться этой сценой для твоей будущей пьесы.

-- Сцена эта, -- вмешался Винцент, -- живо напоминает мне прелестный обед в "Путешествии по водам" Катценберга, где описывается, как бедный кум чуть было не задохнулся, глотая кусок. Может быть, Сильвестр сумеет воспользоваться также и этой сценой.

-- Я знал лично неогрешенного Катценберга, -- сказал Теодор, -- его не любили за его цинизм. Он был душевным другом моего старого дяди, и я могу порассказать о нем немало забавного.

Между тем как друзья болтали таким образом, Киприан сидел не шевелясь и погруженный, по-видимому, в глубокую задумчивость, ничего не видя и не слыша. Теодор пригласил друзей выпить по стакану горячего пунша, составлявшего, по его словам, лучшее противоядие против неприятного воздействия плохой погоды. Вдруг Киприан, словно внезапно проснувшись, воскликнул:

-- Конечно, это зародыш сумасшествия, если не оно само!

Друзья изумленно переглянулись.

-- О Боже мой! -- продолжал Киприан, со смехом встав со стула. -- Я чувствую, что удивил вас этой громко сказанной, заключительной фразой из того, что думал про себя. Выпив стакан этого пунша и воздав внутренне дань похвалы Теодору за его умение так вкусно смешивать

сахар, спирт и лимоны, я поделюсь с вами моей мыслью: мне кажется, что глупости и безумные выходки до того присущи всем людям, что тот, кто пожелает специально заняться изучением симптомов сумасшествия, не встретит никакой надобности посещать дома умалишенных, а намного лучше сделает, если станет присматриваться к поступкам обыкновенных людей и в том числе обратит внимание на самого себя. Он увидит ясно, что безумные поступки являются в жизни совершенно рационально, как необходимый ее продукт.

-- Ну! -- воскликнул недовольным тоном Лотар. -- Он опять своротил на сумасшествие и сумасшедших!

-- Не сердись, любезный друг! Прошу тебя, не сердись, -- перебил Киприан. -- Мы сейчас говорили о таланте поддерживать разговор в обществе, и мне по этому поводу пришла в голову мысль о тех двух противоположных характерах, которые умеют так удивительно убивать в веселом обществе всякое удовольствие. Есть личности, никоим образом не умеющие расстаться с идеей, поразившей их раз, и продолжающие по целым часам развивать одну и ту же тему, не обращая никакого внимания на общий ход разговора. Никакие усилия направить их согласно с общим настроением присутствующих не ведут ни к чему, а если даже, наконец, удастся заинтересовать их новой, высказанной кем-нибудь мыслью, они, все-таки, мигом повернут опять на свою сказку о белом бычке. Совершенно противоположны им, наоборот, личности, которые мгновенно забывают, о чем была речь за одну перед тем секунду; беспрерывно о чем-нибудь спрашивают и, не дождавшись ответа, перескакивают на другое. Таким людям не впрок никакие изменения, никакое дальнейшее развитие темы разговора, и все их суждения не что иное, как какая-то пестрая каша из разнородных отрывков, из которых не выйдет ничего дельного или ясного. Подобные личности убивают удовольствие всякой беседы, и если первые наводят скуку, то другие могут довести до истинного отчаяния. Но скажите, неужели вы не согласны, что в первых из описанных мной характеров лежит зародыш безумия, которое зовется идеей фикс, а во вторых -- того, что психологи называли путаницей понятий.

-- Много бы мог я еще сказать, -- сказал Теодор, -- о загадочном искусстве уметь поддерживать разговор в обществе, искусстве, стоящем в прямом отношении с временем, местом и личностями присутствующих, но так как по этому предмету очень трудно установить какие-либо твердые правила, то я думаю, подобная тема завлекла бы нас слишком далеко и была бы, сверх того, противна основному принципу Серапионова клуба.

-- Совершенно справедливо! -- заметил Лотар. -- И потому я предлагаю на этом остановиться, не вдаваясь более в прения о безумии, которому предан так всей душой друг наш Киприан. Порешим же на

признании, что все мы поголовно очень приятные собеседники, причем умеем не только говорить, но и слушать! Даже более того, каждый из нас самым внимательным образом следит, когда другой читает, -- а это что-нибудь да значит! Оттмар говорил мне несколько дней тому назад, что он только что сочинил новеллу, в которой главную роль играет знаменитый живописец и поэт Сальватор Роза. Не прочтет ли он ее нам теперь?

-- Боюсь я, -- возразил Оттмар, вынимая рукопись из кармана, -- что вы не признаете мою новеллу достаточно серапионовской. Мне хотелось написать ее в том широком и увлекательном стиле, которым отличаются новеллы старых итальянских писателей, в особенности Боккаччо, но старание это, сколько мне кажется самому, привело меня только к многоречию. Может быть, потому упрекнете вы меня, что настоящий тон новеллы выдержан мною далеко не вполне и сохранен целиком разве только в манере предпосылать в начале всякой главы объяснение того, о чем в ней повествуется. При этом благородном и добровольном сознании собственных недостатков, я надеюсь, вы не будете судить меня слишком строго и останетесь довольны тем, что найдете в моем рассказе истинно забавного и живого.

-- Что за вступление! -- воскликнул Лотар. -- К чему эта ненужная *captatio benevolentiae*!* Читай твою новеллу, дружище Оттмар, и если тебе удастся представить нам твоего Сальватора Розу живым человеком, то мы не замедлим признать тебя достойным Серапионовым братом, охотно простив пренебрежение всем остальным как скучными, ненужными риторическими колодками. Не так ли, достойные братья?

* *Добиваться расположения (лат.).*

Все согласились единодушно с мнением Лотара, и Оттмар начал свое чтение.

СИНЬОР ФОРМИКА

НОВЕЛЛА

ЗНАМЕНИТЫЙ ЖИВОПИСЕЦ САЛЬВАТОР РОЗА

ПРИЕЗЖАЕТ В РИМ И ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕВАЕТ.

ОПИСАНИЕ ТОГО, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НИМ ВО ВРЕМЯ ЭТОЙ БОЛЕЗНИ.

О знаменитых людях рассказывают обыкновенно много дурного, не обращая внимания на то, справедливо это или нет. Так было и со славным живописцем Сальватором Розой, чьи полные жизни картины, ты, благосклонный читатель, конечно, никогда не рассматривал без чувства особенного, подлинного наслаждения. После того как слава Сальватора Розы, облетев Неаполь, Рим, Тоскану, -- словом, всю Италию, заставила всякого художника, желавшего угодить вкусу публики, приняться за подражание его манере и стилю, нашлись злые, завистливые люди, поставившие себе задачей запятнать, во что бы то ни стало, чистую славу великого художника. Они стали уверять, будто Сальватор в молодости принадлежал к шайке разбойников и что только благодаря этому обстоятельству научился он так поразительно верно изображать в своих картинах дикие, оригинально одетые фигуры, а равно и прочую обстановку своих пустынных пейзажей, этих *selve selvagge**, говоря словами Данте, служивших ему местом убежища во время проведенных им таким образом лет. Самым дурным в этой клевете было то, что его прямо называли кровожадным, безбожным сообщником известного Масаньело во время произведенного последним ужасного восстания в Неаполе, причем рассказывали даже мельчайшие подробности всех этих, будто бы касавшихся его происшествий.

* *"Сумрачных лесов" (итал.).*

Живописец-баталист Аньело Фальконе (таково было настоящее имя Масаньело) был одним из первых учителей Сальватора в искусстве живописи. Взбешенный смертью своего родственника, убитого в какой-то драке с испанскими солдатами, он тут же поклялся отомстить за его смерть, для чего немедленно набрал шайку бесшабашной молодежи, по большей части живописцев, раздал им оружие и окрестил именем "головорезы смерти". Скоро страх и ужас, распространенный этими молодцами и усиливаемый еще более носимым ими грозным именем, перешел за границы всего, что только было видано или слышано. Небольшие их банды целый день бродили по улицам Неаполя и убивали без жалости всякого встреченного испанца. Даже чтимые святыне убежища, куда успевала иной раз скрыться несчастная жертва, не спасали от неминуемой смерти. По ночам собирались они в притоне своего вождя, безумного, беспощадного Масаньело, и рисовали его при свете факелов, так что

скоро сотни его изображений появились на всех углах Неаполя и его окрестностей.

Согласно распространенным слухам, Сальватор Роза должен был принадлежать непременно к этой шайке, причем принимать равное участие как в дневных ее убийствах, так и в ночных живописных упражнениях. По крайней мере, знаменитый критик (кажется, что Тальяссон), разбирая произведения Сальватора, говорит, что все его картины носят характер какой-то неукротимой гордости и дикой энергии своего творца. Вы не увидите в них зеленых лугов, цветущих полей, ароматных сенокосов или сладко журчащих источников. Наоборот, для него природа, по-видимому, существует только в виде гигантски нагроможденных скал, приморских утесов и непроходимых лесов! Из ее звуков доступны его уху не тихое веянье ветерка и сладкий шорох листьев, а дикий рев урагана да грохот свергающихся водопадов. При взгляде на изображаемые им пустынные виды и людей с дикими сумрачными лицами, постоянно крадущихся то по одиночке, то шайками, поневоле приходят в голову недобрые мысли, и зритель начинает воображать, что вот здесь совершено страшное убийство, а там, неподалеку, труп торопливо сброшен в бездонную пропасть, и тому подобные ужасы.

Но если бы это все была даже правда, как уверяет Тальяссон; если Сальваторов Платон, или даже Иоанн Креститель, проповедующий в пустыне о спасении, точно имеют в выражении лица нечто разбойничье, то все-таки было бы несправедливо судить о людях по их художественным произведениям и заключать, что тот, кто изображает дикое и ужасное, должен быть в жизни сам дурным и ужасным человеком. Ведь часто человек, который больше всех говорит об оружии, совсем не умеет им владеть; а тот, кто носит глубоко в душе мысли о кровавых ужасах и умеет выразить их с помощью палитры, красок или карандаша, -- обыкновенно менее всех способен посягнуть на что-либо подобное в жизни. Но довольно! Я, по крайней мере, убежден, что все эти слухи, доказывающие, что достойный Сальватор способен был сделаться разбойником, не заслуживают никакого внимания, и искренно желаю, чтобы этого держались остальные, а также и ты, благосклонный читатель! Иначе мне пришлось бы бояться, что ты, наслушавшись обо всем, что я намерен рассказать, пожалуй, в самом деле получишь некоторое сомнение, особенно когда мой Сальватор предстанет перед тобой как человек со своим живым, огненным характером, обладающим той злой иронией, на которую способны все люди, одаренные верным взглядом на жизнь, хотя и умеющий эту иронию обуздывать. Известно, что Сальватор был таким же славным поэтом и музыкантом, как и живописцем. Гений его был способен, таким образом, испускать светлые лучи в разные стороны. Потому я повторяю еще, что не верю нисколько, будто Сальватор

принимал участие в кровавых подвигах Масаньело, и скорее склонен думать, что именно ужасы этого времени побудили его покинуть Неаполь и отправиться в Рим, куда он прибыл бедным неимущим скитальцем, как раз около того времени, когда пришла к концу власть Масаньело.

Бедно и скромно одетый, с тощим кошельком в руках, где были каких-нибудь два или три цехина, прокрался он ночью через городские ворота и, сам не помня как, очутился на Пьяцца Навона. Там жил он некогда в прекрасном доме, как раз возле палаццо Памфили. Грустно посмотрев на огромные зеркальные окна, отражавшие светлое сияние месяца, пробормотал он задумчиво: "Много же мне придется размалявать холстов, прежде чем буду я в состоянии устроить опять там свою мастерскую!" Но тут внезапно почувствовал он сильную боль во всем теле и такую слабость, какой не испытывал еще ни разу в жизни. "Хотя буду ли я только в состоянии, -- продолжал он бормотать, опускаясь в бессилии на каменные ступени крыльца, -- буду ли я в состоянии написать столько картин, сколько понадобится этим надутым глупцам? Кажется, со мной скоро все будет кончено!"

Холодный ночной ветер загудел вдоль улицы. Сальватор чувствовал острую необходимость найти убежище на эту ночь. С трудом поднялся он на ноги и, шатаясь, поплелся по Корсо, откуда свернул на улицу Бергоньоно. Там остановился он перед небольшим домиком, всего о двух окнах, где жила одна бедная вдова с двумя дочерьми. В былое время жилал он тут за очень дешевую плату, когда явился в первый раз в Рим никому неизвестным художником, а потому, соразмеряя с тем временем свое теперешнее положение, Сальватор думал, что лучше всего будет попробовать найти в этом доме пристанище и на этот раз.

Ободренный этою мыслью, постучал он в дверь, назвав несколько раз себя по имени. После довольно долгого ожидания услышал он, наконец, что старуха проснулась. Шлепая туфлями, подошла она к окну и начала разговор с довольно грубой брани, спросив, какой негодяй ломится так поздно в двери, причем прибавила, что дом ее не кабак. После нескольких вопросов и ответов старуха признала наконец своего прежнего постояльца; услышав же, что Сальватор бежал из Неаполя и, прибыв в Рим, не может найти ночлега, она закричала, всплеснув руками:

-- О Господь милосердный, и вы, все святые! Неужто это вы, господин Сальватор? Да ведь ваша комнатка с окнами на двор стоит до сей поры никем не занятая! А старое фиговое дерево разрослось до того, что ветви его рвутся прямо в окошко, так что вам можно будет сидеть и работать, точно в зеленой беседке. Уж как обрадуются мои дочери, узнав о вашем возвращении! Посмотрели бы вы, как выросла и похорошела Маргарита! Вам теперь нельзя будет сажать ее на колени, как бывало прежде!.. А ваша любимая кошечка, представьте, околела

три месяца тому назад, подавившись рыбьей костью! Что делать! Могила нас всех ожидает!.. А наша толстая соседка! Та самая, над которой вы так часто подшучивали и рисовали ее в смешном виде, -- ведь она поймала-таки молодчика Луиджи и вышла за него замуж! Правду говорят: *nozze e magistrati sono da Dio destinati*! Да, да! Браки заключаются на небесах!

-- Послушайте, синьора Катарина, -- перебил Сальватор, -- я вас прошу, ради всех святых, впустите меня сначала в дом, а там продолжайте ваши рассказы о фиговых деревьях, дочерях, кошках и толстой соседке. Я замерз и устал донельзя.

-- Ну вот, посмотрите на нетерпеливца, -- перебила старуха. -- *Chi va piano va sano, chi va presto more presto*! -- спеши медленно, как говорит пословица. Да вы, кажется, точно устали и озябли. Сейчас, сейчас! где же у меня ключи, где же ключи?

Вслед за тем старуха пошла будить дочерей, потом добывать огонь и наконец отворила бедному Сальватору дверь в ту минуту, когда он, утомленный усталостью и болезнью, в совершенном бессилии опустился на порог дома. К счастью, сын старухи, живший обыкновенно в Тиволи, был на этот раз в гостях у матери. Его разбудили, и он с охотой уступил свою кровать больному гостю и другу семейства.

Хозяйка дома очень любила Сальватора и считала его, безусловно, первым из живописцев. Все, что он ни предпринимал, было близким и родным ее сердцу, потому понятно, в какое отчаяние пришла она, увидев его в таком жалком положении. Она уже совсем было приготовилась бежать в соседний монастырь и просить своего духовника немедленно прийти со освященными свечами или каким-нибудь амулетом, чтоб отогнать нечистого духа, обуявшего страдальца, как сын ее благоразумно рассудил, что гораздо лучше будет позвать хорошего врача, а потому тотчас же побежал на площадь Испании, где, как он знал, жил знаменитый доктор Сплэндиано Аккорамбони. Едва тот услышал, что живописец Сальватор Роза лежит больной, как тотчас же с живостью согласился посетить нуждавшегося в его помощи пациента.

Сальватор лежал без памяти в сильнейшей лихорадке. Старуха повесила над ним святые дары и горячо молилась, припав к его постели. Дочери ее, рыдая, старались влить в горло больного несколько ложек освежающего напитка, между тем как брат их, возвратившийся от доктора, встал у изголовья и отирал с лица больного выступавший холодный пот. Так прождали они до утра, когда наконец дверь дома с шумом отворилась и в комнату вошел знаменитый доктор синьор Сплэндиано Аккорамбони.

Если бы Сальватор не был так тяжело болен, чем причинил глубокую скорбь всему семейству, то обе девушки, веселые и насмешливые по

природе, наверно бы расхохотались, увидев изумительную по оригинальности фигуру вошедшего доктора; теперь же они только испугались и поспешно спрятались в угол. Действительно, трудно с первого раза описать внешность человека, явившегося на утренней заре в дом синьоры Катарины, что на улице Бергоньон. Несмотря на невероятной высоты каблуки, доктор Сплендиано Аккорамбони так и не перешел в своем росте границу, равную четырем футам. В молодости, -- когда тело его имело некоторую соразмерность и грацию, голова не была обезображена огромными бакенбардами, а двойной подбородок не расплылся, покрыв всю шею, вместе с тем как огромный нос не сделался вдвое шире от постоянного употребления испанского табака и живот не выдался слишком вперед из-за пристрастия к макаронам, -- доктор Сплендиано носил аббатское платье, сидевшее на нем очень красиво и пристойно. Он даже считался весьма достойным молодым человеком, и римские дамы тогда имели полное право называть его ласкательным прозвищем "cаро рипразетто"*. Но теперь время это давно прошло, а доктор Сплендиано Аккорамбони изменился до того, что однажды один немецкий живописец, увидя его гуляющим по площади Испании, совершенно справедливо решил относительно происхождения доктора, что, вероятно, какой-нибудь здоровый краснощекий детина, футов семи ростом, выскочил однажды из-под своей собственной головы, и она упала на плечи проходившего мимо Полишинеля, приросши к нему навсегда. Маленькая фигурка доктора была одета в широкое платье, сшитое из венецианского бархата и подпоясанное широким кожаным поясом, к которому была прицеплена трехфутровая шпага. На белоснежном парике торчал высокий остроконечный колпак, очень похожий на обелиск с площади перед собором Св. Петра. Парик ниспадал на спину огромной толстой косой наподобие шелкового кокона, из-под которого сам доктор выглядывал, точно драгоценный шелковичный червь.

* *Славная куколка (итал.).*

Достойный Сплендиано Аккорамбони осмотрел Сальватора, напялив на нос свои огромные, блестящие очки, и затем, обратясь к хозяйке, воскликнул:

-- Да, да! синьора! Славный живописец Сальватор Роза лежит больной в вашем доме и умрет наверно, если я не приложу к его лечению моего искусства! Скажите мне, давно ли он у вас и много ли привез с собой хороших картин?

-- Ах, почтенный господин доктор! -- ответила синьора Катарина. -- Бедняга только сегодня ночью приехал в Рим! Что же касается картин, то об этом я ничего не знаю. Внизу, впрочем, стоит большой ящик,

который господин Сальватор привез с собой и просил меня, пока еще не был в беспамятстве, каким вы его видите теперь, хорошенько поберечь. Ну конечно, там найдется немало хороших картин, вывезенных им из Неаполя.

Слова эти были чистейшей ложью, но мы увидим впоследствии, что синьора Катарина имела полное основание провести господина доктора подобным, невинным способом.

-- Вот как! -- с довольным видом сказал доктор и затем, погладив бороду, с важным лицом подошел к больному, задевая своей длинной шпагой за все попадавшиеся ему на пути столы и стулья.

Доктор взял Сальватора за руку и пощупал пульс, кряхтя и сопя среди воцарившейся в комнате благоговейной тишины. Кончив осмотр, он назвал около ста двадцати болезней, на латинском и греческом языках, которых у Сальватора не было; затем почти столько же тех, какими больной мог легко подвергнуться и наконец сказал в заключение, что хотя в настоящее время он и не может еще сказать, чем болен Сальватор Роза, но надеется в скором времени придумать для его болезни приличное название, а вместе с тем и соответствующее лекарство. Сказав это, удалился он с таким же важным видом, с каким пришел, оставив всех в страхе и волнении.

Сойдя вниз, доктор потребовал, чтобы ему показали сундук Сальватора. Синьора Катарина указала ему на какой-то старый ящик, где была спрятана одежда ее покойного мужа и несколько пар изношенных башмаков. Доктор постучал с довольным видом пальцами по крышке и сказал: "Посмотрим, посмотрим!". Через несколько часов вернулся он с прекрасным названием для болезни Сальватора и несколькими бутылками какой-то неприятно пахнущей жидкости, которую приказал ежеминутно силой вливать больному в горло. Исполнить это было нелегко, потому что пациент всеми силами выражал свое нежелание принимать лекарство, которое, казалось, было почерпнуто из волн самого Ахерона. Но как бы то ни было, -- потому ли, что болезнь начала действовать против больного особенно наступательно, получив имя, а следовательно, и право на существование, или само лекарство Сплендиано слишком бесцеремонно распоряжалось во внутренностях больного, -- но только бедный Сальватор стал, как говорится, таять не по дням, а по часам. Невзирая на объяснения доктора, что сначала он доведет жизненный процесс до полного спокойствия, а там даст всей машине толчок к новому движению, как часовому маятнику, все стали сильно сомневаться, сможет ли когда-нибудь Сальватор подняться на ноги, и даже подозревали, не дал ли доктор маятнику такой сильный толчок, что он отвалился навеки.

Однажды случилось, что Сальватор, не бывший в состоянии до этого управлять ни одним суставом, вдруг поднялся в припадке жестокой

лихорадки и выскочил с неожиданной силой из своей постели; схватив стоявшие возле постели сосуды с лекарством, он с яростью выбросил их за окно. Доктор Сплендиано Аккорамбони проходил как раз в это время мимо, так что две бутылки разбились у него прямо на голове, а черная жидкость обдала его с ног до головы, испачкав лицо, парик и платье. Доктор быстро вбежал в дом и закричал как испуганный:

-- Синьор Сальватор сошел с ума! -- никакие средства не могут ему теперь помочь! -- он умрет через десять минут! Дайте мне картину, синьора Катарина, давайте картину! Это ничтожная награда за все мои труды! Говорю вам, подавайте сюда картину!

Синьора Катарина отворила сундук и показала лежавшие в нем тряпки и башмаки. Доктор, увидя эту рухлядь, вышел из себя до того, что глаза его засверкали, как два раскаленных угля. С яростным скрежетом затопал он ногами, послал ко всем чертям Сальватора, вдову, весь ее дом и выбежал из дверей, точно выброшенное из жерла пушки ядро.

Сальватор между тем, обессиленный пароксизмом лихорадки, впал опять в бесчувственное состояние. Синьора Катарина, думая, что он умирает, побежала в монастырь к знакомому ей падре Бонифаччио с просьбой соборовать больного. Придя к Сальватору, падре Бонифаччио сказал, что он много раз видел умирающих и всегда замечал на их лицах печать какого-то особенного выражения, которого, по его словам, вовсе не было у Сальватора, а потому он полагал, что ему еще можно помочь, о чем он немедленно позаботится, но при одном условии, чтобы доктора Сплендиано Аккорамбони, с его греческими именами болезней и дьявольскими бутылками, не пускали даже на порог комнаты. Сказав это, добрый священник сейчас же побежал за обещанным лекарем, и мы увидим далее, как он сдержал данное слово и помог больному живописцу.

Когда Сальватор очнулся от своего беспамятства, ему показалось, что он лежит в прекрасной, душистой беседке, убаюкиваемый качающимися над его головой зелеными ветвями и листьями. Он чувствовал, что живительная теплота начала разливаться по его телу, и только одна левая рука оставалась по-прежнему неподвижной.

-- Где я? -- воскликнул он слабым голосом.

Услышав это восклицание, прекрасной наружности молодой человек, стоявший возле постели больного, быстро опустился перед ним на колени, схватил его правую руку, поцеловал ее, обливая горячими слезами, и воскликнул с восторгом:

-- О мой дорогой, бесценный учитель! Ну теперь, слава Богу, все пойдет хорошо! Вы спасены и, надеюсь, скоро будете совсем здоровы.

-- Скажите мне, -- начал было Сальватор, но молодой человек быстро его прервал просьбой не говорить слишком много, поскольку он еще

слаб, обещая Сальватору немедленно рассказать все, что только он пожелает узнать.

-- Видите ли, дорогой учитель, -- продолжал молодой человек, -- вы были больны, очень больны, когда возвратились из Неаполя, хотя и не смертельно. Вас можно было вылечить без большого труда, благодаря вашей крепкой натуре, если бы не излишнее усердие сына вашей хозяйки Карла, которое чуть было не испортило всего дела. Думая позвать к вам первого ближайшего врача, он имел несчастье попасть на проклятого пирамидального доктора, который не замедлил совершить все возможное, чтобы отправить вас на тот свет.

-- Что? -- вскрикнул с искренним смехом Сальватор, несмотря на свою слабость. -- Как вы сказали, пирамидального доктора? Да, да! Теперь я припоминаю, что возле меня торчала маленькая, уродливая фигурка, лившая мне силой в рот какой-то дьявольский эликсир. На его голове был надет вместо шляпы обелиск с площади перед собором Св. Петра, и теперь я догадываюсь, почему вы его называете пирамидальным доктором.

-- Ну да! -- громко расхохотавшись, отвечал молодой человек. -- Конечно, это был именно он, доктор Сплэндиано Аккорамбони, с его розовым ночным колпаком, в котором он, точно заведенный механизм, кружит каждое утро по площади Испании. Но, однако, прозвище "пирамидальный доктор" получил он не за свой колпак, а по совершенно другому обстоятельству. Доктор Сплэндиано большой любитель картин и успел собрать несколько действительно неплохих произведений, приобретая их крайне оригинальным способом. Он постоянно предлагает свои услуги для лечения заболевших художников. На эту удочку обыкновенно попадают приезжие живописцы, у которых то и дело случается расстройство здоровья из-за слишком большой порции макарон или из-за лишнего стакана сиракузского. Доктор Сплэндиано является тут как тут в подобных случаях, придумывает для болезни художника какое-нибудь невероятное название и затем начинает лечить его по-своему. За труд он выговаривает себе картину, а так как очень немного натур обладает силой перенести воздействие его лекарства, то обычно кончается тем, что он получает плату из наследства бедного приезжего художника, которого хоронят на кладбище, расположенном возле пирамиды Цестия. Понятно, само собой, что из оставшихся картин доктор выбирает лучшую, а иногда успевает прихватить с ней впридачу и парочку других. Кладбище Цестиевой пирамиды -- настоящая пашня доктора Сплэндиано Аккорамбони, которую он засекает с великим усердием, за что и прозван был пирамидальным доктором. Синьора Катарина, надеясь задобрить доктора, поспешила выдумать, будто бы вы привезли с собой картины, и потому -- можете себе представить! -- с каким жаром принялся он варить для вас эликсиры. Ваше счастье, что

вы в припадке болезни выбросили все его склянки ему на голову, и еще большее счастье в том, что он, разозлившись, вас оставил, а синьора Катарина побежала за падре Бонифаччио, который пришел к вам, чтобы вас соборовать. Но падре Бонифаччио смыслит кое-что в медицине, а потому, верно определив ваше состояние, поспешил позвать меня.

-- Так значит, вы тоже доктор? -- недовольным, слабым голосом спросил Сальватор.

-- Нет, -- возразил молодой человек, мгновенно покрывшись краской, -- нет, дорогой учитель! Я не доктор, как синьор Аккорамбони, я просто хирург. Признаюсь вам, я пришел в полный восторг от такой высокой чести, которую сделал мне падре Бонифаччио, пригласив оказать помощь больному Сальватору Розе. Тотчас же побежал я к вам, пустил вам кровь из левой руки, и вы были спасены. Мы перенесли вас сюда в прохладную, свежую комнату, где вы жили прежде. Поглядите вокруг себя: вы увидите, что здесь еще стоит мольберт, оставленный вами, а вот там лежат несколько сделанных вами карандашных рисунков, которые синьора Катарина бережет как святыню. Теперь болезнь ваша прошла, и пара простых средств, посоветованных падре Бонифаччио, и хороший уход помогут вам восстановить силы. А теперь позвольте мне еще раз поцеловать эту руку, умеющую преображать в живописные творения заветнейшие тайны природы! Позвольте простому смертному Антонио Скаччиати выразить весь свой сердечный восторг и всю свою благодарность за то, что небо избрало его для спасения жизни великого художника Сальватора Розы! -- и с этими словами молодой человек снова бросился на колени и схватил руку Сальватора, целуя ее и обливая горячими слезами.

-- Я, право, не знаю, -- перебил Сальватор, с трудом приподнимаясь, - я, право, не знаю, любезный мой Антонио, по какому случаю воздаете вы мне такие высокие почести? Вы, как сами мне сказали, хирург, а это ремесло, кажется, вовсе не из тех, которые могут себя считать тесно связанными с искусством.

-- Когда вы, -- отвечал юноша, потупив глаза, -- дорогой учитель, восстановите силы, я вам расскажу то, что камнем лежит у меня на душе.

-- Сделайте это теперь, и сделайте с полным доверием, -- сказал Сальватор. -- Я не помню, чтобы кто-нибудь на свете более вас внушал мне такую симпатию и сочувствие. Чем больше я на вас смотрю, тем сильнее и сильнее кажется мне, что передо мной возникают черты другого божественного юноши -- Санти!

Глаза Антонио сверкнули ярким огнем при этих словах, и он, казалось, потерял способность произнести еще хотя бы одно слово.

В эту минуту вошла в комнату синьора Катарина и падре Бонифаччио. Последний принес Сальватору освежающее, вкусно приготовленное питье, которое больной выпил с большим удовольствием, чем ахеронскую воду пирамидального доктора Аккорамбони.

**АНТОНИО СКАЧЧИАТИ ДОСТИГАЕТ, БЛАГОДАРЯ
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ САЛЬВАТОРА, ВЫСОКИХ ПОЧЕСТЕЙ.
ОН ОТКРЫВАЕТ САЛЬВАТОРУ ПРИЧИНУ СВОЕЙ
ГЛУБОКОЙ СКОРБИ, В ЧЕМ ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕЩАЕТ ЕМУ ПОМОЩЬ И УТЕШЕНИЕ.**

Все произошло так, как предсказал Антонио. Простые целительные средства падре Бонифаччио, усердные попечения синьоры Катарины и ее дочерей и прекрасная, только что наступившая теплая погода, -- все способствовало как нельзя лучше восстановлению сил крепкого по своей природе Сальватора, так что скоро он уже мог начать заниматься своим любимым искусством, принявшись за компоновку эскизов для будущих картин.

Антонио почти не выходил из комнаты Сальватора. С жадностью следил он за движением его карандаша, причем произносимые им замечания показывали, что он вовсе не был чужд высокому искусству.

-- Послушайте, Антонио! -- сказал однажды Сальватор. -- Вы так верно судите о живописи, что я все более и более начинаю считать вас не простым любителем, а художником, умеющим самостоятельно владеть кистью.

-- Вспомните, достойный учитель, -- отвечал на это Антонио, -- что еще тогда, когда вы лежали, ожидая выздоровления, я намекнул вам об одной тайне, камнем лежавшей у меня на сердце. Теперь пришло время рассказать вам все. Узнайте же, что, несмотря на звание хирурга, доставившее Антонио Скаччиати честь пустить вам кровь, я всецело принадлежу душой искусству и жду только случая, чтобы окончательно бросить мое проклятое ремесло.

-- Ого! -- воскликнул Сальватор. -- Подумайте, Антонио, хорошенько над тем, что вы хотите сделать! Вы теперь искусный хирург, а рискуете сменить это звание на имя плохого живописца, потому что, извините за откровенность, несмотря на вашу молодость, вы все-таки уже вышли из того возраста, когда в первый раз берут в руки кисть и уголь.

Подумайте, что даже земной человеческой жизни едва бывает достаточно для того, чтобы успеть приблизиться в искусстве хоть к некоторому познанию истины, не говоря уже о практическом применении ее в деле.

-- Дорогой учитель! -- с тихой улыбкой отвечал Антонио. -- Неужели вы думаете, что безумная мысль посвятить себя искусству могла прийти мне в голову только теперь, если бы я уже с самой ранней молодости не был предан ему всей душой и если бы не сблизился уже давно с великими живописцами, несмотря на самые решительные к тому препятствия, которые ставил мне на моей дороге отец? Узнайте же, что великий Аннибале Карраччи принимал во мне самое живое участие и что я с гордостью могу назвать себя учеником Гвидо Рени.

-- Ну если так, -- довольно резко ответил Сальватор, что иногда с ним случалось, -- то, значит, у вас, мой храбрый Антонио, были очень хорошие учителя, а потому вы можете смело бросить свое ремесло хирурга, так как вы были, полагаю, хорошим учеником. Но только я не понимаю, каким образом вы, последователь сладкого, нежного Гвидо, которого, очень может быть, подобно многим его ученикам, превзошли в расплывчатости, каким образом можете вы находить что-либо хорошее в моих картинах и даже считать меня за художника.

Краска бросилась в лицо Антонио при этих словах Сальватора, явно отдававших презрительной иронией.

-- Позвольте мне, -- сказал он, -- отложить в сторону всю мою прежнюю робость и высказать прямо мои искренние убеждения. Никогда и никого из всех художников не уважал я более вас! Глубина и философское содержание ваших картин всегда поражали меня до невероятности. Вы сумели постичь сокровеннейшие тайны природы, которые заключены в иероглифических очертаниях скал, деревьев и водопадов; вы слышите ее священные голоса, понимаете ее язык и одарены дивной способностью воспроизводить нашептываемые ею мысли. Да!.. Воспроизведение самой сути природы -- вот единственно верные слова, которые можно применить к вашим творениям! Но зато изображение человека со всеми его страстями -- вам не дано! Вы всегда сопоставляете его в ваших картинах с природой и очерчиваете вокруг него колдовской круг, обусловленный ее проявлениями. Потому, Сальватор, будучи недостижимо высоки в ваших ландшафтах, вы в исторической живописи сами определяете для себя границы, задерживающие ваш полет; как только он переходит за пределы...

-- Вы говорите это, -- перебил Сальватор, -- со слов завидующих мне исторических живописцев. Они бросают мне как подачку сферу ландшафтных пейзажей для того, чтобы я не вырывал у них из зубов куска мяса, который они считают исключительно своим. Они говорят, что я ничего не смыслю в изображении человеческих фигур, но глупые эти суждения...

-- Прошу вас, достойный мой учитель, не будьте так раздражительны, -- мягко перебил его Антонио, -- я никогда не говорю зря и в данном случае не хочу даже повторять общего мнения римских художников. Напротив, едва ли кто-нибудь может не восхищаться смелостью рисунка, дивной выразительностью и жизненностью движения ваших фигур! При взгляде на них невольно приходит в голову мысль, что вы писали их не с манекенов, а позировали сами перед зеркалом в костюме и положении изображаемого вами лица.

-- Черт возьми, Антонио! -- воскликнул Сальватор со смехом. -- Я начинаю думать, не сидели ли вы, спрятавшись, в моей мастерской, если так хорошо знаете мои приемы работы.

-- А может быть и так! -- сказал Антонио. -- Но позвольте мне продолжить. Я далек от мысли огораживать вам для ваших вдохновенных произведений определенное место в живописном пространстве, как это делают многие из наших педантов-художников. Картины ваши далеко переходят за границы того, что зовут ландшафтом в узком смысле этого слова; это, скорее, исторические воззрения на природу в самом глубоком значении слова. Иногда группа скал или деревьев в вашем пейзаже напоминает какую-нибудь исполинскую человеческую фигуру, но ведь бывает и наоборот, что собрание людей в оригинальных костюмах иной раз у вас похожа на группу причудливых, живописных камней. Горячие, зародившееся в вашей душе мысли пользуются всеми средствами, какие только дает вам природа, для того, чтобы выразиться в гармоническом сочетании. Вот мой взгляд на ваши произведения, и вам одним обязан я, высокочтимый учитель, установившимся во мне взглядам на искусство! Не думайте, однако, что я хочу быть вашим подражателем. Напротив, при всем моем желании усвоить свободу и смелость вашей кисти я признаюсь вам, что на колорит я смотрю совершенно иначе. Если старание усвоить манеру того или другого художника может быть полезно ученику с технической стороны, он все-таки должен, если только желает быть самостоятельным, стремиться изобразить природу так, как видит ее сам! Это воззрение и единение с природой может одно придать творениям художника оригинальность и жизненную правду. Такого мнения держался всегда Гвидо, а беспокойный Прети, которого вы называете Калабрезе, -- художник, глубже всех других обдумывавший вопросы, связанные с искусством, -- постоянно предостерегал меня от подражания. Теперь вы видите, Сальватор, почему я так высоко вас чту, вовсе не будучи вашим подражателем.

Сальватор, пристально смотревший юноше в глаза во время этой речи, встал, когда он окончил, со своего места и заключил его в свои объятия.

-- Антонио! -- сказал он. -- Вы произнесли глубоко обдуманное слово. Как ни молоды ваши годы, но относительно вашего понимания

искусства вы можете сами помериться с многими из наших прославленных художников, гордящихся иной раз такой вздор, что трудно бывает разобрать, что они хотят этим высказать. Да! Вы правы! Когда вы характеризовали мои картины, то мне казалось, что я сам в первый раз уразумел свое истинное предназначение в искусстве. Вы в самом деле не станете мне подражать, а если и станете, то не так, как это делают иные пачкуны, которые берут горшок с черной краской, мажут ее на полотно, кладут кое-где светлые блики, лепят пару костлявых фигур со страшными рожами, выглядывающими из-под земли, -- и воображают, что готов пейзаж во вкусе Сальватора Розы. Но вас я стал уважать, и верьте, что отныне нет у вас лучшего друга, чем я! Я предаюсь вам всей душой!

Антонио был вне себя от радости, услышав эти приветливые слова великого живописца. Сальватор выразил живейшее желание увидеть картины самого Антонио, который немедленно повел его в свою мастерскую.

Сальватор думал увидеть что-нибудь действительно незаурядное после тех разумных рассуждений об искусстве, которые высказал молодой человек, обнаружив при этом свой светлый ум и верное понимание живописи. Но то, что Сальватор увидел, превзошло все его ожидания. Смелость мысли, правильность рисунка, свежесть колорита, тонкий вкус в драпировках, удивительная нежность линии и высокое благородство в выражении лиц обличали достойного ученика Гвидо Рени, хотя Антонио сумел избежать подчинения выразительности красоте, в которое иногда впадал упомянутый художник. В картинах было заметно также стремление Антонио взять у Аннибале Карраччи его силу и мощь, что, однако, ему не всегда удавалось.

В глубоком, серьезном молчании рассмотрел Сальватор одну за другой все картины Антонио и наконец сказал:

-- Послушайте, Антонио! Теперь я скажу вам прямо, что вы рождены быть художником! Природа одарила вас не только творческим даром, воспламеняющим мысли вылиться в неиссякаемое богатство выражения, но вы, кроме того, владеете редким талантом преодолевать в короткое время затруднения, которые ставит перед художником живописная техника. Вы, конечно, с сомнением улыбнулись бы сами, если бы я вздумал уверять, что вы уже теперь стали выше ваших учителей в том, что хотели от них заимствовать, а именно -- прелесть Гвидо и силу Карраччи; но что вы превзошли наших здешних академиков из Академии св. Луки, таких, как, например, Тиарини, Джесси, Сементу и всех прочих, не исключая даже Ланфранко, который умеет писать только на стенах, -- в этом нет никакого сомнения. Но все-таки, Антонио, будь я в вашем положении, я бы еще подумал, следует ли мне окончательно бросить ланцет и навсегда взять в руки кисть. Как ни странны могут вам показаться мои слова, но они

стоят внимания. Нынче для искусства настало тяжелое время. Кажется, сам дьявол вздумал сеять раздоры между художниками, чтобы погубить и их, и само искусство. Если вы не чувствуете себя в силах вытерпеть бесконечный ряд неприятностей, поджидающих всякого, кто посвящает себя искусству, и неприятностей тем более ужасных, чем выше талант художника и его слава; если вы не можете равнодушно смотреть на лица людей, лстящих вам в лицо со сладкой улыбкой только за тем, чтобы вернее вас погубить, -- то бросьте все и предайте забвению мысль сделаться живописцем. Вспомните судьбу вашего учителя, великого Аннибале, которого преследовала в Неаполе целая банда негодяев, и он не смог получить заказ ни на одну из своих картин, так что, наконец, подавленный этим несправедливым отношением к своему таланту, нашел преждевременную смерть! Вспомните, что случилось с нашим Доменикино, когда он был занят расписыванием купола в капелле святого Януария! А разве не преследовали бездельники, которых я не хочу называть по имени, Белецарио и Рибейру? Слуга Доменикино был даже подкуплен для того, чтобы набросать золы в известку, приготовленную для фресок, -- сделанная из подобного материала штукатурка обвалилась бы через несколько дней и уничтожила исполненную на ней живопись. Подумайте обо всем этом и испытайте сначала себя, чтобы убедиться, точно ли вы в силах переносить подобные несчастья? Если нет, то лучше не принимайтесь вовсе за живопись, потому что творить может только крепкий и бодрый дух.

-- Ах, Сальватор, -- с горячностью воскликнул Антонио, -- трудно представить, чтобы мне, в моих отношениях с другими живописцами, пришлось вытерпеть более того, что я уже вытерпел до сих пор, оставаясь по-прежнему хирургом. Вы похвалили мои картины и произнесли, я надеюсь, искреннее суждение о том, что я способен сделать нечто лучшее, чем многие из наших художников. Представьте же, что именно они и топчут в грязь все, что я до сих пор написал или нарисовал с таким трудом и усердием! "Скажите, пожалуйста! Хирург вздумал заниматься живописью!" -- вот их обычный приговор. Потому я твердо решился бросить совсем прежнее ремесло, которое создает мне ежедневно столько новых врагов! На вас, дорогой учитель, возлагаю я теперь все мои надежды! Ваше слово значит много, и если вы захотите сказать что-нибудь в мою пользу, то этим уничтожите сразу злобу моих неприятелей, доставив мне возможность занять место, которого я достоин.

-- Вы слишком много возлагаете на меня надежд, но, впрочем, после всего, что мы говорили об искусстве, а также после того, как я видел ваши картины, я готов вступить в борьбу за вас охотнее, чем за кого-либо другого.

Сказав это, Сальватор опять принялся рассматривать картины Антонио и скоро особенное его внимание привлекла одна, изображавшая кающуюся у подножия креста Магдалину.

-- Вы, -- заметил он Антонио, -- замечательно сумели уклониться от обыкновенного, рутинного способа писать картины на этот сюжет. Ваша Магдалина не суровая, пришедшая в себя женщина, но скорее прелестный ребенок, вроде тех, которых так умел писать Гвидо. Во всей ее фигуре разлито какое-то неизъяснимое очарование. Видно, что вы писали ее с настоящим вдохновением, и если я не ошибаюсь, то мне кажется, что оригинал вашей картины живет в Риме. Признайтесь, Антонио! Вы любите?

Антонио опустил глаза и ответил тихо:

-- Вы очень проникательны, досточтимый учитель! Дело обстоит именно так, как вы предположили, но Бога ради, не расспрашивайте меня ни о чем! Картину эту считаю я лучшим своим произведением и до сих пор тщательно скрывал ее от чужих глаз.

-- Как, -- воскликнул Сальватор, -- вы говорите, что картины вашей не видел ни один из художников?

-- Ни один, -- ответил Антонио.

-- Ну, если так, -- сказал с довольным видом Сальватор, -- то будьте уверены, я скоро сумею смирить злобу ваших завистников и доставить вам заслуженную славу. Дайте мне на некоторое время вашу картину и постарайтесь принести ее мне в сумерках, чтобы этого никто не заметил. Остальное будет мое дело. Ну как, вы согласны?

-- О, с восторгом! -- воскликнул Антонио. -- Мне бы следовало теперь же рассказать вам историю моей несчастной любви, но я не хочу портить сегодняшнего дня, в который мы так откровенно открыли друг другу наши взгляды на искусство. Когда-нибудь я поведаю вам мою тайну, а может быть и в этом случае буду просить вашего совета и помощи.

-- Совет мой и помощь готовы к вашим услугам всегда и во всем, -- ответил Сальватор.

Уходя из мастерской, он еще раз остановился и сказал, улыбаясь:

-- Послушайте, Антонио! Знаете ли вы, что мне ужасно совестно за мои слова, когда я говорил о вашем сходстве с Рафаэлем Санти, не зная еще, что вы художник. Я считал вас, не выдав ваших картин, признаюсь, за одного из тех пустоголовых молодых людей, которые, будучи случайно похожи на какого-нибудь известного живописца, тотчас же подстригают волосы и бороду на один с ним лад, а затем думают, что им остается только скопировать его манеру в живописи, даже если это было бы совершенно противно их природе, -- и готово великое произведение! Мы оба в наших разговорах не упоминали даже имени Рафаэля, но, глядя на ваши картины, я отыскал в них ясно отблески и следы божественных мыслей нашего великого учителя. Вы

понимаете Рафаэля и не ответите мне словами Веласкеса, которого я недавно попросил высказать свое мнение о Санти. "Тициан, -- были его слова, -- величайший живописец на свете, а Рафаэль ничего не смыслит в изображении тела!" В этом испанце больше плоти, чем мыслей, а между тем его Бог знает как высоко чтут в Академии Луки за то, что он однажды как-то по-особенному, по их мнению, написал исклеванные воробьями вишни.

Через некоторое время после свидания Сальватора с Антонио академики Академии св. Луки собрались в церкви для обсуждения нескольких, написанных по заказу картин. Сальватор выставил в числе их прекрасное произведение Антонио. Сила и прелесть выражения произвели необыкновенное впечатление на всех присутствующих, выразившееся в бесчисленных похвалах, которые умножились еще более, когда Сальватор уверил, будто он привез картину эту из Неаполя и что она была произведением одного молодого рано умершего художника. В течение нескольких дней весь Рим перебивал в церкви, любуясь картиной умершего живописца, и общее мнение было таково, что со времени Гвидо Рени не было создано ничего подобного. Энтузиасты уверяли даже, что прекрасная Магдалина намного выше произведений в этом роде самого Рени.

Однажды в числе зрителей, любовавшихся картиной, заметил Сальватор одного человека, резко отличавшегося от других своей оригинальной наружностью. Это был уже старик, костлявый, как веретено, бледный, с острым длинным носом и подбородком, оканчивавшимся узенькой бородкой, и с серыми пронзительными глазами. Высокая шляпа с красивыми перьями была нахлобучена на большой белокурый парик, а на плечах висел маленький темно-красный плащ с множеством светлых пуговиц. Голубой камзол незнакомца был испанского покроя, перчатки были с широкими раструбами, а на боку висела длинная шпага. Светлые, серого цвета чулки поддерживались под коленями желтыми подвязками, а на башмаках были такого же цвета банты. Станный этот незнакомец, казалось, был в полном восторге от картины: он поднимался на цыпочки, приседал, переминаясь с ноги на ногу; при этом вздыхал, стонал, тер глаза руками до того, что на них выступали слезы, затем вдруг широко их таращил, чтобы как можно лучше рассмотреть прекрасную картину, и все время бормотал тоненьким голоском, как говорят кастраты: "Ah, carissima! beneditissima! Ah, Marianna! Marianina! Bellissima!"*. Сальватор, очень любивший изучать личности с такой необычной наружностью, протиснулся сквозь толпу к старику с намерением во что бы то ни стало завязать с ним разговор по поводу картины Скаччиати. Но тот, не обращая на Сальватора никакого внимания, продолжал бормотать, причем можно было разобрать, что он жаловался на свою бедность, не позволявшую ему заплатить за эту

картину миллион и спрятать ее так, чтобы никто не смел на нее взглянуть нечестивыми глазами. И при этом он опять начинал переминаясь и подпрыгивать, громко благодаря святую Деву и всех святых, что проклятый художник, написавший эту, приводящую его в отчаяние картину, уже умер. Из всего услышанного Сальватор заключил, что незнакомец, должно быть, или сумасшедший, или какой-нибудь неизвестный ему художник Академии Св. Луки.

** Ах, бесценнейшая! Благословеннейшая! Ах, Марианна, Марианина! Прекраснейшая!*

В Риме только и речи было, что об удивительной картине Скаччиати, чем, конечно, достоинство ее доказывалось вполне. Когда художники собрались снова для решения, чья из представленных на конкурс картин заслуживала первенство, Сальватор внезапно спросил, признали ли бы они автора "Магдалины у подножия креста" заслуживающим быть принятым в члены Академии? На это все члены, не исключая даже самого строгого критика Джозефино, отвечали единогласно, что подобный художник был бы истинным ее украшением, причем рассыпались в самых горьких сожалениях о его преждевременной смерти, хотя, может быть, в душе принесли за эту смерть такую же благодарственную молитву Всевышнему, как и загадочный, стоявший перед картиной старик. Энтузиазм их простерся так далеко, что они решили даже назвать умершего так рано юношу академиком, хотя он лежал уже в могиле, и заказать служить за упокой его души постоянные обедни в церкви святого Луки, для чего потребовали, чтобы Сальватор дал самые подробные сведения об имени художника, месте его рождения, жизни и т.д. Тогда Сальватор, встав со своего места сказал громким голосом: "Господа! Вместо того, чтобы воздавать почести умершему, не лучше ли будет облечь ими живого, присутствующего среди нас? Знайте, что "Магдалина у подножия креста" -- картина, которую вы, по всей справедливости, оценили так высоко перед всеми художественными произведениями последнего времени -- вовсе не принадлежит кисти умершего неаполитанского художника, как я нарочно вам сообщил, чтобы сделать беспристрастным ваше о ней суждение! Одним словом, чудо искусства, удивившее весь Рим, ни более ни менее, как произведение известного вам хирурга Антонио Скаччиати.

Удар молнии едва ли бы мог поразить художников так, как поразили их эти слова Сальватора. Дав им оправиться от первого впечатления, он продолжал: "Вы не хотели, господа, принять в ваше общество талантливого Антонио Скаччиати, потому что он был хирургом, но теперь, я думаю, вы согласитесь, что хирург этот очень бы пригодился, чтобы выправить члены многим из тех кривых и уродливых фигур,

которые нередко выходят из ваших мастерских! Потому я уверен, вы не откажетесь сделать то, что бы должны были сделать давно, а именно -- принять замечательного художника Антонио Скаччиати в члены Академии св. Луки.

Академики, проглотив горькую пилюлю Сальватора, поспешили выразить свою искреннюю радость, что Антонио так блистательно доказал свой талант, и избрали его с триумфом в члены Академии.

Едва стало известным в Риме, что удивительная картина была написана Антонио Скаччиати, как на него со всех сторон посыпались похвалы и предложения самых выгодных заказов. Таким образом умный и хитрый маневр Сальватора успел не только извлечь юношу из неизвестности, но и поставил его на прекрасную дорогу в самом начале художественного поприща.

Антонио пребывал некоторое время в блаженстве и счастье, но, однако, через несколько дней Сальватор был крайне поражен отчаянным, убитым видом, с которым он явился к нему в мастерскую.

-- Ах, Сальватор! -- воскликнул он в ответ на его полный участия вопрос. -- К чему мне слава и известность, о каких я даже и не мечтал? К чему эти похвалы и надежды на открывшуюся передо мной прекрасную, счастливую жизнь признанного художника, если я должен при всем этом остаться по-прежнему несчастным, и если именно та картина, которой я обязан, благодаря вам, всей моей известностью, повергает меня теперь в мрачное и безысходное отчаяние?

-- Тсс! -- возразил Сальватор. -- Прошу вас не грешить, смешивая вопрос об искусстве и картине с вашим несчастьем, в которое, вдобавок скажу вам, я даже и не верю. Я знаю, что вы любите и приходите в отчаяние только потому, что желания ваши не исполняются по первому капризу. Погодите! Все придет в свою очередь. Все влюбленные -- совершенные дети, которые в любой момент готовы расплакаться, чуть кто вздумает тронуть их любимую куколку. Перестаньте хныкать и хандрить -- я этого не выношу. Садитесь и расскажите мне спокойно и обстоятельно, что случилось с вашей прекрасной Магдалиной и где встретили вы подводные скалы, грозящие вашей нежной страсти. А там мы подумаем, как их избежать, потому что я, как уже сказал, буду помогать вам всегда и во всем! Чем труднее и своеобразнее придется выдумывать способ, тем это будет для меня приятнее! Нынче я чувствую, что кровь начинает опять играть в моих жилах, и я ощущаю потребность освежиться, выкинув какую-нибудь безумную, бешеную штуку. Ну, рассказывайте же, рассказывайте проворнее, в чем дело, но только, пожалуйста, без всех этих "ахов" и "охов".

Антонио сел в кресло, подставленное Сальватором к мольберту, за которым он работал, и начал свою историю следующим образом:

-- На улице Рипетта, в высоком доме, который вы можете всегда узнать по далеко выдающемуся балкону, если идти со стороны Порта дель Пополо, живет величайший во всем Риме оригинал. Это старый холостяк, обнаруживающий в каждом движении все смешные замашки, свойственные этому положению; он скуп, самолюбив, влюбчив, хочет казаться молодым и в одежде гоняется за модой. Он очень высокого роста, худой как жердь, ходит всегда в пестром испанском костюме, в белокуром парике, остроконечной шляпе, перчатках с раструбами и огромной шпагой за поясом.

-- Пойдите, пойдите! -- воскликнул Сальватор, перебив молодого человека, и затем, перевернув картину, которую писал, он схватил в руки кусок угля и в один миг начертил на оборотной стороне фигуру необычного старика, совершавшего несколько дней тому назад перед картиной Антонио прыжки и кривляния.

-- Ради всех святых! -- воскликнул Антонио, вскочив с места и расхохотавшись, несмотря на свое мрачное настроение. -- Клянусь душой! Это он! Он!.. Синьор Паскуале Капуцци, тот самый, о котором я говорю!.. Как будто живой!

-- Как видите, -- сказал Сальватор, -- я знаю этого господина, который, по всей вероятности, является в истории вашей любви препятствующим лицом. Но продолжайте дальше.

-- Синьор Паскуале Капуцци, -- продолжал Антонио, -- очень богат, что не мешает, впрочем, ему быть величайшим скрягой. При этом он самый невероятный щеголь, которого только можно вообразить. Единственное приятное качество в нем состоит в том, что он любит музыку и живопись. Но в выражении даже этой любви проскакивает у него столько смешного и глупого, что и тут трудно иметь с ним какое-нибудь дело. Он считает себя величайшим на свете композитором и певцом, каких не сыщешь даже в папской капелле. На Фрескобальди смотрит он свысока, когда же речь пойдет о Чеккарелли, чей голос приводит римлян в неописуемый восторг, то синьор Капуцци презрительно объявляет, что Чеккарелли смыслит в пении не больше сапога и что один он, синьор Капуцци, владеет искусством очаровывать слушателей. А так как первый папский певец носит благородное имя Одоардо Чеккарелли ди Мераниа, то Капуцци очень любит, когда его самого зовут синьор Паскуале Капуцци ди Сенегалиа. Рассказывают, что он действительно родился в Сенегалии, на рыбацком челноке, вследствие того, что мать его испугалась внезапно выскочившей из воды морской собаки, отчего, вероятно, и в синьоре Капуцци осталось много собачьих свойств. В старые годы удалось ему поставить в одном из театров оперу своего сочинения, которая была освистана самым беспощадным образом. Это несчастье, однако, не исцелило его нимало от безумной страсти к сочинительству ужаснейшей музыки. Однажды во время представления оперы

Франческо Кавалли "Свадьба Фетиды и Пелея" он вздумал уверять, что негодный композитор украл все лучшие номера этого произведения у него, за что был очень больно поколочен и даже подвергнулся опасности быть убитым. У него, кроме того, сумасшедшая страсть к вытью арий под собственный аккомпанемент жалкой, хромой гитары, отчего получается такой невыносимый концерт, что присутствующим остается только поскорее заткнуть уши. С ним постоянно торчит его верный Пилад, карлик, известный в Риме под именем Питихиначчио. И представьте, что третьим членом этого прелестного союза является -- кто бы вы думали? -- сам пирамидальный доктор Спледиано Аккорамбони. Он также ревет в их трио на манер меланхолического осла, воображая, что обладает прекрасным басом, который не хуже баса самого Мартинелли из папской капеллы. Почтенные эти певцы собираются обыкновенно по вечерам и, поместясь на балконе дома Капуцци, начинают бляеть мотеты, пока не выведут из терпения всех окрестных кошек и собак, присоединяющих свои голоса к их пению. Я думаю, нечего говорить, как усердно посылают к дьяволу это чертово трио все соседи.

У этого сумасшедшего синьора Паскуале Капуцци, которого, полагаю, вы хорошо можете себе вообразить по моему рассказу, часто бывал мой отец-цирюльник. После смерти отца я взял на себя исполнение этой обязанности, и первое время синьор Капуцци был очень мною доволен, уверяя, что я удивительно хорошо умею придавать какое-то молодцеватое выражение его острой, тоненькой бородке. Впрочем, я полагаю, что довольство его мною основывалось более на скудной плате в четыре кваттринно, которые получал я за мои труды. Он, однако, считал меня награжденным даже слишком хорошо, поскольку кроме платы имел обыкновение проорать мне каждый раз, зажмуря глаза, одну или две арии своего сочинения. Как ни драл мне уши этот вой, но фигура старого меломана до того была смешна в эти минуты, что я иногда нарочно просил его начать снова. Однажды, придя к нему как обычно, я поднялся спокойно по лестнице, постучал в дверь, отворил ее -- и что же увидел? -- прелестную, как ангел, девушку. Да вы, впрочем, видели мою Магдалину! Одним словом, это была она! Пораженный, остановился я точно вкопанный на месте. Но, Сальватор... вы не любите "охов" и "ахов", а потому я не стану распространяться. Довольно сказать, что я в ту же минуту полюбил это дивное создание всеми силами души и сердца! Старик, ухмыляясь, объявил мне, что это дочь его брата Пьетро, умершего в Сенегалии, что зовут ее Марианной, что у нее нет ни матери, ни братьев, и потому он, по обязанности дяди, принял ее к себе в дом.

Вы можете легко понять, что с этого дня дом Капуцци стал для меня воплощенным раем. Хотя, несмотря на все мои усилия, мне не удавалось ни разу остаться с Марианной наедине, ее взгляды, вздохи, а

порой легкое пожатие руки не оставляли во мне никакого сомнения, что я в этой любви был счастлив. Старик скоро все понял, что, впрочем, было и нетрудно. Поведение мое относительно его племянницы очень ему не нравилось, и наконец он прямо меня спросил, чего я хочу? Я откровенно сознался, что всей душой люблю Марианну и считаю за высшее счастье добиться ее руки. Услышав это, Капуцци смерил меня взглядом от головы до ног и, презрительно засмеявшись, сказал, что ему и в голову не приходила мысль, чтобы бедный, жалкий брадобрей мог подумать о чем-либо подобном. При этих словах ярость овладела мной до того, что я едва мог себя сдерживать. Громко воскликнул я, что не жалкий брадобрей сватается за его племянницу, а известный хирург и кроме того, художник, ученик великого Аннибале Карраччи и недостижимого Гвидо Рени. Тут Капуцци, засмеявшись еще громче, запел своим тоненьким фальцетом: "О мой дражайший брадобрей! мой несравненный хирург! мой великий Аннибале Карраччи и возлюбленный Гвидо Рени! Убирайся сейчас же ко всем чертям и не оставайся здесь более, если хочешь выйти с целыми костями!" С этими словами проклятый скелет схватил меня за плечи, намереваясь, ни более ни менее, как вытолкать за дверь и спустить с лестницы.

Мог ли я это вынести? С бешенством толкнул я старого дурака, так что он, закаркав, точно ворон, покатился вверх ногами; сам же я сбежал в отчаянии по лестнице и выбежал вон из двери, которая таким образом закрылась для меня навсегда.

В таком положении было мое дело, когда вы прибыли в Рим и падре Бонифаччио призвал меня оказать вам помощь. Скоро после того благодаря вашему вмешательству исполнилось то, чего я так долго добивался. Академия св. Луки приняла меня в число своих членов, а весь Рим воздал дань хвалы и почета моему искусству. Немедленно побежал я к старому Капуцци и предстал перед ним в его комнате, словно угрожавший ему призрак. По крайней мере, я думаю, что он точно меня счел за призрак, потому что побледнел как полотно и, поспешно попятившись, забился под большой стол. Строгим, серьезным голосом сказал я ему, что перед ним стоит не цирюльник и хирург, а славный художник и член Академии св. Луки Антонио Скаччиати, которому он не имеет причин отказать в руке своей племянницы Марианны. Посмотрели бы вы, в какую ярость пришел старый скряга, услышав эти слова! Он кричал, размахивал руками, как будто защищаясь от нечистого духа, говорил, что я злодей, разбойник, что я украл его Марианну, изобразив ее на моей картине! И что я поверг его в беду и отчаяние, так как теперь весь свет может смотреть бесстыдными глазами на его Марианну -- его счастье и сокровище! К этому прибавлял он, чтобы я берегся и что он сожжет мой дом вместе

со мной и моей картиной! А затем начал кричать как сумасшедший: "Пожар! пожар! грабят! разбойники!.. Помогите!"

Мне не оставалось ничего, кроме как покинуть его в таком бешеном припадке и поспешить домой. Оказалось, что старый безумец Капуцци сам влюблен в свою племянницу, держит ее взаперти, и если только ему удастся получить разрешение, то он принудит ее к самому отвратительному, насильственному браку! Все, все для меня потеряно!

-- Отчего же непременно потеряно? -- возразил со смехом Сальватор. -- Я, напротив, думаю, что дела твои идут как нельзя лучше! Ты твердо убежден, что Марианна тебя любит, значит, весь вопрос в том, чтобы вырвать ее из лап старого сумасброда, синьора Паскуале Капуцци. А неужели не сумеют этого сделать двое таких ловких, решительных людей, как мы? Смелей, Антонио! Вместо того, чтобы плакать и вздыхать, подумай о том, что следует сделать для спасения Марианны! Ты увидишь сам, как мы проведем за нос этого сумасшедшего! В предприятиях такого рода я имею обыкновение не останавливаться ни перед какой нелепостью! Я сейчас же отправлюсь выведать все, что надо, о старике и всей его жизни. Тебе со мной ходить незачем. Ступай спокойно домой, а завтра приходи пораньше, чтобы не откладывать наших планов в долгий ящик.

С этими словами Сальватор бросил кисти, набросил плащ и поспешил на Корсо, между тем как Антонио, утешенный и оживленный надеждой, отправился домой, как посоветовал ему его покровитель.

СИНЬОР ПАСКУАЛЕ КАПУЦЦИ ПОСЕЩАЕТ САЛЬВАТОРА РОЗУ.

ЧТО ПРИ ЭТОМ СЛУЧИЛОСЬ. ХИТРОСТЬ, КОТОРУЮ ПУСКАЮТ В ДЕЛО САЛЬВАТОР И СКАЧЧИАТИ, И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.

На другой день утром Антонио был крайне изумлен, когда Сальватор, придя к нему, сообщил ему подробные сведения о всем образе жизни Капуцци. С бедной Марианной, по словам Сальватора, старик обращается самым отвратительным образом. Он с утра до вечера осаждает ее своими любовными признаниями и вздохами, а, вдобавок, для того, чтобы лучше, по его мнению, тронуть ее сердце, поет ей беспрестанно серенады своего сочинения. Ко всему этому он до того бешено ревнив, что не позволяет бедной девушке держать никого из

женской прислуги, боясь общей склонности всех служанок прикрывать интрижки своих хозяек. Для исполнения же обязанностей служанки Марианны является в их дом каждое утро и вечер какая-то маленькая, уродливая фигурка, похожая на привидение, с запавшими глазами и отвислыми щеками. Фигурка эта есть не кто иной, как карлик Питихиначчио, переодевающийся по этому случаю в женское платье. Уходя из дома, Капуцци тщательно запирает и запечатывает все двери, а кроме того, ставит на стражу огромного детину, который был когда-то брави, наемным убийцей, потом служил в городской полиции в сбирах, а теперь живет в доме Капуцци. Поэтому нет, по-видимому, никакой возможности проникнуть в его дом, тем не менее Сальватор обещал Антонио, что на следующую же ночь он увидит свою Марианну в ее собственной комнате, хотя на этот раз еще только в присутствии самого Капуцци.

-- Что вы говорите? -- воскликнул в восторге Антонио. -- В следующую ночь должно случиться то, о чем я не смел мечтать?

-- Не торопись! -- перебил его Сальватор. -- Подумаем теперь, как исполнить задуманный мною план. Во-первых, должен я тебе сообщить, что у меня с синьором Капуцци оказались кое-какие делишки, о которых я сам не подозревал. Видишь этот старый клавесин, что стоит в углу. Он раньше принадлежал старику, и он хочет содрать с меня за него чудовищную цену в десять дукатов. Когда я стал выздоравливать от своей болезни, то мне захотелось утешиться и развлечься музыкой. Я просил хозяйку достать мне клавесин вроде этого. Синьора Катарина сейчас же сообщила мне, что на улице Рипетта живет один старый господин, желающий продать прекрасный клавесин. Я сейчас же за ним послал, и инструмент был мне доставлен. Тогда мне дела не было ни до цены, ни до владельца. Только вчера вечером узнал я совершенно случайно, что это почтенный синьор Капуцци вздумал надуть меня, продав свою рухлядь. Синьора Катарина обратилась за справками к одной своей знакомой, живущей рядом с Капуцци на одном с ним этаже, и теперь ты легко поймешь, каким путем добыл я все мои сегодняшние новости.

-- О! -- воскликнул Антонио. -- Значит, доступ к Капуцци открыт через вашу хозяйку?

-- Я понимаю, -- перебил Сальватор, -- что ты хочешь сказать. Ты думаешь действовать через синьору Катарину, чтобы добиться Марианны. Но этим путем не сделаешь ничего. Катарина слишком болтлива. Она не хранит ни одной тайны, а потому совершенно не годится нам в подмогу. Слушай же меня дальше! Каждый вечер синьор Капуцци выносит из своего дома на руках, как это ни тяжело для его подагры, маленького кастрата, исполняющего роль служанки при Марианне. Глупый карлик боится ступать ночью по мостовой ногами. Таким образом...

В эту минуту постучали в дверь комнаты Сальватора, и вслед за тем, к величайшему его изумлению, вошел торжественной поступью сам синьор Паскуале Капуцци. Увидя Скаччиати, он остановился как вкопанный, вытаращил глаза и схватился за грудь, точно у него перехватило дыхание. Но Сальватор, не дав ему опомниться, быстро бросился вперед, схватил его за обе руки и воскликнул:

-- Дражайший синьор Паскуале! О, как я рад великой чести, какую вы мне оказали, посетив мое бедное жилище! Конечно, вас могла привести сюда только одна, известная ваша любовь к искусству! Вы хотели видеть мои последние картины, а может быть, что-нибудь мне заказать! Говорите, почтеннейший синьор Паскуале! Говорите, чем могу я быть вам полезен?

-- Я хотел, -- с трудом мог вымолвить озадаченный Капуцци, -- поговорить с вами, достойный синьор Сальватор!.. Но... гм... без свидетелей, а потому позвольте мне лучше зайти к вам в другое время.

-- Ни за что, дорогой синьор, ни за что! -- перебил Сальватор, крепко держа Капуцци. -- Вы не двинетесь с места! Вы не могли выбрать более благоприятного часа для вашего посещения! Вы такой великий почитатель благородного искусства живописи и друг всех известных живописцев, что, без сомнения, будете очень рады познакомиться с первым нашим современным художником Антонио Скаччиати, чья превосходная картина, изображающая Магдалину у подножия креста, привела в восторг весь Рим. Вы, конечно, точно также восхищены этой картиной, а потому, уверен я, будете очень рады видеть самого художника.

Старик трясся как в лихорадке и кидал самые яростные взгляды на бедного Антонио. Тот, наконец, скромно подошел к нему, учтиво поклонился и сказал, что считает себя очень польщенным встретить так неожиданно синьора Паскуале Капуцци, чьи глубокие познания в музыке и живописи уважаются не только в Риме, но и в целой Италии, вследствие чего он покорно просит почтить его своим расположением.

Почтительное обращение Антонио, догадавшегося притвориться, что видит старика в первый раз, понравилось ему и помогло прийти в себя. Он даже улыбнулся с довольным видом, погладил бороду рукой, которую Сальватор наконец выпустил, затем загнул ее крючком кверху и обратился к Сальватору, заговорив об уплате следуемых за клавесин денег.

-- О, об этой мелочи мы всегда успеем поговорить! -- воскликнул Сальватор. -- Сначала позвольте мне показать вам, бесценный синьор, эскизы моих новых картин и угостить вас стаканом доброго вина! -- с этими словами Сальватор поставил свои эскизы на мольберт, подвинул старику стул и водрузил перед ним большой бокал с сиракузским вином.

Капуцци был всегда рад выпить стакан хорошего вина, особенно когда за него не надо было платить. А так как в этом случае он еще тешил себя надеждой получить десять дукатов за старый, никуда не годный клавесин и сидел перед прекрасной картиной, достоинство которой осознавал очень хорошо, то понятно, что расположение его духа вмиг стало превосходным. Удовольствие свое выражал он самой, на какую только был способен, приятной улыбкой, все время закрывал и открывал глаза, поглаживая усы и бороду, и повторял: "Прелестно! превосходно!" -- хотя трудно было сразу догадаться, что же он хвалил, вино или картину.

Дождавшись минуты, когда старик развеселится окончательно, Сальватор вдруг сказал:

-- Скажите, пожалуйста, досточтимый синьор, ведь это у вас, кажется, есть прекрасная племянница по имени Марианна? Вся наша римская молодежь влюблена в нее поголовно и спует целыми днями по улице Рипетта, чуть не выворачивая себе шеи, только затем, чтобы взглянуть на ее балкон и полюбоваться хотя одну минуту ее прелестными глазками?

Лицо старика мигом изменило свое довольное выражение, возбужденное хорошим вином. Он мрачно огляделся и сказал довольно грубо:

-- Вот занятия нашей испорченной молодежи! Смотрят нечистыми глазами на ребенка! Проклятые развратники! Разве вы не знаете, достойный синьор, что моя Марианна еще совершенный младенец, едва отнятый от кормилицы?

Сальватор переменял тему разговора, и старик сразу же успокоился. Но едва он с прежним довольным видом взялся за стакан, Сальватор опять принялся за свое:

-- А скажите, достойный синьор! У вашей прелестной шестнадцатилетней племянницы Марианны действительно такие же прекрасные каштановые волосы и небесные глаза, как у Магдалины Антонио? Все уверяют, будто это так и есть.

-- Не знаю, синьор! -- отрывисто и еще грубее ответил старик. -- Я бы попросил вас, нельзя ли не возобновлять расспросов о моей племяннице? Мы могли бы с большей пользой потолковать о благородном искусстве, тем более что картина ваша сама собой наводит на этот разговор.

Однако Сальватор не унимался, и каждый раз, как старик готовился с наслаждением выпить глоток вина, он как будто нарочно свертывал на какой-нибудь новый вопрос о Марианне. Наконец Капуцци не выдержал, яростно вскочил со стула, хлопнул бокалом по столу, так что чуть его не разбил, и закричал пронзительным голосом:

-- Во имя самого дьявола и всех фурий, вы хотите отравить мне вкус этого вина! Кажется, и вы, и синьор Антонио, намерены поднять меня

на смех! Но это вам не удастся! Извольте сейчас же заплатить мне причитающуюся сумму, которую должны, а затем пропадите ко всем чертям с вашим проклятым брадобреем Антонио!

Сальватор, притворившись взбешенным, крикнул на весь дом:

-- Как! Вы смеете говорить мне такие вещи здесь! в моем доме?!

Десять золотых требуете вы за старый, никуда негодный ящик, изъеденный червями до того, что из него нельзя более извлечь ни одного звука? Ни полушки не выплачу я вам за дрянь, которая не стоит кваттрино! Убирайтесь вон вместе с вашим хламом! -- и с этими словами Сальватор так сильно толкнул несчастный клавесин ногой, что струны издали жалобный, пронзительный звук.

-- Ага! Вот как! -- завопил Капуцци. -- Ну так погодите же, в Риме еще есть законы! -- я засажу вас в тюрьму! -- да! да! в тюрьму! -- в темное подземелье! -- и, сказав это, хотел он опрометью броситься вон из комнаты.

Но Сальватор крепко схватил его обеими руками, заставил снова сесть в кресло и произнес сладким голосом на ухо:

-- Любезный, дорогой синьор Капуцци! Ведь я пошутил! Неужели вы этого не поняли? Не десять, а тридцать дукатов получите вы за ваш клавесин!

После этого Сальватор стал беспрерывно повторять:

-- Тридцать! тридцать золотых! -- так что Капуцци, ошеломленный всем слышанным, невольно спросил:

-- Что вы говорите, синьор? Тридцать дукатов за клавесин? без шутки?

При этом вопросе Сальватор выпустил старика, которого до того крепко держал за руки, и поспешил его заверить честным словом, что ранее чем пройдет какой-нибудь час, клавесин его будет стоить не тридцать, а даже сорок дукатов и что синьор Паскуале получит их за него наверно.

Капуцци, глубоко вздохнув, пробормотал:

-- Тридцать? сорок? -- и затем прибавил: -- Вы очень обидели меня, синьор Сальватор!

-- Тридцать золотых! -- прошептал тот.

Старик улыбнулся.

-- Вы растерзали мое сердце, -- начал было он снова.

-- Тридцать монет, -- перебил Сальватор и затем стал повторять то же самое при каждом новом слове старика до тех пор, пока он не утомился совсем.

-- Если я точно, -- сказал наконец Капуцци, -- получу за свой клавесин тридцать или сорок дукатов, то все будет забыто и прощено.

-- Но, однако, -- возразил на это Сальватор, -- я сдержу мое обещание только с небольшим условием, которое вам ничего не будет стоить исполнить, мой дражайший синьор Паскуале ди Сенегалиа! Ведь вы,

мы знаем это все, первый композитор во всей Италии и к тому же превосходнейший певец, какого только можно найти. С каким восторгом слушал я великолепную сцену из "Свадьбы Фетиды и Пелея", которую негодяй Франческо Кавалли украл целиком у вас и выдал за свое произведение! Если бы вы были так добры и спели мне эту арию теперь, пока я займусь починкой клавесина, то вы не могли бы мне доставить большего удовольствия.

Радостная улыбка появилась на лице Капуцци при этих словах Сальватора. Он невыразимо сладко сжал узенькие серые глаза и сказал:

-- Вижу, синьор, что вы тоже хороший музыкант! У вас есть вкус и вы умеете лучше оценивать талантливых людей, чем неблагодарные римляне! Слушайте же! Слушайте арию -- перл всех арий.

Сказав это, Капуцци встал посреди комнаты, поднялся на цыпочки, зажмурил глаза и, сделавшись в этой позе очень похожим на петуха, собравшегося запеть: "ку-ка-ре-ку!", вдруг поднял, действительно, такой невообразимый рев, что задрожали стены дома. Синьора Катарина в испуге прибежала с обеими дочерьми посмотреть, что случилось, справедливо вообразив, что такой неестественный крик мог быть знаком только какого-либо серьезного несчастья. Тем более велико было ее изумление, когда, остановившись в дверях, она увидела только завывавшего благим матом старика, и увеличила тем самым число зрителей, слушавших неподражаемого виртуоза Капуцци.

Сальватор между тем быстро открыл клавесин, приставил крышку к стене, схватил палитру, кисти и в несколько штрихов набросал на крышке эскиз картины. Главной мыслью его нового произведения была сцена из оперы Кавалли "Свадьба Фетиды", но независимо от действующих лиц он ввел еще множество фантастических подробностей. Между персонажами были и Капуцци, и Антонио, и Марианна, верно скопированная с Антониевой картины, сам Сальватор, синьора Катарина с обеими дочерьми, и даже пирамидальный доктор. И все это было сгруппировано с таким вкусом, так умно и талантливо, что Антонио не мог прийти в себя от изумления при виде силы гениального дарования Сальватора.

В это время Капуцци не стал ограничиваться в своем пении той арией, о которой просил Сальватор. Напротив, охваченный припадком музыкального беснования, он все продолжал сотрясать воздух, переходя невероятнейшими речитативами из одной глупейшей арии в другую. История эта продолжалась, по крайней мере, часа два, так что наконец, выбившись из сил, повалился он, багровый как рак, в кресло. Сальватор успел уже в это время настолько поработать над своей картиной, что лица получили полное жизненное выражение, а вся картина могла казаться, на некотором расстоянии, почти оконченной.

-- Смотрите, синьор Паскуале, -- шепнул Сальватор старику на ухо, -- я сдержал данное вам слово относительно клавесина.

Капуцци, очнувшись, быстро подпрыгнул, при этом взгляд его упал прямо на расписанную крышку. Он вытаращил глаза, точно увидел чудо, быстро нахлобучил парик и шляпу на голову, схватил свой костыль, мигом сорвал крышку прочь с петель и, выбежав вместе с нею как сумасшедший из комнаты, чуть не слетел кубарем с лестницы, преследуемый громким смехом синьоры Катарины и ее двух дочерей.

-- Старый скряга знает хорошо, -- сказал Сальватор, -- что граф Колонна или приятель мой Росси дадут ему за эту крышку, по крайней мере, сорок дукатов, а может быть и более.

Оба, и Сальватор и Антонио, занялись затем обсуждением плана действий, который хотели привести в исполнение в эту же ночь. Мы вскоре узнаем, в чем состояла новая затея этих "проказников" и как она им удалась.

Едва наступила ночь, синьор Паскуале, заперев и запечатав свое жилище, понес, как обычно, на руках маленького карлика к его дому. Всю дорогу уродец не переставал хныкать и ворчать, жалуясь, что мало того, что он нажил себе чахотку, занимаясь пением вместе с Капуцци его дуэтов, и обварил себе все руки, готовя макароны, теперь вот еще на него возложили обязанность служанки, за что он ничего не получает, кроме насмешек и щелчков, которыми щедро наделяет его Марианна, едва он покажется в ее комнате. Капуцци утешал карлика как мог, обещал накормить его всласть леденцами, но поскольку тот все-таки не унимался, он посулил даже сшить ему новую одежду из своего старого бархатного камзола, на который маленький человек уже давно пялил жадные глазки. Тем не менее он стал требовать еще парик и шпагу. Торгуясь таким образом, дошли они до улицы Бергоньон, где Питихиначчио жил дома за четыре от жилища Сальватора.

Тут старик осторожно спустил карлика на землю, отворил дверь, и оба, войдя в дом, -- карлик впереди, а старик за ним -- стали взбираться наверх, по старой скрипучей лестнице, удивительно напоминающей куриный насест. Но едва успели они добраться до ее половины, как вдруг наверху раздалась грубая, громкая брань, и вслед затем послышался свирепый голос какого-то, должно быть, огромного роста, крепкого детины, требовавшего, чтобы его, во имя всех чертей, выпустили из этого проклятого, заколдованного дома.

Питихиначчио в испуге прижался к стене, умоляя Капуцци первым пройти вперед. Но едва последний успел подняться ступени на две, как находящийся наверху человек, ринувшись стремглав по лестнице, схватил на бегу Капуцци на руки, выбежал с ним из дверей и, добежав до середины улицы, растянулся во весь рост на мостовой. Капуцци, придавленный, точно тяжелым мешком, лежал под великаном едва живой и жалобно вопил о помощи на всю улицу. Тогда два каких-то человека тотчас же подбежали к нему и после немалых трудов сумели

освободить бедного синьора Паскуале из его незавидного положения. Великан же между тем продолжал пьяным голосом реветь и ругаться.

-- Ради всех святых, что с вами, синьор Паскуале? Зачем вы здесь ночью и что пришли делать в этот дом? -- участливо обратились с вопросами к несчастному старику Антонио и Сальватор, потому что подбежавшие в темноте люди были именно они.

-- Я погиб! Я умер! -- жалобно кричал Капуцци. -- Проклятый разбойник переломал мне все кости! Я не могу пошевелиться!

-- Позвольте посмотреть, -- сказал Антонио и принялся его ощупывать, причем так дернул за ногу, что Капуцци громко ахнул.

-- Господи Боже! -- воскликнул Антонио с ужасом. -- Дражайший синьор Паскуале! Да ведь вы сломали себе правую ногу и в самом опасном месте. Если вам не оказать тотчас же самой скорой помощи, то вы непременно умрете или, по меньшей мере, останетесь хромым на всю жизнь!

Капуцци с испуга завыл на весь квартал.

-- Ну успокойтесь, успокойтесь, -- продолжал Антонио, -- хоть я теперь и живописец, но все-таки не забыл еще своего прежнего ремесла. Мы сейчас же перенесем вас в дом Сальватора, где я сделаю вам нужную перевязку.

-- Дорогой синьор Антонио! -- пролепетал Капуцци. -- Вы, я знаю, питаете ко мне враждебные чувства...

-- О, время ли теперь говорить о вражде? -- перебил Сальватор. -- Вы в опасности, а этого честному Антонио довольно, чтобы он употребил для помощи вам все свое искусство. Бери его, Антонио!

Они подняли старика, кричавшего, как он уверял, от невыносимой боли в сломанной ноге, и бережно перенесли его в дом Сальватора. Синьор Катарина, встретившая их, тут же запричитала, что она будто бы предчувствовала, что случится какое-нибудь несчастье, оттого и не ложилась целую ночь. Услышав рассказ о приключившейся со стариком беде, она разразилась потоком самых язвительных упреков.

-- Ведь я знаю, -- тараторила она, -- кого вы несли на руках! Вы решили, что ваша племянница Марианна совсем не нуждается в женской прислуге, и не диво, что она после всего этого так дурно обращается с бедным Питихиначчио, которого вы обрядили в женское платье! Но погодите! *ogni carne ha il suo osso!* -- где есть мясо, там будут и кости! Девушке нужна в прислугах только женщина! *Fate il passo secondo la gamba!* Вы не можете требовать от Марианны слишком многого. Нельзя держать ее взаперти и делать из вашего дома тюрьму! *Asino punto convien che trotti!* -- взялся за гуж, не говори что не дюж! Но вы -- нелюбезный, бессердечный человек, да кроме того -- кто бы мог ожидать этого в ваши годы! -- вы влюбчивы и ревнивы! Не взыщите, что я говорю вам все прямо в глаза, но *chi la nel petto fiele non puo sputar miele!* -- что на сердце, то и на языке! Если вы не умрете от

перелома ноги, что очень может даже случиться при вашей старости, то пусть хоть это послужит вам предостережением, и вы перестанете заточать вашу племянницу и позволите ей выйти замуж за одного хорошо знакомого мне красавчика!

Вот такой бурный поток слов выплеснула синьора Катарина, пока Сальватор и Антонио, раздев больного, укладывали его в постель. Слова синьоры Катарини были для него острее ножа, но едва он собирался что-нибудь возразить, как Антонио тотчас же его останавливал, уверяя, что лишние разговоры вредят его здоровью, и бедняга поневоле должен был захлебываться собственной желчью. Наконец, Сальватор, по требованию Антонио, усладил Катарину за льдом.

Сальватор и Антонио убедились, что их сообщник, наделавший столько шума в доме Питихиначчио, отлично выполнил данное ему поручение. Капуцци не получил ни малейшего повреждения, кроме нескольких синяков, как ни казалось ему самому таким серьезным падение. Антонио забинтовал ему правую ногу, так что он не мог ею пошевелить, и при этом обернул всего Капуцци намоченными в холодной воде простынями якобы для того, чтобы предупредить воспаление. Бедный старик от холода дрожал как в лихорадке.

-- Любезный синьор Антонио! -- все время спрашивал он, стуча зубами. -- Скажите откровенно: ведь со мной все кончено и я должен умереть?

-- Успокойтесь, синьор Паскуале, успокойтесь, -- отвечал Антонио, -- вы хорошо, даже не упав в обморок, выдержали первую перевязку, так что, я полагаю, опасность следует считать миновавшей. Но осторожность просто необходима! Хирург обязан не спускать с вас глаз.

-- Ах, синьор Антонио! -- продолжал бормотать старик. -- Вы знаете, как я вас люблю и как высоко ценю ваш талант! Не покидайте меня, прошу вас! Дайте мне пожать вашу руку! Вот так!.. Не правда ли, мой дорогой друг, вы меня не покинете!

-- Для вас, синьор Паскуале, -- отвечал Антонио, -- я готов сделать исключение и продолжу ваше лечение, хоть я в настоящее время уже не хирург. В награду за мои труды прошу вас только почтить меня вашей дружбой и доверием! Вы ведь знаете, что обошлись со мной довольно сурово!

-- Молчите, молчите! Ради Бога, не поминайте об этом! -- умолял старик.

-- Я полагаю, -- продолжал Антонио, -- ваша племянница будет в страшном беспокойстве из-за вашего отсутствия. Вы достаточно крепкий человек, и, даже при вашем тяжелом положении, я уверен, мы сможем завтра утром перенести вас в ваш дом. Там я еще раз осмотрю вашу перевязку, приготовлю вам постель и передам вашей племяннице

все, что ей будет необходимо при уходе за вами. И в таком случае, я думаю, вы поправитесь очень скоро.

Капуцци вздохнул очень глубоко и, закрыв глаза, остался несколько минут в этом положении, затем вдруг протянув Антонио руку, приблизил его к себе и сказал на ухо:

-- Дорогой синьор Антонио! Ведь ваше сватовство к Марианне было просто шуткой наподобие тех, какие часто теперь позволяют себе молодые люди?

-- О пожалуйста, не думайте теперь ни о чем подобном! -- ответил Антонио. -- Ваша племянница, действительно, на некоторое время вскружила мне голову, но сейчас у меня совершенно другое на уме, и я даже очень рад -- признаюсь вам в этом откровенно, -- что вы вашими решительными действиями вылечили меня от моей безумной страсти. Я полагал, что люблю вашу Марианну, но скоро понял, что любил ее только как модель для моей Магдалины. И теперь мне ясно, почему, как только я закончил мою картину, я стал к ней совершенно равнодушен.

-- Антонио! О мой бесценный, единственный Антонио! -- с горячностью воскликнул старик. -- Ты мое утешение!.. Мой целебный бальзам!.. Сказав, что ты не любишь Марианну, ты вылечил меня от всех моих болезней!

-- Право, синьор Паскуале, -- перебил Сальватор, -- если бы вас не знали за строгого, разумного человека, сознающего свои лета, то можно было бы подумать, что вы сами до безумия влюблены в вашу шестнадцатилетнюю племянницу.

Старик опять закрыл глаза, застонав и заохав с новой силой, уверяя, что боль в сломанной ноге стала ощущаться вдвойне.

Между тем занялась утренняя заря, и свет ее проник в окна. Антонио объявил больному, что теперь можно перенести его к нему домой на улице Рипетта. Синьор Паскуале ответил глубоким, жалобным вздохом. Сальватор, вместе с Антонио, поднял его с постели и закутал в большой плащ, принадлежавший покойному мужу Катарины, который она охотно отдала для больного. Старик умолял Христа ради, чтобы сняли, по крайней мере, проклятые мокрые платки, в которые была замотана его плешивая голова, и надели на него шляпу с перьями. Он просил также Антонио привести, насколько возможно, в порядок его остроконечную бороду, чтобы Марианна не очень испугалась, увидя его в таком жалком состоянии.

Два носильщика с готовым портшезом стояли у дверей дома. Катарина, по-прежнему поругивая старика и перемешивая поток своих слов с множеством пословиц, снесла вниз перину, на которую Антонио и Сальватор уложили Капуцци и через некоторое время доставили его благополучно домой.

Марианна вскрикнула от испуга, увидя своего дядю в таком ужасном положении, и залилась непритворными слезами. Горе ее было так искренно, что она даже не заметила своего возлюбленного, появившегося в доме вместе с больным. Рыдая, схватила она руки старика, прижимала их к губам, громко жаловалась на постигшее его несчастье, обнаружив при этом, что ее сердце было чистым и добрым, несмотря на то, что вряд ли Капуцци доставил ей в жизни что-нибудь, кроме мучений и неприятностей. Но женская натура скоро, однако, взяла свое, как только два-три выразительных взгляда Сальватора обратили ее внимание на всю остальную обстановку разыгрывавшегося спектакля. Мгновенный румянец разлился по ее лицу, едва увидела она своего Антонио, -- и до чего приятно было наблюдать, как неподдельная радость проступает на ее лице сквозь неуспевшие еще высохнуть слезы. Сальватор хоть и видел портрет Марианны в чертах Магдалины, тем не менее был безусловно поражен прелестью и красотой самого оригинала. Он почти завидовал Антонио и еще сильнее почувствовал необходимость вырвать бедняжку из когтей проклятого Капуцци, чего бы это ни стоило.

Синьор Паскуале, встреченный своей доброй племянницей нежнее, чем он того заслуживал, сразу забыл всю свою беду. Он смеялся, шутил, сжимал беспрестанно губы в улыбке, так что усы его и борода шевелились во все стороны, а если и вздыхал, то уже не от боли, а, очевидно, от нового приступа своей безумной страсти.

Антонио подготовил старику постель, зашнуровал его повязку крепче прежнего, прикрутив для безопасности левую, здоровую ногу, и таким образом Капуцци должен был теперь лежать в кровати неподвижно, напоминая забинтованную куклу. Сальватор между тем ушел домой, оставив влюбленных одних наслаждаться своим счастьем.

Капуцци лежал весь обложенный подушками. Антонио укутал ему даже голову толстой, мокрой простыней, которая не давала возможность расслышать нежное воркование влюбленных, которые оказались наедине в первый раз и потому сразу приступили к обмену нежными поцелуями и клятвенными заверениями. Старик, который ничего не слышал, не мог этого даже подозревать.

С наступлением дня Антонио ушел домой, чтобы захватить необходимые для больного лекарства, в самом деле же для того, чтобы обдумать, каким способом как можно дольше продержат старика в убеждении, что он серьезно болен, а также, чтобы посоветоваться с Сальватором, что предпринимать дальше.

НОВАЯ ЗАТЕЯ САЛЬВАТОРА РОЗЫ И АНТОНИО

СКАЧЧИАТИ ПРОТИВ СИНЬОРА ПАСКУАЛЕ КАПУЦЦИ

И ЕГО КОМПАНИИ И ЧТО ИЗ ТОГО ВЫШЛО.

На следующее утро Антонио вошел к Сальватору с признаками глубокой печали и уныния на лице.

-- Ну что еще? -- воскликнул Сальватор. -- Отчего ты опять повесил нос? Чего тебе недостает теперь, когда ты можешь каждый день любоваться своей возлюбленной и целовать ее сколько душе угодно?

-- Ах, Сальватор! -- возразил Антонио. -- Все кончено с моим счастьем! Сам дьявол вмешался в это дело -- и все открылось, и мы теперь с Капуцци заклётые враги!

-- Тем лучше, -- утешил его Сальватор, -- тем лучше! Да рассказывай побыстрее в чем дело.

-- Представьте, -- начал Антонио, -- что когда я вчера после отсутствия, продолжавшегося не более двух часов, воротился на улицу Рипетта, нагруженный разными склянками и эссенциями, то нашел моего старика одетым и стоящим у двери дома. Возле него торчал пирамидальный доктор с проклятым сбиром, а между их ног вертелось что-то маленькое и пестрое, должно быть, Питихиначчио. Едва завидев меня издали, Капуцци тотчас же сжал кулаки и послал мне навстречу поток самых отборных проклятий с угрозой, что вот он-то переломает мне кости по-настоящему, если я осмелюсь приблизиться к дверям его дома. "К черту, проклятый брадобрей!.. к дьяволу! -- завопил он на всю улицу. -- Ты думал меня перехитрить!.. Ты, как сам сатана, преследуешь мою благочестивую Марианну и думаешь совратить ее в свои окаянные сети!.. Но погоди! Я не пожалею последних своих денег, лишь бы вышибить из тебя дух, прежде чем ты успеешь оглянуться! А твой проклятый патрон синьор Сальватор! -- разбойник, сорвавшийся с петли, -- пусть он убирается к своему атаману Масаньело! Его я, во что бы то ни стало, вышвырну вон из Рима! Мне это не будет стоить большого труда!"

Пока старик бесновался таким образом, громила, подстрекаемый пирамидальным доктором, выказывал намерение на меня напасть. Кругом начала собираться толпа зевак, привлеченная шумом, и потому мне ничего не оставалось более, как благоразумно удалиться. В первое время я даже не смел идти к вам из боязни, что вы только высмеете мое горе, да и теперь вижу, что вы с трудом подавляете смех.

Сальватор, действительно, расхохотался во все горло, едва Антонио кончил свой рассказ.

-- Вот когда дело становится в самом деле забавным! -- воскликнул он, продолжая смеяться. -- Теперь я расскажу тебе, мой храбрый Антонио, все, что произошло в доме Капуцци после твоего ухода. Едва ты успел скрыться, как туда торжественно явился синьор Сплэндиано Аккорамбони, проведая, Бог знает как, что его сердечный друг сломал в прошедшую ночь себе ногу. Он захватил с собой какого-то хирурга.

Твоя перевязка, а равно и весь, предписанный тобою для Паскуале режим, естественно, должны были возбудить подозрение. Хирург снял лубки и повязки и увидел то, что мы с тобой сами знали, а именно, что в правой ноге почтенного Капуцци не только нет никакого перелома, но даже ни одной поврежденной косточки. Об остальном можно догадаться и без особенной доли проницательности.

-- Но, однако, -- с удивлением сказал Антонио, -- скажите мне, откуда вы могли это все узнать? Какими способами проникаете вы в дом Капуцци, если можете так наверняка знать все, что там происходит.

-- Я уже тебе говорил, -- продолжал Сальватор, -- что в доме Капуцци и даже на одном с ним этаже живет знакомая моей хозяйки. Женщина эта -- вдова одного виноторговца и имеет дочь, к которой часто бегают наша маленькая Маргарита. Девочки обладают удивительной способностью скоро узнавать все, что касается их подруг, и потому Роза -- так зовут дочь вдовы -- и Маргарита сразу нашли средство сообщаться с Марианной через маленькое слуховое окно, выходящее в темный коридор, примыкающий к комнате Марианны. Марианна однажды случайно услышала смех и шепот девушек, и, таким образом, способ для ведения разговоров был найден. Каждый раз после обеда, когда старик отправляется спать, девчонки сходятся и болтают всласть. Ты, без сомнения, заметил, что маленькая Маргарита, любимица моя и синьоры Катарины, вовсе не такого серьезного, скрытного характера, как ее старшая сестра Анна, напротив, она очень веселый и болтливый ребенок. Я, не сказав ей ни слова о вашей любви, сумел ее научить всему, что она должна была выведывать для меня в доме Капуцци. Поручение мое она исполняет очень исправно, и если я теперь позволил себе расхохотаться над вашим горем, то потому, что последствия всего этого приключения вышли как нельзя более благоприятными и принесут нам одну пользу. Слушай же, какой ворох новостей я тебе сейчас сообщу.

-- Сальватор! -- воскликнул Антонио с разгоревшимися от радости глазами. -- Какую надежду вы мне падаете! О, как я благословляю это слуховое окно в коридоре! Теперь я могу писать Марианне, а Маргарита будет передавать мои письма.

-- И не думай об этом! -- возразил Сальватор. -- Маргарита может быть нам полезна, но твоим любовным почтальоном ей быть нельзя. Несчастный случай, который часто сует свой нос куда не следует, может сделать так, что письмо твое попадет в руки старику, чем навлечется тысяча новых неприятностей на голову бедной Марианны, тогда как теперь обстоятельства сложились очень хорошо, и она не сегодня-завтра совсем заберет престарелого влюбленного под свою бархатную туфельку. Ты только послушай, что было после твоего ухода. Сочувствие, которое выказала Марианна больному Капуцци, когда мы принесли его домой, развежило старика до такой степени, что

он вообразил, ни больше ни меньше, что Марианна совсем разлюбила тебя и подарила, по крайней мере, половину своего сердца ему, Капуцци. Теперь он только и думает о том, как бы завоевать остальную. Марианна же, попробовав сладкий яд твоих поцелуев, сделалась, как все женщины в подобных случаях, в тот же миг старше, умнее и опытнее года этак на три. Она не только сумела уверить старика, что не принимала никакого участия в нашей проделке, но что даже глубоко ею возмущена и сможет разгадать любую новую попытку провести ее и ее дядю. Старый Капуцци пришел при этом в такой восторг, что даже решился на небывалое, в именно -- предложил Марианне оказать ему честь и попросить у него все что угодно, могущее доставить ей удовольствие. Скрамница в ответ на это потребовала, чтобы *zio carissimo** свел ее в театр Порта дель Пополо посмотреть синьора Формику. Старик немного поморщился, но, однако, слово было дано -- и его надо было исполнять. Посоветовавшись с пирамидальным доктором и с Питихиначчио, он назначил для посещения театра завтрашний день, решив, что Питихиначчио будет сопровождать Марианну в женском платье; в награду за это уродец выговорил себе у синьора Паскуале, кроме бархатного камзола, еще и парик, а также обещание, что синьор Паскуале и пирамидальный доктор поочередно отнесут его после представления домой на руках. Таким образом, завтра весь этот очаровательный трилистник, действительно, отправится вместе с Марианной в театр смотреть синьора Формику.

* *Дорогой дядюшка (итал.).*

Теперь пришла очередь сказать несколько слов о том, что такое был театр Порта дель Пополо и какое отношение имел к нему синьор Формика.

Самое неприятное, что только может произойти в Риме во время масленицы, это если импресарио театров ошибутся в выборе актеров для постановки опер. Если первый тенор, по несчастному случаю, оставит свой голос где-нибудь в Аргентине, а первый любовник из театра Валле вдруг схватит насморк, -- словом, если любимейшее зрелище римлян, которым думали они насладиться в полную меру, окажется неудачным, то *Giovedì grasso** не оправдает тех надежд, которые на него возлагали в течение целого года. Как-то после такой неудачной масленицы, едва кончился великий пост, некто Никколо Муссо вздумал открыть театр близ Порта дель Пополо, в котором должны были даваться исключительно импровизированные буффонады. Афишки были составлены в самом остром, забавном характере, так что римские жители еще до начала представлений были уже настроены благосклонно к импресарио Муссо, тем более что они

давно жаждали обыкновенных драматических представлений и потому готовы были сочувственно отнестись ко всякой подобного рода попытке. Наружный вид театра, помещавшегося в небольшом, деревянном балагане, не обещал ровно ничего грандиозного или необычного в предприятии синьора Муссо. В театре не было ни оркестра, ни лож. К перилам задней галереи был прибит герб дома Колонна в знак того, что почтенный граф принял театр Муссо под свое особое покровительство. На убранной коврами сцене были развешены кругом пестрые ковры, которые должны были изображать в одно и то же время и лес, и комнату, и улицу, как того требовало содержание пьесы. А так как, сверх того, зрители должны были сидеть на неудобных, узеньких деревянных скамьях, то перед началом первого представления раздался даже довольно громкий ропот, направленный против антрепренера, вздумавшего окрестить театром какой-то сарай. Но едва началось представление и вышедшие на сцену актеры успели произнести несколько слов, как зрители мгновенно насторожили уши. По мере того, как пьеса шла вперед, внимание их стало переходить мало-помалу в сочувствие, сочувствие в изумление и наконец в полный восторг, выразившийся нескончаемыми аплодисментами, смехом и громкими криками "браво!".

** Жирный четверг (итал.).*

И действительно, трудно было вообразить что-либо более забавное, чем эти импровизированные представления Никколо Муссо, пересыпанные бездной острот, шуток и самых язвительных насмешек над современными событиями. Каждый актер передавал свою роль с неподражаемым мастерством, в особенности же отличался актер, исполняющий роль Паскарелло, со своим изумительным умением передразнивать манеры, голос, походку -- словом, решительно всю личность представляемых им более или менее известных в городе особ. Его бесконечные удачные шутки, игра и комизм приводили зрителей в совершенный восторг. Актер, игравший эту роль, называл себя синьор Формика и был, по-видимому, еще от рождения отмечен особым даром. Часто в тоне и манере его игры проскакивало что-то до того невыразимо увлекательное, что зрители покатывались со смеха -- вплоть до охватывающей всех поголовно истерики.

Не менее Формики отличался своей превосходной мимической игрой и доктор Грациано, с такой поразительной интонацией в голосе, с помощью которой он умел придать удивительный комизм самым обыденным, обыкновенным вещам. Доктора Грациано играл один известных болонских актеров по имени Марио Алли.

Скоро, в самое короткое время, весь мало-мальски образованный Рим перебывал в театрике Никколо Муссо, что близ Порта дель Пополо, и

имя синьора Формики можно было слышать на всех улицах и перекрестках в бесчисленных, воодушевленных восклицаниях: "О, Formica! Formica benedetto! Oh, Formicissimo!"* Имя Формика получило даже какой-то легендарный характер. Однажды одна пожилая синьора, покатываясь со смеху во время представления, вдруг услышала, что кто-то из сидевших возле позволил себе сделать самое невинное замечание об игре Формики. Это ее возмутило до того, что она торжественно провозгласила: "Scherza coi fanti e lascia star santi!"** Легендарность актера поддерживалась еще и тем, что вне театра синьор Формика был какой-то загадочной, невидимой личностью. Его не знал и не видел решительно никто, и тщетными оставались все усилия выследить его каким бы то ни было способом. Никколо Муссо был нем как рыба, едва заходила речь о синьоре Формике.

* *О Формика! Формика великолепный! О Формика величайший!*
(итал.)

** *Шути, да осторожно, а то в беду попасть можно!* (итал.)

Таков был театр, который так хотелось посетить Марианне.

-- Мы сыграем сегодня с нашими врагами отличную шутку, -- говорил Сальватор, -- и дорога из театра в город представляет к тому все удобства.

Говоря так, он сообщил Антонио подробный план того, что намеревался сделать, и Антонио, несмотря на всю смелость затеи, ухватился за нее с радостью, увидев в этом надежду и возможность вырвать свою возлюбленную из рук Капуцци. Понравилось ему в затее Сальватора также и то, что тот хотел заодно проучить и помучить пирамидального доктора.

С наступлением ночи Сальватор и Антонио, взяв под мышки гитары, отправились на улицу Рипетта и пропели, к великому отчаянию Капуцци, под окнами Марианны очаровательную серенаду. Сальватор играл и пел мастерски, Антонио же владел тенором, не уступавшим даже Одоардо Чекарелли. Капуцци, выйдя на балкон, хотел было заставить замолчать певцов бранью и угрозами, но соседи, услышавшие из своих окон прекрасное пение наших друзей, напали на него, в один голос крича, что он сам каждый день терзает их уши своими идиотскими трио, а потому может замолчать и дать им послушать хоть раз хорошую музыку; если же пение Сальватора и Антонио ему не нравится, то он может убраться домой и заткнуть себе уши. Таким образом синьору Капуцци пришлось вытерпеть эту пытку, продолжавшуюся почти всю ночь, потому что Сальватор и Антонио пропели до самого рассвета, причем постоянно выбирали песни с нежными признаниями в любви или с насмешками над влюбчивыми стариками. В довершение ко всему Марианна ни за что не хотела

отойти от окна, несмотря на все убеждения Капуцци поберечь себя, по крайней мере, от ночной прохлады.

На следующий вечер улица Рипетта увидела такое оригинальное шествие, что жители, сбежавшиеся на него поглазеть, в недоумении спрашивали друг друга, каким образом могли сохраниться после карнавала такие ряженые чучела? Синьор Паскуале Капуцци, одетый в очень яркий испанский костюм, с новым желтым пером на шляпе, вычищенный и выглаженный до блеска, в новых, невероятно узких башмаках, осторожно ступал по мостовой, как будто шел по куриным яйцам, держа под руку прелестную Марианну, причем никто не мог видеть ни ее грациозной фигурки, ни милого лица, потому что она, вопреки существовавшей тогда моде, была вся закрыта плотным покрывалом. С другой стороны шагал синьор Сплендиано Аккорамбони в огромном парике, который ниспадал ему на спину, так что, взглянув на него сзади, можно было видеть только огромную голову, торчавшую на двух тоненьких ножках. Наконец, вслед за Марианной, точно пришитый к ее платью, семенил ногами маленький Питихиначчио в ярко-пунцовом женском платье и с головой, украшенной множеством цветов.

Синьор Формика в этот вечер превзошел самого себя, введя в свою роль -- что было впервые -- множество песен, в которых он передразнил манеру и приемы разных известных в то время певцов. Синьор Капуцци, глядя на него, вдруг почувствовал припадок театромании, которая одолевала его в молодые годы иногда до безумия. Он в восторге целовал то одну, то другую ручку Марианны и клялся, что отныне они не пропустят ни одного представления в театре Никколо Муссо. Синьора Формику превозносил он до небес и выражением своего восторга почти что заглушал прочих зрителей. Менее довольным казался синьор Сплендиано, беспрестанно просивший синьора Капуцци и Марианну, чтобы они не смеялись так громко. Он назвал, по крайней мере, двадцать болезней, которым может подвергнуться от излишнего смеха грудобрюшная преграда, но, к сожалению, ни Капуцци, ни Марианна не обращали на его слова ни малейшего внимания. Питихиначчио был недоволен уже совсем. Ему досталось место как раз сзади пирамидального доктора, который совершенно закрывал карлику сцену своим париком. Он не видел решительно ничего и, к довершению несчастья, во все время представления терпел самые обидные насмешки от двух сидевших возле него кумушек. Они атаковали его множеством вопросов, называли прелестной синьорой, спрашивали, неужели она, несмотря на свою молодость, уже замужем, имеет ли детей, которые, судя по ней, должны быть совершенными ангелами и т.д. У бедняги выступали капли холодного пота на лбу. Он чуть не плакал от злости и искренне проклинал свое горькое существование.

По окончании представления синьор Паскуале дождался, пока удалились все зрители. Потушили уже свечи, и Сплендиано едва успел зажечь от огня последний кусок принесенного им с собой воскового факела для освещения дороги. Только тогда тихо и осторожно пустился в обратный путь синьор Капуцци со своими достойными друзьями и Марианной.

Питихиначчио все время жаловался и хныкал. Капуцци, давший обещание донести карлика до дому, посадил его на левую руку, в то время как правой вел Марианну. Впереди шел доктор Сплендиано со своим факелом, горевшим до того плохо, что темная ночь при этом тусклом мерцании казалась еще мрачнее.

Они отошли уже довольно далеко от театра, как вдруг перед самым их носом, словно из-под земли, выросло несколько высоких фигур, окутанных плащами. Факел был в одну минуту вырван из рук доктора и брошен на землю, где и потух. У Капуцци отнялся язык от страха. Появившееся красноватое сияние, выходявшее неизвестно откуда, озарило всю группу перепуганных путешественников, а четыре фигуры, с мертвыми лицами, окружили пирамидального доктора, страшно ворочая запавшими глазами.

-- Горе! Горе тебе, Сплендиано Аккорамбони! -- завывали они замогильными голосами, а затем один, подойдя в нему ближе, зашипел почти на ухо:

-- Узнаешь ли ты меня, Сплендиано Аккорамбони? Я Кордье, французский живописец, похороненный на прошлой неделе, тот, которого ты отравил своими микстурами!

За ним заговорил второй:

-- А узнаешь ли ты меня, Сплендиано? Я Кюфнер, немецкий живописец, которого ты отправил на тот свет с помощью твоего дьявольского варева!

Тут приблизился третий со словами:

-- А меня ты узнал, Сплендиано? Я Лирс, фламандец! Меня ты отравил пилюлями, а брата моего обманул, не отдав ему мою картину!

Наконец, заговорил и четвертый:

-- А теперь пришел черед узнать и меня, Сплендиано! Я тот самый Гиги, неаполитанец, которого ты отравил своими чертовыми порошками!

Завершив допрос, все четверо завывали опять в один голос:

-- Горе! Горе тебе, Сплендиано Аккорамбони! -- проклятый пирамидальный доктор! -- с нами должен ты идти! -- с нами в землю! Иди!.. иди!.. иди!

С этими словами бросились они вчетвером на несчастного доктора, подняли его высоко в воздух и умчались прочь, точно унесенные бурным ветром.

Как ни велик был ужас синьора Капуцци, но он скоро радостно приободрился, увидев, что вся беда разразилась только над одним Сплендиано Аккорамбони. Питихиначчио же, спрятав свою убранный цветами голову под плащ Капуцци, так крепко уцепился за его шею руками, что никакими усилиями невозможно было его оторвать.

-- Успокойся, успокойся! -- утешал Капуцци Марианну, едва мертвецы исчезли вместе с пирамидальным доктором. -- Держись, моя дорогая! С нашим бедным Сплендиано все кончено. Да поможет ему святой Бернард, который сам был хорошим доктором и многих спас своей благодатью. Авось он не допустит, чтобы мстительные художники, которых Сплендиано зарыл на кладбище, свернули ему шею! Но кто же теперь будет петь басовую партию в моих трио? А этот негодяй Питихиначчио так крепко сжал мне от страха горло, что я, не говоря уже о том, что сам порядочно испугался случившегося со Сплендиано, думаю, не буду в состоянии взять недель шесть ни одной верной ноты. Не бойся, Марианна, не бойся! Все прошло!

Марианна уверяла, что она совершенно оправилась от страха и просила Капуцци пустить ее идти одну, без помощи, для того чтобы он мог хотя бы справиться с навязавшимся ему в грудные младенцы Питихиначчио. Но Капуцци не согласился ни за что на свете оставить ее одну в такой темноте и, напротив, подхватил под руку крепче прежнего.

Вдруг в тот самый миг, когда синьор Паскуале, уже совершенно пришедший в себя, хотел продолжить путь, выскочили перед ним откуда-то четыре дьявола с ужасными, какие только можно представить, лицами, с огненными, сверкающими глазами и в красных коротких плащах, подняв при этом невообразимейший писк и вой:

-- Крак! крак! Здравствуй, Паскуале Капуцци! Здравствуй, старый дурак! Старый влюбчивый осел!.. Мы ведь твои приятели, такие же влюбчивые черти, как и ты!.. Мы тебя заберем с собою в ад! -- к чертям в лапы!.. Утащим вместе с твоим другом Питихиначчио!

Так вопили черти, а затем все вместе бросились на Капуцци. Старик упал с Питихиначчио на землю, и оба подняли со страху такой крик, что можно было подумать, будто тут гнали целое стадо взбесившихся ослов.

Марианна с усилием вырвала у старика свою руку и быстро отскочила в сторону. Один из чертей нежно схватил ее в свои объятия и прошептал ей тихим, ласковым голосом:

-- Марианна! Моя Марианна! Наконец-то нам удалось! Друзья утащат старика далеко, а мы успеем скрыться в безопасном месте.

-- Мой Антонио, -- прошептала в ответ Марианна.

Вдруг в эту минуту засверкали вокруг факелы, и Антонио внезапно почувствовал удар в плечо острым стилетом. В одно мгновение выхватил он шпагу и бросился на своего врага, готовившегося нанести

второй удар. Толпа полицейских сбиров окружила остальных друзей, так что им пришлось защищаться против неприятеля, сильнеешего в несколько раз. Антонио удалось отпарировать удар своего противника и присоединиться к остальным. Но, как ни храбро они защищались, бой был слишком неравен. Сбирь победили бы непременно, если бы вдруг, в самом разгаре свалки, два каких-то человека не кинулись на подмогу молодым людям, причем один из подоспевших на помощь в одно мгновение оглушил противника Антонио таким ударом, что тот без чувств повалился на землю.

Равновесие сил сражавшихся, таким образом, восстановилось, и скоро сбирь были окончательно побеждены. Те, которые не лежали на земле ранеными, с громкими криками убежали по направлению к Порта дель Пополо.

Сальватор Роза (тот самый спаситель Антонио, который поразил нападавшего сбира) хотел было отправиться вдогонку вместе с Антонио и прочими молодыми художниками, одетыми в маски, изображавшие чертей, но Марио Алли, пришедший с ними и, несмотря на свою почтенные годы, принявший активное участие в битве, думал, напротив, что это будет неблагоразумно, потому что стража, стоявшая при Порта дель Пополо, узнав о случившемся, может на них напасть. Вследствие этого все решили отправиться к Никколо Муссо, который радушно принял их в своем маленьком домике, стоявшем недалеко от театра. Придя туда, молодые художники сняли свои маски и вымазанные фосфорной краски плащи; Антонио же, не получивший никакой раны, кроме небольшой царапины на плече, деятельно занялся, по своему прежнему ремеслу хирурга, перевязками ран Сальватора, Алли и прочих друзей, из которых многим порядочно досталось в схватке.

Затея наших друзей удалась бы наверняка, если бы Сальватор и Антонио не выпустили из виду одного негодяя, испортившего все дело. Микель, брави и бывший сбир, живший в доме Капуцци и исполнявший в некоторых случаях должность слуги, следовал, по приказанию своего господина, на некотором расстоянии от всей компании, когда они отправлялись в театр. Капуцци не хотел, чтоб он шел с ними рядом, потому что все-таки стыдился показаться при дневном свете в обществе с небезызвестным вором и громилой. Следуя за Капуцци и на обратном пути, Микель, увидя первое появление призраков, тотчас смекнул, что дело тут неладно и, опрометью бросившись впотьмах к Порта дель Пополо, разбудил стражу, которая немедленно поспешила на место происшествия, подоспев, как мы видели, как раз в ту минуту, когда черти напали на синьора Капуцци и думали утащить его таким же образом, как и пирамидального доктора.

Во время происшедшей схватки один из молодых художников успел заметить, что один из нападавших, схватив на руки лишившуюся

чувств Марианну, побежал вместе с ней к воротам и что синьор Паскуале стрелой бросился вслед за ними, точно ноги его были налиты ртутью, причем за плащ его цеплялся какой-то маленький шевелящийся комок, по всей вероятности, Питихиначио.

На следующее утро Сплендиано Аккорамбони был найден на кладбище Цестиевой пирамиды, свернутый чуть не пополам и перекрученный косами его собственного парика. Человечек спал глубоким сном, согрившись в своем парике, как птичка в гнезде.

Когда его разбудили, он в ужасе забормотал какую-то чепуху, так что присутствовавшие с великим трудом успели его убедить, что он не на том свете, а в здешнем, и даже, по-прежнему в Риме. Возвратясь домой, Сплендиано прежде всего возблагодарил за свое спасение святую Деву и всех святых, а затем немедленно выбросил за окошко все свои тинктуры, эссенции, припарки и порошки, поклявшись лечить впредь своих пациентов исключительно наложением рук, подобно одному знаменитому врачу и притом святому, имени которого я не припомню, употреблявшему с большим успехом это средство. Пациенты этого доктора, надо при этом заметить, умирали точно так же, как и прочие больные, но зато перед смертью они уверяли, будто видят, как отверзаются перед ними райские врата, что только укрепляло у остальных доверие к доктору.

-- Я не могу выразить, -- сказал на другой день Антонио Сальватору, - что за ярость кипит во мне с тех пор, как я был ранен! Так бы, кажется, и убил проклятого дьявола Капуцци! Знаете, Сальватор, что я серьезно решаюсь силой напасть на его дом с тем, чтобы убрать старика и похитить Марианну.

-- Славное будет это средство, -- со смехом возразил Сальватор. -- Я надеюсь, что ты позаботился и об остальном, а именно: придумал способ перенести твою Марианну по воздуху в испанский квартал, чтобы избежать неприятности быть схваченным и повешенным прежде, чем успеешь достичь этого безопасного места. Нет, любезный Антонио! Силой в этом деле не поможешь никак! Тем более, что синьор Паскуале, наверно, примет теперь меры предосторожности против всякого нападения. А кроме того, проделки наши обратили на себя общее внимание, в особенности же смешной способ, которым мы обработали Сплендиано и Капуцци. Полиция проснулась от своей сладкой дремы и будет настороже, хотя бы настолько, насколько позволяют ей ее жалкие средства. Нет, Антонио! Мы должны обратиться по-прежнему к хитрости. *Con arte e con inganno si vive mezzo l'anno, con arte si vive l'altre parte**. Так говорит синьора Катарина -- и она права! Мне даже становится смешно, как глупо действовали мы до сих пор, в особенности же я, когда по летам и по благоразумию мне следовало бы быть умнее тебя. Подумай сам, что бы мы стали делать с Марианной, если бы даже попытка наша удалась и

мы точно успели вырвать ее из рук старика? Куда бы мы ее спрятали до того, пока вы успели бы обвенчаться, да так спрятали, чтобы старик не смог ее отыскать? Через несколько дней, я надеюсь, мы успеем обделать это дело обстоятельнее. Я рассказал все Никколо Муссо и синьору Формике, а с ними мы наверняка придумаем верный способ достичь цели. Потому утешься и поверь, что синьор Формика тебе поможет.

** Полгода живи с хитростью и искусством, а остальные полгода -- с искусством и хитростью (итал.).*

-- Синьор Формика? -- холодным и почти презрительным тоном отозвался Антонио. -- Чем может нам помочь этот паяц?

-- Ого! -- воскликнул Сальватор. -- Прошу тебя не говорить так презрительно о синьоре Формике, разве ты не знаешь, что он нечто вроде колдуна и умеет творить поистине удивительные вещи? Я тебе говорю, что синьор Формика нам поможет! Старый Марио Алли, этот неподражаемый болонский доктор, также с нами в заговоре и будет играть в нем не последнюю роль. Ты похитишь свою Марианну из театра Муссо.

-- Сальватор! -- возразил Антонио. -- Напрасно стараетесь вы меня убаюкать несбыточными надеждами! Вы сейчас сказали сами, что Паскуале примет меры против внезапного нападения. Как же можно предположить, что бы он решился, после всех этих несчастных приключений, посетить еще раз театр Муссо?

-- Убедить старика на этот шаг вовсе не так трудно, как ты предполагаешь, -- ответил Сальватор, -- трудность только в том, чтоб он согласился отправиться в театр без прежней своей компании. Но, впрочем, пусть и это будет так, как он захочет. Тебе же следует приготовить все, чтоб увезти Марианну немедленно прочь из Рима. Вам лучше всего будет отправиться во Флоренцию. Твой талант там уже известен, а я, со своей стороны, постараюсь, чтоб вы по прибытии нашли во Флоренции добрых знакомых и помощь. Теперь мы отдохнем несколько дней, а там увидим, как приступить к делу. Еще раз повторяю тебе: мужайся и надейся! Формика тебе поможет!

НОВОЕ НЕСЧАСТЬЕ, ПОСТИГШЕЕ СИНЬОРА ПАСКУАЛЕ.

АНТОНИО СКАЧЧИАТИ УСПЕВАЕТ ИСПОЛНИТЬ

СВОЙ ЗАМЫСЕЛ В ТЕАТРЕ МУССО И

СЧАСТЛИВО ПОКИДАЕТ РИМ.

Синьор Паскуале знал очень хорошо, кто был причиной несчастного приключения, постигшего его и пирамидального доктора по дороге от Порта дель Пополо, и можно потому себе представить, какая злоба кипела в его душе против Антонио и Сальватора Розы, которых он считал главными виновниками происшедшего. Он всеми силами старался утешить бедную Марианну, которая чуть не заболела, по ее словам, от испуга, на самом деле ее только и беспокоила, что неизвестность исхода драки проклятого сбира Микеля с Антонио. Маргарита, впрочем, не замедлила принести ей вести о ее возлюбленном, а также о том, что Сальватор затевает что-то новое, на что Марианна стала возлагать все свои надежды. С возрастающим нетерпением проводила она день за днем, ожидая конца своим волнениям, и все это время вымещала свое горе на старом Капуцци, мучая его тысячью капризов, которые он хотя и переносил с большим неудовольствием, но никак не мог совладать с оседлавшим его демоном старческой любви. Если Марианна, устав, наконец, капризничать и мучить Капуцци, позволяла ему поцеловать дряхлыми губами ее маленькую ручку, то этого было уже совершенно довольно, чтобы влюбленный старик растаял и рассыпался в клятвах, что он не перестанет лобызать с неотступной просьбой папскую туфлю до тех пор, пока не вымолит разрешения на брак с несравненной племянницей, этим чудом красоты и всевозможных добродетелей. Марианна нарочно не разочаровывала его в этой сладкой надежде, хорошо понимая, что чем крепче будет он ее считать связанной с ним неразрывными узами, тем легче будет ей от него избавиться.

Прошло несколько дней. Однажды, около полудня, Микель, взойдя по лестнице в комнату, которую Капуцци отворил ему не вдруг, объявил с таинственным видом, что внизу стоит какой-то господин и желает во что бы то ни стало видеть синьора Капуцци, живущего, как ему известно, в этом доме.

-- Чтобы черт побрал вас всех! -- сердито закричал синьор Паскуале. -
- Разве вы не знаете, что я не принимаю у себя в доме никого?

-- Господин этот, -- объяснил Микель, -- очень благообразной наружности, немолодой, говорит очень складными словами и называет себя Никколо Муссо.

-- Никколо Муссо! -- озадаченно молвил Капуцци. -- Никколо Муссо, содержатель театра возле Порта дель Пополо! Что бы ему могло быть от меня нужно? -- с этими словами он запер и запечатал дверь и сошел вместе с Микелем с лестницы, намереваясь принять Никколо Муссо на улице перед дверью дома.

-- Ах, мой дражайший синьор Паскуале! -- воскликнул с низким поклоном Никколо. -- Как я рад, что вы согласились удостоить меня чести с вами познакомиться! Как я вам за это благодарен! Слава моего

театра удвоилась с тех пор, как римляне увидели в нем вас, человека, прославившегося утонченным вкусом, самыми глубокими познаниями и кроме того, -- такого известного виртуоза! Тем более сожалею я, что какие-то негодяи осмелились так дерзко напасть на вас и на ваших друзей, когда вы ночью возвращались от меня домой в город! Ради самого неба, синьор Паскуале, не вздумайте сохранить дурное воспоминание обо мне и о моем театре из-за этого прискорбного нападения, участники которого, без сомнения, будут строго наказаны! Ради Бога, не откажите мне в чести и оставайтесь зрителем моего театра и впредь!

-- Поверьте, достойный синьор Никколо, -- ответил Паскуале, жмурясь от удовольствия, -- что ни разу не испытывал я такого истинного наслаждения, как в вашем театре! Ваш Формика и Алли такие актеры, каким не найдете подобных! Но страх, который навело это несчастное приключение на меня и на моего друга синьора Спледиано Аккорамбони, был слишком велик. Он вселил в меня отвращение не к вашему театру, но к той дороге, по которой следует туда идти. Если вы откроете театр на площади дель Пополо, на улице Бабуино или на улице Рипетта, то, поверьте, я не пропущу ни одного вечера; но выйти ночью за Porta дель Пополо не заставит меня никакая сила в мире.

Никколо вздохнул, точно под бременем глубокой скорби.

-- Очень вы меня огорчаете, синьор Паскуале, этими словами, -- промолвил он с грустью, -- огорчаете сильнее даже, чем думаете! Увы!.. На вас возлагал я все мои надежды!.. Вас хотел просить я о помощи!

-- Моей помощи? -- с удивлением воскликнул Паскуале. -- Моей помощи, синьор Никколо? Каким же способом могу я вам ее оказать?

-- Дражайший синьор Паскуале! -- продолжал Никколо, отирая глаза платком, точно хотел осушить выступавшие слезы. -- Милейший, достойнейший синьор Паскуале! Вы, без сомнения, заметили, что актеры мои часто поют во время действий вставные арии. Я хотел развивать этот прием все шире и дальше, а затем незаметно ввести у себя оркестр и, наконец, поставить целую оперу. Вы, синьор Капуцци, бесспорно первый композитор во всей Италии, и только одно непонятное легкомыслие римлян да завистливая злоба прочих маэстро причиной тому, что в наших театрах дается что-либо иное, кроме ваших произведений. Синьор Паскуале! Ваши бессмертные творения жажду я поставить в моем маленьком, ничтожном театре и пришел умолять вас об этом!

-- Дражайший синьор Никколо! -- воскликнул Капуцци, просияв, как солнце. -- Что же мы стоим с вами здесь на улице? Прошу покорно потрудиться взойти на лестницу и удостоить посещением мой скромный уголок!

Едва Никколо успел войти в комнату, Паскуале вытащил громадную кипу исписанной нотной бумаги и, открыв первую попавшуюся тетрадь, схватил гитару, чтобы заорать что было мочи на тот обыкновенный лад, который он называл пением.

Никколо заплакал и завертелся как иступленный. Он стонал, вздыхал, кричал без умолку: "Браво! Брависсимо! Великолепный Капуцци!"; наконец, точно в порыве священного восторга, бросился он к ногам старика и так крепко обнял его колени, что тот в свою очередь завертелся и закричал на этот раз уже от невыносимой боли:

-- Синьор Никколо! Синьор Никколо!.. Ай!.. Что вы делаете! Вы меня хотите убить!

-- Нет! -- воскликнул Никколо. -- Нет, синьор Паскуале! Я не встану прежде, чем вы дадите мне честного слова позволить, чтобы синьор Формика исполнил в моем театре божественную арию, которую вы только что пропели!

-- Вы человек со вкусом! -- охая и кряхтя, простонал Паскуале. -- Вы глубоко понимаете дело. Кому же и доверить мне, кроме вас, исполнение моих произведений? Вы можете взять их с собой все. Только, ради Бога, выпустите меня! Но -- увы! -- ведь я не услышу сам моих дивных творений!.. Да выпустите же меня, прошу вас!

-- Нет, -- нес свое Никколо, все еще стоя на коленях и продолжая сдавливать в объятиях костлявые ноги старика, -- нет, синьор Паскуале! Я вас не выпущу до тех пор, пока вы не дадите мне честного слова быть послезавтра в моем театре! Может быть, вы боитесь нового нападения? Неужели же вы думаете, что римляне, услышав ваши сочинения, не проводят вас до дома целой толпой, с триумфом и с факелами? Да если бы даже этого и не случилось, то, поверьте, я сам с моими верными товарищами провожу вас домой, вооруженный с ног до головы.

-- Вы сами, -- спросил Паскуале, -- намерены проводить меня до дому с вашими товарищами?.. А сколько вас всех?

-- Человек восемь или десять к вашим услугам, синьор Паскуале! Решитесь, прошу вас!

-- Формика, -- пробормотал Паскуале, -- владеет отличным голосом. Каково только исполнит он мои арии?

-- Решитесь! -- продолжал восклицать Никколо, все крепче и крепче сжимая ноги старика.

-- Вы ручаетесь, -- спросил Капуцци, -- что я в безопасности возвращусь домой?

-- Отвечаю моей жизнью и честью! -- воскликнул Никколо, сильно сдавив напоследок колени Капуцци.

-- Ай! -- вскрикнул Паскуале. -- Ну хорошо! Послезавтра я буду у вас в театре.

Никколо, быстро вскочив, сжал старика в объятиях так, что тот чуть не задохнулся.

В эту минуту в комнату вошла Марианна. Синьор Паскуале приготовился было резко и сердито отослать ее назад, но она, не обращая на него никакого внимания, подошла прямо к Муссо и сказала, сверкая гневно глазами:

-- Напрасно, синьор Никколо, пытаетесь вы заманить моего дорогого дядю в ваш театр! Вы забываете, что последняя недостойная выходка преследующих меня негодяев чуть было не стоила жизни ему, достойному нашему другу Сплендиано и даже мне самой! Никогда не позволю я, чтобы любимый мой дядя подвергал себя вновь такой опасности! Оставьте всякие просьбы! Не правда ли, милый, добрый дядя, вы останетесь дома и не пойдете к Порта дель Пополо в темную страшную ночь, от которой не жди ничего хорошего?

Синьор Паскуале был поражен как громом и глупо смотрел на племянницу, вытаращив глаза. Затем стал он, однако, убеждать ее всевозможными словами и заверениями, что синьор Никколо обязался принять самые строгие меры предосторожности, которые наверно предотвратят грозящую опасность.

-- Но все-таки, -- стояла на своем Марианна, -- я повторяю то же самое и по-прежнему прошу вас не ходить в театр. Простите, синьор Никколо, но я при вас выскажу то, чего так боюсь. Вы, я знаю, знакомы с Сальватором Розой и Антонио. Потому очень может быть, что вы просто захотите попытаться устроить новое против нас нападение и завлечь в западню моего дядю, который ни за что не поедет к вам в театр без меня.

-- Какое подозрение! -- воскликнул в испуге Никколо. -- Какое недостойное подозрение! Неужели вы знаете меня с такой дурной стороны? Неужели я пользуюсь такой недоброй славой, что можно считать меня способным на измену? Но если вы в самом деле думаете обо мне так дурно, то вот что я вам скажу! Прикажите проводить себя Микелю, который, как вы знаете, уже спас вас однажды от рук разбойников. Пусть он, пожалуй, возьмет с собой целый отряд сбиров и пусть они ждут вас у ворот театра, потому что, согласитесь, не могу же я отдать им все места в зале.

Марианна пристально посмотрела Никколо в глаза и затем сказала тихо и торжественно:

-- Что вы сказали? Микель со сбирами будут нас провожать? Ну, теперь я вижу точно, синьор Никколо, что вы честный человек и что подозрение мое было несправедливо. Извините меня за мои необдуманные слова! Но все-таки скажу, что я не в состоянии победить моего беспокойства за дорогого дядю и повторяю свою прежнюю просьбу не ходить в театр.

Синьор Паскуале слушал весь этот разговор с видом, явно обличавшим внутреннюю борьбу. Но тут он не выдержал, бросился на колени перед своей прекрасной племянницей, схватил ее руки, целовал их, обливал слезами, бежавшими ручьем из его глаз и кричал вне себя:

-- О моя чудная, божественная Марианна! Смотри, какими лучами вырывается наружу горящее в моей груди пламя!.. Ах! этот страх!.. эти заботы! Ведь все это доказательства, что ты меня любишь! И теперь, умоляю я тебя всем святым, отбрось твой страх в сторону и согласишься выслушать в театре несколько арий, каких не удавалось еще сочинить ни одному из гениальнейших композиторов.

Никколо рассыпался в таких же убедительных просьбах, так что наконец Марианна объявила себя побежденной и дала слово, забыв свой страх, пойти с дорогим дядей в театр Порта дель Пополо. Синьор Паскуале блаженствовал, да и было от чего! Он убедился в любви к нему Марианны! Он предвкушал счастье услышать в театре исполнение своих произведений и надеялся, может быть, заслужить за них лавры, которых добивался до того времени так долго и тщетно! Задумевнейшие его желания готовы были исполниться.

Для полного счастья ему не хотелось прятать под спуд светильник своей радости, и он в восторге решил, что дорогие друзья, Спледиано и Питихиначчио, должны непременно быть в этот вечер в театре. Надо сказать, что в ту роковую ночь, когда четыре мертвеца утащили Спледиано Аккорамбони и бросили его на кладбище Цестиевой пирамиды, где он и был найден спящим в своем парике, его приключения имели продолжение. Едва он был брошен и оставлен, все кладбище явно ожило на его глазах. Мертвецы, повставав из могил, простирали к нему свои костлявые руки, с громким воем жалуюсь на его микстуры, эликсиры и порошки, которых они не могли переварить даже в могиле. В результате, хотя несчастный, пирамидальный доктор и не мог отрицать перед Капуцци, что сыгранная с ним шутка была проделкой бездельников, стал он мрачным и серьезным и, вовсе не будучи прежде суеверным, теперь, напротив, везде видел призраки и мертвецов, постоянно преследовавших его в страшных снах и видениях.

Что же до Питихиначчио, то его никакими силами нельзя было разубедить в том, что существа, напавшие на него и на синьора Паскуале, были обыкновенные люди, а не черти. Он начинал плакать и стонать при всяком воспоминании об этой ужасной ночи. Всевозможные уверения синьора Паскуале, что на них просто напали Сальватор Роза и Антонио Скаччиати, не вели ни к чему. Питихиначчио со слезами клялся и божился, что, несмотря на свой страх, он в числе нападавших очень хорошо узнал по голосу и лицу дьявола Фанфарелло, который до синяков исщипал ему весь живот.

Можно себе легко представить, каких трудов стоило синьору Паскуале убедить пирамидального доктора и Питихиначчио отправиться еще раз в театр Никколо Муссо. Сплендиано согласился только после того, как ему удалось достать от одного бернардинского монаха освященный мешочек с мускусом, запаха которого, как известно, не могут переносить ни черти, ни мертвецы. Средством этим думал он предотвратить всякую возможность повторения чего-либо подобного случившемуся в прошлый раз. Питихиначчио сдался только на обещание взять для него коробку с обсахаренным виноградом, да сверх того, синьор Паскуале должен был согласиться, что карлик пойдет не в женском платье, которое, по его мнению, направило козни всех чертей именно на него, а наденет свой новый аббатский костюм.

Таким образом, опасения Сальватора, что Капуцци не захочет пойти в театр один без своей забавной компании, оправдались, что было ему тем прискорбнее, что успех задуманного им предприятия основывался на надежде видеть в театре одного старика с Марианной. Оба, и он и Антонио, тщетно ломали себе голову, придумывая, каким бы средством убрать с дороги Сплендиано и Питихиначчио. Времени оставалось очень мало, так как представление в театре Никколо было назначено, согласно афишам, на следующий день. Но, однако, небо, употребляющее часто самые неожиданные средства для того, чтобы наказывать глупцов, встало на этот раз на сторону нашей влюбленной парочки и устроило так, что излишнее рвение Микеля легко сделало то, чего напрасно добивались Сальватор и Антонио.

В ночь на тот день, когда было назначено представление, вдруг стали слышны на улице Рипетта около дома Капуцци такие шум, крики и ругательства, что испуганные соседи повыскакивали из своих домов, а отряд сбиров, преследовавших убийцу, скрывшегося в направлении к площади Испании, думая, не совершено ли на улице новое преступление, поспешно прибежал с факелами на место происшествия. Толпа народа, сбегавшегося со всех сторон на улицу Рипетта, увидела, что маленький Питихиначчио лежит без чувств на мостовой, а Микель колотит что было силы огромной дубиной его и пирамидального доктора, также упавшего под градом ударов на землю; синьор же Паскуале, поднявшись с трудом с мостовой, вытащил свою шпагу и готов броситься вне себя от ярости на Микеля. Вокруг были разбросаны куски изломанных гитар. Несколько человек с трудом успели обезоружить разъяренного старика, без чего тот, наверно, убил бы Микеля на месте. Микель же, увидя наконец при свете факелов, на кого он напал, остановился, глупо выпучив глаза, как каменная статуя, и не знал решительно, что ему делать; очнувшись, поднял он невыразимый вой и упал на колени с мольбой о милости и прощении. В конце концов оказалось, что Питихиначчио и пирамидальный доктор

были искалечены так жестоко, что не могли пошевелить ни одним своим членом и были отнесены домой на руках.

Несчастье это синьор Паскуале навлек на свою голову по собственной глупости. Мы знаем уже, что Сальватор и Антонио угостили однажды Марианну прекраснейшей серенадой, но мы забыли присовокупить, что они не ограничились одним разом, а стали повторять свою музыку каждую ночь, к величайшей ярости и отчаянию Капуцци, который не мог ничего сделать против певцов благодаря благосклонному вмешательству соседей. Старик прибегал даже к защите властей, прося запретить Сальватору и Антонио петь под его балконом. Но городские власти объявили, что запретить кому бы то ни было в Риме петь и играть на гитаре где и когда угодно было бы неслыханным делом. Вследствие этого Паскуале решился разделаться со своими врагами сам и для того посулил Микеле значительную сумму денег, если он при первой же серенаде нападет на непрошенных певцов и порядочно их поколотит. Микель тотчас же добыл себе огромную дубину и встал с наступлением ночи на страже у дверей дома. Между тем Сальватор и Антонио рассудили, что будет благоразумно прекратить их музыку на несколько дней до назначенного в театре Муссо представления, чтобы старик позабыл, если можно, проделки его соперников, и потому не являлись с тех пор на улицу Рипетта ни одного раза. Марианна же уверила старика, что, как ни ненавидела она Сальватора и Антонио, чувство это не могло касаться их пения, потому что оба они пели замечательно хорошо; слушать же музыку, так прелестно раздававшуюся в ночном воздухе, было очень приятно и увлекательно.

Синьор Паскуале зарубил эти слова себе на носу и вздумал сам, в избытке любезности и угождения, угостить свою возлюбленную серенадой собственного сочинения, исполнив ее со своими верными друзьями. Замысел этот он хотел исполнить в ночь, предшествовавшую его триумфу в театре Муссо, и таким образом все почтенное трио, в полном составе, прокралось с наступлением ночи на улицу Рипетта и расположилось перед окнами Марианны. Но едва раздались первые аккорды гитары, как Микель, которого синьор Паскуале по старческой забывчивости не предупредил о своей затее, внезапно выскочил из засады, обрадованный, что наконец получит обещанную плату, и неистово бросился на певцов со своей дубиной. Остальное нам известно. Питихиначчио и Сплэндиано лежали в постелях, облепленные пластырями, и не могли даже подумать о том, чтобы сопроводить синьора Паскуале в театр Муссо. Сам Капуцци, хотя был тоже порядочно избит и чувствовал нестерпимую боль в костях и пояснице, не мог противостоять желанию услышать свои произведения, исполняемые публично.

-- Ну вот видишь! -- говорил Сальватор Антонио. -- Последнее затруднение, которое нам казалось непреодолимым, обрушилось само собой. Теперь все дело зависит от твоей ловкости, с которой ты не упустишь удобную минуту и убежишь вместе с Марианной из театра. Я, впрочем, вполне уверен в успехе и заранее поздравляю тебя счастливым женихом прелестной племянницы Капуцци, которая через несколько дней сделается твоей женой. От души желаю тебе счастья, Антонио, хотя признаюсь, меня ужас берет при мысли, что ты хочешь жениться.

-- Что вы хотите этим сказать, Сальватор? -- спросил Антонио с удивлением.

-- Называй это, если хочешь, глупостью или причудой воображения, - возразил Сальватор, -- но я тебе скажу одно: я люблю женщин, но даже та из них, в которую я бы влюбился до безумия и для которой готов был пожертвовать жизнью, не заставила бы связать меня с ней брачными узами! В женской натуре есть что-то неуловимое, с помощью чего они вырывают из рук мужчины всякое против них оружие. И замечательно, что те из них, о которых мы думаем, что они отдались нам всей душой и сердцем, оказываются способнее более всех обмануть нас и бросить, так что с первым поцелуем мы пьем с их губ самый ужасный и губительный яд.

-- А моя Марианна? -- воскликнул Антонио.

-- Прости, Антонио, -- возразил Сальватор, -- но именно твоя Марианна, сама прелесть и добродетель, именно она, повторяю, и убеждает меня сильнее прежнего, до чего опасно доверяться загадочной натуре женщины! Вспомни, как она себя вела, когда мы принесли домой старого Капуцци! Как с одного моего взгляда поняла в чем дело и как, по твоему же собственному признанию, умно сыграла свою роль. Но это притворство было ничто перед тем искусством, с каким одурачила она своего старика, когда к нему пришел Муссо. Самая опытная, искушенная во всем светская женщина не могла бы вести себя умнее и хитрее нашей простенькой Марианны, чтобы только окончательно отвести глаза ее дядюшке! Не знай мы при этом в чем дело -- она могла бы и нас убедить в неприемлемости нового похода в театр. Конечно, надуть старого влюбчивого дурака еще не составляет преступления, -- но! -- любезный Антонио!.. Впрочем, я прошу тебя не придавать значения моим бредням и от души желаю тебе счастья с твоей Марианной, насколько это возможно.

Если бы вечером того же дня можно было бы присовокупить к процессии, в которой синьор Капуцци и Марианна отправились в театр Муссо, монаха, то всякий бы решил, что их обоих ведут на казнь. Впереди открывал шествие бывший брави Микель с мрачным и суровым видом, вооруженный с головы до ног, за ним синьор Паскуале

с Марианной и, наконец, всю процессию замыкал отряд человек из двадцати сбиров.

Никколо торжественно встретил Капуцци и Марианну перед дверьми театра и провел их на почетные, устроенные перед сценой места, нарочно для них оставленные. Синьор Паскуале был очень польщен этим знаком внимания. Он гордо оглядывался вокруг, причем удовольствие его еще более усилилось от того, что около Марианны сидели одни только дамы. За коврами, которыми была завешена сцена, слышались звуки настраиваемых скрипок и баса. Сердце Капуцци сильно билось от ожидания; когда же раздались первые аккорды ритурнеля его арии, он почувствовал даже, как электрический удар пробежал по всему его телу.

Формика появился на сцене в костюме Паскарелло и запел, удивительно верно передразнивая голос и манеры Капуцци, одну из его невероятнейших арий. Весь театр задрожал от громкого смеха зрителей. Крики: "Ах, Паскуале Капуцци! Композитор-виртуоз! Браво! Брависсимо!" -- раздались со всех сторон. Старик, не раскусив сразу, какая доля издевательского смеха примешивалась к крикам "браво!", испытывал блаженство. Между тем Формика кончил арию, и шум утих. На сцену явился доктор Грациано, которого на этот раз играл сам Никколо Муссо. Он вошел, зажав пальцами уши, топая ногами, и громко закричал Паскарелло, кончит ли он этот неистовый рев и откуда добыл он такую невыносимую музыку?

Паскарелло отвечал, что он решительно не понимает, чего хочет от него доктор; если же ария ему не понравилась, то, значит, он, подобно всем римлянам, не имеет ни малейшего представления об истинно хорошей музыке. Пропетая им ария принадлежала, по его словам, величайшему из современных композиторов и виртуозов, у которого он имеет честь состоять на службе и берет у него уроки музыки и пения.

Грациано в ответ на это назвал множество современных композиторов, но при каждом известном имени Паскарелло только презрительно потряхивал головой и наконец сказал, что доктор обнаруживает свое полнейшее невежество в искусстве, если не знает такого знаменитого композитора, как синьор Паскуале Капуцци, оказавшего Паскарелло великую честь, приняв его на свою службу и даже одарив своей дружбой, что, как видно, было совсем не известно доктору.

Услышав эти слова, доктор покатился со смеха и воскликнул:

-- Что? Так ты предпочел оставить службу у меня, где, кроме жалованья и содержания, тебе перепадало иногда по два-три кваттрино, и решился поступить к этому известному скряге, к этому начиненному макаронами святочному гаеру! К этому старому влюбчивому трусу! К этому общипанному, надутому спесью петуху, заразившему на улице

Рипетта весь воздух своим невыносимым ревом, который он называет пением?

На это Паскарелло, горячо вспыхнув, воскликнул, что так может говорить в докторе только одна зависть! Сам же он подтверждает, положив руку на сердце, что доктор еще не дорос в своем понимании искусства до того, чтобы критиковать синьора Паскуале Капуцци ди Сенегалиа! что у самого доктора множество тех дурных качеств, которые он приписывает Капуцци! что над ним самим часто хохотали сотни зрителей! -- словом, продолжая так, Паскарелло горячо вступился за своего нового господина и сказал в его защиту целую похвальную речь, в которой наделил его бездной прекраснейших качеств и кончил описанием его особы, бывшей, по его словам, олицетворением любезности и добросердечия.

-- Честный Формика! -- шептал про себя Капуцци. -- Честный Формика! Вижу, что ты употребил все средства, чтобы сделать мой триумф полным, и бросил в лицо завистливым, коварным римлянам всю злобу и зависть, которые они излили на меня, показав им, что я такое!

-- Да вот и сам мой господин идет сюда, -- воскликнул Формика, и, действительно, на сцену вдруг вышел двойник синьора Паскуале, похожий на него как две капли воды лицом, одеждой, манерами, походкой -- словом, всем.

Настоящий Капуцци, сидевший в зрительном зале, был до того поражен этим явлением, что даже выпустил руку Марианны, которую до того крепко держал в своей, и схватился за свой нос и парик, чтобы убедиться, что видит сам себя не во сне и точно присутствует при таком небывалом чуде в театре Никколо Муссо.

Капуцци (на сцене) дружески обнял доктора Грациано и осведомился о его здоровье. Доктор отвечал, что аппетит у него очень хорош, сон спокоен, а сам он -- к услугам Капуцци, но что касается его кошелька, то он страдал решительным истощением. Вчера, по его словам, истратил он последний дукат, чтобы подарить своей возлюбленной пару шелковых чулок цвета розмарина, и теперь намеревается отправиться к своему банкиру с просьбой ссудить его тридцатью дукатами.

-- Как можете вы обидеть так вашего лучшего друга? -- воскликнул двойник Капуцци. -- Вот, дорогой синьор, пятьдесят дукатов к вашим услугам!

-- Паскуале! Что ты делаешь? -- крикнул снизу, увидя это, настоящий Капуцци.

Грациано заговорил было о векселе и процентах, но Капуцци объявил напрямик, что он не требует ни того, ни другого от друзей, подобных доктору.

-- Паскуале! Ты сошел с ума! -- вне себя кричал синьор Капуцци из партера.

Грациано рассыпался в бесконечных благодарностях. Тут подбежал Паскарелло и с множеством поклонов стал до небес превозносить синьора Капуцци, объявив, что и его кошелек страдает точно такой же болезнью, как у доктора Грациано, и потому убедительно просил помочь ему тем же лекарством. Капуцци (на сцене) громко рассмеялся забавной выходке Паскарелло и бросил ему также, с довольным видом, несколько светлых дукатов.

-- Паскуале! Ты обезумел! Тебя обуял бес! -- неистово крикнул на этот раз настоящий Капуцци так громко, что недовольные зрители громко потребовали, чтобы он замолчал.

А Паскарелло стал еще громче восхвалять щедрость Капуцци и, перейдя затем к его сочинениям, объявил, что споет сейчас одну из сочиненных им арий, которой надеется очаровать, безусловно, всех слушателей. Капуцци (на сцене) с довольным видом потрепал Паскарелло по плечу и сказал затем, что ему, как своему верному слуге, он может сознаться в том, что не понимает в музыке ровно ничего и что все выдаваемые им за свои произведения просто украдены им из песен Фрескобальди и мотетов Кариссимо.

-- Ты нагло лжешь, бездельник! -- воскликнул настоящий Капуцци, вскочив со скамейки.

На него зашикали снова, а сидевшая возле него какая-то женщина силой принудила его сесть на место.

-- Однако нам пора, -- сказал Капуцци на сцене, -- заняться более важными делами.

Завтра, по его словам, намеревался он дать большой обед и потому поручил Паскарелло сделать все нужные к тому приготовления. Затем стал он перечислять множество самых изысканных, дорогих блюд, которые следовало приготовить. При каждом названии блюда Паскарелло объявлял, сколько оно будет стоить, и немедленно получал деньги.

-- Паскуале сумасшедший! -- разбойник! -- бездельник! -- мот! -- кричал настоящий Капуцци, повышая все более и более голос, по мере того, как двойник его выдавал деньги для готовившегося обеда.

Паскарелло по окончании заказа спросил, какая причина заставила синьора Паскуале решиться дать такое блестящее пиршество?

-- Завтра, -- отвечал Паскуале на сцене, -- счастливейший день в моей жизни. Знай, мой добрый Паскарелло, что завтра праздную я свадьбу моей прекрасной племянницы Марианны, которую отдаю честному юноше и талантливейшему из всех современных живописцев Антонио Скаччиати.

Едва успел подставной Капуцци выговорить эти слова, как настоящий синьор Паскуале, совершенно вне себя, с глазами,

пылавшими адским огнем, вскочил с места и, сжав кулаки, бросился на своего двойника с пронзительным криком:

-- Тебе это не удастся, проклятый Паскуале! Ты хочешь погубить свою Марианну! Ты хочешь отдать ее бессовестному плуту! Марианну! твою жизнь! твоё счастье! твоё всё!.. Гм! Посмотрим, старый дурак, удастся ли тебе это! Я тебя заставлю кулаками забыть про обед и свадьбу.

Но фальшивый Капуцци не думал отступать и, сжав кулаки, как Паскуале настоящий, закричал точно таким же пронзительным голосом:

-- Ах ты, несчастный скряга! Дурак Паскуале! Старая влюбчивая обезьяна! Осел в пестром платье с погремушками на колпаке!.. Смотри, чтобы я не вышиб из тебя дух за то, что ты хочешь вмешаться в дела честного синьора Паскуале, которому ты надоел со своими глупостями!

И затем, среди проклятий и криков настоящего Паскуале, Капуцци на сцене кратко рассказал все проделки старика в обращении с Марианной, заключив словами:

-- Попробуй теперь, старая обезьяна, помешать счастью этой прекрасной парочки, которую соединило само небо!

В эту минуту занавес в глубине театр раздался и открыл Антонио и Марианну, державших друг друга в объятиях. Старик, как ни был слаб на ногах после полученных побоев, нашел, однако, в бешенстве довольно сил, чтобы мигом вскочить на сцену и броситься с обнаженной шпагой на призрак Антонио. Но вдруг чья-то сильная рука внезапно удержала его сзади. Это был офицер папской гвардии, следивший за порядком в театре и остановивший старика словами:

-- Образумьтесь, синьор Паскуале! Вы находитесь в театре Никколо Муссо, где и без того сыграли сегодня против желания самую забавную роль! Вы не найдете на сцене ни Антонио, ни Марианны!

И действительно, когда актеры, представлявшие наших влюбленных, приблизились с остальными участниками спектакля к авансцене, Капуцци, вглядевшись, увидел одни незнакомые лица. Шпага выпала из его дрожащей руки, и он, точно пробудившись от тяжелого сна, потирал в недоумении лоб, дико озираясь глазами. Вдруг словно какое-то предчувствие овладело всем его существом, и он внезапно воскликнул голосом, от которого вздрогнули стены театра:

-- Марианна! Моя Марианна!

Но Марианна не могла услышать этого отчаянного крика. Антонио очень хорошо сумел воспользоваться временем, когда Паскуале, позабыв все, был занят ссорой со своим двойником. Оба, и он и Марианна, ловко пробежав между рядами зрителей, скрылись в боковой двери театра, где дожидался их наемный возчик с готовой

каретой, быстро помчавшей счастливую парочку по дороге во Флоренцию.

-- Марианна! -- продолжал кричать отчаянным голосом старик. -- Марианна!.. Ее нет!.. Она убежала! Негодяй Антонио ее украл! -- за ним! за ним!.. Помогите мне, добрые люди, найдите мою голубку!.. За мной! С факелами!.. О змея! змея!

Капуцци хотел выбежать вон, но офицер удержал его снова.

-- Если вы спрашиваете, -- объяснил он, -- о той молоденькой девушке, которая сидела возле вас, то я очень хорошо видел, как она тайком скрылась с каким-то молодым человеком, должно быть, Антонио Скаччати, в то самое время, как вы затеяли вашу глупую ссору с актером, который был одет в маску, напоминавшую ваше лицо. Но из-за этого не тревожьтесь! Я сейчас же распоряжусь навести самые точные справки, и Марианна ваша, едва ее отыщут, будет вам возвращена. Что же касается вас самих, синьор Паскуале, то я должен вас арестовать за ваше поведение в театре, препятствующее игре, и за попытку покушения на жизнь актера.

Бледный как смерть, безгласный и неподвижный, синьор Паскуале был взят под стражу теми же самыми сбирами, которые должны были защищать его от нападения мертвецов и чертей, и взят в ту самую ночь, когда думал праздновать он свой триумф, вкусив, таким образом, вместо славы и счастья неприятности, которые обыкновенно достаются в наказание всем влюбленным старикам.

САЛЬВАТОР РОЗА ПОКИДАЕТ РИМ И ОТПРАВЛЯЕТСЯ ВО ФЛОРЕНЦИЮ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОВЕСТИ.

Все течет и изменяется под луной, но нет вещи, которая была бы изменчива более, чем обыкновенная человеческая мысль! Она в вечном своем движении вращается, точно колесо богини счастья: завтра будут горько бранить того, кого хвалили сегодня, и, наоборот, нынче топчут ногами тех, кого возвеличат на следующий день!

Среди римских жителей не было ни одного, который не ругал бы старого синьора Паскуале Капуцци и не осмеивал бы его за грязное скряжничество, глупую влюбчивость и неуместную ревность, от души желая свободы бедной, загнанной Марианне. И что же? Едва Антонио успел счастливо похитить свою возлюбленную, насмешки над стариком и ненависть превратились в самые искренние сожаления, как только все увидели, что синьор Паскуале, печальный и одинокий, уныло бродит по улицам.

Несчастье редко приходит одно. Так случилось и на этот раз -- вскоре после бегства Марианны Паскуале потерял всех дорогих его сердцу друзей. Маленький Питихиначио умер, подавившись миндальным ядрышком, которое неосторожно попробовал проглотить, выделявая фигуру какого-то танца, а жизнь знаменитого доктора Сплендиано Аккорамбони прекратилась вследствие ошибки, которую он сам же и совершил. Страдая от побоев, нанесенных ему Микелем, он вздумал вылечить себя каким-то новым, открытым им самим средством, для чего потребовал перо и чернил, чтобы выписать рецепт. Но выписывая рецепт, он поставил по ошибке совсем не ту дозу одного сильнодействующего вещества. В результате едва несчастный доктор проглотил принесенную микстуру, как тотчас же откинулся на подушки и умер, доказав собственным примером неоспоримую силу действия новоизобретенного им лекарства.

Итак, все те, которые еще недавно злобно смеялись над Капуцци и желали всем сердцем удачи смелому Антонио в его предприятии, теперь стали искренне жалеть старика, причем общее недоброжелательство обратилось не столько на Антонио, сколько на Сальватора Розу, которого справедливо почитали главным виновником всей этой истории.

Враги Сальватора, которых было немало, не переставали -- насколько могли -- подливать масла в огонь, чтобы еще более разжечь господствовавшее против него раздражение. "Смотрите! -- говорили они. -- Не явное ли доказательство, что он дружок Масаньело, если готов помочь любому разбойничьему умыслу, и можно ли терпеть долее в Риме присутствие такого человека?"

Изобретательная зависть успела, наконец, подорвать общее доверие даже к таланту Сальватора. Превосходные картины одна за другой выходили из его мастерской, однако, так называемые знатоки умудрились скоро найти, что горы его были слишком сини, деревья слишком зелены, а фигуры очень длинны или коротки, -- словом, бранили все и искали любого способа унижить достоинство Сальватора. Особенно преследовали его академики Академии св. Луки, которые не смогли ему простить историю с хирургом. Злоба их простерлась даже до недостойной их звания клеветы, что будто бы Сальватор, занимавшийся кроме живописи и поэзией, выдавал чужие труды за свои, для чего они нарочно перекраивали некоторые из написанных им стихов. Все эти нападки сделали свое дело, и приезд Сальватора в Рим на этот раз оказался совершенно неудачным, и он не только не мог окружить себя прежней блестящей обстановкой, но был вынужден вместо большой мастерской, о которой мечтал, оставаться у синьоры Катарины, работая под ее фиговым деревом, что, впрочем, иной раз доставляло ему утешение в его неприятностях.

Вообще же коварная злоба врагов Сальватора точила и мучила его сердце гораздо более, чем можно было подумать. Под гнетом этого чувства он сделался раздражительным, почти больным и видел ясно сам, как подрывались его лучшие жизненные силы. В этом недобром настроении написал он две большие картины, приведшие в ярость весь Рим.

На одной из картин, изображавшей непостоянство всего земного и сущего, тотчас же узнали в главной фигуре одну известную публичную женщину, представленную со всеми приметами ее ремесла, и которая была любовницей одного кардинала. На другой картине была написана богиня счастья, щедрой рукой раздающая свои дары, причем кардинальские шапки, епископские митры, золотые монеты, ордена и прочее летели на блеющих баранов, ревущих ослов и других малоуважаемых животных, тогда как достойные, с привлекательными и умными лицами люди стояли в разорванных одеждах в стороне, напрасно дожидаясь хотя бы малой толики из сыпавшихся даров. Сальватор не поскупился, когда писал эти картины, на выражение накопившейся в нем злобы, придав головам зверей замечательное сходство с тем или другим из известных и высокопоставленных в Риме особ.

Можно потому себе вообразить, до чего усилилась после этого общая к нему ненависть и какие преследования он на себя навлек.

Синьора Катарина предостерегала его со слезами на глазах. Она уже несколько раз замечала, что с наступлением ночи около дома ее бродили какие-то подозрительные личности, подсматривавшие за каждым шагом Сальватора. Сальватор сознавал сам, что пора бы ему покинуть Рим, где Катарина и ее добрые дочери были единственными существами, с которыми он расставался с сожалением.

После некоторых раздумий он решился отправиться во Флоренцию, куда его уже неоднократно приглашал Тосканский герцог. Сделанный ему там прием вознаграждал с лихвой испытанные им в Риме неприятности; почести и сочувствие оказывались ему всеми в соответствии с его высокими заслугами. Подарки герцога и высокие цены, которые платили за его картины, скоро дали ему возможность нанять для себя огромный дом и устроить его самым роскошным образом. Жилище его скоро сделалось местом сборищ всех замечательных людей, поэтов, ученых и т.п. Довольно упомянуть имена -- Эванджелисто Торричелли, Валерио Киментелли, Батиста Риччиарди, Андреа Кавальканти, Пьетро Сальвати, Филиппо Аполлони, Волумнио Ванделли и Франческо Романи, которых можно было видеть у него постоянно. Живые, умные разговоры о науках и искусствах не прерывались никогда, а Сальватор с его оригинальным, склонным к фантастическому характером, умел придать какую-то особенную прелесть общему настроению этих бесед. Его столовая

была отделана в виде роскошного сада, усаженного прелестнейшими цветами, и когда гости садились за стол, а прекрасно одетые, в необычных костюмах пажи начинали разносить кушанья, то, казалось, зритель переносился в какое-то волшебное, зачарованное царство. Эти собрания поэтов и ученых в доме Сальватора известны в истории искусств под именем *Academia de Percossi**.

* *Академия тумачков (итал.)*.

Предавшись вполне этой шумной жизни среди представителей наук и искусств, Сальватор не забывал и своего друга Антонио Скаччиати, жившего в том же городе со своей дорогой Марианной скромной и вполне счастливой жизнью известного художника. Часто вспоминали они старого одураченного синьора Паскуале и всю комедию, разыгранную в театре Никколо Муссо. Однажды Антонио любопытствовал узнать, каким образом Сальватору удалось склонить к заговору не только Муссо, но также несравненного Формику и Алли. На что Сальватор отвечал, что это не стоило ему ни малейшего труда, потому что Формика был одним из его лучших друзей в Риме и готов был с радостью исполнить на сцене все, что бы Сальватор ни попросил. Антонио говорил, что как ни комична была вся разыгранная ими история, ему было глубоко жаль старого Капуцци, так что он был бы крайне рад с ним помириться, прибавляя, что ему не надо ни одного кваттрино из приданого Марианны, удержанного Паскуале, потому что он может жить совершенно безбедно своим трудом. Марианна также не могла удержаться от слез при мысли, что брат ее отца не простит ей, даже в двух шагах от могилы, огорчения, которое она ему причинила, и что ссора с ним останется навсегда темным пятном, омрачающим ее счастье. Сальватор старался утешить обоих, говоря, что время уносит и не такие неприятности и что, может быть, счастливый случай снова сблизит их со старым Паскуале более безвредным образом, чем ежели бы они остались тогда в Риме или предприняли туда поездку теперь.

Мы увидим скоро, что слова Сальватора оказались пророческими.

Прошло довольно долгое время, как вдруг однажды Антонио вбежал бледный как смерть в мастерскую Сальватора.

-- Сальватор! -- воскликнул он. -- Друг мой! Мой защитник!.. Я погиб! погиб, если вы мне не поможете!.. Паскуале Капуцци здесь!.. Он успел достать приказ о моем аресте, поскольку я насильно похитил его племянницу!

-- Что же может Паскуале сделать против вас теперь? -- возразил Сальватор. -- Ведь ты давно обвенчан с твоей Марианной.

-- Ах, -- воскликнул в отчаянии Антонио, -- даже благословение церкви не в силах меня защитить! Старик нашел случай сблизиться,

Бог знает каким путем, с племянником папы, взявшим его под свою защиту и обещавшим добиться, чтобы святой отец объявил мой брак с Марианной расторгнутым и дал, сверх того, разрешение Капуцци жениться на своей племяннице.

-- Стой! -- воскликнул Сальватор. -- Теперь я понимаю все!

Племянник папы мой личный враг и хочет отомстить за меня тебе как моему другу! Я изобразил этого наглого, грубого невежу на моей картине в виде одного из тех животных, на которых незаслуженно сыплются дары богини счастья. Что я играл главную действующую роль в истории твоей свадьбы -- это знает не только племянник папы, но и каждый из римских жителей; значит, врагам моим совершенно достаточно обратить преследование против тебя, если им нельзя добраться до меня. Поэтому, даже не любя я вас, как своих лучших друзей, я все-таки обязан по совести употребить все мои силы, чтобы вам помочь. Но скажу откровенно, в настоящее время я решительно теряюсь в догадках, что следует предпринять, чтобы расстроить козни наших злодеев.

С этими словами Сальватор отложил в сторону палитру, кисти и муштабель, которыми работал, сложил руки на груди и прошелся в раздумьи несколько раз взад и вперед по мастерской, между тем как Антонио стоял совершенно убитый, с опущенными в землю глазами.

Наконец Сальватор остановился перед Антонио и, взглянув на него, воскликнул со смехом:

-- Послушай, Антонио! Я сам ничего не могу сделать на этот раз, но знаю человека, который может вас спасти! И человек этот не кто иной, как синьор Формика!

-- Ах! -- воскликнул Антонио. -- Не шутите, по крайней мере, над несчастным, которому не остается никакой надежды на спасение!

-- Ты опять начинаешь отчаиваться, -- ответил Сальватор, в котором словно пробудились вся его прежняя веселость и ирония. -- Говорю тебе, что мой друг Формика, помогавший нам в Риме, поможет тебе и во Флоренции. Иди спокойно домой, утешь твою Марианну и дожидайся терпеливо того, что должно произойти. Надеюсь, вы оба с радостью исполните все, что велит вам делать синьор Формика, который как раз, на наше счастье, приехал во Флоренцию!

Антонио обещал все сделать и мигом повеселел от вспыхнувшей в его сердце надежды.

Через несколько дней синьор Паскуале Капуцци был немало изумлен, получив любезное приглашение посетить собрание Академии de Percossi. "Ага! -- воскликнул он. -- Значит, здесь, во Флоренции, умеют-таки чтить заслуги! Имя известного, щедро одаренного талантами синьора Паскуале Капуцци ди Сенегалиа дошло и сюда!"

Итак, самолюбивая мысль о своих достоинствах превозмогла в старике даже то понятное отвращение, которое он должен был

чувствовать при одном имени кружка, во главе которого стоял Сальватор Роза. Тотчас же старательно вычистил он свой испанский костюм, украсил новым пером остроконечную шляпу, приказал пришить новые банты на башмаки, и в таком виде, сверкающий, как золотой жук, явился он с самодовольным выражением лица в дом Сальватора Розы.

Тот встретил его с величайшим почетом; одет он был в такую роскошную одежду, что старый Капуцци, при виде окружавшего его великолепия, даже смутился, как это обыкновенно бывает с людьми, думавшими блеснуть своей особой и вдруг попавшими в среду, оказавшуюся выше их во всех отношениях. Паскуале превратился весь в почтительность и смирение перед тем самым Сальватором, которого думал почти уничтожить в Риме.

Впрочем, встретив самый радушный прием со стороны всего общества, видя самое утонченное внимание ко всем своим суждениям и слыша беспрестанные похвалы своим заслугам в искусстве, Паскуале скоро взбодрился и стал даже так говорлив и развязен, как от него трудно было ожидать. А если присоединить к этому, что ни разу в жизни не был он так гостеприимно потчует, никогда не пробовал таких прекрасных вин, то станет понятно, почему он не только не помнил своего прежнего желчного расположения, но даже совершенно забыл о неприятных обстоятельствах, приведших его из Рима во Флоренцию. Общество Академии часто импровизировало после своих обедов небольшие театральные представления, и в этот день знаменитый актер и поэт Филиппо Аполлони предложил лицам, обыкновенно участвовавшим в подобных забавах, завершить вечер таким же образом. Услышав это, Сальватор немедленно удалился, чтобы сделать нужные приготовления.

Через несколько минут в одном из углов зала появились внесенные туда деревья с зелеными ветвями, сплетавшимися наподобие арок, и скоро маленький импровизированный театр с достаточным числом мест для зрителей был готов.

-- О вы, все святые! Где я? -- воскликнул с испугом синьор Паскуале. -- Да ведь это театр Никколо Муссо!

Эванджелиста Торричелли и Андреа Кавальканти, оба серьезные, почтенные люди, схватили старика за руки и, не обращая внимания на его восклицания, тотчас же усадили его на назначенное место, как раз перед самой сценой, а также сели сами, один по правую, другой по левую от Паскуале сторону. Как только прочие зрители разместились -- на сцене вдруг появился сам синьор Формика в костюме Паскарелло!

-- Бездельник Формика! -- неистово закричал Паскуале и хотел было вскочить со своего места. Но Торричелли и Кавальканти удержали его строгим взглядом и внушительно попросили вести себя прилично.

Паскарелло начал плакать и жаловаться на судьбу, посылавшую ему одни горести и несчастья; уверял, что он не знает, как и чем возвратить себе прежнюю веселость, и кончил в отчаянии заявлением, что он бы немедленно перерезал себе горло, если бы мог переносить вид крови, или бросился в Тибр, если бы умел плавать.

Вошел доктор Грациано и с участием спросил Пескарелло, какая причина довела его до подобного отчаяния.

На это Паскарелло с изумлением спросил, неужели он не слышал о происшествии, случившемся в доме его господина, синьора Паскуале Капуцци ди Сенегалиа, и как какой-то негодяй похитил его племянницу, прекрасную Марианну.

-- Ага! -- пробормотал Капуцци. -- Вижу, синьор Формика, что вы чувствуете свою вину и хотите передо мной извиниться? Посмотрим, что из того будет.

Доктор Грациано с участием распространился в соболезнованиях по этому поводу и присовокупил, что похититель должно быть очень ловок, если сумел так искусно увернуться от всех преследований синьора Капуцци.

-- Ого, господин доктор! -- воскликнул Паскарелло. -- Неужели вы думаете, что негодюю Антонио Скаччиати действительно удастся спастись от гнева досточтимого синьора Капуцци, за которого вступились многие знатные лица? Знайте же, что Антонио уже арестован! Брак его с Марианной уничтожен, и она сама возвращена во власть своего дяди.

-- Возвращена? -- вне себя от счастья воскликнул Паскуале. -- Паскуале получил обратно свою голубку, свою дорогую Марианну? Антонио арестован? О добрый, честный Формика!

-- Вы принимаете слишком явное участие в представлении, синьор Паскуале, -- строго заметил Кавальканти, -- оставьте же актеров в покое и не прерывайте их так неучтиво.

Синьор Паскуале должен был со стыдом сесть на свое место.

Доктор Грауиано поинтересовался, что же было потом.

-- Что было? -- ответил Паскарелло. -- Конечно, свадьба! Марианна раскаялась в своем проступке, святой отец дал Паскуале желанное разрешение на его брак -- и он женился на своей племяннице.

-- Да, да! -- бормотал Паскуале, сверкая от восторга глазами. -- Да, да! Мой дорогой Формика! Паскуале женился на Марианне! Счастливый Паскуале! Он хорошо знал, что Марианна любила его всегда и что ее только на время смутил сам дьявол.

-- Ну значит, -- продолжал Грациано, -- все обошлось благополучно и всякий повод для горя исчез?

Тут Паскарелло вдруг зарыдал сильнее прежнего, и наконец, точно подавленный приливом горя, упал в обморок.

Грациано в испуге заметался из стороны в сторону, громко кричал, что забыл нюхательные капли, искал их во всех карманах, наконец, схватив горячий каштан, поднес его к самому носу Паскарелло. Тот сейчас же очнулся, громко чихнув, и просил доктора его простить, ссылаясь на свои слабые нервы. Затем рассказал он, что Марианна немедленно после свадьбы впала в глубокую грусть, беспрестанно звала Антонио, синьору же Паскуале показывала всеми способами только ненависть и отвращение. Старик, ослепленный любовью и ревностью, но отнюдь не исправленный, стал обращаться с ней самым невыносимым образом, в пример чего Паскарелло привел несколько безумнейших выходок, будто бы совершенных Паскуале, о которых слухи якобы ходили по всему Риму.

Синьор Капуцци беспокойно завертелся на своем стуле, бормоча себе под нос:

-- Проклятый Формика! Куда ты лезешь! Какой дьявол тебя обуял?

Торричелли и Кавальканти, наблюдавшие за стариком, остановили и тут дальнейшее развитие его гнева.

Наконец, в заключение, Паскарелло объявил, что несчастная Марианна, терзаясь несчастной любовью и не выдержав бесчисленных мук, которым подвергал ее проклятый старик, скончалась в цветении юности и красоты.

В эту минуту за сценой раздались звуки торжественного покаянного псалма "De profundis", и несколько человек, одетых в длинные черные платья, внесли открытый гроб, в котором лежала прекрасная Марианны, покрытая белым погребальным покровом. Синьор Паскуале Капуцци, в глубоком трауре, следовал за гробом, громко рыдая и колотя себя в грудь с восклицаниями: "О Марианна! Марианна!"

Едва настоящий Капуцци увидел труп своей племянницы, как сразу тоже громко зарыдал, и затем, оба Паскуале -- и настоящий и поддельный -- начали вопить наперебой душераздирающими голосами: "О Марианна, Марианна! О я несчастный! О горе мне, горе!"

Надо себе представить зрелище открытого гроба, окруженного людьми в траурных одеждах, певших "De profundis", рядом с которыми находились две кривлявшихся маски, Паскарелло и Грациано, самым комичным образом выражавшие свое горе, двух Капуцци, которые были и кричали что было мочи, -- и тогда вы поймете чувства зрителей, присутствовавших на таком небывалом представлении! Большинство, несмотря на смех, возбуждаемый в них удивительным стариком, не могли в то же время отделаться от чувства ужаса, внушаемого всей этой сценой.

Вдруг молния сверкнула на потемневшей сцене, и вслед затем раздался страшный громовой удар. В глубине появилась бледная призрачная фигура, в чертах которой было удивительно достоверно

воспроизведено лицо умершего брата Капуцци Пьетро, отца Марианны.

-- Злодей Паскуале! -- воскликнул призрак. -- Что ты сделал с моей дочерью? Проклятый убийца моего дорогого дитяти! В аду найдешь ты кару за свои дела!

Капуцци на сцене упал, точно сраженный молнией, и в то же миг повалился без чувств и Капуцци настоящий.

Кусты, которыми была уставлена сцена, сдвинулись, скрыв своей густой зеленью Марианну, актеров, и страшный призрак Пьетро. Синьор Паскуале лежал в таком тяжелом обмороке, что большого труда стоило привести его в чувство. Наконец, очнувшись с тяжелым вздохом, простер он обе руки вперед, точно хотел отогнать мучившее его видение, и воскликнул глухим голосом:

-- Оставь меня, Пьетро, оставь! -- затем поток слез хлынул из глаз старика, и он почти простонал: -- Марианна! Дитя мое, Марианна!

-- Очнитесь, синьор Паскуале, -- заговорил Кавальканти, -- вы видели свою племянницу умершей только на сцене. Она жива и ждет минуты, чтобы вымолить у вас прощение за свой проступок, к которому принудила ее любовь и ваше с ней обращение.

Действительно, едва он это сказал, Марианна и за ней Антонио, выйдя из глубины зала, упали к ногам старика, которого усадили в большое кресло. Марианна с выражением искренней любви целовала его руки, обливала их горячими слезами и умоляла простить ее Антонио, с которым она связана благословением церкви.

Огонь сверкнул внезапно на бледном лице старика, и он с яростью закричал срывающимся голосом:

-- Злодей! Змея, которую я пригрел на груди для своей гибели!

Но тут приблизился почтенный Торричелли и, с достоинством став перед Капуцци, сказал:

-- Паскуале! Вы видели сейчас изображение того, что произошло бы, если бы вы вздумали привести в исполнение ваш безумный проект и разрушили счастье Антонио и Марианны! Последствия чрезмерной влюбчивости отживших стариков были представлены перед вами в ярких красках. Вы видели, как небо карает подобных людей! Вы потеряли бы ваше право на любовь и уважение, и одна только ненависть и всеобщее презрение направили бы на вас свои острые стрелы!

Марианна в свою очередь воскликнула:

-- Милый дядя! Я готова любить и уважать вас, как родного отца, но вы меня убьете, если захотите отнять у меня моего Антонио!

Художники, окружавшие старика, также в один голос стали уверять, что невозможно допустить, чтобы такой человек, как синьор Паскуале Капуцци ди Сенегалиа, покровитель искусств и артист в душе, не согласился простить прекрасную племянницу, которой должен бы быть

за отца, и отказал признать своим зятем такого отменного живописца, как Антонио Скаччати, заслужившего славу и похвалы во всей Италии.

Глядя на старика, можно было заметить, как был он взволнован борьбой противоположных чувств. Он вздыхал, стонал, закрывал лицо руками, между тем как Торричелли продолжал убеждать его спокойной, серьезной речью, Марианна -- ласками, а все прочие перечислением блестящих качеств Антонио. Капуцци смотрел то на Марианну, то на Антонио, который стоял перед ним в богатой одежде, с почетной золотой цепью на шее, доказывавшей ясно, что слава его и достоинства не были пустыми словами.

Постепенно выражение гнева и ненависти на лице старика стало заметно сглаживаться. Он встал с просветленным взглядом и прижал Марианну к своему сердцу со словами:

-- Да! Я тебя прощаю, дорогое дитя! Прощаю тебя и Антонио! Не хочу я разрушать вашего счастья! Вы правы, достойный Торричелли, Формика показал мне на сцене зло и гибель, которые меня ожидали, если бы я исполнил мое безумное намерение! Я исцелен от своей глупости вполне!.. Но где же синьор Формика? Где мой несравненный лекарь? Пусть он явится, чтобы я мог тысячу раз поблагодарить его за то, что он сделал. Страх, который я испытал под его влиянием, переделал меня совершенно!

Паскарелло приблизился к старику. Антонио бросился к нему на шею со словами:

-- О синьор Формика! Вам обязан я жизнью! Обязан всем! Сбросьте же, наконец, эту маску, чтобы лицо ваше не оставалось более для меня тайной!

Паскарелло снял колпак и наклеенный нос, который изменял его до неузнаваемости, но не мешал выразительности игры и, -- кто бы мог это себе представить? -- синьор Формика оказался Сальватором Розой!

-- Сальватор! -- в изумлении воскликнули Марианна, Антонио и Капуцци.

-- Да, -- ответил Формика, -- я тот Сальватор Роза, которого римляне не сумели оценить как поэта и живописца, но который в маленьком, жалком театре Никколо Муссо пленял их в течение целого года, причем они, не хотевшие понимать шуток и иронии Сальватора в его картинах и стихотворениях, рукоплескали им в кривляниях Формики! Ты видишь теперь, друг Антонио, что Сальватор Формика помог тебе, как и обещал.

-- Сальватор! -- начал старый Капуцци. -- Хоть я и считал вас своим заклятым врагом, но талант ваш и ваше искусство я уважал всегда; теперь же люблю я вас, как лучшего друга, и прошу вас также почтить меня этой честью.

-- Говорите, достойный синьор Паскуале, -- отвечал на это Сальватор, -- чем могу я быть вам полезен и будьте уверены, что я употреблю все мои силы для исполнения вашего желания.

Довольное выражение лица Капуцци, исчезнувшее совсем после бегства Марианны, мгновенно возвратилось к нему в эту минуту. Он взял Сальватора за руку и сказал ему тихо:

-- Любезный синьор Сальватор! Вы пользуетесь большим влиянием на нашего славного Антонио, попросите же его от моего имени, чтобы он позволил мне провести недолгий уже остаток моих дней возле него и моей дорогой дочери Марианны, а также, чтобы он согласился принять от меня в приданое имущество ее матери! Пусть он также не сердится, если я иногда позволю себе поцеловать ее белую ручку! А по воскресеньям, когда я собираюсь к обедне, не откажется по-прежнему приводить в порядок мою всклокоченную бороду и усы. Никто в этом мире не умеет этого делать так, как он!

Сальватор с трудом мог подавить смех, выслушав просьбу чудаковатого старика. Но прежде чем он успел что-либо ответить, Антонио и Марианна, обняв Паскуале, сами объявили, что тогда только поверят в искренность его с ними примирения, когда он согласится поселиться у них в доме навсегда как нежно любимый отец. Антонио прибавил, что не только по воскресеньям, но даже каждый день будет он причесывать усы и бороду старика самым старательным образом. Капуцци растаял от восторга и счастья.

Между тем гостей пригласили к роскошному ужину, который был проведен в самой дружеской, веселой беседе.

Расставаясь с тобой, любезный читатель, я заканчиваю свою повесть с сердечным желанием, чтобы веселость и удовольствие, которые вдохновляли Сальватора и его друзей, испытал и ты, читая повесть об удивительных приключениях синьора Формики.

* * *

-- Господа! -- сказал Лотар, едва Оттмар кончил чтение. -- Так как друг наш честно и открыто выставил сам слабые стороны своего произведения, которое он назвал новеллой, то я полагаю, что и мы должны сложить оружие нашей критики, которому нынче было бы над чем поработать. Он храбро подставил свою грудь, и потому мы, как великодушные противники, должны пощадить его и помиловать.

-- Я думаю даже, -- прибавил Киприан, -- что мы можем утешить его в горе и похвалить с полным правом кое-что в его произведении. Так, по крайней мере, я считаю очень забавной и вполне серапионовской сцену, когда Капуцци воображает, что сломал ногу, или его неудачную серенаду.

-- Серенада эта, -- подхватил Винцент, -- сверх того, проникнута вполне местным испанским или итальянским характером, потому что оканчивается хорошими побоями. А драки составляют неперемennую принадлежность всякой новеллы, и я беру их под свою особенную защиту как прекраснейшее средство для возбуждения интереса в читателях, к которому прибегали многие талантливейшие писатели. У Боккаччо нет почти ни одной повести без них. А кроме того, где встретите вы такую массу побоищ и пощечин, как не в романе романов -- "Дон-Кихоте", так что даже сам Сервантес признал нужным извиняться из-за этого перед публикой? Нынче, однако, благовоспитанные дамы, любящие пить чай на литературных вечерах, очень не жалуют подобных приправ, так что писатель, желающий сохранить свое место в альманахе и сборниках, едва может допустить в своем произведении пару щелчков по носу или легонькую оплеуху. Да и то вся повесть получает тотчас же название юмористической. Но что нам, впрочем, литературные вечера! что благовоспитанные дамы! Смотри на меня, мой Оттмар! Смотри на твоего вооруженного защитника и храбро лупи своих героев во всех будущих новеллах! За эти побои я тебя хвалю в особенности!

-- А я, -- подхватил Теодор, -- хвалю его также за милое трио из Капуцци, пирамидального доктора и скверненького карлика! Хвалю также и за искусство, с каким он сумел подать Сальватора Розу, который, не будучи главным героем повести, наполняет и оживляет ее всю, оставаясь в течение всего произведения вполне живым, реальным лицом.

-- Оттмар, -- заметил Сильвестр, -- ограничился изображением только веселой и причудливой стороны характера Сальватора Розы, упустив из виду его строгую и серьезную натуру. Я вспомнил по этому поводу знаменитый, сочиненный Сальватором сонет, где он, прибегнув к аллегории в своем имени (Salvator -- Спаситель), высказывает глубокое негодование против своих врагов и преследователей, уверявших, что произведения его, которые справедливо, впрочем, упрекают в некоторой поверхностности и отсутствии внутренней связи, были им все украдены у старинных поэтов.

Вот этот сонет:

*За то, что я Сальватором назвался
Кричал народ: распни, распни его!
Пустая чернь не ведала того,
Что тем бессильный гнев ее лишь выражался!
Их сонм спросить Пилата порывался,
Надет ли был венец мне на чело?
И даже верный Петр несчастья моего
Иудею презренным оказался!*

*Со скрежетом Иудины сыны
Кричали, что из храма Саваофа
Дары Господни мной похищены!
Не то я им отвечу этой строфой!
Не я -- они весь стыд нести должны
За то, что где мне Пинд -- там им была Голгофа!*

-- Я помню этот сонет, -- сказал Лотар, -- он написан очень старинным языком, и я нахожу, что наш Сильвестр совсем не дурно передал силу и грубоватость оригинала. Но чтобы возвратиться еще раз к так называемой новелле Оттмара, я замечу, что мне не нравится в ней, -- почему он вместо закругленного целого рассказа вывел только ряд картин, хотя иной раз, действительно, забавных?

-- Совершенно согласен с тобой, друг Лотар, -- ответил Оттмар, -- но, надеюсь, вы согласитесь все, что осторожный пловец имеет право избегать подводных камней, опасных для его лодки.

-- Камни этого рода, -- вмешался Сильвестр, -- особенно опасны для произведений драматических. Для меня ничего не может быть скучнее комедии, где вместо стройного развития хода дела с помощью изображения событий, вытекающих одно из другого, представлен просто ряд отдельных картин, не имеющих между собой никакой связи. Пример такого легкомысленного отношения к сочинению театральных пьес был подан одним из даровитейших драматургов недавно прошедших времен. Так вот, есть ли в комедии "Пажеские шутки" что-нибудь, кроме ряда забавных сцен, написанных совершенно по произволу автора? В старое время, когда смотрели на драматическую литературу гораздо серьезнее, чем теперь, всякий сочинитель комедии прежде всего заботился о строгом плане и старался, чтобы все комические, забавные и даже карикатурные сцены непременно вытекали сами собой и совершенно свободно. Юнгер хотя и впадал иногда в плоскость, но всегда строго держался этого правила, равно как и чересчур прозаический Брецнер. Оба они постоянно выводили комизм своих положений из строго обдуманного плана. Потому созданные последним лица всегда проникнуты характером правды и жизненной силы, как, например, известный "Поверенный брачных дел". Только его чересчур болтливые дамы иногда бывают нам непонятны, за что, впрочем, я на него не сержусь!

-- Он, -- заметил Теодор, -- упал в моем мнении из-за сочиненных им либретто опер, доказав нам именно то, как их не следует писать.

-- Извини его хотя бы из-за того, -- возразил Винцент, -- что покойный был, как справедливо заметил Сильвестр, очень плох по части поэзии и потому должен был постоянно спотыкаться о пни и колоды на романтическом поле оперы. Вообще я полагаю полезным напомнить, что если вы заговорили о веселости в комедиях, то ваши

теперешние суждения свернулись на вовсе не веселое резонерство, и я восклицаю вам, как Ромео в его обращении к Меркуцио: "Тише, люди, тише! Вы болтаете о пустяках!" Что до меня, то я полагаю, что если мы уже давно не видали на сцене хороших немецких комедий, то это потому, что старых комедий мы не переносим вследствие слабости наших желудков, а новых хороших комедий никто не пишет. Причину последнего обстоятельства я намерен изложить со временем в небольшом трактате, листов в сорок печатных, а теперь объясню вам это игрой слов: нас должно приневоливать к охоте смотреть новые комедии, потому что у современных авторов охота бывает пуще неволи их писать.

-- Dìxì*, -- со смехом воскликнул Сильвестр, -- dìxì, остается только подписать: Винцент, с приложением его печати, -- и вопрос будет решен окончательно! Я полагаю, что к низшему разряду драматических или, лучше сказать, предназначенных для сцены произведений следует причислить и те балаганные фарсы, в которых какой-нибудь вертопрах постоянно дурачит с помощью переодеваний и тому подобных фокусов старика-дядю, театрального директора и т.д. И однако, в очень еще недавнее время такие произведения составляли насущный хлеб всякой сцены. Теперь, впрочем, вкус на них начинает проходить.

* Я сказал (лат.).

-- Никогда эти представления не прекратятся, -- возразил Теодор, -- пока существуют актеры, которых первая забота показать себя в один и тот же вечер во всевозможных видах и характерах, точно какого-нибудь хамелеона. Я всегда смеялся от души над тем непомерным самодовольством, с каким подобные артисты, превращаясь из одной личности в другую, точно по учению о переселении душ, в конце концов никак не могут стереть своего собственного "я", выглядывающего из их ролей, точно бабочка из куколки. Такой ночной мотылек является обыкновенно изящно одетым, в шелковых чулках и начинает кривляться, думая только о том, как бы угодить публике, а вовсе не о том, что ему предписывает строгое, добросовестное исполнение обязанностей. Если актеру, как это объясняется в "Вильгельме Мейстере", нельзя определить известного круга ролей, хотя бы для изображения постоянно презираемых или угнетаемых личностей, то, с другой стороны, нельзя от него требовать, чтобы он, подобно старику, выведенному там же, играл за всех и что угодно, как это по нужде делают театральные антрепренеры.

Нынче же каждый заезжий актер непременно имеет в запасе хоть одну подобную роль, которой и пользуется перед публикой как паспортом или аккредитивным письмом.

-- Я припоминаю по этому поводу, -- сказал Лотар, -- одного замечательного человека, встреченного мною в труппе актеров в одном небольшом городке южной Германии и удивительно напомнившего мне несравненного педанта, выведенного в "Вильгельме Мейстере". Он был положительно невыносим в тех ничтожных ролях, которые его заставляли играть и которые монотонно бормотал он себе под нос, а между тем рассказывали, будто в молодости был он очень хорошим актером и с редким искусством исполнял роли тех плутоватых хозяев, которые были непременным действующим лицом старых комедий и о чьем отсутствии в пьесах современных так сожалел Тик. Человек этот, казалось, уже совершенно сроднился со своей злой судьбой, живя в полной апатии, не обращая внимания ни на что на свете и всего менее на себя. Ничто, казалось, не могло пробить коры равнодушия, образовавшейся около его сердца, и он, по-видимому, был этим доволен сам. Но, однако, иногда, когда луч высшего чувства сверкал из его глубоких, умных глаз и вслед за тем горькая ирония выражалась на всем лице, только тогда, в эти минуты, можно было ясно видеть, что грустно подчиненное положение, в котором он себя держал относительно всех и особенно перед директором труппы, каким-то очень самолюбивым и глупым молодым человеком, было сдержанным презрением. По воскресеньям он одевался в опрятное, чистое платье, обличавшее цветом и покроем актера старых времен, садился за нижний конец табльдота лучшей гостиницы и обедал, не проронив ни слова, с видимым удовольствием, хотя и с большой умеренностью, особенно относительно вина, которого никогда не выпивал и половины того, что стояло перед его прибором. При каждом наливаемом стакане он низко кланялся в благодарность хозяину, кормившему его по воскресеньям даром за то, что он учил его детей чтению и письму. Раз случилось, что я, придя к обеду довольно поздно, нашел незанятым только одно место подле старика и сел с непременным намерением заставить его разговориться и узнать, что это была за личность. Заговорить с ним было нелегко, потому что при каждом вопросе он точно намеренно обезличивал себя и отвечал самыми общими местами, с выражением смиреннейшей покорности и унижения. Наконец после того, как я почти силой заставил его выпить стакана два хорошего вина, он как будто несколько оживился и заговорил с чувством о добром старом времени истинного процветания сцены, времени, которое исчезло и не вернется никогда. Между тем обед кончился; ко мне подошли двое знакомых, и старик хотел удалиться. Я его удержал, несмотря на его протесты, что, мол, бедный, отживший свое время актер вовсе не товарищ в таком обществе, что ему совсем не следует оставаться, что здесь, куда он пришел только для обеда, вовсе не его место и т.д., все в том же роде. Согласие его остаться я приписываю даже отнюдь не моим настояниям, а скорей тому, что он прельстился

чашкой кофе и трубкой хорошего кнастера, которые я приказал ему подать. Он снова заговорил с умом и одушевлением о театре старых времен. Оказалось, что он видел Экгофа и играл с Шредером, -- словом, обнаружил ясно, что и для бедного старика существовало когда-то хорошее время, в котором он дышал и жил свободно, и что, только потеряв эту почву из-под ног, дошел он до этого жалкого состояния. Но каково же было наше удивление, когда старик, вдруг одушевясь совершенно, прочел нам с самым поразительным чувством и силой выражения монолог тени из Гамлета в переводе Шредера (Шлегелев перевод был ему вовсе не известен). Удивление наше усилилось еще более, когда он вслед за тем стал читать различные тирады из роли Ольденгольма (имени Полония он не допускал) и читать так, что мы совершенно воочию увидали перед собой этого старого, дошедшего до ребячества придворного, едва обнаруживающего остатки прежнего несомненного ума. Видеть Полония, изображенного таким образом, мне редко случалось даже в театре. Но все это было только прологом к сцене, какую, признаюсь, мне никогда не удавалось видеть и которой я никогда не забуду. Здесь дошел я до того обстоятельства, которое вспомнилось мне по поводу сегодняшнего разговора, и потому прошу моих достойных Серапионовых братьев простить мне это длинное введение. Старик мой должен был играть в тот вечер одну из тех жалких вспомогательных ролей, о которых мы говорили, а именно директора театра, который допускает дебютировать на своей сцене актера в нескольких ролях с переодеванием. Актера взялся играть сам директор, думая блистательно выказать многосторонность своего воображаемого таланта. Не знаю, как это случилось, но оттого ли, что старик чувствовал себя возбужденным нашим послеобеденным разговором, или вдохновился он, как уверял впоследствии, тем, что, в противность своей привычке, выпил на этот раз больше вина, только уже с самого первого появления на сцене показался он совершенно другим человеком. Глаза его сверкали, а прежний глухой, дребезжащий голос отжившего ипохондрика превратился в прекрасный звучный бас, каким обыкновенно говорят веселые, пожилые люди, например, богатые дядюшки, считающие себя вправе журить всех за глупости и награждать похвалами за добрые дела. Первый выход, впрочем, еще не заставил подозревать, что будет дальше. Но как же удивилась публика, когда после первой сцены директора с переодеванием, оригинальный старик вышел с саркастической улыбкой на авансцену и обратился к зрителям почти с такой речью: "Не правда ли, что почтенная публика точно так же, как и я, узнали с первого взгляда нашего доброго... (тут он назвал директора по имени). Можно ли искусство изображения какого-нибудь лица основывать на одной перемене костюма и, надев более или менее растрепанный парик, стараться скрыть этим

недостаток игры, которой не подсказывает ничего внутренний голос таланта, оставляя ее, как ребенка, лишенного попечения матери? Если бы этот молодой человек, пожелавший так необдуманно выказать себя многосторонним артистом с талантом хамелеонового превращения, по крайней мере, не так чрезмерно махал руками, не кривлялся при монологах и так не рычал при произнесении буквы "р", то тогда, может быть, и я, и почтенная публика не узнали бы нашего директора так прямехонько с первого взгляда! Пьеса, впрочем, продолжится еще с полчаса, и я постараюсь притвориться, что ничего не замечаю, несмотря на то, что у меня болит сердце при взгляде на все это!"

Этим он кончил, и затем, после каждого нового выхода директора, старик стал самым злым образом передразнивать его манеру и игру. Можно себе представить, какой нескончаемый смех возбудила эта проделка у зрителей! Забавнее всего было то, что директор, занятый различными переодеваниями, и не подозревал, что его поднимают на смех в антрактах между его появлениями. Можно было подумать, что старик был в заговоре с театральным костюмером, потому что гардероб несчастного директора оказался, по-видимому, в большом беспорядке, и он переодевался довольно долго, так что старик имел слишком довольно времени в промежутках сцен для своих забавных шуток, которые играл с такой поразительной правдой, что приводил публику в неистовый восторг. Вся пьеса оказалась перевернутой вверх дном, и ничтожные, промежуточные сцены сосредоточили на себе главный интерес. Прелестно было, когда старик вперед показывал в каком виде явится директор, причем передразнивал его манеру с таким совершенством, что публика встречала выходы незадачливого актера-директора с неудержимым смехом, а он оставался в полном убеждении, что смех этот относился к нему, к искусству его игры и гримирования. Наконец, однако, директор догадался о проделке старика и, как себе можно представить, готов был броситься на него, как разъяренный кабан, так что старик едва успел спастись от его преследования и, уж конечно, потерял место в труппе навсегда. Но публика горячо вступилась за беднягу, доставившего ей такое удовольствие, и осмелела директора со всем его театром до такой степени, что он должен был прекратить представления и уехать из города совсем. Многие из уважаемых жителей, во главе которых был хозяин гостиницы, сделали складчину и доставили старику возможность прилично жить, так что он мог совершенно отказаться от сцены и остаться в том гостеприимном месте навсегда. Но посудите, до какой степени странен и чуден нрав артиста! Не прошло и года, как старик внезапно исчез из города неизвестно куда, и только спустя довольно долгое время узнали, что он пристал опять к какой-то самой ничтожной, странствующей труппе, в которой стал опять влачить совершенно прежнее, несчастное существование.

-- Не дурно было бы, -- заметил Оттмар, -- поместить этот анекдот в настольную справочную книгу для актеров или для тех, которые хотят посвятить себя сцене.

Киприан, сидевший до того молча, встал и, пройдясь несколько раз комнате, зашел за спущенную занавеску окна. Едва Оттмар сказал свое замечание, как вдруг поток холодного воздуха с шумом и свистом ворвался в комнату; свечи чуть не потухли, а письменный стол Теодора, казалось, весь ожил от множества закрутившихся на нем и разлетевшихся по всей комнате бумаг, даже струны фортепьяно издали жалобный протяжный звук.

-- Эй!.. Эй!.. -- закричал Теодор, видя, как все его литературные заметки и Бог знает что еще разлетелись по воле осеннего ветра. -- Киприан! Что ты делаешь?

Все друзья разом бросились спасать свечи от ворвавшегося в комнату столба снежного вихря.

-- Ваша правда, -- сказал Киприан, запирая окно, -- сегодняшняя погода не расположена допустить, чтобы кто-нибудь высунул нос посмотреть, что она делает.

-- Скажи, пожалуйста, -- перебил Сильвестр, схватив обеими руками совершенно расстроенного на вид Киприана и заставив его сесть на прежнее место, -- скажи, пожалуйста, где ты блуждал во время нашего разговора? В каких отдаленных странах находился твой дух, потому что, безусловно, он был никак не с нами?

-- Не так далеко, как ты думаешь, -- отвечал Киприан, -- но, конечно, дверь для моего странствия открыл мне ваш же разговор. Слушая ваши суждения о комедии, в особенности, слова Винцента об удовольствии, доставляемом нами ею, я невольно вспомнил, что и трагедия в последнее время имеет весьма талантливых представителей. Мысль эта навела меня на воспоминание об одном поэте, начавшем литературное поприще с несомненным задатком гениальности и вдруг внезапно погибшем в водовороте жизни, так что теперь забыто даже самое его имя.

-- Значит, -- заметил Оттмар, -- ты проповедуешь совершенно противное принципу Лотара, который уверяет, что истинный талант никогда не сможет погибнуть?

-- И Лотар прав, -- ответил Киприан, -- если он понимает под этими словами, что настоящее пламя гения не может быть погашено никакими бурями, принесшимися извне, и что никакие превратности судьбы не в силах ничего сделать против внутренней, божественной силы духа, которая, если и согнется под их напором, то согнется, как лук, затем, чтобы стрела полетела еще скорее. Но дело получает совсем иной оборот, если окажется, что гений уже в самом зародыше был подточен зловредным червяком, родившимся вместе с ним и

испортившим его в минуту цветения, так что смерть свою нес он в себе самом и не нуждался ни в какой внешней буре для своей гибели.

-- Значит, -- воскликнул Лотар, -- гению твоему недоставало главного условия трагического поэта, а именно -- силы и свободы! Я, по крайней мере, убежден, что дух писателя должен быть безусловно чужд всякой зловредной примеси или психической слабости, которая, говоря хоть бы твоими же словами, развивает вместе с ними погибельный для него яд. Как пример подобной крепости и здоровья духа я приведу хотя бы нашего старца -- поэта Гете. Только обладая такой неослабной силой и сердечной чистотой, можно создавать характеры вроде Геца Берлихингена или Эгмонта. Если Шиллер не обладал подобной же героической мощью, то у него она заменялась той лучезарной чистотой, которой проникнуты характеры созданных им лиц, чистотой, пленяющей нас в высшей степени и обличающей в их творце не меньшую силу гениальности. Для доказательства стоит вспомнить разбойника Моора, которого Людвиг Тик справедливо называет титаническим созданием молодого, смелого воображения. Но мы, однако, отделились от того, что сказал Киприан, а мне хотелось бы, чтобы он подробнее развил эту тему, хотя мне и кажется, я предвижу, что он будет говорить.

-- Думаю, -- откликнулся Киприан, -- что я сегодня уже во второй раз удивлю вас внезапным оборотом, который вношу в наш разговор, что, впрочем, происходит от того, что вы не знаете, какие мысли меня занимают. Во-первых, я громогласно провозглашаю, что, по-моему, со времен Шекспира не было на сцене такого дивного, поражающего актера, как тот старик, о котором вы рассказали, а затем, чтобы вы не оставались ни одной минуты в сомнении насчет моих взглядов, я прибавлю, что в новейшие времена также не было поэта, который бы выказал такую силу творчества в трагедиях, как автор "Сыновей Фалеса".

Друзья изумленно переглянулись. Перебрав в коротких словах все произведения и характеры Захарии Вернера, они пришли к единогласному заключению, что в этой смеси истинно хорошего и несомненно трагического с самым обыденным и даже нелепым недоставало именно того верного взгляда и той ясности внутреннего духа, которые Лотар считал необходимыми свойствами всякого трагического поэта.

Только один Теодор слушал, лукаво улыбаясь, суждения друзей, выражая этой улыбкой, что он был другого мнения, и наконец сказал:

-- Постойте, дорогие Серапионовы братья! Не будьте так поспешны в заключениях! Я знаю (и могу это знать один из всех вас), что Киприан говорит о произведении, неоконченном нашим поэтом и потому оставшимся неизвестным публике, хотя, если судить по некоторым главным сценам, которые он читал в кружке друзей, действительно,

трудно себе представить что-либо более высокое не только из написанного им, но и вообще из всех современных произведений этого рода.

-- Именно так! -- подтвердил Киприан. -- Я говорю ни более ни менее, как о второй части "Креста на восточном море", где выведена гигантская суровая личность древнего короля Пруссии Вайдеутиса. Я не берусь даже верно изобразить вам словами все величие этого характера, который, кажется, поднят автором с помощью какого-то колдовства из глубочайших пучин подземного мира! Довольно будет, если я намечу вам хотя бы общие черты, с помощью которых автор вызвал к жизни преследовавшие его образы. Вы знаете, что, по преданию, первоначальные основы цивилизации были положены среди древних обитателей Пруссии королем Вайдеутисом. Он ввел право собственности, разграничил поля, старался развить земледелие и даже создал религию, изваяв собственными руками трех идолов, которые были поставлены под древним дубом, где им приносились жертвы. Но тут, как бывает всегда с теми, которые вообразят себя богами подвластных им народов, Вайдеутис навлекает на себя сам мщение судьбы. Изваянные им идолы, с помощью которых он хотел запугать народ и согнуть его под свою волю, внезапно оживают и восстают против него. Силой, вызвавшей их к жизни, был Прометеев огонь, украденный им из глубины ада. Дело рук самого Вайдеутиса, эти бездушные истуканы обращают оружие против него же, и таким образом возникает титаническая борьба начала божественного и человеческого. Я не знаю, удалось ли мне в моих коротких словах выразить вам колоссальную идею автора, и потому приглашаю вас самих, достойных Серапионовых братьев, бросить взгляд в эту бездну, куда смело спускается поэт, причем, я уверен, вы почувствуете те же ужас и страх, которые я сам ощущаю каждый раз, когда подумаю о Вайдеутисе.

-- Действительно -- перебил Теодор, -- Киприан даже побледнел, говоря об этом, что доказывает, до какой степени поэт поразил его своею дивной картиной, из которой он наметил нам только главные очерки. Что до моего мнения относительно легенды о Вайдеутисе, то и я согласен в том, что трудно с большей силой и оригинальностью изобразить личность восставшего демона! Картина борьбы поразительна, и тем ярче выступает в конце заключительное торжество христианства. Старый король представлялся мне в некоторых чертах, говоря словами Данта, совершенно как *imperador del doloroso regno**, скитающийся по земле. Катастрофу его гибели и торжества христианства, составляющих великолепный заключительный аккорд всего произведения, местом действия которого, сколько можно судить по плану второй части, должен был быть иной мир, -- я никак не могу себе вообразить представленными в драматической форме. Но как

прекрасно понял я возможность заключения, превосходящего все своим величием, когда прочел "Великого Мага" Кальдерона. Впрочем, похоже, поэт и сам не решил, каким образом следовало заключить свое произведение. По крайней мере, я не слыхал об этом ничего.

** Властелин царства скорби (итал.).*

-- Что до меня, -- возразил Винцент, -- то я нахожу, что автор очутился в том же положении, в каком был король Вайдеутис относительно своих деревянных идолов. Его переросло и осилило собственное создание, так что он, отчаявшись в своих силах, поневоле впал в то болезненное настроение, при котором невозможно произвести чего-либо истинно ясного или хорошего. Во всяком случае, если даже Киприан прав, говоря, что у автора была готова канва для изображения превосходного дьявола, то я все-таки не могу себе представить, каким бы образом он выразил его отношения с людьми в верной драматической форме, не заставляя зрителей или читателей насиловать свое воображение? А он должен непременно быть представлен могучим и величавым героем.

-- И таким был задуман действительно, -- сказал Киприан, -- хотя для убеждения тебя в этом, мне следовало бы знать наизусть все сцены трагедии в том виде, как их читал нам автор. Никак не могу я забыть одного момента, который остался у меня особенно в памяти. Король Вайдеутис знал, что ни один из его сыновей не мог наследовать короны, и потому взял к себе мальчика-приемыша -- помнится, лет двенадцати от роду -- с тем, чтобы воспитать в нем будущего наследника. Раз ночью лежали они оба, и Вайдеутис и мальчик, возле огня, причем король старался своими рассказами поселить в душе мальчика идею о величии повелителя народа. Эта речь Вайдеутиса показалась мне в особенности образцом силы и законченности. Мальчик внимательно слушал, держа в руках молодого волчонка, пойманного им самим и бывшего постоянно товарищем его детских игр. Король, развивая свою мысль, спросил, наконец, согласился ли бы он, если желает достичь такой власти, пожертвовать своим любимцем. Мальчик пристально на него посмотрел, схватил волчонка и бросил его мгновенно в огонь.

Теодор, видя, что Винцент готов был расхохотаться, а Лотар с видимым нетерпением искал случая прервать речь, воскликнул:

-- Я знаю, что вы оба хотите сказать, и слышу вперед строгий ваш приговор писателю! Скажу вам на это, что несколько дней тому назад я сам держался того же мнения и притом не столько по убеждению, сколько по чувству горести, думая, что автор уклонился в своем пути на дорогу, которая должна была разъединить нас навсегда, уничтожив всякую возможность сблизиться в будущем. Свет совершенно прав,

если строго осуждает успешного прославиться писателя, когда видит, что талант его потерял свое прежнее достоинство. Подозрение во лжи и лицемерии является в таком случае совершенно законно, и потому долой маску, скрывавшую постыдное самолюбие и эгоизм! Но не забудьте, что для справедливого приговора в таком случае маска должна быть действительно сорвана, а мы должны убедиться в присутствии подозреваемого духа лжи собственными глазами! Что до меня, то объявляю вам прямо, что я обезоружен! Обезоружен разбираемым нами писателем окончательно после того, как прочел предисловие к его духовной пьесе "Мать Маккавеев", в которой он умел понятным только для немногих, близких к нему в счастливое время друзей, выразить трогательное признание в своей слабости и плач о том, что потерял навсегда. Он, я думаю, сам того не подозревая, высказал это признание и едва ли мог сам предвидеть впечатление, которое произвел на любящих его друзей своими словами! При чтении этого замечательного предисловия мне казалось, что я вижу какие-то светлые лучи, пронизывающие туманное море облаков, и лучи эти были мысли ясного, спокойного духа, хотя и закрытого на время, но все-таки заставлявшего догадываться о его существовании. Поэт явился мне в это мгновение точно дорогой человек, обретший минутное сознание помраченного рассудка, но употребивший даже это светлое мгновение только затем, чтобы попытаться доказать натянутыми софизмами, будто его заблуждение совершенно верно, хотя для меня все это доказывало только ограниченность заключенного в земные оковы духа. В предисловии идет речь именно о второй части "Креста на восточном море", и я... полно корчить гримасы, Лотар, сиди смирно на стуле, Оттмар, и ты, Винцент, перестань барабанить пальцами русский гренадерский марш! -- я полагаю, что автор "Сыновей Фалеса" заслуживает некоторого внимания, когда речь о нем зашла в нашем кругу, и я, признаюсь вам, чувствую, что в сердце моем еще не успело перекипеть возбужденное в нем волнение.

-- Так-так! -- воскликнул с комическим жаром Винцент, вскочив со стула. -- Где кипит, там и шипит. Языческие жрецы, выведенные в "Кресте на восточном море", выкидывают шутки получше! Ты можешь бранить меня, презирать, проклинать, любезный Серапионов брат Теодор, а я все-таки должен прервать твою патетическую речь, рассказав маленький анекдотец для того, чтобы хоть немножко озарить лучом улыбки наши вытянувшиеся физиономии. Поэт, о котором ты говоришь, пригласил раз к себе несколько друзей для того, чтобы прочесть им "Крест на восточном море" в рукописи. Приглашение это крайне заинтересовало всех, знавших пьесу только по небольшим отрывкам. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, автор торжественно воссел посередине комнаты за небольшим столом с двумя свечами в высоких подсвечниках, вытащил из кармана рукопись,

положив перед собой табакерку и огромный пестрый носовой платок, напоминающий цветом материю, употребляемую на исподние юбки и тому подобные части туалета... Кругом мертвая тишина!.. Никто не смеет вздохнуть!.. Автор настроил физиономию на приличный предполагаемому чтению лад и затем начал чтение. Вы, конечно, помните, что в первой сцене изображено, как древние пруссы, собравшись на добычу янтаря, призывают благословение покровительствующего этому промыслу божества. Потому первые слова автора были: "Банкпутис!.. Банкпутис!.. Банкпутис!" Тут последовала маленькая остановка. Вдруг один из слушателей поднялся со стула и, обратясь к чтецу, произнес самым скромным голосом: "Любезный друг! Неоцененный автор! Если ты написал всю твою поэму на этом, неведомом нам языке, то ведь мы не поймем из твоего чтения ни слова! А потому, не будешь ли ты так добр, прочесть нам лучше перевод?"

Друзья рассмеялись, кроме Киприана и Теодора, сохранивших строгое молчание. Прежде чем последний хотел возразить, Оттмар воскликнул:

-- Нет! Пстой! Я не могу удержаться, чтобы не рассказать еще одного комического столкновения, происшедшего по тому же поводу между двумя замечательными, хотя и совершенно различными по воззрению на искусство писателями. Идея "Креста на восточном море", без сомнения, пришла в голову автора очень задолго до появления самой пьесы, но, сколько мне известно, он стал писать ее по настоятельному требованию Иффланда, желавшего получить трагедию для берлинской сцены. "Сыновья Фалеса" обратили в то время на себя общее внимание публики, вследствие чего директор вполне доверился силам молодого, только что возникавшего таланта, полагая, что он уже приобрел достаточно опытности, чтобы написать что угодно. Представьте же теперь Иффланда с рукописью оконченного, наконец, "Креста на восточном море"! Представьте, говорю я, того самого Иффланда, который таил в душе глубокое отвращение к трагедиям Шиллера, завоевывавшим, несмотря на это, с каждым днем все более и более успеха! Иффланда, бывшего уже раз осмеянным и потому боявшегося высказать свое заветное убеждение, что исторические трагедии с большим числом лиц -- сушая гибель для сцены и что если он их и ставил с большими издержками и трудом, то утешался при этом словами: *dixi et salvavi!** Наконец, представьте, повторяю, Иффланда, который бы охотно обул своих тайных советников и секретарей в трагические, выкроенные по-своему котурны, -- представьте его читающим "Крест на восточном море" с мыслью, что эта трагедия написана специально для постановки на берлинской сцене и что он сам должен будет играть в ней духа убитого языческими жрецами епископа Адальберта, являющегося несколько раз в пьесе с

цитрой в руках и произносящего какие-то непонятные, мистические речи, причем над головой его появляется и опять исчезает светлое сияние каждый раз, как он произносит имя Христа!..

* *Сказал и спас... (лат.).*

"Крест на восточном море" вообще до такой степени романтическое произведение и так часто доходит в подробностях до безвкусицы, что при постановке его на сцену встретились бы почти такие же непреодолимые затруднения, как при гигантских произведениях Шекспира; но, однако, отказать автору безусловно, признав труд его нелепым, как это бесцеремонно объявляли *diis minorum gentium**, не решились. Надо было похвалить, превознести до небес и затем объявить с горьким сожалением, что театральные подмостки не в состоянии были выдержать величия идеи. Письмо, которое написал по этому случаю автору Иффланд, отрецензированное по форме известного итальянского оборота речи "*ben parlato, ma*"**, останется навсегда образцовым произведением театральной дипломатии. Директор мотивировал отказ в постановке не внутренней слабостью произведения, а учтиво сослался на несостоятельность машиниста, не умевшего с помощью своих машин устроить сияние над головой епископа и т.д., в том же роде. Я кончил и предоставляю Теодору оправдывать своего друга как ему будет угодно.

* *"Боги младших родов", второстепенные боги (лат.).*

** *Хорошо сказано, но (итал.).*

-- Оправдывать! -- воскликнул Теодор. -- Это было бы с моей стороны слишком глупо и неуместно. Вместо ответа я подниму вопрос об одном замечательном психологическом явлении, которое -- я пользуюсь сравнением Киприана -- иногда, подобно вредному червяку, подтачивает прекрасный цветок в самом его зародыше. Рассказывают, что склонность матери к простой истеричности часто перерождается у ребенка в необыкновенную впечатлительность нервов и эксцентричность, и кажется, это подтверждается хорошо характером одного из здесь присутствующих. Потому можно ли представить, чтобы не отозвалось на сыне, если мать подвержена уже настоящей *idée fixe*?* При этом заметьте, что я здесь подразумеваю не какую-нибудь глупую *idée fixe*, часто являющуюся в женщинах вследствие расслабления нервной системы. Нет! Я говорю о том общем, ненормальном состоянии духа, когда он перерождается совершенно под огнем расстроенной фантазии и заболевает той страшной болезнью, при которой ему чудится, что он прозревает иное бытие и считает его присущим себе в этом мире. Женщина в этом состоянии

может иной раз показаться скорее пророчицей, чем безумной, и у нее среди болезненных судорог часто вырываются такие слова и поступки, что можно подумать, что она состоит в действительной связи с существами высшего рода. Представьте теперь, что *idée fixe* подобной больной женщины заставляет ее веровать в то, будто она родила святого пророка. Эту мысль начинает она вселять с самого раннего детства в своего ребенка, родившегося хотя и с умом, но в то же время с живой, восприимчивой фантазией. Родственники и учителя осторожно стараются его убедить, что бедная его мать страдает расстройством умственных способностей, и он сам готов чувствовать иной раз нелепость проповедуемых ею идей, тем более, что видал примеры подобной болезни у умалишенных. Однако слова матери с раннего детства глубоко запали ему в душу, и он в них думал видеть откровение иного бытия. Они успели уже возбудить в нем веру, упорно сопротивляющуюся голосу рассудка. Вера эта находит свое подкрепление в словах той же матери, которая неоднократно говорила ему, что избранники неба должны приготовить себя к перенесению насмешек, бед и презрения, и его молодой ум даже ласкал себя мыслью быть этим мучеником, помня, как много приходилось ему переносить в школе от товарищей, осмеивавших его стремления. Чего мудреного, если мало-помалу юноша придет к окончательному убеждению, что предполагаемое всеми безумие его матери в сущности есть только метафорическая форма, в которой выразилось действительно посетившее ее откровение о том, что ему суждено быть высшим существом! -- святым! -- пророком! Можно ли сыскать для возбужденного воображения более сильный импульс, который бы заставил его безусловно броситься в мистические бредни? Предположите далее, что юноша этот, будучи необыкновенно впечатлителен как духовно, так и физически, начинает с возрастом чувствовать неодолимое влечение к греху и его наслаждениям! Я не стану здесь вдаваться в разбор той дурной стороны человеческой природы, из которой могло вырасти в сердце юноши это стремление, предположив просто, что он обязан им своей горячей крови, представляющей слишком хорошую почву для такого рода соблазнов. Вообразите же, какие муки должен он испытать от того противоречия, которое непременно возникнет в его душе. Борьба неба и ада, скрытая, но кипящая в его сердце, непременно выразится дикими и несообразными поступками, на какие только может быть способна человеческая натура. Что если его пылкое воображение -- плод безумия матери, -- доводившее мальчика в детстве до эксцентрической мысли о святости, встретясь в зрелом возрасте с напором страстей, вздумает примириться с этим врагом, создав для утешения себя настоящий религиозный культ, которым бы оправдывалась в глазах юноши эта сделка с собственной совестью? Что если в ушах его раздастся

победный голос мрачно живущего в его сердце духа, который скажет так: "Ослеплен был ты до сих пор, полагая, что в душе твоей существовала двойственность стремлений. Смотри! покрывало сорвано и ты можешь убедиться, что в грехе не только нет ничего дурного, но что он, напротив, средство, с помощью которого небо призывает к себе своих избранных! С той самой минуты, как ты перестанешь противиться натиску греховных сил, действующих по воле верховной власти, отвергающей ослепленных, адский огонь превратится в священное сияние над твоей головой!" Вот какая ужасная гипермистика может дать утешение несчастному слепцу, разбив, разумеется, окончательно его душу и тело, так как наука справедливо признает неизлечимо безумными тех, которые довольны своим состоянием и видят в нем высшее блаженство.

** Идея фикс (франц.).*

-- О! -- воскликнул Сильвестр. -- Прошу тебя, Теодор! Довольно! Довольно! Ты сам не хотел заглядывать в ужасную пропасть, куда могут завести подобные мысли, а между тем, мне кажется, ты ведешь всех нас по узкой тропинке, с безднами, зияющими по обеим сторонам! Твои последние слова напоминают мне ужасную мистику патера Молиноса и отвратительное учение квиетизма. Признаюсь, я содрогнулся невольно, когда прочел основной догмат этой школы: *il ne faut avoir nul egard aux tentations ni leur aucune resistance. Si la nature se meut, il faut la laisser agir; ce n'est que la nature!** Такая доктрина может завести...

** Не нужно ни идти навстречу искушению, ни противостоять ему, но если природа взыскует, надо дать ей волю действовать, на то она и природа (франц.).*

-- Очень далеко, -- прервал своего друга Лотар. -- А именно в область зловещих снов и предчувствий и даже, пожалуй, в бесконечный разговор о сумасшествии. Тема эта уже изгнана из общества Серапионовых братьев, а мы, вместо того чтобы любоваться светлыми кристальными струями моря поэзии и плещущимися в нем золотыми рыбками, все более и более погружаемся в мутное болото! Потому, пожалуйста, прекратите речь о всем, что может довести до религиозного безумия.

Оттмар и Винцент от души согласились с этим мнением, прибавив, что Теодор поступил совершенно против принципа Серапионова общества, заведя разговор о совершенно постороннем предмете и дав чересчур овладеть собой минутному увлечению, чем только заставляет их терять время, предназначенное для чтения.

Киприан один вступился за Теодора, заметив, что высказанные им мысли, несмотря на их -- с чем он согласился сам -- неприветливый характер, все-таки способны были возбудить внимание даже в людях совершенно незнакомых с личностью, о которой шел вопрос.

Оттмар возразил, что если бы он прочел все, что высказал Теодор, в какой-нибудь книге, то чтение это навело бы на него порядочный страх. "Sapienti sat!"* -- ответил на это Киприан.

** Для понимающего достаточно (лат.).*

Теодор между тем вышел в соседнюю комнату и скоро возвратился с картиной, завешанной полотном, которую он поставил на стол, осветив ее двумя свечами. Общее внимание было крайне возбуждено этими приготовлениями, и когда Теодор вдруг сдернул полотно, все невольно воскликнули от изумления.

Оказалось, что картина была поясной в натуральную величину портрет автора "Сыновей Фалеса", похожий как две капли воды.

-- Возможно ли! -- воскликнул одушевленным голосом Оттмар. -- Да, да! Из-под этих густых нависших бровей, так, кажется, и сверкает тот зловещий огонь мистицизма, под гнетом которого погиб несчастный поэт. Но зато какое добродушие сквозит во всех прочих чертах лица! Как хороша эта ироническая улыбка неподдельного юмора, играющая на губах и едва сдерживаемая тем, что подбородок опирается на руку. Да! Такого мистика нельзя не полюбить! И чем пристальней я на него смотрю, тем более нахожу в нем человечности!

-- Разве мы думаем иначе? -- воскликнули Лотар и Винцент, причем последний, серьезно взглянув в картину, прибавил: -- Мне кажется, эти глаза делают все светлее и светлее по мере того, как на них смотришь! Оттмар прав, сказав, что в нем много человечности. Номо factus est!* Смотрите, он точно хочет улыбнуться и сказать нам слово, полное радости или остроумия! Не пугайся нас, честный Захария! Мы любим тебя, замкнутый в себе юморист! Послушайте, дорогие Серапионовы братья, я предлагаю со стаканами в руках объявить его принятым в почетные члены Серапионова клуба! Надеюсь, поэт не рассердится, что я сделал пуншное возлияние перед его портретом и даже облил, по этому случаю, мои новые парижские сапоги.

** Сотворенный человек (лат.).*

Друзья схватили стаканы для того, чтобы исполнить то, что предлагал Винцент.

-- Пойдите, -- воскликнул Теодор, -- стойте! Я требую слова! Во-первых, прошу вас отнюдь не прилагать изложенного мной, может быть, в слишком ярких красках, психологического анализа

исключительно к нашему поэту, а лучше подумать, как опасно бывает иной раз опрометчиво судить о поступках человека, не зная вызывающих их душевных причин, и как несправедливо преследовать ребячьей насмешкой и презрением того, кто не мог противостоять злобной, гнетущей власти, которой мы сами подчинились бы, может быть, еще скорее! Решится ли кто-нибудь бросить камнем в безоружного, чья сила вытекла вместе с сердечной кровью из раны, которую он имел несчастье нанести себе сам? Если вы чувствуете это, то цель моя достигнута. Даже вы, Лотар, Оттмар и Винцент, несмотря на строгость ваших прежних приговоров, стали судить совершенно иначе, едва увидели моего поэта лицом к лицу. Черты его говорят правду! Еще в то счастливое время, когда я был к нему ближе, всегда признавал я его милейшим и симпатичнейшим человеком из всех, каких только знал. Даже самые причуды его и оригинальные выходки, которые он умел перемешивать с тончайшей иронией и никогда не скрывал, способствовали тому, что личность его как-то особенно выдавалась во всяком обществе и при всякой обстановке, пленяя и привлекая всех! Прибавьте к этому неподдельный юмор, заставлявший вспоминать лучших, отличившихся в этом роде писателей! Можно ли себе представить, что все это скрылось навсегда, отравленное ядовитым дыханием безумия в пору своего самого роскошного цветения? Я лучше хочу верить, что если бы картина эта могла внезапно ожить и поэт вдруг явился среди нас, то ум и жизнь по-прежнему засверкали бы в его разговоре. От души желаю, чтобы слова мои оказались рассветом вновь пришедшего прекрасного дня! Дай Бог, чтобы возвратившиеся силы души дали возможность поэту создать что-либо новое, достойное его прежних произведений, хотя бы это случилось на вечерней заре его жизни. Вот надежда, за исполнение которой предлагаю я моим достойным Серапионовым братьям провозгласить задушевный тост!

Друзья наполнили стаканы и выпили, встав полукругом около портрета.

-- И при этом, -- заметил Винцент, -- прибавим, что нам решительно все равно, кем бы поэт ни был: тайным ли советником, аббатом, придворным, кардиналом, самим папой, или епископом *in partibus infidelium*!*

* *"В странах неверных" (лат.).*

Винцент по своему обыкновению не мог удержаться, чтобы не прицепить забавной погремушки к самому серьезному выводу. Друзья, однако, чувствовали себя слишком глубоко растроганными, чтобы обращать внимание на его шутки, и потому молча уселись вокруг стола, между тем как Теодор унес портрет обратно.

-- Я хотел, -- сказал Сильвестр, -- прочесть вам сегодня рассказ написанный мною по поводу одного случая или, лучше сказать, воспоминания; но, кажется, становится уже так поздно, что время кончить наш сегодняшний Серапионов вечер.

-- То же самое должен я сказать, -- прервал Винцент, -- и об обещанной мною давно сказке, которую я ношу, как дорогого новорожденного ребенка, в боковом кармане моего фрака, этом обыкновенном убежище всех литературных произведений. Детищу моему, надо вам сказать, молоко матери пошло очень впрок, и оно выросло до таких размеров, что, дай я ему волю, его писк и кваканье продолжались бы, пожалуй, до рассвета. А потому -- лучше отложить мое чтение до следующего собрания. Я заметил, что сегодня нам опасно пускаться в разговоры, а то, едва мы успеем разинуть рты, между нами тут как тут вотрется или какой-нибудь языческий король, или патер Молинос, или, наконец, сам дьявол и наплетет такую дичь, что выгнать его нет возможности даже при помощи смеха. Потому я полагаю, что если кто-нибудь явился сегодня с небольшой, но забавной рукописью, а главное, которую можно сшить двухвершковой ниткой, то открывай ее смело и читай!

-- Если, -- сказал Киприан, -- вы требуете чего-нибудь очень короткого и что бы могло служить не более как интермедией, то я намерен прочесть вам небольшой рассказ, написанный мною уже довольно давно, в эпоху, когда я переживал очень тяжелые дни. Тетрадка эта была совершенно забыта мной в письменном столе и попала мне на глаза всего несколько дней тому назад, пробудив в душе моей самые сладкие воспоминания. При этом мне кажется, что повод, по которому безделка эта была написана, гораздо интереснее самого сочинения, а потому, кончив читать, я скажу вам несколько слов и о нем.

Киприан прочел:

ВИДЕНИЯ

Едва при Ансельмусе заходила речь о последней осаде Дрездена, он делался бледнее обыкновенного, складывал руки на груди, беспокойно озирался глазами по сторонам и начинал бормотать себе под нос:

-- О Господи! Если бы только я захотел вовремя надеть сапоги да убежать, несмотря на горящие фашины и лопавшиися гранаты, в Нейштадт, то уж наверняка бы встретил не одного и не двух из очень значительных людей, которые, высунувшись из кареты, пригласили бы меня сесть с ними! Но я остался в проклятых подземных норах, среди валов, парпетов и шанцев, осужденный на всевозможные бедствия и

лишения! Доходило до того, что, перелистывая на голодный желудок лексикон и наткнувшись на слово "есть", -- я сам себя спрашивал с удивлением: "Есть? Что это значит?" Многие, очень тучные в прежнее время люди похудели до того, что могли запахнуть собственную свою кожу на груди, точно полы жилета!.. Что если бы еще не было с нами архивариуса Линдгольма?.. Попович просто хотел меня убить! Спасибо дельфину, который окропил меня живительным бальзамом из своих ноздрей! А Агафья?

При этом имени Ансельмус пробовал даже два или три раза подпрыгнуть на своем стуле. Напрасен был труд расспрашивать, что он хотел выразить этими загадочными речами и гримасами. Он обыкновенно отвечал:

-- Могу ли я рассказать приключения Поповича и Агафьи так, чтобы меня не сочли за сумасшедшего?

Присутствовавшие обыкновенно двусмысленно посмеивались на эти слова, точно говоря:

-- Голубчик! Да это всем известно и без того!

Как-то, в один мрачный октябрьский день, Ансельмус, считавшийся отсутствующим, внезапно явился к одному из своих приятелей. Он, казалось, был чем-то очень доволен, улыбался более обыкновенного, и даже в речах его не было заметно обычного оттенка грубоватого юмора, точно все его нравственное существо было под влиянием какого-то умиротворяющего духа. На дворе смеркалось, и приятель хотел зажечь свечи, но Ансельмус удержал его за руки словами:

-- Если ты хочешь доставить мне удовольствие, то, пожалуйста, не зажигай огня! Пусть нам светит твоя лампа, что горит там, в кабинете. Мы можем и так делать все что угодно: пить чай, курить; но только будь осторожен, чтобы не разбить чашки или не поджечь фитилем моего сюртука. Меня не огорчило бы ни то, ни другое, но могло бы расстроить мои мечты, которые завлекли меня сегодня в волшебный сад, в котором я гуляю до сих пор! Я сажусь на твой диван!

Помолчав затем несколько минут, он продолжал:

-- Завтра утром, в восемь часов, исполнится ровно два года, как граф Лобау вышел из Дрездена с двенадцатью тысячами войска и двадцатью четырьмя пушками с тем, чтобы пробиться к Мейсенским высотам.

-- Ну, -- возразил на это его приятель, -- я, признаюсь, ожидал, что ты поведаешь мне что-нибудь более интересное о твоей прогулке в волшебном саду! Какое мне дело до графа Лобау и до его вылазки? Да и как ты мог запомнить, что у него было двенадцать тысяч человек и двадцать четыре пушки? С которых пор стал ты заниматься военными вопросами?

-- Неужели, -- возразил Ансельмус, -- роковое, пережитое нами время стало для тебя столь чуждым, что ты даже не знаешь, сколько мы тогда перенесли и испытали? Правило: *poli turbare** -- не могло нас спасти, да

мы и не думали о собственном спасении! Напротив, в груди каждого из нас горело оскорбленное сердце, и мы непривычной рукой хватались за оружие -- не для защиты! -- нет! -- для мести! Для мести за вытерпленный позор! Я еще теперь чувствую влияние той неодолимой власти, которая заставила меня бросить искусства, науки и кинуться в кровавую борьбу! И точно, возможно ли было остаться за письменным столом? Я как сумасшедший бегал по улицам, провожал передвигавшиеся войска только за тем, чтобы поймать на лету какие-нибудь правдивые известия о том, что происходило, зная хорошо, как лживы и глупы были печатавшиеся официальные бюллетени. Когда, наконец, разыгралась известная Битва народов; когда кругом раздались ликующие голоса освобожденных, а мы должны были все еще оставаться в цепях, -- я думал, что у меня разорвется грудь от отчаяния! Мне казалось, что я должен освободить себя и всех прочих пленных каким бы то ни было средством! Зная твое мнение обо мне, я думаю, ты не согласишься и сочтешь безумством, если я тебе признаюсь, что у меня в самом деле мелькала сумасшедшая мысль поджечь один из фортов, которые все были минированы неприятелем, и взлететь на воздух!

** Не смутай... моих кругов (лат.). [om noli turbare circulos meos].*

Приятель, естественно, улыбнулся, услыша признание в таком диком героизме со стороны миролюбивого Ансельмуса, но он, сидя в потемках, к счастью, этого не заметил и, помолчав несколько минут, продолжал:

-- Вы говорили не раз сами, что я родился под странной звездой, влияние которой заставляет меня иной раз видеть и делать невероятные вещи, и хотя я чувствую, что сила эта выходит изнутри меня, но, тем не менее, она имеет мистическое отражение и во внешнем мире. Именно подобное состояние овладело мной два года тому назад в Дрездене. Целый день прошел тогда в мрачной, зловещей тишине. За стенами не было слышно ни одного выстрела. Поздно вечером, часов около десяти, зашел я в одну кофейную на Альтмаркте, где в отдаленной задней комнатке, куда не смел заглянуть ни один из проклятых наших врагов, собирались единомышленники и друзья потолковать о надежде на избавление. Там, вопреки лживым бюллетеням, получали мы верные известия о битвах под Кульмом, Кацбахом и других, и там же известный Р. сообщил нам новость о Лейпцигском сражении, которую он, Бог знает каким путем, получил через два дня после его исхода. Дорога моя в кофейную проходила обычно мимо Брюльского дворца, где жил маршал, и в тот день меня поразили свет во всех окнах и глухой шум, раздававшийся во дворе. Едва успел я сообщить это

известие друзьям, прибавив предположение, что неприятель, вероятно, что-нибудь затевает, как вдруг Р., запыхавшись, вбежал в комнату.

-- Новости! Новости! -- крикнул он. -- Сейчас был у маршала военный совет, на котором решено, что генерал Мутон (граф Лобау) сделает попытку пробиться к Мейсену с двенадцатью тысячами войска и двадцатью четырьмя пушками. Завтра утром они отправляются.

Много было говорено за и против, но наконец почти все согласились с мнением Р., что движение это не укроется от зоркого глаза наших союзников и, по всей вероятности, кончится капитуляцией маршала, чем положится конец и нашим страданиям. "Каким, однако, способом мог Р. узнать решение военного совета?" -- думалось мне невольно.

Поздно ночью возвращался я один домой. Скоро услышал я среди мертвой тишины на улицах глухой шум. Оказалось, что это были ряды повозок и закрытых ящиков, осторожно направлявшихся к мосту через Эльбу. "Значит Р. таки был прав", -- подумалось мне невольно. Я дошел вместе с обозом до середины моста, где взорванная арка была на скорую руку починена с помощью деревянных подмостков. С обеих сторон высились укрепления из палисадов и земляных валов. Я прислонился к перилам, чтобы остаться незамеченным. Вдруг показалось мне, что один из ближних палисадов внезапно стал двигаться, забормотав какие-то странные, непонятные слова. Темнота туманной ночи не позволяла различить ясно, что это было за явление, но едва артиллерия проехала и прежняя тишина воцарилась на мосту, как я уже совершенно явственно услышал, почти рядом со мной, чей-то тяжелый вздох, а вместе с тем огромное деревянное бревно на мосту стало потихоньку подниматься. Ужас овладел всеми моими членами, и я, недвижим, прижался к перилам, чтобы не упасть. Поднявшийся ночной ветерок разогнал в эту минуту туман, и полный месяц облил окрестность лучами; я, взглядевшись, увидел перед собой фигуру высокого старика с белыми волосами и большой бородой. На плечи его был наброшен плащ, ложившийся множеством складок, а в руке держал он длинную палку, простирая ее вместе с обнаженной рукой над шумящим потоком. Слышанные мной слова и вздохи принадлежали явно ему.

Вдруг раздался звук оружия и шум приближающихся шагов. Это был французский батальон, переходивший в глубоком молчании мост. Старик вдруг спустился и, изменив совершенно голос, стал униженно просить у проходивших милостыни, протянув свою старую шляпу. Какой-то офицер сказал со смехом:

-- Voila St. Pierre, qui veut pecher!*

* Вот св. Петр, который ловит рыбу (франц.).

Следовавший за ним остановился, серьезно взглянул на старика и прибавил, бросив ему монету:

-- Et bien, moi, pecheur, je lui aiderai a pecher!*

** Отлично, мой рыбак, удачной тебе ловли (франц.).*

Многие офицеры и солдаты, выходя из рядов, бросали старику деньги, тяжело вздыхая, точно в ожидании какого-нибудь несчастья, он же в ответ кивал головой и тихо стонал. Вдруг один офицер (я узнал генерала Мутона) быстро подскакал верхом на лошади, причем его вспененный скакун чуть было не затоптал нищего. Мутон спросил сурово и отрывисто, обратясь к старику и поправив на голове шляпу:

-- Qui est cet homme?*

** Кто этот человек? (франц.).*

Верховая свита, следовавшая за ним, промолчала, но один старый сапер, шедший не в строю, с топором на плече, ответил тихо:

-- C'est un pauvre maniaque bien connu ici. On l'appelle St. Pierre pecheur.*

** Это один бедный сумасшедший, хорошо известный тут. Его называют св. Петром-рыболовом (франц.).*

Затем полк перешел мост и скрылся из виду, но не с тем весельем и шутками, как мы привыкли видеть прежде, а, напротив, безмолвно и с каким-то мрачным неудовольствием. Едва звуки последних шагов и шум оружия смолкли в ночной тишине, старик медленно выпрямился и, простерев по-прежнему руку, принял самую величественную позу, точно хотел сказать повелительное слово шумевшим перед ним волнам. Река, вздуваемая ветром, становилась все грознее и грознее.

Шум валов, казалось, поднимался откуда-то из бездонной глубины. Вдруг среди их шума, показалось мне, раздался глухой голос, произнесший по-русски: "Михаил Попович! Михаил Попович! Видишь ли ты огонь?" Старик что-то забормотал себе под нос, по-видимому молитву, и затем вдруг громко воскликнул: "Агафья!" Лицо его осветилось красноватым отблеском, выходившим, казалось, из волн Эльбы. На Мейсенских горах появились яркие столбы огня, и именно их-то отражение от поверхности реки и было причиной света, озарившего фигуру старика. Внизу, под деревянными подмостками, раздался какой-то треск, все сильнее и сильнее, точно как-будто кто-то цеплялся за них и лез кверху, и наконец, действительно, какая-то темная фигура, осторожно поднявшись, перелезла через перила.

-- Агафья! -- воскликнул старик еще раз.

У меня, едва я увидел лицо девушки, помутилось в глазах.

-- Доротея! -- вскрикнул было я, но она быстро меня удержала, прошептав: -- Молчи, молчи, дорогой Ансельмус! Иначе мы погибли, -- и, говоря так, она дрожала и стучала зубами от холода.

Ее длинные черные косы бились по плечам, а промокшее насквозь платье плотно облегало худенькое тело. Она изнемогала от усталости и тихо шептала: "Ах! Там внизу так холодно! Не говори ничего, Ансельмус, не говори! Иначе мы умрем!"

Отблеск зарева горел на ее лице, и я совершенно ясно узнал в ней Доротею, хорошенькую крестьянскую девушку, поселившуюся у моего хозяина после того, как родная ее деревня была разграблена неприятелем, а отец убит. "Она совсем поглупела от своего горя, -- говорил мне хозяин, -- а то из нее могло бы что-нибудь выйти!" И он был прав, потому что мало того, что она обыкновенно отвечала на расспросы какой-то чепухой, но, сверх того, на губах ее постоянно блуждала странная улыбка, изменявшая прежнее, прелестное выражение ее лица до неузнаваемости.

Она каждое утро приносила мне кофе, и при виде ее фигуры, роста и вообще всех манер, у меня всегда зарождалось сомнение, точно ли она крестьянка?

-- Э, полноте, господин Ансельмус, -- разубеждал меня хозяин, -- она просто дочь земледельца и притом саксонского!

Видя, что малютка, вся дрожа, почти без чувств лежала у моих ног, я мигом сбросил свой плащ и, окутав ее с ног до головы, тихо сказал ей:

-- Согрейся, Доротея, согрейся! Не бойся! Все пройдет! Но скажи, пожалуйста, что ты делала там внизу, под мостом?

-- Тише! тише! -- залепетала она, откидывая рукой упавший ей на лицо воротник плаща и поправляя густые волосы. -- Тише! Пойдем, сядем на эту каменную скамью! Отец разговаривает теперь со святым Андреем и нас не услышит!

Мы тихо прокрались к скамье. Пораженный всем виденным и вместе с тем обуреваемый каким-то необъяснимым чувством, я крепко прижал девушку к своей груди. Она, не сопротивляясь, села мне на колени и обвила шею руками; капли холодной как лед воды катились по моему затылку, но я не чувствовал холода! Наоборот, мне казалось, что каждая капля падала мне раскаленной стрелой на сердце, разжигая и воспламеняя его чувством глубочайшей любви.

-- Ансельмус! -- шептала малютка. -- Ансельмус! Ты хороший человек! Ты не раз говорил, что меня любишь! Значит, ты нас не предашь, -- кто же стал бы тогда варить твой кофе? Слушай: если вы дойдете до того, что будете все голодать и никто не станет заботиться о твоём обеде, я прокрадусь к тебе ночью, так что этого не заметит никто, и напеку тебе славных пирогов. У меня есть мука! Есть! И хорошо спрятана в моей каморке! Я напеку тебе пирогов! вкусных,

свадебных пирогов! -- малютка, смеясь, произнесла эти слова, а потом вдруг заплакала:

-- Ах! Как хорошо было в Москве!.. О мой Алексей! Мой Алексей! Мой прекрасный дельфин!.. Плыви! Плыви скорее! Разве ты не видишь, что тебя ждет любящая невеста?

Она склонилась головкой и горько зарыдала; слезы и вздохи ее душили.

Я взглянул на старика: он стоял с простертыми руками и бормотал глухим, мрачным голосом:

-- Он тебе кивает! Кивает! Смотри, как развевается его пламенная борода! Как сверкают огненные столбы, с которыми он гуляет по дну реки! Слышишь его голос! Чувствуешь его голубоватое дыхание, поднимающееся в тебе, точно пороховой дым? Вы близко, близко, дорогие братья!

Слова старика вылетали из его груди, точно порывы бурного ветра, и по мере того как он говорил, пламя на Мейсенских высотах разгоралось все сильнее и сильнее.

-- Помоги, святой Андрей! Помоги! -- пролепетала малютка во сне и вдруг, точно чего-то испугавшись, крепко сжала мою шею левой рукой, прошептав почти в ухо:

-- Ансельмус! Я решусь лучше тебя убить!

В ее руке сверкнул нож.

-- Что ты хочешь делать, безумная? -- воскликнул я в ужасе.

-- Ах! Я не могу этого сделать! -- прошептала она с отчаянием. -- Но теперь ты погиб!

-- Агафья! -- крикнул в эту минуту старик. -- С кем ты разговариваешь? -- и прежде чем я успел опомниться, он стоял уже возле меня, нанося мне палкой ужасный удар, так что голова моя была бы, наверно, разбита, если бы Агафья не успела быстро отдернуть меня в сторону.

Палка разлетелась вдребезги, а старик упал на колени.

-- Allons! Allons!* -- вдруг раздалось со всех сторон.

* *Пошли! Пошли! (франц.).*

Я быстро вскочил и отпрыгнул в сторону, чтобы не быть раздавленным новым проходящим обозом пушек и телег.

На следующее утро русские прогнали с гор совершенно растерявшегося неприятеля и принудили их вернуться снова в Дрезден. В городе только и разговоров было о том, каким способом могли они узнать о намерении противника и зажечь вовремя на Мейсенских горах сигнальный огонь, с помощью которого войска стянулись к нужному пункту и успели дать французам блистательный отпор там, где они думали прорваться.

Доротея не приходила ко мне с утренним кофе в течение нескольких дней, а хозяин с испуганным лицом объявил, что видел, как ее повели под большим конвоем из дома маршала в Нейштадт вместе с каким-то полусумасшедшим стариком.

-- О Боже! -- воскликнул приятель Ансельмуса. -- Они были схвачены и казнены?

Но Ансельмус лукаво улыбнулся и сказал:

-- Агафья была спасена! После капитуляции я получил от нее вкусный свадебный пирог, который она испекла своими руками!

Больших подробностей об этом загадочном происшествии нельзя было добиться от Ансельмуса никаким способом.

* * *

-- Ты обещал, -- сказал Лотар, когда Киприан кончил чтение, -- сообщить нам к этому происшествию эпилог, который, по твоим словам, интереснее самого рассказа, и потому связан с ним неделимо. Так поспеши же скорее предупредить наши вопросы: как и почему?

-- Не странным ли вам покажется, -- ответил Киприан, -- если я объявлю, что весь мой рассказ списан с натуры до мельчайших фантастических подробностей включительно.

-- Как так? -- воскликнули в один голос друзья.

-- Во-первых, -- продолжал Киприан, -- я должен вам сообщить, что приключение, приписанное в моем рассказе выдуманной личности Ансельмусу, случилось со мной самим. Опоздав какие-нибудь десять минут, я должен был остаться в осажденном со всех сторон Дрездене, где, после того как было дано Лейпцигское сражение, мы, точно ученики в Эммаусе, постоянно собирались небольшим кружком близких единомышленных друзей в уединенной комнате в одной кофейной, рассуждая о своем тягостном положении. Хозяин, называвшийся Эйхелькраут, был честный, прямой человек и заклятый ненавистник французов, которых он умел совершенно отвадить от посещения своего заведения. В комнату, где мы обыкновенно собирались, ни один француз не смел показать носа, если же какой-нибудь случайно туда заходил, то уж, наверно, рисковал не получить ни стакана вина, ни куска съестного, сколько бы при этом ни бранился и ни кричал. Сверх того, едва показывался француз в комнате, мертвое молчание сменяло оживленные разговоры, и все начинали, что было мочи, курить сигары и трубки; густые облака дыма наполняли комнату, и несчастный, незванный гость был, в буквальном смысле слова, выкуриваем вон, как оса, причем даже уходил, шипя и ворча от злости, вроде того, как жужжит это неприятное насекомое. Едва он удалялся, в

комнате отворяли окна, чтобы освежить воздух, и затем дружеские разговоры начинались по-прежнему.

Один известный поэт, обращавший в свое время на себя большое внимание газетными статьями, был душой нашего уютного общества, и я с особенным удовольствием припоминаю минуты, когда иногда ночью, взобравшись на кровлю дома, осматривали мы в слуховое окно всю окрестность, причем ясно видели огни в лагере осаждающих войск. Ясные ночи, освещенные светлой луной, сильно действовали на наше воображение, и нередко случалось, что, насмотревшись вдоволь и спустившись опять вниз к друзьям, мы украшали в наших рассказах виденное прибавками собственного вымысла.

Один из нашей компании (адвокат по профессии) всегда, Бог знает каким путем, постоянно узнавал самые верные новости и в совершенном согласии с прочитанным мной рассказом принес сведения о решенной на военном совете вылазке графа Лобау. Не менее верно и то, что я по пути домой в полночь встретил на улице военные обозы и двигавшиеся в тишине войска. Походного марша не играли. Они направлялись прямо к месту, так что я невольно должен был поверить полученному известию. На мосту я действительно встретил старого нищего, которого ни разу не видал в Дрездене до того времени. Проходившие французы подавали ему милостыню. Наконец, верно и то, что, возвратясь к себе домой, я увидел из окна верхнего этажа пламя, пылавшее на Мейсенских высотах, и которое можно было счесть и отдаленным пожаром, и бивачным огнем. Пламя имело пирамидальную форму и стояло совершенно неподвижно.

Один из жильцов дома уверял, что это должен быть непременно сигнальный огонь. Последствия доказали, что русские на самом деле получили известие о предполагаемой вылазке и успели стянуть к Мейсенским высотам батальоны, стоявшие до того очень далеко. Французы были отбиты после непродолжительного боя, причем особенно отличилось русское ополчение, напавшее на врага как бурный ураган. Прогнав противника обратно за шанцы, союзники возвратились на прежнюю позицию. Таким образом оказалось, что в самый момент военного совета у Гувиона-Сент-Сира решение его стало известно лицам, которые никак не могли на нем присутствовать. Замечательно, что наш адвокат передавал все самые мелкие подробности заседания совета, в том числе и то, что Гувион сначала противился решению, но потом согласился только из опасения быть обвиненным в бездействии. Итак, граф Лобау должен был сделать попытку пробиться для соединения с войсками императора. Каким путем союзники успели узнать все это в течение какого-нибудь часа -- осталось непроницаемой тайной. Не говоря уже о том, что не только не было никакой возможности перейти незамеченным

баррикадированный мост, но трудно было выйти из самого Дрездена, окруженного со всех сторон валами и палисадами с несменяемой бдительной стражей, так что нечего было и думать о том, чтобы живой человек мог миновать все эти препятствия в такое короткое время. Говорили что-то о телеграфических сигналах, которые будто были поданы с какого-то высокого дома с помощью зажженных свечей, но такого рода переговоры были бы слишком опасны и не могли остаться незамеченными. Словом, тайна осталась тайною, и неизвестность эта была более чем достаточна, чтобы возбудить живое воображение к всевозможным фантастическим предположениям.

-- Я, -- сказал с улыбкой Лотар, -- почтительно преклоняю мои колени перед святым Серапионом и перед достойнейшим из его учеников, будучи твердо уверен, что серапионовский рассказ о военных похождениях, в которых он участвовал сам, должен быть крайне интересен и поучителен для настроенных на фантастический лад военных. Я полагаю, что загадка о вылазке, если бы попытаться до ее причин, оказалась бы самой обыкновенной вещью. Уж не плавала ли девочка твоего хозяина, хорошенькая Доротея, в эльбских волнах, как Никса?

-- Не смейся, Лотар, -- возразил торжественным голосом Киприан, -- я, кажется, еще теперь вижу перед собой это прелестное существо, эту живую тайну! -- иначе ее невозможно назвать. Ее свадебный пирог я тоже получил. Я видел ее, осыпанную бриллиантами, в богатой собольей шубе на плечах...

-- Слушайте! Слушайте! -- закричал Винцент. -- Саксонская трактирная девушка! -- русская принцесса -- Москва! -- Дрезден! Вы должны припомнить все, что Киприан очень долгое время после окончания французской войны говорил какими-то притчами и загадками! Кажется, теперь пришло время разгадки!.. Говори, достойный друг! Ты будешь, ты должен говорить!.. Открой нам свое сердце, мой киприаннейший Серапион! и серапионнейший Киприан! Говори! -- мы слушаем!

-- А что если, -- вдруг возразил мрачным тоном Киприан, -- я промолчу? Если я должен и буду молчать?

Последние слова он произнес самым решительным, неприветливым голосом и при этом откинулся на спинку стула, что делал всегда, если был чем-нибудь глубоко затронут. Друзья переглянулись многозначительными, несколько удивленными взглядами.

-- Кажется, -- сказал, наконец, Лотар, -- наш сегодняшний Серапионов вечер вышел решительно неудачным, и мы должны отказаться от всякой попытки его оживить. Не попробовать ли заняться музыкой? Спеть что-нибудь комическое до невозможности?

-- Отлично! -- воскликнул Теодор, открывая фортепьяно. -- Если у вас нет под рукой канона, которым можно, по словам Тобиаса, вытянуть

даже у ткача три души из тела, то можно сочинить что-нибудь очень забавное в честь синьора Капуцци и его друзей. Попробуем спеть с листа итальянский трио-буффа. Я возьму на себя партию любовницы, Оттмар -- любовника, а Лотар протрещит короткие ноты и скороговорку комического старика.

-- А слова?.. слова? -- прервал Оттмар.

-- Эй, пойте, что взбредет в голову, -- ответил Теодор. -- Oh dio! Addio! Lascia mi mia vita!*

* *О Боже! Прощай! Оставь мне мою жизнь! (итал.).*

-- Нет, нет! Постойте! -- воскликнул Винцент. -- Если я сам не приму участия в пении, несмотря на то, что чувствую в себе божественный талант, которому недостает только органа Каталани, то буду, по крайней мере, вашим придворным поэтом и составлю вам либретто!

С этими словами Винцент схватил с письменного стола книгу "Indice deiteatrali spettacoli"* 1791 года и подал ее Теодору.

* *"Индекс театральных спектаклей" (итал.).*

Книга эта, появляющаяся в Италии ежегодно, не включает ничего более, кроме как поименного обозначения опер, композиторов, декораторов, певцов и певиц. Открыв ее наудачу, друзья напали на страницу о миланском театре и решили, что вместо текста в партии любовницы будут петь имена артистов, перемешивая их восклицаниями: Oh dio! -- oh cielo!*, а в партии любовника -- имена артисток с точно такими же прибавлениями. Комический же старик станет скороговоркой выкрикивать названия опер и разную брань...

* *О Боже -- о небо! (итал.).*

Теодор начал ритурнель совершенно в характере и форме множества итальянских комических опер и потом запел самым сладким, нежным голосом:

-- Lorenzo Colconi, Gaspare Rossari -- oh dio! -- Giuseppe Marelli, Francesko Sedini...

Затем начал Оттмар:

-- Giuditta Paracca, Teresa Ravini, Giovanna Velati -- oh dio!

Лотар быстрыми нотами, в восьмую долю, забормотал им вслед:

-- Le Gare renerose del maestro paesiello -- che vedo! La donna di spirito del maestro Mariella -- briconaccio! Pirro redi Epiro -- maledetti! -- del maestro Zingarelli!*

** Бессмысленный набор итальянских фраз с использованием имен композиторов и исполнителей.*

Пение Лотара и Оттмара, сопровождаемое подходящими жестами, между тем как Винцент выделял самые уморительные гримасы вместо Теодора, занятого аккомпанементом, скоро расшевелило всю компанию наших друзей. Они достигли даже некоторого рода комического вдохновения и совершенно впали в тон настоящего исполнения комических опер, конечно, в карикатурном виде, так что если бы кто-нибудь внезапно вошел в комнату, то не сразу бы догадался, что это была импровизированная музыка, причем чепуха произносимых слов могла бы озадачить хоть кого.

Все сильнее и сильнее разгоралась итальянская ссора, пока все представление не кончилось неудержимым взрывом дружеского хохота, к которому присоединился даже Киприан.

Однако друзья разошлись в этот раз, возбужденные более внешней веселостью, чем согретые чувством внутреннего довольства, как это бывало прежде.

Восьмое отделение

Серапионовы братья собрались снова.

-- Очень бы я ошибся, -- сказал Лотар, -- и даже отказался от звания привычного, опытного физиономиста, если бы не прочел сегодня на лице каждого из нас, не исключая и себя, страшного желания высказаться по первому сигналу. Но все-таки я боюсь, как бы и сегодня не обуял нас бес противоречия и несогласия, который не удалится до тех пор, пока не испортит всю прелесть нашей интимной беседы. Потому мне крайне бы не хотелось начинать какой-нибудь посторонний разговор, от которого да избавит нас святой Серапион. Для того же, чтобы избежать этой грозящей опасности и начать Серапионову беседу в полном мире и согласии, я предлагаю, чтобы Сильвестр тотчас приступил к чтению обещанного рассказа, который нам не удалось услышать в прошлый раз.

Друзья вполне согласились с предложением Лотара.

-- Канва моей повести, -- сказал Сильвестр, перелистывая принесенную тетрадь, -- сплетена на этот раз из нескольких, совершенно различных нитей, и потому вам предстоит решить, насколько мне удалось их соединить для составления одного целого. Тема, я должен вам сознаться, несколько суха, и потому я постарался собственными усилиями облечь ее в плоть и кровь для того, чтобы

воспроизвести картины рокового прошедшего времени, послужившего рамкой тому, что я намерен представить.

Сильвестр прочел:

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СОБЫТИЙ

СЛУЧАЙ С ДРЕВЕСНЫМ ПНЕМ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ОБЩЕЙ МИРОВОЙ СИСТЕМОЙ. МИНЬОНА И ЦЫГАН ИЗ ЛОРКИ, А ТАКЖЕ ГЕНЕРАЛ ПАЛАФОКС. РАЙ В ДОМЕ ГРАФА ВАЛЬТЕРА ПИКА.

-- Нет! -- сказал Людвиг своему другу Эваристу. -- Я убежден, что богиня счастья никогда не имела такого глупого исполнения ее велений, опрокидывающего без толку столы и чернильницы, ломающего головы и руки, каким представил его мой тезка Людвиг Тик во второй части своего "Фортуната"! Я остаюсь при мнении, что случай не существует! Наоборот, мировая система, словом, весь Макрокосм похож на правильно заведенные часы, которые непременно бы остановились, если бы вмешательство какой-нибудь враждебной посторонней силы повредило в них хоть одно ничтожное колесо!

-- Я не знаю, любезный друг, -- возразил на это с улыбкой Эварист, -- каким путем дошел ты до этого фатального, давно уже брошенного механистического мировоззрения и решаешься отрицать прекрасную идею Гете, сказавшего, что через всю нашу жизнь протянута светлая красная нить, глядя на которую, мы можем ясно почувствовать в себе присутствие более высшего, деятельного духа!

-- Притча эта меня не удовлетворяет, -- возразил Людвиг. -- Гете в своем "Избирательном родстве" заимствовал это сравнение, говоря об установлениях английского флота, на основании которых в каждом канате корабля непременно есть красная нитка, доказывающая, что канат этот казенная собственность. Нет, друг Эварист! Поверь, что все, что случается, -- непременно должно было случиться именно потому, что случилось. Это так называемая взаимозависимость событий, на которой зиждется принцип всякой жизни и всякого существования.

Едва сказал он эти слова, как вдруг...

Но здесь мы должны сообщить благосклонному читателю, что оба приятеля, Людвиг и Эварист, рассуждая таким образом, гуляли по

прекрасной зеленой аллее В...ского парка. Это было в воскресенье. Сумерки только что наступили; прохладный ветерок шелестел в кустах, начинавших оживать после духоты жаркого дня. В лесу раздавались веселые голоса горожан, вышедших на вечернее гуляние. Некоторые из них расположились на зеленой траве поужинать захваченными из дома припасами, тогда как другие, зарабатывавшие немного более, отправлялись в какой-нибудь из многочисленных окрестных трактиров, чтобы позволить себе угощение порошкошнее.

Людвиг, развивая между тем все далее и далее свою теорию о взаимозависимости событий, не заметил, хотя и был в очках, лежавшего на дороге толстого корня дерева и, споткнувшись об него, растянулся во весь рост.

-- Это было также predetermined! -- с комический серьезностью сказал Эварист. -- Если бы ты не упал, то мир разрушился бы в ту же минуту.

Говоря так, он поднял палку и шляпу своего приятеля и протянул ему руку, чтобы помочь встать. Людвиг, однако, так сильно расшиб колено, что вынужден был идти хромя, и сверх того, кровь обильно текла у него из носа. Потому, по совету Эвариста, оба они отправились в ближайший трактир, несмотря на то что Людвиг вообще избегал посещать подобные места, особенно же по воскресеньям, когда безыскусное веселье простого народа оскорбляло его аристократическое чувство, говорящее ему, что он не создан для подобного общества.

Подойдя к трактиру, они увидели, что на расстилавшейся перед ним зеленой поляне столпилось много людей, а из середины толпы раздавались звуки гитары и тамбурина. Людвиг, хромя самым жалким образом и держа на лице платок, прошел с помощью своего приятеля в дом и попросил с таким отчаянным видом воды и уксуса, что испуганная хозяйка решила, что ее посетитель уже совершенно при смерти. Пока он возился со своим коленом и носом, Эварист, на которого звуки гитары и тамбурина производили всегда -- мы скажем ниже, почему -- какое-то волнующее действие, вышел из дома и попытался пробраться в середину толпившихся людей.

Надо сказать, что Эварист принадлежал к числу тех немногих счастливцев, которые производят всегда и на всех самое благоприятное и располагающее к себе впечатление. Так и теперь, едва успел он обратиться к нескольким ремесленникам, вообще не отличавшимся учтивостью, особенно же во время воскресных гуляний, и спросить их, что тут происходит, как они немедленно очистили место, чтобы дать ему возможность подойти и посмотреть поближе. Протиснувшись, он в самом деле увидел любопытное зрелище, очень его заинтересовавшее.

В середине круга молоденькая девушка с завязанными глазами танцевала фанданго среди разложенных рядами яиц, ударяя в то же

время сама себе в такт тамбурином. Возле стоял небольшого роста горбатый человек с неприятным лицом, похожий на цыгана, и играл на гитаре. Танцовщице было на вид лет пятнадцать. На ней был красный вышитый золотом корсаж и короткая белая, украшенная пестрыми бантами юбка. Вся ее фигура и каждое движение были, казалось, олицетворенной прелестью и грацией. Тамбурин, который она то поднимала над головой, то грациозно кружила около тела, издавал под ее пальцами гармонические, совсем не свойственные этому инструменту тона, напоминавшие звуки то глухого отдаленного барабана, то нежное воркование голубков, то шум приближавшейся бури. Маленькие колокольчики тамбурина мелодично вторили этим звукам; гитарист не уступал девушке в искусстве и тоже умел извлекать из своего инструмента какие-то особые тона. Мелодия танца, ясно и сильно звучащая под его пальцами, вдруг сосредоточивалась и замирала на испанский лад в прекрасных аккордах. Тамбурин играл все сильнее и сильнее, струны гитары стонали под пальцами игрока, а танцовщица одушевлялась все более и более. Иногда ноги ее, после сильного и быстрого движения, останавливались рядом с разложенными яйцами, и зрители невольно вскрикивали, думая, что вот-вот сейчас они разобьются. Черные волосы девочки, разметавшиеся во время танца по плечам, делали ее похожей на менаду. "Кончай!" -- крикнул, наконец, по-испански гитарист. Она тотчас же ловко подкатила ногой яйца, собравшиеся в кучу, и, закончив танец как раз в такт с последним ударом тамбурина и заключительным аккордом гитары, остановилась как вкопанная.

Гитарист подошел и снял с ее глаз повязку. Она подобрала волосы, взяла снова тамбурин и, скромно потупившись, начала обходить с ним собравшуюся публику. Никто даже не подумал незаметно скрыться, а, напротив, каждый клал в тамбурин какую-нибудь монету. Эварист хотел сделать то же, но девушка, заметя его движение, быстро отдернула тамбурин в сторону.

-- Отчего ты не хочешь ничего получить от меня, милая девушка? -- спросил Эварист.

Она взглянула на него, сверкнув черными, как ночь, глазами, и отвечала тихо и серьезно:

-- Старик сказал мне, что вы пришли, когда я уже протанцевала лучшую часть моего танца, и потому мы не хотим требовать с вас платы.

С этими словами она поклонилась Эваристу и, возвратясь к своему другу, сняла с него гитару. Затем оба отошли прочь и сели за отдаленный стол.

Эварист, оглянувшись, увидел Людвига, сидевшего между двумя горожанами; большая кружка пива стояла перед ним на столе, а сам он

как-то боязливо кивал Эваристу, подзывая его к себе. Эварист подошел и сказал с улыбкой:

-- Что с тобой, Людвиг? С каких пор стал ты уважать плебейское пиво?

На что в ответ Людвиг быстро замотал головой и сказал:

-- Как можешь ты так говорить! Пиво один из самых благородных напитков, и я люблю его чрезвычайно, особенно, когда оно сварено так хорошо, как это.

Между тем собеседники Людвиг встали, намереваясь удалиться. Он раскланялся с ними со сладкой улыбкой и поблагодарил за участие, когда они, уходя, выразили ему глубочайшее сожаление о случившемся с ним несчастье и дружески пожали ему руку. Но едва они ушли, он с самым недовольным видом напустился на Эвариста:

-- Ты вечно поставишь меня в неприятное положение своим неуместным вмешательством! Если бы я не велел подать этой кружки пива и не проглотил против воли проклятого питья, то эти неуклюжие ремесленники могли бы обидеться и обойтись со мной грубо, а пожалуй, и прогнать меня вон из их компании. И вот после того, как я отлично сыграл свою роль, ты возбудил опять их подозрение!

-- Э, полно! -- смеясь возразил Эварист. -- Ведь если бы тебя выгнали и даже поколотили -- все это произошло бы вследствие взаимозависимости событий! Но послушай, что за прелестное представление увидел я благодаря твоему предопределенному в макрокосме падению!

И Эварист подробно рассказал Людвигу о прекрасном танце молоденькой испанки.

-- Это, наверное, Миньона! -- воскликнул Людвиг в восторге. -- Небесная, божественная Миньона!

Гитарист сидел очень недалеко от наших друзей и пересчитывал собранные деньги, танцовщица стояла рядом с ним возле стола и выжимала в стакан воды сок апельсина. Старик, наконец, спрятал деньги и весело посмотрел на нее; девушка подала ему приготовленное питье и ласково потрепала его по морщинистым щекам. Он, смеясь, схватил стакан и проглотил напиток с неприятной жадностью, между тем как девушка села возле и стала перебирать пальцами струны гитары.

-- О Миньона! -- снова воскликнул Людвиг. -- Дивная, божественная Миньона! Я, как второй Вильгельм Мейстер, спасу тебя от рук этого негодяя, который держит тебя в неволе!

-- Откуда, -- спокойно спросил Эварист, -- знаешь ты, что он негодяй?

-- Холодная же ты душа! -- возразил ему Людвиг. -- Холодная душа, в которой нет ни малейшего чутья к истинно прекрасному и полному романтичности! Неужели ты не видишь, сколько злобы, зависти и жадности сквозит в маленьких кошачьих глазах этого скверного

цыгана и сколько неприветливости в его морщинистом лице? Да! Я спасу несчастное дитя из дьявольских рук этого темнокожего чудовища! Если бы я только нашел средство заговорить с ней!

-- Нет ничего проще, -- сказал Эварист и, произнеся это, поманил девушку рукой.

Она тотчас же положил гитару на стол, подошла к друзьям и почтительно склонилась, опустив глаза в землю.

-- Миньона! -- вне себя воскликнул Людвиг. -- Милая, добрая Миньона!

-- Меня зовут Эмануэла, -- возразила девушка.

-- А этот негодяй, что сидит там, -- продолжал горячиться Людвиг, -- скажи, где он украл тебя, бедняжку, и каким способом опутал своими сетями?

-- Я вас не понимаю, -- отрывисто ответила девушка, быстро вскинув на Людвигу глаза, -- я не понимаю, что вы хотите сказать.

-- Ты испанка, милое дитя? -- спросил в свою очередь Эварист.

-- Да, сударь, -- отвечала танцовщица дрожащим голосом, -- вы могли это видеть и слышать, потому что таких вещей скрыть нельзя.

-- Значит, ты умеешь играть на гитаре и петь?

Девушка закрыла глаза рукой и прошептала чуть слышно:

-- Ах! Как охотно спела бы я что-нибудь и сыграла! Но мои песни жаркие!.. жаркие, как пламя! А здесь так холодно!

-- Знаешь ли ты, -- спросил нарочно громко по-испанки Эварист, -- песню "Laurel immortal"*?

* "Лавры бессмертия" (испан.).

Девушка всплеснула руками, взглянув на небо глазами, в которых заискрились слезы, и быстро схватила гитару со стула; затем, мгновенно вернувшись, точно на крыльях, к месту, где были друзья, тотчас же запела:

*Laurel immortal al gran Palafox,
Gloria de Espanna, da Francia terror*...*

* Лавры бессмертия великому Палафоксу, слава Испании -- Франции ужас (испан.).

Чувство, с которым она исполнила эту песню, было невыразимо. Вдохновение ее было проникнуто сознанием глубочайшей скорби, и в каждом звуке чудился раскаленный солнечный луч, перед которым не устояла бы никакая ледяная кора, если бы она покрывала сердце слушателя. Людвиг был вне себя от восторга и беспрестанно прерывал

пение неистовыми возгласами "браво!", "брависсимо!" и т.п., так что Эварист, наконец, серьезно попросил его умерить свои порывы.

-- Ну да! Ну да! -- проворчал Людвиг. -- Это на вас, бесчувственных людей, музыка не производит никакого впечатления!

Но, однако, исполнил просьбу Эвариста. Девушка, кончив между тем песню, прислонилась в изнеможении к стоявшему недалеко дереву и, перебирая пальцами струны гитары, звеневшие тихим пианиссимо в заключительных аккордах, не могла удержаться, чтобы не уронить на инструмент несколько горячих слез.

-- Ты, милое дитя, -- сказал глубоко взволнованным голосом Эварист, -- с избытком вознаградила меня за то, что я не видал твоего танца, а потому на этот раз, надеюсь, не откажешься принять от меня вознаграждение.

С этими словами он вынул из кармана кошелек с дукатами и подал его девушке. Она бросила на него изумленно благодарный взгляд и, схватив его руку, покрыла ее, с восклицанием: "Oh, Dios"*, тысячью горячих поцелуев.

* *О Боже (испан.).*

-- Да! Да! Так! -- воскликнул точно с каким-то вдохновением Людвиг. -- Одно золото достойно таких ручек! -- и затем, обратясь к Эваристу, он попросил его разменять ему талер, сославшись на недостаток в мелких деньгах.

Между тем горбатый спутник девушки встал со своего места, поднял гитару, которую Эмануэла уронила на землю, и, подойдя к Эваристу, рассыпался также в благодарностях за то, что он так щедро вознаграждал его дочку.

-- Негодяй! Бездельник! -- вдруг напустился на него Людвиг.

Старик со страхом попятился.

-- Ах, милостивый государь, -- заговорил он плачущим голосом, -- за что вы на меня сердитесь, что вам сделал честный бедняк Биаджио Кубас? Не смотрите, прошу вас, на мое темное некрасивое лицо! Я родился в Лорке и точно такой же христианин, как мы все.

Девушка быстро бросилась к старику, обхватила его одной рукой и воскликнула:

-- Уйдем отсюда, отец! Уйдем скорее!

Оба, действительно, тотчас же удалились, причем Кубас на прощание отвесил множество поклонов обоим друзьям, а Эмануэла бросила на Эвариста чудесный, исполненный благодарности взгляд, на какой только были способны ее прелестные глаза.

Едва эта занимательная парочка скрылась в лесу, Эварист сказал:

-- Вот видишь, Людвиг, как опрометчиво вывел ты свое заключение о старике. Правда, в нем очень заметен цыганский тип, но он сам сказал,

что родился в Лорке; а Лорка, ты должен это знать, старый мавританский город, и жители его удивительно славные люди, хотя их происхождение заметно в них до сих пор. Они очень не любят, когда им напоминают об этом, и обыкновенно начинают в таких случаях уверять, что они старинные христиане. То же и с этим стариком, у которого мавританский тип выродился в очень карикатурную наружность.

-- Нет! -- возразил Людвиг. -- Я с этим не согласен и остаюсь при убеждении, что старик отъявленный бездельник, и потому употреблю все усилия, чтобы вырвать из его когтей мою прелестную Миньону!

-- Если ты, -- ответил Эварист, -- считаешь бездельником старика, то я, знаешь ли, -- наоборот, не очень доверяю твоей прелестной Миньоне!

-- Что ты говоришь! -- воскликнул Людвиг. -- Не доверяешь этому небесному существу, у которого невинность сквозит в каждой черте лица! Вот в ком сидит холодный прозаик, не имеющий понятия ни о чем, кроме как о своих обыденных, ежедневных занятиях!

-- Не горячись, пожалуйста, так, мой дорогой энтузиаст! -- спокойно сказал Эварист. -- Сейчас ты увидишь, что недоверие мое к прекрасной Миньон основано вовсе не на каком-нибудь варварском бессердечии. Дело в том, что я только сейчас заметил, как ловко успела эта девочка, целуя мою руку, стащить с пальца перстень с драгоценными камнями, который я всегда носил. Очень неприятно, признаюсь, потерять эту вещь, напоминавшую мне о многом хорошем в прошлом.

-- Как! -- воскликнул Людвиг. -- Может ли это быть? Нет! Нет! Я этому не верю! Такое лицо, такие глаза не могут обманывать! Ты просто сам уронил или потерял этот перстень.

-- Посмотрим, что будет дальше, -- ответил Эварист, -- а теперь становится уже темно, и, я думаю, время нам возвратиться в город.

По дороге Людвиг все время болтал об Эмануэле, называя ее тысячью ласковых имен и уверяя, будто очень хорошо заметил, что она, удаляясь, бросила на него нежный взгляд и что это может служить доказательством впечатления, которое он на нее произвел.

-- Впрочем, -- прибавил он, -- это со мной уже не раз случалось в моих романтических приключениях.

Эварист не прерывал его ни одним словом, предоставив обуявшему Людвигу восторгу выливаться на полной свободе. Когда они дошли до городских ворот, Людвиг, не выдержав, бросился на шею своему другу и, точно желая заглушить раздавшийся над самыми их ушами барабан, возвещающий вечернюю зарю, крикнул во все горло, что он окончательно влюбился в прелестную Миньону и не пощадит никаких усилий, чтобы отыскать ее вновь и освободить из рук старого отвратительного цыгана.

Подойдя к дому Людвига, увидели они высокого лакея в богатой ливрее, который подал Людвигу адресованное на его имя письмо. Прочтя написанное и дав поспешно лакею ответ, Людвиг снова бросился на шею Эваристу, сжав его еще сильнее, и закричал:

-- О мой Эварист! Зови меня счастливейшим, достойнейшим зависти человеком в мире! Пойми мое блаженство! Радуйся вместе со мной!

-- Что случилось? -- прервал Эварист. -- Какую радость принесло тебе это письмо?

-- Не пугайся, -- ответил Людвиг, -- если я скажу, что письмо это отворило передо мной райские двери, зовущие меня к недостижаемому блаженству!

-- В чем же, наконец, дело, -- спросил Эварист, -- и что тебя так радует?

-- Знай же! пойми! вмести! дивись! восхищайся! кричи! приходи в восторг! -- завтра я приглашен на бал, который дает граф Вальтер Пик!.. Викторина! Там будет Викторина!

-- А прекрасная Миньона? -- перебил Эварист.

Но Людвиг, не отвечая, повторил еще раз:

-- Викторина! О Викторина! -- и опрометью бросился в дом.

ДРУЗЬЯ ЛЮДВИГ И ЭВАРИСТ. ЗЛОВЕЩИЙ СОН

О ПРОИГРЫШЕ В ПИКЕТ СВОИХ СОБСТВЕННЫХ НОГ.

НЕСЧАСТЬЯ ЗАЯДЛОГО ТАНЦОРА.

УТОМЛЕНИЕ, НАДЕЖДА И МОНСЕНЬЕР КОШЕНИЛЬ.

Нам следовало бы сообщить благосклонному читателю немного более подробностей о наших друзьях с тем, чтобы он мог знать, как относиться к каждому из них. Оба они принадлежали к званию, которое буквально следовало бы признать в этом мире несколько химерическим, а именно -- оба они были "свободнорожденные бароны". Воспитанные вместе, они были связаны с малолетства узами такой дружбы, которая сохранилась даже позднее, когда разность характеров, проявившись с годами, обусловила их совершенно различные поступки в одинаковых обстоятельствах жизни.

Эварист в детстве был олицетворением тех детей, которых обыкновенно называют послушными за то, что, находясь в обществе взрослых, они могут сидеть по целым часам, не проронив ни одного слова. Такие малютки обыкновенно с годами делаются деревянными куклами, но Эварист сумел избежать этой опасности. Даже в

молодости случалось ему, просидев при гостях долгое время неподвижно, с опущенными глазами, вдруг вскочить, встрепнуться и расплакаться Бог знает почему, точно его испугал какой-нибудь недобрый сон. Совсем иное было, когда он оставался один. Он воображал тогда себя окруженным множеством вымышленных лиц, исполнявших перед ним, как на сцене, все, что он читал или слышал. Столы, стулья, шкапы -- словом, все, что было в комнате, превращалось, по его желанию, в города, леса, деревни и живых людей. Более же всего приводило малыша в восторг, когда ему позволяли гулять одному в лесу или в поле. Он в восхищении бежал куда глядят глаза, обнимал деревья, бросался на зеленую траву, целовал цветы и т.п. Играть со своими сверстниками он не любил, за что и прослыл в общем мнении ленивым и нелюдимым. Ему не нравились ни скачки, ни беганье, ни гимнастические упражнения. Но замечательно то, что ежели в голову его западала мысль научиться чему-нибудь во что бы то ни стало, он спокойно и настойчиво начинал добиваться желаемого и всегда достигал цели, тогда как другие оставались при одном только желании. Так, например, если дело шло о том, чтобы влезть на высокое дерево, то Эварист, видя тщетные попытки других, всегда забирался на верхушку, но только -- когда оставался один. Невозмутимый внешне, безучастный ко всему, он, однако, с необыкновенной живостью схватывал то, что его интересовало действительно, обнаруживая такую глубину чувства, что каждый, видевший это, невольно изумлялся твердости и силе его воли. Многие опытные воспитатели решительно становились в тупик, чтобы определить его характер, и только один из них (бывший последним) решился провозгласить, что у мальчика была поэтическая душа, чем привел в неопиcуемый ужас отца Эвариста при мысли, что сын его, пожалуй, унаследовал характер и душу матери, у которой постоянно делались головная боль и тошнота после всякого выезда в свет. Впрочем, один близкий приятель старика, блестящий придворный камергер, успокоил его уверением, что учитель, позволивший себе сказать такую глупость, был совершенный осел, упустивший из виду, что в жилах мальчика текла благородная дворянская кровь, а потому и нрав его должен быть чисто баронский, а отнюдь не поэтический. Это значительно успокоило напуганного отца.

Итак, легко себе представить, какой юноша должен был развиваться из мальчика с подобными задатками. На лицо его, казалось, сама природа наложила ту печать, которой она удостаивает немногих избранных любимцев. Но любимцы природы имеют одну особенность: она состоит в том, что их могут понимать только такие же избранные, как они сами, и это было причиной, почему Эварист никогда не был понят окружающими его людьми, а, напротив, считался холодной натурой с прозаической душой, неспособной прийти в восторг даже по поводу новой трагедии. В особенности, общество модных, имевших претензию

на остроумие дам, которым, впрочем, следовало бы понимать подобные вещи, никак не могло постичь, почему лоб Аполлона, выразительно выгнутые брови, пронизательные глаза и изящно сложенные губы могли принадлежать человеку без сердца и души. А между тем все казалось таковым только потому, что Эварист не обладал искусством переливания из пустого в порожнее в дамском обществе и не умел предаваться пустой болтовне, как скованный Ринальд.

Совершенно иным был его друг Людвиг. В детстве это был живой, резвый мальчик, которому пророчили, что для него будет тесен весь мир. В играх с товарищами он постоянно первый затевал всевозможные шалости и, не зная его хорошо, следовало удивляться тому, каким образом он выходил из них целым, хотя все объяснялось очень просто, -- будучи гораздым на выдумки, Людвиг делался труслив как заяц, когда доходило до их исполнения. Достигнув зрелой юности, он стал вполне приличным молодым человеком, умевшим при случае написать стишки, играл на кое-каких инструментах, порядочно рисовал, говорил на нескольких языках и вообще производил впечатление порядочно образованного человека. Более всего владел он искусством с увлечением говорить и горячо распространяться о своих намерениях и прожектах. Но, к сожалению, в таких случаях он был подобен барабану, который, как известно, гремит тем сильнее, чем больше в нем пустого места. Впечатление, производимое на него созданиями искусства или великими идеями, походило на щекотку, которая, раздражая поверхность кожи, никогда не проникала до внутренних фибр. Люди, подобные Людвигу, часто говорят: "Я хочу", но редко переходят от желания к действию. Но так как особа, громко говорящая о том, что она намеревается сделать, всегда имеет больше успеха в обществе, чем те, которые трудятся втихомолку, то вследствие этого принципа Людвиг сумел прослыть способным на многое, хотя большинству и в голову не приходило спросить, что же он действительно совершил из того, что провозглашал так громко. Конечно, находились люди, приступавшие к нему с настойчивыми вопросами, исполнил ли он то или другое из задуманного, но такие вопросы только его огорчали, а в особые минуты, когда он оставался наедине с собой, он должен был даже сознаться, до чего ничтожны были его намерения, которые он оставлял без осуществления. Раз, в минуту такого настроения, отыскал он где-то книгу, в которой излагалась теория о взаимозависимости событий и, прочтя ее, ухватился с восторгом за это учение, приходившееся как нельзя более к его взглядам на человеческую деятельность. С тех пор, если громко провозглашенные им прожекты не удавались, он стал храбро сваливать причину на эту связь событий и успокаивал себя самого таким объяснением.

Мы полагаем, благосклонный читатель согласится, что теория эта, по крайней мере очень удобна.

Так как Людвиг, несмотря на все это, был все-таки молодым человек с приятной наружностью, то ему очень легко было сделаться любимцем всякого модного кружка, если бы он не был, на свою беду, чрезвычайно близорук, что не раз становилось причиной иногда очень неприятных приключений, которые случались с ним обычно в дамском обществе, в котором Людвиг привык считать себя непобедимым героем; часто он, чтобы не ошибиться в том, с кем он разговаривает, и вследствие несчастной близорукости, подходил и вглядывался в лицо так близко, что многие принимали это за нахальство и составляли наперед нелестное о нем мнение.

На другой день после того, как Людвиг был на балу у графа Вальтер Пика, Эварист получил от него рано утром записку следующего содержания: "Дражайший! милейший! Я убит! поражен! потерян! низвергнут в пропасть, в минуту самых сладких надежд! То, от чего ожидал я блаженства, сделалось для меня величайшим несчастьем! Приди и утешь меня, если это в твоих силах!"

Придя к Людвигу, Эварист нашел его лежащим на диване, бледного, расстроенного, с повязанной головой.

-- Это ты? -- заговорил Людвиг, увидя Эвариста. -- Да! Ты, уверен я, поймешь и почувствуешь мои страдания, послушай же несчастную повесть моих злоключений и реши, погиб ли я навсегда!

-- Вероятно, -- возразил с улыбкой Эварист, -- ты встретил на балу не то, что ожидал?

Людвиг в ответ только тяжело вздохнул.

-- Что же? -- заговорил снова Эварист. -- Надо думать, что твоя Викторина обошлась с тобой очень холодно.

-- О! -- воскликнул Людвиг. -- Я оскорбил ее! Оскорбил жестоко!

-- Боже! Какое несчастье, -- сказал Эварист, смеясь. -- Как же это могло случиться?

Людвиг вздохнул снова и затем продекламировал с трагическим видом:

*Как солнечному диску при восходе
Предшествует заря -- так точно мы
Предчувствием способны чуют горе,
И вечером предсказываем день!*

-- Да! -- продолжал он плачущим тоном. -- Да, Эварист! Как в часах рождается перед боем хрипение колес, так точно всякому несчастью предшествуют непременно какие-нибудь предзнаменования! Уже в самую ночь перед балом меня смутил зловещий сон. Мне снилось, будто, придя на бал, я с удивлением заметил, что не могу пошевелить

собственными ногами и, взглянув в зеркало, с ужасом обнаружил, что вместо моих красивых стройных ног, у меня торчали старые уродливые ноги подагрика, президента консистории. Пока я недоумевал, как это могло случиться, вдруг порхнул передо мной легче птички сам президент с Викториной под руку и на ходу бросил мне насмешливое замечание, будто я проиграл ему мои ноги в пикет! Можешь себе представить, с каким ужасом проснулся я после такого сна! Он поразил меня до такой степени, что даже, принявшись завтракать, я в рассеянности обжег губы шоколадом, и ты можешь видеть следы до сих пор, несмотря на густой слой помады, которым я покрыл обожженное место. Но, впрочем, ведь я знаю, тебе чужая беда пустяки, а потому я не стану передавать всех несчастных приключений этого вечера. Скажу только, что, одеваясь, я разорвал свои шелковые чулки и оторвал две пуговицы на жилете; садясь в карету, уронил в канаву мой Веллингтонов плащ и даже на полдороге к месту, вздумав укрепить пряжки на башмаках, с ужасом заметил, что осел-камердинер надел на оба башмака разные банты! Что тут было делать? Пришлось возвратиться и вследствие того опоздать на целых полчаса.

Викторина, однако, встретила меня с очаровательной улыбкой. Я пригласил ее на следующую кадрили. Она согласилась, но тут-то начались мои злоключения!

-- Взаимозависимость событий! -- прервал Эварист.

-- Называй это, как хочешь! -- продолжал Людвиг. -- Сегодня мне решительно все равно! Дело, однако, в том, что проклятый случай с древесным пнем отозвался мне на балу. Танцуя, я почувствовал страшную боль в ушибленном колене, а Викторина, как назло, вдруг сказала так громко, что слова ее услышали все:

-- Так танцуя, можно заснуть!

Музыкантам тотчас же подали знак ускорить темп, а с тем вместе и мне пришлось выплясывать гораздо энергичнее прежнего. Я мужественно выносил адскую боль и даже старался сохранить на лице подобие улыбки. Тем не менее Викторина заметила, что мне было не по себе, и даже сказала:

-- Вы сегодня что-то неуклюжи, любезный барон! Я не узнаю в вас прежнего танцора!

Тысяча кинжалов пронзили мое сердце при этих словах!

-- Бедный друг! -- сказал Эварист, с трудом сдерживаясь. -- Верь мне, что я постигаю всю глубину твоего несчастья.

Людвиг вздыхал и стонал, Эварист же был настолько любезен, что сумел, хотя и с трудом, подавить душивший его смех. Он понимал, правда, что несчастья, подобные случившемуся с бедным Людвигом на балу у графа Вальтера Пика, могли бы привести в отчаяние и не такого нервного, впечатлительного человека.

Наконец Людвиг, выпив чашки две шоколада, в этот раз не обжигая себе губ, как в день злосчастного события, пришел немного в себя и, казалось, решился перенести с твердостью постигшее его горе.

-- Послушай, -- сказал он Эваристу, который занялся между тем чтением какой-то книги, -- послушай, любезный друг! Ведь ты был также приглашен на этот бал?

-- Конечно, -- равнодушным голосом отвечал Эварист, не отнимая глаз от книги.

-- И ты не пришел? И ты не сказал мне ни слова об этом приглашении?

-- Меня задержало одно обстоятельство, более важное, чем любой бал на свете, даже если бы его давал сам китайский император.

-- Графиня Викторина, -- продолжал Людвиг, -- с участием осведомлялась, отчего тебя нет и очень часто поглядывала на дверь. Право, я готов был даже ее к тебе приревновать, вообразив, что тебе удалось в первый раз в жизни пленить женское сердце, но отзывы ее о тебе меня успокоили. Знай же, что она считает тебя холодным, бессердечным человеком, чье присутствие способно расстроить всякое веселье в обществе. Она прибавила даже, что боялась, как бы ты не испортил ей удовольствие этого вечера, и потому была очень рада, видя, что тебя нет. Право, искренне говоря, я не понимаю, чем мог ты при твоём уме и наружности так дурно себя зарекомендовать в глазах женщин, так что я постоянно перебиваю тебе дорогу? Холодный ты человек! холодный! Я думаю, у тебя даже нет понятия об истинном чувстве любви, и вот причина, что и тебя никто не любит! А я! Я уверен, что даже гнев Викторины был выражением самой искренней, горячей любви, которой она одарила меня, счастливейшего из людей!

В эту минуту дверь комнаты отворилась, и в нее вошел какой-то оригинальный маленький человек, одетый в красный кафтан с большими стальными пуговицами, черные шелковые панталоны и сильно напудренный парик, перевязанный лентой.

-- Милейший Кошениль! -- воскликнул Людвиг. -- Чему обязан я удовольствием вас видеть?

Эварист между тем, сославшись на какое-то дело, встал и удалился, оставив своего друга одного с камердинером графа Вальтера Пика.

Кошениль, сладко улыбаясь, с опущенными вниз глазами, рассыпался в расспросах о болезненном припадке, приключившемся с почтенным бароном на балу во время котильона; назвал даже эту болезнь каким-то латинским именем вроде "raptus" и заключил объявлением, что он, монсеньер Кошениль, пришел осведомиться о теперешнем состоянии его здоровья.

-- Что raptus! Мой дражайший Кошениль! -- воскликнул в ответ на это Людвиг и затем рассказал своему гостю подробно всю историю,

убедительно прося ловкого камердинера уладить, если возможно, последствия этого прискорбного случая.

В свою очередь Людвиг узнал, что дама его в котильоне была кузина графини Викторины, недавно приехавшая из деревни ко дню именин графа; что она и Викторина, будучи близкими подругами, часто сговаривались, как это принято у молодых девушек, одеваться совершенно одинаково. По словам Кошениля, гнев графини Викторины вовсе не был серьезен. Он даже слышал, подавая мороженое и ей, и ее кузине, что они обе громко и весело смеялись, упоминая имя многоуважаемого барона Людвиг. Он, впрочем, прибавил, что кузина очень увлекающегося характера и может серьезно предположить, что барон Людвиг обратил на нее серьезное внимание, которое окончится брачным предложением, но что он, Кошениль, употребит, со своей стороны, все усилия, чтобы осторожно представить ей вещи в настоящем их виде, и для этого поведет атаку завтрашним же утром, когда будет убирать головы обеих графинь, причем постарается внушить, что признание барона в любви к кузине было не более как любезная танцевальная болтовня, которой никак не следует придавать особенного значения. В заключение Кошениль дал Людвигу совет постараться как можно скорее увидаться с графиней Викториной и обещал даже устроить это свидание сегодня. В этот день, по его словам, был назначен у президента консистории эстетический чайный вечер, для которого последний -- как Кошениль узнал от камердинера русского посланника -- выписал через посольство какой-то особенный, ароматный чай, прямо с китайской границы. На этом-то вечере и следовало Людвигу увидаться с Викториной для того, чтобы объяснить по поводу происшедшего на балу.

**ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ЧАЙНЫЙ ВЕЧЕР. ПРИПАДОК КАШЛЯ
С ТРАГИЧЕСКИМ ПОЭТОМ. ИСТОРИЯ ПРИНИМАЕТ
МРАЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НАЧИНАЕТ ПОВЕСТВОВАТЬ
О КРОВАВЫХ БИТВАХ, САМОУБИЙСТВАХ И Т.П.**

Благосклонный читатель должен согласиться последовать за нашими друзьями, Людвигом и Эваристом, на эстетический чайный вечер, который давала супруга президента консистории Фейеса. На подобных вечерах гость встречал обыкновенно около двадцати или более разряженных дам, сидевших в строгом молчании полукругом. Некоторые улыбались, сами не зная чему; иная, сидя, внимательно

рассматривала носки своих ботинок, играя ими, точно хотела повторить па какого-нибудь нового танца; третья, казалось, спала и видела сладкие сны; четвертая беспокойно обводила глазами всех присутствующих, чтобы кто-нибудь не заметил, будто взоры ее останавливаются на каком-нибудь молодом человеке предпочтительнее, чем на других; пятая беспрестанно шептала: "Прелестно!.. божественно!.. очаровательно!", относя эти восклицания к скучнейшей и глупейшей новой трагедии, которую с декламаторским жаром читал юный поэт. Во время чтения раздавалось порой, вроде аккомпанемента, какое-то отдаленное рычание, похожее на раскаты грома. Это был голос самого президента, игравшего в соседней комнате в пикет с графом Вальтером Пиком. Между тем поэт, надсаживаясь изо всех сил, читал сладчайшим голосом:

*Дай еще мне! дай еще мне
Твой услышать сладкий голос!
Да! твой голос! дивный голос,
Что примчался из пучины звездной тверди
Слушай, слушай!..*

Вдруг голос президента раздался на этот раз уже совершенно отчетливо, как настоящий громовой удар: "Черт побери! Что же это такое!" Все невольно вздрогнули и даже вскочили со своих мест. Но увлекшийся поэт не замечал ничего и продолжал с прежним жаром:

*Чу! влюбленный слышен шепот!
Он струей сладчайшей меда
С губ ее прелестных льется!*

Но, однако, судьба, еще более жестокая чем та, какую поэт вывел в своей трагедии, помешала ему окончить чтение. Едва он возвысил голос, чтобы с пафосом прочесть сцену проклятия, произносимого героем, как вдруг что-то случилось у него в горле, и он до того раскашлялся, что был почти без чувств выведен вон из комнаты.

Внезапный этот перерыв, по-видимому, несколько не огорчил жену президента, на лице которой можно было уже давно заметить следы утомления и скуки. Едва нарушенное спокойствие восстановилось, она предложила, не возьмется ли кто-нибудь в обществе, вместо монотонного чтения, рассказать живую, увлекательную повесть, причем прибавила, что, по ее мнению, это должен исполнить Эварист в наказание за его настойчивое молчание во все продолжение вечера.

Эварист скромно объявил, что он очень плохой рассказчик и что, кроме того, большинство известных ему историй носят крайне серьезный, даже страшный характер, а потому едва ли могут оживить и

развеселить общество. Но едва успел он это сказать, как все молоденькие находившиеся в комнате барышни одновременно воскликнули: "Страшный! Ах, как это весело! Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь страшное!" -- так что Эваристу поневоле пришлось повиноваться.

Он занял ораторское место и начал так:

-- Мы все еще очень хорошо помним то ужасное время, когда, казалось, беспощадный ураган промчался на наших глазах по всей вселенной и когда человеческая натура, взволнованная до самых оснований, породила множество чудовищных поступков, подобно тому, как возмущенный до глубины океан выбрасывает на поверхность невиданных, уродливых тварей, таящихся в его пучине. Сравнение это как нельзя более подходит к тому, что происходило во время последней войны за независимость в Испании, когда страна эта сделалась театром всего, что только могли произвести львиное мужество, храбрость, ненависть, отчаяние и безусловная борьба не на жизнь, а на смерть. Рассказ мой относится к приключениям одного из моих друзей, сражавшегося под знаменами Веллингтона, и которого я назову Эдгардом. Эдгард до этого жил уединенно в Гамбурге, куда он удалился из своего родного города, подавленный наплывом грустных чувств при мысли о позоре и унижении своей родины. Комната, которую он занимал, граничила стена об стену с другой, где жил какой-то больной, никуда не показывавшийся старик. Эдгард часто слышал его глубокие вздохи и невнятные на что-то жалобы, которых, впрочем, он никогда не мог разобрать. Старик беспрестанно ходил взад и вперед по комнате и начал в последнее время даже выздоравливать, что можно было заключить потому, что порой под пальцами его стали слышаться аккорды гитары, в которых Эдгард тотчас же узнал напевы знакомых ему испанских романсов.

Из рассказов хозяйки Эдгард узнал, что старик был испанский офицер романского отряда, оставивший службу по болезни и находившийся к тому же под тайным надзором, вследствие чего мог выходить только с большими предосторожностями.

Однажды ночью Эдгард услышал, что обычные звуки гитары под руками старика раздавались все громче и смелее, а затем начал он громким голосом петь известную песню дона Хуана Баптиста де Арриаца: "Profecia del Pirineo"*.

* *Пиринейское пророчество (испан.).*

*Y oye que el gran rugido
Es ya frueno en los campos de Castilla
En las Asturias belico alarido,
Voz de venganza en la imperial Sevilla*

*Juntoa Valencia es rayo.
Y terremoto horrisono en Monsayo
Mira en hares guererras,
La Espanna togo hieriento hasta sus fines
Batir Tambores, tremolar banderas
Estallar bronces resonar clarines,
Y aun las antiguans lanzas,
Salir del polvo a renovar venganzas.*

-- Если бы уважаемый рассказчик, -- прервала хозяйка, -- был так добр передать смысл этих стихов, то доставил бы нам всем большое удовольствие, потому что ни я, ни мои гости по-испански не знаем.

-- Эти прекрасные, сильные слова много потеряют в переводе, -- сказал Эварист, -- но тем не менее вот возможно более близкое переложение:

*Ты слышишь громовые стоны,
Что с лютни кастильской несутся!
В Астурии слышатся стоны
И в сердце севильцев бедой отдаются.
Валенсия вся пошатнулась
И почва Монсайи гремя содрогнулась!
До самой границы далекой
Народ на защиту поднялся,
Знамена развились широко,
Звук труб и литавров раздался!
В минуту борьбы благородной
И ржавые копы пригодны!*

Слушая вдохновенную песню старика, Эдгард пришел в восторг сам. Целый новый мир открылся его глазам. В одну минуту понял он, что следовало ему делать и каким путем найти исход томившим его мыслям о деятельности и борьбе за правое дело. "Да! -- воскликнул он сам себе, -- в Испанию! в Испанию!", но в эту минуту пение и игра старика вдруг прекратились. Эдгард не мог преодолеть желания увидеть того, кто вдохнул в него новую жизнь; дверь в комнату незнакомца подалась под усилием его руки, но в то самое мгновение, как он вошел в комнату, старик быстро вскочив с постели и вскрикнув "traidor!*" , бросился прямо на него с поднятым кинжалом.

* *Изменник! (испан.).*

Эдгард едва успел быстрым оборотом предотвратить удар и крепко схватить старика за руки; а затем, обратясь к нему самым учтивым

тоном, попросил извинить его за такое внезапное вторжение в чужую комнату, прибавив, что не злой умысел, а, напротив, неодолимое влечение, возбужденное в нем слышанной им песнью, побудили его к такому поступку. Продолжая, он объявил, что принял твердое намерение отправиться в Испанию и принять участие в борьбе за ее свободу. Старик пристально на него посмотрел и сказал тихо: "Возможно ли это?", когда же Эдгард с горячностью повторил свои слова, добавив, что ничто в мире не поколеблет его решения, он крепко прижал молодого человека к своей груди, отбросив далеко в сторону все еще сверкавший в его руке кинжал.

Эдгард узнал, что старика звали Бальтасаром де Луна и что он происходил от одного из самых благороднейших родов в Испании. Брошенный без помощи и друзей в жертву нужде, он был осужден проводить печальные дни вдали от своей родины. Немалого труда стоило Эдгарду убедить его попытаться бежать через Англию; когда же возможность этого стала в глазах старика очевидной, то он мгновенно переродился так, что стал в глазах Эдгарда как будто совсем другим человеком. Огонь разлился по его жилам, и не старика, а юношу можно было заподозрить в исполненных желчи и вдохновения упреках, которые полились с его языка при упоминании притеснителей его отечества.

Эдгард сдержал свое слово. Ему удалось обмануть бдительность стражи и благополучно высадиться, вместе с Бальтасаром де Луна, на берегах Англии. Но судьба не захотела исполнить пламенного желания несчастного изгнанника -- увидеть вновь свою родину! Болезнь его возобновилась, и он умер в Лондоне на руках Эдгарда. Тем не менее, казалось, что какой-то пророческий голос шепнул ему в минуту смерти о близком освобождении его отечества. Когда он произносил косневшим уже языком последние молитвы, с губ его внезапно ясно сорвалось слово "виттория!", и в тот же миг какое-то небесное просветление озарило заострившиеся черты улыбкой блаженства.

Некоторое время спустя, когда победоносные войска врагов, опрокидывая все препятствия, готовы были закабалить Испанию под позорное иго навсегда, Эдгард находился в бригаде английского полковника Стеррета, стоявшую под Таррагоной. Полковник находил местность неудобной для высадки войск, и обстоятельство это тяжело томило жаждавшего славы и подвигов юношу. Он покинул англичан и присоединился к отряду испанского генерала Контрераса, заперевшегося в крепости с восемью тысячами лучших испанских войск. Тем не менее Таррагона была, как известно, взята штурмом, причем сам Контрерас, раненный штыком, был взят в плен противником.

Все адские ужасы едва ли достаточны для изображения тех страшных сцен, которых привелось видеть Эдгарду. Во-первых, вследствие ли

измены или по непонятной оплошности полководца, но только произошло то, что войска, защищавшие главный вал, скоро остались без боевых припасов. Долго отражали они штыками врывавшегося в ворота неприятеля, и когда должны были отступить, не выдержав его жестокого огня, то в воротах, в которых было очень мало места, произошла жесточайшая, какую только можно себе представить, резня. Однако отряд храбрецов в четыре тысячи человек, в числе которых был Эдгард, под началом Альмейры, успел-таки пробиться сквозь ряды неприятеля и выйти в открытое поле. Сбив в порыве отчаяния колонны врагов, они быстро направились по дороге в Барселону и уже считали было себя в безопасности, но вдруг, к несчастью, наткнулись на замаскированную неприятельскую батарею, осыпавшую их таким страшным огнем, что большинство солдат было убито на месте. Эдгард, получивший рану также, упал без чувств на землю.

Сильная боль в голове была первым чувством пробудившегося в нем вновь сознания. Кругом была глубокая ночь, усилившая еще более объяввшее его чувство ужаса, когда он слышал раздирающие стоны лежавших рядом раненых. С трудом удалось ему подняться и кое-как поплестись по дороге. С рассветом увидел он, что стоит на краю глубокого оврага, а в нескольких шагах от него виднелся отряд вражеской конницы. Плен был неизбежен, но вдруг, на счастье Эдгарда, из ближнего кустарника посыпались пули, которыми было разом убито несколько всадников, и вслед за тем отряд герильясов стремительно бросился на остальных. Эдгард громко крикнул по-испански о помощи и был тотчас же радушно принят друзьями. Рана, полученная им, оказалось небольшой царапиной, от которой он выздоровел так скоро, что был в состоянии присоединиться к отряду дона Иоахима Блакеса и достичь вместе с ним после нескольких небольших стычек до стен Валенсии.

Кому неизвестно, что прекрасная, орошаемая Гвадалквивиром равнина, среди которой гордо возвышаются башни Валенсии, называется всеми земным раем. Вечно ясное небо превращалось ее жителями круглый год в светлый праздник, и вот эта Валенсия сделалась теперь местом кровавых стычек и битв. Вместо любовного шепота, раздававшегося в прежние ночи под каждым окном, слышны были там теперь только гром выстрелов, пороховые взрывы, стук оружия да грозный топот войск, проходивших по улицам. Всякое веселье исчезло, только одно предчувствие ожидаемых ужасов читалось на лицах жителей, справедливо поддерживаемое доходившими слухами о дикой ярости и распущенности осаждавших врагов. Аламеда, любимое место гуляний в Валенсии, бывшее прежде местом, где собиралось лучшее общество, обратилось теперь в лагерь для войск.

Как-то раз Эдгард, гуляя по Аламеде, прислонился к дереву и печально думал о злом роке, преследовавшем Испанию. Стоя таким образом, заметил он высокого, с горделивой осанкой человека, который медленно ходил взад-вперед и каждый раз пристально вглядывался в его лицо. Эдгард, удивленный таким поведением незнакомца, решился, наконец, к нему подойти и учтиво спросить, чего он от него хочет:

-- Значит, я точно не ошибся, -- сказал в ответ незнакомец, сверкнув глазами, -- вы не испанец, но по вашей одежде я вижу, что вы один из наших, и это меня крайне удивляет.

Эдгард, хотя и был несколько задет довольно грубой манерой речи старика, но тем не менее очень спокойно объяснил ему причину, приведшую его в Испанию. Но едва во время своего рассказа упомянул он имя Бальтасара де Луна, как незнакомец, мгновенно смягчившись, воскликнул:

-- Что вы сказали? Бальтасар де Луна! Мой вернейший друг и родственник! Единственный из оставшихся мне на земле!

Эдгард в ответ повторил свой рассказ и не упустил случая подтвердить, с какой светлой надеждой умер Бальтасар де Луна.

Новый знакомый Эдгарда всплеснул руками и устремил в небо полные слез глаза, причем по движению его губ можно было думать, что он говорил что-то покинувшему этот мир другу.

-- Извините, -- сказал он затем, обратившись к Эдгарду, -- извините, если я, приученный опытом к недоверию, сурово обошелся с вами при первой встрече. Поверьте, что мой характер не таков, но мы имеем основание предполагать, что коварство наших врагов доходит до того, что они подкупают иностранных офицеров, заставляя вступать их в нашу армию, чтобы сеять в ней семена измены. Падение Таррагоны как нельзя лучше подтвердило это подозрение, и наша хунта постановила изгнать из испанской армии всех иностранцев. Дон Иоахим Блакес объявил, что он, все-таки, признает необходимым удержать при себе несколько иностранных инженеров, но дал честное слово расстрелять каждого при малейшем подозрении в измене.

-- Если вы, -- заключил он, -- точно друг моего Бальтасара, то знайте, что я сказал вам все! -- с этими словами он оставил Эдгарда.

Между тем счастье, казалось, совершенно оставило испанцев. Отчаяннейшие усилия не могли ничего сделать против все более и более теснявших их врагов. Валенсия была полностью окружена, так что Блакес, доведенный до крайности, решился, наконец, выйти из города и пробиться сквозь неприятеля с отрядом в двенадцать тысяч человек. Известно из истории, что предприятие это не удалось и что большинство храбрецов было убито, а остальные в беспорядке отступили обратно в город. Эдгард, предводительствуя полком егерей Овигуэлы, дольше всех держался против врагов, стараясь прикрыть, по

крайней мере, отступление и сделать его менее пагубным, но тут, точно так же, как под Таррагоном, был он внезапно ранен пулей в самом разгаре битвы.

Время, проведенное им в полусознательном состоянии, описывал он мне самым загадочным образом. Иной раз ему чудилось, что он все еще продолжает сражаться, слышит гром выстрелов и дикие крики солдат; ему казалось, что испанцы стремятся победоносно вперед, но едва он в восторге хотел вскочить, чтобы вести свой отряд в бой, тяжелое, бесчувственное состояние овладевало им снова. Потом вдруг виделось ему, что он лежит на мягкой постели, а кто-то подает ему освежающее питье; при этом он слышит чей-то ласковый голос, но, однако, никак не может прийти в себя настолько, чтобы понять, где он был и что с ним происходит. Однажды, когда ему опять пригрезилась битва, почувствовал он внезапно, будто кто-то крепко схватил его за плечи, и в то же время неприятельский солдат выстрелил ему прямо в грудь, причем пуля, коснувшись тела, поразила его не вдруг, не сразу, а, напротив, стала медленно впиваться прямо в сердце. Невыносимая боль заставила его вновь потерять сознание, и он подумал, что сейчас уже точно умрет.

Припадок этот был последним, и, очнувшись вновь, Эдгард сразу почувствовал, что к нему вернулось сознание. Оглядевшись, он увидел себя в такой странной обстановке, что долго не мог дать себе отчета, что с ним происходит. Он лежал на мягкой постели, с шелковыми роскошными занавесями, а между тем комната, где он находился, скорее походила на подвал с красными, каменными стенами, чем на человеческое жилище. Тусклая лампа бросала вокруг едва заметный брезжущий свет, и ни в одной из стен не было заметно ни малейшего следа дверей или окон. С трудом поднявшись на ослабевших руках, Эдгард увидел францисканского монаха, сидевшего в темном углу и, по-видимому, погруженного в дремоту. "Где я?" -- воскликнул он с усилием, на какое только был способен.

Монах, проснувшись, снял нагар с лампы, поднес ее к лицу Эдгарда, и, пощупав ему пульс, проворчал что-то себе под нос, чего Эдгард не понял. Едва хотел он попросить у монаха объяснения, как вдруг в стене отворилась потайная дверь и в нее вошел человек, в котором Эдгард тотчас признал старика, встреченного им на Аламеде. Монах, обратясь к нему, объявил что кризис прошел благополучно. "Ну, слава Богу!" -- воскликнул тот и радостно приблизился к постели Эдгарда.

Эдгард снова хотел было что-то спросить, но старик попросил его замолчать, сказав, что ему может быть губительно малейшее напряжение. Он прибавил, впрочем, что сейчас объяснит ему в коротких словах все дело, очень хорошо понимая, как должна была поражать Эдгарда странная обстановка, в которой он находился.

Оказалось, что Эдгард, получив рану в грудь, упал без чувств и был вынесен из боя на руках верными товарищами, несмотря на страшный огонь врагов, и невредимо доставлен в город. Хозяин дома, Рафаэль Мархец -- так звали вошедшего старика -- не хотел отправлять в госпиталь друга своего Бальтасара и приютил его в своем доме, окружив самым ласковым присмотром и попечениями. Рана Эдгарда была довольно опасна, тем более что к ней присоединилось нервное, лихорадочное состояние, случавшееся с ним и прежде, а теперь принявшее особенно угрожающие размеры. Известно, что Валенсия была целых три дня бомбардируема самым варварским образом, так что жители, доведенные до последней степени ужаса, забыли свое прежнее, возбужденное воззваниями хунты намерение сопротивляться до последнего и громко требовали, чтоб Блакес немедленно вошел в переговоры о сдаче. Блакес, как истинный патриот, сумел с помощью Валлонской гвардии сначала усмирить взволновавшуюся чернь, а затем заключить с врагом почетную капитуляцию. Дон Рафаэль Мархец не хотел, чтобы раненый Эдгард попался в руки врага, и потому немедленно после вступления французов в Валенсию скрыл его в своем доме в потайном подвале, где он и находился в эту минуту. "Друг моего Бальтасара, -- так заключил Мархец свой рассказ, -- и мой друг. Его кровь лилась за мою Испанию, и каждая ее капля упала в мое сердце, изгнав из него прежнее недоверие, которое я питал к нему в это тяжелое время как к иностранцу. В груди его пылает одинаковая с каждым испанцем ненависть к врагам и делает его способным на всякую жертву для блага вступивших в союз. Дом мой занят врагами, но он безопасен здесь, в этом потайном месте, и я клянусь, что скорее погребу и себя, и всю Валенсию под развалинами, чем предам его! Верьте, что это так!"

Эдгард остался жить в этой комнате, где весь день господствовало гробовое молчание. Но по ночам иногда чудилось ему, что он слышал где-то в отдалении тихие шаги, голоса, глухой шум отворяемых и запираемых дверей и стук оружия. Казалось, несвойственная ночным часам жизнь пробуждалась в этом таинственном месте. Эдгард обратился с расспросами к францисканцу, который не покидал его почти никогда и вообще ухаживал за ним с самым предупредительным вниманием. Но тот отвечал уклончиво, говоря, что Рафаэль Мархец, вероятно, объяснит ему все это после его выздоровления. Предсказание монаха оправдалось.

Однажды, когда Эдгард поправился до такой степени, что мог уже вставать с постели, вошел к нему дон Рафаэль с зажженным факелом в руках и, попросив Эдгарда одеться, пригласил его следовать за собой вместе с патером Эусебио, так звали францисканца.

Отправясь, все трое долго шли по какому-то длинному, узкому коридору и наконец остановились перед запертой дверью, которая

немедленно отворилась по первому удару дона Рафаэля. Можно себе представить изумление Эдгарда, когда он, оглядываясь, внезапно увидел, что стоит в просторном, освещенном подzemельи, среди многочисленного сборища каких-то странных, диких на вид и, по большей части, грязно одетых людей. Посередине стоял высокий человек, одетый в крестьянское платье, с всклокоченными волосами, бродяга по виду, но тем не менее, всеми своими чертами и ухватками внушающим уважение и заставляющим предполагать, что он был не тем, кем казался. Благородство сквозило в чертах его лица, а в глазах сверкал тот воинственный пыл, какой можно встретить только у привыкших к ежедневным подвигам людей. Рафаэль подвел Эдгарда к этому человеку и отрекомендовал его как молодого храброго немца, спасенного им из рук врагов и готового положить вместе с ними свою жизнь за святое дело освобождения Испании. Затем, обратясь к Эдгарду, Рафаэль прибавил:

-- Здесь, в сердце покоренной врагами Валенсии, видите вы очаг со священным неугасимым пламенем, который, разгоревшись со временем, истребит наших врагов, когда они, слепо положась на счастье своего оружия, забудутся в сладкой беспечности. Подземелье это принадлежит францисканскому монастырю. Храбрые сыны отечества стекаются сюда со всех сторон по множеству тайных, подземных ходов, а затем, расходясь, как лучи от центра, разносят решения совета своим единомышленникам, готовя повсеместное восстание на смерть и гибель нашим врагам. Вас, дон Эдгард, мы считаем своим вполне и просим вас принять участие в нашем славном деле!

Эмпечинадо -- так звали человека в крестьянском платье -- пожал Эдгарду руку и сказал ему несколько дружеских слов. Имя Эмпечинадо слишком известно, чтобы об этом распространяться. Это был именно тот славный глава герильясов, чья легендарная храбрость сделала его почти сказочным героем еще при жизни. Как всеуничтожающий дух мести появлялся он внезапно среди врагов в таких местностях, где его ждали меньше всего, и часто как раз тогда, когда публично громко провозглашалось окончательное уничтожение его отряда. Последнее его появление под стенами Мадрида навело ужас даже на самого вице-короля.

Между тем в комнату был введен крепко связанный юноша. Бледное лицо его явно носило следы отчаяния и смертельного страха, а дрожащие губы едва могли выговорить слово, когда он увидел себя поставленным с Эмпечинадо лицом к лицу. Эмпечинадо, пристально и молча посмотрев на него своими огненными глазами, произнес твердым, непреклонным голосом:

-- Антонио! Ты уличен в сношениях с врагами! Ты бывал у Сухета и хотел открыть наши места сборов в Куэнце!

-- Это правда, -- ответил с глубоким вздохом Антонио, не поднимая опущенной головы.

-- Как! -- яростно воскликнул Эмпечинадо. -- Ты, будучи испанцем, решился предать кровь братьев, текущую в твоих жилах? Ты забыл свою мать, эту олицетворенную добродетель, которая умерла бы от одной мысли, что ее сын запятнал так честь своего отца! Я готов даже сомневаться, точно ли ты ее сын, а не подкидыш от какой-нибудь презренной нации в мире! Но -- как бы то ни было -- ты заслужил смерть и умрешь сию же минуту.

Антонио в отчаянии бросился к ногам Эмпечинадо и громко воскликнул:

-- Дядя! Неужели ты не видишь каково мне в эту минуту? Будь же милосерден! Подумай, как иногда обстоятельства ломают людей и силой принуждают поступать так, а не иначе! Да, дядя! Я испанец в душе и могу это тебе доказать! Будь милостив и позволь мне смыть пятно позора, который навлекли на меня соединенные силы всего ада, и очистить себя в глазах братьев!.. Дядя! Ты меня понимаешь и знаешь хорошо, о чем я прошу тебя с такой настойчивостью!

Эмпечинадо, казалось, несколько смягчился. Он поднял его и сказал тихо:

-- Ты прав! Дьявол подчас бывает силен! Я верю в твое раскаяние и знаю, о чем ты меня просишь! Прощаю тебя как сына моей сестры и обнимаю от чистого сердца!

С этими словами он развязал руки молодого человека, горячо прижал его к сердцу и затем подал ему кинжал, который всегда носил за поясом.

-- Благодарю! -- воскликнул молодой человек и затем, крепко поцеловав со слезами руку Эмпечинадо и взглянув умоляющим взором на небо, смелой рукой вонзил кинжал в собственную грудь. Эдгард, не вполне еще оправившийся от своей болезни, не мог выдержать этого зрелища и упал без чувств. Патер Эусебио отнес его на руках обратно в его комнату.

Прошло несколько недель. Дон Рафаэль Мархец нашел возможным перевести своего друга из сырого погреба, где он никогда бы не выздоровел окончательно, в более удобное помещение. Эта была светлая сухая комната с окнами, выходившими в уединенную улицу. Тем не менее он убедительно просил его не переступать из предосторожности порога дверей, потому что дом был занят французами.

Однако раз Эдгард, сам не зная как, вздумал выйти из своей комнаты и пройти по коридору. Едва вышел он из комнаты, как соседняя дверь отворилась и из нее вышел ему навстречу французский офицер.

-- Друг Эдгард! -- воскликнул он, едва увидел его. -- Здравствуй! Какими судьбами занесло тебя сюда?

И с этими словами бросился он к нему на шею. Эдгард тотчас же узнал полковника императорской гвардии Лякомба, с которым он познакомился в доме своего дяди, где полковник жил некоторое время во время тяжелых дней унижения Германии, когда Эдгард был вынужден сложить оружие, поднятое им на защиту отечества. Лякомб был уроженцем южной Франции. Его прямодушные и деликатность, очень редкие во французах, как и умение держать себя с достоинством по отношению к побежденным, сумели преодолеть в душе Эдгарда естественную неприязнь, питаемую им к высокомерным врагам, и он при виде несомненных доказательств благородства души Лякомба сделался даже его другом.

-- Каким образом попал ты в Валенсию? -- повторил полковник свой вопрос, и -- можно себе представить -- в какое затруднительное положение поставил он этими словами Эдгарда. Он решительно растерялся и не знал, что отвечать, так что Лякомб, проницательно на него посмотрев, сказал тихо и серьезно:

-- Ага! Я понимаю все; ты нашел исход для твоей ненависти и решился поднять меч для битвы за воображаемую свободу сумасшедшего народа! Впрочем, я тебя в этом не обвиняю! Дружба наша слишком крепка, чтобы мысль тебя предать могла зародиться в моей душе. Нет, мой друг! Если даже мы и разошлись, то поверь, ты будешь в полной безопасности. Кем бы ты ни был, но в глазах моих товарищей я буду тебя выдавать за давно знакомого мне компаньона одного марсельского торгового дома.

Сказав это, он не отступал от Эдгарда с неотступной просьбой поселиться с ним в одной комнате, отведенной ему Рафаэлем Мархецом, так что Эдгард, хотя и против воли, должен был на это согласиться.

Эдгарду стоило немалых трудов разубедить и успокоить подозрительных испанцев на счет своих отношений с Лякомбом. Мархец, выслушав его, ответил сухо:

-- Действительно, случай довольно странный!

Лякомб понимал затруднительность положения Эдгарда, но все-таки не мог преодолеть врожденного в людях его нации стремления добиться во что бы то ни стало исполнения сиюминутного желания, хотя бы и в ущерб чему-нибудь более важному. Потому он постоянно заставлял Эдгарда публично гулять с ним под руку вдоль по Аламеде и почти насильно вводил его в круг своих, таких же легкомысленных товарищей. Эдгард замечал хорошо, что многие из прежних друзей стали за ним следить подозрительным взглядом, а однажды, когда он вместе с полковником вошел в какую-то кофейню, вслед ему даже очень явственно раздалось слова: "Acquí esta el traidor!"* Легко можно себе вообразить, как это его огорчило.

** Вот изменник! (испан.)*

Сам Рафаэль стал с ним заметно холоден, отвечал на его вопросы почти односложными ответами и, наконец, совсем перестал к нему ходить и даже приглашать его к своему столу, объявив, что он может впредь обедать в комнате Лякомба.

Однажды, сидя один у себя, Эдгард услышал легкий стук в дверь и, отворив ее, увидел патера Эусебио. Францисканец осведомился о здоровье Эдгарда и заговорил о самых обыденных вещах, но потом, вдруг остановившись, пристально поглядел Эдгарду в лицо и воскликнул:

-- Нет, дон Эдгард, вы не изменник! Никакие тайны человеческого сердца не в состоянии противостоять приступам жестокой лихорадки, когда все нервы напряжены и сокровеннейшие мысли невольно вырываются в бреду наружу! Как часто прислушивался я по ночам к вашему болезненному шепоту и не мог поймать ни одного слова, которое бы вас обличало! Нет, вы не изменник, но будьте осторожны!

Эдгард умолял монаха объяснить, какое подозрение над ним тяготело и какой опасности он подвергался.

-- Не скрою от вас, -- ответил Эусебио, -- что ваши отношения с Лякомбом и его товарищами возбуждали подозрение у наших друзей, которые боятся, что вы можете против собственной воли выдать в какой-нибудь час откровенной пирушки после двух-трех лишних стаканов испанского вина известные вам через дона Рафаэля тайны этого дома; не скрою, что вы в некоторой опасности! Но, -- прибавил монах, видя, что Эдгард в раздумьи опустил голову, -- скажу вам, что есть средство спасти вас от грозящей вам беды. Предайтесь вашему французу вполне и попросите его предоставить вам случай бежать из Валенсии.

-- Что вы сказали? -- живо переспросил Эдгард. -- Или вы забыли, что я немец и лучше согласен умереть свободным от подозрения, чем искать спасения в позорном бегстве!

-- Дон Эдгард, -- воскликнул в восторге Эусебио, -- вы не изменник! - и с этими словами он, со слезами на глазах, прижал молодого человека к своей груди.

В эту же самую ночь Эдгард, оставшись один, так как полковник куда-то ушел еще с утра, услышал приближающиеся шаги к своей двери, и, вслед затем, знакомый голос дона Рафаэля произнес:

-- Отворите, дон Эдгард.

Исполнив сказанное, Эдгард увидел, что за дверями стоял Рафаэль с факелом в руке и возле него дон Эусебио. Старик пригласил Эдгарда на совет заговорщиков в подземелье францисканского монастыря для обсуждения какого-то важного, по его словам, вопроса. Все трое шли

уже вдоль по подземному ходу вслед за Рафаэлем, державшим зажженный факел, как вдруг Эусебио шепнул Эдгарду на ухо:

-- Дон Эдгард! Вы идете на смерть! Все для вас кончено!

Эдгарду не раз случалось участвовать в кровопролитнейших стычках, причем никогда не ощущал он и признака страха смерти, но сейчас при мысли умереть в западне от рук убийц он невольно вздрогнул, и, пошатнувшись, вынужден был даже опереться на шедшего возле Эусебио. Впрочем, Эдгард скоро овладел собой, благодаря тому, что путешествие их было довольно длинным; он даже успел составить в голове целый план, что ему следовало делать дальше и как себя держать. Едва дверь подземелья отворилась, Эдгард увидел снова ужасного Эмпечинадо, с лицом, пылавшим неудержимой яростью, и окруженного целой толпой герильясов и францисканских монахов.

Эдгард смело подошел к главе заговорщиков и сказал самым спокойным голосом:

-- Очень рад, что вижу вас, дон Эмпечинадо! Я хотел просить дона Рафаэля доставить мне возможность с вами говорить, и потому настоящий случай для меня как нельзя более кстати. Я, по словам моего врача патера Эусебио, выздоровел совершенно и потому не желаю более проводить время в покое и праздности среди ненавистных мне врагов. Прошу вас, Эмпечинадо, доставьте мне возможность выйти отсюда известным вам потайным путем с тем, чтобы я мог примкнуть к вашему отряду и начать прежнюю боевую жизнь, к которой стремлюсь всеми силами души.

-- Хм! -- пробормотал Эмпечинадо, почти с презрительным видом. -- Значит вы еще не оставили мысли сражаться в рядах безумного народа, предпочитающего лучше умереть, чем побрататься с сынами великой нации! Друзья ваши не успели просветить вас до такой степени?

-- Вы, дон Эмпечинадо, вероятно, не знаете немцев, -- возразил Эдгард, -- не знаете, что наше мужество горит в сердце неугасимо, как огонь нефтяных источников, и что немецкая верность надежнейший панцирь, от которого отскочат все отравленные стрелы хитрости и коварства! Прошу вас еще раз, Эмпечинадо, выпустите меня на свободу, чтобы я мог поддержать хорошее о себе мнение, которое, надеюсь, заслужил.

Эмпечинадо удивленно взглянул на Эдгарда, между тем как глухой шепот послышался в окружавшей его толпе. Рафаэль хотел что-то сказать Эмпечинадо, но тот, отклонив его рукой, приблизился к Эдгарду, взял его за руку и сказал сам:

-- Вас ожидало сегодня здесь иное! -- но!.. Подумайте, Эдгард, о своем собственном отечестве. Враг, доведший его до позора, стоит перед вами здесь! Вспомните, что феникс свободы, возродившись из пламени, возбудит к борьбе и ваших немецких братьев, заставив проснуться в их сердцах новое мужество и жажду мести!

-- Все это я знаю, -- сказал Эдгард, -- и обдумал прежде, чем покинул свою страну для того, чтобы пролить кровь за ваше святое дело. Жажду мести возбудил во мне дон Бальтасар де Луна, когда лежал умирающий на моих руках.

-- Если так, -- воскликнул Эмпечинадо, точно разгораясь гневом вновь, -- то вы немедленно покинете это место и не увидите более дома дона Рафаэля.

Эдгард объявил, что это было его собственное желание, вследствие этого он был тотчас же отправлен для присоединения к одному из отрядов герильясов в сопровождении патера Эусебио и еще одного из товарищей Эмпечинадо, по имени Исидор Мирра.

Добрый старик всю дорогу не переставал уверять Эдгарда, как он радуется его освобождению.

-- Вас спасло само небо, -- говорил он, -- и вдохнуло в вас мужество, которое мне самому показалось чудом.

Отряд герильясов, к которому присоединился Эдгард, оказался на гораздо более близком расстоянии от Валенсии, чем могли предполагать враги.

Я промолчу о приключениях и подвигах Эдгарда, которые могли бы показаться в некоторых случаях сказочными, и перейду прямо к рассказу о том, как Эдгард однажды, совершенно случайно, встретил в таком же отряде герильясов дона Рафаэля Мархеца.

-- С вами поступили несправедливо, дон Эдгард, -- сказал Рафаэль, но Эдгард повернулся в нему спиной.

С наступлением сумерек, когда все утихло, дон Рафаэль стал выражать явные следы какого-то беспокойства, перешедшего в конце концов в настоящее отчаяние. Он суетливо бегал взад-вперед, вздыхал, почти плакал, поднимал руки к небу и шептал молитвы.

-- Что такое с ним случилось? -- спросил Эдгард.

-- Он ожидает свою поклажу, -- ответил Исидор Мирр. -- Это все, что ему удалось тайком нагрузить на мулов и вывезти из Валенсии, и теперь его беспокоит, что случилось с его богатством.

Эдгард подивился скупости Рафаэля, забывшего ради золота все остальное.

Между тем наступила полночь. Месяц ясно освещал верхушки гор. Вдруг в отдаленном ущельи раздались четыре выстрела, вслед за тем появилась группа разбитых, израненных герильясов, объявивших, что люди, которые вели мулов дона Рафаэля, подверглись внезапному нападению французских егерей. Большинство из них было убито, и все досталось в руки неприятелю.

-- Господи! -- воскликнул в отчаянии Рафаэль. -- Дочь моя! Мое несчастное дитя! -- и, сказав эти слова, он упал без чувств на землю.

-- Что же мы стоим, друзья? -- воскликнул Эдгард. -- Туда! туда!.. В ущелье!.. Отмстить за смерть товарищей и вырвать у врагов богатую добычу!

-- Храбрый немец прав! -- крикнул Исидор Мирр. -- Вперед, друзья!

Весь отряд радостно откликнулся на этот призыв и целой толпой ринулся, как бурный ураган, прямо к ущелью. Несколько храбрецов отбивались еще от многочисленного неприятеля.

-- Валенсия! -- крикнул Эдгард и ринулся в самую середину свалки; товарищи бросились за ним, как разъяренные тигры, и в мгновение ока большинство врагов лежали мертвые под кинжалами напавших. Раненых добили прикладами, небольшое же число обратившихся в бегство пало под меткими пулями. Оказалось, что неприятельский отряд принадлежал к полку кирасиров генерала Монсея. Герильясы ударили им прямо во фланг и, заставив с помощью почти одних кинжалов бросить впопыхах и добычу, и лошадей, возвратились с триумфом на свой привал.

Дело было почти кончено, как вдруг Эдгард услышал из чащи кустарников отчаянный крик. Бросившись к этому месту, он увидел, что какой-то небольшого роста человек, держа в зубах поводья мула, отчаянно боролся с французом; но прежде чем Эдгард успел ему помочь, француз поверг его на землю ударом кинжала, а сам, схватив мула за узду, хотел скрыться в лесу вместе с добычей. Эдгард громко крикнул, француз выстрелил в него из ружья, но не попал, а сам же был заколот штыком Эдгарда. Маленький человек корчился и визжал, лежа на земле. Эдгард его поднял, с трудом освободил из его зубов поводья, которые он продолжал судорожно стискивать, и, видя, что он был почти без чувств, хотел взвалить его, как мешок, на спину мула. Но тут только заметил Эдгард, что на муле уже кто-то сидел, весь закутанный плащом, и, припав головой к шее, крепко держался с громким плачем за голову животного. По голосу казалось, что это была маленькая девочка, но так как терять времени на разговоры было нельзя, то Эдгард, поспешно взвалив раненого вместе с ней на спину мула и привязав снова к узде оборванные поводья, доставил таким образом обоих на место сбора, куда Исидор Мирр с товарищами явились раньше его.

Герильясы осторожно сняли с мула сначала раненого, который, потеряв много крови, был очень бледен, а затем и до смерти перепуганную девочку, которой было на вид лет семь или восемь. Дон Рафаэль, едва взглянув в ее черты, закричал вне себя: "Дочь моя! Дитя мое!" -- и хотел было тотчас же заключить ее в свои объятия, но, заметив при свете сверкнувших факелов, озаривших лицо Эдгарда, кто был ее спасителем, он стремительно бросился к его ногам с криком:

-- О дон Эдгард! Ни перед одним человеком на свете не склонялись эти колени, но вы выше людей! Вы ангел света, посланный самим

небом, чтобы спасти меня от смертельного горя и отчаяния!

Недостойное подозрение против вас гнезилось в моей груди, и я хотел вас, благороднейшего и лучшего из людей, предать позорной смерти! Убейте меня, дон Эдгард! Вы должны отомстить мне по праву, потому что никогда не сможете простить то зло, которое я вам причинил!

Эдгард, не видя в своем поступке ничего необычайного и считая его соответствующим тому, что предписывали ему долг и честь, был крайне смущен поведением старика. Он старался успокоить его всеми способами, хотя это удалось ему с немалым трудом.

Рафаэль рассказал, что полковник Лякомб был вне себя, узнав о внезапном исчезновении Эдгарда и, подозревая в этом какое-нибудь злодейство, грозил сравнять с землей дом Рафаэля, отправив в тюрьму его самого. Эти обстоятельства принудили его искать спасения в бегстве, причем только благодаря стараниям Эусебио удалось ему вывезти из Валенсии свою дочь, слугу и кое-что из необходимых пожитков.

Раненый слуга и дочь Рафаэля были отправлены в более безопасное место, куда за ними последовал и сам Рафаэль, чувствуя, что преклонные годы не позволяли ему разделять труды и походную жизнь герильясов. Трогательно расставаясь с Эдгардом, он подарил ему талисман, который спасал его не раз в опасные минуты жизни.

Этими словами Эварист кончил свой рассказ, заслуживший, по-видимому, живое одобрение всего общества.

Несчастный поэт, оправившийся между тем от своего кашля, выразил мнение, что испанские приключения Эдгарда содержат в себе сюжет, годный для целой трагедии, но сожалел, что в них не было любовного эпизода, да, сверх того, и самый конец был мало эффектен, не заключая в себе ни убийств, ни безумия, -- словом, чего-нибудь в этом роде.

-- О да! В рассказе вашем мало любви! -- пролепетала какая-то барышня, густо покраснев. -- И это очень жаль, любезный барон!

-- Разве я обещал вам роман? -- с улыбкой возразил Эварист. -- Я предупредил, что в рассказе моем описаны только приключения моего друга Эдгарда в диких испанских горах, где трудно ждать чего-либо в этом роде.

-- Мне кажется, -- прошептала Викторина, -- я знаю этого Эдгарда! Он остается всегда обделенным, потому что отказывается от лучших даров, которые посылает ему судьба.

Но всех более был восхищен рассказом Людвиг. Он беспрестанно восклицал:

-- О! Я знаю роковую "Profecia del Pirineo"! Она воодушевила меня до того, что я готов был сам отправиться в Испанию сражаться за святое дело свободы и исполнил бы это непременно, если бы не взаимозависимость событий! Я совершенно вхожу в положение

Эдгарда в подземельи францисканского монастыря и умел бы не хуже его сказать патетическую речь злодею Эмпечинадо!

Людвиг совсем было приготовился симпровизировать свою речь и начал ее действительно с таким увлечением и жаром, что присутствующие могли бы, пожалуй, точно подивиться его мужеству и героической решимости, но его внезапно прервала президентша словами:

-- Полноте! Ведь взаимозависимость событий не допустила случиться всем этим удивительным вещам!.. Теперь же я сообщу любезным гостям, что сегодня приготовила для них в моем доме небольшой сюрприз, который, по редкому стечению обстоятельств, как нельзя более гармонирует с только что слышанным нами рассказом господина Эвариста.

Дверь комнаты отворилась, и в нее вошла Эмануэла, а за ней неразлучный с нею Биаджио Кубас с гитарой в руках. Старик усиленно кланялся гостям, а Эмануэла, обведя всех очаровательным, знакомым уже Людвигу и Эваристу взглядом, скромно попросила присутствующих не судить ее очень строго, так как талант, который имела она, мог занять общество только благодаря своей оригинальности.

Эмануэла, казалось, выросла и похорошела в течение нескольких дней, с тех пор как ее видели наши друзья. Самый наряд ее стал богаче и роскошней. Кубас стал с комическими ужимками раскладывать яйца для фанданго.

-- Теперь, -- шепнул Людвиг своему другу, -- ты можешь потребовать обратно твое кольцо.

-- Полно молоть вздор, -- прервал Эварист, -- разве ты не видишь, что оно на моем пальце? Оказалось, что я стащил его вместе с перчаткой и нашел в тот же самый вечер.

Танец Эмануэлы привел в восхищение всех присутствующих, потому что никто не видал ничего подобного. Эварист глядел на танцовщицу серьезным взглядом, а Людвиг до того рассыпался в шумных выражениях своего восторга, что Викторина нашла даже нужным тихонько ему шепнуть:

-- И вы, лицемер, смеее говорить мне о любви, тогда как сами готовы влюбиться в первую попавшуюся испанскую танцовщицу! Я запрещаю вам на нее смотреть!

Это проявление ревности Викторины хоть и могло послужить объективным доказательством любви ее к Людвигу, но тем не менее он был порядочно смущен ее словами и невольно пробормотал себе под нос:

-- Нет спору, я очень счастлив, однако, это становится несколько стеснительным.

По окончании танца Эмануэла взяла гитару и начала петь испанские романсы. Людвиг попросил ее исполнить ту прекрасную песню, которую она пела по желанию Эвариста. Эмануэла тотчас же начала:

Laurel immortal al gran Palafox...

Лицо ее постепенно воодушевлялось, голос звучал сильнее и сильнее, а с тем вместе все громче раздавались и стройные аккорды гитары. Наконец дошла она до куплета, где говорилось об освобождении отечества. Произнося эти слова, она бросила на Эвариста сверкающий взгляд; поток слез хлынул из ее глаз, и она в бессилии упала на колени. Хозяйка дома испуганно бросилась к ней со словами:

-- Довольно, довольно, милое дитя! -- и, заботливо усадив бедную девочку на диван, стала с участием целовать ее в лоб, стараясь ободрить и привести опять в чувство.

-- Она сумасшедшая! Не правда ли? -- шептала Викторина Людвигу. -
- Ведь ты не полюбишь безумную?.. Нет?.. Скажи мне сам! Скажи тотчас же, что ты не можешь любить сумасшедшую!

-- О Боже мой! Нет, нет! -- испуганно бормотал Людвиг.

Ему, признаться, было несколько не по себе при этом немного утрированном выражении любви Викторины.

Пока хозяйка старалась привести в чувство Эмануэлу, предлагая ей вина и бисквит, старый Биаджио Кубас не забывал себя сам и, сидя в углу комнаты, спокойно налил себе полный стакан настоящего хереса, который и осушил до дна, торжественно провозгласив здоровье хозяйки!

Можно себе представить, каким множеством вопросов осыпали Эмануэлу бывшие в обществе дамы и девицы, расспрашивая ее об Испании, ее нравах, обычаях и т.п. Президентша, хорошо понимая затруднительное положение бедной девочки, и желая освободить ее, по крайней мере, от излишних любопытных взоров стеснившегося кружка, к которому примкнули даже игравшие в пикет, употребляла все усилия, чтобы занять и развлечь гостей иным образом.

Президент консистории клялся, что маленькая испанская девчушка очаровательна, но только ему тяжело было смотреть на ее танец, поскольку, глядя на него, он даже почувствовал в своих ногах новый припадок подагры. Но зато ее пение -- это дело другое! Оно, по его словам, доставило ему истинное удовольствие. Граф Вальтер Пик, наоборот, думал иначе. Пение Эмануэлы ему вовсе не понравилось, потому что в нем недоставало трелей, а танец, напротив, привел его в неописуемый восторг. Он уверял, что знает в этом деле толк и мог бы в суждениях о танцах заткнуть за пояс любого балетмейстера.

-- Можешь себе представить, друг консисториальный президент, -- говорил граф, -- что в молодости мне случалось, хорошенько

растанцевавшись, сшибать ногой тамбурин, прикрепленный на верхушке девятифутового шеста. Что же касается до фанданго среди разложенных яиц, то я, учась ему, перебил больше яиц, чем семь кур могли бы снести в течение целого года.

-- Ну да! -- ответил президент. -- Это недурно!

-- Даже теперь, -- продолжал граф, -- я иногда заставляю Кошениля играть на флажолете и упражняюсь под его музыку, повторяя различные па. Конечно, я делаю это под великим секретом, запершись в своей комнате.

-- Надеюсь! -- подхватил, громко засмеявшись, президент.

Между тем пока они рассуждали таким образом, Эмануэла и ее спутник успели незаметно скрыться.

Прощаясь с Эваристом, хозяйка сказала ему громко:

-- Я подозреваю, что вы знаете продолжение приключений вашего друга Эдгарда. Рассказанное вами не более как отрывочный эпизод, но он заинтересовал нас так, что мы, наверное, не будем спать эту ночь. Впрочем, до завтрашнего вечера я даю вам отдых, а там вы должны сообщить нам больше подробностей об Эмпечинадо, о герильяхах и о вашем друге Эдгарде. Мне только кажется, что у вас есть в запасе история его любви! Сообщите же ее нам!

-- Вот это было бы прелестно! -- раздалось со всех сторон, и Эварист был выпущен не ранее, как дал честное слово сообщить на другой день окончание прерванной им на самом интересном месте истории.

По дороге домой Людвиг все время восторгался Викториной и то и дело повторял до какой степени она его любит.

-- Однако, -- прибавил он, -- ревность ее заставила меня взглядеться несколько пристальнее в мое собственное сердце, и я начинаю с ужасом замечать, что безумно влюблен в Эмануэлу. Я найду ее! Найду во что бы то ни стало и прижму к моей пламенной груди!

-- Постарайся! -- холодно ответил Эварист.

Когда общество собралось на другой день снова в доме президента, внезапно было получено письмо от Эвариста, в котором он с сожалением уведомлял, что непредвиденные обстоятельства принуждают его незамедлительно уехать, а потому он просил отложить обещанный рассказ о дальнейших приключениях Эдгарда до его возвращения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭВАРИСТА.

КАРТИНА СЧАСТЛИВОГО БРАКА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОВЕСТИ.

Прошло около двух лет. Однажды перед воротами гостиницы "Золотой ангел" в В. остановилась прекрасная дорожная карета, из которой вышел красивый молодой человек с дамой, закрытой плотной вуалью, и каким-то очень почтенным на вид, пожилым господином. В эту же минуту проходил мимо гостиницы наш старый знакомый Людвиг и, увидя приехавших, не мог сдержаться, чтобы не бросить на них любопытного взгляда через стекло своей лорнетки.

Приехавший молодой человек обернулся и, заметив Людвига, радостно бросился к нему навстречу с восклицанием:

-- Людвиг! Мой Людвиг! Здравствуй, дорогой дружище!

Можно себе представить удивление Людвига, когда он, вглядевшись в приезжего, увидел, что это был не кто иной, как его друг Эварист.

-- Голубчик! -- твердил в восторге Людвиг, обнимая Эвариста. -- Но скажи, пожалуйста, кто это дама в вуали? Кто этот пожилой господин, приехавший вместе с вами? Все это для меня так странно и непонятно! А что это за карета с поклажей, что едет там? Боже, но что я в ней вижу!

Эварист взял Людвига под руку и, пройдя с ним вдоль по улице, сказал:

-- Скоро ты все узнаешь, любезный друг, но сначала сообщи, что случилось в это время с тобой? Ты бледен как мертвец; прежний огонь в твоих глазах погас совершенно, и ты -- говорю это тебе откровенно -- постарел на вид лет на десять. Уж не перенес ли ты тяжелой болезни? Или, может быть, вытерпел какое-нибудь горе?

-- О нет! -- возразил Людвиг. -- Напротив, я счастливейший человек на свете и провожу жизнь самым покойным, беззаботным образом! Год тому назад прелестная Викторина осчастливила меня своей рукой. Видишь отсюда дом с зеркальными окнами? Это наш дом, и ты бы ничего не мог лучше выдумать, как решиться посетить меня теперь же в моем земном раю. Как обрадуется моя жена, увидя тебя вновь! Это будет для нее самый приятный, неожиданный сюрприз!

Эварист попросил четверть часа времени для того, чтобы переодеться, и затем обещал прийти немедленно полюбоваться на счастье Людвига.

Людвиг встретил своего друга на ступеньках лестницы и попросил его шепотом, чуть слышно, не стучать, входя, каблуками, потому что Викторина страдала, по его словам, сильной мигренью, приводившей ее в такое нервное, раздраженное состояние, при котором она не могла выносить ни малейшего шума, несмотря на то, что комнаты ее были в совершенно особой, отдаленной части. Вследствие этого оба они тихо, едва слышно, поднялись по покрытым коврам ступеням и прошли в комнату Людвига.

После первых излияний радостных чувств по поводу неожиданной встречи Людвиг взял колокольчик и громко позвонил, но тотчас же, словно перепугавшись до смерти, воскликнул, закрыв обеими руками лицо:

-- Создатель! Что я наделал!

Дверь отворилась, и в ней показалось неприятно надменное лицо горничной. Смелым, даже дерзким тоном она крикнула прямо в лицо Людвигу:

-- Вы, кажется, с ума сошли, барон! Или вы хотите убить вашу супругу? Она и без того лежит почти без чувств!

-- Ах, Боже мой! -- забормотал Людвиг. -- Извини, пожалуйста, добрая Неттхен! Я с радости совсем не помнил, что делал. Ко мне приехал мой лучший друг, с которым мы много лет не виделись. Госпожа знает его также. Попроси ее прийти сюда, если она только хочет. Сделай это, пожалуйста, добрая Неттхен!

Тут Людвиг сунул ей в руку денег, которые она, равнодушно положив в карман, проговорила тем же тоном:

-- Пожалуй! Если только это будет возможно, -- и, сказав это, удалилась из комнаты.

Эварист, очутившись невольным свидетелем сцены, которая столько раз была описана во множестве романов и повестей, сразу понял, что в семейном счастье его друга было что-то сомнительное. Чувствуя хорошо затруднительное положение этой минуты, он нарочно заговорил об обыденных вещах, но Людвиг, кажется, не нашел в этой сцене ничего необыкновенного и совершенно спокойно обратился к своему другу с просьбой рассказать свои приключения с того времени, как они расстались.

-- Ты, без сомнения, помнишь, -- начал он сам, -- тот вечер у президентши Фейес, когда ты рассказывал историю твоего друга Эдгарда. Помнишь, конечно, и то, как явно обнаружила тогда Викторина свою любовь ко мне, так что не могла даже сдержать своей ревности. А я, глупец, вздумал тогда влюбиться в хорошенькую испанскую танцовщицу и даже вообразил, что любовь моя не останется без ответа! Ты, вероятно, заметил, как она, собрав по окончании фанданго яйца в кучу, нарочно подкатила их в мою сторону. Я стоял как раз за стулом президентши. Можно ли было тоньше и деликатнее выразить интерес, который она ко мне питала? Я хотел на другой день во что бы то ни стало сыскать милую девочку, но этого не допустила взаимозависимость событий! Скоро я ее почти позабыл, как вдруг непредвиденный случай...

-- То есть взаимозависимость событий, хотел ты сказать, -- перебил Эварист.

-- Ну, пожалуй, хоть так, -- сказал Людвиг и затем продолжал: -- Несколько дней спустя проходил я тем самым парком, где мы в первый

раз увидели перед трактиром нашу маленькую испанку. Хозяйка трактира выбежала ко мне навстречу. Ты не можешь себе представить, какое сочувствие успел я ей внушить после того, как она услужила мне уксусом и водой для моей раны. Итак, выбежав ко мне, она спросила, не знаю ли я, куда девалась маленькая танцовщица и старик, привлекавшие в ее заведение такое множество посетителей, прибавив, что вот уже несколько недель, как о них нет ни слуху ни духу. Я обещал на другой же день осведомиться, куда они скрылись, но взаимозависимость событий помешала мне и тут! Я уже начинал раскаиваться в своей опрометчивости и вновь всем сердцем предался прелестной Викторине, но, представь! Мысль о моей неверности поразила ее чувствительное сердце так глубоко, что она не хотела ни видеть меня, ни со мной говорить. Кошениль сообщил мне, что она была в постоянной меланхолии, поминутно плакала и то и дело повторяла: "Он для меня потерян! потерян!" Можешь себе представить, как на меня подействовал этот рассказ и как глубоко стал я сожалеть о прискорбном событии. Кошениль предложил мне свои услуги, обещав ловким образом внушить графине убеждение в искренности моих прежних чувств, а также в том, что с некоторого времени я совершенно переродился, что даже на балах танцую не более трех или четырех раз, а в театре бессмысленно смотрю на сцену, ничего не видя; своим туалетом не занимаюсь и т.п. Я не щадил денег, чтобы его задобрить, и потому получал от него аккуратно каждый день новые вести. Наконец Викторина согласилась видеть меня вновь. Боже! Как она была хороша! Да и теперь, когда она моя, я все-таки скажу, что это олицетворенная прелесть и доброта!

В эту минуту Неттхен снова вошла в комнату и объявила Людвигу, что баронесса была крайне обеспокоена той манерой, с какой он вошел сегодня в дом: сначала позвонил так, что можно было подумать, не пожар ли в доме, а затем вздумал требовать, чтобы больная чуть не при смерти жена выходила принимать гостей. В заключение она прибавила, что госпожа ее не может сегодня видеть никого, в чем и извиняется перед посторонним гостем. Сказав это, Неттхен смерила Эвариста с ног до головы взглядом и вышла из комнаты.

Людвиг подавленно вздохнул и затем стал продолжать свой рассказ, хотя уже несколько смущенным тоном.

-- Ты не можешь себе представить, с каким холодным видом приняла меня Викторина! Если б ее прежнее относительно меня внимание не доказывало ясно, что она хочет на этот раз только наказать притворным равнодушием, то я бы, пожалуй, сам усомнился в ее ко мне любви. Но, однако, она не выдержала: обращение ее со мной стало смягчаться, и раз, на балу, она даже доверила мне подержать в руках ее шаль. Победа моя была предрешена. Я устроил новый котильон, протанцевал его восхитительно с моей божественной красавицей и

успел на этот раз совершенно благополучно ей шепнуть, балансируя на цыпочках:

-- Божественная графиня! Люблю вас невыразимо! И умоляю вас, ангел света, согласиться быть моей!

Викторина засмеялась мне в лицо, но это не помешало мне, однако, на другой день около часу явиться к ним в дом, заручившись уверением Кошениля, что меня примут непременно. Тут уж я прямо и положительно стал просить руки Викторины. Она молча на меня посмотрела; я бросился к ее ногам, схватил за руку и покрыл ее поцелуями. Она не сопротивлялась, но, признаюсь, глядя на ее холодный, устремленный на меня, безжизненный взгляд, я почувствовал себя как-то не совсем ловко. Наконец, однако, две крупных слезы выкатились из ее глаз; она крепко сжала мне руку, попав прямо на большой палец, так что я чуть не вскрикнул от боли, вскочила со своего места и, закрыв лицо платком, быстро выбежала вон из комнаты. Счастье мое было несомненно, и я отправился прямо к графу просить руки его дочери официальным образом.

-- Очень рад, очень рад! любезный барон, -- забормотал он мне с довольной улыбкой, -- но, скажите разве вы успели заметить, что дочь моя вас точно любит?

Я рассказал ему историю моего признания в котильоне.

-- Прелестно! -- Восхитительно! -- закричал он, засверкав глазами. -- Позвольте! Позвольте! Покажите мне, пожалуйста, что это была за фигура?

Я протанцевал фигуру перед ним и остановился в той позе, в которой сделал Викторине мое признание.

-- Прелесть, любезный барон!.. восхитительно!.. очаровательно! -- закричал граф в полном восторге и затем, отворив дверь, крикнул еще громче: -- Кошениль! Кошениль!

Камердинер явился. По просьбе графа я спел мотив моего котильона.

-- Слышал? -- обратился к нему граф. -- Теперь возьми свой флажолет и постарайся сыграть то, что спел господин барон.

Кошениль недурно воспроизвел мотив моего танца, а я, по желанию графа, должен был повторить фигуру вместе с ним, изображая его даму. Балансируя с трудом на носке правой ноги, старик повернулся ко мне и пробормотал самым сладким голосом:

-- Прелестный барон! Дочь моя Викторина -- ваша!

Послали за Викториной и объявили ей о моем сватовстве официально. Она немножко поломалась, по обычаю всех барышень, долго не говорила ни да, ни нет и вообще держала себя со мною так, что надежды мои чуть было не поблекли снова. К счастью, позже я узнал, что это было не более как притворство, так как оказалось, что Викторина сговорилась со своей двоюродной сестрой -- той самой,

которой я сделал на первом балу мое признание -- помистифицировать меня в наказание за мою оплошность.

Сначала я совсем упал духом и даже готов был подумать, что взаимозависимость событий определила мне всегда быть обманутым, но, на счастье, сомнение мое рассеялось окончательно, и я услышал блаженное "да", сорвавшееся с очаровательных губок как раз в минуту самого отчаянного сомнения. Тут только понял я, какое страшное самообладание должна была иметь Викторина, чтоб так искусно притворяться! Она отказывала мне в малейшем выражении симпатии, не позволяла мне поцеловать ее руку! Я, впрочем, понял, что все это было насилие, которое она производила сама над собой. Многие из моих друзей всеми силами старались поселить в душе моей сомнение на счет любви ко мне Викторины, но все эти сомнения исчезли без следа в день накануне свадьбы. Рано утром явился я к моей невесте и не нашел ее в комнате. На столе лежали какие-то бумаги. Взглянув, я сразу узнал милый, красивый почерк Викторины. Читаю -- и вижу, что это ее дневник! Вообрази, что там, день за днем, излагалась вся история ее любви ко мне. Каждая строка, каждое новое слово являло ясное тому доказательство. Всякое заявление чувств непременно кончалось фразой: "Ты не хочешь понять моего сердца! Бесчувственный! Неужели я должна, забыв стыд и страх, сама броситься к твоим ногам и сознаться, что без тебя мне жизнь не в радость!" -- и т.д., все в том же роде. А под тем числом, когда я влюбился в молоденькую испанку, стояли строки: "Все кончено! Он ее любит! Это верно! Безумный! Он думает, что можно скрыть свои чувства от взора любящей женщины!" Я прочел эти слова громко, как вдруг Викторина вошла в комнату. Я с дневником в руках бросился к ее ногам и воскликнул: "Нет! Нет никогда не любил я эту иностранку! Ты одна всегда была моей богиней! моим счастьем!" Викторина посмотрела на меня изумленно, а затем, точно поняв в чем дело, вдруг воскликнула голосом, который еще теперь отдается в моих ушах: "Несчастный! Ведь я писала не о тебе!" Сознайся, Эварист, как далеко могут зайти женское притворство и скрытность!

Неттхен вошла снова в комнату и объявила, что госпожа баронесса не понимает, почему барон не является к ней вместе с гостем, тогда как она ожидает их уже более получаса.

-- Чудная, дивная женщина! -- воскликнул Людвиг с чувством. -- Она жертвует собой, чтобы исполнить мое желание!

Придя к баронессе, Эварист был много удивлен, увидя ее совершенно одетой и причесанной без малейших признаков болезни на лице.

-- Смотри, вот наш дорогой Эварист! Наконец-то он вернулся!

Так представил Людвиг своего гостя жене. Но едва Эварист подошел к руке Викторины, как она внезапно побледнела и, прошептав: "О Господи!", опустилась без чувств на спинку кресла.

Эварист, пораженный, поспешил сократить визит и удалиться. Слова "несчастный! ведь я писала не о тебе!", так и вертелись в его голове. Он понял, что, сам того не ожидая, стал причиной несчастья своего друга, который, впрочем, этого вовсе не замечал в своем самолюбивом довольстве; понял, что Викторина его любила, и был глубоко потрясен этим открытием. Тут только стали ему ясны некоторые моменты прошлой жизни, о которых он, по своей прямоте, прежде и не думал. В первый раз понял он и страстный характер Викторины, никогда не подозревая прежде о ее любви. Многие минуты в прошлом, когда любовь эта выказывалась очень явно, припомнились ему теперь, но в то же время вспоминал он и то, что никогда эти полуоткрытые признания не возбуждали его взаимности и что, напротив, именно в эти мгновения нравилась ему Викторина менее всего, несмотря на всю свою красоту и привлекательность. Теперь ему стало невольно жаль бедную женщину, погубившую таким ужасным образом свои надежды на счастье.

Как раз в этот вечер в доме президентши Фейес собралось то же самое общество, которому, два года тому назад, Эварист рассказывал историю о похождениях Эдгарда в Испании. Его приняли с общим выражением радости, но он не мог подавить в себе чувства волнения, внезапно увидев в числе гостей Викторину, которую встретить не ожидал. Ни малейшего следа болезни не было видно на ее лице; глаза сверкали ясно и спокойно, а прекрасная прическа еще более подчеркивала ее действительно замечательную красоту. Эварист чувствовал себя как-то неловко в ее присутствии, что случалось с ним редко, но Викторина держала себя с необыкновенным тактом и, улучив удобную минуту, сказала ему тихо:

-- Вы знаете теорию взаимозависимости событий, которой держится мой муж. Мне кажется, что в жизни нас всего более преследует взаимозависимость глупостей, которые мы делаем сами, ставя себя, по собственной вине, в такие затруднительные положения, что их может разрешить одна только смерть. Знайте же, что мне известно все! Уже сегодня утром я знала, что вас увижу, а равно и то, что только сегодня вы меня разгадали. Не вы, а мой злой рок причиной всех моих несчастий. Но теперь недобрый, обуявший меня демон покинул меня навсегда, едва я вас увидела!

-- Да?! -- воскликнул растроганный Эварист. -- Да, Викторина, мир и покой да будут над вами! Судьба никогда не оставляет без помощи разбитую жизнь!

-- Все, все прошло! -- ответила Викторина, отирая украдкой слезу, а затем возвратилась со спокойным и довольным лицом к остальному обществу.

Президентша давно следила за обоими и, едва Эварист возвратился, шепнула ему на ухо:

-- Я сказала ей все; решите: права я или нет?

-- Вы же знаете, -- ответил Эварист, -- что я в моем положении, должен подчиниться всему.

Обратясь затем к присутствовавшим, он продолжал:

-- Я явился собственно для того, чтобы закончить прерванную два года тому назад повесть о похождениях моего друга Эдгарда. Спешу прибавить, что на этот раз и речи не будет о подземельях, убийствах и тому подобных ужасах, а, напротив, речь поведется именно о любви, согласно выраженному тогда желанию дам. Потому я надеюсь, что повесть моя будет принята благосклонно.

Все общество с удовольствием выразило желание выслушать историю о дальнейших похождениях Эдгарда. Стулья и кресла были выдвинуты на середину комнаты, и Эварист, заняв место в середине, начал так:

-- Я обойду рассказ о военных подвигах Эдгарда во время его походной жизни с герильясами. Замечу только, что подаренный ему Рафаэлем Мархецом при расставании талисман, состоявший из маленького золотого перстня с начертанными внутри какими-то таинственными знаками, действительно, принес ему много раз несомненную пользу. Знаки эти доказывали принадлежность носившего перстень к какому-то неведомому, но могущественному тайному обществу, и потому Эдгард, показывая этот перстень, много раз избегал опасности быть заподозренным в измене, как это случилось с ним в Валенсии. Позднее он присоединился к английским войскам и сражался под начальством Веллингтона. Целым и невредимым, вернулся он, по окончании кампании, обратно в свое отечество. Во все это время он не только ни разу не видел дона Рафаэля Мархеца, но даже не слышал о нем ни слова. Проснувшись однажды утром, Эдгард вдруг заметил, что подаренный ему Мархецом перстень, который он постоянно носил на руке, внезапно исчез неизвестно куда. Пока он раздумывал, каким образом мог потерять эту вещицу, в комнату к нему вошел странно одетый небольшого роста человек и, показав ему потерянный перстень, спросил не ему ли он принадлежит? Эдгард радостно вскрикнул и поспешно признал потерянную вещь своей. Едва он это сказал, как незнакомец, вне себя от восторга, воскликнул по-испански: "О дон Эдгард! Это вы! Вы, несомненно!" Эдгард, вглядысь в черты незнакомца и припоминая его лицо, тотчас узнал в нем верного слугу дона Рафаэля Мархеца, того самого, который с таким львиным мужеством защищал дочь своего господина. "Вы слуга Рафаэля Мархеца! -- воскликнул с радостью Эдгард. -- Скажите, где он? Неужели предчувствие меня не обманывает?"

Маленький человек вместо ответа попросил его следовать за ним.

Оба отправились в отдаленное предместье города и вошли в низкий, подвальный этаж одного бедного дома. Боже! Что увидел Эдгард!

Бледный, со всеми признаками приближающейся смерти на лице лежал перед ним дон Рафаэль Мархец на связках из соломы, а рядом стояла на коленях прелестная, как ангел, девушка. Увидя Эдгарда, она бросилась к нему, схватила его за руки и, притаив к ложу старика, воскликнула с неизъяснимым восторгом: "Отец! Отец, смотри! Он ли это? Говори скорее!" -- "Он, -- прошептал умирающий, сверкнув угасающим взглядом и подняв к небу ослабевшие руки, -- да, это он! Наш спаситель! О дон Эдгард! Кто бы мог подумать, что пламя, горевшее в моей груди для защиты родины, обратит против меня самого свою силу!"

Когда первые выражения радости и горя прошли, Эдгард узнал, что злоба врагов дона Рафаэля Мархеца после восстановления порядка в Испании успела сделать его подозрительным в глазах правительства, вследствие чего он был изгнан, а имение его конфисковано. Жалкая бедность стала его уделом. Добрая дочь и верный слуга кормили его, зарабатывая деньги музыкой и танцами.

-- Это Эмануэла и Биаджио Кубас! -- воскликнул Людвиг, и все повторили за ним это предположение.

Президентша попросила не прерывать рассказчика, представляя ему самому выяснить дело до конца. Впрочем, она сама выразила догадку, что, вероятно, Эдгард с первого взгляда горячо полюбил прелестную Эмануэлу.

-- Вы угадали, -- продолжал Эварист, слегка покраснев. -- Едва увидел он прелестную девушку, в душе его возник рой самых сладких воспоминаний, очень скоро перешедших в чувство глубочайшей любви. Немедленно распорядился он перевести дона Рафаэля, Эмануэлу и верного Кубаса в имение своего дяди. Я сам помогал это исполнить. Вскоре счастливая звезда дона Рафаэля, по-видимому, загорелась снова, так как несколько дней спустя получил он письмо от честного патера Эусебио, которым добрый старик уведомлял, что монастырские братья уберегли от людской жадности деньги и драгоценности Рафаэля, замурованные им в стену подземелья, и потому просил прислать верного человека, чтобы он мог получить их обратно. Эдгард тотчас же предложил свои услуги и отправился вместе с преданным Кубасом в Валенсию. Там встретил он своего доброго попечителя Эусебио, который вручил ему все сокровища дона Рафаэля. Зная, однако, что Мархецу честь была дороже всех богатств, Эдгард употребил, будучи в Мадриде, все усилия, чтобы оправдать его в глазах правительства, и сумел доказать его невиновность столь очевидным образом, что строгое постановление об изгнании было отменено.

В эту минуту дверь комнаты внезапно отворилась, и в нее вошла прекрасно одетая дама, за которой следовал высокий пожилой человек статной наружности. Все встали со своих мест. Президентша поспешила к ним навстречу и представила обоих обществу со словами:

-- Донна Эмануэла Мархец, супруга господина Эвариста! Дон Рафаэль Мархец!

-- Да! -- подхватил Эварист с радостным взглядом, покрывшись румянцем от избытка счастья. -- Ко всему сказанному я имею прибавить только то, что мой друг, названный в рассказе Эдгардом, -- это я сам.

Викторина горячо и с чувством обняла Эмануэлу. Обе они, казалось, встретились, как старые знакомые, а Людвиг, смущенно глядя на эту группу, пробормотал:

-- Везде взаимозависимость событий!.. везде...

* * *

Друзья остались довольны рассказом Сильвестра и решили единодушно, что несмотря на эпизодичность вводного рассказа о похождениях Эвариста в Испании, рассказ этот был ловко связан с целым, а потому и уместен, а кроме того, немало прелести придавало повести и историческое ее основание.

-- Должно сознаться, -- молвил Лотар, -- что исторические эпизоды часто наводят на такие мысли и положения, которые талант, сам по себе, никогда бы не мог создать. Разумное пользование историческими событиями, нравами и обычаями какого-нибудь народа придает рассказу колорит, какого поэт вряд ли может достичь иным путем. Но я повторяю, что пользование это должно быть разумно, потому что уметь схватить в историческом событии ту правду, которая, будучи перенесена в произведение фантазии, сохранила бы свою силу, -- далеко не легкое дело, как это думают многие, и требует, наоборот, много искусства, которое дается не всем. В противном случае все произведение окажется бледным абрисом, лишенным всякой жизненной силы. Я знаю много таких произведений, принадлежащих преимущественно перу женщин, в которых видно только то, что автор, макая кисти в превосходные краски, не умел ничего воспроизвести ими на полотне, кроме какой-то пестрой смеси всевозможных штрихов.

-- Я совершенно согласен с тобой, -- сказал Оттмар, -- и слова твои напоминают мне произведения одной писательницы, далеко не лишенной ума, у которой, несмотря на яркость изображаемых ею картин, именно недостает этой поэтической правды. Но если говорить, наоборот, о поразительном умении изображать историческую правду в поэтических произведениях, то следует непременно упомянуть о новом английском писателе, недавно сделавшемся известным между нами. Это -- Вальтер Скотт. Я только что прочел его "Астролога" и узнал автора по правилу: *ex ungue leonem**. Канва романа основана на шотландских нравах и учреждениях, но все это изображено до того

поразительно и живо, что увлекает даже людей, не знающих этой страны. Читая его роман, чувствуешь себя перенесенным в ту самую среду, где происходит действие. Скотт обладает, сверх того, удивительным умением до того живо очерчивать портреты несколькими штрихами, что они кажутся выходящими из рам и движущимися как живые. Писатель этот несомненно замечательное явление в английской литературе и, не уступая в живости своих произведений Смоллету, стоит выше его по классичности и благородству своих произведений. Впрочем, и у него есть, по моему мнению, недостаток, а именно отсутствие блестящего юмора, которым так отличались Стерн и Свифт.

** По когтю льва (лат.).*

-- Я вполне согласен с тобой, -- продолжил Винцент. -- Я из произведений Вальтера Скотта прочел одного "Астролога", но и меня поразило в этом романе удивительное умение автора просто и спокойно развивать действие, точно из клубка, без сучка и задоринки. Но мне, признаюсь, не нравятся в этом романе женские характеры, которые слишком бледны и бесцветны. О старой цыганке я не говорю, потому что это не женщина, а какое-то привидение. Впрочем, упомянутый мной недостаток чисто английского свойства, и винить за него автора нельзя. Обе героини "Астролога" напоминают головки английских кнipseков, награвированные пунктиром, которые все равно хороши, но зато не имеют ни малейшего выражения. Глядя на них, так и думаешь, что этот хорошенький ротик ничего не умеет произнести кроме "да" или "нет", считая все остальное неприличным. "Молочница" Хогарта -- прототип таких личностей, и обеим, упомянутым мною героиням, недостает именно той оригинальности и жизни, которая одна может нравиться.

-- Женщинам в нашей литературы, -- прервал его Теодор, -- можно также пожелать иной раз несколько более пластичности, а то они зачастую являются очень уж воздушными, туманными существами, и это недостаток одного из наших величайших поэтов. Тем не менее следует признать, что оба упомянутые поэта -- настоящие художники, вполне одаренные способностью творчества.

-- Замечательно, -- прибавил Сильвестр, -- что одновременно с Вальтером Скоттом явился в Англии другой писатель, начавший изображать высокое и прекрасное совсем иным образом. Это лорд Байрон, талант которого, на мой взгляд, гораздо выше, чем талант Мура. Его "Осада Коринфа" истинно гениальное произведение, исполненное мужества, великолепных мыслей и картин. В произведениях его видно вообще желание изобразить великое и ужасное вместе. Его "Вампира" я не решился даже прочесть, потому

что одна идея о подобном существе способна оледенить кровь в жилах. Ведь вампир, насколько мне известно, оживший мертвец, который сосет у живых людей кровь.

-- Ого! -- воскликнул со смехом Лотар. -- Я, наоборот, полагаю, друг Сильвестр, что поэт, как ты, должен непременно знать всевозможные страшные истории о колдунах, чертовщине и тому подобном для того, чтобы при случае ими воспользоваться. Что же касается до вампиризма в частности, то я, при моей начитанности, могу тебе сейчас сообщить заглавие одного произведения, из которого ты можешь узнать все, что касается этого мрачного предмета. Полный титул этой книги гласит так: "Трактат об укушениях, производимых вампирами, а также о всем, что касается венгерских легенд об этих существах, с указанием литературы по этому предмету. Сочинение Михаэля Ранфта, дьякона Небры". Уже одно это заглавие может дать тебе понятие об основательности всего сочинения, и ты из него можешь узнать, что вампир не что иное, как злой негодяй, встающий из своей могилы, чтобы сосать кровь у спящих людей, которые в свою очередь становятся вампирами, так что, согласно повествованию автора, в Венгрии есть целые деревни, населенные этими существами. Для того же, чтобы сделать безвредным вампира, следует вырыть его из могилы вновь, пробить ему сердце деревянным колом и затем сжечь тело в пепел. Страннее всего, что вампиры, по сказаниям, могут являться иногда в чужом виде. Рассказ об этом, если я не ошибаюсь, помещен в письме, адресованном одним белградским офицером знаменитому доктору в Лейпциге, в котором автор трактует как раз о сущности вампиризма. В письме этом говорится следующее: "В деревне Кинклин жили два брата, подвергшиеся укушению вампира. Почувствовав это, оба они стали стеречь друг друга. Раз вампир явился в их комнате в виде собаки, но по крику, поднятому одним из братьев, тотчас же убежал прочь. Однажды случилось, что оба брата заснули в одно время. Вампир, воспользовавшись этим, вбежал в комнату и прокусил одному из них жилу за ухом, от чего тот через три дня умер". В заключение офицер прибавляет: "Так как об этом чуде здесь говорят многие, то я почтительнейше прошу мне сообщить, действительно ли могут существовать на свете такие страшные вещи?" Советую тебе взять пример с этого любопытного офицера. Теперь я не припомню его имени, но, кажется, он служил в полку принца Александра и чуть ли не назывался Сигизмундом-Александром-Фридрихом Коттвицем. В то время военные с особенным любопытством занимались вопросом о вампиризме. В упомянутом мной трактате Ранфта есть рассказ об облеченном в законную форму уничтожении одного вампира, произведенном врачами того же полка принца Александра в присутствии двух офицеров. В акте, написанном по этому случаю, между прочим, сказано: "Убедившись, что помянутое лицо

действительно вампир, они пробili ему сердце деревянным колом, причем он громко стонал и пролил большое количество крови". Не правда ли, насколько этот рассказ интересен и поучителен?

-- Это все, -- сказал Сильвестр, -- может показаться диким и безумным в рассказе доктора Ранфта, но если обратиться к самому поверью о вампирах, то следует сознаться, что поверье это одно из ужаснейших заблуждений человеческого духа, невольно возбуждающее отвращение всякого образованного человека.

-- Однако, -- возразил Киприан, -- исходя из мысли, что это поверье ужасно, я полагаю, что истинно талантливый, фантастический поэт может им воспользоваться как превосходным материалом для того, чтобы изобразить те смутные, ужасные силы, которые бродят в нашей душе и поражают наш дух, точно рядом электрических ударов, не доводя его до окончательного разрушения. Поэтический такт писателя сумеет в этом случае соблюсти, чтобы ужасное не выродилось под его пером в отвратительное. К сожалению, для многих предмет, глупый сам по себе, часто кажется невозможным ни на какую поэтическую обработку и вызывает предвзятое против себя мнение. А почему, казалось бы, не признать за поэтом права воспользоваться иногда тем рычагом, который возбуждает в нашей душе чувство страха и ужаса? Неужели только вследствие того, что многие не могут переносить спокойно подобных ощущений? Так рассуждая, пожалуй, придешь к заключению, что на званом обеде не следует подавать того или иного блюда, потому что его не переваривает тот или другой гость со слабым желудком.

-- Мы, -- возразил Теодор, -- вовсе не нуждаемся в твоей апологии ужасного, мой дорогой, фантастический Киприан. Кому же неизвестно, с каким искусством пользовались великие поэты тем рычагом, о котором ты говорил, для того, чтобы заставить зазвучать сокровеннейшие струны человеческого сердца. Стоит только вспомнить Шекспира или нашего несравненного Тика в некоторых из его рассказов. Я упомяну здесь только повесть "Чары любви". Идея этой сказки способна оледенить кровь в жилах, и само заключение поддерживает это чувство, а между тем она написана до того искусно, что несмотря на весь страх и ужас подробностей, после ее прочтения остается в душе только чувство увлекательного трагизма, которому дух наш подчиняется с такой охотой. Как верны в этом случае слова героя повести Манфреда, которые он произносит против общей антипатии женщин к изображению в поэзии ужасного! Ведь ужасное терзает и мучит душу в обыденной жизни точно так же, как и неведомые призрачные муки! Вера в сверхъестественные ужасы -- прямой продукт тех настоящих страданий, которые терпят люди в обыденной жизни под гнетом больших или маленьких тиранов. Поэт совершенно верно заключает свои мысли на эту тему словами: "Изображение

действительных страданий под сказочной одеждой должны бы, наоборот, развлекать нас и нравиться, и я полагаю, что для созерцания этого изображения вовсе нет надобности обладать особенно крепкими нервами".

-- Мы уже часто, -- перебил Лотар, -- вспоминали гениального поэта, чьи поразительные воззрения на сверхъестественное останутся навсегда живыми, тогда как множество посторонних, мелких попыток осветить это способны только ослепить глаза на минуту. Но мне кажется, что возбудить наш дух чувством страха и ужаса можно часто гораздо более простой отвлеченной мыслью, чем описанием страшных фактов. Что может быть, например, ужаснее повести Клейста "Локарнская нищенка"? А между тем как просто ее содержание! Бедная женщина, которой из милости дозволено жить за печкой, как собаке, умирает, а затем в доме начинает ежедневно являться кто-то, тяжело ступая по полу и укладываясь за печку на солому, между тем как никто не видит этого призрачного существа. А как превосходно и живо все это изложено! Клейст умел не только искусно выбрать краски для своей картины, но и употребить их как истинно гениальный живописец, создав настоящую, живую личность. Ему не было надобности поднимать вампиров из гробов; он удовольствовался простой, бедной женщиной.

-- Я вспомнил, -- вмешался Киприан, -- по поводу разговора о вампиризме, одну страшную историю, которую давно уже где-то, не помню хорошенько, читал или слышал. Кажется, вернее, что слышал, потому что рассказчик, как теперь вспоминаю, заявил, что история эта случилась действительно и даже называл известную графскую фамилию, о которой идет речь. Если эта повесть была напечатана и вы ее читали, то, прошу вас, прервите меня тотчас же, потому что, по моему, нет ничего скучнее, как слышать уже известные вещи.

-- Кажется, -- заметил Оттмар, -- ты хочешь опять угостить нас чем-нибудь невозможно ужасным. Подумай, по крайней мере, о святом Серапионе! Будь краток, насколько это возможно, чтобы уступить очередь Винценту, который, как я замечаю, уже давно горит нетерпением прочесть нам обещанную сказку.

-- Напротив, напротив, -- запротестовал Винцент, -- я очень желаю, чтобы рассказ Киприана сыграл роль мрачного фона, на котором будут прекрасно кувыркаться для потехи публики забавные фигуры моей сказки. Потому начинай твой рассказ, о мой Киприан! Будь сух, ужасен, жесток не хуже вампира Байрона, которого я не читал.

-- Граф Ипполит, -- так начал Киприан, -- только что возвратился после долгого путешествия в богатое имение, доставшееся ему в наследство от недавно умершего отца. Замок его лежал среди прекраснейшей местности, и все поместье приносило столь значительный доход, что владелец, вернувшись домой, мог немало

употребить денег на украшение своего жилища. Собранные им, во время его путешествия, сокровища искусства, преимущественно в Англии, должны были теперь занять соответствующие места в комнатах замка. Ремесленники и мастера стеклись по его зову со всех сторон и начали перестройку старого замка по новому плану, а также разбивку прекрасного обширного парка, который должен был вместить в себя и церковь, и кладбище, и дом священника, находившиеся до этого просто в лесу. Граф, понимавший толк в деле, сам руководил работами и до того предался им всей душой, что не заметил как прошел год, в течение которого он не думал даже, по совету своего старого дяди, познакомиться с семействами соседей, где, по словам старика, было немало хорошеньких дочерей, которые почли бы за счастье разделить с ним одиночество его жизни. Раз утром сидел он за своим рисовальным столом, набрасывая эскиз нового здания, как вдруг ему объявили о прибытии одной старой баронессы, родственницы его отца. Ипполит, услышав имя баронессы, вспомнил, что отец его всегда отзывался о ней с неудовольствием, почти с отвращением и даже предостерегал других иметь с ней какие-нибудь дела, хотя и не высказывал тому причины. Если его об этом расспрашивали, то он ограничивался ответом, что есть вещи, о которых порядочному человеку лучше промолчать. В городе, действительно, ходили темные слухи о каком-то уголовном процессе, в котором будто бы была замешана баронесса, вследствие чего должна была развестись со своим мужем и покинуть прежнее место жительства, причем говорили даже, что будто одно милосердие князя спасло ее от заслуженного наказания. Приезд особы, которую так не любил отец Ипполита, был ему крайне неприятен, несмотря на то, что он не знал хорошенько причин этой антипатии; тем не менее долг гостеприимства, особенно строго соблюдаемый в деревне, не позволил ему отказать баронессе в приеме.

Наружность баронессы оказалась одной из тех, которые, не будучи положительно дурными, производят, однако, самое отталкивающее впечатление. Войдя, она быстро, как-то по-кошачьи, взглянула на Ипполита своими маленькими глазками и затем, тотчас же скромно потупив их, стала почти с каким-то унижением извиняться за свой неожиданный визит. Заговорив об отце Ипполита, она стала жаловаться на его несправедливую к ней ненависть, доведшую ее до бедности и стыда, причем позволила себе даже намекнуть с горечью на то, что он, будучи ее родственником, не оказал ей никогда ни малейшего вспомоществования. Нынче, по ее словам, она получила неожиданно значительную сумму денег, которая дала ей возможность покинуть город и переехать на житье в отдаленное поместье. Отправляясь туда, она не могла отказать себе в удовольствии увидеть сына человека, которого она, несмотря на то, что он был к ней дурно расположен, всегда уважала и почитала. Последним словам баронесса сумела

придать такой оттенок искренности и правды, что даже Ипполит был несколько тронут, и это чувство усилилось в нем еще больше, когда он, отведя глаза от баронессы, увидел, что с ней вместе вошла в комнату какая-то очень милостивая девушка. Баронесса быстро заметила впечатление, произведенное на графа ее спутницей, и тотчас же замолчала. Ипполит в смущении не знал, что ему сказать. Наконец, баронесса начала снова извинением, что забыла представить ему свою дочь, Аврелию. Граф, покраснев до ушей, как краснеют обычно только юноши, забормотал что-то о своем глубоком сожалении, что отец его был так дурно настроен против баронессы, и кончил заявлением, что замок его весь к услугам дорогих гостей. Говоря так, он схватил руку баронессы, но в тот же миг почувствовал, что у него точно слова оборвались на языке и холод пробежал по жилам. Рука баронессы судорожно стиснула его пальцы, точно рука мертвеца, и вся она, мгновенно переродившись, вдруг взглянула на него неподвижным, мертвым лицом, показавшимся ему еще более ужасным по контрасту с ее пестрым нарядом.

-- О Боже, какое несчастье и в такую минуту! -- воскликнула Аврелия и тотчас же объяснила, горько зарыдав, что бедная ее мать подвержена болезненным припадкам, которые, впрочем, скоро проходят сами собой, без всяких вспомогательных средств.

Граф с трудом освободил свои пальцы из рук баронессы и пришел в себя от ужасного впечатления, только поцеловав с горячностью прекрасную ручку Аврелии. Ипполит был уже не так молод, но тут, в первый раз в жизни, почувствовал он признак зарождающейся в сердце страсти, и ему тем труднее было скрыть это чувство, что Аврелия, со своей стороны, отнеслась к нему сочувственно и дружески. Рой самых сладких надежд объявился в душе Ипполита. Между тем баронесса, оправившись от своего припадка, подошла к нему и, совершенно не сознавая, что с ней случилось, сказала, как бы продолжая прежний разговор, что она глубоко тронута высокой честью сделанного ей графом приглашения погостить в замке и вполне готова забыть несправедливости, причиненные ей его отцом. Таким образом, домашний быт графа внезапно изменился, и скоро он совершенно стал свыкаться с мыслью, что сама судьба привела в его дом ту, которой суждено быть его желанной женой и счастьем всей жизни. Поведение старой баронессы было постоянно ровно и сдержанно. Она казалась серьезной, замкнутой в себе, только изредка можно было заметить, по выражению ее лица, что и она томится лелеемой в сердце сладкой надеждой.

Граф скоро привык к ее, действительно, делавшемуся ужасным во время припадков лицу и искренно сожалел о несчастной, охотно извиняя ей и некоторые другие странные выходки, которые он также приписывал болезненному состоянию. Так, например, граф узнал от

прислуги, что старая баронесса иногда по ночам бродила по парку, вблизи кладбища. Ему даже становилось стыдно, что наговоры отца могли восстановить его против баронессы до такой степени. Даже увещевания бывшего еще в живых старого дяди, умолявшего Ипполита одуматься вовремя и не идти к верной гибели, не произвели никакого впечатления на влюбленного.

Твердо уверенный в искренности любви к нему Аврелии, граф сделал ей формальное предложение, и можно себе представить, с какой радостью и восторгом приняла это баронесса. Аврелия расцвела в полном смысле слова. Небольшая бледность и неясные следы какой-то тоски, набегавшие иногда на ее милые черты, исчезли совершенно.

Утром в тот день, когда была назначена свадьба, ужасный случай смутил безмятежное счастье Ипполита. Старая баронесса была найдена без чувств, лежащей на одной из аллей парка, и перенесена в замок как раз в ту минуту, когда граф только что встал с постели, предвкушая блаженство этого дня. Сначала он подумал, что это был обычный случавшийся с ней припадок, но он ошибся: баронесса умерла, несмотря на всевозможные старания ее спасти. Аврелия казалась не столько опечаленной, сколько пораженной каким-то страшным ударом, надломившим, по-видимому, все ее существо. Граф был в отчаянии, но, наконец, желая хоть чем-нибудь развлечь ее и утешить, деликатно навел разговор на то, что положение Аврелии, оставшейся сиротой в его доме, могло повести к пересудам и толкам, а потому следовало бы, по его мнению, поспешить с их браком, несмотря на недавнюю смерть баронессы.

Аврелия со слезами упала графу на грудь и воскликнула душераздирающим голосом:

-- Да! да! Бога ради скорее! Скорее, ради моего спасения!

Граф приписал этот крик тяжелому положению, в каком она находилась, так как молодая девушка осталась без ничего, ей негде было приклонить голову, а жить в замке не позволяли светские приличия. Вследствие этого он тотчас же нанял одну пожилую почтенную женщину Аврелии в компаньонки, и через несколько недель был снова назначена свадьба, прошедшая в этот раз уже без всяких приключений, а, напротив, достойно увенчав счастье обоих влюбленных.

Аврелия все это время находилась в каком-то возбужденном состоянии. Потеря матери, казалось, ее не огорчала -- нет! Во всем ее существе читался какой-то тайный, необъяснимый страх, словно преследовавший ее всегда и везде. Часто среди веселого, оживленного разговора она вдруг бледнела, в ужасе поднималась с места и, судорожно схватив Ипполита в свои объятия, восклицала: "Нет! Нет! Никогда!" -- точно желая спастись от какой-то преследовавшей ее злобной власти.

В сердце графа с полным правом могло закрасться сомнение, не тяготит ли душу Аврелии какая-нибудь ужасная тайна, но он не считал деликатным ее расспрашивать, прежде чем она не вздумает заговорить об этом сама. Наконец, однако, решился он намекнуть на томившую его мысль и спросить о причине странного расположения духа Аврелии. В ответ на это Аврелия поспешно объявила, что ему, обожаемому мужу и другу, она считает долгом открыть все и тем облегчить свое сердце. Из слов ее граф с удивлением узнал, что мать Аврелии была одной из причин всех ее горестей и бед.

-- Может ли быть горе больше, -- воскликнула рыдая Аврелия, -- как быть принужденной ненавидеть и презирать собственную мать!

"Значит, -- мелькнуло в уме Ипполита, -- отец и дядя были правы в своих суждениях о баронессе, и она с помощью коварства сумела обмануть и меня самого!"

Теперь он готов был почти радоваться, что злая старуха умерла в самый день его свадьбы. Аврелия, наоборот, созналась ему, вся дрожа, что именно мысль о смерти матери и наводит на нее этот неизъяснимый ужас. Ей, по ее словам, все кажется, что покойница встанет когда-нибудь из своего гроба и увлечет ее за собой к вечной гибели, вырвав из объятий обожаемого мужа. Далее Аврелия рассказала, что она смутно помнит одно страшное приключение, случившееся с ней в детстве.

Раз ночью ее разбудили необычайный шум и ходьба в доме. Двери отворялись и запирались, и везде слышались громкие, незнакомые голоса. Когда шум немного утих, нянька Аврелии взяла ее на руки и снесла в большую комнату, наполненную народом. В середине на столе лежал без движения человек, которого Аврелия привыкла называть отцом, который любил и баловал ее всевозможными способами. Она потянулась к нему ручонками и хотела его поцеловать, но губы, так часто и так горячо ее целовавшие, были холодны, и Аврелия, сама не зная почему, горько расплакалась. Нянька отнесла ее в какой-то чужой дом, пока не приехала туда неизвестная дама и не увезла ее с собой в карете. Дама эта, которая оказалась ее матерью, поселилась вместе с ней на житье в столице.

Аврелии было уже около шестнадцати лет, как вдруг в дом ее матери стал часто являться какой-то человек, которого баронесса принимала постоянно с выражением самого искреннего сочувствия и дружбы. Посещения его делались все чаще и чаще, а вместе с тем видимо изменилась и вся обстановка жизни баронессы. Вместо прежней бедной комнаты, где-то почти на чердаке, переехали они в большой, богатый дом в лучшем квартале города. Роскошные наряды сменили прежние убогие платья. Баронесса ежедневно обедала вместе со своим гостем, а по вечерам стала с ним разъезжать по всем увеселительным местам столицы. Только на положении Аврелии эта перемена

состояния ее матери не отразилась никак. Во время увеселительных прогулок баронессы с незнакомцем она постоянно оставалась одна в своей комнате и одевалась точно так же бедно, как и прежде.

Незнакомец, хотя ему было лет около сорока, сохранил вполне юношескую свежесть и вообще мог назваться красавцем, но, несмотря на это, он был всегда противен Аврелии, в особенности своими манерами, которые при всем его желании показаться принадлежащим к хорошему обществу, обличали в нем необразованного, грубого человека. Скоро Аврелия заметила, что незнакомец стал порой кидать на нее взгляды, которые приводили ее в невыразимый ужас. Она не могла дать себе ясного отчета, почему баронесса, до сих пор никогда не говорившая ни слова о незнакомце, тут вдруг объявила ей его имя, прибавив, что он имел титул барона и был их дальним родственником. Она много распространялась в похвалах его наружности, качествам и заключила вопросом, нравится ли он Аврелии. Аврелия не могла промолчать о том отвращении, которое внушал ей приятель ее матери, и надо было видеть, какая ярость сверкнула при этом в глазах баронессы. Она назвала ее глупой, безрассудной девчонкой, но, однако, скоро спохватилась и даже стала гораздо ласковее, чем была прежде; накупила ей прекрасных нарядов и начала брать ее везде с собой. Незнакомец стал к ней необыкновенно внимателен и предупредителен, чем, однако, по словам Аврелии, сделался ей еще отвратительнее прежнего. Чувство это, наконец, перешло в ней все границы, после того как она однажды убедилась, какого рода замысел созрел относительно нее в голове преступной матери.

Однажды незнакомец, вернувшись домой совершенно пьяный, вдруг схватил Аврелию в свои объятия с таким диким, безумно бешеным взглядом, что она не могла более ни минуты сомневаться в его намерениях. Отчаяние придало ей сверхъестественную силу, и она так оттолкнула негодяя, что он, и без того едва держась на ногах, упал без памяти на пол. Сама Аврелия убежала и заперлась в своей комнате. Скоро баронесса вошла к ней и холодно объявила, что они обязаны незнакомцу всем своим благосостоянием и что она не имеет ни малейшего желания возвращаться к прежней нужде и нищете, а потому находит, что всякое манерничанье со стороны Аврелии в этом случае глупо и неуместно и что ей остается только подчиниться желанию их благодетеля, который, в противном случае, грозит бросить их совсем. Слезы и мольбы Аврелии вызвали на лице баронессы лишь холодную усмешку, причем она вообще высказала такой ледяной, безнравственный взгляд на эти вещи, что не нашлось бы даже совершенно испорченного сердца, которое не пришло бы в ужас, выслушав такое признание от кого бы то ни было. Аврелия увидела ясно, что погибель неизбежна, и решилась искать спасения в бегстве.

Она успела добыть ключ от входных дверей; наскоро собрала необходимые пожитки и поздней ночью вышла в переднюю, полагая, что мать ее спала глубоким сном. Она готова была уже проскользнуть незаметно в дверь и сбежать с лестницы, как вдруг в комнату стремительно вбежала баронесса, растрепанная, в ночном платье, и бросилась к ногам Аврелии. Незнакомец следовал за ней, крича страшным, бешеным голосом:

-- Постой, старая ведьма! Я тебе задам праздник!

И, схватив баронессу за волосы, стал жестоко бить тяжелой тростью, которую держал в руках. Крик старухи был ужасен. Аврелия, вне себя от страха, бросилась к окну и, разбив его, громко закричала о помощи. Проходивший в эту минуту по улице патруль немедленно вошел в дом.

-- Возьмите его! -- воскликнула избитая, израненная баронесса. -- Возьмите!.. Держите крепче!.. Взгляните на его спину! Это...

Едва она успела произнести имя незнакомца, как полицейский сержант воскликнул:

-- Как! Уриан?! Наконец-то мы добрались до тебя, голубчик!

Незнакомец был тотчас же схвачен, крепко связан и уведен прочь, несмотря на его отчаянное сопротивление.

При всем ужасе этой сцены, баронесса, однако, успела заметить намерение Аврелии бежать. Едва полиция удалилась, она взяла дочь за руку, отвела, не говоря ни слова, в ее комнату и заперла на ключ. На следующее утро старуха вышла рано из дома и вернулась только поздно ночью, так что Аврелия провела весь этот день одна в комнате, никого не видя и без куска хлеба.

Прошло некоторое время. Баронесса постоянно обращалась с ней сурово и, казалось, боролась сама с собою, словно на что-то решаясь. Наконец как-то вечером получила она письмо, содержанием которого осталась очень довольна.

-- Смотри, дрянная девчонка! -- сказала она Аврелии, -- ты виновата во всем, но я, так и быть, тебя прощаю и не желаю тебе беды, которую ты сама накликала.

С этой минуты она стала с ней опять ласковой и возвратила ей прежнюю свободу, хотя Аврелия давно сама оставила намерение бежать, с тех пор, как злодея ее не было в доме. Так прошло еще некоторое время.

Раз Аврелия, сидя в своей комнате, услышала сильный шум на улице. Горничная выбежала за двери и, возвратясь, объявила, что это была процессия позора, устроенная для сына палача, обвиненного в убийстве, и которого вели с площади, где он был заклеямен железом, обратно в тюрьму. По дороге он думал вырваться и убежать, что и было причиной шума. Аврелия, объятая каким-то страшным предчувствием, бросилась к окну и не ошиблась: в преступнике, привязанном к колеснице, она тотчас узнала своего злодея. Увидя ее,

негодяй сжал кулаки и погрозил ей со свирепым взглядом, под впечатлением которого она почти без чувств упала в кресло. Баронесса во все эти дни часто выходила из дома, оставляя Аврелию одну, причем по взглядам старухи она ясно могла догадаться, что они переживают тяжелые времена.

Горничная Аврелии, взятая уже после несчастного ночного приключения, успела, однако, разведать в чем дело и сообщила ей, что в городе только и разговоров было, что о баронессе и ее связи с закоренелым преступником. Аврелия знала, как происходило дело, и полицейские могли быть верными свидетелями в подтверждение ходивших слухов, так как они схватили негодяя в доме баронессы, узнав его по выжженным клеймам на спине, служившим явной уликой его прежней преступной жизни. Хотя горничная Аврелии, видимо, сдерживала язык и не говорила всего, что знала, но Аврелия, однако, могла догадаться, что преступник показал на допросе такие вещи, вследствие которых опасность быть привлеченной к суду и даже арестованной грозила самой баронессе. Таким образом ужасное сознание преступности родной матери во второй раз поразило несчастную девушку, а вместе с тем она поняла, что им невозможно оставаться жить на прежнем месте. Последнее обстоятельство не заставило себя долго ждать, и обе они поспешно покинули город, где оставили по себе такую печальную славу. По дороге заехали они в замок графа, где и случилось все рассказанное выше.

После сватовства графа Аврелия думала успокоиться и забыть все, но каков же был ее ужас, когда баронесса в ответ на ее признание, вместо всякого сочувствия, вдруг закричала страшным голосом:

-- Ты родилась на мое вечное горе, несчастное существо! Знай же, что в самом твоём счастье найдешь ты свою беду, если я не переживу твоего брака! Твое рождение принесло мне болезнь! В эту минуту в меня вселился сам сатана!

Сказав эти последние слова, Аврелия упала на грудь графа и со слезами умоляла его удовольствоваться этим признанием и не заставлять ее повторять то, что мать напроорочила ей еще в этом бешеном припадке ярости. Она чувствовала себя, по ее словам, до того разбитую своим рассказом, что боялась, как бы ужасная угроза баронессы не оправдалась на ней на самом деле. Граф старался утешить Аврелию как мог, но и он не был в состоянии отделаться от чувства какого-то ужаса, вселившегося в него после ее рассказа. Он невольно сознавался себе сам, что глубокое отвращение к умершей баронессе, восстав в нем с новой силой, набросило черную тень на его светлую до этой минуты жизнь.

Через некоторое время граф стал замечать, что в Аврелии начала происходить какая-то странная перемена. Необыкновенная бледность лица и утомленные глаза указывали явно на болезненное состояние

тела, но с тем вместе какая-то загадочная пугливость и вообще все состояние духа заставляли предполагать, что к физическому страданию присоединилось и нравственное расстройство. Она видимо избегала оставаться с мужем наедине, часто запиралась одна в своей комнате, гуляла в парке только по уединенным аллеям, и когда возвращалась домой, то заплаканные глаза обличали явно, что она боролась с какой-то страшной, мучительной мыслью. Напрасно старался граф добиться причины этой внезапной перемены и наконец решился прибегнуть к совету одного известного своим искусством врача. Тот, исследовав Аврелию, признал ненормальность ее положения, но что до ее причин, то он даже обрадовал графа, высказав мысль, что подобная нервная раздражительность в женщинах часто сопровождает первые признаки беременности. Обедая с графом и графиней, врач перевел однажды веселый разговор на это обстоятельство, но на Аврелию слова его не произвели ни малейшего впечатления. Однако она вдруг встрепенулась и стала с жадностью слушать, когда, продолжая ту же тему, распространился врач об одном странном обстоятельстве: дело в том, что женщины в таком положении часто чувствуют непонятные влечения, которым они не могут даже сопротивляться, не причинив вреда себе и будущему ребенку.

Аврелия засыпала врача расспросами, и он, благодаря своей опытности, был в состоянии рассказать множество самых странных и даже смешных подробностей, связанных с такими случаями.

-- Впрочем, -- прибавил он, -- в женщинах случались при подобных обстоятельствах проявления и таких чудовищных инстинктов, что о них страшно упоминать. Так, например, я знал жену одного кузнеца, которую ужасно тянуло к человеческому мясу, и когда муж ее воротился однажды домой пьяным, то она изрезала его ножом, так что он истек кровью и умер.

Едва Аврелия услышала эти слова, как, тотчас же побледнев, упала без чувств со страшными конвульсиями. Припадок был так силен, что врачу, поздно спохватившемуся, что слова его неосторожны, только с великим трудом удалось привести ее в себя и успокоить.

Припадок этот, однако, произвел, по-видимому, благотворительный перелом в общем состоянии графини. Она вообще стала спокойнее, хотя какая-то странность выражения бледного лица и зловещий огонь, порой сверкавший в ее глазах, по-прежнему глубоко тревожили графа. Самым необъяснимым в поведении Аврелии было то, что она решительно отказывалась от пищи и выказывала невыразимое отвращение ко всем блюдам, и преимущественно к мясу, так что часто даже вставала во время обеда и удалялась, не будучи в силах перенести его вида и запаха. Ни убеждения врача, ни просьбы графа не могли принудить ее выпить хотя бы одну ложку лекарства. Так проходили недели и месяцы, а графиня все отказывалась принять какую-либо

пищу, так что, наконец, врач должен был сознаться сам себе, что тут замешалась какая-то тайна, до сих пор еще не до конца исследованная наукой. Он покинул замок под каким-то выдуманном предлогом, хотя граф очень хорошо разгадал его мысли и понял, что в положении его жены было что-то загадочное и что медицина не была в состоянии помочь ее болезни. Можно себе представить, в какое состояние это его привело. Но ожидавший его удар был еще страшнее.

Раз один старый, верный слуга графа, улучив минуту, когда он сидел один, рассказал ему, что графиня по ночам куда-то выходила из замка и возвращалась только с рассветом. Холод пробежал по жилам несчастного Ипполита при этом известии. Тут в первый раз только пришло ему на ум, что с некоторого времени он постоянно засыпал около полуночи каким-то тяжелым, неестественным сном и что, вероятно, сон этот был следствием наркотического питья, которое давала ему по вечерам графиня, чтобы незаметно покидать спальню, так как они, вопреки обычаям высшего света, спали в одной комнате. Страшное подозрение в измене запало в его душу! Образ отвратительной матери и черная история с сыном палача вновь сверкнули яркими красками в его сердце. На следующую ночь он дал себе слово добиться, во что бы то ни стало, раскрытия этой тайны, которая, вероятно, была в связи с общим непонятным состоянием духа Аврелии.

Графиня каждый вечер сама готовила для него чай и затем удалялась к себе. В этот день он не выпил ни одного глотка и когда, по обыкновению, лег с книгой в постель, то тотчас почувствовал, что в этот раз обыкновенная его сонливость не являлась. Тем не менее он положил книгу в сторону и притворился спящим. Скоро Аврелия тихо и осторожно встала с постели, подошла к графу, осветила ему лицо свечой и, убедясь, что он спит, вышла из комнаты. Сердце Ипполита готово было выпрыгнуть. Быстро вскочил он с постели, накинул плащ и тайком пошел за Аврелией. Ночь была ясная, лунная, так что граф мог видеть фигуру жены в белом ночном платье, несмотря на то, что она прокрадывалась темными тропинками. Пройдя парк, Аврелия направилась к кладбищу и исчезла за стеной. Ипполит быстро пробежал туда же и вошел в незапертые ворота ограды. Там глазам его вдруг представилась кучка каких-то страшных, призрачных фигур. Вглядевшись, он увидел, что это было несколько полуобнаженных, старых женщин с растрепанными волосами. Припав к земле, они рвали и грызли зубами, как жадные волки, лежавший среди них вырытый труп! Аврелия была между ними!..

В ужасе бросился граф прочь, пробежал через парк, бежал, сам не зная куда, пока, наконец, не очнулся с занявшейся зарей, весь измученный, в холодном поту, перед воротами замка. Не сознавая сам, что делает, он быстро вбежал на лестницу и бросился в спальню.

Аврелия лежала в постели и спала, по-видимому, самым сладким сном. Ипполит думал убедить себя, что виденное им было только страшным сном, или, если он действительно был на кладбище, что доказывал и его вымокший плащ, ласкал себя надеждой, что глаза его были поражены ужасной галлюцинацией. Не ожидая пробуждения графини, он оделся и, велев подать верховую лошадь, поскакал куда глядели глаза. Прогулка ранним свежим утром, по зеленым ароматным полям, среди неумолкаемого пения птиц притупила в душе его страшное впечатление от виденных им ночных ужасов, так что он возвратился успокоенный, по крайней мере, настолько, что мог владеть собой. Но когда оба, и Ипполит и Аврелия, сели обедать, и последняя выказала, как обычно, свое отвращение к мясу, сознание страшной правды внезапно с прежней силой восстало в душе графа. Вне себя от гнева вскочил он из-за стола и крикнул ужасным голосом:

-- Адская тварь! Я знаю, почему ты не ешь человеческой пищи! Тебе нужно мясо, вырытое из гробов, проклятая женщина!

Едва успел он произнести эти слова, как Аврелия с диким криком кинулась на него и, точно бешеная гиена, укусила его в грудь. Ипполит так яростно оттолкнул беснующуюся, что она упала на землю, где через несколько минут умерла в ужаснейших конвульсиях.

Граф сошел с ума.

* * *

-- Ну, мой дражайший Киприан, -- молвил Лотар, после нескольких минут молчания, воцарившегося в кружке друзей, -- ты отлично сдержал свое слово. Вампиризм против твоего рассказа может показаться детской игрушкой, способной возбудить только смех. Повесть твоя до того интересна и сверх того, так обильно полита ассафетидой, что ей порадовался бы всякий человек, у которого вкус извращен до того, что ему уже перестала нравиться свежая, здоровая пища.

-- И все-таки, -- перебил Теодор, -- я должен заявить, что Киприан в своем рассказе умолчал о многом, а некоторых обстоятельств коснулся до того слегка, что о последствиях их можно только догадываться. Мы, впрочем, за это ему все благодарны. Я вспоминаю теперь, что, действительно, читал эту страшную историю в какой-то старой книге, где все ее эпизоды, в особенности же, похождения старой баронессы, развиты с большой любовью, что производит уже совершенно невыносимое впечатление. Я был очень рад, что Киприан не очень распространялся в своем рассказе, и, вспомнив нашего патрона святого Серапиона, позволил себе ужаснуть нас только в самом конце повести.

Поглядите на себя в зеркало! Мы все порядочно бледны, и более всего сам рассказчик.

-- То, что мы слышали, забывается не так легко, -- сказал Оттмар, -- и так как в рассказе Киприана выведены живые отдельные фигуры, то, я думаю, он вряд ли может послужить темным фоном для сказки Винцента! Позвольте же мне для того, чтобы окончательно рассеять тяжелое впечатление, сделать небольшую интермедию между слышанной историей и сказкой Винцента. Он уже, кстати, откашливается для того, чтобы обеспечить ясность голоса. А я воспользуюсь этим временем и скажу несколько слов об одном эстетическом чайном обществе, о котором заметку нашел сегодня, прерывая свои бумаги... Ты позволишь, друг Винцент?

-- Хотя, -- возразил Винцент, -- подобные отступления и вообще вся наша болтовня о вампирах и тому подобных вещах, давно уже препятствующая мне открыть рот, будут противны уставу святого Серапиона -- но, несмотря на это, -- говори друг Оттмар! Часы бегут, и я, как сварливая женщина, утешаюсь тем, что за мной, по крайней мере, остается последнее слово!

-- Случай или, вернее сказать, излишняя любезность, -- так начал Оттмар, -- сделали меня посетителем одного эстетического чайного общества, а так как время проходило там довольно скучно, то я старался всеми способами не оставаться на его собраниях долго. Меня бесило то, что истинно талантливые произведения, прочитываемые там иногда, обыкновенно возбуждали в обществе одну зевоту, тогда как невыносимые стихи какого-то юного, много возмечтавшего о себе поэта, общего любимца гостей, вызывали всеобщий восторг. Поэт этот пробовал свои силы и в чувствительном, и в серьезном, но преимущественно много воображал о своей способности писать эпиграммы. В них, впрочем, всегда оказывался недочет в остроте, и потому он обыкновенно подавал собственным примером знак, когда следовало смеяться, причем ему немедленно начинало вторить все общество. Раз, на одном из таких собраний, я скромно попросил позволения прочесть небольшие стихи, сочиненные мной в счастливый момент вдохновения. Все общество необыкновенно обрадовалось и с охотой согласилось на мою просьбу. Я вынул из кармана листок и прочел:

ЧУДЕСА ИТАЛИИ

*Гляжу ли я к востоку,
Лучи зари вечерней
Сияют назади!
Взгляну ли я на запад,*

*Пленительное солнце
Заглянет мне в лицо!
О чудный край, где могут
Свершиться перед нами
Такие чудеса!*

"Прелестно! Божественно! Милейший господин Оттмар! Как это глубоко прочувствовано! Как хорошо!" -- так воскликнула хозяйка дома, а вслед за ней и толпа одетых в черные фраки юношей, с великолепными жабо. Одна молодая барышня даже отерла выступившую у нее на глазах слезу умиления. По общему требованию, я стал продолжать, придав своему голосу самое трогательное выражение и на этот раз прочел следующее:

*Малютка юнкер Мас
Скворца себе припас,
За ним не доглядел,
Скворец и улетел!
И юнкер Мас опять
Один стал поживать!*

Новый восторг и новые похвалы! Вся публика громко требовала продолжения. Я скромно ответил, что подобные, глубоко обдуманные вещи, обнимающие жизненные вопросы со столь разнообразных сторон, будучи прочитаны в неумеренном количестве, могут подействовать слишком сильно на нервы дам, а потому я и предпочитаю лучше сообщить несколько эпиграмм, в которых слушатели, конечно, не откажутся признать присутствие главного качества эпиграммы, а именно -- соли. Я прочел:

*Толстяк хозяин Шрейн
Любил один рейнвейн,
И раз хватил так много,
Что отдал душу Богу.
Сосед же Грау сидит
Да со смехом говорит:
"Хозяин Шрейн толстяк!
Когда бы не пил так
Зараз ты очень много
Не отдал душу б Богу".*

Когда общество достойно выразило свое изумление по поводу блестящего остроумия этой эпиграммы, я выступил с другой:

Раз Гамму Гумм сказал: "Ты что-нибудь слыхал о книге Ганзена?" -- "А ты ее читал?" -- Спросил так Гамм. А Гумм-хитрец на это ему с улыбочкою лукаво молвил: "Нету!"

Все громко рассмеялись, а хозяйка дома даже сказала, погрозив мне пальцем: "О злой! Можно ли быть колким до такой степени!" Один из гостей, слывший в обществе за непогрешимого судью и критика, горячо пожал мне руку со словами: "Отлично! Благодарю!" Только юный поэт обернулся ко мне спиной, а молодая барышня, пролившая слезы над "Чудесами Италии", подойдя ко мне со скромно опущенным взором, сказала, что сердце женщин способно более помнить чувство, чем остроумие, и потому она убедительно просит меня дать ей списать первое стихотворение. Я обещал, поцеловав, как следует восторженному поэту, ручку прекрасной просительницы, что, впрочем, сделал больше для того, чтобы еще более взбесить юного стихотворца, бросившего на меня взгляд василиска.

-- Замечательно, -- прервал своего друга Винцент, -- что рассказ твой, любезный Оттмар, по странному случаю может служить отличным прологом для моей сказки. Я прошу вас вспомнить слова Гамлета: "Что это? Пролог или изречение вроде тех, что вырезают на кольцах?" В рассказе Оттмара прошу всех запомнить личность юного раздраженного поэта, потому что он, как вы увидите, явится и героем моей сказки. Итак, я начинаю чтение и не прерву его до конца, который, хотя и дался мне с трудом, но, к счастью, вышел довольно удачным.

Винцент прочел:

КОРОЛЕВСКАЯ НЕВЕСТА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

в которой повествуется о многих личностях

и их отношениях между собой, а также

подготавливаются чудесные приключения,

которые будут изложены в следующих главах.

Был благословенный год. Овес, рожь, пшеница и ячмень зеленели и наливались на полях; крестьянские парни и девушки целые дни не

покладая рук работали на своих огородах, а скот с наслаждением щипал сочную траву. Деревья сгибались под тяжестью вишен, которых было так много, что несметные стада воробьев не могли исклевать даже половины, несмотря на все их желание это сделать. Словом, все, что было живого, радовалось и веселилось на роскошном пире природы. Но лучше всего росли и зеленели овощи в огороде господина Дапсуля фон Цабельтау, так что фрейлейн Аннхен не могла довольно нарадоваться, любуясь на своих питомцев.

Надо, однако, нам сообщить читателю, кто такие были господин Дапсуль фон Цабельтау и Аннхен.

Вероятно, любезный читатель, тебе случалось во время твоих путешествий посетить прекрасную страну, которую орошает Майн. Не правда ли, ты не мог противиться обаянию благоуханного ветерка, подергивавшего при свете солнца золотой рябью тихую поверхность воды и, наверное, выйдя из тесной кареты, предпочитал пройтись пешком по прохладной роще, пройдя через которую ты выходил к прекрасной долине с небольшой деревушкой в ней. В деревне тебе, конечно, попадал навстречу всякий раз худощавый человек, странный костюм которого непременно привлекал твое внимание. На нем была маленькая шляпа из серого войлока, черный как смоль парик, серый камзол, жилет и панталоны, такого же цвета чулки, а в руках серая, покрытая лаком палка. Раскачивающейся походкой идет он обычно навстречу, устремив на тебя большие, глубоко запавшие глаза, но, по видимому, совсем не замечает тебя.

"С добрым утром, сударь!" -- кричишь ты, когда он едва не сшибает тебя с ног. Он вздрагивает, словно внезапно пробудившись от глубокого сна, приподнимает небольшую шляпу и глухим, плаксивым голосом отвечает:

-- Доброго утра! Какая у нас славная погода! А бедные жители Санта-Круца! Представьте! Два землетрясения кряду, и потом дожди и дожди без перерыва!

Конечно, любезный читатель, слова эти решительно ставили тебя в тупик на счет того, что следовало отвечать странному незнакомцу, но он, не дожидаясь ответа, прибавлял тем же тоном:

-- Да благословит вас, сударь мой, небо! Вы родились под счастливой звездой! -- и затем поспешно уходил прочь.

Станный этот человек был не кто иной, как сам господин Дапсуль фон Цабельтау, владелец славной деревеньки, которая была перед твоими глазами. Придя туда с хорошим аппетитом в надежде позавтракать, ты, без сомнения, сейчас же убеждался, что в корчме ничего нельзя было достать порядочного, и если ты не довольствовался одним молоком с хлебом, то тебе, наверно, указывали господский дом с советом отправиться туда, прибавив, что там уж фрейлейн Анна сумеет угостить на славу. Ты отправлялся туда и по первому

впечатлению мог только сказать, что в доме этом были окна и двери, такие же как и в замке барона фон Тондертонктонка в Вестфалии, но, взглядевшись, ты замечал, что на дверях красовался вырезанный из дерева герб фамилии фон Цабельтау и что все строение было прислонено к живописным останкам полуразрушенного замка, от которого уцелела только часть стены с воротами, ведущими в обнесенный когда-то стенами двор, да высокая сторожевая, сложенная из камня башня.

Из дверей, украшенных гербом, выбегала тебе навстречу молодая, краснощекая девушка со светлыми волосами, очень хорошенькая, хотя и довольно плотного сложения. Увидя ее, ты, конечно, не мог преодолеть желания войти в дом, а будучи там, ты уже, наверно, был принят и угощен прекрасным молоком с бутербродами, ветчиной, как будто из Байонна, и стаканом прекрасной свекольной водки. Угощая тебя, девушка, которая была не кто иная, как фрейлейн Аннхен фон Цабельтау, много и бойко толковала о своем хозяйстве, причем ты, конечно, немало изумлялся ее познаниям в этом деле. Скоро потом с улицы раздавался громкий голос: "Анна! Анна! Анна!", ты вздрагивал, но фрейлейн Аннхен спешила тебя успокоить словами:

-- Это вернулся папаша с прогулки и требует, чтобы ему подали завтрак в его ученый кабинет.

-- Ученый кабинет? -- произносил ты с изумлением.

-- Да! -- отвечала Аннхен, -- ученый кабинет папаши там, на верхушке башни, он зовет меня через разговорную трубу.

Затем ты мог видеть, любезный читатель, как Аннхен отворяла дверь башни и опрометью бежала туда с точно таким же завтраком и графином водки, каким угощала тебя. Затем она так же скоро возвращалась и вела тебя прогуляться в свой огород, где быстро и скоро начинала показывать рапунтику, плюмаж, английский турнепс, великого могола, зеленоголовок и т.д. и т.д., чем приводила тебя в немое изумление, так как ты в твоём неведении не видел в огороде ровно ничего, кроме обыкновенных капусты и салата.

Я полагаю, любезный читатель, что во время твоего короткого посещения Дапсультгейма ты приобрел о нем достаточно сведений, чтобы связать с понятием о нем те странные, невероятные вещи, которые я намерен тебе рассказать.

Господин Дапсульт фон Цабельтау в молодости никуда не отлучался из замка своих родителей, владевших значительным состоянием. Его старый учитель, замечательный оригинал, учивший его в особенности восточным языкам, развил в нем, между прочим, вкус к мистике или, говоря проще, к фантастическим бредням. Умирая, старик завещал своему воспитаннику целую библиотеку мистической чепухи, в которую Дапсульт, придя в возраст, погрузился до ушей. По смерти своих родителей молодой студент предпринял долгое путешествие,

отправясь по совету учителя в Египет и Индию. Возвратясь через четыре года домой, он нашел, что дальний родственник, управлявший в это время его имением, управился так хорошо, что из всего богатого состояния ему осталась только деревенька Дапсульгейм. Тем не менее господин Дапсуль, всегда стремившийся более к золоту истины, чем к золоту земному, нашел даже в этом случае предлог трогательно поблагодарить своего родственника за то, что тот сберег ему хорошенький Дапсульгейм с высокой сторожевой башней, очень удобной для астрологических наблюдений, так что он тотчас же расположил на ее вершине свой ученый кабинет. Родственник скоро сумел внушить господину Дапсулю, что ему необходимо жениться. Тот сразу согласился и выбрал жену по указанию того же обязательного родственника. Брак, впрочем, был недолговечен. Госпожа Дапсуль умерла, родив своему мужу дочь. Родственник распоряжался и свадьбой, и крестинами, и похоронами, так что Дапсуль, сидя на своей башне, заботился обо всем этом очень мало, тем более, что в это время ожидалось на небе появление очень редкой кометы, дурному влиянию которой он и приписывал все эти несчастные события.

Новорожденная дочь воспитывалась под присмотром старой тетки и, к великому ее удовольствию, стала с малых лет показывать необыкновенную склонность к хозяйству. Тут фрейлейн Аннхен была совершенно, как говорится, в своей тарелке и прошла все ступени, нужные для образования хорошей домоправительницы. Сначала была она гусятницей, потом кухаркой, ключницей и наконец, приняла в свои руки окончательно бразды правления всем домом, соединив таким образом практику с теорией в полном смысле этого слова. Она очень любила гусей, уток, куриц, голубей, коров, овец, -- словом, всевозможный домашний скот, не исключая даже свиней, за которыми ухаживала она с особой нежностью и рачительностью. Ей случалось даже выбирать среди поросят одного любимца и водить его всюду за собой на голубой ленточке, как собачку. Но всего более любила она свой огород, более даже фруктового сада. Старая тетка успела передать Аннхен много теоретических познаний о разных видах зелени, как это благосклонный читатель мог заметить по разговору с ней. Когда приходила пора копать гряды, сеять овощи или сажать рассаду, фрейлейн Аннхен не только руководила работами, но и везде поспевала помочь собственными руками. Даже завистливые люди должны были сознаться, что никто не умел владеть лопатой так, как делала это фрейлейн Аннхен. Таким образом, пока господин Дапсуль занимался на своей башне астрологическими наблюдениями, имея в виду только небесное, Аннхен с усердием и ловкостью пеклась о земном.

Нечего потому удивляться, если я скажу, что особенно счастливый год для роста овощей приводил Аннхен в совершенный восторг. Но

пышнее и выше всех разрослась гряда моркови, обещавшая необыкновенный урожай.

-- Ах вы, мои милые, замечательные морковки! -- не раз повторяла фрейлейн Аннхен, хлопала в ладоши, прыгала и плясала, как дитя, получившее богатые подарки в сочельник. Казалось, даже сами морковки, сидя в земле, радовались счастью Аннхен и отвечали ей тоненьким смехом, весело шевеля листьями. Аннхен, впрочем, этого не заметила, потому что в эту минуту привлек ее внимание почтальон, еще издали показывавший ей принесенное письмо.

-- Письмо к вам из города, фрейлейн Аннхен! -- сказал он, подходя.

Аннхен сейчас же увидела по адресу, что письмо было от господина Амандуса фон Небельштерна, молодого человека, единственного сына и наследника их соседа, учившегося в университете. Амандус, проводя лето в деревне отца и бывая каждый день в Дапсультгейме, уже давно убедился, что мог любить на свете только одну фрейлейн Аннхен. Точно так же и Аннхен верила твердо, что она может принадлежать только одному Амандусу с его каштановыми кудрями. Потому оба они решили когда-нибудь пожениться и сделаться самой счастливой парой на всем земном шаре. Амандус был прежде очень добрым и простым малым, но в университете кто-то успел вбить ему в голову, что он удивительно богато одаренная, поэтическая натура и рожден для чего-то необыкновенного. Следствием было то, что Амандус, предавшись своим поэтическим вдохновениям, стал решительно презирать здравый смысл и рассудок, которые, по уверению сухих прозаиков, могут будто бы уживаться с поэзией. Письмо, полученное фрейлейн Аннхен от этого юноши, было следующего содержания:

"Божественная Аннхен!

Видишь ли ты, чувствуешь ли, созерцаешь ли, как твой Амандус лежит на траве, обвеянный ароматом апельсиновых цветов и погруженный в сладкие думы любви и раздумья? Розы, гвоздики, нарциссы и тимьян с фиалками свиваются около него чудным венцом, и все эти цветы не что иное, как мысли о тебе, моя Аннхен! Я чувствую, что должен покинуть презренную прозу! Слушай! слушай, как я умею любить и выражать мою любовь сонетами!

*О радости любви зефиры вейтесь!
О сердце полно биться и молчи!
О небеса! светил своих лучи
Вы в сердце нам с слезами вместе лейте!
Желаний всех оковы вы разбейте!
Любовь растет из горького зерна!
Вперед, вперед и явится страна,
Где радости стаканом полным пейте.*

*Так водопад стремительно несется,
Кто храбр и смел, тот кинется туда
В его струях найти себе награду.
Уже вдали звук счастья раздается,
Кто верен был, тому дано всегда
Обрести любви роскошную рассаду!*

Желаю, о Аннхен, чтобы во время чтения этого сонета ты прониклась таким же священным восторгом, какой ощущал я, когда занят был его сочинением, а затем торжественно, вдохновенно прочел вслух сам себе! Думай, божественное дитя, думай чаще об обожжающем тебя Амандусе фон Небельштерне!

P.S. Не забудь, дивное существо, когда будешь мне отвечать, прислать фунта два-три виргинского табаку, что растет в твоём огороде. Он очень ароматен и горит лучше порто-рико, какой обыкновенно курят здешние студенты, когда отправляются в пивную".

Фрейлейн Аннхен, прочтя письмо, поцеловала его несчетное число раз, приговаривая:

-- Господи! Как он хорошо пишет! А милые стишки! Что за прелесть! Зачем, право, я такая глупая, что не умею сочинять точно так же. Но что делать! Видно это дается одним студентам! Я только не поняла хорошо, что он хотел выразить под рассадой? Впрочем, верно, голубчик подразумевал английскую морковь или рапунтику!

В тот же день Аннхен старательно упаковывала табак и, побежав к школьному учителю, снесла ему дюжину отличных гусиных перьев, прося их для нее очинить. Она непременно хотела в тот же день отвечать на драгоценное письмо. Ей вообще было так весело на душе, и она так громко смеялась, сама не зная чему, бегая после обеда в своём огороде, что даже не слыхала, как какой-то тоненький голосок кричал ей из-под земли: "Тащи меня!.. тащи!.. я созрел!.. созрел!.. созрел!" Но, как сказано, фрейлейн Аннхен не обратила на это никакого внимания.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой описывается первое странное приключение

и много других интересных вещей, без которых

не могла быть сочинена настоящая сказка.

Однажды господин Дапсуль фон Цабельтау сошел в полдень по обыкновению со своей башни и отправился вместе со своей дочерью в столовую обедать. Обед их обыкновенно кончался очень скоро и проходил в полном молчании, потому что господин Дапсуль был большой враг всяких лишних разговоров. Фрейлейн Аннхен также не досаждала ему многословными речами, да сверх того, у нее не было и охоты вызывать милого папашу на разговоры, так как она знала хорошо, что он стал бы говорить какие-то странные, непонятные для нее вещи, от которых у нее порой даже начинала кружиться голова. Но в этот день, полная впечатлений от полученного письма и прелести своего огорода, фрейлейн Аннхен болтала без умолку о том и о другом, так что господин Дапсуль, выронив наконец из рук вилку и ножик, заткнул себе пальцами уши и воскликнул:

-- О Господи! Да кончится ли когда-нибудь эта глупая, пустая болтовня?

Фрейлейн Аннхен испугалась и тотчас же замолчала, а господин Дапсуль продолжал своим обыкновенным плаксивым голосом:

-- Что до твоей зелени, так ведь я давным-давно знаю, что сочетание созвездий нынче особенно благоприятно ее росту. Люди будут вдоволь питаться капустой и салатом, подкрепляя свое тело для того, чтобы оно, как крепкий, хорошо вычищенный горшок, могло легче вместить в себя мировой дух. Земное начало гномов должно выдержать натиск огненных саламандр, и вот почему я с таким аппетитом ем салат из пастернака, который ты приготовила. Что же до молодого Амандуса фон Небельштерна, то я решительно не имею ничего против того, чтобы он на тебе женился, когда вернется из университета. Не забудь только прислать ко мне на башню Готлиба сказать, когда вы соберетесь венчаться, чтобы я мог проводить вас в церковь.

Сказав это, господин Дапсуль замолчал на несколько минут и затем, не обратив даже внимания на просиявшее при этих словах радостью лицо Аннхен, стал продолжать, стуча в такт своей речи вилкой по стакану, хотя и не всегда удачно:

-- Имя твоего Амандуса чистый герундий, и я должен тебе сказать, что давно уже составил его гороскоп. Созвездия оказались к нему благосклонны. Юпитер стоит в восходящем узле и смотрит на Венеру в полном оружии. Путь их ведет прямо к Сириусу, но на дороге предвидится опасность, от которой Амандус должен спасти свою невесту. Опасность тем хуже, что она порождена какой-то посторонней злобной властью, ускользающей от анализа астрологии. Впрочем, я узнал, что избежать ее и спасти свою невесту Амандус может только при помощи того психического состояния, которое зовется глупостью... О дочь моя! -- тут господин Дапсуль опять впал в свой плаксивый тон. -- Дорого бы я дал, если бы мог убедиться, что опасность, которую я предвижу для тебя при помощи моего астрологического зрения,

состоит только в неприятности остаться старой девой, и если бы Амандусу предстояло избавить тебя единственно от этого!

Тут господин Дапсуль глубоко вздохнул несколько раз кряду и затем продолжал:

-- Впрочем, путь Сириуса исчезает как раз после этой грозящей беды, и Юпитер благополучно соединяется с Венерой!

Давно уже господин Дапсуль не произносил такой длинной речи и потому, крайне утомленный, тотчас же встал из-за стола и отправился опять на свою башню.

На другой день Аннхен написала следующее письмо своему Амандусу:

"Бесценный мой Амандус!

Ты не можешь себе вообразить, сколько удовольствия доставило мне твое письмо! Я сказала о нем папаше, и он обещал сам проводить нас с тобою в церковь. Постарайся поэтому как можно скорее вернуться из твоего университета. Ах, если бы я могла понять прелестные стишки, которые ты написал мне так мило! Когда я читаю их сама себе вслух, то мне так вот и кажется, что я все понимаю, а как начну разбирать строчка за строчкой, то и вижу, что для меня это какая-то чепуха без всякого смысла. Наш школьный учитель уверяет, будто нынче все так пишут, а потому оно так и быть должно, но я, бедная глупенькая простушка, ничего не понимаю! Напиши мне, не могу ли я стать студентом на короткое время, чтобы не запустить моего хозяйства? Я думаю, что это будет нетрудно! Ну да, впрочем, когда мы будем мужем и женой, то я постараюсь понабраться учености от тебя, чтобы выучиться писать таким же новым, хорошим языком. Виргинский табак посылаю тебе вместе с этим письмом. Я набила им картонку от своей шляпы доверху, а шляпу, чтобы она не смялась, надеваю теперь на статую Карла Великого, что стоит у нас в гостиной. Ты ведь знаешь эту статую, у которой нет ног, потому что это только бюст. Ты, может быть, будешь надо мной смеяться, мой Амандус, но мне страх как захотелось написать тебе тоже стишки и, кажется, удалось недурно! Напиши мне, как это могло случиться, что у меня вышли стихи, между тем как я ничему не училась? Слушай же, что я сочинила:

*Люблю тебя, хоть ты и далеко!
Твоей женой быть желаю всегда.
Как вечером всякая звезда
Горит золотом в небе высоко,
Так и ты люби меня вечно,
И мне не измени бессердечно,*

*Посылаю тебе виргинский табачок,
Кури его себе на радость, дружок!*

Будь доволен пока этим, а когда я научусь умно говорить, то буду писать лучшие. Подсолнечники у нас в этом году прелесть! бобы также; только мою собачку вчера пребольно укусил за ногу противный соседский кобель. Что делать! Не все хорошо на свете! Тысячу поцелуев тебе, мой Амандус!

Твоя верная невеста Анна фон Цабельтау.

P.S. Я очень торопилась писать, потому некоторые буквы и вышли кривы.

P.S. Ты не должен на это сердиться; я хоть и пишу криво, но зато всегда пряма душой и буду вечно твоей верной Анной.

P.S. Всегда что-нибудь позабуду! Папаша велел тебе кланяться и сказать, что ты спасешь меня когда-нибудь от большой опасности. Я этому очень рада и остаюсь еще раз любящая тебя, верная Анна фон Цабельтау".

С сердца Аннхен свалилась точно какая-нибудь тяжесть, когда она закончила это письмо, которое, надо признаться, досталось ей нелегко. Потому можно себе представить, как весело ей стало, когда она вложила написанное в пакет, запечатала его, не обжегши рук сургучом, и вручила вместе с коробкой табаку Готлибу для отдачи на почту. Покончив затем хозяйственные хлопоты с курицами, Аннхен весело побежала в свой любезный огород.

Подойдя к грядам моркови, она подумала, что время уже вытащить некоторые корни из земли и послать на продажу в город, как первую новинку для лакомок. Аннхен тотчас же кликнула свою горничную, и обе немедленно принялись за работу. Пробравшись в середину грядки, Аннхен схватила роскошно зеленевший куст и принялась изо всех сил тащить его из земли; но едва она это сделала, как вдруг под руками ее раздался странный звук; не тот неприятный звук, который так режет уши, когда борода корня отрывается от земли, а напротив, казалось, что кто-то вдруг засмеялся в земле тоненьким голоском. Фрейлейн Аннхен в испуге бросила захваченный куст, громко крикнув:

-- Ай! Кто это там смеется?

Но так как ответа не было, то Аннхен снова принялась тащить куст и на этот раз благополучно выдернула из земли огромную великолепную морковь. Но едва она стала с восхищением рассматривать свою находку, как вдруг вскрикнула во второй раз уже таким изумленным голосом, что испуганная горничная тотчас же подбежала с расспросами, что случилось. Оказалось, что на самом кончике

выдернутой моркови был надет прекрасный золотой перстень с ярко сверкавшим топазом.

-- Ах, какое счастье вам, барышня! -- закричала горничная. -- Это ваше обручальное кольцо, и вы должны тотчас же надеть его на пальчик!

-- Что ты за глупости городишь! -- прервала ее Аннхен. -- Обручальное кольцо должен мне подарить господин Амандус фон Небельштерн! С какой стати буду я обручаться с морковью!

Однако чем дольше фрейлейн Аннхен смотрела на перстень, тем больше начинал он ей нравиться своей искусной работой, превосходившей все, что она видела в этом роде из созданного человеческими руками. На ободке были выгравированы сотни мельчайших фигурок, сгруппированных самым оригинальным образом. Фигурки были так малы, что при первом взгляде на них трудно было даже их различить, но зато, едва глаз успевал к ним присмотреться, фигурки, казалось, начинали оживать и танцевать в самых оригинальных движениях. Сверх того, блеск вставленного в перстень топаза был так ослепителен, что подобного камня нельзя было, пожалуй, найти даже в Дрезденском "Зеленом своде".

-- Кто знает, -- промолвила горничная, -- сколько лет пролежал бы этот перстень, если бы сквозь него не проросла морковь и вы не вытащили его вместе с ней.

Едва фрейлейн Аннхен сняла перстень с корня, как морковь, проскользнув между ее пальцами, упала и исчезла снова в земле. Но Аннхен и горничная не обратили, однако, большого внимания на этот странный случай, потому что были слишком заняты рассматриванием прекрасного перстня, который Аннхен, не долго думая, надела себе на мизинец. Но едва успела она это сделать, как вдруг почувствовала в пальце острую боль, которая так же мгновенно исчезла, как и появилась.

Само собой разумеется, что Аннхен в тот же день за обедом рассказала отцу удивительное свое приключение с морковью и показала ему прекрасный, найденный ею перстень. Она хотела снять перстень с пальца, чтобы папаша мог лучше его рассмотреть, но едва вздумала она это сделать, как вдруг почувствовала в руке прежнюю острую боль, усилившуюся до невыносимой степени по мере того, как она старалась снять кольцо с пальца, так что под конец ей пришлось положительно отказаться от своего намерения.

Господин Дапсуль внимательно осмотрел перстень на руке Аннхен, заставил ее сделать рукой несколько каких-то таинственных движений, обратившись ко всем сторонам света, и затем, не сказав ни слова, опрометью бросился на свою башню. Аннхен заметила, что, поднимаясь по лестнице, он о чем-то глубоко вздохнул и вообще обнаружил крайне озабоченный вид.

На следующее утро Аннхен, гоняясь по двору за петухом, который наделал непозволительные бесчинства в курятнике, вдруг услышала голос господина Дапсуля, зовущий ее через разговорную трубу. Голос этот звучал чем-то до того диким и отчаянным, что Аннхен с испугом воскликнула:

-- О чем это вы так воете, папаша? Вы перепугали всех моих кур.

-- Анна! -- крикнул в ответ господин Дапсиль. -- Дитя мое! Приди скорее сюда!

Аннхен очень изумилась этим словам, зная хорошо, что папаша ни разу до сих пор не удостоивал позволения посетить свой кабинет. Потому понятно, что она даже с некоторым трепетом отворила дверь, вбежала по лестнице и вошла в единственную, находившуюся на вершине башни комнату.

Господин Дапсиль сидел на каком-то странного вида кресле, окруженный разными диковинными инструментами и запыленными книгами. Перед ним стояла конторка с бумагами, на которых были начерчены линии, перекрещивавшиеся в разных направлениях. На голове Дапсуля была надета высокая, остроконечная шапка, на плечах широкая серая хламида, к подбородку привязана огромная седая борода, что все вместе придавало ему вид настоящего чернокнижника. Аннхен сначала совсем было не узнала Дапсуля в этом маскарадном костюме и боязливо огляделась, думая, он ли это, но наконец, увидя в чем дело, и убедясь, что человек с бородой был действительно ее любезный папочка, она громко рассмеялась и спросила, неужели настали святки, что папаша вздумал сдаться таким чучелом.

Дапсиль, не отвечая на вопрос Аннхен, взял в руку маленький кусок железа, прикоснулся им в голове Аннхен и провел затем по ее руке, начиная от плеча и кончая мизинцем, на котором был надет перстень. Затем велел он ей сесть в свое кресло и поставить палец на исчерченную бумагу таким образом, чтобы топаз перстня пришелся как раз на место схода всех линий. Едва Аннхен успела это исполнить, как вдруг какие-то желтоватые лучи сверкнули из топаза и распространились по всему листу. В то же время Аннхен показалось, что маленькие, выгравированные на ободке перстня фигурки, быстро ожив, прыгнули на бумагу и стали весело по ней бегать и резвиться. Дапсиль, не отводя от листа глаз, схватил металлическую, отполированную дощечку, и, держа ее обеими руками, хотел медленно опустить плашмя на лист, но, к несчастью, потерял равновесие, стоя на скользком каменном полу, и растянулся во всю длину своего роста. Дощечка, которую он инстинктивно выпустил из рук, повалилась также, гремя и звеня.

Аннхен, ахнув, вдруг вскочила, точно пробудясь от какого-то сна. Господин Дапсиль, с трудом поднявшись на ноги, привел в порядок

свою фальшивую бороду, сел напротив Аннхен на грудку старых фолиантов и спросил ее торжественным голосом:

-- Дочь моя! Скажи мне, что ты чувствовала и о чем думала? Какое откровение сделал тебе твой дух, когда ты взглянула просветленными очами в свое сердце?

-- Ах! -- ответила Аннхен. -- Мне было так хорошо, что я до сих пор не могу опомниться. Я все думала о моем Амандусе фон Небельштерне. Мне казалось, что я вижу его и нахожу еще лучше, чем он был прежде. Он сидел и с особенным удовольствием курил трубку виргинского табака, который я ему послала. Потом мне вдруг ужасно захотелось поесть молодой моркови с колбасой, и не успела я вымолвить это желание, как готовое блюдо очутилось перед моим носом. К несчастью, в эту минуту я проснулась.

-- Амандус фон Небельштерн!.. Виргинский табак!.. морковь!.. колбаса!.. -- так глубокомысленно рассуждал сам с собою господин Дапсуль фон Цабельтау и затем, видя, что Аннхен хотела уйти, сделал ей знак остаться.

-- Счастлива ты, глупенькая девочка, -- начал он своим плаксивым более чем когда-нибудь голосом, -- счастлива ты, что не посвящена в тайны науки и не чувствуешь опасности, которая окружает тебя со всех сторон. Астральная наука священной кабалы тебе незнакома, и потому ты никогда не будешь в состоянии разделить наслаждения мудрых, которые, занявшись своей наукой, забывают есть и пить, утоляя голод и жажду только для поддержания жизни! Ты никогда не достигнешь той ступени, на которой находится твой отец, несмотря на то, что и у него иногда заходит на этой высоте ум за разум, и он сам должен сознаться, что почти не знает, до чего дошел и чего ищет! Пища, питье и все остальные человеческие нужды -- для него не более как злая необходимость!.. Знай же, моя глупая и счастливая своим глупым неведением дочь, что земля, воздух, вода и огонь наполнены существами более высшими, но и более ограниченными, чем человек. Я не стану тебе объяснять сущности гномов, сильфид, ундин и саламандр, потому что ты этого с твоим умом не поймешь. Для того же, чтобы дать тебе уразуметь опасность, которая тебя ожидает, достаточно сказать, что духи эти постоянно жаждут соединения с человеком; а зная, что люди всегда боятся такого знакомства, они употребляют всевозможные хитрости, чтобы достичь своей цели и сгубить избранного ими человека. Хитрый дух садится то в цветок, то в светлые воды, то в пламя свечи, то в какую-нибудь блестящую вещицу и терпеливо ждет случая добиться своего. Иногда, впрочем, такое сочетание духа с человеком проходит и без дурных последствий для последнего. Так, например, князь Мирандола рассказывает, что однажды два священника прожили сорок лет в счастливейшем супружестве с одним подобным духом женского пола. Бывали даже

случаи, что от подобного союза духа с человеком рождались великие люди. Так, Зороастр был сыном Саламандра Оромазиса. Аполлоний, мудрый Мерлин, храбрый граф фон Клеве и великий маг Бензира -- были также счастливыми плодами таких союзов. Даже прекрасная Мелюзина была, по уверению Парацельса, простой сильфидой. Но, несмотря на все это, союз с духом представляет всегда большую опасность уже одним тем, что духи, связавшись с человеком, отнимут у него весь разум и, сверх того, жестоко мстят ему за каждое малейшее оскорбление. Раз случилось, что один философ, живший в связи с сильфидой, позволил себе в кружке друзей с жаром распространиться о красоте одной знакомой ему женщины. Едва успел он это сказать, как вдруг в воздухе, перед глазами всех, сверкнула точеная, белоснежная ножка сильфиды, как бы в доказательство, что никто не может спорить по красоте форм с нею, а бедный философ тут же упал и умер на месте. Но к чему говорить мне о других, когда я сам могу служить печальным примером! Вот уже около двенадцати лет, как меня любит одна сильфида, как я ни стараюсь запугать ее и прогнать, так что я чувствую, что еще слишком сильно связан с земным и не углубился в тайны науки до такой степени, чтобы с успехом исполнить мое желание. Мысль эта терзает и мучит меня постоянно! Каждое утро я нарочно не завтракаю, чтобы умертвить свою плоть, но за обедом -- увы! -- моя добрая Аннхен -- ты знаешь, как я обжираться.

Последние слова господин Дапсуль проговорил почти каким-то завывающим голосом с потоком горьких слез, обильно струившихся по его худощавым щекам. Затем, успокоясь немного, он продолжал:

-- Я стараюсь задобрить моего духа добропорядочным, любезным поведением. Так, например, никогда не позволю я себе выкурить трубки табаку без некоторых кабалистических предосторожностей. Я не знаю, какие сорта табаку ему нравятся и боюсь осквернить воздух неподходящим ему дымом. Потому очень дурно делают те, которые курят без разбору и кнастер, и саксонский табак, и корешки, не понимая, что могут озлобить этим против себя своего духа. С такой же осмотрительностью делаю я решительно все: срезываю ли палку, срываю ли цветок, ем яблоки или высекаю огонь. Мысль обидеть при этом какого-нибудь духа преследует меня постоянно. И при всем том -- видишь ты эту разбитую ореховую скорлупу? Падая, я поскользнулся именно о нее и испортил весь опыт, который должен был открыть мне тайну перстня. Я решительно не помню, чтобы я когда-нибудь щелкал орехи в этой, посвященной науке комнате (ты знаешь, что я даже всегда завтракаю на лестнице), и потому остаюсь уверенным, что скорлупу эту нарочно подбросил какой-нибудь маленький гном, чтобы помешать мне в моих опытах. Духи стихий очень любят науки, в особенности же те, которые непросвещенный народ -- если не по глупости, то потому, что они превосходят его понятие, -- зовет

опасными. Так духи всегда вертятся около нас во время магнетических опытов. Особенно любят в этом случае проказить гномы, и часто бывает, что неопытный, не успевший отрешиться от всего земного магнетизер, думая в экстазе своих занятий обнять небесную сильфиду, вдруг видит, что хитрый гном подсунул ему под руку просто какую-нибудь толстую крестьянскую девку. Когда я наступил сегодня на голову маленького, сидевшего в скорлупе гнома, плутишка рассердился и повалил меня на пол. Но, кроме того, у него была, как я подозреваю, другая причина, чтобы помешать моему опыту с перстнем... Анна! О дочь моя Анна! Я имею все данные предполагать, что тебя полюбил гном, который, судя по свойствам перстня, должен принадлежать к очень образованному и знатному роду этих существ. Но я ломаю голову при мысли, как ты, моя глупенькая девочка, сумеешь при твоей неопытности вести дело с подобным стихийным духом! Если бы ты прочла Кассиодора Ремуса, то узнала бы, что знаменитая Магдалена де ла Круа, аббатисса одного из монастырей Кордовы в Испании, тридцать лет прожила в счастливом браке с гномом и что точно то же было с молодой Гертрудой, монахиней Назаретского монастыря близ Кельна, которую подарил своей благосклонностью сильф. Но подумай, о моя Аннхен, во сколько раз обе эти женщины превосходили тебя и умом, и образованием! Ведь ты, вместо чтения умных книг, только гоняешь гусей да уток -- животных самых неприятных для людей, занимающихся кабалой! Вместо того, чтобы наблюдать течение небесных светил, -- ты копаешься в земле, а о составлении гороскопов будущего я уже не говорю! Ты вечно занята выбиванием масла или заготовкой кореньев на зиму, словом, погружена в одни низкие, материальные расчеты, хотя я и признаюсь, что пользуюсь плодами твоих забот сам. Суди сама, можешь ли ты понравиться утонченно развитому стихийному духу? Тобой, правда, цветет и преуспевает Дапсульгейм, но ты никогда не будешь в состоянии отрешиться от грубых, земных занятий. И все-таки, ты созналась сама, надев перстень на палец, ты почувствовала вместе с болью какое-то удовольствие. Я, заботясь о тебе, хотел разрушить кабалистическую силу перстня и освободить тебя от овладевшего тобой маленького гнома, но попытка моя не удалась вследствие вмешательства маленького духа в ореховой скорлупе. Тем не менее мне все-таки хочется победить твоего гнома во что бы то ни стало! Ты моя дочь и прижита мной не с какой-нибудь сильфидой или саламандрой, а с простой честной женщиной из хорошей семьи. Мать твою все соседи в шутку звали "козьей невестой", за то, что она, по своей идиллической натуре, проводила целые дни на лугу, занятая своим маленьким стадом, где я, старый дурак, в нее и влюбился! Но ты все-таки моя дочь, моя кровь, и я спасу тебя непременно от злобного гнома с помощью этого магического напильника.

Сказав это, господин Дапсуль взял маленький напильник и хотел распилить им пополам перстень на руке Аннхен. Но едва успел он провести им несколько раз взад и вперед по ободку кольца, как Аннхен громко закричала:

-- Папаша! папаша! Оставь! Ты пилишь мне палец!

Причем из-под перстня, действительно, полилась струя темной, густой крови. Напильник выпал из рук господина Дапсуля фон Цабельтау, и он сам в отчаянии откинулся на спинку кресла, громко воскликнув:

-- О горе! Горе! Я накликать беду на свою голову! Злой гном явится сейчас и перекусит мне горло, если меня не спасет моя сильфида!.. О Анна! Беги, дитя мое!

Аннхен, решительно ничего не понявшая из мудреных речей господина Дапсуля, не заставила его повторять приказание и тотчас же опрометью убежала из башни.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой рассказывается о прибытии в Дапсульгейм

загадочного человека и о том, что из того вышло.

Как-то утром, когда господин Дапсуль только что успел обнять со слезами свою дочь и хотел отправиться по обыкновению на свою башню, где ежедневно ждал посещения раздраженного гнома, вдруг раздался в воздухе веселый звук рога и вслед за тем, во двор замка прискакал маленький человек крайне смешной наружности. Буланый конь был совсем не велик ростом, почему, может быть, и уродство приехавшего карлика, с его огромной головой, не обнаруживалось явно по сравнению с ней. Туловище его было обыкновенной величины, и пока он сидел в седле, голова его возвышалась над спиной лошади, как у всех людей. Но, взглядевшись, каждый бы непременно заметил его маленькие ноги, болтавшиеся по сторонам седла, как две плетки. Карлик был одет в кафтан, сшитый из желтого атласа, высокую шапку с зеленым пером и большие ботфорты с голенищами из лакированного дерева. Громко крикнув: "тпррр...р!", он остановился подле господина Цабельтау, но вместо того, чтобы слезть, вдруг с быстротой молнии кувыркнулся под седло, затем уселся в него опять, подпрыгнув кверху футов на двенадцать и, перевернувшись в воздухе, встал на седло головой. В этом положении принялся он галопировать по двору, размахивая в воздухе своими коротенькими ножками такт, в размере трохеев, пиррихийев, дактилей и т.п. Когда он кончил эти упражнения и

соскочил с седла, учтиво раскланявшись хозяевам, все увидели, что карлик, галопируя, написал копытами лошади на дворе замка целую фразу прекрасными римскими буквами: "Господину Дапсулю фон Цабельтау здоровья на много лет вместе с прекрасной дочерью!" Кланаясь, он три раза согнулся в колесо и объявил, что приветствие это поручено ему передать его господином бароном Порфирио фон Оккеродастом, по прозвищу Кордуаншпиц, который, если это будет угодно господину Дапсулю, немедленно явится засвидетельствовать ему свое почтение лично, вследствие того, что надеется в скором времени сделаться его близким соседом.

Господин Дапсуль, глядя на карлика, был похож более на мертвеца, чем на живого человека, до того страх и ужас исказил его черты. "Очень... бу-дет... приятно!..." -- едва мог он произнести своими дрожащими губами и прежде чем успел прибавить хотя одно слово, маленький человек, вскочив на свою лошадь, исчез с быстротой молнии, так же как и приехал.

-- Дочь моя! дочь моя! -- вдруг завыл господин Дапсуль на весь дом. - - Несчастное дитя мое! Знаешь ли ты, что это был тот самый гном, который хочет тебя погубить, оторвав от моей родительской груди! Но мы еще попытаемся употребить последнее средство, чтоб уничтожить, если это в наших силах, козни стихийного духа. Надо приняться за это дело умно и осторожно. Сейчас прочту я тебе главу из Лактанция и Фомы Аквинского о том, как следует обращаться с этими существами, для того, чтобы ты не наделала каких-нибудь глупостей.

Но, прежде чем господин Дапсуль успел вытащить Лактанция, Фому Аквинского или вообще которого-нибудь из своих стихийных авторов, вдали раздались звуки какой-то странной музыки, очень похожей на ту, какую иной раз поднимут на елке дети, разыгравшись на подаренных им инструментах. По дороге к роще показался длинный, великолепный поезд. Впереди ехали шестьдесят или семьдесят маленьких егерей, верхом на буланых конях, одетые совершенно так же, как и являвшийся в замок посланник в желтом платье, высокой шапке и деревянных ботфортах. За ними следовала карета из чистого хрусталя, запряженная восемью лошадьми, а за ней ехали до сорока других, не столь парадных карет, заложенных то шестеркой, то четверкой лошадей. Множество пажей, скороходов и слуг бежали по обеим сторонам поезда, все в богатых парадных ливреях, придавая чрезвычайно много красоты и блеска всей этой замечательной картине. Господин Дапсуль, увидя это, до того остолбенел, что не мог выговорить ни слова от ужаса, а фрейлейн Аннхен, которая даже и вовсе не видывала подобного великолепия и богатства, успела только изумленно воскликнуть "ах!", едва увидела всех этих маленьких людей и лошадей, да так и осталась стоять с разинутым от удивления ртом.

Заложенная восьмеркой карета остановилась, наконец, возле господина Дапсуля. Егеря соскочили с лошадей, пажи и слуги поспешно отворили дверцы, и из кареты вышел не кто иной, как сам господин барон Порфирио фон Оккеродаст, по прозвищу Кордуаншпиц. Что касается роста барона, то он никоим образом не мог быть сравнен с Апполоном Бельведерским, ни даже с Умирающим гладиатором. В нем не было полных трех футов, да и то целую треть этого маленького тела составляла голова, с огромным, крючковатым носом и большими глазами навыкате. Туловище было до того длинно и несоразмерно, что для ног оставалось не более четырех дюймов. Ноги, впрочем, были очень хорошо сформированы и обличали настоящее баронское сложение, хотя можно было заметить, что им нелегко было носить эту огромную голову. Барон ходил, покачиваясь из стороны в сторону, и иногда даже спотыкался, но тотчас же находил равновесие, поднимаясь, точно кукла на полушаре, причем исполнял это так ловко, что движение его более походило на па грациозного танца. Одет барон был в платье из золотой парчи и шапочку, походившую больше на корону с множеством зеленых перьев. Выйдя из кареты, барон тотчас же подбежал к господину Дапсулю, охватил руками его колена и с удивительной ловкостью вскарабкался к нему на шею, крикнув пронзительным голосом:

-- Здравствуйте, мой милейший, дражайший тесть, господин Дапсуль фон Цабельтау!

Затем, слезши также проворно на землю, он схватил руку Аннхен и, прижав к своим губам палец, на котором был надет заколдованный перстень, воскликнул тем же голосом:

-- Здравствуйте, дорогая фрейлейн Анна фон Цабельтау! Моя бесценная невеста!

Сказав это, барон громко захлопал в ладоши. Раздалась прежняя музыка, и под ее такт все приехавшие карлики и пажи начали весело танцевать на ногах, на руках, на головах, точно так же, как и первый приехавший в замок курьер. Ноги их, болтаясь в воздухе, удивительно верно били такт хореев, спондеев, ямбов, пиррихийев, анапестов, хориамбов и т.д. и т.д., так что на все это весело было смотреть. Пока продолжался этот танец, фрейлейн Аннхен, придя немного в себя после первого впечатления от проделок барона и его свиты, с испугом подумала, как и следовало доброй хозяйке, куда ей поместить в доме всю эту толпу маленьких приезжих гостей. "Если даже, -- думала она, - отвести прислуге место в коровнике, то кто знает, будут ли они этим довольны, да и уйдут ли туда все? А что стану я делать с благородными дворянами свиты? Они ведь, конечно, привыкли жить в хороших комнатах и спать на мягких постелях. Если я выведу из конюшни обеих наших лошадей, то неужели придется послать на подножный корм даже старого, хромого Рыжика? Да и тогда, я не знаю, найдется ли

место всем лошадям, которых привел с собой этот уродливый барон. С каретами я не знаю куда и деваться! Да это еще, впрочем, не беда; вот горе -- чем будем мы кормить всю эту ораву? Ведь наших годовых запасов не хватит и на два дня?"

Последняя мысль привела Аннхен в совершенное отчаяние. Ей казалось, что весь ее курятник, ее барашки, новая свежая зелень, солонина -- словом, все -- уже съедено жадными гостями, и она невольно расплакалась. Видя, однако, что барон Кордуаншпиц смотрит на нее самым искренним, добродушным взглядом, она ободрилась и решила коротко и ясно высказать ему надежду, пока свита его была занята танцами, что как ни приятно была папаше их посещение, но, вероятно, они не останутся в Дапсультгейме дольше двух часов, потому что в нем решительно не было места ни для принятия, ни для угощения таких знатных господ и их многочисленной свиты.

Барон Кордуаншпиц ответил на эти слова Аннхен нежным взглядом, слаще марципанового пряника, и ответил, прижав к губам ее ручку, что он никогда не позволил бы себе стеснить в чем-нибудь прелестную фрейлейн фон Цабельтау и ее папашу, и что в поезде его находилось решительно все, нужное для свиты относительно хозяйства. Что же касалось помещения, то он просил только отвести ему небольшой клочок земли под открытым небом, где люди его мигом построят походный дворец, в котором он поместится и с ними, и даже с лошадьми.

Эти слова барона Порфирио фон Оккеродаста так обрадовали фрейлейн Аннхен, что она, для того, чтобы гости не совсем обвинили ее в скупости, решила предложить маленькому пузатому барону полакомиться славными пряниками и стаканом свекольной водки, если только они не предпочитали полынную, горькую, которую недавно привезли из города. Но, к несчастью, радость Аннхен была непродолжительна, потому что противный барон, ведя речь о своем дворце, объявил, что будет его строить в ее огороде. Можно себе представить, в какое отчаяние привела ее эта весть. Свита барона между тем, желая отпраздновать прибытие свое в Дапсультгейме, дала нечто вроде карусели. Одни стали заниматься олимпийскими играми, начав бодать друг друга своими огромными головами, другие затеяли игру в кегли, причем одни карлики встали сами вместо кегль, другие свернулись шарами, а третьи стали ими же катать и бросаться и т.п. Барон же Порфирио Оккеродаст занялся в это время каким-то, должно быть, очень серьезным разговором с господином Дапсулем фон Цабельтау, если судить по тому, что лица обоих делались с каждой минутой все более и более озабоченными, и наконец оба, взявши друг друга за руки, отправились прямо на астрономическую башню хозяина.

Фрейлейн Аннхен между тем с испугом побежала в свой огород, в надежде спасти хоть что-нибудь от жадности приехавших. Горничная

Аннхен была уже там и в ужасе смотрела на то, что происходило перед ее глазами; она стала похожа на неподвижный соляной столб, в который превратилась жена Лота. Аннхен, прибежав, остановилась, пораженная не меньше ее. Наконец, обе закричали отчаянным голосом:

-- Ах Господи! Господи! Что за горе!.. Что за несчастье!

Весь прекрасный огород оказался превращенным в пустыню. Ни листика зелени, ни следа кореньев или плодов нельзя было заметить нигде.

-- Нет! -- воскликнула горничная. -- Ведь это все работа этих маленьких приезжих уродов. Ну можно ли было это предвидеть! Приехали, как порядочные люди, в каретах, а занимаются такими делами. Поверьте, фрейлейн, что это просто кобольды! Будь у меня теперь пучок крестовой травы, вы бы увидели, как я заставила бы завизжать все это стадо! Да ничего! Пусть только явится хоть один, я пришибу его до смерти лопатой?

И, сказав это, она с угрозой потрясла в воздухе заступом. Фрейлейн же Аннхен могла только плакать и всхлипывать.

В эту минуту подошли к ним четверо из свиты господина Кордуаншпица и -- надо отдать справедливость -- обратились к обеим дамам с такими учтивыми, любезными поклонами, что горничная, при всем своем желании разбить им головы, должна была опустить свой заступ на землю, а фрейлейн Аннхен даже перестала плакать.

Подошедшие карлики объявили, что они ближайшие друзья барона Порфирио Оккеродаста и принадлежат все к разным национальностям, что можно было заметить и по их одежде. Это были -- пан Капустович из Польши, герр Шварцреттих из Померании, синьор ди Броколи из Италии и монсеньер де Рокамболь из Франции. Раскланявшись, гости в самых сладких выражениях объявили, что сейчас явятся рабочие и немедленно построят для обеих дам достойный их дворец, весь из чистого шелка.

-- На что мне ваш шелковый дворец! -- воскликнула с горькими слезами фрейлейн Аннхен. -- Какое мне дело до вашего барона Кордуаншпица, когда вы, гадкие, неучтивые гости, испортили мне весь мой прекрасный огород!

Карлики в ответ убедительно стали просить фрейлейн Аннхен успокоиться, уверяя, что они отнюдь не виновны в опустошении ее огорода, и обещали, что он, наоборот, скоро зацветет опять так хорошо и роскошно, что подобного ему не найдется в целом мире.

Между тем в огороде, действительно, явилось множество плотников, столяров, разных рабочих, причем весь этот народ поднял такую кутерьму и возню, что фрейлейн Аннхен с горничной в испуге убежали в отдаленный угол сада и там, прижавшись к стене, стали в изумлении смотреть, что будет дальше.

Скоро, совершенно непонятным для них образом, над всем огородом раскинулась огромная палатка из золотой парчи, украшенная пестрыми венцами и перьями. Палатка была так велика, что шнуры, ее поддерживавшие, протянулись через всю деревню и были закреплены на толстых деревьях ближнего леса. Едва все было готово, барон Порфирио Оккеродаст, сойдя вместе с господином Дапсулем с астрономической башни, уселся, нежно обняв старика, опять в свою карету, и также торжественно, как въезжал в Дапсультгейм, въехал на этот раз в построенную палатку, которая закрылась вслед за последним человеком из его свиты.

Фрейлейн Аннхен, взглянув между тем на своего родителя, с удивлением заметила, что следов прежнего страха и тоски на его лице точно не бывало. Он напротив, расцвел и все улыбался, точно получил какие-то самые приятные вести, которых вовсе не ожидал. Молча взяв он Анхен за руку, увел ее за собой в дом, горячо обнял ее раза три и затем воскликнул:

-- О счастливая Аннхен! Счастливое дитя мое! Все, все прошло! Я более ничего не боюсь и не о чем не печалюсь. Тебе выпал жребий, какой нечасто достается в удел смертным! Знай, что барон Порфирио фон Оккеродаст, прозванный Кордуаншпицем, вовсе не тот злобный гном, которого я так боялся. Он, правда, по происхождению принадлежит действительно к породе стихийных духов, но влияние Саламандра Оромазиса успело очистить и облагородить кровь его предков. Саламандр этот воспылал любовью к смертной женщине и дал жизнь предку барона, которого родословная оказывается таким образом происходящей из самого благородного корня, какой только украшал когда либо древний пергамент. Помнится, я тебе уже говорил, что ученик великого Саламандра Оромазиса, гном Тфильменех (халдейское имя, означающее по-немецки горшок с кашей) был влюблен в знаменитую Магдалену де ла Круа, аббатиссу монастыря в Кордове, в Испании, и прожил с нею в счастливом браке тридцать лет. Барон Порфирио Оккеродаст один из отпрысков этой благородной фамилии возвышенных существ, и прозвище Кордуаншпиц принято им именно в воспоминание о своем происхождении из испанской Кордовы, а также для отличия от другой, менее благородной ветви, носящей имя Сафьян. Окончание "шпиц" должно иметь какой-нибудь астрологический смысл, но я еще не успел додуматься до его разумения. Следуя примеру своего великого предка, гнома Тфильменеха, полюбившего Магдалену де ла Круа, когда ей едва было двенадцать лет, несравненный Оккеродаст точно так же влюбился в тебя в том же самом возрасте. Он был необыкновенно рад, когда ты сыскала его кольцо, потому что, надев его на палец, тем самым сделалась его невестой!

-- Как! -- воскликнула с испугом Аннхен. -- Я его невеста?! Невеста маленького противного кобольда! Да разве я не обручена уже давно с моим дорогим Амандусом фон Небельштерном! Никогда, никогда не выйду я замуж за такого уроды! Будь он все равно -- из кордуанской кожи или из сафьяна!

-- Ну вот! Ну вот! -- с гневом выговорил господин Дапсуль. -- Я всегда говорил, что ты ничего не смыслишь в высокой мудрости и никогда не подчинишь ей свое грубое, земное существо. Ты называешь противным уродом стихийного Порфирио Оккеродаста, потому что в нем всего три фута роста и что, кроме головы, он не может похвастать развитием туловища, рук, ног и всего прочего? Неужели тебе серьезно может больше нравиться какое-нибудь земное чучело с самыми длинными ногами, так что их не прикрыть фалдами самого длинного сюртука? О дочь моя! В каком же, вижу я, находишься ты заблуждении! Неужели ты не понимаешь, что красота заключается в мудрости, мудрость в мыслях, а мысль в голове -- символе всех мыслей? Потому, чем больше у кого голова, тем больше в нем мудрости, а если бы человек мог отрешиться от всех прочих членов, как ненужных предметов прихоти, и сосредоточиться в одной голове, то этим самым он достиг бы высочайшего идеала! Отчего происходят все несчастья, беды и горести нашей жизни? Единственно от этого ненужного излишества членов! Какого блаженства достигли бы люди на земле, если бы могли жить без живота, рук, ног и прочего, и состояли из одной головы с бюстом! Уразумей потому, какая мудрая мысль руководит скульпторами, когда они изображают мудрецов и великих людей в виде бюстов, символически намекая на их высшую натуру, выразившуюся в написанных ими книгах!.. Потому, о дочь моя! не говори мне более ни слова о безобразии или недостатках возвышеннейшего из стихийных существ знаменитого Порфирио Оккеродаста, которого невестой ты должна быть и будешь! Вспомни, что через него и твой отец достигнет той окончательной степени счастья, к которой он стремится так давно. Порфирио Оккеродаст знает, что меня любит сильфида Негагила (сирийское имя), и потому употребит все усилия, чтобы сделать меня достойным сочетаться с этим возвышенным существом. Поверь, мое дорогое дитя, что ты останешься довольна твоей будущей мачехой. О, если бы счастливый случай устроил так, чтоб оба наших брака заключились в один день!

С этими словами господин Дапсуль фон Цабельтау удалился, бросив на свою дочь многозначительный взгляд.

Тяжело стало на душе бедной Аннхен, когда она, действительно, вспомнила, что еще, будучи ребенком, потеряла однажды, роясь в земле, маленькое золотое кольцо. Теперь ей стало совершенно понятно, что маленький противный карлик успел околдовать его окончательно, и что ей не отделаться от него никаким способом. Терзаясь желанием

найти какой-нибудь исход своему горю, она не могла придумать ничего лучше, как схватить тотчас же в руки гусиное перо и написать следующее письмо своему Амандусу фон Небельштерн.

"Дорогой мой Амандус! Все кончено! Я несчастнейшее существо на свете, и вот уже несколько дней как плачу и всхлипываю так громко, что мои курицы и петухи не могут меня видеть без сожаления. Горе мое касается тебя столько же, сколько меня, и потому готовься огорчиться точно так же. Ты знаешь, что мы любим друг друга, как только может любить влюбленная парочка, а также то, что я твоя невеста и что папаша хотел сам проводить нас в церковь. Представь же, что нам поперек дороги стал противный маленький человечек в желтом камзоле, приехавший в карете на восьми лошадях. Он имеет бесстыдство уверять, будто мы поменялись с ним перстнями и потому должны считаться женихом и невестой. Вообрази к этому, что папаша совершенно с ним согласился и принуждает меня выйти за этого урода замуж потому только, что он из знатного рода! Это очень может быть, если судить по его платью и блестящей свите, которая с ним приехала, но у него такое ужасное имя, что уже по по этому одному я ни за что не решусь за него выйти. Я даже не в состоянии произнести это совсем нечеловеческое прозвище. Впрочем, я запомнила, что его фамилия, кажется, Кордуанипиц. Напиши мне, пожалуйста, точно ли Кордуанипицы так известны и знамениты. У вас в городе это должны знать. Ко всему этому вообрази, что папаша на старости лет вздумал жениться сам, Кордунипиц сыскал ему невесту, которая живет, прости Господи, где-то в воздухе! Моя горничная говорит, что если ее заставят служить господам, которые живут в воздухе или в воде, то она не останется в доме ни одного часа, да еще прибавляет к этому, что желает моей любезной мачехе сломать себе шею в то мгновение, как она поедет в Вальпургиеву ночь верхом на помеле. Не правда ли, интересные вещи я тебе пишу? На тебя теперь вся моя надежда, так как я уверена, что ты мой прежний Амандус и спасешь меня от этой напасти. Спешу же! Спешу скорее!"

Твоя до гроба, глубоко огорченная,

но верная тебе невеста Анна фон Цабельтау.

P.S. Не можешь ли ты вызвать маленького желтого Кордуанипица на дуэль? Ты победишь наверно, потому что он очень слаб в ногах.

P.S. Прошу тебя еще раз, приезжай скорей к твоей несчастной, но все-таки верной тебе невесте Анне фон Цабельтау".

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой описывается двор могущественного короля,

а затем ведется речь о кровавом поединке и

многих других замечательных вещах.

Фрейлейн Аннхен чувствовала себя точно разбитой во всем теле от горести. Она молча сидела у окна, не обращая ни малейшего внимания на крик, драки и кудахтанье своих куриц и петухов, ожидавших по обыкновению с наступлением ночи, что хозяйка придет укладывать их спать. В первый раз в жизни допустила она исполнить это важное дело своей горничной и даже не обратила внимания, когда последняя пребольно высекла одного бесстыдного петуха за несоблюдение общепринятых приличий. Горе, наполнявшее грудь самой Аннхен, сделало ее на этот раз нечувствительной к бедам ее любимцев, воспитанию которых посвящала она лучшие часы своей жизни, хотя никогда не читала ни Честерфильда, ни мадам Жанлис, ни других писательниц, искушенных в познании человеческого сердца и знающих, как следует обращаться с юношеством. Конечно, поступок ее в этом случае следует отнести к легкомыслию.

Во весь этот день о Кордуаншпице не было ни слуху ни духу. Он все время просидел на башне с господином Дапсулем фон Цабельтау, где оба, вероятно, занимались важными астрологическими наблюдениями. Только вечером, на заре, сошел карлик вниз, где его и увидела Аннхен. Желтый его костюм, освещенный лучами заходящего солнца, придавал ему какой-то особенно смешной вид, а глядя, как он ковылял на своих коротких ножках, Аннхен так и казалось, что вот-вот сейчас любезный нареченный жених клюнет носом в землю. При других обстоятельствах Аннхен бы над ним посмеялась, но тут ей было не до смеха. Она даже закрыла лицо рукой, чтобы не видеть противного ей урода. Вдруг почувствовала она, что кто-то схватил ее за подол платья. "Куш, Фельдман!" -- крикнула Аннхен, думая, что это собака. Однако, оказалось, что это была не собака, а, напротив, сам достопочтенный Порфирио Оккеродаст. Не успела Аннхен отшатнуться, как оригинальный человечек проворно вскарабкался по ее платью и очень бесцеремонно охватил руками ее шею. Аннхен в испуге вскрикнула, хотела вскочить со стула, чтобы убежать, но не тут-то было!.. Барон Порфирио успел повиснуть так крепко и притом оказался до того тяжелым, что Аннхен не могла даже сдвинуться с места под этой тяжестью по крайней мере центнеров в двадцать. Принудив таким образом Аннхен остаться, Кардуаншпиц тотчас же соскочил снова на

землю, встал с уморительными ужимками на правое колено и сказал самым сладким, вкрадчивым голосом:

-- Прелестная фрейлейн Анна фон Цабельтау! Дорогая моя невеста! Прошу вас об одном -- не сердитесь! Я знаю, вы думаете, будто моя свита испортила ваш прекрасный огород! О всемогущие силы! Неужели думаете вы, что моя к вам любовь могла допустить подобную жестокость? Вы, значит, еще не знаете, какие добродетели быются в моей груди, под этим желтым платьем! Если бы вы могли видеть, как далек я даже от тени мысли допустить себе что-либо подобное! Да и может ли могущественный король допустить своим подданным... но, впрочем, для чего терять напрасно слова? Взгляните, взгляните сами на чудеса, которые вас ожидают! Идемте сейчас же!.. Я покажу вам мой дворец, где ликующий народ жаждет увидеть возлюбленную невесту своего государя!

Можно себе представить, что Аннхен вовсе не особенно торопилась исполнить желание смешного карлика и далеко не была расположена последовать за ним по первому слову. Но Кордуаншпиц стал описывать ей такими живыми красками богатство и роскошь превращенного во дворец огорода, что Аннхен, наконец, не могла преодолеть любопытства заглянуть хоть одним глазком во внутренность построенной карликами палатки, тем более что, как она думала, от этого не могло произойти никакого для нее вреда. Кордуаншпиц, услышав о ее согласии, раз двенадцать перекувыркнулся от радости колесом и затем, схватив любезно Аннхен за руку, поспешно повел ее через сад в свою шелковую палатку.

Придя туда и заглянув сквозь распахнувшийся занавес двери, Аннхен остановилась как вкопанная, едва будучи в состоянии ахнуть от восторга. Перед ней зеленел роскошный огород, какого ей не случалось видеть даже во время своих самых счастливых снов. Все, что только могло носить название капусты, репы, салата, гороха, бобов и пр. и пр., зрело и зеленело до того полно и роскошно, что никакое перо ни взялось бы описывать этих прелестей. Через несколько минут раздались звуки флейт, рогов и барабанов, и четверо придворных, с которыми Аннхен познакомилась еще прежде, а именно герр Шварцреттих, мосье де Рокамбль, синьор Броколи и пан Капустович приблизились к Аннхен с множеством церемонных поклонов.

-- Это мои камергеры, -- с улыбкой сказал господин Порфирио Оккеродаст и затем, подхватив Аннхен под руку, повел ее сквозь двойной ряд английских гвардейцев из красной морковки прямо к возвышающемуся трону, устроенному в конце палатки. Вокруг трона стояла толпа придворных; салатные принцы, бобовые принцессы, огуречные герцоги с дынными князьями; министры с кочанами капусты вместо голов, репные и брюквенные генералы и т.д. и т.д. -- все в великолепных, соразмерных с их званием мундирах. Между ними

толпились и бегали множество гвоздичных и коричных пажей, распространяя вокруг тончайший аромат.

Едва барон Оккеродаст с фрейлейн Аннхен поднялись на ступеньки трона, обергофмаршал Турнепс взмахнул жезлом; музыка тотчас же смолкла; благоговейное молчание воцарилось вокруг, и Оккеродаст, возвыся голос, произнес торжественным тоном:

-- Любезные, верные мои подданные! Вы видите здесь прекрасную фрейлейн Аннхен фон Цабельтау, которую я избрал себе в супруги. Сияя красотой и добродетелью, она сама смотрит на вас с истинно материнской любовью и готова печься о вас и стараться, насколько хватит у нее сил. Она будет верной и достойною матерью нашей страны. Спешите же высказать верноподданническую радость за то, что я теперь благосклонно для вас делаю!

По знаку, данному вновь обергофмаршалом Турнепсом, толпа шумно начала выражать верноподданническую радость. Загремела гороховая артиллерия, музыка морковной гвардии заиграла известный триумфальный марш: "Салат! салат! салат, ты мой зеленый!" Зрелище было в высшей степени торжественное и умилительное. Вельможи и в особенности капустные дамы были растроганы до слез. Аннхен, увидя на голове Порфирио Оккеродаста бриллиантовую корону, а в руке золотой скипетр, пришла в такой восторг, что чуть не упала в обморок.

-- О Господи! -- едва могла она прошептать, всплеснув руками. -- Да ведь вы, мой дражайший господин Кордуаншпиц, кажется, совсем не то, чем я считала вас до сих пор!

-- Дражайшая Аннхен! -- ответил на это тихо Оккеродаст. -- Сочетание созвездий принудило меня явиться в дом вашего отца под чужим именем. Узнайте же теперь, что я могущественный король и владею государством, границы которого нельзя даже определить, потому что географы никогда не обозначают их на своих картах. Перед вами король овощей Даукус Каротин Первый, предлагающий вам свою руку и корону. Все прочие овощные князья не более как мои вассалы, и только один бобовый король пользуется в течение нескольких дней в году моей властью в силу обычая, укоренившегося с незапамятных времен.

-- Значит, -- радостно воскликнула фрейлейн Аннхен, -- я буду королевой и этот прекрасный огород будет принадлежать мне?

Король Даукус Каротин поспешил уверить ее, что это будет именно так, прибавив, что ему подвластны всевозможные овощи, которые только растут на земном шаре. Аннхен, взглянув на маленького Кордуаншпица, стала находить с этой минуты, что он вовсе не был так дурен, как прежде, со своей короной и скипетром, и что королевская мантия сидела на нем чрезвычайно красиво и ловко. Когда же она подумала о выгодах, которые могла доставить ей такая партия, то нечему удивляться, если ей невольно пришла в голову мысль, что ни

одна из ее подруг и во сне не видала счастья вдруг сделаться королевской невестой и что она, полная радости и восторга, немедленно спросила своего королевского жениха, не может ли она тотчас же поселиться в его королевском дворце и не согласен ли он будет завтра же отпраздновать их свадьбу? Король Даукус возразил, что как ни радовало его такое желание дорогой невесты, но что сочетание созвездий повелевало отложить их свадьбу на некоторое время. К этому он прибавил, что господин Дапсуль фон Цабельтау не должен ничего знать до поры до времени о королевском достоинстве своего зятя, потому что иначе обстоятельство это может помешать его собственному желанному браку с сильфидой Негагиллой, который, по обещанию Даукуса, должен быть отпразднован в один день с его собственной свадьбой. Фрейлейн Аннхен должна была дать торжественное обещание не говорить ни слова отцу обо всем, что она узнала, и затем удалилась из шелкового дворца среди шумного выражения восторга народа, совершенно очарованного как ее красотой, так и изысканными манерами.

Всю ночь ей только и снилось, что очарованное царство возлюбленного жениха, короля Даукуса Каротина, со всеми виденными ею там чудесами.

Между тем письмо, посланное ею Амандусу фон Небельштерн, произвело на бедного юношу самое ужасное впечатление. Не прошло трех дней, как фрейлейн Аннхен уже получила его ответ:

"Божество моего сердца! Дивная Анна!

Кинжалы! Острые, раскаленные, отравленные кинжалы пронзили мою грудь, когда я читал твое письмо! О Анна! Тебя хотят у меня отнять! Как ужасна эта мысль! До сих пор не могу я понять, каким образом не сошел я с ума и не наделал эффектнейших, какие только можно вообразить, сумасбродств! Я проклял в отчаянии весь людской род и тотчас же после обеда убежал -- не в трактир играть на бильярд, как это делал обыкновенно, -- а в лес! в темный лес, где стал оглашать окрестность твоим сладким именем. Скоро начался дождь, а я как назло надел в этот день мою новую красную бархатную шапочку с золотым околышем. Люди уверяют, что ни одна не идет мне к лицу так, как эта. Дождь испортил мне ее всю, -- но что значит красный бархат и золотой позумент перед любовью и отчаянием! Я бегал по лесу до тех пор, пока не промок до костей, следствием чего получил насморк и желудочный катар. Обстоятельство это заставило меня искать убежища в ближайшей корчме, где я заказал стакан горячего глинтвейна и трубку виргинского табаку. Занявшись тем и другим, почувствовал я внезапно прилив поэтического вдохновения и, выхватив из кармана свою записную книжку, мигом написал, по крайней мере, дюжину прекраснейших стихотворений.

Подивись, моя Анна, силе вдохновения! Едва стал я писать, отчаяние мое и боль в желудке исчезли, точно по мановению волшебного жезла! Я сообщу тебе только последнее из моих стихотворений, и, надеюсь, оно пробудит в тебе, дивное дитя, те же сладкие надежды, какими проникся во время его сочинения твой Амандус:

*В горе я истаял
Сердцем будто свечи
И навек исчезли
Радостные речи!
Но внезапно разум
Мой воспрянул разом,
В рифмы обратился
И в стихах разлился.
Полилися речи,
Горести пропали
И любовь зажглася
В сердце точно свечи!*

Да, дорогая Аннхен! Скоро явлюсь я к тебе рыцарем-спасителем и исторгну тебя из рук злодея, который хочет тебя погубить. А чтобы ты в этом не сомневалась, то вот тебе в залог несколько изречений из моей памятной книжки:

*Грудь ширится, дух ввысь взлетает, чуток!
Будь нежен, тих, но не чуждайся шуток!*

*Страсть враждебна часто страсти,
Срок блюсти -- не в нашей власти.*

*Любовь -- цветение, сплошное бытие.
Мой шубу, юноша, но не мочи ее!*

*Ты говоришь, что зимою мороз?
Почему же не греют плащи? -- вопрос!*

Вникни, какие дивные изречения! Как просто и как вместе глубоко это сказано! Потому повторяю тебе, прелестная девочка, будь спокойна и не забывай твоего жениха. Придет время, когда тебя спасет и прижмет к своей взволнованной груди

Твой верный Амандус фон Небельштерн!

P.S. Вызвать Кордуанипица на дуэль я не могу ни в каком случае, потому пойми, что каждая капля крови, пролитая мной, будет кровью

поэта, которую надо беречь и лелеять, а не проливать без разбора. Мир имеет полное право требовать, чтобы такой высокий ум, как я, берег себя всеми способами. Оружие поэта -- слово и песни. Я пронжу грудь моего противника тиртейскими песнопениями, эпиграммами и дифирамбами любви. Это будет битва, достойная поэта, который должен всегда быть вооруженным и готовым на бой! Таковым предстану пред тобой и я, чтоб завоевать твое сердце, -- о моя Анна! Прощай! Прижимаю тебя еще раз к моей груди! Надеюсь более всего на мою любовь и еще более на мое героичество, которое не остановится ни перед чем, чтобы освободить тебя от сетей злого демона, которыми ты опутана".

Письмо это фрейлейн Аннхен получила как раз в ту минуту, когда забавлялась с королем Даукусом Каротин на ближнем лугу игрой в чехарду, и надо было видеть, с какой радостью смеялась при этом Аннхен, когда маленький карлик, разбежавшись со всех ног, прыгал через нее, как кубышка. Письмо возлюбленного -- увы! -- не произвело на нее прежнего впечатления, и далеко не с такой радостью сунула она его в карман. Скоро мы увидим даже, что оно прибыло слишком поздно!

Господин Дапсуль фон Цабельтау не мог надивиться быстрой перемене, произошедшей в понятиях Аннхен относительно барона Порфирио Оккеродаста, которого еще так недавно она положительно не могла выносить. Он пробовал обратиться за разрешением этого вопроса к сочетанию созвездий, но так как они не сказали ему ровно ничего, то он должен был остановиться на мысли, что человеческое сердце представляет такую же пучину неизведанного, как абсолютно все вообще, и что созвездия решительно ничего не смыслят в этом вопросе. Мысль, что Аннхен увлеклась возвышенной натурой барона Порфирио и вообще его особой, не представлявшей ровно ничего привлекательного, не выдерживала в глазах господина Дапсуля ни малейшей критики. Благосклонный читатель уже знает, что красота, по понятиям господина Дапсуля, вовсе не соответствовала той идее об этом предмете, какую имеют большинство молодых девушек. Сверх того, Дапсуль знал сам, что ум, талант, веселый нрав -- словом, всевозможные качества, играют в глазах женщин роль приятных жильцов только тогда, когда жильцы эти помещены в красивой квартире, и что если человек, обладающий такими качествами, одет не в модный фрак, то будь он даже сам Шекспир, Гете, Тик, или Фридрих Рихтер, -- ему все равно предстоит опасность быть выбитым из занятой им позиции каким-нибудь гусарским лейтенантом в блестящем мундире.

С фрейлейн Аннхен, впрочем, было совсем другое дело. Вопрос о красоте или способностях был тут ни при чем; ей просто представился

редкий для всякой деревенской девушки случай сделаться королевой, а господин Дапсуль фон Цабельтау, кажется, должен был это хорошо понять простым здравым смыслом вместо того, чтоб обращаться за разрешением вопроса к созвездиям.

Легко себе представить, какое редкое согласие воцарилось с этих пор между господином Порфирио Оккеродастом, Дапсулем фон Цабельтау и фрейлейн Аннхен. Дело дошло даже до того, что господин Дапсуль стал гораздо реже ходить на свою башню, а почти все время проводил в поучительных разговорах со своим любезным нареченным зятем. Завтрак был любимым временем их схода. Порфирио Оккеродаст пунктуально являлся из своего шелкового дворца и с особенным удовольствием ел бутерброды, которые приготавливала ему фрейлейн Аннхен.

-- О Господи, -- шептала она ему часто при этом на ухо, -- если бы только папаша знал, что вы король, мой дорогой господин Кордуаншпиц.

-- Тсс! Тише, тише! -- отвечал Даукус Каротин Первый. -- Молчи покамест! Скоро, скоро наступит день твоего блаженства!

Раз школьный учитель Дапсульгейма прислал фрейлейн Аннхен в подарок пучок прекрасных редисок из своего сада. Аннхен обрадовалась этому чрезвычайно, потому что господин Дапсуль очень их любил, а достать для нее что-нибудь из собственного огорода, с тех пор как там был раскинут шелковый дворец короля Даукуса, не было никакой возможности. Да сверх того, следует прибавить, что в палатке, среди множества разнообразнейших овощей и зелени, редисок не было вовсе, что не скрылось от проницательного взгляда Аннхен. Получив редиски, Аннхен тотчас же их вычистила и подала своему отцу к завтраку. Господин Дапсуль с удовольствием срезал зеленые листья, посолил головки и съел уже несколько, как вдруг в комнату вошел Кордуаншпиц.

-- О мой дражайший господин Оккеродаст! -- воскликнул Дапсуль. -- Не желаете ли скушать редиски?

На блюде лежала еще одна прекрасная, замечательной величины редиска. Но едва Кордуаншпиц ее увидел, как вдруг тотчас же закричал грозным пронзительным голосом:

-- Как, недостойный герцог! Вы осмеливаетесь являться на мои глаза здесь? В доме, который я принял под свое особенное покровительство? Вы забыли, что я осудил вас на вечное изгнание за ваше дерзкое покушение против моего трона? Прочь! Прочь с моих глаз тотчас же, преступный вассал!

Едва сказал он эти слова, как редиска вдруг вскочила с тарелки; маленькие ножки выросли у ней по обоим бокам, на которых она, гордо выпрямившись и подбоченившись перед Кордуаншпицем, крикнула надменным голосом.

-- Жестокий Даукус Каротин Первый! Напрасно пытаешься ты уничтожить мой род! Может ли кто-нибудь из твоих предков или родственников похвастать такой большой головой, как я? Умом, разумом, проницательностью, ловкостью род мой одарен гораздо больше, чем твой! Ты и вся твоя родня нравитесь только в молодости! *Le diable de la jeunesse!** -- вот ваша единственная привлекательная черта, тогда как нас любят все достигшие шестнадцати лет люди и постоянно любят, когда мы киваем нашими зелеными хохолками! Вызываю тебя, Даукус Каротин, сейчас же на единоборство и берусь доказать, что ты трус и хвастун! Мы увидим, кто из нас двоих храбрее и сильнее!

* *Обаяние молодости (франц.).*

С этими словами герцог-редиска схватил длинную плеть и начал без всяких церемоний хлестать ею короля Даукуса Каротин; тот же, не теряя присутствия духа, мигом выхватил шпагу и стал храбро защищаться от своего врага. Борьба завязалась не на шутку. Оба карлика подняли возню и кутерьму по всей комнате как сумасшедшие. Наконец король Даукус успел одолеть своего противника и стал теснить его так сильно, что тот с трудом спасся, храбро прыгнув в окно. Однако Даукус Каротин, чья испытанная храбрость уже известна читателю, этим не удовольствовался и, прыгнув в окно сам, побежал по пятам герцога за ним через пашню. Господин Дапсуль смотрел на этот кровавый поединок, пораженный каким-то немым ужасом, когда же он окончился, то он вдруг, точно очнувшись, неистово завопил:

-- О дочь моя! О моя бедная Анна! -- все погибло! Я!.. Ты!.. Мы все! - и затем опрометью бросился вон из комнаты прямо на свою астрономическую башню.

Фрейлейн Аннхен никак не могла понять причины такого отчаяния своего отца. Ей поединок доставил, наоборот, большое удовольствие, и она была очень рада случаю убедиться, что жених ее, кроме знатности рода и богатства, обладал еще такой редкой храбростью, так как трудно себе представить, чтобы какая-нибудь девушка в мире могла полюбить труса. Сверх того, доказательство храбрости Даукуса Каротина первый раз дало Анхен случай увидеть разницу между ним и Амандусом фон Небельштерном, который постыдно отказался вызвать его на дуэль, и если бы она колебалась еще до сих пор предпочесть короля Даукуса своему прежнему жениху, то, наверное, решила бы теперь на это без всякого раздумья. Следствием этого было то, что Аннхен немедленно написала Амандусу:

"Любезный Амандус! Все на свете может измениться; все может пройти -- так говорил нам школьный учитель, и он совершенно прав.

Ты сам слишком умный и ученый студент, чтобы не понять этой простой истины, и потому, вероятно, не удивишься, если узнаешь, что в моем сердце и в моей душе произошла маленькая перемена. Будь, впрочем, уверен, что ты мне мил по-прежнему, и я могу себе представить, как ты должен быть хорош в твоей красной бархатной фуражке с золотым околышем. Но, что касается свадьбы, то я должна тебе сказать, что, несмотря на то, что ты пишешь очень хорошенькие стишки, -- ты все равно не будешь королем, между тем как маленький Кордуанипиц -- пожалуйста, не испугайся -- вовсе не Кордуанипиц, а, напротив, могущественный король Даукус Каротин Первый, царствующий над всеми огородами, а я буду его супруга. Я должна прибавить, что с тех пор как мой маленький король открыл мне свое инкогнито, он стало мне вдвое милее, чем прежде, и я впервые сама поняла суждение папаши, что вся красота человека в его голове, так что чем больше голова, тем значит человек красивее. Сверх того, король Даукус Каротин Первый (ты видишь, как хорошо заучила я это имя и как правильно его пишу), -- итак, я повторяю, что мой милый жених-король до того очарователен в обращении, что я не умею это даже выразить. А как он мужественен, как храбр! На моих глазах обратил он в позорное бегство негодного герцога-редиску, который совсем плохой человек. Посмотрел бы ты, как он выпрыгнул за ним в окно! Я не думаю даже, чтобы ты сумел что-нибудь сделать против короля Даукуса Каротина твоими стихами. Он храбр сам и не побоится стихов, как бы ни были они хороши или остроумны. Потому, любезный Амандус, тебе остается только покориться твоей судьбе, как это делают все порядочные люди, и не очень огорчаться тем, что я не буду твоей женой, потому что предпочитаю быть королевой. Будь, впрочем, уверен, что благосклонность моя обеспечена тебе навсегда, и если когда-нибудь ты пожелаешь поступить на службу в морковную гвардию, чесночное министерство или быть членом пастернаковой Академии (в случае, если ты предпочитаешь науки оружию), то помни, что тебе стоит только сказать об этом одно слово. Прощай и не сердись на твою бывшую невесту, а теперь доброжелательную покровительницу и будущую королеву Анну фон Цабельтау.

(скоро буду подписываться просто "Анна").

P.S. Виргинского табаку будешь ты получать сколько душе угодно. При дворе моем, правда, курить будет запрещено, но где-нибудь, поблизости трона, непременно разведутся под моим личным надзором грядки виргинского табаку. Такое постановление требуется приличием, и мой Даукусинька, конечно, не откажет издать подходящий к тому закон".

ГЛАВА ПЯТАЯ,

*в которой повествуется о происшедшей ужасной катастрофе,
а также наблюдается дальнейший ход событий.*

Фрейлейн Аннхен только что успела окончить свое письмо к Амандусу фон Небельштерну, как вдруг господин Дапсуль вошел в ее комнату крайне расстроенный и обратился к ней самым плаксивым, какой только можно вообразить, голосом:

-- О Аннхен! Дочь моя Аннхен! Каким позорным образом обмануты мы оба! Плачь! плачь! и готовься упасть в обморок! Узнай, что злодей, опутавший тебя своей сетью, уверявший, будто он отпрыск благородного рода гнома Тфильменеха, сочетавшегося с Нордуанской аббатисой, -- ни более ни менее, как самый обыкновенный гном, из самого низшего разряда этих существ, занимающихся возделыванием корнеплодных овощей! Тфильменех был гораздо выше и посвятил себя изготовлению алмазов. Вообще, порода гномов разделяется на четыре степени: первые делают алмазы, вторые металлы, третьим посвящено царство цветов, и этот род уже считается гораздо ниже, потому что они состоят в зависимости от сильфов. Наконец, последний и самый низший род находится во власти короля овощей, и вот именно к этой-то породе и принадлежит лживый, коварный Кордуаншпиц, который, как оказалось теперь, -- не кто иной, как сам король этого рода гномов и носит имя Даукус Каротин Первый.

Аннхен, как можно себе представить, вовсе и не подумала упасть при этом известии в обморок, а, напротив, даже лукаво улыбнулась на отчаянную речь своего папаши, когда же господин Дапсуль фон Цабельтау, удивленный таким равнодушием, пристал к ней с настойчивым требованием одуматься и серьезнее взглянуть на судьбу, которая ее ожидала, Аннхен решила открыть своему отцу давно известную ей тайну. Она рассказала, как Кордуаншпиц уже давно разоблачил перед ней свое инкогнито и даже стал с этой минуты для нее вдвое милее, чем прежде, так что она решила твердо не выходить замуж ни за кого, кроме дорогого Даукуса. Далее описала она яркими красками все прелести очаровательного овощного царства, которое показал ей ее будущий супруг, не забыв при этом упомянуть о том восторге, с каким встретили ее будущие подданные.

Господин Дапсуль, выслушав ее, всплеснул только руками и горько заплакал, громко жалуясь на злое коварство короля гномов, сумевшего опутать бедную Аннхен такими искусственными средствами и завлечь ее под свою темную власть.

-- Как ни высоко, -- так начал он, -- может быть, для смертных соединение со стихийным духом, чему примером может служить

история гнома Тфильменеха и Магдалины де ла Круа, чьим потомком называет себя коварный Даукус Каротин Первый, но что касается связи с королями или принцами этой породы духов -- то здесь совсем иное дело. Пусть саламандры вспыльчивы, сильфы -- ветрены, ундины -- влюбчивы и страстны, а гномы -- злы и коварны, -- с этим еще бы можно помириться. Но властители этих пород ищут связи с человеком, только за тем, чтобы его погубить, в отместку за то, что люди отнимают у них их вассалов. Потому того, кто предается одному из этих существ, они сумеют сделать даже с виду не похожим на себя самого, и, сверх того, утащат его в свое царство, откуда ему уже никогда не выбраться обратно на землю.

Фрейлейн Аннхен, слушая рассказ об этих ужасах, в которых господин Дапсуль обвинял ее дорогого Даукуса Каротин, только улыбалась, и когда он кончил, начала ему в свою очередь рассказ о чудесах овощного царства, в котором она скоро будет королевой.

-- Ослепленная! -- с гневом, наконец, воскликнул, слушая ее, господин Дапсуль. -- Глупая, ослепленная девчонка! Итак, ты не веришь моему, начиненному кабалистической мудростью отцу, который берется тебе доказать, что все, что напевал тебе твой Даукус Каротин, было только ложью и обманом! Хорошо же! Чтобы спасти мое единственное дитя, я должен употребить последнее, отчаянное средство! Иди за мною!

Во второй раз пришлось, таким образом, Аннхен взобраться на астрономическую башню ее отца. Придя туда, господин Дапсуль вынул из ящика множество широких лент желтого, красного, белого и зеленого цветов и с какими-то оригинальными приемами обвил ими голову, руки и все тело Аннхен. С собой сделал он то же самое, а затем оба прокрались осторожно к шелковому дворцу короля Даукуса Каротина Первого. Там, по приказанию отца, фрейлейн Аннхен прорезала принесенными ножницами отверстие в ленте, закрывавшей ей глаза и взглянула на свой бывший огород.

Боже! Что она там увидела вместо прекрасной зелени и вместо морковной гвардии, капустных дам, лавандовых пажей, салатных принцев -- словом, всего, что так ее поразило в прошедший раз! Перед глазами ее расстился грязный овраг, наполненный навозом. В навозе этом копошились и кишели обычные обитатели таких мест: толстые дождевые черви медленно извивались по всем направлениям, грязные жуки цеплялись за них своими короткими ножками; там и сям торчали луковицы с уродливыми человеческими физиономиями, с лапками, выросшими возле самых ушей, которыми они старались изо всех сил зарыться как можно глубже в окружающую их тину. Отвратительные улитки лениво переваливались из стороны в сторону, высовывая свои длинные рога. Фрейлейн Аннхен была до того поражена этим ужасным

зрелищем, что едва имела достаточно силы для того, чтоб закрыть обеими руками лицо и опрометью убежать прочь из огорода.

-- Теперь ты видишь, -- сказал ей господин Дапсуль, -- как постыдно обманул тебя коварный Даукус Каротин Первый, выдав тебе за хорошие такие отвратительные вещи. Он нарочно нарядил в парадные ливреи своих вассалов для того, чтобы легче увлечь тебя и очаровать. Но теперь ты видела всю подноготную того царства, где хотела быть королевой, и должна, сверх того, вспомнить, что, сделавшись раз супругой Даукуса Каротина, ты должна будешь скрыться с ним под землю и никогда уже не увидишь ее поверхности, даже если... но что это?.. что я вижу!.. О я бедный, несчастный отец!

Произнеся эти слова, господин Дапсуль до того изменился в лице, что Аннхен серьезно испугалась, не грозит ли ее папаше какое-либо новое несчастье. Робким голосом спросила она, чего так испугался ее родитель, но тот мог только проговорить, всхлипывая:

-- О дочь моя! На что ты похожа!

Аннхен бегом бросилась в свою комнату, схватила зеркало, но тотчас же в ужасе выронила его из рук.

Причина тому была немаловажная. Оказалось, что в ту самую минуту, как господин Дапсуль открыл дочери своей глаза насчет опасности, которая грозила ей в случае, если она сделается женой Даукуса, лицо ее вдруг стало изменяться и принимать все черты и выражение настоящей царицы гномов. Голова ее раздулась, кожа сделалась шафранного цвета, изуродовав совершенно прежнее, милое выражение лица Аннхен. Хотя она никогда не была кокеткой, но тут уже простое женское самолюбие громко подсказало ей, что нет несчастья хуже безобразия. Невольно вспомнились ей теперь прежние мечты, когда она воображала, как, разодетая в пух и прах, в атласном платье, с бриллиантовой короной, с золотыми цепями и кольцами, будет ездить в золотой карете со своим супругом-королем по воскресеньям в церковь на удивление и зависть всей деревне, в том числе и школьной учительнице! Какую пыль в глаза думала она пустить всем! А теперь! Аннхен не была даже в состоянии сдержать своей горести и громко зарыдала.

-- Аннхен! Дочь моя Аннхен! Поди скорее сюда! -- так крикнул ей в эту минуту господин Дапсуль сквозь разговорную трубу.

Взойдя наверх, Аннхен застала Дапсуля в костюме рудокопа.

-- Когда нужда бывает стеснительной, -- заговорил он торжественным голосом, -- тогда находится ей и лекарство. Даукус Каротин, как кажется, не намерен оставлять своей палатки до завтра. Он собрал своих министров и принцев в Государственный совет по поводу будущего урожая капусты. Заседание это очень важно и, вероятно, продлится так долго, что мы останемся нынешний год совсем без капусты. Я хочу воспользоваться временем, пока Даукус Каротин,

занятый государственными делами, не обращает на меня никакого внимания, и приготовить оружие для того, чтобы победить коварного гнома и заставить его возвратить тебе твою свободу. Потому, пока я буду занят работой, смотри пристально в эту трубу на палатку и говори мне все, что там увидишь.

Фрейлейн Аннхен исполнила, что ей приказал отец, но палатка оставалась закрытой со всех сторон, как прежде. Дапсуль между тем стал что-то усердно ковать. Скоро Аннхен показалось, что в палатке поднялись возня, крики и звуки, точно кто-то давал друг другу пощечины. Она тотчас же сообщила об этом отцу, который остался, по-видимому, очень тем доволен и сказал, что чем более гномы будут ссориться между собой, тем вернее не заметят его замышляемой на их гибель работы.

Скоро Аннхен с удивлением увидела, что отец ее сделал два прекрасных медных горшка и две таких же кастрюльки. Зная хорошо толк в кухонной посуде, она тотчас же заметила отличное качество посуды, сделанной совершенно согласно требованию закона по этому предмету, и с радостью спросила, может ли она взять эти вещи для своей кухни? Господи Дапсуль улыбнулся на этот наивный вопрос и отвечал с многозначительным видом:

-- После, после, мое дитя! А теперь успокойся и жди, что будет в нашем доме завтра.

Видя довольную улыбку отца, Аннхен сама прониклась некоторой надеждой.

На следующий день, около обеденного часа, господин Дапсуль, сойдя вниз вместе со своими горшками и кастрюльками, отправился на кухню и объявил Аннхен, что обе они, вместе с горничной, могут удалиться, потому что обед в этот день будет готовить он сам. Аннхен он в особенности просил быть на этот раз как можно ласковее и любезнее с Кордуаншпицем, который должен был скоро к ним прийти.

Кордуаншпиц или, вернее, король Даукус Каротин Первый, действительно явился. Если маленький человек казался влюбленным по уши уже в прежнее время, то на этот раз он, по-видимому, растаял в блаженстве окончательно. Аннхен с ужасом заметила, взглянув на Даукуса, что она изменилась не только лицом, но и ростом, сделавшись много меньше прежнего, так что подходила теперь гораздо более к своему карлику-жениху. По крайней мере, он без всякого труда вскарабкался ей в этот раз на колени и ее поцеловал, что она, к великому своему отвращению, должна была беспрекословно перенести.

Наконец господин Дапсуль фон Цабельтау вошел в комнату.

-- Ну, мой дорогой господин Порфирио фон Оккеродаст! -- воскликнул он с притворной радостью. -- Не будете ли вы так добры

отправиться теперь с нами в кухню, чтоб посмотреть, как умела ваша будущая супруга устроить свое хозяйство.

Никогда еще не замечала Аннхен на лице своего отца выражения такой коварной иронии, с какой он на этот раз подхватил под руку маленького Даукуса и повел его почти силой за собой в кухню.

Фрейлейн Аннхен пошла за ними.

Сердце ее запрыгало от радости, когда она увидела весело пылавший огонь, а на нем новые, сделанные ее папашей, горшки и кастрюльки. Едва господин Дапсуль фон Цабельтау и Кордуаншпиц подошли к очагу, в горшках и кастрюльках стало что-то кипеть все сильнее и сильнее, и наконец шум от кипения явно перешел сначала в какие-то стоны, а затем в тоненькие голоса, кричавшие совершенно явственно:

-- О Даукус Каротин! О король наш! Спаси твоих верных вассалов! Твои бедные морковные корешки! Мы разрезаны на кусочки и брошены, вместе с маслом и солью, в кипящую воду, где терпим невообразимые адские муки вместе с петрушкой!

А из кастрюлек между тем раздавалось также:

-- О Даукус Каротин! О король наш! Спаси твоих бедных вассалов! Твои бедные морковки! Мы жаримся, как в аду, и нам дали так мало воды, что мучительная жажда заставляет нас пить собственную сердечную кровь!

Крики, выходявшие из одного горшка, раздавались как-то особенно отчаянно:

-- Король наш, король! Спаси твои верные морковки! Ужасный повар рассек наши внутренности и начинил их фаршем из яиц, сметаны и масла, так что у нас помутился рассудок, и мы чувствуем, что скоро потеряем способность мыслить!

Затем раздалось разом из всех горшков и кастрюлек:

-- О Даукус Каротин! Великий король! Спаси, спаси твои верные морковки!

-- Что за глупые шутки! -- воскликнул Кордуаншпиц и, вскочив со своей обычной ловкостью на плиту, заглянул в одну из кастрюлек.

Господин Дапсуль фон Цабельтау, стороживший каждое его движение, быстро схватил крышку и хлопнул ею кастрюлю, радостно воскликнув: "Попался!" Но Кордуаншпиц, выкарабкавшись проворно наверх, успел дать господину Дапсулю пару таких полновесных пощечин, что у старика помутилось в глазах.

-- Упрямый, проклятый колдун! -- воскликнул он. -- Ты в этом расквесишься! Эй вы, ребята! Вылезайте проворнее вон!

Горшки и кастрюли, вдруг закипев, расплескались во все стороны, и вместе с пеной выскочили из них целыми ватагами множество маленьких уродливых карликов. В одно мгновение ока кинулись они на господина Дапсуля фон Цабельтау, облепили его с головы до ног, бросили на большое, стоявшее тут блюдо, и облили затем всего тем

крошеным варевом, которое было в горшках и кастрюльках, так что он оказался покрытым с головы до ног рублеными яйцами, мускатным цветом, разваренным хлебным мякишем и тому подобным снадобьем. Исполнив это, Даукус Каротин, а затем и прочие карлики выскочили вон из окошка.

Фрейлейн Аннхен в ужасе бросилась к блюду, на котором лежал ее папаша. На первый взгляд она сочла его мертвым, так как он не подавал ни малейшего признака жизни.

-- О мой бедный папаша! -- так начала горько плакать Аннхен. -- Ты умер! Ты погублен злым Даукусом!

Однако Дапсуль скоро очнулся и, вскочив с замечательной энергией прочь со своего блюда, воскликнул таким пронзительным голосом, какого Аннхен даже никогда не подозревала за ним:

-- Ага! Проклятый Даукус Каротин! Ты думаешь, что успел меня одолеть, так увидишь сам, на что еще способен старый колдун!

Аннхен очистила отца от приставших к нему яиц, муската и мякиша, а затем Дапсуль, схватив медный горшок, надел его на голову как шлем, взял в одну руку кастрюлю, а в другую длинный половник и вооруженный таким образом выбежал вон из кухни. Аннхен увидела через окно, что папаша ее побежал прямо к палатке Кордуаншпица. Чувства ее помутились от ужаса, и она без памяти упала на землю.

Очнувшись, Аннхен узнала, что отец ее исчез неизвестно куда. Прошли ночь, день и еще ночь, а Дапсуль все не являлся. Можно себе легко представить отчаяние бедной Аннхен, имевшей полное право предполагать, что папаша ее затеял какое-нибудь новое, сумасбродное предприятие, удавшееся еще хуже прежнего.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

последняя и самая поучительная из всех.

Грустная и одинокая сидела раз Аннхен в своей комнате, как вдруг дверь отворилась, а к ней вошел не кто иной, как сам Амандус фон Небельштерн. Аннхен, полная раскаяния, со слезами бросилась к нему, умоляя о прощении.

-- О мой дорогой Амандус! -- говорила она. -- Прости мне то, что я написала тебе в моем ослеплении! Я была околдована и не освободилась от этого до сих пор! Спаси меня, мой Амандус! Я знаю, что я желта и уродлива, и это, конечно, большое несчастье, но я верна тебе по-прежнему и уже не хочу больше быть королевской невестой.

-- Я, право, не знаю, -- возразил Амандус, -- на что вы жалуетесь, когда вам улыбается такая прекрасная судьба!

-- О, не шути так жестоко, -- зарыдала Аннхен, -- я уже без того слишком наказана за мою самолюбивую гордость и за желание быть королевой.

-- Право, я вас не понимаю, моя дорогая фрейлейн! -- сказал на это Амандус. -- Если быть откровенным, то я должен признаться, что ваше последнее письмо точно взбесило меня на первых порах до крайности. Сначала я поколотил одного из своих товарищей, потом пуделя, разбил несколько стаканов; ведь вы знаете, что с беснующимся студентом шутки бывают плохи. Успокоясь немного, решился я приехать сюда, чтобы собственными глазами взглянуть, каким образом, почему и когда потерял я невесту. Любовь, как вам известно, не признает ни знатности, ни чинов, а потому я решился категорически спросить короля Даукуса Каротина, намерен ли он со мной драться, в случае, если женится на моей невесте. Все, однако, случилось совершенно иначе, чем я предполагал. Едва я подошел к шелковой палатке и Даукус Каротин вышел из нее мне навстречу, я с первых же слов увидел, что это был добрейший и обаятельнейший из всех государей (хотя, впрочем, я не видал до сих пор ни одного). Представьте, фрейлейн Аннхен, что он прямо назвал меня великим поэтом, рассыпался в похвалах моим стихам, которых, по словам его, не читал еще ни разу, и предложил мне звание своего придворного поэта. Такая должность была давно идеалом всех моих стремлений и надежд, а потому можете себе представить, что я согласился на предложение короля тотчас же. О дорогая фрейлейн! Если бы вы могли только себе представить, как восторженно буду я теперь вас воспевать! Поэты имеют полное право влюбляться в королев и принцесс, при дворе которых они служат, и я скажу даже, что их прямая обязанность выбирать непременно свою повелительницу дамой сердца. Если они наделают при этом каких-нибудь глупостей, то и в том нет беды. Это докажет только божественную растрепанность чувств, которой должна сопровождаться всякая поэзия. Подобным поступкам со стороны поэтов нечего удивляться, а, напротив, следует вспомнить великого Тассо, который явно помешался в уме, вздумав влюбиться в принцессу Элеонору д'Эсте. Да, дорогая фрейлейн! Если вы точно сделаетесь королевой, то я непременно выберу вас в дамы моего сердца и прослаблю вас выше звезд моими божественными песнопениями!

-- Как! Значит, ты видел маленького противного кобольда, и он тебе предложил... -- так заговорила было фрейлейн Аннхен, но в эту минуту Оккеродаст, войдя вдруг в комнату, прервал ее самым сладким голосом:

-- О моя дорогая невеста! Божество моего сердца! Не пугайтесь моего последнего поступка, в котором был виноват сам господин Дапсуль фон Цабельтау. Я не только не сержусь, но, напротив, именно вследствие этого хочу назначить завтрашний день днем нашей

торжественной свадьбы. Я уверен, вы вполне одобрите мое намерение сделать господина Амандуса фон Небельштерна нашим придворным поэтом, и я желал бы, чтобы он тотчас же показал нам образец своего таланта и что-нибудь сочинил нам в похвалу. Предлагаю вам сесть в эту зеленую беседку, потому что я предпочитаю свежий воздух. Я сяду вам на колени, а вы, пока господин Амандус будете петь, почешете мне в голове. Я это очень люблю.

Фрейлейн Аннхен до того была поражена и испугана появлением Оккеродаста, что позволила машинально исполнить все, что он предлагал. Даукус Каротин уселся в беседке ей на колени, она стала чесать ему в голове, а Амандус начал перебирать струны гитары и скоро затем запел одну из двенадцати недавно сочиненных им и положенных на музыку песен, которые он собственноручно списал в толстую переплетенную книгу.

Очень жаль, что в старинной хронике Дапсульгейма, из которой извлечена эта история, не сохранилось текста этих песен, а только вскользь упомянуто, что крестьяне, проходившие мимо беседки, где пел Амандус фон Небельштерн, с любопытством останавливались и спрашивали, кто это мяучит там невыносимо жалобным образом.

Слушая это пение, Даукус Каротин, скорчившись на коленях Аннхен, стонал и плакал, точно у него разболелся живот. Сверх того, Аннхен с удивлением заметила, что чем дальше шла песня, тем Кордуаншпиц становился все меньше и меньше всей своей фигурой. Амандус, наконец, запел свою последнюю песню, единственную, сохранившуюся в хронике:

*Льется, льется песнь певца,
Как дыханье аромата,
Ярче светлых волн заката
Вдаль стремится без конца,
В бесконечное пространство.
Там, где радуга в лучах,
В блеске дивного убранства,
Исчезает в небесах!
Радость, сердца трепетанье,
Голубков двух воркованье,
Вот певец о чем поет.
Полный счастья без забот,
Полный радости привета,
Сладких снов...*

Едва Амандус успел произнести последний стих, как Даукус Каротин, мгновенно превратясь окончательно в маленький морковный корешок, соскользнул с колен Аннхен и ушел в землю, так что от него

не осталось и следа. В ту же минуту большой гриб, выросший за ночь возле дерновой скамьи, на которой сидела Аннхен, вдруг стал быстро разрастаться еще больше, причем оказалось, что верхушка его была ничем иным, как большой остроконечной шапкой господина Дапсуля фон Цабельтау, который, выскочив вслед затем сам из-под земли, бросился на шею Амандусу, с восторгом восклицая:

-- О мой дражайший, милейший господин Амандус фон Небельштерн! Вы вашей дивной заклинательной песнью втоптали в грязь всю мою кабалистическую мудрость! То, чего не могли сделать ни глубокое искусство магии, ни смелая настойчивость отчаявшегося философа, легко подчинилось силе ваших стихов, которые подействовали на натуру коварного Даукуса, как сильный яд и, наверно, уморили бы ее расстройством желудка, если бы он не поспешил скрыться в свое царство. Теперь и я, и дочь моя Аннхен освобождены от опутывавших нас чар, следствием которых мне суждено было расти здесь в виде презренного гриба, подвергаясь быть выполотым рукой моей собственной дочери. Ведь она, моя голубка, рачительно вырывает с корнем вон всякие дурные грибы, попавшие в ее огород, если это только не благородные шампиньоны. Примите же мою усерднейшую благодарность, дорогой господин Амандус! Надеюсь, относительно моей дочери все останется между вами по-старому. Она, конечно, немножко подурнела вследствие коварства злобного гнома, но ведь вы, надеюсь, смотрите на это так, как следует истинному философу.

-- О папаша! Милый папаша, -- пробормотала фрейлейн Аннхен, -- посмотри, ведь шелковый дворец исчез! Он провалился вместе со всей свитой нашего злодея, со всеми его салатными принцами, капустными министрами и всем прочим.

Говоря так, Аннхен побежала в свой огород, господин Дапсуль пошел вслед за нею, а за ним последовал и Амандус, ворча себе под нос:

-- Я, право, не знаю, что обо всем этом и подумать! Во всяком случае следует сознаться, что этот морковный король должно быть порядочная прозаическая дрянь и уж никак не поэт. Понимай он хоть немного толку в поэзии, у него, наверно бы, не разболелся живот от моих песен, и сам он не провалился бы сквозь землю.

Между тем фрейлейн Аннхен, придя в свой огород, где не было и следа листика или какой-нибудь зелени, вдруг почувствовала опять острую сильную боль в пальце, на котором был надет несчастный, заколдованный перстень. В то же время в воздухе пронесся жалкий, плаксивый стон, выходивший, казалось, откуда-то из глубины, и вместе с тем из земли вдруг высунулся остроконечный хвостик моркови. Аннхен, руководясь каким-то инстинктом, поспешно и ловко сорвала с пальца перстень, так крепко сидевший на нем прежде, и надела его на морковь, которая тотчас исчезла вместе с ним снова в

земле с прежним стоном. И вдруг -- о чудо! -- в один миг Аннхен стала снова такой же хорошенькой, какой была прежде. Кожа ее стала бела, талия грациозна, насколько это возможно требовать от деревенской девушки. И Аннхен, и господин Цабельтау ахнули от восторга, и только один Амандус смотрел по-прежнему задумчиво и, казалось, все еще не понимал, что ему следовало думать обо всем этом.

В это время проходила мимо горничная, Аннхен быстро выхватила лопату из ее рук и радостно воскликнула:

-- Ну теперь будем работать! -- но при этом, взмахнув лопатой по воздуху, она так неудачнохватила его Амандуса фон Небельштерна по голове, в то самое место, где сидит *sensorium commune**, что он замертво упал на землю. Аннхен в ужасе отбросила далеко в сторону смертоносное оружие, кинулась к своему возлюбленному и зарыдала отчаянным голосом. Горничная между тем, быстро притащив ведро воды, вылила его бесчувственному Амандусу на голову, а господин Дапсуль фон Цабельтау поспешно бросился на свою астрономическую башню спросить созвездия, точно ли Амандус был совершенно мертв. Через несколько минут Амандус, однако, открыл глаза, вскочил на ноги и, схватив Аннхен в свои объятия, несмотря на то, что был мокр с головы до ног, воскликнул:

* *"Общее чувствилище", средоточие сознания (лат.).*

-- О моя дорогая, милая Аннхен! Наконец-то мы сошлись по-прежнему!

Замечательнейшим следствием, какое описанное событие имело на нашу влюбленную парочку, было то, что нрав обоих изменился самым неожиданным, удивительным образом.

Фрейлейн Аннхен получила решительное отвращение к собственноручной работе лопатой в огороде и стала с тех пор только наблюдать за своим огородом, в котором распоряжалась, как настоящая королева, предоставив рытье и копание грядок своим служанкам и рабочим. Господин же Амандус фон Небельштерн вдруг почувствовал, что все сочиненные им стихи глупы и нелепы в высочайшей степени, вследствие чего, вместо того, чтобы сочинять, сам предался глубочайшему изучению великих писателей и занялся этим делом так усердно и многосторонне, что в голове его решительно не осталось места для собственных поэтических бредней. Он дошел до полного убеждения, что поэзия состоит не в наборе высокопарных фраз, продиктованных сомнительным вдохновением -- плодом минутного экстаза, и, начав с того, что бросил в огонь все свои прежние произведения, сделался снова тем добрым и неглупым юношей, каким был прежде.

Спустя некоторое время наступил и тот желанный день, в который господин Дапсуль фон Цабельтау должен был сойти со своей астрономической башни для того, чтобы проводить фрейлейн Аннхен и господина Амандуса фон Небельштерна в церковь к венцу.

Оба жили долго и счастливо; что же касается вопроса, вышло ли что-нибудь из предполагавшегося брака господина Дапсуля с сильфидой Негагиллой, то об этом хроника Дапсульгейма умалчивает.

* * *

Друзья несколько раз прерывали искренним смехом чтение Винцента. По окончании же признали единогласно, что если сюжет сказки не представлял ничего особенного, то общий тон, носивший более резкий, чем утонченный юмористический характер, был выдержан вполне без всяких отступлений, и потому был равно забавен во всем сочинении.

-- Что до сюжета, -- ответил Винцент, -- то о нем я должен сказать несколько слов. Он, во-первых, выдуман не мной, и я сейчас вам расскажу, что навело меня на мысль моей сказки. Не так давно случилось мне обедать вместе с одной знакомой богатой дамой. У нее на пальце был надет золотой перстень с прекрасным топазом, отличавшийся вообще чрезвычайной тонкостью работы, носившей следы глубокой древности. Перстень этот заметили все присутствовавшие и единогласно выразили мнение, что, вероятно, он достался владельнице его по наследству. Тем более велико было общее изумление, когда дама рассказала, что перстень этот был найден года два тому назад у нее в огороде, надетым на морковный корень. Вероятно, он очень давно пролежал в земле никем не найденным, и наконец сквозь него проросла посеянная морковь. Рассказчица прибавила, что событие это могло бы послужить отличной темой для сказки, и предложила мне тут же ее написать. Итак, вы видите, что вся сочиненная мной история овощного короля с его вассалами, на что вы не найдете даже намека ни в Кабалисе, ни в других подобных книгах, вытекла прямо из этого слыханного мною анекдота.

-- Я нахожу, -- заметил Лотар, -- что ни один из наших Серапионовых вечеров не отличался такой разнообразной фантастической программой, как сегодняшней. Слава Богу, что мы успели избежать впадения в мрачную настроенность, которая чуть было нас не опутала, и выбрались снова на светлый день. Однако я все-таки замечу, что человек с серьезным, здравым характером мог, пожалуй, нас справедливо упрекнуть в том, что произведения, читанные на наших Серапионовых вечерах, все носили несколько фантастический

характер, способный довести иной раз до головных болей, а то, пожалуй, и до лихорадки.

-- Каждый должен, -- возразил на это Оттмар, -- делать что может, и было бы несправедливо мерить чужие способности по собственной мерке. Есть, действительно, такие ценители, которые всякое излишнее возбуждение фантазии считают признаком болезненного состояния мозга и решаются даже утверждать, что автор пишет свои произведения или под влиянием винных паров, или просто рассчитывают на возбуждение нервов читателей и происходящей вследствие того лихорадки. Но кому же неизвестно, что подобные приемы, хотя и могут иной раз породить иногда гениальные мысли в отдельности, никогда не будут в состоянии способствовать создать вполне выдержанное, законченное произведение.

Теодор угостил в этот вечер своих друзей отличным вином, которое прислал ему в подарок один приятель прямо с Рейна. Он разлил остаток в стаканы и сказал:

-- Не знаю почему, но какое-то предчувствие подсказывает мне, что скоро мы расстанемся надолго, быть может, навсегда! Но я верю, что воспоминание о сегодняшнем Серапионовом вечера переживет в наших сердцах разлуку. Мы свободно предавались нашему вдохновению и беззаботной фантазии; каждый из нас писал и говорил под диктовку своего внутреннего голоса, не считая и не выдавая своих произведений за что-либо особенное, зная хорошо, что первое условие всякого литературного произведения состоит в полном отсутствии тенденциозности, чем одним может быть достигнуто то теплое, чарующее впечатление, которое произведения эти производят на душу. Если судьба действительно разбросает нас в разные стороны, то расстанемся, по крайней мере, дав слово быть верными уставу святого Серапиона, за исполнение чего я и предлагаю осушить последний стакан!

Желание Теодора было исполнено.